

**СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОНТЕКСТЫ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ
XI—XX ВЕКОВ**

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Санкт-Петербург

Редакционная коллегия:

Н. Ю. Алексеева, Д. М. Буланин, М. Н. Виролайнен (ответственный редактор), Е. Е. Дмитриева, Т. В. Мисникевич, А. В. Пигин

Рецензенты:

В. Е. Багно, С. И. Николаев

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОНТЕКСТЫ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ
XI—XX ВЕКОВ

Собранные в книге исследования посвящены разнообразным социокультурным процессам и практикам, с которыми на протяжении десяти веков русской литературной жизни были так или иначе сопряжены деятельность писателей и читательская активность.

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Сборник «Социокультурные контексты русской литературной жизни» объединяет исследования и аналитические обзоры, относящиеся к разным эпохам, – от древнерусского периода до середины XX века. Книга открывается статьей, посвященной монастырским книжным центрам Древней Руси (XI – начало XV вв.). В ней описаны появление на Руси рукописной книги, комплекс представлений, знаний и умений, связанных с бытованием книги (создание, хранение, чтение, копирование), книжные собрания и книгописные мастерские древнерусских монастырей, объединения книжников. В следующих статьях речь идет об идеологии Московского царства, которой служили и которую формировали культура «энциклопедий» 1520—1570-х гг. и литературная мастерская Чудова монастыря в 1579—1600 гг. Период новой русской литературы начинается в XVIII веке, но в сборнике продемонстрировано, что на протяжении всего этого столетия продолжают существовать вовсе не ушедшие в прошлое рукописные традиции. И в то же самое время Россия осваивает совершенно иной тип культуры – активно переводятся сочинения французских авторов. За посвященной этой деятельности статьей следуют материалы, относящиеся к другим новшествам XVIII века, таким как периодическая печать (прослежено ее становление в 1703—1764 гг.), изменение круга чтения, типов русских читателей и читательского быта (описаны, в частности, государственные и частные библиотеки XVIII в.), наконец, женское творчество, обновившее гендерные представления. Следующая эпоха – Золотой век русской литературы – время, когда меняются и социальный статус писателей, и условия их труда, и характер их взаимодействия с читательской аудиторией. В статьях об этом периоде говорится о новой волне освоения западных литератур, о появлении авторского права, о практике книгоиздания и книжной торговле, об изменении цензурных условий, об иной, чем в XVIII в., читательской аудитории. Специально рассмотрены литературные институции и литературные группировки этого времени. Критике 1810—1830-х гг. и периодике 1830-х посвящены отдельные статьи. Салонная культура Золотого века описана как самостоятельное явление, несводимое к литературному общению, но составляющее для него важнейший контекст. Даны очерки таких обособленных областей как массовая и детская литература. Середина XIX в. представлена анализом деятельности литературных кружков 1840—1890-х гг. и салонов того же времени, а также некоторых важнейших направлений критики и журналистики (литературная критика в церковных изданиях 1860—1890-х гг.; славянофильские журналы, сборники и газеты). В рамках эпохи модернизма рассмотрены изменения, происшедшие в издательских стратегиях начала XX в. и обновление характера периодических изданий (в частности, переход от «толстого» журнала

к журналу-манифесту). Освещена литературная тематика в газетах начала XX в., осуществлен анализ движения литературных страт эпохи, изучено формирование национального литературного канона для детей в 1900-х гг. Заключительные статьи сборника посвящены судьбам фольклора и фольклористики в 1920–1940-х гг.

МОНАСТЫРСКИЕ КНИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ (XI – НАЧАЛО XV ВВ.)

Возникновение древнерусской литературы и книжности неразрывно связано с принятием христианства и с вхождением восточнославянской культуры в *Rex Slavia Orthodoxa* (применительно к раннему периоду до схизмы 1054 г. – *Rex Slavia Christiana*). Хронологически «дохристианские» памятники письменности, обнаруженные на территории Древней Руси, представляют собой лишь отдельные предположительно кириллические буквы на бытовых предметах (в частности, из археологических раскопок в Гнёздово под Смоленском и на Городище под Новгородом).

Рукописная книга появилась на Руси вместе с христианством. В правящей династии Рюриковичей первой в середине X в. христианскую веру приняла княгиня Ольга, мать князя Святослава Игоревича. При ее крещении (вероятно, в Константинополе в 946 г. или в 957 г.) не была учреждена для Руси новая епархия и не был поставлен епископ, поскольку вскоре Ольга предпринимала усилия, чтобы пригласить на Русь епископа из Германии¹. В ответ на ее просьбу в 961 г. на Русь был направлен Адальберт². По приказу императора Оттона I он был рукоположен во епископа Руси и отправлен в Киев, но его миссия «по не вполне ясным причинам потерпела неудачу (возможно, посольство Ольги было только средством политического давления на Византию)»³. Не исключено, что это давление достигло результата вскоре после миссии Адальберта, поскольку в перечнях епархий, находящихся в византийской церковной документации, Русская епархия находилась на 60 месте, непосредственно перед Аланией, существование митрополита в которой было зафиксировано записью 2 апреля 965 г.⁴. Вопрос о времени появления отдельной епархии

¹ В целом зафиксированная латиноязычными источниками миссионерская деятельность на Руси (см.: *Назаренко А. В.* 1) Немецкие латиноязычные источники IX–XI вв. М., 1993. С. 101–130; 2) Русь и Германия в IX–X вв. // *Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования.* 1991. М., 1994. С. 61–80; 3) *Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII веков.* М., 2001. С. 51–390) коррелирует со свидетельствами истории языка о западном (в первую очередь, западнославянском) вкладе в распространение христианства на Руси в ранний период (см.: *Живов В. М.* *История языка русской письменности.* М., 2017. Т. 1. С. 129–149).

² См.: *Алпатов М. А.* *Русская историческая мысль и Западная Европа XII–XVII вв.* М., 1973. С. 64–67.

³ См.: *Назаренко А. В.* Адальберт // *Православная энциклопедия.* М., 2000. Т. 1. С. 279–280.

⁴ *Белецкий Д. В., Виноградов А. Ю.* Фрески Сентинского храма и проблемы истории аланского христианства в X в. // *Российская археология.* 2005. № 1. С. 138.

на Руси сложен и требует дальнейших разысканий. Современные научные споры (если оставить в стороне гипотетические кратковременные эпизоды «Фотиева» и «Игнатиева» крещений Руси в IX в.), ведутся преимущественно между сторонниками датировки создания самостоятельной епархии на Руси либо в 988–991 гг., либо после 996 г. (поскольку в 991–996 гг. патриарший престол в Константинополе пустовал), а древнейшая печать русского владыки «Иоанна, митрополита Росии» датируется концом X – началом XI в.⁵. Начиная с этого времени письменность, в широком смысле понимаемая как «технология информации»⁶, начала активно входить в жизнь Древней Руси, в первую очередь, в виде рукописных книг на старославянском языке⁷.

После принятия христианства князем Владимиром Святославичем около 988 г. начался процесс освоения Русью культуры православных народов Юго-Восточной Европы, в первую очередь, греков и славян. Значительный объем принесенных на Русь литературных произведений имел наднациональный характер (в научной традиции говорят о трансплантации, переносе или рецепции византийской христианской литературы-

⁵ См.: *Laurent V.* Le corpus des sceaux de l'Empire Byzantin. Paris, 1963. Т. 5, pt. 1. № 781.

⁶ *Франклин С.* Письменность, общество и культура в Древней Руси: (Около 950–1300 гг.). СПб., 2010. С. 25.

⁷ Христианская книжность распространилась у южных славян во второй половине IX в. благодаря деятельности выходцев из Солуни (совр. Салоники) братьев Кирилла (Константина) и Мефодия и их последователей. С именем первого из них традиция связывает создание славянской кириллической азбуки, однако в большей степени черты «изобретенного» алфавита присущи другой древней системе письма – глаголице, которая широко применялась в южнославянских землях. На территории Древней Руси глаголические надписи представлены граффити на стенах храмов Киева (в Софийском соборе), Владимира-Волынского, Великого Новгорода (больше 50 глаголических надписей в Софийском соборе, в Георгиевском соборе Юрьева монастыря, а также в церкви Благовещения на Городище). См.: *Медынцева А. А.* Грамотность в Древней Руси: (По памятникам эпиграфики X – первой половины XIII века). М., 2000. С. 79; *Гиппиус А. А., Михеев С. М.* Древнерусские глаголические надписи-граффити XI–XII веков из Новгорода: № 30–55 // *Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu.* 2022. Vol. 72, №. 1. P. 47–92. В надписях-граффити церкви Благовещения на Городище глаголические записи носят учительный характер, что свидетельствует о том, что и в XII в. употребление глаголицы было еще актуальным. См.: *Гиппиус А. А., Михеев С. М.* Надписи-граффити церкви Благовещения на Городище: Предварительный обзор // *Архитектурная археология.* М., 2019. № 1. С. 35–55. Кроме того, глаголические буквы встречаются в древнерусских рукописных книгах. По данным Сводного Каталога, сохранилось восемь таких рукописей (Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР, XI–XIII вв. М., 1984). В значительном количестве (более 100 случаев) были обнаружены глаголические буквы в списках XV–XVIII вв., восходящих к недошедшей до нас рукописи 1047 г., содержавшей Толковые Пророчества. См.: *Калугин В. В.* Из истории глаголицы в Древней Руси: (Толковые пророчества 1047 года) // *Труды Отдела древнерусской литературы.* СПб., 2016. Т. 64. С. 769–796.

основы)⁸. Центральной фигурой для этой традиции был не писатель, а книжник. Как отметил Д. М. Буланин, «этим словом обозначается и автор – создатель собственного творения, и редактор, подвергавший переработке и компилировавший сочинения своих предшественников, и писец-копиист. Грани между ними для средних веков не могут быть жестко проведены»⁹. Поэтому при изучении русской средневековой литературы необходимо рассматривать конкретные произведения в связи с общей историей древнерусской книжности, в контексте книжных центров, где они создавались. В первую очередь, следует определить термины.

Что такое «древнерусская»? Изначально само слово «русь» своим происхождением было связано со скандинавским миром. Так, согласно древнейшим летописным свидетельствам, называли не местное славянское население, а приглашенных из Северной Европы князей и их дружины. Вопрос о том, кем был самый известный приглашенный князь, основатель династии Рюрик (середина IX в.), остается дискуссионным. Скорее всего, до прихода на берега Волхова скандинавский конунг княжил на Рейне, в Дорестаде, и был известен как Рорик Ютландский¹⁰. Название «русь» летописцем было использовано применительно к пришедшим с Рюриком людям («и вся русь с ним»). Со временем скандинавская правящая верхушка ассимилировалась, и «русью» стали называть также народ и страну, которая считалась «уделом» не одного великого князя, а всего рода Рюриковичей. Как отмечал В. Л. Комарович, «субъектом владетельного права» древнерусских князей был весь княжеский род, и «подобно роду неделима была, по крайней мере в идее, земля»¹¹.

В эпоху Киевской Руси исторические судьбы трех восточнославянских народов еще не разошлись по разным путям. После татаро-монгольского нашествия 1237–1241 гг. на землях Руси возникло два крупных государственных образования – Литва (Великое княжество Литовское), и Русь (Великое княжество Владимирское, позднее Московское). Политическое разделение постепенно формировало культурные различия, и приблизительно с XIV–XV вв. история западнорусской (украинской и белорусской)

⁸ См.: *Лихачев Д. С.* Развитие русской литературы XI–XVII вв.: (Эпохи и стили). Л., 1973; *Толстой Н. И.* История и структура славянских литературных языков. М., 1988; *Живов В. М.* Особенности рецепции византийской культуры в Древней Руси // *Разыскания в области истории и предистории русской культуры.* М., 2002. С. 73–115 и др.

⁹ *Буланин Д. М.* Предисловие // *Словарь книжников и книжности Древней Руси.* Л., 1987. Вып. 1: (XI – первая половина XIV в.). С. 4.

¹⁰ См.: *Беляев Н. Т.* Рорик Ютландский и Рюрик Начальной летописи // *Seminarium Kondakovianum.* Prague, 1929. Вып. 3. С. 215–270.

¹¹ *Комарович В. Л.* Культ рода и земли в княжеской среде XI–XIII вв. // *Труды Отдела древнерусской литературы.* М.; Л., 1960. Т. 16. С. 97.

литературы и книжности с одной стороны, и великорусской (древнерусской) – с другой стороны, должны рассматриваться отдельно. Условной верхней границей самостоятельного исторического развития рукописной книжности восточнославянских народов принят 1350 г. (периодизация основана на концепции Словаря книжников и книжности Древней Руси; обоснование этой хронологической границы дано в Предисловии к первому выпуску данного справочного издания¹²).

Что такое «книжность»? От ответа на этот вопрос зависит, начинать ли историю древнерусской книжности с Новгородской Псалтыри первых десятилетий XI в., или же с записей Упыря Лихого и Григория середины того же столетия? Под термином «книжность» мы понимаем весь комплекс представлений, знаний и умений, связанных с бытованием (созданием, хранением, чтением, копированием и т. д.) рукописной книги в виде кодекса, т. е. одной или ряда тетрадей из сложенных и скрепленных между собой листов писчего материала, сфальцованных в переплете. Таким образом, к «книжности» относятся, например, упоминаемые в житиях святых переплетенные в виде кодекса листы бересты с текстом, но за ее пределами остаются восковые таблички, берестяные грамоты и актовый материал.

Содержание древнерусских книг было разнообразным. В первую очередь, рукописные книги традиционно делятся на две основных категории – богослужебные (содержащие тексты, предназначенные для произнесения в церкви) и четьи (для личного, индивидуального чтения), но граница эта была зыбкой. Необходимые для богослужения книги могли содержать те же тексты, что и книги для индивидуального чтения (например, к первой группе относится Евангелие-апракос, а ко второй – Четвероевангелие; летописный текст о Борисе и Глебе был включен в Службу этим святым и т. п.). С другой стороны, сборники историко-литературного содержания включали в свой состав, наряду с другими сочинениями, так называемые «уставные чтения», которые могли использоваться как индивидуально в келье, так и оглашаться вслух в церкви после службы или на монастырской трапезе с благословения настоятеля (об этом предназначении текстов свидетельствует сопровождающая заглавия статей литургическая помета «Благослови, отче!»). В первую очередь, это характерно для сборников постоянного состава, таких как Пролог, Торжественник, Златоуст и др., где литературный материал распределялся по календарному принципу «чтения на день». Широко были распространены сборники смешанного содержания, в которых находились под одним переплетом как тексты,

¹² См.: Буланин Д. М. Предисловие // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. С. 12–14.

предназначенные для богослужения, так и произведения для индивидуального чтения (например, вместе могли переписываться служба и житие того или иного святого).

Что такое «книжные центры»? Книга в Древней Руси имела огромную духовную и материальную ценность. Если духовная ценность книги определялась в первую очередь ее содержанием, то материальная ценность была обусловлена сложностью процесса ее создания. Вплоть до конца XIV в. практически все древнерусские рукописные книги были написаны на пергамене (пергаменте) – специально обработанной коже молодых телят или овец, и лишь в XV в. его постепенно вытеснила более дешевая импортная бумага. Для написания одной рукописной книги на пергаменте требовалось несколько десятков, а иногда даже более сотни шкур животных. Учитывая дороговизну материала и трудоемкость процесса приготовления вручную чернил и красок, переписывания, оформления и переплетения книг, заказать и приобрести рукописный кодекс могли только весьма состоятельные люди (князья, посадники, тиуны, бояре, купцы) и корпорации (епископские кафедры, монастыри, соборы). Как и во все времена, были в Древней Руси особые любители и почитатели книг, создававшие значительные книжные собрания (библиотеки) и книжные центры.

Следует различать *книжные собрания* (библиотеки) – места хранения рукописных книг (в древнерусский период известны книжные собрания различных типов: библиотеки духовных корпораций – церковных кафедр, соборов и церквей, монастырей; княжеские библиотеки; частные собрания), и *книгописные мастерские* (в западноевропейской традиции схожую функцию выполняли скриптории) – места создания рукописных книг. «*Книжным центром*» называется место, где книги не только хранились, но и создавались. Например, Юрьев монастырь в Великом Новгороде в XII–XIII вв. предстает лишь как заказчик книг «на стороне»; он имел богатое книжное собрание, при этом не обладал собственной книгописной мастерской. В данном случае следует говорить только о книжном собрании, библиотеке обители, но не следует называть ее «книжным центром», поскольку здесь не создавались рукописные книги. Схожее определение дала Р. П. Дмитриева: «Под понятием “книжный центр” подразумевается любое творческое объединение книжников и писателей, занимавшееся переписыванием и правкой книг, созданием новых произведений и осуществлением переводов»¹³. Таким образом, книжными центрами называются места происхождения и бытования рукописных книг (бытование – это вся жизнь книги от ее замысла до чтения и копирования). Современные кодикологические исследования связаны

¹³ Дмитриева Р. П. Введение // Книжные центры Древней Руси. XI–XVI вв.: Разные аспекты исследования. СПб., 1991. С. 4.

с изучением сохранившихся комплексов рукописных книг и установлением общих признаков их происхождения и бытования, которые позволяют говорить о существовании в Древней Руси книгописных мастерских и каллиграфических школ.

Институции и объединения древнерусских книжников. Тему литературных институций в Древней Руси можно понимать предельно широко, включая в круг рассмотрения не только «формальные», но и «неформальные» объединения древнерусских книжников.

Формально древнерусские книжники и писатели объединялись при княжеских столах, церковных кафедрах и некоторых монастырях. Сохранившиеся источники позволяют говорить о существовании галицко-волынского, владими́ро-волынского, владими́ро-суздальского (XII–XIII вв.), ростовского (XIII в.), тверского (XIV–XV вв.), московского (XIV–XVI вв.) и других княжеских книгописных центров. В Новгороде книжники выполняли заказы на написание книг и отдельных сочинений от «Дома святой Софии», кафедры новгородских владык (XII–XV вв.). Для выполнения значительных княжеских или церковных заказов создавались временные объединения – своего рода «артели» книжников и писцов.

Важнейшей формой литературных объединений на протяжении всего древнерусского периода были монастырские книжные центры, выполнявшие функции как библиотеки, так и скриптория; рукописные книги здесь создавались, хранились, копировались, редактировались, реставрировались, переплетались, иллюстрировались и даже выдавались читателям. Согласно Д. С. Лихачеву, они выполняли роль, схожую с ролью университетов на Западе¹⁴.

Существовали в Древней Руси также «неформальные институции», объединявшие писателей и книжников вне зависимости от их места проживания. Несомненно, осознавалось единство монахов, получивших выучку в одной и той же обители (о выходцах из Киево-Печерского и Иосифо-Волоколамского монастырей рассказывают соответствующие Патерики), а также сторонников определенных литературно-идеологических и религиозных направлений (иосифляне, нестяжатели, «заволжские старцы»). Последователей «ересей» XIV–XVI вв. (стригольники, жидовствующие) можно также рассматривать как участников своеобразных «неформальных институций», своего рода «кружков единомышленников».

¹⁴ *Лихачев Д. С.* Вступительное слово, произнесенное на открытии конференции «Монастырская культура: Восток и Запад» 2 июня 1998 года // Монастырская культура: Восток и Запад. СПб., 1999. С. 5.

Выявление связей писателей и книжников Древней Руси с теми или иными объединениями (духовными корпорациями, книжными центрами, неформальными объединениями), учет этих данных при изучении биографий и творчества древнерусских авторов позволяет проследивать литературные влияния и заимствования, распознавать скрытую полемику, предположительно атрибутировать анонимные сочинения.

Источники. Одна из характерных черт древнерусской литературы состоит в том, что основная форма бытования на всем протяжении ее истории была рукописной. Хотя в Московской Руси книгопечатание началось в 1550-х гг., на протяжении первого века его истории издавались почти исключительно тексты Священного Писания, богослужебные или богословские сочинения, переводные произведения Отцов церкви. Светская литература проникает на листы старопечатных книг только со второй половины XVII в., поэтому подавляющее большинство произведений древнерусской литературы мы знаем по рукописям, как правило – по спискам, отражающим иногда разные редакции и их варианты, и лишь в единичных случаях – по автографам. Естественный ход событий и различные катаклизмы (пожары, войны, стихийные бедствия и т. п.) приводили к гибели множества рукописных книг, но их содержание не всегда оказывается утраченным безвозвратно. Современная текстологическая наука позволяет на основе сравнения сохранившихся версий того или иного сочинения восстанавливать с большей или меньшей степенью достоверности утраченные списки¹⁵. Предполагаемый непосредственный источник, с которого переписывался текст, принято называть антиграфом, общий источник двух или группы списков – протографом, общий источник для всех сохранившихся списков того или иного сочинения – архетипом. В результате более чем двухвекового изучения произведений древнерусской литературы было установлено, что их тексты, как правило, представляют собой сложные по происхождению компиляции разнообразных источников. Используя уже имеющиеся произведения, древнерусский писатель мог их свободно компилировать, редактировать, сокращать, дополнять, сливать воедино, при этом он зачастую исходил из интересов своего княжества или земли, города или монастыря, отражал свое понимание истории и явленного в ней добра и зла.

До наших дней сохранились сотни тысяч древнерусских рукописных книг, находящихся, главным образом, в государственных хранилищах – в библиотеках, музеях и архивах. Сведения о сохранившихся рукописных книгах, основных хранилищах, описаниях

¹⁵ См.: *Лихачев Д. С.* (при участии А. А. Алексева и А. Г. Боброва). Текстология: На материале русской литературы XI–XVII вв. 3-е изд., перераб. и доп. СПб., 2001.

и каталогах можно обнаружить в обзорных и справочных изданиях¹⁶. Большинство рукописей в процессе своего бытования многократно меняло место хранения, в результате чего собрания, как правило, не сохранились до наших дней в исторически сложившемся виде. Их состав может быть частично реконструирован на основании исследовательского анализа текстовых и кодикологических признаков некогда входивших в них рукописных книг.

Для наглядности представим доступные данные о количестве сохранившихся древнерусских рукописных книг XI–XV вв. по векам на диаграмме 1.

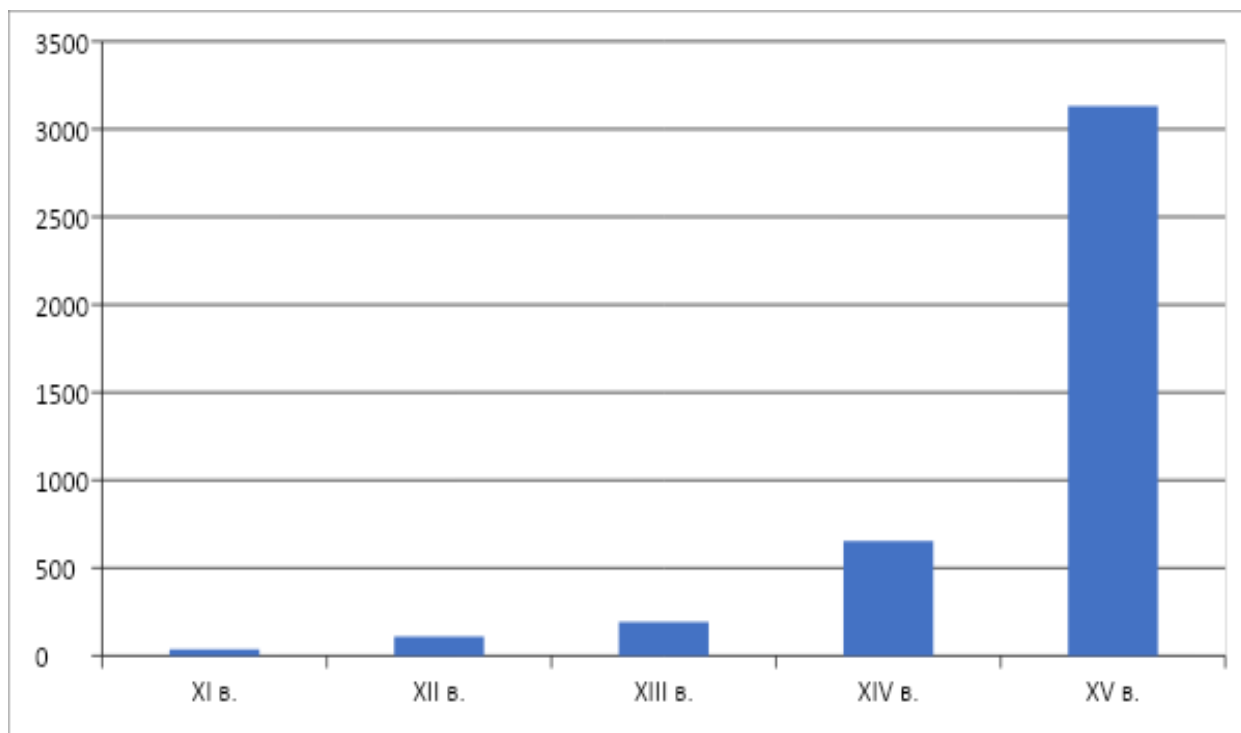


Диаграмма 1

От XV в. на Руси сохранилось в три с лишним раза больше книг, чем за все предыдущие четыреста лет вместе взятые (XI–XIV вв.), но оказывается, что в XV в. растет не только количество сохранившихся рукописных книг, что естественно, но и темпы роста

¹⁶ См.: Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР, XI–XIII вв. М., 1984; Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в России, странах СНГ и Балтии. XIV век. Вып. 1 (Апокалипсис – Летопись Лаврентьевская). М., 2002; Предварительный список славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в СССР (Для Сводного каталога рукописных книг, хранящихся в СССР). М., 1986; Дополнения к «Предварительному списку славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в СССР» (М., 1986). М., 1993; *Столярова Л. В.* Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских пергаментных кодексов XI–XIV вв. М., 2000 и др.

их числа (диаграмма 2). Если в XII в. по сравнению с XI в. количество сохранившихся рукописных книг увеличилось в 3,1 раза, то трагический век татаро-монгольского нашествия дал рост только в 1,7 раза. XIV в. показал рост в 3,4 раза по сравнению с XIII в., а в XV столетии количество сохранившихся книг увеличилось по сравнению с предыдущим веком в рекордные 4,8 раза¹⁷.

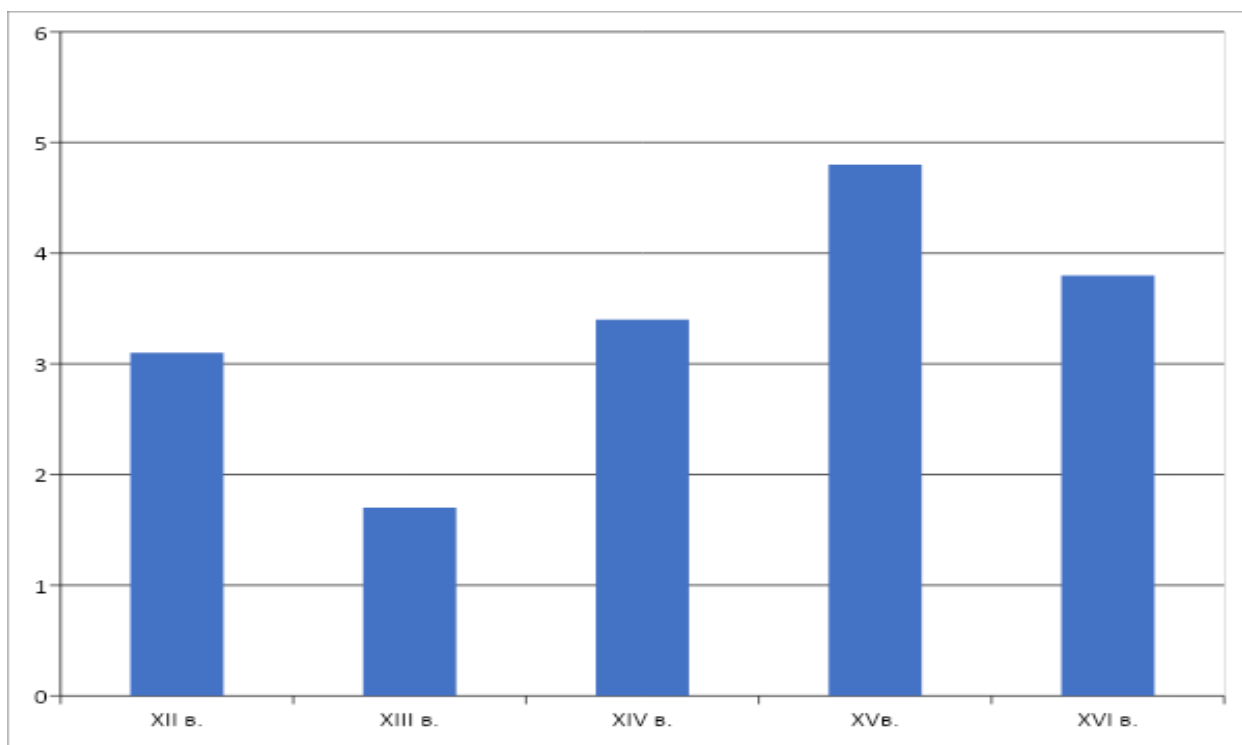


Диаграмма 2

Несомненно, первые рукописные книги должны были появиться на Руси по крайней мере в конце X в., при крестителе Руси Владимире Святославиче, но мы не имеем о них никаких свидетельств. Древнейшие рукописи и достоверные сведения о их существовании датируются XI в.

В Повести временных лет под 1037 г. говорится о сыне Владимира Ярославе Мудром, что он «книгам прилежа и почитая е часто в нощи и в дне. И собра писца многы и прекладаше от грек и словенское писмо и списаша книги многы». Далее в той же летописной статье рассказывается, что «Ярослав же се, яко реком любим бе книгам, многы

¹⁷ В XVI в. темпы роста количества рукописных книг вновь падают: согласно подсчетам А. С. Усачева, рост лишь в 3,6—4 раза (Усачев А. С. О количестве сохранившихся славяно-русских рукописных книг XVI в. // Румянцевские чтения — 2010. Ч. 2: Материалы международной научной конференции (20–22 апреля 2010). М., 2010. С. 187).

написав, положи в святей Софье церкви, юже созда сам»¹⁸. Таким образом, древнейшим книжным собранием Руси, о существовании которого сохранилось определенное свидетельство, с первой половины XI в. была библиотека Киевской Софии, кафедрального собора нового диоцеза православной церкви. Здесь, возможно, создавалось и было произнесено одно из первых произведений литературы Древней Руси – «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона (1040-е гг.).

Наиболее значительные памятники книжности раннего периода являются либо непосредственно княжескими заказами, либо заказами «княжеских» духовных корпораций (Изборники 1073 и 1076 гг., Мстиславово евангелие и др.¹⁹). Д. С. Лихачев высказал предположение, что Изборник 1076 г. – это книга, предназначенная для чтения князем в походе, своеобразная маленькая походная библиотека²⁰. Княжеская книжная традиция породила такие выдающиеся произведения как Поучение Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве», «Слово о князьях», «Слово о погибели Русской земли», Русскую Правду, многочисленные летописные своды и т. д. Вообще княжеский род и Русская земля в равной степени были главными героями древнерусской оригинальной книжности рассматриваемого периода. Поскольку сама Русская земля считалась совместным владением всего рода Рюриковичей, а субъектом владетельного права был весь княжеский род, постольку князья переходили из одного княжества в другое по принципу «лествичного восхождения». Как отметил Н. Н. Розов, вместе с князьями перемещались и книжные фолианты²¹. Создание рукописных книг в первые века русской истории было доступно немногим: книжного рынка еще не существовало (нет записей о продаже книг этого периода), а заказчиками зачастую выступали представители княжеского рода или их ближайшего окружения. В приписках сохранившихся рукописных книг XI–XIV вв. в качестве заказчиков названо 10 князей²². В тех случаях, когда заказчиками выступали духовные лица или корпорации (кафедры, монастыри, храмы), зачастую можно предполагать княжеское опосредованное влияние через вклады и пожертвования. И после принятой нами хронологической границы 1350 г. «княжеское» участие в истории

¹⁸ Полное собрание русских летописей. Л., 1926. Т. 1: Лаврентьевская летопись, вып. 1: Повесть временных лет. Стб. 151–153.

¹⁹ В записи на л. 276 Изборника 1076 г. говорилось, что его содержание «избърано из мьногъ книгъ княжихъ» (но, возможно, речь идет о протографе, созданном при болгарском царе Симеоне; см.: *Мошкова Л. В., Турилов А. А.* «Плоды ливанского кедра». [Б. м.], 2003. С. 35–36).

²⁰ *Лихачев Д. С.* Назначение Изборника 1076 г. // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1990. Т. 44. С. 179–184.

²¹ *Розов Н. Н.* Книга в России XI–XIV вв. Л., 1977. С. 116.

²² Там же. С. 96–97.

древнерусской литературы и книжности представляется несомненным (достаточно назвать имена Гедиминовича Вассиана Патрикеева и Рюриковича Андрея Курбского), но в целом развитие пойдет все в большей и большей степени в рамках монастырей.

Параллельно с «княжеской» книжной традицией, преобладавшей в ранний период, уже в XI в. зарождается другая, «монастырская», в той или иной степени независимая от светской власти. Значительная часть известных нам по именам древнерусских писателей относилась к числу монахов. Именно монашеское служение позволяло древнерусскому писателю иметь необходимые условия для литературного труда – не только свободное от других занятий время, но и доступ к монастырским книжным собраниям.

Древнейшие русские монастыри домонгольского периода в абсолютном большинстве были патрональными («ктиторскими»), княжескими или боярскими «особными» («особина» – личное имущество), также именуемыми «келлиотскими», обителями. В таких монастырях иноки владели своим собственным личным имуществом, включая не только иконы, книги, одежду и утварь, но также и сами жилые помещения – кельи, а общей у них была только церковь, куда они собирались на службу. Соответственно, все рукописи в таких обителях келлиотского типа находились в собственности иноков, кроме книг, необходимых для богослужения, хранящихся в церкви и не являющихся, строго говоря, библиотекой. Монастырские книжные собрания начинают широко распространяться в Древней Руси значительно позже, с развитием общежительства и с появлением в общежительных монастырях («киновиях») общей собственности на имущество, в том числе на книги. Характерной особенностью монастырских книжных центров стало объединение ими функций создания, использования и хранения рукописных книг. В целом бурное развитие и распространение древнерусских общежительных монастырей – «киновий» – начинается со второй половины XIV в., а в домонгольский период обители такого типа были редкостью.

Почти все монастыри раннего периода были келлиотскими, но среди них выделяется основанный в середине XI в. общежительный Киево-Печерский монастырь. Изначально появившийся как пещерный, независимый от княжеской власти, Киево-Печерский монастырь стал крупнейшим книжным и литературным центром Руси домонгольского периода. Его древняя монастырская библиотека до нас не дошла, но можно судить о ее богатстве по наличию позднейших списков произведений, связанных своим происхождением с этой обителью (Послания Феодосия Печерского, Начальный летописный свод и Повесть временных лет, Житие Феодосия Печерского, Киево-Печерский патерик и др.) и по сведениям в источниках о находившихся в ней, но впоследствии утраченных рукописных памятниках (таких как «Летописец старый ростовский» и Житие

Антония Печерского²³). Согласно Житию Феодосия Печерского, специально для Киево-Печерской обители в Константинополе, где жил в 1060-х гг. Ефрем Скопец, (постриженник Киево-Печерского монастыря, позже ставший владыкой Переяславским), был заказан и переписан Устав Студийского монастыря. Печерские иноки, как убедительно показал А. Поппэ, были представителями движения студитов, последователей великого реформатора византийского монашества Феодора Студита²⁴.

Летописное сказание сообщает, что еще до основания обители на ее месте первым выкопал пещеру для уединенных молитв священник Иларион, в скором будущем митрополит Киевский, автор «Слова о Законе и Благодати». Известно, что Иларион был священником в пригородном храме в селе Берестово, где находилась загородная княжеская резиденция, принял монашество, был рукоположен собором епископов главой Киевской митрополии в 1051 г. После смерти Ярослава Мудрого в 1054 г. Иларион источниками не упоминается. «Слово о Законе и Благодати» датируется промежутком от 1037 г., времени строительства храма Благовещения на Золотых воротах в Киеве, о чем упоминает автор, до 1050 г., предполагаемой даты смерти жены князя Ярослава Владимировича Ирины-Ингигерды, которая упоминается Иларионом как еще живущая. Это сочинение, глубокое по содержанию и совершенное по форме, посвящено прославлению христианской веры как более высокой ступени, чем вера иудейская, на пути познания Бога. Ветхий завет (Закон), по мысли Илариона, завершил свой исторический путь, а Новый Завет (Благодать) открывает новую страницу Священной истории. Иларион прославлял новокрещеный русский народ и крестившего его князя Владимира²⁵.

Судьба Илариона после оставления митрополичьей кафедры неизвестна, что дало почву предположительно отождествлять его с киево-печерским иноком Ларионом, который, согласно Житию Феодосия Печерского, написанному Нестором, «чърньць

²³ Владимирский епископ Симон в XIII в. писал Поликарпу, что существовало Житие Антония Печерского, и он сам читал в нем о том, что святой постриг в монахи и рукоположил в иереи будущего епископа Ростовского Леонтия («сам чел еси в житии святого Антония, яко от того пострижен бысть, тако священства сподоблен» – *Абрамович Д. И.* Патерик Киевского Печерского монастыря. СПб., 1911. С. 76).

²⁴ См.: *Поппэ А.* Студиты на Руси: Истоки и начальная история Киево-Печерского монастыря. Київ, 2011. С. 18—45.

²⁵ Первоначальная редакция Слова, в которой содержится похвала не только Владимиру Святославичу, но и его сыну Ярославу, сохранилась в единственном списке последней трети XV в., где она сопровождается Молитвой, Исповеданием веры и автобиографической припиской (ГИМ, Синодальное собр., № 591, л. 168–203; изд.: Слово о законе и благодати митрополита Илариона / Подгот. текста и комм. А. М. Молдована, пер. диакона Андрея Юрченко // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 1: XI–XII века. С. 26–61).

Иларионъ съповѣда ми. Бяше бо и книгамъ хытръ псати, сий по вся дъни и нощи писааше книги въ келии у блаженааго отьца нашего Феодосия»²⁶, или же с самим Никоном Великим²⁷. Хотя эти гипотезы сомнительны, тесная связь митрополита Илариона с Киево-Печерским монастырем несомненна и определяется уже тем реальным или символическим фактом, что его пещера предопределила место будущей обители.

Никон Великий – не менее загадочная и грандиозная фигура, чем митрополит Иларион. Он является как бы ниоткуда: около 1058 г. Никон, неоднократно называемый в Житии Феодосия Печерского «великим», пришел в Киево-Печерский монастырь уже иеромонахом (то есть священником и иноком). Где он получил образование и принял постриг, неизвестно. Его биография в последующие годы довольно ясно прослеживается по сведениям Повести временных лет, Жития Феодосия Печерского и Киево-Печерского патерика. В 1060–1061 гг. он постриг в монахи сына киевского боярина Иоанна (отождествляемого с Янем Вышатичем) и еще одного скопца, сына человека, приближенного к великому князю Изяславу. Это вызвало княжеский гнев, и в результате Никон вынужден был уехать в Тмутаракань, где основал монастырь Пресвятой Богородицы. Там он прожил до 1067 г., когда приехал вновь в Киев с поручением добиться поставления нового князя вместо отравленного Ростислава Владимировича. Год спустя он возвращается в Печерскую обитель, но после 1073 г., когда Изяслав был изгнан братьями из Киева, снова уезжает в Тмутаракань, откуда возвращается лишь после смерти Святослава Ярославича (1076 г.). С 1078 г. и до смерти в 1088 г. Никон Великий является игуменом Киево-Печерского монастыря. Основываясь на биографии Никона, А. А. Шахматов установил, что в статьях Повести временных лет отражается его «точка зрения», соответствующая перемещениям инока из Киева в Тмутаракань и обратно. Исследователь выдвинул гипотезу, что Никон был создателем Киево-Печерского летописного свода, который он датировал 1073 г. (временем перед вторым отъездом в Тмутаракань). В этом произведении впервые были соединены вместе в систему погодного летописания исторические записи предшествующих времен и устные предания киевского, новгородского и причерноморского происхождения, то есть, именно Никон, по мысли А. А. Шахматова, создал древнерусское летописание как особый жанр²⁸.

²⁶ Житие Феодосия Печерского // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: 1997. Т. 1: XI–XII века. С. 394.

²⁷ *Присёлков М. Д.* Митрополит Иларион, в схиме Никон, как борец за независимую Русскую Церковь: Эпизод из начальной истории Киево-Печерского монастыря // С. Ф. Платонову ученики, друзья и почитатели: [Сб.]. СПб., 1911. С. 188–201.

²⁸ *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 420–460.

Считается, что Повесть временных лет (далее – ПВЛ) написал Нестор-летописец, но, как это часто бывает с общеизвестными истинами, при внимательном рассмотрении дело обстоит и так, и не совсем так. В XVIII столетии основоположники изучения древнерусских исторических сочинений не сомневались в его авторстве, но уже в XIX в. стало ясно, что и до Нестора существовали какие-то записи исторических событий, использованные при создании ПВЛ, которая дошла до нас в многочисленных списках и выписках, отстоящих от времени ее создания на многие столетия. Самая ранняя рукопись, содержащая летописный текст, Синодальный список Новгородской первой летописи, датируется XIII–XIV вв., в то время как древнерусское летописание, несомненно, зародилось еще в XI в. (предположения о возникновении летописания в X в. лишены серьезных оснований). В начальной части большинства русских средневековых летописей находится ПВЛ или восходящие к ней краткие выписки. Древнейшие и наиболее авторитетные списки этого сочинения, охватывающего историю от Потопа до начала XII в., — это пергаментный Лаврентьевский список 1377 г. и Ипатьевский 1420—1430-х гг. Они представляют две группы списков или две редакции ПВЛ. Среди списков более позднего времени к Лаврентьевскому наиболее близки Радзивилловский конца XV в. (украшенный многочисленными иллюстрациями, копирующими миниатюры более древнего лицевого протографа), а также пергаментный Троицкий (сгоревший во время нашествия Наполеона) и Московско-Академический списки. Эту же версию текста представляет отчасти сокращенный, а отчасти дополненный в XV в. любопытными подробностями Летописец Переяславля Суздальского. С Ипатьевским списком наиболее схож Хлебниковский, единственный, упоминающий в заглавии ПВЛ имя Нестора. Последняя рукопись датируется XVI в., а остальные относятся к XV столетию.

Гипотеза А. А. Шахматова о существовании Киево-Печерского летописного свода 1073 г. вытекает из содержания самой ПВЛ: события в монастыре начиная с 1060-х гг. находились в фокусе внимания летописца, и о многих он сообщал как очевидец. А. Поппэ предложил перенести датировку Киево-Печерского летописного свода с 1073 т. (по А. А. Шахматову) на 1078—1088 гг., то есть ко времени, когда Никон был игуменом обители²⁹. В этой связи обращают на себя внимание два эпизода ПВЛ, которые считались написанными после смерти настоятеля, — рассказы о том, как инок Матвей увидел в церкви осла на месте Никона, опоздавшего к службе, и упоминание того, что игумен бил юродствующего монаха Исакия. Считалось, что при жизни самого Никона летописец не мог

²⁹ См.: Поппэ А. А. Шахматов и спорные вопросы начала русского летописания // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. М., 2008. № 3 (33). С. 76–85.

бы допустить такие «выходки»³⁰, поэтому эти фрагменты датировались более поздним временем. Можно, однако, предложить другое объяснение их появления в летописи. Д. С. Лихачев отмечал как характерную черту средневекового комизма «валяние дурака», «шутовство», направленность смеха «против самой личности смеющегося и против всего того, что считается святым, благочестивым, почетным»³¹. Эпизоды с ослом и с юродивым могут быть рассмотрены не как обличающие Никона Великого (это было бы странно не только при его жизни, но и после его кончины), а как «смеховые». В таком случае напрашивается вывод, что автором этих фрагментов мог быть только сам настоятель, ибо такова специфика средневекового смеха. Следовательно, подтверждается мысль А. Поппэ о том, что летописание в Киево-Печерском монастыре велось в 1078—1088 гг., в годы игуменства Никона, при его деятельном участии. К этому же десятилетию игуменства Никона А. Поппэ предлагает относить и написание агиографом Нестором «Жития Феодосия Печерского»³².

Еще более ранние этапы летописания на Руси остаются в тени. А. А. Шахматов предполагал, что Киево-Печерскому своду 1073 г. предшествовали еще два летописных произведения: Новгородский свод 1050 г. и Древнейший Киевский свод 1039 г. Составление Свода 1039 г. исследователь связывал с завершением строительства Софийского собора в Киеве и с учреждением митрополии на Руси. Последующие разыскания показали, что выдвинутые им для обоснования существования Древнейшего Киевского свода аргументы не имеют доказательной силы: митрополия была учреждена намного раньше в связи с принятием христианства, а якобы завершавшая Свод 1039 г. похвала Ярославу Мудрому на самом деле была составлена позднее и дает ретроспективную оценку всей деятельности князя, умершего в 1054 г. Особое значение А. А. Шахматов придавал указанию в тексте ПВЛ на то, что могила князя Олега Святославича, погибшего в 977 г., находится у города Овруча «до сего дне»³³. Дело в том, что в статье 1044 г. ПВЛ рассказывает про посмертное крещение и перезахоронение в киевской Десятинной церкви останков Олега и его брата Ярополка, из чего исследователь делал вывод о написании соответствующего текста летописи до этого события. Этот аргумент, однако, также был подвергнут сомнению на том основании, что могилой языческого князя именовался курган, оставшийся у Овруча и после перезахоронения останков, поэтому

³⁰ См.: Лихачев Д. С. Комментарии // Повесть временных лет. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1999. С. 501 (Сер. «Литературные памятники»).

³¹ Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976. С. 9.

³² См.: Поппэ А. Студиты на Руси. С. 68—100.

³³ Повесть временных лет. 2-е изд., испр. и доп. С. 58.

слова «до сего дне» (аргумент А. А. Шахматова) не может служить для датировки появления Древнейшего Киевского свода³⁴. Такими же зыбкими являются и основания для выявления Новгородского свода 1050 г., хотя отдельные записи исторических событий в Новгороде XI в., возможно, существовали. Таким образом, иноки Киево-Печерского монастыря во второй половине XI в. были причастны не только к созданию ряда древнейших памятников русского летописания, но и, скорее всего, к самому появлению столь важного для Древней Руси жанра летописного повествования.

Летописание являлось не только хронологической, но и смысловой осью русской средневековой культуры. В отличие от византийских хроник древнерусская летопись излагала историю человечества не по «царствам», а по годам («летам»). Аннализация (изложение исторических событий по годам), доминировавшая в ранней римской историографии, была известна и средневековой европейской традиции, но не занимала в ней такого исключительного положения, как в Древней Руси. Даже когда создатель летописи включал в состав своего труда цельные сочинения, охватывавшие большой отрезок истории, он зачастую распределял их текст по разным годовым статьям. Этот отход от византийского «хроникального» принципа повествования связан с иным отношением к мироустройству, проявлявшимся, в частности, в том, что временные отрезки земного существования определялись не периодами правлений самодержцев, а годовым ритмом.

Представление о Несторе как об авторе летописного текста базируется на двух важнейших указаниях древнерусских рукописей. Во-первых, в заглавии ПВЛ по Хлебниковскому списку прямо названо его имя: «Повѣсть временныхъ лѣтъ черноризца Федосьева монастыря Печерьскаго Нестера черноризца»³⁵ (последних двух слов нет в других списках, а в Лаврентьевском нет упоминания и о «Федосьеве монастыре»). Во-вторых, в Киево-Печерском патерике при перечислении преподобных отцов, живших в обители, упоминается «Нестер, иже тѣ написа лѣтописец», и далее автор патерика прямо ссылается на него: «якоже блаженый Нестер в лѣтописци написа»³⁶.

Писатель конца XI — начала XII в. Нестор известен также как автор двух агиографических произведений — Жития Феодосия Печерского и Чтения о Борисе и Глебе. Первое из них дошло до нас в составе древней пергаментной рукописи, Успенского

³⁴ См.: *Поппэ А. А. Шахматов и спорные вопросы начала русского летописания.* С. 78—79.

³⁵ Полное собрание русских летописей. СПб., 1908. Т. 2. 2-е изд. С. 3 (Примеч. 23).

³⁶ Древнерусские патерики. Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик / Изд. подгот. Л. А. Ольшевская, С. Н. Травников. М., 1999. С. 38, 42.

сборника XII–XIII вв.³⁷. Из Жития Феодосия Печерского мы узнаем, что его автор Нестор был пострижен в Киево-Печерском монастыре при игумене Стефане (1074—1078 гг.), и это решительно расходится со словами ПВЛ в статье 1051 г. о приходе летописца в обитель еще при жизни преподобного Феодосия (до 1074 г.). Такого рода противоречий между житийными текстами и летописью исследователи насчитали около десяти, поэтому существуют сомнения в отождествлении Нестора-агиографа и Нестора-летописца. Во всяком случае, Нестор-агиограф, ставший иноком Киево-Печерского монастыря после кончины преп. Феодосия, должен отличаться от некоего летописца, принятого в обитель самим Феодосием.

Какой же летописный текст может принадлежать перу Нестора? В поисках ответа на этот вопрос исследователи предлагали самые разнообразные версии. А. А. Шахматов полагал, что летописец Нестор около 1110–1112 гг. создал первую редакцию ПВЛ, но она не сохранилась. После смерти покровителя Киево-Печерского монастыря Святополка Изяславича (1113 г.) летопись была передана в Выдубицкий Михайловский монастырь, связанный с Владимиром Мономахом и его родом. В 1116 г. игумен этой обители Сильвестр создал вторую редакцию ПВЛ, представленную в Лаврентьевском списке. Наконец, в 1118 г. по поручению сына Владимира Мономаха Мстислава была создана третья редакция произведения, отразившаяся в Ипатьевском списке. Для обоснования такой картины исследователь вынужден был предполагать, что третья редакция ПВЛ в отдельных случаях повлияла на вторую, что снижает убедительность предложенной гипотезы. Полагают, что если Нестор был автором не ПВЛ, а предшествовавшего ему Начального свода, то отмеченные противоречия между летописью и Житием Феодосия Печерского благополучно устраняются³⁸, но в таком случае остается открытым вопрос о причине появления его имени в заглавии Хлебниковского списка. Как бы то ни было, ясного и принятого всем научным сообществом мнения о том, какой именно текст принадлежит перу Нестора-летописца, до сих пор не существует.

Монахами Киево-Печерской обители были такие древнерусские писатели домонгольского периода как Феодосий Печерский (ок. 1036–1074 гг., автор поучений), Никон Великий (ум. в 1088 г., создатель гипотетического летописного «Свод Никона» 1073 г.), игумен Иоанн (XI в., предполагаемый составитель Начального летописного свода 1093–

³⁷ См.: Успенский сборник XII–XIII вв. / Изд. под ред. С. И. Коткова. М., 1971. С. 71–135.

³⁸ См.: *Алешковский М. Х.* Повесть временных лет. Судьба литературного произведения в Древней Руси. М., 1971. С. 21–31; *Зиборов В. К.* О новой биографии Нестора // *Древняя Русь. Вопросы медиевистики.* М., 2008. № 3 (33). С. 26–28 и др.

1095 г.), Ефрем Переяславский (XI в., предполагаемый автор сочинений, посвященных Николаю Мирликийскому), Иаков (XI в., предполагаемый автор Похвального слова князю Владимиру), Нестор Летописец (1050-е гг. (?) – начало XII в., автор Житий Бориса и Глеба и Феодосия Печерского, предполагаемый автор первой редакции «Повести временных лет»), Нифонт Новгородский (ум. в 1156 г., автор ответов на вопросы Кирика Новгородца, основатель владычного летописания в Новгороде), Феодосий Грек (XII в., переводчик «Епистолии» папы Льва I о ереси Евтихия), создатели Киево-Печерского патерика Симон (ум. в 1226 г.) и Поликарп (конец XII – первая половина XIII в.)³⁹. Из писателей более позднего времени киево-печерскими монахами были Серапион Владимирский (ум. в 1275 г., автор поучений), Дионисий Суздальский (ум. в 1385 г., автор грамоты, инициатор создания Лаврентьевской летописи) и Кассиан (XV в., создатель двух редакций Киево-Печерского патерика)⁴⁰. Сочинения и рукописи этих авторов могут быть проанализированы в связи с объединяющим их Киево-Печерским книжным центром, в котором традиция осознавалась как ценность, заслуживающая описания и продолжения.

Если братия Киево-Печерского монастыря была относительно независима от княжеской власти (вплоть до угрозы покинуть страну в конфликтной ситуации), то остальные монастыри не обладали подобной самостоятельностью. По Житию Феодосия известно, что в середине XI в. в Киеве и его окрестностях существовали некие другие обители, помимо Киево-Печерского монастыря, которые отрок обошел в поисках места пострижения, но нигде не был принят без вклада. Очевидно, это были «келлиотские», ктиторские монастыри, находящиеся под патронажем представителей княжеской династии или их ближайшего окружения.

В летописных статьях 1072 г. и 1115 г. о первом и втором перенесении мощей Бориса и Глеба отмечалось присутствие игуменов ряда обителей, причем в обоих случаях сразу после Киево-Печерского назывался настоятель Михайловского монастыря в Выдубичах. Видимо, авторитет этой обители, основанной около 1070 г. рядом с княжеским Красным двором сыном Ярослава Мудрого Всеволодом, был весьма высок. Выдубицкий монастырь располагался на юго-восток от Киева, всего в трех километрах от Киево-Печерской обители. Сообщение ПВЛ под 1070 г. о строительстве Михайловской церкви в этом монастыре следует непосредственно после известия о рождении у князя Всеволода Ярославича сына Ростислава. Традиционно предполагается связь между этими известиями

³⁹ См.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. С. 457–459; 279–281; 210; 125–126; 191–192; 274–278; 281–282; 459–461; 370–373; 392–396.

⁴⁰ См.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1988. Вып. 2: (Вторая половина XIV–XVI в.), ч. 1. С. 187–191; 462–464.

и делается вывод о том, что церковь была посвящена патрональному святому родившегося сына. Хотя крестильное имя Ростислава в источниках отсутствует, вероятность этого действительно существует, поскольку Выдубицкий монастырь впоследствии известен как княжеская обитель Мономаховичей (потомков другого сына Всеволода — Владимира Мономаха), и в этом роду дважды повторяется сочетание мирского имени Ростислав и крестильного имени Михаил⁴¹.

Согласно А. А. Шахматову, вскоре после смерти в 1113 г. покровителя Киево-Печерского монастыря князя Святополка Изяславича и вокняжения Владимира Мономаха, рукописная книга с «Несторовым» текстом ПВЛ была передана в Выдубицкий монастырь. В 1116 г. игумен этой обители Сильвестр переработал текст в «промомаховском» духе и создал вторую редакцию ПВЛ, представленную в Лаврентьевском списке, он же сократил упоминание «Федосьева монастыря Печерскаго» в заглавии летописи. Вместо этого выдубицкий игумен оставил собственную запись:

«Игумень Силивестръ святаго Михаила написахъ книги си лѣтописецъ, надѣяся отъ Бога милость прияти, при князи Володимерѣ, княжащю ему Киевѣ, а мнѣ в то время игуменящю у святаго Михаила, въ 6624, индикта 9 лѣта; а иже чтеть книги сия, то буди ми въ молитвахъ»⁴².

По мнению А. А. Шахматова, Сильвестр являлся составителем второй редакции ПВЛ, однако, позднейшие исследователи колеблются в определении его вклада в летописание от понимания его работы как полностью авторской до признания его простым копиистом. Некоторые исследователи считают его автором всей ПВЛ⁴³. Этот вопрос остается дискуссионным. В 1118 г. Сильвестр стал епископом Переяславским (Переяславля Южного). Возможно, отправляясь на владычество, он взял с собой список ПВЛ, который впоследствии лег в основу летописной традиции Северо-Восточной Руси. Умер Сильвестр в 1123 г.⁴⁴.

Следующая по времени создания запись писца летописи также находится в Лаврентьевском списке, но уже в самом конце рукописи, на л. 172 об. — 173. В колофоне

⁴¹ См.: Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв.: Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006. С. 599–600.

⁴² Полное собрание русских летописей. М., 1997. Т. 1. Стб. 286; ср.: Присёлков М. Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. СПб., 2002. С. 205.

⁴³ Срезневский И. И. Статьи о древних русских летописях (1853—1866). СПб., 1903. С. 111—114; Грушевський М. С. Історія української літератури. Київ; Львів, 1923. Т. 2. С. 127; Толочко А. П. 1) Перечитывая приписку Сильвестра 1116 г. // *Ruthenica*. 2008. Vol. 7. P. 154–165; 2) Очерки начальной Руси. Киев; СПб., 2015. С. 17—100; Михеев С. М. Кто писал «Повесть временных лет»? М., 2011.

⁴⁴ Лихачев Д. С. Комментарии // Повесть временных лет. С. 541.

содержится запись, принадлежащая руке основного писца рукописи, по имени которого летопись получила название – монаха Лаврентия:

«Радуется купецъ, прикупъ створивъ, и кормъчии, въ отишье приставъ, и странник, въ очьство свое пришед, – тако же радуется и книжныи писатель, дошед конца книгам, тако же и азъ, худый, недостойныи и многогрѣшныи рабъ Божии Лаврентеи мних. Началь есмь писати книги сия глаголемыи Лѣтописецъ месяца генваря въ 14, на память святыхъ отецъ нашихъ аввад, в Синаи и в Раифѣ избъеных, князю великому Дмитрию Костянтиновичю, а по благословенью священнаго епископа Дионисья. И кончаль есмь месяца марта въ 20, на память святыхъ отецъ нашихъ, иже в монастыри святаго Савы избъеных от срацинь, в лѣто 6885 [1377 г.], при благовѣрном и христоролюбивом князи великом Дмитрии Костянтиновичи и при епископѣ нашем христоролюбивѣм, священномъ Дио[ни]сѣмъ Суздальском и Новгородском и Городьском. И нынѣ, господа отци и братья, оже ся гдѣ буду описаль, или переписаль, или не дописаль, чтите, исправливая Бога дѣля, а не клените, занеже книги ветшаны, а умь молодъ не дошелъ. Слышите Павла апостола, глаголюща: «Не клените, но благословите». А со всѣми нами хрестьяны Христось, Богъ наш, Сынъ Бога живаго, ему же слава и держава, и честь, и поклонянье со Отцемъ и с Святемъ Духомъ, и ныня и присно, въ вѣкы. Аминь»⁴⁵.

Из записи мы узнаем, что Лаврентий работал над рукописью с 14 января до 20 марта 1377 г. (чуть более двух месяцев) по благословлению епископа Суздальского Дионисия, «князю великому» (очевидно, указание на заказчика) Дмитрию Костянтиновичу, и что между последней летописной статьей 1305 г. и временем работы Лаврентия прошло 72 года⁴⁶. Вероятно, у него не было под рукой летописного материала за XIV в. и «монах Лаврентий, следовательно, скопировал “ветшаную” рукопись великокняжеского свода начала XIV в.»⁴⁷.

На л. 1об. – 96 содержится текст первой редакции ПВЛ, оканчивающейся летописной статьей 1110 г., а далее на л. 96–172 об. читается текст Суздальской летописи (со статьи 1111 г. до статьи 1305 г.). Посередине статьи 1096 г., явно не на своем месте помещено Поучение Владимира Мономаха, не встречающееся более нигде. Переписанный Лаврентием летописный свод 1305 г. был создан при великом князе Владимирском

⁴⁵ Полное собрание русских летописей. Л., 1926. Т. 1, вып. 1. Стб. 487—488.

⁴⁶ В Лаврентьевской летописи отразился великокняжеский летописный свод 1305 г. (см.: *Присёлков М. Д.* История русского летописания. СПб., 1996. С. 159—164).

⁴⁷ *Клосс. Б. М.* Предисловие к изданию 1997 г. // Полное собрание русских летописей. Т. 1. С. 9.

Михаиле Ярославиче, «первым решившимся после нашествия Батыя на прямое сопротивление хану (1317 г.) и казненным за это в Золотой Орде»⁴⁸.

Весьма непросто вопрос, где именно работал Лаврентий над рукописью. Имеются лишь свидетельства о ее более позднем бытовании. На л. 1 находится запись первой половины XVII в., из которой следует, что рукопись в то время принадлежала Рождественскому монастырю во Владимире. Фрагментарно сохранившаяся более ранняя запись XVI–XVII вв. «...лов[е?]ще[н]ск...» наводит на мысль о некоем Благовещенском монастыре⁴⁹. По мнению Е. М. Шварц, речь здесь может идти, скорее всего, о Нижегородском Благовещенском монастыре – «единственной крупной древней обители суздальско-нижегородской епархии с таким посвящением»⁵⁰ (т. е. с посвящением Благовещению Богородицы). Кроме того, в литературе отмечались использование текста Лаврентьевской летописи в Печерском Вознесенском монастыре в Нижнем Новгороде в XVII в. при составлении Печерского летописца, а также тот факт, что благословивший написание рукописи епископ Дионисий Суздальский до своего поставления на кафедру был архимандритом данного монастыря⁵¹, что в совокупности свидетельствует в пользу раннего бытования кодекса Лаврентия 1377 г. не во Владимире, а в Нижнем Новгороде.

Для заказчика, великого князя Суздальско-Нижегородского Дмитрия Константиновича, создание копии ветхого списка летописи имело политический смысл. Это произошло спустя год с небольшим после разорения Нижнего Новгорода новгородскими ушкуйниками. Возможно, официальная летопись Нижегородско-Суздальского великого княжества сгорела, когда в 1375 г. новгородские ушкуйники Прокон и его дружина, «шедше на низ по Волгѣ, пограбиша Новград Нижнии и много всякого полона взяша, и град зажгоша»⁵². Утрата собственной летописи могла побудить Нижегородско-Суздальского великого князя Дмитрия Константиновича найти и уже в начале 1377 г. скопировать ветхий и дефектный, с пропусками листов, список летописи, принадлежавшей великому княжеству Владимирскому и доведенной до 1305 г. Скорее всего, этот древний пергаментный кодекс («книги ветшаны») оказался доступен Дмитрию Константиновичу потому, что он сам в начале 1360-х г. был великим князем Владимирским.

⁴⁸ *Лурье Я. С.* Летопись Лаврентьевская // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1. С. 241—245.

⁴⁹ [*Шварц Е. М.*]. Летопись Лаврентьевская // Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в России, странах СНГ и Балтии: XIV век. М., 2002. Вып. 1: (Апокалипсис – Летопись Лаврентьевская). С. 552, 554.

⁵⁰ Там же. С. 554.

⁵¹ *Клосс Б. М.* Предисловие к изданию 1997 г. С. 9–10.

⁵² Полное собрание русских летописей. СПб., 2002. Т. 42: Новгородская Карамзинская летопись. С. 137.

В силу исторических причин новгородская книжность сохранилась в более полном объеме, чем книжность других восточнославянских областей Руси. С Новгородом связано большинство сохранившихся рукописных книг и ряд литературных произведений раннего периода. Историю новгородской книжности можно было бы начать с так называемой «Влесовой книги», якобы записанной на деревянных дощечках в Новгородских землях в IX в., если бы она не была очевидной для специалистов мистификацией XX в.⁵³ Другая возможная отправная точка истории древнерусской книжности в целом и новгородской, в частности, – это найденная археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде в июле 2000 г. «Новгородская псалтырь» начала XI в. Именованная «древнейшей рукописной книгой Руси» наталкивается, однако, на определенные трудности, поскольку она представляет собой не «кодекс» в палеографическом смысле, а комплект из трех вощёных липовых дощечек, выполнявших прикладную роль черновика⁵⁴. Технически и функционально «Новгородская псалтырь» не является рукописной книгой, а поэтому, наряду с берестяными грамотами, остается за пределами нашего рассмотрения.

Первым известным нам по имени древнерусским книгописцем является новгородский священник Упырь Лихой («поп Упирь Лихый»). Необычное прозвище книжника, вероятно, связано с традиционной для писца самоуничижительной формулой⁵⁵. На протяжении семи с небольшим месяцев 1047 г. книжник переписал пророческие книги Ветхого Завета с толкованиями Феодорита Критского («Толковые пророки»). Сама переписанная им книга не сохранилась до наших дней, но существует более десяти восходящих к ней поздних списков XV–XVIII вв., в которых находится множество глаголических букв, а в большинстве из них также читается текст древнейшей датированной записи на древнерусских книгах, сообщающей, что с 14 мая по 19 декабря 6555 (1047) г. «поп Упирь Лихый» написал «книгы си ис куриловиць»⁵⁶. Толкование выражения «ис коуриловиць» является дискуссионным (речь идет о некоем оригинале, возможно, глаголическом). Книгописец работал сначала для неустановленного князя

⁵³ См.: *Творогов О. В.* «Влесова книга» // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1990. Т. 43. С. 170–254.

⁵⁴ См.: *Алексеев А. А.* О новгородских вощёных дощечках начала XI в. // Русский язык в научном освещении. 2004. № 2 (8). С. 207–208. Переплетенные листы бересты, берестяные кодексы (упоминаемые в некоторых древнерусских житиях святых, но сохранившиеся только начиная с XVII в.) должны рассматриваться как книги, поскольку они оформлены как кодексы, и тексты в них писались одновременно и окончательно.

⁵⁵ См.: *Бобрик М.* Лих ли поп Упырь? (Значение эпитета «лихий» в записи писца толковых пророков) // Русский язык в научном освещении. 2014. № 1 (27). С. 265–272.

⁵⁶ См.: *Поннэ А.* «Ис курилоць» и «ис куриловиць» // *Journal of Slavic Linguistics and Poetics*. 1985. Vol. 31–32. P. 319–350.

Святополка⁵⁷, а затем продолжил переписывание книги для новгородского князя Владимира (сына Ярослава Мудрого и княгини Ирины-Ингегерды)⁵⁸. Поскольку поп Упырь Лихой переписывал Толковые пророчества в то самое время, когда строился новгородский Софийский собор (1045–1050 гг.), вполне вероятно, что рукописная книга предназначалась заказчиком для его библиотеки.

Одним из первых известных нам древнерусских книжников был новгородский епископ Лука Жидята (ум. 1059). Лука был поставлен во владыки в 1036 г. Во время его епископства в Новгороде был построен Софийский собор (1045–1050 гг.). В некоторых новгородских летописях XVI в. содержится «Сказание о церкви Св. Софии», в котором рассказывается, как епископ Лука увидел, что образ Христа в строящемся Софийском соборе написан не с благословляющей рукой, а со сжатой. Образ трижды переписывали, пока глас с неба не возвестил, что если рука «распрострется», тогда «будет граду скончание»⁵⁹. Прозвище Жидята либо указывает на еврейское происхождение Луки или его предков, либо является новгородским прозвищем от имени Георгий (Гюргий — Гюрята — Жидята) или Жидослав. В 1055 г. Лука Жидята был оклеветан, вызван в Киев митрополитом и задержан там до 1058 г., когда был оправдан и возвращен на новгородскую епископскую кафедру, а его обвинитель жестоко наказан — ему отрезали нос и руки, после чего он бежал «в немцы». Лука умер 15 октября 1059 г., возвращаясь из Киева. Приписываемое Луке «Поучение к братии» читается в Первой подборке Новгородской Карамзинской летописи⁶⁰ и в восходящих к ней летописях, в статье 6566 (1058) г., сразу после рассказа о возвращении Луки на епископский стол и наказания клеветника. Большинство исследователей атрибутируют Поучение Луке Жидяте, поскольку оно соотнесено в летописи с рассказом о деятельности епископа⁶¹. В Поучении, обращенном к пастве, проповедник призывает не

⁵⁷ См.: *Калугин В. В.* Записи попа Упыря Лихого в Толковых пророчествах 1047 года // *Славяноведение*. 2018. № 2. С. 3–11.

⁵⁸ Упырь Лихый, как предположил А. Шёберг, это славянское написание скандинавского имени рунорезца второй половины XI в. *Uprir Ofeigr*, который в молодые годы мог служить священником в Новгороде в церкви при дворе матери новгородского князя Владимира Святославича Ингигерды, скончавшейся около 1050 г. (см.: *Шёберг А.* Эпир – рунорезец Уппланда и придворный проповедник Новгорода // *Чело*. 1996. № 2 (9). С. 7–10).

⁵⁹ Полное собрание русских летописей. СПб., 2004. Т. 43: Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского. С. 54.

⁶⁰ Полное собрание русских летописей. СПб., 2002. Т. 42: Новгородская Карамзинская летопись. С. 65–66.

⁶¹ См.: *Творогов О. В.* Лука Жидята // *Словарь книжников и книжности Древней Руси*. Вып. 1. С. 251–253.

ленься посещать церковь, благочестиво молиться, быть добрым, незлопамятным, милосердным, соблюдать христианские заповеди.

В то время, когда новгородский владыка Лука находился в Киеве, создавалась самая ранняя из сохранившихся до наших дней точно датированная рукописная книга – Остромирово евангелие 1056–1057 гг. Она была переписана дьяконом Григорием для новгородского посадника Остромира. Хотя Остромирово евангелие не является непосредственно княжеским заказом, его создание было инициировано из ближайшего окружения княжеской семьи. Сыном Остромира, согласно гипотезе А. А. Шахматова, был киевский воевода Вышата, информатор летописца Никона, от которого последний узнал ряд новгородских преданий. Предположение о том, что в ПВЛ отразилась семейная «устная летопись» предков Яня Вышатича (Свенельд — Мстиша — Добрыня — Константин — Остромир — Вышата — Янь), в отдельных звеньях оспаривается современными исследователями.

При кафедре новгородских владык со времени строительства Софийского собора существовал книжный центр, где хранились рукописи, для которого, вероятно, работал Упирь Лихый, где готовились и произносились торжественные «слова» и поучения и где, по меньшей мере, в XII в. велось официальное летописание (возможно, отдельные записи делались и ранее). Параллельно с «владычным» книжным центром начиная с XII в. в Новгороде существовали иные, в первую очередь, монастырские книжные собрания и книгописные мастерские.

В Новгороде, как и в Киеве, наблюдается особая роль одного общежительного монастыря. В древнейшем (если основываться на летописных упоминаниях) монастыре Новгорода – Антониеве Рождества Богородицы – после Смутного времени оставались 44 «харатейные» (пергаментные) рукописные книги⁶². Судя по значительному количеству пергаментных кодексов, к этому времени древняя библиотека Антониева монастыря сохранилась исключительно полно, но до наших дней она не дошла. В пользу возможности существования в Антониевом монастыре книжного центра можно высказать то соображение, что эта обитель была основана в начале XII в. по образцу Киево-Печерской как общежительная, и оставалась единственной таковой в Новгороде вплоть до появления следующего поколения киновий в конце XIV в., и что именно в общежительных монастырях мы видим впоследствии существование крупных библиотек и скрипториев.

⁶² См.: *Опись Новгорода 1617 года* / Под ред. В. Л. Янина; Подгот. публикации и вступ. статья В. Л. Янина, М. Е. Бычковой. М., 1984. Ч. 1. С. 14.

Только в Киево-Печерском и Антониевом монастырях уже в начале XII в. имелись «трапезницы»⁶³, а это – верный и непреходящий признак киновии.

Можно полагать, что в Антониевом монастыре существовал собственный скрипторий. В первой половине XII в. здесь трудился знаменитый книжник Кирик Новгородец, с именем которого Д. С. Лихачев связывал реформу новгородского летописания как следствие его перехода из рук князя в руки владыки, а также замену в начальной части Новгородской летописи прокняжеской ПВЛ оппозиционным антикняжеским Киево-Печерским Начальным сводом, созданным около 1095 г.⁶⁴ Кирику Новгородцу принадлежит также календарно-математическое сочинение «Учение им же ведати числа всех лет» (1136 г.). Интерес к единицам измерения времени, в том числе необычным, и схожее использование их обозначений являются серьезными аргументами в пользу отождествления летописца и автора «Учения о числах».

Согласно Д. С. Лихачеву, политические события 1136–1138 гг. в Новгороде привели к возникновению независимой республики, заключавшей «ряд» с приглашенными князьями, в результате чего «Софийский временник» заменил княжескую летопись (свод Всеволода) и был совершен пересмотр общих установок летописания. Кирик использовал необычные хронологические указания именно при описании прихода в Новгород первого приглашенного князя после политического переворота 1136 г. – Святослава Ольговича; такой точностью и подробностью датировки он подчеркивал начало нового этапа в жизни Новгорода. Летописный свод, составленный Кириком, лег в основу новгородского владычного летописания. Ему, бесспорно, принадлежат статьи Новгородской первой летописи старшего извода о событиях 1136 и 1137 гг. Существенно, что созданные в общежительных монастырях памятники раннего летописания – Начальный свод 1093–1095 гг. (Киево-Печерский монастырь) и основанное в 1130-х гг. владычное новгородское летописание (Антониев монастырь), имеют антикняжескую направленность. С этого времени (и до 15 января 1478 г.) независимое Новгородское государство с большим или меньшим успехом пыталось следовать принципу «вольности в князьях», по решению городского собрания – веча – приглашая и изгоняя представителей разных династий. Князьям доверялось лишь роль военачальников, главой же государства являлся новгородский архиепископ. Практическим обоснованием такого положения вещей служил помещенный в начале официальной владычной летописи, выполнявшей роль своего рода

⁶³ См.: *Раппопорт П. А.* Русская архитектура X–XIII вв.: Каталог памятников. Л., 1982. С. 113–114.

⁶⁴ См.: *Лихачев Д. С.* «Софийский временник» и новгородский политический переворот 1136 г. // *Исторические записки.* 1948. Т. 25. С. 240–265.

«конституции» республики, текст летописного сочинения, написанного в конце XI в. в Киево-Печерском монастыре.

Таким образом, Антониев Рождества Богородицы монастырь был местом, где зародилось новгородской владычное летописание. Известные нам по именам владычные летописцы последней трети XII–XIII в. (Герман Воята – вторая половина 1160-х гг. и Тимофей – начиная с 1230 г.) трудились не в монастырях, а при городской церкви св. Иакова, где, возможно, в то время находилась «полата книгописная» новгородских архиепископов.

Хотя библиотеки двух общежительных монастырей Киева и Новгорода – Киево-Печерского и Антониева – не дошли до наших дней, можно говорить об их особой роли в истории книжности, особенно очевидной в сравнении с другим древнейшим монастырем Новгорода Великого – Юрьевым.

«Княжеский» по происхождению Юрьев монастырь имел богатую библиотеку. Многочисленные граффити на стенах Георгиевского собора Юрьева монастыря подтверждают широкое распространение грамотности среди юрьевских монахов⁶⁵. Древнее собрание рукописей Юрьева монастыря (также, как и Антониева, Хутынского, Лисицкого и многих других) не сохранилось до наших дней в виде единого рукописного фонда или комплекса книг, но его остатки находятся в различных современных хранилищах. Это распыление Юрьевской библиотеки совершилось еще в древнерусский период, поскольку уже в 1617 г. в монастыре по описи не числилось ни одной пергаментной рукописной книги⁶⁶. Но древняя, причем весьма богатая библиотека Юрьева монастыря, несомненно, существовала. До наших дней в различных хранилищах дошло значительное количество пергаментных кодексов XI–XIV вв., связываемых происхождением с этой новгородской обителью⁶⁷. Записи на рукописях из библиотеки Юрьева монастыря свидетельствуют о том, что иноки этой обители книг сами не переписывали, являлись не писцами, а заказчиками рукописей. Этот вывод хорошо согласуется с заключениями А. А. Гиппиуса о том, что

⁶⁵ См.: *Рождественская Т. В.* Древнерусские надписи на стенах храмов: Новые источники XI–XV вв. СПб., 1992. С. 48–72.

⁶⁶ См.: *Опись Новгорода 1617 года.* Ч. 1. С. 88.

⁶⁷ Из Юрьевской библиотеки происходят такие рукописи XI в. как отрывки Житий Феклы (РНБ, собр. Погодина, № 63) и Кондрата (РНБ, собр. Погодина, № 64), Евгеньевская псалтырь (РНБ, собр. Погодина, № 9, БАН, 4.5.7), а также относящиеся к XII–XIV вв. Симоновская псалтырь (ГИМ, собр. Хлудова, № 3), Юрьевское (ГИМ, Синодальное собр., № 1003) и Симоновское (РГБ, ф. 256, № 105) евангелия, Выголексинский сборник (РГБ, ф. 178, № 1832), Хлудовское евангелие 1323 г. (ГИМ, собр. Хлудова, № 29). См.: *Бобров А. Г.* Монастырские книжные центры Новгородской республики // *Книжные центры Древней Руси: Севернорусские монастыри.* СПб., 2001. С. 15–23.

населенники Юрьева монастыря выступают как заказчики изготовления списка владычного летописного свода, который создавался при церкви св. Якова, и что предполагать для XII–XIII вв. существование особой Юрьевской летописи нет достаточных оснований. Лишь небольшие фрагменты текста Новгородской первой летописи старшего извода (за 1188–1195 гг. и 1330–1352 гг.), вероятно, были написаны юрьевскими иноками.

Древнейший достоверно существующий в сохранившихся рукописях летописный текст монастырского происхождения читается на последних трех листах Синодального списка Новгородской первой летописи старшего извода⁶⁸. Текст этих приписок отчасти совпадает с аналогичным текстом Новгородской первой летописи младшего извода, но, по мнению А. А. Гиппиуса, одна часть приписок была ее источником, а другая, напротив, выписывалась юрьевскими книжниками из владычной летописи⁶⁹. Местное юрьевское происхождение некоторых приписок к Синодальному списку доказывается самим их содержанием (строительство монастырских стен архимандритом Лаврентием; конфликт между старым архимандритом Лаврентием и новым – Есифом; поновление крыши Георгиевского собора). Более того, во фразе из приписки 6853/1345 г. читается указательное местоимение «си», относящееся к Георгиевскому собору Юрьева монастыря («поновлена бысть церкви *си* святой Георгий»⁷⁰), отсутствующее в аналогичном тексте Новгородской первой летописи младшей редакции. Такое дополнение, конечно, мог сделать только книжник, находящийся в самой обители. В целом же следы собственного ведения летописных записей в Юрьевом монастыре крайне малы.

Юрьев монастырь не был общежительным, в нем существовала древняя библиотека, собранная из заказанных в разных местах книг, в которой хранился и список официальной новгородской летописи. Видимо, он был создан «стяжанием» юрьевских монахов, по их заказу, как и другие книги, но дополнен в обители записями 1330–1352 гг. Символично, что они появляются в середине XIV в., когда монастырские книжные центры становятся средоточием культурной жизни своего времени.

⁶⁸ Синодальный список является древнейшим дошедшим до нас списком не только новгородской, но и вообще древнерусской летописи. Рукопись состоит из двух разновременных частей — конца XIII в. и второй четверти XIV в. Список дефектен: в нем утрачено начало. Изд.: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. и с предисл. А. Н. Насонова. М.; Л., 1950. С. 15–100 (приписки: Там же. С. 99–100).

⁶⁹ См.: Гиппиус А. А. К истории сложения текста Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сборник. СПб., 1997. Вып. 6 (16). С. 17, 19, 21, 31, 34. См. также: Гимон Т. В. Приписки на дополнительных листах в Синодальном списке Новгородской I летописи // Норна у источника Судьбы: Сб. ст. в честь Е. А. Мельниковой. М., 2001. С. 53–60.

⁷⁰ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 100.

В середине XIV в. в Европу пришла «Черная смерть» – пандемия чумы, которая унесла в могилу не меньше трети населения континента. До Руси волна докатилась с Запада уже на излете, болезнь поразила только Псковские земли. Новгородский архиепископ Василий Калика отправился на помощь псковичам. Мор утих, но сам Василий заболел и скончался в 1352 г., на обратном пути в Новгород. С последними отголосками Черной смерти связывают кончину московского великого князя Симеона Гордого и его сыновей в 1353 г. Как и в Западной Европе, где эпидемия дала толчок развитию науки и искусства, на Руси этот рубеж также вполне отчетлив. Именно со второй половины XIV в., с эпохи Сергия Радонежского и Епифания Премудрого, в древнерусской книжности наступают важные перемены.

Рассмотрим рост количества книг отдельно для каждой четверти XIV и XV вв. (диаграмма 3).

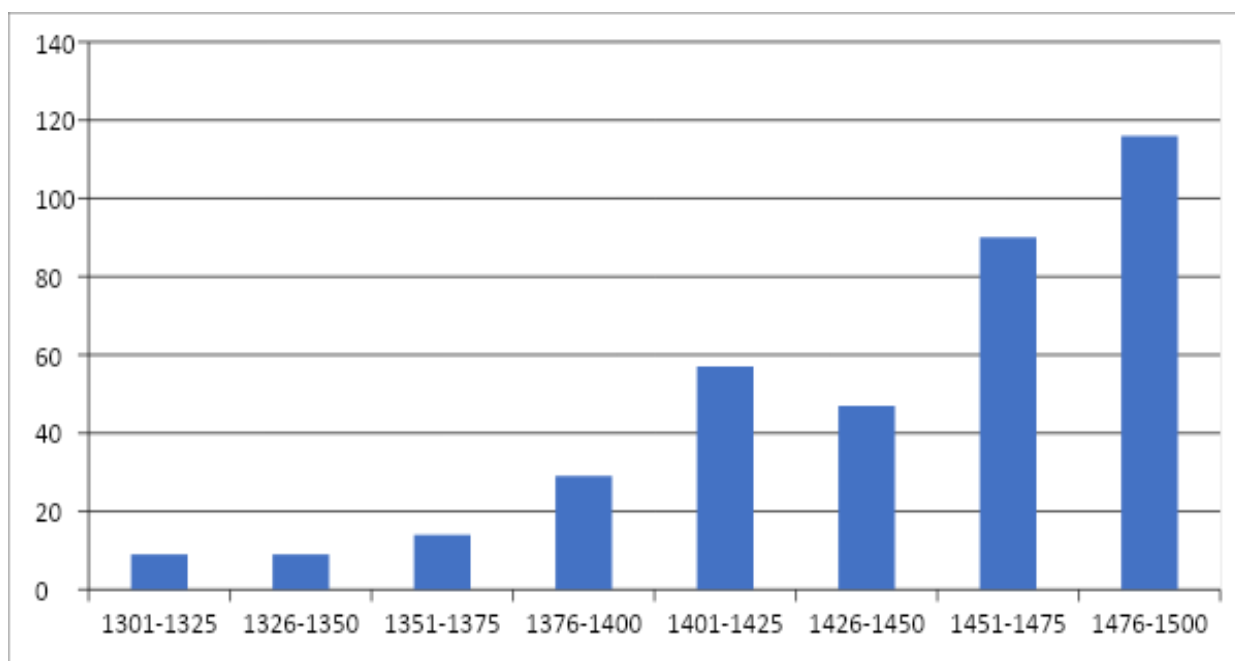


Диаграмма 3

Всего сохранилось 371 древнерусская рукописная книга XIV–XV вв. с точной датой написания (1301–1325: **9**; 1326–1350: **9**; 1351–1375: **14**; 1376–1400: **29**; 1401–1425: **57**; 1426–1450: **47**; 1451–1475: **90**; 1476–1500: **116**). Если от первой половины XIV в. сохранилось только 18 датированных книг, то от второй половины столетия – 43 книги. Рост количества сохранившихся до наших дней книг почти в два с половиной раза по сравнению с предыдущим периодом обусловлен не только началом распространения более дешевой, чем пергамен, бумаги, но и появлением новых крупных книжных центров – монастырских библиотек и скрипториев.

Начало нового «монастырского» этапа истории древнерусской книжности связано с принятием общежительного устава Троицким монастырем Сергия Радонежского по благословению патриарха Константинопольского Филофея (до 1376 г.). Выходцами из Троице-Сергиевой обители во второй половине XIV–XV в. было основано еще несколько десятков общежительных монастырей (киновий). Монастырские библиотеки и скриптории общежительных обителей, созданных во второй половине XIV–XV вв., явились проводниками не только новых текстов, но и художественных, языковых и кодикологических явлений. Как и в предыдущий период, важную роль в истории книжности играли в первую очередь обители, придерживающиеся общежительного устава (Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский, Ферапонтов, Антониев, Лисицкий и некоторые другие монастыри, «Григорьевский затвор» в Ростове Великом и др.). Самые ранние сохранившиеся до наших дней рукописи, достоверно переписанные русскими иноками в монастырях, датируются не ранее второй половины XIV в. и представляют уже новый этап истории монастырских библиотек.

Около 1410 г., согласно выводам А. А. Турилова, в древнерусских рукописях, происходящих из монастырских скрипториев Северо-Восточной Руси, «взрывообразно» появляются новые черты: это преимущественно сборники, содержащие ранее не известные на Руси сочинения, написанные на бумаге новыми южнославянскими по происхождению полууставными почерками, с сильным влиянием среднеболгарской орфографии, с орнаментикой балканского (реже неовизантийского) стиля⁷¹.

Радикальные изменения в книжности следует связать с приездом в 1410 г. на Русь нового митрополита – грека Фотия, в его свите находились греческие и южнославянские книжники, принесшие с собой новый «стиль эпохи». Уже на следующий год Фотий организовал династический брак: дочь московского великого князя Анна вышла замуж за сына византийского императора Иоанна⁷². Этот беспрецедентный для эпохи Палеологов династический брак, соединивший императорский дом с русской княжеской династией, бесспорно, явился крупным политическим достижением митрополита Фотия. Брачный союз 1411 г. был весьма многообещающим для Руси, но княжна Анна умерла в 1417 г.

Наблюдающийся с 1410 г. всплеск интереса к Византии и к ее императорам в связи с породнением династий Палеологов и Рюриковичей, на наш взгляд, обусловил появление

⁷¹ См.: Турилов А. А. Предисловие (Опыт авторецензии) // Дополнения к «Предварительному списку славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в СССР». М., 1993. С. 13.

⁷² См.: Медведев И. П. Внучка Дмитрия Донского на византийском престоле? // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1976. Т. 30. С. 255–262.

такого крупного произведения как «Летописец Еллинский и Римский второй редакции»⁷³. Соединение в этом сочинении в общем историческом повествовании хронографической и двух русских летописных традиций – киевской и новгородской – символизировало идею «православного единства», активным сторонником которой был митрополит Фотий. В это же самое время, около 1411–1412 г., был создан первый опыт соединения новгородского и общерусского летописания – Первая подборка Новгородской Карамзинской летописи. Думается, именно в 1410-е гг., в период пристального внимания Византии и Руси друг к другу, древнерусской книжностью был получен очень сильный, но кратковременный импульс византийского (и «второго южнославянского») влияния. Очевидно, в Царьграде побывало множество русских служителей церкви, таких, как дьякон Троице-Сергиевой лавры Зосима, позже вспоминая свою поездку 1411 г. И с этого же времени меняются и форма, и содержание древнерусских рукописей; наступает «не календарный, настоящий» XV век.

Ко времени Фотия многие исследователи относят возникновение общерусского митрополичьего свода, включавшего в свой состав многочисленные летописные повести о битвах с татарами (его называли «Новгородско-Софийский свод», «Свод 1448 г.», «Свод митрополита Фотия», «Свод 1418 г.» и т. д.). Сам Свод Фотия в своем первоначальном виде до нас не дошел, но мы можем судить о его составе и характере по восходящим к нему произведениям русской историографии XV в.: Второй подборке Новгородской Карамзинской летописи⁷⁴ и спискам Софийской первой и Новгородской четвертой летописей. При написании свода Фотия в него была включена Первая подборка летописных известий Новгородской Карамзинской летописи⁷⁵, которая, в свою очередь, использовала несохранившийся авторитетный список ПВЛ, хранившийся, скорее всего, в Троице-Сергиевом монастыре. Благодаря его использованию в летописную традицию XV в. вошли некоторые ранние чтения, неизвестные версиям Лаврентьевского и Ипатьевского списков⁷⁶.

В описываемую эпоху происходит вторичное (первое – после принятия христианства) обращение Древней Руси к южнославянскому книжному наследию эпохи Второго Болгарского царства и, в меньшей степени, Второго Сербского царства. Вместе с сочинениями южнославянских авторов и переводчиков на Русь начинают проникать идеи

⁷³ См.: *Бобров А. Г.* О времени и месте создания Летописца Еллинского и Римского второй редакции // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2004. Т. 55. С. 88–89.

⁷⁴ Полное собрание русских летописей. СПб., 2002. Т. 42. С. 98–178.

⁷⁵ Там же. С. 21–97.

⁷⁶ См.: *Накадзава А.* Исследование новгородских и московских летописей XV века. Тояма, 2006. С. 1–258.

исихазма и аскетическо-монашеские сочинения. Общественный подъем, который символически был ознаменован Куликовской битвой 1380 г., вызвал обращение к наследию домонгольского периода развития литературы (в частности, новый расцвет летописания в значительной степени основан на текстах и образах ранних сводов).

Крупнейшими книжными центрами Северо-Восточной Руси с конца XIV в. являлись тесно связанные между собой общим репертуаром сборников и контактами книжников Троице-Сергиев и Кирилло-Белозерский монастыри. Как показали исследования М. Г. Гальченко, новые языковые черты, отражающие «второе южнославянское влияние», в начале XV в. проникают в рукописи именно этих двух обителей, а также московского Спасо-Андроникова и новгородского Лисицкого монастырей⁷⁷.

Следует отметить, что сохранившиеся до наших дней в целостном виде рукописные фонды древнерусских монастырей весьма немногочисленны. В наших хранилищах насчитывается всего три монастырских собрания, превышающих по количеству рукописных книг тысячу единиц хранения: Троице-Сергиевское (в Российской Государственной библиотеке в Москве), Кирилло-Белозерское и более позднее Соловецкое (оба – в Российской Национальной библиотеке в Санкт-Петербурге). Для этих собраний характерен довольно высокий процент сохранившихся рукописных книг по сравнению с библиотечными описями древнерусского периода, которые дошли до нас в значительном количестве от XVI–XVII вв., но лишь в очень редких образцах – от более раннего времени⁷⁸.

Наиболее значительным книжным центром Северо-Восточной Руси со второй половины XIV в. являлся Троице-Сергиев монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским еще в первой половине века, и ставший общежительным при патриаршестве Филофея (до 1376 г.). Библиотека Троице-Сергиева монастыря была одной из крупнейших

⁷⁷ См.: Гальченко М. Г. 1) Лисицкие датированные рукописи конца XIV – первой половины XV вв. и проблема второго южнославянского влияния // *Palaeoslavica*. 1997. Vol. 5. P. 59–81 (то же: Гальченко М. Г. Книжная культура. Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси: Избранные работы. М., 2001. С. 147–166); 2) О времени появления и характере распространения ряда графико-орфографических признаков второго южнославянского влияния в древнерусских рукописях конца XIV — первой половины XV вв. // *Лингвистическое источниковедение и история русского языка*. М., 2000. С. 123–152.

⁷⁸ Самый ранний памятник древнерусской библиографии, включавший постатейное описание четырех рукописных сборников, датируется 1391 г. и происходит из Новгородского Хутынского монастыря (см.: Гранстрем Е. Э. Незамеченный памятник древней библиографии // *Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции*. М., 1976. С. 379–381).

на Руси конца XIV–XV вв. В 1470-х гг., Ефросин Белозерский явно как необычный факт отметил, что в Троицкой обители имелось 300 рукописных книг⁷⁹.

Среди имен Троице-Сергиевских книжников конца XIV–XV в. наиболее известным является Епифаний Премудрый. Его («Епифана») рукой, скорее всего, были сделаны приписки к одной из древнейших сохранившихся Троицких рукописей – Стихирарю 1380 г. С русской историей эти записи (в том числе о слухах, что «Литва грядут с агаряны»⁸⁰, о приезде в монастырь разных лиц) связаны тем обстоятельством, что они были сделаны в Троицкой обители всего через две недели после Куликовской битвы, в атмосфере напряженного ожидания вестей об исходе сражения. Существует обоснованное предположение, что в Троицком монастыре в конце XIV – начале XV в. велось летописание, поскольку из его библиотеки происходят пергаментная Троицкая летопись (сгорела в 1812 г.) и Московско-Академический список летописи. Высказывалась также гипотеза о причастности троицкого инока Епифания Премудрого к созданию летописного свода митрополита Фотия или написанию для него отдельных повестей⁸¹.

Плеяда троицких писателей конца XIV–XV вв. включает таких авторов как иеродиакон Зосима (автор «Хождения» в Царьград и Иерусалим), Вассиан Рыло (автор «Послания на Угру» и грамот), Пахомий Серб или Логофет (автор многочисленных житий, служб, повестей), Паисий Ярославов (автор Сказания о Спасо-Каменном монастыре)⁸².

Другим важнейшим книжным центром с конца XIV – начала XV вв. был Кирилло-Белозерский монастырь, в котором трудились такие авторы как сам основатель обители Кирилл, Мартиниан, игумен Игнатий, Ефросин, Паисий Ярославов, Гурий Тушин, Иннокентий Охлябинин, Герман Подольный, Вассиан Патрикеев и другие. Книжная опись конца XV в. собрания Кирилло-Белозерского монастыря является наиболее подробной из

⁷⁹ РНБ, собр. Кирилло-Белозерского монастыря, № 6/1083, л. 80; *Каган М. Д., Поньрко Н. В., Рождественская М. В.* Описание сборников XV в. книгописца Ефросина // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1980. Т. 35. С. 150. До наших дней дошло около полутора тысяч рукописных книг, происходящих из библиотеки Троице-Сергиева монастыря.

⁸⁰ *Ладыженский И. М.* Экстратексты Епифания Премудрого // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2020. Т. 79, № 1. С. 34.

⁸¹ См.: *Прохоров Г. М.* Памятники переводной и русской литературы XIV–XV веков. Л., 1987. С. 114–120.

⁸² См.: *Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2, ч. 1. С. 210–220; 363–364; 123–124; Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1989. Вып. 2, ч. 2. С. 167–177; 156–160. О троицких монахах – книжниках и писателях XVI–XVII вв. см.: Николаева Т. В.* Собрание древних рукописей // Троице-Сергиева лавра: Художественные памятники. М., 1968. С. 167–175.

всех сохранившихся до наших дней древнерусских описей⁸³. Она упоминает 212 кодексов; при этом опись была неполна, так как не включала келейные книги иноков.

Библиотека Кирилло-Белозерского монастыря в XV в. содержала, как установила Р. П. Дмитриева, наибольший по сравнению с другими обителями процент рукописей со статьями светского содержания (по ее подсчетам, 11 %)⁸⁴. Видимо, такое соотношение складывалось во многом за счет келейных «четьих» сборников. В Кирилло-Белозерском монастыре на протяжении XV–XVI вв. проявлялся особый интерес к сочинениям по русской истории. До нас дошло более 20 списков различных летописей, связанных своим происхождением с библиотекой этой обители (в том числе ростовские, вологодские, новгородские, псковские, западнорусские памятники, а также местные Кирилло-Белозерские летописцы).

К рассматриваемому периоду относятся самые ранние годы существования Кирилло-Белозерского монастыря, основанного в конце XIV – начале XV в., но он стал заметным книжным центром с самого возникновения, поскольку основатель обители преп. Кирилл Белозерский принес с собой целый ряд разнообразных по содержанию рукописных книг, частично сохранившихся до наших дней⁸⁵.

Расцвет книгописания в пригородном новгородском монастыре Рождества Богородицы на Лисьей горе относится к концу XIV — началу XV в.⁸⁶. Известно две рукописные книги этого времени с писцовыми записями, прямо указывающими на место их создания на Лисьей горе: Тактикон Никона Черногорца 1397 г. и Паренесис Ефрема Сирина с прибавлениями конца XIV в. Ряд рукописей атрибутируются книгописной мастерской Лисицкого монастыря на основании сочетаний косвенных признаков (характер художественного оформления и тиснения переплета, владельческие записи более позднего времени, совпадение почерков и имен писцов; указание на посвящение монастыря, в котором создана рукопись, Рождеству Богородицы; упоминание в перечнях церковных иерархов выходцев из обители; существование копии рукописи с пометой: «имал список с

⁸³ См.: *Никольский Н. К.* Описание рукописей Кириллова монастыря, составленное в конце XV века. СПб., 1897.

⁸⁴ *Дмитриева Р. П.* Светская литература в составе монастырских библиотек XV и XVI вв. (Кирилло-Белозерского, Волоколамского монастырей и Троице-Сергиевой лавры) // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1968. Т. 23. С. 156.

⁸⁵ См.: *Прохоров Г. М.* Книги Кирилла Белозерского // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1981. Т. 36. С. 50–70; *Прохоров Г. М., Розов Н. Н.* Перечень книг Кирилла Белозерского // Там же. С. 353–378; Энциклопедия русского игумена XIV—XV вв. Сборник преподобного Кирилла Белозерского / Отв. ред. Г. М. Прохоров. СПб., 2003.

⁸⁶ См.: *Бобров А. Г.* Книгописная мастерская Лисицкого монастыря: (Конец XIV – первая половина XV в.) // Книжные центры Древней Руси. XI–XVI вв.: Разные аспекты исследования. СПб., 1991. С. 78–98.

Лисьей горки»⁸⁷, наличие «новгородизмов» в языке и др.). Лествица Иоанна Лествичника 1411 г. была переписана в Троице-Сергиевом монастыре рукою «странного» (т. е. странника, приезжего, путешествующего) Варлаама, очевидно, выходца из Лисицкого монастыря, предполагаемого автора текста Первой подборки Новгородской Карамзинской летописи⁸⁸.

Обращают на себя внимание контакты монахов Лисицкого монастыря с Афоном. В течение конца XIV — первой трети XV в. монастырь играл значительную роль в культурной жизни Новгорода. Поддерживая связи с Афоном, лисицкие книжники были «проводниками» второго византийского и южнославянского влияния. На протяжении полувека монастырь на Лисичьей горе был своего рода «духовной академией», готовившей крупных церковных деятелей. Значительно раньше других обителей Новгорода, уже в конце XIV в., Лисицкий монастырь осуществил переход от Студийского к Афонско-Иерусалимскому церковному уставу. Если общежительное движение в Северо-Восточной Руси опирается на Троице-Сергиевскую традицию, то новгородские киновии генетически связаны с Афоном. Тем не менее, оба процесса шли параллельно: в Лисицких рукописях первой трети XV в. также обнаруживаются черты «второго южнославянского влияния».

В целом же новгородская монастырская книжность испытает это влияние после рубежа 1420–1430-х гг., когда архиепископом станет бывший игумен Лисицкой обители Евфимий II. С его деятельностью исследователи связывают не только распространение по монастырям епархии комплектов книг с новыми текстами, орфографией и элементами декора, но и создание ряда важнейших памятников летописания, в которых новгородские книжники проявляют заметный интерес к событиям не только местным, но и общерусским.

Очевидный в последней четверти XIV в. и в начале XV в. расцвет книгописания, получившего новый «византийский» импульс развития, во второй четверти XV в. сменился кризисом. Причин тому много, среди них следует отметить три важнейшие: кончина митрополита Фотия (1431 г.); феодальная война, начавшаяся в 1432 г. и длившаяся с перерывами два десятилетия; отторжение от Византии, заключившей с Западом Флорентийскую унию (1439 г.). Но для последующего развития древнерусской культуры творческие достижения иноков русских общежительных монастырей второй половины XIV — начала XV вв. не прошли даром.

Расцвет монастырской книжности был обусловлен тремя главными обстоятельствами. Во-первых, это усвоение византийского и южнославянского

⁸⁷ Там же. С. 86.

⁸⁸ *Бобров А. Г.* Новгородские летописи XV века. СПб., 2001. С. 111–128.

культурного наследия, состоявшееся, в частности, благодаря приглашению на Русь мастеров, таких как живописец Феофан Грек со своей артелью, или анонимный автор росписей церкви Федора Стратилата на Ручью в Новгороде, или, чуть позже, писатель Пахомий Серб, автор житий новгородских святых. Так называемое «второе византийское и южнославянское влияние» конца XIV–XV вв. и «предренессансные» тенденции на Руси реализовывались, главным образом, в рамках монастырского искусства. Во-вторых, это обогащение репертуара монастырской книжности широким кругом светских, «мирских» исторических, географических, естественно-научных сочинений. Княжеская книжная традиция влилась в монастырскую, наполнив ее новым содержанием. В-третьих, это влияние народной культуры, проникновение в рукописную книжность стихии устного народного творчества, в язык – народных говоров и диалектов, в литературу – сюжетов и персонажей русского и мирового фольклора. Соединение трех факторов влияния (Византия и южные славяне; княжеская традиция; фольклор) в скором будущем после упадка второй четверти XV в. приведет к небывалому расцвету монастырской культуры середины – второй половины столетия.

Вовлеченность иноков в события «мирской» истории в принципе противоречила монашескому идеалу отречения от мира. Несмотря на эту опасность, благодаря своему духовному авторитету иноки древнерусских общежительных монастырей оказывали существенное влияние как на развитие политических идей, так и на само течение исторических событий. Особо может быть прослежена традиция противостояния светской власти в монастырских книжных центрах Древней Руси. Еще создатель Начального летописного свода (около 1095 г.), монах Киево-Печерской обители, резко противопоставлял нынешних, современных ему князей и дружинников доблестным воинам прежних лет: «Тѣи бо князи не збираху многа имѣния, ни творимыхъ вирь, ни продаж въскладаху люди; но оже будяше правая вира, а ту возмя, дааше дружинѣ на оружье... Они бо не складаху на своя жены златыхъ обручи, но хожаху жены ихъ в серебряныхъ; и расплодили были землю Руськую»⁸⁹.

Важно отметить одно бросающееся в глаза, наиболее заметное отличие древнерусской монастырской книжности от современной ей западноевропейской – это отношение на Западе и на Востоке христианского мира к смеху. Если миниатюры, заставки, инициалы, рисунки на полях западноевропейских рукописей изобилуют смеховыми сюжетами и мотивами, отражающими карнавальную стихию Средневековья, то на Руси можно говорить только об отдельных «отблесках» этого явления, тем более для нас

⁸⁹ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 104.

интересных и заслуживающих изучения. Для раннего периода можно привести лишь несколько примеров такого рода («Моление» Даниила Заточника, смеховые приписки на полях пергаментных новгородских и псковских рукописей, отдельные образы и мотивы в летописях⁹⁰). Но в целом за редкими исключениями монастырская книжная культура Древней Руси была полностью серьезной (смеховой стихии не находилось места в церковном уставе, которому предписано было строго следовать внутри монастырских стен). Позже смеховые сюжеты, образы и мотивы появятся в результате западноевропейского влияния в миниатюрах Радзивиловской летописи конца XV в., а их современник Ефросин Белозерский включит в свои сборники не только «беллетристические», но и «смеховые» тексты, даже весьма фривольного характера⁹¹. Но это будет уже другой эпохой в истории монастырской книжности Древней Руси.

⁹⁰ См.: *Бобров А. Г.* Смех в «Повести временных лет» // Русская литература. 2014. № 2. С. 5–21.

⁹¹ См.: *Лурье Я. С.* Книгописец Ефросин и борьба против «глумов» и смеха в древнерусской письменности // *International Journal of Slavic Linguistics and Poetics*. 1985. Vol. 31–32. P. 257–266.

**НА СЛУЖБЕ У ИДЕОЛОГОВ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА
(ЛИТЕРАТУРА «ЭНЦИКЛОПЕДИЙ» 1520—1570-х гг.)**

В настоящей статье рассматривается только один из разрядов литературной продукции, появившейся на свет в промежутке времени, указанном в заголовке, но разряд, наиболее типичный для данной эпохи и покрывающий тексты, нетипичные для более ранней письменности Древней Руси. Речь пойдет о совокупности родственных по своему замыслу памятников словесности, которые, за счет интеграции однородных духовных явлений, назначены были упорядочить внешние и внутренние контуры в кристаллизующейся структуре Московского царства. Такие памятники, с легкой руки А. С. Орлова, обычно называют «обобщающими предприятиями». К ним ученый отнес «Лицевой свод», «Великие Минеи Четьи», «Степенную книгу», «Стоглав», «Домострой», а также первопечатный «Апостол» 1564 г.¹, хотя в последнем случае новация явно выразилась не в «обобщении» существующей материи, а в ее невиданном прежде «оформлении». Впрочем, на «обобщающую» книжную серию, выделяющуюся на общем фоне средневековой письменности, историки обратили внимание задолго до А. С. Орлова. Правда, давали серии какие-то иные определения, например, в гимназическом учебнике В. В. Сиповского она именуется «итоговой»². В предлагаемых заметках автор намерен вернуться к вопросу о родовых чертах перечисленных памятников, связав эти памятники с общей культурной ситуацией в годы их составления и выделив особенности, присущие им всем или отдельным их группам. При функциональном подходе к литературному фонду эпохи выясняется, что номенклатура «обобщающих предприятий» богаче, нежели их традиционный набор. Привлекши игнорировавшиеся доселе книжные, а отчасти и общекультурные факты, мы точнее обозначим место интересующего нас феномена в литературе русского средневековья, и в частности – в связи с породившими этот феномен обстоятельствами духовной жизни общества XVI в. Кроме панорамного их обзора, позволим себе дать кратчайшую оценку «предприятий» по отдельности, сосредоточившись на непонятных и спорных моментах в их возникновении и распространении. Во исполнение поставленной задачи построим рассказ по принципу анфилады, каждый из залов в которой отведен очередному

¹ Орлов А. С. Книга русского средневековья и ее энциклопедические виды // Доклады АН СССР. Серия В. 1931. № 3. С. 37—51.

«предприятию», или памятнику, который начал было эволюционировать в⁴² направлении, заданном «обобщающими предприятиями», но по какой-то причине так и не достиг зрелости. Спешим предупредить, что предложенный ниже список «предприятий», расширенный сравнительно с традиционным их перечнем, тоже не претендует на исчерпанность. Есть основания думать, что углубленная разработка письменного наследия XVI в. и его осмысление позволит в будущем расширить наш список.

Чтобы оценить столь незаурядные явления, как наши «предприятия», необходимо обрисовать контекст, в рамках которого они развились. Применительно к средневековой эпохе это вдвойне важно, если принять во внимание консервативность тогдашней письменной культуры, ориентированной преимущественно на накопление текстов, а не на замену одних текстов другими. Учитывая, что письменность назначена была обслуживать религиозные потребности, мы не будем удивлены ее пониженной мобильностью: неизменность православной доктрины не допускала переменчивости в подкрепляющих эту доктрину текстах. Такое положение вещей в полной мере удерживалось в письменности XVI в., так что для зародившихся в ней новшеств были заранее установлены строгие рамки. Тогда, как и раньше, наибольшей степенью устойчивости обладали церковно-служебные книги, в том числе Псалтирь, Евангелие, Служебник, Минея, Октоих, Триодь, Служебник и др. Их списки хранились в приходских храмах, они составляли основной массив в любой библиотеке Руси. Дальше шли четьи книги учительного содержания – сначала устойчивого состава, а за ними и особенного для каждого из сборников. Рукописный фонд в целом заметно пополнился в течение предыдущего столетия благодаря тому, что с конца XIV в. на землях русских княжеств один за другим вырастали монастыри, нуждавшиеся в запасе книг как для службы, так и для внеслужебного, келейного и соборного чтения. Это были годы, начиная с которых на монастырский устав стала ориентироваться вся русская культура, включая те ее направления, которые развивались за пределами монастырской ограды³. Репертуар четьих текстов одновременно с внедрением новых редакций богослужебных книг обогатился за счет памятников, недавно переведенных или обновленных болгарскими и сербами и полученных у нас в результате «Второго южнославянского влияния». В употреблении находились как труды древних христианских писателей, пользовавшиеся

² *Ситовский В. В.* История русской словесности. Ч. 1. Вып. 2: (История русской письменности от начала до XVIII в.). 5-е изд., испр. СПб., 1911. С. 156.

³ Новые факты, подтверждающие этот вывод, см.: *Грицевская И. М., Литвиненко В. В.* Монастырский и мирской пути спасения в русской книжности XV в. // Кирило-Методиевски студии. София, 2022. Кн. 32. С. 333—340.

повышенным спросом, а потому представленные в монастырских книгохранилищах⁴³ многими списками, скажем, «Лествица» Иоанна Синайского, поучения аввы Дорофея, слова Исаака Сирина, так и менее востребованная литература, в единичных экземплярах⁴⁴. О составе книжной казны русского монастыря XVI в. можно составить представление по одной из сохранившихся древних описей, например, по описи книг Иосифо-Волоколамского монастыря 1545 г.

Конфессиональной детерминированностью литературы был предопределен круг людей, к этой литературе причастных. Со времен крещения Руси контингент писателей и читателей, имевших отношение к книжному делу, почти без исключений состоял из представителей духовенства. В этом плане XVI в. опять же принес мало изменений, если не считать того, что расцвет монастырской культуры, начавшийся столетием раньше и шедший полным ходом, сделал главным хранителем книжной премудрости черное духовенство. Сочинители, редакторы, писцы и читатели – все они, за редким исключением, оказываются иноками. Немногочисленные отступления от общего правила, вроде Дмитрия Герасимова или Михаила Медоварцева, лишь подтверждают его универсальность. У членов клира не было надобности в литературных упражнениях, служащие приказов редко обнаруживали живой интерес к религиозным сюжетам (а другие в книгу не попадали), выступления на литературном поприще представителей аристократии воспринимались вообще как сенсация, о которой иной раз с удивлением извещали летописцы (ср. заметку свода 1539 г. о Житии Михаила Клопского, написанном Василием Михайловичем Тучковым-Морозовым). Существенно другое – то, что, единожды взявшись за перо, миряне вынуждены были на всех этапах работы подстраиваться под общий – монашеский стиль современной им литературной культуры. Пребывание творцов вне обители никак не отражалось на их творениях. Это в полной мере относится ко всем видам литературы, сопровождавшим возвышение Московского царства, включая «обобщающие предприятия».

Наконец, следует определить культурный статус тех кодексов, которые стали вмещалищем «обобщающих предприятий». В этом плане XVI в. тоже не изменил сложившуюся веками ситуацию⁵. Другого трудно было ожидать, коль скоро неизменной осталась религиозная функция кодекса. Будучи носителем вечных истин,

⁴ См.: Буланин Д. М. К изучению механизмов «Второго южнославянского влияния» на русскую письменность // Палеороссия. Древняя Русь: Во времени, в личностях, в идеях. 2018. № 2 (10). С. 141—166.

⁵ Оговорка требуется только в отношении деловой письменности, которая приобрела к XVI в. развитые формы и которой не существовало как таковой в первые столетия после христианизации Руси.

средневековая книга обладала в глазах современников сакральной природой и⁴⁴ представляла собой микрокосм – являлась проекцией вселенной на материальный мир. Важно понимать, что соизмерима с космосом в идеале была каждая книга, независимо от ее специфики, потому что божественное начало присутствовало в самом наборе букв, складывающихся в слова и тексты. Об этом объявлено и в Писании: «Аз есмь алфа и омега» (Откр. 1, 8). Носителем микрокосма книга стала через использованный в ее текстах алфавит, ибо алфавит служил идеальной моделью мироздания, разложенного на составляющие это мироздание элементы. Если теперь взять алфавит, с одной стороны, и состав типичной книги, с другой стороны, видно будет, что наилучшим образом полному комплекту кириллических букв соответствует такая разновидность книги, как сборник. Сборник – это собрание более или менее автономных единиц текста, которые соединены сочинительной связью и совокупность которых больше их простой суммы. Именно сборник должно подразумевать под «универсалией» книги, реальным представителем сверхреального могущества Творца, будет ли она называться Псалтирью, Евангелием, Библией, или вымышленной «Голубиной книгой»⁶. В отдельной статье А. С. Орлов именовал «энциклопедическими видами» книги древнерусские сборники со стабильной композицией, включая те, что относят к «обобщающим предприятиям». Учитывая сказанное о кодексе как об особом феномене средневековой культуры, мы имеем право назвать «энциклопедией» любой сборник, а по большому счету – любую древнерусскую книгу. Ибо всякая книга Древней Руси, при ближайшем рассмотрении, оказывается сборником.

Итак, русская книжная культура XVI в. унаследовала от прежних столетий все конститутивные свойства книги. Что же нового, в таком случае, внесли в эту культуру «обобщающие предприятия», которые мы признали наиболее характерным для эпохи разрядом книг? Следует, конечно, понимать, что есть «энциклопедии» и «энциклопедии», что, присвоив это название древнерусской книге как таковой, мы все-таки маркировали лишь общую тенденцию. Не стоит при этом воображать, будто имеется какой-то четкий отличительный знак, позволяющий однозначно обособить «энциклопедические предприятия» XVI в. от всех прочих книг. Разница между ними, прежде всего, в назначении. Тем не менее, у занимающей нас категории книг есть некоторые отличительные особенности – то, например, что в них часто сводятся воедино и превращаются в «энциклопедию» факты, которые раньше никому не приходило в голову «обобщать», то еще, что новосозданные «энциклопедии» стремятся, объединив в

⁶ Мельникова Е. А. «Воображаемая книга»: Очерки по истории фольклора о книгах и чтении в России. СПб., 2011.

себе некий набор элементов, создать законченную композицию. При разборе⁴⁵ конкретных произведений мы увидим впоследствии еще кое-какие родовые признаки. Вообще говоря, медиевисты признают «энциклопедичность» одной из отличительных черт средневекового мировоззрения в целом. В стремлении объять мир в его полноте, дабы убедиться в разумности его организации Всевышним, реализовалось общее для средневековой эпохи тяготение к универсальности. Каждый предмет наделялся переносным, символическим значением, а потому ни один из этих предметов не мог быть пропущен при очередном «энциклопедическом» охвате мира – как на отдельном временном срезе, так и в историческом развитии. Мысль подобного рода лежит в фундаменте «образцовых энциклопедий», вроде «Этимологий» Исидора Севильского. Но здесь обнаруживается специфика восточного христианства в его отличиях от западного. Восточное христианство больше склонно было к иконическому восприятию видимого мира, явления которого воспринимались в их реальной связи со сверхчувственными прообразами. Между обозначающим и обозначаемым ставился знак равенства. Убеждение в этом наложило отпечаток на содержание древнерусских «энциклопедических предприятий» XVI в. В самом деле, их отличительным признаком является прямая или косвенная идеологичность, поскольку «предприятия» назначены были подтвердить законность совершившегося превращения Московского княжества в «священное царство». Провиденциальный смысл трансформации мог быть раскрыт только через реальное, а не условное соотнесение конструируемого образа с образом того «священного царства», на наследие которого претендовала Москва. Ситуация дополнительно осложнялась тем, что наследуемый образ в интерпретации московских идеологов не отличался однозначностью. Скорее даже так: образ, принятый за образец, суммировал в себе черты некоего множества. Диапазон уравниваний простирался от павшей Византийской империи до завоеванного Иваном Грозным Казанского царства. Полисемия просматривается и в самих «предприятиях», цель которых заключалась в том, чтобы обеспечить собственную конструкцию «священного царства» набором обязательных для него атрибутов. Памятуя сказанное, не будем при сортировке «предприятий» искать в них идеологическую составляющую чересчур прямолинейно: конечное «обожение» царства могло быть достигнуто только мистическим откровением, а не словесным инструментарием, которым оперировали создатели «предприятий».

«Священное царство» и его атрибуты

Как же надлежит датировать то, что дало толчок «предприятиям», – превращение удельного Московского княжества в Московское царство, претендующее на сакральный статус? Все, конечно, понимают, что, отвечая на поставленный вопрос, никто не назовет

точные календарные даты. Превращение одного в другое было длительным процессом,⁴⁶ который разворачивался на разных уровнях. Ясно, что изменения на политической карте Восточной Европы совсем не обязательно зеркально отразились в истории культуры. Однако ясно и то, что трансформация малозаметного княжества в нечто, претендующее на привилегированное место в провиденциальной истории, не могла совершиться без идеологической поддержки. Именно на этом этапе в эволюции древнерусской литературы она развивается в неразрывном контакте с идеологией. Значимых результатов разработка доктрины сакральной державы достигла к концу правления Василия III и в годы царствования Ивана Грозного, чем и объясняются условные хронологические границы, установленные в заглавии этой статьи, т. е. 1520—1570-е гг.

На каких путях зрела и шлифовалась идея «священного царства»? – Обоснование исключительной провиденциальной миссии Москвы шло по *трем* взаимосвязанным направлениям. *Первое* из них представляло собой христианскую модификацию восходящего к языческой эпохе символа «вечного Рима» («Roma aeterna»). Символ унаследовала Византийская империя, мыслившая себя реинкарнацией Древнего Рима («Новый Рим»). Связанная с символом политическая мифология оперировала античным метафизическим понятием о некоем универсальном царстве, которое, по мере бега времени, лишь меняет носителя («translatio imperii»). Этот ход мысли необходимо выставить первым номером, потому что, в отличие от следующих двух, перенос идеи царства на символическом уровне не был жестко привязан к конфессии. Древние языческие царства не переставали быть священными, а их правители сохраняли свой авторитет как образцы для главы христианского царства. *Второе* направление, связанное с эсхатологическим пафосом иудейско-христианской традиции, в средние века чаще выступало в комбинации с первым. Особенное значение придавалось пророчеству о четырех царствах из Книги пророка Даниила, а в христианскую эпоху на почве евангельской эсхатологии развилась мысль о постепенном распространении новозаветного учения по народам и странам. Применительно к Москве это значило, что даже если «царство» как самостоятельную универсалию она могла получить из нехристианского источника, паритет с Византией гарантировала новоявленной державе только чистота исповедуемого в ней православия. *Третьим* направлением, двигаясь по которому московские правители могли заявить о своих исключительных полномочиях среди прочих правителей, были матримониальные альянсы и родовое наследство. Как известно, в 1472 г. Иван III вступил в брак с Зоей (Софией) Палеолог, племянницей последнего византийского императора, и в этом браке был произведен на свет Василий III. Но примечательным образом русские князья и цари не рассматривали родство с

византийской династией как источник своего избранничества. С бóльшим вниманием⁴⁷ они отнеслись к вымышленной генеалогии, возводящей род московских князей к императору Августу. На всех трех направлениях великокняжеские, а потом и царские идеологи решали одну и ту же задачу, именно, репрезентировать его владения как «священное царство». Классической оболочкой этой идеологемы являлась «империя», термин, который мы в дальнейшем позволим себе употреблять применительно к «священному царству» в качестве условного синонима. Используя данный термин и держа в уме парадигму павшей христианской империи со столицей в Константинополе, мы имеем в виду эмулятивные по отношению к ней черты в идеологии и культуре возвышающейся Руси. Наиболее важным элементом византийского наследия, подлежавшим адаптации, безусловно стало представление о религиозной природе империи, санкционирующей верховенство василевса или царя, помимо государственной сферы, в церковных делах (цезарепапизм). Учтем только, что, приступив к разработке собственной модели «священного царства», когда от Византии остались одни воспоминания, и обладая ограниченным инструментарием, московские идеологи могли реализовать лишь облегченную – «доморощенную» модификацию римско-византийского «имперского образца».

Было бы грубой модернизацией вообразить себе московский вариант идеи царства в духе современной политической доктрины как санкционированную государством и внутренне непротиворечивую теорию. Столь же наивно было бы предполагать, что у московских идеологов была единая, заранее поставленная задача, во исполнение которой они дружно трудились по трем разграниченным нами направлениям. «Империя» есть религиозное, а не политическое понятие, и приложение его к московской действительности имело целью декларировать именно религиозную исключительность нового царства в предначертанной Богом истории человеческого рода. Конкретные заявления по каждому из трех направлений появились в разное время, оперировали не дефинициями, а образами, и редко запечатлевались в официальных документах. «Имперская» идея зрела постепенно. Мысль об особом Божьем попечении в отношении Руси, позднее обращение которой истолковывается как указание на ее особенный жребий в семье христианских народов, – эта мысль прослеживается уже у первых киевских писателей и перепевается в духовной литературе на протяжении всей христианской истории страны⁷. Сравнение Владимира Крестителя с равноапостольным

⁷ *Ефимов Н. И.* «Русь – новый Израиль»: Теократическая идеология своеземного православия в допетровской письменности. Казань, 1912 (Из этюдов по истории русского церковно-политического сознания. Вып. 1).

императором Константином звучит в «Слове о законе и благодати» («подобниче⁴⁸ великааго Коньстантина»⁸), а в конце XV в. митрополит Зосима переносит то же имя («translatio nominis») на московского князя и распространяет троп на новые объекты: теперь новым Константином, согласно митрополиту, по праву можно назвать князь Владимирова потомка Ивана III, стало быть, и имя императора, включенное в название его павшей на Босфоре столицы, можно перенести и присвоить «новому граду» Москве⁹. Как ясно из контекста, нет оснований усматривать в этой двухчастной развернутой параллели какую-либо политическую подоплеку. Стоит вспомнить, что в годы, когда существовала историческая Византия, сам Константинополь неизменно нарекался не только «Новым Римом», но и «Новым Иерусалимом». Сходным образом следует интерпретировать формулу «Москва – третий Рим» на той стадии ее истории, которая связана с именем старца Филофея. Сверка списков показала, что в ключевой фразе соответствующего произведения «царство нашего государя» опознается как «Ромейское», т. е. Византийское царство, которое лишь на более позднем этапе в развитии текста заменили на «Росейское»¹⁰. Филофею нужно было подчеркнуть сакральную сущность Византийской империи, унаследованную Россией, политический смысл был придан его заявлению задним числом. Сколько нам известно, единственный писатель, который производил имперское достоинство великого князя Василия III от его кровного родства с Палеологами, был Максим Грек. Да и тот решился адресоваться к московскому правителю «Василие Иоаннович Палеологе» лишь однажды, в первом ему послании, когда писатель еще не освоился с культурной обстановкой Москвы¹¹. Цель афонского переводчика, несовместимая с текущими политическими интересами Руси, заключалась в том, чтобы побудить князя овладеть его «законной вотчиной» на Босфоре, не утратившей, как считал автор, своего сакрального значения. Остается легендарное родословие от Августа, в котором обычно усматривают собственно политический подтекст¹². Нельзя не отметить, что там этот подтекст тоже вторичен, он возникает у легенды только в царствование Грозного. Об использовании ее московской дипломатией при его отце сведений нет, если не считать замечания Сигизмунда Герберштейна, что

⁸ Молдован А. М. «Слово о законе и благодати» Илариона. Киев, 1984. С. 96.

⁹ Идея Рима в Москве, XV–XVI века: Источники по истории русской общественной мысли = L'idea di Roma a Mosca, secoli XV–XVI: Fonti per la storia del pensiero sociale russo. М., 1989. С. 123–125 (№ 21: Предисловие митрополита Зосимы к Пасхалии на восьмую тысячу лет).

¹⁰ Синуцына Н. В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.). М., 1998. С. 345.

¹¹ Преподобный Максим Грек. Сочинения. М., 2008. Т. 1. С. 119, 132.

русские «бахваляются», будто три брата, прародители их государей, «вели свой род от⁴⁹ римлян»¹³.

Как видим, из разных опытов присвоить Московскому царству вождевленное «имперское» достоинство складывается эклектичная картина. Никаких официальных манифестов нет. Все заявления сделаны в частном порядке. Генеалогическое построение, признающее Рюрика потомком императора Августа, впервые объявлено было в послании Спиридона-Саввы, отождествление которого с непризнанным митрополитом Спиридоном остается предметом споров. Формула Филофея в ее архетипическом варианте прозвучала в его послании дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюрю-Мунехину, где отправитель обличал звездочетов. Стоит еще обратить внимание на то, что все эти ранние заявки и формулы возникают в писаниях лиц духовного звания, в той среде, которая и создавала от начала до конца идеологическую базу под идеей «священного царства». Немного в расстановке акцентов изменилось и позднее. Так, внутри- и внешнеполитические выступления Грозного свидетельствуют, что и для него на первом месте стояли религиозные основы московской модели империи. Сам царь, отличный для москвитов как представитель рода Рюриковичей, функционально уподоблялся священнику по византийскому образцу. Политизация культуры XVI в., которой грешили и грешат многие историки, деформирует московскую идею «царства», ибо адекватная интерпретация ее возможна только в конфессиональных терминах.

Как шла разработка модели, если никаких теоретических посылок для этой разработки не было дано? Три направления лишь задавали определенный ход мысли, а идеологам доктрины «священного царства» предстояло придать этому «царству» атрибуты и функции, необходимые для его нового амплуа. Начать с того, что «царство» такого типа должен был возглавить харизматический правитель, его отличия от обыкновенных людей возникали за счет метонимического переноса – из-за религиозной значимости занимаемого им места, которое в Византии он получал, пускай номинально, по воле народа («*res publica*»). Иначе обстояло дело в Москве, где царь становился царем от рождения, по праву династической преемственности. Несмотря на различие двух традиций, в реальности мы постоянно наблюдаем их интерференцию. Первейшая обязанность и императора, и царя как главы избранной Богом державы заключалась в защите православной веры и поддерживающей эту веру православной церкви. Царь, будучи особой священной, являлся источником не только гражданских, но и

¹² См.: Буланин Д. М. *Translatio studii*: Путь к русским Афинам // Пути и миражи русской культуры. СПб., 1994. С. 121–122.

канонических, т. е. церковных законоположений (в Византии императора величали⁵⁰ «одушевленным законом»). В союзе с церковью (в Византии этот союз назывался «симфонией») царю предстояло вести непримиримую войну с иноверцами и особенно с еретиками, которые считались более вредоносными, чем те, кто не познал еще евангельское учение. Историю правления царя избранной державы требовалось разместить на временной оси в качестве достойного продолжения царствований его предшественников и в череде рассказов о судьбе тех бывших царств, за которыми числился символический потенциал. Сакрализации подлежало и время как таковое, сама категория времени, чем объясняется повышенное внимание идеологов царства не только к церковному календарю и его наполнению, но и к любым хронологическим расчетам. Аналогичным образом допустимо говорить о сакрализации пространства, самой категории пространства, откуда, в частности, проистекал живой интерес к сочинениям по космогонии. Часто эти сочинения устроены как комментарий к библейскому рассказу о шести днях творения, варианты такого комментария помещались также в начале исторических сочинений и компиляций. Отмеченное Богом царство обладало и своей сакральной территорией (в Византийской империи не сомневались, что в идеале она тождественна ойкумене), эксклюзивный жребий которой обозначался зримыми следами присутствия Всевышнего, явлением чудотворцев и знамениями икон, центрами с повышенной концентрацией святости. Обычно такая концентрация достигалась в почитаемых монастырях и скитах. Границы «священного царства» оберегались небесным воинством, святыми пращурами самодержца, мучениками, павшими при удержании этих границ от посягательств неверных. В отличие от Византии, предпочитавшей не касаться религиозных убеждений сосредоточенных на ее границах иноверцев, ограничиваясь их политическим подчинением или нейтрализацией¹⁴, Русь активно взаимодействовала с окружающими ее народами и проводила, пускай противоречивую, но настойчивую миссионерскую политику. Результат ее можно определить как расширение сакральной территории, которое, в определенных случаях получает вполне земное измерение как вооруженная экспансия. Сакральная территория предполагала определенного рода культурную гомогенизацию, требовала порядка (таксиса). Заявка Москвы на имперское достоинство не могла быть удовлетворена без нормирования всей жизни подданных. Важнее всего было упорядочить религиозные объекты, рассортировать и разместить их по тем или иным признакам, чтобы

¹³ Герберштейн С. Записки о Московии / Пер. с нем. А. И. Малеина и А. В. Назаренко. М., 1988. С. 60.

предупредить возможные отступления от православной доктрины. Отсюда стремление⁵¹ унифицировать и ранжировать предметы почитания, например, выделить из общей массы подвижников одного чина (ср. соборные празднования в византийской церкви), собрать вместе святых и святыни местного значения (так обычно делалось на Руси), а иногда объединить их «по специальности», к примеру, целителей или воинов. Отсюда же возникает категорическое неприятие внецерковных форм культуры (ср. вопросы-ответы «Стоглава» о скоморохах и др.), включая конфессионально нейтральные по современным понятиям (например, охоту; ср. развернутую диатрибу «Степенной книги»). Вследствие ориентации повседневного уклада на монастырь, те стороны приватной жизни мирянина, которые приходилось терпеть как неизбежное зло, в определенном смысле оставались за кулисами, поскольку их не получалось добавить к вещам, дозволенным или запрещенным монастырским уставом. Но строго говоря, между сакральным и святотатственным не оставалось промежуточной зоны, откуда возникала потребность в освящении быта, дабы предотвратить его переход в область отрицательных величин. Отсюда необходимость исчерпывающего перечисления бытовых деталей. Ведь пропуск какой-то из них был бы эквивалентен ее проклятию. Таков принцип полноты – явление, кроме прочего, соотносимое с известными аналогиями в этнографии (ср. «Домострой»).

Со времен христианизации Русь приняла ту философию образа, которая в Византийской империи одержала окончательную победу после восстановления иконопочитания и которая постулировала тождество обозначающего и обозначаемого. Благодаря Византии антиномичный образ как изображение неизобразимого стал своего рода отличительным знаком православного мира¹⁵, так что строительство «священного царства» с центром в Москве, при сколь угодно глубоких реформах, исходило из иконического понимания знака. Это касалось любого знака. Гомогенизация релевантных для церкви сфер творческой активности воплощалась в поползновениях к подлинной или фиктивной регламентации литературной, художественной и музыкальной деятельности. Кроме того, одним из сигналов, извещавших о возникновении «священного царства», служил апробированный церковью язык, даже если его нормы не были проговорены. В памятниках эпохи мы констатируем относительную устойчивость орфографических и графических норм. Одновременно книжники вновь и вновь возвращаются к простейшим манипуляциям с буквами и словами, пытаясь через сложную систему графических

¹⁴ См.: *Иванов С. А.* Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина? М., 2003.

знаков постигнуть бесконечную мудрость мироздания. В этом причина, почему в⁵² книжном обороте находятся специальные – «грамматические» сборники, в которые подбирались статьи о создании славянского алфавита, старые и новейшие лексикографические опыты, конкретные образцы тайнописи и др. С незапамятных времен известна традиция соотносить величие правителя «священного царства» с его опекой наук и искусств, но особенно с размахом строительной деятельности. Традиция поддерживалась Византией (ср. сочинение Прокопия Кесарийского «О постройках»), унаследована была еще Киевской Русью, с тем чтобы получить дополнительный стимул в Московском государстве XVI в.

Мы набросали лишь выборочный и схематичный перечень атрибутов «империи», конечным результатом их воплощения должен был стать соответствующий единому образцу, облагороженный этнографический, социальный и культурный ландшафт, который был бы очищен от элементов, не поддающихся дихотомической, черно-белой маркировке, который бы характеризовался благолепием и подчеркнутым благочестием. Важно, что для тех, кто мыслит категориями провиденциальной истории, «священное царство» на данный исторический момент могло быть только одно, оно не допускало дублировки, т. е. существования сакральных конкурентов. Использованные московскими идеологами атрибуты, по большей части, восходят к воспоминаниям о реквизитах ушедшей в небытие Византии, реквизитах, часто переименованных и переосмысленных на новой почве произвольным образом. Недостающее в византийских реминисценциях было взято по частям из обломков Восточной империи, на которые распался православный мир, если в этих обломках удержались какие-то идеологические реликты, объединявшие некогда «Византийское содружество наций» (термин Д. Оболенского)¹⁶. Понятно также, что необходимые Москве «имперские» знаки, приравнивавшие ее к Византии, не обязательно были подлинно византийскими. Достаточно было признать их таковыми, независимо от настоящего их происхождения домыслив их византийский генезис.

Заканчивая общую характеристику атрибутов возводимой в Москве XVI в. идеологической конструкции, отметим, что главные (хотя далеко не все!) из пропагандирующих эти атрибуты «предприятий» собираются в своего рода серии, более

¹⁵ См.: *Бычков В. В.* Русская средневековая эстетика: XI–XVII века. М., 1995. С. 37–60.

¹⁶ *Буланин Д. М.* Опыт комплексного описания: Фон в древнерусской письменности до конца XVI в.: (Из истории образа по памятникам, учтенным в «Словаре книжников и книжности Древней Руси», а также пропущенным при его подготовке) //

или менее укладывающиеся в три временных диапазона. Первая серия, с которой и⁵³ началась целенаправленная работа над «энциклопедическими предприятиями», может быть условно привязана ко второй половине княжения Василия III – 1520-е – 1533 гг., вторая серия, которая включает наиболее известные из предприятий, соотносится с десятилетиями, отмечающими середину царствования Ивана Грозного – конец 1540-х – начало 1570-х гг., третья серия, в значительной степени состоящая из новых редакций предприятий, которые были написаны раньше, начинается примерно с 1570-х гг., получает высшую санкцию в связи с учреждением Московской патриархии (1589 г.), и обрывается с началом Смуты (1604 г.). Специально подчеркнем условность как нашей группировки памятников по сериям, так и хронологии этих серий. В промежуточных хронологических зонах работа не прекращалась. Все же наша периодизация небесполезна, потому что она помогает уловить некий ритм в мероприятиях по адаптации Москвой ее новой провиденциальной миссии, – тех мероприятиях, на которых сосредоточилась здесь духовная жизнь в течение ста с лишним лет. Отметим сразу же, что в специфику «предприятий» из третьей серии в рамках настоящего обзора мы по возможности не будем углубляться. Основные из них связаны по происхождению с Чудовым монастырем, роль которого в идеологическом строительстве конца XVI – начала XVII в. будет рассмотрена в отдельной статье.

Новгородский пролог

Начальный толчок, приведший в движение конвейер с «обобщающими предприятиями», парадоксальным образом был дан не в Москве, а в Новгороде – в новгородских книжных мероприятиях, датирующихся рубежом XV и XVI вв. В чем здесь секрет? Прежде всего, вспомним, что вживание Новгородской республики в Московское государство происходило болезненно, растянулась на сотню лет и закончилась для Новгорода трагически в 1570 г. Трудность альянса заключалась в том, что, с одной стороны, Новгород был признанным на Руси средоточием сакральных ценностей, но, с другой стороны, жители города имели репутацию нетвердых в вере. Новгород можно назвать русским Иерусалимом, которым периодически овладевают неверные. Возникает необходимость его отвоевать. Аналогия эта не совсем произвольна: в московской летописной повести о походе Ивана III на Новгород в 1471 г., с которого началось приручение вольного города, новгородские беспорядки прямо сравниваются со смутой в Иерусалиме накануне пленения его императором Титом. Контраст между противостоящими друг другу сторонами подчеркивается тем, что московские полки,

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2: Вторая половина XIV–XVI в. Ч. 3: Библиографические дополнения. Приложение. СПб., 2012. С. 427–763.

выступившие в поход к Новгороду, получают поддержку сверхъестественных сил.⁵⁴ Поползновения соотнести Новгород и Иерусалим прослеживают в новгородских церковных древностях, начиная, по меньшей мере, с XII в.¹⁷ Параллель становится с течением времени все более настойчивой. Сам поход на Новгород в 1570 г., закончившийся для города катастрофой, должен был вызвать в памяти крестовые походы в Палестину. Таким образом, то, что будущие «предприятия» имели новгородские истоки, подчеркивает их сакральную природу.

Трудным для новгородцев испытанием стала разоблаченная в Новгороде вскоре после его подчинения так называемая «ересь жидовствующих». Не имея сейчас возможности оценить посвященную данной теме академическую литературу, отметим лишь, что, при общей скудости источников, проблематично само существование этой ереси. Ибо, как оно часто бывало в истории, ересь оказывается удобным для ее гонителей изобретением. В случае с новгородской ересью получателем дивидендов могла быть как Москва, так и Новгород, хотя и по разным причинам. В любом случае, победа над ересью стала удачным началом на пути к предстоящим идеологическим разработкам исключительного статуса Москвы, и не зря примером для подражания в развернутой им кампании новгородский святитель выбрал испанскую инквизицию. Что бы ни говорилось о роли евреев в политике великого князя и о переводах с еврейского, якобы наводнивших Новгород и Москву¹⁸, фактом остается, что мы не располагаем достоверными сведениями об участии в ереси каких-либо лиц еврейского происхождения. Скажем больше: издавна смущавшее историков, писавших о ереси, и до сих пор не утратившее своей магической силы прозвище «жидовствующие», не имеет прямого отношения к еврейству ни в каких его видах. Оно не связано с этническим признаком и не касается еврейского языка, к которому на Руси относились с должным почтением. Даже с подлинной иудейской религией, о которой на Руси имели весьма смутные представления, оно прямо не соприкасается. Руси никогда прежде не доводилось участвовать в религиозной полемике, познания русских книжников о царящем в мире многообразии конфессий были исключительно книжного происхождения. В еретики зачислялись не только отступники, но и представители любой неправославной религии. «Жидовская мудрствующие» – вполне искусственный

¹⁷ Гордиенко Э. А. Новгород в XVI веке и его духовная жизнь. СПб., 2001. С. 85–89.

¹⁸ См.: Taube M. The Fifteenth Century Ruthenian Translations from Hebrew and the Heresy of the Judaizers: Is There a Connection? // *Speculum Slaviae Orientalis*: Московия, Юго-Западная Русь и Литва в период позднего Средневековья. М., 2005. P. 185–208 (UCLA Slavic Studies. N. S. Vol. 4).

конструкт, изобретенный Геннадием Новгородским и Иосифом Волоцким. С так⁵⁵ называемой «литературой жидовствующих» дело совсем плохо. От рубежа XV–XVI вв. не дошло ни одного текста со следами религиозного вольнодумства, нет даже конфессионально нейтральных памятников, в том числе, давно и безуспешно разыскиваемых переводов с еврейского языка. Сам по себе еврейский язык не пугал охранителей. Книжная продукция, какую связывают сейчас с действовавшей в Великом княжестве Литовском православно-иудейской «переводческой школой», лишь в малой своей части и не ранее середины XVI в. преодолела рубежи Московского государства. Нельзя доказать и наличия у обличителей ереси переведенных с еврейского «Книги, глаголемой Логика» и «Шестокрыла»¹⁹. Среди сведений Геннадия о еретических заблуждениях, ключевым является его сообщение о том, что еретики «испревращали» псалмы. Сколько мы можем судить, злостное заблуждение еретиков заключалось в отрицании прообразовательного по отношению к Новому Завету смысла, какой отыскивали христиане в Псалтири, книге, главнейшей для обихода православной церкви. Указание на извращение псалмов еретиками объясняет, почему к Псалтири, ее точному переводу и интерпретации ее текста, как при полемике с «жидовствующими», так и много лет после их разгрома, неизменно возвращались самые ученые и самые квалифицированные книжники Новгорода, а потом Москвы.

Для истории литературы не столь уже важно, была ли новгородская ересь реальной силой или ее мощь во много раз преувеличена обличителями. Важнее, что антиеретическая кампания позволила оценить актуальные и потенциальные резервы древнерусской книжности в преддверии работ над «энциклопедиями» XVI в. Важно, что потребности в обличении создали предпосылки для раздумий над скрытым содержанием Псалтири, а затем и всех других библейских книг. Еретики отрицали реальное воплощение Спасителя, догмат о Троице, чем объясняются их дерзостные поступки и злостные заблуждения – профанация христианских таинств, сомнения в загробном спасении, иконоборчество, отвержение института монашества и др. Поэтому со стороны обличителей пристальное внимание было обращено на символический аспект библейских текстов, приточное толкование Ветхого Завета и библейскую экзегезу в целом. Борцов с ересью интересовал накопленный их предшественниками опыт полемики с инакомыслящими. Геннадий стремился мобилизовать имевшийся в южнославянской и восточнославянской письменности ресурс текстов (ср. его перечень книг, которые «у еретиков все есть», в Послании Иоасафу Ростовскому). Но эта

¹⁹ См.: Буланин Д. М. К истории книжного обмена Новгорода и Литовской Руси в конце XV века: («Библиотека еретиков») // Русская литература. 2022. № 2. С. 88–99.

письменность, сосредоточенная на нравственно-воспитательных задачах, не развила у⁵⁶ книжников вкуса к изощренной экзегезе и не располагала к схоластическим контроверзам, так что ресурс быстро истощился. Только потребностью момента объясняется беспрецедентное обращение древнерусских литераторов к писателям католического мира и их теологическому опыту. Корпус славянских текстов обогатился внушительным набором переводов и книг, восходящих к западным оригиналам. Вокруг архиепископа сплотился круг сочинителей, переводчиков и писцов, которые обеспечивали литературную поддержку антиеретической кампании, занимались переводами, преимущественно с латинского и немецкого языков. В этот круг входили доминиканец Вениамин, Николай Булев, Дмитрий Герасимов, Влас Игнатов, Герасим Поповка, Тимофей Вениаминов. Параллельно с Геннадием войну еретикам объявил и Иосиф Волоцкий, который, правда, в своих инвективах опирался на памятники, освоенные уже славянской письменной традицией. Наследие Волоколамского игумена с полным правом может рассматриваться как часть новгородской литературы. Обнаружившееся в этот критический момент единодушие двух церковных деятелей найдет продолжение в следующем столетии в форме самой тесной связи книжников Новгорода и Волоколамского монастыря, которую не разрушил даже конфликт основателя обители с очередным новгородским архиепископом Серапионом.

Все же основные события конца XV в. разворачивались не в обители Иосифа Волоцкого, а в Новгороде. Коль скоро главный удар еретики нанесли по трактовке Псалтири, на ее оборону были отряжены лучше всего подготовленные кадры. Дмитрий Герасимов и Влас переводят с немецкого надписания псалмов (краткие сведения о содержании каждого из них с выделением сокрытого там прообразовательного смысла), тогда же создана была Чудовская Псалтирь (ГИМ, собр. Чудова мон., № 53/29), содержащая латинский текст книги, записанный кириллическими буквами. Далее в рукописи следуют два блока библейских песен и молитв, из которых первый, соответствующий католической традиции (л. 178–193 об.), сопровождается интерлинейрным переводом на русский язык²⁰. Как предполагают современные исследователи памятника, именно в период сотрудничества с кружком Геннадия Дмитрий Герасимов выполнил перевод Толковой Псалтири Брунона Вюрцбургского,

²⁰ Ромодановская В. А. К характеристике интерлинейрной части Чудовской латинской Псалтири // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2004. Т. 55. С. 379–386.

хотя обнародовал он свой труд только в 1535 г.²¹. Безусловно главным достижением⁵⁷ геннадиевского кружка стала подготовка первого в славянской традиции полного канона ветхозаветных и новозаветных книг – прославленной Геннадиевской Библии 1499 г. Недостававшие среди старых переводов библейские книги были впервые переведены по «Вульгате», также по европейским изданиям выправлялись некоторые из имевшихся уже редакций славянского текста. Кроме того, к латинским источникам восходят маргиналии, которыми снабжены новопереведенные книги²². Уже названные памятники свидетельствуют о том, что книжные плоды затеянной архиепископом антиеретической кампании не ограничиваются ближайшими потребностями полемистов. Деятельность Геннадия и его сотрудников можно назвать генеральной репетицией перед созданием «обобщающих предприятий» в XVI в.

Под наше определение подходят и другие опусы тех лет, когда Геннадий управлял новгородской кафедрой. То есть это еще не сами «предприятия», но они намечают функции будущих «предприятий», которые предстояло составить книжникам XVI в. Дабы уберечься от еретического соблазна, сотрудники архиепископа перевели антииудейские трактаты Николая де Лира и крещеного иудея Самуила. С той же целью они переписывают и распространяют древнеболгарский перевод слов против ариан Афанасия Александрийского и болгарскую же «Беседу» Козмы Пресвитера. Скорее всего, к этим их работам имеет какое-то отношение перевод с латинского языка «Прения» псевдо-Афанасия Александрийского с Арием, хотя теперь твердо установлено, что перевод «Прения» был выполнен в Москве. Перевел его Мануил Дмитриевич Траханиот²³. Заслуживают отдельного обсуждения те кодексы, связанные с новгородским кружком, в которых латинские и греческие тексты переписаны кириллицей. В таких рукописях неправомерно видят пособия, с помощью которых местные книжники овладевали иностранными языкам. Помимо названной Чудовской Псалтири, это, как минимум, опубликованный В. Томеллери русско-латинский интерлинеарный список «Грамматики» Доната (БАН, Архангельское собр., Д 476),

²¹ *Tomelleri V. Il Salterio commentato di Brunone di Würzburg in area slavo-orientale: Fra traduzione e tradizione (Con un'appendice di testi). München, 2004 (Slavistische Beiträge. Bd 430).*

²² *Ромодановская В. А. Об источниках и характере энциклопедических глосс Геннадиевской Библии (1499 г.) // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2001. Т. 52. С. 138–167.*

²³ *Матасова Т. А. К вопросу о рецепции культуры Возрождения и традиций греческого мира в Московской Руси конца XV века: София Палеолог и её окружение // Вестник Университета Дмитрия Пожарского. 2015. № 1 (2). С. 69–70.*

которую перевел Дмитрий Герасимов²⁴, и греко-славянская часть рукописи,⁵⁸ переписанной Тимофеем Вениаминовым, с выдержками из служебного Евангелия (РНБ, собр. Кирилло-Белозерского мон., № 36/41)²⁵. Дело в том, что в Древней Руси выбор алфавита имел не только прикладное, но и символическое, иногда даже магическое значение. Такое применение алфавита было особенно актуально в окружении еретиков или подлежащих обращению язычников. Едва ли случайно в обстановке противостояния ереси подобные «шифры» (к записям греческих текстов, особенно стилизованным, как у Тимофея Вениаминова, сказанное относится в меньшей мере) отыскиваются в самых важных для православного человека книгах – в Псалтири и Евангелии. Да и в «Грамматике» можно было усмотреть аналогию с космосом, упорядоченным Богом, – тем порядком, на который дерзновенно покушались подлинные или иллюзорные еретики. Едва ли указанные тексты могли быть использованы в педагогических упражнениях. Архиепископ Геннадий своими заботами о церковном благочинии Новгорода (создание «Окозрительного устава», разработка иконографии Софии Премудрости Божией, внедрение «Чина шествия на осляти» и др.), которые косвенно служили посрамлению еретиков, одновременно поспешествовал упрочению образа Новгорода как русского Иерусалима. Тому же служила «Повесть о новгородском белом клобуке», извещавшая о судьбе знаковых святынь. Новейшие археографические находки делают правдоподобным предположение, что «Повесть» возникла при дворе Геннадия²⁶. Напротив, в более поздние годы, в 1537 г., когда Василий Михайлович Тучков-Морозов приступил к работе над своей редакцией Жития Михаила Клопского, он, кажется, уже не рискнул прямо производить достоинство Новгорода от императорского Рима (мысль, сокрытая в «Повести» о белом клобуке), создав взамен политически безобидную схему. Семена благочестия, заявляет агиограф, получил «сей великий Новъград от Киева, яко же от Рима вторая Антиохия бывает, и в Росии всей святительством второпрестольствует»²⁷.

Новгородская писательская артель Геннадия оставила после себя еще несколько выразительных сочинений и переводов, восходящих к западным оригиналам. Для нас

²⁴ Der russische Donat: Vom lateinischen Lehrbuch zur russischen Grammatik: Historisch-kritische Ausgabe / Hrsg. V. Tomelleri. Köln; Weimar; Wien, 2002 (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. N. F. Reihe B: Editionen. Bd 18).

²⁵ Фонкич Б. Л. Греческо-русские культурные связи в XV–XVII вв.: (Греческие рукописи в России). М., 1977. С. 25–44.

²⁶ Жучкова И. Л. Древнейший список Повести о белом клобуке // Славяне и их соседи. Вып. 11: Славянский мир между Римом и Константинополем. М., 2004. С. 263–269.

сейчас интересны памятники, перекликающиеся по своему содержанию с теми,⁵⁹ которые появятся позднее, когда «объединяющие предприятия» станут приметой целой эпохи в истории литературы. Это опять же не сами «предприятия», но их тематические предвестники. «Повесть о новгородском белом клобуке», как первая заявка на будущие «переносы» символических объектов, уже была названа. Следом поставим тексты, вызванные к жизни сомнениями по поводу того, что в 1492 г. истекало семь тысяч лет от Сотворения Мира, срок, будто бы отпущенный Богом Его творению. По запросу архиепископа Дмитрий Траханиот, грек, служивший при дворе великого князя, направил ему послание с разъяснениями «о летех и о седмой тысящи»²⁸. В 1495 г., «в дому архиепископли», была переведена с латинского языка посвященная календарным хитростям восьмая книга из трактата Вильгельма Дурандуса, сочинения, в переводе носящего название «Съвещание божественных дел». Все это предвещает будущие рассуждения и расчеты, сосредоточенные вокруг категории времени. О стремлении к сортировке и первичной регламентации элементов письменности говорит судьба только что названного русскоязычного Доната. Работа над «Грамматикой», начальный перевод которой, по признанию Дмитрия Герасимова, он сделал, еще учась в Ливонии, растянулась вплоть до 1522 г. Многочисленные копии перевода, утратившие латинскую составляющую, могли выполнять только символическую функцию, демонстрируя, каким манером устройство некоего абстрактного языка заключает в себе Вселенную. Ни для практического применения, ни для теоретических выводов по поводу церковнославянского языка они непригодны. Такой вывод не может поколебать остроумная, но ограниченная одним только грамматическим казусом идея И. В. Вернер, будто последняя версия русского Доната служила Максиму Греку учебником по церковнославянскому языку²⁹. С большой долей вероятности к числу трудов геннадиевских соратников может быть причислен переведенный с немецкого «Луцидариус», одна из многочисленных версий средневековой «народной энциклопедии», которая обещает дать ответы на любые вопросы относительно устройства горнего и дольного мира. Этот памятник по своей организации более всего напоминает «обобщающие предприятия», которые должны были появиться в ближайшем будущем. Справедливости ради отметим,

²⁷ Повести о житии Михаила Клопского / Подгот. текстов Л. А. Дмитриева. М.; Л., 1958. С. 143.

²⁸ *Плигузов А. И., Тихонюк И. А.* Послание Дмитрия Траханиота Новгородскому архиепископу Геннадию Гонзову о седмичности счисления лет // *Естественнонаучные представления Древней Руси: Счисление лет. Символика чисел. «Отреченные» книги. Астрология. Минералогия.* М., 1988. С. 51–75.

²⁹ *Вернер И. В.* О языковой практике Максима Грека раннего периода *sub specie grammaticae* // *Славяноведение.* 2010. № 4. С. 30—39.

что чуть позже Максим Грек подвергнет строгой критике недавно переведенный⁶⁰ «Луцидариус» за легкомысленность его толкований (критиковал ученый старец и другой перевод сотрудников Геннадия – сочинение Самуила Евреина). Весьма вероятно, что те же сотрудники перевели с латинского оригинала «Троянскую историю» Гвидо де Колумна, переписывавшуюся в полном, а чаще – в сокращенном или адаптированном виде. То, каким манером это произведение резонирует в исторических компендиумах из числа «обобщающих предприятий» XVI в., демонстрирует ключевую роль Троянской войны в символическом переходе идеи «царства» от народа к народу³⁰. Такое отношение древнерусских книжников к троянским событиям ярко обнаружилось, когда «Троянскую историю» включили в Лицевой свод и украсили ее там множеством миниатюр.

Из перечисленных произведений серьезными претендентами на то, чтобы считаться первыми опытами «обобщающих предприятий», могут, пожалуй, служить лишь две книги – **Геннадиевская Библия** и «**Просветитель**» Иосифа Волоцкого. Действительно, первую из них причислял к книгам «энциклопедического» рода еще А. С. Орлов. В обстоятельствах, сопутствующих созданию и дальнейшей судьбе первой рукописной Библии, заметно немало общего с тем, на что впоследствии нам придется обратить внимание при обсуждении «предприятий» XVI в. Симптоматичным является сам факт возникновения такой книги именно в Новгороде, который в XVI в., классическом столетии «предприятий», останется основной строительной площадкой, где их будут задумывать и где отчасти их будут воплощать в жизнь. В какой-то степени многозначителен сам факт ограниченного распространения первой русской Библии³¹, свидетельствующий, между прочим, о том, что русский извод православия даже в момент ее появления на свет (ситуация не изменилась в течение всей позднейшей истории) не знал толком, что делать с библейским кодексом как книгой, главной для адептов христианской религии. В отличие от западных церквей, у нас для Библии так и не нашлось места в текущих формах церковной жизни – ни в общественных ее аспектах, ни в частных. Знаменательно, что, отправляясь в Москву в 1504 г., Геннадий забрал с собой из Новгорода этот «эталон» христианской книги. Дальнейшая история книги, когда ревнители православия из Литовской Руси долго и напрасно добивались в Москве Библии Геннадия (к тому времени новгородский кодекс (ГИМ, Синодальное собр., № 915) митрополит Варлаам успел вложить в Троице-Сергиев монастырь), говорит, скорее

³⁰ См.: Буланин Д. М. Троянская тема в Житии Михаила Клопского // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 1993. Т. 48. С. 214–228.

³¹ См.: Ромодановская В. А. О целях создания Геннадиевской Библии как первого полного русского библейского кодекса // Книжные центры Древней Руси: Севернорусские монастыри. СПб., 2001. С. 278–305.

всего, о том, что о главном детище новгородского литературного кружка в Москве⁶¹ благополучно забыли. Из сказанного следует, что грандиозная затея новгородского архиепископа имела исключительно символическое, никак не практическое значение. Как увидим, подобная характеристика приложима ко многим из будущих «обобщающих предприятий», некоторые из них вообще не копировались или копировались по особому случаю. Есть все же немаловажное препятствие для того, чтобы приравнять Геннадиевскую Библию к «предприятиям» XVI в. Объединение библейских книг в кодекс не являлось собственным изобретением древнерусских писателей. Оно произведено было по образцу западноевропейских печатных Библий.

В отличие от Библии у «Книги на новгородских еретиков» Иосифа Волоцкого, позднее получившей название «Просветитель», не было близких книжных прецедентов. Это первое в Древней Руси обстоятельное рассуждение о богословских материях (апологетического содержания) с развернутой системой доказательств, которые, в конечном счете, сводятся к указаниям на противоречия между взглядами еретиков и, с другой стороны, текстом Священного Писания и творениями отцов церкви. Книга имеет продуманную композицию, так что в первой главе рассказывается об истории возникновения ереси, а каждая из последующих глав разбирает очередное ложное суждение «жидовствующих». Произведение Волоцкого игумена переписывалось в двух видах, как Краткая редакция, в объеме одиннадцати слов, и как Пространная редакция, состоящая из пятнадцати или шестнадцати слов. Основной темой слов, дополняющих Краткую редакцию, является вопрос о разоблачении и наказании еретиков. Датировка и взаимоотношение редакций являются предметом оживленной дискуссии, однако никто, кажется, не сомневается, что свою окончательную форму «Просветитель» приобрел только после казни еретиков, состоявшейся в конце 1504 г. Осмеливаемся даже думать, что творческая история памятника завершилась не ранее рубежа 1500-х и 1510-х гг. Трактат Иосифа Волоцкого можно с тем большим основанием считать первым из «предприятий» XVI в., что в него в переработанном виде автор включил («обобщил») собственные более ранние труды (свои послания разным лицам). Характерно, что, подобно большинству будущих «предприятий», творение Иосифа Волоцкого тесно связано с новгородской книжной традицией. Не нужно думать, что рукописная история всех «предприятий», как то случилось с Геннадиевской Библией и рядом более поздних московских трудов «энциклопедического» типа, исчерпывается одной или несколькими копиями, имевшими символическое значение. Иные, среди них и «Просветитель», не только пользовались в Московской Руси авторитетом (что не обязательно подразумевало большой урожай копий), но и получили широкое распространение в списках. Что

касается авторитета, в книжных кругах Москвы «Просветителю» он был гарантирован.⁶² Уважение обеспечивалось не только личностью создателя, стяжавшего общерусскую славу. «Просветитель» ценился и сам по себе, как выдающийся богословский труд, составленный выдающимися писателями, о чем свидетельствуют более поздние богословские опыты древнерусских апологетов и публицистов, нередко цитировавших книгу или ссылавшихся на мнение ее автора. Мало того, пиетет перед книгой был столь велик, что ей приписывали символическую или даже магическую силу. «Просветитель» принесли на одно из заседаний московских антиеретических соборов 1553–1554 гг., и за хулу на это сочинение Иосифа Волоцкого был тут же примерно наказан Кассиан Рязанский. Святотатца разбил паралич. Если взглянуть на «Просветитель» как на первое «предприятие» XVI в., задавшее тон для всех последующих (а это и есть предмет наших размышлений), первостепенное значение имеет то, что книга Волоцкого игумена посвящена обличению ереси. Тем самым его трактат заложил первый кирпич в фундамент идеологической пропаганды, которая должна была обосновать достоинство Москвы как «священного царства». Ибо победа над ересью издавна трактовалась как добродетель, украшающая главу империи, и таким аргументом, поднимающим их престиж, никогда не пренебрегали византийские василевсы. Это подчеркивали и императорские панегиристы. Так, Анна Комнина приравнивала труды отца по искоренению манихеев и других еретиков к его подвигам на поле боя («Алексиада», XIV, 8). Здесь кроется и причина нескольких антиеретических процессов, которые состоялись в XVI в. уже после расправы над «жидовствующими» и которые должны быть поставлены в один ряд с отложившимися в книгах пропагандистскими мероприятиями. Имеются в виду, во-первых, процессы против Максима Грека и Вассиана Патрикеева, во-вторых, процессы середины XVI в.

Миссия Максима Грека.

Защита от еретиков подлинных и мнимых

Так получается, что наследие Максима Грека должно фигурировать в наших рассуждениях не один раз – по сходному, но не тождественному поводу. Начать нужно с первых книжных деяний афонского старца по прибытии его в Россию. Собор 1504 г. осудил «жидовствующих», в Москве и в Новгороде сожгли самых из них злокозненных. Казалось бы, с ересью худо-бедно покончили. Но идеологический запрос на борьбу с врагами церкви оставался в силе, и ересь нужно было отыскать, даже если она нигде себя не проявила. В конце концов можно было исходить из презумпции, что она рано или поздно зародится, как то уже не раз случалось в истории христианской церкви. Поэтому работа над «Просветителем» Иосифа Волоцкого продолжалась, а в 1518 г. в Москву

прибыл из Ватопедского монастыря ученейший Максим Грек. Смысл его миссии⁶³ оставляет много вопросов: Москва просила о присылке «переводчика книжново на время», но вместо запрошенного Саввы, который не мог путешествовать по старости, монастырское начальство остановило свой выбор на Максиме³². Какова бы ни была его ученость, по признанию самих отправителей, славянским языком старец не владел.

Есть и другие вопросы. Оригиналы для переводов Максима, были ли они привезены будущим переводчиком, или имелись уже на Руси? Из греческих книг, с которыми он работал, сохранилась одна только Триодь митрополита Фотия, к тому времени уже более века находившаяся в Москве. Сомнения отчасти развеиваются в процессе изучения самих писаний Максима: наличие среди его источников печатных книг, опубликованных в северной Италии, где писатель подвизался, прежде чем он постригся на Афоне, подводит к заключению, что он отправился в путь с собственной библиотекой. Учитывая неблизкое расстояние, которое пришлось преодолеть старцу, можно думать, что едва ли в этой подсобной библиотеке книг было много. Непонятно, по какому принципу они отбирались. Напротив, совершенно очевидно, что переводческая программа писателя по прибытии его в Москву явилась продолжением трудов геннадиевского кружка, с их отчетливым противоеретическим прицелом.

Такова **Толковая Псалтирь**, одна из самых объемных книг Древней Руси, представляющая собой катены, где каждый из псалмов сопровождается подробнейшими толкованиями со стороны прославленных христианских эрудитов, которые объясняют текст на всех уровнях, предусмотренных библейской экзегезой (как известно, схоластика выделяла четыре таких уровня – буквальный, аллегорический, тропологический, анагогический). Связь с наследием новгородского кружка явствует, помимо прочего, из того, что помощниками афонскому переводчику были прикреплены бывшие сотрудники Геннадия – Дмитрий Герасимов и Влас. Вызывает недоумение процедура их совместной работы, состоявшей из двух этапов: поскольку Максим Грек не знал славянского, он переводил с греческого на латинский, а уже с латинского переводили его помощники. Эта громоздкая и несовершенная технология, применение которой подтверждают два независимых сообщения (Послание Дмитрия Герасимова и «Исповедание православной веры» Максима Грека), тоже вызывает вопросы, потому что рядом с афонским переводчиком находился русский книжник, превосходно владевший и русским, и греческим (инок Силуан). Согласно принятой на Руси теории образа, форма текста не отделялась от содержания, поэтому не исключено, что перед нами одно из проявлений

³² Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1841. Т. 1. № 122. С. 175–176.

предубеждения в отношении книг на греческом языке со стороны московских⁶⁴ идеологов этого времени. Книги или – что тоже не исключено – прибывшего с Афона переводчика могли подозревать в конфессиональной неустойчивости, отчего и решено было пропустить его переводы через латинский фильтр. Интересно, что сходная мизансцена наблюдалась полтора века спустя на заседаниях Московского собора 1666–1667 гг., низложившего патриарха Никона. Там взаимодействие с греческим духовенством осуществлялось через два промежуточных звена – Симеона Полоцкого, знавшего только латынь, и Паисия Лигарида, владевшего и латинским, и греческим, но не понимавшего по-славянски. В Москве тогда хватало переводчиков с греческого, так что звено в лице Симеона Полоцкого было явно избыточным. По-видимому, выбор его в качестве посредника диктовался только лишь особым доверием к писателю со стороны московских властей³³.

Что касается посредников в процедуре переводов Максима, то тут мы видим явную параллель к тем приоритетам в книжных вопросах, какие имели место в Новгороде при архиепископе Геннадии. В литературных трудах его сподвижников, вопреки многовековым предубеждениям против католической церкви, бóльшим конфессиональным весом тоже обладал не греческий, а латинский язык. К сколько-нибудь определенным выводам по поводу состава Толковой Псалтири прийти трудно, потому что неизвестно происхождение оригинала, с которым велась работа. Оригинал не сохранился, а близких ему аналогий в греческой традиции не найдено, что само по себе не вызывает удивления, если учесть неустойчивость катен как жанра церковной письменности. В свою очередь, отсутствие греческого оригинала предопределило слабую изученность толковательной части труда Максима Грека. Есть основания предполагать, что переводчик не довольствовался одним, и даже несколькими вариантами катен, но дополнял переводимую книгу толкованиями, извлеченными из других источников, в частности, из Лексикона Свиды. Стремление исчерпать выбранный для разработки материал, а также функция памятника как средства защитить православную церковь от потенциальных врагов в лице незримых пока еретиков, которые являются вечной угрозой для «священного царства», – все это позволяет поставить Толковую Псалтирь в один ряд с Геннадиевской Библией и «Просветителем» Иосифа Волоцкого и признать ее одним из образцов «обобщающих предприятий» первой серии (из трех нами выделенных). Несмотря на свой объем, Толковая Псалтирь,

³³ См.: *Лаврентьев А. В., Преображенская А. А.* «Царский толмач Симеон»: Переводческая деятельность Симеона Полоцкого // Переводчики и переводы в России

часто делившаяся в рукописях на части, пользовалась спросом у русских читателей.⁶⁵ Едва ли они всегда акцентировали внимание на том, что в книге заложен был мощный заряд, нацеленный против еретиков. Достаточной мотивировкой могло быть то, что в переводе Максима комментировалась именно Псалтирь, которая во все времена оставалась у русских грамотеев любимой книгой.

Важность переведенного Максимом Греком книжного монумента следует еще из того, что завершение этой работы писатель рассматривал как конечную цель своего дальнего путешествия. В специальном послании Василию III, после подробного описания книги, он просит наградить помогавших ему переводчиков и писцов, а его самого отпустить на Святую Гору. Никто переводчика не отпустил. Возможно, задержка его была не совсем актом произвола, ибо в те же примерно годы, когда шла работа над Толковой Псалтирью, Максим Грек занимался переводом или, по меньшей мере, курировал перевод еще нескольких внушительных по листажу произведений. Непонятно, была ли работа над ними закончена, когда старец запросился домой. Интересно и другое – то, что переводившиеся произведения, как и Толковая Псалтирь, имели скрытую и открытую полемическую направленность, адресованы были недругам православия, тем самым вновь отсылая к пафосу новгородского кружка: это, во-первых, Толковый Апостол, во-вторых, Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея и Евангелие от Иоанна. Апостол есть настольная книга для обращения неверных и вероотступников. По-видимому, по мнению заказчиков перевода, вместе с толкованиями учительная ее ценность повышалась. То же касается евангельских бесед Златоуста. В двух переведенных сборниках его наставлений с древних времен признавали особенную силу в доказательстве единства Ветхого и Нового Заветов и в опровержении еретических заблуждений.

Есть, конечно, злая ирония в том, что переводчик, обеспечивавший русскую церковь книгами, которые служили заслоном от ересей, сам пал жертвой обвинения в религиозных заблуждениях. Не теряя времени на анализ соборных приговоров Максиму Греку (это делалось не один раз), отметим лишь, что отразившийся в приговорах конфликт неправильно расценивать как столкновение просвещения с невежеством. Для нас сейчас интереснее другое – то, что, навсегда оставленный в Московии, находясь в заточении, а потом в ссылке, писатель продолжал работу над усовершенствованием русского текста Псалтири и над его истолкованием. Видно, что данное направление своей деятельности он считал главным и, помимо других способов самооправдания, не

конца XVI – начала XVIII столетия: Материалы Международной конф. Москва, 29–30 сентября 2021 г. М., 2021. Вып. 2. С. 83–89.

пренебрегал экзегетическими изысканиями, посрамляющими настоящих, а не мнимых,⁶⁶ как он сам, еретиков. Можно вспомнить в этой связи глоссы и псалтирные стихи на славянском и греческом языках в нескольких рукописях, в том числе нацарапанные каламом (если верны предложенные отождествления почерка), далее сводки разных вариантов перевода, включая «Изъявление о псалмех», которое помещалось как отдельная глава в собраниях сочинений Максима Грека, далее еще собственные толковательные упражнения, объясняющие те или иные выражения Псалтири, наконец, полный текст библейской книги на греческом языке в рукописи РНБ, Софийское собр., № 78, которая датируется 1540 г. и по которой афонский старец обучал греческому языку неизвестного (по мнению Б. Л. Фонкича, это был ризничий Тверского епископа Вениамин³⁴). Интересной страницей в псалтирных разработках Максима Грека является опыт его сотрудничества с Нилом Курлятевым в 1552 г., отложившийся в двух интерлинейрных греческо-русских списках Псалтири XVII в. (РГБ, собр. МДА фонд. № 8 и 9), воспроизводящих утраченный интерлинейрный архетип, нескольких списках, утративших греческую часть, наконец, в относящемся к этой совместной работе предисловии Нила. В предисловии Нил описывает ход работы и превозносит перевод Максима Грека, противопоставляя этот перевод несовершенным, как считает Нил, трудам предшественников афонского старца. В монографическом исследовании и издании перевода 1552 г. представлено обстоятельное сравнение предложенных писателем вариантов передачи канонического текста, включая те, которые вынесены на поля в виде маргиналий. Выясняется, что текст Псалтири 1552 г., в сравнении с переводом, который приняли за основу в Толковой Псалтири и который воспроизводил известную прежде («киприановскую») редакцию, был полностью пересмотрен по греческому оригиналу³⁵. Полагаем, что интерлинейрная Псалтирь дезавуирует бытовавшее мнение, будто Нил Курлятев в своих занятиях с Максимом Греком стремился выучить греческий язык. Получив инструкции у мэтра («прежде мне сказал и научил склад псалмом по-гречески»), он переписал греческую Псалтирь кириллическими буквами. Лишь потом под диктовку старца он стал записывать между строк перевод («в одних тетратех противу речей речи»³⁶).

³⁴ Фонкич Б. Л. Русский автограф Максима Грека // История СССР. 1971. № 3. С. 153–158.

³⁵ Интерлинейрная славяно-греческая Псалтырь 1552 г. в переводе Максима Грека / Исслед. и подгот. текста И. В. Вернер. М., 2019.

³⁶ Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси XVI – начала XVII в. Л., 1975. С. 94–98.

Рискнем высказать предположение, что Курлятеву не было нужды учить⁶⁷ греческий, а его интерлинейная Псалтирь имела не познавательное, а символическое значение, как и сходные по оформлению книги, дошедшие от времен противостояния с «жидовствующими». Сближение закономерное, потому что Псалтирь появилась на свет накануне новой кампании против еретиков, столь же эфемерных, как их предшественники в XV в. («Ныне еретиков нет, и в спор никто не говорит», – дерзко заявлял тогда Артемий, бывший игумен Троицкого монастыря³⁷). В наэлектризованной атмосфере рубежа 1540–1550-х гг., особенно на соборных заседаниях в 1553–1554 гг. аналогии между «жидовствующими» и «новой ересью» Матвея Башкина возникали постоянно. Согласно убедительному предположению архимандрита Макария (Веретенникова), еще в 1549 г., когда шел собор на Исака Собаку, каллиграфа и бывшего сотрудника Максима Грека, афонский старец именно его подразумевал в своем обличительном слове под именем «Исака Жидовина»³⁸. Осмелевший на свою голову Артемий Троицкий решился даже выразить в эти годы сомнения по поводу законности расправы, произведенной над еретиками-«жидовствующими» пятьдесят лет назад: «Сожгли Курицына да Рукавого, и нынеча того не ведают, про что их сожгли»³⁹. Как мы говорили, чтобы пресечь острую критику «Просветителя» Иосифа Волоцкого, пришлось прибегнуть к чуду с Кассианом Рязанским. Об иконоборчестве, которое вменяли в вину «жидовствующим», заставляет вспомнить принципиальный спор, разгоревшийся между дьяком Иваном Висковатым и митрополитом Макарием и касавшийся новых сюжетов в церковной живописи. Да и сам Максим Грек едва отговорился от участия в прениях по делу Башкина. Полагаю, что в контексте войны с еретиками, которая входила составной частью в отработываемый в середине XVI в. комплекс «имперских» инициатив, и должна быть прочитана интерлинейная Псалтирь 1552 г. Мы слишком мало знаем о Ниле Курлятеве, чтобы определить его позицию в этой войне, а соответственно и конкретное применение изготовленной с помощью Максима Грека интерлинейной Псалтири. Ясно лишь, что, вопреки писавшемуся на данную тему, по своему назначению их совместный труд не имеет ничего общего с библейскими штудиями поздних европейских гуманистов, вроде Эразма Роттердамского.

Возвращаясь к рассмотрению «обобщающих предприятий», мы не можем пропустить два пространных трактата, спровоцированных той же антиеретической

³⁷ Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею имп. Академии наук. СПб., 1836. Т. 1. С. 253.

³⁸ Макарий (Веретенников). Церковный собор 1549 года // Альфа и Омега. 1998. № 2 (16). С. 141–145.

³⁹ Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи... Т. 1. С. 252.

кампанией, но появившихся несколько позже. Это «**Послание многословное к⁶⁸ вопросившим о известии благочестия на зломудрие Косого и иже с ним**» и «**Истины показание к вопросившим о новом учении**». Оба трактата направлены против учения Феодосия Косого, которого привлекли к ответу вскоре после осуждения Артемия Троицкого (судя по описи архива, его дело хранилось в том же ящике, где дело Матвея Башкина и Артемия). Феодосий благополучно бежал в Литву и там, судя по отрывочным сообщениям, присоединился к движению антитринитариев. Между тем, крамольные мысли, которые он будто бы посеял до отъезда, долго еще не давали покоя московским ревнителям православия. Развернутое изложение ереси Косого представлено в названных памятниках, которые приписываются одному и тому же автору – новгородскому писателю Зиновию Отенскому. Скорее всего, Зиновий составил только второй из памятников. Не вдаваясь в споры об атрибуции, отмечу лишь, что обе книги содержат комплексный разбор ереси, хотя и в отличной друг от друга манере. Анонимное «Послание многословное», написанное раньше, в большей мере коллекционирует высказывания отцов церкви, опровергающие взгляды ересиарха, в то время как «Истины показание», которое может быть отнесено ко времени не раньше 1565/1566 г., подробнее излагает собственные мысли публициста. Сами пункты еретической программы, какой ее видели обличители, мало изменились со времен «жидовствующих». Словом этим, кстати, Зиновий Отенский смело награждает и Феодосия Косого (по сообщению публициста, тот даже в Литве вступил в брак с «жидовынею»), как и прочие вольнодумцы, не признававшего авторитет «Просветителя». Условность образа врага следует из того, например, что Зиновий Отенский развивает традиционную концепцию иконописного образа, оказываясь по этому вопросу единомышленником Висковатого и оппонентом митрополита Макария⁴⁰. Участники схватки как бы меняются местами, подтверждая тем самым, что главным для них был процесс спора, а не его результаты. Такой вывод подтверждается наблюдениями над историей того, как создавалось «Истины показание». Зиновий сочинил трактат много лет спустя после бегства вольнодумца, когда его и след простыл и когда возможность наказать его была давно упущена. Правда, есть один нюанс, который мог стимулировать пафос трактата: в ереси Косого иногда улавливают перекличку с идеями Реформации, а полемика с ней приобрела актуальность для Москвы в связи с началом Ливонской войны и в связи с тем, что в войну вступило Великое княжество Литовское. На это есть намек в сочиненном тем же Зиновием Отенским Похвальном слове Никите Новгородскому, где

⁴⁰ Андреев Н. Е. Инок Зиновий Отенский об иконопочитании и иконописании // *Seminarium Kondakovianum*. Praha, 1936. Vol. 8. С. 259–278.

говорится, что единомышленники Феодосия Косого исповедуют «немецкое злословие»⁶⁹ Мартиновы ереси». Несмотря на такую оговорку, главным в антиеретических трактатах мы признаем их символическую значимость, их роль как испытанное историей средство обосновать «имперские» претензии Москвы. Если книги, по мнению обличителей, обладают чудодейственным влиянием на вероотступников, логично предположить, что последние будут сопротивляться изготовлению книг («Просветителя» Иосифа Волоцкого, в числе других). Такова причина, по которой Зиновий Отенский приписывает ересиарху учение, возбраняющее книжную деятельность как таковую: «И аще по Косому в царствиях ни единых книг не писати, что будет убо, не вся ли истлети будут и разсыпаться жительство вся?»⁴¹.

«Послание многословное», равно как «Истины показание», мы без зазрения совести причислим к «обобщающим предприятиям». Стоит обратить внимание, что «предприятия», которые мы обсуждали, – не с одной, так с другой стороны зависят от новгородской книжной традиции: Толковая Псалтирь готовилась при участии бывших соратников Геннадия, Отенский монастырь принадлежал Новгородской епархии, есть мнение, что новгородского происхождения и «Послание многословное»⁴². Репутация отечественного Иерусалима остается незабываемой. Стоит отметить еще, что «Послание многословное» относится к числу «предприятий», не получивших распространения: оно дошло в единственном списке XVI в. (РНБ, собр. Кирилло-Белозерского мон., № 31/1108), если не считать копии, снятой с этого списка в новейшее время.

Властью подобный Богу

Сама природа «священного царства» предполагает, что возглавлять его должна особа, причастная святости – харизматический правитель. Для Византии это был император, аналог которому предстояло создать в Москве XVI в. совместными усилиями великого князя, потом царя, и его советников по идеологии. При этом существовавший в павшей Византии развитый императорский культ лишь отчасти мог быть взят на вооружение: политическая философия Восточной империи декларировала континуитет по отношению к государственному устройству императорского Рима, который, в свою очередь, провозглашал верность идеалам республики. Воспроизводимые в Византии остатки народоправства, легитимировавшие власть императора (например, аккламации) и блокировавшие родовой принцип ее передачи, не годились для Москвы. Напротив, ее

⁴¹ Истины показание к вопросившим о новом учении / Сочинение инокa Зиновия. Казань, 1863. С. 931.

⁴² См.: Буланин Д. М. Кодикологические наблюдения над рукописью «Послания многословного» // Festschrift für Fairy von Lilienfeld zum 65. Geburtstag. Erlangen, 1982. С. 153–164.

идеологи могли с пользой для себя учесть опыт династических монархий из других⁷⁰ стран в «Византийском содружестве наций», особенно тех, что возвысились на Балканах в годы перед турецким разорением. Не гнушались в Москве подражать и восточным деспотам. Сакрализация московского самодержца реализовалась не только в наборе утвержденных Богом прав и обязанностей, но и через уникальную комбинацию гетерогенных обрядов, церемоний, ритуалов, сопутствующей им бутафории. Сюда входили, в частности, многократно перерабатывавшийся «Чин венчания на царство», начало которому было положено еще при поставлении Дмитрия-внука, помазание на царство, оборудование царского места в Успенском соборе, узаконение «Чина шествия на ослати», обряд «Государевой заздравной чаши», семантизация инсигний царской власти, усложняющаяся формула титулования, регламентация штата придворных чинов, формализация повседневной жизни двора и др. Сейчас мы остановимся на самых выразительных проявлениях избранничества, закрепленных традицией (прежде всего, в Византийской империи) за правителем «священного царства», которые получили отражение в московских литературных «предприятиях» XVI в.

Начать стоит с уникального для данной эпохи замысла, работа над которым не была доведена до конца. План работы предусматривал создание из старых и новых церковно-славянских переводов целой **Галереи «княжеских зеркал»**. Под таким названием известен популярный в средние века жанр, который в Византии служил одним из ярких, хотя и построенных на антиномиях, проявлений императорского культа. Ибо в Византии культ императора не сводился к прославлению, он включал в себя, наряду с возвеличивающими правителя ритуалами, серию таких, которые должны были предупредить зарождение у него «гордыни» (*hybris*). В наиболее смелых и художественно совершенных византийских «зерцалах» варьируется тема физической брэнности самодержца, который властью своей подобен Богу, телом же не отличается от других смертных. В предыдущие столетия русской истории самые выдающиеся византийские представители жанра – «Наставление» Агапита, переведенное в Болгарии во времена царя Симеона, и «Тестамент» царя Василия, в южнославянском переводе XIV в., – воспринимались как обычные нравоучительные сочинения. Императорский культ был чужеродным явлением в существовавших на Руси представлениях о власти, и воплощавшие его тексты наделялись отличным от византийского, но понятным для новой читательской среды смыслом⁴³. К XVI в., в связи с новыми идеями о природе

⁴³ См.: Буланин Д. М. Текстологические и библиографические арабески. VII. «Наставление» Агапита: Несколько эпизодов из истории славянской рецепции // Каталог

царской власти в «священном царстве», положение вещей изменилось, что и стало⁷¹ предпосылкой для интересующего нас опыта. Инициатором его выступил Максим Грек, уже знакомая нам фигура, а в качестве платформы для будущего свода «зерцал» выбрана была находившаяся в процессе подготовки «Кормчая» Вассиана Патрикеева, представлявшая собой самостоятельную редакцию канонического свода. При этом решение включить единым блоком тексты о пределах царской власти в «Кормчую» подсказывалось византийским опытом, по части которого афонский старец был экспертом: в Византии «Номоканон» служил одним из действенных орудий императорской пропаганды. Идея создать из галереи «зерцал» самостоятельную главу в памятнике пришла в голову заинтересованным людям на самом последнем этапе работы Вассиана Патрикеева над новой «Кормчей» – на том этапе, который представлен списком Владимиро-Суздальского музея-заповедника № 5636/399. Все это происходило до собора 1525 г., осудившего Максима Грека. Так объясняется незавершенность работы над замыслом.

Из каких же текстов планировали редакторы «Кормчей» составить гл. 34, отводившуюся для пропаганды полномочий самодержца во всей их полноте и для объявления о сакральной природе его самого? Ответить однозначно на этот вопрос не представляется возможным, потому что в перечень произведений, назначенных для интересующей нас главы, вносились изменения уже в оглавлении к «Кормчей», а фактический их набор внутри рукописи, в свою очередь, отличается от того, который был предусмотрен оглавлением. Некоторые тексты представлены одними лишь названиями⁴⁴. Содержание главы в целом, если мысленно суммировать отобранные, а потом пропущенные, и реально включенные в главу тексты, восстанавливается в следующем составе: первым шло «Наставление» Агапита – классика жанра, причем Максим Грек отредактировал древний перевод или перевел «зерцало» заново; далее следовал «Тестамент» Василия, судя по более поздним спискам, тоже в новой редакции или в новом переводе; Послание патриарха Фотия Борису-Михаилу Болгарскому, по-видимому, было специально переведено для включения в «Кормчую» (в ней дана отсылка: «...ища обрящеши в новой книзе Максимова перевода»)⁴⁵; менее известно, но согласуется с названными произведениями по содержанию «Слово о начальстве славы и царств», читавшееся как гл. 114 в «Златоструе»; далее шел комплекс коротких

памятников древнерусской письменности XI–XIV вв.: (Рукописные книги) / Отв. ред. Д. М. Буланин. СПб., 2014. С. 530–559.

⁴⁴ См.: Буланин Д. М. Первые московские опыты в жанре «княжеского зеркала» // Палеороссия. Древняя Русь: Во времени, в личностях, в идеях. 2021. № 3 (15). С. 94–112.

⁴⁵ Владимиро-Суздальский музей-заповедник, № 5636/399, л. 631.

переводных статей, связанных с античной древностью: неозаглавленный отрывок из⁷² «Исагоги» (в более поздних списках он приписан Сократу), два послания Аристотеля, адресованных Александру Македонскому (имя указано ошибочно, вместо Филиппа Македонского), извлечение из Второго слова Диона Хрисостома «О царстве», под названием «От беседы Александровы царя, яже к своему отцу царю Филиппу, о царствии». Подборка текстов завершается неозаглавленной и снабженной несколькими замечаниями переводчика выпиской из Хроники Иоанна Зонары. Выписка касается крещения Руси, которое Максим Грек относил ко времени Василия Македонянина и патриарха Фотия. Обстоятельства христианизации народа не были посторонней для «Кормчей» материей, но все же, думается, не только содержание выписки, но и сочетание имен Василия и Фотия, представлявшихся идеальной парой в имперской «симфонии», побудило включить эту выписку в свод текстов о достоинствах образцового самодержца⁴⁶.

Есть основания думать, что перечисленными текстами запланированный состав «обобщающего предприятия» не ограничивался. В 1531 г. на церковном соборе каноническое творчество Вассиана Патрикеева было осуждено, в числе других упреков прозвучало и замечание митрополита Даниила о недопустимости приводить на страницах «Кормчей» высказывания античных мудрецов – очевидная аллюзия к статьям из гл. 34. Быть может, сам митрополит и подверг потом эту главу редактуре, во всяком случае, некоторые из входивших туда статей в переделанном виде явились одним блоком в «главнике Даниловском» из Волоколамского монастыря (РГБ, собр. Волоколамского мон., № 489). Одновременно здесь к первоначальной подборке добавился «Слословец» патриарха Геннадия, подходящий к контексту скорее по форме, чем по содержанию. Интереснее, что, как можно судить по нескольким волоколамским рукописям (РГБ, собр. Волоколамского мон., № 488, 522), имя патриарха Фотия, важное для галереи «княжеских зеркал», стало притягивать к Посланию Фотия Борису-Михаилу иные произведения антилатинской тематики, в частности, «Слова на латинов» Максима Грека. Поскольку защита церкви от ревизионистов мыслилась как главная забота православного государя, противокатолические тексты неплохо сочетались с пафосом «княжеских зеркал». А «Слова на латинов» в новгородской рукописной традиции, как мы помним, бывшей тогда в родстве с волоколамской, переписывались в сопровождении посланий Фотия антилатинского содержания. Эти последние, скорее всего, перевел все

⁴⁶ См.: Буланин Д. М. «Паралипомен» Иоанна Зонары и первое крещение Руси // Slověne: International Journal of Slavic Studies. 2021. Vol. 10. № 1. С. 72–93.

тот же Максим Грек («Окружное послание», Послание архиепископу Аквилейскому)⁴⁷.⁷³ Как видим, перед нами вырисовываются, хотя и расплывчатые, контуры внушительного по размаху «обобщающего предприятия», концентрирующего энергию целой серии «княжеских зеркал» и других родственных им по тенденции сочинений. Аналоги такого конденсата императорского культа автору этих строк не известны ни из византийских, ни из южнославянских источников. Дальше мы убедимся, что беспрецедентность и даже дерзость общего замысла составляет отличительную черту ряда других «предприятий» XVI в.

Середина XVI в. была отмечена целой серией правительственных инициатив, направленных на консолидацию служилой аристократии. Согласно положению, аксиоматичному для старой (и не очень старой) историографии с социологической и материально-экономической тенденцией, все эти инициативы имели сугубо приземленную ориентацию. Из чего следовало, что тексты, обеспечивавшие инициативы, суть образцы деловой письменности. Полагаем, что природа текстов не столь проста. В самом деле, коль скоро сакральной провозглашалась особа царя, в каких-то ритуалах выполнявшего функции священника, приближенные царя оказывались в известном смысле младшими членами причта. Иван Грозный, превративший в монастырь свой опричный двор, руководствовался, между прочим, той же самой логикой. Если приближенные причастны были идеальному, понятно, что и тексты, упрочивавшие и упорядочивавшие их статус в Московском царстве («Тысячная книга», «Дворовая тетрадь»), получали частицу этого идеального. Их поэтому нельзя безоговорочно относить к деловой письменности, находящейся в компетенции бюрократических инстанций. Другое дело, что их пропагандистский эффект был спрятан слишком глубоко, и нам нет нужды вносить их в список идеологически мотивированных «обобщающих предприятий». Воздержимся мы и от того, чтобы пополнить наш список за счет «Государева родословца» и Царского Синодика 1550-х гг.⁴⁸, даже несмотря на их отчетливую тенденцию противопоставить царский род генеалогии простых смертных. Хотя последние два памятника безусловно призваны были возвеличить московских государей (в том числе, через легенду о родстве царей с императором Августом)⁴⁹, функция «обобщения» проявилась в них очень слабо.

⁴⁷ См.: Буланин Д. М. Переводы и послания Максима Грека: Неизданные тексты. Л., 1984. С. 82–94.

⁴⁸ См.: Каштанов С. М. Царский Синодик 50-х годов XVI в. // Россия и греческий мир в XVI веке. М., 2004. Т. 1. С. 388–430.

⁴⁹ Лихачев Н. П. Государев родословец и Бархатная книга // Известия Русского генеалогического общества. СПб., 1900. Вып. 1. С. 49–61.

В соответствии с переносимой в Москву моделью империи, правитель⁷⁴ «священного царства», подобно императору, призван был возглавить не только государство, но и церковь, усвоив себе некоторые признаки священника, рукоположенного в сан⁵⁰. Соответственно, если руководствоваться логикой, лежавшей в основе идеологического строительства, отмеченному Богом царству требовался единственный в своем роде и санкционированный царем свод канонического права. К началу занимающего нас исторического периода на Руси существовало уже немало переводных и компилятивных редакций такого свода, именовавшегося «Номоканон», «Кормчей», или просто «Правилами». Однако никакой «Кормчей», визированной главой Московии или даже церковной властью, не появилось до конца изучаемой эпохи, и даже позже, причем на эту необъяснимую лакуну уже обращалось внимание в историографии⁵¹. Думаю, что сложившуюся ситуацию надлежит толковать, приняв к сведению два обстоятельства. *Первое*. Вопреки мнению, бытовавшему среди прежних историков права и канонического права, «Кормчие» не имели на Руси практического применения. История переводного византийского «Номоканона», обосновавшегося на новом месте, иллюстрирует не столько его приспособление к управлению местной церковью, сколько превращение переводного кодекса в сборник для назидательного чтения. Имела значение и специфика православия, каким оно закрепилось на русской почве и где различия церковных предписаний для духовенства и для мирян были сведены до минимума. Такова главная причина, почему и внецерковные правовые тексты, начиная с «Русской Правды», инкорпорировались каноническими, читай – назидательными сводами, в итоге теряя подразумеваемую любым законом смысловую однозначность⁵². Жизнь следовала нормам обычного права, не фиксированным на письме. В связи с принятием в XV–XVI вв. монастырского устава в качестве морального императива, тенденция сменить модальность на увещательные обращения к адресатам не могла не усилиться. В подобной обстановке «Кормчая» как тип книги не была достаточно наглядным средством для демонстрации московским государем своих прерогатив в управлении церковью. *Второе*. Процесс осознания самодержцем и его ближайшим окружением всех проявлений императорского культа, какие предстояло усвоить главе «священного царства», прошел несколько ступеней. В первые десятилетия

⁵⁰ Успенский Б. А. Царь и патриарх: Харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление). М., 1998. С. 151–186.

⁵¹ Корогодина М. В. Была ли в XVI веке официальная митрополичья Кормчая? // Русское средневековье: Сб. статей в честь профессора Ю. Г. Алексеева. М., 2012. С. 832–843.

начавшегося столетия, в то самое время, когда духовные писатели и церковные⁷⁵ иерархи были озабочены приданием Московскому царству имперских черт, Василий III и его ближние бояре обнаружили странную пассивность. До нас дошли даже отзвуки решительного сопротивления московской знати попыткам сакрализации великого князя по образцу василевса. Симптоматичный конфликт разыгрался у постели умирающего, который вслед за императорами собирался принять схиму, в то время как этому противилось его окружение. Несогласные говорили: «Князь велики Владимир Киевский умре не в черньцех, не сподоби ли ся праведного покоя? И иные великие князи не в черньцех преставилися, не с праведными ли обрели покой?»⁵³.

В ответственный момент стороны Василия III принял митрополит Даниил. Это существенно: Даниил был не только представителем тех кругов книжников (Волоколамский монастырь, митрополичий двор в Кремле, кафедра новгородского владыки), где зрели и воплощались замыслы «обобщающих предприятий», но на первых порах фактотумом великого князя в его роли наследника императоров. Определив главное действующее лицо эпохи, до поры до времени отвечавшего за символическое достоинство «священного царства», мы с уверенностью выделим составленную им или под его началом **«Сводную Кормчую»** как памятник, который московский государь должен был предъявить миру в качестве знака своей заботы о вере и свидетельства о собственном верховенстве в сфере церковной юрисдикции. Одновременно по функции и по охвату материала мы смело причислим «Кормчую» митрополита Даниила к «предприятиям». Не находит аналогий в русской канонической письменности уже чудовищный объем всего памятника, если бы он предстал перед нами в полном виде. Дошедшая часть включает только апостольские и соборные правила, скорее всего, работа составителя не была доведена до конца. Вообще, запрос на канонический кодекс, отвечавший новым идеологическим требованиям, был на тот момент велик, о чем свидетельствуют почти синхронные занятия нескольких книжников над новыми редакциями «Кормчей». Усовершенствовать свод, хотя они никогда не были единомышленниками, стремятся одновременно Вассиан Патрикеев и Нифонт Кормилицын. Любопытно, что, независимо друг от друга, оба подходят к своей задаче сходным образом, осмелившись разрушить принятую в русских редакциях структуру кодекса и перераспределив каноны «по граням». Оба получают именно за такое вторжение в устоявшуюся схему строгий выговор от церковного начальства: с упреков в

⁵² Долгов В. В. Функции юридических текстов в Древней Руси: (На примере «Мерила Праведного») // Вопросы истории. 2013. № 10. С. 91–98.

⁵³ Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2000. Т. 10. С. 42.

порче «Кормчей» начинает процесс над Вассианом митрополит Даниил, позднее⁷⁶ Нифонту адресует свой упрек подобного содержания митрополит Макарий. Макарий лаконично обозначил, в чем он видит опасность принятого редакторами плана действий: «Толко-де так писати, и еретики-де все роскрадут»⁵⁴. И правда, перегруппировка канонов, хотя и делала «Кормчую» более удобной при наведении конкретных справок, оставляла широкий простор для злоумышленников: их пропуски и дополнения при подобной организации текста труднее было опознать. Об этом с возмущением вещал митрополит на соборе: «Малую сию некую часть ко твоему малоумию угодна написал, а иная вся розметал»⁵⁵. Отсюда следует, что прежнее восприятие «Кормчей», назначенной не для решения частных коллизий, а для общего воспитания православных, оставалось в силе. Главной задачей было удержать прежнюю функцию книги, в то время как тактические разногласия между оппонентами по конкретным каноническим положениям сразу отошли у отцов собора 1531 г. на второй план.

Между тем, рьяно защищавший старину Даниил сам был не чужд канонического творчества. Еще находясь на посту Волоколамского игумена, он составил дополнения к «Сербской Кормчей», в совокупности с которыми «Данииловская подгруппа Уваровской группы Сербской Кормчей» (так ее назвали историки) получила некоторое распространение в рукописях⁵⁶. Более оригинальна по составу обсуждаемая сейчас «Сводная Кормчая», которую датируют промежутком времени между собором 1531 г. и низложением митрополита в 1539 г.⁵⁷. Необычность этого свода заключается не в структурных изменениях, а в особенном внимании, которое составитель уделил толкованиям, сопровождающим каноны. Толкования отличаются не только многословностью, с амплификациями, в которых отыскиваются точные аналогии к отдельным поучениям, во множестве писавшимся митрополитом, но и широким использованием посторонних источников, не привлекавшихся прежде для разъяснения канонических правил, – в виде выписок из экзегетической и исторической литературы, из отеческих слов, житий, и т. д. Более всего заимствований восходит к компиляциям Никона Черногорца⁵⁸. Митрополиту удалось даже воспользоваться толкованиями на каноны в переводах Максима Грека, находившегося тогда в заточении в Волоколамском

⁵⁴ РГБ, ф. 98, собр. Егорова, № 156, л. 10–29 (запись по нижним полям).

⁵⁵ Казакова Н. А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.; Л., 1960. С. 286.

⁵⁶ Корогодина М. В. Кормчие книги XIV – первой половины XVII века. Т. 2: Описание редакций. М.; СПб., 2017. С. 40–42.

⁵⁷ Плигузов А. И. Poleмика в русской церкви первой трети XVI столетия. М., 2002. С. 177–178.

⁵⁸ Манохин А. А. Сводная Кормчая митрополита Даниила и ее место в каноническом праве. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. М., 2018.

монастыре. Канонический труд Даниила интересен тем, что это новый и решительный⁷⁷ шаг на пути превращения юридического кодекса в учительный сборник, т. е. развитие тенденции, заложенной в прежней рецепции византийского «Номоканона» на русской почве. И все же, труд его не получил признания как эталон, что подтверждается и ограниченным его распространением. Причин, по которым «Сводная Кормчая» осталась на обочине русской канонической литературы, было несколько: помимо незавершенности работы, отсутствовала ее санкция со стороны великого князя, и само участие в ней митрополита не было нигде объявлено. Место для московского свода церковного права, который служил бы манифестацией сакральной функции царя и напоминал бы об императорском культе, – это место до поры до времени оставалось вакантным. Его предстояло занять весьма необычному произведению, известному под названием «Стоглава».

«**Стоглавом**» именуется собрание материалов собора 1551 г., разделенное на сто глав, как думают, в подражание Судебнику 1550 г., о котором скажем после (название «Стоглав» позднее, в самом тексте он обозначается как «Соборное уложение»). В любом списке «обобщающих предприятий» «Стоглаву» неизменно отводится почетное место, но никто толком не очертил круг предметов, охваченных «предприятием», и не объяснил его функцию в ряду других «предприятий», тоже предлагавших читателю XVI в. исчерпывающую коллекцию каких-то идеологически важных объектов. О «Стоглаве» писать нелегко, потому что исследований этого произведения накопилось уже на целую библиотеку и потому что начавшиеся еще в средние века споры о его природе не прекратились по сию пору. При этом к пониманию памятника ни научная литература, ни вольные дискуссии о назначении «Стоглава» нас не приблизили, ибо они либо касались конкретных предметов, либо вращались вокруг ограниченного, искусственно подобранного комплекса сюжетов (отношения государства и церкви, допустимость существования церковных вотчин, компетенция церковного суда и др.). В чем же заключаются скрытые в памятнике головоломки? – Первое, на что обращают внимание, обсуждая «Стоглав», – отсутствие каких-либо сведений о соборных заседаниях в летописях или в актовых источниках. При этом подлинность памятника сомнений не вызывает: сохранились составленные на основе «Стоглава» современные ему наказные грамоты, рассылавшиеся по городам России. Также трудно представить себе такую ситуацию, чтобы власти, вскоре после 1551 г., отменили бы принятые собором решения: сотни сохранившихся списков «Стоглава» говорят об обратном. Но головоломки на этом не кончаются. В отличие от предыдущих соборов, на Стоглавом присутствовал сам царь Иван Васильевич, но кем были другие участники заседаний? – Свои вопросы царь

адресовал митрополиту Макарию и собравшимся в Москве епархиальным архиереям,⁷⁸ но вот гл. 4 можно понять так, будто их ответов ждал не один государь, но и присутствующие тут же бояре. Донес ли до нас «Стоглав» протоколы собора или уже принятые на нем решения, как нередко утверждают историки? – Ни то, ни другое: царь редко требует немедленного исполнения своих предписаний. Он то выступает в роли просителя, то лишь указывает на недопустимые нарушения в повседневной жизни духовенства и мирян. Одновременно асимметричная композиция произведения, где вторые царские вопросы вместе с ответами сосредоточены в одной гл. 41, создает впечатление спонтанного обмена репликами между участниками собора. К каким слоям общества обращены прозвучавшие на соборе упреки в нарушении религиозных и социальных норм поведения? – Ясности нет и в этом вопросе. Чаще всего, обсуждаемые темы касаются представителей черного и белого духовенства, но по тексту рассеяно немало замечаний, относящихся ко всем живущим на Руси православным, например, о воспитании детей (гл. 36), о тафьях (гл. 39), о запрете есть удавленину (гл. 91), о языческих («еллинских») обрядах (гл. 92, 93). Наконец, самое главное: чем же ограничен круг рассматривавшихся на соборе материй? – Однозначного ответа нет, и строго классифицировать эти материи не получится, потому что «Стоглав» делал очередную безнадежную попытку регламентировать религиозный уклад жителей Московского государства. Поскольку в то время никаких сфер жизни за рамками конфессии не существовало, ясно, что «Стоглав» отображал общественные нравы и общественный быт эпохи без каких-либо ограничений.

Пришедши к сформулированному выводу, мы будем удивлены еще больше, потому что эти нравы и этот быт, если признать предметом обсуждения их совокупность, отображены неполно. Перед нами случайная выборка нестроений в социальной сфере, где определение о церковном пении в память Ефросину Псковскому и Авраамию Смоленскому соседствует с запретом на игру зернью (гл. 41, вопросы-ответы 5 и 20). Мы постепенно приближаемся к общей оценке произведения, к пониманию того, что «Стоглав» в значительной степени имел символическое, а не прикладное значение. Этим объясняется рекомендательный тон некоторых решений. Трудности, с которыми столкнулись и до сих пор сталкиваются историки при интерпретации текста, объясняются тем, что они стремятся уложить его в прокрустово ложе византийских или древнерусских канонических сводов, в свою очередь, приписывая последним четкий механизм правоприменения. На самом деле, «Стоглав» представляет собой причудливый сплав византийских и отечественных традиций законотворчества, в частности, творчества канонического. Связать «Стоглав» с византийскими принципами, в согласии

с которыми генерировались там канонические кодексы, нужно было составителям⁷⁹ московского памятника, прежде всего, из соображений престижа. В гл. 62 воспроизведена знаменитая преамбула к VI новелле императора Юстиниана, в которой провозглашается «симфония» священства и царства. Это базис императорского культа, который надлежало натурализовать в Москве. Прямой имитацией византийского церемониала явился тот факт, что царь Иван, демонстрируя, подобно императору, свою верховную власть над церковью, лично возглавил Стоглавый собор. Аналогичным образом василевсы председательствовали некогда на Вселенских соборах. Смысл этого жеста русского царя отлично понимали в древности. На соборе 1666–1667 гг. (кстати, в его заседаниях, в свою очередь, принимал участие царь Алексей Михайлович), выразившем недоверие к канонической полноценности «Стоглава», одновременно воспроизведен аргумент сторонников его правомочности: «Но речет кто любопрителне, яко собор, иже бе zde в России, совершен и равен Вселенским, поне же и царь бе на нем, яко и на прежних селенских соборех». В согласии с задачами церковных реформ следующего столетия, довод был отвергнут: собор XVI в., заявляли сошедшиеся век спустя иерархи, «не свидетельствован есть, ниже бо писанием ко вселенскому патриарху и ко прочим святыя восточныя церкве о церковных винах возвещенный, яко же обычай имать святая церковь, по преданию святых апостол и святых отец, о всяких церковных вещех совопрошати, ниже местоблюстителей от оных бысть кто, яко же в правилах о сем писаное видети есть»⁵⁹.

Замечание сделано неспроста, потому что воздействие на «Стоглав» русской традиции видно более отчетливо, чем влияние византийской. Как то случилось с рядом других «обобщающих предприятий», в процессе воплощения заимствованной идеи авторы произведения выбрали свою собственную, вполне оригинальную линию. Перед ними стояла непростая задача – в их своде читатель должен был одновременно опознать знаковый характер книги как экспонента сакральной сущности царя и соотнести содержание книги с привычными для него темами нравоучений духовника. Первая часть задачи решалась, помимо формального уподобления византийским образцам, интенсивным использованием «Кормчей», в свою очередь, представлявшей на Руси греческий «Номоканон». Замечательно при этом, что, из бывших под рукой у составителей «Стоглава» канонических кодексов, они обычно отдавали предпочтение оригиналу «Сводной Кормчей» (РГБ, собр. Ундольского, № 27)⁶⁰. Обращение к этой

⁵⁹ Деяния московских соборов 1666 и 1667 годов. 2-е изд. М., 1893. Л. 92 об. –93.

⁶⁰ См.: Стефанович Д. О Стоглаве. Его происхождение, редакции и состав: К истории памятников древнерусского церковного права. СПб., 1909. С. 237–276.

именно редакции, не доведенной до конца и не получившей хождения в списках,⁸⁰ служит надежным указанием, что труд митрополита Даниила изначально замышлялся как имперский эталон канонического кодекса. Иными словами, он являлся, как мы и решили, незавершенным «обобщающим предприятием». А тот факт, что в «Сводной Кормчей» был сделан очередной шаг на пути превращения юридического кодекса в учительный сборник, шаг, развивавший тенденцию предшествующих русских редакций «Номоканона», – данный факт служит хорошим индикатором для выявления дифференциальных признаков самого «Стоглава». Этот последний, если признать его конечной стадией в трансформации византийского правового кодекса на московский лад, можно считать реализацией потенций, заложенных в «Сводной Кормчей». В нем еще меньше осталось воспоминаний о законе и еще больше проявлений учительного пафоса.

Итак, «Сводная Кормчая» есть в некотором смысле связующее звено между сплавляемыми в «Стоглаве» традициями: как «Кормчая» она напоминала о Византии, как душеполезный компендиум – об автохтонном понимании правовых отношений. Однако в «Стоглаве», кроме сказанного, отчетливо прослеживается влияние еще одного специфического жанра древнерусской письменности, представители которого, хотя и включались в «Кормчие», но были связаны с ней искусственно, кроме того, переписывались иногда в составе сборников менее строгого, в сравнении с «Кормчими», состава. Имеется в виду жанр «Вопрошания», представляющий собой ответы церковного иерарха (или нескольких иерархов, как в случае с «Вопрошанием» Кирика) на разнообразные вопросы, задаваемые младшими по чину представителями духовенства. Вопросы касались деталей литургического действия, обрядов, религиозных запретов и предписаний, суеверий, и проч., которые в совокупности живо отражали многообразные конфессиональные интересы новообращенных. Таковы «Неведомые словеса» Киевского митрополита Георгия⁶¹, «Ответы» другого Киевского митрополита – Иоанна II, таково и самое известное в этом ряду «Вопрошание» Кирика Новгородца, наконец, вопросы Афанасия Высоцкого митрополиту Киприану. Сходство с перечисленными текстами «Стоглава» бросается в глаза⁶², а взятая на себя царем обязанность «вопрошателя»

⁶¹ Турилов А. А. Ответы Георгия, митрополита Киевского, на вопросы игумена Германа – древнейшее русское «Вопрошание» // Славяне и их соседи. Вып. 11: Славянский мир между Римом и Константинополем. М., 2004. С. 209–262; Баранкова Г. С. «Неведомых словес изложено Георгием, митрополитом Киевским, Герману игумену въпрашающе, оному поведающе»: Вопросы подлинности памятника и особенности его языка // Религии мира: История и современность. 2006–2010 гг. М.; СПб., 2012. С. 15–42 (с учетом текста на переставленном листе рукописи).

⁶² См.: Белякова Е. В. Стоглав и его место в русской канонической традиции // Отечественная история. 2001. № 6. С. 90–96.

вполне объяснима его функциональным тождеством со священником. Мы видим в⁸¹ «Стоглаве» ту же неупорядоченную композицию, чередование важных аспектов церковного быта с мелочами обрядовой практики, невыдержанную модальность в предписаниях, вопросо-ответную форму. «Стоглав», как можно понять после его сопоставления с «Вопрошаниями», иллюстрирует устойчивость принятого на Руси извода православия, растворенного в быту.

Нельзя оставить без комментариев еще один симптоматичный пассаж в тексте «Стоглава». Обращаясь к отцам собора, Иван Грозный в своей вступительной речи напоминал, что год назад, по благословению митрополита и всего высшего духовенства, он «по старине» исправил Судебник (гл. 4). Более того, здесь же, предъявив Судебник 1550 г. собравшимся иерархам, царь просил их ратифицировать принятые в нем правила и решения («посоветуйте, и разсудите, и умножите, и утвердите»). В отличие от императора Юстиниана, который занимался кодификацией гражданского права с опорой на опыт Древнего Рима, у московского государя не было возможности обращаться к столь же авторитетному прецеденту. Интересно вместе с тем, что гражданское законодательство воспринималось им как обязательная для сакральной персоны, каким был правитель империи, символическая обязанность. При этом отечественные традиции, в соответствии с которыми имевшиеся в наличии разработки гражданского права абсорбировались церковной книжностью, предопределили подчиненный статус Судебника по отношению к «Стоглаву». Первый оказывался в зависимости от второго, чем-то вроде приложения к «Стоглаву». Такова главная причина, по которой мы имеем право, не углубляясь в содержание Судебника, не включать его в ряд «обобщающих предприятий», хотя символическая функция памятника работает в том же направлении, что и функция других «предприятий». Добавим и следующие разъяснения. Подобно «Стоглаву», Судебник Ивана Грозного дошел только в позднейших копиях. Ссылка на «старину», как и запрос на санкцию со стороны Стоглавого собора, означали, что Московский царь еще не осознал своих полномочий единолично творить право. Он нигде не решался выходить за пределы привлеченных источников⁶³, главным из которых послужил Судебник 1497 г. Однако юридическая природа этого последнего остается величиной неопределенной. Более того, неясности в отношении Судебника 1497 г. после последних о нем разысканий лишь умножились. Единственный список памятника датируют сейчас 1540-ми гг. и атрибутируют Нифонту Кормилицыну, бывшему в те

⁶³ Живов В. М. История русского права как лингво-семиотическая проблема // Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 238–239.

годы архимандритом Новоспасского монастыря. Установлено, что отрывок с текстом⁸² Судебника (РГАДА, Государственное древлехранилище хартий и рукописей, отд. V, рубр. I, № 3) вырван был П. М. Строевым из кодекса Нифонта Кормилицына РНБ, Q.XVII.64, а этот кодекс есть типичный монастырский сборник. Сборник подобного рода плохо подходит для отведенной ему роли – служить вместилищем главного государственного закона⁶⁴.

Завершая наши размышления о двух планировавшихся, но лишь частично воплотившихся (Галерея «княжеских зеркал», «Сводная Кормчая»), и только об одном законченном «предприятии», которые все связаны с царской харизмой, отметим значительное место, отводимое в «Стоглаве» новгородским, а отчасти и псковским церковным установлениям и обычаям. Они не всегда одобряются, но всегда воспринимаются как образцовые, как единственно возможная точка отсчета. Тут проявились не личные пристрастия митрополита Макария, как предполагают современные историки, а общерусская репутация Новгорода как заповедника русской святости.

Дорогами провиденциальной истории

Нам предстоит рассмотреть произведения исторической тематики, которые можно причислить и которые отчасти уже были причислены к «обобщающим предприятиям». Те жанры литературы Древней Руси, которые повествовали об исторических событиях далекого и близкого прошлого, традиционно вызывают у ученых наибольший интерес. В числе других произведений, это касается «обобщающих предприятий», где события прошлого подчинены идее «*translatio imperii*» и рассматриваются как пролог к превращению Москвы в «священное царства». Наличие капитальных трудов, посвященных соответствующим памятникам, дает нам право ограничиться обсуждением спорных аспектов в их характеристике. Отметим и те черты в этих памятниках, которые не получили надлежащего освещения в научной литературе и которые одновременно характерны для всей эпохи, занимавшейся идеологическим строительством. Учтем, прежде всего, что XVI в. отмечен кризисом летописного жанра и поисками новых литературных средств для репрезентации событий мировой и отечественной истории. Очевидно, что летописные своды в их прежнем виде были несовместимы с новой расстановкой сил на Руси – с появлением на месте

⁶⁴ Клосс Б. М., Назаров В. Д. Судебник 1497 г.: Рукопись и текст // Судебник 1497 г. в контексте истории российского и зарубежного права XI–XIX вв. М., 2000. С. 53–75; Пенская Т. М. Судебник Ивана III: Источник русского права или литературный памятник? (Опыт историко-культурной и юридической герменевтики) // Научный результат: Социальные и гуманитарные исследования. 2019. Т. 5. № 4. С. 39–50.

конкурирующих княжеств Московского царства во главе с самодержцем. Взамен⁸³ нанизанных друг за другом, относительно равноценных летописных известий о событиях мирового и местного значения, о больших и малых героях прошлого, строительство «священного царства» требовало от историка эмфазы на сакральных предметах и на сакральных, отмеченных Богом, действующих лицах. Эмфаза достигалась за счет гиперболизации одних фактов и литоты, а чаще просто изъятия, других. Деграция летописного жанра растянулась почти на столетие и завершилась тщетными потугами увенчать Лицевой свод летописью, посвященной царствованию Ивана Грозного. Неудивительно, что жанр летописи, доживавший последние дни, не смог создать достойного представителя, который бы вошел в число «обобщающих предприятий».

Напротив, эксперименты с новыми литературными конструкциями, позволяющими соединить в цельную картину разрозненные рассказы о событиях прошлого, начались рано. К разряду «обобщающих предприятий» безусловно может быть отнесен **«Русский Хронограф»**, известный специалистам как Хронограф редакции 1512 г. В его окончательной форме Хронограф ныне довольно уверенно датируют рубежом 1510–1520-х гг., а предложенная еще А. Д. Седельниковым атрибуция его Волоколамскому книжнику Досифею Топоркову находит новые подтверждения⁶⁵. На фоне выдающихся открытий, связанных с источниковедческим исследованием памятника, осмысление его роли в идеологическом контексте эпохи несколько отстает. За составителем справедливо числится много достижений – то, например, как он умело соединил целый набор источников, представив их читателю не в виде механической компиляции, а в мастерском пересказе. То еще, как удачно выстроена композиция Хронографа – соразмерность его частей, выразительность начала и окончания. Отличен от прежней исторической прозы стиль Досифея, воспользовавшегося в качестве образца языком переводной Хроники Манассии. Все же во главу угла при перечислении заслуг автора обычно ставят другое – смелость его в разработке нового для славянской письменности исторического жанра, свода, где рассказ о судьбах мира слит с изложением главных фактов русской истории. Такая характеристика верна, но верна лишь отчасти. Действительно, замысел Хронографа, как то имеет место в случае с некоторыми другими «предприятиями», вполне оригинален. Действительно, ничего похожего на творение Досифея мы не найдем ни в болгарской, ни в сербской

⁶⁵ См.: *Анхимюк Ю. В.* Новообретенные рукописные книги из библиотеки Иосифо-Волоколамского монастыря XVI в. // История Волоколамского края и перспективы «золотого наследия Руси»: Сб. докладов научной конференции. М., 1999. С. 73–82. Ср.: *Седельников А. Д.* Досифей Топорков и Хронограф // Известия АН СССР. VII серия. Отд. гуманитарных наук. 1929. № 9. С. 755–773.

литературах, которые обычно поставляли на Русь образцовые тексты других жанров⁸⁴ письменности. Балканские славяне до XVI в. не знали хронографов, как прежде они не знали ничего, подобного русским летописям. Сохранившиеся южнославянские аналоги Хронографа – все вторичны по отношению к нашей редакции 1512 г. Болгарские и сербские известия за предыдущие столетия по крупницам извлекаются из южнославянских текстов других жанров, чаще всего, из житий, изредка помещаются в виде маргиналий или интерполяций в переводы византийских хроник (Хроники Константина Манассии, Иоанна Зонары). Здесь не место углубляться в причины этого явления, объясняющегося общностью культурного кругозора у балканских славян и ромеев. Вернемся к московской письменности. Для характеристики Русского Хронографа (как и других «предприятий») существенно, что его составители пользовались только славянскими источниками. В частности, история южных славян, а для позднего периода – и история Византии, изложены там по памятникам агиографии, болгарским и сербским. По тем немногим из их числа, которые попали в библиотеку Иосифо-Волоколамского монастыря, где и шла работа над Хронографом. Для рассказа о далекой древности выбор источников был у автора несравненно богаче.

Судьба мира мыслится автором как многократно повторяющийся перенос символической идеи царства от одного народа к другому. Чаще всего перенос происходит после побед и поражений, которым более всего отведено места в повествовательном пространстве Хронографа. Конечно, мы не будем сравнивать по степени отделки схему Досифея со схемой Отто Фрейзингенского, которому приписывают внедрение концепции «*translatio imperii*» в философию истории на латинском Западе. Не будем также требовать от нашего книжника последовательности и терминологической однозначности. Некоторые закономерности в организации текста Хронографа все же заслуживают внимания. Так, знаменательно, что разбивка на главы в нем произведена преимущественно по «царствам». По «царствам» излагается и история Византии, та история, в которую одна за другой вплетаются судьбы славянских народов. Первыми подключаются «русы», потом болгары, последними сербы. Руководствуясь данными своих источников, составитель определенным образом ранжирует правителей славянских государств: если Болгарией правят «цари», то в Сербии сначала сидят «деспоты», позднее «цари», потом «великие князья». В будущем стоило бы проследить, на каких поворотах истории обозначение правителей Руси переключается с одного термина на другой: сначала это «князи», потом «великие князья», потом «московские», хотя определение применяется непоследовательно. Примечательно, что жителями Руси, согласно используемой Досифеем титулатуры, никогда не правили «цари». Вообще

посвященные Руси разделы Хронографа наиболее информативны для суждения о⁸⁵ тенденции памятника в целом. Установлено, что главным пособием по русской истории служил составителю Сокращенный летописный свод 1495 г. Свод был дополнен по другому летописному источнику в нескольких статьях, которые автор счел важнейшими, а потому отвел им больше места, чем другим. Показательно содержание таких статей с распространенным текстом. Почти все они посвящены столкновениям русских князей с иными народами: поход русов на Царьград, отдельно поход Аскольда и Дира, поход на Царьград Олега, Болгарская кампания Святослава, нашествие на Русь Батыя и убиение Михаила Черниговского. Они служат иллюстрацией той тематики, которая больше всего интересовала Досифея Топоркова. Еще интересно, что каждый касающийся Руси раздел Хронографа начинается с указания на императора, сидевшего на тот момент в Константинополе. И, наконец, последний нюанс, которому до сих пор почему-то не придавали значения. Хронограф заканчивается взятием Константинополя турками в 1453 г., причем финал произведения как наиболее ответственный элемент композиции признается творением самого Досифея – составителя Хронографа. Соответственно, и русские известия не выходят за пределы этой даты, последнее из них касается набега царевича Мазовши в 1451 г. Поскольку теперь известно, что работа над произведением велась больше пятидесяти лет спустя после падения Византии, получается, что произведение целиком посвящено прошлому. По большому счету, Хронограф нужно определить как русский эквивалент византийской хроники, обогащенный вставками эпизодов из истории славян. О значимых исторических событиях внутри и вне России за последние пятьдесят с лишним лет Досифей не говорит ни слова. С идеологическими задачами, стоявшими перед литературой XVI в., его труд связан только общей концепцией и многозначительной концовкой. Автор представил читателю некий заверченный цикл истории, когда, по его мнению, погибли все без исключения православные царства. Теперь единственная надежда православных сосредоточена на будущем Московского царства: «Наша же Росиская земля Божиею милостию и молитвами пречистыя Богородица и всех святых чудотворец растет, и младаеет, и возвышается»⁶⁶.

С современной позиции мы можем восхищаться литературным мастерством Досифея Топоркова. Хотя его труд пользовался популярностью и в древности, есть косвенные указания на то, что современников книжника составленный им Хронограф в том виде, каким он вышел из-под его пера, не вполне удовлетворил. Причина, нужно думать, заключалась в том, что проекция Московского государства XVI в.,

выставляемого как сакральная территория, на империю ромеев не была, согласно⁸⁶ плану Хронографа редакции 1512 г., в нужной мере акцентирована. Это получилось из-за того, что произведение, с его временными рамками, ограниченными серединой XV в., фактически превратилось в историю Византии. Так или иначе, но изменения в первую редакцию памятника стали вноситься буквально на следующий день после ее завершения. Не будем особо задерживаться на многократных переделках завершающей части произведения, начавшихся с последней главы, которая извещала о падении Царьграда и была особенно значима в структуре первоначального текста. По-видимому, ее сочли недостаточно содержательной, так что к ней решили добавить так называемую «Повесть Нестора Искандера», а в Западнорусской редакции Хронографа поместили «Повесть» на ту же тему Энея Сильвия, переведенную Максимом Греком⁶⁷. Гораздо важнее, что вскоре после создания редакции 1512 г. у кого-то из книжников возникло желание, диаметрально противоположное тому, чего хотел достичь Досифей. Понадобилось вновь отделить русскую историю от всеобщей. Как результаты этого стремления появились два памятника, оба щедрой рукой черпающие из творения Досифея: первый из них – Хронограф Западнорусской редакции, составители которого стремились, хотя и непоследовательно, удалить из изложения все русские известия, второй – Никоновская летопись, сосредоточенная, как положено летописи, на событиях русской истории.

По мнению Б. М. Клосса, Хронограф Западнорусской редакции формировался в тех же кругах, что и Никоновская летопись, примерно в одно с ней время⁶⁸. Что касается Никоновской летописи, скажем, раз уже о ней зашла речь, почему представляется невозможным принять ее в состав «обобщающих предприятий». Казалось бы, именно она может быть признана идейным рупором московских властей. И все же, хотя Никоновская летопись по многообразию привлеченных источников, по умелому их соединению и по обнаруженному в оригинальных текстах таланту сочинителей вполне может соперничать с творением Досифея Топоркова, она унаследовала главную отличительную черту летописного жанра как такового. Всякая летопись представляет собой текст с открытой композицией, что по определению невозможно в «предприятиях» исторической тематики, где (по крайней мере, в идеале) история

⁶⁶ Полное собрание русских летописей. СПб., 1911. Т. 22, ч. 1. С. 440.

⁶⁷ *Клосс Б. М.* Максим Грек – переводчик повести Энея Сильвия «Взятие Константинополя турками» // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1974 г. М., 1975. С. 55–61.

⁶⁸ *Клосс Б. М.* Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков. М., 1980. С. 169–176.

предстает в виде законченных циклов. Летопись открыта для продолжателей, и эта⁸⁷ черта жанра вполне проявилась в дальнейшей судьбе Никоновской летописи. В сущности, мы имеем дело не с определенным памятником, а с неким фундаментом, похожим в этом смысле на «Повесть временных лет», над которым по мере надобности надстраивались новые и новые конструкции. О значимости надстроек свидетельствует, например, тот факт, что в очередной версии Никоновской (список Оболенского) она получила дополнения из Воскресенской летописи, еще одного исторического свода, который более других может претендовать на статус официального.

Сколь принципиальна законченность их структуры для обособления «обобщающих предприятий» из литературного корпуса XVI в., показывает творческая история «**Степенной книги**», которая обязательно учитывается в любом списке «предприятий». В последние десятилетия вокруг этого произведения были сосредоточены лучшие силы современной историко-филологической науки, что позволило осуществить и новое издание текста. Подъем интереса к «Степенной книге» объясним: она яснее других исторических памятников демонстрирует прямую связь литературы с идеологическим заказом. Замысел сочинения не соответствует стандартной организации летописного пространства с его разбивкой на погодные статьи. Повествование в «Степенной книге» членилось на «степени» («границы»), т. е. на отдельные поколения той династии, которой предстояло занять Московский стол и получить в XVI в. царский титул. «Степеней» таких в памятнике насчитывалось шестнадцать, начиная от князя Владимира, или семнадцать, если, согласно окончательной версии, брать еще и царя Ивана Грозного. Каждый очередной представитель династии служил, согласно идее памятника, эпицентром, вокруг которого размещались рассказы об исторических событиях, пришедшихся на годы княжения (царства) этого представителя. Рассказам, многие из которых не подкрепляются другими источниками, а иные заведомо фантастичны, отводились самостоятельные главы, на которые разбита каждая из «степеней». По поводу произведения можно констатировать то, что мы говорили о других «предприятиях», именно, что московский замысел вполне оригинален. Давно подмеченная параллель в виде сборника сербского архиепископа Даниила, где содержатся житийные биографии королей и первосвятителей сербских, идет к делу не по всем пунктам. Во-первых, нет никаких данных о том, что московские книжники знали сборник Даниила, во-вторых, структура его гораздо проще, чем структура «Степенной». Там сначала помещены биографии правителей, потом жизнеописания святителей, и эти серии никак не зависят друг от друга. Таким образом, та форма для произведения исторической тематики, которую получила «Степенная

книга», есть московское изобретение. Пропагандистская роль произведения огромна:⁸⁸ Москва во всеуслышание объявлялась империей через признание исторической уникальности всего рода московских государей, и делалось это в нарочито вызывающей, можно сказать, плакатной манере. Понятно, что отзвуки восходящих к «Степенной» рассказов и сообщений отыскиваются в широком спектре более поздних исторических сочинений, что поползновения продолжить ее совершались вплоть до Петровского времени, что ее стиль многие брали за эталон.

По поводу ажиотажа вокруг «Степенной», наблюдаемого в новейшей историографии, скажем лишь, что перед нами редкий случай, когда значительный для культуры объект нашел значительный отклик в науке. Естественно, что в результате успешного решения одних задач перед исследователями возникли новые. Например, задача отыскать автора произведения, точнее, главных его составителей, поскольку над таким развернутым словесным полотном несомненно трудилась целая артель. До недавнего времени тема эта считалась исчерпанной, потому что по ряду примет составителем или, по крайней мере, редактором «Степенной книги» признавался митрополит Афанасий, бывший до поставления в митрополиты царским духовником. Погрузившись в детали, новейшие специалисты усомнились в таком решении. Спорят и о датировке книги. Для наших теперешних размышлений интереснее всего, что, в результате текстологических изысканий, среди которых главным событием стал скрупулезный анализ Волковского списка «Степенной книги» (РГАДА, собр. МГАМИД, № 185), удалось доказать следующее. Создание «Степенной» представляло собой многоступенчатый процесс. Современные исследователи сдвинули назад датировку архетипа, датируя его примерно серединой 1550-х гг. и ограничивая его текст 16-й «степенью». Кроме того, признается, что в архетипе отсутствовали: в начале книги – вынесенное перед 1-й «степенью» без собственного номера Житие княгини Ольги, а в конце – явно лишнее на этом месте Житие Даниила Переяславского⁶⁹. А. В. Сиренов в своих построениях пошел дальше: указав на индивидуальные черты в оформлении 1-й «степени» «Степенной», посвященной князю Владимиру, он решил, что по первоначальному плану она представляла собой не что иное, как Житие Владимира. Вместе с написанным к тому времени Житием Ольги оно должно было составить диптих. Это предположение трудно подкрепить неопровержимыми аргументами, между

⁶⁹ Сиренов А. В. Степенная книга: История текста. М., 2007. С. 385–409; Усачев А. С. Степенная книга и древнерусская книжность времени митрополита Макария. М.; СПб., 2009. С. 184–195.

тем как сама мысль о постепенном обрастании книги новыми разделами, не⁸⁹ предусмотренными инициаторами работы, кажется весьма перспективной.

Стоит обратить внимание на то, как оформлены последние главы произведения. Основную часть гл. 22 занимает, с незначительно переработанным текстом, заимствование из Похвалы Василию III, которую, вслед за автором этих строк, обычно приписывают Федору Карпову. В главе в панегирических выражениях сообщается о рождении и крещении наследника, о последнем событии приводятся даже конкретные подробности, необычные для апологетического текста. Идущая далее короткая гл. 23 «О возмятии казанских людей...» как бы подводит итог восточной политике великого князя, в которой новых успехов предстояло достигнуть Грозному царю. И наконец, завершающая конструкцию гл. 24 отведена Повести о смерти Василия III, к которой добавлено извлечение все из той же Похвалы, приписываемой учеными Карпову. Эмоциональное воздействие на читателя усиливается при слиянии в заключительной части книги двух текстов – мажорного (Похвала) и минорного (Повесть) звучания, а общая концепция «Степенной книги», где 1-я «степень» отведена Крестителю Руси, предельно обнажается. Составителям произведения предстояло изобразить предков Ивана Грозного могучими побегам на едином стволе династии, подготовившими апофеоз Московского царя. Сам апофеоз в рамках такого построения был бы фактом сверхнормативным, зато смысловое ударение тут падало на родителя главного героя. Василий III брал на себя функции предтечи, подготовившего торжество московской государственности. Нелегко сказать, почему эта стройная композиция не устроила заказчиков, и к ней без лишних проволочек присоединили нарушающие равновесие части в виде Житий Ольги и Даниила, а главное – в виде дополнительной 17-й «степени», посвященной начальным годам царствования Грозного. Можно думать, что сама тенденция «обобщающих предприятий», назначенных привести в порядок разношерстную материю, понятна была не всем участникам этой литературной затеи. В решении распространить «Степенную книгу» сказались и стереотипы, воспитанные у книжников чтением летописных компиляций, открытых для позднейших добавок и готовых к хронологическим дополнениям. Эти стереотипы были неловко перенесены на сочинение с хорошо продуманным рамочным обрамлением. Исследователи сходятся на том, что «Степенная книга» была создана в Чудовом монастыре. Хотя быть ближе к центру Московского царства, чем Чудов, кажется, уже невозможно, следы новгородской книжной школы отчетливо прослеживаются и в «Степенной книге». Не имеет большого значения, оставил ли эти следы митрополит Афанасий или кто другой, участвовавший в «предприятии»: через Иосифа Волоцкого или напрямую московская книжная культура

середины XVI в. в лице большинства выдающихся представителей вела свою⁹⁰ литературную родословную из Новгорода.

В «обобщающие предприятия» историки литературы неизменно зачисляют **Лицевой летописный свод**. Поводом чаще всего служит гигантский объем памятника, состоящего, в дошедшем до нас виде, из десяти рукописных фолиантов, в среднем по тысяче листов в каждом, на которых расположено более шестнадцати тысяч цветных миниатюр. К этому надлежит добавить, что в существующем комплекте из десяти кодексов недостает еще одного, одиннадцатого (он должен был находиться между «Лицевым Хронографом» и «Голицынским томом»). В утраченном томе помещалась начальная история Руси, там рассказывалось о событиях, случившихся во временных границах, примерно соответствующих хронологии «Повести временных лет». Не исключено, что оформленные в сходной с Лицевым сводом манере еще несколько рукописей, прежде всего, РГБ, собр. Егорова, № 1844 («Чудовский сборник») и РГБ, собр. Большакова, № 15, представляют собой «обломки», отделившиеся от многотомной серии⁷⁰. А. Е. Пресняков метко окрестил свод «Московской исторической энциклопедией». Присоединяясь к общепринятому решению считать Лицевой свод одним из образчиков «предприятий», считаем нужным сделать пару оговорок, из которых наименее существенная касается датировки памятника. Современные ученые так и не пришли к единому мнению о времени создания свода, причем диапазон предложенных дат колеблется от 1560-х до 1580-х гг. Стало быть, нелегко решить, ко второй или уже к третьей серии «предприятий» надлежит отнести памятник. Более серьезные сомнения по поводу статуса многотомного памятника связаны с его структурой. Смущает ориентация составителей Лицевого свода на литературную технику летописцев, труды которых мы отказались признать образцами «предприятий», потому что жанр летописи не предусматривает маркированного на смысловом и формальном уровне окончания. Таковую же картину мы наблюдаем в Лицевом своде, русская часть которого, основанная на Никоновской летописи, с добавками из Воскресенской, из «Степенной книги», Новгородского свода 1539 г., Постниковского летописца и некоторых других, доведена до 1567 г. Обычно считается, что работа над памятником не была закончена, или что окончание его утрачено. Непонятно, на каком основании можно прийти к такому выводу, коль скоро сам жанр не подразумевал отчетливо выделенного финала.

⁷⁰ *Амосов А. А.* Лицевой летописный свод Ивана Грозного: Комплексное кодикологическое исследование. М., 1998. С. 13–16, 163–165.

Но есть и другая сторона медали. В Лицевом своде явственно различимы⁹¹ некоторые черты, присущие «обобщающим предприятиям» как относительно монолитной группе трудов, возникшей в относительно ограниченном промежутке времени. Достаточно указать на то, что с подобным размахом иллюстрированная история мира выстраивалась впервые: никаких близких аналогов к Лицевому своду у народов «Византийского содружества наций» до сих пор не подобрано. Подобно некоторым другим «предприятиям», многотомный свод существует в единственном экземпляре. Важнее всего остального пропагандистская функция, заложенная в работу ее инициаторами. Не случайно коллектив, трудившийся над томами, собран был в Александровой слободе, опричной резиденции Ивана Грозного. Лицевой свод с его синергетическим эффектом от текста и иллюстраций должен был показать величие Москвы как «священного царства», ставшего кульминацией в символической череде держав. В таком исполнении идея «*translatio imperii*», а главное – место в ней новоявленной империи выявлялись более контрастно, нежели в знакомом уже нам «Русском Хронографе». Если там известия, относящиеся к Руси, шли скромным довеском к византийской и южнославянской истории, которой и посвящен памятник, завершающийся 1453 г., то акцент Лицевого свода принципиально иной. О смещении центра тяжести говорит хотя бы пропорция частей: три тома свода отведены мировой истории, а восемь (включая несохранившийся) – русской. Проведенная в Хронографе линия развития, ведшая от древних царств к судьбе Нового Рима – возвышению и падению Константинополя, заменена более актуальной линией, вплотную подводящей к приближающемуся вселенскому торжеству Третьего Рима. Для каждого из эпизодов, относящихся к мировой истории, составители свода, сравнительно с авторами Хронографа, отдавали предпочтение другим источникам. Данное положение принципиально, потому что номенклатура этих источников не сильно отличается от той, с какой работали их предшественники: наряду с Еллинским летописцем и самим Хронографом 1512 г. в его Сокращенной (наиболее популярной) редакции, они привлекали Хронографическую Палею, а также включили в свои кодексы полный текст двух произведений – «Троянскую историю» Гвидо де Колумна и «Историю Иудейской войны» Иосифа Флавия. Мы видим, что руководителей работы одинаково не устраивал организующий принцип как «Русского Хронографа» (его тематике соответствуют первые три тома Лицевого свода), так и «Степенной книги» (ее теме соответствуют остальные тома), хотя оба памятника находились в распоряжении исполнителей. Привлекши примерно тот же круг первичных материалов, составители Лицевого свода применили к ним более привычную для русских книжников и менее изощренную

технологии, сравнительно с Хронографом и «Степенной». Механизм компиляции⁹² источников был вполне отработан поколениями летописцев, им и воспользовались книжники, собравшиеся в Александровой слободе⁷¹. Мы очередной раз убеждаемся, что в серию «обобщающих предприятий» входят как композиционно выдержанные, так и более аморфные по структуре памятники. Лицевой свод относится к последней категории, что, разумеется, не умаляет его культурно-исторического и чисто эстетического значения. «Книжная гигантомания», проявившаяся в отдельных «обобщающих предприятиях», а более всего в многотомном Лицевом своде и в «Великих Минеях Четых», объясняется их преимущественно символическим назначением. Отсутствие конкретного применения – то, что озадачивает современного исследователя, делает отчасти irrelevantной проблему, насколько соответствует содержание этих памятников их пышному фасаду. В случае с Лицевым сводом такой эффект «потемкинских деревень» особенно яркий. Это не столько серия книг, сколько их муляжи – набор поражающих воображение экспонатов. Они призваны маркировать целенаправленность исторического процесса: имперская история в подобном облике несопоставима с немудрящим перечнем локальных происшествий, составивших содержание местного летописца.

У провиденциальной истории есть строгие ограничения во времени, она стоит на позициях креационизма, принимая за точку отсчета Сотворение Мира. Одновременно она финалистична, исповедуя эсхатологическую теорию об отмеренном человечеству сроке бытия после грехопадения, о неминуемом конце Света и Втором Пришествии. Библейский рассказ о шести днях творения нес в мировосприятии средневекового начетчика еще и дополнительную нагрузку. Его использовали для повествования об иерархии Божьего творения, так что он служил для освящения не только времени человеческой истории, но и пространства, где она разворачивается. Обостренное ощущение бега времени, которое сопутствовало духовной консолидации Московской Руси, взявшей на себя миссию спасти обанкротившийся мир от экзистенциальной катастрофы, требовало от идеологов «священного царства» повышенного внимания к первым и последним страницам в истории Вселенной. Какой отклик получили эти этапы истории в «обобщающих предприятиях»? Рассказ о космогонии служил поводом, чтобы поведать о многообразии космоса. Возможность восхвалить Творца через хвалу Его творению обеспечила популярность такому жанру, как «Шестоднев» («Нехаемерон»). Греческие «Шестодневы» охотно переводили славянские книжники, и уже в «золотой

⁷¹ См.: *Сиренов А. В.* Степенная книга и русская историческая мысль XVI–XVIII вв. М.; СПб., 2010. С. 164–166.

век» болгарской литературы появился знаменитый «Шестоднев» Иоанна Экзарха,⁹³ частично составленный из греческих источников, частично оригинальный. В произведении Иоанна Экзарха перед читателем предстает бесконечное богатство жизни на Земле, вызванное из небытия в шесть дней творения. К XVI в. в обращении у славян находилось довольно много «Шестоднегов», как в виде самостоятельных книг и статей, так и в виде текстов, занимающих первые главы переводных хроник и хронографических компиляций. «Шестодневы» разного происхождения вступали при этом в сложное взаимодействие, как то видно по первым главам «Русского Хронографа»⁷². Помимо «Шестоднегов», в распоряжении русских книжников XVI в. был еще один памятник, соединявший в себе рассказ о процессе творения и о самом творении, демонстрируя чудеса мироздания не только в словесной форме, но и в картинках. Это «Христианская топография» Козмы Индикоплова, переведенная давно, но достигшая пика популярности в XVI в. Исследователи отмечают, что с особым усердием переписчики и иллюминаторы размножали памятник в Новгороде. Показательно – случай, выходящий из ряда вон, – что даже в «Великие Минеи Четьи», где произведение Козмы Индикоплова читается в августовском томе, оно вошло вместе с иллюстрациями⁷³. Воздержимся все же от скоропалительных выводов: присутствие «Христианской топографии» в таком «обобщающем предприятии», как «Великие Минеи Четьи», не превращает в «предприятие» сам перевод книги Козмы Индиклопова. Признаем, что начало мироздания не побудило книжников генерировать синтетический текст на эту тему, который бы встал в один ряд с разбираемыми здесь памятниками литературы.

Иначе обстоит дело с завершающими человеческую историю событиями, о которых возвещает последняя, проникнутая мистическими настроениями библейская книга – «Откровение» Иоанна Богослова, чаще называемое по-гречески «Апокалипсисом». Книга послужила основой для одного из наиболее выразительных «предприятий» XVI в., касающегося развязки провиденциальной истории. Речь идет о **Лицевом Апокалипсисе**. Правда, тенденция к упорядочению истории не затронула тут непосредственно новую роль Московского царства. Кроме того, тенденция коснулась в памятнике не его словесного воплощения, а сопровождающего текст цикла миниатюр. Все же, поскольку в преобладающем количестве списков Лицевой Апокалипсис

⁷² См.: Буланин Д. М. Утраченный рукописный источник Русского Хронографа: (Опыт реконструкции состава) // *Rossica Antiqua: Исследования и материалы*. 2016. № 1–2 (13). С. 99–136.

⁷³ Серебрякова Е. И. Миниатюры Христианской Топографии Козмы Индикоплова в Великих Минеях Четьих митрополита Макария // *Рукописные собрания*

представляет собой самостоятельный кодекс, решение присовокупить к «обобщающим⁹⁴ предприятиям» преобразившуюся благодаря миниатюрам книгу видится оправданным. Перевод «Апокалипсиса» появился в русской письменности рано, начиная со старшего списка XIII в. (БАН, собр. Никольского, № 1), он неизменно переписывался вкупе с толкованиями на книгу Андрея Кесарийского. В этом есть своя логика, ибо данная библейская книга не используется в богослужении. Именно в сочетании с толкованиями «Апокалипсис» попал в руки к миниатюристам, которые снабдили этот относительно короткий текст семьюдесятью с лишним иллюстрациями (по-видимому, в недошедшем архетипе их было 72, по числу разделов толкового текста). Обычно миниатюра занимала целую страницу, так что объем комплекса увеличивался почти вдвое. Хотя Лицевой Апокалипсис все чаще привлекает внимание ученых, в судьбе этой книги, получившей в России самое широкое распространение, многое неясно. Существующие опыты классификации книги по иллюстративному материалу еще только отрабатываются⁷⁴, и они не помогают ответить на главный вопрос – когда же появился на свет этот необычный памятник? Существует тенденция, восходящая еще к Ф. И. Буслаеву и Н. П. Кондакову, пионерам в освоении темы, искать генезис книги в древности, относить ее к XV, если не к XIV в. При этом Ф. И. Буслаев возводил русский Лицевой Апокалипсис к несохранившемуся византийскому прототипу, а Н. П. Кондаков – к западноевропейским образцам. Думается, что для вполне умозрительной гипотезы об архаичности книги нет никаких оснований, а используемые иногда в качестве аргумента ссылки на икону «Апокалипсис» из Успенского собора (около 1482 г.) не идут к делу. Изображение на иконе организовано по другому принципу (по образцу изображений «Страшного Суда»), нежели цикл миниатюр в книге. Напряженное ожидание конца Света, которым пронизана русская культура рубежа XV и XVI вв., как и христианский мир в целом, служит слишком общим ориентиром. По большому счету, христианская культура от начала и до конца находилась во власти эсхатологических настроений. Подыскивая эпоху, соответствующую образам нашей книги, приходится иметь в виду и то, что старший список Лицевого Апокалипсиса (РГБ, собр. Егерев, № 6) относится к середине XVI в.

церковного происхождения в библиотеках и музеях России: Сб. докладов конференции. 17–21 ноября 1998, Москва. М., 1999. С. 129–143.

⁷⁴ Буслаев Ф. И. Свод изображений из Лицевых Апокалипсисов по русским рукописям с XVI-го века по XIX-й. М., 1884. С. 209–828; Подковырова В. Г. Лицевые Апокалипсисы второй половины XVII – начала XX века. М.; СПб., 2016. С. 9–26 (Описание Рукописного отдела Библиотеки РАН. Т. 10. Вып. 2).

Трудности датировки усугубляются тем, что ни византийское искусство, ни⁹⁵ книжная культура южных славян не знают ничего, отдаленно напоминающего наш словесно-изобразительный феномен. Уже эти черты уникальности, свойственные многим из рассмотренных литературных памятников, подсказывают, в какой контекст надлежит поместить книгу. Аллегорические композиции миниатюр, уместные для иллюстраций к такому эмоционально напряженному памятнику, как библейский «Апокалипсис», находят точную аналогию в богословском и одновременно иконографическом споре, о котором мы упоминали и который разгорелся между дьяком Иваном Висковатым и митрополитом Макарием на соборе 1553–1554 гг. Дьяк, как известно, протестовал против таких именно аллегорических изображений, справедливо усматривая в новшествах подобного рода разрушение традиционной для Древней Руси философии образа. Таким образом, Лицевой Апокалипсис без лишних усилий встраивается в серию анализируемых нами «обобщающих предприятий». Закономерно, что синхронно со старшим списком книги появляются – явно вторичные по отношению к памятникам книжности – многосюжетные композиции на ту же тему в станковой живописи и во фресках. Нас не должны смущать при подобных размышлениях явственно различимые в Лицевом Апокалипсисе и его репликах в иконописи следы иконографии западного происхождения (и поствизантийских, которые сами уже тогда находились под влиянием Запада). Хотя идеология сакрального царства вызревала в годы культурной ксенофобии, мы знаем, что московских идеологов не пугала эклектичность конструируемого ими образа Третьего Рима. Некоторые книги, в том числе иллюстрированные, несомненно привозились в XVI в. из Западной Европы. Учитывая лишенное конкретики «Откровение» Иоанна Богослова, соответственно, и украшающих его миниатюр, нелегко конкретизировать, какова же была идеологическая нагрузка Лицевого Апокалипсиса в модели «священного царства». Полагаю, что конкретные задачи и не ставились, что книга возникла как побочный продукт витавшего в воздухе чувства исторической динамики. Подтверждением такого вывода может служить список Лицевого Апокалипсиса в составе известного уже нам «Чудовского сборника», где находятся циклы иллюстраций к нескольким произведениям, которые каким-то образом были связаны с работой над Лицевым сводом⁷⁵. Никто не знает, предполагалось ли включить этот список в несостоявшиеся тома «исторической энциклопедии», что было бы вполне логично. Зато со времен Ф. И. Буслаева известно, что иконография списка из «Чудовского сборника» была принята за эталон в самой распространенной редакции Лицевого Апокалипсиса («Филаретовско-Чудовской»).

В представлениях средневекового человека категория времени воспринималась не только в виде линейного движения, отмеренного Богом от начала мира до его конца. Понятийный конфликт разрешался в церкви через христианскую философию образа, которая предполагала субстанциальную связь обозначающего и обозначаемого, и которая, применительно к категории времени, позволяла adeptам переживать временные явления как причастные вечности. Таково литургическое время, которое распределялось по совокупности циклов: ежедневное богослужение складывалось из многих составляющих, когда в расчет принимался день недели и занимаемое им место в солнечном и в лунном календаре, где отсчет велся от ежегодно повторяемого праздника Воскресения Христова как главного события в христианской истории. Рекомендации, касающиеся чтения внеслужебных текстов, были прямо или опосредованно соотнесены с ритмом жизни в храме. Во всяком случае, их рекомендовалось соотносить с этим ритмом, даже если тексты назначались для индивидуального употребления. В частности, по образцу служебных Миней, разделенных по месяцам и дням и предлагавших уникальный набор песнопений на каждое число календаря, стали выстраивать сборники с текстами для чтения, т. е. Миней четьи. Наполнялись такие книги памятниками агиографии и гомилетики. Они-то и послужили структурным образцом для самого, пожалуй, известного из «обобщающих предприятий» – «**Великих Миней Четых**», замысел которых и его постепенное усовершенствование связывают с именем митрополита Макария. Хотя воплощением проекта занимался большой коллектив, с уверенностью можно говорить о деятельном участии знаменитого иерарха в подготовке трех основных комплектов памятника, каждый из них в двенадцати книгах. В научной литературе они фигурируют под названиями Софийского, Успенского и Царского.

За работу над первым – Софийским минейным сводом Макарий принялся на рубеже 1520–1530-х гг., будучи еще архиепископом Новгородским, что само по себе характерно. Ибо, как мы помним, многие другие «предприятия» тоже происходят из Новгорода или формируются при участии книг и книжников из этого русского Иерусалима. Макарий занял Новгородскую кафедру в 1526 г., до него она долго вдовствовала. Энергичный пастырь рьяно приступил к упорядочению церковной жизни в своей епархии. Несомненно, затея с подготовкой двенадцатитомного свода входила составной частью в его программу духовного обновления подведомственной территории. Реализация плана потребовала мобилизации книжных и людских ресурсов, имевшихся при новгородских церквах и монастырях. Это не всегда вызывало восторг у

⁷⁵ Лицевой сборник Чудова монастыря: Факсимильное издание. М., 2008. Л. 1–94.

исполнителей, как следует из известной записи Мокия в рукописи ГИМ, Синодальное⁹⁷ собр., № 216, л. 133 об.–134. Чтобы оценить четы-минейный замысел Макария, нужно учесть, что ко времени его архиепископского служения традиция обзаводиться собственным годовым комплектом четых книг не успела еще сложиться даже в крупнейших из русских монастырей. От конца XV – первых десятилетий XVI в. до нас дошли только два опыта в этом роде (ср. еще «Соборник» Нила Сорского) – происходящие из Волоколамского и Кирилло-Белозерского монастырей. В последнем случае комплектация книг производилась довольно оригинально, посредством изъятия из существующих кодексов частей, нужных для сборки нового, минейного⁷⁶. В свою очередь, воплощение замысла Новгородского архиепископа прошло через несколько стадий, новейшие исследователи восстанавливают их в следующем порядке⁷⁷. Первооснову будущего комплекта составили более или менее пространные жития, которые переписывались в разных монастырских скрипториях без учета их дальнейшего распределения по датам в томах Миней. Потом этот массив разбили в соответствии с календарем, сопроводив тексты на каждый из дней проложными чтениями, так что ежедневная подборка открывается заимствованиями из простого, а заканчивается заимствованиями из Стишного Пролога. Далее, в комплекс текстов, приуроченных к определенному дню, принялись внедрять произведения за пределами агиографических жанров, без календарных примет, часто они помещались в конце каждой из книг. Тексты необходимо было подогнать друг к другу, части статей приходилось вымарывать, между статьями возникали пробелы, что придавало конечному продукту вид черновика. Но на каком-то этапе, как заметили палеографы, поменялось назначение будущей книжной серии, и рабочая группа стала заботиться о пристойной форме получившихся книг, в том числе заменяя отдельные листы. Чем объяснить перемену первоначальных планов?

Полагаем, что толчком послужила начатая в определенный момент работа над вторым – Успенским, в полном смысле парадным экземпляром «Великих Миней Четых» (кстати, и единственным целиком сохранившимся), к созданию которого приступили, еще не закончив заниматься Софийским. В открывающем каждый том

⁷⁶ См.: *Шубаев М. А.* «Ветшаные» миней и реконструкция сборников XV в. из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2014. Т. 62. С. 480–496.

⁷⁷ *Ляховицкий Е. А., Шубаев М. А.* 1) Писцы Макариевских Миней Четых // История и культура: Статьи. Исследования. Сообщения. СПб., 2015. Вып. 13 (13). С. 301–323; 2) Заметки о хронологии и порядке работы над Софийским комплектом Великих Миней Четых // Источниковедение в современных исторических исследованиях. СПб., 2015. С. 8–13 (Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та. Т. 24).

Успенского списка «Летописце», как велеречиво называется там вкладная запись⁹⁸ Макария, вклад его в Московский Успенский собор датируется 1552 г., когда вкладчик уже занял митрополичий престол. Но работы над вторым комплектом свода, проект которого, скорее всего, был изначально согласован в Москве, велись, как и раньше, в случае с Софийским комплектом, преимущественно в Новгороде. Естественно предположить, что решение включить в двенадцатитомное собрание все книги, «которые в Руской земле обретаются», было принято применительно к парадному экземпляру, выполнявшему, как и все убранство центрального русского собора (ср. хотя бы царское место), представительские и пропагандистские функции. Следовательно, ту стадию, когда тома Софийского списка пополнились текстами, лишенными календарной привязки, можно объяснять обратным влиянием готовившегося Успенского списка. Данный тезис надлежит еще проверить, причем обратное влияние не обязательно будет отражено в виде вторичных чтений Софийского списка по тексту отдельно взятых произведений. Ведь речь идет о филиации идей, какими руководствовались организаторы работы, а не о движении не зависящих непосредственно от этих идей текстов.

Софийский, Успенский и Царский списки различаются друг от друга по конкретному набору текстов, но сходны в том именно, что охватывают произведения и даже целые книги из репертуара славянской письменности, которые прежде никто не додумался включать в четьи Минеи. В изобретении форм, назначенных укрепить идеологию «священного царства», налицо оригинальность, присущая многим «обобщающим предприятиям». Приняв за основу для суждений о своде Макария Успенский список, включая декларации митрополита в упомянутом «Летописце», мы лучше поймем общий смысл организованного им производства двенадцатитомных сводов. Есть ряд признаков, показывающих демонстративное, а не утилитарное назначение свода, каким его замыслил Макарий. Начать с того, что едва ли кто был и будет в силах прочитать целиком за сутки те подборки текстов, которые назначены «Великими Минеями Четьими» на иные из дат календаря и которые занимают там порой до сотни листов. О том, что редакторы и не ставили перед своими читателями такую цель, свидетельствуют находящиеся в своде повторения одних и тех же произведений или отрывков, в том числе, в пределах чтений на один день. Чаще всего это объясняется использованием разных типов Пролога (Простого и Стишного), учительные статьи которых брались из общего для двух типов фонда⁷⁸. Принципиальной ошибкой было бы

⁷⁸ Турилов А. А. К истории Стишного Пролога на Руси // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. М., 2006. № 1 (23). С. 70–75.

буквально понимать заявление Макария, будто в процессе подготовки памятника он⁷⁹ много потрудился «от исправления иностранных и древних пословиц, превода на русскую речь»⁷⁹. Никаких следов сверки переводов с оригиналами или русификации их лексики мы не найдем в тексте свода. На этикетный характер заявления указывают параллели из других памятников, где такие же заявления точно так же не подкрепляются данными из соответствующего текста⁸⁰. Итак, в «Великих Минеях Четых», в особенности по Успенскому их списку, мы видим не только книги для чтения, но и символические предметы. Они назначены были показать, что в дополнение к набору собственно служебных книг у московитов имелся внушительный книжный фонд, который свидетельствовал перед Богом благочестие населяющих «священное царство» православных.

Из сказанного следует, что искать рациональное зерно в механизме сортировки памятников, одни из которых были включены, а другие, напротив, игнорированы составителями свода, совершенно бессмысленно. И все же, если не довольствоваться одним примером, а поставить вопрос шире, стоит поразмыслить, какого рода литература была оставлена Макарием и его сподвижниками за пределами двенадцатитомного книжного комплекта. Выделяются тексты трех категорий: 1) те, которые соотносятся с подвижными праздниками церковного календаря; 2) тексты из области канонического права; 3) исторические компиляции, если не считать монографических произведений, вроде «Истории Иудейской войны». По поводу первой категории приходится ограничиться предположениями. Одно из них высказала Т. В. Черторицкая, считающая, что Макарий, занимаясь отбраковкой каких-то текстов, предполагал поместить их в находившийся тогда в обращении, одновременно с его будущими четвыми Минеями, годовой «Златоуст». На более поздних этапах своего развития «Златоуст» превратился в своеобразную «Триодь Четью», материал для которой поставляли преимущественно гомилетические жанры⁸¹. Относительно второй и третьей категорий соблазнительно было бы считать, что, пропуская канонические и исторические сочинения, составитель «Великих Минеи Четых» имел в виду уже созданные «предприятия», назначенные специально для репрезентации памятников соответствующего содержания («Сводная Кормчая», «Стоглав», «Русский Хронограф», возможно, заготовки к «Степенной

⁷⁹ Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2003. Т. 12. С. 12.

⁸⁰ См.: Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). 3-е изд., испр. и доп. М., 2002. С. 346–348.

⁸¹ Черторицкая Т. В. Четвы сборники в составе Великих Минеи Четых митрополита Макария // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 1993. Т. 46. С. 98–198.

книге»). К сожалению, такая версия едва ли может быть подкреплена¹⁰⁰ несокрушимыми аргументами.

Труднее всего определить, с какой целью был создан Царский список – третий из основных комплектов «Великих Миней Четьих». Комплект этот никоим образом не является простым слепком с одного из предыдущих. Многие выпущено, но немало и добавленного. Судя по прямым и косвенным указаниям, над Царским списком опять же более всего работали новгородские книжники. Последующая история макарьевского свода показывает разные этапы на пути его перерождения в обычный сборник житий и памятников красноречия, т. е. возвращение коллекции «всех святых четьих книг» к исходному состоянию, годовому комплекту четьих Миней только с текстами, приуроченными к календарю. О макарьевском своде написано немало, и многое продолжает писаться, особенно по поводу его внешней характеристики и находящихся в нем отдельно взятых текстов. Однако до сих пор отсутствует параллельная построчная роспись трех основных комплектов свода, одновременно с более поздними комплектами, производными от тех, что готовились под наблюдением Макария. Анализ такой росписи, буде кто-то когда-нибудь ее составит, обещает стать важным этапом в осмыслении «предприятия». Ибо, в отличие от Лицевого свода, макарьевская Минея, обычно изрядно пощипанная, копировалась не один раз. Раньше других изготовили так называемый Слободской комплект, представлявший собой выборку одних только минейных текстов и получивший свое название по имени Александровой слободы, где он был переписан (сохранились книги за октябрь, ноябрь, февраль и май). Сколько можно судить при отсутствии описания (если не считать формальных характеристик рукописей), в созданном в самом конце столетия Чудовском комплекте четьих Миней, макарьевский свод подвергся очередной переработке, но и в этом случае от статей без календарных адресов составители отказались. «Великие Минеи Четьи» продолжали участвовать в литературной жизни и дальше. Если Герман Тулупов обошелся, работая над своими Минеями, без макарьевского свода, Иоанн Милютин обращался к своду не один раз, разумеется, только к тем памятникам, которые подходили для Миней традиционной структуры. Применение для «Великих Миней Четьих» нашли еще дважды в конце XVII – первой четверти XVIII в.: имеются в виду «Книга житий святых» Димитрия Ростовского и Выговские четьи Минеи.

Обсуждая средства, служившие сакрализации царства, мы обязаны отметить группу сочинений или только подготовительных планов для таких сочинений, которые развивались в том же направлении, что и «обобщающие предприятия», но по разным причинам остановились в развитии на полпути. С подобными феноменами мы уже

сталкивались, например, обсуждая «Сводную Кормчую», хотя тот случай был не¹⁰¹ совсем стандартный, потому что незаконченный свод Даниила функционально заменило оригинальное «предприятие» канонического содержания («Стоглав»). Сейчас коснемся приуроченного к тому же церковному календарю, что и «Великие Минеи Четьи», певческого сборника под названием **Стихирарь «Дьячье Око»**. В действительности, из довольно обширной категории памятников с таким названием, по-видимому, генерированным в напоминание об Уставе («Око Церковное», ср. Мф. 6, 22–23), к нашей теме относится только несколько списков, которые специалисты определяют как образцовые, служившие эталоном для Стихирарей уменьшенного типа, копировавшихся для приходских церквей и скромных по своим возможностям монастырей⁸². Тот тип, который нас занимает, включает песнопения на каждый день года и стремится охватить максимальное количество приходящихся на этот день церковных праздников и памятей. Предположение о том, что он входил в число нормативных «предприятий» эпохи Грозного, причем позднего периода его царствования, кажется убедительным, и вот почему. Во-первых, один из списков (БАН, собр. Строганова, № 44) написан на той же бумаге, что и некоторые тома Лицевого свода⁸³, во-вторых, исследовательница списка отмечает ориентацию его по набору памятей и по тексту на монастырское богослужение московской округи, в-третьих, Строгановский Стихирарь удачно сочетается по функции со Слободским комплектом четьих Миней. Именно общежительный монастырь служил той моделью, по которой Иван Грозный строил жизнь в своей опричной обители. Не касаемся сейчас ученых споров по поводу происхождения Стихираря, о них будет сказано в другой статье – той, что посвящена книжной деятельности Чудова монастыря⁸⁴. Тот факт, что данный тип произведения продолжал активно пополняться в стадияльно более поздних копиях (в том числе, в списке РНБ, собр. Кирилло-Белозерского мон., № 586/843), не дает возможности возвести какую-то из разновидностей книги в ранг канонической. Определим поэтому Стихирарь как памятник, намеченный для последующего присоединения к «обобщающим предприятиям», но еще находившийся применительно к этой задаче в процессе разработки.

⁸² Рамазанова Н. В. Московское царство в церковно-певческом искусстве XVI–XVII веков. СПб., 2004; Казанцева Т. Г. Минеиный Стихирарь певческого сборника Q.I.5 из собрания ГПНТБ СО РАН в ряду древнерусских стихирарей «Дьячье Око» // Учен. зап. Российской академии музыки им. Гнесиных. 2017. № 4 (23). С. 27–52.

⁸³ Панченко Ф. В. Стихирарь конца XVI в. из собрания С. Г. Строганова // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописей БАН. СПб., 2006. С. 203–285.

⁸⁴ См. наст. изд., с. 000.

Церковь служила местом, где соединялись в стройный ансамбль все виды¹⁰² искусства. Сказав о своде, регламентирующем набор календарных памятей для церковного пения, не можем не упомянуть русские иконы минейного типа, представляющие собой точную иконографическую параллель к четым Минеям митрополита Макария и к Стихирарю «Дьячьё Око». Тогда как в Византии святцы в лицах хорошо были известны, русские параллели к ним появились только в XVI в. (ср., правда, Новгородские Софийские таблетки рубежа XV и XVI вв.)⁸⁵. Интересно, что один из лучших образцов, комплект из двенадцати месячных икон, был вложен в Иосифо-Волоколамский монастырь, как мы знаем, активно участвовавший в подготовке книжной серии «обобщающих предприятий» (из комплекта сохранились четыре иконы)⁸⁶. Поскольку предметом настоящей статьи является литературное наследие эпохи, об иконах как о «предприятии», аналогичном письменным памятникам, упоминаем только вскользь. На первый взгляд, больше оснований задержаться на таком книжном феномене, одновременно касающемся литературы и изобразительного искусства, как **«Иконописный подлинник»**. Памятник представляет собой справочник для иконописца с указаниями, как изображать отдельные иконографические сюжеты, в том числе святых, церковные праздники, копии почитаемых чудотворных образов. «Иконописный подлинник» бывает лицевой, с прорисьями или переводами, и толковый, со словесным описанием каждого из изображений, наконец, комбинированный, где соединены рисунок и надпись. Инструкции к изображению, как правило, весьма лаконичны и стереотипны. Материал в Подлиннике может быть расположен по-разному, в том числе в календарном порядке. Хотя Подлинник, разные его виды, известен во многих списках, списки эти по преимуществу поздние. Тем не менее, в старой русской историографии утвердилась мысль о том, что «Иконописный подлинник» родился на свет как реакция на требования «Стоглава» упорядочить иконописание, т. е. как ответ на позицию, запечатленную в одном из главных «обобщающих предприятий»⁸⁷. Гипотезу нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, а возникающее в связи с гипотезой предложение занести сам Подлинник в список «предприятий» требует еще обсуждения. Такое обсуждение возможно только на основе первоисточников, которые пока изучены поверхностно. В пользу предложения

⁸⁵ См.: *Пуцко В. Г.* Русские минейные иконы XVI в. и их византийские источники // Иконографические новации и традиции в русском искусстве XVI века: Сб. статей памяти В. М. Сорокатого. М., 2008. С. 135–142 (Труды Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. Т. 3).

⁸⁶ *Шалина И. А.* Минейные иконы 1569 года из Иосифо-Волоколамского монастыря // От Царьграда до Белого моря: Сб. статей по средневековому искусству в честь Э. С. Смирновой. М., 2007. С. 651–678.

⁸⁷ *Григоров Д. А.* Русский иконописный подлинник. СПб., 1887. С. 5–6.

говорит то, что Подлинник оказывается ровесником аналогичных памятников –103 греческих и южнославянских ерминий, при том, что в русских пособиях исследователи видят и оригинальные черты⁸⁸. Против предложения говорит отсутствие каких-либо намеков в нашем пособии на его связь с объединительными замыслами эпохи, а также сугубо техническое содержание, присущая словесному сопровождению Подлинника сухость ремесленного жаргона и конфессиональная отстраненность.

В универсальной форме усилия книжников поставить на службу идеологии категорию времени выражены в книге под названием **«Великий Миротворный круг»**. На самом деле, название это используется в двух значениях – более узком, применяемом к таблице с циклом в пятнадцать Великих индиктионов и предназначенном для вычисления дня Пасхи (7980 лет, до 2472 г.), и более широком, как наименование сборника, содержащего, помимо таблицы, относительно устойчивый набор статей, посвященных календарным премудростям вообще, и тем, что касаются расчетов дня Пасхи, в особенности. Главные из сопроводительных статей связаны с упоминавшимся уже «календарным кризисом» конца XV в., который выразился в панических настроениях современников (ср. «Изложение пасхалии» митрополита Зосимы, сочинения архиепископа Геннадия и Иосифа Волоцкого). «Великий Миротворный круг» в узком, а отчасти и в широком смысле составлен на рубеже 1530–1540-х гг. новгородским священником Агафоном, снабдившим сборник компилятивным предисловием. Предисловие существует в нескольких редакциях, о последовательности их возникновения высказаны разные мнения⁸⁹, но для наших размышлений этот аспект в изучении памятника не столь уже важен. Таблицу Агафона, которая в любом случае составляет ядро книги, можно смело отнести к «обобщающим предприятиям», поскольку она перекрывает по своему временному охвату имевшиеся на Руси пасхалии⁹⁰. Иначе говоря, предлагает их «обобщение». При этом сказанное не означает, что таблица, рассчитывающая дни Пасхи за много лет до Рождества Христова, предназначалась для практического употребления. Довольно было и того, что она показывала таинственность литургического времени в доступных человеку

⁸⁸ Маркелов Г. В. Святые Древней Руси: Материалы по иконографии (прориси и переводы, иконописные подлинники). Т. 2: Святые Древней Руси в иконописных подлинниках XVII–XIX веков: Свод описаний. СПб., 1998. С. 8–11.

⁸⁹ См.: Романова А. А. Древнерусские календарно-хронологические источники XV–XVII вв. СПб., 2002. С. 189–197; Новицкас Л. А. «Великий миротворный круг» как литературно-энциклопедический памятник: (По спискам XVI–XIX вв.). Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 2013.

материальных знаках. С другой стороны, достойно внимания, что книжники,¹⁰⁴ составители сборника, не допускали мысли о пустом, не заполненном событиями времени. От исторического времени им было нелегко абстрагироваться: таблица обрастает статьями о значимых для читателя исторических событиях, начиная от Первого Вселенского собора, который, как думали, утвердил пасхалию. При переписке на полях таблицы выставляются даты новозаветной, а потом и русской истории, в одном из списков (РНБ, F.I.866) появляются даже заметки, касающиеся событий из истории отдельных книг⁹¹.

Многое говорит о том, что работа Агафона велась в годы архиепископского служения Макария, чье имя упомянуто прямо в предисловии. Несомненно, работа была согласована с трудами владыки по комплектованию «Великих Миней Четьих», развернувшимся в то самое время, когда Агафон занимался собственным «предприятием». Мы очередной раз убеждаемся в том, сколь значительную роль играл Новгород в ведшейся по всей Руси идеологической кампании. Интересно вместе с тем, что этот Агафон, как и его патрон, функционировал между Новгородом и Москвой. Он работал над книгой по обету, данному Сергию Радонежскому и митрополиту Петру, святым, более всего почитаемым в Москве. В предисловии фигурируют имена и других московских митрополитов, признанных чудотворцами. Книга «Великий Миротворный круг» довольно широко разошлась в списках, и на каком-то этапе развития традиции таблица обособилась от текстового сопровождения. Напротив, сопроводительные статьи стали переписываться в составе рукописей, где концентрировались тексты о книжных премудростях, разные литературные и языковые курьезы. Похоже, что в понятиях древнерусских начетчиков календарная «алхимия» была сродни «алхимии» языковой.

Pax Mosquensis

Со времен «Pax Romana» все понимали, что империя представляет собой сакральное пространство, границы которого в идеале должны совпадать с ойкуменой. Империя, будучи религиозным явлением, лишь скрепя сердце мирилась с тем, что за ее пределами живет по своим обычаям (ибо законов там по определению не может быть) конгломерат варварских племен. Идеологи «священного царства» в Москве, пускай в размытом и переосмысленном виде, унаследовали это представление и никогда не

⁹⁰ *Пентковский А. М.* Календарные таблицы в русских рукописях XIV–XVI веков // Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописных книг. М., 1990. Вып. 3, ч. 1. С. 136–197.

⁹¹ *Новицкас Л. А.* Дополнительные комментарии на полях таблиц «Великого миротворного круга»: Текстология и атрибуция // Текстология и историко-литературный процесс. М., 2014. Вып. 2. С. 21–28.

забывали, что такому царству, какое они примеряли к Москве, надлежит размещаться¹⁰⁵ на отмеченной Богом святой территории. Для признания ее таковой одушевленные и неодушевленные объекты, которые располагались в пределах Московского государства, подлежали приобщению к фонду сакральных феноменов. В принципе, таковы все рассмотренные нами «обобщающие предприятия», выстраивающиеся в пирамиду. Над территорией возвышается священная особа царя, который корректирует свой безупречный образ, смотрясь в «княжеское зеркало», и блюдет конфессиональную чистоту своих подданных, управляя церковью и истребляя нечестие. К его трону, находящемуся в священной столице, стекаются высшие церковные иерархи, надзирающие за устоями православия по крепящим империю городам, по разбросанным среди лесов и весей церквам и монастырям, служители и насельники которых держатся своего устава. В церквах каждодневно звучат священные песнопения, в трапезных читаются слова святых отцов, а в монастырских скрипториях изготавливаются парадные экземпляры книг, маркирующих уникальный статус «священного царства», формирующих у читателя единственно правильный взгляд на мир и судьбу этого мира. Заметим, что в нарисованной нами благостной картине нет места для внерелигиозных явлений, каковые в сакральное пространство не допускались по умолчанию. Теперь у нас есть возможность подтвердить эту истину на культурных феноменах, которые не были учтены в предыдущих разделах, но участвовали в сакрализации территории. Они или заняли свое место среди «обобщающих предприятий», или находились на пути к его получению. Отдельно будет сказано о раздвижении границ священной территории, что влекло за собой миссионерские деяния на новых площадках. В московской культуре такие деяния приняли своеобразные формы, своеобразно же отразившиеся в одном из «предприятий»

Минимальной ячейкой общества считают семью. Начнем с памятника, устроенного как руководство для главы семьи и хозяина дома. На хозяина возлагалась обязанность блюсти тела и души домочадцев, включая слуг, вести хозяйство и обеспечить надлежащий уровень социальной ответственности, предполагающий, на первом месте, заботы о спасении души всех вместе и каждого в отдельности. Имеем в виду знаменитый «**Домострой**». Он давно оценен как уникальный источник, содержащий сведения о повседневном быте XVI в., о котором молчат другие тексты, освещающие преимущественно церковные аспекты жизни. Одновременно «Домострой» признается органической частью «обобщающих предприятий», поскольку, со свойственным эпохе педантизмом, он стремится установить правила по всей окружающей индивидуума действительности, включая материальную сферу, которой

почти не касаются другие «предприятия». Не принижая эвристическую ценность¹⁰⁶ произведения и соглашаясь с наличием в нем родовых черт «предприятий», не можем согласиться с изъятием его из разряда религиозно значимых документов эпохи. Ориентацию текста удобно обсудить через личность Сильвестра, об участии которого в судьбе «Домостроя» ведутся жаркие споры с того самого момента, когда это руководство для главы дома стало доступно читателям. Но прежде скажем несколько слов о том, каковы новейшие достижения академической науки в исследовании памятника.

Первое же знакомство с литературой предмета вызывает некоторое недоумение, поскольку статьи и книги, плодящиеся без конца и края, не выходят за пределы одних и тех же частных вопросов. Со времен основательной дореволюционной работы А. С. Орлова текстологические разыскания о довольно многочисленных списках «Домостроя» почти не продвинулись. Ученый выделял полную, краткую и смешанную редакции – классификация, используемая и по сию пору. Современная исследовательница К. Паунси добавила к трем указанным еще одну редакцию – «переходную» («transitional»). Хотя в целом схема развития текста, предложенная К. Паунси и основанная на формальных критериях, нуждается в проверке, отстаиваемый ею принципиальный тезис о существовании корпуса из шестидесяти трех глав как первоначального ядра книги представляется убедительным⁹². Такой вывод подкрепляется новейшим описанием знаменитого списка «Домостроя», принадлежавшего раньше Обществу истории и древностей Российских (РГАДА, рукописное собр. ЦГАДА, № 1380). Конечные главы признаны позднейшим добавлением в рукописи⁹³. Вывод существенный, потому что, исключив из уравнения эти главы, мы легче постигнем религиозную природу текста. Под вопросом остается атрибуция «Домостроя» священнику Сильвестру, чье нравоучительное послание сыну Анфиму сопровождает памятник во второй редакции в качестве гл. 64. Поскольку атрибуция произведений средневековых авторов всегда условна и ненадежна, довольствуемся признанием того, что Сильвестр, если и не написал его от начала до конца, принял посильное участие в судьбе «Домостроя». Иначе он не повторил бы в послании Анфиму главнейшие из находящихся в руководстве для *pater familias* правил (не зря называют послание Анфиму «Малым Домостроем»).

Согласившись с сформулированным осторожно выводом об авторе-составителе, мы можем смелее использовать скудные данные о жизни Сильвестра для интерпретации

⁹² Pouncy C. J. The Origins of the Domostroi: A Study in Manuscript History // The Russian Review. 1987. Vol. 46. P. 357–373.

семантических обертонов произведения. Суть в том, что относительно свежие¹⁰⁷ архивные разыскания вскрыли не учитывавшиеся прежде факты о самом Сильвестре и о его ближайших родственниках⁹⁴. Теперь известно не только иноческое имя его жены (Евпраксия), но также имя и фамильное имя его снохи (Пелагея Топорникова), по документам восстановлен послужной список Анфима Сильвестрова. Для наших дальнейших выводов интереснее всего, что два независимых источника подтверждают подвергавшееся прежде сомнению привилегированное положение Сильвестра при царе Иване Грозном. В годы фавора он был духовником царя, а один из Синодиков с записями о поминании представителей «рода Селивестра» прямо называет его протопопом. Едва ли столь ответственный пост мог занять случайный человек. Поскольку из послания Анфиму мы знаем, что родители адресата явились в Москву из Новгорода, можно поразмыслить о социальном статусе Сильвестра по прежнему его месту жительства. Обычно считается, что предполагаемый автор «Домостроя» был представителем новгородского купечества, хотя он и принял иерейский сан до переезда в Москву. Полагаем более правдоподобной другую версию: скорее всего, Сильвестр происходил из духовного сословия, чем и объясняется его широкая начитанность, любовь к книжному делу, хлопоты по обучению церковным наукам будущих начетчиков, иконников, певчих и др. Участие его в торговых операциях, упоминаемых все в том же послании, не противоречит нашему предположению: как утверждают историки, новгородское духовенство не чуралось коммерции⁹⁵. Возможно, он подвизался при архиепископе Макарии, который, заняв митрополичий стол, обеспечил теплое место своему протееже. Едва ли, однако, это место мог занять вчерашний купец. Представленная нами версия объясняет, помимо прочего, большое количество лиц духовного чина, происходящих из «рода Селивестра», из семьи, которая, будучи хорошо обеспеченной и щедрой на вклады, записана в Синодиках первых по значимости монастырей и церквей (Успенский собор Кремля, монастыри Троице-Сергиев, Новодевичий, Кирилло-Белозерский, Александро-Свирский). Не естественно ли, что родственники и свойственники протопопы, равно ближние и дальние, тяготели к службе по церковному ведомству?

⁹³ Каталог славяно-русских рукописных книг XVI века, хранящихся в Российском государственном архиве древних актов. М., 2005. Вып. 1: Апостол-Кормчая. С. 67–70.

⁹⁴ *Перхавко В. Б.* Семья священника Сильвестра // Археографический ежегодник за 2004 г. М., 2005. С. 46–61.

⁹⁵ *Кузьмина О. В.* Церковь и политическая борьба в Новгороде в XIV–XV веках. Дисс. ... канд. ист. наук. Великий Новгород, 2007. С. 60–105.

Постулируя прочную связь с жизнью духовенства Сильвестра, с которым, в¹⁰⁸ свою очередь, связаны старшие этапы в истории текста «Домостроя» (а возможно и его творческая история), мы исподволь подходим к оценке памятника. Думаем, что приписываемое Сильвестру руководство для домохозяина должно рассматриваться как религиозно значимый источник по мировоззрению москвитов XVI в. Его неосновательно считают манифестом косности и скопидомства, а вместе свидетелем примитивных и приземленных интересов, якобы изначально присущих людям в средние века, или (при нарочито тенденциозном толковании) являющихся врожденными чертами русского национального характера. К. Паунси ошибается, приравнивая «Домострой» к европейским наставлениям по домоводству. Впрочем, разность конечной цели не противоречит тому, что ученые выявили иноземные аналогии по отдельным пунктам предписаний, которые предлагает «Домострой» примерному хозяину. Каковы основания, чтобы считать «Домострой» произведением конфессионально релевантным? Возьмем, допустим, те особенности произведения, на которые обыкновенно сетуют современные исследователи, – отсутствие в нем каких-либо примет, говорящих о времени и месте его происхождения. Ясно, что составитель намеренно убрал из текста такие подробности, прописывая в «Домострое» истины на веки вечные. Далее, учтем, что писалась книга на церковно-славянском языке. Факт закономерный применительно к XVI в., когда бюрократический аппарат не успел оформиться, и никакого канцелярского стиля еще не существовало. «Домострой», пропитанный христианской дидактикой, с реминисценциями из известных на Руси учительных произведений и сборников («Стословец» Геннадия, «Измарагд», Пролог, и т. д.), распространялся в составе книг религиозного содержания, назначенных для келейного или соборного чтения. Главное же – цель автора заключалась не в том, чтобы научить читателя управлять людьми и вести хозяйство, и не в том даже, чтобы научить этого читателя жить в благочестии (такую функцию выполняли другие книги), а в том, чтобы живописать бытие большой усадьбы как аналог жизни общежительного монастыря. «Домострой» есть мирской эквивалент монастырского устава, подробные варианты которого не пренебрегали материальными аспектами жизни братии. Устав, как и разбираемое сочинение, вникал во все детали быта киновии, живущей в ритме большой семьи. Стоит напомнить, что общежитие не успело еще укрепиться о ту пору в наших обителях, а усиленное внедрение его Макарием в монастырях новгородской архиепископии вызвало там поначалу чуть ли не бунт. Сравнение «Домостроя» с уставом киновии не ново, его

предложил еще А. С. Орлов, лучший знаток памятника⁹⁶. Нашим дополнением к¹⁰⁹ мысли ученого является тезис о сакрализации быта как принципиальной задаче, которой подчинены содержание и форма текста. Спасение достижимо в правильно устроенном мире не хуже, чем в монастыре – так можно сформулировать первейший завет составителя «Домостроя». На роль этого составителя, если принять предложенную интерпретацию, лучше всего подходит особа духовного звания, что заставляет вновь вспомнить о Сильвестре как кандидате на место автора. Предложенное толкование гармонирует со своеобразными чертами в русском изводе православия, где изначально стремились стереть границы между духовенством и мирянами, быт которых по возможности примерялся к монастырскому, в то время как духовенство прочно вросло в жизненный уклад своих духовных чад. Выявив функцию «Домостроя» как произведения пропагандистского, мы поймем и заложенную в нем идеологическую программу. Книга, с одной стороны, подводит итог опыту русской церкви по упорядочению жизни окормляемой этой церковью паствы, с другой стороны, встраивает каждого из представителей паствы в священное пространство империи. Таким образом, мы на законном основании присовокупляем «Домострой» к прочим «обобщающим предприятиям». Регистрируем при этом те черты произведения, которые замечены были в других образцах «предприятий», т. е. связь с новгородскими книжными традициями и уникальность замысла, позволившего выразить отвлеченную религиозную доктрину в приземленной форме учебника по домоводству.

Наиболее видными ориентирами, выделявшими в XVI в. территорию «священного царства», стали, конечно, церкви и монастыри, интенсивное строительство которых развернулось по просторам Московской Руси. Особо следует отметить умножение церквей и аксессуаров культа, посвященных русским святым, русским святыням и собственно русским праздникам, которые обособились и продолжали обособляться от общих православных. Все эти локальные новации в конфессиональном ландшафте нуждались для отправления культа в зодчих, декораторах, художниках, певчих и, разумеется, в священнослужителях, причетниках, иноках. Интенсивная жизнь церкви стимулировала и литературное творчество, так что XVI в. можно назвать «золотым веком» русской агиографии, которая, помимо жанров, освоенных уже столетием раньше, прежде всего, житий преподобных, развивала новые или прежде редко использовавшиеся, в том числе, памятные записки о праведниках, сказания о явленных иконах, предания об основании монастырей, благочестивые легенды и др.

⁹⁶ История русской литературы. М.; Л., 1945. Т. 2, ч. 1: Литература 1220-х–1580-х гг. С. 441–442 (раздел написан А. С. Орловым).

Старые жития обогащались разделом чудес и похвальными словами. Присмотревшись¹¹⁰ ко всей этой литературе, мы видим в ней тенденцию создавать циклы из разных повествовательных элементов, однако до задач, связанных с идеологической консолидацией широкого масштаба, какие ставились в «обобщающих предприятиях», дело не доходило. То есть сами задачи осознавались всеми, но решались они другими путями: иногда – через насыщение отдельно взятого произведения актуальными пропагандистскими мотивами (таковы Слово и Служба новым русским чудотворцам Григория Суздальского), иногда – внелитературными средствами (как в случае с канонизационными соборами 1547 и 1549 гг.). Как подступ к созданию общерусского пантеона, в церковной живописи, реже в литературе, святые и праздники группируются по географическому признаку⁹⁷. Центростремительные тенденции, приводившие к соединению четых и служебных текстов о святых, прославивших отдельно взятую область, отмечаются уже в рукописях XV в.⁹⁸. В XVI в. складывается практика сводить в одну рукописную книгу полный набор текстов, объединенных культом отдельно взятого святого, т. е. его житие, похвальное слово, чудеса и службу⁹⁹. Общеизвестным примером в этом отношении является сборник о Зосиме и Савватии, первоначальниках Соловецких. Когда речь идет о самых почитаемых на Руси чудотворцах, можно считать, что такие монографические кодексы включают в себе не только локальную, но и панроссийского масштаба пропагандистскую энергию. Сошлемся на знаменитое лицевое Житие Сергия Радонежского из ризницы Троице-Сергиевой лавры, правда, датирующееся уже концом интересующего нас столетия. Аналогом в изобразительном искусстве к такой парадной книге монографического состава может служить «Александр Свирский в житии» – икона из Успенского собора с ее бесчисленными рядами клейм.

Тенденция агиографических текстов соединяться в циклы подвела монастырских книжников к мысли о дополнительных литературных средствах, поспешествующих духовному объединению вокруг Московского трона, объявленного священным центром православного мира. Из множества агиографических текстов, написанных в разных жанрах в течение XVI в., особенно интересен с такой точки зрения «**Волоколамский патерик**». Более других литературных писаний о святых и святынях

⁹⁷ Романенко Е. В. «Соборы русских святых» как региональные и надрегиональные «места памяти» Московской Руси XV–XVIII вв. // «Места памяти» Руси конца XV – середины XVIII в. М., 2019. С. 169–203.

⁹⁸ Мельник А. Г. «Ростовские патерики» конца XV–XVI в. // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2017. Вып. 22. С. 22–30.

⁹⁹ Ср.: Карбасова Т. Б. Монографический агиосборник как тип: (На примере сборника, посвященного Кириллу Новозерскому) // Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации. СПб., 2011. Т. 2. С. 240–248.

он приблизился к задачам, которые роднят «обобщающие предприятия», наделявшие¹¹¹ Москву атрибутами «священного царства». Установка произведения, не ограниченного запросами одной только волоколамской братии, будет лучше понятна, если мы укажем, что составителем памятника был такой мастер слова, как Досифей Топорков. Тот самый, кому атрибутируется «Русский Хронограф». Нужно еще иметь в виду, что название «Волоколамский патерик», придающее произведению не свойственный ему местечковый привкус, отсутствует в авторском тексте. Хотя автор не сомневается в величии обители Иосифа Волоцкого и заслугах ее основателя, его свод, включающий поучительные эпизоды из жизни новейших русских подвижников, записанные с их слов моралистические истории, претендует на нечто большее, нежели прославление насельников своего монастыря. Автор намерен показать, в пику еретикам, сонм прозябающих на Русской земле новых и новых святых. В соответствии с поставленной целью на страницах его свода выступают представители целого соцветия обителей с их подвижниками, ведущими свою духовную родословную от Пафнутия Боровского. Его образ незримо присутствует за всеми историями патерика, и не случайно утраченный оригинал памятника открывался «Словом о житии Пафнутия Боровского» и «Повестями отца Пафнутия».

В связи с отсутствием оригинала, произведение Досифея Топоркова приходится восстанавливать по частям, извлекая их из сборников, вышедших из-под пера Вассиана Кошки, еще одного волоколамского инок, работавшего позднее Досифея. Неблагополучная ситуация с рукописной базой не позволяет с уверенностью говорить, что работа над патериком была завершена. Тем более, что специфика жанра, организованного через сочинительную связь, легко допускает распространение в виде дополнительных членов¹⁰⁰. И все же мы постулируем, что в планы составителя входило придать патерику общерусский размах. Представляются убедительными аргументы в пользу того, что к составлению «Волоколамского патерика» автор приступил во исполнение замысла Иосифа Волоцкого. На существование такого замысла намекает «Сказание вкратце о святых отцах, бывших в монастырех, иже во Рустей земли сущих», входящее в Духовную грамоту Иосифа Волоцкого. В «Сказании» несколькими яркими мазками Русь представлена как заповедный край святости, на котором почивает благодать Божья со времени крещения народа, где непрерывная цепочка просиявших подвижников начинается с Антония и Феодосия Печерских. «Сказание» давало будущим

¹⁰⁰ Есть основания предполагать, что для патерика предназначалась Повесть о видении Антония Галичанина (см.: *Пигин А. В.* Видения потустороннего мира в русской рукописной книжности. СПб., 2006. С. 23–156).

агиографам что-то вроде наметок к патерику, который им предстояло составить и¹¹² который охватил бы все лики святости, с молебниками, предстательствующими за все русские земли. Непростая задача составителя «Волоколамского патерики» заключалась в том, чтобы, имея в распоряжении ограниченный строительный материал, воплотить в жизнь грандиозный план¹⁰¹. Показательно, что Досифей Топорков проецирует собранные им частные эпизоды монашеской жизни на всю историю русского христианства, ведя рассказ, как то было принято в литературе Древней Руси, «от яиц Леды». История начинается с путешествия по Днепру апостола Андрея, особо выделяются «словене», осевшие близ Ильмена, упоминаются князь Владимир, Ярослав Мудрый, которому Илья пророк велел заложить монастырь на Ламе. Таким способом, через синекдоху, писатель приходит к апологии тружеников Господа в своем монастыре, чей хор сливается с общерусским. Отметим, как и прежде, отчетливую связь патерики с новгородской церковной стариной и раритетность избранной писателем литературной формы. Патерик, по крайней мере, в классических образцах этого жанра, отражал преимущественно начальную стадию в распространении христианства, когда анахореты и монашеские объединения вошли в структуру общества в качестве его активной и культурно значимой части¹⁰².

Если «Волоколамский патерик» ориентирован был на увековечение памяти о представителях людского рода – о святых и просто благочестивых христианах, то сходное по композиции произведение, озаглавленное **«Повести древних лет, яже съдеясая в Великом Новгороде»**, больше внимания уделяло сакральным предметам и необычным ситуациям – церквам, чудотворным иконам, предсказаниям, сбывшимся знамениям (поэтому к произведению неприменим термин «патерик»). Не были забыты и герои одушевленные, но объединяющим рассказы принципом, которым руководствовался составитель «Повестей», являлась явственно присутствующая в них во всех стихиях устной словесности. Упоминаются и конкретные имена информаторов. Замечательно, что отпечаток устного бытия отдельных сюжетов, на первых ли порах или на более поздних стадиях их развития, одинаково присущ слившимся в «Повестях» новгородским и афонским преданиям. Перед нами своеобразный аналог «монашеского фольклора», зародившегося некогда среди анахоретов и киновиотов Ближнего Востока и

¹⁰¹ См.: *Ольшевская Л. А.* История создания Волоколамского патерики, описание его редакций и списков // *Древнерусские патерики: Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик / Изд. подгот. Л. А. Ольшевская, С. Н. Травников. М., 1999. С. 316–350 (Сер. «Литературные памятники»).*

¹⁰² См.: *Буланин Д. М.* Древнерусские патерики: Метаморфозы жанра ранней монашеской письменности // *Cahiers du Monde russe. 2022. Vol. 63. № 2. P. 289–312.*

запечатленного особенно ярко в древних патериках – сборниках душеполезных¹¹³ изречений подвижников и историй о памятных происшествиях из их жизни. С жанрами устного творчества «монашеский фольклор» сближает не только по преимуществу устная форма его передачи, но и вариативность соответствующих текстов. Отличие же от устной словесности мирян заключается не только в тематике, но и в том, что в процессе их генерации и трансмиссии памятники «монастырского фольклора» не пренебрегали фиксацией текстов на пергамене или на бумаге: иные варианты сюжета могли восходить к книжным архетипам, иные же варианты сами попадали на страницы книг из устной среды. Так именно обстоит дело с обсуждаемыми «Повестями», которые в самом раннем полном списке РГБ, Волоколамское собр., № 659, принадлежавшем известному уже нам Волоколамскому игумену Нифонту Кормилицину, включают двенадцать самостоятельных рассказов (если считать с отдельным вторым чудом о ропате)¹⁰³. Нужно признать, что широкого распространения этот свод преданий не получил. Для того, кто привык выделять «обобщающие предприятия» в общем объеме литературной продукции эпохи исключительно по их физическому объему, «Повести», пожалуй (как, впрочем, и «Волоколамский патерик»), покажутся слишком миниатюрным памятником. Однако мы приняли решение ставить во главу угла не листаж, а функцию каждого из литературных «предприятий», возникших в результате центростремительных тенденций, которые сопутствовали идеологическому строительству XVI в. С этой точки зрения трудно переоценить значение «Повестей», в которых сведены предания новгородской старины и афонские легенды. Будучи представлен в такой форме, запечатленный в «Повестях» свод преданий одновременно способствовал собиранию русских святынь под эгидой Москвы, укреплял образ Новгорода как русского Иерусалима и имплицитно декларировал преемственную связь новгородских памятников христианского благочестия с реликвиями из монастырей Святой Горы. Знаменательно еще, что последним номером в «Повестях» переписано апокрифическое «Воспоминание» о путешествии Богоматери на Афон (окончание текста утрачено), который она объявила тогда своим уделом. Знаменательно и другое: наш свод преданий находится в той части сборника Нифонта Кормилицина, где сосредоточены статьи о почитании на Руси Пресвятой Девы¹⁰⁴. В 1530-е гг., когда переписывался сборник Нифонта, на особое покровительство Богоматери претендовали уже не только Афон и Новгород, но Москва и великий князь Московский. С «обобщающими предприятиями»

¹⁰³ Бобров А. Г. «Повести древних лет» // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2003. Т. 54. С. 136–171.

¹⁰⁴ См.: Буланин Д. М. Опыт комплексного описания. С. 516–519, 559–565.

цикл «Повестей» сближает история его распространения. Немногочисленные его¹¹⁴ списки, а чаще – обломки цикла, восходят, кажется, к одному протографу.

Мы видим, как книга и слово участвовали в культурной обработке пространства, занимаемого «священным царством». В качестве символических маркеров к такой процедуре привлекались и рукописные книги более ранней эпохи, которые при этом частично или полностью модифицировали свою функцию. Хорошим примером очередного «обобщающего предприятия», получившего новую жизнь в процессе идеологического строительства, может служить **Митрополичий формулярник**. Окончательное оформление ему придал митрополит Даниил, который, как мы помним, был одним из пионеров в обеспечении «священного царства» поддержкой на символическом уровне. Следует заметить, что Даниил неплохо ориентировался в дипломатике, которая, вместе с первыми образцами деловой письменности, едва-едва входила в кругозор москвитов, не привыкших еще отделять книжную премудрость от конфессии и по старинке решавших мирские вопросы в устной форме. Именно при Данииле была составлена копия книга грамот московской митрополии (ГИМ, Синодальное собр., № 276). Однако в случае с Митрополичьим формулярником, который читается в рукописи ГИМ, Синодальное собр., № 562, ныне удостоившейся первоклассного издания¹⁰⁵, перед нами предстает феномен письменной культуры XVI в. совершенно другого рода. «Официальный сборник грамот митрополичьей канцелярии», подзаголовок, который присвоили кодексу издатели, вводит читателя в заблуждение. Какое отношение к официальным обязанностям митрополита имели находящиеся в кодексе дружеское послание за рубеж архитектора Василия Дмитриевича Ермолина, выдержки из «Пандектов» Никона Черногорца или Повесть о царе Казарине, если ограничиться лишь несколькими примерами? Встает законный вопрос: что же понималось под формулярником в рамках литературной культуры рассматриваемой эпохи? Формулярники – это литературные прописи. В формулярники собирались послания или фрагменты посланий, иногда – произведения других жанров, составленные преимущественно духовными особами. Порой их переписывали в первоизданном облики, но чаще оставляли один формуляр, т. е. изымали из оригинального текста все приметы времени и места, а также указания на автора. Могли копироваться только прескрипт-обращение и клаузула. Это были наиболее ценные элементы текста с точки зрения остальных книжников, которые могли, при надобности, обратившись к формулярнику, использовать их в посланиях собственного сочинения. Разные тексты

¹⁰⁵ Русский феодальный архив XIV – первой трети XVI века / Подгот. А. И. Плигузова, Г. В. Семенченко, Л. Ф. Кузьминой. М., 1986–1992. Вып. 1–5.

подвергались разной степени деперсонализации. При всем разнообразии конкретных¹¹⁵ решений в отношении отдельно взятого текста, формулярнику как феномену письменности данной эпохи присущи некоторые родовые черты. Во-первых, все вошедшие в формулярник тексты переходят в «общественное достояние», что бросается в глаза даже на фоне вообще максимально редуцированных представлений об авторстве в Древней Руси. Применительно к формулярнику это означает, что имена, которые вставлены там в некоторые заголовки и фрагменты подлинных посланий, не могут считаться надежными указаниями на авторов. Заметим с сожалением, что жертвами соблазна, в который вводят подобные случаи – теми, кто усвоил конкретным лицам тексты, по определению не подлежащие атрибуции, стали многие современные историки. Во-вторых, содержанием преимущественного большинства посланий является пастырское поучение. Соответственно, со стороны историка было бы неоправданной модернизацией приравнивать обезличенные формуляры к остаткам сочинений практического назначения, т. е. к деловым грамотам. Противопоставление формулярников и письмовников, как раз начавших входить в обращение и на первый взгляд больше стремящихся к литературной стилизации¹⁰⁶, представляется для характеризуемой эпохи искусственным, потому что внецерковная, приказная письменность не стала еще тогда постоянным спутником человека. Знаменательно, что формулярники никогда не бывают представлены в рукописях в беспримесном виде, обычно они читаются в учительных сборниках самого пестрого содержания.

Хотя формулярные списки сочинений встречаются и в достаточно ранних манускриптах, моду на формулярники завели настоятели и старцы Иосифо-Волоколамского монастыря, которых мы уже знаем как первопроходцев при создании ряда «обобщающих предприятий». Формулярник митрополита Даниила, поставленного из Волоколамских игуменов, занимает среди более поздних образцов подобной литературы привилегированное положение. Оно обеспечивалось не только тем, что формулярник стал первым представителем такого книжного жанра, но и тем, что он вобрал в себя целые пласты текстов, сохранившиеся от предшественников Даниила на святительском престоле. Этих пластов насчитывают не меньше трех. Первый состоит из посланий и поучений митрополита Фотия, которые еще в стародавние времена объединились в «Книгу, глаголемую Фотиос». Книга, как видно, пользовалась авторитетом, потому что она была включена в «Великие Минеи Чети». Еще один пласт, охватывающий тексты № 1–65, который связывают с правлением митрополитов

¹⁰⁶ См.: Буланин Д. М. Античные традиции в древнерусской литературе XI–XVI вв. München, 1991. С. 209–211 (Slavistische Beiträge. Bd 278).

Феодосия и Филиппа, состоит, за немногими исключениями, из материалов,¹¹⁶ касающихся взаимоотношений с духовенством Новгорода и Литвы. Л. В. Черепнин полагал даже, что толчком к комплектованию данного пласта послужил Новгородский поход 1471 г.¹⁰⁷ При митрополите Симоне, уже в начале XVI в., предыдущие два пласта соединились, а между ними разместилось еще несколько десятков разновременных и разножанровых произведений. Так образовался третий пласт, включивший два предыдущих и попавший в руки митрополита Даниила. Хотя в сборнике, доставшемся ему от предшественников, больше всего было так называемых «апостольских» посланий, причем обезличенных, там присутствовали и тексты с минимальными купюрами и заменами, включая памятники хозяйственного или правового содержания. Примером может служить Докончальная грамота Василия I с митрополитом Киприаном. Позволим себе настаивать, что подобные вкрапления тоже нельзя назвать актовными источниками. Дело не только в том, что из Докончальной грамоты все-таки исключили имена участников соглашения и что, будучи помещена среди образцовых формуляров, она не является полноценным документом, выполняя лишь функцию шаблона. Важно и то, что грамоты, написанные при участии духовных особ, приравнивались на принятой у нас в XVI в. шкале ценностей к каноническим памятникам. Канонические же тексты, в свою очередь, трансформировались в культурном контексте Древней Руси иногда в запреты символического толка, иногда в моральные наставления, и проч. В такой перспективе упомянутая Докончальная грамота эквивалента не столько юридически значимому документу, сколько духовному завещанию.

Что же сделал митрополит Даниил, взявшись актуализировать прежний Митрополичий формулярник? Внесенные им дополнения, не столь уже значительные по объему, несут важную идеологическую нагрузку, в чем проявилась литературная изобретательность иерарха. Существенно, что эти дополнения фланкируют текст старого формулярника, а потому не могут остаться незамеченными. Открывало формулярник в обновленной его структуре *Хождение в Царьград* митрополита Пимена, явно назначенное показать преемственность Руси по отношению к Византийской империи. Не менее выразительны добавки в конце кодекса. Помимо грамот и посланий, связанных с пастырскими обязанностями митрополита, мы найдем здесь фрагмент из чина поставления Даниила, в частности, цитирующий слова из его благословения Василию III: «И да дарует вам Господь Бог плод чрева вашего неоскудне и непременно от рода в

¹⁰⁷ Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV–XV веков. М., 1951. Т. 2. С. 23.

род, в веку»¹⁰⁸. Понятно, сколь своевременно звучало это пожелание для великого¹¹⁷ князя, ждавшего наследника. Еще интереснее последние статьи рукописи. Здесь мы видим Сказание об установлении праздника Спасу 1 августа, где проводится прямая параллель между победами Андрея Боголюбского и императора Мануила Комнина. Потом, после короткой молитвы за митрополита, следует блок из трех статей: Сказание о Лоретской Божьей матери, Сказание о Тихвинской иконе и Повесть о царе Казарине. Их объединяет мотив чуда Богоматери, при покровительстве которой, как считал великий князь, ему был дарован сын. Формулярник завершается посланием великому князю от имени Иоакима, патриарха Александрийского, героя известного Чуда. Патриарх не только просит государя не оставить милостыней молебников с Востока, но и объявляет его заступником православных церквей, находящихся под властью неверных. Препарированный таким образом Митрополичий формулярник выполняет в кругу «обобщающих предприятий» немаловажную функцию. Он связывает друг с другом факты из прошлой и настоящей церковной жизни, имевшие место в самых отдаленных уголках России. Он показывает в то же время, что эта жизнь протекала и протекает под эгидой Московского самодержца. Зная как о родовой черте «предприятий» об их связях с новгородской книжной традицией, вспомним, что и составитель формулярника находился, через Волоколамский монастырь, под влиянием этой традиции.

Эффективным орудием в символическом и культурном овладении пространством империи следует признать «**Азбуковник**» – первый русский словарь-тезаурус, не идущий в сравнение по масштабу с более ранними лексикографическими опытами славян. Древности, как мы знаем, присуще субстанциальное понимание знака, поэтому всякая система знаков воспринималась как микрокосм, соотносимый со вселенной. В этом своем качестве алфавит со времени его изобретения, служа образом мира, участвовал в магических и религиозных процедурах. Таков и глубинный смысл «Азбуковника». Функция его была аналогична той функции, какую, скорее всего, выполнял в московской письменности перевод «Грамматики» Доната, предлагавший, через описание абстрактной (для русского читателя) грамматики, реальную модель космоса. Разница заключалась лишь в том, что иконическая природа алфавита была понятнее москвитам XVI в., чем умозрительные грамматические категории. Таким образом, предлагается оставить не находящие опоры в источниках попытки приписать «Азбуковнику» то или иное практическое назначение, попытки, подтягивающие средневековую культуру к современным ценностям. Такую попытку делает Л. С. Ковтун,

¹⁰⁸ Русский феодальный архив XIV-первой трети XVI века. М., 1987. Вып. 3. С. 526.

относящая старший по ее классификации «Азбуковник» к середине столетия.¹¹⁸ Исследовательница предлагает соотнести его с потребностями, которые возникли будто бы при работе над «Великими Минеями Четвыми». И даже более определенно – над Успенским списком четьи-минейного свода. Имеется в виду приведенное выше заявление митрополита Макария о том, как он будто бы сражался с «иностранными и древними пословицами» (см. выше). Как мы знаем уже, в самом своде не осталось никаких следов от этих сражений¹⁰⁹. По той же самой причине – ввиду несоответствия аксиоматике московской письменности – неудовлетворительным кажется предложение А. Н. Левичкина. Исследователь, передвинув датировку старшего «Азбуковника» на пятьдесят лет вперед (предположение, не лишенное вероятия), считает, что этот тип книги породили «насуточные проблемы справы при печатных изданиях»¹¹⁰. Конкретных данных о применении «Азбуковника» в процессе справы, по крайней мере, на ранних этапах книгопечатания, пока не представлено. Дезавуировав анахронистические гипотезы, мы можем, кажется, довольно уверенно отнести древнерусский тезаурус к нашим «обобщающим предприятиям» и по глубинному замыслу – символическому освоению мира, и по формальному критерию – стремлению составителей собрать воедино некое множество однородных фактов. Напротив, о времени, когда «Азбуковник» как особый литературный феномен впервые вошел в московскую письменность, мы не в силах что-либо уверенно утверждать. В зависимости от датировки памятника, нам придется выбрать, причислить ли «Азбуковник» ко второй или уже к третьей серии «предприятий». Выбор в пользу третьей серии представляется на сегодняшний день более обоснованным, хотя нельзя исключить, что старшему «Азбуковнику» (какую бы из его разновидностей мы ни признали старшей) предшествовали некие предварительные заготовки, попадающие в более раннюю хронологическую зону. На общую оценку «Азбуковника» то или иное решение принципиально не влияет, потому что кампания по созданию образа «священного царства» продолжалась (правда, в несколько измененных формах) и после 1570 г., которым мы обозначили условную хронологическую границу настоящей статьи.

Из нашего вывода не следует, что вопрос о датировке можно оставить без внимания. Затруднения с ответом усугубляются из-за того, что не известно ни одной рукописи «Азбуковника» ранее самого конца XVI в., причем в датированной этим временем рукописи РГБ, собр. МДА фонд., № 35 представлена еще самая короткая

¹⁰⁹ Ковтун Л. С. Азбуковники XVI–XVII вв.: Старшая разновидность. Л., 1989. С. 101–102, ср. также с. 53.

разновидность произведения¹¹¹ Остальные разновидности (типы) «Азбуковника»,¹¹⁹ которых Л. С. Ковтун насчитывает семь, читаются в рукописях, относящихся уже к следующим столетиям¹¹². Пытаясь объяснить причины существенной задержки, отодвинувшей распространение словарей в рукописях от предполагаемого времени их составления, исследовательница ссылается на особую популярность свода, копии которого будто бы зачитывались. Популярность же, в свою очередь, вытекает из тезиса о практическом назначении памятника. О неубедительности тезиса было уже сказано. Но вопрос об отложенной во времени традиции важный, и пока он остается без ответа. Трудность текстологического исследования «Азбуковника», помимо самой его композиции, где нет сквозного сюжета, определяется тем, что с течением времени он или наращивал свой объем (почему-то классификации словаря строятся обычно на этой презумпции), или подвергался сокращению. К «Азбуковнику» неприменимо стандартное текстологическое правило *lectio brevior potior*. Свойственная «Азбуковнику» текучесть состава ведет к тому, что в пределах отдельно взятого типа словаря сталкиваются исключаящие друг друга датирующие признаки. Так именно обстоит дело с третьим типом (по предложенному Л. С. Ковтун счету), который сейчас известен как «Азбуковник» Давида Замарая. Подвергнув критике датировку памятника 1620-ми гг., отстаиваемую А. Н. Левичкиным, К. И. Коваленко вернулась к принятой ранее дате 1596 г., дважды упомянутой в «Азбуковнике»¹¹³. Наконец, А. А. Юдин, отыскавший в иных редакциях памятника извлечения из западнорусских изданий XVII в., предлагает примирить точки зрения своих предшественников. Он считает, что в 1596 г. был создан архетип «Азбуковника» Давида Замарая, и только производные от него варианты стали пополняться статьями из книг, напечатанных в Западной Руси¹¹⁴. Подобная разногласия мнений показывает, с какими трудностями сталкиваются специалисты при классификации редакций «Азбуковника» и датировке его разновидностей. Полагаем, что единственным сколько-то надежным путем, который содействует установлению временных вех в эволюции «Азбуковника», остается планомерное изучение его источников. С той оговоркой, что такое изучение должно носить системный характер,

¹¹⁰ Левичкин А. Н. О датировке Азбуковника 1596 года // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2014. Т. 63. С. 541–550.

¹¹¹ Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси XVI – начала XVII в. Л., 1975. С. 268–312.

¹¹² Ковтун Л. С. Азбуковники XVI–XVII вв. С. 9–10.

¹¹³ Коваленко К. И. Азбуковник Давида Замарая как источник по русской лексикографии XVII в. Дисс. ... канд. филол. наук. СПб., 2018. С. 77–82.

¹¹⁴ Юдин А. А. Рукописи Азбуковника Давида Замарая: (К проблеме соотношения списков) // Библиосфера. 2019. № 1. С. 36–41.

ибо серия интерполяций из отдельно взятого источника чаще всего вносилась разом,¹²⁰ фиксируя тем самым некий этап в развитии словаря. Повторно составители поздних типов словарного свода могли обращаться только к особо любимым им книгам (например, к сборнику слов Григория Богослова)¹¹⁵.

Приведем кое-какие факты, которые рекомендуется в дальнейшем учесть как первые сигналы для более основательной датировки памятника, хотя сигналы эти не все одинаково надежные. Опираемся будем на текст двух «Азбуковников», первого и третьего типов, опубликованных соответственно Л. С. Ковтун и К. И. Коваленко. Начнем с выводов Х. Кайперта, касающихся написанного Максимом Греком «Толкования именам по алфавиту», одного из базовых источников тезауруса¹¹⁶. Исследователь доказывает, что «Толкование», нацеленное на этимологизацию православного именованья, автор произведения составил в ответ на запросы агиографов и гимнографов. Наиболее подходящее время для таких запросов – вторая половина 1540-х гг., когда имела место масштабная канонизация новых русских чудотворцев. Если согласиться с аргументами Х. Кайперта, можно предположить, что те же мероприятия по канонизации вызвали к жизни еще целую серию объяснительных статей Максима Грека. Некоторые из них, как и сведения из «Толкования», вошли впоследствии в «Азбуковник» (ср., например, справку об акростихе). Таким образом, вторую половину 1540-х гг. примем для словарного свода как безусловный *terminus post quem*. Точка отсчета сдвинется еще больше, если учесть, что упоминаемая писавшими об «Азбуковнике» «Повесть о святогорских монастырях» есть не что иное, как «Сказание о Святой Горе Афонской», составленное святогорскими старцами в Москве в 1560–1562 гг. Почти идентичный набор выдержек из «Сказания» отыскивается в том и в другом из рассматриваемых «Азбуковников». С творчеством Максима Грека связан и маловыразительный, на первый взгляд, след в словаре, который наводит на мысль о еще более поздней его датировке. Сравнительно недавно в научный оборот введена рукопись Парижской национальной библиотеки, Slave 123, содержащая собрание сочинений Максима Грека и составленная не раньше 1588 г. В этой рукописи к некоторым словам даны на полях пояснительные глоссы, которые напоминают сходные по оформлению, но другие по содержанию глоссы, имеющиеся в прижизненных собраниях афонского старца и безусловно ему

¹¹⁵ См.: *Левичкин А. Н.* Книжник Кирилло-Белозерского монастыря Боголеп Губа // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2020. Т. 67. С. 359–363.

¹¹⁶ *Keipert H.* Nomen est Omen: Etymologie als Denkform bei russischen Autoren des 17. Jahrhunderts // Sprache, Literatur und Geschichte der Altgläubigen. Heidelberg, 1988. S. 100–132 (Heidelberger slavistische Forschungen. Bd 1). Примерно к таким же выводам

принадлежащие. Специалисты соглашаются в том, что новонайденные глоссы из¹²¹ парижской рукописи восходят к какой-то части архива Максима Грека. Как выяснилось, в оба рассматриваемых «Азбуковника» включены глоссы не только из прижизненных собраний, но и такие, которые впервые фиксируются в парижской рукописи («генефлиалоги», «иктер»)¹¹⁷. Таков еще один довод в пользу того, что «Азбуковник» сложился в последние десятилетия XVI в. (маловероятно предположение, будто составители словаря позаимствовали глоссы из архива писателя независимо от Slave 123). Итак, в соответствии с сегодняшним уровнем наших знаний об «Азбуковнике», признав его одним из «обобщающих предприятий», мы признаем одновременно, что не располагаем пока надежными данными о бытовании словарного свода ранее конца XVI в.

В Московском государстве религиозное содержание являлось *conditio sine qua non* книжного феномена как такового. Но были и книги, особенно почитаемые, среди них одна местного происхождения, сложившаяся в процессе сакрализации царства через упорядочение и ранжирование максимально отвлеченных понятий православного вероучения, преимущественно из области нравственного богословия. Такова совокупность **собраний сочинений Максима Грека**, комплектование которых приходится на разгар литературных работ по продуцированию «обобщающих предприятий». Поскольку в данном случае мы приобщаем к нашему списку не отдельно взятый опус, а некое множество книг с общими для них признаками, необходимо сказать несколько слов об этих признаках¹¹⁸. Началось все с того момента, когда афонский старец, осужденный церковными соборами и томившийся в заточении в Волоколамском монастыре, получил, наконец, возможность писать. Как думают, такое послабление вышло ему уже в 1530-х гг., и тогда же писатель воспользовался этим послаблением для собственной реабилитации. Выбрал он довольно оригинальный способ дать отпор обвинителям, возможно, вдохновленный примером Дж. Савонаролы, чьи проповеди ему некогда довелось слушать во Флоренции. Тот, в ответ на гонения, написал и издал «Торжество креста», где, вслед за подробной декларацией своего вероучения, пустился (в Книге 4-й) обличать иудейскую и магометанскую веру, ложные учения древних философов, астрологию. Таким манером Савонарола защищался и прямо, и косвенно.

приходит Ф. Ромоли (*Ромоли Ф.* Новое понимание «Толкования именам по алфавиту» Максима Грека // *Древняя Русь: Вопросы медиевистики.* 2022. № 1 (87). С. 159–170).

¹¹⁷ См.: Буланин Д. М. «Полное собрание сочинений» Максима Грека: Начало работы и план ее завершения // *Studi Slavistici.* 2019. Vol. 16. № 2. С. 119–137.

¹¹⁸ См.: Буланин Д. М. Максим Грек: Греческий писатель или московский книжник? // *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana.* 2017. № 2 (22). С. 85–98.

Аналогичный прием духовной обороны использовал Максим Грек, превративший¹²² перо в оружие самозащиты. Он пишет заново или редактирует написанные прежде сочинения апологетического, полемического, нравоучительного, экзегетического содержания, но, главное, немедленно комплектует из них сборники своих сочинений. Эти сборники, с тщательно продуманной композицией, служили, по замыслу автора, ясным доказательством его конфессиональной безупречности, нравственной чистоты, обширных познаний в Писании и в древней христианской литературе. Так, вслед за первоначальным блоком из 12-ти глав появились собрания из 25-ти, потом из 47-ми, наконец, из 73-х глав. Каждое из них, по принципу матрешек, обычно включает предыдущее и дополняет его новыми текстами. Процесс на этом не завершился, но следующие по порядку собрания формировались уже после смерти автора. Они имели достаточно устойчивую структуру, копировали их позднее как единое целое. Поэтому мы рискуем, по подобию изданий современных классиков, назвать их «собраниями сочинений».

Нужно признать, что Максим Грек достиг своей цели, став одним из самых читаемых и почитаемых писателей Древней Руси. Нас, впрочем, сейчас больше интересует не его восстановленная репутация, а то, какое место заняли его собрания сочинений в репертуаре московской книжной продукции XVI в. Древнерусская литература была по преимуществу анонимной. Появление в заголовке подлинного или фиктивного имени отечественного автора, как правило, не меняло положения вещей: из атрибутированного ему текста обычно нельзя добыть об авторе каких-либо конкретных сведений. В большинстве случаев древнерусские тексты извлекаются поштучно из сборников разнообразного содержания. Сочинения Максима Грека представляли собой в русской письменности знаменательное исключение: это единственный писатель, труды которого распространялись в виде рукописных книг, содержащих слова одного автора, в виде собраний сочинений. В таком виде у нас тогда циркулировали только творения отцов церкви – Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Василия Великого и др. Центростремительные тенденции безусловно угадываются в манере собирать творческое наследие наиболее авторитетных писателей конца XV–XVI в. Назовем имена Нила Сорского, Иосифа Волоцкого, митрополита Даниила, Ермолая-Еразма. И все-таки сборники сочинений Максима Грека с их четкой организацией и стремлением охватить все сферы духовной жизни представляют собой явление уникальное. Они соотносятся не со славянской книжностью, а с патристикой. Это сравнение отнюдь не произвольное: именно она служила для афонского старца камертоном и при выборе тем, и при их трактовке. Если сам старец лишь осторожно примеряет свои писания к творениям отцов,

его московские почитатели, не сомневаясь, возносили эти писания на тот же уровень¹²³ еще при жизни автора.

В данном контексте нам безразлично, какими мотивами руководствовались сам Максим Грек и его почитатели при компоновке и переконпоновке очередного собрания его слов. Чтобы лучше понять их функцию, удобнее представить себе разные типы собраний как модификации не существовавшего в природе инварианта, некоего идеального собрания сочинений. Тогда проясняется, зачем он нужен был идеологам «священного царства» и какую лакуну заполнял этот инвариант среди созданных или задуманных только «обобщающих предприятий». Идеальное собрание предлагало читателю собственный, московский путеводитель по главным разделам православного исповедания. Оно было создано своим, домашним богословом, причем служило упорядочению самых высоких понятий. Ни о каких новациях никто, конечно, не помышлял. Меньше всего хотел отступить от святоотеческих традиций сам писатель. Он избегает не только скользких вопросов, но и вообще любой конкретики. Темы, обсуждаемые в словах его сборников, берутся в предельной абстракции, отвлеченные от реальных имен и обстоятельств, очищенные от бытовых деталей. Отсюда рождаются аллегории, вроде плачущей Василии-царства, персонификаций добра и зла в Филоктимоне и Акимоне, олицетворений вступающих в разговор Ума и Души. Пускай не смущает нас, что мотивы, содержащиеся в словах Максима Грека, сотни раз обсуждались христианами писателями. В книгах религиозного содержания не стоит искать следы местного патриотизма в его современной форме. По-видимому, попасть в круг избранных «предприятий» собранию сочинений Максима Грека позволили два фактора: то, что композиция собрания и многообразие обсуждаемых в нем предметов идеально соответствовали присущей «предприятиям» установке на глобальность охвата, и то еще, что имя и судьба автора, почитавшегося новым страдальцем, были тогда, при его жизни и в ближайшие годы после его кончины, у всех на слуху.

Христианская миссия или территориальная экспансия

Идея сакральной империи, которая передается от царства к царству («*translatio imperii*»), заключала в себе неизбежное противоречие, поскольку идея могла развиваться только на основе представления об уникальности империи на данный исторический момент. Поскольку идея родилась из убеждения в провиденциальном развитии сотворенного мира, существование дублера противоречило бы самой мысли о передаче символического достоинства от одного субъекта к другому. Реальный мир с его пестрой политической картой, в которую приходилось втиснуть империю, плохо совмещался с идеей вселенского царства. Таким образом, имперская пропаганда во все времена

обречена была то закрывать глаза на имманентное противоречие, то искать¹²⁴ компромисс между двумя полюсами – универсальностью на символическом уровне и политической целесообразностью на уровне реальной жизни. Символ империи приобрел религиозное значение еще во времена языческого Рима, в христианской империи конфессиональный статус символа поднялся на неизмеримую высоту. Соответственно, войны на границах Византийской империи могли в каждом конкретном случае трактоваться не только в политических, но и в религиозных категориях. Война за незыблемость имперских границ и защита православия составляли обычно неразделимое целое в рамках одной кампании. Антиномичность символа перешла по наследству к московским идеологам XVI в., но гетерогенность московского образа «священного царства» вносила в символ такие дополнительные нюансы, которые порой ставят историка в тупик. В каких случаях шла речь о войне с политическим конкурентом, а в каких – война с неверными? Где кончалось обращение в христианство язычников или мусульман и начиналось их беспощадное уничтожение? Русская история XVI в. и отразившие ее источники, сосредоточенные на строительстве «священного царства», не дают однозначного ответа на эти вопросы. Они скорее запутывают тех, кто безоглядно доверяет разноречивым показаниям пропагандистских текстов. Возьмем конкретный случай. Часто цитируется летопись, где рассказ о взятии и последовавшем разграблении Казани войском Ивана Грозного в 1552 г. изобилует кровавыми подробностями, касающимися расправ над татарами. А в 1563 г. тот же Грозный царь посылает грамоту в Ногайскую Орду Исмаил-бию, где говорится: «А и у нас в нашей земле много мусульманского закону людей нам служит, а живут по своему закону»¹¹⁹. Он же в 1568 г. писал Крымскому хану Девлет-Гирею: «А которые мусульманы нам правдою служат, и мы по их правде их жалуем великим жалованием, а от веры их не отводим»¹²⁰. Как совместить исключаящие одно другое сообщения источников? Полагаем, что нет повода упрекать во лжи ни летописца, ни Грозного царя. Независимо от того, соответствуют ли их сообщения действительности, каждый из них следовал собственной логике: летописцу нужно было представить царя героем священной войны, а царю приходилось оправдывать присвоенный им титул «Казанского царя».

Мы очередной раз видим, что идеал «священного царства», к которому стремились тогда на Руси, собирался из разнородных частей. Наряду с задачей распространить православие на консолидируемой территории и за ее пределами,

¹¹⁹ Продолжение Древней Российской вивлиофики. СПб., 1795. Ч. 10. С. 318–319.

¹²⁰ Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII вв.: Документы и материалы. М., 1957. Т. 1. № 10.

продолжает поддерживаться и развиваться местная модификация доктрины «translatio¹²⁵ imperii», согласно которой к Москве переходило символическое наследие. Такая модификация отодвигала на второй план конфессиональную принадлежность обладателей этого наследия. Апостольская проповедь перед язычниками и добыча символических ценностей, в том числе с оружием в руках, оказались в какой-то момент равнозначными и взаимозаменяемыми. В Москве наложились одна на другую диссонирующие программы: присвоение символических знаков власти и святости, отобранных у их прежних обладателей, с одной стороны, и последующее освящение пространства, принадлежавшего этим обладателям, с другой стороны. Две тенденции создавали причудливые и даже противные здравому смыслу комбинации. История русского миссионерства не написана, но уже сейчас видно, что в первые четыре века после крещения Русь не проявляла апостолического рвения (летописные рассказы о восстании волхвов не в счет). Мысль о духовном просвещении окружающих ее народов родилась на Руси на рубеже XIV–XV вв. в связи с общим религиозным подъемом и монашеским возрождением. Такой подъем всегда инициирует прозелитизм. В XVI в. заботы об обращении язычников и иноверцев влились в общие задачи по сакрализации и расширению территории «священного царства». Особенное усердие на этой ниве обнаружили новгородские иерархи – Геннадий, Макарий, Феодосий, они же активные участники идеологической мобилизации Руси, о которой идет речь. Катехизическая проповедь развернулась одновременно с широкомасштабным агиографическим творчеством: в житиях и сказаниях о святых то и дело упоминается о разрушении ими языческих капищ и наставлении в вере финских народов – главного для Руси объекта миссионерского пыла. Помимо Новгородской архиепископии, миссионерскими трудами прославились Ростов и Пермь. Культурные традиции, к которым восходят конкретные действия русских религиозных просветителей, требуют дальнейших разысканий и размышлений. Интересно, например, что рассказы о миссионерах иногда сопровождаются сообщениями о том, как они овладели языком неофитов и даже изобрели начатки их письма (наиболее известный случай касается Стефана Пермского). По-видимому, в этом сыграли роль не только воспоминания о равноапостольных солунских братьях, но и твердо усвоенное субстанциальное понимание языка: христианизации подлежали как люди, так и знаки, соединяющие их с Богом. Следует оговориться, что миссионерские деяния в представленной форме имели исключительно символический смысл. Важен был процесс, а не его конечный результат: иные из условно просвещенных тогда народов до сегодняшнего дня коснеют в язычестве (например, некоторые общины марийцев).

Гораздо труднее интерпретировать акции, обеспечивающие религиозное¹²⁶ избранничество Москвы, которые заключались в физическом овладении городами, наделенными особыми символическими достоинствами. Достоинствами, которые требовалось получить новозаведенному «священному царству». Восход и закат царствования Грозного обрамляют походы на Казань (1552 г.) и на Новгород (1570 г.), которые на символическом уровне, как результат наложения друг на друга знаковых прецедентов, оказываются поразительным образом сходны. Взятие Казани, рисуемое современниками как торжество православия, проецировалось ими же на пленение турками Константинополя, поскольку в глазах москвитов татарская столица была таким же центром сакральной империи, каким прежде был Царьград. Конфессиональные ценности смешиваются с ценностями символического порядка, безразличными к религии, и даже вытесняются ими. С одной стороны, завоевание Казани ставило насущные задачи по ее христианизации, скорее понимаемой как сакрализация новой территории, нежели обращение населяющих ее жителей. Не зря, конечно, первенцем типографии Ивана Федорова стал «Апостол», книга, главная для миссионеров, в послесловии к изданию необходимость его мотивируется запросами казанских церквей. С другой стороны, Иван Грозный объявляет себя «Казанским царем». Знаменательно недоумение по этому поводу поляков, ведших тогда с Москвой переговоры: «Никогда не может придти в голову польским королям именоваться титулом “татарского” или “турецкого”, как будто христианин (может) называть христианского государя “царь татарский”»¹²¹. Тогда же в высшие эшелоны московской аристократии вливается значительный слой мусульман, сохраняющих свое вероисповедание. Если Казань отождествлялась с Константинополем, то Новгород был русским Иерусалимом, а потому для утверждения своего нового статуса Москве требовалось овладеть тем и другим. Тот факт, что Новгород уже сто лет входил в состав собственного государства московских самодержцев, никого не смущал, потому что шел обмен символическими, а не материальными ценностями. Замечу, что сопоставление двух экспедиций Грозного – операция, никак не произвольная. В деталях, сопутствовавших Казанской войне, давно уже отыскивали набор фактов, которые отсылают к новгородским реалиям. И наоборот: поход 1570 г. можно без труда представить как обратную проекцию, как священную войну, которая разворачивалась в виде серии поступков, профанирующих православие (расправа над Новгородом руками «кромешников», убийство митрополита Филиппа, пародия на крещенское водосвятие, надругательство над саном архиепископа, с другой

¹²¹ *Поссевино А.* Исторические сочинения о России XVI в. / Пер. и изд. Л. Н. Годовиковой. М., 1983. С. 176, ср. с. 169.

стороны, устройство ставки царя на Новгородском Городище и др.), все по законам¹²⁷ антиповедения¹²². Новгород, со своей общепризнанной на Руси святостью, как бы вторично, теперь уже на символическом уровне, переходил под власть подлинного хозяина – московского автократора.

Наша прелюдия облегчает интерпретацию такого оригинального памятника, как **«Казанская история»**, который мы тоже относим к «обобщающим предприятиям». Произведение спровоцировало уже в историографии целый букет разноречивых суждений и оценок. Непривычная для средневековых литератур завуалированность идейного замысла, множество источников, часто полностью переработанных талантливым сочинителем, запутанная история текста, пользовавшегося большим спросом у читателей, при одновременном отсутствии его ранних списков¹²³, построенные на оксюморонах поэтика и даже сюжетные коллизии – все это создало предпосылки для разных подходов к произведению. Кто-то понимал его как испорченный выдумками исторический документ, кто-то улавливал в нем отзвуки социальной борьбы, кто-то находил следы художественного вымысла, а кто-то видел в парадоксальной манере повествования первый сигнал о разрушении средневекового этикета. Стоит особо отметить разыскания о «Казанской истории» М. Б. Плюхановой, которая осмысляет сюжет и использованные при его построении мотивы и образы как сложную систему символов, намеков, параллелей, отсылок, ассоциаций с русской книжной и фольклорной традицией¹²⁴. Признавая достигнутые на этом пути успехи, считаем все же, что проекция памятника XVI в. на вневременную мифопоэтическую стихию лишает его эвристического потенциала для понимания культурной обстановки определенного исторического момента. Оговоримся сразу же: недошедший архетип «Казанской истории», вслед за большинством исследователей, мы относим ко времени в пределах установленных нами хронологических рамок, т. е. до 1570 г. Думается, что красочность повествования, идет ли речь об основании Казани, или о ее непростых взаимоотношениях с московскими князьями, или, наконец, об окончательной Казанской эпопее Ивана Грозного, – эта красочность не должна заслонять заложенные в сочинении принципиальные идеологемы, укладывающиеся в общую программу символического обустройства «священного царства».

¹²² См.: Успенский Б. А. Антиповедение в культуре Древней Руси // Успенский Б. А. Избранные труды. М., 1994. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. С. 320–332.

¹²³ См.: Дубровина Л. А. История о Казанском царстве (Казанский летописец): Списки и классификация текстов. Киев, 1989.

Именно в «Казанской истории» мы находим в наиболее яркой форме примеры¹²⁸ того, как символическое понимание исторических событий, которые выстраиваются в цепочку сменяющих друг друга царств и империй, оказывается для идеологов XVI в. важнее, чем конфессиональная или этическая оценка этих событий. Главный исторический прецедент, на который ориентируется автор, – падение Византийской империи в 1453 г., и проекция Казани на Константинополь служит моделирующим фактором на протяжении всего рассказе об осаде и штурме города. Но этого мало. «Казанская история», знакомящая читателя с судьбой татарских владений на Волге со времен их там появления, служит литературным субституту всей истории Восточной империи, начиная от переноса столицы на Босфор Константином Великим. Погружение сочинителя в прошлое тут не заканчивается. Византия, как мы знаем, видела себя наследницей Древнего Рима, а за ним, в свою очередь, стояли империя Александра Македонского, и дальше, в глубине истории, шли Троянское царство и восточные монархии. Все эти далекие эпохи, точнее, циклы в предначертанном Всевышним течении столетий, присутствуют в тексте нашего произведения в виде прямых или камуфлированных ссылок. Автор «Казанской истории» не пренебрегает и знаковыми событиями из русской истории, тоже связанными с переходом власти от одного субъекта к другому. Сюда относятся нашествие Батыя, Куликовская битва, присоединение Новгорода. Отмеренный Казани путь от ее возникновения до последнего защитника разворачивается как отражение функционально тождественных историй из прошлого, предстающих в форме соотносимых друг с другом временных горизонтов. На страницах произведения мелькают имена героев и злодеев из разных эпох, фигурируют топонимы, относящиеся к разным странам, и все они, по законам типологической экзегезы, взаимозаменяемы, независимо от их этической квалификации. Символизм побеждает морализаторство. В провиденциальной истории в некотором смысле нет правых и виноватых, зло и добро нейтрализуются с помощью общих аналогий. Победенные не вправе обижаться на победителей, ибо победители сами рано или поздно станут побежденными. Малого недостает, чтобы назвать такое видение истории фатализмом¹²⁵.

Типологическая экзегеза издавна была знакома Древней Руси, но до «Казанской истории» она никогда не применялась столь массивно. Именно эта экзегеза предопределила своеобразную антиномическую позицию автора, открывающуюся на всех уровнях поэтики – от поворотов сюжета до фигур речи и давно уже обратившую на

¹²⁴ *Плюханова М. Б.* Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995. С. 171–202.

себя внимание со стороны историков литературы. Герои словно поминутно меняются¹²⁹ местами: «Нарушения этикета простираются до такой степени, что враги Руси молятся православному Богу и видят божественные видения, а русские совершают злодеяния, как враги и отступники»¹²⁶. Философия истории, предельно концентрированная на выявлении в прошлом сходных сценариев, ничуть не отменяет ни конфессиональной безупречности автора, ни его безусловной преданности московской политике, включая применяемый ею набор инструментов для раздвижения границ «сакральной империи» – от завоевательных войн до конфессионального подчинения строптивых. Из запаса аналогий, к которым прибегает автор, для нас интереснее всего параллель между пленением Казани и подчинением Новгорода. О значимости данной параллели говорит то, что одна из первых – третья глава, неожиданно вторгающаяся в повествование, отведена рассказу о падении новгородской вольности при Иване III. Осуждая мятежных новгородцев, автор «Казанской истории» заимствует даже сравнение великого князя с Титом Флавием из летописной повести XV в. Правда, некоторые текстологи считают, что в архетипе «Казанской истории» этой главы не было, но в произведении отыскиваются новгородские реминисценции и помимо нее. Таким образом, литературный материал доказывает корректность произведенного нами функционального отождествления Казанского и Новгородского походов, которые оба оказываются священными войнами Грозного и оба воспринимались как таковые современниками.

Итак, характеризуя «Казанскую историю» как идеологически выдержанное произведение, хотя и своеобразное по избранному способу объявить о своих пристрастиях, мы уже имеем предпосылку для соотнесения его с «обобщающими предприятиями». Предпосылкой дело не ограничивается. Дать однозначное жанровое определение памятника невозможно, но все-таки основным эталоном для построения композиции послужил автору «Русский Хронограф», который мы уверенно квалифицировали как «предприятие». Равнение на этот эталон не сводится к прямым цитатам, в том числе, в композиционно маркированных разделах текста, вроде похвалы Москве в пятой главе, где резонирует концовка Хронографа, который, в свою очередь, воспользовался текстом Манассии. «Казанскую историю» можно назвать уменьшенным по хронологическому охвату и укороченным по объему подобием Хронографа: там рассказ начинается от Сотворения Мира и доводится до завоевания Константинополя,

¹²⁵ См.: Буланин Д. М. В поисках образца: Александр Македонский на Куликовом поле // Золотоордынское обозрение. 2020. Т. 8. № 1. С. 87–106.

здесь – в первой главе сообщается о расселении русских по течению Волги, а¹³⁰ завершается текст триумфальным возвращением в Москву завоевавшего Казань Ивана Грозного. Далее, можно без больших натяжек указать на тот литературный материал, в отношении которого рассматриваемое произведение занимается «обобщением». Поход на Казань стал поводом для целого комплекса произведений, написанных в разных жанрах и акцентирующих разные аспекты победоносной кампании. Здесь и напутствия царю, и панегирики, и летописные повести, и вполне оригинальные композиции, как «Троицкая повесть». Большая часть их находилась в поле зрения составителя «Казанской истории», а некоторые тексты отразились в ней в виде цитат. Даже про новгородский след, который мы отыскивали в большинстве «предприятий», можно при желании вспомнить (не по сходству, так по контрасту), читая антиновгородские филиппики в рассказе о судьбе Казани. Существование на эту тему обширной научной литературы дает нам право не останавливаться на доказательствах оригинальности, отмечающей общую идею «Казанской истории» и ее конкретное воплощение, – той приметы, которая вновь ведет нас к родовым свойствам «предприятий» и на которую мы не раз прежде указывали.

Конец главы. Литературные открытия

В существующих вариантах истории древнерусской литературы, при периодизации ее истории, последнюю четверть XVI в. не принято обычно отделять от предыдущих лет как самостоятельный этап развития. Это объясняется традиционной для историков средневековой литературы опорой на главные с современной точки зрения события в политической жизни страны. Именно они признаются разделительными вехами при периодизации словесности. И это представляется не совсем правильным. В эволюции религиозной письменности, частью которой являются хрестоматийные памятники древнерусской литературы, изменения происходят под воздействием религиозных факторов, и они не всегда совпадают с поворотами в политике. Что касается литературы XVI в., то фактором такого рода стали последствия упоминавшегося уже похода Ивана Грозного на Новгород в 1570 г., который с незапамятных времен, начиная с иностранцев, современников событий, трактовали как трагическое последствие маниакальной подозрительности царя. Будто бы царь заподозрил в бывшем вольном городе признаки измены. Однако в описаниях погрома, какой пришлось тогда пережить Новгороду, слишком много эпизодов и деталей, явно избыточных при прагматической интерпретации событий и, с другой стороны,

¹²⁶ Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. М., 1979. С. 100.

поддающихся определенному толкованию на приточном уровне. Все эти эпизоды и¹³¹ детали несомненно заслуживают самостоятельного исследования, которое не уместится в наши размышления об «обобщающих предприятиях» литературного происхождения. На самом деле, первичным в обстоятельствах Новгородского похода был именно переносный, а не буквальный смысл. Грозному царю требовалось получить от русского Иерусалима сполна ту сакральную энергию, которой уже много лет питалась Москва, примерявшая к себе новое амплуа столицы «священного царства». Достижение поставленной цели Грозный представлял себе парадоксальным образом как двойное превращение: Новгород, подобно вражескому городу, подлежал первоначальной профанации и последующей повторной христианизации, на сей раз произведенной под надзором московского самодержца. Так объясняются параллели между взятием Казани и Новгородской трагедией. Следует признать, что царь добился своего: считая от 1570 г., новгородская культура, включая литературу, приобрела вполне провинциальный привкус. Символического русского Иерусалима больше не существовало – того, откуда Москва прежде черпала все, на чем лежала печать сакрального достоинства, – тексты, включая известные нам по их отражению в «предприятиях», произведения изобразительного искусства (особенно «корсунские» древности), архитектурные образы (столпообразные храмы, из которых самым известным стал храм Василия Блаженного), церковные чины (хотя бы «шествие на осляти»). От Новгорода остались одни только священные руины, благоговейно разбираемые археологами, руины, от которых отлетела жизнь.

Новгородский поход служит определенным рубежом в идеологическом строительстве Москвы, составной частью которого были «обобщающие предприятия». Из предыдущих рассуждений должно быть понятно, сколь большую роль в разработке и воплощении идеологической программы в целом, и, в частности, в «предприятиях» играл Новгород, новгородские писатели, калугеры, иереи и иерархи, многовековая книжная традиция северного конкурента Москвы. Погром Грозного причинил всему этому невосполнимый ущерб. Но для литературы важнее, пожалуй, другое – то, что погром 1570 г. стал своего рода реализацией тропа или, если угодно, экспроприацией символа, переходом пропаганды на новый уровень, не уместившейся уже в предыдущие формы, одной из которых служили «обобщающие предприятия». Изменения не произошли одномоментно, и мы даже говорим о пришедшейся на последнюю четверть XVI в. третьей серии «предприятий». По-видимому, не завершены еще были работы над Лицевым сводом, продолжал наполняться Стихирарь «Дьячье Око». Мы помним также, что, скорее всего, именно в эти годы окончательно оформился такой своеобразный

памятник, как «Азбуковник». Одним из последних отзвуков «энциклопедической»¹³² серии литературных предприятий осмелимся считать дошедшую в единственном списке «Буковницу», которая датируется 1592 г. Б. А. Успенский довольно убедительно атрибутировал произведение Герасиму Ворбозомскому¹²⁷. «Буковница», опирающаяся на ряд более ранних грамматических руководств, включая весьма популярное у славян пособие «О восьми частях слова» псевдо-Иоанна Дамаскина, представляет собой своего рода справочник по словообразованию на материале церковно-славянского языка. Лексика в справочнике выстроена по принципу антистиха. В согласии с присущей рассмотренным «предприятиям» установкой на универсальность, Герасим стремится исчерпать – «обобщить» разрабатываемый материал. Как и другие тексты, упорядочивающие языковые элементы и вошедшие в древнерусский книжный корпус в обсуждаемую эпоху («Грамматика» Доната, «Азбуковник»), составитель «Буковницы» строит с помощью кириллической азбуки микромодель мироздания. Применительно к русской культурной ситуации XVI в. это означает сакрализацию пространства «священного царства». В согласии с традицией, восходящей к кирилло-мефодиевской эпохе, все манипуляции с языком провозглашаются действиями, религиозно мотивированными: «Внимай прилежно и пиши разсматриваа Божественаа словеса, писаная в веру и во истину»¹²⁸. Пожалуй, мы рискнули бы поставить рядом с «Буковницей» **Азбучный письменник**, первого представителя этого жанра с упорядоченной структурой, если бы не серьезные сомнения по поводу его датировки¹²⁹.

И все же мы констатируем, что после 1570 г. увлечение «обобщающими предприятиями» постепенно идет на убыль или воплощается в книжных феноменах, принципиально отличающихся от рассмотренных нами прежде. Появляются в некотором роде вторые издания «предприятий», составленных или задуманных в предшествующие эпохи. В группу памятников, чей текст подвергся редакционной переработке, распространению или сокращению, можно занести, из разобранных нами выше, «Русский Хронограф», «Великие Минеи Чети» «Степенную книгу», собрания сочинений Максима Грека, «Казанскую историю», а также, с некоторым сомнением,

¹²⁷ Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). С. 303. Ср.: *Инь Сюй*. Грамматический словарь Буковница 1592 г. в славянской грамматической традиции. Дисс. ... канд. филол. наук. М., 2019.

¹²⁸ РГБ, ф. 173, собр. МДА фонд, № 35, л. 132 об.

¹²⁹ Буланин Д. М. Античные традиции... С. 209–210. Мы не берем в расчет переводной или южнославянский Письмовник, по-видимому, попавший на Русь при участии митрополита Киприана (см.: Турилов А. А. Митрополит Киприан и русская культура его времени: (Новые аспекты проблемы – факты и гипотезы) // Славяноведение. 2017. № 2. С. 3–13).

«Домострой» и «Азбуковник». Почему их понадобилось переделывать именно тогда и¹³³ именно в получившуюся после переделки форму, еще предстоит объяснить. Вместо новых литературных замыслов широкого масштаба, в последней четверти XVI в. создаются настоящие шедевры книжного искусства, в которых гармонично сочетаются текст и миниатюры. Самые известные из них – Житие Сергия Радонежского и Житие Зосимы и Савватия Соловецких. Это тоже в некотором роде «обобщающие предприятия», но синтезирующие не содержание книги, а ее внешний вид. Книги становятся средством идеологической демонстрации в формах, какие ранее не применялись. Такова рассылка по церквам и монастырям так называемых Годуновских Псалтирей. Возникают новые литературные инструменты для идеологической пропаганды, отчасти связанные со смягчением политики культурного изоляционизма, которым отмечена московская культура более раннего времени (ср. религиозные диспуты, книжный обмен с Литовской Русью, труды книголюбов из греческой колонии в Москве, интерес к жизни и порядкам в султанской Турции). Отчасти идеологическую нагрузку несут теперь отдельные произведения, прежде всего, в агиографических жанрах. Назовем очередную редакцию Жития Александра Невского и датирующуюся самым началом XVII в. Повесть о житии царя Федора Иоанновича. Стоит вспомнить и о двух важных церковных и политических новостях, которыми отмечен был в новосозданном «священном царстве» конец столетия и которые обе актуализировали значение византийской имперской модели для тех, кто отвечал за идеологическое строительство. Имеем в виду создание Московской патриархии в 1589 г. и избрание на царство Бориса Годунова в 1598 г., причем то и другое события ознаменованы были программными документами с отчетливо выраженными пропагандистскими мотивами. Таковы особенно Грамота об учреждении патриархии, в которой впервые на официальном уровне Москва названа Третьим Римом, и Соборное определение об избрании царя Бориса, в котором содержатся ссылки на византийские прецеденты, когда императорский престол занимали лица незнатного происхождения. Об этих и других литературных памятниках, прямо или окольными путями развивающих идею «священного царства» со столицей в Москве, скажем подробнее в специальной статье, посвященной значению Чудова монастыря как литературного и культурного центра в конце XVI – начале XVII в. Сейчас нам важно зафиксировать лишь, что, начиная с 1570-х гг., функцию «обобщающих предприятий» постепенно перенимают литературные и книжные памятники иного типа и облеченные в иные формы.

В заключение отвлечемся от идеологии и скажем несколько слов об искусстве слова. Поскольку главным представлялось определить функциональное назначение

каждого из «обобщающих предприятий», их литературные качества обсуждались в¹³⁴ минимальной степени. Подводя итоги, представляется важным указать самые приметные черты, которые, независимо от содержания каждого произведения, свойственны им как некоему разряду. Наверное, вполне можно говорить о комплексе литературных открытий, сделанных всем коллективом писателей и книжников, которые трудились над «предприятиями». Разумеется, как само понятие («открытие»), так и его определение («литературный»), позволительно, применительно к древнерусскому письменному наследию, использовать только условно и только с многочисленными оговорками. Но при всех оговорках, некоторые открытия московских книжников лежат на поверхности. Начать нужно с того, что у литературы XVI в. давно сложилась в филологических трудах и в отзывах читателей-эстетов (что долгое время было одним и тем же) скверная репутация. Сторонники этой репутации ведут начало всех бед от присоединения Новгорода, за которым, как они считают, последовало удушение отражавшихся в литературе вечевых вольностей. Констатируется, что в культуре и обществе в условиях деспотического правления Василия III и Ивана Грозного пробуждаются и торжествуют охранительные начала. Глохнут независимые от самодержавной политики литературные начинания. Везде господствует официоз, стиль становится искусственно усложненным и однообразным. Полагают, что перед нами эпоха, когда литература, скованная государственной опекой, утрачивает жившие в ней прежде творческие силы. В частности, признание получила своеобразная теория, согласно которой интерес к беллетристике, пробудившийся было во второй половине XV в., вытравлен был в следующем столетии атмосферой тирании. Интерес заглох, с тем чтобы вновь возродиться в XVII в.¹³⁰ Эта схема несостоятельна даже в рамках ее собственной внутренней логики (молчим уже о сомнительности самого понятия беллетристики, когда речь идет о религиозной письменности). Она оперирует тенденциозно выхваченными из общего корпуса текстов литературными фактами, случайной и крайне ограниченной их выборкой, включая произведения, сохранившиеся лишь в поздних списках. Датировка этих памятников XV в. является довольно смелой и отчасти уже дезавуированной гипотезой, поэтому кривая, показывающая колебания в пристрастиях средневековых книжников на протяжении трех столетий, запечатлела лишь волюнтаристскую попытку приложить к конкретному материалу тенденциозную и априорную теорию.

¹³⁰ Истоки русской беллетристики: Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., 1970. С. 387–449 (глава написана Я. С. Лурье).

На фоне столь неприглядной картины, какую являла собой литература XVI в. с¹³⁵ точки зрения ее строгих критиков, рассмотренные нами «обобщающие предприятия» оказываются квинтэссенцией отрицательных черт в этой литературе. Они все составлены и выпущены в свет во исполнение желаний одного заказчика (великого князя, потом царя), их единственное назначение заключается в том, чтобы навязать читателю определенные политические идеи, именно – не ограниченную ни людьми, ни Богом власть тирана. Сообразно поставленным задачам сочинители занимались поставленным на поток производством безвкусной и унылой казенщины, не оставившей сколько-нибудь значимого следа в истории литературы, а потому не заслуживающей занять в ней сколько-нибудь значительное место. Не будем тратить время на опровержение этой откровенно модернизирующей Средневековой концепции, которая, однако же, последовательно воспроизводится во всех обзорах литературы Древней Руси. Самым удивительным в ней является то, что она не считается с мнением томившихся будто бы под пятой тирана книжников Древней Руси, у которых иные из перечисленных здесь текстов (например, «Просветитель», «Стоглав» и др.) входили в число самых популярных на протяжении нескольких веков. Отметим еще, что занимавшие нас «предприятия» затевались не ради развлечения, которого в те времена никто не искал в книгах. Литературные «предприятия» воплощали определенный набор идеологических функций, которые мы постарались последовательно раскрыть. И они справились со своей задачей: итогом работы над «предприятиями» стала вполне традиционная и одновременно вполне оригинальная идея «священного царства» с центром в Москве. Недаром именно в XVI в. вошло в обиход словосочетание «Святая Русь», о котором высказано было немало (в том числе в последние десятилетия) соображений, по большей части тоже тенденциозных. Не углубляясь в полемику, позволим себе отметить, что все писавшие на эту тему, начиная от А. М. Курбского, от которого, как известно, ведет свою историю идиома (в форме прилагательного «святорусская империя», «святорусская земля»), игнорировали существование в Москве двойственного представления о способах трансляции царской власти и о средствах ее сакрализации¹³¹. «Святая Русь» – одновременно умозрительное понятие и действенная церковно-политическая программа. В противном случае невозможно было бы случившееся в 1570 г. святотатственное разорение Новгорода, русского Иерусалима, произведенное *ad majorem Dei gloriam*.

¹³¹ См.: Живов В. М. Два пространства русского Средневековья и их позднейшие метаморфозы // Отечественные записки: Журнал для медленного чтения. 2004. № 5 (20). С. 8–27.

Возвращаясь к истории литературы в собственном смысле, смеем утверждать,¹³⁶ что вереница рассмотренных памятников интересна не только для понимания духовной жизни своей эпохи, но и в качестве определенной вехи на пути эволюции литературных феноменов. При разборе некоторых из номеров мы неизменно отмечали, что форма соответствующего произведения беспрецедентна в древнерусской письменности, а часто и в древнеславянской в целом. По поводу нескольких «предприятий» («Великие Минеи Четии», Лицевой свод, Лицевой Апокалипсис) можно утверждать, что к ним не подобрано до сих пор близких аналогий ни в странах «Византийского содружества наций», ни среди фактов из литературного наследия всего христианского мира. Относительно отдельно взятых «предприятий» уникальность их замысла отмечалась уже в научной литературе, но, сколько нам известно, никто не обращал внимание, что эта черта присуща всей идеологической кампании, во всяком случае, в литературном ее выражении. Перед нами именно литературное творчество на той стадии его, которая в теории красноречия называется *inventio*. Все эти изобретения суть собственное открытие писателей Древней Руси. Его в тем большей степени можно считать вполне оригинальным разделом русской литературы XVI в., что, несмотря на присущую данному столетию склонность к культурной изоляции, в процессе усвоения атрибутов «священного царства» московские идеологи то и дело обращались к чужеземным образцам.

К интересным выводам можно прийти по поводу рассмотренной группы «обобщающих» текстов, если оценивать их, опять же прибегнув к риторической терминологии, на уровне *dispositio* – способов организации словесной материи. Д. С. Лихачев обозначил стиль интересующей нас эпохи как стиль «второго монументализма», соотнося его со стилем «первого монументализма», по его мнению, господствовавшим в русской литературе, зодчестве, живописи на протяжении XI–XIII вв.¹³² Если однако мы сузим поле зрения и возьмем одну только литературу, причем только лишь структурное оформление отдельных текстов, наши монументальные памятники окажутся в русской письменности первыми в своем роде. Это, так сказать, образчики «первого монументализма» в недрах «второго». Трудясь над «обобщающими предприятиями», древнерусские книжники впервые овладевали крупногабаритными формами литературы. Дело в том, что в предшествующих столетиях, за исключением, пожалуй, Киево-Печерского патерика, который требует отдельного обсуждения, в Древней Руси не создавалось монументальных по размеру и уравновешенных по

¹³² Лихачев Д. С. Развитие русской литературы XI–XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973. С. 127–137.

составным частям произведений. То есть объемные кодексы, конечно, сохранились.¹³⁷ Они сохранились от самого древнего времени и в относительно большом количестве, но это были, если не брать в расчет переводов, или сборники разнообразного состава, статьи в которых следуют одна за другой без какой-либо системы, или так называемые «простейшие компиляции»¹³³. Последний термин обозначает памятники письменности, в которых собраны фрагменты, взятые древними славянскими книжниками из гномологиев, а также извлеченные из более или менее пространных сочинений и превращенные в гномы или в имитирующие гномы короткие изречения. Потом эти фрагменты были чисто механически подобраны друг к другу. Фрагменты могут быть размером в одно предложение, как, например, в Изборнике 1076 г. и его многочисленных текстовых родственниках, или более крупной нарезки, как, например, в «Златоструе». Промежуточное место между сборником статей и «простейшей компиляцией» занимает такой памятник древнерусского происхождения, как «Мерило праведное» в его первой, учительной части (РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, № 15). Что касается летописи, то она может быть причислена к крупным литературным формам только по формальному признаку, потому что текст ее легко расчленяется на годовые статьи, обычно между собой никак не связанные.

Итак, в «обобщающих предприятиях» мы видим первые на Руси опыты построения относительно законченных произведений большого объема, когда книжникам приходилось, манипулируя крупными текстовыми блоками, выстраивать из них стройную композицию и даже создавать единый непрерывающийся сюжет. Конечно, есть среди наших «предприятий» и такие, в которых действует самый элементарный принцип компоновки материала. Таков «Азбуковник», где статьи группируются по алфавиту, обычно по его первой букве. Однако уже в «Великих Минеях Четых» задача усложняется, потому что возникает вопрос о местоположении внутри книги текстов, не имеющих календарной привязки. Но мы видим и книги со сквозным сюжетом, каковы «Русский Хронограф» или «Степенная книга», где требовалось уравновесить внутренние разделы, а главное – оформить начало и конец повествования. О том, что исполнители не без труда осваивали новую форму, говорят случаи, когда в построении композиции они допускают довольно грубый просчет. Примеры таких ляпсусов мы наблюдали в «Стоглаве», где вторые царские вопросы и ответы на них втиснуты в гл. 41, или еще в «Степенной книге», где 1-ю «степень» с ее многочисленными подглавами нелегко

¹³³ *Veder W.* 1) Elementary Compilation in Slavic // *Cyrrillomethodianum*. 1981. Vol. 5. P. 49–66. 2) Literature as a Kaleidoscope: The Structure of Slavic «Četii Sborniki» // *Semantic Analysis of Literary Texts*. Amsterdam, 1990. P. 599–613.

отличить от самостоятельного Жития Владимира, а Житие княгини Ольги вообще¹³⁸ вынесено за рамки «степеней», или, наконец, в «Казанской истории», где глава о подчинении Новгорода без видимой причины вклинивается в рассказ о русско-татарских коллизиях. Такого рода изъятия были предопределены еще и тем, что создателям «предприятий» приходилось компоновать тексты не только пространные, но и такие, для структурной организации которых у них не было никаких образцов. Уникальность на уровне *inventio* порождала дополнительные сложности на уровне *dispositio*. При всех оговорках, следует признать, что литературная поддержка, какая требовалась для пропаганды идеи «священного царства», была обеспечена заказчиком на высоком уровне благодаря литературному мастерству участников этой идеологической кампании.

Ставя здесь точку, считаем уместным повторить то, о чем говорилось в начале наших разысканий. Принципиальным моментом является признание главным дифференциальным признаком «обобщающих предприятий» как особого разряда памятников не их внушающие священный трепет объемы (хотя такой трепет объемы некоторых «энциклопедий» действительно внушают), а их функциональную детерминированность, которая каждый раз была обусловлена определенными задачами идеологического строительства. Поиску и осмыслению этих задач применительно к отдельно взятым памятникам были подчинены и содержание, и структура настоящей статьи. Остается выразить надежду, что представленный здесь функциональный анализ самых приметных «обобщающих предприятий» поможет впоследствии пополнить этот своеобразный разряд текстов не учтенными до сих пор памятниками. Важно было бы также более подробно рассмотреть литературные свойства, объединяющие памятники из данного разряда. Стоило бы, например, пренебрегши уничижительными оценками наших «предприятий» в прежней историографии, проследить, как работали их создатели на уровне *elocutio*.

ЧУДОВ МОНАСТЫРЬ КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПАТРИАРШЕГО И ЦАРСКОГО ДВОРА (1570–1600-е гг.)

Историческая перспектива

Каждая литературная эпоха интересна по-своему. Серия знаковых литературных явлений, относящихся к последним десятилетиям XVI в., интересна, между прочим, тем, что у исследователя древнерусской литературы появляется редкая возможность выявить связь этих явлений с предшествующей по времени книжной продукцией. Чтобы оценить такое их достоинство, придется сделать несколько вводных замечаний о факторах, объединяющих средневековое книжное наследие разных эпох, о значении монастырей в сохранении и распространении этого наследия, наконец, об идеологической насыщенности, свойственной значительной части памятников, которые появились на свет в XVI в. Среди многих трудностей, стоящих на пути создания истории древнерусской литературы, которая отвечала бы современным научным требованиям, одна из главных заключается в преодолении той дискретности литературного процесса, какая возникает в традиционном повествовании о наполняющих этот процесс словесных артефактах. Между набором произведений, включаемых в каноническую историю литературы Древней Руси и разбросанных по семи столетиям ее развития, отсутствует преемственность от старших к младшим. Это особенно бросается в глаза в разделах канонической истории, относящихся к первым векам бытия русской письменности. Там, где, по известному выражению Пушкина, «Слово о полку Игореве» «возвышается уединенным памятником», сходно положение и прочих писаний из хрестоматийного набора текстов. Они не образуют системы, а потому в существующем повествовании о судьбах средневековой словесности разбираются порознь, по отдельности обсуждается и влияние каждого из отобранных текстов на более поздние, если такое влияние удастся различить. К сожалению, «уединенные памятники» тоже не всегда оказываются под рукой у историка. Достаточно сказать, что в промежутке между XII и концом XIV вв. каноническая история, сверх летописи и включенных туда относительно автономных статей (иногда называются еще компилятивные поучения, атрибутированные в заголовке Серапиону Владимирскому), не отыскала ни одного текста, достойного взыскательных вкусов. Не идут в счет несколько произведений, не поддающихся хронологическому приурочению и, скорее всего, появившихся позднее («Слово» и «Моление» Даниила Заточника, «Слово о погибели Русской земли», Киево-Печерский патерик и др.).

Выделяемые историком периоды в развитии духовной культуры присоединяются друг к другу механически, их связывают между собой одни только события политической истории. Такая ситуация едва ли может удовлетворить исследователя литературы, рассматривающего ее как относительно самостоятельный раздел в духовной культуре прошлого.

Загвоздка заключается в том, что создатели канонической истории и их последователи, вообще говоря, ставят перед собой невыполнимую задачу, ибо совокупность книг, находившихся на Руси в обращении, представляла собой не литературу в теперешнем смысле слова, а религиозную письменность. Существование внутри такого корпуса нескольких единиц, удовлетворяющих эстетическим запросам современного читателя, является окказиональной девиацией, необязательным дополнением каких-то качеств к тому набору атрибутов, которые присущи всем без исключения составляющим корпуса. Понятно, что, имея дело с подобным сырьем, самый выдающийся ученый не в силах будет понять закономерности его движения во времени, если попытается описать это движение в категориях художественной критики. То есть если он возьмет за образец способ перехода от одного направления к другому в русской литературе классического периода, где на смену классицизма явился сентиментализм, а его сменил романтизм, и т. д. Динамику религиозной письменности удастся объяснить, только если принять в расчет религиозные факторы, которые и предопределяли устойчивые черты и новации в судьбе книжного фонда Древней Руси. При этом нужно понимать, что русское православие, как, впрочем, и всякая универсальная религия, тяготеет к консервативности. Отсюда, в свою очередь, ясны причины резистентности древнерусской письменности к переменам на всех уровнях ее бытия – от орфографии до репертуара. Ее приверженность старине объяснима: нетвердость в вопросах чтения и письма означала бы нетвердость в православной догматике. В числе остального, сам ассортимент книг и памятников редко нуждался в обновлении, – при прочих равных условиях он был нацелен на накопление текстов, а не на замену одного их набора другим. Один и тот же памятник, единожды признанный конфессионально безукоризненным, мог читаться и переписываться в течение многих столетий. Сам текст его, случается, не претерпевал при этом никаких изменений.

На обрисованном таким образом фоне видна во всем ее размахе подлинная «культурная революция», какая явилась следствием религиозного возрождения – духовного подъема, охватившего в течение XIV в. все страны «Византийского

содружества наций», а на рубеже XIV–XV вв. добравшегося до Руси. Религиозная экзальтация выразилась в распространении мистических настроений, стремлении установить более интимные, личностные отношения человека с Вышним миром. Потребность погрузиться в свои духовные переживания побуждала к уединению, ведомые внутренним голосом люди бежали от общества, укрывались в пустыни, чтобы один на один беседовать с Богом. Исполненные горения духа, они повторяли подвиги древних египетских и синайских аскетов, прославленных патериками. Самые истовые принимали схиму и увлекали за собой последователей. Множились черноризцы. Вслед за Троицким монастырем Сергия Радонежского, которому суждено было стать православной Меккой, в течение полувека монастыри и скиты распространились по всем непроходимым лесам Северо-Востока Руси. Смену парадигмы в русском православии можно определить как переход к монастырскому благочестию от старого, которое больше тяготело к приходской церкви. Эта смена имела далеко идущие последствия для русской культуры на много веков вперед, потому что отныне не только у духовенства, черного и белого, но также у мирян, независимо от сословия, к которому они принадлежали, монастырский устав стал путеводителем в перипетиях духовной и материальной жизни. Если же говорить об эпохе, ближайшей ко времени «культурной революции», то религиозное оживление вызвало резкий подъем интереса к книге какместилищу трансцендентных истин. Мистические искания актуализировали христианскую концепцию образа, побуждая к критическому пересмотру всего корпуса памятников со строгостью, продиктованной субстанциальным пониманием природы языковых знаков. В жизни отшельников участие в процедурах, касающихся чтения и письма, было предусмотрено самим монашеским обетом. Новосозданным монастырям требовалась, помимо церковно-служебной, мистическая, аскетическая, учительная литература, которая вышла из-под пера греческих учителей церкви и которой часто недоставало в книжном фонде Древней Руси, унаследованном от прежних столетий.

Помощь пришла вместе со «Вторым южнославянским влиянием», потому что в балканских странах тот же православный Ренессанс, но на более раннем этапе, стимулировал интенсивную переводческую деятельность. Общеславянская письменность обогатилась тогда целой библиотекой книг, содержащих новые переводы или новые редакции классиков восточно-христианской литературы. Некоторые из этих новинок достигли пределов Руси и утолили отчасти книжный голод. Индикатором спроса на книгу, который обусловило религиозное возрождение и монастырское

строительство, служит то, что от XV в. дошло в три раза больше древнерусских рукописей, чем от предыдущих столетий вместе взятых. Такой статистический взрыв нельзя объяснить только лишь лучшей сохранностью поздних кодексов. Для нас сейчас важно констатировать, что, считая от начала XV в. и вплоть до окончания средневековья, судьбами всей русской письменности, а соответственно и всей русской литературы, распоряжались насельники монастырей и поборники монастырских идеалов среди духовенства и мирян. Существование скрипториев и библиотек при высших духовных инстанциях, как московский митрополичий, потом патриарший двор, или новгородская владычная кафедра, не подтачивало монополии монастырей. Ибо при дворе архиереев книжными делами ведали тоже по большей части лица духовного звания. Если где и объявлялся книжник вне юрисдикции церкви, в литературных трудах он все равно соблюдал этикет, разработанный иноками. Даже Посольскому приказу, который в XVII в. активно участвовал в литературной жизни, но книжная продукция которого имела ограниченное распространение, не удалось сломать инерцию.

Неизбежный для монастырского книгописания упор на литературе церковного назначения ничуть не помешал тому, что именно из монастырской среды вышли наиболее ответственные литературные мероприятия тогда, когда в XVI в. встал вопрос об идеологическом обосновании нового статуса, на который претендовало Московское государство после гибели Константинополя. Статус этот имел символическую природу, что, применительно к средневековой эпохе с ее идеями об источнике государственной власти, могло значить только «сакральную». Оговорка важная, потому что она подчеркивает, что, выполняя задания по строительству государственной идеологии, церковные институции и их представители не выходили за пределы своего амплуа. Символическую миссию Москвы как наследницы павшей Византийской империи требовалось продемонстрировать в связке атрибутов, какими, по понятиям того времени, надлежало обладать «священному царству». В русских условиях искомые атрибуты понимались как имитация византийских или псевдовизантийских прецедентов имперского уровня. Литература была лучше всего приспособлена для нужд пропаганды, и она откликнулась на запросы времени в комплексе монументальных, так называемых «обобщающих» или «энциклопедических книжных предприятий». «Предприятия» эти могут быть условно сгруппированы по хронологии их создания в три серии, работа над которыми растянулась на целое столетие и которым автор этих строк посвятил

отдельную статью¹. Каждая из серий соответствует очередной стадии или этапу в разработке московской идеологии. Чудову монастырю досталась ведущая роль при создании последней, третьей серии «предприятий», отражающих третью стадию напряженных трудов, назначенных консолидировать «священное царство». Постараемся выяснить, какие «предприятия» созрели или получили новое дыхание под сенью монастыря и как он взял на себя роль координатора по отношению к некоторым новым направлениям идеологической и литературной жизни, наметившимся накануне Смуты.

Эстафета Волоколамского монастыря

Выдвигая тезис о недолгом культурном главенстве Чудова, мы вынуждены разобраться с его предшественником в этом качестве – Иосифо-Волоколамским монастырем. Несколько лет назад А. С. Усачев под названием «Почему закончилась “волоколамская гегемония” в русской церкви XVI в.?» опубликовал статью, в которой обсуждается место Волоколамского монастыря в религиозной и культурной атмосфере Москвы XVI в.² Важна уже сама констатация того факта, что монастырь мог верховодить в какой-то сфере или сферах, важных для всей церкви, а то и для всего Московского государства. Конечно, содержание понятия гегемонии нуждается в уточнении. Поскольку речь идет о церковном институте, то и супрематию его можно признать или, наоборот, отвергнуть по совокупности фактов, относящихся к духовному ведомству. А. С. Усачев справедливо подчеркивает, что выводы об авторитете монастыря неправильно строить только на основании позиции, которую он занимает в формализованной «Лестнице духовных властей», или тем паче по уровню его материального благосостояния. Бóльшее значение имеет длинный список иерархов и настоятелей разных других монастырей, вышедших из обители Иосифа Волоцкого, хотя надежность этого показателя тоже не следует абсолютизировать. Для XVI в. главным маркером значимости обители является степень участия ее и ее иноков в обосновании символического достоинства «священного царства» со столицей в Москве. Нетрудно заметить, что идеологическое строительство, развернувшееся в правление Василия III и Ивана Грозного, фактически курировалось постриженниками Волоколамского монастыря. Чем же был обусловлен такой фавор?

Отвечая на этот вопрос, некоторые историки остаются еще заложниками социологизма и экономического детерминизма, ссылаются на споры о монастырских

¹ См. наст. изд., с. 000.

вотчинах, и проч. Такие ссылки плохо помогают, потому что их изобретатели берут для духовных ценностей критерии из материальной сферы. Окончательный приговор по поводу выбора отдельно взятого монастыря в качестве идеологического рупора, оформлявшего и объявлявшего церковные идеологемы общегосударственного значения, еще только предстоит вынести. При подготовке подобного приговора необходимо будет учесть следующие два нюанса. Во-первых, придется вспомнить, что истоки «волоколамской гегемонии» уходят глубоко в монастырскую старину и питаются заветами Пафнутия Боровского. Почитание Боровского чудотворца объясняет, например, почему равноправными субъектами «волоколамской гегемонии», наряду с монастырем Иосифа, являлись духовные учреждения Переславля. Преемственность от Пафнутия соотносилась с узаконением на Руси монастырского общежития, в чем идеологи XVI в. видели один из обязательных атрибутов «священного царства» по византийскому образцу. Во-вторых, нужно будет исходить из того, что Волоколамский монастырь служил своеобразным посредником между Новгородом с его славой заповедника православных святых и возвышающейся Москвой. Проведенная совместно с Новгородом кампания против еретиков стала первой заявкой всего Московского государства на новое место в истории, потому что еще в Византии победа над еретиками служила подтверждением сакральности императорской персоны и удостоверяла богоизбранность его империи. Конфликт Иосифа с Серапионом Новгородским не обрубил новгородские связи двух книжных центров. «Просветитель» Иосифа Волоцкого закрепил за его монастырем репутацию генератора и исполнителя интегральных проектов «священного царства», невозможных без опоры на религиозный авторитет Новгорода. Подобно тому, как новгородские связи монастыря обеспечили ему привилегированное положение в качестве «гегемона», утрату завоеванных позиций нужно связывать с судьбой Новгорода. Проницательно указав на рубеж 1560–1570-х гг. как на годы, когда Волоколамский монастырь перестал быть главным, А. С. Усачев, думается, дал этой перемене неудовлетворительное объяснение. Исследователь связывает падение монастырского статуса с людскими потерями, которые понесла обитель во время мора, пришедшегося на указанные сроки. Изъян такого толкования находится в той же плоскости, что и аргументы экономистов по поводу монастырских вотчин: духовные движения некорректно объяснять материальными причинами. На

² Усачев А. С. Почему закончилась «волоколамская гегемония» в русской церкви XVI в.? // Российская история. 2017. № 5. С. 97–113.

самом деле, переход «гегемонии» к новому лидеру естественно соотнести с новгородским погромом 1570 г., памятуя, однако, что опричный поход Грозного имел отчетливо выраженную символическую подоплеку. Новгород признавался русским Иерусалимом, поэтому для утверждения Москвы в новом статусе и понадобилось его завоевание. Поход 1570 г. был обставлен как священная война, которая разворачивалась в виде серии поступков, профанирующих святое место. Новгород как бы вторично после Ивана III, теперь уже на символическом уровне, перешел под власть правителя «священного царства». Уничтожение русского Иерусалима рикошетом ударило по престижу монастыря Иосифа Волоцкого как филиала Новгорода.

Погаснув над Волоколамским монастырем, звезда славы возшла над Чудовым, хотя возшла не мгновенно, по другим причинам и отчасти в других формах. В отличие от предшественника, расцветшего в лучах новгородской славы, кремлевскому монастырю его позиция была гарантирована самим его местоположением в Кремле, где пересекались власть великого князя и митрополита. Кроме того, это был старейший и самый крупный монастырь на территории Кремля, и не удивительно, что на протяжении XV–XVI вв. бывшие чудовские архимандриты не раз занимали архиерейские должности. В упомянутой «Лестнице» 1563 г. монастырь стоит на пятом месте после Троице-Сергиева, Владимирского Рождественского, Андроникова и Новгородского Юрьева³. К интересующему нас времени обитель набрала солидный вес, как по объему тленных стяжаний, так и по духовным богатствам, главнейшим для церковного заведения. Самой драгоценной реликвией Чудова, а возможно и всей Москвы, были мощи митрополита Алексея. Для наших размышлений важнее прочего книжные накопления монастыря и продукция его скриптория, потому что именно на литературу легла основная нагрузка в обосновании провиденциальной миссии Московского государства и в пропаганде ее достоинства. Собственно говоря, лидерство основного монастыря в Кремле было явлением безальтернативным из-за соединения двух факторов – общей ориентации русской культуры на монастырские стандарты, во-первых, и нарастания центростремительных тенденций в управлении государством, во-вторых. Судить о деятельности скриптория по уцелевшему, скромному по объему Чудовскому собранию рукописей затруднительно. Ибо как раз из-за славы монастыря и из-за его счастливой локации значительная часть продукции скриптория разошлась по Руси (а стараниями

³ Алексеев А. И. «Лестница духовных властей» митрополита Макария // Вспомогательные исторические дисциплины. СПб., 2019. Вып. 38. С. 255–264.

митрополита Исидора и за ее пределами), и наоборот, библиотека активно комплектовалась книгами, переписанными на стороне⁴.

Некоторые общие соображения об активности обители в распространении книжного просвещения высказать все-таки можно. На территории Кремля обреталось немало книг и по монастырям, и по церквам, но книжная казна Чудова монастыря оставалась в XVI в. самой внушительной. По данным Н. П. Попова, на митрополичьем дворе, который впоследствии поглотил большую часть кремлевских книжных накоплений, не было сколько-нибудь стоящей библиотеки, по крайней мере, до занятия кафедры митрополитом Макарием⁵. Как видно, там и не стремились обзавестись собственной книжной коллекцией⁶. В принципе у любого монастыря, в отличие от митрополичьей мастерской, существовали дополнительные возможности расширить запасы книг: копирование рукописей входило в монастырские послушания, в монастырь любили вкладывать книги на помин души. Сохранившиеся рукописи свидетельствуют, что Чудов не составлял в этом отношении исключения: иные книги переписывали на месте, иные получали в виде приношений. Но судя по новейшим разысканиям, производительность работы в митрополичьем скриптории существенно опережала ту, что мог развить монастырский. Ясно, правда, что в XVI в. между двумя книгописными центрами имел место обмен исполнителями. Обмен дополнительно упрощался тем, что Чудов всегда слыл митрополичьим монастырем. Интересно, что в этом смысле он соотносился с Архангельским собором, который можно назвать великокняжеским и который был посвящен тому же предводителю ангельских воинств, что и Чудов. Такое «удвоение», наверное, способствовало тому, что именно Чудов выдвинулся как ведущий пропагандист церковно-политической идеи «священного царства», тоже подразумевавшей «двойное», т. е. духовное и мирское содержание.

Привлечение людских и книжных ресурсов Чудова монастыря к реализации мероприятий идеологической направленности совершалось постепенно. Участие

⁴ Термин «скрипторий» употребляем условно, даже в том случае, если в монастыре не было специальной «книжной палаты» и книги копировались по кельям.

⁵ *Попов Н. П.* О возникновении Московской Синодальной (Патриаршей) библиотеки // Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А. С. Орлова. Л., 1934. С. 29–38.

⁶ Б. М. Клосс не всегда различает две вещи – наличие скриптория и существование при нем библиотеки (см.: *Клосс Б. М.* Библиотека московских митрополитов в XVI в. // Проблемы палеографии и кодикологии в СССР. М., 1974. С. 114–125; ср.: *Клосс Б. М.* Никоновская летопись и русские летописи XVI–XVII веков. М., 1980. С. 55–95).

монастыря в работе началось с памятников, которые по разным причинам не принято зачислять в категорию «обобщающих предприятий». Попытку расширить их список автор предпринял в самостоятельной работе. Сейчас позволим себе пренебречь тонкостями и обсуждать гуртом все сочинения и компиляции кодифицирующего свойства. При такой оговорке мы можем констатировать, что Чудов стал площадкой для масштабных книжных проектов еще до того, как под надзором митрополита Даниила началась целенаправленная работа над первой серией «предприятий». В реализации проектов активно участвовал Максим Грек. Один из них – Толковая Псалтирь, грандиозное по объему собрание катен, которые было поручено перевести ученому афонскому старцу, прибывшему в Москву в 1518 г. и поселенному в Чудове. Книга, укомплектованная, по всему судя, из разных греческих источников, понималась как профилактическое пособие против будущих еретиков. В некотором смысле она являлась дополнением к «Просветителю» Иосифа Волоцкого, будучи «золотой кладовой» не известных ранее на Руси объяснений к Псалтири, принадлежащих классикам восточно-христианского богословия. Помимо перевода Псалтири, переводчик занимался и другими книжными делами. Тогда как сводные мероприятия Даниила готовились под неусыпным наблюдением митрополита («Сводная Кормчая», Никоновская летопись, Митрополичий формулярник), во всяком случае, участие в них чудовских копиистов никак не документировано, особенную редакцию «Кормчей» – ту, над которой работал Вассиан Патрикеев, помогал довести до конца продолжавший жить в Чудовом монастыре Максим Грек. «Кормчая» по своей природе является сводом – упорядоченным собранием норм канонического права, пускай и утратившим на русской почве присущие греческому прообразу юридические функции. «Кормчая» служила зеркалом утвердившегося в «священном царстве» «таксиса», чем и объясняются следовавшие друг за другом попытки по-разному перетасовать состав этого переводного свода («Кормчие» Вассиана и Нифонта Кормилицына, «Сводная Кормчая»), а потом и составить собственный эквивалент византийскому «Номоканону» («Стоглав»). Обобщением является не только «Кормчая» как целая книга, обобщающим (так сказать, «предприятием» в «предприятии») можно назвать лишь частично реализованный план Максима Грека, который намеревался собрать в одной из глав Вассиановой «Кормчей» галерею переводных «княжеских зеркал» – наставлений правителю⁷.

⁷ См.: Буланин Д. М. Первые московские опыты в жанре «княжеского зеркала» // Палеороссия. Древняя Русь: Во времени, в личностях, в идеях. 2021. № 3 (15). С. 94–112.

Потому ли, что Максим Грек был в 1525 г. осужден церковным собором и более уже в Чудов монастырь не возвращался, или по какой другой причине, но следы, говорящие о реальном участии монастыря в сводах с идеологическим прицелом, на какое-то время исчезают из источников. Между литературными «предприятиями» в условно выделяемой второй серии, которую мы ограничиваем 1540–1570-ми гг. («Великий Миротворный круг», «Великие Минеи Четьи», собрания сочинений Максима Грека, Лицевой Апокалипсис, «Стоглав», «Степенная книга», трактаты против ереси Феодосия Косого, «Домострой», возможно, первоначальная редакция «Азбуковника» – датировка остальных памятников сводного характера нуждается в уточнении), такие следы распределены неравномерно. Палеографы утверждают, что среди почерков, которыми переписывался Царский комплект «Великих Миней Четых» (в той мере, в какой работа производилась в Москве, а не в Новгороде), иные встречаются потом в более поздних Чудовских Минеях, вне сомнений составленных в Чудове (если учесть хронологический разрыв между памятниками длиной в полвека, наверное, нужно говорить все-таки о типе почерка, а не о конкретных его обладателях)⁸. По мнению экспертов, один из иконографических типов Лицевого Апокалипсиса, сложившийся в Чудовом монастыре и впоследствии широко распространившийся, существовал уже к середине XVI в.⁹. Стоит учесть в этой связи, что в 1544–1549 гг. архимандритом Чудова был Исаак Собака, каллиграф из числа лучших в тогдашней Москве, скорее всего, не гнушавшийся и на высоком посту копированием рукописей. Исследователи стоят на более твердой почве, обсуждая обстоятельства создания «Степенной книги», монументального исторического полотна, где богоизбранность возвышающегося «священного царства» провозглашалась особенно решительно. В одном из старших списков памятника (ГИМ, собр. Чудова мон., № 358/56) сообщается, что книга была «собрана» митрополитом Афанасием, постриженником Чудова. Афанасия считают главным составителем, в крайнем случае, полномочным редактором «Степенной книги». Строгих доказательств этой атрибуции нет. Их и не может быть, так как столь широкий по своим задачам и столь крупный по объему памятник писался не одним эрудитом, а группой книжников. Что касается времени создания «Степенной», ее обнародование тоже нельзя фиксировать одним годом, ибо конечный результат был получен не сразу, а

⁸ Костюхина Л. М. Книжное письмо в России XVII в. М., 1974. С. 27–28, 30.

⁹ Чинякова Г. П. К вопросу о сложении иконографии русского Лицевого Апокалипсиса в XVI в. // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2014. Вып. 16–17. С. 1032–1064.

через несколько промежуточных. Современные исследователи сдвинули назад датировку архетипа и относят его, в пределах до 16-й степени, ко второй половине 1550-х гг.¹⁰. Все дошедшие списки, включая самые старшие, распространяют текст архетипа, но работа над заданием государственной важности не завершилась и на этих списках. Текст перерабатывался вновь и вновь, так что «Степенную книгу» мы вправе считать переходным звеном от второй серии интегральных проектов к третьей, к которой предлагается относить «предприятия», созданные, а чаще переделанные из уже созданных в промежутке времени от последней четверти XVI в. до начала следующего.

Косвенные или не очень приметные факты, говорящие о приобщении насельников кремлевского монастыря к главным книжным мероприятиям в годы «волоколамской гегемонии», отражают все же некоторые характерные черты, которые и дальше будут свойственны чудовским исполнителям при работе с подобными начинаниями. Следы, оставленные ими в «предприятиях», на порядок менее персонализированы, нежели те, что остались после волоколамских книжников. Иногда таких следов не осталось вовсе. Нам известны по именам десятки писателей и переписчиков Волоколамского монастыря за первые сто лет его истории, в то время как аналогичная подборка тружеников Чудова остается малочисленной. Таково первое впечатление. Взяв другую характеристику, видим обратную пропорцию: волоколамские книжники не замечены в стремлении создавать роскошные кодексы. Они не оставили кодексов, приближающихся по уровню исполнения к Лицевому Апокалипсису. Памятники этого типа станут отличительной приметой книг кремлевского происхождения, датирующихся последними десятилетиями XVI в. и началом следующего. Участие в некоторых из них работников чудовского скриптория не подлежит сомнению, участие в других – весьма вероятно. К этому периоду мы и обратимся.

Третий Рим

Издавна считалось, что знаменитая формула «Москва – Третий Рим», которую часто признают квинтэссенцией московских религиозно-политических амбиций XVI в., впервые прозвучала в сочинениях с именем старца Псковского Елеазарова монастыря Филофея. Теперь выяснилось, что не все так однозначно. Как показали текстологические разыскания, в ключевой фразе его Послания дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюрю

¹⁰ Усачев А. С. Степенная книга и древнерусская книжность времени митрополита Макария. М.; СПб., 2009. С. 185–187.

Мунехину (в действительности, неизвестно, ему ли изначально предназначалось Послание, так как в списках имя адресата варьируется) «царство нашего государя» определено было как «Ромейское». Для русской традиции это непривычное обозначение Византийского царства, следовательно, *lectio difficilior*, которое лишь на более позднем этапе в развитии памятника заменили на «Росейское»¹¹. Откуда следует, что в тексте Филофея, при заявлении о новом статусе Московского царства, ударение первоначально падало на его символические права как непосредственного наследника Византии. А вот мысль о том, чтобы закрепить в декларации идею «*Roma aeterna*» еще и ссылкой на италийский Рим, зародилась позднее. Развитие текста отражает в данном случае более глубокое осмысление циклов провиденциальной истории. Ныне установлено, что первым официальным источником, в котором возникает формула «Москва – Третий Рим», является Грамота об учреждении патриаршества 1589 г. – программное произведение для интересующего нас периода, яркий памятник церковной публицистики, подводящий итоги всех московских мероприятий XVI в. идеологической направленности¹². Правда, Грамоту, как и Послание Филофея, неверно считать сугубо политическим заявлением, ибо сама воплощенная в формуле идея «*translatio imperii*» несла в себе не политическое, а метафизическое содержание, заявляя о претензии Москвы на новое достоинство. В международных сношениях первый патриарх титуловался теперь как святитель «царствующаго града Москвы и всея Руси новаго Рима»¹³. Формулу, прочно вошедшую после Грамоты в лексикон московских писателей, мы имеем право выбрать в качестве опознавательного знака для того промежутка времени, который был ознаменован необычайной активностью Чудовской обители.

Насколько необходимо было подкрепить претензии Москвы на звание Рима успехами земной политики? – Не ответив на этот вопрос, мы не сможем разобраться, какими тенденциями проникнуты новые веяния в книжной культуре, в том числе с лидирующим участием в них Чудова монастыря. В число стереотипов старой историографии входит представление о последних годах правления Грозного и о царствованиях его преемников как о довольно мрачных временах для России: тирания, сопровождавшаяся новыми казнями, последствия опричных бесчинств, экономический

¹¹ Синуцына Н. В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.). М., 1998. С. 345.

¹² Там же. С. 299–305.

¹³ Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1841. Т. 1. С. 429. № 227.

упадок, поражение в Ливонской войне, приход к власти слабосильного правителя в лице Феодора Иоанновича, пресечение династии, неприятие народом Бориса Годунова, наконец, Смута как итог политических неурядиц. Выводы экономической и прагматической истории диссонируют с мировосприятием самого средневекового человека. Тот прилагал к окружающему миру и к событиям прошлого религиозные критерии, первичны были не реальные, а идеальные вехи в историческом процессе. Такие идеальные ориентиры искали тогда и для явлений современности. Это хорошо видно на примере дошедших до нас текстов, которые касались избрания на царство Бориса Годунова в 1598 г. и последующего его венчания. Данные тексты по форме соответствуют протоколу документов – грамот и речей, а по содержанию представляют собой публицистические произведения. Броскими красками рисуют они многоярусную церемонию избрания царя, вылившуюся в настоящую мистерию, и превозносят достоинства избранника. Из них наиболее выразительны Соборное определение, где появление на троне первого выборного царя обосновывалось ссылками на византийскую историю, на знаменитых императоров незнатного происхождения, и Утвержденная грамота, в которой «корень» российских государей возводится к Августу Кесарю, перечисляются князья и цари, предшественники Бориса, и доказываются его права на трон. Значение Грамоты как идеологического заявления подтверждается тем, что она была положена в основу Утвержденной грамоты 1613 г. об избрании Михаила Федоровича. Сам чин венчания Годунова, первого на Руси царя, помазанного патриархом, ориентирован был на византийскую традицию¹⁴.

То, что плохо на взгляд историков, не обязательно было плохо для героев истории. Александрова слобода, которую Грозный сделал стольным градом своего двора, была не только цитаделью опричников и площадкой для творящих беззакония. До конца его царствования она оставалась церковным и культурным центром, где шла работа над проектами, выполнявшими пропагандистские и идеологические функции. Тут подвизались выдающиеся мастера церковного пения. Тут действовала типография Андроника Невежи, который был ближайшим наследником первопечатника, отъехавшего в Литву. На слободской «штанбе» отпечатаны Псалтирь (1577 г.) и Часовник (1577–1580 гг.). Сюда собрали виртуозов книжной графики, разработавших собственный, легко узнаваемый стиль. В эти годы готовилась, или продолжала

¹⁴ См.: *Успенский Б. А.* Царь и патриарх: Харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление). М., 1998. С. 136–143.

готовиться (поскольку ученые не пришли к общему мнению о сроках создания памятника), знаменитая «Московская историческая энциклопедия» (А. Е. Пресняков), т. е. Лицевой свод, о котором скажем отдельно. То обстоятельство, что в Лицевом своде использована бумага, на которой печаталась и Псалтирь 1577 г.¹⁵, позволяет считать то и другое книжные мероприятия составными частями единого плана. Возможно, план включал также создание образцового Стихираря¹⁶, хотя с этим тезисом согласны не все историки музыки. Чуть раньше занимающего нас периода в слободе был переписан Слободской комплект четых Миней, которые представляют собой выборку из «Великих Миней Четых» одних только текстов с календарным адресом (сохранились книги за октябрь, ноябрь, февраль и май).

Еще меньше видно признаков декаданса, если обратиться к царствованиям Феодора Иоанновича и Бориса Годунова. Как было сказано, на последовавшие за смертью Грозного годы пришлось установление русской патриархии, принесшее Москве главный козырь для самоутверждения в качестве «священного царства». Возвышение авторитета церкви, включенной в диптих, где отныне московский первосвященник поминался рядом с четырьмя восточными, потребовало от распорядителей русской культуры новых усилий в идеологическом строительстве. Оно должно было подчеркнуть не только новый статус церкви, но и эквивалентное ему сакральное достоинство царя и его царства. Подобно тому, как в годы правления Василия III и Ивана Грозного на службу идеологии были поставлены все виды искусства, царствования Феодора и особенно Бориса Годунова оставили по себе память выдающимися достижениями в области градостроения (чаще всего упоминают крепостную стену Смоленска), архитектуры («годуновский классицизм»), художественного ремесла (Царь-пушка), изобразительного искусства (строгановская школа живописи), церковного пения (Федор Крестьянин, Исаяя Лукошко, и др.). Специалисты называют даже этот не слишком продолжительный период в истории искусства «серебряным веком»¹⁷. Будто в опровержение клеветников, объявивших, что Грозный «затворил» царство, «аки во аде

¹⁵ *Амосов А. А.* Лицевой летописный свод Ивана Грозного: Комплексное кодикологическое исследование. М., 1998. С. 216–222.

¹⁶ См.: *Рамазанова Н. В.* Московское царство в церковно-певческом искусстве XVI–XVII веков. СПб., 2004. С. 253–262.

¹⁷ *Преображенский А. А.* «Серебряный век» накануне Смуты: О художественных свойствах изобразительного искусства годуновского времени // Древнерусское искусство. 1963–2013 гг.: Итоги и перспективы. Тезисы докладов Международной конф. М., 2013. С. 42–43.

твердыни»¹⁸, Москва приглашала к себе иностранных мастеров и даже отправила в Европу учиться своих «студентов»¹⁹. В развертывающейся перед нами панораме нет следов упадка, напротив, чувствуется духовный подъем, силы для которого вдохнула явно не экономика, а торжество церкви. Все это, конечно, не отменяет ужасов, которые пережила Московия в связи с голодом и мором, постигших ее в первые годы нового столетия. В конце концов сами трагические события Смуты допустимо рассматривать не как результат провала внутренней и внешней политики страны, а как проверку на прочность результатов, достигнутых в области идеологии. Каким же манером включился в подготовку подобных достижений Чудов монастырь?

О возможных следах кооперации с монастырем, отложившихся в памятниках, созданных в книгописной мастерской Александровой слободы, делались разные предположения. Так, найдены довольно веские аргументы в пользу того, что источники чудовского происхождения и сноровистые чудовские писцы привлекались к работе над Лицевым сводом²⁰. На основании отдельных поправок к тексту источников, использованных «исторической энциклопедией», полагали даже, что в ее подготовке принял участие сам митрополит Афанасий. Будучи художником, он мог внести свой вклад не только в редактирование текста, но и в разработку сюжетов для миниатюр. Палеографы тоже отыскивали нити, соединяющие рукописные памятники Александровой слободы с трудами чудовских книжников: почерки в слободском комплекте четых Миней сравнивают с почерками каллиграфов кремлевского монастыря²¹. Многозначительное указание на причастность Чудова к письменному наследию опричной резиденции дает владельческая запись в рукописи РГБ, собр. Егорова, № 1844. Это один из двух сборников (второй сборник – РГБ, собр. Большакова, № 15), где находятся статьи и иллюстрации к ним, по какой-то причине не включенные в соответствующие тома Лицевого свода. Хотя запись «Книга Чюдова монастыря казенная» датируют XVII в., едва ли можно сомневаться, что сборник, среди статей

¹⁸ Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Подгот. Я. С. Лурье, Ю. Д. Рыков. Л., 1979. С. 110 (Сер. «Литературные памятники»).

¹⁹ *Зверев С. В.* Новые материалы о русских студентах в Любеке в начале XVII в. // Иноземцы в России в XV–XVII веках: Сб. материалов конф. 2002–2004 гг. М., 2006. С. 260–269.

²⁰ *Усачев А. С.* Митрополит Афанасий и памятники русского летописания середины – третьей четверти XVI в. // Летописи и хроники. 2011–2012 гг. М.; СПб., 2012. С. 253–274.

²¹ *Костюхина Л. М.* Палеография русских рукописных книг XV–XVII вв.: Русский полуустав. М., 1999. С. 22.

которого читается Сказание о чудесах архангела Михаила, и раньше принадлежал монастырю, построенному во имя самого знаменитого чуда архистратига. При этом кажется маловероятным, что чудовские мастера остались в стороне от оформления Егоровского сборника, включая иллюстративную его часть. Такой вывод обеспечивает нам исходную платформу для рассуждений о вкладе монастыря в создание иллюминированных кодексов рубежа столетий.

Обратим внимание, что на данном этапе, как это было и прежде, участие кремлевского монастыря в ответственных мероприятиях чаще проявлялось подспудно. Прошло немало лет, но и потом, когда монастырю пришлось единолично или на первых ролях претворять в жизнь синтезирующие книжные затеи, он редко открыто объявлял о своем в них участии. В частности, он предпочел действовать анонимно, занимаясь на протяжении десяти лет, возможно, при содействии приглашенных со стороны работников, «предприятием», где идеологическое строительство отразилось в наиболее концентрированном виде. Такой доминантой, служащей ориентиром для эпохи, будем считать давно привлекшие внимание историков и историков искусства «Годуновские Псалтири», которых на сегодняшний день известно одиннадцать. В течение 1591–1600 гг. они были копированы и вложены в почитаемые монастыри и церкви (Чудов в их числе) боярином Дмитрием Ивановичем Годуновым, приходившимся дядей царю Борису. Псалтири, помимо личности заказчика, объединяет и многое другое: они представляют собой роскошные фолианты в лист, украшены большим количеством иллюстраций, снабжены развернутой вкладной записью с выходными данными и с указанием на предназначение каждого экземпляра. Но заказчик не сразу нашел подходящий шаблон. Самый ранний псалтирный кодекс 1591 г., вложенный в Ипатьевский монастырь, без труда обособляется от остальных по составу, по формуляру вкладной, даже по использованной бумаге, но главное – по иконографии миниатюр, по их набору и по способу монтажа в библейскую книгу. Тут они распределены по тексту, а в прочих десяти вынесены на поля. Нюанс существенный, потому что выбранная для десяти кодексов организация страниц воспроизводит организацию определенного типа византийских книг. В Византии так выглядели книги столичного происхождения, – те самые, которые за два века до Годунова послужили моделью для Киевской Псалтири. Серийность десяти экземпляров доказывает, кроме стереотипности их структуры, то еще, что в двух экземплярах пропущено название места, для которого они предназначались. Ясно отсюда, что сначала поступал заказ на создание очередной копии

по согласованному заранее шаблону, а потом принималось решение, куда ее определить. Примем во внимание, что у Чудова монастыря был опыт в организации серийного производства икон силами приглашенных мастеров²².

Хотя записи умалчивают об исполнителе заказов, сейчас он определен с достаточной степенью точности как скрипторий Чудова монастыря²³. Значимость этого вывода для понимания функций монастыря не подлежит сомнению, потому что подобная рассылка однотипных кодексов во все концы страны производилась на Руси впервые. «Годуновские Псалтири» безусловно готовились не только как мемориальные вклады частного лица, но и как средство пропаганды, торжественное объявление о том, что сакральность Московского царства поднялась на высшую ступень через установление в столице собственной патриархии. О пропагандистской нагрузке книг свидетельствует и парадное их оформление, и настойчивое напоминание в записях о том, что Москва стала Третьим Римом, но, прежде всего, символическое содержание миниатюр. Псалтирь всегда служила для христиан свидетелем осмысленности исторического процесса, поскольку типологическая экзегеза позволяла разглядеть в ветхозаветном тексте указание на божественную предустановленность явления Спасителя, стало быть, и последующих событий провиденциальной истории. В веренице этих событий находила свое законное место и трансформация Московского княжества в «священное царство» во главе с двоицей царя и патриарха. «Годуновские Псалтири» говорили о благочестии заказчика, но этим их назначение не исчерпывалось. Данное положение можно доказать от противного. Дмитрий Иванович был вообще щедр на вклады, особенно в Ипатьевский монастырь, основанный мурзой Четом, прародителем Годуновых. Если не считать Псалтири, ни в одной из вкладных, сопровождающих его дары, в том числе роскошное Евангелие 1605 г., Москва не называется Третьим Римом. Все это приватные приношения боярина и его семьи, что и подчеркнуто в записях. Столь же маловероятно, что «Годуновские Псалтири» являются памятником отдельно взятому самодержцу и его семье, хотя их имена исправно перечисляются во вкладных. Такому

²² См.: *Кочетков И. А.* Иконописание в Чудовом монастыре по данным расходных книг 1585–1586 и 1628–1629 годов // Государственные музеи Московского Кремля: Материалы и исследования. Вып. 6: История и реставрация памятников Московского Кремля. М., 1989. С. 77–83.

²³ *Новикова О. Л., Сиренов А. В.* Сделано в Чудове // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2004. Т. 55. С. 441–450; *Усачев А. С.* Об истории бытования идеи «Третьего Рима» в России XVI в. // Вестник Православного Свято-Тихоновского

выводу противоречит однотипность книг, между тем как производство их было налажено при одном царе (Феодоре), а завершилось при другом (Борисе). Событие, изменившее статус Годуновского рода, отразилось исключительно в замене имен во вкладных. Глубинный смысл массовой операции с Псалтирями заключался в том, чтобы констатировать появление на свет нового исторического феномена, каковой здесь же провозглашался *urbi et orbis* Третьим Римом. Мы вправе сопоставить заказ и рассылку книг Дмитрием Годуновым с некоторыми аксессуарами императорского культа, – такими, как отправка по провинциям портретов новоизбранного императора или специальная маркировка императорских документов (красные чернила, золотая печать и др.). Стремление уподобить властителя Москвы императору прослеживается на всех этапах строительства нового царства, избранного Всевышним. Можно вспомнить в этой связи сходные функционально прецеденты ближайшего времени, в частности, изображение, вытесненное на верхней крышке одного из экземпляров Апостола Ивана Федорова, которое считают изображением Грозного²⁴, или еще образцы бумаги с именем первого царя на филигрании²⁵. Установление Московской патриархии, а потом избрание на царство Бориса Годунова, которое воспроизводило византийские процедуры, понималось пропагандой как достойное завершение очередного цикла кампании. Об этом на языке символов и возвещали «Годуновские Псалтири». Тот факт, что подготовка подобного памятника была поручена чудовскому скрипторию, говорит сам за себя.

Идеологическая мастерская

Столь выразительного словесного и художественного манифеста, как «Годуновские Псалтири», достаточно, чтобы назвать «Чудовским» соответствующий период идеологических работ. Но, сказав о десяти копиях Псалтири, мы не вправе пропустить набор других великолепных кодексов с картинками, датирующихся теми же примерно годами и несомненно созданных в непосредственной близости от резиденции царя и главы церкви. Их пропагандистская функция обеспечивается самим их неординарным оформлением; будучи поставлены рядом с Псалтирями, они создают

гуманитарного ун-та. Серия II: История. История Русской православной церкви. 2015. Вып. 3 (64). С. 9–17.

²⁴ Уханова Е. В. и др. Прижизненный портрет Ивана Грозного: Визуализация угасшего памятника естественнонаучными методами // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2019. № 2 (76). С. 13–29.

²⁵ Савельева Н. В. «Бумага для царя Ивана Грозного» в Дрвелехранилище Пушкинского Дома // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2004. Т. 55. С. 430–440.

кумулятивный эффект. В определенном смысле их можно считать «энциклопедиями», эквивалентными «обобщающим предприятиям»: иллюстраторы каждой из книг стремились отразить в своих миниатюрах все охваченные книгой сюжеты. Идеологическая значимость таких артефактов обеспечивалась одновременно значимостью книг, выбранных для украшения, и виртуозным искусством иллюминаторов. Вот главные из этих памятников: лицевое Житие Сергия Радонежского (РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, ризница, № 21), лицевое Житие Зосимы и Савватия (ГИМ, собр. Вахрамеева, № 71), Евангелие 1603 г. с миниатюрами – вклад Ивана Ивановича Годунова, Евангелие 1605 г. – вклад Дмитрия Ивановича (оба Евангелия хранятся в Костроме, соответственно, в Церковном историко-археологическом музее и в Костромском музее-заповеднике). Сюда же приходится отнести упоминавшуюся Псалтирь 1591 г., отличную от других десяти, образующих серию (Архив музеев Московского Кремля, № 136). Называют еще выполненные в том же стиле, но сохранившиеся лишь в копиях XVII в. циклы миниатюр к «Александрии» и к Житию митрополита Алексея. Хотя искусствоведы по-разному группируют перечисленные памятники, полагаем, что у них у всех общих черт гораздо больше, нежели различий²⁶. Главным стилистическим модусом для художников служили миниатюры Лицевого свода. Нельзя считать доказанным, что рукописи вышли из царской мастерской. Такой вывод делают иногда на основе одних только стилистических сопоставлений. Правда, нет документального подтверждения и того, что в работе принимали участие чудовские писцы и иллюминаторы. Версия о монастыре как главном действующем лице в этом эпизоде из истории искусства кажется правомерной, потому что, во-первых, именно монастырь возглавил серийное производство Псалтирей, во-вторых, он был причастен к созданию Лицевого свода. Особенно значима последняя из названных предпосылок, ибо, как выяснилось, использованная в Лицевом своде бумага, отдельные ее разновидности, встречается и в перечисленных памятниках. Интересно, что тождественные разновидности бумаги сближают попарно четыре памятника (в «Годуновской Псалтири» 1594 г. и Житии Сергия, в Псалтири 1591 г. и Житии Зосимы и Савватия), что

²⁶ *Кожина Ю. А.* Одно из художественных течений в русской живописи XVI–XVII вв. // Русское искусство XVII века: Сб. статей по истории русского искусства допетровского периода. Л., 1929. С. 63–84; *Назарова Г. А.* Лицевой список Жития святителя Алексея XVII века из собрания Общества любителей древней письменности: Проблемы атрибуции // В мире науки и искусства: Вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: Сб. статей по материалам IX Международной научно-практической конф. Новосибирск, 2012. С. 110–119.

дополнительно удостоверяет их генетическое родство. Хотя и оговорившись об условности подобных заключений, упомянем, что, по наблюдениям Б. М. Клосса, лицевое Житие Сергия переписано одним из почерков Лицевого свода²⁷. По своему идеологическому заданию родственны перечисленным рукописям датирующиеся теми же годами печатные книги. На первое место поставим Минею общую, выпущенную Андроником Невежей в 1600 г. Впервые в московском книгопечатании книгу открывает предисловие, содержащее панегирик Борису Годунову. Характерно, что из двух изданий Минеи, вышедших тогда друг за другом, предисловие находится в парадном, в книге форматом в лист. Маркировка бумаги, на которой напечатана Минея, находит точные соответствия в «Годуновских Псалтирях» и в другой продукции чудовского скриптория. По иным параметрам сближаются с рукописями издания Анисима Радишевского, отчасти принадлежащие уже следующей эпохе, когда события Смутного времени широко распахнули двери для польско-литовского влияния. Но роскошь, с которой оформлены и Устав 1610 г., и особенно Евангелие 1606 г., напоминают все о тех же рукописных шедеврах и лишней раз показывают, что годы разрухи не обязательно сопровождаются упадком культуры. Орнаментику Евангелия сопоставляют с работами строгановской школы, а печатались книги Радишевского на бумаге тех же сортов, какие использовались в Лицевом своде²⁸. В предисловии к Уставу объявлено, что книга вышла в свет в «новом Роуме Москве».

Для истории литературы важны те «обобщающие предприятия» из третьей серии, которые воплотились не только в зрительных образах, но и в слове. Отличительной чертой третьей серии является не столько создание новых памятников, сколько доработка и усовершенствование тех, что составили первую и вторую серии. Данный этап воспринимался идеологами царства как завершение некоего цикла в духовной мобилизации. Определить степень участия Чудова в очередной серии «предприятий» бывает трудно из-за склонности чудовских иноков умалчивать о своей причастности к тем или иным литературным трудам. Все же воплощение нескольких синтетических проектов связывается с кремлевской обителью достаточно надежно. Для пропагандистских упражнений лучше всего подходила «Степенная книга», именно она

²⁷ Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1: Житие Сергия Радонежского. М., 1998. С. 217.

²⁸ Дианова Т. В. Водяные знаки бумаги изданий О. М. Радишевского начала XVII в. // Вопросы славяно-русской палеографии, кодикологии, эпиграфики. М., 1987. С. 33–34.

подверглась доработке с учетом новой конъюнктуры. Можно считать доказанным, что новую редакцию памятника подготовил, скорее всего, в связи с учреждением патриаршества, Иона Думин, архиепископ Вологодский и Великопермский²⁹. Согласно убедительным аргументам А. В. Сиренова, местом происхождения Думинской редакции, созданной на основе Чудовского списка «Степенной», был все тот же кремлевский монастырь. Более того, несохранившийся архетип редакции, который, как видно, остался в Чудовом монастыре, рассматривался книжниками следующих поколений в качестве образцового. История текста свидетельствует, что половина из сохранившихся списков «Степенной книги» производна от Думинской редакции. Присутствие в некоторых списках дополнительных статей, касающихся митрополита Алексея (РГБ, собр. Шибанова, № 126), говорит об участии Чудова в разработке новых вариаций Думинской редакции.

«Степенная книга», описавшая историю Руси в наиболее выигрышном для московских государей свете, оказалась в последней четверти XVI в. памятником, наиболее созвучным эпохе. К ней обращались многие, в том числе высокопоставленные особы – вплоть до патриарха Иова и будущего патриарха Гермогена. Кремлевский монастырь, стоявший у истоков традиции, хранил образцовые списки произведения, так что трудившиеся апологеты «священного царства», сверяясь со «Степенной» или иначе используя ее текст, тем самым вносили свою лепту в престиж Чудова. Из собранного исследователем «Степенной» материала явствует, что к тексту своей собственной редакции не раз возвращался сам Иона Думин. Он же написал и вставил в «Степенную книгу» особую редакцию Жития Александра Невского. Почитание святого князя, всячески поддерживаемое в конце XVI в., имело большое пропагандистское значение. Между прочим, важно было и то, что образ Александра Невского служил соединительным звеном между потомками Владимирских князей и Новгородом. Интересны факты, показывающие, как «Степенная книга» раз за разом распространяла свое влияние на другие памятники сводного характера, предположительно связываемые с Чудовым монастырем. Таковы вторая редакция «Казанской истории» (в эту редакцию вставлен еще один идеологически значимый текст – «Повесть о царице Динаре»),

²⁹ Сиренов А. В. 1) Степенная книга: История текста. М., 2007. С. 267–314; 2) Степенная книга и русская историческая мысль XVI–XVIII вв. М.; СПб., 2010. С. 167–202. Ср. наиболее полный очерк жизни и трудов Ионы Думина: Башнин Н. В. Митрополит Иона (Думин): Книжник и политик // Российская история. 2021. № 5. С. 48–60.

протограф нескольких списков «Великого Миротворного круга» с маргиналиями, касающимися событий русской истории, и особенно Хронограф редакции 1599 г. Составитель последнего продолжил читавшееся в старшей редакции Хронографа повествование до 1560-х гг. В числе других источников он использовал текст «Степенной книги». Хронограф 1599 г. сохранился в черновике рубежа XVI–XVII вв. [БАН, 31.6.27].

Как известно, в Чудове монастыре трудился вплоть до 1525 г. Максим Грек, там хранилась часть его архива. Там, по-видимому, находился и архив некоторых из его корреспондентов, прежде всего, Федора Карпова³⁰. Закономерно, что монастырь стал к концу столетия центром по реабилитации и прославлению ученого святогорца. Толчком послужила разрешительная грамота Максиму Греку, привезенная в 1588 г. Константинопольским патриархом Иеремией, хотя интерес к наследию писателя, кажется, возродился несколько раньше. Творения писателя распространялись необычным для письменности XVI в. образом – в виде кодексов со статьями одного автора, со строго продуманным их порядком. Первые из таких монографических сборников, укомплектованные еще под контролем автора, заняли свое законное место в ряду других кодификационных трудов второй серии. Их пропагандистская функция заключалась в том, чтобы засвидетельствовать незапятнанность конфессии, исповедуемой в сакральной империи. Подготовка новых вариантов собрания, приостановившаяся было со смертью автора, возобновилась в последней четверти столетия. Эти варианты, разросшиеся за счет текстов, извлеченных из чудовского архива, либо готовились в монастыре, либо составлялись людьми, имевшими контакты с обителем. Особенно преуспел на этой стезе известный уже нам Иона Думин, тесно связанный с чудовской братией. Как видно, к памяти святогорца он относился с особым благоговением, потому что, помимо собраний сочинений писателя, он заказывал книги с его переводами – Толковую Псалтирь и Евангельские беседы Иоанна Златоуста. Над ними ученый грек трудился когда-то вместе со своим учеником Силуаном. К концу столетия наблюдается всплеск интереса к этим переводам, не ограничивающийся Москвой. По другую сторону литовской границы переводы пропагандирует князь Курбский, чьи писания (как и другие тексты литовских ревнителей православия) раньше всего появляются в рукописях чудовских книжников. В

³⁰ Буланин Д. М. На пути к архиву Федора Карпова: Следы в Чудовом монастыре? // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Язык и литература. 2021. Т. 18. № 1. С. 18–36.

те же примерно сроки были созданы два Сказания о Максиме Греке – нечто среднее между биографиями и житиями высокочтимого писателя. Одно из Сказаний атрибутируется Исайе Каменчанину, еще одному книголюбу и почитателю афонского переводчика. Исайя, приехавший в 1561 г. из Литвы за книгами, но в итоге оказавшийся в ссылке, проецировал свою судьбу на судьбу знаменитого предшественника. Допущенный в 1582 г. в Москву, он был принят царем, потом тесно взаимодействовал с патриархом, вероятно, и с Ионой Думиным. Исайя разыскал рукописи с особым переводом Псалтири, выполненным тем же святогорцем в 1552 г. специально для Нила Курлятева. В дополнение к предисловию Нила Исайя сочинил собственное «Предисловие вкратце» с биографической справкой о Максиме Греке. По-видимому, он самостоятельно разыскал составленный Максимом Греком «Канон святому и покланяемому Параклиту» и в 1590 г. переписал его «повелением и благословением великого господина божественного Иова, Божию милостию святейшаго патриарха Московскаго и всея Руси»³¹. В следующем году Канон свидетельствовали патриарх и сошедшиеся на собор архиереи, тем самым посмертно признав право афонского старца на литургическое творчество³². Можно сказать, что главные фигуры в иерархии русской церкви и главные книжники эпохи оставили отпечаток в судьбе наследия Максима Грека, с одной стороны, и имели какое-то отношение к Чудову – с другой. В этом ряду – патриарх Иов, Иона Думин, Арсений Элассонский, Исайя Каменчанин, Иона Соловецкий, архимандрит Чудова монастыря Пафнутий.

Ярким эпизодом в книгописной деятельности Чудова монастыря, который в то же время показывает характерную для рассматриваемой эпохи тенденцию создавать новые редакции «обобщающих предприятий», является изготовление в 1599–1600 гг. годового комплекта четвех миней, известного в науке как Чудовские Четвьи Минеи. Недавно был найден отсутствующий в Чудовском собрании рукописей декабрьский том³³, теперь в комплекте осталась единственная лакуна, кодекс на первую половину октября. К переписке приступили «повелением архимандрита Пафнотиа с братиею», и велась она, кажется, собственными силами монастыря («а писаны сия книги монастырскою казною»). Памятник изучен плохо, но все-таки едва ли можно усомниться, что его

³¹ Синуцына Н. В. Сказания о преподобном Максиме Греке (XVI–XVII вв.). М., 2009. С. 61.

³² Там же. С. 45–71.

³³ Костюхина Л. М. К истории Чудовских Миней Четвх 1600 г. // Археографический ежегодник за 1998 г. М., 1999. С. 196–198.

составители опирались на прецедент митрополита Макария, на «Великие Минеи Чети». Сравнительно с последними, Чудовская редакция комплекта значительно скромнее по объему. За немногими исключениями, изъяты были почти все тексты без хронологической привязки. С другой стороны, памятник нельзя назвать простым сокращением предшественника, туда вносились совершенно новые чтения. Тщательно проделанная работа, торжественное предисловие, стереотипное для всех томов и заставляющее вспомнить «Летописец» из двенадцати книг Успенского комплекта «Великих Минеи Чети», настойчивое обозначение монастыря «лаврой» – все это позволяет говорить, что Чудовские Минеи унаследовали от Минеи Макария свойственные им представительские и пропагандистские функции. Вместе с тем, благодаря уменьшенному объему, новосозданный комплект мог, в отличие от Минеи Макария, непригодных для ежедневного чтения, использоваться в монастырском обиходе, о чем и сообщает предисловие: «А взимая сия книги с повелением пастыря и прочитая с верою, обрящет от Бога милость...»³⁴.

Осмелимся высказать предположение о какой-то связи с Чудовым монастырем еще одного книжного памятника сводного типа, который даже называют «музыкальной энциклопедией». Речь идет об упоминавшемся уже образцовом минейном Стихираре, дошедшем в нескольких списках последних десятилетий XVI в. и начала XVII в. Этот тип книги включает песнопения на каждый день года и стремится охватить максимальное количество приходящихся на данный день церковных праздников и памятей святых. По поводу датировки и локализации Стихираря идут довольно жаркие споры. Одни музыковеды склонны отодвигать начало работы над памятником вглубь столетия, связывая его с более ранними «обобщающими предприятиями» и утверждая, что памятник такого типа не мог сложиться нигде, кроме как в церковном и политическом центре государства. Другие, ссылаясь на тот факт, что списки Стихираря в разное время принадлежали Строгановым, полагают, что сборник и возник в строгановских сольвычегодских владениях, а работы над ним, судя по рукописи ГИМ, Единоверческое собр., № 37, начались в 1582–1584 гг.³⁵. Думается, что мнения оппонентов не столь непримиримы, как кажется на первый взгляд. Не углубляясь в

³⁴ О Четьях Минеях // Памятники древней письменности. Протокол годового собрания Общества любителей древней письменности с семью приложениями. 26 апреля 1897 г. СПб., 1879. Вып. 3. С. 46.

собственно музыковедческий аспект проблемы, отметим только, что, согласно выводам самих участников дискуссии, Стихирарь не был создан за один присест. Он продолжал пополняться в более поздних копиях, в том числе, в списке 1590-х гг. РНБ, собр. Кирилло-Белозерского мон., № 586/843. По поводу разногласий о происхождении книги стоит учесть следующее: 1) место, где были изготовлены конкретные списки, не обязательно совпадает с местом, где сформировался архетип; 2) хорошо известна связь с Москвой строгановских мастеров, специалистов по иконописи, шитью, миниатюрам; подобные отношения подразумевают обмен исполнителями, что, возможно, касается и книг на стадии их подготовки; 3) взаимоотношение столицы и периферии в административных делах нельзя отождествлять с их отношениями в вопросах, касающихся конфессии (к числу таких вопросов относится и комплектование Синаксаря). На связь с Чудовым намекает, в частности, тот факт, что в списках Стихираря использована французская бумага с бумажными знаками таких же типов, какие встречаются в Лицевом своде и других парадных кодексах. О том же говорит орнаментация списков Стихираря братьями Басовыми, которые обслуживали как высшие церковные чины в Москве, так и Строгановых, а еще обширные московские связи усольских распевщиков. Не забудем, что именно в Чудовом монастыре подвизались в конце XVI в. такие выдающиеся распевщики, как инок Христофор и Лонгин Корова.

Те же основания, какие наводят на мысль об участии кремлевского монастыря в судьбе Стихираря, позволяют поставить вопрос о связи с монастырем довольно необычного «предприятия», тоже ориентированного на обобщение. В данном случае текст выполняет служебную роль, свое мастерство показывают переписчик и знаменщик. Это так называемая «Азбука фряжская» – первое в русской письменности наглядное пособие по каллиграфии и орнаментации рукописей (Санкт-Петербургский ин-т истории РАН, Колл. рукописных книг, № 169). Памятник был переписан в 1604 г. для Никиты Григорьевича Строганова Федором Басовым. Совместно с братьями Гаврилой и Стефаном Федор образовал нечто вроде профессиональной артели, вместе или порознь они активно занимались копированием и иллюминированием рукописных

³⁵ *Парфентьев Н. П.* О строгановской мастерской книжно-рукописного искусства XVI–XVII вв. // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Социально-гуманитарные науки. 2008. Вып. 10. С. 43–62. Ср.: *Рамазанова Н. В.* Московское царство... С. 222–223.

кодексов³⁶. Мысль о том, что некоторые из этих кодексов готовились в Чудове, принадлежит Т. В. Анисимовой. Кстати, употребляя слово «связь», мы не утверждаем, что какая-то книга непременно целиком и полностью переписывалась, иллюстрировалась и одевалась в переплет в монастырском скриптории. Монастырь мог лишь частично способствовать ее появлению на свет – финансировав мероприятие, обеспечив каллиграфов образцами для копирования, взяв на себя работы по брошюровке, переплету, и др.

Стоит напомнить, что чудовские иноки крайне неохотно извещали о своей причастности к книжным трудам. Не исключено поэтому, что другие «предприятия», которые были составлены в более ранние годы и которые в конце XVI в. подверглись обновлению, скажем «Азбуковник» или «Домострой», тоже имеют отношение к монастырю. Это относится и к отдельным памятникам синтетического характера, которые около рубежа столетий впервые вошли в обращение. Таков Азбучный письмовник.

На перекрестке литературных традиций

К концу XVI в., когда были близки к завершению продолжавшиеся все столетие труды по идеологической консолидации, стали просматриваться контуры той центричной организации всего материального и духовного пространства Московского царства, которая станет определяющей для дальнейшей истории России. Жизненно важные импульсы расходились в разные стороны из центра. Там и располагался Чудов монастырь, вовлеченный во все значимые события в судьбах духовной письменности, хотя о его участии в этих событиях часто не сохранилось данных. Многозначительным нарушением в заговоре молчания являются факты, относящиеся к взаимодействию русской и западнорусской письменности. Это взаимодействие двух родственных, но разошедшихся в своих судьбах культур станет надолго одним из главных факторов литературного развития Древней Руси. В активную стадию процесс вступил по ходу Смуты. В контексте настоящей работы для нас важно то, что происходило в предшествующие годы, до начала политического и мировоззренческого кризиса.

³⁶ Анисимова Т. В. 1) Рукописи московских писцов братьев Басовых (80-е годы XVI – начало XVII в.) // От Средневековья к Новому времени: Сб. ст. в честь О. А. Белобровой. М., 2006. С. 587–608; 2) О новонайденных рукописях строгановских писцов братьев Басовых // История библиотек: Исследования, материалы, документы. СПб., 2010. Вып. 8. С. 264–277; Парфентьев Н. П. Творчество книгописцев и художников-знаменщиков братьев Басовых (1580–1630-е гг.) // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Социально-гуманитарные науки. 2014. Т. 14. № 3. С. 23–50.

Кремлевский монастырь стал тогда «главными воротами», через которые в Москву проникали от западного соседа литературные новинки.

Для западнорусского православия и его адептов это было непростое время. В результате Люблинской унии 1569 г. Польша и Великое княжество Литовское образовали государство, известное как Речь Посполитая, в котором приверженцам греческой церкви приходилось отстаивать свою независимость, противостоя экспансии католицизма. Ситуация обострилась после Брестской церковной унии: несмотря на государственную веротерпимость, споры между католиками и православными разгорались жаркие. Москва, где восточное христианство находилось под государственной опекой, казалось, должна была оказать поддержку отделенным границей единоверцам. Увы, известные обстоятельства стояли на пути деятельного с ними сотрудничества и охлаждали энтузиазм потенциальных союзников. После учреждения Московской патриархии православные Западной Руси оказались в иной церковной юрисдикции, оставшись в канонической зависимости от Константинополя. Дивергенция этим не ограничилась. В условиях религиозного противостояния защитники ортодоксии развили беспрецедентную литературную активность, но при этом православная культура Западной Руси многое уже переняла и продолжала перенимать от своих соседей-католиков. Так, в Остроге вышла в свет Библия, для которой не было места в церковном обиходе Москвы, как не находилось там применения и для Азбук, изданию которых на территории Украины положил начало Иван Федоров. Популяризация словесных наук, ведшаяся князем Андреем Курбским, была в Москве неуместна, а стихотворные экзерсисы Герасима Смотрицкого (в Острожской Библии) смогли там оценить только в следующем столетии. Широкое участие в литературной жизни мирян, включая высокопоставленных магнатов, тоже отличало интеллектуальную атмосферу в Западной Руси от культурной обстановки Московского государства, где книжниками чаще всего оставались люди духовного звания.

Тем не менее, кое-какие отзвуки литературного оживления, отличающего культуру Западной Руси последних десятилетий XVI в., достигали московских пределов. Сюда, как мы помним, направился в поиске дефицитных славянских книг Исая Каменчанин (он искал Библию, Житие Антония Печерского, Беседы на Евангелие Иоанна Златоуста), с которым позднее сотрудничали Иона Думин и патриарх Иов. Сюда просочились некоторые из виленских изданий Мамоничей – переводы «Диалога» Геннадия Схолярия (текст внесен в собрания сочинений Максима Грека, составлявшиеся

тогда, как было сказано, в кремлевской обители) и трактата «О силлогизме» Иоганна Спангенберга (ГИМ, собр. Чудова мон., № 236/34), послесловие к Грамматике, изданной в Вильно в 1586 г. (в той же рукописи), Служебник (1583), вложенный Арсением Элассонским в Архангельский собор. Едва ли можно сомневаться, что у Арсения Элассонского была на руках составленная им самим и напечатанная во Львове грамматика «Адельфотис». Здесь же упомянем список Первого послания Курбского Грозному в сборнике Ионы Соловецкого, выходца из Чудова (РНБ, Q. XVII. 67), и Послание патриарху Иову князя Константина Острожского, написанное накануне вторжения Дмитрия Самозванца³⁷. Учитывая, что в сборнике из собрания Чудова монастыря, № 236/34 находятся другие тексты западнорусского происхождения, осмелимся предположить, что находящееся в этом же сборнике «Простословие» некоего Евдокима, где доказывается важность буквослагательного метода обучения грамоте, представляет собой первый московский отклик на Азбуки Ивана Федорова. Установлено, что известные нам братья Басовы использовали в переписанных ими кодексах послесловие к виленскому Евангелию 1575 г., изданному Петром Мстиславцем, а также гравированные изображения из этой книги и из виленской Псалтири 1576 г. Книги западнорусской печати, конечно, привезенные из Москвы, были на руках у смещенного и сосланного Дмитрием Самозванцем патриарха Иова, он вложил их в Старицкий Успенский монастырь³⁸. В 1584 г. некий Амвросий Брежевский, явно не из коренных москвитов, перевел в Москве Хронику Мартина Бельского по третьему изданию 1584 г. Наверное, Антонио Поссевино знал о существовавших способах переправлять тиражи в Московию, предлагая для обращения схизматиков сделать ставку на книгоиздание: «Никакими пушками, никаким другим самым большим арсеналом север и восток не будут завоеваны быстрее» («Ливония»)³⁹. Добавим, наконец, что «волынец» Радишевский приехал в Москву еще в 1586 г., хотя к книгопечатным работам он приступил только при Шуйском. Почти все перечисленные факты прямо или через промежуточные инстанции могут быть соотнесены с Чудовым монастырем.

Посредниками в московско-западнорусском книжном обмене часто выступали греки, что объяснимо. На территории Речи Посполитой участие, которое принимало в

³⁷ Турилов А. А. Из истории проектов ликвидации Брестской унии // Славяне и их соседи. Вып. 3: Католицизм и православие в средние века. М., 1991. С. 128–140.

³⁸ Описные книги Старицкого Успенского монастыря 7115–1607 г. Старица, 1911. С. 33–35.

жизни местного православного населения греческое духовенство, особенно греческие иерархи, было обусловлено сложной конфессиональной обстановкой. В Москве действовали иные мотивы. Греки, которые хранили память об ушедшем в небытие «священном царстве», помогали перенести в Москву атрибуты падшей Восточной империи. Чудов монастырь считался приличным местом для размещения прибывавшего в столицу восточного духовенства, в том числе греков. О значении образовавшейся в Москве к концу века греческой колонии свидетельствует книгописная школа иеромонаха Луки Киприота, от которой дошло более десятка греческих рукописей, связанных с русской столицей⁴⁰. К этой школе принадлежал Арсений Элассонский, ставший одним из главных действующих лиц в церковной, а с началом Смуты и в светской политике. Как известно, он успел проявить себя и на литературном поприще. Возможно, некоторые из рукописей, сохранивших следы пребывания в России, греческие церковные деятели привозили с собой. По мнению Б. Л. Фонкича, подобным способом, через патриарха Иеремию, попало в Москву роскошное Евангелие XI в. ГИМ, Синодальное греч. собр., № 511. Для нас интереснее всего, что в Москве не только переписывали греческие рукописи. Там иллюстрировали и украшали их, и делали это местные художники. Из числа таких рукописей, памятников греческо-московского творческого сотрудничества, примечателен кодекс Евангелия, переписанный Лукой Киприотом и снабженный миниатюрами (Baltimore, Walters Art Museum, cod. W535). По иконографическим особенностям и по манере его оформления искусствоведы сравнивают этот кодекс с обсуждавшимися выше древнерусскими парадными рукописями, которые созданы в ту же эпоху⁴¹. Через греков в Москву проникали сведения о тех новшествах в педагогике, какие внедрялись в Литовской Руси православными школами. Приверженцы Восточной церкви взяли там в качестве образца коллегию иезуитов, однако приглашали преподавать в своих школах интеллектуалов православного исповедания. Москва рано

³⁹ *Антонио Поссевино*. Исторические сочинения о России XVI в. / Пер. Л. Н. Годовиковой. М., 1983. С. 230.

⁴⁰ *Фонкич Б. Л.* Греческо-русские культурные связи в XV–XVII вв.: (Греческие рукописи в России). М., 1977. С. 49–67.

⁴¹ *Антонова Л. И.* Евангелие Апракос 1594–1596 годов Луки Кипрского из Бузэу // Труды Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Т. 14: Неизвестные произведения. Новые открытия: Сб. научных статей к юбилею Музея имени Андрея Рублева. М., 2017. С. 336–361. Ср.: *Преображенский А. С.* Русские миниатюры в греческих рукописях рубежа XVI–XVII веков и лицевые Годуновские Евангелия из Ипатьевского монастыря // Московский Кремль и эпоха Бориса Годунова. Научная конф. 11–13 ноября 2015 г.: Тезисы докладов. М., 2015. С. 39–41.

узнала о греческих штудиях, развернувшихся в Острожской школе⁴². О том, как на Востоке духовенство побуждало Москву оказать материальную и моральную поддержку общинам Литовской Руси, могут дать представление два послания, адресованных царю Федору Иоанновичу. Одно из них, о Львовском братстве, написано Александрийским патриархом Мелетием Пигасом, другое, из Константинополя, – не известным по имени афонским иноком, малороссом⁴³.

Роль Чудова монастыря как перекрестка, где встречались культурные традиции и литературные новации, позволим себе иллюстрировать на конкретном примере. Потом можно будет использовать этот пример как *pars pro toto* – распространить наши наблюдения на другие аспекты духовной жизни. Примером послужит популярная со второй половины XVI в. легенда о судьбе греческих книг. Также выросшая на основе этой другая легенда – о потаенной библиотеке московских государей. Соответствующие тексты подобраны в специальной статье Н. В. Сеницыной⁴⁴, но предложенная ею схема развития легенды нуждается в поправках. С учетом поправок развитие легенды можно представить в следующем виде⁴⁵. Ранний вариант рассказа о греческих книгах находим в предисловии к сборнику переводов Курбского «Новый Маргарит», окончание работы над которым датируют серединой 1570-х гг.⁴⁶. Рассказывая о том, что побудило его взяться за этот труд, родовитый эмигрант вспоминает о состоявшемся у него когда-то разговоре с Максимом Греком. Князь спросил у старца, все ли творения греческих отцов церкви есть на славянском языке. Тот уверил собеседника, что отсутствует не только их славянский перевод, до недавнего времени не было и латинского. Оказывается, вплоть до завоевания Константинополя турками латиняне не допускали к оригиналам сами

⁴² См.: *Исаевич Я.* «Lysaeum Trilingue»: Концепція тримовної школи у Європі в XVI ст. // *Острожська давнина: Дослідження і матеріали.* Львів, 1995. Т. 1. С. 8–12.

⁴³ *Фонкич Б. Л.* К истории текста одного из посланий Александрийского патриарха Мелетия Пигаса к царю Федору Ивановичу // *Очерки феодальной России.* 2003. Вып. 7. С. 105–111; *Корогодина М. В.* Неизвестное послание царю Федору Ивановичу из Константинополя // *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana.* 2018. № 2 (24). С. 99–114.

⁴⁴ *Сеницына Н. В.* Русские тексты о судьбе «греческих книг» после падения Константинополя // *Византия и Русь.* М., 1989. С. 236–246.

⁴⁵ Более подробную интерпретацию текстов см.: *Буланин Д. М.* Легенды о библиотеках византийских императоров и московских царей как культурная новация // *Литература и история в контексте археографии.* Новосибирск, 2022. С. 12–27 (Археография и источниковедение Сибири. Вып. 41).

⁴⁶ *Andrej Michajlovič Kurbskij.* *Novyj Margarit.* Historisch-kritische Ausgabe auf der Grundlage der Wolfenbütteler Handschrift / Hrsg. von I. Auerbach. Giessen, 1976. Bd 1. Lfg. 1. Fol. 1–7 v.

«греческие кесари». «Не вем, – добавляет старец, – чего ради». В специальном «Сказе» – комментарии к словам собеседника Курбский дает дополнительные разъяснения, содержащие уже прямой упрек в адрес византийцев. Латиняне, согласно «Сказу», предлагали за греческие книги большие деньги, но ничего не добились «древняго ради свару, или премногие ради зависти»⁴⁷. Между тем, продолжает свой рассказ Максим Грек, при взятии турками Константинополя патриарху Анастасию удалось спасти книжные сокровища, и он доставил их в Венецию. Получив в свои руки желанную духовную пищу, латиняне тут же перевели книги, напечатали их и пустили в продажу по малой цене («лехкою ценою»).

Спасенные, переведенные и опубликованные книги содержали, по смыслу легенды, не какую-то отвлеченную мудрость, но откровения православного вероучения. Для интерпретации рассказа принципиальным является ответ на вопрос, в какой мере она воспроизводит подлинные слова старца, а в какой расцвечена фантазией составителя «Нового Маргарита». Если закрыть глаза на вымышленные подробности, касающиеся патриарха и библиотеки, нет ничего невозможного в том, что Максим Грек обсуждал с Курбским репертуар венецианских изданий. Однако, вопреки мнению предшественников, считаю невероятным, чтобы такой эллинофил, как афонский старец, возводил напраслину на византийцев⁴⁸. Напротив, в легенде о книгах отразилась двойственность, присущая в целом языковой позиции Курбского: со стремлением обеспечить русского читателя святоотеческими текстами вступает в конфликт мысль о неотделимости конфессии от языка как реликт субстанциального его восприятия. О том же говорит сама идея, будто религиозное откровение, как волшебный ключик, заключено в тайнике. Уместно напомнить, что иудейские узаконения, более последовательные в субстанциальном понимании письма, считали перевод Торы вообще недопустимым. Согласно «Трактату писцов», день, когда ее перевели на греческий, был «лютым для Израиля». В другом древнееврейском памятнике («Шульхан арух») утверждается, что в этот злополучный день «была тьма в мире три дня»⁴⁹. С другой стороны, легко понять, зачем Курбскому вообще понадобилась легенда о греческих книгах: включенные в «Новый Маргарит» сочинения Иоанна Златоуста князь переводил

⁴⁷ Ibid. Fol. 1–7 v.

⁴⁸ Ср.: Франклин С. Русская графосфера, 1450–1850 / Пер. с англ. Т. В. Ковалевской. СПб., 2020. С. 212–213.

⁴⁹ Вевюрко И. С. Септуагинта: Древнегреческий текст Ветхого Завета в истории религиозной мысли. М., 2013. С. 35–42.

с латинского издания, а не с языка подлинника. Это обстоятельство могло отвратить от его труда православных читателей в Литве и тем более в Москве. Легенда удостоверяла, что латинский перевод соответствует греческому. Сюжет надежно атрибутируется Курбскому по наличию у него мотивировки для подобного поворота темы.

Отделив легенду от Максима Грека, именем которого прикрылся Курбский, мы не будем удивлены тому, что она стала развиваться по собственным законам. К изобретенной им коллизии, связанной с греческими книгами, князь вернулся в специальном разъяснении «Андрея Курпскаго сказ о лоике», которое сопровождает выполненный им перевод «Диалектики» Иоанна Дамаскина⁵⁰. Работа была закончена позднее, чем переводы, вошедшие в состав «Нового Маргарита», и даже позднее, чем Курбский перевел другую книгу Иоанна Дамаскина – его «Богословие» (в предисловии к этому последнему переводчик заявляет, что он не может до поры до времени предложить русскоязычному читателю «Диалектику»). Верхней границей, в пределах которой была закончена работа над «Диалектикой», будем считать 1583 г., год смерти Курбского. В «Сказе» краски в отношении к латинянам заметно сгущаются, смещены и акценты. Переводчик опять ссылается на авторитет Максима Грека, к которому он будто бы обратился с вопросом. Но если в предисловии к «Новому Маргариту» обсуждалась судьба отеческих книг, здесь вопрос касается познаний греков в «науках словесных», а потом даже уточняется, каких именно («физику и метафизику, и тую то лоику або диалектику»⁵¹). При этом речь идет не только о науках, но и об их письменном изложении. Оказывается, получив книги по перечисленным наукам после разорения турками византийской столицы, «латины превели на свой им язык. И преведше, – сетует Максим Грек, – наши грецкие пожгли многие ради зависти»⁵². Комментируя текст, примем в расчет, что 1) в понимании Курбского словесные науки древности, санкционированные именем Дамаскина, являются «священными», как и учение отцов, 2) в актах расправы над книгами торжествует иконическое понимание языка, на котором они написаны. Обличительная позиция «Сказа» по отношению к католикам объясняется той же двусмысленностью переводческой деятельности Курбского с точки зрения православных традиций. Развязка в виде сожжения греческих источников окончательно реабилитировала князя, пользовавшегося при своих переводах латинскими переводами

⁵⁰ Попов А. Н. Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова. М., 1872. С. 117–118.

⁵¹ Там же. С. 118.

⁵² Там же.

этих источников. Иных путей постигнуть греческую мудрость больше не существовало. Совершенно очевидно, что более сильный аргумент в виде сообщения об аутодафе Курбский нашел уже после того, как была представлена публике легенда по варианту «Нового Маргарита». Развитие сюжета перешло в самоподдерживающийся режим.

Сожжение книг как демонстрация неприятия их содержания или осуждения их авторов, а то и просто способ не подпустить к ним читателя, – процедура, не столь уже редкая в истории человечества⁵³. Однако в истории православных славян не отмечены подобные акции, если не считать туманного сообщения польского короля Сигизмунда Августа (1552 г.), будто московиты сожгли Библию на русском языке, изданную католиками⁵⁴. Как бы то ни было, деталь, украсившая легенду в изложении Курбского, произвела большое впечатление на читателей и отразилась в нескольких более поздних произведениях. Кажется, первым из них стало самое популярное из Сказаний о Максиме Греке, которое можно датировать временем до 1587 г. В Сказании рассказывается, что великий князь Василий Иванович отыскал среди унаследованных от предков сокровищ «безчисленное множество греческих книг»⁵⁵ и обратился к константинопольскому патриарху с просьбой прислать человека, который мог бы перевести эти книги. Когда Максим Грек, командированный в Москву в ответ на такую просьбу, прибыл на место и когда великий князь показал ему свои книжные богатства, ученый старец заявил, что подобного количества греческих книг он не видывал у греков. При этом Максим Грек рассказал, что благочестивые люди вывезли в Рим греческие книги после того, как турки овладели Царьградом, «да не до конца угаснет светило – греческое православие»⁵⁶. Но латиняне, которых из-за их нечестия греческие цари прежде не допускали к сочинениям «восточных учителей», получив, наконец, искомое, перевели книги, а «греческие же книги отнюдь все огнем сожгоша. И тако конечное оскуде у грек философия»⁵⁷. В этом рассказе очевидным образом произошла контаминация двух рассмотренных сообщений Курбского. В оригинальном добавлении о богатствах великокняжеской библиотеки воплотилось желание перенести в Москву атрибуты Византийской империи. Добавление

⁵³ Ср.: *Báez F. A Universal History of the Destruction of Books: From Ancient Sumer to Modern Iraq*. New York, 2008.

⁵⁴ *Флоровский А. В. Франциск Скорина и Москва // Труды Отдела древнерусской литературы*. Л., 1969. Т. 24. С. 155–158.

⁵⁵ *Синицына Н. В. Сказания о преподобном Максиме Греке*. С. 78.

⁵⁶ Там же. С. 80.

⁵⁷ Там же.

появилось независимо от Курбского, потому что наличие греческих книг в Москве ослабляло бы доводы князя, доказывавшего незаменимость латинских переводов. Легенда о переводе греческих книг латинянами и последующем сожжении оригиналов с минимальными переменами перешла из Сказания в пространную редакцию Повести о белом клобуке. Направление миграции легенды удостоверяется не только относительной хронологией двух памятников, но и тем обстоятельством, что в сюжете Повести рассказ о книгах явно избыточен.

Помимо Повести о белом клобуке, от Сказания берет начало необычная линия в развитии сюжета, получившая продолжение не только в средневековых легендах, но и в новейшей историографии. Это предание о богатствах тайной библиотеки московских князей. Впервые о существовании библиотеки сообщает «Ливонская хроника» Франца Ниенштедта, работа над которой была закончена в начале XVII в. Ниенштедт ссылается на рассказ пастора Иоганна Веттермана, который отправился в Московию в 1565 г. вслед за своими прихожанами, высланными Иваном Грозным из Юрьева. Царь будто бы отнесся к этому Веттерману с большим уважением и даже показал ему свою «либерию» с книгами на еврейском, греческом и латинском языках, которую в древние времена князь (по-видимому, имеется в виду его прародитель) получил от константинопольского патриарха. Хотя выезд Веттермана в Москву подтверждается независимыми источниками⁵⁸, рассказ о замурованной в подвалах «либерии» разукрашен такими подробностями, что остается удивляться, как серьезные ученые могли принять его за чистую монету. Сомнения должны были бы зародиться уже по той причине, что в самой Хронике находятся беллетризованные истории, сходные с рассказом о библиотеке по обилию в них присочиненных занимательных подробностей. Убедившись во вторичности дополнительного сообщения о книжных богатствах великих князей в Сказании о Максиме Греке по сравнению с вариантами легенды, изложенными Курбским, можем думать, что к этому самому Сказанию или каким-то его репликам и восходит приписанная Веттерману история. Что касается сжигаемых латинянами книг, не исключено, что эта деталь получила отклик в позднейших текстах. Так, в «Прении с

⁵⁸ Белокуров С. А. О библиотеке московских государей в XVI столетии. М., 1898. С. 260.

греками» Арсения Суханова греки обвиняются в сожжении московских книг, не согласных с их собственными⁵⁹.

Для историка древнерусской литературы интереснее, как преломилось то же обвинение в тексте с условным названием «Сказание о книгах», входящем в цикл с именем Ивана Пересветова. Там рассказывается, что занявший цареградский престол турецкий султан Магмет надумал взять у патриарха греческие книги «и списати книги христианския по-турски слово в слово», а сами книги уничтожить. Патриарх Анастасий обращается со слезами к Богу, умоляя его помочь в беде. Всевышний, хотя и упрекает греков в разных пороках, насылает на султана «великих страх», и тот возвращает отобранные книги. Случившееся произвело столь глубокое впечатление на Магмета, что он чуть было не обратился в христианскую веру. Насилу его отговорили сеиты. И все-таки, заканчивает свое повествование автор, султан с той поры не забывал Бога, «снял образец жития света сего со христианьских книг»⁶⁰. В Сказании, таким образом, довольно искусственно соединены два мотива – во-первых, перевод греческих книг на другой язык и намерение уничтожить потом оригиналы, во-вторых, поползновения султана креститься после чудесного вразумления. Оба мотива опираются на легенды, изложенные в других источниках и поддерживаемые там ссылками на устные рассказы Максима Грека. Если первый мотив восходит к легенде о сожжении книг латинянами, то второй находит опору в предисловии к переводу «Диалога патриарха Геннадия», изданному в Вильне в 1585 г. Составитель предисловия – сам Курбский или кто-то из его окружения – очередной раз апеллирует к авторитету Максима Грека, который будто бы поведал, как патриарх Геннадий Схоларий почти убедил султана перейти в христианство. Ссылка на Максима Грека столь же неправдоподобна, как и атрибуция ему легенды о греческих книгах: ученый старец писал обличения мусульманской религии, в идеализации турецких правителей он ни разу не был замечен. Отвергая его авторство в отношении одного и другого мотива, мы возводим их генеалогию к писаниям Курбского, что, в свою очередь, требует сдвинуть датировку «Сказания о книгах». И дальше: коль скоро Сказание признается органической частью цикла, приписанного Пересветову, неизбежно придется отказаться от общепринятой сейчас

⁵⁹ Белокуров С. А. Арсений Суханов. Ч. 2: Сочинения Арсения Суханова // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских при Московском университете. М., 1894. Кн. 2. С. 25–29.

⁶⁰ Сочинения И. Пересветова / Подгот. текста А. А. Зиминой. М.; Л., 1956. С. 147–151.

датировки цикла серединой XVI в. Таким образом, мы возвращаемся к мнению Н. М. Карамзина, относившего публицистическое творение Пересветова к более позднему времени. Наш вывод о Сказании как позднем отклике на легенду подкрепляется общим впечатлением от текста, не свободного от внутренних противоречий. Сам план султана перевести греческие книги на турецкий язык никак не мотивирован в Сказании. С другой стороны, нет никаких текстологических указаний на то, что Сказание вставлено в уже существовавший комплекс из других составляющих цикла, написанного на полстолетия раньше. Полагаем, что весь «пересветовский цикл» создан задним числом и приписан реальному или мифическому лицу. Передатировав «пересветовский цикл» концом XVI – началом XVII в., мы вспомним, что тогда имели место интенсивные сношения Москвы с потурченным Константинополем. Еще важнее, что мы можем поставить «пересветовский цикл» в ряд переводов и сочинений того же времени, опровергающих основоположения ислама, затрагивающих отношения с мусульманами и обсуждающих испытания, которые выпали на долю христиан, томящихся под властью турок. Назовем, в частности, переводы прений с воображаемыми сарацинами Геннадия Схолария и Иоанна Дамаскина в виленском издании 1585 г., которое оказалось в Москве до конца столетия. Назовем продолжавший переписываться комплекс обличений Максима Грека, направленный против агарян. Назовем еще Повесть о двух посольствах, «Выпись» о втором браке Василия III, а возможно и прототип легендарной переписки Ивана Грозного с турецким султаном.

Приоритеты эпохи

Судьба легенды о книгах, которая в процессе своей эволюции выделяла новые мотивы, сама ими обогащалась или попадала в сферу притяжения других сюжетов и тем, резонировавших вместе или порознь, – все это никоим образом не удаляет нас от предмета обсуждения. Ибо при ближайшем рассмотрении выясняется, что за такими поворотами незримо присутствовал Чудов монастырь, в котором сходились в те годы московско-греческие и московско-литовские культурные интересы, вокруг которого кипели страсти накануне и после учреждения московской патриархии, где частым гостем был патриарх, где с пиететом относились к прежним насельникам монастыря, где, наконец, издавна ценили книгу и книжные раритеты. На поклонение мощам митрополита Алексея стекалась вся Москва, начиная от членов царской семьи⁶¹. Ясное

⁶¹ Мельник А. Г. Практика почитания св. Алексея, митрополита всея Руси, в XVI веке // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2014. Т. 62. С. 53–69.

дело, что легенда о книгах – только пример. Он ценен как знак, извещающий о том, что кремлевский монастырь, отдельно или вместе с кремлевскими службами, подчинявшимся царю и патриарху, находился в эпицентре духовной жизни Московского царства. Какова же была доминанта, придававшая этой жизни смысловое единство?

Шедшая с начала XVI в. разработка церковно-политической идеологии Московского царства достигла той стадии своего развития, которую мы называем третьей и которая подняла разработку на высший уровень. Теперь организаторы преобразований стали больше заботиться о том, чтобы одновременно с упорядочением мирской и церковной среды создать внешний эффект, поразить воображение соотечественников и сторонних наблюдателей. Мы наблюдали уже, как проявилась такая тенденция в дорогостоящих книжных памятниках, особенно во вкладышах представителей годуновского клана. Помимо книг, Годуновы делали щедрые вклады другими предметами церковного обихода, ослепляющими великолепием. Их дары распределялись по всей территории царства. Годунов с родней выступали строителями и ктиторами храмов, даже целых архитектурных ансамблей (Вяземы). Таким же, как годуновские вклады, знамением времени служат монументальные и художественные работы в центре столицы, ведшиеся при Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове и отличавшиеся особой помпезностью. Упомянем неосуществленный проект «Святая Святых», Ивана Великого, царицыну Золотую палату, Царь-пушку, «Годуновский» колокол, «прадедушку» позднейшего «Царь-колокола». Воспоминания ошеломленных иностранцев говорят о том, что заказчикам работ удалось произвести на зрителей нужное впечатление⁶². Своеобразным pendant к перечисленным материальным объектам могут служить в литературе сочинения, столь же неумеренные в использовании словесных изобразительных средств. Таковы Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков или Повесть о житии царя Федора Иоанновича, отчасти – новая редакция Степенной книги и тексты, посвященные Казанской иконе Богоматери. Иван Грозный признал главным источником своего царского достоинства не христианскую империю, а завоеванную татарскую столицу. Символический уровень осмысления провиденциальной истории предполагал, что «царство» как универсалия транслировалось новому носителю независимо от вероисповедных различий. Такая

⁶² *Баталов А. Л.* Гроб Господень в замысле «Святая Святых» Бориса Годунова // Иерусалим в русской культуре. М., 1994. С. 154–171.

универсалия перешла из Казани в Москву. Единожды покоренная, Казань особенно нуждалась в христианизации. Ее символическая ценность подразумевала, что столица павшего царства обзаведется пристойным конфессиональным антуражем. Это создало предпосылки, почему Казань, со времен ее покорения, являлась объектом, наиболее интенсивно обрастающим знаковыми для идеологии «священного царства» сакральными образами. Кроме цикла, связанного с Казанской иконой, это и книгоиздательские инициативы, и постоянно обновлявшийся комплекс произведений, относящихся к истории Казанского взятия в 1552 г., и агиографические памятники, прославляющие казанских святых.

Казанскую тему в древнерусской литературе рубежа столетий можно понимать как форму миссионерской активности, тем более что о религиозной конфронтации с аборигенами говорится в большинстве «казанских» текстов. Задача обращения иноверных и коснеющих в язычестве, которая многократно возникала на протяжении XVI в., не утратила своей актуальности на интересующей нас третьей стадии консолидирующих мероприятий. Вспомним о прославившихся тогда святых миссионерах Арсении Коневском и Трифоне Печенгском. Сама миссионерская проповедь, ставшая для Москвы предметом особенных забот в связи с расширением зоны ее интересов на Севере и на Востоке, вполне укладывается в имперскую парадигму, правда, не столько византийскую, сколько европейскую. Непогрешимость московского православия, обеспечивающая незыблемость Третьего Рима, утверждалась в дебатах, каких прежде остерегались москвиты. Мы говорили уже об умозрительных прениях с мусульманами. Споры велись с католиками, конфессиональные материи обсуждал с Антонием Поссевино сам самодержец. В рамках идеологического строительства следует рассматривать неустанные труды первого Московского патриарха Иова по канонизации русских святынь и русских святых, среди которых Василий Блаженный, Иосиф Волоцкий, Антоний Римлянин, Корнилий Комельский, Нил Столобенский. Прославление и канонизация предусматривали создание определенного набора апологетических текстов. Ряд написанных тогда житий по заслугам числится среди выдающихся произведений средневековой словесности. Если попытаться определить церковную политику эпохи одним словом, ее можно назвать гомогенизацией конфессионального пространства. Этот процесс хорошо виден в случае с Новгородом. Исключительный статус города, представлявшегося «русским Иерусалимом», а потому до недавнего времени служившего для Москвы поставщиком сакральных образцов

(помимо литературных и живописных памятников, это и церковные ритуалы, как «хождение на осляти», и архитектурные образцы, как столпообразные храмы, и многое другое), должен был ликвидировать и успешно ликвидировал поход Грозного 1570 г. Именно это трагическое событие превратило некогда процветающий город в заштатный центр местного значения, каким он и остался на протяжении всей последующей истории. Между прочим, на данном примере хорошо виден приоритет не политического или экономического, а символического фактора в средневековой репутации города и целого государства. Поразительно, что, несмотря на упадок и запустение, в глазах потомков Новгород сохранил свою привлекательность как музей русских церковных древностей, уцелевших и утраченных, осязаемых и словесных. Инвентаризация этих древностей является предметом особенного интереса составителей Новгородской Уваровской летописи, которую датируют концом XVI в. Ее содержание и ее структура стали образцом для более поздних новгородских летописных компиляций. В набор их тем редко попадало что-либо сверх событий локального значения. Археологические интересы Новгородской Уваровской летописи демонстрируют провинциальную ограниченность города, одним ударом сброшенного с символического пьедестала. Отныне Новгород получил свое законное, но скромное место в гомогенизирующемся пространстве «священного царства».

Недолгие годы «чудовской гегемонии» предлагается ограничить событиями Смуты. Решение, конечно, условное, как и любые попытки расчленить непрерывный процесс культурной эволюции. Поскольку предметом обсуждения является не прагматическая история, а история духовной культуры, контраргументом против подведенной черты не может служить то обстоятельство, что с кремлевским монастырем связаны главные события Смуты: здесь подвизался будущий Расстрига, написавший тогда каноны и похвалу трем святителям московским⁶³, чудовскими монахами были сообщники Отрепьева, чудовских монахов отправили на опознание его в Путивль. В Чудове монастыре постригли царя Василия Шуйского, там заточили двух патриархов – Игнатия, а позднее Гермогена, которого там же и уморили. Но даже если отвлечься от политических катаклизмов, можно ли пренебречь тем, что обитель и в последующие годы оставалась крупнейшим книжным центром, что с ней была по-прежнему связана судьба выдающихся тружеников пера, что она, как и раньше, оставалась в самом центре

Московского государства? Что изменилось? Почему в качестве демаркационной линии выбрана замятня, начавшаяся в 1604 г. с вторжения Самозванца? Напомним, что предметом нашего описания является религиозная письменность и религиозная культура, что идеология «священного царства» – это церковно-политическая идеология с ударением на первой части определения. При таких исходных данных смену духовных ориентиров определяют, главным образом, перепады в конфессиональном самочувствии общества. В течение XVI в. было приложено много сил, чтобы установить границы неконвенциональным религиозным переживаниям, урегулировать обряды, очистить общественные и интимные проявления религиозности от традиций, наиболее одиозных по меркам византийского православия. Регламентация церковной жизни предполагала управление из центра, с этой точки зрения Чудов монастырь был незаменим. Смута то ли родилась как протест против ограничений духовной свободы, то ли сама высвободила духовные силы из грозившего их поглотить официоза. Для нас важно, что вместе с продолжавшимися без малого десять лет беспорядками Смутного времени религиозная стихия вырвалась из плена и долго еще бушевала по просторам «священного царства». Начавшийся XVII в. был ознаменован едва ли не самым сильным в истории Руси конфессиональным потрясением – расколом русской церкви. Попытки централизованного управления стихией, даже если бы они предпринимались из многочисленного Чудова монастыря, неизбежно потерпели бы тогда фиаско. Основы прежней устойчивости навсегда рухнули.

⁶³ *Кривцов Д. Ю., Морохин А. В.* К обсуждению вопроса о том, был ли Григорий Отрепьев автором похвалы трем святителям? // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.): Сб. статей. М., 2012. С. 46–50.

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ: XVIII ВЕК

Во второй половине XVII – начале XVIII в. происходило постепенное разделение некогда единой русской литературы на две ветви. Одна из них – элитарная литература – формировалась благодаря начавшемуся европейскому влиянию, другая – общедоступная, демократическая – продолжала литературные традиции Древней Руси. Эти две ветви сосуществовали, эволюционируя, в XVIII–XX вв.

В те годы, когда свои сочинения создавали Кантемир, Ломоносов, Державин, Карамзин, Пушкин, Достоевский, в русских монастырях, старообрядческих пустынях и крестьянских избах трудились сотни других русских писателей, ориентировавшихся не на европейские образцы, а на древнерусскую словесность во всем многообразии ее жанров.

Эту «вторую» русскую литературу нередко именуют «древнерусской литературой после Древней Руси», понимая под ней «комплекс литературных памятников, создававшихся с XVIII века вплоть до наших дней, который продолжал сохранять в большей или меньшей степени господствующий дух древнерусской литературы и приверженность ее жанрам». «Дух древнерусской литературы, – продолжает Н. В. Поньрко, – это ощущение постоянного Божьего присутствия, запечатленного во всех без исключения ее памятниках»¹. Данное явление, в таком его понимании, сопоставимо с «долгим Средневековьем» западноевропейской культуры и литературы, когда значительная часть общества отдавала предпочтение не сочинениям гуманистов и просветителей, но «душеполезным» историям о чудесах святых. «Долгое Средневековье, – утверждает Ж. Ле Гофф, – это эпоха господства христианства (выделено нами. – А. П.), являющегося одновременно и религией, и идеологией и находящегося в чрезвычайно сложных отношениях с феодальным миром, который оно оспаривает и утверждает единовременно»².

Впрочем, в конце XVII в. в древнерусской литературе начинает формироваться и светское повествование: переводные рыцарские романы, фацеции, новеллы (Повесть о Фроле Скобееве, Повесть о Карпе Сутулове), а также социальная и антиклерикальная сатира. Эти литературные традиции получили свое развитие в XVIII в., обычно они рассматриваются в рамках основного академического курса по истории русской

¹ Поньрко Н. В. Древнерусская литература после Древней Руси // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2020. Т. 20: XVIII–XX века. С. 6.

² Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М., 2001. С. 35.

литературы XVIII в. В XVIII–XX вв. темы, образы, сюжеты и мотивы древнерусской литературы активно использовались русскими писателями в их художественных произведениях – это интересная, но самостоятельная историко-литературная проблема³.

«Две литературы» различались и своими литературными истоками, и формой бытования («древняя» литература преимущественно рукописная, новая – печатная), а писатели и читатели принадлежали к разным социальным слоям: новая литература стала достоянием элиты, литература рукописная – средних и низших слоев (низшего духовенства, монашествующих, старообрядцев, мелкопоместных дворян, военных низших чинов, купечества, мещанства, крестьян, учащихся церковных школ и т. д.). Граница между этими литературами не была непроницаемой: в XVIII в. происходило «постоянное взаимодействие творчества большинства русских писателей <...> с современной им рукописной демократической литературой»⁴. Сосуществование двух ветвей в литературе XVIII в. сопоставимо с взаимоотношениями литературы и фольклора в средневековый период: являясь двумя относительно самостоятельными системами древнерусской словесности, они, несомненно, влияли друг на друга, хотя этот процесс поддается лишь гипотетическим реконструкциям.

Предлагаемое разделение (как, впрочем, и любая классификация) не может считаться безупречным: в рукописных списках в XVIII в. тиражировались многие произведения новой литературы, а продолжателями древнерусских литературных традиций являлись и высшие лица в церковной иерархии, сочинения которых, на наш взгляд, в рамках академического курса истории литературы должны рассматриваться отдельно.

Настоящая статья посвящена «древнерусской» (христианской, «душеполезной») рукописной литературе XVIII в. – относительно самостоятельному периоду в истории «древнерусской литературы после Древней Руси». Его самостоятельность определяется как репертуаром рукописных памятников («в списках XVIII в. представлен практически

³ См., например: *Моисеева Г. Н.* 1) Ломоносов и древнерусская литература. Л., 1971; 2) Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л., 1980; *Грачева А. М.* Алексей Ремизов и древнерусская культура. СПб., 2000. Более того, по мнению современного исследователя, само деление истории русской литературы на «древний» и «новый» периоды является весьма условным, поскольку «на протяжении последних десяти веков у нас была не столько литература, сколько христианская словесность» (*Захаров В. Н.* Русская литература и христианство // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск, 1994. Вып. 3: Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков : цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. С. 6).

⁴ *Сперанский М. Н.* Рукописные сборники XVIII века. Материалы для истории русской литературы XVIII века. М., 1963. С. 18.

весь репертуар средневековой словесности»⁵), так и все еще достаточно широким кругом читателей. В XIX–XX вв. этот круг заметно сужается и ограничивается преимущественно старообрядческой средой, что приводит к существенным трансформациям в жанровой системе и в самом содержании литературных памятников.

«Древнерусская литература после Древней Руси», включая рукописную литературу XVIII в., до сих пор не становилась предметом отдельного описания в академических изданиях «Истории русской литературы». Рукописная литература обычно рассматривалась в разделах о Петровской эпохе и о литературных течениях, «противостоящих дворянской культуре 1760-х–1780-х годов», при этом основное внимание уделялось светской рукописной повести и сатире, иногда – старообрядческой литературе⁶. Значимой попыткой осмысления интересующей нас литературы как целостного феномена можно считать завершающие серию «Библиотека литературы Древней Руси» 19-й и 20-й тома, в которых опубликованы и прокомментированы некоторые памятники XVIII–XX вв.: сочинения писателей Выговской пустыни, жития, повести, паломничества, видения, фрагменты из крестьянского дневника, старообрядческая церковная служба⁷.

Отсутствие обобщающего описания и исследования «древнерусской литературы после Древней Руси» не означает, что эта литература является в полной мере *terra incognita*. В трудах А. Н. Пыпина, В. В. Сиповского, В. Н. Перетца, В. П. Адриановой-Перетц, М. Н. Сперанского, Г. Н. Моисеевой, В. Д. Кузьминой, Ю. К. Бегунова, Н. Н. Розова, А. М. Панченко, Е. К. Ромодановской, Э. Малэк, Е. М. Юхименко и других исследователей в научный оборот введен большой круг памятников книжности, показаны основные особенности рукописной литературы XVIII в., формирование которых начиналось еще в XVII в.: проникновение фольклора, развитие биографических элементов в агиографии, появление светских произведений в составе сборников, становление художественного вымысла, но при этом усиление документализма, возрастание

⁵ История русской литературы: в 4 т. Л., 1980. Т. 1. С. 408 (глава написана А. М. Панченко и Г. Н. Моисеевой).

⁶ Обзор этих академических курсов по истории русской литературы XVIII в. см.: Бегунов Ю. К. Рукописная литература XVIII века и демократический читатель (проблемы и задачи изучения) // Русская литература. 1977. № 1. С. 127. Особо следует отметить 3-й (1941 г.) и 4-й (1947 г.) тома десятитомной «Истории русской литературы», куда включены следующие разделы: «Повести Петровского времени», «Рукописная книга и лубок во второй половине XVIII века», «Памятники крестьянской литературы», «Старообрядческая литература XVIII века».

⁷ Библиотека литературы Древней Руси / Подгот. текстов и коммент. Е. М. Юхименко. СПб., 2015. Т. 19: XVIII век; Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2020. Т. 20: XVIII–XX века.

личностного начала и т. д. Обсуждались и вопросы о соотношении и границе понятий «массовая» и «высокая», «рукописная» и «печатная» литература XVIII в., о социальном расслоении читателей в эту эпоху⁸. Исследования рукописной литературы XVIII в. выполнялись преимущественно на общерусском материале. Е. К. Ромодановская активно привлекала сибирские тексты, изучала специфику местной литературы в контексте проблемы областных литератур⁹. Л. С. Соболевой принадлежит исследование рукописной литературы Урала XVII–XIX вв.¹⁰. Основательно изучена севернорусская литература «после Древней Руси» – старообрядческая, монастырская, крестьянская¹¹. Существование разных региональных литературных традиций в конце XVII–XVIII в. – важный фактор, который необходимо учитывать в ее изучении.

Ясное представление о круге чтения непривилегированной части общества дают, конечно, сами рукописи, прежде всего сборники. Классификация рукописных сборников XVIII в. на основе более 500 рукописей из московских и петербургских хранилищ была осуществлена в 1920-е – 1930-е гг. М. Н. Сперанским¹². Исследователь разделил изученные им материалы на пять групп. К первой группе он отнес сборники, в которых представлен почти весь круг интересов читателей начала XVIII в.: от жития до бытовой сатиры и сказки с былинной, «но отзвуков современных переживаний в виде литературных произведений петровского времени» здесь еще нет. Сборники второй группы обнаруживают тяготение к занимательной повести, как древнерусской, так и переводной. Сборники третьей группы включают беллетристический материал преимущественно XVIII в., четвертой группы – тексты делового, практического, учебного характера, записи о современных событиях, политический памфлет. Эти сборники особенно тесно «связаны с передовой литературой петровской поры и второй четверти XVIII в.». Наконец, пятую

⁸ Обзор различных подходов в решении этих вопросов см.: *Бегунов Ю. К.* Рукописная литература XVIII века... С. 121–132.

⁹ См., например, ее статьи «К вопросу о региональном типе жанровой системы русской литературы XVII–XVIII вв.», «О круге чтения сибиряков в XVII–XVIII вв. в связи с проблемой изучения областных литератур», «Неизвестная повесть-сказка в рукописном сборнике XVIII в.» и др. в кн.: *Круги времен. В память Елены Константиновны Ромодановской.* М., 2015. Т. 1. С. 71–95, 259–266, 819–828 и др.

¹⁰ *Соболева Л. С.* Рукописная литература Урала: исследование традиций и обретение самобытности. Екатеринбург, 2005. Очерк 1: Рукописный облик устного слова; Очерк 2: Рукописная традиция строгановского региона.

¹¹ См.: *Юхименко Е. М.* Выговская старообрядческая пустынь: духовная жизнь и литература. М., 2002. Т. 1–2; *Власов А. Н.* Сказания и повести о местночтимых святынях и чудотворных иконах Вычегодско-Северодвинского края XVI–XVIII вв. СПб., 2011; *Пигин А. В.* Памятники рукописной книжности Олонецкого края. Петрозаводск, 2010 и др.

¹² *Сперанский М. Н.* Рукописные сборники... С. 28–47.

группу составляют поэтические сборники, включающие канты, псалмы, духовные стихи и светские песни.

В своем исследовании М. Н. Сперанский уделил большое внимание общественной среде, в которой создавался и читался сборник, но региональный аспект практически не учитывал. К тому же, в соответствии со своим пониманием истории русской литературы XVIII в., он не придавал большого значения сборникам религиозно-учительным, старообрядческим, монастырским и церковным, полагая, что они играли «незначительную роль в развитии литературы XVIII в.»¹³. Эти ограничения сужают возможности использования предложенной ученым классификации.

Рассмотрим состав рукописных сборников XVIII в. на примере одного из самых крупных собраний – Карельского собрания ИРЛИ, основу которого составляют рукописи Поморья. Из 600 единиц хранения в этом собрании более трети рукописей датируется XVIII в. Около 70 рукописей – это литературные сборники XVIII в., кроме того, отдельные рукописи XVIII в. включают только одно произведение (например, житие или повесть).

Большинство сборников XVIII в. из Карельского собрания ИРЛИ было создано в старообрядческой среде (даже если они не включают собственно старообрядческие тексты), поэтому отмеченные М. Н. Сперанским характерные для той или иной группы признаки здесь выражены крайне слабо.

Светская беллетристика представлена в Карельском собрании переводной Повестью о Калеандре и Неонильде в списке первой половины XVIII в. (Карел. 160). Это довольно объемный рыцарский роман¹⁴; тексты такого рода активно переводились на русский язык с европейских языков на рубеже XVII–XVIII вв. Интересно, что повесть не пришлась по вкусу читателю «карельского» списка, оставившему в рукописи такую запись: «Сия книга мною прочтена, а ничего блага не получено, едакая глупость была в

¹³ Там же. С. 27. В книге М. Н. Сперанского отдельно предлагается краткий обзор церковношкольных (религиозно-нравоучительных) и старообрядческих сборников XVIII в. (с. 100–122). Рассмотрение этих рукописных книг вне основной классификации сборников объясняется тем, что автор отводил им маргинальное положение в истории русской литературы XVIII в. Основное направление развития литературы в XVIII в. заключалось, по М. Н. Сперанскому, в ее неуклонном «обмирщении», а потому сборники религиозного содержания, составляющие в действительности основу русской рукописной книжности XVIII в., не укладывались в эту схему. Свой труд о сборниках XVIII в. М. Н. Сперанский создавал до археографических экспедиций на Русский Север В. И. Малышева и его учеников. Появление Древлехранилища в Пушкинском Доме в корне изменило и представления о месте поздней рукописной книги в истории русской словесности, и приоритеты в ее изучении.

¹⁴ См.: Щеглова С. А. Драма и роман о Калеандре и Неонильде // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1958. Т. 14. С. 500–503.

древние времена, а ныне все по-своему происходит» (л. 10–11, запись XVIII в.). Читатель осмыслил этот беллетристический текст в древнерусском духе: вымышленный сюжет был понят им как подлинные события «древних времен» (пусть и «глупость»), а целью чтения являлось для него получение «блага», т. е. пользы или знаний, а не развлечение и художественное наслаждение.

Условно к сборникам второй группы, по М. Н. Сперанскому, может быть отнесена рукопись № 217, состоящая из Повести о царице и львице и повестей из Звезды Пресветлой, включающей также некоторые русские богородичные легенды. Повесть о царице и львице¹⁵, как и Повесть о Калеандре восходит к западноевропейскому роману, хотя является не переводом его, а переделкой. Однако русского читателя она больше привлекала своими житийными «душеполезными» чертами, чем и объясняется большое число дошедших ее списков.

В сборнике Карельское собр., № 42 из печатных книг переписаны проповеди Феофана Прокоповича, Дмитрия (Сеченова), Платона (Левшина) и других проповедников XVIII в.

В целом же основу «карельских» сборников XVIII в. составляет древнерусская словесность: жития святых, «душеполезные» повести, слова Отцов церкви, выписки из Пролога, патериков, «Великого Зеркала» и т. д. – т. е. тот материал, который перешел сюда из сборников XVII в. и более раннего времени. В старообрядческих сборниках словесность XVIII в. представлена только сочинениями выговских авторов (Андрея и Семена Денисовых и др.), а также компиляциями из древнерусских сочинений на тему самоубийства и других актуальных для старообрядцев вопросов (Карел. 14). Прямым откликом на новшества XVIII в. являются статьи, осуждающие петровские нововведения – такие сочинения встречаются преимущественно в сборниках старообрядцев-странников конца XVIII–XIX в. Сборники пятой группы, по М. Н. Сперанскому, – поэтические – в Карельском собрании, как и в других северных собраниях, представлены преимущественно поздними стиховниками конца XVIII – начала XX в., содержащими произведения религиозной поэзии; сочинения светской поэзии в них, как правило, отсутствуют¹⁶.

Похожий состав рукописей XVIII в. характерен и для других северных регионов. Сборники второй–четвертой групп, по М. Н. Сперанскому, не представлены в Усть-

¹⁵ См.: Чалкова (Ведерникова) Т. Ф. Повесть о царице и львице // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1998. Вып. 3 (XVII в.), ч. 3: П–С. С. 231–233.

¹⁶ См.: *Filosofova T. Geistliche Lieder der Altgläubigen in Russland: Bestandsaufnahme – Edition – Kommentar.* Köln; Weimar; Wien, 2010.

Цилемском (Печорском) собрании рукописей ИРЛИ¹⁷. Согласно выводам Н. В. Савельевой, «наивысшего расцвета» рукописная традиция Пинеги достигает в первой четверти XVIII в., но, в отличие от Карелии (Поморья) и Печоры, она не связана «с движением старообрядцев, а продолжается в русле господствующей церкви»¹⁸. Литературные сборники этого времени создаются «местными священниками, иноками Веркольского монастыря и крестьянами, близкими церковным кругам». Но и эти сборники ориентированы на старину: они «сосредоточили в себе все черты древнерусской книжной и литературной традиции предшествующего периода»¹⁹. Произведения светского и учебного характера (переводные повести, выписки из учебника по географии и т. п.) встречаются в пинежских сборниках XVIII в. крайне редко.

Совсем другую картину дают сборники из богатейшего собрания А. А. Титова (ныне в РНБ), составленного им преимущественно из приобретений в Ярославской и Костромской землях. «Важной отличительной чертой собрания А. А. Титова, – считает Н. Н. Розов, – является преобладание книги для чтения, а не для богослужения, книги светского содержания»²⁰. Помимо традиционного старинного материала, собрание А. А. Титова включает различные летописцы, оригинальные и переводные произведения сатирического и басенного характера, фацеции и жарты, «повести смехотворные», романы, «гистории» петровского времени, сочинения В. К. Третьяковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, сборники юридических материалов и т. д.²¹. Конечно, наличие таких сборников в собрании А. А. Титова можно объяснить отчасти целенаправленным поиском их коллекционером. Однако очевидно, что рукописная книжность северного Поволжья XVIII в. давала для этого отбора богатые возможности.

В небольшой библиотеке строгановских крестьян Демидовых из пермского села Слудки в сборниках XVIII в. преобладают древнерусские «душеполезные» сочинения (жития, повести, апокрифы, тексты из Священного Писания и т. д.), но имеются списки переводных романов, новелл, сатир, сборник пословиц и поговорок, медицинские тексты²².

¹⁷ См.: *Мальшиев В. И.* Усть-Цилемские рукописные сборники XVI–XX вв. Сыктывкар, 1960. С. 61–101.

¹⁸ Пинежская книжно-рукописная традиция XVI–начала XX вв. Опыт исследования. Источники. СПб., 2003. Т. 1: *Савельева Н. В.* Очерк истории формирования пинежской книжно-рукописной традиции. Описание рукописных источников. С. 17.

¹⁹ Там же. С. 18.

²⁰ *Розов Н. Н.* Русская рукописная книга: этюды и характеристики. Л., 1971. С. 97.

²¹ Там же. С. 96–103.

²² *Соболева Л. С.* Рукописная литература Урала... Очерк 2. С. 179–188.

Характеристику региональных рукописных собраний можно было бы продолжить. Но уже из приведенного обзора можно заключить, что наиболее консервативны в своих литературных предпочтениях в XVIII в., если судить по составу сборников, были обитатели севернорусских окраин.

Однако при этом именно на Севере возникло и самое значимое в рукописной литературе XVIII в. явление, в котором ярко выразились новые черты, – Выговская школа.

Старообрядческий Выговский поморский монастырь был создан в 1694 г. на р. Выг в Повенецком уезде (сейчас Медвежьегорский район Республики Карелия). В 1706 г. в 20 верстах от этого места на р. Лекса возникла женская обитель. Вместе с мужским Выговским монастырем и расположенными рядом скитами они составили единое Выго-Лексинское общежительство, которое просуществовало до середины XIX в. Выговцы отказались от того непримиримого противоборства с властями и официальной церковью, которым характеризовался ранний этап старообрядчества. По словам Н. В. Понырко, «они создали на Выгу в первой половине XVIII в. как бы государство в государстве – не только с прочным экономическим и общественным устройством, но и со многими институтами духовной культуры: системой образования, книжным делом, литературой, музыкой и т. д. Это был как бы малый образец той цивилизации, которая представлялась им идеалом и которую они связывали с допетровской Россией»²³. На Выгу существовала иконописная школа, сложились свои художественные ремесленные традиции (резьба и роспись по дереву), было налажено производство медного литья. В выговских «скрипториях» («грамотных келиях») были переписаны тысячи рукописей, разошедшиеся по всей стране. Написанные особым поморским полууставом (свою «классическую» форму он приобрел к 1760-м гг.), богато орнаментированные, они легко узнаются среди рукописей других книгописных центров того же времени²⁴. Литературное наследие Выга огромно: выговцы не только собрали уникальную библиотеку, не только переписывали и редактировали древнерусские памятники, но и создали множество собственных сочинений – слов и поучений, житий, произведений исторического и полемического содержания, посланий, стихов, церковных песнопений и т. д.

В изучении выговских рукописей и литературных памятников много сделали Е. В. Барсов, В. Г. Дружинин, Н. В. Понырко, Е. М. Юхименко, Н. С. Демкова,

²³ Понырко Н. В. Эстетические позиции писателей Выговской литературной школы // Книжные центры Древней Руси: XVII век: Разные аспекты исследования. СПб., 1994. С. 104.

²⁴ См.: Неизвестная Россия: К 300-летию Выговской старообрядческой пустыни. Каталог выставки / Отв. ред. Е. М. Юхименко. М., 1994.

Н. С. Гурьянова, Р. Крамми, Г. В. Маркелов, Ф. В. Панченко, О. Д. Журавель и другие ученые. Значительный корпус литературных сочинений писателей-выговцев в настоящее время опубликован²⁵.

Согласно выводам Е. М. Юхименко, вклад которой в изучение литературного наследия Выга особенно значителен, в истории выговской литературы можно выделить четыре периода²⁶. Начальный период приходится на первую половину XVIII в.: это время обретения выговцами «культурной оседлости», становления выговской литературы и одновременно ее расцвета. Самые известные выговские произведения были созданы именно в эти годы («История об отцах и страдальцах Соловецких» и «Виноград Российский» Семёна Денисова, «История Выговской пустыни» Ивана Филиппова, «Поморские ответы», Житие Корнилия Выговского, сочинения Андрея Денисова и другие). В этот период происходило формирование жанрового репертуара выговской литературы и её стилистики. Второй период исследователь датирует 50–70-ми гг. XVIII в., когда после смерти основателей и первых настоятелей пустыни произошел некоторый спад литературной активности на Выгу. В созданных в эти годы сочинениях Василия Данилова Шапошникова содержится укор современникам, насельникам пустыни, которых автор упрекает в «засорном поведении», в упадке нравов. На 80–90-е гг. – третий период – приходится «возрождение духовной и литературной жизни киновии»²⁷. В 1780 г. настоятелем пустыни становится выходец из московской купеческой семьи Андрей Борисов, попытавшийся основать на Выгу старообрядческую академию. Андрей Борисов и Тимофей Андреев создают в эти годы жития первых настоятелей пустыни Андрея и Семёна Денисовых, что свидетельствует об «обновлении памяти о первых выговских отцах» как о «ведущем направлении духовной жизни Выга в этот период»²⁸. Новый подъем переживают историческое повествование и ораторское искусство. Последний четвертый период (первая половина XIX в., до закрытия монастыря) представлен преимущественно панегирическими словами и посланиями, главной темой которых является благодарение благодетелей пустыни (Ф. К. Долгого и представителей его рода).

Отказ от непримиримой борьбы с господствующей церковью, стремление сохранить свою культуру во враждебном мире определили большой интерес на Выгу к жанрам исторического повествования. Выговцы пытались осмыслить истоки своей

²⁵ Юхименко Е. М. Литературное наследие Выговского старообрядческого общежития. М., 2008. Т. 1–2; Библиотека литературы Древней Руси. Т. 19: XVIII век.

²⁶ Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь: духовная жизнь и литература. Т. 1. С. 11–38.

²⁷ Там же. С. 33.

²⁸ Там же. С. 34.

культуры, ее связи с прошлым. В 1710-е гг. выговский киновиарх Семён Денисов создал «Историю об отцах и страдальцах соловецких», посвящённую соловецкому восстанию 1668—1676 гг. Одна из главных идей этого сочинения – духовная преемственность Выга и других старообрядческих пустыней Севера по отношению к Соловкам. Для иллюстрации этой мысли Семён Денисов использует библейский рассказ об Авеле и Сифе. После убийства Авеля Каином у Адама и Евы родился еще один сын – Сиф, ставший праведником: «И вместо Авеля убиенаго семя правоверным Бог, Сифа, воздвизаше. Тако саждение преподобных отец Зосимы и Саватиа, изменив место отока на пустыни, паки возрастити, паки процветати, паки плодоносити небесному Делателю не престаяше»²⁹. Самым значительным памятником выговской историографии является «История Выговской пустыни», написанная Иваном Филипповым в 30-х – начале 40-х гг. XVIII в. Сочинение состоит из четырех частей и представляет собой развернутое повествование о заселении старообрядцами Обонежья в конце XVII в., об устройении пустыни, о всех сколько-нибудь значимых событиях в ее истории и о ее насельниках. Позднее, в 1760–1770-е гг., на основе «Истории...» на Выгу были составлены Выго-Лексинский летописец и свод синодичных записей о выговских отцах³⁰.

К жанрам исторического повествования на Выгу тесно примыкает агиография. Историзм, документальность, преодоление литературного этикета – характерные её черты. В 1720-е гг. инок Пахомий составил Житие Корнилия Выговского, посвящённое жизнеописанию старообрядческого святого, который поселился на месте будущей Выговской пустыни ещё в 1680-е гг. и благословил её строительство. Написанное простым языком, это Житие изобилует историческими подробностями, географическими названиями и именами. В произведении ярко представлена скитальческая жизнь святого, как будто убегающего от «никонианской ереси». Река Тотьма, Ветлужские леса, Корнилиев Комельский монастырь, Москва, Великий Новгород, Дон, Нилова пустынь, многочисленные озёра Олонецкого края, река Выг — таков далеко не полный перечень тех мест, где побывал Корнилий на протяжении своей долгой жизни (согласно Житию, он прожил 125 лет). Как справедливо отмечает исследователь Жития Д. Н. Брецинский, местами это произведение «читается как путеводитель по северным окраинам тогдашней

²⁹ Денисов С. История об отцах и страдальцах соловецких / Изд. подгот. Н. В. Поньрко и Е. М. Юхименко. М., 2002. С. 89.

³⁰ См.: Юхименко Е. М. Выго-Лексинский летописец: История текста и создания // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2006. Т. 57. С. 254–296.

России»³¹. Такой динамизм Жития роднит его с Житием протопopa Аввакума. Вместе с тем сами «герои» этих двух произведений являют собой совершенно разные типы святости. Если Аввакум непримирим в борьбе со злом, то Корнилий «не столько борется со злом, сколько, пожалуй, пытается от него уйти»³². Знаменательна в этом отношении сцена расставания Корнилия и старца Епифания, проживших два года вместе в одной келье на Кяткозере. Епифаний, будущий «соузнник» протопopa Аввакума по пустозерской ссылке, призывает Корнилия пойти в Москву защищать старую веру и пострадать «благочестия ради». Но Корнилий получает известие «от некоего»: «Не у тебе время на муки идти, мнози бо тобою спасутся и в познание истины прийти будут, и будеши отец и наставник многим ко спасению»³³. Епифаний отправляется на борьбу, на муку и на смерть, а Корнилий «уклоняется» от борьбы, потому что у него другое предназначение: он должен благословить строителей Выговской пустыни – не на смерть, а на жизнь, на сохранение своей культуры. Очевидно, что в новых исторических условиях начала XVIII в., периода компромисса старообрядчества и власти, тот тип святости, который воплощал инок Корнилий, был гораздо ближе выговцам.

На Выгу были написаны жития Кирилла Сунарецкого, старца Епифания, братьев Андрея и Семёна Денисовых и другие. Крупнейшим книжным предприятием выговцев в области агиографии явились двенадцатитомные Выговские четии минеи, изготовленные по инициативе уставщика Петра Прокопьева в 1712–1715 гг.³⁴ В 1730–1733 гг. Семён Денисов составил также обширный мартиролог «Виноград Российский», в который включил жизнеописания старообрядческих подвижников, пострадавших за «древнее благочестие».

Особенно большое внимание выговские писатели уделяли ораторским жанрам: эпидейктическому слову, поучению, проповеди. Своими духовными учителями они считали идеологов раннего старообрядчества (протопopa Аввакума и других), но в эстетическом отношении их литература в корне отличается от раннестарообрядческих сочинений. Как пишет Н. В. Поньрко, «если для направления Аввакума литературное умствование – грех и пагуба (Аввакум: “Не ищите риторики и философии, ни

³¹ *Брежнинский Д. Н.* Житие Корнилия Выговского как литературный памятник и его литературные связи на Выгу // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1979. Т. 33. С. 132.

³² Там же.

³³ *Брежнинский Д. Н.* Житие Корнилия Выговского пахомиевской редакции (тексты) // Древнерусская книжность. По материалам Пушкинского Дома. Л., 1985. С. 85.

³⁴ См.: *Юхименко Е. М.* Четии Миней братьев Денисовых: Новые находки // Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации. СПб., 2011. Т. 2. С. 302–308.

красноречия”), то для выговских писателей оно благо»³⁵. На рубеже XVII–XVIII вв. ораторское искусство переживало в России расцвет. Выговские писатели усвоили господствующий риторический склад литературных сочинений этого времени, стали учениками своих идейных противников (Стефана Яворского, Дмитрия Ростовского, Феофана Прокоповича и других). На Выгу были известны все учебники риторики, созданные к 1720–1730-м гг. По этим риторикам они учились словесному искусству, а в 1730-е гг. на их основе составили собственную риторику – Риторику-свод³⁶. Необыкновенная пышность формы, «извитие» словес, синтаксическая усложненность, использование сложных (с несколькими основами) слов («люботоржественный», «празднолюбный», «каменносердечный» и т. п.) — такими особенностями характеризуются выговские ораторские сочинения. Риторически украшенными могли быть на Выгу и исторические сочинения, и жития святых, и послания (см., например, Житие Корнилия Выговского в редакции Трифона Петрова, «Историю об отцах и страдальцах соловецких», особенно в заключительной ее части). Литературный стиль выговских писателей традиционно характеризуется в науке как барочный. Е. М. Юхименко предлагает использовать термин «выговский вариант барокко», рассматривая его как рецепцию московского барокко XVII в.³⁷.

Ораторские сочинения выговских писателей могут быть разделены по своему содержанию и функциям на несколько групп. Одну из них составляют торжественные слова на церковные праздники и в честь святых (Зосимы и Савватия Соловецких, Александра Свирского, Александра Ошевенского, «каргопольских чудотворцев»). Поскольку у старообрядцев-беспоповцев церковная служба вынужденно сокращалась, эти слова были призваны обеспечить ее полноту. Высокого искусства в жанре торжественного слова достигли Андрей и Семён Денисовы, Трифон Петров, Иван Филиппов, Алексей Иродионов, Андрей Борисов. В торжественных словах раскрывается символическое значение праздника, прославляется соответствующее библейское событие, содержится обращенное к святому прошение. В 1730-е гг. на Выгу был составлен Поморский Торжественник, который редактировался в 1740-е гг., пополнялся новыми словами.

³⁵ *Поньрко Н. В.* Эстетические позиции писателей Выговской литературной школы // Книжные центры Древней Руси: XVII век: Разные аспекты исследования. С. 104.

³⁶ См.: *Поньрко Н. В.* Учебники риторики на Выгу // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1981. Т. 36. С. 154–162. Одна составленная на Выгу риторика имела ложное указание на авторство Феофана Прокоповича (см.: *Николаев С. И.* О старообрядческой переработке «Риторики» Феофана Прокоповича // XVIII век. СПб., 2020: Сб. 30: А. П. Сумароков и русская литература его времени. С. 214–220).

³⁷ *Юхименко Е. М.* Литературное наследие Выговского старообрядческого общежития. Т. 1. С. 18.

Другая группа слов посвящена прославлению христианских добродетелей, идеалов пустынножительного жития («Слово о покаянии», «Слово о добродетели» Семёна Денисова и другие). Традиция почитания наставников, основателей Выговской пустыни и первых её руководителей, выразилась в составлении разнообразных слов в их честь. Старообрядческие авторы писали слова на день тезоименитства своих учителей (поздравительные слова), слова надгробные, воспоминательные. В этих сочинениях они выражали свою любовь к наставникам, перечисляли их заслуги и добродетели, обещали следовать их заветам. Некоторые слова посвящены благодетелям Выговской пустыни (А. Н. Демидову, Ф. К. Долгому) и родственникам выговских писателей. В 1750 г. жительницей Лексинской обители Февронией Семёновой было написано надгробное слово её двум братьям Ивану и Гавриилу. В этом сочинении соединяется поэтика надгробного слова, покаянных стихов и народных причитаний. Феврония обращается к Сибири «свирепоименной», где умерли ее братья, к смерти «всежадной», к гробу «претемному», она сетует и тоскует, не может пережить разлуку: «О, кому возвещу моя болезни и кто утолит и чем терзаемую мою утробу! Кто ли отраду мне подаст несносныя моя тоски разумением! О, увы мне, како надежда моя изничтожится возжела!»³⁸. Удивительно эмоциональное и совершенное по художественной форме, это слово вызывает ассоциации с плачами заонежской крестьянки Ирины Федосовой. Слова писались также на различные знаменательные события в жизни Выговской пустыни. Таковы, например, слова Андрея Борисова по случаю восстановления построек на Выге после пожаров. Ораторское искусство тесно связано на Выгу с эпистолярным жанром: некоторые слова оформлялись как послания, а послания в свою очередь писались обычно по всем правилам риторики³⁹.

На Выгу было развито также стихотворство. Во второй половине XVII в. благодаря польско-украинскому влиянию в России утвердилась силлабическая система стихосложения, в литературный обиход вошли вирши. Крупнейшими поэтами второй половины XVII – начала XVIII в. являлись идейные противники старообрядцев Симеон Полоцкий, Стефан Яворский, Димитрий Ростовский, Феофан Прокопович и другие. Ориентация на литературу столичного барокко XVII–XVIII вв. выразилась на Выгу и в освоении силлабической поэзии. Выговцы писали стихотворные послания, приветствия, поздравления, надгробные плачи, предисловия к книгам. Некоторые стихи

³⁸ Там же. Т. 2. С. 173.

³⁹ Подробнее см.: Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь: Духовная жизнь и литература. Т. 1. С. 114–171, 357–407.

предназначались для пения, в рукописях их текст сопровождается крюковой нотацией⁴⁰. В стихах широко использовался акrostих («краегранесие»). Иногда стихотворные фрагменты включались в прозаические сочинения (например, в «Историю об отцах и страдальцах соловецких» Семёна Денисова). Сведения о выговской поэзии, «о том, кто и когда сочинял на Выгу стихи, остаются весьма скудными»⁴¹. Известно, что стихи писали братья Денисовы. Семёну Денисову принадлежит, например, «Стих надгробного плача» по Андрею Денисову. В 1730 г. постница Марина (в миру Марфа Лукина) также сочинила стихотворный плач об Андрее Денисове «Стих печаль поет постница Марина, отцеви плачь глашает зде едина». Михаил Вышатин написал стихотворные предисловия к своему трактату «Бисер драгоценный» (1729 г.). Силлабическая форма сохранялась на Выгу и во второй половине XVIII–XIX в., уже после реформы В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова в области стихосложения. Если в начале XVIII в. выговская поэзия соответствовала общероссийским литературным вкусам, то во второй половине того же века она уже воспринималась как архаическая⁴².

Кроме собственно литературных сочинений, выговская книжность представлена и богословско-полемическими произведениями, чинами, правилами, уставами для Выговского монастыря. Самым известным полемическим сочинением Выга являются «Поморские ответы», составленные в 1722–1723 гг. коллективом авторов во главе с Андреем Денисовым. Произведение содержит ответы на 106 вопросов, предложенных старообрядцам для полемики посланным из Синода иеромонахом Неофитом. В «Поморских ответах» подробно рассмотрены различия между старыми и новыми обрядами и богослужебными книгами, разоблачены подделки, на которые пошла господствующая церковь для борьбы со старообрядцами – «Соборное деяние на еретика Мартина Армянина» и «Требник митрополита Феогноста». Целый ряд сочинений выговцев посвящен полемике с представителями других старообрядческих согласий – с филипповцами и федосеевцами.

Соборные постановления и правила внутреннего распорядка Выговской общины изложены в «Выгорецком Чиновнике» (ИРЛИ, колл. И. Н. Заволоко, № 3). Эта рукопись

⁴⁰ См.: *Панченко Ф. В.* О выговских стихах виршевого склада с напевами // Святые и святыни Обонежья: Материалы всероссийской научной конференции «Водлозерские чтения – 2013», посвященной 380-летию со дня преставления святого преподобного Диодора Юрьегорского, основателя Троицкого монастыря в Водлозерье (2–4 сентября 2013 года). Петрозаводск, 2013. С. 215–224.

⁴¹ *Маркелов Г. В.* Писания выговцев. Каталог-инципитарий. Тексты. По материалам Древлехранилища Пушкинского Дома. СПб., 2004. С. 300.

⁴² См.: *Поньрко Н. В.* Выговское силлабическое стихотворство // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1974. Т. 29. С. 274–290.

была составлена на Выгу в 1740-е гг., она включает 67 документов 1702–1742 гг. «Выгорецкий Чиновник» – одна из самых ценных выговских рукописей, поскольку содержит автографы крупнейших выговских писателей и настоятелей общежительства Андрея и Семёна Денисовых, Даниила Викулина, Петра Прокопьева, Мануила Петрова и других. Среди уставных документов «Выговского Чиновника» – правила о постах, исповеди, имуществе и одеждах, отхожих службах, обучении грамоте, должностные инструкции скитским старостам, келарю, казначею и многочисленные другие. «Выговский Чиновник» является монастырским уставом нового типа, созданным специально для беспоповской киновии и совместившим организационные принципы древнерусских монастырей и крестьянских общин⁴³.

Перепиской книг и литературной деятельностью занимались старообрядцы и в других местах (Великопоженский скит на Пижме, Стародубье, Ветка, Иргиз, Керженец, Сибирь, Москва и Петербург и т. д.). Однако именно Выго-Лексинское общежительство, основанное в глухих лесах Обонежья, на протяжении полутора веков являлось крупнейшим оплотом «древлего благочестия» в России, центром книжности и искусства — «староверческими Афинами»⁴⁴. Феномен Выга – в уникальном и очень органичном сочетании литературных новаций и старины.

К некоторым другим памятникам старообрядческой литературы XVIII в. обратимся далее.

В монастырях, находившихся под управлением господствующей церкви, в конце XVII–XVIII в. не было столь значимых для истории книжности и рукописной литературы центров, каким являлся старообрядческий Выг. Политика Петра I в отношении монастырей, а позднее монастырская реформа Екатерины II привели к утрате русскими обителями своего бывшего культурного значения. К тому же монастырская книжность XVIII в. изучена в настоящее время мало, исследователей по понятным причинам привлекали более ранние периоды ее истории. В монастырях в XVIII в. по-прежнему занимались и перепиской книг, и созданием новых и редактированием древних сочинений (некоторые факты будут отмечены ниже), но книгописная и литературная деятельность здесь уже не имела таких масштабов, как в древнерусский период. Древние рукописные книги вывозились из монастырей в Москву, Петербург и епархиальные центры,

⁴³ См.: *Маркелов Г. В.* Выгорецкий чиновник. СПб., 2008. Т. 2: Тексты и исследование.

⁴⁴ *Андрей Борисов.* Предисловие к сборнику выговских полемико-догматических сочинений // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 19: XVIII век. С. 514.

соотношение рукописных и печатных книг в монастырских библиотеках неуклонно менялось в пользу последних⁴⁵.

На Севере развитию книжности на рубеже XVII–XVIII вв. способствовал первый архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий (Любимов) (1641–1702) – широко образованный человек, владевший греческим, латинским и немецким языками, сторонник петровских преобразований. Афанасий был основателем библиотеки при архиерейском доме в Холмогорах, автором ряда богословских, полемических и исторических сочинений. В архиерейском доме Афанасием была организована работа по переписке книг, часть из которых по его повелению присылалась с этой целью из северных монастырей. Переписка книг поручалась здесь, согласно выводам М. В. Кукушкиной, «не профессионалам-писцам, а искусным и грамотным служителям, скорее всего дьякам-делопроизводителям, которые занимались книгописанием, имея и другие обязанности»⁴⁶. Исследование почерков, переплетов, оформления, бумаги и записей в рукописях, вышедших из-под пера этих писцов, позволяет говорить об особой книгописной школе Афанасия Холмогорского. Архиерей сам наблюдал за работой своих писцов, придавал большое значение качеству – древности и исправности – копируемых списков, а также четкости почерков и соблюдению правил орфографии. Новаторская – ученая – черта этой школы заключается в выборе списков литературного памятника для копирования в результате их тщательного текстологического анализа. В этом отношении школа Афанасия Холмогорского близка Выговской старообрядческой школе. Книгописная школа Афанасия Холмогорского оказала «влияние на развитие севернорусской рукописной книжности в целом»⁴⁷, а в частности – на скорописные почерки многих севернорусских рукописей конца XVII–XVIII в., отличающиеся каллиграфическим изяществом.

В XVIII в. продолжилось формирование местных литературных очагов – начало этого процесса приходится на период после Смутного времени. Во многих регионах создаются жития местночтимых святых, повести о чудотворных иконах и о монастырях, местные летописцы. Писатели-«краеведы» в новой реформирующейся России пытались запечатлеть в литературной форме сакральную историю своей земли (села, города, монастыря и т. д.), нередко обращаясь при этом к фольклорным преданиям.

⁴⁵ См.: *Луппов С. П.* Книга в России в первой четверти XVIII века. Л., 1973. С. 277–284.

⁴⁶ *Кукушкина М. В.* Монастырские библиотеки Русского Севера: Очерки по истории книжной культуры XVI–XVII веков. Л., 1977. С. 196.

⁴⁷ Там же. С. 197.

В целом агиографическое творчество в XVIII в. уже не имело такого значения в истории русской литературы, как в XVII, а тем более в XV–XVI вв.: в синодальный период крайне редки были канонизации, а в отношении к культам святых преобладал скепсис, порожденный новым рационалистическим мышлением («в XVIII веке чаще деканонизировали святых»⁴⁸). Агиография становится в значительной мере частью литературного «краеведения». К таким памятникам локальной агиографии относятся, например, жития тотемских святых Андрея и Максима Тотемских (в последнем случае только чудеса), Сказание об Иоанне и Иакове Менюшских, Сказание о Казанской иконе Божией Матери в Каргополе; литературный цикл, посвященный Заоникиевской пустыни близ Вологды; Сказание о иконе Троицы Соезерской пустыни (редакция с чудесами начала XVIII в.); Повесть об основании Голгофо-Распятского скита на Анзерском острове; Чудеса Параскевы Пиринемской на Пинеге, безымянного Сумского чудотворца, Пахомия Кенского и другие. Индивидуальные особенности каждого из этих сочинений не мешают выделить и некоторые их типовые черты.

Как правило, это небольшие по объему памятники, написанные простым, без риторических украшений языком. Древнерусский принцип абстрагирования уступает здесь место фактографической точности, ориентации на документ. Как и в древнерусский период, агиографы XVIII в. пытаются порой объединить сочинения, посвященные одной святыне или одной местности, в некие циклы. «Монографические» сборники⁴⁹ Древней Руси включали обычно службу святому, житие с посмертными чудесами, похвальное слово и молитвы. В XVIII в. цикл получает расширение за счет разнообразных других текстов. Так, круг сочинений о Заоникиевской пустыни составляют не только Слово на память чудотворца Иосифа (основателя пустыни) и Сказание о местной иконе Богоматери, но и рассказ о посещении монастыря Вологодским епископом Павлом в 1717 г. Сказание о Казанской иконе Божией Матери в Каргополе дополнено в рукописях двумя посланиями об этой иконе новгородского митрополита Иова – архимандриту Спасо-Преображенского каргопольского монастыря Иоакиму и «гражданам каргопольским» (1714 г.)⁵⁰.

⁴⁸ Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 233.

⁴⁹ Под «монографическим агиографическим сборником» понимается «рукописный комплекс текстов (Житие, Служба, Похвальное слово и др.), посвященных одному святому» (Карбасова Т. Б. Монографический агиосборник как тип (на примере сборника, посвященного Кириллу Новозерскому) // Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации. СПб., 2011. Т. 2. С. 240).

⁵⁰ См.: Материалы для истории Олонецкой епархии: Акты, хранящиеся в Каргопольском Христорожественском соборе (1714 г.) // Олонецкие губернские ведомости. 1877. № 93. С. 1074–1075; № 95. С. 1095–1097.

На Соловках в XVIII в. велась работа по объединению в сборники рукописных памятников, посвященных соловецким святым. В 1703 г. ссыльный чудовский дьякон Иов составил сборник «Сад спасения», в который вошли Жития Зосимы и Савватия Соловецких, в том числе Вишневая редакция, Повесть о Германе Соловецком, изложение житий других соловецких святых в Предисловии, службы и похвальные слова. На протяжении XVIII в. «Сад спасения» несколько раз редактировался, и некоторые из перечисленных текстов вошли в сборник в процессе его переработки. Особенностью этого сборника, отличающей его от «житийников» древнерусского периода, является отчетливая ориентация на барочную поэтику в построении текста. По мнению О. В. Панченко, «Сад спасения» – это агиографический вариант сборника «литературного сада», построенного по типу антологии. Предисловие к сборнику написано в традиционном для Петровской эпохи жанре панегирика. Используемые в нем поэтические символы («солнца», «небесных светил», «многомятежного моря») и усложненный синтаксис также свидетельствуют об ориентации автора на литературную традицию барокко. Один из списков сборника, 1711 г., украшен, в барочном духе, 275-ю миниатюрами⁵¹.

Почитание некоторых святых и святынь, которым посвящены сказания, принадлежит области народного православия, тексты близки фольклорной культуре, чудесное совмещается с повседневным и бытовым. По наблюдениям А. Н. Власова, в Сказании о иконе Троицы Соезерской пустыни Троица воспринимается как «антропоморфное женского рода существо»⁵². В этом же произведении содержится чудо (1718 г.) о наказании человека, положившего во уста перед посещением святыни «треклятую траву табаку»⁵³. Характерный мотив – запрет на матерную брань, с которым к персонажам произведений, как правило, обращается Богородица. Так реализуется народное представление о матерной брани как об оскорблении трех матерей – родной матери, матери-земли и Пресвятой Богородицы (ср. в «Поучении о лаи матерной»)⁵⁴.

Необычная история составляет содержание Сказания об Иоанне и Иакове Менюшских: два брата – пятилетний Иоанн и трехлетний Иаков – увидели однажды, как их отец убил «себе на пищу единого барана»; приняв это за игру, дети решили «сотворить

⁵¹ См.: *Панченко О. В.* Книга «Сад спасения» – соловецкий агиографический свод переходной эпохи: История текста // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб. Т. 69 (в печати).

⁵² *Власов А. Н.* Сказания и повести о местночтимых святым и чудотворных иконах Вычегодско-Северодвинского края XVI–XVIII вв. СПб., 2011. С. 308.

⁵³ Там же. С. 336.

⁵⁴ См.: *Буланин Д. М.* Поучение о матерной брани // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 2004. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 4: Т–Я. Дополнения. С. 535–539.

такожде, якож и отец»; старший брат убил младшего и, испугавшись, спрятался в печи; родители затопили печь, и Иоанн задохнулся от дыма. Тела обоих братьев оказались нетленными; после их похорон гробики с их телами явились на заболоченном озере. На месте нового захоронения построили часовню, богомольцы стали получать здесь исцеление от болезней. Событие произошло в 1569/1570 г. в окрестностях Новгорода (деревня Менюша), Сказание было написано в XVIII в., а сам культ братьев сохранился до наших дней. Сказание является одной из версий международного фольклорного сюжета (ATU 1343*)⁵⁵, в которой оказался запечатлен сложный комплекс крестьянских верований⁵⁶.

Приметы XVIII в. иногда проявляются в использовании мотивов, имеющих, вероятно, западноевропейское происхождение. Так, по мнению Д. М. Буланина, восхождение на гору Голгофу иеросхимонаха Иисуса в Повести об основании Голгофо-Распятского скита (1713–1715 гг.) «весьма символично и заставляет вспомнить подвижников католического мира»; этот нюанс указывает на то, что повесть «была составлена в эпоху приобщения России к западноевропейской культуре»⁵⁷.

Несколько особняком среди памятников агиографии XVIII в. стоит Житие Димитрия Ростовского. Святитель Димитрий был единственным святым, удостоенным в XVIII в. общерусской канонизации. В деле его церковного прославления принимала участие императрица Елизавета Петровна, Житие было написано митрополитом Ростовским и Ярославским Арсением (Мацеевичем) в 1757–1758 гг. и выслано им для рассмотрения в Святейший Синод, хотя, видимо, не рассматривалось здесь⁵⁸. И сам агиографический персонаж, и автор Жития принадлежат к высшим церковным кругам, что определяет и высокий статус самого текста. Житие, как отмечает М. А. Федотова, написано в соответствии с агиографическим каноном: в нем воспроизводятся житийные топосы, имеются рассказ о совершенном Димитрием чуде и заключительная похвала (в этом качестве используется стихотворная эпитафия Стефана Яворского). Однако отличия Жития от средневековых агиографических памятников значительны: автор включил в

⁵⁵ The Children Play at Hog-Killing (То же: СУС 939В*).

⁵⁶ См.: *Панченко А. А.* Иван и Яков – необычные святые из болотистой местности. «Крестьянская агиология» и религиозные практики в России Нового времени. М., 2012.

⁵⁷ *Буланин Д. М.* Повесть о основании Голгофо-Распятского скита // *Словарь книжников и книжности Древней Руси.* СПб., 2004. Вып. 3 (XVII в.), ч. 4: Т–Я. Дополнения. С. 522. Ср. также с широко распространенной в католическом мире традицией паломничеств, повторяющих Крестный путь Христа, на святые возвышенности с установленными на них кальвариями.

⁵⁸ См.: *Федотова М. А.* Святитель Димитрий Ростовский: Житие, Служба, чудеса: (Исследование и тексты). СПб., 2022. С. 61.

текст в полном объеме сочинения св. Димитрия (его речь перед жителями Ростова и послание монахине Варсонофии), наполнил «текст фактами, соответствующими реальной исторической ситуации»⁵⁹; новой для русской агиографии является и трактовка христианского подвига святого – просветительская и писательская деятельность. Позднее еще одно Житие св. Димитрия было написано представителем княжеского рода Я. А. Татищевым, оно было издано в качестве приложения к Собранию сочинений Димитрия Ростовского (1786 г.). В этом тексте «содержится не только описание жизни святого, добродетельной и богоугодной, но еще и биография известного и признанного уже в свое время писателя и проповедника, т. е. перед нами уже совсем не средневековое житие, а агиографический памятник Нового времени, близкий к новому жанру — жанру биографии»⁶⁰. В XVIII в. были созданы и другие агиографические и гимнографические сочинения, посвященные св. Димитрию⁶¹.

В XVIII в. не прекращается редактирование древнерусских житий святых. В это столетие были созданы новые редакции Жития Арсения Тверского, Жития Михаила Тверского (редакции архимандрита Макария (Пётровича))⁶², пять новых редакций Жития Александра Невского, «Северные» редакции Жития Варлаама Важского⁶³, Вторая редакция Жития Филиппа Ирапского⁶⁴, Троицкая редакция Жития псковского князя Всеволода-Гавриила⁶⁵, краткая редакция Жития Диодора Юрьегорского, пространная редакция Жития Илариона Суздальского, Историческая и Виршевая редакции Жития Антония Сийского⁶⁶, «Украшенная» редакция Жития Александра Свирского, редакция с

⁵⁹ Там же. С. 72.

⁶⁰ Там же. С. 97.

⁶¹ Все они исследованы и опубликованы в вышеупомянутой книге М. А. Федотовой.

⁶² См.: *Семячко С. А.* Житие как жанр литературы XVIII в.: (Агиографическое творчество архимандрита Макария) // *О древней и новой русской литературе.* СПб., 2005. С. 238–250. В данном случае, как считает автор этой статьи, можно даже говорить не о редакциях, а о новых житиях, хотя Макарий опирался на древнерусские версии житий Арсения и Михаила Тверских.

⁶³ См.: *Рыжова Е. А.* Житие Варлаама Важского (Пинежского) в рукописно-книжной традиции XVI–XIX вв. // *Русская агиография: Исследования. Публикации. Полемика.* СПб., 2005. С. 615–647.

⁶⁴ См.: *Крушельницкая Е. В.* Житие Филиппа Ирапского: Вторая редакция (публикация текста) // Там же. С. 648–666.

⁶⁵ См.: *Охотникова В. И.* Поздние редакции Жития псковского князя Всеволода-Гавриила // Там же. С. 694–743.

⁶⁶ См.: *Рыжова Е. А.* Антониево-Сийский монастырь. Житие Антония Сийского. Книжные центры Русского Севера. Сыктывкар, 2000. С. 173–195.

85 чудесами Жития Артемия Веркольского⁶⁷, новый вариант Основной редакции Жития Кирилла Новоезерского с сопровождающими его новыми текстами о святом (лицевой «Кирилловский сборник»)⁶⁸, новая редакция Жития Иродиона Илоезерского (автор – Кириак Ястребенский) и многие другие. Редактирование могло заключаться в добавлении новых чудес, но иногда приводило к существенной перестройке всего текста, причем как к его сокращению, так и распространению за счет дополнительных эпизодов и «украшению».

В некоторых агиографических сочинениях и новых редакциях XVIII в. нашли отражение значимые исторические события этого времени. Так, в одной из редакций Сказания о явлении и о чудесах Вассиана и Ионы Пертоминских – соловецких иноков, утонувших в Унской губе Белого моря в 1566 г. и ставших объектом почитания, повествуется о посещении Пертоминского монастыря Петром I во время его путешествия из Архангельска на Соловки в 1694 г. Событие было осмыслено как чудо, поскольку корабль царя нашел укрытие от шторма в Унской губе. В благодарность Вассиану и Ионе за спасение от потопления царь повелел освидетельствовать мощи святых и положить их в новый гроб. Пертоминскому монастырю были даны денежные средства на благоустройство, а на том месте, где корабль царя пристал к берегу, Петр I установил деревянный крест, изготовленный собственными руками. Одним из источников этого рассказа о посещении царем Пертоминского монастыря послужило сочинение, приписываемое Афанасию Холмогорскому, о путешествиях Петра I из Москвы к Архангельску⁶⁹. Выполняющий в Сказании функцию посмертного чуда святых, этот рассказ больше напоминает историческое сочинение. В Житие Александра Невского и в Службу святому в XVIII в. были внесены изменения, «устанавливающие связь святого князя с победами Петра и заключенным вечным миром со Швецией»⁷⁰. В одном из

⁶⁷ См.: *Дмитриев Л. А.* Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. Эволюция жанра легендарно-биографических сказаний. Л., 1973. С. 253.

⁶⁸ См.: *Карбасова Т. Б.* Кирилл Новоезерский: история почитания: Исследование и тексты. М.; СПб., 2011. С. 103 и далее.

⁶⁹ См.: *Белоброва О. А., Симонов А. Н.* Сказание о явлении и о чудесах Вассиана и Ионы Пертоминских // *Словарь книжников и книжности Древней Руси.* СПб., 1998. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 3: П–С. С. 454–457; *Рыжова Е. А.* Поморский список Пространной редакции Сказания о Вассиане и Ионе Пертоминских // *Вестник Сыктывкарского университета. Серия гуманитарных наук.* 2019. Вып. 3 (11). С. 126–149.

⁷⁰ *Наумов А. Е.* Святость в эпоху Петра Первого // *Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации.* СПб., 2011. Т. 2. С. 608.

поздних посмертных чудес Сергия Радонежского (1701 г.) повествуется о том, как святой запретил переплавлять на металл для пушек колокола из своей обители на нужды армии⁷¹.

Примечательно появление на рубеже XVII–XVIII вв. виршевых переложений житий (Антония Сийского, Никодима Кожеозерского, Логгина Коряжемского и др.), созданных под влиянием русской силлабической поэзии второй половины XVII в. (Симеон Полоцкий и др.)⁷². В «Украшенной» редакции Жития Александра Свирского виршами переложена только одна глава – послесловие автора Жития игумена Иродиона и добавлены стихотворное предисловие («Краегранесие») и акrostих – своеобразная стихотворная подпись к «Сказанию на преставление» Александра Свирского. Стилистической обработке – «украшению» – подвергся и язык этой редакции, что вместе с роскошными миниатюрами в некоторых списках позволяет говорить о традициях барочной культуры. По мнению А. Е. Соболевой, образцом для новой редакции Жития и стихотворных украшений послужило печатное издание «Повесть о Варлааме и Иоасафе» (М., 1681) со стихотворными текстами Симеона Полоцкого. Автором «Украшенной» редакции Жития и стихотворных включений А. Е. Соболева считает архимандрита Александро-Свирского монастыря Исайю (1705–1708 гг.), но допускает, что «Краегранесие» было написано книжником того же монастыря иноком Иоасафом (см. о нем далее)⁷³.

Сохраняя в целом традиционное отношение к агиографии, книжники конца XVII–XVIII в. в то же время могли использовать житийную топику в художественных целях. Яркий пример – одна из поздних редакций («Римская» редакция) Повести о бесноватой жене Соломонии, созданной в Великом Устюге в 1670-е гг. как рассказ о посмертном чуде местных святых Прокопия и Иоанна. Известная в двух списках второй половины XVIII в. «Римская» редакция представляет собой попытку написания жития главной героини, на что указывает и заглавие: «Выписано из Римскаго летописца. Житие преподобныя матере нашае Соломонии, како выгнаша из нея нечистых демонов Прокопий, Иоан, устюжски чудотворцы». Жертва демонических сил, дочь устюжского попа Соломония превращается в этой редакции в жительницу Рима, а потом в святую игуменью монастыря, от мощей которой после ее смерти творятся чудеса. Редактор создал житие заведомо не

⁷¹ См.: Белоброва О. А. Чудо 1701 г. с колоколами Троице-Сергиева монастыря // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1971. С. 302–311.

⁷² См.: Рыжова Е. А. Виршевые редакции севернорусских житий // Русская агиография: Исследования. Публикации. Полемика. СПб., 2005. С. 195–235.

⁷³ Соболева А. Е. «Сия вирши изложенныя до читателя» в Житии прп. Александра Свирского XVIII века // Учен. зап. Петрозаводского государственного университета. 2022. Т. 44, № 5. С. 97–104.

существующей «святой», что свидетельствует о проникновении агиографии в область беллетристики, художественного вымысла⁷⁴.

В XVIII в. повесть продолжает занимать в жанровой системе рукописной литературы одно из главных мест. В древнерусской литературе «повестями» могли быть названы произведения разных жанров – жития святых, летописи и т. д., но достаточно рано, уже в домонгольский период, повесть появляется и как самостоятельный жанр. Расцвет жанра приходится на XVII век; развитию повести способствовали в этот «переходный» период переводы западноевропейских рыцарских романов и новелл (фацеций), крупных сборников религиозно-назидательных «прикладов» и легенд: «Римские Деяния», «Великое Зерцало», «Звезда Пресветлая». В XVII веке были созданы такие шедевры древнерусской литературы как Повесть о Савве Грудцыне, запечатлевшая трагический разрыв поколений в этот «последний» век Древней Руси, и Повесть о Горе-Злочастии, «иллюстрирующая мысль о несчастной судьбе людского рода»⁷⁵.

XVIII век унаследовал все разновидности повести, которые были известны в русской литературе к XVII веку. В этот период переписываются и редактируются повести более раннего времени, некоторые из них сохранились только в списках XVIII в. (например, уже упомянутые повести о Савве Грудцыне и Горе-Злочастии). Большой популярностью у читателей пользовалась светская беллетристика, хотя, как было показано выше, на Севере ее читали меньше, чем в других регионах. В Петровскую эпоху создаются «гистории» (о Василии Кориотском, кавалере Александре и др.), представляющие собой подражания западноевропейским рыцарским романам и авантурным повестям. Число подобных произведений неуклонно растет в течение всего XVIII века, их поэтика формируется под влиянием европейских романов, которые переводятся в большом количестве, древнерусских воинских повестей и фольклора (былин и сказок) («Гистория о французской королевне Фларенте и о королевиче Георгии Италианском и о протчих малтийских ковалерах», «Гистория королевича Архилабона», «Гистория о царевиче Ярополе» и др.). Новеллистическая литература XVIII в. представлена небольшими развлекательными повестями («Повесть чудная, како жена избавила мужа от смерти», «Повесть об Аквитане» и др.), стихотворными жартами, литературным анекдотами, источниками для которых служили народные сказки,

⁷⁴ См.: *Пигин А. В.* Из истории русской демонологии XVII века: Повесть о бесноватой жене Соломонии: Исследование и тексты. СПб., 1998. С. 57–62.

⁷⁵ *Лихачев Д. С.* Жизнь человека в представлении неизвестного автора XVII века // Повесть о Горе-Злочастии / Изд. подгот. Д. С. Лихачев, Е. И. Ванеева. Л., 1985. С. 92.

европейские новеллы, басни Эзопа и др.⁷⁶. Находит свое продолжение и традиция, идущая от демократической сатиры XVII в. Сатирически окрашенными являются, например, «Повесть Пахринской деревни Камкина» и «Сказание о деревне Киселихе» – произведения крестьянского автора, как полагал их издатель В. Ф. Ржига⁷⁷. Некоторые сатирические рукописные повести XVIII в. напоминают по своей пародийной стилистике статьи в сатирических журналах Н. И. Новикова⁷⁸. В рукописях XVIII в. исследователями выявлено также много различных «разговоров», басен, памфлетов, стихотворных сатир, в которых обличаются жестокосердные и скупые помещики, вороватые судьи, нечестивые попы.

Однако «господствующий дух древнерусской литературы» (Н. В. Понырko) воплотился в XVIII в. не в светской беллетристике и сатире, а в «душеполезных» повестях. Легендарно-нравоучительные повести этого времени изучены гораздо хуже, чем, например, сатиры. Помимо идеологических причин, определявших предпочтения исследователей в XX в., есть и еще одна: оригинальные «душеполезные» повести сложнее выявить в рукописях, поскольку они могут «маскироваться» под переводы или древние тексты⁷⁹, имеют нередко ложные отсылки к сборникам, из которых якобы выписаны, воспроизводят бродячие сюжеты и мотивы. Анонимные, лишенные зачастую исторических примет, эти тексты трудно поддаются датировке. Памятники, сохранившиеся только в рукописях XVIII в., исследователи датируют обычно в широком диапазоне с конца XVII в. до времени изготовления раннего списка. Источниками для легендарно-нравоучительных повестей служили патерики и переводные сборники XVII в., фольклорные легенды и сказки.

Представим некоторые повести, отнесение которых к XVIII в. основано на датировке самых ранних или единственных списков.

⁷⁶ См.: Малёк Э. Разыскания по русской литературе XVII–XVIII вв.: Забытые и малоизученные произведения. СПб., 2008. С. 5–261.

⁷⁷ Ржига В. Крестьянские повести XVIII века // Литературное наследство. М., 1933. Т. 9/10. С. 99–105.

⁷⁸ См.: Розов Н. Н. «Гистория о купце», неизвестный памятник посадской сатирической литературы XVIII века // XVIII век. М.; Л., 1958. Сб. 3. С. 440–448.

⁷⁹ Так, Е. К. Ромодановская, изучившая и опубликовавшая русское «Слово о судьбах Божиих, яко небо и земля мимоидет, а словеса моя не имут преитти» (XVIII в.), уверена в том, что этот «оригинальный текст, несущий следы индивидуального авторства, не был замечен никем из ученых» из-за своего заглавия, «под каким в древнерусских рукописях обычно читается поучение о Божием всеведении» (Ромодановская Е. К. Неизвестная повесть-сказка в рукописном сборнике XVIII в. // Круги времен: В память Елены Константиновны Ромодановской. Т. 1. С. 259).

В единственном списке второй четверти – середины XVIII в. сохранилось «Сказание о богатом купце»⁸⁰, в основу которого положен мировой легендарно-сказочный сюжет, получивший на восточнославянской почве название «Марко Богатый» (АТУ 461, 930; СУС 461=930): богатому человеку (Марко, Онике, безымянному купцу, барину, царю и т. д.) предсказано, что его зятем и наследником станет сын бедных родителей; он пытается погубить отрока, но предсказание сбывается. В роли «Марко» здесь выступает богатый купец Бендер из «града Вавилона», которому изгнанный из его дома Христос предрекает страшную участь: дочь купца выйдет замуж за некоего Фиврана, сына нищих родителей из «града Фантифона», к которому перейдет все богатство Бендера, а сам купец «зле погибнет». В повести разрабатывается популярная в древнерусской литературе тема неисповедимости и неизменяемости «судеб Божиих». Экзотические географические названия, благодаря которым действие переносится в далекие страны, – характерная черта русской повести конца XVII–XVIII в. Система выбора таких названий в произведениях этого времени «должна свидетельствовать о “всеобщности”, “всемирности” данного сюжета, что вполне соответствует интернациональности сюжетов средневековой беллетристики»⁸¹. «Сказание...» находит параллели в легендах из Пролога: в «Слове о некоем игумене, егоже искуси Христос во образе нищаго» (18 октября) и «Слове от Патерика, яко не достоин от церкви иди, егда поют» (30 апреля)⁸². Как и во втором из указанных «слов», во время последнего испытания Фивран спасается благодаря тому, что слушает в церкви литургию. Однако предположение Е. К. Ромодановской о том, что основным источником для «Сказания...» послужил «Приклад» о цесаре Конраде и рыцаревом сыне из Римских Деяний, вряд ли соответствует действительности. «Приклад» заканчивается тем, что «Марко» (цесарь Конрад) смиряется перед Божией волей – такая «оптимистическая» версия сюжета не находит отражения в «Сказании...». Концовка «Сказания...» – гибель купца Бендера в яме с огнем – типична для фольклорных вариантов сюжета⁸³.

В списках XVIII–XIX вв. известна Повесть об ангеле, ослушавшемся Бога. Как и «Сказание...», Повесть является вариацией на тему неисповедимости «Божиих судеб», местом действия выбрана здесь «африкийская страна»; в заглавии некоторых списков

⁸⁰ См.: Белоброва О. А. Сказание о богатом купце // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1965. Т. 21. С. 259–265.

⁸¹ Ромодановская Е. К. Русская литература на пороге нового времени: Пути формирования русской беллетристики переходного периода. Новосибирск, 1994. С. 164.

⁸² «Слово от Патерика...» входило также в состав Измарагда: Из «Измарагда» // Памятники литературы Древней Руси: середина XVI в. М., 1985. С. 58–61.

⁸³ См.: Пигин А. В. Русские рукописные произведения о «неизменяемости судеб Божиих» (сюжет «Марко Богатый») // Проблемы исторической поэтики (в печати).

содержится ложная ссылка на Палею («Выписано из приточника Палеи толковой»)⁸⁴. Господь повелел ангелу забрать душу женщины, жены погибшего от рук сарацинов боярина, только что родившей двух девочек, но ангел усомнился в справедливости этого повеления, за что был лишен Богом благодати и ангельского чина. Проведя 30 лет в монастыре в образе простого монаха, он стал свидетелем многочисленных человеческих грехов. Прощенный Богом и вернувшийся на небеса ангел сперва спас монастырь от сарацинов, но затем молния «позже всю обитель» за нечестие ее обитателей. Источником повести послужил либо не установленный пока книжный греческий памятник, либо устная легенда о согрешившем ангеле, хорошо известная европейскому (ATU 759D) и русскому (СУС 795) фольклору. Исследователи повести отметили ее переключку с некоторыми произведениями древнерусской литературы (Житие Алексея человека Божия, воинские повести и др.) и пришли к выводу о том, что направленность повести «против духовенства, поиски решения вопроса о справедливости “судов господних” связывают ее возникновение с умонастроениями демократической части русского общества»⁸⁵.

Ангел может согрешить и оказаться в наказание на земле, но и бес может покаяться в своем отступлении от Бога и вернуться на небеса. В рукописной книжности XVIII–XX вв. известен целый цикл небольших повестей о восстановлении дьявола. Наиболее ранняя из известных сегодня представляет собой имитацию патерикового «слова»: «От жития святыхъ отецъ о нѣкоемъ преподобнѣмъ старцѣ». Некий пустынник, получив полную власть над бесом благодаря «Христову знамени», заставил «лукавого» 30 лет стоять на одной ноге, «и что преподобный ни повелитъ ему, то и творить бѣсь». В конце концов бес не выдержал и стал умолять старца отпустить его. Старец повелел бесу спеть «аггльскую пѣснь», что тот и вынужден был исполнить, после чего ангелы Господни по Божию повелению забрали его на небеса – «за послушание и за то, онъ что (*sic!*) хвалу Христу принесе»⁸⁶. Эта небольшая повесть является вариантом легенды о

⁸⁴ См.: *Белецкий А. И.* Малоизвестная повесть конца XVII – начала XVIII в. о наказании ангела // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1958. Т. 14. С. 453–456; *Демкова Н. С., Семякина З. П.* «Повесть об ангеле, послушавшемся Бога» (Из истории русской повести конца XVII – начала XVIII века) // Русская литература на рубеже двух эпох (XVII – начало XVIII в.). М., 1971. С. 128–159.

⁸⁵ *Демкова Н. С., Семякина З. П.* «Повесть об ангеле, послушавшемся Бога». С. 129.

⁸⁶ БАН, собр. Семеновского районного отдела НКВД, № 11, л. 110 об.–111 об., конец XVIII в. Подобные легенды проникли и в устную традицию (см.: Народные русские легенды А. Н. Афанасьева / Сост. В. С. Кузнецова. Новосибирск, 1990. С. 125–126), а также известны на европейском материале (см.: *Herbert J. A.* Catalogue of Romances in the Department of Manuscripts in the British Museum. London, 1910. Vol. 3. P. 70 (№ 118: английская легенда XIII в.); Британская библиотека (Лондон), отдел рукописей, Arundel MS 527, 129 v–131 v: сербская легенда XVIII в.).

«заключенном» бесе (бес оказывается в плену у святого старца и выполняет все его поручения)⁸⁷. Здесь нет еще мотива покаяния беса, но он содержится в других повестях: «Повѣсть, како един бесъ прииде въ покаяние. Патерикъ Скитский», «Патерикъ Синайский <...>. Повѣсть дивна, како покайся бѣсъ и проси у старца креститися»⁸⁸. Отличаясь друг от друга отдельными мотивами, повести воспроизводят одну и ту же сюжетную схему: старец встречает в пустыне беса, призывает его к покаянию – бес выражает первоначально сомнение в возможности своего возвращения на небо, однако в конце концов подчиняется старцу – нечистая сила пытается помешать бесу совершить покаяние, но это ей не удается – старец заставляет беса петь «божественную песнь»: «Иже херувимы» или «Отче наш» – с неба слетают два ангела, возвращают бесу его прежний ангельский вид и возносят его на небеса. Ссылки в заглавии обеих повестей на древние патерики, откуда они якобы извлечены (в патериках этих повестей, разумеется, нет), красноречиво свидетельствуют о сознательной ориентации авторов на традиции древнерусского патерикового повествования.

Одним из источников повести «како един бесъ прииде въ покаяние» послужила Повесть о бесе Зерефере – греческое патериковое сказание, входившее в состав Азбучно-Иерусалимского и Сводного патериков (XIV в.)⁸⁹. В Повести о Зерефере бес сам отказывается от предложенного ему пути покаяния, потому что гордыня не позволяет ему смириться перед Богом и произнести покаянные слова: «Боже, помилуй мя, древнюю злобу!», «Боже, помилуй мя, мерзость запустѣнія!», «Боже, помилуй мя, помраченную прелесть»⁹⁰. В повести нового времени мы имеем достаточно редкий случай прямой полемики с древним текстом. Бес кается в своих грехах и ради возвращения на небо произносит те слова, которые согласно Повести о бесе Зерефере являются условием дьявольского спасения: «Азь есмь древняя злоба! Азь есмь омраченная прелесть! Азь есмь мерзость запустѣнія!». Бес не стыдится своего смирения, «не яко же иногда Зереферъ лестно, приходя къ старцу, искушая, вопрошаше его», произнести слова покаяния «не мерско» ему, но «сладко и радостно»⁹¹.

⁸⁷ См.: *Дурново Н. Н.* Легенда о заключенном бесе в византийской и старинной русской литературе // *Древности: Труды Славянской комиссии Московского археологического общества.* М., 1907. Т. 4, вып. 1. С. 54–152.

⁸⁸ Повести опубликованы: Повести о покаянии беса // *Библиотека литературы Древней Руси.* Т. 20: XVIII–XX века. С. 168–171 (тексты), 347–353 (комментарии).

⁸⁹ Повесть опубликована: Повесть о бесе Зерефере // *Библиотека литературы Древней Руси.* СПб., 2003. Т. 8: XIV – первая половина XVI века). С. 528–533 (текст), 578–579 (комментарии).

⁹⁰ Там же. С. 530.

⁹¹ Повести о покаянии беса. С. 169.

В Повести о Зерефере тема покаяния дьявола трактуется в целом традиционно для церковного учения, в духе решений древних церковных соборов: «Если кто [говорит или держится мнения], что наказание демонов и нечестивцев – временное и будет иметь после некоторого срока свой конец, т. е. что будет восстановление (апокатастасис) демонов и нечестивых людей, – анафема»⁹². Эти решения являлись откликом на не признанную церковью теорию апокатастасиса (всеобщего конечного восстановления в Боге) александрийского богослова Оригена (III в.). В поздних русских повестях о покаянии беса эта проблема получила, таким образом, оригеновскую трактовку.

Неисповедимость «Божиих судеб», справедливость божественных решений, возможность падения добра и восстановления зла – таков круг тем, обсуждаемых поздней русской легендарной повестью. Языком легенды здесь излагаются сложнейшие вопросы теодицеи, сотериологии и эсхатологии, что позволяет видеть в этих сочинениях опыт «народного богословия».

Иногда религиозная основа выражается в повестях менее заметно, но все же определяет авторскую интерпретацию сюжета. «Повесть о некоем царе и о дочери его», известная сегодня в единственном списке в сборнике конца 1710-х–конца 1730-х гг., представляет собой литературную обработку сказочного сюжета «Волшебное зеркальце (Мертвая царевна)» (СУС 709), использованного позднее А. С. Пушкиным в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях». Действие в повести развивается по хорошо известной схеме и, казалось бы, не содержит элементов легенды: злая мачеха, позавидовав красоте царевны, хочет ее погубить, но царевна спасается и оказывается в гостях у девяти братьев; мачехе удается умертвить царевну, но благодаря королевичу происходит ее воскрешение; злую мачеху царь наказывает заточением с дикими зверями. При этом, всего в двух-трех фразах, автор интерпретирует цепочку сказочных событий как исполнение Божией воли, как чудо («зело радовахуся и прославаша Бога о таком великом чюдеси»⁹³), поэтому права издатель этой повести Л. А. Курышева: «мотивы поведения главных персонажей, логика всего сюжета пронизаны не секуляризованным мировоззрением: зло творится по воле дьявола, божественный промысел действует в мире через чудо, и люди помнят о том, в чем коренится источник всех благ»⁹⁴. По такому же типу организовано повествование и в «Слове о судьбах Божиих, яко небо и земля

⁹² Карташев А. В. Вселенские соборы. М., 1994. С. 354.

⁹³ Цит. по: Курышева Л. А. О новонайденной «Повести о некоем царе и о дочери его» // XVIII век. М.; СПб., 2017. Сб. 29: Литературная жизнь России XVIII века. С. 266.

⁹⁴ Там же. С. 258.

мимоидет, а словеса моя не имут преитти» (1730-е гг.): сюжет волшебной сказки является здесь иллюстрацией идеи о неизменности Божией воли⁹⁵.

Для легендарно-нравоучительных повестей XVIII в. (как, впрочем, и для светских) более типичны, таким образом, использование и переработка уже известных сюжетов, а не создание новых. Но такой тип литературного творчества является общим для русской беллетристики XVIII в.: этот же метод использовали М. Д. Чулков, В. А. Левшин, М. И. Попов и другие создатели волшебных-богатырских и авантюрно-плутовских повестей. По этой причине в историю рукописной повести XVIII в. следует включать и новые редакции древнерусских повестей, тем более что некоторые из них представляют собой, по сути, самостоятельные произведения (ср. с «Римской» редакцией Повести о бесноватой жене Соломонии)⁹⁶.

Среди рукописных повестей XVIII в. может быть выделена относительно самостоятельная группа старообрядческих текстов, посвященных пагубным, с точки зрения «ревнителем древлего благочестия», последствиям петровских реформ в повседневной жизни и культурных стереотипах. Борьба с официальной церковью в XVIII в. уже утратила для старообрядцев ту остроту, которую имела во времена протопопа Аввакума. В этот период их больше волновали внутренние разногласия в самом старообрядчестве, а «внешний мир» находил отражение в сатире на утвердившиеся в России новые порядки и нравы. Старообрядческие рукописные сборники XVIII–XX вв. изобилуют сочинениями о брадобритии, модном облике, о картофеле, чае, кофе вкупе с вошедшими в употребление гораздо раньше вином и табаком. Такие сочинения были распространены среди старообрядцев-беспоповцев – филипповцев, поморцев, странников, в рукописях они часто соседствуют, образуя своеобразные тематические циклы. Иногда это лишь небольшие «выписки» с ложными ссылками на книги византийских канонистов Иоанна Зонары и Федора Валсамона («Аще кто от православных христиах дерзнетъ пити табакъ, тотъ от святых отецъ да будетъ проклятъ»), иногда – достаточно объемные сочинения сатирического характера, пространные послания и проповеди (например,

⁹⁵ См.: *Ромодановская Е. К.* Неизвестная повесть-сказка... С. 259–266.

⁹⁶ К числу таких редакций-переделок можно отнести также «Повесть о Федоре жидовине» из рукописи конца XVIII в. (опубл.: *Тихонравов Н. С.* Летописи русской литературы и древности. М., 1859. Т. 2. Отдел 3. С. 69–71). В основу повести положена статья из Пролога о Федоре купце, «иже взимая злато у жидовина» (31 октября), но ее текст переработан в сказочном стиле (см.: *Сперанский М. Н.* Рукописные сборники... С. 126).

сочинение Тимофея Андреева «О древнем обряде» (или «О новомодном платье и носящих длинные волосы») (1780 г.)⁹⁷.

Еще в XVII в., вероятно, в дораскольный период, в связи с запретом московских властей на табак, возникла повесть об этом растении – «Сказание от книги глаголемыя Пандок о хранительном былии, мерзком зелии, еже есть траве табаце». Несколько позднее, скорее всего, уже в XVIII в., появился еще один вариант этой повести, имеющей в заглавии ссылку на «летописец греческий»⁹⁸. Согласно повести, табак вырос на могиле блудницы, а насадителем его был дьявол. «Табачная» тема стала чрезвычайно популярна среди старообрядцев, отразилась в устных нарративах и книжных памятниках. По утверждению старообрядческих книжников, у «табашника» от дыма «сокрушается мозг» и «смердящая воня пребывает в голове его и во всех костях его»; «таковому человеку не подобает в церковь Божию входить, ни креста, ни Евангилия целовати»⁹⁹. Плачевна и посмертная участь «табашников»: они будут отданы бесам, на Страшном суде «проклятой табак потечет из ноздрей» их, «аки у пса»; в «преисподнем месте» они будут задыхаться от «табачнаго и адьскаго смороду»¹⁰⁰. Сам табак трактуется как «первая печать антихристова»: «Прииде в Рускую страну антихристова печать – сухой табак, занеже то первая печать антихристовая, печать знамени пришествия его; а егда исполнитца от воплощения Божия Слова 1666 год, тогда наполнитца антихристова знамени вся земля слугами его и угодники»¹⁰¹. Статьи о табаке не только переписывались старообрядцами в «цветниках», но и издавались на гектографе, публиковались в старообрядческой периодике XIX–XX вв.

К концу XVIII–началу XIX в. относится «Повесть дивная от Старьчества о мнихе и о бесе, како они спиралися промеж собою в лесе», в которой тема дьявольского происхождения табака и гибельности его для людей представлена в увлекательной

⁹⁷ См.: Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь: Духовная жизнь и литература. Т. 2. С. 14; Бабалык М. Г. Выговский старообрядческий книжник Тимофей Андреев и его сочинения о немецком платье и новомодном облике // Федосовские чтения: Материалы научно-практической краеведческой конференции, посвященной 190-летию со дня рождения И. А. Федосовой. Петрозаводск, 2017. С. 73–79.

⁹⁸ См. новейшее исследование: Бровкина Т. В. Древнерусские повести о происхождении табака: Проблемы истории текста и сюжетной организации. Автореферат дис. ... канд. филол. наук. Вологда, 2021.

⁹⁹ «Сие сказание таковым, кто курит табак» (ИРЛИ, Белорусское собр., № 52, л. 18 об.–19).

¹⁰⁰ РГБ, собр. Е. В. Барсова, № 777.1, л. 1–8 (подборка мелких выписок о табаке); «В разумление и в познанию истинныя в безверии живущем рабом» (ИРЛИ, Карельское собр., № 122, л. 30 об.).

¹⁰¹ РНБ, собр. А. А. Титова, № 2260, л. 9–9 об. («Книга Стоглав, глава 31, о хмельном питие»).

художественной форме¹⁰². Ссылка на авторитетную у старообрядцев «Книгу о вере» не оставляет сомнения в старообрядческом происхождении повести. Повесть написана раяшным стихом и построена в форме диалога некоего старца («мниха») и беса. Предмет их беседы – происхождение табака, его «доброта» и греховность. Старец «искушает» беса, притворяясь любителем табака и желая выведать у него интересующие его сведения. Чтобы удовлетворить любопытство старца, бес отправляется в ад к сатане. Выясняется, что табак был посеян сатаной еще до Рождества Христова (здесь повесть расходится со сказанием из «книги Пандок») и что по «адским меркам» употребление табака равносильно самому тяжкому «содомскому греху». «Родителями» «табашного греха» названы некие «Чуксей с Баксеем» – за этот грех они «пропали в персидской земли». Повесть перекликается с патериковыми рассказами (не случайно в заглавии упоминается книга «Старчество») о встречах пустынников с бесами и с народными сказками о споре или соревновании человека с бесом (чертом), в котором последний предстает как глупый, одураченный, побежденный хитростью человека (СУС 1170–1199).

Во второй половине XVIII в. на основе повестей о табаке возникли близкие по содержанию повести о картофеле, который – как новшество времен Екатерины II – также считался старообрядцами нечистым растением. Картофель, согласно этим повестям, тоже вырастает из трупа блудницы или «эллинского» жреца; первоначально он проявляет себя как лечебное растение, затем его начинают употреблять в пищу. Последствиями распространения этого «мерзкого зелья» повести называют «глад и нужду», потому что «не будет изобилно родиться хлеб и всякое овощие», затем человека ожидают «смерть и после смерти вечная мука». В заглавиях этих повестей содержатся ссылки на «книгу Пандок» и «книгу Баронея», откуда они якобы выписаны¹⁰³.

Обличение любителей европейских одежд и светской моды в старообрядческой литературе созвучно сатире на щеголей и щеголих в журналах Н. И. Новикова и в сочинениях других сатириков XVIII в.¹⁰⁴. Но если Н. И. Новиков высмеивал петиметров как явление, искажающее идеи просвещения и противостоящее им, то для старообрядцев неприемлемо европейское платье как таковое, поскольку ношение его означает

¹⁰² РНБ, собр. Н. Я. Колобова, № 399, отдельная рукопись на 6 листах, бумага с «белой» датой «1808». Текст исследован и опубликован: *Пигин А. В.* К изучению демонологических сказаний о табаке: Рукописная повесть конца XVIII — начала XIX века «о мнихе и о бесе» // *In Umbra: Демонология как семиотическая система: Альманах.* М., 2012. № 1. С. 331–344.

¹⁰³ *Никифоров А. И.* Русские повести, легенды и поверья о картофеле // *Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете.* Казань, 1922. Т. 32, вып. 1. С. 1–88.

¹⁰⁴ См.: *Покровский В. И.* Щеголи в сатирической литературе XVIII в. М., 1903.

отступление от веры, а модный облик искажает тот первоначальный образ, который Бог дал человеку. «Не довольно ли устроенное от нашего Содѣтеля вашего лица лѣпотства на украшение? – восклицал выговский писатель XVIII в. Тимофей Андреев, обращаясь к любителям «моды». – Вскую же вы толико от Бога устроенную красоту своими ухищренми в необразии обращаете? Вскую природную вашу, от Бога содѣланную утварь не в своеобразную вамъ сродность претворяете?»¹⁰⁵. Модный облик и «ризное украшение» – конечно, от дьявола. В поздней старообрядческой повести «Из книги Властодержницы Сергиева монастыря» бес рассказывает некоему иноку о том, что всю свою красоту бесы отдали людям: «Пекуся же непрестанно, дабы сынове и <д>щери вѣка сего, веселящися, украшались ризами и прелѣстными одеждами, имѣже оставихъ краситися и даровахъ весь образъ красоты моя»¹⁰⁶. Светская мода проникала и в старообрядческую среду, что придавало этой теме в литературе староверов особую актуальность. Все эти отступления от древнерусских порядков трактуются старообрядцами как признаки «последних времен», как исполнение пророчеств о воцарении Антихриста.

Деятельность Иоасафа – книжника первой четверти XVIII в., которого А. Е. Соболева считает возможным автором «Крегранесия» в «Украшенной» редакции Жития Александра Свирского, – можно представить более подробно и осветить в связи с его именем судьбу еще одного древнерусского жанра, пережившего Древнюю Русь. Сегодня известны по крайней мере четыре составленные им рукописи: Страсти Христовы, 1713 г. (БАН, собр. Александро-Свирского монастыря, № 14), Житие Александра Свирского, 1715 г. (Отдел древнерусского искусства ГРМ, др. гр. 26); Страсти Христовы, 1717 г. (БАН, собр. Археологического института, № 24); Толковая азбука (Палеостровская азбука), 1717 г. (НА КарНЦ РАН, р. 1, оп. 2, д. 92). Из записей, оставленных им в рукописях, удастся получить некоторые биографические сведения о нем. Иоасаф был уроженцем Москвы, принял постриг в Александро-Свирском монастыре, исполнял здесь обязанности канонарха, в 1717 г. находился в Палеостровском монастыре на Онежском озере¹⁰⁷.

Рукопись с Житием Александра Свирского «украшена заставкой с изображением основателя монастыря (л. 7), большими и пышными инициалами “поморского стиля”,

¹⁰⁵ *Тимофей Андреев*. О древнем обряде (ИРЛИ, Латгальское собр., № 16, л. 351).

¹⁰⁶ ИРЛИ, Северодвинское собр., № 585, л. 134.

¹⁰⁷ В 1719–1720 гг. некий Иоасаф был игуменом Палеостровского монастыря (см.: *Строев П.* Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. СПб., 1877. Стб. 998), но для отождествления его с книжником Иоасафом дополнительных сведений нет.

двумя миниатюрами – “Явление Святой Троицы преподобному Александру Свирскому” (л. 6 об.) и “Преставление преподобного Александра” (л. 245)»¹⁰⁸. Каллиграфические почерки – полуустав и скоропись, которыми владел Иоасаф, наводят на мысль, что художественное оформление этой рукописи тоже может принадлежать ему.

В 1717 г., когда Иоасаф находился уже в Палеостровском монастыре, им была составлена азбука-свиток, о чем сообщает запись в самом конце этой рукописи: «Лета от Рожества Христова 1717. Написана бысть в Палеостровском монастыре рукою инока Иоасафа».

Толковые азбуки (или азбуки-акrostихи, азбуки-границы) известны в русских рукописях начиная с XIV–XV вв. Их содержание составляют «душеполезные» тексты (молитвы, изложение библейских сюжетов, поучения и т.д.), в которых каждое новое предложение начинается с очередной буквы алфавита. Созданные первоначально как памятники вероучительного характера для христиан всех возрастов, толковые азбуки постепенно вошли в учебную практику, стали применяться для обучения детей грамоте. Они заучивались наизусть и служили одним из способов для запоминания алфавита или же для закрепления этих знаний¹⁰⁹.

Нередко азбуки записывались на свитках, склеенных из нескольких листов бумаги и достигающих в длину 9–10 м. Самые ранние списки азбук-свитков датируются 20-ми гг. XVII в., а в употреблении они сохранялись на протяжении всего XVIII в.¹¹⁰. Азбуки содержат образцы написания букв скорописью, на каждую букву – «душеполезные» изречения на тему христианских добродетелей, цитаты из Священного Писания. В некоторых списках азбук приводятся дополнения: текст из «Александрии», молитвы и поучения, арифметика. В одной из азбук-свитков XVIII в. объединены сразу четыре учебника: азбука, арифметика, письмовник и словарь иностранных слов. Некоторые наиболее богатые по оформлению азбуки содержат миниатюры, например, с изображением родителей, передающих своего сына учителю¹¹¹.

Палеостровская азбука представляет собой свиток, разворачивающийся почти на 6 метров. Азбука составлена в форме поучения опытного мудрого человека к «юноше»,

¹⁰⁸ Соловьева И. Д. Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь. Художественное наследие и историческая летопись. СПб., 2008. С. 211.

¹⁰⁹ См.: Пигин А. В., Бабалык М. Г. «Аз ти глаголю добрейшее, юноше...»: О некоторых учебных текстах в русских рукописях XVIII—XIX вв. // «Мудрости бо ти имя подадеса...»: Сб. статей к юбилею профессора Софьи Михайловны Лойтер. Петрозаводск, 2011. С. 10–21.

¹¹⁰ См.: Мишина Е. А. Азбуки-свитки XVII–XVIII веков // От Средневековья к Новому времени: Сб. статей в честь Ольги Андреевны Белобровой. М., 2006. С. 419–431.

¹¹¹ Там же. С. 424.

еще только вступающему в жизнь, т. е. это не разрозненные изречения, а связный текст. Главная его тема – необходимость учиться: «...ученых людей слушай наказания», «доброму всякому учению внимай», «емлися учению, чтению, пению» и т. д. Одновременно автор заповедует «юноше» избегать тех соблазнов, пороков (особенно пьянства) и «злых людей», которые отвращают от учения и ведут к гибели души: «...злаго обычая не держися, со юношами, и с блудники, и с корчемники, и со младыми женами не водися», «не спи долго, не гуляй безгодно»¹¹² и др. Учение трактуется как путь к спасению души; важная мысль азбуки-поучения заключается также в том, что доброе учение возможно только при полном послушании родителям.

К сожалению, без тщательного источниковедческого и текстологического анализа русских толковых азбук невозможно судить о степени самостоятельности составителя Палеостровской азбуки: был ли Иоасаф автором азбуки или только переписал ее. Очевидно вместе с тем, что своим настойчивым призывом к учению азбука вполне соответствует духу Петровской эпохи – начала русского Просвещения. В том же 1717 г. в С.-Петербурге была издана и книга для дворянских детей «Юности честное зеркало», с которым Палеостровская азбука перекликается некоторыми своими идеями. По всей видимости, Иоасаф составил эту азбуку для кого-то из мирян, проживавших в расположенном неподалеку старинном с. Толвуя: в 1724 г. она принадлежала, согласно владельческим записям, жителю Толвуйского погоста Семену Семенову Колмакову. Палеостровская азбука интересна, таким образом, как ценное свидетельство культурного влияния монастырей на крестьянство в XVIII в.¹¹³

В XVIII в. в письменной традиции сохраняются и другие жанры «душеполезной» литературы Древней Руси.

Настоящего расцвета достигает паломнический жанр: «Подведя своеобразный итог многовековой истории “Хождений”, XVIII в. превзошел предшествующие столетия по числу произведений этого жанра»¹¹⁴. Только в Петровскую эпоху было создано по меньшей мере семь хождений, описывающих с разной степенью полноты Святую землю:

¹¹² *Пигин А. В.* Азбука-свиток из Палеостровского монастыря // Вестник Карельского краеведческого музея. Петрозаводск, 2011. Вып. 6. С. 68–69.

¹¹³ Подробнее об этом памятнике см.: *Старостина Т. В.* Народные этические представления и палеостровская азбука 1717 г. // Научная конференция по итогам работ за 1965 год. Май 1966 года. Секция исторических наук. Тезисы докладов. Петрозаводск, 1966. С. 78–81; *Пигин А. В.* Азбука-свиток из Палеостровского монастыря. С. 63–71.

¹¹⁴ *Кириллина С. А.* «Благочестивые путешествия» в Иерусалим: Российские паломники-писатели XVIII столетия // Исторический вестник. М. 2019. Т. 30: Османская империя и Россия. С. 164.

паломничества московского священника Иоанна Лукьянова, московского священника Андрея Игнатъева, посадского человека из Ярославля Матвея Гаврилова Нечаева и др. Центральное место в паломнической литературе XVIII в. принадлежит «Путешествию к святым местам» (1723–1747 гг.) В. Г. Григоровича-Барского, изобилующее ценными фактическими сведениями, которые перемежаются историческими размышлениями и описаниями чувств автора. Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. осложняли возможность посещения Палестины, но и в эту эпоху было составлено несколько паломнических текстов: Игнатия Деншина – курского купца, принявшего на Афоне постриг; иеромонаха Саровской пустыни Мелетия и др. Если в древнерусский период сборники с паломничествами (хождениями) составляли и переписывали преимущественно в монастырях, то паломнические сочинения XVIII в. распространялись в основном среди старообрядцев, купцов, мещан, представители приходского духовенства¹¹⁵. При этом паломничества XVIII в. – очень разные и по объему, и по богатству информации, и по своим литературным достоинствам – в полной мере унаследовали традиции древнерусских хождений. Все эти памятники, начиная от Хождения игумена Даниила (XII в.) и кончая самыми поздними текстами, созданы людьми, которые «отправились в путь, движимые идеей исполнения своего религиозного долга»¹¹⁶.

В XVIII в. сохранялся интерес и к жанру видений, содержание которых составляют рассказы визионеров о путешествии на тот свет. Чрезвычайно богатая в своих конкретных проявлениях, сюжетная схема видений такова: душа визионера, сопровождаемая, как правило, «душеводителем» (ангелом, святым, умершим родственником), путешествует по различным областям загробного мира, встречается там своих знакомых и близких, получает сокровенные знания, часть из которых после своего возвращения в тело передает изумленным слушателям. В древнерусской литературе видения входили в состав переводных и оригинальных житий и патериков, переписывались как самостоятельные сочинения: Видение Козмы игумена, Видение Григория Тумгана, Видение Антония Галичанина, видения из Римского и Волоколамского патериков и многие другие. Жанр нередко использовался в целях религиозной и политической полемики, поскольку нет более убедительного способа доказать ложность того или иного учения, чем изобразить его адептов горящими в аду. Визионером в полемических сочинениях часто оказывается человек, сомневающийся в каком-либо

¹¹⁵ См.: Федорова И. В. Об археографических разысканиях в области паломнической литературы петровского времени // Словесность и история. 2022. № 3 (в печати).

¹¹⁶ Кириллина С. А. «Благочестивые путешествия» в Иерусалим. С. 181.

религиозном вопросе, стоящий перед выбором. Во время загробного откровения он постигает истину и освобождается от своих сомнений. Эти возможности жанра активно использовались в XVII в. в ходе полемики вокруг раскола русской церкви. Видения XVIII в. сохраняют эту важнейшую жанровую функцию: некоторые из них написаны старообрядцами-выговцами против филипповцев (Видение Димитрия-стража и др.), старообрядцами поповского согласия – против беспоповцев (Сказание о чуде воскресения мертвого некоего человека именем Михаила), представителями господствующей церкви – против старообрядцев (Видение Андрея Данилова Иконникова)¹¹⁷.

Большой популярностью в демократической среде в XVIII в. пользовались поэтические сочинения, из которых составлялись целые сборники стиховников и песенников. Светская поэзия представлена в них преимущественно панегирическими кантами, любовной лирикой, сатирическими стихами, «душеполезная» – псалмами, стихами молебными и покаянными. В рукописи проникали также народно-поэтические тексты: былины, лирические и исторические песни, духовные стихи; целиком из фольклорных текстов состоит известный Сборник Кирши Данилова (1740-е – 1760-е гг.), имеющий урало-сибирское происхождение. В XVIII в. традиция живого исполнения народно-поэтических текстов начинала, по-видимому, постепенно угасать, по крайней мере в городской среде, что и компенсировалось ее письменной фиксацией. Наряду с произведениями анонимной поэзии в сборники включались стихотворения поэтов XVII–XVIII вв. Симеона Полоцкого, Димитрия Ростовского, Феофана Прокоповича, В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова и др. Так, «Вечернее...» и «Утреннее...» «размышления» М. В. Ломоносова «о Божиим величестве» могли переписываться среди духовных стихов без указания имени автора. Изучение пиитики, входившее в программу учебных заведений XVIII в., породило целый пласт семинарской поэзии, в которой практиковались как учащиеся, так и преподаватели (Кант Белгородской семинарии на Новый 1797 год (БАН, 13.3.28, л. 7); «Торжество Архангелогородской семинарии в день 22 июня 1782 г.» (БАН, Каргопольское собр., № 64); сборник кантов, сочиненных учениками и преподавателями Архангелогородской семинарии, 1790-е гг. (БАН, 45.8.13) и др.). В этих стихах совмещались традиции панегирических кантов и духовных виршей; из семинарской среды происходят также шуточные и пародийные стихи. Духовная поэзия составляла содержание старообрядческих стиховников XVIII в. (см. выше о выговском стихотворстве). Старообрядцы включали в свои сборники духовные стихи на житийные и библейские сюжеты (о Борисе и Глебе, о Иосифе

¹¹⁷ См.: *Пигин А. В.* Видения потустороннего мира в русской рукописной книжности. СПб., 2006.

Прекрасном, о Иоасафе царевиче, о Николе Угоднике, о блудном сыне, о Ноевом ковчеге и др.), на церковные праздники (на Рождество Христово, Богоявление, Воскресение Христово и др.). Часть из этих стихов досталась по наследству от древнерусской, устной и книжной традиции, другая часть создана в самой старообрядческой среде. К числу последних относятся стихи о Никоне, об антихристе и Страшном суде, о смерти и покаянии, о пустынножительстве, о старообрядческих подвижниках и т. д. Традиция составления стиховников была особенно развита в старообрядческих общинах в XIX – начале XX в. – этим временем датируется большинство сохранившихся рукописей.

Предложенный обзор позволяет сделать вывод о том, что XVII (по крайней мере, вторая его половина) и XVIII века могут рассматриваться, в сущности, как один период в истории русской рукописной книжности. Новые светские сочинения, которые стали появляться уже во второй половине XVII в., проникали в рукописную традицию медленно и иногда приспособлялись к привычным вкусам, дополнялись нравоучениями. Большой редкостью такие сочинения являются в севернорусских сборниках, состав которых почти не выходил за рамки религиозной литературы XVII в. и предшествующих столетий. Новые черты, особенно отчетливые в агиографии, заключаются, прежде всего, в усилении документального начала и фольклоризации. «Душеполезные» повести создаются на основе уже существующего сюжетного фонда и, в отличие от повестей XVII в. (ср. с Повестью о Савве Грудцыне), лишены злободневного социального содержания – общественная тематика становится в XVIII в. достоянием сатирической литературы. Если в «высокой», элитарной литературе Петровской эпохи произошла приостановка в развитии («Это самая “нелитературная” эпоха за все время существования русской литературы»¹¹⁸), то в рукописной литературе никакой паузы не было. Традиция переписки рукописей, создания новых сочинений и редактирования древних сохранялась с разной степенью интенсивности и в монастырской, и в крестьянской, и в старообрядческой среде. «Высокая» литература XVIII в. развивалась по литературным направлениям: от барокко к сентиментализму и предромантизму. Ее влияние проявилось в барочных элементах рукописной литературы, в создании виршевых и риторических текстов. Наиболее ярко и последовательно это влияние выразилось в литературной продукции старообрядческого Выга, которая по праву может считаться художественной вершиной рукописной литературы XVIII в. Но по отношению к последующей художественной эволюции

¹¹⁸ Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 18.

«новой» литературы «древнерусская» литература XVIII в. осталась в целом невосприимчивой.

Русское «долгое Средневековье» сохранялось и в литературе XIX–XX вв., но это предмет отдельного очерка.

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ XVIII ВЕКА

Становление и эволюцию русской литературы на протяжении всего XVIII в. невозможно представить себе вне ее связи с литературой Западной Европы и, в первую очередь, с литературой и культурой Франции, которой суждено было сыграть в этом процессе поистине выдающуюся роль¹.

Процесс этот был подготовлен и, в немалой степени, обусловлен набиравшими силу контактами двух стран, хотя и ранее между ними существовал, пусть и сравнительно небольшой по объему, торговый обмен и делались отдельные попытки наладить дипломатические отношения².

В положении дел наметился некоторый сдвиг с воцарением Петра I (1699), и, в еще большей степени, ситуация изменилась после пребывания русского царя во Франции (10/21 апреля – 13/24 июня 1717 г.). Событие это произвело сильное впечатление на французских современников, оставивших множество о нем свидетельств и воспоминаний, освещалось оно и в европейской печати; более того, оно стимулировало сближение России и Франции, и не случайно, что уже 5 августа 1717 г. между ними (а также Пруссией) был заключен так называемый Амстердамский договор, непосредственно за которым последовало установление дипломатических отношений³. С этого времени и до конца века контакты двух стран не прекращались, хотя периодически ослабевали, а иногда и прерывались на довольно значительный период. К таким «мертвым сезонам» относятся 1733–1738, 1748–1755 и 1792–1800 гг.; в остальные же годы один посол сменял другого: с французской стороны дольше прочих — Жак де Кампредон (1721–1726), маркиз де Шетарди (1739–1742), граф д'Алион (1742–1748), маркиз де Лопиталь (1757–1760), барон де Бретейль (1760–1763) и

¹ Поскольку литература вопроса весьма обширна, укажем лишь несколько обобщающих трудов, в большой степени ему посвященных: *Веселовский А. Н.* Западное влияние в новой русской литературе. М., 1883 (переиздания в 1896, 1906, 1910 и 1916 гг.); *Взаимосвязи русской и французской литератур: Библиографический указатель.* М., 1985; *История русской переводной художественной литературы: Древняя Русь. XVIII век.* СПб., 1995. Т. 1: Проза; СПб., 1996. Т. 2: Драматургия. Поэзия; *Русско-европейские литературные связи. XVIII век. Энциклопедический словарь. Статьи.* СПб., 2008; *L'Influence française en Russie au XVIIIe siècle.* Paris, 2004.

² См.: *Франция и Россия: Век XVII.* Нижний Новгород, 2016.

³ См.: *Мезин С. А.* 1) *Взгляд из Европы: Французские авторы XVIII века о Петре I.* Саратов, 2003; 2) *Петр 1 во Франции.* СПб., 2015.

граф де Сегюр (1785–1789)⁴; с русской соответственно — Б. И. Куракин (1724–1727), князь А. Д. Кантемир (1744–1748), граф М. П. Бестужев-Рюмин (1756–1760), князь И. С. Барятинский (1773–1785) и И. М. Симолин (1785–1792), так и никем не замененный вплоть до 1799 г.⁵. Едва ли не самыми важными результатами их деятельности явились присоединение России к коалиции Франции (и Австрии), направленной против Пруссии (1757)⁶, и заключение русско-французского торгового соглашения (1787)⁷.

Из русских монархов интересующей нас эпохи к Франции особенно тяготели Елизавета Петровна (1741–1761), хотя политический союз России с Францией был заключен лишь к концу ее царствования⁸, и в особенности Екатерина II (1762–1796), столь многим обязанный французским просветителям, но сильно охладевшая к этой стране после того, как там разразилась революция и был казнен Людовик XVI⁹. Со вступлением на престол Павла I (1796–1801) ситуация изменилась к худшему: новый император всячески противодействовал русско-французскому общению во всех его формах, и только появление на политической арене Наполеона Бонапарта отчасти изменило положение дел¹⁰. Впрочем, запрет на все французское все же и тогда не был тотальным, не говоря уже о французском языке, на котором по-прежнему обычно объяснялись, а нередко читали, писали и даже сочиняли стихи и прозу русские аристократы¹¹.

Во второй половине столетия владение французским языком стало для русских дворян фактически обязательным, одновременно являясь главным средством их приобщения не только к французской, но и к европейской культуре, поскольку французский язык служил в это время признанным средством международного коммуницирования. В Москве появились французские школы, постепенно участились поездки русских во

⁴ См.: *Béchu Cl.* Les ambassadeurs français en Russie au XVIII^e siècle: Brève présentation // *L'Influence française en Russie au XVIII^e siècle*. P. 65–71.

⁵ См.: <http://www.rusdiplomats.narod.ru/ambassades/france.html>

⁶ См.: *Bély L.* Quels enjeux européens pour la Russie au XVIII^e siècle? // *L'Influence française en Russie au XVIII^e siècle*. P. 23–30.

⁷ См.: *Poussou J.-P.* Les échanges commerciaux entre la France et la Russie au XVIII^e siècle // *Ibid.* P. 83–92.

⁸ См.: *Liechtenhan F.-D.* La politique étrangère russe sous Elisabeth Petrovna // *Ibid.* P. 31–40.

⁹ См.: *Larivière Ch. de.* Catherine II et la révolution française. Paris, 1895.

¹⁰ См.: *Сомов В. А.* Французская книга в русской цензуре конца XVIII века // *Век Просвещения*. М., 2008. Т. 2, кн. 1. С. 153–191.

¹¹ См.: *Жанэ Д. К.* Французский язык в России XVIII в. как общественное явление // *Вестник МГУ. Сер. 9. Филология*. 1978. № 1. С. 62–70; *Zaborov P.* Le rôle des écrivains franco-russes dans la formation du «mirage russe» au XVIII^e siècle // *Le Mirage russe au XVIII^e siècle*. Ferney-Voltaire, 2001.

Францию, в том числе и с образовательными целями¹², стало широко практиковаться приглашение в Россию французских гувернеров и гувернанток¹³, в стране осело большое количество носителей языка — учителей, ремесленников, художников, архитекторов, военных¹⁴; французский язык сделался обязательным предметом обучения в университетах, кадетских корпусах, привилегированных учебных заведениях, государственных и частных школах¹⁵.

В свою очередь, все больше входила в русский обиход французская книга — труды по всем отраслям знания и художественная литература разных эпох¹⁶. Первостепенную роль в формировании российского фонда французских книг и журналов сыграла приобретающая их весьма энергично (в том числе и посредством обмена) Академия наук, в составе которой находилась основанная еще в 1714 г. библиотека¹⁷; много делали для этого Санкт-Петербургский и Московский университеты, причем издания на французском языке поступали в академические и университетскую лавки благодаря не только французским, но в еще большей степени — голландским и немецким книгоиздателям и книготорговцам¹⁸. Книги часто приносились в дар петербургской Академии наук и ее членам парижской Академией наук и другими научными учреждениями Франции¹⁹. Естественно, что в личных библиотеках русских коронованных и знатных особ, которым французские авторы

¹² См.: *Мильчина В. А.* Из путевого дневника Н. П. Голицыной // Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина. М., 1987. Вып. 48. С. 95–139; *Заборов П. Р.* Парижские письма А. П. Шувалова // Век Просвещения. М., 2015. Т. 5. С. 281–307.

¹³ См.: *Чудинов А. В.* Французские гувернеры в России конца XVIII в.: Стереотипы и реальность // Европейское Просвещение и цивилизация России. М., 2004. С. 330–340; *Ржеуцкий В. С.* Французские гувернеры в России XVIII в. // Французский ежегодник 2011. М., 2011. С. 58–80.

¹⁴ См.: *Ржеуцкий В. С., Сомов В. А.* Французы в России в эпоху Просвещения // Западноевропейская культура в рукописях и книгах Российской национальной библиотеки. СПб., 2001. С. 286–300; *Ржеуцкий В. С.* Французы на русских дорогах: Иммиграционная политика Екатерины II и формирование французских землячеств в России // Европейское Просвещение и цивилизация России. С. 238–254.

¹⁵ См.: *Смагина Г. И.* Из истории частных учебных заведений Санкт-Петербурга во второй половине XVIII века // *Musen Almanach*. СПб., 2013. С. 286–291.

¹⁶ См.: *Мыльников А. С.* О некоторых культурологических аспектах изучения русско-французских книжных связей эпохи Просвещения // Книга в России в эпоху Просвещения. Л., 1988. С. 6–14.

¹⁷ См.: *Хотеев П. И.* Французская книга в библиотеке петербургской Академии наук (1714–1742) // Французская книга в России в XVIII в.: Очерки истории. Л., 1986. С. 5–58.

¹⁸ См.: *Копанев Н. А.* 1) Распространение иностранной книги в Петербурге в первой половине XVIII века // Русские книги и библиотеки в XVI – первой половине XIX века. Л., 1983. С. 38–53; 2) Французская книга и русская культура в середине XVIII века. Л., 1988.

¹⁹ См.: Ученая корреспонденция Академии наук XVIII века: Науч. Описание: 1783—1800 / Сост. Ю. Х. Копелевич и др. Л., 1987.

посвящали свои сочинения, не могли не присутствовать их «подносные» экземпляры²⁰. Весьма полезным оказалось также книжное собирательство и возникновение в столицах и в провинции богатейших библиотек, в составе которых имелось немало французских книг, причем среди собирателей были российские монархи²¹, многие вельможи и видные государственные деятели²², крупные чиновники, а также купцы и духовные лица²³. Весьма обильно была представлена в этих собраниях французская «Россика», вызывавшая понятный интерес, тем более что она, как правило, запрещалась и старательно изымалась из оборота ввиду ее антирусской направленности²⁴. Большое количество французских книг оказалось и в домашних библиотеках французов, осевших в России²⁵.

В 1795 г. по повелению Екатерины II в Санкт-Петербурге была основана (официально открывшаяся в 1814 г.) первая в России и в течение многих лет единственная публичная (ныне — Российская национальная) библиотека, в которой и в начальный период ее существования французская книга была представлена весьма обильно. Не случайно среди первых сотрудников библиотеки были два французских эмигранта — граф Шуазель-Гуффье и шевалье д'Огар²⁶.

²⁰ См.: *Королев С. В.* Книги, посвященные Екатерине II, в собрании Российской национальной библиотеки // *Век Просвещения*. М., 2006. Т. 1. Кн. 1. С. 467–472.

²¹ См.: Библиотека Петра I: Указатель-справочник / Сост. Е. И. Боброва. Л., 1978; *Копанев Н. А.* Французские книги в Летнем доме императрицы Елизаветы Петровны // *Книга и библиотеки в России в XIV — первой половине XIX века: Сб. науч. тр.* Л., 1982. С. 26–41.

²² См.: *Елагина Н. А., Сомов В. А.* Каталоги библиотеки графов Строгановых в Отделе рукописей РНБ. Западноевропейская культура в рукописях и книгах Российской Национальной библиотеки. С. 286–300; *Сомов В. А.* «Кабинет для чтения графа Строганова» (Иностранный фонд) // *Век Просвещения*. Т. 1. Кн. 1. С. 232–269.; *Чудинов А. В.* Книжные приобретения Ж. Ромма и П. А. Строганова в революционном Париже (1789–1790) // Там же. С. 270–281; *Полевицкова Е. В.* Библиофильство в семье Воронцовых: Роман Илларионович Воронцов и его сыновья // Там же. С. 350–367.

²³ См.: *Луннов С. П.* Книга в России в послепетровское время: 1725–1740. Л., 1976; Начало университетской библиотеки (1783 г.): Собрание П. Ф. Жукова — памятник русской культуры XVIII века: Каталог. Л., 1980. С. 282–293; *Лепехин М. П.* Французская книга в библиотеке А. В. Казадаева // *Книга в России в эпоху Просвещения*. С. 108–127.

²⁴ См.: *Сомов В. А.* 1) Французская «Россика» эпохи Просвещения и царское правительство (1760-е – 1820-е гг.) // *Русские книги и библиотеки в XVI – первой половине XIX века*. С. 105–120; 2) Французская «Россика» эпохи Просвещения и русский читатель // *Французская книга в России в XVIII в.* С. 173–245.

²⁵ См.: *Сомов В. А.* Библиотеки петербургских французов эпохи Просвещения: (По материалам Дипломатического архива Франции) // *Вольтеровские чтения*. СПб., 2019. Вып. 5. С. 343–358.

²⁶ См.: *Вольфцун Л. Б.* 1) Граф Шуазель-Гуффье, первый директор Императорской Публичной библиотеки // *Век Просвещения*. Т. 1, кн. 1. С. 127–140; 2) Французский иезуит шевалье д'Огар и начало Императорской Публичной библиотеки // *Санкт-Петербург — Франция: Наука, культура, политика*. СПб., 2010. С. 101–116.

Книги на французском языке издавались различными ведомственными и частными типографиями Петербурга и Москвы²⁷. Наконец, ряд французских журналов, содержащих полезную культурную информацию, в разное время выходил в России стараниями заезжих иностранцев — барона де Чуди («Le Caméléon littéraire», 1755), Т.-А. Гальена де Сальморан («Mercure de Russie», 1786), шевалье де Гастона («Le Journal littéraire de St. Petersburg», 1796–1800)²⁸.

К культурной жизни Франции русская публика приобщалась также благодаря спектаклям французских театральных трупп, которые подвизались в обеих столицах с конца 1720-х гг. Так, известно, что еще в 1728–1729 гг., а, может быть, и несколько ранее, в Петербурге на сцене Великого комедиантского театра, находившегося вблизи Мытного двора, неподалеку от Зеленого моста, французскими гастролерами игрались незамысловатые французские пьески развлекательного содержания²⁹.

Немецкие предпочтения императрицы Анны Иоанновны оказались серьезным препятствием для продолжения русско-французских театральных связей. Некоторый сдвиг наметился лишь после смерти императрицы, в период недолгого регентства ее злосчастной племянницы Анны Леопольдовны, и лишь с воцарением Елизаветы Петровны приглашение в Россию французской драматической труппы наконец состоялось (контракт с ее главой Шарлем де Сериньи был заключен 1 марта 1743 г.), и с этого времени французские спектакли стали постоянным и весьма существенным элементом повседневного придворного и городского быта; при этом русские зрители, владевшие французским языком, получали представление о шедеврах французской драматической литературы и способах их сценического воплощения. Труппа просуществовала без малого два десятка лет и была распущена лишь в связи с кончиной императрицы (1761) и восшествием на престол Петра III³⁰.

Такое положение сохранялось, однако, недолго: вскоре после коронационных торжеств Екатерина II повелела выписать ко двору «достойных французских комедиантов»,

²⁷ См.: Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке. Л., 1984–1986. Т. 1–3.

²⁸ См.: *Строев А.* «Те, кто поправляет фортуна»: Авантюристы Просвещения. М., 1998. С. 79–81; *Zaborov P.* «Le Journal littéraire de St. Petersburg» et les échanges culturels entre la Russie et l'Europe // Réseaux de l'esprit en Europe des Lumières au XIX^e siècle. Genève, 2009. P. 203–215.

²⁹ См.: *Берков П. Н.* Из истории русско-французских культурных связей: (Гастроли французского ярмарочного театра в Петербурге в 1728–1729 гг.) // Романо-германская филология. Сб. статей в честь академика В. Ф. Шишмарева. Л., 1957. С. 56–57.

³⁰ См.: *Всеволодский-Гернгросс. В. Н.* Театр в России при императрице Елисавете Петровне. СПб., 2003.

что и было исполнено, и с 1763 г. французская труппа в улучшенном составе возобновила в Петербурге свою деятельность, которая более или менее успешно продолжалась, с необходимыми заменами и переменами, в течение последующих трех десятилетий³¹.

По мере того, как происходило постепенное сближение двух стран и, вследствие этого, двух культур, со всё возрастающей интенсивностью усиливался интерес в России к французской литературе. Круг ее ценителей и любителей, которым она была в той или иной степени доступна в оригинале, с течением времени постепенно расширялся, пополняясь людьми разных возможностей, склонностей и интересов. Среди них было, естественно, немало писателей — поэтов, прозаиков, драматургов и иных участников русского литературного процесса, получивших хорошее образование (нередко в Страсбурге или Париже), которых французская литература интересовала, привлекала и восхищала, во многих случаях являясь для них источником вдохновения, объектом подражания и недостижимым образцом. Знакомство со старой и новой французской литературой так или иначе сказалось на творчестве А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова, И. Ф. Богдановича и Я. Б. Княжнина, М. М. Хераскова, Д. И. Фонвизина, И. И. Хемницера и Ю. А. Нелединского-Мелецкого, И. М. Долгорукова, Н. П. Николева, И. И. Дмитриева и других.

Особую небольшую группу составляют несколько титулованных литераторов, проживших много лет во Франции и не только в совершенстве овладевших французским языком, но и писавших на нем в значительной степени подражательные стихи и прозу, что принесло им некоторую известность во французских литературных кругах и одобрение ряда французских собратьев по перу, включая Вольтера и Лагарпа. Это граф А. П. Шувалов, князь А. М. Белосельский-Белозерский, граф С. П. Румянцев и князь Б. В. Голицын, каждый из которых оставил свой, пусть и скромный, след в истории двух словесных культур³².

Таким образом, на протяжении XVIII столетия русская образованная публика, причастная к литературе, познакомилась с творчеством многих французских поэтов, прозаиков и драматургов. Однако фактом русской литературы вся эта обширная творческая продукция стала лишь благодаря переводу, который постепенно все интенсивнее входил в русскую культурную жизнь.

В петровское время с французского у нас переводили мало, да и самое это занятие

³¹ См.: *Селиванов Н. А.* Театр в царствование императрицы Екатерины II // Ежегодник императорских театров. Сезон 1895–1896. СПб., 1896. Приложение. Кн. 2. С. 132–152.

³² См.: *Заборов П. Р.* Русско-французские поэты XVIII в. // Многоязычие и литературное творчество. Л., 1981. С. 66–105.

было еще явлением сравнительно редким, а для тех, кто пробовал в нем свои силы, оставалось, как правило, побочным. Так появился первый русский перевод знаменитого нравоучительного романа Фенелона «Приключения Телемаха, сына Улисса» («Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulisse», 1699), выполненный в 1724 г. А. Ф. Хрущевым после возвращения его в Россию, но начатый еще в Голландии, где он обучался навигационному делу. Роман привлек его, скорее всего, содержащейся там критикой французской монархии и абсолютизма вообще, что в какой-то мере отвечало его собственным настроениям, возможно, сформировавшимся под голландским влиянием. В свою очередь, это сблизило Хрущева с А. П. Волыньским и, в конце концов, оба они (а также П. М. Еропкин) летом 1740 г. были казнены. Отсюда печальная судьба его труда, опубликованного без указания имени переводчика лишь в 1747 г.³³ В дальнейшем перевод этот дважды переиздавался — в 1767 и 1782 гг., но большого успеха, по-видимому, не имел, в отличие от самого романа, который до конца века выходил еще в трех разных переводах — И. С. Захарова (1786, 1788), П. С. Железникова (1788–1789) и Ф. П. Лубяновского (1797–1800). Их переводы, более современные по манере и языку, совершенно заслонили собой старый, принадлежавший Хрущеву, и не утратили привлекательности позднее, пока не появились новые, относившиеся уже к другой эпохе. Особый случай — стихотворный перевод, осуществленный В. К. Тредиаковским, его знаменитая (и не раз осмеянная за архаичность языка и тяжеловесность стиля) «Тилемахида» (1766). Роман Фенелона был превращен им в обширную героическую поэму, причем «нестихотворную речь» оригинала он передал с помощью своей имитации античного гекзаметра, с тех пор многократно использованной в отечественной литературе, в том числе и при переводе древнегреческих и древнеримских авторов³⁴.

Однако Фенелон был далеко не единственным французским прозаиком XVII века, открытым тогда в России. Так, в самом начале 1731 г. вышел осуществленный Тредиаковским в Гамбурге (т. е. во время его переезда из Франции на родину) перевод аллегорического романа Поля Тальмана «Езда в остров любви» («Voyage de l'Isle d'amour» 1671)³⁵. Сходную роль сыграли также ранние русские переводы романов другого французского прозаика, принадлежавшего уже к следующему поколению. Речь идет о

³³ См.: Николаев С. И. Об атрибуции переводных памятников Петровской эпохи // Русская литература. 1988. № 3. С. 167–172.

³⁴ См.: Эткин Д. Е. Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина. Л., 1973. С. 14–19.

³⁵ См.: Breuillard J. Vassili Trediakovski (1703–769) // L'influence française en Russie au XVIIIe siècle. P. 252–266.

Лесаже, в сочинениях которого содержалась несравненно более широкая, чем у Тальмана, картина жизни современного французского общества, и многие ее явления подвергались к тому же суровой критике и осуждению. Написанные живо и увлекательно, эти дидактические по своему характеру романы постепенно становились излюбленным чтением средне образованных русских людей. Об этом говорят, например, многочисленные издания «Похождений Жиль-Блаза де Сантильян» («Histoire de Gil Blas de Santillane», 1715–1735) в переводе В. Г. Теплова: первая его публикация увидела свет в 1755–1756 гг., затем роман выходил в 1760–1761, 1768, 1775, 1781–1782, 1792, 1799–1801 гг. Дважды (в 1763 и 1784 гг.) издавался «Бакалавр Саламанкский» («Le Bachelier de Salamanque», 1736) в переводе А. А. Нартова; переводились и печатались некоторые другие сочинения Лесажа, что говорило о прочном интересе у нас к его творчеству и фактическом признании его эстетического новаторства, обогатившего французскую прозу рубежа XVII – XVIII веков.

Наконец, в середине века русский читатель открыл для себя еще одного видного французского прозаика. Это был младший современник Лесажа — аббат Прево д’Экзиль, вошедший в историю литературы, прежде всего, как автор «Приключений кавалера де Гриё и Манон Леско» («Aventures du chevalier de Grioux et de Manon Lescaut», 1731), хотя эта прославившая его любовная история составляла лишь один седьмой том «Воспоминаний и приключений знатного человека, удалившегося от мира» («Mémoires et aventures d’un homme de qualité, qui s’est retiré du monde», 1728–1731), и ему принадлежал ряд других сочинений — несколько весьма объемных романов и многотомная «Всеобщая история путешествий», а также несколько переводов с английского: именно он познакомил своих соотечественников с тремя главными романами Ричардсона, оказавшего в дальнейшем огромное влияние на европейскую литературу в ее движении к сентиментализму.

В России Прево стал известен начиная с 1756 г., его переводили И. П. Елагин и В. И. Лукин («Приключения маркиза Г..., или Жизнь благородного человека, оставившего свет», 1756–1765)³⁶, С. А. Порошин («Философ аглинской, или Житие Клевеланда, побочного сына Кромвелева», т. 1 и 2, 1760–1762), В. Г. Рубан («Настоятель Килеринский», 1765–1781), его издавали и переиздавали, так что русский читатель второй половины столетия получил сравнительно полное представление о его творчестве и, более того, мог если не понять, то, по крайней мере, ощутить, что писатель этот превосходно владеет искусством проникновения в область человеческих чувств и мастерством их изображения,

³⁶ См.: *Головчинер В. Д.* Из истории языка русской литературной прозы 60–70-х годов XVIII века // XVIII век. М.; Л., 1959. Сб. 4. С. 66–84.

а это вполне отвечало их собственным культурным потребностям и вкусу³⁷.

Иначе обстояло дело с французской поэзией и драматургией: переводов из них до середины века существовало немного, так что в большинстве своем читатели и зрители, не знавшие французского языка, должны были довольствоваться пересказами содержания подобных сочинений и их упоминаниями в печати. Именно так, например, сложилась в это время судьба наследия двух прославленных представителей Великого века — Мольера и Корнеля.

О переводах еще в допетровское и петровское время двух комедий Мольера — «Мизантроп» и «Смешные жеманницы» — в середине XVIII века едва ли кто-нибудь помнил, да и особой ценности оба они не имели, поскольку перевод первой остался в рукописи, а перевод второй безнадежно устарел. В 1757 г. И. П. Елагин перевел «Мизантропа» («Le Misanthrope, ou L'Atrabilaire amoureux», 1666), но издан его перевод был лишь в 1788 г. у Н. И. Новикова, который тогда же издал и переиздал в общей сложности двенадцать пьес Мольера (в основном созданных в зрелый период его творчества) в различных по своему характеру, но в целом вполне доброкачественных переводах И. И. Кропотова, И. П. Чаадаева и П. С. Свистунова. Это были «Урок мужьям» («L'Ecole des maris», 1661) и «Урок женам» («L'Ecole des femmes», 1662), «Вынужденная женитьба» («Le Mariage forcé», 1664), «Лекарь поневоле» («Le Medecin malgré lui», 1666), «Сицилиец» («Le Sicilien, ou L'Amour peintre», 1667), «Скупой» («L'Avare, ou L'Ecole du mensonge», 1668), «Амфитрион» («L'Amphitryon», 1668), «Жорж Данден» («Georges Dandin, ou Le Mari confodu», 1668), «Тартюф» («Le Tartuffe, ou L'Imposteur», 1669) и «Мещанин во дворянстве» («Le Bourgeois gentilhomme», 1670). Так что благодаря Новикову значительная и лучшая часть наследия великого французского комедиографа прочно вошла в русский читательский и зрительский обиход³⁸.

Несмотря на то, что имя «отца французской трагедии» Пьера Корнеля произносилось в России с огромным пиететом и любое упоминание о нем в печати обычно сопровождалось восторженными эпитетами, наконец, несмотря на любовь к нему Екатерины II, в течение длительного времени его творчество оставалось русскому обществу малоизвестным. Ситуация изменилась лишь после того, как в 1768 г. при Академии наук

³⁷ См.: История русской переводной художественной литературы. СПб., 1995. Т. 1. С. 122–124 (автор раздела — Р. Ю. Данилевский).

³⁸ Там же. С. 30–32 (автор раздела — Д. М. Буланин), 74–76 (автор раздела — С. И. Николаев). В том же 1788 г. был издан еще один перевод из Мольера — одноактная комедия «Сганарель, или Мысленно-рогатый» («Sganarelle, ou Le Cocu imaginaire», 1660); автор этого прозаического перевода, скрывавшийся под криптонимом «Р. Г.», до сих пор не установлен.

было создано «Собрание, старающееся о переводе иностранных книг», которое на протяжении последующих пятнадцати лет активно способствовало ознакомлению русской публики с французской и вообще западноевропейской литературой³⁹. При его поддержке, в середине 1770-х гг., была предпринята, в частности, первая и, в сущности, единственная серьезная попытка перевести ряд трагедий великого драматурга. Осуществил ее Я. Б. Княжнин, благодаря которому на русском языке появились «Сид» («Le Cide», 1636), «Цинна» («Cinna, ou La Clémence d'Auguste», 1640), «Смерть Помпея» («La Mort de Pompée», 1643) и «Родогуна» («Rodogune, princesse des Parthes», 1644). «Сид», «Цинна» и «Смерть Помпея» должны были составить первый том двухтомного издания, второй — «Родогуна», «Гораций» и еще одна трагедия. Но замысел этот полностью реализован не был: первые три трагедии появились в 1775 г. отдельными выпусками, причем в продажу они поступили лишь четыре года спустя; «Родогуна» увидела свет в 1788 г., перевод «Горация» остался ненапечатанным, а какую трагедию предполагалось еще включить во второй том, неизвестно. Для своего перевода Княжнин избрал безрифменный шестистопный ямб, что, в его представлении, передавало звучание и внешние контуры традиционного александрийского стиха. Из всех этих переведенных Княжниним трагедий лишь «Сид» поднялся впоследствии на театральные подмостки. Произошло это в год смерти русского драматурга, в 1791 г. в Москве. Еще через пять лет, на сей раз в Петербурге, была представлена самая знаменитая из комедий Корнеля — «Лжец» («Le menteur», 1643)⁴⁰.

Сходной была первоначальная история «русского Расина». У этого великого драматурга, создавшего новый для французской литературы жанр психологической, «галантной» трагедии, было много восторженных почитателей, которым его творческое наследие было доступно в оригинале или же благодаря спектаклям французских гастролеров, выступавших в обеих столицах. Но переводить его начали поздно, и, не считая двух отрывков из «Федры» и одного из «Андромахи», переведенных А. П. Сумароковым, на русском языке появились лишь четыре трагедии Расина — обе «библейские», т. е. «Есфирь» («Esther», 1689) и «Гофолия» («Athalie», 1691), «Андромаха» («Andromaque», 1667) и «Ифигения в Авлиде» («Iphigénie en Aulide», 1674), причем «Эсфирь» была переведена дважды — сначала в прозе («Есфирь», 1783), а затем в стихах (1795), «Гофолия» — только в прозе (1784), «Андромаха» — в стихах, причем два раза, соответственно в 1790

³⁹ См.: Семенников В. П. Собрание, старающееся о переводе иностранных книг, учрежденное Екатериной II: 1768–1783. СПб., 1913.

⁴⁰ См.: Кукушкина Е. Д. 1) Трагедия П. Корнеля «Гораций» в переводе Я. Б. Княжнина // XVIII век. СПб., 2011. Сб. 26. С. 368–423; 2) Пьер Корнель в России // Там же. СПб., 2013. Сб. 27. С. 362–386.

и 1794 г., «Ифигения» — в стихах (1796)⁴¹. Стихотворным был также перевод единственной комедии Расина «Сутяги» («Les Plaideurs», 1668), увидевший свет в 1797 г., прозаическим — перевод той же комедии, оставшийся в рукописи и опубликованный лишь в 2015 г.⁴². Все издания вышли без указания переводчиков, причем в случае с переводом «Андромахи» (1794) это произошло, скорее всего, по недоразумению: перевел ее Д. И. Хвостов, скрывать свое авторство было не в его характере, тем более что перевод был посвящен Екатерине II, но исправить эту оплошность в печати он смог лишь при первом переиздании трагедии. Переводы были различны по своей манере, но все весьма несовершенны, и ни один из них не стал событием литературной жизни, да и на сцену попала одна «Андромаха» в переводе Хвостова, им улучшенном, причем произошло это лишь 16 сентября 1810 г. в Петербурге и 27 ноября 1811 г. в Москве.

Подобно трагедии, французская поэзия Великого века присутствовала в русском сознании на протяжении почти всего XVIII века, но двух самых знаменитых ее представителей — прославленного баснописца Лафонтена и авторитетнейшего законодателя вкуса и сатирика Буало — переводили нечасто, причем с Лафонтеном обращались весьма свободно, в основном используя его как неисчерпаемый источник басенных сюжетов, Буало же чаще цитировали, излагали и «имитовали»; в этой связи можно назвать А. П. Сумарокова с его «Притчами» и «Двумя эпистолами», а также М. Н. Муравьева с его «Опытом о стихотворстве». Впрочем, Лафонтена все же не раз переводил И. И. Дмитриев, а обессмертивший Буало стихотворный трактат «Поэтическое искусство» («L'Art poétique», 1674) стихами перевел Третьяковский («Наука о стихотворении и поэзии», 1752). Правда, еще в 1727–1729 гг. А. Д. Кантемир, превосходно знавший творчество Буало, осуществил перевод на русский язык первых четырех его сатир и «Речи королю», но распространялись они в течение долгого времени в списках и увидели свет лишь в 1906 г.⁴³.

Все эти попытки русских литераторов и переводчиков познакомить отечественных читателей и зрителей с драматическим и поэтическим наследием французского XVII века, при всей значительности и плодотворности этих попыток, не могли, однако, заслонить от них общественных и эстетических открытий новой эпохи, которая вошла в историю как эпоха Просвещения. Из крупнейших ее представителей наибольшую известность получил

⁴¹ См.: *Гуковский Г. А.* Расин в России в XVIII веке // XVIII век. Сб. 27. С. 434–480.

⁴² См.: *Дёмин А. О.* Комедия Ж. Расина «Les Plaideurs» в рукописном русском переводе конца XVIII века // XVIII век. М.; СПб., 2015. Сб. 28. С. 375–405.

⁴³ См.: *Песков А. М.* Буало в русской литературе XVIII – первой трети XIX века. М., 1989. С. 11–34.

у нас Вольтер, творчество и деятельность которого постепенно стали неотъемлемой частью русской культурной жизни.

Как известно, первое упоминание имени Вольтера в русской печати датируется 1735 годом, когда В. К. Тредиаковский в своей «Эпистоле от российския поэзии к Аполлину» назвал сравнительно молодого еще поэта наряду с общепризнанными корифеями ушедшего века. Тем не менее, прошло чуть более двух десятилетий, прежде чем увидел свет первый русский перевод из Вольтера: философская повесть «Микромегас» («*Micromégas*», 1752). В дальнейшем на русский язык были переведены почти все его повести, причем некоторые из них выходили в нескольких переводах и неоднократно переиздавались: к этим повестям относятся «Задиг» («*Zadig, ou La Destinée*», 1747), «Кандид» («*Candide, ou L'Optimisme*», 1759), «Принцесса Вавилонская» («*La Princesse de Babylone*», 1768), «Человек с сорока экю» («*L'Homme aux quarante écus*», 1768), «Мемнон» («*Memnon, ou La Sagesse humaine*», 1750), «Жанно и Колен» («*Jeannot et Colin*», 1764), «История доброго брамина» («*Histoire d'un bon bramin*», 1759), «Индийская повесть» («*Aventure indienne*», 1766) и другие. Актуальность и острота содержания, тематическое разнообразие, увлекательность сюжета и доступность формы обеспечили этим, часто небольшим по объему, сочинениям долгий и прочный успех у русских читателей. Переведено было также несколько вольтеровских памфлетов, исторических трудов, отрывков из «Философского словаря» («*Le Dictionnaire philosophique*», 1764) и т. д. и т. п.

О главном поэтическом творении Вольтера — эпической поэме «Генриада» («*La Henriade*», 1723–1728) русские читатели могли составить себе представление стараниями двух переводчиков — Я. Б. Княжнина, который справился со своей нелегкой задачей более или менее удачно, хотя александрийский стих оригинала он заменил ямбическим белым стихом (перевод его вышел в 1777 г.), и кн. А. И. Голицына, чей многолетний труд, изданный в 1790 г., не стал, однако, крупным литературным событием. В разное время на русском языке появились «Речи в стихах о человеке» («*Discours en vers sur l'homme*», 1738), «Поэма о естественном законе» («*Poème sur la loi naturelle*», 1752) «Поэма о гибели Лиссабона» («*Poème sur le désastre de Lisbonne*», 1756), «Извлечение из Экклезиаста» («*Précis de l'Ecclésiaste*», 1759), «Тактика» («*La Tactique*», 1773), а также ряд стансов, сказочек, посланий, эпиграмм и т. д. Правда, по причинам цензурного характера антиклерикальная поэма «Орлеанская девственница» («*La Pucelle d'Orléans*», 1755) осталась не владевшему французским языком русскому читателю почти недоступной, поскольку ее анонимный прозаический перевод распространялся в списках.

Наконец, в 1740-х гг. началось у нас освоение творчества Вольтера-драматурга.

Первоначально это происходило только благодаря выступлениям французских гастролеров и любительским спектаклям, а в дальнейшем, силами отечественных актеров, на петербургской и московской сценах. Однако из тринадцати пьес, переведенных в то время на русский язык и известных в печати, сыграно было тогда всего три — комедия «Нанина» («Nanine, ou Le Préjugé vaincu», 1749), переведенная в 1765 г. И. Ф. Богдановичем, и две трагедии — «Магомет» («Fanatisme, ou Mahomet le prophète», 1741), переведенный в середине 1770-х гг. гр. П. С. Потемкиным, но изданный лишь в 1798 г., и «Альзира» («Alzire», 1736), переведенная П. М. Карабановым в 1786 г., тогда же опубликованная, а в 1798 г. переизданная в улучшенном виде. В тех же переводах обе эти трагедии исполнялись на сцене и позднее.

В начале 1790-х гг. И. Г. Рахманинов, отличный знаток, переводчик и поклонник Вольтера, задумал подготовить и напечатать в собственной типографии, устроенной им в его тамбовском имении, «*Полное собрание всех донныне переведенных на российский язык и в печать изданных сочинений г. Волтера*». Окончилось это предприятие, как известно, неудачей: из намеченных двадцати частей в свет вышли всего три, четвертая была напечатана, а пятая еще только набиралась, когда поступило распоряжение остановить печатание и типографию ликвидировать. Такова была воля Екатерины II, напуганной революционными событиями во Франции, одним из главных предтеч и вдохновителей которых являлся, в ее представлении, некогда столь ею любимый и почитаемый Вольтер.

Впрочем, нескрываемое охлаждение императрицы к ее бывшему кумиру не исключало полностью ни новых русских переводов, ни новых изданий, ни новых постановок его пьес. Ничего не изменилось в этом отношении и при Павле I, хотя его стремление воспрепятствовать проникновению в Россию «французской заразы» было еще более последовательным и энергичным⁴⁴.

Не исчез и сравнительно давно возникший в России интерес к творчеству различных «учеников» Вольтера. Так, многократно издавался знаменитый роман Жана-Франсуа Мармонтеля «Велизарий» («Vélisaire», 1766), переведенный в 1767 г. при участии Екатерины II группой ее приближенных во время их путешествия по Волге; впервые опубликованный в 1768 г., он затем дважды переиздавался — в 1773 и 1785 гг. В 1769 г. роман вышел в переводе П. П. Курбатова, переиздававшемся еще шесть раз; существовал и третий перевод — В. С. Сопикова, единственное издание которого появилось в 1803 г.

⁴⁴ См.: Заборов П. Р. Русская литература и Вольтер. XVIII – первая треть XIX века. С. 7–102; Вольтер: Pro et contra: Личность и идеи Вольтера в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. СПб., 2013. С. 31–115.

Кроме того, в 1778 г. в переводе М. В. Сушковой был опубликован еще один роман Мармонтеля — «Инки, или Разрушение Перуанской империи» («*Les Incas, ou La Destruction de l'empire du Pérou*», 1777); не раз издавались и другие его сочинения, чему особенно способствовал Н. М. Карамзин, осуществивший перевод «Новых нравоучительных повестей» («*Nouveaux contes moraux*», 1792). Это двухтомное издание увидело свет в 1794–1798 гг. под названием «Новые Мармонтелевы повести»⁴⁵. Среди «учеников» Вольтера, переведенных в России, было также немало авторов трагедий и комедий, равно как и поэтов, проявивших себя в высоких жанрах и легком стихотворстве. Самое известное имя в этом ряду — П.-О. Карон де Бомарше, три знаменитые комедии которого: «Евгения» (*Eugénie*), 1767), «Севильский цирюльник» («*Le Barbier de Séville*», 1775) и «Женитьба Фигаро» («*Le Mariage de Figaro*», 1784) с успехом ставились с конца 1770-х гг. на русской сцене⁴⁶.

И все же авторитет Вольтера как мыслителя и писателя был у нас к концу столетия существенно поколеблен, причем не только под влиянием социальных катаклизмов, но и в силу возникновения и усиления во французской культуре и литературе этого времени новых тенденций. Крупнейшими представителями этого направления общественных и эстетических поисков и открытий являлись Дени Дидро и Жан-Жак Руссо. На протяжении второй половины XVIII века оба эти имени значили для русского общества чрезвычайно много, круг их почитателей был велик и разнообразен, сочинения их находились почти во всех дворцовых и частных библиотеках. Между прочим, книжное собрание Дидро было куплено, на исключительно благоприятных для него условиях, Екатериной II, а период с 1 ноября 1773-го по 5 марта 1774 г. он провел в Петербурге и был там постоянным собеседником российской императрицы.

Вклад Дидро во французскую литературу как таковую уступал по своему значению масштабам его разносторонней деятельности философа, ученого, знатока и теоретика искусства; главным же делом его жизни была знаменитая Энциклопедия, или Словарь наук, искусств и ремесел (*L'Encyclopédie, ou Dictionnaire des sciences, des arts et des métiers*, 1751–1780). Идейный вождь этого грандиозного труда, его организатор, редактор и один из основных его авторов, он, по преимуществу именно в этом своем качестве благодаря многочисленным переводам энциклопедических статей, стал неизменным участником умственного движения, набравшего силу в современной ему России.

Между тем, литературное творчество Дидро осталось в России малоизвестным. На

⁴⁵ См.: *Kafanova O. B. La réception de l'œuvre de Jean-François Marmontel en Russie // L'Influence française en Russie au XVIII^e siècle. P. 237–252.*

⁴⁶ См.: Пьер-Огюстен Карон де Бомарше: Библиографический указатель / Сост. Г. И. Лещинская. М., 1980. С. 5–9, 64–68.

русский язык перевели лишь малую часть того, что опубликовал он сам и что издавалось вскоре после его смерти. Это были две пьесы — «Побочный сын, или Испытания добродетели» («Le Fils naturel, ou Les épreuves de la vertu», 1757) и «Отец семейства» («Le père de la famille», 1758), номинально — комедии, фактически — драмы, написанные в соответствии с предложенной им театральной реформой. Оба произведения увидели свет в переводе С. И. Глебова (в целом весьма удачном), в 1765 г. — «Отец семейства», позднее — «Побочный сын»; в 1788 г. их переиздал под слегка измененными заглавиями Н. И. Новиков, и в том же году появился еще один перевод «Побочного сына», принадлежащий перу Ивана Яковлева. С 1780 г. «Отец семейства» входил в репертуар Петровского театра, который в дальнейшем систематически знакомил московских зрителей с этим новым драматическим жанром⁴⁷.

Видным последователем Дидро, продолжившим и углубившим начатое этим великим просветителем преобразование французского драматического театра, был Луи-Себастьян Мерсье⁴⁸. Из-под его пера вышло более трех десятков пьес, смелых и острых по содержанию, свободных от правил и предписаний, предназначенных по преимуществу для третьесословной публики. Из его пьес, чаще всего именовавшихся драмами (или драммами), на русский язык было переведено одиннадцать, поставлено, по большей части на сцене театра Маддокса (Петровского)⁴⁹, шесть: в 1782 г. — «Дезертир» («Le Déserteur», 1770), в 1784 г. — «Неимуший» («L'Indigent», 1772), в 1785 г. — «Тачка уксусника» («La Brouette du vinaigrier», 1775), в 1786 г. — «Зоа» («Zoé», 1782), в 1789 г. — «Судья» («Le Juge», 1774), в 1795 г. — «Веронские гробницы» («Les Tombeaux de Véronne», 1782)⁵⁰.

В отличие от Дидро, которого в России, в интересующую нас эпоху, больше читали по-французски, чем переводили и издавали, Жан-Жака Руссо не только читали в оригинале, но и широко переводили, и многократно издавали, так что русский читатель, не владевший французским языком, мог познакомиться, полностью или в сокращении, с множеством сочинений Руссо, включая, конечно, самые знаменитые из них, например, его трактаты «Рассуждение о науках и искусствах» («Discours sur les sciences et les arts», 1750) и

⁴⁷ См.: *Zaborov P.* Le théâtre de Diderot en Russie au XVIII^e siècle // Colloque international Diderot. Paris, 1985. P. 493–501. Кроме того, в 1796 г. был напечатан в переводе Д. П. Рунича фрагмент повести Дидро «Жак фаталист и его хозяин» («Jacques le fataliste et son maître», 1773), озаглавленный «Удивительное мщение одной женщины».

⁴⁸ См.: *Louis-Sébastien Mercier* (1740–1814). Un hérétique en littérature. Paris, 1995. P. 121–151.

⁴⁹ См.: *Чаянова О. Э.* Театр Маддокса в Москве: 1776–1805. М., 1927.

⁵⁰ См.: *Заборов П. П.* Театр Л.-С. Мерсье в России // Русская культура XVIII века и западноевропейские литературы. Л., 1980. С. 63–82.

«Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» («Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes», 1754), составивший эпоху в истории европейской литературы роман-трактат «Эмиль, или О воспитании» («Emile, ou de l'éducation», 1762), роман в письмах «Жюли, или Новая Элоиза» («Julie, ou La Nouvelle Héloïse», 1761) и «Исповедь» («Les Confessions», 1766–1770), один из шедевров мировой автобиографической прозы. Из переводчиков Руссо самым активным был его знаток и почитатель П. С. Потемкин, но свой вклад внесли также — при всем несходстве их убеждений и возможностей — П. С. Андреев, П. И. Страхов, И. Ф. Богданович, И. С. Рижский, Д. С. Болтин, А. И. Лужков, И. В. Лопухин и другие⁵¹.

Одновременно происходило у нас осмысление и обсуждение философских, общественно-политических, педагогических и эстетических воззрений Руссо, вызывавших весьма противоречивую реакцию — от глубочайшего сочувствия до совершенного отрицания; по-разному воспринималась и самая его личность, одним внушавшая искреннее восхищение, другим — откровенную неприязнь. Тем не менее, под влиянием Руссо с его «религией сердца» и его «культом природы и чувства» русская литература последней трети XVIII века обогатилась новыми для нее «руссоистскими» чертами, что и позволило в дальнейшем назвать это время «эпохой сентиментализма»⁵². Конечно, Руссо являлся центральной фигурой этого направления, что и обусловило столь широкое знакомство русской публики с его творчеством, но внимание их привлекали и его не столь выдающиеся последователи. Это были, среди прочих, Жак-Анри Бернард де Сен-Пьер, чувствительная повесть которого «Поль и Виржини» («Paul et Virginie», 1787), впервые вышедшая в русском переводе в 1793 г., имела долгий читательский успех, и Никола-Эдм Ретиф де Ла Бретон, три сочинения которого — «Ножка Фаншетты» («Le Pied de Fanchette», 1774), «Невинность в опасности» («L'Innocence en danger», 1779) и «Жизнь моего отца» («La Vie de mon père», 1779) увидели свет на русском языке соответственно в 1774, 1786 и 1796 гг.

Таким образом, за неполных сто лет в России получила известность французская литература разных эпох, стилей и жанров, причем в русское культурное пространство попадало почти одновременно творчество корифеев Великого века, выдающихся просветителей и авторов «чувствительных» романов. К этому следует добавить большое

⁵¹ См.: Лотман Ю. М. Руссо и русская культура XVIII века // Эпоха Просвещения. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1967. С. 208–281; Ж.-Ж. Руссо: Pro et contra: Идеи Жан-Жака Руссо в восприятии и оценке русских мыслителей и исследователей (1752–1917): Антология. СПб., 2005. С. 71–147.

⁵² См.: Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма: (Эстетические и художественные искания). СПб., 1994. С. 3–23.

количество французских источников, из которых черпали свой материал составители и издатели различных сборников и журналов, выходивших в столицах и некоторых провинциальных городах⁵³. Конечно, это была лишь небольшая часть двухвековой французской литературной продукции, но и то, что было сделано у нас в этом отношении, внесло исключительно ценный вклад в русскую духовную жизнь и, в частности, явилось важной школой для многих русских писателей в их идейных и художественных исканиях.

⁵³ См.: *Рак В. Д.* Русские литературные сборники и периодические издания второй половины XVIII века. Иностраные источники, состав, техника компиляции. СПб., 1998. См. также: *Рак В. Д.* 1) Переводные анонимные произведения в «Городской и деревенской библиотеке» // XVIII век. Л., 1976. Сб. 11. С. 125–130; 2) «Адская почта» и ее французский источник // XVIII век. Л., 1996. Сб. 15. С. 169–197; 3) Переводы в журнале «Чтение для вкуса, разума и чувствований» // XVIII век. СПб., 1993. Сб. 18. С. 230–261; 4) Библиографические заметки // XVIII век. СПб., 1996. Сб. 20. С. 169–203; 5) Увеселительный отдел в тобольском журнале «Библиотека ученая, экономическая...». // XVIII век. СПб., 2008. Сб. 25. С. 354–358; *Симанков В. И.* 1) Источники журнала «Детское чтение для сердца и разума (1785–1789)» // XVIII век. СПб., 2015. Сб. 28. М.; С. 323–374; 2) Иностраные источники журнала «Собрание лучших сочинений» (1762) // СПб., 2020. Сб. 30. С. 244–268 и др.

СТАНОВЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ В РОССИИ 1703—1764 ГОДЫ.

Издания периодической печати (газеты и журналы) относятся к отличительным признакам интеллектуальной жизни Нового и Новейшего времени. Хотя известия нерегулярно публиковались еще в Риме, а затем в Византии, именно в Новое время периодика становится неотъемлемой частью культуры, отвечая восприятию времени и мира нового человека. Пробраз будущей газеты возникает в Западной Европе с началом капитализма, проявившемся, в частности, в оживлении торговли и зарождении сословия торговых людей, для которых сведения о происшествиях в разных частях мира не питали праздного любопытства, а напрямую влияли на успех деятельности. Коммерсанты и были корреспондентами первых рукописных листков, предшественника будущих газет, сообщая с мест почтой о событиях в удаленных городах и странах. Извлеченные из их писем новости переписывались и распространялись за плату, стоимость новостного листка составляла *gazetta*, монета Венецианской республики, давшая в Италии имя столь значительному начинанию¹. В газету в настоящем смысле новостные листки превратились тогда, когда благодаря изобретению печати они получили существенно большее распространение, когда они начали выходить с определенной периодичностью, и наконец, когда простое перечисление в них новостей уступило место рассказам, содержащим необходимый контекст для восприятия событий, их прямую или скрытую оценку.

Если в западноевропейских странах газета возникла в среде ранних буржуа стихийно, в России, не имевшей социально-экономических предпосылок капитализма, своим зарождением и становлением она обязана государственному руководству. Указом государя Петра I от 16 декабря 1702 г. было постановлено «по ведомостям о воинских и всяких делах, которыя надлежит для объявления Московского и окрестных государств людям, печатать куранты»², и уже в конце декабря 1702 г. были напечатаны

¹ В русский язык слово «газета» пришло из итальянского языка уже в 1708 г., своим утверждением на русской почве оно обязано польскому влиянию (см.: Словарь русского языка XVIII века. Л., 1989. Ч. 5: Выпить—Грызть. С. 81).

² Полное собрание законов Российской империи. [СПб.], 1830. Т. 4. С. 201. № 1921.

первые листки. В продолжении долгого времени у них не было точного названия, но употребленное в указе слово «ведомости», т. е. известия, как правило, входит в их колеблющиеся титулы. Историки русской журналистики нередко называют предшественником петровских ведомостей куранты, первые из которых относятся к середине XVII в.³ Однако куранты, не предназначавшиеся для публики, не были газетой, пусть и рукописной, а принадлежали к тайным правительственным документам, изготовлявшимся специально для информирования царя и боярской думы о зарубежных, главным образом политических, событиях. Они сыграли между тем свою роль в решении государя о создании ведомостей, на что указывает их упоминание в указе от 16 декабря 1702 г. как термина⁴. Но и сами ведомости не были газетой, т. е. периодическим изданием, поскольку выходили нерегулярно, не имели определенного объема, колеблющегося от одного листка до 48 страниц, а также единой структуры. Чаще всего они заключали в себе извещение о большем или меньшем ряде происшествий, но также могли быть посвящены и одному важному событию. В таких случаях издавались и реляции, не различавшиеся, очевидно, издателями от ведомостей, на что указывает и общий формат части из них в 8 долю листа. К ведомостям и реляциям примыкают журналы, также листовое издание, содержащее новости. Впрочем, формат ведомостей и реляций не был строго определенным. Все эти издания представляют собой русскую аналогию новостным листкам Западной Европы до превращения их в периодическую печать, являясь по существу предшественниками газеты, своего рода прото-газетой⁵. Они появились в момент наметившегося перелома в

³ Строгое жанровое определение русских курантов как специальных обзоров известий, извлеченных из иностранных газет, и их датировка принадлежит С. М. Шамину (см.: *Шамин С. М. Куранты XVII столетия: Европейская пресса в России и возникновение русской периодической печати.* М.; СПб., 2011. С. 2—6), до него первыми курантами считали всякие известия, полученные из западноевропейских рукописных и печатных газет, относя их появление даже к концу XVI в., см.: *Сумкина А. И., Тарабасова Н. И. Введение // Вести-куранты 1600—1639 гг. / Изд. подгот. Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов, А. И. Сумкина. Под редакцией С. И. Коткова.* М., 1972 (Сер. «Литературные памятники»). С. 4.

⁴ С середины XVII в. «курантами» в России назывались газеты по входившему в название голландских газет слову «courant», но также и сами обзоры иностранных известий, извлеченных из газет, см. об этом: *Шамин С. М. Слово «куранты» в русском языке XVII—начала XVIII в. // Русский язык в научном освещении.* 2007. № 1. С. 119—152.

⁵ Об особенностях ведомостей Петровского времени, их содержании и жанровой специфике публикаций см.: *Тоцев А. И. Петровские ведомости как тип издания // XVIII век.* Л., 1989. Вып. 16. С. 184—199.

Северной войне, отвечая стремлению Петра Великого к мобилизации всех сил страны для победы. Именно поэтому он сам принимал в издании ведомостей в первые годы их выхода живейшее участие. Тогда они состояли преимущественно из военных сводок, политических новостей, касающихся войн и важнейших событий в жизни европейских государств, а также из сообщений о достижениях русской промышленности. Как и затеянное вскоре государем издание календарей, ведомости призваны были служить воспитанию в подданных гражданских добродетелей, к числу которых относились политическая сознательность и любознательность. Издавались ведомости Монастырским приказом, в ведении которого находилась единственная в ту пору типография. Их тираж не был строго определен и колебался от нескольких десятков экземпляров до четырех тысяч. С открытием в 1712 г. Санкт-Петербургской типографии издание было переведено в новую столицу, однако название «Санктпетбургские ведомости» давалось лишь отдельным выпускам, вероятно, затем, чтобы отличать их от текстуально совпадавшего с ними варианта, выходившего иногда в Москве.

В настоящем смысле газета появилась в России после передачи подготовки и печати ведомостей в недавно открытую Академию наук. Ответственным за ее издание был назначен недавно приехавший из Лейпцига Г. Ф. Миллер (1705—1783). С началом нового 1728 г. стали выходить «Санктпетбургские ведомости», под номерами, с фиксированным наконец названием, правильной периодичностью (по вторникам и пятницам), с определенной структурой. Регрессом для русской культуры явилось решение Академии наук издавать ведомости на немецком языке, адресуя их в первую очередь петербургским немцам, и уже с немецкого оригинала переводить на русский язык (в первые годы газета выходила и на французском языке). Это повлекло за собой оскудение материала, теперь в ведомостях подавляющее место стали занимать иностранные известия, прямо не связанные с интересами России. Идеологической программы у газеты не было, сообщавшиеся события европейской жизни заметно измельчали, меньше в сравнении с ведомостями Петровского времени говорилось о европейской дипломатии и войнах, чаще — о перипетиях далеких для русского читателя европейских династий. Вместе с тем Миллер завел порядок дополнять отдельные номера издания суплементами, или приложениями, в которых подробно излагались важные события, помещались описания церемоний, репортажи сражений.

Замечательным нововведением Миллера стало издание также в двух вариантах, немецком и русском, «Примечаний к Ведомостям» (1728—1742)⁶, служивших бесплатным приложением к подписке на газету. Первоначально этот первый русский журнал действительно задумывался как примечания к не всегда понятному материалу «Ведомостей», но с 1729 г. в нем все чаще стали появляться не связанные с газетой статьи, и он постепенно утратил зависимость от нее. Писавшиеся учеными Петербургской академии наук, статьи журнала были рассчитаны на любознательного читателя, научно-популярный характер не мешал высокому научному уровню их подавляющего большинства. Одновременно с «Примечаниями» в Академии наук выходил на латинском языке строго научный журнал «*Commentarii Academiae scientiarum imperialis*» (1728—1751), рассчитанный на ученых Европы.

Историю русской журналистики не всегда возводят к этим двум журналам, чаще о них лишь упоминают, оставляя в стороне от магистральной линии, которая, как считается, начинается с журнала «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» (1755—1764). Основания для такого взгляда лежат в особенностях обоих академических изданий: их научный характер, иностранное происхождение подавляющего большинства авторов, а также иностранный язык оригиналов статей плохо укладываются в ретроспективный взгляд на историю русских журналов, основным материалом которых уже с конца 1750-х гг. становится художественная литература и публицистика, а авторами все чаще и чаще – русские писатели. Между тем названные особенности первых русских журналов, странные с точки зрения последующей истории, запечатлевают замечательный момент в истории русской культуры, недооценка которого искажает ее неповторимый облик. Новая русская европеизированная культура была замыслена Петром Великим как культура высокоинтеллектуальная, как культура науки. Одним из важнейших затеянных им учреждений была Академия наук. С ее открытием 27 декабря 1725 г. к ней перешло ведение всеми светскими культурными институтами и мероприятиями, и в 1730—1750-х гг. именно Академия наук определяла новую русскую культуру. Ее роль в становлении литературного языка, поэзии и прозы, журналистики и критики трудно переоценить. Поэтому и первые русские журналы, пусть писанные по-немецки и

⁶ В разные годы название журнала колебалось, до 1732 г. в его титул входило уточнение «исторические, генеалогические и географические» примечания, см.: Сводный каталог книг гражданской печати XVIII века: 1725—1800. М., 1966. Т. 4. С. 170 (№ 212).

латыни, были первыми детищами именно русской культуры в новой ее модификации. Перевод статей «Примечаний» на русский язык составлял обязанность переводчиков Академии наук, среди которых до 1733 г. числился В. Е. Адодуров, а также секретаря Академии наук В. К. Третьяковского. В работе над переводом они осуществляли поиски способов обновления русского языка. Переводы статей «Примечаний» предстают, таким образом, памятниками языка 1730-х гг., ожидающими своего изучения. С точки зрения истории русской поэзии исключительный интерес в «Примечаниях» представляют первые петербургские немецкие оды, а также панегирические стихотворения, входившее в описания иллюминаций и фейерверков, которые начали печататься в журнале начиная с 1732 года (часто повторяя отдельные их издания), после приезда в Петербург поэта Г. В. Фр. Юнкера (1705—1746). Хотя первую из од перевел М. Шванвиц, следующие переводы од и стихотворений осуществлялись до 1738 г. Третьяковским, в этой работе им была выработана система русского силлабо-тонического стихосложения. Оды (среди которых две первые изданные оды Ломоносова) и иллюминационные стихотворения вместе с описаниями иллюминаций и фейерверков были единственным литературным материалом «Примечаний». Журнал был закрыт в ноябре 1742 г. в связи с происходившими тогда волнениями внутри Академии наук.

Двенадцать следующих лет, на которые приходится становление новой русской поэзии, драматургии и литературной культуры в целом, в России не выходило ни одного журнала. В подчеркивании этого обстоятельства видится необходимость, поскольку прерывность выхода журналов, обыкновенный для них кратковременный срок жизни, многолетние лакуны в выпуске периодических изданий принадлежат к отличительным особенностям русской журналистики XVIII в. На примере «Примечаний» и «Ежемесячных сочинений» можно понять одну из причин такого положения вещей. Если в Западной Европе появление журналов было вызвано бурным развитием литературы, включая сюда публицистику и критику, в России издания первых журналов существенно опережали развитие литературы. Именно поэтому первые русские журналы были академическими, издавались светским центром культуры, их издание было инспирировано руководством Академии наук и высшей властью. Недостаток литературных произведений с необходимостью определил академическое, то есть научное, научно-популярное содержание периодических изданий. Таким образом, русская журналистика выросла из академизма, превращение

ее в литературно-публицистическую было постепенным завоеванием культуры, на которое ушли годы. Обозначенному здесь общему направлению развития русской журналистики не противоречат отдельные редкие в 1750—1760-х гг. литературные журналы, например, такие, как «Трудолюбивая пчела» (1759), их малочисленность и кратковременность существования как раз свидетельствуют о трудности их изданий. С отставанием литературы от периодических изданий связана и другая особенность русской журналистики XVIII в.: большое, часто подавляющее число в журналах переводных материалов. Если в «Примечаниях» это было само собой разумеющимся, а в журналах 1750—начала 1760-х гг. из переводов не делали тайны, указывая как правило на переводной характер статьи, а иногда и имя ее переводчика, то начиная с 1770-х гг. иностранные материалы все чаще стали приспособлять к русским реалиям, что приводило к стиранию грани между переводом и оригиналом. Лишь в конце XX в. благодаря исследованиям ученых картина русской журналистики предстала в новом свете⁷. Многие из того, что в течение более двух веков считалось достижением русской мысли, оказалось переводами из иностранных журналов. Сказанное служит не умалению заслуг издателей и авторов журналов, а признанию трудности тех условий, в которых работали первые русские журналисты.

Особенное внимание историков литературы, выпавшее на долю «Ежемесячных сочинений», в разные эпохи диктовалось своими причинами. Благодаря тому, что журнал издавался в Академии наук, в отличие от большинства других периодических изданий XVIII в., сохранились некоторые документы по его производству, легшие в основу исследования П. П. Пекарского⁸. В XX в. оценка журнала во многом была определена ролью Ломоносова в его создании. Хотя она и сильно преувеличивалась, высказанное им в письме к И. И. Шувалову от 3 января 1754 г. пожелание о возобновлении издания журнала на подобии «Примечаний», возможно, повлияло на распоряжение президента Академии наук К. Г. Разумовского об издании «Ежемесячных сочинений». Проект журнала обсуждался в Собрании Академии наук 23 ноября 1754 г., ответственным за издание с самого начала был назначен Миллер,

⁷ См.: *Рак В. Д.* Русские литературные сборники и периодические издания второй половины XVIII века: Иностранные источники, состав, техника компиляции. СПб., 1998; см. также: *Разумовская М. В.* «Почта духов» И. А. Крылова и романы маркиза д'Аржана // *Русская литература*. 1978. № 1. С. 103—115.

⁸ *Пекарский П. П.* Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале 1755—1764 годов // *Записки Имп. Академии наук*. СПб., 1867. Т. 12. Приложение № 5. С. 1—88.

который и вел его в продолжение десяти лет; с его переездом в Москву издание прекратилось. Миллером была разработана программа журнала, обстоятельно изложенная им в «Предуведомлении», открывающем первый номер. Здесь перечисляются десятки иностранных журналов, главным образом немецких, опыт которых был учтен при разработке принципов «Ежемесячных сочинений». Сам тип журнала восходил, как и «Примечания», к немецкому образцу. В отличие от знаменитых английских журналов «Спектатор» (the spectator – зритель) и «Татлер» (the tatter – болтун), представлявших собой еженедельники, «Ежемесячные сочинения», как явствует уже из их названия, выходили раз в месяц, номера объемом около 90 страниц, выпускавшиеся без переплета, внутри полугодия имели сплошную пагинацию, а значит, изначально мыслились как книга, в которой подборку шести номеров следовало в перспективе объединить общим переплетом. В таком виде и сохранились дошедшие до нашего времени экземпляры журналов, переплет большей части которых относится к середине XVIII в. Таким образом, в своем замысле «Ежемесячные сочинения» должны были предстать книгой для чтения, ее небольшой формат (в 8⁰) и соразмерный объем (около 560 стр.) соответствовали большей части издававшихся тогда книг, удобных в обращении. Порядок ведения «Ежемесячных сочинений» и их структура послужили образцом для большинства русских журналов XVIII в., хотя здесь во множестве будут издаваться и еженедельники.

Представление о журнале как о книге для чтения по преимуществу существенно отличается от взгляда на журнал в позднейшие эпохи. Если в XIX—XX вв. уровень журнала определялся его вовлеченностью в современные события, журналистам и читателям XVIII в. острота восприятия текущего момента, участие в бурлении современности, общественной борьбе, злобе дня еще не ведомы. В их сознании время еще уступает вечности, и слово в независимости от его художественной ценности обладает вневременным значением. Основными задачами журналистики видятся польза и занимательность, не преходящие, как казалось, со временем. Это делает возможным переиздание журналов, причем спустя десятилетия – обыкновение, немыслимое в позднейшие эпохи. Переиздание журналов не было русским изобретением, это практиковалось в XVIII в. и в Западной Европе. Сложившаяся в XVIII в. в России привычка к журналу как к книге для чтения уже в XIX в. вылилась в характерную особенность именно русской журналистики, в преобладание в ней толстых журналов. Заключенная в заглавии «Ежемесячных сочинений» формула

«польза и увеселение», восходя к хрестоматийной строке из «Искусства поэзии» Горация «*Utile dulce miscere...*» (совмещать полезное с приятным – *лат.*), выражала взгляд эпохи не только на литературу, но и на чтение. Перенесенная Миллером в название журнала, она закрепилась в титулах многих русских периодических изданий («Полезное увеселение», «Приятное с полезным»), обозначив собой новую организацию досуга.

Неверно думать, что «увеселение» противостояло в журнале «пользе», и какие-то материалы предназначались для пользы, а какие-то, напротив, для увеселения. Формула, как и журнал, отражает единство пользы и увеселения: полезное доставляет радость, приятное – пользу. Между тем материалы журнала чрезвычайно разнообразны. Здесь и научные работы высокого уровня (по русской истории – Миллера, описание Оренбургской губернии П. И. Рычкова, статьи о коммерции, механике, астрономии, математике и пр. ученых Академии наук), и моральные поучения, столь любимые людьми XVIII в., и статьи о литературе, и наконец, произведения поэзии и художественной прозы. Единственный в первые годы своего существования журнал включал в себя все достойное печати, отражая современный уровень мысли и нового русского слова. За 12 лет, прошедших с издания «Примечаний», в тиши, подспудно выросла новая русская поэзия, и именно «Ежемесячные сочинения» явились ее глашатаем. Предоставленные Миллером, любителем, собирателем и знатоком русской поэзии, страницы для публикации стихотворений вдруг запестрели стансами, баснями, сонетами, анакреонтическими одами, эпиграммами, элегиями, наконец, эклогами. Все это было необычайно ново, поскольку до издания журнала мало кто знал, что по-русски уже умеют так писать: в 1740—1750-х гг. издательский этикет не позволял печатать ни поэтических сборников, ни отдельных стихотворений, кроме подносных од. «Ежемесячные сочинения» открывают период в истории русской поэзии, когда ее развитие можно благодаря журналам проследить день за днем, сами журналы служат своего рода летописью поэзии, которая оборвется с закрытием журнала «Доброе намерение» (1764). На роль первого поэта в «Ежемесячных сочинениях» сразу выдвинулся А. П. Сумароков, постоянный и наиболее плодовитый их участник. Именно здесь увидели свет его первые притчи, элегии, анакреонтические оды, сонеты, эпиграммы, эклоги, послужившие образцами для поэтов, осваивавших формы поэзии классицизма. Ломоносов дал в журнал в первый год его выхода всего одно стихотворение, три

стихотворения Тредиаковского были напечатаны против воли издателя. Но появились новые имена: М. М. Херасков, Н. Н. Поповский, А. И. Дубровский, А. В. Нарышкин, А. А. Нартов. Кроме поэзии, здесь встречаем несколько образцов входившего в России в моду жанра «разговоры в царстве мертвых». Другой оригинальной беллетристической прозы в журнале нет: ее еще нет в России. Украшением журнала в первый год его выхода стали филологические статьи «О древнем, среднем и новом стихотворении российском» В. К. Тредиаковского (Июнь) и «О качествах стихотворства рассуждение» Г. Н. Теплова (Май). Литературный отдел «Ежемесячных сочинений», блестяще уравнивавший научную часть журнала в 1755 г., на следующий год начал беднеть, в 1757 и 1758 гг. литературные публикации уже редки, в 1759 г. они прекращаются, но затем в 1762 г. опубликована эпистола Нартова, а в 1764 г. – два стихотворения Ломоносова⁹. Постепенное оскудение литературной части журнала не было связано с политикой издателя, а отражает еще слабые творческие силы русских авторов. Кроме Сумарокова, никто из них еще не пишет постоянно, отчасти из-за отсутствия возможности печататься. Первые годы «Ежемесячных сочинений» и издание последовавших за ним журналов 1750-х — первой половины 1760-х гг. ясно обнаруживают взаимосвязь творчества и печати. Журналы открывают возможность печататься и тем поощряют авторов писать, но в то же время они зависят от творческого потенциала авторов. Материалов хватает лишь на первое время издания, и журнал закрывается. Потеряв возможность печататься, авторы перестают писать. Но, пусть с перебоями, постепенно у пишущих вырабатывается привычка постоянной литературной работы, и в 1760-е гг. появляются уже авторы по преимуществу, а не на час.

Как у авторов не было привычки постоянно писать, так у читателей – читать. Другая, не менее важная причина кратковременной жизни журналов XVIII в. в их крайней убыточности. Обычное число подписчиков составляло 100–200 человек, что никак не позволяло изданию окупиться. Напротив, оно требовало вложений, и не малых, издателя. Если первые русские журналы, академические, от коммерческих проблем были избавлены государством, первый неказенный журнал «Праздное время в пользу употребленное» (1759—1760) решал финансовые проблемы самостоятельно.

⁹ Подробнее см.: *Готовцева А. Г.* «Сие есть наиболее полезное для российского общества»: Журнал «Ежемесячные сочинения» как российский интеграционный просвещенческий проект середины XVIII века. М., 2018. С. 46—78.

Он издавался в Петербурге, в типографии Шляхетного корпуса, авторами были его преподаватели и выпускники (П. С. Свистунов, А. Д. Семичев, С. А. Порошин, С. Ф. Наковальнин, Н. С. Титов и др.), а также немногочисленные кадеты и сторонние корпусу лица. Издание не было ведомственным, а явилось частной инициативой группы будущих авторов журнала, подавшей в лице директора корпуса А. П. Мельгунова прошение на имя главного его директора кн. Н. Б. Юсупова об издании журнала на свой счет. Отдавая в него свои материалы, они обязывались вносить деньги за их печатание. Планировавшееся как ежемесячное издание, «Праздное время» с самого начала, однако, выходило еженедельно, что свидетельствует о наполненности издательского портфеля. В первый год журнал выходил в количестве 600 экземпляров, во второй – 400 экземпляров, он хорошо раскупался и приносил типографии прибыль. Его финансовые дела вел заведовавший типографией Шляхетного корпуса В. А. Чертков, сам переводчик, он отвечал за уровень издававшихся в ней переводов и оригинальных сочинений. Им, вероятно, осуществлялось и само ведение журнала, по крайней мере в первый год его выхода. В 1760 г. бухгалтерия издания перешла в руки П. П. Пастухова. На этом основании Д. Д. Шамрай считает, что к нему перешло и ведение журнала, подчеркивая при этом существенное падение его уровня¹⁰. Действительно, если в 1759 г. заметное место в журнале занимали научные статьи, и оригинальные, и (главным образом) переводные, посвященные сельскому хозяйству, механике, коммерции, то на следующий год их число заметно уменьшилось. Так же и замечательным начинанием журнала в публикации переводов исторической прозы отмечен именно 1759 г. (лишь знаменитое в свое время сочинение С.-В. Сен-Реаля (Saint-Real, de, 1639–1692) «Истории о Доне Карлосе» в переводе А. Д. Семичева, начавшее выходить в декабре 1759 г., перешло в первые номера 1760 г.). В 1760 г. основным содержанием журнала становятся разного рода рассуждения на морально-этические темы. При этом тонко замеченное Д. Д. Шамраем изменение характера «Праздного времени» во второй год его выхода может свидетельствовать не о смене редактора журнала, а об исчерпанности готовых к началу его предприятия материалов. Украшение «Праздного времени» в 1760 г. составили стихотворения и статьи Сумарокова, охотно отдававшего сюда свои

¹⁰См.: Шамрай Д. Д. Об издателях первого частного русского журнала: (По материалам архива кадетского корпуса) // XVIII век: Сборник статей и материалов. М.; Л., 1935. [Вып. 1]. С. 377–386.

сочинения после закрытия «Трудолюбивой пчелы». Значение «Праздного времени» в истории русской культуры связано не столько с самими его публикациями, оцененными П. Н. Берковым, может быть, и чересчур строго, как «более чем бесцветные»¹¹ (почему в таком случае журнал раскупался?), сколько с появлением оформившейся в период его издания группой будущих переводчиков, с кристаллизацией внутри нее идеи фронтального перевода западноевропейской литературы. Продолжение журнала на следующий 1761 г. анонсировалось ими как род альманаха «Собрание разных сочинений и переводов из наилучших писателей на 1761 год». И хотя это издание не осуществилось, свои переводы романов, комедий, исторической прозы они начали издавать с 1761 г. по отдельности на собственные средства, открыв таким образом эпоху массовых переводов иностранной литературы.

Журнал «Трудолюбивая пчела» (1759) – первый русский литературный журнал. Его издатель Сумароков осуществлял свое предприятие самостоятельно и за собственный счет, хотя фактически журнал выходил на деньги Академии наук, в типографии которой он печатался в долг, так издателем и не погашенный. Невозможностью вечно нуждавшегося писателя вернуть деньги и финансировать продолжение издания и объясняется прежде всего закрытие журнала с последним декабрьским номером 1759 г.¹². От предшествовавших «Трудолюбивой пчеле» журналов и от вышедшего одновременно с ней «Праздного времени» ее отличает исключительная литературность: все ее материалы так или иначе связаны с литературой, являя собой при этом превосходные образцы и прозы и поэзии. Это касается и включенных в журнал переводов, выполненных просвещенными товарищами Сумарокова Г. В. Козицким и Н. Н. Мотонисом, а также самим издателем.

¹¹Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века. М.; Л., 1952. С. 125.

¹²См.: Берков П. Н., Шамрай Д. Д. К цензурной истории «Трудолюбивой пчелы» А. П. Сумарокова // XVIII век. М.; Л., 1962. Сб. 5. С. 401; Костин А. А. Отношения Ломоносова и Сумарокова в 1758—1760 гг.: (Из комментариев к письмам Сумарокова) // Чтения Отдела русской литературы XVIII века. М.; СПб., 2013. Вып. 7: Ломоносов и словесность его времени. С. 112; см. также яркую, но небесспорную статью Т. Е. Абрамзон и А. В. Петрова: А. П. Сумароков – издатель журнала «Трудолюбивая пчела»: факты и мифы (к 300-летию со дня рождения писателя) // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. Белгородский государственный национальный исследовательский университет. 2018. Т. 37. № 1. С. 5—17.

Вместе с тем основу журнала – и это впервые в России – составляют не переводы, а оригинальные произведения, автором большей части которых был Сумароков. По всей видимости, гомофония не входила в замысел издателя журнала, однако ему не удалось привлечь сколько-нибудь широкого круга постоянных авторов, что лишний раз свидетельствует об их еще остром недостатке. Даже Козицкий с Мотонисом, работавшие для журнала в начале его выхода, позднее перестают давать в него материалы, возможно, из-за нехватки времени, требовавшегося для постоянной литературной работы. Начиная с весенних номеров Сумароков все чаще вынужден наполнять «Трудолюбивую пчелу» своими собственными сочинениями, благодаря чему журнал приобрел исключительную цельность. Признанный к 1759 г. драматург и поэт, Сумароков хотел, по-видимому, использовать издание как своего рода полигон для прозы. В двух первых номерах стихотворений нет, они появляются только в мартовском номере, когда начинает ощущаться недостаток материалов, и уже с апреля привычно перемежают прозу. Большая их часть принадлежит Сумарокову, однако здесь печатается и А. А. Ржевский, поэт четко ориентированный на сумароковские образцы, братья А. В. и С. В. Нарышкины, С. И. Глебов. Если поэтов в России еще можно было сыскать, авторов художественной прозы не было. Ведущим оригинальным жанром оставались «слова», или речи, только-только появились «разговоры в царстве мертвых». Ранее Сумароков явился основателем русской трагедии, комедии и всех поэтических жанров (кроме оды), теперь он решил приняться за прозу. Его успехи на этом поприще оказались поразительными и до сих пор не оценены. Помимо одного «слова» (как раз неудачного) Петру Великому и известных уже русскому читателю «разговоров», на страницах «Трудолюбивой пчелы» появляются разного рода небольшие сюжетные рассказы, часто написанные в форме популярного тогда, прежде всего во французской литературе, жанра «сна», и публицистические очерки. Все они отличаются видимой легкостью, непосредственностью пера, это своего рода зарисовки, затрагивающие злободневные темы: взяточничество, проволочки в делопроизводстве, неграмотность делопроизводителей (подьячих), самоуправство типографских наборщиков при наборе текстов. Повседневная окружавшая автора жизнь выплескивается на страницы журнала, создавая эффект сиюминутности, что как нельзя лучше отвечает задачам журналистики, какой она станет в далеком будущем. Тематика рассказов и очерков соответствует их стилю, легкий, почти разговорный. Он сложился у Сумарокова не под воздействием теорий, а из опыта работы над комедиями. Оттуда же

происходит и направленность сумароковской прозы, едкой, сатирической, призванной обличать недостатки неправедных представителей общества и тем исправлять их. В целом проза «Трудолюбивой пчелы» предстает как определенная программа по исцелению общества от язв, центральное место в которой занимает утопия «Счастливого общества» (сон). Общество еще понимается Сумароковым как совокупность (сумма) его членов, а не как самостоятельная, обладающая своими законами сущность (это будет открыто позднее), и потому общее благополучие видится напрямую зависимым от благонравия каждого отдельного человека, задача же писателя заключается в исправлении заблудших членов общества, чему служит сатира. Сколь ни был значителен прорыв Сумарокова в прозе, а отдельные его опыты блистательны (например, рассказ «О некоторой заразительной болезни»), прямых продолжателей своих прозаических начинаний он, привыкший к подражателям в поэзии и трагедиях, не обрел. Очевидно, что это связано с неготовностью других литераторов писать легко и свободно. Но также, по-видимому, с преобладавшим в русском обществе этого времени неприязненным отношением к сатире. Лишь спустя 10 лет, когда Екатерина II предпримет издание журнала «Всякая всячина», открыв им эпоху сатирических журналов, предложенная Сумароковым программа исправления людских пороков путем осмеяния получит, наконец, отклик. Впрочем, сама будущая императрица, вероятно, относилась к сатире сочувственно уже в 1759 г., что мог иметь в виду Сумароков, посвящая ей свой журнал.

Эстафету литературного журнала от Сумарокова принял М. М. Херасков. «Полезное увеселение» (1760—июнь 1762) открывает пятилетие выхода московских литературных журналов. Все они так или иначе связаны с Московским университетом и свидетельствуют о появлении нового очага русской культуры. «Полезное увеселение» стало первым университетским журналом в России. Бóльшая часть его постоянных сотрудников – студенты университета, а также наряду с ними преподаватели, прежде всего сам Херасков, в то время ассессор, и один из лучших поэтов своего времени профессор Н. Н. Поповский (1728—1760). К университетскому ядру примыкают авторы, формально с университетом не связанные, но находившиеся благодаря Хераскову в орбите литературной университетской жизни. При этом у Хераскова явно не было цели превратить журнал в корпоративное издание: он охотно печатает стихотворения А. А. Ржевского, притчи А. П. Сумарокова, в самом начале

издания помещает переводы оды Ж.-Б. Руссо «*À la Fortune*» («На Счастье») Ломоносова и Сумарокова (1760. Январь. № 2), устроив на страницах журнала соревнование в мастерстве поэтического перевода. Обоснованные претензии издателя объединить в «Полезном увеселении» ведущие силы русской поэзии обезопасили журнал от провинциализма, корпоративной ограниченности. Благодаря высоте задачи студенты послужили не балластом, а напротив, драгоценным украшением журнала. Впервые в России периодическое издание не испытывает недостатка в авторах, их более тридцати, среди них те, кто составит уже в недалеком будущем славу русской литературы: Д. И. Фонвизин, И. Ф. Богданович, В. И. Майков.

Журнал издавался на казенный счет и выходил в первые два года еженедельно, в последние полгода – ежемесячно в количестве 600 экземпляров. Если Шляхетный корпус, обладая собственной типографией, не считал возможным финансировать издававшееся в его стенах «Праздное время», то Московский университет распорядился иначе. Здесь, по всей видимости, сыграло свою роль положение Хераскова, занимавшего должность директора в недавно открытой при университете типографии. Таким образом, и в финансовом отношении «Полезное увеселение» было счастливым изданием. Однако главное достоинство журнала составило его содержание.

За весь XVIII в. в России не было журнала, в котором поэзия играла бы такую исключительную роль, как «Полезное увеселение». За два с половиной года здесь напечатано свыше 400 стихотворений. Для сравнения: в «Ежемесячных сочинениях» за 1755—1758 гг. было помещено 75 стихотворения, в «Трудолюбивой пчеле» за год — 47. Наконец-то в России пишут стихов много и пишут очевидно легко. Господствуют в журнале средние поэтические жанры: стансы, малые оды, сонеты, идиллии, эпистолы. В первые два года торжественных од нет, они появятся на страницах издания в 1762 г., когда молодые авторы будут приветствовать нового императора Петра III. Сравнительно немного и эпиграмм. Средний жанровый градус соответствует тону, заданному мэтром Херасковым в первом его стихотворении, помещенном в журнале («Все на свете сем преходит...»). Настроению легкой печали, порой переходящей в унылость, с видимой охотой предались розовощекие юноши. Суета и тщета всего земного — основная тема их стихотворений. Переключка в них мотивов превращает «Полезное увеселение» в подобие музыкальной пьесы, где тема ведется, варьируясь. Пристрастие авторов журнала к *vanitas mundi* объяснимо новизной для русской поэзии темы, не связанной с прославлением монархов или любовным томлением, а

позволявшей выражать свое отношение к миру. Конечно, оно пряталось за формулами, на глазах становившимися общими, но само стремление заговорить от своего лица о жизни было для развития русской поэзии значительным достижением. Так на страницах «Полезного увеселения» родилась русская медитативная поэзия. Медитативные стихотворения смыкаются в журнале с духовными стихотворениями и со стихотворными парафразами псалмов и молитв.

Своим возвышенным характером журнал обязан, конечно, Хераскову, осторожно и мягко воспитывавшему самым изданием вовлеченное в него юношество, а также потенциального читателя, однако очевидно, что молодые авторы и сами испытывали склонность к размышлению в стихах и прозе на высокие темы. В журнале представлено несколько рассуждений студентов, среди них «О бессмертии души человеческой» Д. С. Аничкова (1761. Июль. № 4) и направленное против Ж.-Ж. Руссо «О пользе наук» С. Г. Домашнева (1761. Ноябрь. № 17). В целом же прозу журнала составляют почти исключительно переводы, носящие учебный характер. Из немногих оригинальных статей выделяются «О чтении книг» (1760. Январь. № 1) Хераскова и «О стихотворстве» С. Г. Домашнева (1762. Май; Июнь¹³). Вопросы литературы, чтения, внимательного отношения к себе и жизни составляют воспитательную платформу журнала. В отличие от Сумарокова, Херасков сторонится общественных треволений, исправление общества путем воздействия на его членов ему чуждо. Соответственно он с иронией относится к сатире, о чем говорит в пространном стихотворении «К сатирической музе» (1760. Февраль. № 8). А между тем, подводя итоги первого года издания «Полезного увеселения», Херасков неожиданно объявляет, что журнал был предпринят им и его единомышленниками для «защиты добродетели, обличения пороков и увеселения общества»¹⁴, и не без смущения признается, что цели эти изданием не достигнуты. Несмотря на такое признание, издатель не меняет ни направления журнала, ни его репертуара в новом 1761 г. А это значит, что в «Письме» Херасков говорил словно вопреки самому себе, выражая уже намечавшийся в обществе взгляд на литературу, а вместе с ней на литературный журнал как на средство борьбы с язвами, по мысли Хераскова, людскими, не общественными. «Полезное увеселение» обрывается на июньском номере 1762 г. По предположению П. Н. Беркова, это связано с известной растерянностью, вызванной дворцовым переворотом 28 июня, приведшем

¹³ В 1762 г. номера журнала, ставшего ежемесячным, не указывались.

¹⁴ Херасков М. М. Письмо // Полезное увеселение. 1761. Январь. № 1. С. 14.

на престол императрицу Екатерину II. В то же время причиной могла стать и нехватка материалов, проявившаяся еще полгода назад в переходе журнала на ежемесячную периодичность.

На следующий 1763 г. Херасков предпринял издательство нового журнала «Свободные часы», выходявшего в течение года. По своему замыслу он не отличался от «Полезного увеселения», и его принято рассматривать чуть ли не как его продолжение, однако издание получилось иным. Разница между двумя журналами едва уловима, круг авторов почти тот же, все так же печатаются стихи и переводная проза, но изменилась тональность издания. Поэзии в «Свободных часах» меньше, чем в «Полезном увеселении», вместо преобладавших там медитативных стихотворений в разных жанрах, здесь основу стихотворных разделов составляют притчи (басни) и любовные элегии. Ведущая тема поэзии «Полезного увеселения» *vanitas mundi* на тот момент оказалась исчерпанной, а к расширению поэтической тематики русская поэзия готова не была. Оставалось перепевать в элегиях избитые любовные темы, все более их выхолащивая. На страницах «Свободных часов» русская поэзия впервые после перехода ее к классицизму как бы замерла. Можно, вероятно, с осторожностью говорить о признаках ее кризиса, но в то же время проявившаяся здесь утомительная тавтология, характеризующая поэзию второго ряда 1760—1800-х гг., свидетельствует об усвоении поэтической речи относительно широким кругом авторов, о самом появлении второго ряда поэзии, а значит, об определенном развитии. Изменилась в сравнении с «Полезным увеселением» и проза. Если там печатались переводы главным образом из древних авторов, а из новых – «разговоры», «сны», витиеватые аллегорические повести, теперь основным источником для переводов служат английские «Спектатор» и «Татлер», из которых выбираются повести с подобием авантюрных сюжетов. Русская литература вступила в эпоху интенсивного освоения прозаической речи, готовясь к созданию повествовательной прозы, и Херасков это почувствовал.

Те же тенденции отражает журнал «Доброе намерение», издававшийся В. В. Санковским в 1764 г. В отличие от журналов Хераскова, этот орган печати был студенческим, хотя едва ли это входило в намерение издателя. Между тем ни сам Херасков, ни видные поэты его круга: В. И. Майков, И. Ф. Богданович, А. А. Ржевский и конечно, Сумароков – участия в журнале не приняли. По мнению П. Н. Беркова, в размежевании прежних авторов херасковских изданий сказалось социальное

противостояние молодых литераторов-разночинцев литературной аристократии¹⁵. Однако едва ли конструкция литературной жизни, столь знакомая нам по 1830-м гг., приложима к 1760-м гг. Санковский был вчерашним студентом и без поддержки Хераскова, не в последнюю очередь и как директора типографии, на чей счет печатался журнал, ничего издавать бы не смог. Здесь, видимо, было не противостояние молодых авторов почтенным поэтам, а скорее осторожность последних участвовать в сомнительном, с их точки зрения, предприятии. Основными авторами стихотворений в «Добром намерении» выступили сам издатель и П. И. Фонвизин, дебютировавший еще у Хераскова. Появились новые имена: В. Г. Рубан и А. И. Перепечин, а в последнем номере были напечатаны два довольно беспомощных стихотворения никому неизвестного студента Славяно-греко-латинской академии В. П. Петрова. Все три новых автора станут вскоре одописцами, при этом вклад каждого из них в русскую поэзию будет совершенно различным.

В ряду журналов, издававшихся в Москве в начале 1760-х гг., особняком стоит «Невинное упражнение», выходившее всего полгода (январь — июнь 1763 г.). Идея издания и, по-видимому, его финансирование принадлежали кн. Е. Р. Дашковой, а роль его редактора выполнял Богданович. В отличие от других русских журналов, рассчитанных на широкий круг читателей (девиз «Ежемесячных сочинений», например, был «Для всех»), «Невинное упражнение» было обращено к узкому кругу придворных, находившихся в Москве по случаю коронации императрицы Екатерины II и долгих коронационных торжеств. Когда же двор в июне 1763 г. вернулся в Петербург, издание прекратилось. Тираж «Невинного упражнения» составлял всего 200 экземпляров, что втрое меньше обычного тиража журналов этого времени. Отличалось издание и своим содержанием, которое составляли почти исключительно переводы¹⁶. Наиболее значительный из них принадлежит самой Дашковой, познакомившей русского читателя с главами из запрещенной во Франции книги Гельвеция «De l'Esprit» («Об уме», 1758). Из стихотворных переводов выделяется перевод Богдановича поэмы Вольтера «Sur le désastre de Lisbonne en 1755, ou Examen de cet axiome: *tout est bien*» («О разрушении Лиссабона»). Весь журнал проникнут духом французского Просвещения и

¹⁵ Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века. С. 145.

¹⁶ Об источниках части из них см.: Симанков В. И. Из разысканий о журнале «Невинное упражнение» (1763) // Von Wenigen (От немногих). СПб., 2008. С. 149—157.

отражает вкусы молодых представителей высшего общества, приверженных самым радикальным идеям.

С декабрьским номером журнала Санковского «Доброе намерение» и с вышедшим в Петербурге одновременно с ним последним номером «Ежемесячных сочинений» первый этап истории русской журналистики завершился. В течение четырех следующих лет (1765—1768) в России не выходило ни одного журнала. Наступившая пауза в журналистике объясняется прежде всего случайными, даже житейскими обстоятельствами. Так, Миллер в 1765 г. переехал в Москву, и заменить его как редактора журнала никто в Академии наук был не в состоянии. Херасков в 1763 г. стал директором университета, и новые обязанности не оставляли, по-видимому, времени для журнальной работы. Однако главная причина отсутствия журналов во вторую половину 1760-х гг. заключена не в этом. Оказалось, что за 10 лет русской журнальной практики, при относительном многообразии периодических изданий и отдельных замечательных их достижениях, русское общество – и читатели, и авторы – не привыкло к периодической печати, она не стала для него необходимым условием литературной и умственной жизни. Это характеризует саму литературную и интеллектуальную жизнь России 1760-х гг., очень еще далекую от западноевропейской культурной модели.

ТИПЫ ЧИТАТЕЛЕЙ, РОЛЬ ЧТЕНИЯ И КРУГ ЧТЕНИЯ В XVIII ВЕКЕ

Выяснение вопроса о том, что и как читали русские грамотные люди на протяжении XVIII столетия, безусловно, важно для характеристики литературного процесса в целом. Установление состава читательской аудитории, ее предпочтений, наконец, ее возможности влиять на постепенное создание книжного рынка, позволяют увидеть востребованность литературы у публики или отдельных ее представителей и понять, насколько в тот или иной исторический период реализовывалась одна из важнейших функций литературы – воздействие на читателя. Не менее важен и другой аспект – формирование читателя нового типа, а возможно даже и нового типа сознания под воздействием чтения.

Изучение чтения в России XVIII в. может представлять особый интерес, так этот период традиционно считается переломным и одновременно осуществившим переход от средневековой словесности к литературе Нового времени. Очевидно, что процесс чтения, и круг читательских интересов, и, наконец, сами читатели в этот период принципиально отличались от ситуации более поздних периодов, XIX и XX вв., не говоря уже о XXI-м. Вместе с тем, вероятно именно тогда были заложены основы современного подхода к чтению и восприятию читателя. Поэтому мы должны задаться целым рядом вопросов, ответы на которые, казалось бы, очевидны. Откуда люди брали книги и как узнавали об их появлении? Брали ли они их «почитать» друг у друга? Читали вслух или про себя? Было ли принято перечитывать книги? Как в обществе, в разных сословиях, относились к чтению?

К сожалению, на эти и многие другие вопросы не всегда можно ответить. Исследование этой темы представляет собой определенную сложность по причине серьезного недостатка материалов, а также неравномерности состояния читательской аудитории и книжного рынка на протяжении целого столетия. Источники наших сведений о чтении и читателях в России XVIII в. очень неполны и разнородны, и, тем не менее, могут быть разделены на две группы. Каждая из них, выступая в роли источника, имеет свои недостатки, но обращение к обеим может позволить выявить основные тенденции развития чтения и становления личности читателя нового типа в России.

В первую очередь исследователи рассматриваемой темы обращаются к статистическим сведениям, которые включают в себя информацию о тиражах изданий, объявления о продаже книг, реестры и расходные книги книжных лавок, списки подписчиков, каталоги библиотек и сведения об их посетителях, если речь идет о публичных библиотеках и т. д. Изучение феномена чтения и читателя на статистическом

материале является достаточно разработанной областью книговедения, но, к сожалению, оно не может дать удовлетворительной картины. Недостаток статистики как метода познания в данном случае определяется неполнотой дошедших до нас сведений и их неоднородностью, в том числе при распределении по годам и даже десятилетиям. Тиражи изданий не всегда известны, причем не только в начале XVIII в., но и на всем его протяжении. Более того, зачастую они определялись не потребностью публики в той или иной книге, а политикой типографии, иногда определяемой учреждением, к которому типография принадлежала, и даже верховной властью. Государственные типографии, издававшие в России XVIII в. большинство книг и являвшиеся основным проводником политики власти в области просвещения, могли прибегать к мерам принудительного распространения своих изданий, судьба которых в дальнейшем была плачевна. С другой стороны, о распространении книг частными издательствами, особенно мелкими, в недолгий период их существования, мы иногда совсем ничего не знаем. В итоге, не всегда можно сказать, какая часть напечатанных книг доходила до читателя, не говоря уже о том, какая из них реально читалась. Наконец, книгоиздательская информация не отражает сохранявшую актуальность рукописную традицию и относительно новую практику переписывания печатных книг. Между тем, при изучении чтения как явления культуры обращение читателей к рукописным книгам должно учитываться наравне с распространением печатной продукции.

Сведения о подписчиках изданий, которые становятся важным источником наших представлений о читательской среде со второй половины XVIII столетия, также неполны. Не только потому, что отнюдь не все выходившие в России издания были подписными, но и потому, что существовал феномен коллективной подписки. В первую очередь это касается подписки учреждений, причем отнюдь не все из них обладали библиотекой. Губернская канцелярия или уездный суд могли выписывать не только специальную литературу, но и беллетристику, которую служащие этих учреждений, вероятно, читали по очереди, и размеры и состав этой очереди нам обычно неизвестны.

Сходная проблема возникает и при обращении к составу библиотек, как частных, так и публичных, при учреждениях. Сами эти сведения не всегда дошли до нас в полном объеме, и разыскания книг из библиотек некоторых ярчайших представителей русской культуры XVIII в. продолжают уже не первое столетие. Но, кроме того, обладание книгой, с одной стороны, вовсе не означает ее чтение, а с другой, может свидетельствовать о том, что ее читал не только владелец: о циркулировании книг из частных книжных собраний мы знаем крайне мало. Наконец, нельзя забывать о практике чтения вслух, в

семейном или дружеском кругу, в том числе для неграмотных (не только детей), которые, таким образом, тоже пополняют ряды читателей.

Тем не менее, статистические данные являются важнейшим источником при изучении вопроса о чтении в России XVIII в. и позволяют определить общие тенденции развития этого явления, особенно в диахроническом аспекте. В частности, ряд книговедческих исследований показывает заметный рост книжного рынка на протяжении всего XVIII в., что, безусловно, свидетельствует о возрастании роли чтения и интереса к книге в этот период.

Другой подход, традиционно используемый при изучении истории повседневности, предполагает обращение к группе источников, которые можно обозначить весьма широким понятием «свидетельства современников». Это, прежде всего, разного рода мемуарные и эпистолярные произведения. К сожалению, этот тип документов доступен нам в основном во второй половине XVIII в.: развитие повседневной письменной культуры в России во многом идет в ногу с развитием словесности, и как следствие, первые русские мемуары появляются только в середине столетия. При этом объем дошедших до нас свидетельств такого типа еще меньше, во многом вследствие трагических событий русской истории, особенно XX в. Кроме того, картина, созданная на их основе, будет несколько предвзята, так как к записи истории своей жизни и развернутому мемуару обычно обращаются люди не просто грамотные (а, как было сказано выше, даже неграмотный или малограмотный может быть приобщен к кругу читателей), но склонные к рефлексии и наделенные выраженным интересом к словесности, а иногда уже являющиеся ее непосредственными представителями, то есть писателями. Но это вовсе не означает, что те, кто не писал мемуаров (а таких людей значительно больше), не читали книг. Следовательно, при таком подходе их интересы остаются за кадром, и мы опять имеем дело не с более или менее полной картиной, а лишь с тенденцией.

Зато свидетельства современников позволяют учесть такой почти ускользающий от книгоиздательской статистики, но очень важный для понимания русского чтения XVIII в. аспект, как чтение книг на иностранных языках и во время заграничных путешествий, а также заказ или привоз книг из других стран. Безусловно, эта практика не могла быть массовой, так как была доступна только определенному, достаточно состоятельному и образованному слою общества, но тем не менее, очевидно, что те русские люди, которые нуждались в иностранных книгах, так или иначе преодолевали препятствия в их получении.

Таким образом, данный тип источников нельзя игнорировать, и в совокупности со статистическими сведениями, он позволяет наметить представления о роли чтения в России

XVIII столетия, его жанровом репертуаре, механизмах чтения, составе читательской аудитории и даже в какой-то степени о читательских компетенциях этой аудитории.

Первым этапом становления читателя нового времени стала петровская эпоха, время многих существенных изменений в жизни русского общества, иногда весьма резких. Очевидно, что личное внимание Петра I к сфере книгоиздания и заметное возрастание объемов последнего не могло не отразиться на привычках русских людей, в набор которых чтение входило постепенно на протяжении всего XVIII в. Так, согласно подсчетам крупнейшего исследователя книги петровской эпохи С. П. Луппова, темпы роста книгопечатания были очень велики: от 8 изданий в 1701 г. до 149 в 1724-м¹. Существенную роль сыграл не только количественный фактор, но и качественный, а именно введение гражданского шрифта и расширение репертуара печатаемых книг. В допетровское время в области печатной книги безраздельно доминировала богослужебная и религиозная литература. В XVIII в. объемы выхода книг религиозного содержания сохранились, но число печатных книг светского характера скоро догнало, а потом перегнало их.

Впрочем, если обратиться к репертуару русских печатных книг первой четверти XVIII в., то можно увидеть, что в нем преобладают специальные или информационные издания. В частности, законодательные материалы, а также ведомости и календари составляли примерно 70% от общего числа издаваемых книг². Различные манифесты, уставы, регламенты, инструкции, а также военные религии, издававшиеся большими тиражами и распространявшиеся за государственный счет, предназначались исключительно для практического применения, как и литература по военному делу, навигации, математике и технике, адресованная, прежде всего, учащимся и выпускникам соответствующих недавно созданных школ: навигацкой, артиллерийской, математической и т. д. Ее преобладание отражает приоритеты внутренней политики Петра I, в частности, направленной на развитие технического образования. Но распространение этих книг сыграло и еще одну, очень важную, роль, отмеченную В. О. Ключевским: «Было бы, однако, несправедливо утверждать, что эта сухая учебная литература бесследно свеивалась с обязанных повинностью умов... Немного прочных знаний и отчетливых понятий умели почерпнуть из нее обязательные ее читатели, а их не обязанные службою сестры не почерпали никаких, ибо и не читали ее. Но и тех и других она самым появлением и видом

¹ Луппов С. П. Книга в России в первой четверти XVIII века. Л., 1973. С. 86.

² Там же. С. 88.

своим приучала к книге гражданской печати, освобождала от древнерусского страха перед ней...»³.

Собственно «литература» в рассматриваемый период почти не печаталась: Луппов относит к ней лишь издание басен Эзопа, два сборника изречений и поучений, а также панегирики, «слова» и различные описания торжеств, фейерверков, триумфальных врат и театрализованных представлений. Сопоставимым объемом, но намного меньшими тиражами выходили словари и историческая литература.

На этом фоне особую роль для формирования интереса и привычки к чтению играли ведомости и календари. Ведомости, а потом и примечания к ним, с рассказами о текущих событиях, в том числе зачастую фантастических, несли беллетристическую составляющую, а календари, с их медицинскими советами и прогнозами погоды, имели практическое значение именно в повседневной жизни. Будучи недорогими по сравнению с другими книгами, они попадали в самые разные дома и часто оставались там единственными представителями печатной литературы вплоть до начала XIX в. Не случайно дядя Евгения Онегина, имея в своем распоряжении «календарь осьмого года», «в иные книги не глядел»⁴.

Неизменно сохранялась потребность в духовной литературе, причем в разных слоях общества. Например, Л. А. Травин, грамотный крепостной крестьянин, благодаря своим способностям выслуживший личное дворянство, рассказывал в воспоминаниях, как впервые прочитав в 1747 г. сентябрьскую часть Четых-Миней в Архиерейской певческой палате в Пскове, он «возымел желание» иметь собственную книгу, но только через 13 лет смог ее купить, «из чего и подлинно получил немалую пользу». Своих детей он наставлял «прилежать к чтению таковых богоугодных книг», потому что «...человек, уклонившийся к чтению не полезных, а только забавных сочинений, находит свое удовольствие и отнюдь не распознает различия между Священным Писанием и вымышленным на вред души ложным и любострастным сочинением»⁵.

Обращением к религиозной печатной и рукописной книге удовлетворялась сама потребность в чтении. Именно так видит эту ситуацию М. А. Дмитриев, писавший: «До Новикова мало было книг для общего чтения: они были редки; и потому между грамотниками простого народа, между купцами, между помещиками и их людьми более

³ *Ключевский В. О.* Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М., 1990. С. 366–367.

⁴ *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1937. Т. 6. С. 32.

⁵ В Божиим милосердием благодетельствованного Леонтия Автономова сына Травина <...> бывшие с 1741 г. в жизни его обстоятельства и приключения <...> описанные самим им // Воспоминания русских крестьян XVIII – первой половины XIX века. М., 2006. С. 33, 44.

нынешнего были известны церковные книги и духовные церковной печати. *Поучительные слова* свят. отцов Греческой церкви, *Минея-Четия* и *Пролог* были всеобщим чтением. Мало-помалу это вывелось с умножением книг светских»⁶. Интерес представляют также случаи восприятия библейских сюжетов как содержащих приключенческую составляющую. А. Т. Болотов описывает, как в детстве пытался плавать на доске по пруду, разыгрывая сцену бегства евреев из Египта через Красное море⁷.

Здесь стоит отметить одну особенность, относящуюся к вопросу о читательской компетенции. В ситуации весьма ограниченного выбора серьезная религиозная литература, а также исторические и естественнонаучные сочинения (описания народов, земель, животных и т. д.) одновременно обретают две читательские аудитории. С одной стороны, это были образованные люди, способные к глубокому пониманию содержания книги и часто говорящие с ее автором на одном культурном языке. С другой, эти книги попадали в руки людей малограмотных или детей, которые выносили из их содержания лишь то, что могли понять и осмыслить. А. Т. Болотов, мемуарист, очень подробно описавший свое становление как читателя, рассказывает, что у его отца в середине 1740-х гг. был ящик с книгами, из которых он выбрал для себя две: «Жизнь Александра Македонского» Курция Руфа и «Описание жития и дел принца Эвгения Савойского». Их юный Болотов перечитал много раз, и из первой вынес главным образом представление об устройстве и осаде военных крепостей, рассматривание их чертежей стало на какое-то время его главным увлечением⁸.

С 1730–1740-х гг. и до начала XIX в. наряду с ростом числа частных библиотек сохраняется такое интересное явление, как читатель одной книги. В условиях ограниченного выбора и дороговизны книг, русский человек мог намеренно или случайно оказаться обладателем одной книги, которую бесконечно перечитывал. Например, у дяди А. Т. Болотова, генерала Матвея Петровича Болотова, была всего одна книга, «Камень веры» Стефана Яворского, и он с трудом уговорил дядю дать ему эту книгу прочесть⁹. С. Т. Аксаков в автобиографической повести «Детские годы Багрова-внука», вспоминая о последнем десятилетии XVIII в., пишет, что единственной доступной ему книгой было «Зерцало добродетели», которое он бесконечно перечитывал и даже читал вслух сестре, которая была еще младенцем. Взрослые книги родители ему читать не позволяли, и даже

⁶ Дмитриев М. А. Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1985. С. 176.

⁷ Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков: 1738–1757: В 2 кн. СПб., 2022. Т. 1, кн. 1. С. 48–49.

⁸ См.: Там же. С. 123–124.

⁹ См.: Там же. С. 243.

из «Домашнего лечебника Бухана» мать разрешала читать только отрывки, которые она отделяла закладками¹⁰. По всей видимости, такая ситуация существовала довольно долго: в «Истории села Горюхина», события которой относятся уже к началу XIX в., герой Пушкина, кроме азбуки и календарей, обнаруживает в родительском доме единственную книгу: «Письмовник» Курганова, чтение которой надолго становится его «любимым упражнением»¹¹.

Можно констатировать, что регулируемое государством распространение книг в петровскую эпоху шло крайне неравномерно, и в последующие несколько десятилетий эта ситуация менялась очень медленно. Книги можно было купить лишь в нескольких лавках, сначала только в Москве, затем еще в Петербурге. Попытки Академии наук продавать книги в других городах в основном потерпели поражение¹². Есть также свидетельства того, что книги продавались коробейниками в торговых рядах, но размах этого явления трудно оценить, так как сведения о нем весьма скудны¹³. При этом очевидно имело место перепроизводство: ни одна книжная лавка в первой четверти XVIII в. не получала прибыли, их обороты лишь сокращались, а избытки тиражей приходилось уничтожать. Впрочем, это больше говорит о размахе петровской книгоиздательской деятельности, во многом рассчитанной на будущее, чем о нежелании русских людей читать книги¹⁴. Скорее они предпочитали их брать на время или переписывать от руки. Луппов также приводит примеры перепродажи книг¹⁵.

Объявления о выходе новых книг печатались в газетах, но уровень развития почты был очень низким и в провинции не всегда была возможность их получать и хотя бы так узнавать о книжных новинках. С другой стороны, многие печатные издания бесплатно вручались членам царской семьи и высшим сановникам, а также участникам и зрителям различных торжеств, и обладание ими становилось престижным¹⁶. Особенно следует отметить популярность сборников, адресованных молодым представителям нового

¹⁰ См.: Аксаков С. Т. Детские годы Багрова-внука. Воспоминания. Л., 1984. С. 16, 19.

¹¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1948. Т. 6. С. 127.

¹² См., например, об Архангельске: Долгова С. Р. Основатель книжной торговли в Архангельске – Александр Иванович Фомин // Книга в России XVII – начала XIX в.: Проблемы создания и распространения. Л., 1989. С. 67–71.

¹³ См.: Луппов С. П. Книга в России в первой четверти XVIII века. С. 128.

¹⁴ См.: Там же. С. 129–146.

¹⁵ Там же. С. 155–157.

¹⁶ Например, тот факт, что среди подписчиков на «Деяния Петра Великого» И. И. Голикова заметную долю составляет высшая знать и генералитет, по мнению Самарина, свидетельствует о престижности обладания этой книгой и о том, что книга вообще может быть показателем статуса владельца (см.: Самарин А. Ю. Читатель в России во второй половине XVIII века. М., 2000. С. 33).

сословия, таких как «Юности честное зерцало...» или «Приклады, како пишутся комплименты разные...». Очевидно, что они имели практическое значение и в то же время призваны были демонстрировать готовность их обладателя учиться новому и идти в ногу со временем¹⁷.

В целом, к концу петровского царствования были заложены основы формирования нового поколения дворян, в дальнейшем повлиявшего на культурную ситуацию в стране и получившего образование в недавно созданных кадетских корпусах, где книга отнюдь не была редкостью и активно использовалась в учебном процессе. Особую роль здесь играла иностранная художественная литература (и, в частности, драматические произведения), знакомство с которой происходило при обучении иностранным языкам.

В то же время, книгоиздание не могло не повлиять на круг чтения образованных людей низших сословий: среди владельцев книг гражданской печати самого разного назначения и содержания есть и купцы, и посадские люди, и чиновники в низших чинах. Расширился круг чтения духовенства, все чаще обращавшегося к исторической и естественнонаучной литературе.

Вместе с тем, по-прежнему не было препятствий для распространения рукописной книги, появлявшейся в самых отдаленных частях России и в разных слоях общества¹⁸. В рукописях также имели хождение травники, лечебники, а также сборники советов по ведению хозяйства, пользовавшиеся большой популярностью.

Таким образом, уже к 1730-м гг. факт чтения и читающий человек в среде столичного дворянства не были исключением, тогда как в провинциальной России чтение еще было редкостью и требовало определенных усилий, а иногда и вызывало подозрение. Например, Болотов пишет, что его свадьба в 1764 г. едва не расстроилась из-за его любви к чтению и письму: соседка наговорила невесте, что он чернокнижник¹⁹. Мальчика Сережу,

¹⁷ К концу века книги уже становятся ценным и иногда символическим подарком. Дочь адмирала Н. С. Мордвинова вспоминает, что и императрица Екатерина II, и вел. кн. Павел Петрович дарили ее отцу книги, причем великий князь подарил издание мемуаров герцога Сюлли, возглавлявшего французское правительство при Генрихе IV, со словами: ««Когда я буду царем, ты будешь при мне моим Сюлли». (Мордвинова Н. Н. Воспоминания об адмирале Николае Семеновиче Мордвинове и о семействе его: Записки его дочери // Записки и воспоминания русских женщин XVIII – начала XIX веков. М., 1990. С. 402).

¹⁸ См.: Сперанский М. Н. Рукописные сборники XVIII века. М., 1963. См. также статью А. В. Пигина «Древнерусская литература после Древней Руси» — Наст. изд. С. 000—000.

¹⁹ Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков. СПб., 1871. Т. 2. Стб. 491–492.

героя С. Т. Аксакова, гостившие двоюродные сестры дразнили «дьячком» за то, что он пытался читать им вслух²⁰.

В послепетровскую эпоху и вплоть до вступления на престол Екатерины II издательская политика в целом не менялась. Но для самой Елизаветы Петровны чтение было важной составляющей ее образа, в частности, у нее была обширная библиотека французских книг, и ее наследник Петр Федорович также обладал тщательно составленным книжным собранием²¹.

С одной стороны, типографии и книжные лавки постепенно выравняли баланс, все более ориентируясь на спрос и собственные продажи, в частности, сокращая тиражи некоторых изданий. С другой, книжные лавки расширили ассортимент иностранной литературы, ориентируясь на вкусы и потребности читающей публики. В итоге сыграл свою роль и кумулятивный эффект: чтение все больше превращалось в привычку, а обладание книгами – в потребность. Для дворянства важную роль также играл пример читающего монарха и представителей высшей знати – чтение постепенно становилось важной частью создания репутации.

Новый всплеск книгоиздания приходится на конец 1750-х гг. Открываются новые типографии (например, Московского университета и Сухопутного шляхетного кадетского корпуса, а затем и Артиллерийского и Инженерного корпусов) и книжные лавки. С начала 1770-х распространяется практика аренды государственной типографии частными лицами (хотя еще в 1730-е типография Академии наук принимала заказы на печать книг от частных лиц²²).

Исследователи справедливо усматривают связь между возрастанием интереса к книге и ростом образованности русского общества в целом²³. Значительную роль сыграли также действия Екатерины II в области книгоиздания: открытие с 1771 г. «привилегированных типографий», указ «о вольных типографиях» 1783 г., который так же ввел правило присылки обязательного экземпляра в библиотеку Академии наук. Претендуя на роль просвещенной монархини, в жизни которой книги действительно занимали важное

²⁰ Аксаков С. Т. Детские годы Багрова-внука. Воспоминания. С. 64.

²¹ См.: Хотеев П. И. Книга в России в середине XVIII в. Частные книжные собрания. Л., 1989. 7–9, 9–12.

²² Кондакова Т. И. Формирование профессии издателя в России в XVIII веке. Автореф. Дисс. ... канд. филол. наук. М., 1979. С. 9.

²³ См.: Севастьянов А. Н. Рост образованной аудитории как фактор развития книжного и журнального дела в России: (1762–1800). М., 1983.

место, Екатерина уделяла много внимания развитию книжного дела в России и повышению статуса чтения как достойного занятия²⁴.

Трудно сказать, насколько частные типографии повлияли на чтение. Так, Н. Л. Васильев в монографии о Н. Е. Струйском пишет, что по объему выпускаемой книжной продукции, его типография в 1780-е гг. лидировала, занимая 0,5 % книжного рынка. Значит ли это, что все эти книги читались? Но именно при Екатерине стал возможным расцвет книгоиздательской деятельности Н. И. Новикова, с 1779 г. арендовавшего типографию Московского университета и преуспевшего не только в издании книг, но и в их распространении. Появившаяся благодаря Новикову сеть провинциальных книжных лавок почти в 40 городах России значительно облегчила доступ к книгам провинциальному читателю, и тем расширила его круг²⁵. Следует отметить, что свою роль сыграло и улучшение работы почты. Несмотря на некоторые перебои, почтовые отправления уже к концу 1760-х гг. позволяли регулярно получать любые газеты, журналы и книги, причем не только российские, но и иностранные.

Ценный материал для исследования читательского интереса дает получивший распространение с начала 1760-х гг. институт подписки, то есть печати книг по предоплате от покупателей. Само по себе это явление довольно интересно и свидетельствует не только о формировании категории читателей, для которых покупка книг является сознательным выбором, но и о возникновении определенного читательского круга или даже сообщества. Известны случаи, когда о подписке просили родственников и знакомых (в равной степени желая рекомендовать книгу или поддержать издателя). Зафиксированы даже факты принудительной подписки подчиненных на важные для начальства издания: так, по распоряжению тобольского наместника А. В. Алябьева, местные коменданты и городничие вписывали чиновников и откупщиков в подписные листы журнала «Иртыш, превращающийся в Иппокрену»²⁶. Обычно для пересылки денег и книг использовалась почта, но в некоторых случаях для оформления подписки необходимо было явиться к издателю на дом, что располагало к знакомству издателя или автора со своим читателем.

²⁴ См. подробнее об участии Екатерины II в создании Публичной библиотеки в Петербурге в статье А. Ю. Веселовой «Читательский быт, государственные и частные библиотеки XVIII века» — Наст. изд. С. 000—000.

²⁵ Мартынов И. Ф. Книга в русской провинции 1760–1790-х гг. Зарождение провинциальной книжной торговли // Книга в России до середины XIX века. Л., 1978. С. 120–124.

²⁶ Самарин А. Ю. Типографчики и книгочеты. М., 2013. С. 63.

Наконец, сами списки давали возможность проследить за предпочтениями «известных в свете» людей и даже ориентироваться на чужой вкус²⁷.

К сожалению, этот источник не может быть признан универсальным, так как не все издания печатались по подписке и не всегда списки подписчиков известны. Тем не менее, выводы, приводимые в монографии А. Ю. Самарина, очевидно, отражают некоторые тенденции формирования читательской аудитории и кажутся убедительными. Во второй половине XVIII в. Самарин выделяет 8500 индивидуальных читателей, из них около 2000 активных и постоянных. Лишь 5% подписок оформлено женщинами. 211 подписок из рассмотренных приходится на учреждения²⁸. Безусловно, доминирующим сословием среди подписчиков является дворянство (более 70%), но зафиксирован интерес к книгам и представителей других сословий: духовенства, купечества, мещанства, разночинной интеллигенции и даже отдельных представителей крестьянства. Изучение списков субскрибентов также позволяет значительно расширить географию распространения книг. По сведениям Самарина, книги были получены почти в 400 населенных пунктах, из которых подавляющее большинство не имело книжных лавок. Таким образом, возможность получения книг по подписке сыграло очень важную роль в повышении доступности книги в России²⁹.

С 1760-х гг. заметно меняется репертуар и ассортимент книжной продукции. Учет запросов публики и постепенное проникновение все более широкого круга иностранной литературы привели к тому, что во второй половине XVIII в. все большую роль начинает играть беллетристика, особенно романы, постепенно вытесняя, хотя и не до конца, популярные ранее гистории и повести³⁰.

Одной из первых попыток дать русскому читателю представление о жанре романа можно считать комментарий А. Д. Кантемира к переводу «Разговоров о множестве миров» Б. Фонтенеля 1740 г. Об упоминаемом в этой книге романе мадам де Лафайет «Принцесса Клевская» (1678) Кантемир пишет: «Есть же Романц басня, в которой описуется острыми выдумками какое любовное дело по правилам эпического стихотворения для забавы и наставления читателя. Эпическое стихотворение есть повесть художновымышленная к исправлению нравов...»³¹. Таким образом, Кантемир выделяет основные признаки романа:

²⁷ Подробнее см.: Там же. С. 58–63.

²⁸ Самарин А. Ю. Читатель в России во второй половине XVIII века. С. 162.

²⁹ См.: Там же. С. 207.

³⁰ См.: Сиповский В. В. Из истории русского романа и повести: Материалы по библиографии, истории и теории русского романа. СПб., 1903. Ч. 1: XVIII век.

³¹ Сочинения, письма и избранные переводы князя Антиоха Дмитриевича Кантемира: В 2 т. СПб., 1868. Т. 2. С. 395.

вымышленность, развлекательная и, вместе с тем, нравоучительная функция, любовная интрига. Первые романы на русском языке были переводные, но постепенно появились и свои авторы-романисты, такие как Ф. Эмин или М. Комаров. Впрочем, число переводов лишь увеличивалось и иногда сразу появлялось несколько переводов одного и того же романа. Поэтому в газетах даже стали заранее печатать предуведомления о том, что перевод того или иного романа уже готовится.

Полемика, развернувшаяся в середине XVIII в. вокруг жанра романа, затрагивала преимущественно вопрос о вреде или пользе нового жанра. М. В. Ломоносов в «Кратком руководстве к красноречию» выносит роман, как не несущий дидактической нагрузки жанр, за рамки настоящей художественной литературы³². Известно и довольно резкое утверждение М. М. Хераскова: «Романы для того читают, чтоб искуснее любиться...»³³. Сторонники романов, в свою очередь, отстаивали их как книги «...того ради изобретенные, дабы, описывая в них разные похождения, сообщать к добродетельному житию правила»³⁴. Даже такой противник романов как А. П. Сумароков допускал, что некоторые из них, например «Телемак» или «Дон Кихот», могут принести пользу читателю³⁵.

Этот парадокс остроумно подметил М. Н. Муравьев, указав на две категории современных ему читателей: «Есть благочестивые романы, коих герои упражняются в спасении души. Это, конечно, поприще весьма опасное, где беспрестанно <приходится> шествовать между негодованием строгих читателей благочестия и скуки светского человека»³⁶. Не случайно проведенный Самариным анализ подписчиков на художественную литературу, в частности, романы, показал, что среди них нет представителей царской фамилии и духовенства³⁷.

Намного более важно, что с появлением на русской почве романа в Россию приходит и новое понимание чтения как формы досуга. Именно эту мысль выразил профессор Московского университета И. Г. Рейхель в статье о первом русском переводе романа Ж. Террассона «Сетос»: «Намерение писать романы состоять должно в произведении

³² См.: Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию // Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. М.; СПб., 2011. Т. 7. С. 173.

³³ Херасков М. М. О чтении книг // Полезное увеселение. 1760. № 1. С. 5.

³⁴ Философ аглинский, или Житие Клевеланда, побочного сына Кромвеллева, самим им писанное... СПб., 1760. Т. 1. С. 3, нenum. (Предисловие С. А. Порошина).

³⁵ Сумароков. А. П. О чтении романов // Трудолюбивая пчела. 1759. Июнь. С. 374–375.

³⁶ М. Н. Муравьев о чтении: Из рабочих тетрадей конца 1770 – начала 1780-х годов / Публ. И. Ю. Фоменко // Рукописи. Редкие издания. Архивы: Из фондов библиотеки Московского университета. М., 1997. С. 114.

³⁷ Самарин А. Ю. Читатель в России во второй половине XVIII века. С. 54.

увеселения, приятного препровождения времени, наставления в нравоучении и в правилах человеческой жизни»³⁸.

Следует отметить, что еще в 1731 г. в «Примечаниях к Ведомостям» был опубликован перевод статьи из английского журнала «Обозреватель» («The Spectator») 1711 г. «О полезном употреблении времени», в которой наряду с другими способами провождения времени, пропагандировалось чтение книг. Но лишь с середины XVIII в. отношение к чтению постепенно начинает меняться, во многом за счет расширения круга читателей мирской литературы. Этот процесс находится в русле общих изменений в отношении к досугу и достойному проведению времени в дворянской среде. В частности, журналы все чаще обращаются, в сатирической или нравоучительной форме, к этим вопросам. Чтение занимает важное место в иерархии форм досуга. По мнению издателей ряда журналов, оно является предпочтительным способом избавления от праздности. Преимуществам печатной продукции перед устным общением посвящена одна из первых публикаций журнала Сухопутного шляхетного кадетского корпуса «Праздное время, в пользу употребленное». Автор статьи «О беседах и книгах» подчеркивает не только индивидуальную свободу выбора «книжного собеседника», но и очевидную мобильность книг и журналов, которые можно иметь при себе в любое время³⁹. Еще одна из статей того же «Праздного времени», проводящая мысль о необходимости вырабатывать в себе привычку к полезному и добродетельному времяпрепровождению, подводит итог следующим образом: «Наконец лучшая забава к препровождению свободных часов есть без прекословия чтение хороших и полезных книг»⁴⁰.

Редактор другого журнала в предисловии к первому выпуску 1782 г. ставит своей целью одновременно и воспитать в подписчиках любовь к чтению, и дать им для этого материал: «Есть много свободного времени, в которое скукою томимы ищем упражнения, на что ж праздные минуты с лучшею пользою употребить можно, как на чтение, которое обыкновенным своим предметом иметь должно учреждение добродетели и распространение полезных знаний? Такова есть цель предлагаемого ныне почтенной публике еженедельного издания под заглавием “Лекарство от скуки и забот”»⁴¹. Позднейшие издания, 1780–1790-х гг., такие как «Разказчик забавных басень» или

³⁸ Рейхель И. Г. Известие и опыт о российском переводе «Сифа» // Собрание лучших сочинений. 1762. Ч. 3. С. 99.

³⁹ Праздное время, в пользу употребленное. 1759. Ч. 1. С. 8–11.

⁴⁰ Там же. С. 35.

⁴¹ Лекарство от скуки и забот. 1782. Ч. 1, № 1. С. 6.

«Городская и деревенская библиотека», уже прямо заявляют, что их адресатом является публика, «любящая чтение хороших книг»⁴².

Вместе с тем, журналистика ставит перед собой цель научить публику правильно читать: «Читать книги много наблюдать надлежит; – писал Херасков, – первое испытать себя: на что я хочу читать? что я хочу читать? и как я буду читать?»⁴³. В «Сокращенном курсе русского слога» В. С. Подшивалова даются следующие рекомендации: «Всякую книгу российскую, сочинение ли то, или перевод, надлежит читать с рассудительным вниманием, разбирая при чтении не только грамматический смысл, чистоту и порядок слов, но рассматривая также посредством логики предлагаемые автором истины, какое они имеют отношение к просвещению нашего ума, к исправлению сердца, *ко благородствованию* чувств и к обогащению мыслей наших»⁴⁴. В статье «Московского ежемесячного издания» дается целая инструкция молодому поколению что и как читать, на что обращать внимание, как выписывать самое важное и т. д.⁴⁵ В то же время, на страницах сатирических журналов с 1760-х гг. появляется образ модного человека – щеголя и петиметра, переводящего книжные страницы на папильотки.

В целом, зарождавшаяся и постепенно развивавшаяся в XVIII столетии журналистика сыграла огромную роль в распространении чтения в России, особенно в провинции. Анализ списков подписчиков показал, что 30% подписчиков журналов – это провинциальные читатели. Вероятно, такая популярность журналов была обусловлена и их доступностью по цене, и разнообразием включенного в одно издание материала. Можно предположить, что именно журналам русская литература обязана возростающей популярности поэзии. Поэтические произведения, в основном в форме песен, имели широкое хождение в рукописной традиции, тогда как лучшие образцы подносных од очевидно оставались за пределами внимания большинства читателей. Распространение журналистики изменило эту ситуацию: именно через журналы русские люди познакомились

⁴² Городская и деревенская библиотека, или Забавы и удовольствие разума и сердца... 1782. Ч. 1. С. нenum.

⁴³ Херасков М. М. О чтении книг // Полезное увеселение. 1760. Ч. 1. Янв. С. 3.

⁴⁴ Подшивалов В. С. Сокращенный курс русского слога, изданный А. Скворцовым. М., 1796. С. 35. Ср. рассуждения Н. М. Карамзина о пользе любого чтения: «Не знаю, как другие, а я радуюсь: лишь бы только читали! И романы, самые посредственные, – даже без всякого таланта писанные, способствуют, некоторым образом, просвещению» (Карамзин Н. М. О книжной торговле и любви ко чтению в России // Вестник Европы. 1802. № 9. С. 62).

⁴⁵ [Кутузов А. М.] Наставление отца сыну, которого отправляет он в Академию // Московское ежемесячное издание. 1781. Ч. 2 С. 281–284.

с творчеством лучших поэтов современности: Сумароковым, Херасковым, Державиным и др.

Возрастал интерес и к драматургии, о чем свидетельствует появление такого издания, как «Российский феатр», выходившего с 1786 г. и печатавшего театральные сочинения, в том числе новинки. Либретто пьес, в том числе на иностранных языках, издавались в России с момента появления первых театральных трупп. Их назначение не до конца ясно, скорее всего стоит предположить, что они вручались в определенных случаях какому-то кругу лиц, так же, как и описания торжеств и фейерверков. Первые образцы русской драматургии печатались непосредственно перед или сразу после постановки. Но публикация лучших драматических произведений в форме периодического издания было очень удачной идеей Е. Р. Дашковой, инициировавшей эту серию.

Изменилось положение религиозной литературы и произведений, посвященных вопросам морали, которые получали все более широкое распространение и даже популярность. Проповеди самых известных духовных лиц, таких как митрополит Платон Левшин, расходились большими тиражами по всей стране, благодаря новым возможностям книготорговли. Особую роль в распространении нравоучительной литературы сыграли масонские интересы Новикова. Большая часть литературы, выходившей на русском языке под условным названием масонской, не являлась таковой в строгом смысле слова, а представляла собой переводы протестантских сочинений моралистического толка. Очевидно, что многие русские люди испытывали потребность в обсуждении простым языком сложных философских материй и моральных норм. Такие переводы удовлетворяли их потребность и давали образцы, позволявшие говорить о высоком современном языке.

Наконец, книгоиздатели не обошли вниманием и ранее игнорировавшийся, но популярный в рукописной традиции тип литературы, содержащей советы по домоводству. Одним из первых изданий такого плана стали «Труды» незадолго до этого созданного Вольного экономического общества. Затем стали появляться сборники рецептов, наставления по винокурению, лечебники, в том числе конские, травники, пособия по садоводству и земледелию, а также сборники советов на самые разные темы.

По-прежнему заметную роль в жизни русского читающего человека играла рукописная книга. Более того, постепенно все больше входила в употребление практика переписывания печатной книги гражданского шрифта или отдельных произведений из нее. Дефицит книг и их дороговизна с одной стороны, и некоторая ритуализация процесса – с другой порождали новую традицию в рамках старой: в переписанном виде книга имитировала печатную. В частности, А. Т. Болотов, обладавший немалым книжным собранием (более 3000 томов), на равных включал в него рукописные книги, причем как

сочиненные им самим, так и переписанные. На почве переписывания книг он знакомился с людьми и даже заводил друзей. Об одном из таких друзей, И. Г. Полонском, Болотов пишет так: «Книг имел он у себя нарочитое собрание, а что всего удивительнее, то великое множество из них, писанных его рукою. Будучи смолоду великим писакою, любил он как-то в особенности упражняться в писании и не скучивал списывать целые превеликие книги, — и я нашел у него собрание наилучших в тогдашнее время романов, списанных сим образом его рукою и переплетенных порядочно»⁴⁶. Можно предположить, что уже в 1770-е гг., по мере развития книжного рынка, переписывание книг постепенно становится своего рода хобби или творчеством и предметом коллекционирования, объединявшего людей по интересам.

Аналогичную функцию во многом выполняли и библиотеки. Первые крупные книжные собрания появились еще задолго до XVIII в., но это были собрания книг членов царской семьи, приближенных к ним особ и высшего духовенства. Такие библиотеки отчасти имели представительский характер, хотя и отражали интересы владельцев. Традиционно существовали библиотеки в монастырях. Постепенно стали появляться библиотеки учреждений и учебных заведений, крупнейшей из которых стала библиотека Академии наук. Со временем нечто вроде читален возникало при книжных лавках. Но распространение частных библиотек и увлеченное собирание книг оказывается по-настоящему возможным только в период, когда книги становятся доступными. Владельцы книжных собраний обменивались книгами и сведениями о них и сожалели о нехватке рекомендательной библиографии⁴⁷. Тем не менее, со временем домашняя библиотека стала важным предметом обихода, в том числе в провинции. Ее примерный состав в последней трети XVIII в. описал в своих мемуарах М. А. Дмитриев: «По деревням кто любил чтение и кто только мог заводился небольшой, но полной библиотекой. Были некоторые книги, которые как будто почитались необходимыми для этих библиотек и находились в каждой. Они перечитывались по нескольку раз, всюю семьею. Выбор был недурен и довольно основателен. Например, в каждой деревенской библиотеке непременно уже находились: *Телемак*, *Жилблаз*, *Дон-Кихот*, *Робинзон-Круз*, *Древняя Вивлиофика Новикова*; *Деяния Петра Великого и с дополнениями*, *История о странствиях вообще Лагарпа*, *Всемирный путешественник Аббата де ла-Порта*, и *Маркиз Г.*, перевод *Ив. Перф. Елагина*, роман

⁴⁶ Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков. СПб., 1871. Т. 2. Стб. 605.

⁴⁷ См., например, статью А. Т. Болотова из сборника «Современник, или Записки для потомства» 1795 г., озаглавленную «О выдаваемых книгах и объявлениях об оных и злоупотреблениях при том бывших» (см.: *Губерти Н. В.* Историко-литературные и библиографические материалы. СПб., 1887. С. 27–29).

умный и нравственный, но ныне осмеянный. Ломоносов, Сумароков, Херасков непременно были у тех, кто любил стихотворство»⁴⁸.

Появление домашних книжных собраний неизбежно вело к расширению читательской аудитории, в круг которой постепенно попадали женщины и дети. Очевидно, несправедливо суждение Е. Р. Дашковой, написавшей в своих мемуарах: «Я смело могу утверждать, что кроме меня и великой княгини в то время не было женщин, занимавшихся серьезным чтением»⁴⁹. Тем не менее, бытовали представления о «женском» чтении и недопустимости попадания некоторых книг в руки дамам, а особенно юным девушкам. В частности, это касалось романов. По воспоминаниям А. Е. Лабзиной, проведшей детство и юность в доме М. М. Хераскова, ее так берегли от книг такого рода, что она даже не знала самого слова, обозначающего этот жанр, и когда при ней гости заговорили о новом романе, она думала, что речь идет о мужском имени⁵⁰. Известны также примеры, когда именно женщина в семье определяла выбор книг. Так, Н. Н. Мордвинова (1789—1882) вспоминает о своей матери Генриетте Александровне (в девичестве Коблей, дочери английского консула в Ливорно) которая: «Она много читала нравственных, поучительных и религиозных книг, любила стихотворения, читала хорошие английские романы; французских не терпела и не одобряла их, так же как и сочинений французских философов. Однажды отец мой привез из книжной лавки одно из сочинений Вольтера. Матушка не одобрила эту покупку. “Я стар, – сказал он, – и мне Вольтер вреда не сделает”. Несколько дней спустя мы сидели у стола и завтракали; в это время топилась печка. Отец вошел и что-то принес <...> стал на одно колено к печке и начал класть в огонь книги одну за другою, с улыбкою посматривая на нас <...> Потом он сказал: “Детушки! Правду маменька говорила: не стоит читать Вольтера и нам, старичкам!”»⁵¹. Чаше же всего в домах, где имелись книжные собрания, доступ к ним был свободным. Например, И. И. Дмитриев рассказывал об этом так: «У отца моего в гостиной всегда лежали на одном из ломберных столов переменные книги разных годов и различного содержания, начиная от “Велисария” сочинения Мармонтеля до указов Екатерины Второй и Петра Великого. Даже и “Маргарит” (поучительные слова) Иоанна Златоуста, “Всемирная история”

⁴⁸ Дмитриев М. А. Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти. С. 173.

⁴⁹ Дашкова Е. Р. Записки: 1743—1810. Л., 1985. С. 7. Ср., например, о формировании круга чтения дочери В. Е. Адодурова: Кулакова И. П. Что читали некоторые папы своим дочками в XVIII веке: (К истории домашнего образования в России 1760-х гг.) // Книга и мировая цивилизация. Материалы международной научной конференции по проблемам книговедения. М., 2005. Т. 2. С. 143–147.

⁵⁰ См.: Лабзина А. Е. Воспоминания. СПб., 1914. С. 47.

⁵¹ Мордвинова Н. Н. Воспоминания об адмирале Николае Семеновиче Мордвинове и о семействе его. Записки его дочери. С. 441.

Барония и Острожская библия стали мне известны еще в моем отрочестве, по крайней мере по их названиям. Мне позволено было заглядывать в каждую книгу и читать, сколько хочу»⁵².

В целом, представление о детской неучебной литературе формируется достаточно поздно, в 1780-х гг., а до публики это понимание доходит уже к самому концу века. Но это не значит, что дети не читали. Во-первых, они читали учебную литературу, которая включала исторические сочинения и книги на иностранных языках, в какой-то мере заменявшие беллетристику, а во-вторых, как уже было сказано, они обращались к книгам из родительской библиотеки. Удивительным образом, при всей скудости выбора, магия печатного слова часто имела над ними свое действие, и они с малых лет становились усердными читателями, воображая себя героями книг. Так, И. И. Дмитриев приводит такой пример: «Однажды, ехав из деревни в Симбирск, я сидел в коляске с моим братом; он молчал, и я тоже, окидывая между тем глазами с обеих сторон поля, дубравы и селения; вдруг пришло мне на мысль, отчего я так долго молчу и ни о чем не рассуждаю? Помню из книг, что молодой маркиз дорогою рассуждал в коляске со своим наставником; барон Пельниц со своим сыном, и Дон Фигероазо, или Уединенный Гишпанец, также со своим и детьми; отчего же никакие предметы, никакой случай не возбуждают во мне размышлений? Конечно оттого, – думал я, – что они были умнее”. При этом замечании мне стало грустно»⁵³.

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в мемуарах и письмах последней трети XVIII в. литературе уделяется значительно большее внимание, чем в предшествовавший период. Такая особенность даже позволила одному из исследователей выделить категорию «читающего мемуариста»⁵⁴. Следующим этапом стало появление в литературе читающего героя⁵⁵.

П. Н. Берков писал, что «XVIII век в России – это век исключительно усердного чтения»⁵⁶. Наверное, правильнее будет сказать, что это век, в который роль чтения

⁵² Дмитриев И. И. Сочинения. М., 1986. С. 274–275. См. также упомянутый выше эпизод с ящиком книг, который Болотов нашел у своего отца и самостоятельно разобрал.

⁵³ Там же. С. 272.

⁵⁴ Токарева Г. В. Русская автобиографическая литература в общественно-культурном контексте. Конец XVIII – начало XIX вв. Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1985. С. 21.

⁵⁵ См.: Кочеткова Н. Д. Чтение в жизни чувствительного героя // Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма: (Эстетические и художественные искания). СПб., 1994. С. 156–188.

⁵⁶ Берков П. Н. Особенности русского литературного процесса XVIII века // Берков П. Н. Проблемы исторического развития литературы. Л., 1981. С. 148.

стремительно и неуклонно повышалась, постепенно превратившись, по выражению М. Н. Муравьева, в «одну из должностей честного человека»⁵⁷.

⁵⁷ Муравьев М. Н. о чтении: Из рабочих тетрадей конца 1770 – начала 1780-х годов. С. 115.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БЫТ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ БИБЛИОТЕКИ XVIII ВЕКА

Одним из важных аспектов читательского быта является вопрос о доступности книг читателю. В России на протяжении всего XVIII столетия книги оставались достаточно дорогим товаром. Так, в середине века «покупатель, располагавший, к примеру, тремя рублями, имел такой выбор: на эти деньги он мог приобрести, скажем, лошадь, или же двухтомное “Описание земли Камчатки” С. П. Крашенинникова»¹. Безусловно, ситуация менялась, и к концу века книги стали доступнее. Но, например, такой книголюб, как А. Т. Болотов, покупавший в лучшие в финансовом отношении годы от 100 до 150 книг в год², ведя учет своим расходам, в том числе на книги, ругал себя за непомерные траты на это увлечение, которое он именовал страстью: «Мотовству сему едва ли не по смерть мою продолжаться. Всякий год употребляю я множество денег на покупку книг. Но правду сказать, зато и пользуюсь тысячами наиприятнейших минут в жизни и невиннейшими забавами»³.

В связи с дороговизной книг актуальным оставалось обращение к другому источнику – библиотекам. Но к началу XVIII столетия в России библиотеки существовали только как хранилища книг, государственные и частные. Можно сказать, что развитие сети библиотек в России шло параллельно развитию книгопечатания и существенный перелом произошел здесь не ранее 1760-х гг. Прежде всего богатейшими библиотеками владели монастыри. Это были собрания не только религиозной литературы, но и почти всех видов книжного знания: летописи и хроники, хождения и описания земель, травники и лечебники и т. д. В монастырских собраниях рукописные книги хранились наряду с печатными.

В XVI в. начала свое формирование Патриаршая библиотека, основу фонда которой составили книжные собрания митрополичьих дворов и «дублеты» из монастырских библиотек. Библиотека периодически пополнялась книгами из частных собраний. Так, в середине XVII в. в Патриаршую библиотеку поступили книги патриарха Никона после его удаления из Москвы. Позднее, с учреждением в 1721 г. Святейшего

¹ Хотеев П. И. Книга в России в середине XVIII века. Частные книжные собрания. Л., 1989. С. 5.

² См. его дневниковые записи за 1791–1792 гг.: Настольный календарь (БАН. Ф. 69. № 10).

³ Болотов А. Т. Продолжение описания моей жизни, состоящее в ежедневных записках всего со мною случившегося 1792 года (БАН. Ф. 69. № 25. Л. 6 об.).

Синода, на основе Патриаршей библиотеки, насчитывавшей к тому времени около 1000 томов, была создана Синодальная библиотека. В 1722 г. был издан императорский указ, предписывавший монастырям списать имеющиеся у них летописи для Синодальной библиотеки. Тогда же, к посещению библиотеки голштинским герцогом Карлом Фридрихом, были составлены первые описи греческих рукописей в составе библиотеки, что положило начало практике отделения книг на разных языках и рукописных от печатных.

Как видно из этого примера, на протяжении двух столетий Патриаршая библиотека существовала без описаний. Та же ситуация была и в монастырях. Нельзя сказать, что монастырские библиотеки были полностью закрыты для читателя извне. Как нам известно, большинство русских историков, от Г. Ф. Миллера до Н. М. Карамзина, работали с монастырскими собраниями. Но отсутствие описей, несистематизированное размещение книг и документов, часто непонимание ценности некоторых из них монастырским начальством, а также определенная изолированность монастырей, иногда даже географическая (например, Соловецкого) делали эти книжные собрания малодоступными для читателей.

Еще одним местом формирования книжных собраний уже в XVII в. были учреждения: Пушкарский, Аптекарский, Посольский приказы, Печатный двор и т. д. Такие библиотеки были специализированными и предназначенными только для служителей этих учреждений. Наконец, достаточно большой была библиотека Славяно-греко-латинской академии, также открытая только для преподавателей и учащихся.

Таким образом, к началу XVIII в. в России сформировалось немало значительных по составу книжных собраний, но доступ к ним был ограниченным. Радикальные перемены, как и во многих других сферах, здесь произошли в петровскую эпоху. Петр I сам обладал богатой библиотекой. Часть книг ему досталась по наследству от царя Алексея Михайловича, а затем старшего брата Федора и царевны Софьи. Кроме того, он регулярно пополнял свою коллекцию, получая книги из типографий, в подарок от иностранных посланников или приобретая в заграничных поездках. Почти половина книг в петровском собрании была на иностранных языках, причем значительную долю составляли технические (по навигации, морскому делу, кораблестроению, архитектуре и т. д.) и естественнонаучные книги, что отражало интересы императора⁴.

⁴ Подробнее о составе библиотеки Петра I см.: Библиотека Петра Великого: западноевропейские печатные книги: В 2 т., 3 кн. / Сост. И. В. Хмелевских, А. Е. Карначев. СПб., 2016.

О том, что Петр I понимал потребность в сохранении и приумножении имеющихся, специальных, и создании новых, публичных библиотек свидетельствует «Духовный регламент» (1721), в котором говорится о необходимости создания библиотек при духовных училищах и о возможности обращаться к их фондам сторонним читателям. Светским школам, созданным в этот период (цифирной, навигацкой, инженерной, горной и т. д.) также предписывалось обзаводиться библиотеками. Эта тенденция получила развитие в последующие царствования: в кадетских корпусах, Сухопутном шляхетном (создан в 1731 г.) и Морском (создан в 1752 г.) также были учреждены библиотеки. В 1773 г. в Петербурге было основано Горное училище, имевшее свою библиотеку. Принятый в 1786 г. «Устав народным училищам в Российской Империи», предполагавший создание губернских и уездных училищ, предписывал иметь при них «книгохранилище, состоящее из разных иностранных и российских книг, а особливо касающихся до учебных предметов главного народного училища, и из чертежей, потребных к распространению географических знаний»⁵. Но библиотеки учебных учреждений были закрытыми, а фонды их в основном состояли из учебной или ориентированной на учебный процесс литературы.

Как и в случае с книгоизданием, формирование библиотечной системы вплоть до 1770–1780-х гг. шло прежде всего по инициативе власти. Тем не менее, считается, что первым с предложением организовать бесплатные публичные библиотеки выступил спальный Петра I боярин Федор Степанович Салтыков (?–1715). С юности учившийся, а потом много бывавший за границей, особенно в Голландии и Англии, Салтыков составил Петру I две записки: в 1712 г. «Пропозиции», и в 1714 — «Изъявления, прибыточные государству»⁶. В них он предложил весьма масштабную (видимо, даже слишком масштабную) программу реформ в различных областях современной российской действительности по европейскому образцу. В частности, они содержали проект учреждения публичных библиотек во всех восьми губерниях Российской империи, а также шестнадцати академий при монастырях со специализированными библиотеками. По сути, Салтыков предлагал создание библиотечной сети при поддержке государства, но при помощи местной власти и на базе имеющихся книжных собраний монастырей и государственных учреждений, закрытых для большинства желающих читать. В своих

⁵ Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. [СПб.], 1830. Т. 22: 1784–1788. С. 648.

⁶ Салтыков Ф. 1) Пропозиции. СПб., 1892; 2) Изъявления, прибыточные государству. СПб., 1897.

образовательно-библиотечных проектах Салтыков ссылался на опыт английский университетов, Оксфорда и Кембриджа.

Очевидно, что в России начала XVIII в. не было ни средств, ни возможностей для осуществления проекта Салтыкова. Более того, он вряд ли в этот период оказался бы востребованным – учитывая иной, чем в Европе, подход к чтению вообще и уровень грамотности населения России, такие библиотеки просто не нашли бы достаточно читателей.

Другая попытка учреждения публичной библиотеки, на этот раз в Москве, была предпринята отцом и сыном Киприановыми⁷. В. А. Киприанов в 1705 г. обратился к Петру I с предложением создания типографии гражданской печати в Москве. Предложение получило поддержку, и вскоре Киприанов открыл при типографии книжную лавку, торговавшую книгами и гравюрами. В 1714 г. Киприанову и его сыну было выделено место под строение библиотеки с кофейней у Спасского моста. После смерти В. А. Киприанова в 1723 г. типография и книжный магазин перешли к его сыну. В. В. Киприанов дважды подавал прошение о выдаче ссуды на завершение начатого отцом строительства здания библиотеки, которую они именовали «Всенародной публичной библиотекой». «Кондиции», прилагавшиеся В. В. Киприановым, интересны, так как отражают его представление об общедоступной публичной библиотеке. По его замыслу библиотека должна была быть бесплатной и формироваться в основном из изданных в России книг по принципу получения обязательного экземпляра. Иностранные книги предполагалось покупать выборочно. Очевидно, что Киприанов мыслил эту библиотеку как государственную, и потому обращался за финансовой поддержкой, которую не получил. После смерти Петра I Гражданская типография прекратила свое существование, а ее печатные станы были перевезены в Петербург.

Тем временем, уже в 1714 г., Петр I заложил основание первой в России государственной научной публичной библиотеки – будущей Библиотеки Академии наук. Основанием для отнесения этого события к 1714 г. служит свидетельство А. И. Богданова (1696–1766), библиотекаря и автора описания Петербурга. По его мнению, Библиотека Императорской Академии наук «...начала собираться по всевысочайшему указу государя императора Петра Великого с 1714 года, а в Императорскую академию наук соединена

⁷ См.: Сведения о Василии Киприанове, библиотекаре Московской гражданской типографии при Петре I. Материалы из Артиллерийского архива / Публ., вступ. ст. М. Д. Хмырова // Русский архив. 1866. № 10. Стб. 1291–1300; *Бородин А. В.* Московская гражданская типография и библиотекари Киприановы // Труды института книги, документа, письма. М.; Л., 1936. Вып. 5. С. 69–131.

1724 года»⁸. Библиотечный фонд был составлен из книжного собрания Аптекарского приказа, Готторпской коллекции герцогов Голштинских и библиотеки Курляндских герцогов. С самого начала и позднее библиотека регулярно пополнялась книгами из личных собраний Петра I и его ближайших сподвижников, а позднее из коллекций ученых и государственных деятелей. Так, например, в разные годы в библиотеку поступили собрания Я. В. Брюса, царевича Алексея Петровича, П. П. Шафирова, Г. З. Байера, В. Н. Татищева и др. С 1725 по 1728 г. в библиотеку были переданы книги из личного собрания Петра I.

Первоначально фонд библиотеки, собранный в Летнем дворце Петра I, насчитывал около 2000 томов. По замыслу Петра I, библиотека должна была стать многоязычным и универсальным собранием книг, доступных всем грамотным и желающим читать. В 1718 г. библиотека была помещена в задние Кикиных палат, где в нее был открыт свободный доступ. К этому моменту ее фонд увеличился втрое (6000 томов). В 1728 г. она была переведена в недавно построенное здание Кунсткамеры, где находилась до 1924 г. С момента перевода академической библиотеки в Кунсткамеру преимущественное право пользоваться ею имели академики, но до 1770-х гг. сохранялся свободный доступ и для других образованных людей. Образование и близость к академическим или придворным кругам были своеобразным цензом, определявшим право доступа в библиотеку. Ее статус определялся уставами Академии наук, в частности, «Проектом положения об учреждении Академии наук и художеств» Л. Л. Блюментроста, в котором, в частности, были выделены расходы на систематическое приобретение книжных новинок по разным отраслям знаний. Первый печатный каталог⁹ не включал в себя книг на греческом и славянском языках, а также книг из отдельного хранилища академических изданий, которые были переданы библиотеке только в 1746 г. по специальному указу Елизаветы Петровны. С этого же момента была введена практика получения обязательного экземпляра – сначала академических изданий, а с 1783 г. – всех, выходящих в России. Постепенно возникали и развивались книгообмены с европейскими академиями и научными обществами. Полноценный систематический каталог был составлен только к концу века¹⁰.

⁸ Богданов А. И. Описание Санктпетербурга: 1749–1751. СПб., 1997. С. 165.

⁹ *Bibliothecae imperialis Petropolitanae*. [СПб.], 1742. Pars 1–4.

¹⁰ Опыт о Библиотеке и Кабинете редкостей и истории натуральной Санкт-Петербургской Императорской академии наук, изданной на французском языке Иоганом Бакмейстером, подбиблиотекарем Академии наук, а на российской язык переведенной Васильем Костыговым. [СПб.], 1779.

Создание в России Библиотеки Академии наук было отмечено во французской «Энциклопедии»: в 1751 г. Дидро и Д'Аламбер упомянули ее в обзорной статье о европейских библиотеках, отметив роль Петра I в ее основании¹¹.

Появление Библиотеки Академии наук сыграло значительную роль в развитии государственных библиотек в целом. Императрица Елизавета Петровна не только поддержала рядом указов начинание своего отца, но и способствовала открытию в середине 1750-х гг. еще нескольких библиотек: Московского университета (1755), Театральной библиотеки (1756) и Библиотеки академии художеств (1757).

Первое упоминание о Библиотеке Московского университета относится к апрелю 1755 г.: «Санкт-Петербургские ведомости» писали о возможности получить в ней экземпляр журнала «*Le Caméléon littéraire*»¹². О полном открытии библиотеки «Московские ведомости» сообщили только в июле 1756 г. Студентам также предоставлялись свободные часы специально для посещения библиотеки по определенным дням. Библиотека Московского университета была более доступна для читателей, чем Библиотека Академии наук, и до 1861 г., т. е. до открытия библиотеки при Румянцевском музее, она оставалась единственной московской публичной библиотекой. В то же время, она была ориентирована прежде всего на студентов, что определяло принципы ее комплектования в расчете на казеннокоштных учащихся, не имевших возможности приобретать учебники. С 1759 г. Московский печатный двор передавал в университетскую библиотеку обязательный экземпляр.

Первым «смотрителем» библиотеки был назначен поэт М. М. Херасков, руководивший также типографией университета. Первая библиотечная опись была составлена в конце 1750-х гг. в суббиблиотекарем Д. В. Савичем, позднее эта работа была продолжена И. Г. Рейхелем. С 1768 года университетская Конференция постановила обмениваться диссертациями с иностранными научными заведениями. Заметный вклад в развитие библиографии учебной литературы внес выпускник Московского университета Х. А. Чеботарев, с 1775 по 1778 г. занимавший должность суббиблиотекаря. Именно он предложил принцип составления предметной библиографии с опорой на списки из соответствующих научных журналов.

Первоначально помещение библиотеки совмещалось с лекционным залом и физическим кабинетом, затем под нее были выделены отдельные палаты в здании у Воскресенских ворот (сейчас на этом месте находится Государственный Исторический

¹¹ *D'Alembert J., Diderot D. Bibliothèque // Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Paris, 1751. Vol. 2. P. 234.*

¹² Санкт-Петербургские ведомости. 1755. № 34, 28 апр. С. 5.

музей). В 1786 г. началось строительство нового здания университета, но завершено оно было только в 1793 г. Библиотеке отводился большой зал с галереей на третьем этаже, в котором она просуществовала до пожара Москвы в 1812 г.

Важно отметить, что и Библиотека Академии наук, и Библиотека Московского университета были доступны не только членам Академии и университетским профессорам и студентам, кроме того, они совмещали обе формы библиотечной работы: чтение в читальном зале и выдачу книг на дом. По такому же принципу действовала открытая указом Сената от 6 ноября 1757 г. Библиотека Академии художеств в Петербурге. Принципиальное отличие этой библиотеки заключалось в составе ее фондов, которые с самого начала включали рисунки, гравюры, картины и прочие изобразительные материалы. Часть из них была передана библиотеке из личного собрания первого президента Академии художеств И. И. Шувалова. Дарение и в дальнейшем имело большое значение для пополнения фондов. В разное время в библиотеку поступили ценные издания и живописные полотна от членов императорской фамилии, а также И. И. Бецкого, графа Б. П. Шереметева, А. Н. Оленина, П. Гонзаго и т. д.

Библиотека также была открыта для сторонних посетителей, что было подтверждено уставом 1764 г.: «Академии иметь публичную библиотеку, при которой содержать из числа академиков искусного библиотекаря, дозволяя и посторонним в назначенные дни и часы входить в оную, и пользоваться как чтением книг, так и выписыванием всего, что каждый найдет для себя нужного или по любопытству своему примечания достойного»¹³. Библиотека Академии художеств ставила своей целью знакомство читателей с наследием мирового искусства, прежде всего по западноевропейским изданиям XVI–XVIII вв. на разных языках. Пособия по анатомии, ботанике, географии, истории, мифологии, а также по рисунку, перспективе, живописи, гравированию, архитектуре, азбуки, словари и грамматики разных языков целенаправленно приобретались для обучения студентов.

Еще более специализированной была Театральная библиотека, созданная в 1756 г. одновременно с учреждением русского театра. Основу ее составил так называемый «сундук» труппы Федора Волкова, в котором хранились тексты пьес и ноты. Это библиотечное собрание предназначалось преимущественно для постановочной практики и лишь позднее было значительно расширено изданиями по истории театра и по искусству вообще.

¹³ Привилегия, уставы и штаты Императорской Академии художеств, с 1764 по 1840 год. СПб., 1843. С. 37.

Стоит отметить и небольшую по составу фонда и специализированную, но открытую для посетителей библиотеку Императорского Вольного экономического общества, сложившуюся вскоре после его основания в 1765 г. Первоначально библиотека пополнялась в основном за счет даров его членов, в том числе иностранных. Позднее общество занялось публикацией периодических изданий и сочинений отдельных авторов, которые тоже поступали в библиотеку.

Специального упоминания достойна история формирования технических горнозаводских библиотек на Урале и в Сибири. Их появление связано с созданием горных школ еще в 1720-х гг. Большую роль в комплектовании их фондов сыграл В. Н. Татищев. Известно, например, что он подарил библиотеке в Оренбурге 1000 экземпляров книг из собственной коллекции.

Наиболее ярким примером востребованности такого рода библиотек является крупнейшая для того времени Барнаульская казенная библиотека, основанная в 1764 г. при Правлении Колывано-Воскресенских горных заводов по инициативе А. И. Порошина (1707–1784). По его настоянию Сенатом был издан указ о передаче дублетов из Екатеринбургского горного училища в Барнаул. Эти 87 книг были основой книжного фонда, который к концу XVIII в. состоял из 7000 книг на разных языках, каталогизированных и классифицированных по отраслям. Следует отметить, что в составе библиотеки были не только технические книги, но даже беллетристика. Библиотека постоянно заказывала новинки по книжным росписям и запросам от горных инженеров. Покупку осуществляли через офицеров, сопровождавших караваны с серебром и золотом. Более того, была выработана система передачи книг на другие заводы и дальние рудники по системе так называемой «кольцевой почты». Каждые 15 дней отправлялась новая серия книг с приложенным к ним листом, на котором отмечалось, где книга получена и куда направлена далее. Управляющие заводами следили за тем, чтобы книги вовремя изучались и не задерживаясь следовали в следующий пункт. Замкнув «кольцо», книга возвращалась в Барнаул.

Важнейшим событием екатерининского царствования стало создание «Ее Императорского Величества комнатной библиотеки», позднее получившей название Эрмитажной. Причем это произошло в июле 1762 г., всего через месяц после дворцового переворота, возведшего Екатерину на престол. К тому моменту книжное собрание императрицы было весьма значительным и требовало систематизации. К концу

царствования Екатерины II оно состояло из 40 000 томов¹⁴. В 1790 г. известный ученый и путешественник И. Г. Георги писал об этой библиотеке: «Императорское книгохранилище в Эрмитаже занимает многие комнаты в оном и имеет разные отделения. Оно сохраняется в шкафах из красного дерева с стеклянными дверьми, которые постановлены на комодах с выдвигаемыми ящиками, вышиной от 3 до 4 футов, в которых хранятся рукописи, каталоги и пр.»¹⁵.

Екатерина II целенаправленно собирала книжную коллекцию, заказывая книги по самым разным областям знания, в том числе из других стран. Так, книготорговец Х. Ф. Николаи за период 1783–1786 гг. в отправил императрице из Берлина около 13 000 книг. Кроме того, фонд пополнялся обязательными экземплярами из российских типографий и дарами, а также ценными рукописными материалами из монастырских библиотек. За годы своего правления Екатерина II неоднократно покупала для своей библиотеки книжные коллекции целиком. Это были ценнейшие собрания Б. Галиани, Вольтера, А. Д. Ланского, Д. Дидро, М. М. Щербатова, А. Ф. Бюшинга и т. д. В 1792 г. в состав Эрмитажной библиотеки была включена библиотека Петра III, хранившаяся в Ораниенбауме. Основу ее составляли книги из «голландской» библиотеки его отца, Гольштейн-Готторпского герцога Карла Фридриха, позднее дополненные, всего около 4500 томов. Следует отметить, что покупка некоторых книжных коллекций (например, Вольтера или Дидро) имела политическое значение и стоила не только немалых средств, но и дипломатических усилий, производя впечатление на образованные европейские круги.

Книжное собрание императрицы Екатерины II было уникально и по объему, и по составу и разнообразию фонда, и по наличию особенно ценных изданий. Оно безусловно способствовало формированию ее образа просвещенной государыни, не случайно иностранные гости охотно допускались в книгохранилище. В то же время, Екатерина много работала с материалами библиотеки, что нетрудно установить по ее собственным сочинениям и письмам.

Именно екатерининское время знаменуется процессом постепенного появления библиотек по инициативе читателей или в ответ на их потребности, так как государственных библиотек на всю страну безусловно не хватало.

В первую очередь это касается губернских библиотек, которые часто создавались на пожертвования, хотя и обращались за государственной поддержкой. Так, в конце 1770-х

¹⁴ См.: *Зими́на О.* Библиотека Эрмитажа и ее коллекция // Наше наследие. 2018. № 124. С. 114.

¹⁵ *Георги И. Г.* Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного. СПб., 1794. Ч. 2. С. 408.

гг. новгородский наместник просил выдать из казны 9000 рублей (впрочем, он их не получил) для открытия губернских публичных библиотек в Новгороде, Пскове и Твери. В 1778 г. в Туле открылась библиотека при богадельне, для нее были пожертвованы около 500 книг, они выдавались читателям за плату. В 1782 г. в Иркутске была открыта бесплатная публичная библиотека, в которую, по просьбе иркутского губернатора, были переданы 1300 дублетов из Библиотеки Академии наук. К сожалению, работа провинциальных библиотек, плохо поддерживавшаяся финансово, часто была недолгой и в лучшем случае их фонды передавались местному училищу, как это произошло в Иркутске.

В то же время, то есть в 1770–1780-х гг., в Петербурге и Москве постепенно получали распространение частные коммерческие библиотеки, или так называемые «кабинеты для чтения», в которых читатели могли брать на дом книги за небольшую плату¹⁶. Сам по себе факт возникновения платных библиотек, к тому времени давно распространенных во многих европейских странах и даже отчасти в Прибалтийских губерниях России, свидетельствует, с одной стороны, о формировании определенного читательского круга, готового платить за возможность читать книги, не покупая их в свою коллекцию, а, с другой, о том, что фонды «больших» библиотек, Академии наук и Московского университета, были или недостаточно доступны, или не удовлетворяли вкусам читающей публики. В этом случае опять показательно свидетельство А. Т. Болотова. Оказавшись в конце 1757 г. в Кенигсберге, он посетил и описал государственную Замковую библиотеку, в которой можно было пользоваться читальным залом всем желающим. Она привлекла его внимание с исторической, но отнюдь не практической точки зрения: предлагаемая там литература не была ему интересна. Зато он с восторгом и удивлением принял совет немца-канцеляриста посетить частную коммерческую библиотеку. Ранее Болотов никогда не сталкивался с таким явлением и тут же стал постоянным посетителем этого «кабинета для чтения», заплатив на абонемент вперед на год. Его привлекала возможность и брать книги на дом, и консультироваться с владельцем по их поводу, а главное – большой выбор беллетристики и популярной философии¹⁷. Вероятно, эти же обстоятельства привлекали в «кабинетах для чтения» и публику в России.

¹⁶ См.: Шестернева Е. В. Коммерческие публичные библиотеки России: Становление и развитие, анализ фондов и читательских групп: XVIII – начало XX вв. Дисс. ... канд. пед. наук. М., 2003.

¹⁷ Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков 1757–1762: В 2 кн. СПб., 2022. Т. 2, кн. 1. С. 261–267.

Впрочем, первые учреждения подобного рода возникли в Петербурге в среде иностранцев. Это были «немецкие» и «французские» «общества для чтения», которые создавались иностранными учеными или книготорговцами.

Первая частная коммерческая библиотека в Петербурге была открыта в 1770 г. доктором медицины, профессором Академической гимназии И. Я. Вейтбрехтом (1744—1803). Вслед за ней до конца XVIII в. открылись еще 18 библиотек, принадлежавших немцам (впрочем, большинство из них продержались не больше двух лет). Часть владельцев были книгоиздателями или книготорговцами, как, например, издатель К. Т. Дальгрэн, редактор журнала «Магазин полезных знаний» И. Д. Герстенберг (1758—1841), книготорговец И. Х. Геверт. Другие держатели библиотек занимались научной деятельностью, например, профессор естественной истории и доктор медицины А. И. Гильденштедт (1745—1781), профессор греческой и римской словесности Ф. Б. Грефе (1780—1851), математик, профессор физики, секретарь Академии наук И. А. Эйлер (1734—1800), историк, пастор лютеранской церкви Св. Екатерины И. Г. Буссе (1763—1835) и др. Один владелец, И. Х. Кейзер, был ювелиром.

Это были библиотеки с фондом от 200 до 8000 книг; издания предлагались преимущественно на трех языках: немецком, французском и русском, в основном художественная литература, издания по истории, философии, географии, естественным наукам и периодика. Некоторые из таких библиотек именовались «Немецкое общество для чтения книг» (А. И. Гильденштедта, И. А. Эйлера, И. Х. Кейзера, К. Т. Дальгрена, И. Х. Геверта) или «Немецкое и французское общество для чтения книг» (И. Г. Буссе, И. З. Логан, И. Ц. Гилле). Определение «немецкое» и «французское» в данном случае в большей степени отражало языки, на которых предлагалась литература, а не национальный состав читателей, который специально не регламентировался. Герстенберг и Буссе владели библиотеками «Общества для чтения журналов» (у Буссе их было две: книжная и журнальная). Многие из заводивших коммерческие библиотеки, особенно те, кто совмещал эту деятельность с книгоизданием, печатали каталоги предлагаемой литературы, а Буссе и Герстенберг даже напечатали уставы своих «обществ для чтения». Все эти общества и библиотеки действовали по одному принципу: читатели вносили годовую плату за право брать на дом любую литературу из имеющейся. Как только большинство членов общества прочитывали книгу, ее пускали в продажу и приобретали новые издания. К сожалению, известно число подписчиков только библиотеки Гильденштедта, ею пользовались 66 человек.

Из русских владельцев коммерческой библиотеки есть сведения только о книготорговце и библиографе В. С. Сопикове, который начал свою карьеру в 1780-х гг. «сидельцем» в московских книжных лавках. В 1788 г. он приобрел в Петербурге книжную

лавку и организовал при ней платную «библиотеку для чтения», представлявшую собой читальный зал. Фонд его библиотеки составлял 1400 экземпляров¹⁸.

Таким образом, несмотря на немногочисленность в масштабах страны и недолговечность частных библиотечных инициатив, они свидетельствовали о постепенно нарастающей потребности читающей публики в библиотеках.

На самый конец екатерининского правления (1795 г.) приходится замысел создания Императорской Публичной библиотеки, открытой уже в 1814 г.¹⁹ Как писал по этому поводу один из первых библиотекарей Императорской Публичной библиотеки М. И. Антоновский, Екатерина II «Премудрая Российская Монархиня Екатерина II Великая, прилагая неусыпное матернее попечение о приведении всех частей государственных состояний в надлежащее устройство и порядок, чрез ведение истинного просвещения и искореняя с мудрою кротостию все вредные предубеждения умов и вкравшиеся злоупотребления как в самое народное воспитание, так и в обычаи, становившиеся уже почти непреложным правилом образа мыслей и поведения, не оставила обратить прозорливого внимания своего и на такой не достававший еще в России важный источник народного просвещения, который составляют публичные государственные библиотеки или открытые для всех книгохранилища»²⁰. Это был первый случай в истории России, когда создание библиотеки началось с постройки для нее отдельного здания на пересечении Сенной (Садовой) улицы и Невского проспекта (ныне здание Российской национальной библиотеки). Средства для этого отпускались из казны.

По замыслу императрицы, библиотека должна была совместить в себе функции крупнейшего национального книгохранилища и общедоступного учреждения. Перед библиотекой впервые стояла задача создать полное собрание российских книг. Еще в процессе строительства, которое, конечно, затянулось, Екатерина озаботилась формированием книжного фонда и летом 1796 г. для новой библиотеки была доставлена из Польши книжная коллекция братьев Залуских. Императрица планировала со временем перевести из Эрмитажа в фонд Публичной библиотеки личные собрания Вольтера, Дидро,

¹⁸ <https://web.archive.org/web/20100820043242/http://www.nlr.ru/ar/staff/sop.htm>. Дата обращения: 28.02.2023.

¹⁹ Еще в 1766 г. Екатерине был подан «План Публичной Российской библиотеки в Санкт-Петербурге», составленный Б. М. Салтыковым и графом А. С. Строгановым: План Публичной библиотеки в С.-Петербурге, составленный в 1766 г. / сообщ. А. Лазаревский // Библиографические записки. 1861. Т. 3. № 3. Стб. 70–80.

²⁰ Антоновский М. И. Начертание Российско-императорской открытой библиотеки // Грин Ц. И, Третьяк А. М. Публичная библиотека глазами современников: (1795–1917): Хрестоматия. СПб., 1998. С. 44.

а также президента Петербургской Академии наук И. А. Корфа (в 1860 вся Эрмитажная библиотека была передана Публичной).

Административные перестановки при Павле I затормозили создание библиотеки, но вмешательство А. С. Строганова, в январе 1800 г. назначенного главным директором императорских библиотек, позволило довести дело до конца.

Говоря о библиотеках, нельзя обойти вниманием и значительные частные собрания. Среди членов императорской фамилии хорошей коллекцией книг, помимо уже упомянутых Петра I, Петра III и Екатерины II, обладала императрица Елизавета Петровна. Крупнейшие личные библиотеки принадлежали людям из близкого окружения Петра I – А. Д. Меншикову, Д. М. Голицыну, Я. В. Брюсу. Постепенно складывались семейные библиотеки Воронцовых, Куракиных, Шереметевых. Некоторые вельможи, например, П. Б. Шереметев и А. С. Строганов, устраивали в своих усадьбах открытые библиотеки, которые можно было посещать даже в отсутствие владельца. Нередко такие библиотеки совмещались с «кабинетом редкостей». Так, у П. Б. Шереметева в Кусково был такой кабинет, в котором, помимо других экспонатов, были помещены самые редкие и интересные издания, а кроме того, было отдельное помещение собственно библиотеки. Известны случаи, когда высокопоставленный чиновник, получив назначение возглавить вновь открывающееся учебное или научное учреждение, жертвовал для него свою библиотеку или ее часть: так поступил И. И. Шувалов, став президентом Академии художеств и Е. Р. Дашкова при создании Российской академии наук.

Личная библиотека постепенно становилась престижной, не случайно на портретах последней трети XVIII столетия она все чаще становится фоном. По той же причине появлялись и библиотеки-обманки, состоявшие только из книжных корешков.

С другой стороны, такой способ досуга, как посещение читален, особенно тех, которые больше похожи на клуб, где тут же обсуждается прочитанное, по-прежнему был мало распространен вплоть до начала XIX столетия. Библиотеки только входили в обиход читающей публики, которая и сама еще находилась на этапе формирования.

ПИСАТЕЛЬНИЦЫ XVIII ВЕКА

В России уже в XVIII в. появился интерес к литературному творчеству женщин. В своей «Опыт исторического словаря о российских писателях» (1772) Н. И. Новиков включил девять статей о писательницах, с похвалой отзываясь об их сочинениях. С XIX столетия стали появляться словари и справочные издания, посвященные женщинам-авторам и переводчицам, число которых быстро возрастало¹.

Еще в Древней Руси были женщины, в той или иной степени причастные к словесному искусству, владевшие не только русской грамотой, но и иностранными языками². Однако лишь со второй половины XVIII в. началось решительное вхождение женщин в литературный процесс. Происходило это с немалыми трудностями. Даже в дворянской среде, особенно провинциальной, не говоря уже о других сословиях, долго бытовало представление о том, что обучать необходимо лишь сыновей. Чудихина, одна из отрицательных героинь комедии Екатерины II «О время!» (1772), заявляет: «На что девку учить грамоте? Им ни к чему грамота не надобна: меньше девка знает, так меньше врет»³. Неграмотная Простакова из «Недоросля» (1782) Д. И. Фонвизина приходит в ярость, когда Софья сообщает ей о письме Стародума: «Вот до чего дожили. К деушкам письма пишут! Деушки грамоте умеют!»⁴.

Женщины не служили, имели гораздо меньше, чем мужчины, общественных связей. Но постепенно всё увеличивалось число образованных женщин, умеющих и любящих читать, посещавших театр и участвовавших в любительских спектаклях и,

¹ Наиболее значительными из них были «Библиографический словарь русских писательниц» (1889) Н. Н. Голицына и дополняющий его справочник «Наши писательницы» (1891) С. И. Пономарева, который полагал, что число женщин-авторов в России достигает едва ли не двух тысяч. В течение последних веков исследовательский интерес к творчеству русских писательниц прошлого постоянно развивался: выявлялись новые факты их биографии и творчества, их роль в общественной и культурной жизни страны. Многие результаты этих разысканий получили отражение в «Биографическом словаре русских писателей XVIII века» (Л. –СПб., 1988–2020. Вып. 1–3). Основные сведения о ряде писательниц XVIII в. вошли также в словарь «Dictionary of Russian Women writers» (London, 1994). Обзор новейших исследований по «женской литературе» XVIII – начала XIX вв. содержится в монографии М. Нестеренко «Проблемы женского творчества в России первой трети XIX в. Случай А. П. Буниной» (Тарту, 2021).

² См.: *Пушкарева Н. Л.* Женщины Древней Руси. М., 1989.

³ *Екатерина II.* Сочинения на основании подлинных рукописей и с объяснительными примечаниями А. Н. Пыпина. СПб., 1901. Т. 1. С. 37–38.

⁴ *Фонвизин Д. И.* Собр. соч. М., Л., 1959. Т. 1. С. 113.

наконец, пробовавших свои силы в литературе⁵. Развитию такой деятельности способствовало несколько обстоятельств.

Прежде всего, это изменения во всей культурной жизни страны, начиная с расширения печатного дела, появления русских литературных журналов, постоянно действующего русского театра, расширения международных культурных контактов. Некоторые говорили и писали по-французски лучше, чем на родном языке⁶. Но чем больше появлялось книг на русском языке, тем сильнее становилось стремление женщин пробовать свои силы в отечественной литературе. Многие из написанного ими оставалось неопубликованным, а некоторые произведения, воспоминания и письма попали в печать лишь в следующих столетиях⁷. Писательницам важно было преодолеть не только общественные предрассудки, но и неуверенность в своих возможностях, невольную робость перед судом критики. Для обращения женщин к словесности необходимы были дополнительные стимулы, прежде всего соответствующая литературная среда, непосредственное общение с лучшими русскими авторами того времени. А. П. Сумароков, М. М. Херасков, А. А. Ржевский с 1750–1760-х годов начали привлекать женщин к писательской деятельности, позднее это продолжили Г. Р. Державин и Н. М. Карамзин. Екатерина Александровна Княжнина, (1746–1797), дочь А. П. Сумарокова⁸, известна как одна из первых женщин, выступивших в печати со своими стихами. В журнале Сумарокова «Трудолюбивая пчела» в 1759 г. появилась «Элегия» за подписью «Катерина Сумарокова», другие публикации остались анонимными. Многие авторы и переводчики того времени не подписывали свои публикации или заменяли подпись псевдонимами. Женщины-писательницы чувствовали себя более неуверенно, чем мужчины, и чаще скрывали свое имя, авторство ряда их публикаций не установлено. Так, сохранились только упоминания об «изрядных» стихотворениях А. Ф. Ржевской (1740–1769), супруги поэта А. А. Ржевского, и ее не попавшем в печать романе «Кабардинские письма».

⁵ См.: Göpfert F. Russische Autorinnen von der Mitte bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Fichtenwalde, 2007. Т. 1: 1750–1780.

⁶ См.: Ржеуцкий В. Pro et contra: Идеал воспитания высшего дворянства в России (вторая половина XVIII – начало XIX века) // Идеал воспитания дворянства в Европе. М., 2018. С. 208–242; Offord D., Rjeoutski V., Argent G. The French Language in Russia: A Social, Cultural and Literary History. Amsterdam, 2018.

⁷ Женские мемуары XVIII века – особая тема, требующая специального рассмотрения. Многие из них, так же, как и письма, принадлежащие женщинам того времени, написаны по-французски. Исключение составляют замечательные и по своему содержанию и языку «Записки» Н. Б. Долгорукой (1714–1771), которые были опубликованы лишь в 1810 г.

⁸ См. о ней: Западов А. В. Княжнина Е. А. // Словарь русских писателей XVIII века. СПб., 1999. Вып. 2: К–П. С. 81–82.

Стихи супруги Хераскова Елизаветы Васильевны Херасковой (1737–1809)⁹ начали появляться в журнале «Полезное увеселение» (1760–1762) с подписью «Е. Х.», а затем и в других изданиях, но большей частью без подписи. Она пишет стансы, стоящие как бы вне жанровой системы и позволяющие свободно варьировать число слогов и стихотворный размер; удачно справляется с такой формой, как сонет («К чему желаешь ты, о смертный, долгий век?..»). Стремясь поощрить ее литературное творчество, Сумароков написал басню «Лисица и Статуя» с обращением «К Елисавете Васильевне Херасковой»:

Я ведаю, что ты парнасским духом дышишь,
Стихи ты пишешь.
Не возложил никто на женский разум уз.
Чтоб дамам не писать, в котором то законе?
Минерва – женщина, и вся беседа муз
Не пола мужеска на Геликоне.
Пиши! Не будешь тем ты меньше хороша,
В прекрасной быть должна прекрасна и душа.¹⁰

Позднее в «Оде анакреонтической» (1762), также обращенной к Херасковой, «стихотворице московской», Сумароков выражал надежду увидеть в ней «Сафу нову» и давал советы как собрату по перу:

Чувствуй точно, мысли ясно,
Пой ты просто и согласно.¹¹

Природа и нежная супружеская любовь – вот темы, которые поэт рекомендовал поэтессе, полагая, что она не станет «гласить победы» и воспевать героев. Это, действительно, во многом определило обращение большинства поэтесс прежде всего к таким камерным жанрам, как идиллия, эклога, элегия, песня. Но Хераскову привлекала и медитативная лирика, темы, связанные с творчеством ее мужа, видного масона: раздумья о сущности добродетели, нравственном совершенствовании, христианском смирении, неизбежности смерти. Гармонии, царящей в природе, противопоставлялась вечно мятущаяся человеческая душа с ее «желаньями тщетными»:

С покровом темным ночь спокойство пролиет,
Настанет тишина, умолкнет всё в природе;
Жизнь новую всему приятный сон дает;
Былинка каждая покоится в свободе.
Единый человек вздыхает и тогда;

⁹ См. о ней: *Степанов В. П.* Хераскова (урожд. Неронова) Е. В. // *Словарь русских писателей XVIII века.* СПб., 2010. Вып. 3: Р–Я. С.362–363.

¹⁰ *Полезное увеселение.* 1761. Май. № 19. С. 161.

¹¹ *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе. М., 1781. Ч. 2. С. 221.

Желанья тщетные тягчат его всегда.¹²

Н. И. Новиков сообщал, что Херасковой принадлежали «героиды, элегии, эклоги, анакреонтические оды и многие прозаические и стихотворные сочинения <...>. Слог ее чист, текущ, приятен и заключает в себе особливые красоты»¹³.

Значительную роль сыграла Хераскова в создании литературного кружка, куда входили члены семьи, ближние и дальние родственники, друзья. И. И. Дмитриев писал: «По справедливости можно назвать ее во всех отношениях достойною подругою поэта. Она облегчала его во всех заботах по хозяйству, была лучшим его советником по кабинетским занятиям и душою вечерних бесед в кругу их друзей и знакомцев»¹⁴. Из воспоминаний С. Н. Глинки известно также, что она начинала писать трагедию «Сумбека», оставшуюся незавершенной¹⁵.

В этом домашнем литературном кружке видное место принадлежало двоюродной сестре Хераскова Екатерине Сергеевне Урусовой (1747 – после 1818)¹⁶. В 1760-е гг. она выступала в печати еще анонимно. Новиков сообщал, что Урусова писала «прекрасные элегии, песни и другие мелкие стихотворения», хвалил ее за «чистоту слога, нежность и приятность изображения»¹⁷. Лишь в 1772 г. она осмелилась назвать свое имя, публикуя стихотворное «Письмо Петру Дмитриевичу Еропкину», организатору борьбы с эпидемией чумы в Москве в 1771 г. и подавления «чумного бунта». В этом стихотворении, написанном по образцам панегирической поэзии XVIII века, прославлялась и Екатерина II как главная избавительница от всех несчастий. Необычным, однако, был главный сюжет и изображение всеобщего ужаса перед страшной угрозой заразы:

Родители детей, жены мужей теряли,
Младенцы на руках отцовых умирали.
Друг другу помощь дать никто тогда не смел.
Коснуться ближнего опасность всяк имел.¹⁸

В 1774 г., Урусова переиздала это сочинение вместе со своей новой поэмой «Полион, или Просветившийся Нелюдим», сопроводив публикацию следующим

¹² Хераскова Е. В. Стансы // Аониды. 1796. Кн. 1. С. 7.

¹³ Новиков Н. И. Опыт исторического словаря о русских писателях // Новиков Н. И. Избр. соч. М.; Л., 1954. С. 360.

¹⁴ Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь // Дмитриев И. И. Соч. СПб., 1893. Т. 2. С. 56.

¹⁵ Глинка С. Н. Записки. М., 2004. С. 239.

¹⁶ См. о ней: Кочеткова Н. Д. Урусова Е. С. // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3. С. 296–299.

¹⁷ Новиков Н. И. Опыт исторического словаря о русских писателях. С. 358.

¹⁸ Письмо Петру Дмитриевичу Еропкину, сочиненное княжной Екатериной Урусовой в Москве. М., 1772. С. 4.

предисловием: «Никогда бы не отважилась я издать в свет сего моего творения, ежели бы руководство, советы и некоторые поправки одного известного в России сочинителя <М. М. Хераскова. – Н. К.> мне к тому не вспомоществовали. Я ласкаю себя надеждою, что мои читатели, уважая пол мой и первые мои опыты в роде сего песнословия, могут извинить находящиеся здесь погрешности, чем ободрят робкую Мусу мою к дальним упражнениям»¹⁹. Непривычным было не только само по себе выступление женщины в печати, но и обращение ее к новым жанрам и темам, требовавшим определенной филологической эрудиции: в поэме упоминались «божественный Омир» (Гомер), Пиндар, Анакреон, Вергилий, Овидий; спектакли, ставившиеся в то время в Петербурге, включая трагедию Вольтера «Заира» и др. По свидетельству М. Н. Макарова, «в Москве и Петербурге тотчас зашумели о таком необыкновенном труде женщины, обратившем на себя особенное внимание современных ей писателей и Екатерины»²⁰. Порицая сухую ученость («ложный ум») своего героя, поэтесса призывает учиться светскому обращению, наслаждаться природой и радостями любви.

Во вступлении к своему стихотворному сборнику «Ироида, Музам посвященные» (1777) Урусова писала о женской поэзии как о новом важном явлении в отечественной литературе:

...Начал воспевать у нас и женский пол:
Они ко нежностям во песнях прибегают
И добродетелям венцы приготавлиют.
С приятностью они веселости поют
И действие страстей почувствовать дают.²¹

В сочиненных ею «героидах» действующими лицами выступают и вымышленные ею персонажи, и героини трагедий, которые она, очевидно, видела на сцене. В рецензии на это издание упоминалась также поэма «Полион»: «Известно нам, что сия поэма давно уже снискала похвалу и уважение от наилучших наших стихотворцев: почему не сомневаемся мы, что и сии Ироида приобретут благосклонное внимание просвещенных читателей и сниснут справедливую похвалу за изрядство мыслей, чистоту стихов и приятность слога. Мы усердно желаем, чтоб и сия новая Де ла Сюза долговременными трудами своими

¹⁹ [Урусова Е. С.]. Полион, или Просветившийся Нелюдим. СПб., 1774. С. 3, нenum.

²⁰ Дамский журнал. 1830. Ч. 29. № 7. С. 98.

²¹ [Урусова Е. С.] Ироида, Музам посвященные СПб., 1777. С. 3–4.

сделала честь российским письменам и удостоверила бы французов, что холодный наш климат не препятствует равняться с лучшими их писателями»²².

Урсова продолжала с некоторыми интервалами свою литературную деятельность до 1810-х гг. Кроме ряда лирических стихотворений, связанных преимущественно с кругом ее дружеского общения, в 1790 г. она написала для домашнего театра пьесу «Волшебный куст», в которой нашли отражение некоторые масонские темы²³.

Начиная с 1769 г., пример выступления на литературном поприще в качестве публициста и драматурга стала подавать сама Екатерина II (1729–1796), существенно расширив круг жанров, к которым обращались женщины²⁴. Если с европейскими философами она вела переписку преимущественно на французском языке, то для своих подданных ей важно было писать по-русски, причем не только указы и другие документы, но и литературные сочинения, которые могли бы служить ее политическим целям. В 1767 г. на русском языке был издан «Наказ Комиссии о сочинении проекта нового уложения», который императрица писала по-французски, но затем делала вставки и вносила поправки в перевод, сделанный ее секретарем Г. В. Козицким²⁵. В «Наказе» были использованы и по-своему переосмыслены многие идеи из сочинений европейских философов и писателей, прежде всего из трактата Ш.-Л. Монтескье «О духе законов». Во время путешествия по Волге в 1767 г. императрица со своими ближайшими вельможами занималась переводом просветительского романа Ж.-Ф. Мармонтеля «Велизарий», в котором был создан образ идеального правителя²⁶. Она перевела одну из важнейших глав – девятую, о которой французский автор писал: «Государь должен заботиться более всего об одном союзе – союзе с народом своим: государь и народ нераздельны: связь их составляет силу государства; на ней основаны его величие, его спокойствие, его слава»²⁷.

²² Санктпетербургские ученые ведомости на 1777 год. Н. И. Новикова. Изд. 2-е А. Н. Неустроева. СПб., 1873. С.175–176. Де ла Суза – графиня Генриетта Де ла Суз (La Suze, comtesse de, 1618–1673) – французская поэтесса, автор элегий; большой известностью пользовался ее литературный салон.

²³ См.: *Кочеткова Н. Д.* Неизвестная пьеса Е. С. Урсовой // XVIII век. Сб. 30. (В печати).

²⁴ См.: *Степанов В. П.* Екатерина II // Словарь русских писателей XVIII века. Л., 1988. Вып. 1: А–И. С. 291–309.

²⁵ См.: *Наказ Комиссии о сочинении проекта нового уложения Екатерины II / Изд. подгот. Н. Ю. Плавинской.* М., 2018.

²⁶ Велизер, сочинения г. Мармонтеля, члена Французской академии, переведен на Волге. [М.], 1768 (переизд. 1773, 1785).

²⁷ Там же. С. 46–47.

Для формирования общественного мнения и воспитания своих подданных в желаемом ею направлении императрица обратилась и к собственно литературным жанрам. Как писательница она выступала в печати анонимно, но ее авторство не было секретом для читающей публики. В 1769 г. начал выходить негласно управляемый ею журнал «Всякая всячина», где она помещала многие собственные публикации в виде отдельных писем и заметок. К сотрудничеству был привлечен довольно широкий круг лиц²⁸, которые часто вели дискуссии на страницах издания. Всё это способствовало появлению целой группы периодических изданий 1769–1773 гг., из которых наиболее замечательными оказались сатирические журналы Новикова «Трутень» (1769–1770) и «Живописец» (1772–1773). Завязавшаяся между ними и «Всякой всячиной» полемика, нередко оказывалась довольно острой, особенно в вопросе о характере сатиры. Правительственный журнал ратовал за сатиру «улыбательную», не задевающую конкретных лиц и рассчитанную на «веселых» читателей, умеющих вести непринужденную светскую беседу, а не на «степенных», которые «уничтожают шутки»²⁹. Новиков же стремился придать критике более острый общественный характер, выдвигая принцип сатиры не на порок, а на «лицо». Вместе с тем, он всячески поддерживал насмешки «Всякой всячины» над невеждами, «петиметрами», теми, кто презирал всё, «что не во Франции делалось». Ему была близка и другая тема, присутствовавшая в журнале Екатерины: осуждение помещиков, злоупотреблявших своей властью над крепостными. Так, во «Всякой всячине» была помещена заметка о жестоком помещике, который «милостиво наказывает своих людей на конюшне плетью почти всякий день»³⁰.

Известная общность целей, стремление победить людские пороки и надежда на союзничество коронованного автора побудили Новикова посвятить свой журнал «Живописец» «Неизвестному г. сочинителю комедии “О, время!”», т. е. Екатерине II. «Вы первый, – говорилось в посвящении, – сочинили комедию точно в наших нравах, <...> вы первый с такою благородною смелостию напали на пороки, в России господствовавшие»³¹. Речь шла о пьесе императрицы, с большим успехом поставленной в придворном театре в 1772 г. За этой пьесой последовали комедии «Именины госпожи Ворчалкиной», «Госпожа Вестникова с семьею» и целый ряд других пьес. Императрица использовала опыт как европейских драматургов, так и прославившегося уже к тому

²⁸ См.: Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века. М.; Л., 1952. С. 227–228.

²⁹ Всякая всячина. 1769. № 123. С. 327.

³⁰ Там же. № 32. С. 89–90.

³¹ Новиков Н. И. Избр. соч. С. 94.

времени Д. И. Фонвизина, который в 1769 г. с огромным успехом читал свою комедию «Бригадир» при дворе. В пьесах Екатерины II были созданы сатирические портреты персонажей, олицетворявших невежество, ханжество, жадность, скупость, щегольство. Действующие лица имеют «говорящие» фамилии: Ханжахина, Вестникова, Чудихина. Положительный герой Непустов говорит о Ханжахиной, которая расшибает голову служанке молитвенником: «...Наполнена суеверием и пустосвятством, а притом и весьма зла»³². В пьесе воспроизводится разговорный язык провинциальных дворян, изобилующий просторечиями, поговорками и пословицами: «не прогневайся, пожалуй», «слово на вороту не виснет», «тянул бы ножки по одежке» и т. п. Екатерина-драматург, как и в публицистике, стремилась поддержать репутацию просвещенной монархини, понимающей своих подданных и заботящейся об их благе. Вместе с тем она последовательно защищала собственную политику, выставляя в смешном виде тех, кто выступал с неудобными ей общественными проектами. Таким представлен «купец-банкрот» Некопейков, нелепо рассуждающий о «благе общем» в комедии «Именины госпожи Ворчалкиной». Исследователи небезосновательно считают, что здесь высмеиваются законодательные проекты С. Е. Десницкого³³.

С начала 1780-х гг. перед императрицей продолжали возникать новые поводы для литературной деятельности. Если она поощрила Фонвизина как автора «Бригадира», то «Недоросль» встретил немало препятствий на пути к сцене, а при постановках из текста пьесы изымались те отрывки, в которых Стародум говорил о развращенных придворных нравах, о том, каким должен быть «истинно великий государь»³⁴. Екатерина стремилась продемонстрировать, что ее правление являет именно такой пример. В 1781 г. была издана «Сказка о царевиче Хлоре», написанная императрицей для ее внука Александра. В аллегорической форме здесь шла речь о поисках добродетели – «розы без шипов». Эта сказка стала поводом для создания Державиным знаменитой оды «Фелица», которая очень благосклонно была принята императрицей. Екатерине важно было направить общественное мнение в нужное ей русло, и для этого она вновь использовала журналистику. В 1783–1784 гг. по ее инициативе, при участии Е. Р. Дашковой, издается журнал «Собеседник любителей русского слова», первая часть которого открывалась одой Державина «Фелица». Стремясь объединить лучших отечественных писателей, издатели декларировали важное условие: предлагалось присылать только оригинальные русские сочинения. Здесь сотрудничали Богданович, Державин, Капнист, Княжнин,

³² *Екатерина II. Сочинения.* Т. 1. С. 7.

³³ См.: *Берков П. Н. История русской комедии XVIII в.* Л., 1977. С. 146–148.

³⁴ См.: Там же. С. 225–229.

Костров, Фонвизин, Херасков³⁵. Значительное место занимали собственные произведения самой императрицы, прежде всего «Записки касательно российской истории» (отд. изд.: СПб., 1787–1794. Ч. 1–6). Здесь всячески подчеркивалась древность русской государственности и значение единодержавной власти. В нескольких выпусках журнала печатались очерки Екатерины «Были и небылицы», где вновь предлагались образцы «улыбательной» сатиры от имени главного персонажа, «дедушки», который «любит смешить людей» и разделяет все книги на «скучные и нескучные». В это сочинение были вкраплены и полемические высказывания, в частности, направленные против тех, кто «имеет понятие о вещах, кои сорок лет назад имел»³⁶. Такие слова могли напомнить читателям о Стародуме из комедии Фонвизина. Императрица вступила и в непосредственную полемику с ним после появившихся в журнале его «Вопросов», касавшихся насущных общественно-политических тем. Согласившись на эту публикацию, императрица дала резкую отповедь «вопросителю», обвинив его в «свободоязычии».

Дальнейшая литературная деятельность императрицы тоже во многом была подчинена ее политическим целям. В 1780-е гг. она написала несколько пьес против масонства, которое активизировалось в это время в России, что беспокоило Екатерину из-за связей масонов с наследником престола Павлом Петровичем. Как драматург она усиленно стала разрабатывать темы, связанные с русской историей и фольклором: оперы «Новгородский богатырь Боеславич», «Храбрый и смелый витязь Ахридеич», драма «Из жизни Рюрика». Несмотря на вольное обращение с историческими фактами и искусственность фольклоризации, эти сочинения способствовали в какой-то степени развитию интереса русских писателей к народному творчеству³⁷. Императрица была знакома с драматическими произведениями Шекспира и по мотивам его пьесы «Виндзорские проказницы» написала комедию «Вот какво иметь корзину и бельё» (1786), справедливо определив ее как «вольное, но слабое переложение». Важен, однако, самый факт обращения к творчеству английского драматурга впервые после Сумарокова, автора трагедии «Гамлет». В своем «историческом представлении» «Начальное управление Олега, подражание Шакспиру...» (1788) Екатерина подкрепляла этим именем свой отказ от «сохранения театральных обыкновенных правил». Пьеса отличалась помпезными зрелищными сценами с музыкой, хорами на стихи Ломоносова и народными

³⁵ См.: *Ивинский А. Д.* Литературная политика Екатерины II: Журнал «Собеседник любителей русского слова». М., 2012.

³⁶ Собеседник любителей русского слова. 1783. Ч. 5. С. 140.

³⁷ См.: *Серман И. З.* Ипполит Богданович и официальная обработка фольклора в 1780-е годы // Русская литература и фольклор: (XI–XVIII вв.). Л., 1970. С. 306–325.

песнями. Финальное торжественное прославление мудрого правителя, встречаемого с почетом в Царьграде, напоминало зрителям о «греческом проекте» императрицы³⁸. Но, хотя все основные сочинения Екатерины были неразрывно связаны с общественно-политическими стратегиями, ее литературная деятельность стала важным явлением в процессе приобщения русских женщин к словесности.

Пример императрицы, несомненно, повлиял на ее ближайшую сподвижницу Екатерину Романовну Дашкову (урожд. Воронцова, 1743 или 1744–1810)³⁹. Прекрасно образованная, владевшая несколькими европейскими языками, она, как и Екатерина, много занималась литературным трудом. В основанном ею журнале «Невинное упражнение» (1763) и в «Опыте трудов Вольного Российского собрания при Московском университете» (1772–1774) Дашкова печатала свои переводы сочинений Вольтера, К.-А. Гельвеция, П.-А. Гольбаха. Здесь же было опубликовано «Путешествие одной российской знатной госпожи по некоторым аглинским провинциям», написанное Дашковой по впечатлениям поездки в Европу в 1769–1772 гг. – «первое сообщение такого рода в русской печати»⁴⁰. Все это, так же, как и ее ранние стихи, о которых упоминал Новиков, появлялось в печати без подписи.

Весьма вероятно, что именно Дашкова была автором книги «Разные повествования, сочиненные некоторою россиянкою», изданной Новиковым в 1779 г. Книга содержит четыре небольших повести, интересных своей публицистической направленностью. Так, повесть «Гармора» связана с традициями социальных утопий. Речь идет о жителях некоего острова, которые «никому не подвластны и в самом своем обществе начальника не имеют; равенство, между ими наблюдаемое, соделывает их счастливыми»⁴¹. В повести «Звезда на лбу, или Знак добрых дел» представлен образ порочного и тщеславного правителя. Добродетельный министр стремится «отлучить сына своего от двора»⁴² и отправляет его путешествовать по Европе. Этот сюжет находит соответствие в биографии Дашковой, у которой в то время серьезно осложнились

³⁸ См.: Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2001. С. 31–45.

³⁹ Литературная деятельность Дашковой наиболее полно представлена в кн.: Дашкова Е. Р. О смысле слова «воспитание». Сочинения. Письма. Документы / Сост., вступ. статья, примеч. Г. И. Смагиной. СПб., 2001.

⁴⁰ Кросс Э. Г. Поездки княгини Е. Р. Дашковой в Великобританию (1770 и 1776–1780 гг.) и ее «Небольшое путешествие в горную Шотландию» (1777) // XVIII век. СПб., 1995. Сб. 19. С. 223–238.

⁴¹ Разные повествования, сочиненные некоторою россиянкою. М., 1779. С. 35.

⁴² Там же. С. 103.

контакты с императрицей⁴³. В 1782 г., по возвращении Дашковой после нового длительного путешествия вместе с сыном по Европе⁴⁴, ее отношения с Екатериной II временно снова налаживаются. В 1783 г. Дашкова назначается директором Академии наук и президентом Российской академии, принимает деятельное участие в издании «Собеседника любителей русского слова». Беря на себя руководящую роль, она предлагает желающим выступать в журнале, сама публикует здесь ряд моралистических и сатирических сочинений в прозе и стихах. Восхваляя императрицу и лестно отзываясь о «веселой кисти автора “Былей и Небылиц”»⁴⁵, Дашкова в некоторых вопросах занимает независимую позицию, сближавшую ее с Фонвизиным, который высмеивал «шутов и балагуров» при дворе. В «Послании к слову *так*» она решительно порицает не только сервилизм придворных льстецов, но и тех, кто оказывался податлив на лесть:

Кто любит *таканье* и слушает льстеца,
Тот хуже всякого бывает подлеца.⁴⁶

Стремясь «возвеличить русское слово», Дашкова много внимания и сил уделяет подготовке «Словаря Академии Российской» (1789–1794), привлекая для участия в нем известных авторов. По ее инициативе при Академии наук начал выходить журнал «Новые ежемесячные сочинения» (1786–1796), одновременно она руководила периодическим изданием «Российский феатр» (1786–1794), в котором печатались тексты пьес. В ее собственной комедии «Гоисиоков, человек бесхарактерный» (1786), написанной по заказу императрицы для Эрмитажного театра, варьировались многие темы, затронутые самой Екатериной II. Несмотря на часто возникавшие между ними разногласия, их творчество имеет немало общего и занимает особое место в истории русской «женской» литературы. Они обе выступали не только как авторы, но и как организаторы литературного процесса, обращались к публицистике, сатире и драматургии, избирая темы, связанные с насущными общественно-политическими вопросами. Каждая из них стремилась рассказать о себе будущим поколениям в мемуарах. «Записки» Екатерины II так же, как и «Записки» Дашковой, не публиковались при жизни⁴⁷. Их опыт выступления

⁴³ См.: Кочеткова Н. Д. Об авторстве книги «Разные повествования, сочиненные некоторою россиянкою» // Русская литература. 2014. № 4. С. 127–135.

⁴⁴ См.: Тычинина Л. В., Бессарабова Н. В. «... Она была рождена для больших дел»: Летопись жизни княгини Е. Р. Дашковой. М., 2009. С. 105.

⁴⁵ Собеседник любителей русского слова. 1783. Ч. 3. С. 153.

⁴⁶ Дашкова Е. Р. О смысле слова «воспитание». С. 140.

⁴⁷ См.: Дмитриев С. С., Веселая Г. А. Записки княгини Дашковой и письма сестер Вильмот из России // Дашкова Е. Р. Записки. Письма сестер Вильмот из России. М., 1987. С. 5–32; Вачева А. Потомству – Екатерина II: Идеи и нарративные стратегии в автобиографии императрицы. София, 2015.

в качестве меценатов был продолжен и некоторыми другими женщинами, о чем свидетельствуют книжные дедикации в ряде изданий второй половины XVIII века. Появились посвящения, адресованные «прекрасному полу», а также женщинам, близким автору: матери, жене, возлюбленной⁴⁸.

Характерно, однако, что как Екатерина II, так и Дашкова оказались в стороне от тех новых веяний, которые принесла с собой литература сентиментализма. Между тем, именно эти веяния, начавшие проявляться в русской культуре еще с 1770-х гг., в 1780–1810-е гг. стали привлекать к творчеству всё новых и новых писательниц. Они охотно принимали участие в таких журналах, как «Вечера» (1772), «Чтение для вкуса, разума и чувствований» (1791–1793), «Приятное и полезное препровождение времени» (1794–1798), «Аониды» (1796–1799), «Иппокрена, или Утехи любословия» (1799). Писательницы все еще сравнительно редко ставили под публикацией свое полное имя, чаще они по-прежнему пользовались псевдонимами или печатались анонимно. Тем не менее, известны десятки имен представительниц прекрасного пола, выступавших в печати в последние десятилетия XVIII – начале XIX в.⁴⁹. Среди них А. И. и П. И. Вельяшевы-Волынцевы, Е. И. Воейкова, Е. П. Демидова, А. С. Жукова, А. Л. и Н. Л. Магницкие, Е. Масалова, А. П. Мурзина, Е. К. Нилова, М. Г. Орлова, Е. П. Свиньина, Н. И. Старова, М. В. Сушкова, В. А. Трубецкая, А. П. Хвостова и др. Они писали преимущественно лирические стихи, иногда басни, прозаические этюды. Мир галантной культуры соединялся в их творчестве с темами европейского и отечественного сентиментализма. Они нередко находили удачные пути для выражения оттенков чувств, внося свой посильный вклад в развитие нового литературного направления, в создание новых языковых средств. Характерны самые названия ряда стихотворений и прозаических отрывков: «Любезное уединение», «Прогулка», «Сугубое благодеяние» «Портрет моей благодетельницы» (Е. П. Свиньина), «На смерть жаворонка», «Амур перед зеркалом» (А. Л. Магницкая), «Красота и скромность» (Н. Л. Магницкая) и т. п. Одним из первых русских образцов сентиментальной прозы явилась небольшая повесть Н. А. Нееловой «Лейнард и Термилия, или Злосчастная судьба двух любовников» (1784).

Произведения Державина и Карамзина, появлявшиеся в печати в 1780–1790-е гг., нередко вдохновляли писательниц на создание собственных произведений. Так, откликом

⁴⁸ См.: *Кочеткова Н. Д.* Посвящения в русских изданиях XVIII века. Исследование. Тексты. Библиографический указатель. М.; СПб., 2020. С. 168–195.

⁴⁹ См.: *Голицын Н. Н.* Библиографический словарь русских писательниц. СПб., 1889; Предстательницы Муз: Русские поэтессы XVIII века / Сост. Ф. Гёпферт и М. Файнштейн. Wilhelmshorst, 1998.

на знаменитую оду Державина «Фелица» стало стихотворение М. В. Сушковой «Письмо китайца к татарскому мурзе, живущему по делам своим в Петербурге»⁵⁰. В прозаическом этюде Е. П. Свиньиной «Переславское озеро» упоминалось о картинах Швейцарии, «так живо описанных» в «Письмах русского путешественника» Карамзина, и много внимания уделялось пейзажу, рассказывалось о селе, где хранился ботик Петра I⁵¹. Редактор журнала В. С. Подшивалов, всячески поощрявший творчество Свиньиной, писал, публикуя это произведение: «...заря дарований в молодой и почтенной сочинительнице, как нам кажется, предвещает необманчиво прекрасный день»⁵². Своими ранними выступлениями в печати большую литературную известность приобрела племянница Хераскова А. П. Хвостова (1767–1830) – автор прозаических этюдов «Камин. Отрывок» (1795) и «Ручеек» (1796), многократно переиздававшихся и пленявших читателей меланхолическими размышлениями, пейзажными зарисовками и «неизъяснимой во всем приятностью»⁵³. Позднее писательница обратилась к мистике под влиянием масона А. Ф. Лабзина⁵⁴.

Важным событием в истории «женской» литературы стало появление авторских сборников. Первой писательницей, издавшей две книги своих произведений, стала Мария Алексеевна Поспелова (1780–1805)⁵⁵, ранее печатавшая свои сочинения в периодике, а также издававшая отдельно оды и стихи на торжественные события. В ее сборники «Лучшие часы жизни моей» (Владимир, 1798) и «Некоторые черты природы и истины, или Оттенки мыслей и чувств моих» (М., 1801) вошли лирические стихи и прозаические этюды, в которых явственно отразилась ее незаурядная личность и несомненный художественный дар. Это и «Гимн Всемогущему», написанный не без влияния оды Державина «Бог», и пейзажная лирика («Уединение», «Майское утро», «Весна»). В этих стихах явственно заметны не только мотивы, традиционные для поэзии сентиментализма, но и свой особый взгляд на окружающий мир. Это не отстраненное описание прекрасной

⁵⁰ Собеседник любителей российского слова. 1783. Ч. 5. С. 3–8. Сопроводительное письмо к издателям имело подпись: «покорная служница М. С.»

⁵¹ Приятное и полезное препровождение времени. 1795. Ч. 7. С. 385–391; подпись: «К... С...».

⁵² Там же. С. 385.

⁵³ Там же. Ч. 6. С. 68 (издательское примечание В. С. Подшивалова, сопровождавшее публикацию сочинения Хвостовой «Камин. Отрывок»).

⁵⁴ См.: Костин А. А. Хвостова А. П. // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3. С. 335–339.

⁵⁵ См.: Левин Ю. Д. Поспелова М. А. // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 2. С. 483–484.

природы, но стремление выразить свое единение с ней, восхищение целящей силой ее красоты:

Что я? Что в сии минуты
Ангел или человек?
Горестъ жизни, бедства люты,
Кои зрела я в свой век,
Всё исчезло, всё забыто,
Сердце вмиг исцелено.⁵⁶

Публикации Пospelовой обратили на себя внимание Хераскова, Державина, Карамзина. Если бы не ее преждевременная кончина, талант писательницы мог бы развиваться в последующие десятилетия, отмеченные еще более интенсивным участием женщин в литературной жизни. Почти одновременно с книгами Пospelовой появился сборник А. П. Мурзиной «Распускающаяся роза, или Разные сочинения в прозе и стихах» (М., 1799).⁵⁷

Значительный вклад в развитие отечественной культуры конца XVIII – начала XIX в. внесли переводчицы⁵⁸. Источниками их переводов были в основном произведения европейских авторов XVII–XVIII вв., преимущественно французских, но также немецких и английских.

Нередко эти труды были результатом учебных занятий, слог юных переводчиц часто был далек от совершенства, но их опыты входили в общий литературный процесс, постепенно включая в него все новых и новых женщин. В 1764 г. появился перевод книги М.-А. Гомес Пуассон «О графе Оксфордском и о миладии Гербии», выполненный А. И. Вельяшевой-Волинцевой и опубликованный по заказу ее отца. В предисловии переводчица просила извинить «неисправности» представленного читателям труда, учитывая ее девятилетний (!) возраст. Это было первым выступлением в печати русской переводчицы, взявшей за перевод сочинения такого значительного объема. Она

⁵⁶ Предстательницы муз. С. 84.

⁵⁷ См.: Ларионов О. Аллегии, гендер и религия в «Распускающейся розе» А. П. Мурзиной // Текстология и историко-литературный процесс. М., 2022. Вып. 9–10. С. 5–20.

⁵⁸ См.: «Мы благодарны любезной сочинительнице...»: Проза и переводы русских писательниц конца XVIII в. / Сост. Ф. Гёпферт и М. Файнштейн. Fichtenwalde, 1999 (FrauenLiteraturGeschichte. Bd 11); *Rosslin W. Feats of Agreeable Usefulness: Translations by Russian Women: 1763–1825.* Fichtenwalde, 2000 (FrauenLiteraturGeschichte. Bd 13). В ценной антологии Ф. Гёпферта и М. Файнштейна допущена одна неточность: литературные труды Е. П. Свиньиной приписаны здесь Н. И. Старовой. См. также: История русской переводной художественной литературы: Древняя Русь. XVIII век / Отв. ред. Ю. Д. Левин. СПб., 1995–1996. Т. 1–2; Демидова О. Р. Российские переводчицы XVIII века и история русской женской литературы // Филологические науки. 2017. № 1. С. 50–61.

продолжила свой опыт в последующие годы: в ее переводе в 1766–1767 гг. появилась книга Т.-С. Гёллета «Тысяча и один час, сказки перуанские», а в 1770 г. – «История Бранденбургская» Фридриха II. В посвящении книги Екатерине II, переводчица писала: «Не презри, великая императрица, воззреть на слабый сей труд и тем учини величайшее в жизни благополучие»⁵⁹. Государыня приблизила ко двору Вельяшеву-Волынцеву и даже написала об этом переводе Д. Дидро⁶⁰.

Постепенно появлялись писательницы, обладавшие несомненным литературным даром. Большой известностью пользовались переводы Марии Васильевны Сушковой (урожд. Храповицкой, 1752–1803)⁶¹. Еще в начале 1770-х гг. Новиков сообщал, что она сочиняла эпистолы, элегии, переводила «разные пиесы» стихами и прозой, что «ее слог приятен, нежен и тверд»⁶². Одним из ее ранних трудов был стихотворный перевод идиллий А. Дезульер (1772). Особой заслугой Сушковой стал перевод на французский язык поэмы Хераскова «Чесмесский бой» (1772) вместе с его «Рассуждением о российском стихотворстве», русский текст которого не сохранился. Появившийся в переводе Сушковой роман Ж. Ф. Мармонтеля «Инки, или Разрушение Перуанской империи» (М., 1778. Ч. 1–2), повествовавший о жестокостях завоевателей Америки по отношению к коренным жителям, вызвал большой интерес и многократно переиздавался, причем уже в первом издании было названо имя переводчицы. Сушкова переводила не только повести и пьесы французских писателей (Л.-С. Мерсье, М.-Ж. Седена и др.), но и произведения английских авторов (через французское посредство): Дж. Мильтона и Э. Юнга.

С 1763 по 1825 г. было опубликовано более 120 переводов, осуществленных женщинами⁶³. Большинство из них были связаны с московскими или петербургскими литературными кругами. Так, благодаря Новикову увидели свет переводы французских пьес, осуществленные П. И. Вельяшовой-Волынцевой. В Петербурге были изданы «Духовные песни и оды» Х. Ф. Геллерта в прозаическом переводе Е. П. Демидовой (1782; 2-е изд. 1785), а затем подготовленный ею сборник «Время, непраздно препровожденное...» (1787), включавший преимущественно переводы нравоучительных повестей. Многие переводчицы помещают свои труды в московских периодических изданиях. В «Приятном и полезном препровождении времени» (1794–1798) публикуется

⁵⁹ *Фридрих II. История бранденбургская...* М., 1770. С. 6, нenum.

⁶⁰ См.: *Rosslin W. Feats of Agreeable Usefulness*. P. 39–42.

⁶¹ См.: *Заборов П. Р. Сушкова М. В. // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3. С. 210–211.*

⁶² *Новиков Н. И. Избр. соч. С. 360.*

⁶³ См.: *Rosslin W. Feats of Agreeable Usefulness*. P. 33.

«союзный» перевод сочинения Ш.-М. Дю Пати «Письма об Италии», предпринятый М. А. Боске (урожд. Шлиттер), сестрами А. Л. и Н. Л. Магницкими, Е. В. Щербатовой.

Вместе с тем, и в провинции появлялись условия для привлечения женщин к переводческой деятельности. Когда в 1786–1787 гг. Державин был в Тамбове губернатором, он поощрял литературные занятия Е. К. Ниловой и М. Г. Орловой, их участие в театральные постановках. Еще в 1782 г. Новиков издал переведенную Ниловой с французского языка книгу английского автора Д. Гарви «Надгробные размышления» (1782), проникнутую преромантическими мотивами. Затем в Тамбове были напечатаны два переведенных ею нравоучительных французских романа. Орлова осуществила перевод французской переделки эпистолярного романа С. Ганнинг «Аббатство, или Замок Барфордский» (Тамбов, 1788. Ч. 1–2.), состоящего из писем «чувствительных» героев. В 1790 г. В. В. Голицына (1752–1815) издала в Тамбове свой перевод романа Б. Эмбера «Заблуждения от любви, или Письма от Фанелии и Мильфорта». Посвящая книгу своему мужу, С. Ф. Голицыну, она стремились подчеркнуть нравоучительный смысл предпринятого ею труда: «... я уверена, сколь для тебя лестно бывает, когда я занимаюсь чем-нибудь полезным и к просвещению ведущим»⁶⁴. Чтение «Недоросля», возможно, повлияло на решение Н. П. Никифоровой выбрать для перевода книгу Ф. Фенелона «О воспитании девиц», которую с похвалой упоминал Стародум, и этот перевод был напечатан в 1794 г. в Тамбове.

Постепенно литературная деятельность женщин обретала общественное признание: писательницы чувствовали себя увереннее, смелее называли в печати своё имя. Всё шире становился жанровый диапазон их сочинений и переводов, совершенствовался стиль. При создании «Беседы любителей русского слова» ее почетными членами стали три женщины: Урусова, А. П. Бунина (1774–1829)⁶⁵ и А. А. Волкова (1781–1834)⁶⁶. В «Стихах к “Беседе любителей русского слова”» (1811), Волкова с гордостью писала:

...здесь пииты дозволяют
Нам также действовать пером...⁶⁷

⁶⁴ [Эмбер Б.]. Заблуждения от любви, или Письма от Фанелии и Мильфорта / Пер. с фр. [В. В. Голицыной]. Тамбов, 1790. Ч. 1. С. 5, нenum.

⁶⁵ См.: *Бабореко А. К.* А. П. Бунина // Русские писатели: 1800–1917: Биографический словарь. М., 1989. Т. 1: А–Г. С. 362–363; *Rosslin W.* Anna Bunina (1774–1829) and the Origins of Women’s Poetry in Russia. Lewiston; New York, 1997.

⁶⁶ См. о ней: *Зорин А. Л.* Волкова А. А. // Русские писатели: 1800–1917. Т. 1: А–Г. С. 467–468.

⁶⁷ Чтение в Беседе любителей русского слова. 1811. Ч. 1. С. 82.

РЕЦЕПЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЭПОХУ ЗОЛОТОГО ВЕКА

Для русских литераторов Золотого века совершенно естественным было стремление учиться, брать то, что представлялось лучшим, за образцы. Уже на склоне лет Жуковский напишет Гоголю (письмо от 6/18 февраля 1847 г.): «У меня почти все или чужое, или по поводу чужого – и однако же все мое»¹. В этом во многом сказывалась одна из важнейших установок классицистической словесности – соревнование с древними: П. Корнель, Ж. Расин, Ж. де Лафонтен и др. не скрывали свои источники, так как ценность произведений повышалась при сравнении с образцом. В начале века эта потребность заимствования проистекает еще из сомнения в том, существует ли русская литература вообще. В своей речи «О русской литературе» (1801) Андрей Тургенев с горечью заметил: «Есть литература французская, немецкая, аглинская, но есть ли русская?». Важно, чтобы «явились свои Расины, свои Вольтеры и Малербы»². Характерная примета эпохи – соотнесение русского автора с западным авторитетом. Так, В. А. Жуковский устойчиво ассоциировался с Шиллером, К. Н. Батюшков — с Парни, А. С. Пушкин — с Байроном и В. Скоттом, русским Байроном называли И. И. Козлова, А. А. Бестужев-Марлинский «рифмовался» с Бальзаком, ранний Гоголь — с В. Скоттом и Поль де Коком, позже В. Ф. Одоевский и А. Погорельский — с Э. Гофманом и Л. Тиком и т. д.

Среди европейских литератур, оказавших влияние на русскую — английской, немецкой, итальянской — французская занимает особое место: она не была «только совокупностью произведений, в той или иной мере достойных внимания, изучения и подражания»³, она была тем контекстом, в котором росло, воспитывалось и развивалось поколение авторов Золотого века русской словесности. «Ум мой был воспитан и образован во французской школе. Я учился и другим иностранным языкам, занимался по временам немецкою, английскою, италянскою литературою, но все это были более или менее случайные знакомства. Связь моя укрепилась с одною французскою литературою...», — писал П. А. Вяземский, охарактеризовав собственное творчество как «русский ключ,

¹ Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М.; Л., 1960. С. 544 (письмо к Н. В. Гоголю от 6 (18) февраля 1847 г.).

² Тургенев А. И. <Речь о русской литературе> // Литературная критика 1800—1820х годов / Сост. Л. Г. Фризман. М., 1980. С. 44, 45.

³ Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960. С. 62.

который пробивался из-под французской насыпи»⁴. «Седьмойнадесятый век есть торжество французской словесности», – читаем мы в карамзинском «Вестнике Европы» за 1802 г.⁵. С. Н. Бегичев писал: «Из иностранной литературы я знал только французскую, и в творениях Корнеля, Расина и Мольера я видел верх совершенства»⁶. Подобным свидетельствам торжества классической французской словесности в России несть числа. При этом французская традиция сказалась не только в литературном процессе. Она проявлялась в читательской рецепции и на бытовом уровне. Дамские и девичьи альбомы наполнялись выписками из французских авторов⁷.

Настольной книгой и основным пособием по истории французской литературы в России как минимум первых двух десятилетий XIX в. служило многотомное издание лекций по античной литературе и литературе Франции XVII–XVIII вв. Жан-Франсуа де Лагарпа (La Harpe; 1739–1803) «Лицей, или Курс древней и новой литературы» («Lycée, ou Cours de littérature ancienne et moderne», 1799–1803). Именно по нему изучалась история французской литературы в Царскосельском лицее, и лицеист Пушкин, порой критически оценивая признанный авторитет, считался с его мнением: «Хоть страшно стихоткачу / Лагарпа видеть вкус, / Но часто, признаюсь, / Над ним я время трачу»⁸. Сохранился конспект Жуковского первой главы тома I «Лицея» – 14 параграфов, в том числе параграф о происхождении поэзии, параграф о комедии, о трагедии, об «украшениях слова», о басне⁹.

⁴ *Вяземский П. А.* Литературные критические и биографические очерки. Автобиографическое введение // Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1878. Т. 1. С. LVIII.

⁵ О просвещении // Вестник Европы». 1802. Ч. 1, № 1. С. 41.

⁶ *Бегичев С. Н.* Записка об А. С. Грибоедове // А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 25.

⁷ См.: *Вацуро В. Э.* Литературные альбомы в собрании Пушкинского Дома // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 3–56. Здесь описаны литературные альбомы и альбомы литераторов, но приводятся и примеры из «массовых альбомов», где имеются французские выписки из Ф. де Жанлис, Ж. Ф. Мармонтеля, Ж. де Сталь, Ж. Расина (с. 50).

⁸ *Пушкин А. С.* Городок // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 1999. Т. 1. С. 90. По пушкинскому стихотворению «Городок» (1815) вообще можно судить о том, что входило в литературный канон того времени. Возможно «Лицей» Лагарпа именно как «учебное пособие» вызывал у лицеистов критическое отношение: в юмористическом по содержанию лицейском журнале «Лицейский мудрец» (1815) в разделе «Критика» не без сарказма говорится: «Надо бы поговорить о пользе критики: доказать, что Лагарп был самый величайший гений в наши времена. Но <...>» (*Грот К. Я.* Пушкинский лицей. СПб., 1998. С. 330). Позже и юный М. Ю. Лермонтов скучал над текстом Лагарпа: «Я не окончил, потому что окончить не было сил», написал он прервав конспект стихотворения Лагарпа (цит. по: *Федоров А. В.* Лермонтов и литература его времени. Л., 1967. С. 337). Правда, в дальнейшем Лермонтов взял из Лагарпа эпиграф к поэме «Корсар» (1828).

⁹ См.: *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 2012. Т. 12. С. 25–175; 457–467, примеч. О. Б. Лебедевой и А. С. Янущкевича.

В издании «Лицея», имевшемся у него в библиотеке, Жуковский оставил многочисленные пометы и записи, в которых он полемизирует с Лагарпом¹⁰, но из которых видно, насколько его взгляды (например, на французскую драму) во многом совпадали с лагарповыми суждениями.

Лагарп, поэт, драматург и теоретик литературы, стремился в своем «Лицее» канонизировать прежде всего нормы французского классицизма XVII–XVIII вв. Как писал о нем позже С. П. Шевырев, «Лагарп применил национальную (французско-классическую) теорию вкуса ко всем произведениям поэзии Франции и на этом основании отдал преимущество своей нации перед древними»¹¹. Отведя в своем курсе лекций первостепенное место французской драме, великими трагическими авторами он называет Корнеля, Расина и Вольтера. «...посредственный трагик, – заметит о Лагарпе Жуковский, – но кому лучше его известна теория драматического искусства? И его примечания на трагедии Расина и Вольтера не лучше ли несравненно тех примечаний, которые великий Корнель, сей превосходный трагик, написал на собственные свои трагедии?»¹².

Лагарпова триада Корнель — Расин — Вольтер прочно входит в круг чтения русских литераторов первой трети XIX в. Герои Пьера Корнеля (Corneille, 1606–1648) с их обостренным чувством долга и самоотверженной добродетелью оказались созвучны преддекабристским настроениям и стремлениям поэтов-декабристов «воплотить высокий героический идеал человека»¹³. Трагедии Корнеля переводил П. А. Катенин. «Там наш Катенин воскресил / Корнеля гений величавый», – писал Пушкин о переводе самой его знаменитой трагедии «Сид» («Le Cid», пост. 1636/1637), сделанном в 1822 г.¹⁴. Лагарп, сравнивая творчество Корнеля и Расина (Racine, 1639–1699) и отдавая должное обоим («возвышенное воображение» Корнеля – писал он, способствовало «возвышению души»¹⁵), находил, что характерное для Расина развитие темы любви делает его трагедию

¹⁰ Подробнее см.: *Лебедева О. Б.* Место «Лицея» Лагарпа в эстетическом образовании В. А. Жуковского // Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Томск, 1984. Ч. 2. С. 75–96.

¹¹ *Шевырев С. П.* Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов. СПб., 1887. С. 276.

¹² *Жуковский В. А.* О критике (письмо к издателю «Вестника Европы») // Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 12. С. 251.

¹³ *Семенко И. М.* Поэты пушкинской поры. М., 1970. С. 155.

¹⁴ *Пушкин А. С.* Евгений Онегин // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1937. Т. 6. С. 12.

¹⁵ *Laharpe J. F.* Lycée, ou Cours de littérature ancienne et moderne. Paris, [s. a.] Т. 5. P. 227.

эмоционально более сильной¹⁶. Русские литераторы в целом тоже отдавали предпочтение Жану Расину. Его философско-этический пафос, тонкий психологизм, ясность построения и стилистическая безупречность увлекали читателя и зрителя. «Корнель удивляет высокостию мыслей и чувств, – писал Жуковский, – но удивление, действуя на один только рассудок, именно потому не может оставить глубокого следа на сердце <...> Расин трогает до глубины души»¹⁷. П. А. Вяземский сопоставлял «мужественный голос» Корнеля и «чувствительную душу» Расина¹⁸. Василий Львович Пушкин, «коренной классик», как сказал о нем племянник¹⁹, «в восемнадцать лет на званых вечерах читал длинные тирады из трагедий Расина»²⁰. Особым успехом из расиновых драм пользовалась «Андромаха» («Andromaque», пост. 1667). Переведенная в самом начале 1790-х гг. Д. И. Хвостовым, в переделанном варианте перевода она была поставлена в 1810 г. на петербургской сцене и имела шумный успех, в том числе и благодаря игре Е. С. Семеновы в роли Гермионы. «“Андромаха“ переведена весьма близко и всегда останется украшением нашего театра», – писал критик²¹. В 1820-е гг. «Андромаху» переводил Н. И. Гнедич²².

Среди российских драматургов убежденными приверженцами традиций классицизма, вдохновлявшимися в основном пьесами Расина, были Н. А. Грузинцев, С. Н. Глинка и, конечно же, В. А. Озеров, драматические сочинения которого оценивались современниками в сопоставлении с классическими французскими образцами. «Явился Озеров – и Мельпомена приняла владычество над душами. Мы услышали голос ее, повелевающий сердцу, играющий чувствами, сей голос – столь красноречивый в Расине и Вольтере», – писал Вяземский²³. П. А. Катенин, автор перевода Корнелева «Сида» (1822), переводивший также и драмы Расина («Эсфирь» («Esther», 1689), «Баязет» («Bajazet», 1672))²⁴, свою единственную оригинальную трагедию «Андромаха» (начало работы 1809,

¹⁶ Лагарп писал, что Расину свойственны «живое воображение», «чувствительная восприимчивость», «тончайшее чувство гармонии» («Ibid. P. 229, 230).

¹⁷ Жуковский В. А. Девица Жорж в Вольтеровой «Семирамиде» // Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 12. С. 279.

¹⁸ Вяземский П. А. О жизни и сочинениях В. А. Озерова // Вяземский П. А. Соч.: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 30.

¹⁹ Пушкин А. С. Материалы к Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 11. С. 59.

²⁰ Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 1. С. 132.

²¹ Цветник. 1810. Ч. 7. № 9. С. 423–424.

²² См. письмо Пушкина к нему от 4 декабря 1820 г. (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1937. Т. 13. С. 20).

²³ Вяземский П. А. О жизни и сочинениях В. А. Озерова. С. 19.

²⁴ См. о них: Заборов П. Р. Французская литература в русских переводах: Драма // История русской переводной художественной литературы 1800–1825 гг.: Очерки. СПб., 2022. С. 130–132.

пост. 1827), которую Пушкин назвал «лучшим произведением нашей Мельпомены по силе чувств, по духу истинно трагическому»²⁵, пишет, следуя классическим правилам.

При явно неоднозначном отношении Пушкина к творчеству Расина, оно несомненно оценивалось русским поэтом как одна из вершин трагического жанра. Работая над «Борисом Годуновым» (1825) и критически оценивая догмы французской драматургии, противопоставляя систему Шекспира Расиновой, он не отрицает «величие» последнего, отмечая свойственные его стихам «смысл, точность и гармонию»²⁶.

Особое внимание Лагарп уделял Вольтеру (Voltaire, 1694—1778), полагая, что именно он сумел найти равновесие в развитии любовной интриги в трагедии, преемствуя достижениям Корнеля и в особенности Расина. В трагедии «Заира» («Zaïre», пост. 1732) Вольтер, писал Лагарп, рисует прекрасную любящую пару, а затем изображает страдания и беды, приносимые любовью, – и это потрясает зрителя. В России вслед за Лагарпом, а возможно, и вполне самостоятельно, Корнелю часто противопоставляли не одного Расина, а Расина в паре с Вольтером, который родился на 55 лет позже, но воспринимался в одном с ним ряду, – при том, что сам Вольтер, преклонявшийся, как и Лагарп, перед культурой XVIII в., считал, что ни современные ему авторы, ни их потомки не смогут превзойти образцы, созданные в предыдущем столетии²⁷. Вяземский слышал в драматургии Озерова голос Расина и Вольтера. Жуковский же находил, что в плане воздействия на зрителя Вольтер превосходит и Корнеля, и Расина: «Вольтер <...> достигает до сердца с помощью воображения: покорив нас силою...», «...мы окружены какою-то страшною таинственностью, и ожидание сверхъестественного производит непроизвольный трепет в сердце...»²⁸. Увидев в 1809 г. в Москве «Семирамиду» («Sémiramis», пост. 1748) в исполнении французских актеров, Жуковский был зачарован талантом Вольтера-драматурга, который не принадлежал к числу любимых им поэтов: «Вольтер есть самый разительный из всех трагиков французских»²⁹.

Вообще в 1800–1810-х гг. русский театральный репертуар заметно пополнился переводами вольтеровских трагедий. «Танкред» («Tancred», 1760) в переводе Н. И. Гнедича, впервые был представлен на петербургской сцене 8 апреля 1809 г. Резонансно звучали, слегка усиленные Гнедичем, патриотические и гражданские мотивы. Трагедия

²⁵ Пушкин А. С. <О народной драме и драме и драме “Марфа Посадница”> // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 180.

²⁶ Там же. Т. 13. С. 86 (письмо Л. С. Пушкину от января – начала февраля 1824).

²⁷ См.: Голубков А. В. Франция // Литературная энциклопедия классицизма / Отв. ред. М. Л. Андреев. (В печати).

²⁸ Жуковский В. А. Девица Жорж в Вольтеровой «Семирамиде». С. 279, 280.

²⁹ Там же. С. 279.

Вольтера «Заира», самая «трогательная», как он утверждал, из созданных им и «самая необычная» из поставленных на французской сцене пьес, была переведена совместно Ю. А. Нелединским-Мелецким, Н. И. Гнедичем, М. Е. Лобановым, С. П. Жихаревым и А. А. Шаховским. В первой четверти XIX в. был осуществлен также перевод двух других знаменитых трагедий Вольтера — «Меропы» («Mégore», пост. 1743) и «Семирамиды». В 1807 г. Г. Р. Державин, именовавший Вольтера «славным трагиком», создал русскую, улучшенную, по его мнению, версию ранней трагедии Вольтера «Мариамна» («Mariamne», 1724), которая в его переводе-переделке получила название «Ирод и Мариамна»³⁰.

Еще одной фигурой, входящей в созвездие драматургов эпохи классицизма был Мольер (Molière, 1622–1673), автор «высокой» комедии, особо славившийся как мастер драматургической разработки характеров, из которых мотивированно вытекало действие его пьес, что и обеспечивало их успех у зрителей (до Мольера комедия, как правило, строилась как случайное нагромождение эпизодов³¹). Его мастерство рисовать «портреты» ценил А. С. Грибоедов: «”Мещанин во дворянстве”, “Мнимый больной” – портреты, и превосходные»³². Для Вяземского Мольер тоже «в высшей степени портретный живописец. Лица его верны и живы, как в главных чертах, так и в малейших»³³. Широко расходились и цитаты из Мольера. Так, Грибоедов цитирует «Лекаря поневоле» («Le Médecin malgré lui», 1666) (д. 2, явл. 6) в статье «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады ”Ленора”»³⁴. Вяземский, вспоминая свои споры с Пушкиным, писал: «...я был более Альцестом, он Филинтом»³⁵, имея в виду героев мольеровской комедии «Мизантроп» («Le Misanthrope», пост. 1666) (Филинт – антипод Альцеста, человек здравомыслящий и терпимый).

Пушкин, познакомившийся с комедиями Мольера в самом раннем возрасте, на протяжении всей своей жизни много и часто цитирует его. По воспоминаниям сестры Пушкина, их отец, С. Л. Пушкин, любил декламировать отрывки из Мольера. Первые стихотворные опыты Пушкина на французском были подражаниями пьесам Мольера. Значительно позднее, обратившись к творчеству Шекспира, он сравнивает мольеровские

³⁰ О переводах драм Вольтера в России и их постановках на русской сцене см.: Заборов П. Р. Французская литература в русских переводах. Драма. С. 135–143.

³¹ См.: Dandrey P. Molière ou l'esthétique du ridicule. Paris, 1992.

³² Грибоедов А. С. Полн. собр. соч.: В 3 т. СПб., 2006. Т. 3. С. 90 (письмо к П. А. Катенину от 14 февраля 1825).

³³ Вяземский П. А. Старая записная книжка // Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 24.

³⁴ Грибоедов А. С. Полн. собр. соч. СПб., 1999. Т. 2. С. 255.

³⁵ Вяземский П. А. [«Цыганы». Поэма Пушкина] Приписка // Вяземский П. А.. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 80.

«характеры» – персонификацию одной типовой человеческой черты – с многосторонним изображением персонажей Шекспира и признает несомненное преимущество метода английского драматурга. И хотя две его «маленькие трагедии» «Скупой рыцарь» и «Каменный гость» имеют сюжетные и отдельные текстуальные совпадения с комедиями Мольера «Скупой» («L'Avare», 1668) и «Дон Жуан, или Каменный пир» («Dom Juan, ou le Festin de pierre», 1665), Пушкин заменяет комическую интерпретацию сюжета трагической. Гоголя, писавшего, что «Мольер на сцене теперь длинен, со сцены скучен»³⁶, Пушкин, по воспоминаниям П. В. Анненкова, «крепко побранил», сказав, что «писатель, как Мольер, надобности не имеет в пружинах и интригах, что в великих писателях нечего смотреть на форму и что куда бы он не положил добро свое – бери его, а не ломайся»³⁷. Гоголь, очевидно, прислушался к замечанию Пушкина и в статье «Петербургские записки 1836 года», заговорив о Мольере, отметил, что он «так обширно и в такой полноте развил свои характеры»³⁸. Впрочем, для Гоголя как драматурга главным у Мольера было, видимо, не столько создание «характеров», сколько умение завязать действие «в один большой, общий узел»³⁹. Показательно, что в 1839 г. Гоголь согласился участвовать в переводе (случай, редкий для него) фарса Мольера «Сганарель, или Муж, думающий, что он обманут женою» («Sganarelle ou le Cocu imaginaire», 1660)⁴⁰.

Если Корнель, Расин и Мольер были законодателями вкуса в области драмы, то законодателем в области поэтики был Н. Буало-Депрео (Boileau-Despréaux, 1636–1711), чье «Поэтическое искусство» («L'art poétique», 1674) венчает теоретическую рефлексию классической эпохи во Франции. Его влияние очень быстро распространилось и на Россию. Талантливый поэт (Вяземский назвал его среди «первейших стихослагателей новых языков»⁴¹, а Пушкин называл самого Вяземского «русским Буало»⁴²), автор сатир, комической поэмы, Буало в русскую литературу Золотого века вошел в первую очередь как

³⁶ Гоголь Н. В. Петербургские записки 1836 года // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1952. Т. 8. С. 554 (ранняя редакция).

³⁷ Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина // Пушкин А. С. Соч. СПб., 1855. Т. 1. С. 331–332.

³⁸ Гоголь Н. В. Петербургские записки 1836 года // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 182.

³⁹ Гоголь Н. В. Театральный разъезд // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. М., 2022. Т. 5. С. 137 (здесь это требование единства действия выдвинуто как обязательное для комедии).

⁴⁰ См.: Дмитриева Е. Е. Эпизод рецепции Мольера в России (Гоголь – переводчик фарса «Сганарель, или Мнимый рогоносец») // Русская литература. 2016. № 4. С. 63–69.

⁴¹ Вяземский П. А. Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева // Вяземский П. А. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 82.

⁴² Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 2 (письмо к П. А. Вяземскому от 27 марта 1816 г.).

«законодатель французской поэтики»⁴³. Когда в 1815 г. образуется литературное общество «Арзамас», его члены – сторонники европейского пути развития русской литературы, противники старого слога, аргументируя свою позицию, обращаются к «Поэтическому искусству». В. Л. Пушкин в послании к Жуковскому (1810) пишет: «И на Горация и Депрео ссылаюсь: / Они против врагов мне твердый будут щит; / Рассудок следовать примерам их велит»⁴⁴. «Собор безграмотных славян» (то есть участников «Беседы русского слова») осуждается арзамасцами не за преклонение перед стариной, но за утрату «вкуса к изящному», за отсутствие здравого смысла: «Творенье без идей мою волнует кровь. / Слов много затвердить не есть еще ученье; / Нам нужны не слова, нам нужно просвещение»⁴⁵. Будущий арзамасец Пушкин в 1816 г. в стихотворной части письма к дядюшке восклицает: «Дай Боже <...> / Чтобы Шихматовым назло / Воскреснул новый Буало»⁴⁶.

Притягательной была и лаконичная четкость формулировок Буало – его широко цитировали еще и поэтому⁴⁷. Так, заключение послания, которое В. А. Жуковский адресует В. Л. Пушкину и Вяземскому (1814), – фактически прямая реминисценция из поэтики Буало: «Спешите не торопясь, а твердою стопою, / И ни на шаг *вперед*, / Покуда *тем, что есть*, не сделался довольным, / Пока назад смотреть не смеешь с духом вольным»⁴⁸.

Для Пушкина Франция – «отечество Расина и Буало»⁴⁹, для Жуковского французский язык – «язык Депрео и Расина»⁵⁰. Но с развитием критического взгляда сторонников романтизма на классические принципы авторитет Буало падает. Отношение к нему Пушкина тоже менялось от первоначального уважения и веры в Буало-эстетика до критики его канонов в 1820-е гг.: «Буало обнародовал свой Коран, [странную] блестящую

⁴³ Пушкин А. С. <Баратынский> // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 186.

⁴⁴ Пушкин В. Л. Стихи. Проза. Письма. М., 1989. С. 28.

⁴⁵ Пушкин В. Л. Там же. С. 29. См.: Песков А. М. Буало в русской литературе XVIII — первой трети XIX века. М., 1989. С. 64.

⁴⁶ Пушкин А. С. <Из письма к В. Л. Пушкину> («Христос воскрес, питомец Феба...») // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 1999. Т. 1. С. 359. С. А. Ширинский-Шихматов (1783–1837) – поэт, один из ведущих представителей «Беседы любителей русского слова».

⁴⁷ См.: Песков А. М. Буало в русской литературе XVIII — первой трети XIX века. С. 67–71.

⁴⁸ Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 1999. Т. 1. С. 341. Ср. у Буало: «Hâtez-vous lentement... / Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage: / Polissez-le sans cesse et le repolissez» (« Спешите медленно... / Отделяйте стих, не ведая покоя, / Шлифуйте, чистите, пока терпенье есть» — пер. Э. Л. Линецкой) (*Boileau-Despréaux N. L'Art poétique* // *Boileau-Despréaux N. Poésies*. Londres, 1800. Т. 2. P. 11).

⁴⁹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 102 (письмо к Вяземскому от 5 июля 1824).

⁵⁰ Жуковский В. А. «Радамист и Зенобия» // Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 12. С. 287.

смесь некоторых готических понятий с [правилами] оракулами Горациевой пиитики»⁵¹. Но уже в 1830 г. Буало появится в черновых строфах «Домика в Коломне» как «поэт-законодатель, / Гроза несчастных мелких рифмачей»⁵², а затем, в незавершенном послании «Французских рифмачей суровый судия...» (1833) – как высокий авторитет, к которому обращается автор послания⁵³.

По словам западного исследователя, «творчество Расина стало возможным тогда, когда нормативность обрела изящество, а Лафонтена – когда светская утонченность приняла серьезный облик»⁵⁴. Впрочем, сам Жан де Лафонтена (La Fontaine, 1621–1695) в предисловии к повести «Любовь Психеи и Купидона» («Amours de Psyché et de Cupidon» опубл. 1669) отмечал: «Моя основная цель – неизменно нравиться. Чтобы достигнуть этого, я изучаю вкусы нашего века. И вот после долгих опытов я пришел к выводу, что вкус наш тяготеет к галантному и шутивому, и не потому, что мы презираем страсти. Напротив, не находя их в романе, поэме или пьесе, мы жалуемся на их отсутствие. Однако в таком рассказе, как мой, который совмещает чудеса с приятной болтовней и способен позабавить даже детей, следовало от начала до конца быть игривым, стремиться к галантности и – одновременно – к шутивости»⁵⁵.

Новый стиль, ставший воплощением светской эстетики, был связан с работой Лафонтена над сборниками «Сказки» («Contes», 1664) и «Басни» («Fables», 1668). Изменив стиль и тон повествования, предполагавшего нравственный урок и завуалированную социальную критику, Лафонтен сумел превратить школьный жанр в модное светское развлечение «достойных людей»⁵⁶.

Живой характер басен Лафонтена, выделявший их на фоне торжественной поэзии старой школы, привлек карамзинистов. В 1806 г. Жуковский перевел «Le songe d'un habitant du Mogol» (опубл. 1678) – «Сон Могольца»; следом за ним, в 1808 г. К. Н. Батюшков также берется за эту басню. Вяземский в своем разборе басен И. И. Дмитриева назвал Лафонтена величайшим баснописцем нового времени⁵⁷. Русскому читателю импонировало умение Лафонтена рисовать характеры, это дало повод сближать его с Мольером (о драматическом характере басен Лафонтена писал также Лагарп, сравнивая характеры и диалоги его басен

⁵¹ Пушкин А. С. О поэзии классической и романтической // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 307 (готический здесь означает странный, причудливый).

⁵² Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 77.

⁵³ См.: Там же. Т. 3. С. 305, 897.

⁵⁴ Rohou J. Le classicisme. Paris, 1996. P. 24.

⁵⁵ Лафонтен Ж. Любовь Психеи и Купидона. Л., 1964. С. 11.

⁵⁶ Голубков А. В. Франция // Литературная энциклопедия классицизма. (В печати).

⁵⁷ См.: Вяземский П. А. Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева. С. 72.

с комедиями Мольера⁵⁸). Его басни действительно похожи на своеобразные театральные пьесы в миниатюре, где есть экспозиция, завязка и развязка. Сам автор иногда выходит на сцену, прерывая рассказ размышлениями, репликами в сторону.

Шутливые вольные сказки, сюжеты которых Лафонтен нередко заимствовал у поэтов Возрождения, Пушкин относил к «чистой романтической поэзии»⁵⁹. К сказкам Лафонтена во многом восходят комические стихотворные повести и поэмы XIX в., как европейские (повести Байрона, А. де Мюссе), так и в русские («Граф Нулин» (1825) и «Домик в Коломне» (1830) Пушкина). Лафонтен стал «проводником международного обмена новеллистическими сюжетами»⁶⁰.

Славу «русского Лафонтена» снискал И. И. Дмитриев и очень ею дорожил: «Сердися Лафонтен иль нет, / А я с ним не могу расстаться. / Что делать? Виноват, свое на ум нейдет, / Так за чужое приниматься»⁶¹. Басни и сказки Дмитриева делали его в глазах современников не просто последователем Лафонтена, но даже и «истинным соперником баснописца французского»⁶². В дальнейшем на основе сюжетов Лафонтена, ставших широко известными благодаря творчеству Дмитриева, создал свой оригинальный стиль И. А. Крылов, вводя в басню просторечные обороты и подчеркнуто ироничную авторскую позицию. Жуковский, восхищавшийся умением Лафонтена «рассказать просто, приятно, без принуждения», видел в Крылове его последователя, поскольку тот, как искусный переводчик, «занял» у французского поэта «и вымысел и рассказ»: Крылов «рассказывает свободно и нередко с тем милым простодушием, которое так пленительно в Лафонтене»⁶³.

«Великий», «блистательный» XVII в. – время расцвета французского театра, примерам которого стремился следовать Вольтер. Его соперником называли К. П. Жюлио

⁵⁸ *Laharpe J. F. Lycée...* Т. 6. Р. 336.

⁵⁹ *Пушкин А. С.* О поэзии классической и романтической. С. 38.

⁶⁰ *Томашевский Б. В.* Пушкин и Франция. С. 257.

⁶¹ *Дмитриев И. И.* Желания // Дмитриев И. И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1967. С. 220.

⁶² *Московский Зритель.* 1806. № 6. С. 42; см.: *Кочеткова Н. Д.* «Русский Лафонтен»: (К литературной репутации Дмитриева) // Иван Иванович Дмитриев (1760–1837). Жизнь. Творчество. Круг общения: Чтения Отдела русской литературы XVIII века. СПб., 2010. Вып. 6. С. 7–18.

⁶³ *Жуковский В. А.* О басне и баснях Крылова // Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 12. С. 206, 207. О переводах басен Лафонтена, а также других французских баснописцев, таких как Флориан, Бартеlemi, см.: *Заборов П. Р.* Французская литература в русских переводах. Поэзия // История русской переводной художественной литературы 1800–1825 гг. С. 55–56. См. также: *Скакун А. А.* Образ Лафонтена на страницах русской печати XVIII — начала XIX веков и особенности его восприятия в России // XVII век в диалоге эпох и культур: Материалы научной конференции Санкт-Петербург : Санкт-Петербургское философское общество. СПб., 2000. С. 62—66 (сер. «Symposium». Вып. 8).

Кребийона (Кребийона-отца; Crébillon, 1674–1762), с чьей деятельностью связано обновление классицистической трагедии за счет усиления зрелищности. Кребийону приписывается фраза: «Корнель захватил небо, Расин – землю, а мне остался только ад»⁶⁴. Действительно, его трагедии насыщены «ужасами» и чудовищными преступлениями, знаменуя собой новое обращение к творчеству Сенеки. Так, в трагедии «Атрей и Фиест» («Atrée et Thyeste», 1707) отец пьет кровь своего сына; в самой известной его трагедии «Радамист и Зенобия» («Rhadamiste et Zénobie», 1711), которую Лагарп считал «единственной действительно хорошей»⁶⁵, отец убивает сына, а затем кончает с собой. Обе эти трагедии были известны и весьма популярны в России. «Одной из самых лучших между трагедиями французов»⁶⁶ называл «Радамиста и Зенобию» Жуковский, при том, что ее перевод на русский язык, выполненный С. И. Висковатовым, был им раскритикован. Доказательством того, какую репутацию имел Кребийон-отец в России начала XIX в., может служить письмо Жуковского совсем еще юному Вяземскому (от 5 августа 1808 г.), в котором он высказывает надежду, что тот «со временем» будет «предпочитать *Кребильону Расина*»⁶⁷. «Reconnais-tu le sang?» <«Узнаешь ли ты кровь?» – фр.> – шутливо цитирует Пушкин реплику Атрея из трагедии Кребийона «Атрей и Фиест» в письме к Кюхельбекеру от 1—6 декабря 1825 г.⁶⁸. Грибоедов собирался написать трагедию «Родамист и Зенобия» (автограф неизвестен, план-конспект предположительно датируется 1824–1827 гг.)⁶⁹.

Подлинную драматургическую славу французскому XVIII столетию принес яркий представитель Просвещения Пьер Огюст Карон де Бомарше (Beaumarchais, 1732–1799). В России Бомарше, прежде всего, конечно, воспринимался как «остроумный сочинитель комедии “Фигарова женитьба”»⁷⁰ («Безумный день, или Женитьба Фигаро» – «La Folle journée, ou le Mariage de Figaro», 1778). С этой комедией сопоставляли «Горе от ума» Грибоедова. Умение создать тип, который будет «жить в потомстве» – образ московского барина Фамусова, ничуть не уступает, по мнению Кс. А. Полевого, таланту создателя

⁶⁴ Houssaye A. Galerie du XVIII siècle. Poètes et philosophes. Paris, 1858. P. 8.

⁶⁵ J. F. Laharpe. Lycée... T. 10, ch. 4. P. 120.

⁶⁶ Вестник Европы. 1810. № 22. С. 107; Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 12. С. 287.

⁶⁷ Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 15. С. 68.

⁶⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 247.

⁶⁹ Возможно, правда, что Грибоедов ориентировался не на Кребийона, а на первоисточник – «Анналы» Тацита (кн. 12, где рассказывается о борьбе Рима, Пафии и Иберии за овладение Арменией). О полемическом контексте обращения Грибоедова к Кребийону см.: Грибоедов А. С. Полн. собр. соч.: В 3 т. СПб., 1999. Т. 2. С. 448–449, примеч. В. Э. Вацууро.

⁷⁰ Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 2014. Т. 10, кн. 1. С. 62 (примечание Жуковского к помещенному в «Вестнике Европы» (1808. Ч. 37. № 3) переводу из Бомарше).

Фигаро: «Лицо Фамусова так же истинно как лицо Фигаро». Критик готов признать, что «Грибоедов едва ли не стал рядом с <...> Бомарше»⁷¹. Для сторонников романтического направления он – один из тех «литературных анархистов», кто ломает «треножник классицизма»⁷². «Услужливый, живой, / Подобный своему чудесному герою / Веселый Бомарше»⁷³ привлекал своим искрометным остроумием. Его остроты, каламбуры, сентенции были в ходу. Но он был еще и блестящий полемист, и политический борец. «Бомарше влечет на сцену, раздевает до нага и терзает все, что еще почитается неприкосновенным. Старая монархия хохочет и рукоплещет»⁷⁴. Его «Воспоминания» («Mémoires», 1773–1774), написанные им в собственную защиту после того, как суд объявил его нечестным человеком, читала вся Европа. Это «одновременно речь защитника, сатира, драма, комедия, целая картинная галерея» – так характеризовал «Воспоминания» Бомарше Лагарп⁷⁵. Жуковский, отметив, что мемуары Бомарше «и теперь читаем с великим удовольствием»⁷⁶ перевел оттуда отрывок, опубликовав его в «Вестнике Европы» под названием «Бомарше в Испании»⁷⁷.

XVIII столетие – век великих философов, Монтескье, д’Аламбера, Дидро, Сен-Симона, Мармонтеля... Две фигуры из их числа – Вольтер и Руссо – обладали особым влиянием и притягательностью. Вольтер, конечно, был известен в России не только как драматург (см. выше)⁷⁸. Поэт, философ, историк, публицист, один из главных представителей французского Просвещения, он оказал глубочайшее влияние на европейскую общественную мысль и литературу XVIII – начала XIX в., оставив огромное творческое наследие: театральные пьесы, поэзию, критику, исторические, философские и политические сочинения, сказки и романы, обширнейшую переписку. В начале XIX в. в России выходят переводы его переписки с Екатериной II и прусским королем Фридрихом

⁷¹ Полевой Кс. А. «Горе от ума», комедия в четырех действиях, в стихах. Сочинение Александра Сергеевича Грибоедова // Полевой Н. А., Полевой Кс. А. Литературная критика. Статьи и рецензии 1825–1842. Л., 1990. С. 478.

⁷² Полевой Н. А. О романах Виктора Гюго и вообще о новейших романах (Против статьи г-на Шове) // Там же. С. 108.

⁷³ Пушкин А. С. К вельможе // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 218.

⁷⁴ Пушкин А. С. О ничтожестве литературы русской // Там же. Т. 11. С. 272.

⁷⁵ Laharpe J. F. Lycée... Т. 11. Р. 567.

⁷⁶ Ср. с высказыванием Лагарпа: «Природа его мемуаров такова, что их можно перечитывать во все времена» (Laharpe J. F. Lycée... Т. 11. Р. 560).

⁷⁷ Вестник Европы. 1808, № 3, февраль; Жуковский В. А. Полн. собр. соч и писем. Т. 10, кн. 1. С. 62–81.

⁷⁸ О рецепции Вольтера в России см.: Заборов П. Р. Русская литература и Вольтер. XVIII — первая треть XIX века. Л., 1978.

II⁷⁹. Социально-политические идеи Вольтера оказали влияние на взгляды декабристов. Вольтер никого не оставлял равнодушным – им восхищались и его ненавидели. Его бунтарский дух, «обаяние вечной молодости»⁸⁰ увлекали юные умы, даже если потом, в зрелом возрасте они в нем разочаровывались и осуждали его. Грибоедов сказал о нем: «Кто век прожил с большим блеском? И как неровна судьба, так сам был неровен: решительно действовал на умы современников, вел их, куда хотел <...> гонимый и гонитель, друг царей и враг их <...> всю жизнь провел в борьбе с суеверием богословским, политическим, школьным и светским, наконец ратовал с обманом в разных его видах. И не обманчива ли самая та цель, для которой подвизался? Какое благо? – колебание умов ни в чем не твердых?»⁸¹. Гоголь в письме Н. Я. Прокоповичу (27 сентября 1836 г.) описывает свою поездку в Ферней: «Сегодня поутру посетил я старика Волтера <...> И мне так и представлялось, что вот-вот выйдет старик в знакомом парике <...> Я вздохнул и нацарапал русскими буквами мое имя, сам не отдавши себе отчета для чего»⁸². В 1868 г. Вяземский нарисует прекрасный портрет Фернейского старца: «Сфинкс, не разгаданный до гроба, — / О нем и ныне спорят вновь; / В любви его роптала злоба, / А в злобе теплилась любовь. // Дитя осьмнадцатого века, / Его страстей он жертвой был: / И презирал он человека, / И человечество любил»⁸³. Сам Вяземский, «поэт мысли», несомненно, находился под влиянием литературы Просвещения и Вольтера. Он писал эпиграммы в подражание Вольтеру, ссылаясь на него («Быль в преисподней», 1810; «Оправдание Вольтера», 1812; «К переводчику “Китайской сироты”», 1815), язвительное остроумие Вяземского напоминает стилистику вольтеровских посланий. Отношение Пушкина к «великану сей эпохи» («О ничтожестве литературы русской», 1833–1834) менялось на протяжении всей его жизни, при том, что он всегда оставался притягательной для него фигурой. Согласно «Росписи русским книгам для чтения из библиотеки В. Плавильщикова» (1820) самым публикуемым в России автором после Коцебу был Вольтер⁸⁴.

⁷⁹ Екатерина II категорически была против публикации своих писем, тем более, их переводов на русский язык. Первые переводы появились только в 1801 г. См.: Там же. С. 103–107.

⁸⁰ Фридитейн Ю. Г. «Вольтеровские метаморфозы» в России // Вольтер и Россия. М., 1999. С. 22.

⁸¹ Грибоедов А. С. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 74 (письмо к П. А. Вяземскому от 11 июля 1824).

⁸² Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 63.

⁸³ Вяземский П. А. «Сфинкс, не разгаданный до гроба...» // Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986. С. 398 (Б-ка поэта. Большая сер.).

⁸⁴ См.: *Meunieux A.* Pouchkine homme de lettres et la littérature professionnelle en Russie. Abbeville, 1966. P. 473, 509.

«Антогонист» Вольтера (как его называл Вяземский), Жан-Жак Руссо (Rousseau, 1712—1778) был ничуть не менее популярен. К концу XVIII – началу XIX в. почти все основные сочинения Руссо были переведены и напечатаны в России. Если Вольтер, в первое десятилетие XIX в. все еще остававшийся влиятельным автором, в симпатиях читателей и критиков постепенно начал уступать более современным писателям, таким, как его ученик Мармонтель или мадам де Жанлис⁸⁵, то имя Руссо, благодаря чрезвычайной популярности его романа «Юлия, или Новая Элоиза» («*Julie, ou la Nouvelle Héloïse*», 1761)⁸⁶, вплоть до середины XIX в., а на самом деле и позже, не сходило со страниц русских журналов. Философия Руссо, предполагавшая полную свободу человечества, волновала умы. В начале 1800-х гг. к нему было привлечено внимание младшего Тургеневского кружка. Входящим в него участникам Дружеского литературного сообщества «пылких сердец» – «руссоистам», готовым «обнажить шпагу за честь своего кумира, не в переносном, а в прямом смысле» был «решительно чужд аналитический скептицизм “вольтерьянской” критики Руссо»⁸⁷. Жуковский, который, по словам Андрея Тургенева, не мог любить Вольтера «по своему сердцу», потому что «Руссо – его наставник»⁸⁸, задумывал издать в русском переводе несколько томов сочинений Ж.-Ж. Руссо, а также написать его биографию. Карамзинский «Вестник Европы» публикует в 1802 г. сделанное Л. С. Мерсье описание торжественной церемонии перенесения в парижский Пантеон праха Руссо⁸⁹. Одним из источников курсов А. П. Куницына, «Изображение политических наук» и «Право

⁸⁵ Об отсутствии значимых переводов из Вольтера во второе и третье десятилетия XIX в. в России см.: Токарев Д. В. Французская литература в русских переводах. Проза. С. 81—82.

⁸⁶ «Новая Элоиза» – самое продаваемое сочинение XVIII в. В романе Руссо заключены его размышления о свободе воли, о правах человека, о понимании гражданского долга, но читатель «снимал» тот пласт структуры романа, который оказывался ему понятным и доступным. В большинстве случаев это приводило к истолкованию “Новой Элоизы” как психологического романа, повествующего о страстной любви» (Лотман Ю. М. Руссо и русская культура XVIII – начала XIX века // Лотман Ю. М. Избранные статьи в трех томах. Таллинн, 1992. Т. 2. С. 98).

⁸⁷ Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994. С. 31–32. См. также: Зорин А. Л. Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века. М., 2016. 21 декабря 1801 г. Андрей Тургенев записал в дневнике, что «Новая Элоиза» будет его моральным кодексом (*Code de morale*) «во всем, в любви, в добродетели, в должностях общественной и частной жизни» (Из дневника А. И. Тургенева / Публ. М. Н. Виролайнен // Восток–Запад: Исследования. Переводы. Публикации. М., 1989. С. 107).

⁸⁸ Письма Андрея Тургенева к Жуковскому / Публ. В. Э. Вацуро и М. Н. Виролайнен // Жуковский и русская культура. Л., 1987. С. 387.

⁸⁹ Ж. Ж. Руссо в Тюльери, из Мерсье // Вестник Европы. 1802. Ч. 1, № 1. С. 45.

государственное», читанных в Царскосельском императорском лицее, был «Общественный договор» Руссо⁹⁰.

У Пушкина интерес к социальным идеям Руссо возникает в кишиневский период (1820—1823) – период общения с членами Южного общества (в первую очередь с В. Ф. Раевским), приветствовавшими Руссо как предтечу Французской революции. В дальнейшем, правда, у Пушкина появляется недоверчиво-ироническое отношение к взглядам «защитника вольности и прав»⁹¹. Поэт приходит к мнению, что философия XVIII в., в том числе и воззрения Руссо, представляют собой «мысли детские», «мечты несбыточные»⁹². В том же, что касается художественной прозы Руссо, Пушкин, как и многие другие, не мог обойти вниманием «Новую Элоизу»: описанные им провинциальные барышни, подобно реальным барышням XIX в., увлечены судьбой героини знаменитого романа.

Учитель-разночинец влюблен в ученицу-дворянку – этот сюжет «был пережит всеми “нежными” читательницами Европы»⁹³. «Европейская публика училась любить по “Новой Элоизе” <...> В России такой тип восприятия прославленных произведений приобрел особую напряженность, поскольку представление об изящной словесности как об учебнике чувств было поддержано усилиями по апроприации западного типа культуры»⁹⁴. Название романа становится символом. Баснописец А. Е. Измайлов, преданный рыцарь хозяйки известного петербургского салона С. Д. Пономаревой, задетый ее явным невниманием, адресует ей эпиграмматическое послание «Новая Элоиза» (1823): «Как платье черное к лицу вам! Как пристало! / Ах! Если б к трауру из крепа покрывало / И на цепочке золотой / Крест с бриллиантами – подобны б были той / Игуменье и умной, и прекрасной, / Которую любил так Абелард несчастный. / В одной науке вы должны ей уступить: / Вы не умеете...любить»⁹⁵. Имеется в виду не Юлия, героиня Руссо, а именно Элоиза, к чьей истории любви отсылает вторая часть названия романа.

Руссо сыграл определенную роль и в становлении жанра элегии русского Золотого века. В 1805 г. в журнале «Аврора» была опубликована статья Я. И. Де Санглена «Параллель между Руссо и Вольтером», где язвительному уму Вольтера

⁹⁰ См.: Лицейские летописи (по записям А. М. Горчакова) // Красный Архив. 1937. № 1 (80). С. 80–82.

⁹¹ Пушкин А. С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 15.

⁹² Пушкин А. С. Александр Радищев // Там же. М.; Л., 1949. Т. 12. С. 31.

⁹³ Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). М., 2022. С. 93.

⁹⁴ Зорин А. Л. Появление героя. С. 44–45.

⁹⁵ Цит. по: Вацуро В. Э. С. Д. П. Из истории литературного быта пушкинской поры. М., 1989. С. 256.

противопоставлялся дух Руссо «не сатирический, а более элегический»⁹⁶. Так и в русской элегии, по наблюдению В. Э. Вацура, прорисовываются два типа лирического героя: один «руссоистский», стоящий ближе к природе; другой – «вольтерьянский», обращенный к миру цивилизации. Элегический, меланхолический дух Руссо оказался близок Андрею Тургеневу и Жуковскому, в то время как лирический герой Батюшкова тяготел скорее к «вольтерьянскому» типу⁹⁷. (Батюшков, хотя и признавал, что Руссо был одарен «великим гением», был сильно задет и возмущен его знаменитой «Исповедью» («Les confessions», опубл. 1 ч. – 1782, 2 ч. – 1789): «пламенный обожатель и жрец добродетели <...> как часто изменял он добродетели и истине!»⁹⁸).

Французский XVIII в. имел устойчивую репутацию эпохи философов, чуждой поэзии. «Музам было невесело около Разума, они скучали с ним, хотя неохотно в этом сознавались. Все живое и здоровое уходило в безделушки, потому что за ними был меньший присмотр...», – писал в 1922 г. О. Э. Мандельштам⁹⁹. Но задолго до него о том же писал Пушкин, сам выросший на французской поэзии XVIII в.: «Ничто не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя... Следы великого века (как называли французы век Людовика XIV) исчезают. Истощенная поэзия превращается в мелочные игрушки остроумия...»¹⁰⁰. И действительно, французская лирика превратилась в это время либо в пространное рассуждение на гражданские или философские темы (оды Удара де Ла Мота, Ж. Б. Руссо, Ж. Б. Л. Грессе), либо в «легкую поэзию» – эпиграммы, элегии, пасторали (Г. А. де Шольё, Ш. О. де Лафар, Э. Парни, Ж.-П. Флориан, К.-Ж. Дора), ироикомические поэмы (как, например, «Вер-Вер» Ж.-Б.-Л. Грессе, 1734), то есть в те самые «мелочные игрушки остроумия». Однако именно эта легкая, так называемая фюжитивная поэзия (от франц. fugitif — беглый, скоротечный), поэзия безделушек¹⁰¹, наполняющая многие французские поэтические сборники конца XVIII – начала XIX в., немало дала русским поэтам, усвоившим ее жанровые и стилевые особенности. Не случайно в области русской легкой поэзии так много

⁹⁶ Аврора. 1805. Т. 1, № 3.

⁹⁷ См.: Вацура В. Э. Лирика пушкинской поры. СПб., 1994.

⁹⁸ Батюшков К. Н. Нечто о морали, основанной на философии и религии // Батюшков К. Н. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 159.

⁹⁹ Мандельштам О. Э. Заметки о Шенье // Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. М., 2010. С. 365.

¹⁰⁰ Пушкин А. С. О ничтожестве литературы русской. С. 271–272.

¹⁰¹ Другое ее название — «vers de société», стихи для общества, под которыми подразумеваются «мелкие стихотворения», безделки, несерьезные сочинения. Опыт создания на русском языке таких стихов, был предпринят М. Н. Муравьевым, написавшим цикл «Pièces fugitives» (1778–1779) – см.: Бруханский А. Н. М. Н. Муравьев и «легкое стихотворство» // XVIII век. М.; Л., 1959. Сб. 4. С. 157–171.

параллелей и реминисценций, отсылающих к этой французской традиции. Назовем еще раз хотя бы несколько имен ее представителей.

Знаменитое стихотворение Батюшкова «Мои пенаты» (1811—1812), давшее образец русского дружеского послания, восходит, в частности, к «Обители» («La chartreuse», 1735) Грессе (Gresset, 1709—1777). О «галантном» поэте Шольё (Chaulieu, 1639—1720), с посланием которого «О смерти, согласно эпикурейским правилам» структурно и текстуально соприкасается батюшковское стихотворение «Совет друзьям» (1806)¹⁰², его автор сказал: «Счастливый Шольё мечтал под ветхими и тенистыми древами Фонтенейского убежища, там сожалел он об утрате юности, об утрате неверных наслаждений любви»¹⁰³. Обращаясь в «Прощанье старика» (1806) к теме утраты юности и любви, Жуковский перерабатывает стихотворение Шольё «Retirez-vous de moi, plaisirs tumultueux...»¹⁰⁴. Русский интерес к этому поэту был поддержан Лагарпом, который выделял его как чуть ли не единственного достойного представителя «легкой поэзии»¹⁰⁵.

Другим ценным русскими поэтами Золотого века, в первую очередь за оды, был еще один представитель «фюжитивной» поэзии, Ж.-Б. Руссо (Rousseau, 1670 или 1671—1741). Не без его влияния было, например, написано лицейское «Послание Лиде» Пушкина (1816), который позднее относился к Руссо более критично. «Руссо в одах дурен»¹⁰⁶, — записал Пушкин в начале 1820-х гг., при этом отдавая должное Руссо-эпиграмматисту: его «похабные эпиграммы стократ выше од и гимнов»¹⁰⁷. Сохранился пушкинский черновой набросок «J'ai possédé maîtresse honnête...», который вполне мог быть подсказан пьесой Ж.-Б. Руссо «Maîtresse comme il la faut» («Идеальная любовница»). Эпиграммы Руссо охотно переводил блестящий эпиграмматист Вяземский. Так, например, его стихотворение «Наш свет театр, жизнь — драма, содержатель...» — вольный перевод эпиграммы Руссо «Ce monde-ci n'est qu'une œuvre comique...», «Несчастный муж! Он, право, жалок мне...» — эпиграммы «Ce pauvre éroux me fait grande pitié...». Следует подчеркнуть, что здесь

¹⁰² См.: Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 98.

¹⁰³ Батюшков К. Н. Нечто о поэте и поэзии // Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 24—25 (Сер. «Литературные памятники»).

¹⁰⁴ См.: Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 75—76.

¹⁰⁵ «Какое очарование в его стансах, посвященных уединению в Фонтене», — восклицал критик (Laharpe J. F. Lycée... Т. 6. Р. 429).

¹⁰⁶ Пушкин А. С. О французской словесности // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 192.

¹⁰⁷ Там же. Т. 13. С. 135 (письмо к П. А. Вяземскому от 25 января 1825). Эта оценка совпадает с точкой зрения Лагарпа, который видел в жанре сатирических и непристойных эпиграмм «особый» («particulier») талант Руссо — см.: Laharpe J. F. Lycée... Т. 6. Р. 155.

приведено лишь несколько почти наудачу выбранных примеров, количество которых огромно.

Определившим поэзию эпохи Просвещения жанром, истоки которого следовало бы искать в английской поэзии Джеймса Томсона (James Thomson, 1700–1748) (поэма «Времена года»), был жанр описательно-дидактической поэмы. В России он получил распространение в первую очередь благодаря французскому поэту Жаку Делилю (Delille, 1738—1813) и его двум поэмам «Сады» («*Les jardins, ou l'art d'embellir les paysages*», 1782) и «Сельский житель» («*L'Homme des champs*», 1801) (их относили в то время к «научной литературе», столь характерной для эпохи Просвещения). Ранее других интерес к французской описательной поэзии проявили участники литературного кружка, возникшего в самом начале века вокруг А. А. Палицына, архитектора, поэта и переводчика, в его имении Поповка в Сумском уезде Харьковской губернии; отсюда неофициальное название этого кружка — Поповская академия¹⁰⁸. Одним из участников этого кружка Е. И. Станевичем (1775–1835), был сделан первый перевод поэмы «Сельский житель, или Французские георгики», изданный в 1800 г. В 1814 г. сам А. А. Палицын перевел «Сады» Делиля¹⁰⁹. Через два года появился перевод А. Ф. Воейкова, над которым он работал около восьми лет¹¹⁰. Самым примечательным в этом переводе были введенные в текст дополнения и уточнения, касавшиеся России, в которой Делиль никогда не бывал. «Делиль, — писал выступивший соавтором французского поэта Воейков, комментируя “русский” фрагмент поэмы, — не имея сведений о состоянии русских садов, сими красивыми стихами, совсем не принадлежащими к его предмету, отыгрывается и прикрывает свое незнание так же, как Вольтер в “Истории Петра Великого” смело повествует о древности и обычаях предков наших. Я не захотел переводить сего отрывка как весьма неудовлетворительного для русской публики. Я предлагаю здесь отрывок о лучших русских садах, написанный мною, как легко усмотреть могут читатели, для соблюдения общего тона, от лица французского поэта»¹¹¹.

¹⁰⁸ См.: *Сумцов Н. Ф.* Культурный уголок Харьковской губернии (Поповская академия) // *Харьковский сборник*. Харьков, 1888. Вып. 2. С. 100–112; *Заборов П. Р.* Французская литература в русских переводах. Поэзия. С. 47.

¹⁰⁹ Делиль высоко ценил Карамзин, включивший в «Письма русского путешественника» переводы отдельных фрагментов из поэмы «Сады».

¹¹⁰ См.: *Лотман Ю. М.* «Сады» Делиль в переводе Воейкова и их место в русской литературе // *Делиль Жак*. Сады. Л., 1987. С. 194–209 (Сер. «Литературные памятники»).

¹¹¹ Сады, или Искусство украшать сельские виды / Сочинение Делиля; Пер. Александр Воейков. СПб., 1816. С. 163–164. См. подробнее: *Заборов П. Р.* Французская литература в русских переводах. Поэзия. С. 52–53.

Большим успехом в России пользовался также «Дифирамб на бессмертие души» («Dithyrambe sur l'immortalité de l'âme», 1802), задуманный первоначально как догмат веры и написанный Делилем по настоянию Робеспьера для праздника в честь Высшего Существа, но воспринятый впоследствии как воздаяние жертвам якобинского террора. «Дифирамб» неоднократно переводился А. Лабзиным, Ю. Нелединским-Мелецким, Палицыным и др. «Читал ли ты весь дифирамб Делилев <...> – пишет Жуковскому Ан. И. Тургенев 9 марта 1803 г. – Поверишь ли ты, что в одном стихе “Ты чуждых берегов минутный посетитель!” – заключается для меня целый трактат об искусстве переводить стихи»¹¹². Тема бессмертия души естественно волновала и Жуковского: в 1806 г. он тоже переводит отрывок из «Делилева Дифирамба на бессмертие души»¹¹³. Между тем отношение Пушкина к творчеству Делиля было сдержанным. Он пародировал его перифрастический слог¹¹⁴, а в «Домике в Коломне» дал ему презрительное наименование «парнасский муравей»¹¹⁵.

На фоне риторической и описательной лирики, с одной стороны, и галантной салонной поэзии, с другой, свежо зазвучали искренние лирические чувства и исповедальные мотивы элегий Э.-Д. де Форжа де Парни (de Forges de Parny, 1753–1814). Как писал другой поэт, П.-Л. Женгене (Ginguené; 1748–1816), «Царство остроумия закончилось / Кто его сверг с престола? Природа и Парни» («Le bel esprit n'est plus; son empire est fini / Qui donc l'a détrôné? La nature et Parny»)¹¹⁶.

В европейскую поэзию Парни вошел прежде всего как автор, наполнивший новым содержанием жанр элегии. Он не чуждался и иных литературных жанров (в ранние годы им был создан цикл стилизованных под песенный фольклор прозаических «Мадагаскарских песен» («Chansons madécasses», 1787), в конце жизни его излюбленными жанрами стали сатирическая и ироикомическая поэма, а также эпическая поэма и поэма в духе Оссиана), но знаменитые, во многом автобиографические, четыре книги «Эротических стихотворений» («Poésies érotiques», 1778) заслонили в русском сознании почти всё созданное Парни на протяжении более чем трех десятилетий. Сюжеты, образы и мотивы Парни нередко служили русским поэтам моделью для изображения собственных

¹¹² Письма Андрея Тургенева к Жуковскому. С. 422.

¹¹³ См.: Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 1. С. 469—471.

¹¹⁴ См. письмо Пушкина к брату около (не позднее) 20 декабря 1824 г. (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 130).

¹¹⁵ Там же. Т. 5. С. 377.

¹¹⁶ См.: Мильчина В. А. Французская элегия конца XVIII – начала XIX в. // Французская элегия XVIII – XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры. М., 1989. С. 15–16.

переживаний. Отсюда такое обилие русских переводов из Парни — точных и вольных — и еще большее количество подражаний ему, принадлежащих перу поэтов выдающихся и мало кому известных, перворазрядных мастеров и скромных литературных неопитов. В их числе: И. И. Дмитриев, П. А. Пельский, Ю. А. Нелединский-Мелецкий, П. Ю. Львов, В. Л. Пушкин, Д. В. Давыдов, О. М. Сомов, В. В. Измайлов, А. А. Бестужев, Н. И. Иванчин-Писарев, А. А. Крылов, А. П. и Д. П. Глебовы, А. С. Норов, Н. А. Маркевич, В. М. Перевощиков и многие другие¹¹⁷. Большая часть элегий Д. Давыдова, написанных в молодости, — по сути, переводы или подражания Парни, к их числу относятся «Утро» (1816) и «О ты, смущенная присутствием моим...» (1816). Жуковский, хотя и не очень увлеченный поэзией Парни, тем не менее, тоже находит в его творчестве близкие ему мотивы. В 1806 г. он берется за перевод VI-й элегии IV-й книги «В разлуке я искал смягченья тяжких бед...» («J'ai cherché dans l'absence un remède à mes maux...») на сюжет, более чем понятный ему в тот момент.

Самое сильное влияние Парни оказал на Батюшкова, который «так верно и так нежно» передал его поэзию «на русском языке»¹¹⁸, и которого друзья, в частности, Пушкин, называли российским Парни. Правда, как отмечал Л. Н. Майков, когда Батюшков «переводил французского поэта или, что чаще, только подражал ему, он обыкновенно смягчал слишком чувственный характер его образов, сохраняя в то же время их грацию и изящество»¹¹⁹. Под влиянием Батюшкова открывает для себя элегического Парни Пушкин, находя в его творчестве образец любовной элегии и вместе с тем материал для создания собственного элегического языка. Мотивы, темы, фразеологизмы поэзии Парни отразились в пушкинских элегиях 1816–1817 гг.

Необычайно привлекательной для русских поэтов оказалась «оссианическая» поэма Парни «Иснель и Аслега, подражание скандинавскому» («Isnel et Asléga, poème imité du scandinave» 1802, 1808). Отрывки из нее переводили Батюшков («Сон воинов» 1811), Пушкин (1814), Д. В. Давыдов (1817), В. И. Туманский (1819). При этом интерпретации поэтического сюжета Парни были разными. Батюшков и Давыдов обращаются к одному и тому же тексту (IX элегия из 4-й книги поэмы), но для Батюшкова важно изображение гармонического чувства любви, а для Давыдова — страсти и ревности.

¹¹⁷ Заборов П. Р. Французская литература в русских переводах. Поэзия. С. 59. См. также: Дроздов В. Парни в России: XVIII век — первая треть XX века // Парни Э. Стихотворения / Пер. с фр. В. Шершеневича. М., 2016. С. 280–299.

¹¹⁸ Вяземский П. А. Из «Автобиографического введения» // Вяземский П. А. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 256.

¹¹⁹ Майков Л. Н. О жизни и сочинениях Батюшкова // Батюшков К. Н. Соч. СПб., 1887. Т. 1. С. 96.

Со временем интерес к Парни проходит. В «Евгении Онегине» он представлен уже как вышедший из моды («Я знаю: нежного Парни / Перо не в моде в наши дни»¹²⁰), хотя Пушкин и подбирает в рукописи для его характеристики такие эпитеты, как «волшебный», «прелестный», «милый». Более резко о нем выскажется С. Н. Глинка в своих «Записках»: «Из обветшавшей Франции XVIII столетия нахлынуло к нам волокитство, вместе с Доратами, Парни и так называемую любезностью петиметров»¹²¹.

По мере утверждения в русской литературе романтических тенденций жанр элегии завоевывает всё большее признание в литературных и читательских кругах. Русская поэзия обращает внимание на творчество Ш.-Ю. Мильвуа (Millevoüe, 1782—1816)¹²², о котором Пушкин написал: «...ни то, ни се, но хорош только в мелочах элегических»¹²³. Одна из таких «элегических мелочей» — «Падение листьев» — оказалась очень созвучна русским поэтическим настроениям. Эту элегию переводили К. Н. Батюшков, В. Н. Григорьев, В. И. Туманский, Е. А. Баратынский, М. В. Милонов. «Падение листьев» («La chute des feuilles», 1811, 1815) с его заключительными строками, картиной заброшенной могилы, стало почти классической моделью «уныло-элегического» жанра¹²⁴. Пушкин в 1826 г., иронизируя над превратившимися в штампы образами «унылой» лирики, ввел ряд реминисценций из элегии Мильвуа в переводе М. В. Милонова в предсмертные стихи Ленского, используя, в частности, строфу «Златые дни весны моей»¹²⁵.

В первой половине 1820-х гг. и Парни, и Мильвуа начали оттеснять на второй план два их соотечественника — Андре Шенье (Chénier, 1762–1794) и Альфонс де Ламартин. Фигура «у муз похищенного галла»¹²⁶ Андре Шенье, «мученика свободы»¹²⁷, чья трагическая гибель на эшафоте сделала его в глазах последующего поколения олицетворением жертвы жестокого общества, не способного оценить гений, стоит особняком среди многочисленных французских поэтов XVIII в. В своем творчестве Шенье

¹²⁰ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 64.

¹²¹ С. Н. Глинка. Записки. СПб., 1895. С. 161. О К.-Ж. Дора см.: Дмитриева Е. Е. Эфемерная поэзия философского века: Клод-Жозеф Дора // Клод-Жозеф Дора. Поцелуи / Пер. с фр. М. Яснова. СПб., 2022. С. 216—232.

¹²² Французская элегия XVIII–XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры / Сост. В.Э. Вацуру. М., 1989. См. также: Заборов П. Р. Шарль Мильвуа в русских переводах и подражаниях первой трети XIX века // Взаимосвязи русской и зарубежных литератур. Л., 1983. С. 100–128.

¹²³ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 381 (письмо к П. А. Вяземскому от 4 ноября 1823).

¹²⁴ См.: Вацуру В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 204.

¹²⁵ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 125.

¹²⁶ Веневитинов Д. В. К Пушкину // Веневитинов Д. В. Полн. собр. стихотворений. Л., 1960. С. 69 (Б-ка поэта. Большая сер.).

¹²⁷ Вяземский П. А. Библиотека // Вяземский П. А. Стихотворения. С. 187.

следовал античным примерам, виртуозно владея александрийским стихом. Вяземский писал Пушкину: «Шенье в своей школе единственный поэт французский: он показал, что есть музыка, т. е. разнообразие тонов, в языке французском»¹²⁸.

Пушкин, ценивший Шенье как поэта, сумевшего воссоздать «дух и форму» античных образцов, смотрел на него иначе: «...он истинный грек, из классиков классик», «поэт, напитанный древностию»¹²⁹. Сам он не просто переводил Шенье, но обращался к его поэзии как к образцу для собственных поисков, разрабатывая вслед за ним жанр «отрывка» как особую поэтическую форму¹³⁰. В 1825 г. Пушкин пишет элегию «Андрей Шенье», наполненную цитатами и реминисценциями из поэзии Шенье, выразившую мысли о Французской революции, об отношениях поэзии и политики, о личности французского поэта. В сходном ключе написано и оригинальное стихотворение Лермонтова «Из Андрея Шенье» (1830—1831), которое перекликается с предсмертными стихами французского поэта и отражает умонастроения самого Лермонтова.

В то время как философия критического рационализма и материализма во Франции XVIII в. утверждала примат природы и ее законов в области мысли и теорий государственного правления, аналогичные принципы декларировались французскими авторами-либертенами (получавшими статус философов) в области человеческих отношений, и прежде всего — отношений между полами. Разными путями утверждалась одна и та же модель — естественной морали, основанной на жизненных инстинктах человека.

Долгое время считалось, что либертинаж как явление французской культуры (и литературы) имел лишь отдаленные отголоски в России, что объяснялось даже не столько мифом о «русской пуританской строгости нравов», сколько особенностями русского языка, не обладающего раскованной игривостью французского, особенно в эротической сфере¹³¹. И все же, несмотря на пресловутую установку русского читателя на целомудрие, о которой

¹²⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 200 (письмо П. А. Вяземского к Пушкину от 4 августа 1825 г.).

¹²⁹ Там же. Т. 13. С. 380 (письмо к П. А. Вяземскому от 4 ноября 1823 г.). О рецепции творчества Шенье в России см.: Гречаная Е. П. Андре Шенье в России // Шенье А. Сочинения 1819. М., 1995. С. 448—459 (Сер. «Литературные памятники»).

¹³⁰ См.: Сандомирская В. Б. 1) Переводы и переложения Пушкина из А. Шенье // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1978. Т. 8. С. 99—103; 2) «Отрывок» в поэзии Пушкина двадцатых годов // Там же. Л., 1979. Т. 9. С. 69—82.

¹³¹ См.: Нива Ж. Опыты русского либертена // Нива Ж. Возвращение в Европу: Статьи о русской литературе. М., 1999. С. 86—89. См. также: Дмитриева Е. Е. Французский либертинаж и его русские отголоски // Мишель Делон. Искусство жить либертена. Французская либертинская проза XVIII века (Кребийон-сын, Жан-Франсуа Бастид, Виван Денон, Оноре Мирабо, принц де Линь и др.). М., 2013. С. 833—860.

писал, в частности, В. В. Сиповский¹³², французских либертенов в России и переводили, и читали в оригинале. По количеству русских переводов на первом месте можно назвать маркиза Ж. Б. Буайе д'Аржана (Аржанса) (Boyer d'Argens, 1704–1771), которому ныне почти единодушно приписывают авторство знаменитого романа «Тереза философ» («Thérèse philosophe», опубл. 1748), оказавшего влияние на «Почту духов» И. А. Крылова¹³³. На русский язык переводили романы Ретифа де ла Бретонна (Бретона) (Retif de la Bretonne, 1734–1806)¹³⁴, был переведен роман «Приключения кавалера Фобласа» («Les amours du chevalier de Faublas», опубл. 1787–1790) Луве де Кувре (Louvet de Couvray, 1760–1797)¹³⁵, «Опасные связи» («Les liaisons dangereuses», опубл. 1782) Шодерло де Лакло (Choderlos de Laclos, 1741–1803)¹³⁶. И если самый известный ныне роман еще одного «либертинского» автора К. П. Кребийона-сына (Crébillon, 1707–1777) «Заблуждение сердца и ума» («Les Egarements du cœur et de l'esprit», 1736) оставался на рубеже XVIII и XIX вв. на русский язык не переведенным, то его продолжение, известное под названием «Le Comte de Saint-Méran, ou les Nouveaux égarements du cœur et de l'esprit», принадлежавшее перу Жозефа де Мемьё (Maimieux), было переведено П. И. Макаровым в 1800 г.¹³⁷. Поразительно рано (в сравнении с другими странами) в России был переведен также и маркиз де Сад (Sade, 1740–1814). В 1806 г. под общим названием «Садиевы повести» в 4-х частях «с одобрения Цензурного комитета» вышли романы «Жюльета и Роне, или Заговор в Амбоазе», «Обольщение двух женщин»; «Мисс Генриетта Стральсон, или Действие отчаяния»; «Факселанж или безрассудное честолюбие». А в 1810 г. была переведена одна из пьес маркиза под названием «Феатр для любовников»¹³⁸. Сразу после смерти графа Оноре-Рикети де Мирабо (Mirabeau, 1749–1791), совместившего в одном лице пламенного трибуна Французской революции и автора весьма гривуазных сочинений, появился перевод на русский язык двух посвященных ему книг: «Торжествующий хамелеон, или

¹³² См.: Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа. СПб., 1909. Т. 1. С. 26.

¹³³ См., например: Разумовская М. В. «Почта духов» Крылова и романы маркиза д'Аржана // Русская литература. 1978. № 1. С. 103—117.

¹³⁴ В 1834 г. была издана также драматическая инсценировка его романа «Совращенный поселянин» («Le Paysan perverti», опубл. 1775): Развращенный поселянин или польза от дружества с злодеем. Драма в трех действиях, взятая с франц. романа «Развращенный поселянин», соч. Ретифа... Переделанная Н. Б. М., 1834.

¹³⁵ О восприятии Луве де Кувре Пушкиным см.: Вольперт Л. И. Пушкин и психологическая традиция во французской литературе. Таллин, 1980. С. 64—101; Невская В. А. Фоблас // Онегинская энциклопедия. М., 2004. Т. 2. С. 643—644.

¹³⁶ Шодерло де Лакло. Вредные знакомства, или Письма, собранные одним обществом для предостережения других. Роман в письмах / Пер. с фр. А. И. Леванда. СПб., 1804—1805.

¹³⁷ Граф де Сен-Меран, или Новая заблуждения сердца и ума. М., 1800.

¹³⁸ Садиевы повести. М., 1806; Сад. Феатр для любовников. М., 1810.

Изображение анекдотов и свойств графа Мирабо» (1792) и «Публичная и приватная жизнь Гонория Гавриила Рикети, графа Мирабо, депутата мещанства и крестьянства ведомства сенешала, что в Э. Посвященная друзьям монархической конституции. Изданием Б. С» (М., 1793) В библиотеке Пушкина имелись французские издания Мирабо, как и сочинения Кребийона-сына и Луве де Кувре¹³⁹. Как и многие другие его современники, в русских переводах этих авторов Пушкин не нуждался.

Отношение к подобным книгам было двойственным. С одной стороны они не входили в разряд тех книг, которые, как писал Пушкин, цитируя при этом А. Пирона, «мать велела б дочери читать»¹⁴⁰. С другой стороны, либертинские романы и их авторы становятся в первой трети XIX в. предметом интереса, особо усилившегося в России в 1810—1830 х гг. вместе с переоценкой русского XVIII в. В первой главе «Евгения Онегина» в качестве хоть и маргинальной, но оттого не менее характерной фигуры, появляется «Фобласа давний ученик»¹⁴¹. Лермонтов в поэме «Сашка», написанной во второй половине 1830-х гг., ностальгически замечает: «...Он слишком молод, чтоб любить / Со всем искусством древнего Фоблаза»¹⁴². «Может ли устоять личное и рукопашное богатырство перед изобретением пороха... Где искать любви после романов Кребийона-сына, Лакло, Луве и Ж. Санда», — напишет не без сожаления П. А. Вяземский¹⁴³.

Влияние французского либертинажа прослеживается и в переписке эпохи. Особенно это касается писем, написанных по-французски. Яркий пример представляет переписка Пушкина в период михайловской ссылки, когда он находил своего рода «отдушину» в общении с обитателями соседнего имения Тригорского. Это общество (хозяйка

¹³⁹ См.: *Модзалевский Б.Л.* Библиотека А. С. Пушкина. (Библиографическое описание). СПб., 1910. С. 227, 291, 329.

¹⁴⁰ *Пушкин А. С.* Евгений Онегин // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 272 (из черновиков второй главы романа).

¹⁴¹ Там же. С. 10.

¹⁴² *Лермонтов М.* Соч.: В 6 т. М.; Л., 1955. Т. 4. С. 74.

¹⁴³ *Вяземский П. А.* Новая поэма Кине // Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 130. Примечательным отголоском в русской литературе еще одного либертинского романа Пиго-Лебрена «Дитя борделя» можно считать обценную балладу М. Н. Лонгинова «Бордельный мальчик» (1852), не только название которой, но также и содержание отчетливо отсылает к французскому прототипу (см.: *Ранчин А. И.* Стихи не для дам М. Н. Лонгинова // Стихи не для дам: Русская нецензурная поэзия второй половины XIX века. М., 1994. С. 51. См. также: *Трунин М. В.* К проблеме комментария к «Чернокнижникову» А. В. Дружинина: Судьбу какого Мильгофера предсказал М. Н. Лонгинов? // Эпические жанры в литературном процессе XVIII—XXI веков: забытое и второстепенное. VII Майминские чтения. 5—9 октября 2011. Псков, 2011. Т. 1. С. 137—146).

Тригорского, ее старшая дочь, ее племянницы, ее сын), в котором царил атмосфера дружбы, флирта, влюбленности, было страстно увлечено перепиской. Письма, их стиль и содержание в значительной степени были обусловлены влиянием знаменитого эпистолярного романа Шодерло де Лакло «Опасные связи»¹⁴⁴.

Черновики «Евгения Онегина» фиксируют те изменения, которые произошли во вкусах поколения, вступившего в литературу в начале 1820-х гг.: «Барон д'Ольбах, Вольтер, Гельвеций», иначе говоря, философы-просветители XVIII в. уступают как властители дум свое место новым авторам, с которыми связывают утверждение романтизма как нового направления в литературе, — Мэтьюрину, Шатобриану, мадам де Сталь, Байрону и Бенжамену Констану¹⁴⁵. Правда, Вяземскому, например, кажется, что его поколение отстало от современной литературы и все еще живет на фундаменте французских XVII–XVIII вв. В своем предисловии к изданию сделанного им перевода романа Констан «Адольф» Вяземский пишет: «Если бы можно было еще чему-нибудь удивиться в странностях современной литературы нашей, то позднее появление на русском языке романа, каков “Адольф”, должно бы было показаться непонятным и примерным забвением со стороны русских переводчиков. Было время, что у нас всё переводили, хорошо или худо, дело другое, по крайней мере охотно, деятельно. Росписи книг, изданных в половине прошлого столетия, служат тому неоспоримым доказательством. Ныне мы более нежели четвертью века отстали от движений литератур иностранных. “Адольф” появился в свет в последнем пятнадцатилетии: это первая причина непереселения его на русскую почву»¹⁴⁶.

Скептическое мнение Вяземского не совсем справедливо. Если обратиться к переводам французской прозы, сделанным в первой трети XIX в., легко увидеть, что наряду с писателями ушедшей эпохи (Вольтером, А. Р. Лесажем, Ж. Ж. Руссо) активно переводились и современные романы Софи Коттен (Sophie Cottin, 1770–1807), мадам де Жанлис (Stéphanie Félicité Brûlart de Genlis, 1746–1830), В. д'Арленкура (Charles-Victor Prévost d'Arlincourt, 1788–1856), мадам де Сталь, Франсуа Рене де Шатобриана (François-René de Chateaubriand, 1768–1848)¹⁴⁷. Их, естественно, читали и в оригинале. Однако следует сказать, что из перечисленных здесь авторов наибольший вклад не только в литературу, но и в общественную и политическую мысль первой четверти XIX в. внесли Шатобриан (Chateaubriand, 1768–1848) и Жермена (Анна-Луиза) де Сталь-Гольштейн

¹⁴⁴ См.: *Вольперт Л. И.* Пушкинская Франция. СПб., 2007. С. 50–80.

¹⁴⁵ *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 438.

¹⁴⁶ *Вяземский П. А.* От переводчика // Констан Б. Проза о любви. М., 2006. С. 34.

¹⁴⁷ См.: *Токарев Д. В.* Французская литература в русских переводах. Проза. С. 68.

(Staël-Holstein, 1766–1817), которым приписывают непосредственно заслугу зарождения романтизма во Франции.

В русском культурном сознании два имени этих писателей, на самом деле очень разных, нередко рифмовались. «Любви нас не природа учит, / А Сталь или Шатобриан» – писал Пушкин¹⁴⁸. Резко критиковавший французскую литературу XVIII в. Н. И. Надеждин восторженно оценил тех, кто «бросил в ее старые, зачерствелые формы закваску нового брожения». Это – «чета талантов, принадлежащих к обоим полам рода человеческого: г-жа Сталь и Шатобриан»¹⁴⁹. Надеждин посчитал, что «влияние сочинительницы превосходного творения о Германии было больше внешнее», а глубокое, «внутреннее» влияние привнес в литературу Шатобриан¹⁵⁰. Именно Шатобриан занимает одно из первых мест в дамских и девичьих альбомах, наполненных выписками из французских авторов.

Во Франции Шатобриан содействовал появлению новой литературы и человека нового типа. Брошюра, озаглавленная «Атала, или Любовь двух дикарей в пустыне» («Atala, ou les Amours de deux sauvages dans le désert», 1801), стала едва ли не самой значительной литературной сенсацией начала века. Женщины и молодежь раскупали книгу нарасхват, в парижских бульварных театрах в течение нескольких месяцев почти ежедневно разыгрывали пантомиму «Атала и Шактас». В то же время сторонники скептической философии, воспитанные на сочинениях Вольтера и Монтескье, пришли в негодование, увидев в книге воскрешение католицизма, осмеянного философией XVIII в. «Старый век отверг ее, новый принял», писал Шатобриан.

Новым в повести, в которой слепой индеец Шактас рассказывает «преследуемому страстями и несчастьями» молодому французу Рене историю своей жизни (прием этот впоследствии использовал и Пушкин в «Цыганах») был не сюжет: описание трогательной любви наивных дикарей встречалось еще во французской литературе XVIII в. Новшеством была страстная проникновенность повествования, ставшего гимном стихийной и неумолимой как смерть любви. К тому же повесть должна была продемонстрировать ту внутреннюю связь, которая существует между христианской религией, природой и

¹⁴⁸ Пушкин А. С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 546 (из черновиков романа).

¹⁴⁹ Надеждин Н. И. Здравый смысл и барон Брамбеус // Телескоп. 1834. Ч. 21. С. 160.

¹⁵⁰ Там же.

страстями человеческого сердца (об этом Шатобриан пишет и в «Гении христианства»¹⁵¹)¹⁵².

Повесть «Рене» была написана как продолжение «Аталы». Неизлечимая меланхолия, с детства овладевшая сердцем Рене, впервые была определена Шатобрианом как болезнь века. А ее носитель породил моду на “человека рока” (как это случилось в свое время и с «Вертером» Гете), которая господствовала во французском обществе, по крайней мере, в течение первых двух десятилетий XIX в. Этот человеческий тип стал прообразом «лишних людей», которые затем стали один за другим появляться во французской и русской литературе¹⁵³.

Рене – один из тех литературных персонажей, к которым генетически восходит пушкинский Онегин. В самом романе Пушкин не раз вспоминает Шатобриана. Во второй главе, в строках «Привычка свыше нам дана / Замена счастию она» он перефразирует размышление Рене: «Если бы я имел еще безрассудство верить в счастье, я бы искал его в привычке»¹⁵⁴. В четвертой главе при описании романов, которые Ленский читает Ольге, сказано: «Он иногда читает Оле / Нравоучительный роман, / В котором автор знает боле / Природу, чем Шатобриан»¹⁵⁵. В пропущенной IX строфе первой главы строки «Мы алчем жизнь узнать заране / Мы узнаем ее в романе / Мы все узнали, между тем / Не насладились мы ничем»¹⁵⁶ представляют собой поэтический вариант портрета «современного человека» из главы «О смутности страстей» трактата «Гений христианства»¹⁵⁷.

Обе повести Шатобриана, «Атала» и «Рене» могли сыграть свою роль в замысле поэм «Кавказский пленник» и «Цыганы», которые принято считать байроническими. «Герой “Кавказского пленника”, – писал В. В. Сиповский, – очень близок Рене и по

¹⁵¹ «Гений христианства» — трактат, для которого в качестве иллюстраций предназначались повесть «Атала» и ее продолжение «Рене», — произвел огромное впечатление на М. Н. Погодина, предпринявшего в 1821 г. полный его перевод (опубликован был только один отрывок в 1828 в «Московском вестнике»).

¹⁵² См.: Дмитриева Е. Е. Франсуа Рене де Шатобриан // Энциклопедия для детей. М., 2001. Т. 15: Всемирная литература. Ч. 2: XIX и XX века. С. 107–108.

¹⁵³ См.: Дмитриева Е. Е. Романтический герой, герой нашего времени, лишний человек: к генеалогии образа // Мир Лермонтова: Коллективная монография. СПб., 2015. С. 443—466.

¹⁵⁴ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 45. Ту же мысль Пушкин перефразирует в 1831 г., незадолго до женитьбы, в письме к Н. И. Кривцову: «До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Il n'est de bonheur que dans les voies communes <Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах — фр.>» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 151).

¹⁵⁵ Там же. Т. 6. С. 84.

¹⁵⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 546.

¹⁵⁷ См.: Мильчина В. А. Шатобриан // Онегинская энциклопедия. Т. 2. С. 722.

характеру и по судьбе... Он, как и Рене, покидает цивилизованный мир и, гонимый за каким-то призраком свободы, является на Кавказ, единственное место в России, где можно встретить романтическую обстановку. Далее интрига развивается совершенно параллельно с той, которая положена в основу повести «Атала»¹⁵⁸. С Рене сравнивали и пушкинского Алеко (оба бросают свет и находят себе пристанище у народа, свободного от цивилизации, и вместе с тем не могут вполне слиться с детьми природы). «Первый из современных французских писателей, учитель всего пишущего поколения...», – подведет итог своему отношению к Шатобриану Пушкин в статье 1837 г. «О Мильтоне и шатобриановом переводе “Потерянного рая”»¹⁵⁹.

Образ Рене, пораженного «болезнью века», несомненно, сыграл определенную роль и в создании характера Печорина¹⁶⁰. Но еще ранее Лермонтов задумывал трагедию, ориентированную на сюжет Шатобриана («В Америке (дикие, угнетенные испанцами. Из романа французского Аттала)»)¹⁶¹.

Увлеченным поклонником Шатобриана был К. Н. Батюшков: «Я всегда плачу, читая “Аталу” <...> Смерть Аталы прекрасна. Пустыня, безмолвие ночи, священник, читающий молитвы отходные, любовник, наконец, умирающая прелестная дева...»¹⁶². В письме к Е. Г. Пушкиной в 1811 г. он писал: «Пришлите еще том этого сумасшедшего Шатобриана, я его очень люблю, а особливо по ночам, тогда, когда можно дать волю воображению»¹⁶³. Впрочем, Батюшкову была понятна и та опасность, которая исходила от прозы Шатобриана, свидетельством чему является его письмо к Н. И. Гнедичу: Шатобриан «признаюсь тебе, прошлого года зачернил мне воображение духами, Мильтоновыми бесами, адом и бог знает чем. Он к моей лихорадке прибавил своей ипохондрии и, может быть, испортил и голову и слог мой: я уже готов был писать поэму в прозе, трагедию в

¹⁵⁸ Сиповский В. В. Пушкин: Жизнь и творчество. СПб., 1907. С. 516.

¹⁵⁹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 144.

¹⁶⁰ См.: Вольперт Л. И. Шатобриан // Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 619—620.

¹⁶¹ Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. С. 374. См.: Вольперт Л. И. Лермонтов и литература Франции. Тарту, 2010. С. 203—204.

¹⁶² Батюшков К. Н. Замечания // Батюшков К. Н. Соч. Т. 2. С. 24. В предисловии к первому изданию «Аталы» Шатобриан предупреждал, что его целью не было исторгнуть из читателя как можно больше слез и что хорошее произведение — совсем не то, которое заставляет больше всего плакать. О том, что некоторые его русские переводчики, напротив, упивались слезами и хотели, чтобы и читатель разделил их чувства, см.: Токарев Д. В. Французская литература в русских переводах. Проза. С. 108.

¹⁶³ Батюшков К. Н. Соч. Т. 2. С. 172.

прозе, мадригалы в прозе, эпиграммы в прозе, в прозе поэтической. Не читай Шатобриана!»¹⁶⁴.

Реликтом опыта, обретенного при чтении Шатобриана, стала известная метафора-афоризм в стихотворении Батюшкова «Счастливец» (1810), заимствованная из повести «Атала»: «Сердце наше – кладезь мрачный: / Тих, покоен сверху вид; / Но спустись ко дну... Ужасно! / Крокодил на нем лежит!»¹⁶⁵. Эту же метафору использовал позже Лермонтов в незавершенном романе «Вадим»: «...на дне этого удовольствия шевелится неизъяснимая грусть, как ядовитый крокодил в глубине чистого, прозрачного американского колодца»¹⁶⁶. Тот же образ, уже в пародийном варианте, он ввел в роман «Княгиня Лиговская», также оставшийся незавершенным.

Считается, что именно с эпохой предромантизма связано зарождение новой чувствительности, превращение классической души в душу романтическую. Почти все писатели эпохи начинают с осмысления чувства и страсти. Шатобриан включает в свой трактат «Гений христианства» главу «О смутности страстей», которую собственно и призваны были иллюстрировать его повести «Атала» и «Рене». Трактатом «О влиянии страстей на счастье отдельных лиц и целых народов» (1796) входит в литературу Ж. де Сталь. В том же году Н. М. Карамзин, переведя ее повесть «Zulma» под названием «Мелина», предварил текст словами о том, что «одна чувствительная женщина может писать такими красками»¹⁶⁷. Как отмечает П. Р. Заборов, эта повесть-исповедь «вполне отвечала настроениям и эстетическим поискам» Карамзина, ориентировавшегося на лирический монолог, порождаемый чувствительной душой¹⁶⁸.

Сильное впечатление на европейскую и русскую публику произвели два романа де Сталь – «Дельфина» («Delphine», 1802) и «Коринна, или Италия» («Corinne ou l'Italie», 1807). О романе «Дельфина» в 1803 г. сообщил карамзинский «Вестник Европы», а в 1803—1804 гг. увидел свет его русский перевод. Критика в целом была сдержанной, что, возможно, объяснялось непривычным для русского читателя соединением в одном романе, с одной стороны, «приятного и занимательного» а, с другой стороны, «философии, метафизики и утонченных понятий»¹⁶⁹. В этом произведении «припадки страсти следуют за припадками философии», писал французский критик, чья рецензия вышла в русском

¹⁶⁴ Там же. С. 24.

¹⁶⁵ Там же. Т. 1. С. 236.

¹⁶⁶ Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. Т. 6. С. 35.

¹⁶⁷ Сталь А. Л. Ж. де. Мелина / Пер. Н. Карамзина. М., 1796.

¹⁶⁸ Заборов П. Р. Россия и Франция: Литературные и культурные связи. СПб., 2011. С. 197.

¹⁶⁹ Московские ведомости. 1804. № 16.

переводе в «Вестнике Европы»¹⁷⁰). Но у читающей публики роман вызвал определенный интерес. В 1812 г. Н. И. Тургенев записал в дневнике: «...после обеда читал “Дельфину”: прекрасная книга»¹⁷¹. Долгое время считалось, что героиней романа воображала себя и пушкинская Татьяна («Воображаясь героиней / Своих возлюбленных творцов, / Кларисой, Юлией, Дельфиной, / Татьяна в тишине лесов. / Одна с опасной книгой бродит...»¹⁷²)¹⁷³.

Большим успехом пользовался второй роман г-жи де Сталь «Коринна, или Италия», задуманный под впечатлением оперы «La Saalnice», которую Сталь слушала в Веймаре в 1804 г. Оперная история невозможной любви нимфы и кавалера, покидающего ее ради обыкновенной смертной превратилась в историю любви блистательной поэтессы к человеку, который в конце концов отдает предпочтение прелестной, но обычной девушке. Роман стал первым произведением во французской литературе, посвященным судьбе женщины-художника и одним из первых текстов, в котором была воплощена новая эстетика, в которой увидели предвестие французского романтизма. Помимо всего прочего, «Коринна» познакомила соотечественников Ж. де Сталь с культурой Италии. Для франкоцентричной Франции это было внове, и в этом смысле книга сыграла для нее почти ту же роль, какую в Германии сыграло «Итальянское путешествие» (1786; опубл. в 1816–1817) Гете. С юности интересовавшаяся проблемой национального характера, Ж. де Сталь не случайно сталкивает в своем романе представителей трех наций: Италии (Коринна), Франции (граф д'Эрфейль), Англии (Освальд).

В 1809—1810-х гг. вышел полный русский перевод «Коринны», но читали его преимущественно по-французски. Н. И. Тургенев познакомился с романом в оригинале во время своего путешествия по Италии: он пишет об этом в дневнике, приводя французскую цитату из романа¹⁷⁴. Оценил роман госпожи де Сталь К. Н. Батюшков: в письме к сестре от 9 августа 1812 г. он написал, что видел в Петербурге у графини С. В. Строгановой «славную сочинительницу “Коринны” и “Дельфины”», отметив при этом, что она «дурна как черт, и умна как ангел»¹⁷⁵. Обдумывая состав первого тома своих переводов из итальянской литературы, он, в качестве введения, поставил «Похвалу Италии из m-me de Staël» —

¹⁷⁰ См.: Токарев Д. В. Французская литература в русских переводах. Проза. С. 108.

¹⁷¹ Архив братьев Тургеневых. СПб., 1913. Вып. 3. С. 209.

¹⁷² Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 55

¹⁷³ Высказывалось и другое мнение, согласно которому Пушкин скорее имел в виду героиню переведенного Карамзиным нравоучительного рассказа Мармонтеля «Школа дружества» («L'école de l'Amitié»). См.: Шарыпкин Д. М. Пушкин и «Нравоучительные рассказы» Мармонтеля // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1978. Т. 8. С. 109.

¹⁷⁴ Архив братьев Тургеневых. СПб., 1913. Вып. 3. С. 149—150.

¹⁷⁵ Батюшков К. Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 226.

импровизацию Коринны на Капитолии. Популярен был в то время не только романый, но и живописный образ Коринны. В повести М. П. Погодина «Сокольницкий сад» (1829) главная героиня переводит де Сталь и украшает свой кабинет репродукцией выставленной в парижском Салоне 1822 г. картины Фр. Жерара «Коринна на Мизенском мысу», иллюстрирующей знаменитую сцену из романа¹⁷⁶. Поэтические импровизации Коринны, отразившие романтическую моду на спонтанное излияние чувств, оказали влияние на творчество «северной Коринны», поэтессы Анны Петровны Буниной (1774–1829).

Среди философских и теоретических сочинений де Сталь, особо сильный резонанс имела ее книга «О Германии» («De l'Allemagne», 1810), ставшая первой систематической критикой классической традиции. Стремясь познакомить соотечественников с незнакомой им культурой и опровергнуть представление о превосходстве Франции над другими народами, Сталь критиковала классиков с их приверженностью к установленным традициям. Книга мадам де Сталь, имевшая непростую судьбу (отпечатанный в 1810 г. тираж был по приказанию Наполеона уничтожен, и книга вышла в Англии только в 1813 г.), стала источником знакомства с философией, культурой и литературой Германии. Пушкинский Онегин «знал немецкую словесность / По книге госпожи де Сталь»¹⁷⁷. Во время своего пребывания в Петербурге в 1812 г. мадам де Сталь читала из нее отдельные главы. С 1814-го до середины 1820-х гг. в русской печати появлялись переводы отрывков из книги¹⁷⁸.

П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу осенью 1814 г.: «Пришли мне, если можно, новое издание сочинения г-жи Сталь о Германии, нет ли здесь человека, которому мог я отдать бы деньги за него или научи какому-нибудь другому средству»¹⁷⁹. А в 1826 г., публикуя в «Московском телеграфе» цикл «Писем из Парижа» и называя имена «деятельнейших побудителей нового движения в литературе французской», Вяземский среди них первой назовет мадам де Сталь: «...ее можно назвать Лютером французской литературы, а книгу ее “О Германии”— кормчею книгою французского литературного протестантизма»¹⁸⁰.

¹⁷⁶ См.: Заборов П. Р. Жермена де Сталь в русской литературе первой трети XIX в. // Заборов П. Р. Россия и Франция. С. 198–206.

¹⁷⁷ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 219 (из черновиков романа).

¹⁷⁸ См., например: Гёте, Виланд и Шиллер, изображенные госпожою Сталь (Из ее нового сочинения о Германии) / Пер. [И. И. Пущин] // Вестник Европы. 1814. Ч. 77. № 18. С. 120–127; № 19. С. 181–190.

¹⁷⁹ Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 1. С. 25.

¹⁸⁰ Московский телеграф. 1826. Ч. 12, № 22. С. 63.

Сочинение «О Германии», в котором отразился глубокий интерес автора к представителям другой культуры, способствовало формированию интереса к национальному своеобразию, отечественному и зарубежному. О. М. Сомов в брошюре «О романтической поэзии» (1823) ссылается на книгу мадам де Сталь, отмечая, что «славная писательница» служила ему «путеводителем» по европейским литературам. В заглавии статьи «О поэзии классической и романтической» (1825) Пушкин повторяет название одной из глав книги «О Германии» – «De la poésie classique et de la poésie romantique». Пушкину близка мысль госпожи де Сталь о том, что писатели, основывающиеся на опыте и правилах древней поэзии, не могут быть народными. Народной может быть литература, созданная под влиянием собственной религии, истории, общественных установлений. Эту мысль Пушкин развивал в наброске статьи «О народности в литературе». Полярную точку зрения представлял А. Родзянка: в поэтическом отрывке «Два века» (1822), иронизируя над новейшей словесностью, отказавшейся от «прекрасного идеала, веками освященного», он обвинил в наступившем хаосе «Сталь кипящую, плененную собою»¹⁸¹.

Необычайно сильное впечатление на русских либералов произвела книга де Сталь «Взгляд на главные события Французской революции» («*Considérations sur les principaux événements de la Révolution française*», 1818). Этот посмертно вышедший труд с интересом читали братья Н. И. и А. И. Тургеневы, П. А. Вяземский, И. И. Пущин, Н. М. Карамзин (последний, правда, был единственным, кто оценил книгу скептически). Взгляды Пушкина на конституционную политическую систему, на роль аристократии во многом совпадали с высказанными в этой книге взглядами мадам де Сталь. Она вообще была для него особенной фигурой: «*M-me de Staël* наша – не тронь ее»¹⁸². Пушкин был благодарен за «доброжелательство» и «снисходительность»¹⁸³ с которыми она написала о России в «Десятилетнем изгнании» (опубл. 1821). Полемически откликаясь на роман М. Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831), Пушкин представил де Сталь в собственном незавершенном романе «Читая Рославлева...» (1831) в качестве действующего лица, желая почтить «славную память» «необыкновенной женщины»¹⁸⁴.

В наброске статьи «О причинах, замедливших ход нашей словесности» Пушкин высказал мысль о назревшей необходимости создания языка русской прозы: «У нас еще

¹⁸¹ Поэты 1820—1830х годов. Л., 1972. Т. 1. С. 165 (Б-ка поэта. Большая сер.). См.: Вацуро В. Э. Пушкин и Аркадий Родзянка // Временник Пушкинской комиссии. 1969. Л., 1971. С. 63.

¹⁸² Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 227 (письмо к П. А. Вяземскому от сентября 1825).

¹⁸³ Пушкин А. С. О г-же Сталь и о Г. А. М-ве // Там же. Т. 11. С. 27.

¹⁸⁴ Там же.

нет ни словесности, ни книг, все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке; просвещение века требует важных предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснились — метафизического языка у нас вовсе не существует; проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены *создавать* обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных; и леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы уже давно готовы и всем известны»¹⁸⁵. Речь шла, таким образом, о метафизическом языке прозы, способном транслировать темы, мало освоенные русским сознанием¹⁸⁶. Выработке такого языка должен был способствовать, по мысли Пушкина, предпринятый П. А. Вяземским перевод романа Б. Констан (Constant, 1767–1830) «Адольф, повесть, найденная в бумагах неизвестного» («*Adolphe, anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu*», 1816). В кратком анонсе 1830 г., предварявшем выход перевода, Пушкин писал, цитируя «Евгения Онегина»: «Князь Вяземский перевел и скоро напечатает славный роман Бенж. Констан. “Адольф” принадлежит к числу двух или трех романов

В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

Бенж. Констан первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона. С нетерпением ожидаем появления сей книги. Любопытно видеть, каким образом опытное и живое перо кн. Вяземского победило трудность метафизического языка, всегда стройного, светского, часто вдохновенного. В сем отношении перевод будет истинным созданием и важным событием в истории нашей литературы»¹⁸⁷.

¹⁸⁵ Там же. С. 21.

¹⁸⁶ О том, что вкладывал Пушкин в понятие «метафизического» языка, см.: *Мильчина В. А.* «Адольф» Бенжамена Констан в переводе П. А. Вяземского: поиски «метафизического языка» // Вестник истории, литературы, искусства. М., 2006. Т. 2. С. 128–138. Альтернативную версию см.: *Токарев Д. В.* На пути к «метафизическому языку»: Шатобриан, мадам де Сталь и Констан // История русской переводной художественной литературы. 1800—1825. С. 100–122.

¹⁸⁷ *Пушкин А. С.* О переводе романа Б. Констан «Адольф» // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 87.

«Адольф» быстро стал фактом не только французской, но и русской культуры. Более того, русские читатели, в частности литераторы пушкинского круга, оценили роман раньше французских. И если 1839 г. стал, по выражению французских комментаторов, годом «воскрешения» романа после почти полного забвения¹⁸⁸, то в России на 1831 г. пришелся, стараниями Пушкина и Вяземского, пик интереса к нему и публичного его обсуждения¹⁸⁹.

Роман поразивший русских читателей сочетанием лирической исповеди и глубокого анализа движений сердца¹⁹⁰, увлек их задолго до того, как Вяземский приступил к своему переводу, который, надо сказать, не был первым. Анонимный перевод «Адольф и Елеонора, или Опасности любовных связей, истинное происшествие» появился еще в 1818 г., правда «строгое, абстрактное письмо Констанана» приобрело в этом переводе «черты низовой “чувствительной” прозы»¹⁹¹, что чувствуется уже по второй, разъяснительной части заглавия. «Адольфа», конечно, читали и в подлиннике.

Почти одновременно с переводом Вяземского появился перевод Н. А. Полевого (опубл. в «Московском телеграфе» в 1831 г. Ч. 37, № 1—4). Принадлежность Вяземского и Полевого к соперничающим литературным лагерям вызвало резко отрицательное отношение каждого из них к работе оппонента, при том, что оба перевода имели, как свои достоинства, так и свои недостатки¹⁹². На Пушкина роман Констанана оказал самое сильное влияние: сам тип героя, созданного в «Евгении Онегине», во многом восходит не только к байроновскому Чайльд Гарольду, но и к Адольфу. В черновике первой главы романа характеризующая героя строчка «Как Child Harold угрюмый, томный» первоначально читалась: «Но как Адольф угрюмый томный»¹⁹³. Автор «Онегина» считал Констанана первым, кто «вывел на сцену сей характер»¹⁹⁴. Помимо реминисценций и текстуальных

¹⁸⁸ См.: *Delbouille P.* Genèse, structure et destin d'Adolphe. Liège, 1971. P. 419.

¹⁸⁹ См.: *Мильчина В. А.* О Бенжамене Констане и его автобиографической прозе // Констан Б. Проза о любви. М., 2006.

¹⁹⁰ Позже А. А. Ахматова писала о том, что в «Адольфе» открытием Констанана стало изображение раздвоенности человеческой психики (см.: *Ахматова А. А.* «Адольф» Бенжамена Констанана в творчестве Пушкина // Ахматова А. А. О Пушкине. Статьи и заметки. М., 1989. С. 63.

¹⁹¹ *Мильчина В. А.* «Адольф» Бенжамена Констанана в переводе П. А. Вяземского. С. 135.

¹⁹² См.: *Вольперт Л. И.* «Адольф» Бенжамена Констанана в переводах П. А. Вяземского и Н. А. Полевого // Пушкин и его современники. Псков, 1970. С. 161–178.

¹⁹³ *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 244.

¹⁹⁴ *Пушкин А. С.* «О переводе романа Б. Констанана «Адольф»» // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 87.

параллелей Пушкин заимствует из романа Константа «психологическую терминологию любовных переживаний» – не только в романе в стихах, но и в других произведениях¹⁹⁵.

Сам Вяземский, прочитав «Адольфа» еще в 1816 г., взялся за его перевод лишь в конце 1820-х гг., когда во французскую литературу уже вошло поколение, родившееся вместе со столетием и оформившее романтизм как движение, имеющее свою программу, свои манифесты, кружки и сенакли (фр. *sénaclé* – от лат. *sepa* – трапеза – литературные содружества). Его окончательная победа над «стариками-классицистами» была ознаменована премьерой драмы В. Гюго «Эрнани» (1830).

В России середины 1820-х гг. самым переводимым и читаемым поэтом этого поколения стал Альфонс де Ламартин (*Lamartine*, 1790–1869), затмивший двумя своими стихотворными сборниками «Поэтические размышления» («*Méditations poétiques*», 1820) и «Новые поэтические размышления» («*Nouvelles méditations poétiques*», 1823) поэтических кумиров прежних лет: Парни, Мильвуа, Шенье. Критики впоследствии расценили книгу 1820-го г. как один из первых манифестов французского романтизма, а сам Ламартин был воспринят как глашатай новых, спиритуалистических веяний, пришедших на смену материализму XVIII в. Это была революция не столько в области поэтического языка, который оставался во многом зависимым от классических клише «благородного» стиля XVIII в., сколько в области его музыкальной природы: особый ритм, не подчиняющийся никаким правилам, но передающий движение мысли и сердца, оригинальная комбинация строк – все это придавало поэзии совершенно новое звучание. Новыми у Ламартина были и описания природы – трагического зеркала, в котором отражается герой, обреченный на одиночество и бесконечную печаль. Но самое главное заключалось в том, что впервые (может быть, после Мильвуа и Парни, чей талант был более скромным) Ламартин придал своим стихам видимость личной исповеди. Свою поэзию он уподоблял «сердцу, убаюкивающему себя собственными рыданиями»¹⁹⁶.

Будущий политический деятель «вошел в русскую литературную жизнь с необычайной стремительностью: почти одновременно к его творчеству обратилось множество переводчиков. <...> Для них эта столь личная и одухотворенная религиозным чувством элегическая поэзия была новым словом, созвучным их собственным настроениям и пристрастиям»¹⁹⁷. В «Графе Нулине» Пушкин называет его, вместе с В. д'Арленкуром,

¹⁹⁵ См.: *Ахматова А. А.* «Адольф» Бенжамена Константа в творчестве Пушкина. С. 51–89.

¹⁹⁶ *Lamartine A.* Première préface des *Méditations* // *Œuvres complètes de Lamartine*. Т. 1. Р. 21.

¹⁹⁷ См.: *Заборов П. Р.* Французская литература в русских переводах. Поэзия. С. 65.

как пример модного писателя («Какой писатель нынче в моде? / — *Всё d’Arlincourt и Ламартин*»¹⁹⁸). М. П. Погодин сетует, что русские дамы «ничего не хотят знать, кроме известий о модах и элегий Ламартиновых»¹⁹⁹. «Ламартин из новейших поэтов французских более других знаком читателям нашим – пишет о нем Вяземский. <...> Он у нас в особенности поэт женского пола. <...> Любовь есть струна, которая более других звучит под рукою Ламартина, и любовь точно такая, какую женщины любят, по крайней мере в стихах. <...> Спросите у поклонников французского поэта, что им нравится в его стихотворениях? – А меланхолические аксиомы, подобно следующей, отвечают они: «*Un seul être me manque et tout est dépeuplé*»²⁰⁰ <...> Успех его изъясняется первыми успехами Шатобриана, не сравнивая дарований того и другого. Один в прозе, другой в стихах пробудили в душе чувства, которые редко вызываемы были со дна ее французскими прозаиками и поэтами. <...>. Шатобриан был благовестником религии, Ламартин любви, полной мистицизма, любви религиозной, равно чуждой волокитства и утонченной порочности регенства во Франции и, так сказать, чистой, непорочной чувственности древнего классицизма...»²⁰¹.

«В отличие от “русского Шенье”, “русский Ламартин” был явлением относительно недолговечным»²⁰²: романтическое движение уходило в прошлое, интерес к Ламартину во Франции, постепенно сошел на нет²⁰³, угас он и в России. Пушкин, внимательно следивший за современной французской литературой, почитателем Ламартина не стал, находя его «сладкозвучным, но однообразным»²⁰⁴. Еще более резко отзывается о Ламартине в письме к Пушкину И. И. Козлов, прочитав его поэму «Последняя песнь Чайльд Гарольда» (после смерти Байрона, в 1825 г. Ламартин от имени Байрона, талантом которого он восхищался, но чей бунтарский дух осуждал, написал продолжение знаменитой поэмы): «...несмотря на отдельные прекрасные стихи, это <...> галиматья в квадрате»²⁰⁵.

¹⁹⁸ *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 7.

¹⁹⁹ *Погодин М. П.* Ответ издателя на письмо к нему, помещенное в 4 книжке «Московского вестника» // *Московский вестник*. 1827. Ч.1, № 2. С. 148.

²⁰⁰ Нет в мире одного и весь мир опустел (*фр.*) (пер. Ф. И. Тютчева).

²⁰¹ *Вяземский П. А.* О Ламартине и современной французской поэзии // *Вяземский П. А. Соч.*: В 2 т. Т. 2. С. 142–145.

²⁰² *Заборов П. Р.* Французская литература в русских переводах. Поэзия. С. 65.

²⁰³ Во Франции восторг современников сменился почти враждой нового поколения. Флобер писал: «Говорят, Ламартин при смерти: вот уж нисколько о нем не жалею <...> Вот кому обязаны мы наводящей зеленую тоску чахоточной лирикой» (письмо к Луизе Коле от 6 апреля 1853 – *Флобер Г.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1956. Т. 5. С. 98).

²⁰⁴ *Пушкин А. С.* <Об Альфреде Мюссе> // *Пушкин А. С. Полн. собр. соч.* Т. 11. С. 175.

²⁰⁵ Там же. Т. 13. С. 177 (письмо от 31 мая 1825 г.; подлинник по-фр.).

Как во Франции, так и в России невероятным успехом пользовались песни Пьера-Жана Беранже (Béranger, 1780—1857). Он привлекал внимание поэтов старшего поколения – И. И. Дмитриева, В. Л. Пушкина. «Остроумные песни г. Беранжера, из коих некоторые равняются в достоинстве с одами, заслуживают быть в числе лучших из песен наших, и составляли бы драгоценное собрание для любителей изящной поэзии и здоровой философии» — такую оценку из «Обозрения французской литературы 1818 года» опубликовал «Сын отечества»²⁰⁶. Вяземский, жаркий поклонник творчества Беранже, считавший его «просто песенником; но при том по дарованию едва ли не первым поэтом Франции»²⁰⁷, уговаривал Пушкина сделать переводы его сочинений. Но тот отзывался о Беранже пренебрежительно, хотя его следы в творчестве Пушкина встречаются²⁰⁸.

За оскорбление «общественной и религиозной морали» и «возбуждение ненависти и презрения» к правительству²⁰⁹ Беранже дважды приговаривался к тюремному заключению (1821 и 1828 гг.). В обоих случаях это способствовало росту популярности поэта. Его навещали многочисленные друзья и поклонники. Ж. Жанен написал о том, что Беранже отовсюду получал письма и послания, и даже из Российской глубинки («du fond de la Russie») ему пришел адрес с выражением уважения за множеством подписей²¹⁰. Судя по всему, откликом на судебный процесс 1828 г., имевшем громкий резонанс не только во Франции, явилось стихотворение юного М. Ю. Лермонтова «Веселый час» (1829), имевшее пояснение: «Стихи в оригинале найдены на стенах одной государственной темницы». На слова Беранже «Я очень весело провел трехмесячное заключение в Сент-Пелажи» Лермонтов отвечает: «Тот счастлив, в ком ни раз / Веселья дух не гас. / Хоть он всю жизнь страдает, / Но горесть забывает / В один веселый час»²¹¹.

Если французская словесность XVII—XVIII вв. являлась литературой устоявшихся правил, традиций, репутаций, то художественное творчество Франции 1820—1830-х гг. было для авторов русского Золотого века современным. Это был уже не тот

²⁰⁶ Сын отечества. 1819. № 58, кн. 49. С. 130.

²⁰⁷ Вяземский П. А. Письмо из Парижа // Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. С. 63.

²⁰⁸ См., например: Винницкий И. Ю. Фальшивый песнопевец. История одной поэтической ошибки Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. СПб., 2024. Вып. 38. С. 138–190; Мазур Н. Н. Пушкин и Беранже: К источникам фабулы «Графа Нулина» // The Real life of Pierre Delande. Studies in Russian and Comparative Literature to honor Alexander Dolinin. P. 1. Stanford, 2007. P. 38–51.

²⁰⁹ См.: Любович Н. «Веселый час» // Литературное наследство. М., 1952. Т. 58. С. 373.

²¹⁰ Janin J. Béranger et son temps. Paris, 1866. P. 119.

²¹¹ Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М.; Л., 1954. Т. 1. С. 18. См.: Любович Н. «Веселый час». С. 373–378.

апробированный материал, на который можно было опираться в собственных творческих поисках. Речь шла о современниках, сочинения которых сопоставлялись с отечественными: «...это было живое восприятие чужой литературы, непрерывно и неизбежно соотносимое с тем, что происходило дома, что здесь интересовало и волновало»²¹².

У Пушкина был замысел написать статью «О новейших романах» (1832), в которой он, видимо, думал сопоставить французское и отечественное творчество в этом жанре. В наброске плана были названы В. Гюго, Э. Сю и А. де Виньи²¹³, перечислены три романа Ж. Жанена и четыре произведения Бальзака. О том, каковой могла быть направленность статьи, можно судить по написанному тогда же письму к М. П. Погодину: «...хочется мне уничтожить, показать всю отвратительную подлость нынешней французской литературы. Сказать единожды вслух, что Lamartine скучнее Юнга, а не имеет его глубины, что Béranger не поэт, что V. Hugo не имеет жизни, т. е. истины, что романы A. Vigny хуже романов Загоскина <...> Я в душе уверен, что 19 век, в сравнении с 18-м, в грязи (разумею, во Франции). Проза едва-едва выкупает гадость того, что зовут они поэзией»²¹⁴. Был, однако, поэт-современник, которого Пушкин противопоставил Ламартину, Гюго, Делорму, который «книжечкой сказок и песен» «произвел ужасный соблазн»²¹⁵ – это был Альфред де Мюссе (Musset, 1810–1857). Под впечатлением его сборника «Испанские и итальянские сказки» (1829) в Болдинскую осень 1830 г. Пушкин начинает критическую заметку о

²¹² Михайлов А. Д. Из истории переводов Бальзака в России // Оноре де Бальзак: денди и творец: Исследования. Материалы. Каталог выставки. Альбом. М., 1997. С. 76.

²¹³ В черновом варианте стихотворения «Калмычке» (1829) Пушкин, перечисляя пристрастия светских дам, упоминает Ламартина. В белой редакции вместо Ламартина назван Альфред де Виньи (Vigny, 1797–1863) (см.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 159, 725). Его популярность как автора одного из первых успешных французских исторических романов «Сен-Мар, или заговор в царствование Людовика XIII» («Cinq-Mars, ou Une conjuration sous Louis XIII», опубл. 1826), написанных в подражание В. Скотту, не уступала славе Ламартина. А. Н. Вульф пишет в дневнике 9 ноября 1830 г.: «...читал “Сен-Мара”. Перевод этого прекрасного романа Альфреда де Виньи довольно хорош, а достоинства романа признаны всеми» (Любовные похождения и военные походы А. Н. Вульфа: Дневник 1827—1842. Тверь, 1999. С. 145). Пушкин, напротив, видя в сочинении Виньи подражание В. Скотту, охарактеризовал его как «бледную дурную литографию» (Пушкин А. С. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 364). В 1832 г. Пушкин напишет М. П. Погодину, что романы де Виньи «хуже романов Загоскина» (Там же. Т. 15. С. 29). Популярность у широкого читателя «удивительных вымыслов В. Юго и графа де Виньи» (Пушкин А. С. <О Мильтоне и Шатобриновом переводе «Потерянного рая» > // Там же. Т. 12. С. 143) Пушкин связывал либо с незнанием собственной истории, либо с увлекательностью старинных сюжетов.

Считается, что на лермонтовского «Демона» (1829–1839) повлияла мистическая поэма «Элоа, или Сестра ангелов» де Виньи (A. de Vigny. «Eloa, ou la Sœur des anges», 1824) (см.: Вольперт Л. И. Виньи // Лермонтовская энциклопедия. С. 86).

²¹⁴ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 29.

²¹⁵ Пушкин А. С. <Об Альфреде Мюссе> // Там же. Т. 11. С. 175.

порадившем его поэте, под впечатлением от прочитанного он пишет стихотворение «Паж, или Пятнадцатый год», в поэме «Домик в Коломне», в некоторых других болдинских сочинениях заметны следы поэзии Мюссе²¹⁶. Пушкину близок ироничный взгляд Мюссе на возвышенный стиль современных авторов, ему импонирует позиция поэта, который о нравственности «не думает, над нравоучением издевается»²¹⁷.

Ведущаяся во Франции полемика между новым литературным направлением и сторонниками классики захватывает и Россию. Ф. Ф. Вигель описывает обед у И. И. Дмитриева в 1827 г., где «литераторы» и «полулитераторы» спорили о романтизме и классицизме: «...едва подозревал я существование первого <т. е. романтизма>, а тут познал, сколько силы он уже успел приобрести». Затем Вигель рассказывает о французе, который приехал в Москву «с тем, чтобы на публичных лекциях преподавать новейшую французскую литературу <...> Он с глубоким презрением говорил о Расине, о Буало и даже о поэтическом таланте Вольтера, и все называл новейших писателей, Виктора Гюго и других»²¹⁸.

Резко судил о современной французской литературе В. А. Жуковский. В 1835 г. он писал А. С. Стурдзе: «Направление нынешней литературы, и в особенности французской, для меня ненавистно. Дерзкий материализм в ней царствует. Читая новые французские романы (впрочем, я их не читаю: прочитав некоторые, я решился не брать в руки ничего, что является в свет под фирмою Бальзаков, Жаненей и братии), пугаешься не их содержания, а самих авторов»²¹⁹.

Эти «пугающие» авторы – Виктор Мари Гюго (Hugo, 1802–1885) как автор книги «Последний день приговоренного к смерти» и Жюль Жанен (Janin, 1804–1874), автор романа «Мертвый осел и гильотинированная женщина», а также Оноре де Бальзак (Balzac, 1799–1850) – их называли представителями «юной французской литературы», или «неистойвой словесности»²²⁰. Определение «юная» подразумевало «современная»: «Мы беспрерывно браним юных французских словесников» писал Ф. В. Булгарин в «Северной

²¹⁶ См.: Дмитриева Н. Л. «Испанские и итальянские сказки» Мюссе и «Болдинская осень» Пушкина // Пушкин и его современники: Сб. научн. трудов. Вып. 4 (43). СПб., 2005. С. 312–318.

²¹⁷ Пушкин А. С. <Об Альфреде Мюссе>. С. 175.

²¹⁸ Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 2. С. 293.

²¹⁹ Жуковский В. А. Эстетика и критика. М., 1986. С. 374–375.

²²⁰ Эпитет «неистовая» или «фрэнетическая» происходит от фр. *frénétique* – бешеный, неистовый. Французская фрэнетическая литература – один из изводов французского романтизма, но под это понятие могут подпадать и более ранние сочинения – те, которые связаны с мотивами смерти, ужаса, страданий. См.: Glinoe A. La littérature frénétique. Paris, 2009; Pézard E. Le romantisme frénétique. Histoire d'une appellation générique et d'un genre dans la critique de 1821 à 2010. Paris, 2012.

пчеле» 15 января 1836 г.. Френетические сочинения успешно завоевывали книжный рынок. Невероятной популярностью и во Франции, и в России пользовались романы Ш.-В. д'Арленкура (d'Arlinecourt, 1788–1856)²²¹.

В России термин «неистовая словесность» «закрепился исключительно за литераторами, которые вступили на литературное поприще во второй половине 20-х – начале 30-х годов»²²². В 1832 г. в «Северной пчеле» (№ 88, 19 апреля) появилась рецензия на вышедший в 1832 г. сборник трех французских авторов – О. де Бальзака, Ш. Рабу и Ф. Шаля, в которой новые литературные тенденции были названы «неистовой литературой» – «термин новый и не вовсе неудачный в применении своем к созданиям современных ультра-романтиков французских»²²³.

Любопытно отношение Пушкина к двум названным выше романам Гюго и Жанена – первый вызывает его крайне негативное отношение: «Поэт Гюго не постыдился <...> искать вдохновений» в записках «полицейского шпиона»²²⁴. Между тем роман Жанена Пушкин называет в 1830 г. «одним из самых замечательных сочинений настоящего времени»²²⁵. Однако в 1836 г. он все же скажет: «...оригинальные романы, имевшие у нас наиболее успеха, принадлежат к роду нравоописательных и исторических. Лесаж и Вальтер Скотт служили им образцами, а не Бальзак и не Жюль Жанен»²²⁶. Но в том же самом году было высказано и прямо противоположное суждение: в статье «Словесность. Настоящий момент и дух нашей литературы» Ф. В. Булгарин обратил внимание на то значительное влияние, которое «неистовая словесность» оказывает на русскую литературу: «Мы беспрерывно браним юных французских словесников, а все почти нынешние наши произведения отзываются Виктором Гюго, Жаненом, Бальзаком и т. п.»²²⁷.

²²¹ См. подробнее: *Токарев Д. В.* Френетические романы Шарля Виктора д'Арленкура // История русской переводной художественной литературы 1800—1825 гг. С. 98—100. О популярности романов д'Арленкура см. также: *Дмитриева Н. Л.* О «модном» писателе 1820-х годов (Ш. В. д'Арленкур) // Временник Пушкинской комиссии. СПб., 2022. Вып. 36. С. 118–121.

²²² См.: *Дмитриева Е. Е.* Незавершенный отрывок Пушкина «Одни стихи ему читала»: (К проблеме Пушкин и Жюль Жанен) // Незавершенные произведения А. С. Пушкина: Материалы научной конференции. М., 1993. С. 58.

²²³ Северная пчела. 1832. № 88, 19 апр.

²²⁴ *Пушкин А. С.* <О Записках Самсона> // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 94.

²²⁵ Там же. Т. 14. С. 81, 408 (письмо к В. Ф. Вяземской от конца апреля 1830; оригинал по-фр.).

²²⁶ *Пушкин А. С.* Мнение М.Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной // *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. Т. 12. С. 71. Впервые: Современник. 1836. Кн. III.

²²⁷ Северная пчела. 1836. № 11, 15 января.

Часто непоследовательный в своих суждениях Пушкин, хотя и характеризовал предисловие к трагедии «Кромвель» (1827), считавшееся манифестом романтизма, как «одно из самых нелепых произведений»²²⁸, находил у Гюго «истинное дарование»²²⁹, назвав его и Ш.-О. Сент-Бёва²³⁰ «бесспорно единственными французскими поэтами» своего времени²³¹. Особое внимание у русской публики вызвал роман Гюго «Собор Парижской богоматери» (1831). В мае 1831 г. Пушкин пишет Е. М. Хитрово: «Можно ли уже получить “Собор Парижской богоматери”?»²³². И. И. Панаев вспоминал: «Я узнал о “Notre-Dame de Paris” из “Московского телеграфа”. Вскоре после этого весь читающий по-французски Петербург начал кричать о новом гениальном произведении Гюго. Все экземпляры, полученные в Петербурге, были тотчас расхвачены. Я едва достал для себя экземпляр и с нервическим раздражением приступил к чтению»²³³. Сестра Пушкина, О. С. Павлица, писала мужу в августе 1831 г. о произведенном романом «фуроре» (fureur): «о романе говорят в гостиных и на улице»²³⁴. Среди тех, кого энтузиазм в отношении творчества Гюго не затронул, был С. Н. Глинка: «Упомянув о тех днях, когда жил мой прадед, я не утверждаю, будто бы тогда был золотой век невинности, любви и благодати семейственной. Было и тогда так же, что Виктор Гюго мог бы переселить в тьму кромешную драм своих»²³⁵.

²²⁸ Пушкин А. С. <О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая»>. С. 138.

²²⁹ Пушкин А. С. <Начало статьи о В. Гюго> // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 219.

²³⁰ Ш.-О. Сент-Бёва (Sainte-Beuve, 1804–1869) Пушкин ценил за «сухую точность», «свежесть и чистоту», отличавшую его от других поэтов-романтиков. Эти черты отвечали его собственным эстетическим взглядам. В 1831 г. Пушкин опубликовал в «Литературной газете» (№ 32) рецензию на два поэтических сборника Сен-Бёва.

²³¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 93–94 (письмо к Е. М. Хитрово от 19–24 мая; оригинал по-фр.). Существует мнение, что серьезное внимание Пушкина к творчеству Гюго (следы его чтения встречаются в сочинениях Пушкина) в сочетании с его ярко выраженным неприятием может объясняться ревнивым отношением к европейской славе французского писателя. Оба автора, независимо друг от друга, обращались к схожим темам и жанрам, но получалось, что Гюго «опережал» Пушкина: так, о «Борисе Годунове» Пушкина говорили, что он написан в подражание «Кромвелю» Гюго (Пушкин сам писал об этом Плетневу 7 января 1831 г.), хотя «Годунов» написан в 1825 г., а драма Гюго была опубликована в 1827 г. Кроме того, в 1830-е гг. Пушкин выступает за «аристократическую» литературу, и Гюго мог раздражать его социально-демократической направленностью своих сочинений (см. подробнее: Мильчина В. А. Пушкин и Виктор Гюго: мстительный перевод из «Кромвеля» и «Львиный рев» Мирабо // (Не)музыкальное приношение, или Allegro affettuoso. Сб. статей к 65-летию Бориса Ароновича Каца. СПб., 2013. С. 220–232.

²³² Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 166 (оригинал по-фр.).

²³³ Панаев И. И. Литературные воспоминания. Л., 1928. С. 51.

²³⁴ См.: Пушкин и его современники. СПб., 1911. Вып. 15. С. 85–86.

²³⁵ Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895. С. 29.

Что касается Ж. Жанена, то очевидно, что стиль его сильно повлиял на творчество О. И. Сенковского, сочинения которого имели шумный успех. Главным оказывался не сюжет, а фигура рассказчика (Барона Брамбеуса), чье повествование, полное отступлений, иронии, насмешек напоминает приемы, характерные для Жанена. Противники Сенковского упрекали его в подражании «неистовым» сочинителям, однако утрируя приемы «неистовых», он в определенном смысле способствовал их дискредитации, поскольку использовал их, создавая пародии. Таковы, например, «Фантастические путешествия барона Брамбеуса», пародия на «романтика» 1830-х гг.²³⁶.

Воздействия френетической литературы не избежал и Гоголь (повести «Кровавый бандурист» (1834), «Тарас Бульба» (1 ред. – 1835), что не ускользнуло от внимания императрицы Александры Федоровны, которая «сошла слушать Бульбу». Как свидетельствовал в письме к Я. К. Гроту П. А. Плетнев, «Красоты его поразили ее; но она думает, что это злоупотребление таланта так ярко рисовать ужасы. Вот следствие французского вкуса»²³⁷. «Отголоски разговоров, возникших под влиянием “неистой словесности”», ощутимы в повести «Портрет»: герой «повторяет стереотипные фразы, которыми отзывались русские критики на произведения “неистового” жанра, воспроизводившие “ужасную действительность”»²³⁸. Та линия гоголевского творчества, когда он, по словам В. В. Виноградова, «пробивался к натурализму по разным дорогам», в том числе «сквозь узкую полосу увлечения формами “романтически-ужасного” жанра <...> (экзотический роман и новеллы в духе Ж. Жанена)», – тянется «от “Кровавого бандуриста” через “Тараса Бульбу” < ... > к “Невскому проспекту” и “Портрету”». Но именно в «Портрете» она и исчерпывается²³⁹. П. А. Вяземский в статье «Новая поэма Э. Кине» (1836) характеризовал новую «школу юной Франции» как отказавшуюся смотреть на своих героев «сквозь увеличительное и разноцветное стекло преданий»: «Нынешние действующие лица рассматриваются в микроскопы, которые на белой, пухлой руке красавицы найдут тысячи ямок и бородавок и в розе мириады отвратительных чудовищ»²⁴⁰.

²³⁶ О рецепции «неистой словесности» и значении ее для Сенковского см.: Дроздов Н. А. Французская «неистовая словесность» в русской рецепции 1830-х годов. Диссертация на соискание ученой степени к. ф. н. СПб., 2013.

²³⁷ Плетнев П. А. Соч. и переписка: В 3 т. СПб., 1885. Т. 1. С. 654.

²³⁸ Виноградов В. В. Эволюция русского натурализма // Виноградов В. В. Избр. труды: Поэтика русской литературы. М., 1976. С. 99.

²³⁹ Там же. С. 46, 94; Виноградов В. В. Гоголь и натуральная школа // Там же. С. 219. См. также: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. Т. 3. М., 2009. С. 635, примеч. С. Г. Бочарова и Л. В. Дерюгиной.

²⁴⁰ Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. С. 132, 130. О том, как Пушкин попытался переложить в стихах еще один роман Ж. Жанена «Исповедь», см.: Дмитриева Е.

Совсем иначе, видимо, смотрел на «юную» французскую прозу М. Ю. Лермонтов. Ему был интересен опыт Стендаля, Бальзака, Жорж Санд, Альфонса Карра (Carra, 1808—1890), особенно в период работы над «Княгиней Лиговской» (1836–1837) в которой, возможно, отразился роман Карра «Под липами» («*Sous les tilleuls*», 1832), где герой из сентиментального мечтателя превращается в беспощадного мстителя²⁴¹ (этот роман — одно из немногих современных французских сочинений, заслуживших высокую оценку Пушкина: «... в его романе чувствуется талант»²⁴².) Весной 1840 г. в записке, переданной с гауптвахты С. А. Соболевскому, Лермонтов просил срочно прислать ему текст «Под липами»²⁴³.

Бальзак, поэтика которого была также близка Лермонтову, упомянут при описании портрета Печорина: «...он сидел, как сидит бальзакова 30-летняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала»²⁴⁴. В прозе Лермонтова можно отметить типичные для Бальзака приемы психологического анализа, будь то описание мыслей любящей женщины («Княжна Мэри») или раскрытие механизмов светского заговора в «Журнале Печорина». Лермонтовский «Штосс», в котором фантастика входит в обыденный мир соотносили с «Шагренево́й кожей» («*Peau de Chagrin*») Бальзака²⁴⁵.

«Я не устаю перечитывать “*Peau de Chagrin*” <...> Какая глубина, какая истина мыслей»²⁴⁶, — писал 26 января 1833 г. ссыльный А. А. Бестужев-Марлинский А. А. Полевому. В том же 1833 г. появляется дневниковая запись А. Н. Вульфа: «...прочел знаменитого Бальзака, коего по сию пору знал только по слуху. Небольшая повесть его “*La vendetta*” передо мною оправдала его европейскую славу, слог его истинно превосходный и мне показался выше всего, что я ни читал из нынешних и прежних французских писателей»²⁴⁷. В. К. Кюхельбекер, заточенный в одиночный каземат, но с несгибаемым упорством стремившийся заниматься литературной деятельностью, 25 июля 1834 г. записал в дневнике: «Пишу о Бальзаке, потому что после его прелестной повести “Г-жа Фирмиани”

Е. Незавершенный отрывок Пушкина «Одни стихи ему читала»: (К проблеме Пушкин и Жюль Жанен. С. 55—70.

²⁴¹ Об интересе Лермонтова к роману Карра см.: *Вольперт Л. И.* Лермонтов и литература Франции. С. 99–110.

²⁴² *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 15. С. 38 (письмо к Е. М. Хитрово, август – декабрь 1832). О положительном взгляде Пушкина на роман Карра см.: *Мильчина В. А.* Почему же все-таки Пушкин предпочел Бальзаку Альфонса Карра // Пушкинская конференция в Стенфорде: Материалы и исследования. М., 2001. С. 402–425.

²⁴³ См.: *Вольперт Л. И.* Лермонтов и литература Франции. С. 99.

²⁴⁴ *Лермонтов М. Ю.* Соч.: В 6 т. М.; Л., 1957. Т. 6. С. 243.

²⁴⁵ См.: *Вольперт Л. И.* Лермонтов и литература Франции. С. 50.

²⁴⁶ *Бестужев-Марлинский А. А.* Соч.: В 2 т. М., 1981. С. 503.

²⁴⁷ *Любовные похождения и военные походы А. Н. Вульфа.* С. 216.

не могу тотчас заняться чем-нибудь другим»²⁴⁸. П. А. Вяземский назвал «Отца Горио» одним из «лучших произведений последней французской нагой литературы. Так от него и несет потом действительности, так все мозоли, все болячки общественного тела и выставлены в нем напоказ»²⁴⁹. В ноябре 1835 г. А. И. Тургенев писал К. С. Сербиновичу о Бальзаке: «...он заглядывает в самые сокровенные, едва приметные для других щелки человеческого сердца и нашей искони прокаженной природы. Он физиолог и анатом души...»²⁵⁰.

Это «анатомирование» вызывало и резко негативную реакцию: Н. И. Надеждин, например, считал, что писатели, составляющие новую школу, не сумели использовать открытия своих предшественников – Шатобриана, Шекспира – они «принялись пилить и резать действительность, единственно для того, чтоб видеть ее обнаженную и распластанную»²⁵¹.

Вообще популярность Бальзака в России была очень велика. «В России Бальзак, по причине всеобщности французского языка, почти национален <...> отчего же в России такая симпатия особенно к этому писателю, когда читают всех? – Оттого что в нем много жизни практической, а в России ничто так не привлекает», – писал С. П. Шевырев, посетивший Бальзака во Франции²⁵². Бальзак, имевший репутацию знатока женского сердца, особенно нравился женской аудитории, но и мужчины смотрели на житейские ситуации как взятые из романов Бальзака. Вяземский писал жене, что ее идея послать душевнобольному Батюшкову молодую девушку для излечения «это как-то глава из Бальзака»²⁵³. Как «бальзаковскую» восприняли даже ситуацию с дуэлью Пушкина.

В 1830 г. в нескольких номерах «Литературной газеты» (№ 58, 59, 60) 1830 г. стали появляться переводы отрывков из «Прогулок по Риму» «одного остроумного французского писателя», чьи сочинения отличаются «замысловатой оригинальностью», «метким взглядом на предметы» и «чистосердечным и живописным» слогом²⁵⁴. Так охарактеризовал

²⁴⁸ Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 324 (Сер. «Литературные памятники»). См.: Тынянов Ю. Н. Французские отношения В. К. Кюхельбекера // Литературное наследство. М., 1939. Т. 33–34. С. 363–378.

²⁴⁹ Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 3. С. 268–269 (письмо А. И. Тургеневу от 30 июня/12 июля 1835).

²⁵⁰ Русская старина. 1881. Т. 31. С. 202.

²⁵¹ Надеждин Н. И. Здравый смысл и барон Брамбеус // Телескоп. 1834. Ч. 21. С. 163.

²⁵² Шевырев С. П. Парижские эскизы: Визит к Бальзаку // Москвитянин. 1841. Т. 1, кн. 2. С. 361.

²⁵³ Письмо от 4 июня 1832 г. цит. по: Дмитриева Е. Е. Русские пути и перепутья Бальзака // Оноре де Бальзак: денди и творец. С. 102. Там же (с. 101–130) см. о российской популярности Бальзака.

²⁵⁴ Литературная газета. 1830. Т. 2, № 59. С. 181.

автора А. А. Дельвиг, раскрыв его имя – это г. Бейль, который скрывается под именем Стендаля (Stendhal, 1783–1842). Не скупившийся на едкую критику современной французской прозы Пушкин «очарован» романом «Красное и черное» («Le Rouge et le Noir», опубл. 1830) и умоляет («je vous supplie») Е. М. Хитрово прислать ему второй том²⁵⁵. Этот роман – психологическое и социальное исследование истории честолюбивого, но наделенного сердцем юноши, написанное «сухим» и «отрывистым», по определению самого автора, стилем, – во Франции по выходе в свет большого успеха не имел. Но русского читателя он заинтересовал. П. А. Вяземский пишет А. И. Тургеневу, что это «один из замечательнейших романов, одно из замечательнейших произведений нашего времени», и укоряет Александра Ивановича: «Того и гляди, что ты не читал его. Я Стендаля полюбил с “Жизни Россини”, в которой так много огня и кипятка, как в самой музыке героя»²⁵⁶. «Давно не читал я столь занимательного романа, как этот – Стендаля»²⁵⁷, – записывает о «Красном и черном» А. Н. Вульф в своем дневнике.

«Расин и Шекспир» (1823), «романтический манифест» Стендаля в защиту нового драматического искусства, вдохновил его младшего друга Проспера Мериме (Mérimée, 1803–1870) на создание «Театра Клары Гасуль» («Le Théâtre de Clara Gazul», 1825) – пьес, авторство которых приписано вымышленной испанской актрисе. Второй, еще более успешной мистификацией, стали знаменитые «Гусли» («Guzla», 1827), сборник якобы далматских народных песен. Ими, как написал Гоголь, Мериме «поддел даже самого Пушкина, который принял их за подлинные и с такою верною простотою передал их в полновесных стихах своих»²⁵⁸. Пушкин прочитал «Гюзлу», вероятно в начале 1828 г. и, возможно, тогда же приступил к работе над своими «Песнями западных славян» (изд. 1835)²⁵⁹. Историческая драма Мериме «Жакерия» послужила основным источником пушкинского драматического сочинения «<Сцены из рыцарских времен>» (1835). Проза Мериме, отличающаяся от большинства чрезмерно насыщенных внешними эффектами модных романтических сочинений строгостью и лаконичностью, была стилистически близка Пушкину. Позднее Мериме выучит русский язык и увидит ту же привлекательность

²⁵⁵ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 166 (письмо от второй половины мая 1831).

²⁵⁶ Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 3. С. 233 (письмо от 9–10 мая 1833).

²⁵⁷ Любовные похождения и военные походы А. Н. Вульфа. С. 201 (запись от 23 августа 1833 г.).

²⁵⁸ Гоголь Н. В. <Заметка о Мериме> // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 21.

²⁵⁹ Б. В. Томашевский заметил, что факт перевода Пушкиным «Гюзлы» показывает, что «даже славянскую поэзию Пушкин считал возможным брать во французской интерпретации» (Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. С. 62–63). См. также: Михайлов А. Д. «А холодный Мериме сияет, не тускнея» // Проспер Мериме в русской литературе. М., 2007. С. 7.

пушкинской прозы²⁶⁰. «Светские» новеллы Мериме могли оказать влияние и на Лермонтова – автора «Героя нашего времени» и «Княгини Лиговской»²⁶¹.

Романтическое движение Франции вкупе с влиянием Шекспира, Байрона, В. Скотта, Гёте и др. вытесняло принципы французского классицизма. Уже Н. М. Карамзин написал в «Письмах русского путешественника»: «Французские поэты имеют тонкий, нежный вкус и в искусстве *писать* могут служить образцами. Только в рассуждении изобретения, жара и глубокого *чувства натуры* – простите мне, священные тени Корнелей, Расинов и Вольтеров! – должны они уступить преимущество англичанам и немцам»²⁶².

И все-таки классические образцы, созданные ушедшими в «тьень» великими художниками, не пропали бесследно, не канули в Лету. «Прочный фундамент классицизма»²⁶³ послужил основой всего Золотого века. У К. Н. Батюшкова «свойственная классицизму трактовка античности как нормы, образца для подражания преобразилась <...> в романтическую мечту, облекшуюся в плоть его лирического героя и того прекрасного мира, в котором он живет»²⁶⁴. Спор разума и сердца, этот важный постулат, лежащий в основе высокой трагедии, определяет суть поэзии Е. А. Баратынского: «сплетение рационализма с возвышенной эмоциональностью и взволнованностью, присущими романтическому движению, породило и совершенно новое качество лиризма поэта»²⁶⁵. Поэтическая муза П. А. Вяземского всегда оставалась близка рационалистическому складу поэтики классицизма, вот почему в начале века успехом пользовалась не его лирика, а сатирические и дидактические послания²⁶⁶.

В 1830 г. Пушкин охарактеризовал элегическую «школу» – поэзию Жуковского и Батюшкова, как школу «гармонической точности»²⁶⁷. Соблюдение «лексической точности», «абсолютной стилистической уместности каждого слова» – это требование

²⁶⁰ Человеком, сблизившим французского и русского авторов, был друг Пушкина С. А. Соболевский. Приехав в Париж в самый разгар битвы романтиков с классиками, он, в частности, оказался свидетелем «битвы за “Эрнани”» (см.: Русский архив. 1909. Кн. 2. С. 478).

²⁶¹ См.: *Вольперт Л. И.* Лермонтов и литература Франции. С. 164.

²⁶² *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 233–234 (Сер. «Литературные памятники»).

²⁶³ *Гиллельсон М. И.* Молодой Пушкин и Арзамасское братство. Л., 1974. С. 19.

²⁶⁴ *Семенко И. М.* Поэты пушкинской поры. С. 30.

²⁶⁵ *Тойбин И. М.* Е. А. Баратынский // История русской поэзии. Л., 1968. Т. 1. С. 343.

²⁶⁶ См.: *Гиллельсон М. И.* П. А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л., 1969. С. 259–288.

²⁶⁷ *Пушкин А. С.* «Карелия, или Заточение Марфы Иоановны Романовой». Описательное стихотворение в четырех частях. Федора Глинки // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 110.

поэтики классицизма. Л. Я. Гинзбург отмечает, что, хотя Пушкин и далеко ушел от «школы гармонической точности», какие-то ее навыки и вкусы, в частности, «нелюбовь к сильным средствам» он сохранил навсегда²⁶⁸. Классическое чувство меры – одно из замечательных достижений лирики Золотого века. Богатейший материал французской литературы доступный, читавшийся в оригинале, переводившийся, вызывавший споры – все это, так или иначе, нашло отражение в литературных исканиях русского Золотого века.

²⁶⁸Гинзбург Л. Я. О лирике. 2-е изд. Л., 1974. С. 222.

ВХОЖДЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РУССКИЙ ЗОЛОТОЙ ВЕК

В статье «Знаменитые европейские писатели перед судом русской критики» Аполлон Григорьев так опишет в 1862 г. характер зависимости русской литературы конца XVIII — первой трети XIX в. от словесности западной: «До Карамзина мы смотрели на все глазами французов или взглядом Часослова и Домостроя: преобладающее воззрение <...> было французское, то есть так называемый ложный классицизм. Карамзин первый осмелился заговорить об англичанах и немцах, первый поклонился вместе с юной тогдашней Германией Шекспиру <...>. Лет двадцать, впрочем, и мы весьма скромно заявляли свое сочувствие к англичанам и немцам, не разрывая с французским классицизмом...»¹.

Долгое время так и считалось, что из русских писателей именно Карамзин первый осознал, что литературная гегемония перешла от Франции к Англии и что именно на английской почве выросли те новые явления, которые связаны были с формированием преромантических вкусов – пейзажная поэзия, «ночная» поэзия, Оссиан и пр.². «Британия есть мать поэтов величайших», — таков был эпиграф, поставленный Карамзиным к программному стихотворению «Поэзия» (1803), ставшему важной вехой в восприятии Оссиана русским сентиментализмом. При этом для самого Карамзина более актуальными были английские поэты и прозаики XVIII века. В «Письма русского путешественника» (книжную версию 1801 г.) он включил следующий пассаж: «Новейшая английская литература совсем не достойна внимания: теперь пишут здесь только самые посредственные романы, а стихотворца нет ни одного хорошего. Йонг, гроза счастливых и утешитель несчастных, и Стерн, оригинальный живописец чувствительности, заключили фалангу бессмертных британских авторов»³.

Трудами новейших исследователей было, однако, доказано, что обращение к Англии — первой стране эпохи Просвещения, «хотя ее первенство несколько и потускнело в свете французского влияния и его всеобщности», «не было случайной модой, сменой

¹ Время. 1862. № 6. С. 38—42.

² См.: Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. С. 26.

³ Карамзин Н. М. Письма русского путешественника / Изд. подг. Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 1984. С. 369, 675 (примеч.).

галломании на англотию, но поводом к кардинальному освобождению искусства от догм классицизма и рационализма»⁴. И произошло оно еще в эпоху царствования Екатерины II, отмеченную увлечением Англией и английской литературой⁵, а также английской философией с ее особенным складом, «обратившей человека к постижению природы в самом себе и вокруг себя»⁶. Так что многочисленные частные (индивидуальные) открытия Англии и английской литературы представителей уже пушкинского поколения только внешне казались резким культурным сломом, а на самом деле были продолжением и развитием тех тенденций, которые уже наметились, в частности, в кружке М. М. Хераскова.

Берегом свободы, «Художеств, чудаков, / Карикатур удачных, / Радклиф, Шекспиров мрачных, / Ростбифа и бойцов», назовет Англию в 1816 г. Вяземский в шутовском послании «К Батюшкову», описывая возвращение из туманного Альбиона Д. П. Северина⁷. В 1822 г. Пушкин пишет Н. И. Гнедичу о том, что «английская словесность начинает иметь влияние на русскую», и что влияние это «будет полезнее влияния французской поэзии, робкой и жеманной»⁸. Незадолго до декабрьского восстания А. А. Бестужев, обсуждающий в этот период с В. К. Кюхельбекером проблему национальной самобытности русской литературы, признается Пушкину: «...Я с жаждою глотаю английскую литературу и душой благодарен английскому языку — он научил меня мыслить, он обратил меня к природе — это неистощимый источник»⁹. В России 1810—1820-х гг. внимательно следят за публикациями английских журналов «Edinburgh Review», «Quarterly Review», «Westminster Review» (их высоко ценил, в частности Пушкин, упомянув два последних из них в заметке «[Обозрение обозрений]» (1831) и в «Путешествии из Москвы в Петербург» (1834—1835); по их образцу он задумывал и свой журнал «Современник»¹⁰).

Еще один знак усиливавшейся в России первой трети XIX в. англотию — появление в дворянских семьях, наряду с французскими гувернерами и гувернантками,

⁴ Шайтанов И. О. Мыслящая муза: «Открытие природы» в поэзии XVIII в. М., 1989. С. 44.

⁵ См.: Левин Ю. Д. Английская поэзия и литература русского сентиментализма // От классицизма к романтизму: Из истории международных связей русской литературы. Л., 1970. С. 204.

⁶ Шайтанов И. О. Мыслящая муза. С. 45.

⁷ Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986. С. 98 (Б-ка поэта. Большая сер.).

⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1937. Т. 13. С. 40.

⁹ Там же. С. 150 (письмо от 9 марта 1825 г.).

¹⁰ См. письмо Пушкина к А. Х. Бенкендорфу от 31 декабря 1835 г. (Там же. Т. 16. С. 69—70).

также и гувернанток-англичанок, что находило, впрочем, подчас ироничное отражение в художественной прозе того времени (вспомним, например, мисс Жаксон в «Барышне-крестьянке» Пушкина). Статус англоманов обретали и русские дворяне, возвращавшиеся в Россию после своего пребывания в Англии и служившие своего рода посредниками между английской и русской культурой (уже упомянутый Северин, А. И. Тургенев, С. А. Соболевский, П. Б. Козловский и др.)¹¹.

Нельзя не упомянуть и ту роль, которую сыграла в России пришедшая из Англии мода на дендизм, ставшая с двадцатых годов XIX в. почти массовой в России в среде молодых дворян: минималистский стиль британских денди, сменивший костюм эпохи Французской революции и резко контрастировавший с национальным русским платьем, одеваться в которое призывали ревнители отечественных традиций, воспринимался во многом как перевод на язык моды идеологических дискуссий между славянофилами и западниками, спора о старом и новом слоге. Не случайно среди либералов-западников было немало последователей дендизма¹², а наиболее ярким образцом русского денди почитался П. Я. Чаадаев¹³.

Наконец, важным источником английского влияния в России и признаком англomanии стали английские пейзажные сады, если и не вытеснившие, то во всяком случае успешно конкурировавшие с французским садовым стилем, за которым в европейской традиции устойчиво закрепилось название барочного или регулярного. Эта конкуренция, а в отдельных случаях и победа, находила отражение также и в ряде литературных текстов (характерные тому примеры — М. Н. Загоскин, который в романе «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831) любовную сцену между своими героями «вышивает по канве» спора между английским и французским садовым стилем¹⁴, а также Пушкин, делающий двух антиподов-помещиков, Муромского и Берестова, ревнителями

¹¹ См.: *Гиллельсон М. И.* Пушкин в дневниках А. И. Тургенева 1831—1834 годов // *Русская литература.* 1964. № 1. С. 126.

¹² См.: *Вайнштейн О. Б.* Денди: Мода, литература, стиль жизни. М., 2005. С. 294—300.

¹³ «Я не знаю, — писал в своих мемуарах М. И. Жихарев, — как одевались мистер Брумел (Brummeil) и ему подобные, и потому воздержусь от всякого сравнения с этими исполинами всемирного дендизма и франтовства, но заключу тем, что искусство одеваться Чаадаев возвел почти на степень исторического значения» (*Жихарев М. И.* Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве. — [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dugward.ru/library/jiharev_m_i/jiharev_dokladnaya.html (дата обращения 08.03.22). См. также: *Гроссман Л.* Пушкин и дендизм // *Литературные биографии.* М., 2012; *Велижев М.* Чаадаевское дело: Идеология, риторика и государственная власть в николаевской России. М., 2022. С. 135.

¹⁴ См.: *Загоскин М. Н.* Рославлев, или Русские в 1812 г. М., 1955. С. 35.

двух противоположных типов хозяйствования – английского и французского¹⁵). Испытавшие воздействие философии и теологии английского Просвещения, представлений Шефтсбери и Локка о божественности природы, гении места и естественных основаниях красоты, английские сады (как и в триумф дендистской моды) ощущались одновременно как эхо политических перемен и отражение общей либерализации жизни в Европе (прямая линия есть линия деспотизма, настаивали приверженцы пейзажного стиля, в то время как извилистая — свободы, что связывало парадоксальным образом расцвет английских садов в самой Англии с парламентаризмом, новым государственным и политическим устройством¹⁶). Так и Пушкин, мечтая о бегстве на Запад как освобождению от наложенных на него изгнанием оков, воображает, как отмечал А. А. Долинин, раньше всего Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы, а только потом уже — «парижские театры»¹⁷.

При этом в истории осмысления и усвоения русской литературой литературы английской была своя специфика, не позволяющая ставить это встречное течение двух культур в один ряд с тем, что происходило в России в отношении литератур французской и даже немецкой. Во-первых, если со второй половины XVIII в. волна англomanии, ознаменованной появлением как большого количества переводов с английского, так и стилизаций под такого рода переводы, захлестнула саму Францию¹⁸, «то сами англичане, вместе с остальной Европой, продолжали исповедовать французские вкусы, и английские мысли расходились нередко во французском «переводе»¹⁹, в прямом и переносном значении этого слова. Тем самым английское влияние достигало России нередко уже опосредованным, а потому и легче сглаживалось из культурной памяти (свидетельство тому — высказывание В. Г. Белинского, о том, что в момент вступления России в круг просвещенных европейских стран «немецкой изящной литературы тогда еще не

¹⁵ См.: *Дмитриева Е. Е.* Как поссорился английский садовый стиль с французским («Дубровский» и «Барышня-крестьянка») // Михайловская Пушкиниана. Выпуск 41. Материалы Михайловских Пушкинских чтений «1825 год» и конференции «Пушкин и британская культура. Пушкинский круг чтения» (2005 год). Сельцо Михайловское-Псков, 2006. С. 145—151.

¹⁶ См.: *Дмитриева Е. Е., Купцова О. Н.* Жизнь усадебного мифа: Утраченный и обретенный рай. М., 2008. С. 36.

¹⁷ *Долинин А. А.* Пушкин и Англия // Долинин А. А. Пушкин и Англия: Цикл статей. М., 2007. С. 15.

¹⁸ См.: *Grieder J.* *Anglomania in France 1740—1789: Fact, fiction, and political discourse.* Genève, 1985. P. 65—116.

¹⁹ См.: *Шайтанов И. О.* Мыслящая муза. С. 43.

существовало: испанская и английская не были известны за пределами своих земель»²⁰). «...уже сложилась инерция забывчивости по отношению к русско-английским связям, важным в XVIII веке», — комментирует данное высказывание российский исследователь²¹.

К тому же, поскольку английский язык, в отличие от французского и даже немецкого языка, не был языком, которым свободно владели представители образованного общества, то ретранслятором англomanии в России продолжала оставаться французская культура. Языком, с которого выполнялся перевод английских авторов, был чаще всего французский язык²². По французским, нередко искаженным переводам, российские читатели знакомились с произведениями английских авторов. А значительно менее совершенное (по сравнению с французским) владение английским даже тех, кто этот язык старался выучить, чтобы читать любимых авторов в подлиннике, приводило к неполному или неверному пониманию подлинника, что в свою очередь могло становиться источником творчески плодотворной суггестии (как это было, например, с Пушкиным)²³.

Славный триумвират: Байрон, Вальтер Скотт и Шекспир

Каким бы разнообразным и во многом фрагментарным ни было в эпоху русского Золотого века влияние английских авторов как предшествующих столетий, так и современных, безусловными властителями дум, лидерами, во многом определившими и сам ход развития русской литературы, стали в это время Байрон, Вальтер Скотт и Шекспир.

Первые известия о Байроне начинают проникать в Россию вскоре после выхода двух первых песней «Паломничества Чайльд-Гарольда» («Child Harold's Pilgrimage») и трех его «восточных» поэм: «Гяур» («The Giaour», 1813), «Абидосская невеста» («The Bride of Abydos» 1813) и «Корсар» («The Corsair», 1814), переводы выдержек и фрагментов из которых очень быстро появились на страницах российских журналов. «... поэтов теперь у англичан <...> только два: Walter Scott и Lord Byron. Последний превышает, может быть,

²⁰ *Белинский В. Г.* Сочинения Александра Пушкина. Статья первая // Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 7. С. 108.

²¹ *Шайтанов И. О.* Мыслящая муза. 43.

²² См.: История русской переводной художественной литературы: Древняя Русь. XVIII век / Отв. ред. Ю. Д. Левин. СПб., 1995. Т. 1. С. 155.

²³ Яркие примеры художественных удач Пушкина, бывших результатом неверно понятой идиомы или неверного перевода английских авторов на язык-посредник, служивший источником, приводит А. А. Долинин (*Долинин А.* Пушкин и Англия. С. 24, 27).

первого», — сообщал В. А. Жуковскому в 1814 г. С. С. Уваров²⁴. Впрочем, уже в 1818 г. в «Вестнике Европы» появился и перевод посвященного Байрону фрагмента из швейцарского обзора английской литературы²⁵, в котором наметилась и критика Байрона, стихотворения которого «отличаются каким-то мрачным колоритом. <...> Поэзия его оставляет какое-то тягостное чувство в душе читателя»²⁶.

Широкое знакомство с поэзией Байрона в России началось с появления его прозаических переводов-пересказов на французский язык и, в первую очередь, с выходявшего в 1819–1821 гг. и многократно потом переизданного французского десятитомного собрания сочинений Байрона в переводах Амедея Пишо²⁷. Именно с него и была сделана значительная часть переводов Байрона на русский язык. Поначалу особый успех имела последняя, четвертая песнь «Паломничества Чайльд-Гарольда» (о пребывании героя в Италии). Ее особо отмечал А. И. Тургенев, несколько фрагментов из нее перевел П. А. Вяземский²⁸. К. Н. Батюшков, находясь в Италии, в 1819 г. вольно перевел 178-ю – начало 179-й строфы этой песни, создав элегию «Есть наслаждение и в дикости лесов...», первый русский стихотворный перевод Байрона, ставший одним из классических текстов русской поэзии, спровоцировавшим «рождение новой поэтической мысли в сопряжении одической архаики с языком сентиментальной чувствительности»²⁹.

Из литераторов «пушкинского круга», быть может, самое сильное увлечение Байроном в 1818—1819 гг. пережил В. А. Жуковский. «Ты проповедуешь нам Байрона, которого мы все лето читали. Жуковский им бредит и им питается», — пишет Вяземскому Тургенев в ответ на присланный им перевод восьми строф из «Чайльд Гарольда»³⁰. А почти полгода спустя сообщает об осязаемых результатах этой литературной «подпитки»:

²⁴ Русский архив. 1871. № 2. Стб. 0163.

²⁵ Coup-d'oeil sur la littérature anglaise // Bibliothèque Universelle des Sciences, Belles-Lettres, et Arts. Genève, 1816. Т. 1. Р. 7–8. См. подробнее: Баскина (Маликова) М. Поэзия // История русской переводной художественной литературы первой четверти XIX века. 1800—1825 гг.: Очерки / Отв. ред. В. Е. Багно, Е. Е. Дмитриева, М. Ю. Коренева. СПб., 2022. С. 437.

²⁶ Обзорение нынешнего состояния английской литературы // Вестник Европы. 1818. Ч. 99. № 9. Май. С. 42

²⁷ О выходе этого первого парижского издания «Euvres de lord Byron» «Вестник Европы» сообщил летом 1820 г. (Ч. 111. № 11. С. 238; Ч. 112 № 16. С. 310–312). Собрание переводов Пишо несколько раз переиздавалось в период между 1821 и 1825 гг.

²⁸ Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 1. С. 282, 330—331, 334.

²⁹ Шайтанов И. О. «Говор валов» // Шайтанов И. О. Компаративистика и/или поэтика. Английские сюжеты глазами исторической поэтики. М., 2010. С. 496–523. См. также: Вацуро В. Э. Последняя элегия Батюшкова: К истории текста // Вацуро В. Э. Записки комментатора. СПб., 1994. С. 150–166.

³⁰ Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. С. 334 (письмо от 22 октября 1818 г.).

«По ночам наслаждался Жуковским <...> По всем признакам он точно воскресает, и гений воскресения его есть Вугоп»³¹. Вяземский, со своей стороны, побуждает Жуковского к переводам из Байрона («Ты на солнце Европейском <...> должен очень походить на Байрона, еще не раздраженного жизнью и людьми»³²), но вместе с тем опасается, чтобы тот не переделал Байрона на свой особенный лад («Дай Бог, чтобы Жуковский впился в Байрона. Но Байрону подражать не можно <...>. Я боюсь за Жуковского: он станет девствовать, а никто не в силах, как он, выразить Байрона»³³).

В освоении и усвоении Жуковским Байрона большую роль играли его путешествия, в которых он нередко оказывался в местах, освященных присутствием английского поэта. Так, оказавшись в Бернских Альпах, на вершине Юнгфрау, он вспоминает строки из «Манфреда»³⁴. Во время пребывания в Швейцарии в 1821—1822 гг. начинается его работа над переводом поэмы «Шильонский узник» (1816). Непосредственным импульсом для нее явилось впечатление от посещения Шильонского замка, о котором он рассказывал в письме к великой княгине Александре Федоровне: «В тот день, в который я оставил Веве, успел я съездить на лодке в замок Шильон; я плыл туда, читая “The Prisoner of Chillon”, и это чтение очаровало для воображения моего тюрьму Бонниварову, которую Байрон весьма верно описал в своей несравненной поэме»³⁵.

Перевод Жуковского³⁶ стал событием в русской литературе³⁷. По словам П. А. Плетнева, Жуковский открыл для читателя нового Байрона: «После прозаических переводов мы начинали было с его именем соединять что-то странное, темное, а чаще ужасно-непонятное. Но, судя по переводу Жуковского, видимо, что он прост, ясен, и естественен»³⁸.

Байрон оказал влияние и на оригинальную поэзию Жуковского. Отголоски философско-лирических медитаций «Манфреда» слышатся в «Невыразимом» (1819), в

³¹ Там же. С. 286, 288 (письмо от 13 августа 1819 г.).

³² Русский архив. 1900. № 2. С. 182.

³³ Там же. С. 343.

³⁴ *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 2004. Т. 13. С. 218 (дневниковая запись 11 сентября 1821 г.), 522, примеч. О. Б. Лебедевой и А. С. Янушкевича.

³⁵ Русская старина. 1902. Май. С. 350.

³⁶ Шильонский узник, поэма Лорда Байрона. Перевел с английского В. Ж. СПб., 1822.

³⁷ См.: *Ж. К.* Письма на Кавказ // *Сын отечества*. 1823. Ч. 83. № 1. С. 3.

³⁸ *Плетнев П. А.* Шильонский узник // *Плетнев П. А.* Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 1. С. 136.

стихотворении «Жизнь» (1819)³⁹. Своего рода итог собственному увлечению Байроном Жуковский подведет в статье 1840-х гг. «О поэте и современном его значении. Письмо к Н. В. Гоголю»: «...дух высокий, могучий, но дух отрицания, гордости и презрения. Его гений имеет прелесть Мильтонова Сатаны, столь поражающего своим помраченным величием; но у Мильтона эта прелесть не иное что, как поэтический образ <...> а в Байроне она есть сила, стремительно влекущая нас в бездну сатанинского падения. Но Байрон, сколь ни тревожит ум, ни повергает в безнадежность сердце, ни волнует чувственность, его гений все имеет высоту необычайную (может быть, оттого еще и губительнее сила его поэзии): мы чувствуем, что рука судьбы опрокинула создание благородное и что он прямодушен в своей всеобъемлющей ненависти ...»⁴⁰.

Другим, не менее мощным проводником Байрона в русскую литературу стал в начале 1820-х гг. Пушкин, сам признававшийся в том, что написанные им в период южной ссылки поэмы («Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан») «отзыва[ю]тся чтением Байрона, от которого [он] с ума сходил»⁴¹. Первая южная поэма Пушкина «Кавказский пленник» появляется почти одновременно с переводом «Шильонского узника» Жуковского и обе соединяются в сознании современников как образцы романтической поэмы, ощущавшейся в те годы как новаторский жанр и, более того, ключ к современности⁴². Они означают «успех у нас поэзии романтической», берущей свои законы «от Шекспиров, Байронов, Шиллеров», а не у французской классицистической традиции, «Расинов, Вольтеров, Лагарпов», — пишет Вяземский⁴³, ставший в своих статьях еще одним деятельным медиатором поэзии Байрона⁴⁴. Соответственно и разговор

³⁹ См.: Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 2. М., 2000. С. 538, 559, примеч. Э. Жиликовой.

⁴⁰ Там же. Т. 12. С. 379.

⁴¹ Пушкин А. С. Опровержение на критики // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 145.

⁴² См. подробнее: Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин // Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. Л., 1978. С. 33—34.

⁴³ Вяземский. О Кавказском Пленнике. Повести соч. А. Пушкина // Сын Отечества. 1822. Ч. 82. № 49. С. 115—116, 118.

⁴⁴ См. примеч. К. А. Кумпан в изд.: Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986. С. 485—486 (Б-ка поэта. Большая сер). Об образе Байрона как «гения чудного» и как «политического поэта» см.: [Вяземский П. А.]. Письмо из Парижа (Извлечение) // Московский телеграф. 1826. Ч. 12. № 22. С. 51—65; то же: Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 57.

его о байронизме южных поэм Пушкина становится разговором о сравнительных достоинствах старой, классической, и новой, романтической, поэтики⁴⁵.

Воздействие Байрона на Пушкина сказалось в первую очередь в использовании новых, именно Байрону свойственных художественных приемов: в выстраивании новеллистического сюжета, где действие (в противоположность поэме старого образца) сосредоточено вокруг одной сюжетной линии, в использовании лирической декламации и лирических отступлений, в сочетании лирической и драматической стихии, в отрывочности и недосказанности, оставляющих широкое поле для суггестии. По примеру Байрона Пушкин многозначительно обрывает свой рассказ на драматической кульминации: «о судьбе Алеко после убийства Земфиры («Цыганы») или Русского после бегства из аула («Кавказский пленник») мы можем только догадываться»⁴⁶.

Вместе с Жуковским Пушкин, ученик Байрона, становится и учителем русских байронистов. Третьим присоединяется к этой группе ученик одновременно и Жуковского, и Байрона — И. И. Козлов, автор популярной в свое время поэмы «Чернец» (1825). Под влиянием этих русских байронистов во второй половине 1820-х и в начале 1830-х гг. новый литературный жанр получает в русской поэзии широкое распространение. Однако байронические поэмы, появившиеся вслед за пушкинскими, за малым исключением варьировали в основном сюжетные схемы и приемы композиции, намеченные у Пушкина, превращая особенности нового жанра в литературный шаблон, что привело к его исчерпанию⁴⁷.

У самого же Пушкина следующим этапом рецепции Байрона становятся после восточных поэм, послуживших ему жанровой моделью для «южных», комические поэмы «Беппо» и «Дон Жуан», в особенности сказавшиеся на «форме плана» и структуре повествования в «Евгении Онегине» и «Домике в Коломне», где ведущую роль играет иронический образ «поэта-рассказчика». Романические же увлечения молодости, как и очарованность персонажем одной из восточных поэм Байрона, Пушкин в «Евгении Онегине» припишет уже своей героине Татьяне («Британской музы небылицы / Тревожат сон отроковицы, / И стал теперь ее кумир / Или задумчивый Вампир, / Или Мельмот, бродяга мрачный, / Иль вечный жид, или Корсар, / Или таинственный Сбогар»)⁴⁸.

⁴⁵ Наиболее обстоятельное описание нового жанра «байронической поэмы» Вяземский дал в своей рецензии на «Цыган». См.: *Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика*. С. 74.

⁴⁶ *Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин*. С. 60.

⁴⁷ См. подробнее: Там же. С. 230—235.

⁴⁸ *Пушкин А. С. Полн. собр. соч.* Т. 6. С. 56.

Смерть Байрона в Греции вызвала огромный резонанс в кругу русских литераторов. Находясь в михайловской ссылке, Пушкин сообщает Вяземскому (письмо от 7 апреля 1826 г.): «Нынче день смерти Байрона — я заказал с вечера обедню за упокой его души. Мой поп удивился моей набожности и вручил мне просвиру, вынутую за упокой раба божия боярина Георгия»⁴⁹. Стихи на смерть Байрона напишут И. И. Козлов, К. Ф. Рылеев, Д. В. Веневитинова, В. К. Кюхельбекер, П. А. Вяземский «и еще множества стихотворцев, — образовался целый стихотворный реквием»⁵⁰.

С середины 1820-х гг. в русском байронизме намечается перенос акцента с усвоения художественных приемов Байрона в сторону биографизма (случай поэта-жизнестроителя). Тенденция эта стала в последующее время доминирующей также и в исследованиях, посвященных рецепции Байрона в России. Сквозь призму биографии Байрона прочитываются определенные константные мотивы, в частности мотив страдания как составляющая байронической литературной модели, мотив «мировой скорби» и проч. К Байрону и его героям возводится также типология «лишнего человека» и «скитальца» в русской литературе. В России Байрон окончательно становится самым воплощением образа *романтического поэта* именно благодаря миражной неотделимости созданных им героев от того жизненного текста, который он, вольно или невольно, создал⁵¹.

⁴⁹ Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 13. С. 160.

⁵⁰ Афанасьев В. В. Жуковский. М., 1986. С. 87.

⁵¹ См.: Толстогузов П. Н., Толстогузова Е. В. Страдание как составляющая байронической литературной модели: Байрон и русская поэтическая традиция // Вестник Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема. 2013. № 1 (12). С. 125—127; Ильченко Н. М. Байронический герой и особенности формирования образа «лишнего человека» и «русского скитальца» в отечественной литературе // Вестник Мининского университета. 2014. № 2 (6). С. 4. В той роли, которую Байрон сыграл в русской литературе, присутствовал еще один примечательный аспект. Казалось бы, роман «Евгений Онегин» надолго закрепил славу истинно романтического героя за Чайльд-Гарольдом, русским «аналогом» которого оказался, с легкой руки Пушкина, его герой Онегин. А между тем первое значительное произведение Байрона – нашумевшая в свое время сатира «Английские барды и шотландские обозреватели» (1809) – было направлено против тех, кого позже в Англии почитали романтиками в значительно большей степени, чем самого Байрона – против Вордсворта, В. Скотта и Кольриджа, грешивших, по мысли Байрона, против классической ясности, трезвости и простоты. Так и поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» была написана во многом как ответ на появившуюся уже тогда романтическую прозу и, в частности, на тип героя, созданного Гете в «Страданиях юного Вертера» и Шатобрианом в «Рене». Критике Байрон здесь подвергал то, что поэтический стиль уже стал превращаться в предмет веры (знаменитое определение Кольриджем *poetic faith* как упразднения неверия, «suspension of disbelief»), а поэтические (романтические) формулы стали использоваться как непосредственно выражающие реальность. Именно поэтому Байрон и поместил самого себя в центр своего произведения и создал из «романтического» самовыражения симулякр искренности. Степень мистификации Байроном своего читателя, свято уверовавшего в истинность *романтического сплина*

Собственно, именно этот идеологический и бытовой байронизм, ставший причиной исключительного влияния Байрона на умы современников и усилившийся после смерти Байрона, обусловил, наряду с восхищением и увлечением, также и все более нараставший скепсис критиков, увидевших в юной тогда еще русской словесности отпечаток (во благо или во зло) британского гения (вариант: британского демона). «Бог судья покойнику Байрону! Его мрачный сплин заразил всю настоящую поэзию и преобразил ее из улыбающейся Хариты в окаменяющую Медузу» – писал Н. Надеждин в 1828 г.⁵². «Все заговорили о Байроне, и байронизм сделался пунктом помешательства для прекрасных душ, — иронизировал В. Г. Белинский. — Вот с этого-то времени и начали появляться у нас толпами маленькие великие люди с печатью проклятия на челе, с отчаянием в душе, с разочарованием в сердце, с глубоким презрением к “ничтожной толпе”»⁵³. Байрон как личность, ставший, со всеми окружившими эту личность мифами и легендами, симптоматическим явлением в духовной культуре Запада, и Байрон как художник слова оказались объединены тем самым в едином понятии русского байронизма⁵⁴.

Отдельную страницу его русского составило творчество Лермонтова, чьи приверженность к гиперболизации, антитезам, афористичности, а также характерная метрика (5-стопные ямбы с одними мужскими окончаниями) несут в себе след чтения Байрона. О том же свидетельствуют и его ученические переводы начала «Гяура»,

Чайльд-Гарольда, как собственно и в истинность романтического сплина и демонизм самого Байрона, долгое время была недостаточно оценена на континенте (не случайно единственная страна, которая не восприняла Байрона как поэта истинно романтического, была Англия). Так и Пушкин заставил Татьяну увидеть в Онегине подражание и одновременно пародию на модного (романтического) литературного героя («Чужих причуд истолкованье, / Слов модных полный лексикон?.. / Уж не пародия ли он?» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 149)). И остается неразрешенной загадка: замышлял ли при этом сам Пушкин своего героя как двойной фантом, *призрак призрака, пародию на пародию*. Прочитал ли он насмешку Байрона над романтизмом и над своим читателем? или остался во власти «байроновского мифа», основательно созданию этого мифа на русской почве поспособствовал? См. подробнее: Дмитриева Е. Е. Романтический герой, герой нашего времени, лишний человек: К генеалогии образа // Мир Лермонтова: Коллективная монография. СПб., 2015. С. 455—466.

⁵² Надеждин Н. И. Литературные опасения за будущий год // Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 58.

⁵³ Белинский В. Г. Русская литература в 1845 году // Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 9. С. 384. Даже Нестор Кукольник был косвенно уподоблен О. Сенковским «великому Байрону» — см.: Манн Ю. Гнезда русской культуры. Кружок и семья. М., 2016. С. 105—106.

⁵⁴ Именно с таким объединением истории литературы и истории повседневности будет спорить В. М. Жирмунский, полагая необходимым исследовать прежде всего место Байрона-поэта в литературной эволюции своего времени. См.: Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. С. 14 и след.

«Беппо», а также самостоятельные стихи на темы Байрона («К Л.», «Подражание Байрону», «Видение»). Особенно ощутим байроновский след (след дневников и писем Байрона, опубликованных Т. Муром) в журнале Печорина («Герой нашего времени») и в самом протагонисте лермонтовского романа, у которого «бурные страсти соединяются с рационалистическим анализом и самоанализом, активность с фатализмом, аристократизм с демократическими убеждениями»⁵⁵.

Свою мысль, высказанную в 1924 г. о преодолении Пушкиным байроновского субъективизма и выходе к надындивидуальному стилю, которым характеризуется его творчество конца 1820-х – начала 1830-х гг., Жирмунский сформулировал как «шекспиризацию» и усвоение Пушкиным опыта Вальтера Скотта. Можно сказать, что и в русской литературе в целом у Байрона в 1820-е гг. появляются серьезные соперники в лице Вальтера Скотта и Шекспира, которым передоверяется статус «образца» – но теперь уже необходимого для решения задач, связанных с воплощением исторической и национальной действительности. Этот процесс совпадает с периодом, когда на смену байронической поэме приходит исторический роман как продуктивнейший жанр романтической литературы, отразивший растущий интерес к национальной истории. Реальная хронология не совпала здесь с рецептивной: Байрон (1788—1824), младший современник В. Скотта (1771—1832), именно В. Скоттом будет вытеснен в русском сознании начиная с середины 1820-х гг.

Выделяются два этапа и две ипостаси В. Скотта в пейзаже русской словесности: это Скотт-стихотворец, чья слава в России была (по сравнению с Англией) весьма умеренной, и Скотт-прозаик, родоначальник исторического романа. Первый, но также и наиболее значительный стихотворный перевод поэмы Скотта принадлежал Жуковскому, который обратился к балладе «The Eve of St. John» (1799—1801), увидевшей свет в 1824 г. под заглавием «Замок Смальгольм. Шотландская сказка»⁵⁶.

Существует легенда, пущенная самим Вальтером Скоттом, будто он начал писать романы, не желая состязаться с Байроном за пальму первенства в поэзии. Уже зарекомендовав себя в Англии (Шотландии) как поэт, известный коллекционер, адвокат, свой первый роман «Уэверли, или Шестьдесят лет назад» он опубликовал в возрасте 44

⁵⁵ Дьяконова Н. Я. Байрон // Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 44. См. также: Гласе А. Лермонотов и Е. А. Сушкова // М. Ю. Лермонтов: Исследования и материалы. Л., 1979. С. 92—99.

⁵⁶ Соревнователь просвещения и благотворения. 1824. Ч. 25, № 2. С. 131. См.: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению: В 2 т. СПб., 1889. Т. 1. С. 440—446, 523.

лет. Последний свой роман он написал в 1831 г., создав за оставшиеся ему после появления «Уэверли» 17 лет 26 романов.

В России русские читатели познакомились со Скоттом через французские переводы, переводы с французского на русский, реже – в оригинале и в переводе с английского. «Книгопродавцы, расчетливые угодники публики, не перестают наделять ее неизящными переводами романов В. Скотта...», — сетовал С. П. Шевырев в 1827 г.⁵⁷ И тем не менее еще и в 1830-е г. Пушкин читает романы В. Скотта во французских переводах, имевшихся в библиотеке его соседей в Тригорском (там же имелись и переводы Скотта на немецкий язык)⁵⁸. «Я взял у них, — пишет он жене, Вальтер-Скотта и перечитываю его. Жалею, что не взял с собой английского. Гуляю пешком и верхом, читаю романы В. Скотта, от которых в восхищении...»⁵⁹. Переводами исторических романов Вальтера Скотта студенты зачитывались и в Благородном пансионе, где учился Лермонтов, однако сам Лермонтов, начавший «учиться английскому языку по Байрону», читал, судя по воспоминаниям современников, романы Скотта в оригинале.

Проблема рецепции и той мировой и. в частности, русской славы, которую В. Скотт приобрел как прозаик, заключалась, однако, в том, что до 1826 г., когда писатель узнал о надвигающемся на него банкротстве, свои романы он публиковал анонимно, скрываясь за маской «Неизвестного», позже – «автора Уэверли» и проч. Еще в 1816 г. в обзоре английской литературы, опубликованном газетой «Русский инвалид», говорилось: «Сей роман (речь шла о романе «Антикварий»), равно как означенные на заглавии предшественники его, есть весьма удачная картина Шотландских нравов. Неизвестный сочинитель в отношении Шотландии занимает ту же степень, на коей находится славная Эджеворт в отношении к Ирландии. Но кто он? Как зовут его? Вот вопрос, который два года уже предлагается во всех журналах и во всех обществах»⁶⁰. Но в 1826 г. в связи с

⁵⁷ Шевырев С. П. Веверлей или Шестьдесят лет назад. Сочинение Валтера Скотта. 4 части // Шевырев С. П. Полн. собр. литературно-критических трудов: В 7 т. СПб., 2017. Т. 1. С. 139.

⁵⁸ Альтиуллер М. Эпоха Вальтера Скотта в России. СПб., 1996. С. 241; см. также: Левин Ю. Д. Прижизненная слава Вальтера Скотта в России // Эпоха романтизма: Из истории международных связей русской литературы / Отв. ред. ак. М. П. Алексеев. Л., 1975. С. 6–7.

⁵⁹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 50—51 (письмо от 29 сентября 1835 г.).

⁶⁰ К[озлов В. И.]. Краткое обозрение новейшей английской литературы: (Из писем из Лондона) // Русский инвалид. 1816. 4, 11, 12 авг. С. 735. См.: Долинин А. А. История, одетая в роман: Вальтер Скотт и его читатели. М., 1988. С. 40.

финансовым кризисом в Шотландии⁶¹ В. Скотт оказался вынужден обнародовать источники своих доходов. И тогда же записал в дневнике: «Волшебный жезл Неизвестного задрожал в руке. Отныне его придется называть Слишком Хорошо Известным. Пиршеству фантазии пришел конец, а вместе с ним и чувству независимости»⁶². В России газета «Северная пчела» тут же сообщила: «...в Лондоне получено письмо из Эдинбурга, в котором сказано, что сир Вальтер Скотт принужден был признать себя сочинителем “Ваверлея” и 90 других романов, при издании коих утаил он свое имя»⁶³. Так что в 1826 г. Н. Полевой имел уже все основания назвать имя того, ради кого «математик оставляет решение задачи», «модная дама не едет на бал, получив роман его», а «философ удивляется, как умел он разгадать такие тайны сердца человеческого»⁶⁴. «И нечего сказать — на Вальтер Скотта / У нас пришла чудесная охота!» — резюмировал увлечение писателем «Московский вестник» в стихотворном диалоге «Сцена в книжной лавке»⁶⁵.

Под влиянием Вальтера Скотта в европейской литературе 1820-х гг. быстро распространилась мода на анонимные предисловия и критические статьи, написанные в форме послания или диалога. Таковым стало предисловие П. А. Вяземского к пушкинскому «Бахчисарайскому фонтану» — «Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова», в котором М. А. Дмитриев тут же распознал «след» В. Скотта («Самый легковверный читатель догадается, что Классик выведен Издателем на сцену как лицо вымышленное, которое имеет такой-то образ мыслей, для противоположности с такими-то мнениями самого Издателя: средство не новое, которым столько раз пользовался В. Скотт в предисловиях к своим романам»⁶⁶).

К этому же приему, определившему, в частности, поэтику скоттовских «Рассказов трактирщика», прибегнет в цикле «Повести Белкина» Пушкин, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» — Гоголь⁶⁷, у которого ставшая центром вселенной Диканька («...и по ту

⁶¹ См.: *Максименко М. А.* Повседневная жизнь Вальтера Скотта как отражение финансового кризиса в Шотландии в 1825—1826 годах. Адрес электронного доступа: www.vestnik.vsu.ru

⁶² The journal of Sir Walter Scott. Oxford, 1972. P. 40. См. подробнее: *Долинин А. А.* История, одетая в роман. С. 50 и след. Слухи о том, что автором романов, которые «с восхищением приняли люди разных сословий и вкусов», был В. Скотт, просачивались еще и ранее, см.: Там же. С. 45—46.

⁶³ Северная пчела. 1825. № 27, 4 марта.

⁶⁴ Московский телеграф. 1827. Ч. 13, № 3. С. 186.

⁶⁵ Московский вестник. 1827. Ч. 5. № 20. С. 482. См.: *Долинин А. А.* История, одетая в роман. С. 121.

⁶⁶ Вестник Европы. 1824. Ч. 136. №7. С. 199.

⁶⁷ См.: *Виноградов В. В.* 1) Этюды о стиле Гоголя // Виноградов В. В. Избр. труды: Поэтика русской литературы. М., 1976. С. 255—260; 2) Гоголь и натуральная школа // Там же. С. 213.

сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки»⁶⁸) очевидно восходит к реплике Джедедии Клейшботэма, учителя и псаломщика деревни Гэндерклю, назвавшего ее в предисловии к циклу «центром, или пупом всего Шотландского королевства»⁶⁹.

Критики проницательно уловили вальтерскоттовский след и не преминули обвинить и Пушкина, и Гоголя в подражании. «Сперва подражатели Бейроничали, теперь Вальтер Скоттничествуют с важностью, которая так смешна, что я даже не умею выразить этого», — писал по поводу «Повестей Белкина» Ф. Булгарин⁷⁰. «Что у вас за страсть быть Вальтер-Скоттиками? Что за мистификации? Неужели все вы, гг. сказочники, хотите быть великими незнакомцами? Пишите, сколько вам угодно, да пишите свое, или хоть не перенимайте чужих ухваток, которые, право, не к лицу вам. Вальтер Скотт умел поддерживать свое инкогнито, а вы, г. Пасичник, спотыкаетесь на первом шагу», — возмущался тогда еще мало известным автором «Вечеров» Николай Полевой⁷¹.

Другими приметам романов В. Скотта, вызвавших в 1820-е гг. то, что получило название *вальтер-скоттовской лихорадки*, были: медленный, обстоятельный рассказ о «делах давно минувших дней», а также благородный герой, не по своей воле участвующий в политических и исторических контроверзах, но при этом не связанный ни с одной из враждующих сторон и потому «свободно перемещающийся в пространстве романа, отмыкая запертые для других двери и проходя сквозь идеологические перегородки»⁷².

«История народов и царств, история каждого частного человека, история каждой вещи чем-либо замечательной принадлежит ему. Мир внутренний и внешний человека, все разнообразие характеров, страстей и чувств, все высокое и низкое, чудесное и обыкновенное, все печальное и смешное — входит в область сего рода сочинений», — описывал художественный мир Вальтера Скотта С. П. Шевырев⁷³. Еще одно важное наблюдение – о драматургичности романов В. Скотта, принадлежало Н. И. Надеждину: «Роман Вальтера Скотта не есть группа статуй, приводимая в движение всемогущею силою рока: он, напротив, есть позорище, на котором живые лица действуют сами из себя, своими внутренними силами»⁷⁴.

⁶⁸ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. М., 2003. Т. 1. С. 153.

⁶⁹ См.: Долинин А. А. История, одетая в роман. С. 54.

⁷⁰ Северная пчела. 1831. № 286. 16 дек.

⁷¹ Полевой Н. А. Малороссия: ее обитатели и история // Московский телеграф. 1831. Ч. 41. № 17. С. 93.

⁷² Долинин А. А. История, одетая в роман. С. 192.

⁷³ Шевырев С. П. Веверлей, или Шестьдесят лет назад. С. 140—141.

⁷⁴ Надеждин Н. И. Рославлев, или русские в 1812 году» (М. Н. Загоскина) // Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 27.

Романами В. Скотта увлекался и поздний Карамзин, который, по свидетельству Вяземского, «говаривал, что если заживет когда-нибудь домом, то поставит в саде своем благодарный памятник Вальтеру Скотту за удовольствие, вкушенное им в чтении его романов»⁷⁵. «Стихов, стихов, стихов! Conversations de Byron! Walt. Scott! — это пища души», — взывает Пушкин к брату Льву в ноябре 1824 г. из Михайловского⁷⁶. В. Скотт становится и любимым чтением ссыльных декабристов. Известный совет, данный в 1826 г. Пушкину Николаем I — переделать «Бориса Годунова» в «историческую повесть или роман, на подобие *Вальтера Скотта*»⁷⁷ — был своего рода следствием увлечения самого императора шотландским романистом, с которым он познакомился еще в конце 1816 — начале 1817 г. во время своего четырехмесячного пребывания в Англии и Шотландии⁷⁸.

В свою очередь чтение романов В. Скотта становится устойчивым литературным мотивом. Пушкинский граф Нулин едет из чужих краев «с романом новым Вальтер Скотта». В новелле А. А. Бестужева-Марлинского «Часы и зеркало» полуразрезанный роман Валтера Скотта, заложенный пригласительным билетом на бал, лежит в кабинете светской красавицы. Свой воображаемый визит в Абботсфорд (имение В. Скотта) описывает И. И. Козлов в послании «К Валтеру Скотту» («Как часто я в мечтах веселых, / От мыслей мрачных и тяжелых, / В тенистый Аббодс-форд лечу, — / С тобой, мой бард, пожить хочу...»⁷⁹).

В России, как и в Европе, романы В. Скотта с середины 1820-х гг. порождают моду на все шотландское⁸⁰. Костюмы персонажей из вальтер-скоттовских романов становятся непременным атрибутом великосветских балов-маскарадов (особый успех имеет костюм Ревекки, героини «Айвенго», в котором в 1840 г. появилась на балу Н. Н. Пушкина⁸¹). Равенсвудом, героем «Ламмермурской невесты», представляет себя в переписке Вяземский⁸².

⁷⁵ Вяземский П. А. Записные книжки. М., 1992. С. 46.

⁷⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 121.

⁷⁷ Цит. по: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 2009. И. 7. С. 583, примеч.

Л. М. Лотман.

⁷⁸ См.: Левин Ю. Д. Прижизненная слава Вальтера Скотта в России. С. 10.

⁷⁹ Козлов И. И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1960. С. 193—194 (Б-ка поэта. Большая сер.). См. подробнее: Долинин А. А. История, одетая в роман. С. 132 и след.

⁸⁰ См.: Там же. С. 121 и след.

⁸¹ См.: Прекрасная, очаровательная и обожаемая, прекрасная, ненавидимая и ненавидимая: Письма П. А. Вяземского Н. Н. Пушкиной (1839—1843) / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. А. В. Дубровского // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2022 год / Отв. ред. Т. С. Царькова. СПб., 2022. С. 79.

⁸² Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1913. Т. 5, вып. 2. С. 67.

Знакомство с романами Вальтера Скотта сильно повлияло на понимание истории. Но вместе с этим возникало и сомнение в том, что на русской почве возможно создать роман в духе В. Скотта. «...у нас нечего описывать: древние русские — варвары, а новые — подражатели», — утверждает устами своего героя в «Письме о русских романах» М. П. Погодин⁸³. В защиту русской старины выступил тогда И. В. Киреевский, прочтя в 1827 г. в салоне З. А. Волконской лирический очерк «Царицынская ночь», герой которого (alter ego автора) намеревался написать исторический роман вальтерскогтовского типа, где действовал бы «человек, неназванный историею» из эпохи Бориса Годунова⁸⁴.

Следы влияния В. Скотта носил роман М. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829), который принято считать первым русским историческим романом⁸⁵. Создал свой исторический роман «Дмитрий Самозванец» (1830) Ф. Булгарин, импульс к работе над которым, возможно, дала упомянутая выше резолюция Николая I на рукописи пушкинского «Бориса Годунова»⁸⁶. Местом действия своего романа «Последний Новик» (1831—1832) исторический романист И. И. Лажечников делает Ливонию (Лифляндию), которая для русской литературы становится тем, чем в романах В. Скотта была Шотландия для английского читателя — территорией, на которой происходит столкновение двух культурных и религиозных систем. При этом «Последний Новик» продемонстрировал, что русский исторический роман, помимо В. Скотта, мог получать импульсы еще и от другого источника – романов Ф. Купера. Под «куперовским следом» понималась «партийность» и предвзятость, чуждая романам В. Скотта, но характерная для Купера⁸⁷, который, описывая войну американцев за независимость, отдавал предпочтение своим соотечественникам перед англичанами. Так и большинство русских последователей Скотта отличались повышенным патриотизмом в описании исторических деяний предков, четко отделяя в историческом конфликте «своих» от «чужих»⁸⁸.

⁸³ Московский вестник. 1828. Ч. 7, № 1. С. 112.

⁸⁴ Киреевский И. В. Полн. собр. соч. М., 1861. Т. 1. С. 1—3. См. подробнее: Долинин А. А. История, одетая в роман. С. 227.

⁸⁵ См. подробнее: Альтшуллер М. Эпоха Вальтера Скотта в России. С. 74.

⁸⁶ Гозенпуд А. А. Из истории общественно-литературной борьбы 20—30-х годов XIX в. («Борис Годунов» и «Дмитрий Самозванец») // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1969. Т. 6. С. С. 252-275.

⁸⁷ О своем предпочтении Купера будет в 1840 г. рассказывать в письме к В. П. Боткину от 16—21 апреля 1840 г. Белинский: «Я был без памяти рад, когда он <Лермонтов> сказал мне, что Купер выше В. Скотта, что в его романах больше глубины и больше художественной целостности <...> в нем несравненно более поэзии, чем в Вальтер Скотте...» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч.. Т. 11. С. 509).

⁸⁸ См.: Долинин А. История, одетая в роман. С. 227—228.

И в этом смысле почти единственным действительно вальтер-скоттовским романом в русской литературе остается «Капитанская дочка» Пушкина, своего рода итог влияния Скотта на русскую литературу. Любя и высоко ценя шотландского романиста (именно Пушкину принадлежит известное определение существа его прозы – «Главная прелесть ром<анов> W<alter> Sc<ott> состоит <в том>, что мы знакомимся с прошедшим временем не с *enflure* <напыщенностью – *фр.*> фр<анцузских> трагедий, — не с чопорностью чувствительных романов — не с *dignité* <достоинством – *фр.*> истории, но современно, но домашним образом»⁸⁹), он одновременно стремился к состязанию с ним, сказав будто бы однажды П. В. Нащокину: «Погоди, дай мне собраться, я за пояс заткну Вальтер Скотта!»⁹⁰. Первую попытку «заткнуть за пояс Вальтера Скотта» Пушкин предпринял еще в 1827 г., когда начал работу над «<Арапом Петра Великого>», в котором воплотил один из принципов В. Скотта – выдвижения на роль протагониста исторического повествования частного человека. И все же только в «Капитанской дочке» Пушкину удалось создать истинно русский исторический роман, в котором он выступил одновременно как ученик и как соперник В. Скотта⁹¹. Сама форма повествования «Капитанской дочки» — записки главного героя, обрывающиеся в конце и снабженные кратким послесловием вымышленного издателя, — сразу же напоминала читателю о шотландском романисте. Повесть была наполнена и прямыми из него реминисценциями: в Гриневе узнавался русский Уэверли или Фрэнсис Осбальдистон (герой «Роб Роя»), в Маше Мироновой — русская Джини Динс («Эдинбургская темница») или Роза Брэдвардин («Уэверли»), в Швабрине — русский Рэшли («Роб Рой»), в Савельиче – «русский Калев» («Ламмермурская невеста»). Но самой главной данью Пушкина принципам исторического повествования В. Скотта стала его непредвзятая оценка конфликта дворянского и крестьянского сословий, где у каждой из воюющих сторон — своя неполная «правда», а главный герой (Петруша Гринев) «ни в одном из современных ему лагерей не растворяется полностью», потому что для этого «он слишком человечен»⁹².

В статье «Взгляд русского на современное образование Европы» (1841) Шевырев противопоставил Байрона и В. Скотта — «исполинов поэзии английской», полностью

⁸⁹ Пушкин А. С. <О романах Вальтера Скотта> // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 195.

⁹⁰ Нащокины П. В. и В. А. Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартеневым // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 188.

⁹¹ См.: Альтшуллер М. Эпоха Вальтера Скотта в России. С. 241.

⁹² Лотман Ю. М. Идеиная структура «Капитанской дочки» // Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. М., 1988. С. 123.

выразивших национальный дух, — ничтожествам, которые пришли им на смену. «Как мало значительны все явления словесности английской после этих двух, которые и до сих пор продолжают иметь двойственное влияние на весь пишущий мир Европы!»⁹³. Но у этих двух кумиров был еще один соперник – в лице автора уже времен прошедших, а именно Шекспира. «Кажется, не ошибемся, сказав, что без Шекспира не существовал бы В. Скотт, — заявляет, например, Н. Полевой. — Он понял тайну, как изображал Шекспир историю в драме»⁹⁴.

Раннее вхождение Шекспира в русскую литературу связано было с именем Карамзина⁹⁵. Однако в последующие два десятилетия освоение наследия английского драматурга русской литературой было довольно непростым. Одной из причин тому были дурные переводы, не помешавшие славе В. Скотта, но сильно затруднившие восприятие Шекспира, чтение которого в оригинале также представляло гораздо большую трудность, чем чтение новейших авторов. Как вспоминал об этом времени П. А. Каратыгин, «Шекспир в буквальном переводе появился на нашей сцене несколько позже, а до тех пор его пьесы переводились с французского; так, например, “Гамлета” перековеркал Висковатов. “Лира”, или, как его тогда называли, “Леара”, перевёл Гнедич; “Отелло” переиначил Дюсис и т. п. Все эти пьесы были безобразно урезаны и втиснуты в классическую форму, которая требовала на сцене неизменных трёх единств. С гениальным Шекспиром обращались без церемонии...»⁹⁶.

Новый этап в усвоении Шекспира пришелся на пушкинскую эпоху, когда на смену чтению Шекспира в редакции Дюсиса приходят новые французские переводы Летурнёра, гораздо более точные и профессиональные. Так и в библиотеке Пушкина Полное собрание сочинений Шекспира было представлено на французском языке в прозаическом переводе Летурнёра с предисловием Ф. Гизо (1821)⁹⁷. Чтение французских переводов Шекспира,

⁹³ Москвитянин. 1841. Ч. 1, № 1. С. 236—237. То же: *Шевырев С. П.* Полн. собр. литературно-критических трудов. СПб., 2020. Т. 3.

⁹⁴ *П[олевой] Н. [А.]* О романах Виктора Гюго и вообще о 310 новейших романах: (Против статьи г-на Шове) // Московский телеграф. 1832. Ч. 43. С. 233.

⁹⁵ См.: *Кафанова. О. Б.* «Юлий Цезарь» Шекспира в переводе Н. М. Карамзина // Русская литература. 1983. № 2. С. 158-163; *Заборов П. Р.* На подступах к Шекспиру // История русской переводной художественной литературы 1800—1825 годы. С. 545—555.

⁹⁶ *Каратыгин П. А.* Записки. Л., 1929. Т. 1. С. 298—299.

⁹⁷ По свидетельству С. П. Шевырёва, Шекспира «Пушкин не читал в подлиннике, а во французском старом переводе, поправленном Гизо, но понимал его гениально» (цит. по: *Майков Л.* Пушкин. СПб., 1899. С. 330; см. также: Шекспир и русская культура. М.; Л., 1965. С. 165). Степень владения английским языком Пушкина конца 1820-х – 1830-х гг. остается в пушкинистике вопросом нерешенным. См. подробнее: *Долинин А. А.* Пушкин и Англия. С. 23—24.

сделанных Летурнёром, в целом совпало со временем, когда Шекспира начали читать также и на языке оригинала и переводить с языка оригинала. Первым таким переводом стал в 1828 г. перевод «Гамлета» военным геодезистом и географом М. П. Вронченко (1802—1855). «Дух Шекспира впервые проник в умы и возбудил в них живое сочувствие к поэтической правде...», — отозвался об этом переводе А. В. Никитенко⁹⁸.

С 1820-х гг. Шекспир в России (в Европе этот процесс начался гораздо раньше) начинает осмысляться как романтический поэт, «из творений коего развивается мир романтизма, как из творений Гомера развивался мир классической поэзии древних»⁹⁹. Одним из главных медиаторов Шекспира в России становится В. К. Кюхельбекер. В 1823—1825 гг., вернувшись с Кавказа, где он обсуждал с Грибоедовым пьесы Шекспира как образец истинной драмы, он пишет и публикует статьи, в которых постоянно возвращается к наследию английского драматурга, «знавшего все: и рай, и ад, и небо, и землю ...»¹⁰⁰. И при этом резко выступает против сравнения «огромного Шекспира и — однообразного Байрона»: по его мнению, именно Шекспир, в отличие от Байрона, «истинный романтик».

В оригинальном творчестве Кюхельбекера также весьма ощутим след Шекспира. В 1825 г. он создает «драматическую шутку» «Шекспировы духи», персонажи которой переодеваются в героев «Сна в летнюю ночь» и «Бури», с 1826 г. работает над мистерией «Ижорский», в которой фигурируют шекспировские персонажи Ариэль и Титания. В духе шекспировских хроник Кюхельбекер разрабатывает сюжет из русской истории в трагедии «Прокопий Ляпунов» (1834), иронической переделкой «Укрощения строптивой» становится его пьеса «Нашла коса на камень» (1839)¹⁰¹.

С пропагандой нового романтического искусства, важной частью которой является наследие Шекспира, выступал в конце 1820-х и в 1830-е гг. журнал «Московский телеграф», издаваемый Н. А. Полевым. Разбору пьесы «Сон в летнюю ночь» он посвящает отдельную статью (1833), а после закрытия «Московского телеграфа» в 1834 г. обращается к переводу трагедии «Гамлет», издание которой отдельной книгой в 1837 г. стало

⁹⁸ *Никитенко А. В.* Михаил Павлович Вронченко: (Биографический очерк) // Журнал министерства народного просвещения. 1867. Ч. 136, № 10. С. 35.

⁹⁹ *Полевой Н.* Рецензия на «Гамлета» в переводе М. Вронченко // Московский телеграф. 1828. Ч. 24, № 24. С. 497.

¹⁰⁰ *Кюхельбекер В. К.* Разговор с Ф. В. Булгариным // Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 467.

¹⁰¹ См.: *Савченко О. В.* Кюхельбекер Вильгельм Карлович // Уильям Шекспир. Энциклопедия: В 2 т. / Сост. и науч. ред. И. О. Шайтанов. М., 214. Т. 2. С. 543—545.

поворотным моментом русского шекспиризма и положило начало пониманию Шекспира как «нашего современника».

Также и русская «народная» драма, самым ярким воплощением которой стал пушкинский «Борис Годунов», получает в России свой импульс от Шекспира. Впервые имя Шекспира в пушкинской переписке встречается в письме к П. А. Вяземскому из Одессы: «Читаю Шекспира и Библию, Святой Дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гёте и Шекспира...»¹⁰². Уже из Михайловского Пушкин пишет Н. Н. Раевскому-младшему: «... но что за человек Шекспир? Я не могу прийти в себя от изумления! Как ничтожен перед ним Байрон-трагик»¹⁰³.

О Шекспире Пушкин неоднократно говорит как об источнике своего творчества в связи с работой над «Борисом Годуновым». «Шексп<иру> я подражал в его вольном и широком изображении характе<ров>, в небрежном и простом составлении типов», — пишет Пушкин в «Набросках предисловия к „Борису Годунову“» (1829—1830), признавая, что «нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой»¹⁰⁴. В «<Письме к издателю „Московского вестника“>» (1828) он подчеркивает, что «расположил» ее «по системе Отца нашего — Шекспира»¹⁰⁵. И даже финальная реплика «Бориса Годунова» «Народ безмолвствует», которая долго не давалась Пушкину, была им, по-видимому, найдена у Шекспира в «Ричарде III», где лондонцы сопровождают молчанием призыв к провозглашению несправедливого монарха¹⁰⁶.

По свидетельству Анненкова, знакомство с Шекспиром «окончательно перерабатывало Пушкина, как человека, и дало ему новое созерцание жизни и своего призвания в ней»¹⁰⁷. «Не будем ни суеверны, ни односторонни — как фр<анцузские> трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира» — пишет Пушкин А. А. Дельвигу 15 февраля 1826 г., узнав о случившемся в Петербурге восстании¹⁰⁸.

Второй раз встреча с Шекспиром значимо отозвалась в пушкинском творчестве во вторую Болдинскую осень (1833). К этому году относится первое печатное высказывание Пушкина о Шекспире («О „Ромео и Джульетте“ Шекспира») и его первая попытка

¹⁰² Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 92 (письмо от апреля – первой половины мая (?) 1824 г.).

¹⁰³ Там же. С. 197, 541 (оригинл по-фр.).

¹⁰⁴ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 2009. Т. 7. С. 94.

¹⁰⁵ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 66.

¹⁰⁶ См.: Gifford H. Shakespearean Elements in «Boris Godunov» // The Slavonic and East European Review. 1947. Vol. 26, № 66. P. 156.

¹⁰⁷ Анненков П. В. Пушкин в Александровскую эпоху. Минск, 1998. С. 206.

¹⁰⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 259.

перевести Шекспира на русский язык¹⁰⁹. Незавершенная работа над переводом пьесы «Мера за меру», почитавшейся до того неудачей Шекспира, очевидно инспирировала у Пушкина и замысел поэмы «Анджело» (1833) — переложения этой пьесы, внутренне связанного с ее размышлениями поэта о природе власти, которые отразились в писавшемся параллельно с «Анджело» «Медном всаднике» (1833). Присутствие Шекспира угадывается у Пушкина также и в «Маленьких трагедиях» — прежде всего в построении характеров, неоднозначных, как у английского драматурга¹¹⁰.

Вхождению Шекспира в русское сознание во многом способствовала также и театральная сцена, а главное — актеры, исполнявшие заглавные роли, и прежде всего роль Гамлета. Как новый, отличный от классицистического, образец героя высокой трагедии исполнял Гамлета в петербургском Александринском театре В. А. Каратыгин. В Москве Шекспир предстал как безусловный романтик в исполнении П. С. Мочалова.

Лукавый и чувствительный Стерн

В русском сознании Шекспир выступал «дублетом» в паре то с Байроном (ср. выше приведенное высказывание Вяземского), то с Гете, который, как считал А. С. Грибоедов, его все же превосходит¹¹¹, то с Мольером и Лопе де Вега как с создателями «новой драмы»¹¹². Но был еще один английский автор, причем вовсе не драматург, который составил в русском восприятии определенную конкуренцию Шекспиру. Этим автором был Лоуренс Стерн.

К началу XIX в. русскому читателю Стерн был уже в достаточной мере известен¹¹³. В 1801 г. в Москве отдельным изданием выходит книга «Красоты Стерна, или Собрание

¹⁰⁹ См. пушкинский перевод начала пьесы «Мера за меру» — «Вам объяснять правления начала...».

¹¹⁰ Ср. знаменитое сравнение мольеровских и шекспировских характеров: ««Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков <...> У Мольера Скупой скуп — и только; у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен» (*Пушкин А. С. Table-Talk // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 159—160*).

¹¹¹ Известны его слова: «Едва ли творения Шекспира выдержат сравнение с гетевскими» (*Бестужев А. А. Знакомство с Грибоедовым // Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1929. С. 136*). См. также: *Савченко О. В. Грибоедов Александр Сергеевич // Уильям Шекспир. Энциклопедия. Т. 2. С. 527—528*.

¹¹² См.: [*Полевой Н.*] Опыт науки изящного А. Галича... // *Московский телеграф*. 1826. Ч. 9, № 10. С. 137. См. также: *Сидорук А. В. Полевой Николай Александрович // Уильям Шекспир: Энциклопедия. Т. 2. С. 557*.

¹¹³ См.: *Маслов В. И. Интерес к Стерну в русской литературе конца XVIII и начала XIX века // Историко-литературный сборник. Л., 1924. С. 347*.

лучших его патетических повестей и отличнейших замечаний на жизнь для чувствительных сердец», посвященная Александру I, только еще взошедшему на престол. Задачей, которую поставил перед собой переводчик этой книги Я. А. Галинковский, было «воздействовать <...> на современных писателей сентименталистов, которые несколько превратно понимают понятие “чувствительность”»¹¹⁴. В том же 1801 г. появился сборник проповедей Стерна в переводе с французского языка адмирала П. В. Чичагова¹¹⁵. В эти же годы выходит и шеститомный перевод первого романа Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шанди» (1759—1767), выполненный с английского языка М. С. Кайсаровым, о котором в 1823 г. А. А. Бестужев скажет, что «М. Кайсаров сделал себе имя переводом Стерна»¹¹⁶.

Влияние Стерна на русскую литературу рубежа веков проявлялось прежде всего в жанре травелогов — в «Новом чувствительном путешественнике» П. И. Шаликова и «Письмах из Лондона» П. И. Макарова. Горячим почитателем английского пастора и писателя был Андрей Тургенев, любивший события собственной жизни проецировать на стерновские сюжеты. Любимым его персонажем была Мария, история которой, рассказанная в «Жизни и мнениях Тристрама Шенди» и «Сентиментальном путешествии», приобрела особую популярность¹¹⁷. Для Тургенева воплощением бедной Марии стала Варвара Соковнина, решившая после смерти горячо ею любимого отца стать монахиней и покинувшая родной дом, найдя временный приют у крестьян. «Я воображаю ее в крестьянской избе, в простом крестьянском платье, как она в сумрачную осень ходит в сельской роще и мечтает о нем, и как между тем мать ее оплакивает. На эту минуту не взял бы я всех алмазов остроумия Волт<ерова> за одну искру человеколюбия Стернова. Один

¹¹⁴ Красоты Стерна, или Собрание лучших его патетических повестей и отличнейших замечаний на жизнь для чувствительных сердец / Пер. с англ. М., 1801. С. IV—V. Оригинальное издание «The Beauties of Sterne: including all his pathetic tales, and most distinguished observations on life, selected for the heart of sensibility» (1782) было посвящено императору Иосифу II. См. также: *Атарова К. Н.* Лоренс Стерн и его «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии». М., 1988. С. 71.

¹¹⁵ Нравоучительные речи и некоторые нравственные мнения г. Стерна. М., 1801. О своем вполне сознательном решении вносить изменения в текст Стерна переводчик писал во вступлении (Там же. С. 2). См. подробнее: *Дроздов Н. А.* Английская литература в русских переводах. Проза // История русской переводной художественной литературы 1800—1825 гг. С. 456.

¹¹⁶ Полярная звезда на 1823-й год. СПб., [1823]. С. 17.

¹¹⁷ См. подробнее: *Gerard W. B.* «All that the heart wishes»: Changing Views toward Sentimentality Reflected in Visualizations of Sterne's Maria, 1773—1888 // *Studies in Eighteenth Century Culture*. 2005. Vol. 34 (1). P. 197—269; *Зорин А.* Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII—начала XIX века. М., 2016. С. 250—251, 306—307, 318.

он мог так описать свою Марию!», записывает Тургенев в своем дневнике в 1800 г.¹¹⁸, сравнивая Соковнину одновременно и со стерновой Марией, и с Луизой Миллер, героиней драмы Шиллера «Коварство и любовь».

И все же длительное время главным русским стернианцем оставался Карамзин. Однако и у Карамзина стернианство претерпело определенную эволюцию: от восхищения чувствительно-филантропическим Стерном — к восприятию Стерна как разрушителя рационалистической эстетики, что в особенности дало себя знать в «Рыцаре нашего времени»¹¹⁹.

В дальнейшем в пространстве ранней романтической эстетики интерпретация литературных открытий Стерна все более фокусируется на представлениях об авторе-творце, свободно манипулирующем героями, на его комическом произволе в обращении с литературным материалом, наконец, на принципе взаимодействия комического с трагическим, возвышенного с обыденным, чему европейские романтики могли учиться как у Шекспира, так и у Стерна. В определенном смысле литературная судьба Стерна была в чем-то близкой шекспировской: оба писателя, органично вписавшись в собственную эпоху, были переосмыслены в эпоху романтизма, став для романтиков эталонными представителями нового искусства¹²⁰. В России (впрочем, как и в Европе) было не только два основных этапа восприятия Стерна, но и существовало будто два разных писателя Стерна¹²¹. Один из них почитался как сентименталист (соответственно «русским Стерном» был провозглашен Карамзин), другой — как основоположник романтизма¹²². Шутливый стерновский хаос романтики интерпретировали как отражение самовопрошающего иронического ума, а ассоциативный принцип построения романа —

¹¹⁸ Цит. по: Зорин А. Появление героя. С. 301.

¹¹⁹ См.: Канунова Ф. З. Об эволюции стернианства Н. М. Карамзина // Проблемы метода и жанра. Томск, 1977. Вып. 4. С. 3—12.

¹²⁰ См.: Behler E. Klassische Ironie. Romantische Ironie. Tragische Ironie. Zum Ursprung dieser Begriffe. Darmstadt, 1981. S. 109.

¹²¹ См.: Маслов В. Интерес к Стерну в русской литературе конца XVIII и начала XIX вв. С. 362. См. также: Jouvét G. Laurence Sterne: l'assassinat du pathétique, ou Le shaker de charlot // Nouvelle revue française. 2005. № 572. P. 81—100; Cross A. Translating a title: Russian variations on Sterne's «Sentimental journey» // Res traductoria: Перевод и сравнительное изучение литератур: К восьмидесятилетию Ю. Д. Левина. СПб., 2000. P. 87—92; Банах И. В. Традиции Л. Стерна в сентиментальных путешествиях малых стернианцев конца XVIII — начала XIX века // Третьи Майминские чтения. Псков, 2000. С. 4—10.

¹²² Об отголосках произведений Стерна у писателей-романтиков см.: Лотман Ю. М. Несколько слов к проблеме «Стендаль и Стерн»: (Почему Стендаль назвал свой роман «Красное и черное»?) // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Галлин, 1993. Т. 3. С. 428—429; Бодрова А. С. О Стерне и красках воображения: история одного эпиграфа: («Пирры» Е. А. Баратынского) // Русская филология. Тарту, 2008. № 19. С. 41—45.

как романтическую бесконечность процесса создания текста-мира¹²³. И здесь титул «русского Стерна» поделили между собой Вельтман и Гоголь. Как реликт прочтения Стерна, с произведениями которого (как и с романами Филдинга¹²⁴) Гоголь познакомился еще в Нежинской гимназии, предстает, в особенности у раннего Гоголя, перекрестная игра противоречий, явление, мыслимое всякий раз в двойном аспекте, эмоция в сочетании с ее дискредитацией, смех, направленный одновременно на героев, на автора, на читателей¹²⁵. С опорой на Стерна, но понятого в романтическом ключе, развивается у Гоголя ироническая техника — постоянный обмен самосозидания и саморазрушения, промежуточное положение между верой и неверием, энтузиазмом и скепсисом¹²⁶.

Имя Стерна неоднократно упоминалось и Пушкиным — в его переписке, в критических статьях и в «Евгении Онегине», — романе, который Л. И. Вольперт назвала самым «стернианским» произведением Пушкина¹²⁷. О важности стернианской традиции именно для Пушкина заговорили, правда, лишь в XX в., с легкой руки Б. В. Шкловского, который определил творческую связь между двумя авторами как эстетический «взрыв» всяческих норм, шаблонов и схем (проблема, как известно, живо привлекавшая «опоязовцев»)¹²⁸. К стернианскому «следу» в пушкинском романе относили и принципиальную незаконченность «Евгения Онегина», отрефлектированную автором, а также отступления (*digressions*), которые Стерн уподоблял солнечному свету: «Они составляют жизнь и душу чтения. — Изымите их, например, из этой книги, — она потеряет всякую цену: — холодная, беспросветная зима воцарится на каждой ее странице»¹²⁹.

С традицией русского стернианства принято связывать роман «Жизнь и мнения нового Тристрама» (1829) Якова Ивановича де Санглена (1776—1864), ныне рассматриваемый как «чрезвычайно современный, модернистский или даже

¹²³ См.: *Conrad P. Shandyism. The Character of Romantic Irony.* Oxford, 1978. P. 19.

¹²⁴ См.: *Манн Ю. В. Гоголь // История всемирной литературы: В 9 т. М., 1989. Т. 6. С. 381; Многоликий Филдинг: Коллективный труд / Отв. ред. Е. П. Зыкова. М., 2023.*

¹²⁵ См.: *Виноградов В. В. Этюды о стиле Гоголя. С. 247–254; Елистратова А. Гоголь и проблема западноевропейского романа. М., 1972.*

¹²⁶ См.: *Perlina N. Travels in the Land of Cockaigne, the Sluggards' Land and Dikanka: Mythological Roots of Gogol's Carnival Poetics // The Supernatural in Slavic and Baltic Literature: Essays in Honour of Victor Terras. Slavica Publishes. Columbus, 1988. P. 57–69.*

¹²⁷ *Вольперт Л. И. Стернианская традиция в романах «Евгений Онегин» и «Красное и черное» // Slavic Almanach : The South African journal for Slavic, Central and East European studies. 2001. Vol. 7, № 10. P. 77–90.*

¹²⁸ См.: *Шкловский В. «Евгений Онегин» (Пушкин и Стерн) // Очерки по поэтике Пушкина. Берлин, 1923. С. 194–197.*

¹²⁹ *Стерн. Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентельмена // Стерн. Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентельмена. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии. М., 1988. С. 81–82.*

постмодернистский текст»¹³⁰, а также роман А. Ф. Вельтмана «Странник» (1831—1832), написанный в русле традиций литературы воображаемых путешествий (Стерн, Кс. Де Местр) и вместе с тем обыгрывающий ее приемы¹³¹.

Английские поэты XVIII века

Первые годы XIX в. были окрашены унаследованным от XVIII столетия увлечением описательной английской поэзией – нравственными, религиозными и натурфилософскими медитациями о природе и Творце. Представление об этом дает московский журнал П. А. Сохацкого «Иппокрена, или Утехи любословия» (1799–1801). В нем, наряду с многочисленными эпиграфами из А. Поупа, основное место занимали прозаические, сделанные в основном с английского, переводы из Т. Грея¹³², английского поэта XVIII в., в историях литературы именуемого сентименталистом и предшественником романтизма. В тесном взаимодействии с поэтической философией английского предромантизма формируется в 1801—1805 гг. лирика Жуковского.

Свой перевод элегии Т. Грея «Сельское кладбище», опубликованный в 1802 г. в только что созданном журнале «Вестник Европы», редактором которого тогда был Карамзин, сам Жуковский почитал началом своей поэзии¹³³. «Выговорил элегическим языком жалобы человека на жизнь», — определит этот новый тип письма Белинский¹³⁴. «Началом истинно человеческой поэзии после условного риторического творчества Державинской эпохи» назовет этот перевод впоследствии Вл. Соловьев в примечании к

¹³⁰ Орлицкий Ю. Б. Новый русский Тристрам: Первый стернианец России Яков де Санглен // Забытые писатели: Сб. научных статей / Сост. и редактор Э. Ф. Шафранская. СПб., 2021. С. 13—29.

¹³¹ См.: Ильин-Томич А. А. Вельтман Александр Фомич // Русские писатели 1800–1917. Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 406; см. также: Грачева А. А. От стернианства – к романтизму («Странник А. Вельтмана и «Жизнь и мнения нового Тристрама» Я. Де Санглена // Эйхенбаумовский сборник. М., 2020. С. 161—168.

¹³² См.: Левин Ю. Д. Английская просветительская журналистика в русской литературе XVIII в. // Левин Ю. Д. Восприятие английской литературы в России: Исследования и материалы. Л., 1990. С. 5–102.

¹³³ «...хочу у подошвы Швейцарских гор посидеть на том низком холмике, на коем стоял наш Мишенский дом со своею смиренною церковью, на коем началась моя поэзия Греевой элегией», — напишет он в письме к А. П. Зонтаг 29 января 1833 г. (Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. Томск, 2023. Т. 17. С. 119).

¹³⁴ Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья вторая // Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 190.

строфам под заглавием «Родина русской поэзии. По поводу элегии “Сельское кладбище”», посвященным им сыну Жуковского Василию¹³⁵.

Элегия эта, впрочем, известная еще в XVIII в. в русских прозаических переводах с французского, привлекла особое внимание поэтов именно в первое десятилетие наступившего нового века. Одновременно с Жуковским ее перевел П. И. Голенищев-Кутузов¹³⁶, правда, не слишком удачно, если верить суждению А. Ф. Мерзлякова¹³⁷. Связь с элегией Грея прослеживается также и в «кладбищенских» стихотворных набросках Пушкина «Стою печален на кладбище...» (1834) и «Когда за городом задумчив я брожу...» (1836)¹³⁸.

Имя Грея в русском сознании в первые два десятилетия XIX в. устойчиво сочеталось с именем шотландского поэта Джеймса Томсона (1700–1748). В 1802 г. выходит переиздание четырех из пяти частей сделанного Карамзиным перевода описательной поэмы Томсона «Времена года» («The Seasons», 1726–1730), впервые напечатанного в 1787–1789 гг. в новиковском журнале «Детское чтение для сердца и разума»¹³⁹. В 1808 г. выходит стихотворение Жуковского «Гимн. (Подражание Томпсону)»¹⁴⁰, – вольный перевод заключительной части «Времен года», отозвавшийся в записи плана продолжения стихотворения «Пора, мой друг, пора! ...» (1834) Пушкина («О скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню...» (в библиотеке Пушкина сохранился экземпляр «Времен года» на английском языке в издании 1820 г.)¹⁴¹. Мотив прогулки с книгой Томсона в руках стал в начале века общим местом в текстах представителей «нового слога», вызывающим

¹³⁵ Впервые опубликовано: Вестник Европы. 1897. № 11. С. 347.

¹³⁶ Стихотворения Грея, с аглинского языка переведенные Павлом Голенищевым-Кутузовым, с присовокуплением краткого известия о жизни и творениях Грея, и многих исторических и баснословных примечаний. М., 1803.

¹³⁷ В его письме к Жуковскому от 22 апреля 1803 г. говорилось: «Писал ли я к тебе о том, что Кутузов в месяц перевел всего Грея? О бедный Грей! <...>. Страшное беззаконие, за которое наказывают его перстнями» (Русский архив. 1871. Кн. 1. Стб. 0143).

¹³⁸ См.: Рак В. Д. Грей // Пушкин и мировая литература: Материалы к «Пушкинской энциклопедии». СПб., 2004. С. 119 (Пушкин: Исследования и материалы. Т. 18—19). См. также: Алексеев М. П. Английская поэзия и русская литература // Английская поэзия в русских переводах XIV—XIX века / Сост. М. П. Алексеев, В. В. Захаров, Б. Б. Томашевский. М., 1981. С. 541–552; Левин Ю. Д. Восприятие английской литературы в России. С. 181—183, 208—210.

¹³⁹ Четыре времени года / <Пер. Н. М. Карамзина> // Сокращенная библиотека в пользу господ воспитанников Первого кадетского корпуса. СПб., 1802. Ч. 2. С. 339–414.

¹⁴⁰ Вестник Европы. 1808. Ч. 40, № 14 (июль и август). С. 165–170.

¹⁴¹ См.: Рак В. Д. Томсон // Пушкин и мировая литература: Материалы к «Пушкинской энциклопедии». С. 334; см. также: Левин Ю. Д. Восприятие английской литературы в России. С. 168–181, 218–220; Струве М., Струве Н. Из русско-английских литературных связей: Пушкин и Томсон // Московский пушкинист. Вып. 10. С. 120–123.

полемиические реакции. «Проникнутый эфирным ощущением всевозраждающей весны, схватив мирный посох свой милого мне Томсона, стремлюсь в объятия природы», — иронизировал в 1803 г. А. С. Шишков¹⁴². К 1805 г. относится анти-карамзинская попытка Н. Н. Муравьева перевести Томсона «славяно-русской» прозой. Муравьев считал, что русские слова обладают «благопристойностью, без малейшей двусмысленности», в отличие от «мерзости» их иноязычных аналогов¹⁴³.

Частью триады, включавшей Томсона, «поэта природы, времен года» и Грея, «поэта кладбищ, смерти»¹⁴⁴ стал Эдуард Юнг (1683–1765), чья европейская литературная слава была обязана его написанной белым стихом религиозно-дидактической поэме «Жалоба, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии» («The Complaint, or Night-Thoughts on Life, Death and Immortality», 1742–1745). В истории русского юнгианства¹⁴⁵ самым значительным стал прозаический перевод, выполненный А. М. Кутузовым «Плач Эдуарда Юнга или Нощные размышления о жизни, смерти и бессмертии, в девяти ночах помещенные», впервые вышедший в 1785 г. и затем дважды переизданный в 1799 и 1812 гг. Первый стихотворный перевод александрийским стихом «Юнговых ночей», сделанный в 1803 г. С. Глинкой с французского прозаического перевода П. Летурнёра, представлял собой уже вольное переосмысление подлинника: посвящения Юнга Глинка заменил собственными стихотворными обращениями к близким ему лицам, а также добавил критику Юнга, что сделало текст примечательным переводческим курьезом¹⁴⁶.

Русское усвоение Юнга в основном завершилось в первое десятилетие XIX века, сведясь к редуцированому образу Юнга как меланхолического «поэта скорби, плача». О сочинении «Ночь на гробах. Подражание Юнгу князя Сергея Шихматова, члена Императорской Российской Академии и Беседы любителей русского слова», вышедшем в 1812 г., Батюшков напишет Вяземскому: «Черствое подражание Йонгу, которому бы по

¹⁴² Шишков А. С. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. СПб., 1803. С. 54.

¹⁴³ О чувствительных невыгодах знания нескольких языков // Некоторые из забав отдохновения, с 1805 года, Николая Наз. Муравьева. СПб., 1828. Ч. 3. С. 51–52. См. подробнее: Баскина (Маликова) М. Поэзия // История русской переводной художественной литературы. 1800—1825 гг. С. 409.

¹⁴⁴ Топоров В. Н. «Сельское кладбище» Жуковского: К истокам русской поэзии // Russian Literature. 1981. Vol. 10. С. 212.

¹⁴⁵ См. о нем: Заборов П. Р. «Ночные размышления» Юнга в ранних русских переводах // XVIII век. Л., 1964. Сб. 6. С. 277; ср.: Левин Ю. Д. Восприятие английской литературы в России. С. 152. См. также: Вайскопф М. Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русского романтизма. М., 2012. С. 33, 97—98, 555.

¹⁴⁶ См.: Заборов П. Р. «Ночные размышления Юнга в ранних русских переводах». С. 271–272, 274.

совести и подражать не должно»¹⁴⁷. Поэтом глубоким, но скучным будет считать Юнга Пушкин (письмо к М. П. Погодину от первой половины сентября 1832). В его библиотеке двухтомное переиздание «Ночей» во французском переводе Летурнёра осталось разрезанным менее, чем на одну треть первого тома¹⁴⁸.

Дж. Мильтона, одного из первых английских поэтов, имя которого стало известно в России¹⁴⁹, продолжают воспринимать как эталон поэтического слуха и поэтического бытия. «Какое богатство новых описаний, сравнений, картин и мыслей в Клопштокке и Мильтоне!»¹⁵⁰ – восклицает Жуковский. Батюшков вторит ему: «У тебя воображение Мильтона...»¹⁵¹. О. М. Сомов в своем манифесте 1823 г. «О романтической поэзии» представляет Мильтона (вместе с Шекспиром) в качестве родоначальников романтического вкуса в британской поэзии¹⁵². Пушкин, к которому попадает двухтомный «Опыт об английской литературе» (1836), предпосланный Шатобрианом его переводу «Потерянного рая» Мильтона, откликается на него статьей «<О Мильтоне и Шатобриановом переводе “Потерянного рая”>» (1836)¹⁵³. «Есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческою мыслию – такова смелость Шекспира, Dante, Milton’a, Гете в “Фаусте”, Молиера в “Тартюфе”» — формулирует Пушкин достоинство мильтоновой поэмы¹⁵⁴.

Несколько меньшим вниманием пользовалась в России интересующего нас периода еще одна английская «духовная эпопея» XVII в. – аллегорический роман «Путь паломника» (другой перевод названия: «Путешествие Пилигрима») Джона Баньяна (Беньяна), занимающий между тем на Западе третье по востребованности место после Библии и пьес Шекспира¹⁵⁵. И, возможно, произведение это и не имело бы смысла

¹⁴⁷ Батюшков К. Н. Соч.: В 3 т. Т. 3. СПб., 1886. С. 182 (письмо от 5 мая 1812 г.).

¹⁴⁸ Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина: (Библиографическое описание). СПб., 1910. С. 366. См. также: Заборов П. Р. «Ночные размышления» Юнга в ранних русских переводах. С. 269–279.

¹⁴⁹ См.: Левин Ю. Д. Английская поэзия и литература русского сентиментализма. С. 134.

¹⁵⁰ [Жуковский В. А.] О поэзии древних и новых // Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 2012. Т. 12. С. 324.

¹⁵¹ Батюшков К. Н. Соч.: В 3 т. Т. 3. СПб., 1886. С. 306 (письмо от 3 ноября 1814 г.).

¹⁵² См.: Сомов О. М. О романтической поэзии // Соревнователь просвещения и благотворения. 1823. Ч. 23. Кн. 2. С. 162–163.

¹⁵³ См.: Мильчина В. А. Пушкин и Опыт об английской литературе Шатобриана // Пушкин: Исследования и материалы. СПб., 1995. Т. 15. С. 145.

¹⁵⁴ Пушкин А. С. <Материалы к «Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям»> // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 61.

¹⁵⁵ Ненарокова М. Р. «Путь паломника» Джона Баньяна: от эмблемы к комиксу // Studia Litterarum. 2023. Т. 8, № 2. С. 108–139.

упомянуть в данном обзоре английской литературы, получившей право гражданства в России, если бы им не заинтересовался Пушкин, который переложил начало эпопеи в стихотворении «Странник» (1835), придав ему определенное сходство с началом «Ада» Данте¹⁵⁶.

Александр Поуп, вошедший в русскую литературу еще в 1860-е гг. как идеальный поэт по мастерству и совершенству стиха, «остроумец и мудрец»¹⁵⁷, или, как назвал его Карамзин, «философ и стихотворец»¹⁵⁸, к началу XIX в. обретает в России статус классика: переводы его произведений и эссе о нем включаются в антологии и дидактические сборники «образцовых» сочинений, С. С. Шихматов делает в 1806 г. с английского вольный рифмованный перевод его поэмы в трех песнях «Опыт о критике» (1711). С. С. Бобров, один из первых в России поклонников и переводчиков английской литературы, выбирает для перевода редкий текст Поупа – трагедию первого псалма в форме нравоучительного обращения к молодой женщине («The roman catholick version of the first psalm for the use of a young lady»). Подражания Поупу (В. Н. Олина, М. М. Кобозева и др.) определяют в конце александровской эпохи развитие жанра массовой элегии. Однако то, что роль русского Поупа почти единодушно в это время отводится И. И. Дмитриеву¹⁵⁹, свидетельствует, по мнению исследователя русско-английских связей, что к началу XIX столетия поэтическая роль Поупа уже доигрывается в русской культуре, будучи сведена «только к формальному совершенству, заслуживающему еще высокую оценку, но по самому своему складу становящемуся все более далеким, чужим, принадлежащим веку прошедшему»¹⁶⁰.

Если проза Оливера Голдсмита и, в частности, ныне самый известный его роман «Векфильдский священник», который хоть и был дважды упомянут Карамзиным в «Письмах русского путешественника», с большим опозданием дошли до русского читателя, то его стихи, в первую очередь благодаря Жуковскому и его переводу баллады «Edwin and Angelina» («The Hermit») под названием «Пустынный» (1813) стали известным

¹⁵⁶ О том, что в 1835—1836 гг. поэзия Пушкина «по большей части отталкивалась от “чужого слова”, превращаясь в диалог с мировой культурой» см.: *Долинин А. А.* Пушкин и Англия. С. 45. См. также: *Благой Д. Д.* Джон Беньян, Пушкин и Лев Толстой // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1962. Т. 4. С. 50–74.

¹⁵⁷ *Шайтанов И. О.* Мыслящая муза. С. 201.

¹⁵⁸ *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. С. 378.

¹⁵⁹ «Дмитриев. Характер его дарования, красивость и точность. Он то же делает у нас, что Буало или Попе у себя», — записывает в 1817 г. Батюшков (*Батюшков К. Н.* Чужое – мое сокровище // Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 421).

¹⁶⁰ *Шайтанов И. О.* Мыслящая муза. С. 202.

фактом русской литературы¹⁶¹. Сам Жуковский своим знакомством с Голдсмитом был обязан семье Тургеневых, в которой «английского писателя не только почитали, но и любили, увлекаясь его произведениями»¹⁶². Сам Жуковский в 1810 г. среди источников собственного балладного творчества, назовет, наряду с немецкими балладами Шиллера, Бюргера, Пфедфеля, также и Гольдсмита и В. Скотта¹⁶³. И, как утверждал В. Н. Топоров, «представляется не только возможным, правдоподобным, но и очень вероятным предположить, что именно Жуковский познакомил с поэзией Голдсмита также и Пушкина, в чьих стихах «Вольность» и «Деревня» ощутим «голдсмитовский» след¹⁶⁴.

В целом же можно сказать, что наиболее востребованным из английских поэтов XVIII в. в первой трети XIX столетия оставался Оссиан. Гениальная мистификация, обнародованная в 1765 г. Дж. Макферсоном под названием «Сочинения Оссиана, сына Фингала», в которой мотивы кельтского фольклора были обработаны в предромантическом духе, а на смену упорядоченному миру античной мифологии пришел туманный и призрачный мир героических преданий Севера, вызвала огромное количество переводов и подражаний. Став синонимом русского предромантизма, или, как его называл А.Н. Веселовский, «до-романтизма <...> на почве чувствительности»¹⁶⁵, поэзия Оссиана ввела в моду таинственность (образы героев возникают у него из тумана и исчезают в нем, как тени), меланхолическую резиньяцию, патетическую взволнованность, уподобление человека природе (тень погибшего Фингала является его сыну в виде дождевой тучи), создав мир «туманов и экзотических призраков»¹⁶⁶, который отныне связывался в читательском сознании с именем Оссиана, но вместе с тем и естественно накладывался на ночные кладбищенские пейзажи Юнга и Грея. Характерный тому пример — «Мысли при гробнице» Жуковского, в которых сочетаются «активно осваиваемые русской литературой традиции Макферсона («Песни Оссиана»), готического романа» с «кладбищенской

¹⁶¹ Под заглавием «Эдвин и Ангелина. Баллада (из сочинений Гольдсмита)» стихотворение было переведено также П. Политковским (Цветник. 1809. Ч. 1, № 1. С. 49—58). Частично выполненный Жуковским в 1805 г. перевод стихотворения Голдсмита «The Deserted Village» долгое время оставался неизвестным фактом русской литературы. Под заглавием «Опустевшая деревня» он был опубликован лишь в 1901 г. См.: Топоров В. Н. Пушкин и Голдсмит. Wien, 1992. С. 21 (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 29).

¹⁶² Письма Андрея Тургенева к Жуковскому / Публ. В. Э. Вацура и М. Н. Виролайнен // Жуковский и русская культура: Сб. научных трудов. Л., 1987. С. 408, № 36.

¹⁶³ О том, что поэтическая мифологема счастливого исхода странствия в «Пловце» и особенно в «Теоне и Эсхине» Жуковского имеет своим источником Голдсмита, см.: Топоров В. Н. Пушкин и Голдсмит. С. 26.

¹⁶⁴ См.: Там же. С. 39.

¹⁶⁵ Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения. СПб., 1904. С. 37.

¹⁶⁶ Там же. С. 118.

поэзией, связанной с творчеством Юнга, Грея и других английских сентименталистов, утверждавших культ благородной чувствительности меланхолического героя»¹⁶⁷.

Одной из особенностей русского оссианизма становится контаминация кельтской древности с картинами жизни древних скандинавов. Так, Батюшков во время русско-шведской войны знакомится с Финляндией, и ее экзотические виды тут же вызывают у него оссиановские ассоциации¹⁶⁸. В 1809 г. он напишет прозаический «Отрывок из писем русского офицера о Финляндии», где эта страна изображена как северная земля, соседствующая с Гиперборейским (Северным) морем, и где древний скальд под звуки арфы поет о валькириях, Валгалле, младом Иснеле. Отпечаток Оссиана проявился и в «Думах» Рылеева в изображении северных ночных пейзажей с их меланхолическом колоритом. На титульном листе издания 1825 г. было помещено изображение самого Оссиана, взятое из французского издания.

Противопоставление Оссиана Гомеру как нового типа поэзии, более отвечающего мирозерцанию современного человека, заданное еще в романе Гете «Страдания юного Вертера», также стало одним из «общих мест» русского оссианизма. «Цвет поэзии Оссиана может быть удачнее обильного в оттенках цвета поэзии Гомеровой, перенесен на почву нашу» — писал Вяземский¹⁶⁹. «Славянский Оссиан» Жуковский¹⁷⁰ сочиняет в 1814 г. балладу «Ахилл», в которой современники сразу же почувствовали насыщение античного сюжета оссианическим колоритом¹⁷¹. «...из Ахилла сделал Фингала», — писал Батюшков.

Создавая свою первую балладу «Людмила» (1808), которая была вольным переводом «Леноры» Г. А. Бюргера, Жуковский, как о том писал Гнедич, выпускал в Бюргере «картины страшные и несообразные с вероятием нашего народа», наполняя при этом свой перевод «совершенно оссиановскими тенями» («Слышат шорох тихих теней: / В час полуночных видений, / В дыме облака, толпой...»¹⁷²). Оссианизм первой баллады

¹⁶⁷ Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994. С. 8—19, 48—73. См. также: Ларкович Д. В. Мне хотелось во вкусе Оссиана: К вопросу о варяго-русских поэтических опытах Г. Р. Державина 1810-х гг. // Имагология и компаративистика. 2015. № 1 (3). С. 81—90; Левин Ю. Д. Оссиан в русской литературе. Л., 1980.

¹⁶⁸ В письме к Н. И. Гнедичу из финского города Вазы (Вааса) от 23 декабря 1808 г. он просит прислать ему Оссиана в итальянском переводе (см.: Батюшков К. Н. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 83).

¹⁶⁹ [Вяземский П. А.] О жизни и сочинениях В. А. Озерова // Сочинения В. А. Озерова. Ч. I. СПб., 1817. С. XXVIII—XXXIII.

¹⁷⁰ «Павловским лунатиком», «припудренным Оссианом» шуточно называл Жуковского в 1820 г. Вяземский (подробнее см.: Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 2. М., 2000. С. 532, примеч. Н. Вётшевой).

¹⁷¹ См.: Резанов В. И. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. Пг., 1916. Вып. Вып. 2. С. 88—89; Левин Ю. Д. Оссиан в русской литературе. С. 111—122.

¹⁷² Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 3.

Жуковского почувствовал и Пушкин, назвав героиню «шотландкой Людмилой»¹⁷³. Так и в балладе «Эолова арфа» (1814) сам образ арфы — неперенный атрибут барда, ставший у Жуковского высокой драматической метафорой его взаимоотношений с Машей Протасовой — восходил к поэзии Оссиана¹⁷⁴. Опосредованное воздействие Оссиана сказалось и в трех ранних произведениях Пушкина, написанных в 1814 г.: «Кольна», «Эвлега» и «Осгар».

В освоении оссиановской традиции надо отметить важный момент. Многие русские поэты, и, в частности, Пушкин, воспринимали Оссиана через вольные переложения Э. Парни. Так, «Эвлега» была вольным переводом эпизода из четвертой песни оссианической поэмы Э.-Д. Парни «Иснель и Аслега». В дальнейшем Пушкин дистанцируется от Оссиана-Парни¹⁷⁵, а в 1825 г., перечитывая «Опыты в стихах и прозе» Батюшкова, оставит на полях текста стихотворения «Мечта» замечания, в которых подвергнет критике условность и риторичность «типовых» оссиановских ситуаций («Самое слабое из всех стихотворений Батюшкова»), — комментирует он¹⁷⁶).

В 1830-е гг. поэзия Оссиана воспринималась уже как явление скорее архаичное. Тем не менее в Пансионе, где учился Лермонтов, ее влияние сохранялось, и сам Лермонтов в 1830 г. пережил краткое увлечение Оссианом как результат размышлений о собственном происхождении и родстве с шотландским бардом Томасом Лермонтом (стихотворения «Гроб Оссиана», «Желание», в которых, однако, на оссиановские образы накладывается и увлечение Лермонтова Байроном). В дальнейшем в своих квазиоссианических стихах («Олег», «Песнь барда», «Последний сын вольности», «Песнь Ингелота», «Жена Севера») Лермонтов опирается не столько на Оссиана, сколько на трансформацию оссианизма в декабристской поэзии с характерным для нее ослаблением элегического начала и усилением гражданственного¹⁷⁷.

Английская проза XVIII века

¹⁷³ Пушкин А. С. Мои замечания об русском театре // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 9.

¹⁷⁴ Образцы иконографии Оссиана, изображаемого с арфой в руках, см.: Балобанова Е. В., Пиксанов Н. К. «Пушкин и Оссиан» // Пушкин А. С. Библиотека великих писателей / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1907. Т. 1. С. 105.

¹⁷⁵ Об этом, а также о моментах пародического переосмысления оссианической традиции в поэме см.: Левин Ю. Д. Оссиан в русской литературе. С. 134—135.

¹⁷⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 272.

¹⁷⁷ Вацуро В. Э. Оссиан // Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 357.

В отношении английской прозы XVIII в. в целом можно сказать, что она (за исключением, разумеется, Стерна) в первой трети XIX в. скорее теряет привлекательность новизны и остается элементом истории. Романы Ричардсона, которыми зачитывалась матушка Татьяны Лариной и которые, например, во Франции продолжали оставаться востребованными, для самого Пушкина являли собой лишь старую канву, по которой можно вышивать новые узоры. Но правда и то, что отношение к Ричардсону оставалось у Пушкина все же двойственным: он отводил ему важное место в литературе XVIII в. как писателю, который, наряду с Г. Фильдингом и Л. Стерном, поддерживает «славу прозаич<еского> романа» (статья «О ничтожестве литературы русской», 1834)¹⁷⁸, а в «Путешествии из Москвы в Петербург» (1834–1835) писал: «Многие читатели согласятся со мною, что “Клариса” очень утомительна и скучна, но со всем тем роман Ричардсонов имеет необыкновенное достоинство»¹⁷⁹.

По новой канве вышивает и Я. К. Ланген, переводя «Жизнь и приключения Робинзона Крузе, им самим описанные» Д. Дефо, беря за основу сокращенный пересказ романа, один из тех, что появились в XVIII в. в Великобритании и США, будучи рассчитанными на детскую аудиторию. На детскую аудиторию ориентировался и С. Н. Глинка, еще один переводчик Дефо первой четверти XIX в., издававший в 1821—1824 гг. журнал «Новое детское чтение»¹⁸⁰. Весьма умеренной была и рецепция Свифта, чей роман о путешествиях Гулливера, переведенный Е. Н. Каржавиным в 1772—1773 гг., третьим изданием был опубликован с исключением некоторых фрагментов в 1820 г.¹⁸¹.

Великие романы XVIII в. вытесняет в первой трети XIX вв. готический роман — «роман тайн и ужасов», переводы которого заполняют в начале XIX в. книжный рынок¹⁸². Главным автором «готических романов» на тот момент почиталась Анна Радклиф¹⁸³, особо востребованная благодаря ее системе ценностей в среде сентименталистов. «Что бы ни говорили о романах, но волшебная кисть несравненной мистрисс Радклифы пишет

¹⁷⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 272.

¹⁷⁹ Там же. С. 244. Подробнее об отношении Пушкина к «Клариссе» Ричардсона см.: Лотман Ю. М. Три заметки к пушкинским текстам // Временник Пушкинской комиссии. 1974. Л., 1977. С. 88–89.

¹⁸⁰ См.: Новосельцева Л. А. Даниэль Дефо в России (1762—1917 гг.). К проблеме оценки и восприятия английской литературы эпохи Просвещения. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филол. наук. М., 1987. С. 5.

¹⁸¹ О переводах и рецепции творчества Свифта в России XVIII и начала XIX вв. см.: Левин Ю. Д. Раннее восприятие творчества Джонатана Свифта // Левин Ю. Д. Восприятие английской литературы в России. С. 114—122.

¹⁸² Вацуро В. Э. Готический роман в России. М., 2002. С. 305—306.

¹⁸³ О восприятии в России других готических авторов, в частности, Хораса Уолпола, Клары Рив, К. Льюиса см.: Там же.

живее, нежели *циническое* перо, прелестную картину добродетели и отвратительную карикатуру порока» — восклицал П. И. Шаликов¹⁸⁴. Особым явлением стало в это время распространение так называемой псевдорадклифианы. К 1818 г. во Франции вышло шесть «псевдорадклифианских» романов, четыре из которых были переведены на русский язык. Помимо переводных в России было опубликовано еще двенадцать оригинальных произведений под именем Радклиф. Впрочем, бывало и так, что под именем романистки издавались также и ключевые произведения английской готики — «Монах» М. Г. Льюиса, «Полночный колокол» Ф. Лэтома (Латома) и анонимный «Замок Алберта, или Движущийся скелет» — в переводах с французского.

При этом надо признать, что критика «готического романа» началось практически в тот же момент, когда поднялась волна интереса к нему. Редактор «Московского Меркурия» отмечал, что «в рассуждении *приятности*, мы не думаем, чтобы картины убийств, насилий, пыток и всех злодеяний могли кому-нибудь нравиться»¹⁸⁵. Знаменитую пародию на роман Радклиф («План романа à la Radcliff») написал О. М. Сомов:

Разбойники и подземелья,
С полдюжины на башне сов;
Луна чуть светит сквозь ущелья,
Вдали — шум ветров, вой волков;
Во сне моим героям снится
Дракон в огне, летящий гриф;
Страх, ужас вслед за ними мчится...
Вот вам роман à la Radcliff!¹⁸⁶

Тем не менее, как отмечал В. Э. Вацуро, «спад готической волны в 1810-е гг., вытеснение жанра в низовую литературу не привел к его исчезновению: отзвуки его вплоть до 1830-х гг. ощущаются в историческом романе (Ф. Булгарин, М. Загоскин) и в особенности в романе бытовом <...> вплоть до поздней прозы Лермонтова»¹⁸⁷. Одним из последних готических романов в Англии стал роман Чарлза Мэтьюрина «Мельмот Скиталец» (1820), превосходивший другие образцы этого жанра серьезной философской мыслью. Маску Мельмота примерял на себя как одну из возможных литературных масок пушкинский Евгений Онегин, и к третьей главе романа, где «Мельмот, бродяга мрачный»

¹⁸⁴ Шаликов П. И. Плод свободных чувствований. М., 1801. Ч. 3. С. 11; см. также: Ч. 2. С. 140—141.

¹⁸⁵ Московский Меркурий. 1803. Ч. 1. Март. С. 219.

¹⁸⁶ Харьковский Демокрит. 1816. Май. С. 61.

¹⁸⁷ Вацуро В. Э. Готический роман в России. С. 466.

появляется в окружении героев Байрона, Полидори и Нодье, Пушкин сделал примечание: «Мельмот — гениальное произведение Матюрина»¹⁸⁸.

Деятнадцатый век

В отношении английской литературы в России первых трех десятилетий сложилась довольно парадоксальная ситуация: «В Англии к этому времени уже более двух десятилетий активно действуют поэты “Озерной школы” Вордсворт, Колридж и Саути, широко раскрывается гений Байрона, завоевывает славу Томас Мур, на литературной сцене появляются Китс, Шелли; Вальтер Скотт переходит от поэзии к прозе <...>, а в русских журналах английскую литературу представляют главным образом Шекспир, Мильтон, Аддисон, Поп, Юнг, Томсон, Ричардсон, Стерн и мифический Оссиан»¹⁸⁹.

И действительно, те, кого в наше время принято называть английскими романтиками, помимо Байрона и Вальтера Скотта, в российском литературном пейзаже первой трети XIX в. представлены относительно слабо. Практически неизвестными оставались в России Китс и Шелли. Не слишком активным было и восприятие поэтов Озерной школы (см. ниже). Из этой поэтической плеяды, кажется, в наибольшей степени освоенным русской публикой оказался ирландский поэт Томас Мур (1779–1852). В 1822 г. «Русский инвалид» отнес к «образцовым произведениям легкой поэзии» его «собрание новых романсов и песен, под названием *Ирландских мелодий* (Irish melodies)»¹⁹⁰. Тогда же в журнале «Благонамеренный» Мур был поставлен в один ряд с Вальтером Скоттом и лордом Байроном¹⁹¹, и данное представление о «поэтическом триумвирате» британского Парнаса стало почти общим местом¹⁹².

«Ирландские мелодии» Т. Мура, публиковавшиеся отдельными выпусками с 1807 г. на протяжении более четверти века, не только активно переводились на русский язык, но и фрагментарно включались в прозаические произведения русских писателей,

¹⁸⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 56, 193. См.: Алексеев М. П. Ч. Р. Метьюрин и его «Мельмот Скиталец» // Метьюрин Ч. Р. Мельмот Скиталец. М., 1983. С. 621–626; то же: Алексеев М. П. Английская литература: Очерки и исследования. Л., 1991. С. 302–311; Рейфман П. С. Кто такой Мельмот? // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. IV (Новая серия). Тарту, 2001. С. 126–155; Криницын А. Б. Пушкин и Метьюрин: (Из комментария к восьмой главе «Евгения Онегина») // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2020. Т. 79, № 2. С. 19–29.

¹⁸⁹ Левин Ю. Д. Прижизненная слава Вальтера Скотта в России. С. 6–7.

¹⁹⁰ Русский инвалид. 1822.

¹⁹¹ Благонамеренный. 1822. Ч. 19. № 28. С. 41. Пер. с франц. <А. Н.> Очкина.

¹⁹² Ср.: Русский инвалид. 1822. № 203, 1 сент. С. 824.

использовались в качестве эпитафий, так что «ирландская» тема в русской периодике стала во многом продуктом русской рецепции Т. Мура¹⁹³. К тому же в русском сознании «Ирландские мелодии» ассоциировались еще и с «Еврейскими мелодиями» Байрона (под влиянием поэтических циклов Байрона и Мура в русской литературе утвердилось использование слова «мелодия» в заглавиях небольших лирических произведений романского типа). Одной из первых «мелодий» стала «Русская мелодия» (1829) Лермонтова («В уме своем я создал мир иной...»). В своем предисловии к книге «Малороссийская мелодия» Н. А. Маркевич прямо связал возникновение авторского замысла с циклами Мура и Байрона («Ирландские и Еврейские мелодии Томаса Мура и лорда Байрона подали мне первую мысль приложить слова русские к прелестной музыке песен малороссийских»¹⁹⁴).

Показателем популярности поэзии Томаса Мура в России стало включение ее уже во второй половине 1820-х гг. в программы учебных заведений и использование на уроках английского языка. Особо Мур стал популярен в Московском университетском благородном пансионе, где обучались Лермонтов и Д. П. Ознобишин¹⁹⁵. Так, Лермонтов, именно в период обучения в пансионе, начал, по свидетельству А. П. Шан-Гирея, «учиться английскому языку по Байрону», чтобы обратиться затем к произведениям современников Байрона – Мура и Вальтера Скотта («кроме этих трех, других поэтов Англии я у него никогда не видал»)¹⁹⁶. Мотивы «Ирландских песен» («ирландской мелодии» Мура «Молодой певец» («The Minstrel-Boy»)) улавливаются в стихотворении Лермонтова «Песнь барда» (1830). Стихотворение «И скучно и грустно» (1840) обнаруживает близость строкам мелодии «Когда мне светятся глаза...» («Where'er I see those smiling eyes...»)¹⁹⁷.

Еще одним произведением, прославившим Томаса Мура, была «восточная повесть» «Лалла Рук» («Lalla Rookh»), вышедшая в свет в 1817 г. и отвечавшая поискам

¹⁹³ См.: *Баужите Г.А.* «Ирландские мелодии» Томаса Мура и ирландское национально-освободительное движение // Учен. Зап. МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 1958. Вып. 196. С. 275–301.

¹⁹⁴ *Маркевич Н. А.* Украинские мелодии. М., 1831. С. I. Н. А. Полевой сопроводил в 1829 г. публикацию первых «мелодий» Н. А. Маркевича в «Московском телеграфе» примечанием: «Ирландские мелодии Томаса Мура дали автору мысль счастливую: поэтические суеверия, предрассудки, поверья малороссиян, их исторические народные воспоминания и домашний быт изобразить в разных стихотворениях» (Московский телеграф. 1829. № 11. С. 295–296).

¹⁹⁵ См.: *Жаткин Д. Н., Яшина Т. А.* К вопросу о традициях творчества Томаса Мура в произведениях М. Ю. Лермонтова.

¹⁹⁶ *Шан-Гирей А. П.* М. Ю. Лермонтов // М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1964. С. 37.

¹⁹⁷ См.: *Вацуро В.Э.* Мур // Лермонтовская энциклопедия. С. 323.

романтиками национальной самобытности, их обращению к этнографии и фольклору, в том числе восточному¹⁹⁸. «Лалла Рук», сюжетом которой было путешествие индийской принцессы Лаллы Рук к жениху, бухарскому принцу Амерису, включала в себя четыре вставные поэмы («Покровенный пророк Хорасана», «Рай и пери», «Огнепоклонники», «Свет гарема») в едином прозаическом обрамлении. Вторую из них переводил Жуковский (под заглавием «Пери и Ангел. Отрывок из Муровой поэмы «Лалла Рук»¹⁹⁹), записывая текст на страницах своего дневника в 1821 г., когда он находился в Берлине в свите великой княгини Александры Федоровны. Обращение Жуковского к поэме определялось рядом обстоятельств: порученной ему подготовкой придворного праздника в Берлине с живыми картинами на сюжет «Лаллы Рук»²⁰⁰, переживаемым чувством влюбленности в великую княгиню Александру Федоровну, которую он с тех пор именовал в дневнике и письмах Лалла Рук²⁰¹, наконец, размышлениями о духовном возрождении человека, которые Жуковский также нашел в поэме Т. Мура²⁰².

Высокая оценка перевода Жуковского была дана в среде будущих декабристов: В. Ф. Раевский для пропаганды среди солдат ланкастерской школы выбрал те стихи из «Пери и Ангела», в которых речь шла о смерти героя, павшего «во искупление свободы», чью каплю крови Пери уносит на небеса²⁰³. Диссонансом прозвучала оценка Пушкина, писавшего П. А. Вяземскому 2 января 1822 г. из Кишинева: «Жуковский меня бесит. Что ему понравилось в этом Муре, чопорном подражателе безобразному восточному воображению? Вся “Лалла Рук” не стоит десяти строчек “Тристрама Шенди”»²⁰⁴. Причину негативного отношения к поэзии Мура Пушкин объяснил в письме к Вяземскому в конце марта — начале апреля 1825 г.: «Знаешь, почему я не люблю Мура? — потому что он

¹⁹⁸ «... некоторый отблеск восточных цветов есть колорит поэзии века, — писал Вяземский. — <...> кисти Байрона, Мура и других первоклассных поэтов современных напоены его радужными красками» (*Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика*. М., 1984. С. 70).

¹⁹⁹ Сын Отечества. 1821. Ч. 69. № 20. С. 243–265. См.: *Алексеев М. П. Т. Мур и русские писатели XIX века // Алексеев М. П. Русско-английские литературные связи (XVIII в. — первая половина XIX в.)*. М., 1982; см. также перевод Жуковским стихотворения Г. фон Штегеман «Лалла Рук» и его статью «Рафаэлева Мадонна (Из письма о Дрезденской галерее)» и комментарий к ним в: *Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 4. С. 12.*

²⁰⁰ См.: *Алексеев М. П. Т. Мур и русские писатели XIX века*. С. 658—675.

²⁰¹ См. подробнее: *Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем*. Т. 4.

²⁰² Об изменении Жуковским в переводе композиция произведения, его психологизации образа Пери, см.: Там же.

²⁰³ Воспоминания В. Ф. Раевского // *Литературное наследство*. М., 1956. Т. 60, кн. 1. С. 95.

²⁰⁴ *Пушкин А. С. Полн. собр. соч.* Т. 13. С. 34.

чересчур уж восточен. Он подражает ребячески и уродливо — ребячеству и уродливости Саади, Гафиза и Магомета. Европейец и в упоении восточной роскоши должен сохранить вкус и взор европейца. Вот почему Байрон так прелестен в “Гяуре”, в “Абидосской невесте” и проч.»²⁰⁵. Так и И. Киреевский не без скепсиса заметил: «любовь к Муру принадлежит к <...> странностям нашего литературного вкуса».

К середине 1820-х гг. Мур обретает в России и несколько иную известность: о нем начинают говорить как о том, кому были завещаны дневниковые записи Байрона, кто их уничтожил и кто, на основе уничтоженных записок, в 1830 г. выпустил в свет два тома «Писем и дневников лорда Байрона с замечаниями о его жизни». На слух о сожжении записок Байрона Пушкин откликнулся в 1825 г. в письме к П. А. Вяземскому, назвав «поступок Мура лучше его Лалла-Рук (в его поэтическом отношении)», поскольку он тем самым лишил любопытствующую толпу возможности видеть гения «на судне»²⁰⁶.

«Если Мур и не уступает ему (Роберту Соутею) талантом; то по крайней мере Соутей заслуживает преимущество по важности и нравственному достоинству своих творений». Но Мур, кажется, более любим Публикою и имеет обширнейший круг читателей» — писал критик «Русского инвалида» о Роберте Соути, представителе так называемой Озерной школы²⁰⁷. А в статье 1825 г. Пушкин назвал его в одном ряду с Байроном, В. Скоттом, Т. Муром — в числе поэтов, чье творчество знаменовало собою подъем современной английской поэзии²⁰⁸.

В 1810-е гг. две баллады Соути ((Саути, Соутей, Сутей)) переводит Жуковский: «Rudiger» (1797) под заглавием «Адельстан» (1813) и «Lord William» (1798) под заглавием «Варвик» (1814). Балладу «A Ballad shewing how an old Woman rode double, and who rode before her», переведенную в 1814 г., он опубликует лишь в 1831 г.: «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди»²⁰⁹

²⁰⁵ Там же. С. 160. Ср. суждение о Муре О. М. Сомова в статье «О романтической поэзии»: «В Поэме “Лалла-Рук” он приводит читателя в приятное заблуждение: кажется, что ее писал не европейец, а какой-нибудь поэт, соотечественник Фердоузи или Амраль-Кеизи» (Соревнователь просвещения и благотворения 1823. Ч. 23. Кн. 2. С. 166–167). Об использовании Пушкиным образов и цитат из Т. Мура в собственном творчестве («Евгений Онегин», «Бахчисарайский фонтан» и др.), несмотря на стойкое неприятие им Мура, см.: Рак В. Д. Мур (Moore) Томас // Пушкин и мировая литература: Материалы к «Пушкинской энциклопедии». С. 213—214.

²⁰⁶ Пушкин А. С. «Возражение на статью А. Бестужева “Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начала 1825 годов”» // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 243.

²⁰⁷ Русский инвалид. 1822. № 203, 1 сент. С. 824.

²⁰⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 25.

²⁰⁹ О цензурной истории данной баллады см. комментарий И. А. Айзиковой в: Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 3. С. 305. О том, как Пушкин в 1822 г. пытался

«Старушка» стала арзамаским прозвищем будущего министра народного просвещения С.С. Уварова). В конце 1829 – начале 1830 гг. Пушкин предпринимает переводы из поэмы Соути «Медок» (1805) и стихотворения «Гимн пенатам» (1796) нерифмованным бесцезурным пятистопным ямбом, обращение к которому было вызвано опытами прозаизации стиха²¹⁰. Возможно, что выбранные Пушкиным произведения Соути перекликались с его душевным состоянием в 1829–1830, мыслями об обретении личной свободы, тягой к домашнему очагу и покою²¹¹. Летом 1831 Пушкин следит за работой Жуковского над переводом еще четырех баллад Соути (см. письма к П. А. Вяземскому от 1 и 11 июня и середины (около 15) октября), а весной 1835 г. сам начинает работу над переводом поэмы «Родрик»²¹².

Непростым было вхождение в русскую литературу «главных» поэтов Озерной школы, Вордсворта и Кольриджа, о которых русские читатели могли впервые узнать из примечания Байрона к первой песне «Дон Жуана», где говорилось, что оба поэта «не лишены ни воображения, ни поэтического таланта, но временами отличаются смешной глупостью»²¹³. Однако именно они оказываются особенно важны в поэтической рефлексии позднего Пушкина. Первое зафиксированное упоминание имен Кольриджа и Вордсворта относится в 1830 г., когда «Литературная газета» поместила на своих страницах статью «Современная английская литература: Школа так называемых Озерных поэтов (Lakists). — Вордсворт, Кольридж, Сутей», извлечение из сочинения А. Пишо «Историческое и литературное путешествие по Англии и Шотландии»²¹⁴ (очевидно, что это была инициатива Пушкина). Собственно, именно освоение Пушкиным поэзии Вордсворта и Кольриджа и составило ранний этап их рецепции на русской почве,

отговорить Жуковского переводить поэму «Родрик, последний из готов» (1814), которая ему не нравилась явно выраженной в ней морально-религиозной дидактикой и провиденциалистской идеей и к которой он сам в 1835 г. обратился, см.: *Рак В. Д.* Саути // Пушкин и мировая литература: Материалы к «Пушкинской энциклопедии». С. 302.

²¹⁰ См.: *Векслер С.* О «Медоке» А. С. Пушкина // *Russian Literature and History: In Honour of Prof. I. Serman.* Jerusalem, 1989. P. 41–48.

²¹¹ См.: Там же.

²¹² *Костин В. М.* Жуковский и Пушкин: (Проблема восприятия поэмы Р. Саути «Родрик, последний из готов») // *Проблемы метода и жанра.* Томск, 1979. Вып. 6. С. 123–139. *Долинин А. А.* Долинин А. А. Испанские переложения Пушкина: («На Испанию родную...») и «Чудный сон мне Бог послал...»: Опыт реконструкции замысла // *Долинин А. А.* Пушкин и Англия: Цикл статей. М., 2007. С. 155–181.

²¹³ С поэмой Дон-Жуан основная масса русских читателей знакомилась по французского переводу (см.: *Byron G.* *Œuvres complètes / Trad. de l'anglais par A.-E. Chastopalli [A. Pichot et E. de Salle].* 2^d éd., rev., corr. et augm. de plusieurs poèmes. Paris, 1820. Т. 2. P. 170).

²¹⁴ *Литературная газета.* 1830. Т. 2. № 58, 13 окт. С. 175—180; № 59, 18 окт. С. 183—185.

прошедший во многом под знаком поиска новой формы (прозаизированный стих) и нового содержания (тема независимого счастья («independent happiness») и деревенской свободы²¹⁵). Пушкину, кроме того, оказалась близка и традиция просвещенного консерватизма, которую, вслед за Э. Берком, исповедовали лейкисты — неприятие радикальных политических перемен, нарушающих устойчивость общества (ср. формулу, которую он вкладывает в уста Петра Гринева в «Капитанской дочке», о «русском бунте, бессмысленном и беспощадном»)²¹⁶.

В 1829–1830 гг. под впечатлением от переводов на французский язык сонетов Вордсворта Пушкин создает «Сонет» («Суровый Дант не презирал сонета...») – свободное переложение сонета «Scorn not the Sonnet...» (1827), в котором прямо признается в своем восхищении Вордсвортом: «И в наши дни пленяет он поэта: / Вордсворт его орудием избрал, / Когда вдали от суетного света / Природы он рисует идеал»²¹⁷). Воздействие вордсвортовской стилистики (в частности, стихотворения «Строки, написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства при повторном посещении берегов реки Уай», 1798) ощутимо в стихотворении «Вновь я посетил...» (1835)²¹⁸. Обдумывая замысел «Папессы Иоанны» (1834—1835), Пушкин намеревается «сделать из этого поэму в стиле “Кристабель”»²¹⁹. А «Застольные разговоры» Кольриджа (Specimens of the Table Talk of the late Samuel Coleridge. London, 1835. 2 vols), которые он приобретает в 1835 г. на английском языке, возможно, подсказывают ему название «Table-talk»²²⁰.

Достаточно успешной в интересующий нас период была русская судьба ныне полузабытого шотландского поэта и писателя Джеймса Хогга (1770—1835), знакомого Вордсворта и Кольриджа, близкого друга Вальтера Скотта (которому он помогал составлять антологию баллад «Песни шотландской границы», 1802—1803). Интерпретатор народных баллад, автор «Исповеди оправданного грешника» (1824), положившей начало теме раздвоения личности в английской литературе, Хогг был позже

²¹⁵ О том, что своего рода избирательное родство с лейкистами заканчивается у Пушкина, когда в один ряд с созерцанием природы он ставит эстетическое созерцание великих произведений искусства, и о неприятии им того типа религиозности, которая подчиняет эстетику вере и морали, см.: *Долинин А.* Пушкин и Англия. С. 45.

²¹⁶ См.: Там же.

²¹⁷ *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 3. С. 214.

²¹⁸ См. подробнее: *Рак В. Д.* Вордсворт // Пушкин и мировая литература: Материалы к «Пушкинской энциклопедии». С. 89—91.

²¹⁹ *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 7. С. 251 (оригинал по-фр.).

²²⁰ См.: *Рак В. Д.* Кольридж // Пушкин и мировая литература: Материалы к «Пушкинской энциклопедии». С. 169.

забыт и лишь в XX в. заново открыт Андре Жидом, увидевшим в «Исповеди оправданного грешника» предвестие проблематики прозы Ф. М. Достоевского.

Первым русским, услышавшим о Хогге и его произведениях, был А. И. Тургенев, посетивший в августе 1828 г. в Абботсфорде В. Скотта. Вскоре факты о жизни и творчестве Хогга были опубликованы «Библиотекой для чтения» (1834—1836). Там же были напечатаны фрагменты из книги «Noctes Ambrosianae» («Амброзианские ночи», 1802—1835), приписывавшейся Хоггу, но в реальности являвшейся коллективным трудом Дж. Вильсона, Дж. Г. Локхарта, Хогга и У. Магинна (установлено М. П. Алексеевым²²¹). Книгу эту Сенковский назвал «одним из самых странных и вместе с тем самых остроумных произведений новейшей словесности»: «...здесь <...> между бутылкой и шалостью, рядят о важных делах и разбирают занимательные вопросы словесности, науки и современной политики»²²².

Журналами (газетами), способствовавшими популярности Хогга в России, была «Северная пчела», «Телескоп» и «Московский наблюдатель», авторами статей о нем были О. И. Сенковский, Н. А. Полевой, Н. И. Надеждин²²³. Полевой в 1836 г. в анонимной рецензии на второе издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» сравнил Хогга с Гоголем не в пользу последнего, призвав не смешивать «особенное малороссийское забавничание», «малороссийскую потеху» Гоголя с английским юмором (humour), а именно с юмором Стерна, Ч. Лема и Дж. Хогга²²⁴.

Завершая обзор английской литературы, испытавшей «встречное течение» русской, можно сказать, что в массовом сознании первая треть XIX в. в России так и осталась эпохой трех, или, точнее, четырех исполинов: Байрона, Скотта, Шекспира и Стерна. Если из авторов готических романов и в категории женской прозы лидирующее положение заняла Анна Радклиф, то практически неизвестной русской публике оставалась Джейн Остин²²⁵. Более популярную ирландскую писательницу Марию Эджворт воспринимали скорее как автора для детей: в 1804 г. журнал «Патриот» напечатал переводные фрагменты из педагогических трудов Эджворт («О детских играх», «Награждение и наказание»), а в

²²¹ Алексеев М. П. Джон Вильсон и его «Город чумы» // Алексеев М. П. Английская литература : очерки и исследования. Л., 1991. С. 338.

²²² Библиотека для чтения. 1835. С. 121.

²²³ Жаткин Д. Н., Рябова А. А. Ранняя русская рецепция Джеймса Хогга (1830-е годы) // Научный диалог. 2020. № 10. С. 255—267.

²²⁴ Библиотека для чтения. 1836. № 15 (6). С. 3—4.

²²⁵ См.: Краткие выписки и замечания // Вестник Европы. 1816. Ч. 87, № 12. С. 318—324; Палий А. А. История изучения творчества Джейн Остин в отечественной критике // Омский научный вестник. 2006. Вып. 1. С. 204—208.

1808—1810 гг. ее рассказы для детей начал активно печатать «Вестник Европы», для которого рассказы «Прусская ваза» (1808), «Лимерикские перчатки» (1809), «Мурад несчастный» (1810) перевел Жуковский.

Такие авторы, как Дж. Вилсон, автор драматической поэмы «Город чумы», или Э. Булвер-Литтон, автор романа «Пелэм, или Жизнь джентельмена» (1828), хотя и вдохновившие в 1830-е гг. Пушкина на парафразы (соответственно «Пир во время чумы» и ненаписанный роман «Русский Пелам»), в целом завоюют читательскую аудиторию уже за пределами пушкинской эпохи²²⁶. Великой английской прозе в лице Теккерея, Диккенса, Льюиса Кэрролла, сестер Бронте и др. предстояло войти в русское как читательское, так и творческое сознание уже в позднейшие времена.

²²⁶ См.: Матвеевко И. А. Восприятие творчества Э. Бульвера-Литтона в России 1830—1850-х гг. Томск, 2005; Дроздов Н. А. Из истории русской переводной художественной литературы первой четверти XIX в.: Сб. статей и материалов. СПб., 2017. С. 381–442.

ВОСПРИЯТИЕ НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЭПОХУ ЗОЛОТОГО ВЕКА

Немецкая литература первой четверти XIX в. традиционно описывается как часть «эпохи Гёте», совпадающей по своим временным рамкам с «эпохой романтиков». Данное обозначение, ретроспективно введенное в научный оборот в 1923 г. немецким историком литературы Г. А. Корфом¹, утвердилось в сознании вместе с представлением о том, что именно эта эпоха дала миру вершинные литературные образцы. Некоторые из них были известны тогдашнему образованному русскому читателю, имевшему возможность познакомиться с ними в оригинале. В ближней перспективе, однако, главенство Гёте или «романтической школы» релятивируется, если учесть богатство и разнообразие литературного ландшафта Германии тех лет, отмеченных бурными дискуссиями в печати, полемическими выпадами, скандалами, напряженной борьбой между разными литературными группировками и разными литературными «центрами», при том что вся эта внутрилитературная жизнь со множеством действующих лиц почти никак не сказывалась на немецком книжном рынке, регулировавшимся в значительной степени читателем и его предпочтениями. Предпочтение же отдавалось отнюдь не тем авторам, которые составляют нынешний «классический канон».

По количеству издаваемых книг Германия в начале XIX в. занимала в Европе первое место. Немецкий исследователь «развлекательной» литературы Германии конца XVIII – начала XIX в. И. В. Аппель сообщает, что в первое десятилетие XIX в. в Германии насчитывалось 12 500 «пишущих голов», то есть на несколько тысяч больше, «чем вся нынешняя армия Великого герцогства Баденского или Гессенского»². О такой необыкновенной плодовитости немцев сообщал и «Вестник Европы» в 1806 г.: «В 1805 году вышло новых сочинений: в Англии 800, во Франции 1150, в Германии 4645! – Это служит вернейшим доказательством, что у трудолюбивых немцев выходит чернил более, нежели у какого-либо другого из просвещенных народов Европы»³.

¹ *Korff H. A. Geist der Goethezeit. Leipzig, 1923.* Корф отталкивался от «формулы» Г. Гейне, который в «Романтической школе» («Die romantische Schule», 1836) выделил «Гётевский эстетический период» – см.: *Гейне Г. Романтическая школа // Гейне Г. Собр. соч. / Под общ. ред. Н. Я. Берковского, В. М. Жирмунского, Н. М. Металлова. В: 10 т. М., 1958. Т. 6. С. 144.*

² *Appell J. W. Die Ritter-, Räuber- und Schauerrömantik: Zur Geschichte der deutschen Unterhaltungsliteratur. Leipzig, 1859. S. 12.* Здесь и далее, если не указано иное, перевод М. Ю. Кореновой.

³ Вестник Европы. 1806. Ч. 29, № 17, сент. С. 199.

Несколько пренебрежительное отношение к немецкой печатной продукции, звучащее в этой «справке», коррелировало в полной мере с отсутствием интереса к текущей немецкой словесности как целого, демонстрировавшимся отечественными журналами: за первую четверть XIX в. в русских журналах было помещено всего три очерка, посвященных обзору литературы Германии, и все они представляли собой переводы с французского – ни одного самостоятельного обзора или хотя бы перевода очерка того или иного немецкого автора, за эти годы опубликовано не было. В 1808 г. в журнале «Аглая» появилась статья «О немецкой литературе» – перевод несколько устаревшего французского очерка, написанного неизвестным автором, в который, как отметил переводчик в примечании, не нашел места ни для Гердера, ни для Гёте⁴. Только двенадцать лет спустя был опубликован еще один обзор: «Мнение француза о немецкой литературе»⁵ – перепечатка из немецкой газеты «*Zeitung für die elegante Welt*»⁶. В этой небольшой статье давалась совершенно уничижительная оценка немецкой литературы в целом и отдельных ее представителей в частности. Перечислив имена, которыми гордятся сами немцы (Гесснер, Виланд, Лессинг, Гёте, Шиллер), автор нашел у каждого из немецких «кумиров» множество недостатков: «банальность, пафосность, неправильный вкус» и склонность нарушать эстетические правила⁷. Из всей немецкой литературы он выделил только двух «прозаистов» – Иоганна Готфрида Гердера (Johann Gottfried Herder, 1744—1803) и Иоганна фон Мюллера (Johann von Müller, 1752—1809), которые, по его мнению, «как философы, историографы и искусные писатели могут сравниться с величайшими писателями других наций»⁸. На эту публикацию отозвался поэт В. И. Козлов (1793—1825), вставший на защиту романтического течения в немецкой литературе, которое он возводил к эпохе Возрождения, и обвинивший неизвестного французского автора в полном незнании современной литературы Германии⁹. В ответ последовала реакция издателя журнала Г. М. Яценкова (1778—1852), который в примирительном тоне сообщил, что хотел этой публикацией всего лишь дать толчок к дискуссии о современной немецкой литературной сцене¹⁰. Дискуссия, однако, так и не состоялась, а целостное представление о современной немецкой литературной сцене так и не сложилось. Опубликованный в 1818 г. в «Вестнике Европы»

⁴ Аглая. 1808. № 4, декабрь. С. 19.

⁵ Дух журналов. 1816. № 14. С. 281—290.

⁶ *Zeitung für die elegante Welt*. 1816. № 124, 27. Juni. Sp. 985—990.

⁷ *Ibid.* Sp. 989.

⁸ *Ibid.*

⁹ См. подробнее: *Drews P. Die Rezeption deutscher Belletristik in Russland, 1750–1850. München, 2008. S. 96—97.*

¹⁰ Дух журналов. 1816. № 14. С. 361—364.

обзор «Взгляд на нынешнее состояние немецкой словесности» из «Bibliothèque universelle» в переводе М. Т. Каченовского (1775—1842) тоже мало что прояснял в общей картине текущей литературы Германии, ибо его автор основное внимание уделил историческому экскурсу и проблемам слога.

Позднее, в 1831 г., Н. А. Полевой (1796—1846), характеризуя равнодушие отечественных журналов прошедшей эпохи к немецкой литературе, писал: «Посмотрите на тогдашние известия о важнейших произведениях немецкой словесности: <...> это переводные, краткие статейки из иностранных журналов. Самые великие явления Европы остались неизвестными, и никто об этом не беспокоился»¹¹. В этом суждении есть некоторая доля преувеличения: «великие явления» все же были известны в России, не в последнюю очередь благодаря книге Жермены де Сталь (Anne-Louise Germaine de Staël-Holstein, 1766—1816) «О Германии» («De l'Allemagne», 1810; опубл. 1813), которая вызвала широкий интерес в среде образованных читателей и отечественных писателей и воспринималась как «путеводитель» по немецкой литературе¹². Неслучайно О. М. Сомов (1793—1833) в своей работе «О романтической поэзии» (1823) открыто признается, что для написания характеристики литературы Германии взял «в путеводители на сем поприще славную писательницу, которая так искусно умела раскрыть и оценить отличнейшие произведения певцов Германии», и отвел себе в этой части лишь роль ее «истолкователя на природном языке» своем¹³.

Позаимствовав у Сталь разделение поэзии на классическую и романтическую, Сомов довольно точно воспроизводит в извлечениях текст книги «О Германии», но только тех ее частей, которые касаются поэзии¹⁴. Собственно из этих же частей были взяты и первые фрагменты книги, появившиеся в русском переводе: в 1814 г. «Вестник Европы» поместил очерк «Гёте, Виланд и Шиллер» в переводе В. В. Измайлова (1773—1830)¹⁵; те же отрывки о Гёте и Шиллере были заново переведены в 1820 г. П. А. Плетневым (1792—

¹¹ Полевой Н. А., Полевой Кс. А. Литературная критика: Статьи и рецензии 1825—1842 / Сост., вступ. ст. В. Березиной, И. Сухих. Л., 1990. С. 202—203.

¹² См. подробнее: Заборов П. Р. Жермена де Сталь и русская литература первой трети XIX века // Ранние романтические веяния: Из истории международных связей русской литературы. Л., 1971. С. 168—202.

¹³ Сомов О. М. О романтической поэзии. СПб., 1823. С. 29.

¹⁴ В том же 1823 г. Сомов опубликовал отдельно свой перевод раздела из книги Ж. де Сталь, посвященного «Орлеанской деве» («Die Jungfrau von Orleans», 1801) Ф. Шиллера (Труды Вольного общества любителей российской словесности. 1823. Ч. 21. Кн. 2. С. 174—202), что было инспирировано, как предполагается, обнаружением первых фрагментов перевода Жуковским этой драмы Шиллера (Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 2011. Т. 7. С. 606, примеч. О. Б. Лебедевой).

¹⁵ Вестник Европы. 1814. Ч. 67. № 17, сент. С. 120—127; № 19, окт. С. 181—190.

1865) для «Сына отечества», к ним добавился фрагмент о Клопштоке¹⁶; почти одновременно с этим П. А. Плетнев издал свой перевод уже известного по публикации в «Вестнике Европе» отрывка о Виланде, присовокупив к нему новый фрагмент о Лессинге и Викельмане¹⁷; тогда же появился в печати небольшой фрагмент «О главных эпохах немецкой словесности», в котором в самых общих чертах прочерчивалась линия от «Песни о Нибелунгах» («*Nibelungenlied*») к Клопштоку и Виланду¹⁸. В 1822—1823 гг. скромная коллекция переводов из «Германии» Ж. де Сталь пополнилась еще несколькими публикациями, но значительная часть книги, касающаяся в том числе немецкой драматургии и прозы, так и осталась не переведенной, хотя сама книга было хорошо известна в писательской среде и читалась преимущественно в оригинале.

Собственно новых имен для русского читателя в книге Ж. де Сталь было не так много, и потому она едва ли могла служить в прямом смысле слова «путеводителем» по немецкой литературе: все главные «герои» этой книги – Клопшток, Виланд, Шиллер, Гёте, к которым в главе о поэзии был добавлен Бюргер, как самый популярный, по словам Сталь, поэт Германии¹⁹, уже были так или иначе, хотя и в разной степени, известны в России, а прочих участников современного литературного процесса в Германии автор вывела за скобки, ограничившись и в главе, посвященной поэзии, и в главе, посвященной романам, констатацией того, что и поэтов, и романистов в Германии много, и дав лишь самую общую оценку текущей немецкой поэзии и прозы: из поэтов «современной школы» она назвала только Фридриха Маттисона (Friedrich von Matthisson, 1761—1831), Иоганна Георга Якоби (Johann Georg Jacobi, 1740—1814), Кристофа Августа Тигде (Christoph August Tiegde, 1752—1841) и Августа Шлегеля (August Schlegel, 1767—1845), а говоря о романах отметила, что ни один из любовных немецких романов не дотягивает до «Вертера» и что большинство прозаиков заняты сочинением рыцарских романов и романов о привидениях и ведьмах, хотя эта «материя», по мнению Сталь, требует стихов²⁰.

Новым в книге Ж. де Сталь была не фактическая сторона, а развернутые яркие характеристики еще не дошедших до русского читателя произведений уже известных авторов и подход, сформировавшийся под влиянием Августа Шлегеля: разделение мировой литературы на «классическую», сопряженную с дохристианской эпохой, и

¹⁶ Сын отечества. 1820. Ч. 62. № 20. С. 3—14; Ч. 63. № 28. С. 73—80; № 31. С. 219—224.

¹⁷ Труды Вольного общества любителей российской словесности. 1820. Ч. 11. Кн. 7. С. 62—72; Ч. 11. Кн. 9. С. 314—324.

¹⁸ Соревнователь просвещения и благотворения. 1820. № 11. С. 62—68.

¹⁹ Madame de Staël Holstein. D'Allemagne. [s. l.] 1814. Vol. 1. P. 308.

²⁰ Ibid. Vol. 2. P. 302—305.

«романтическую», сопряженную с христианской эпохой, в первую очередь со средневековьем, давшим импульсы к раскрытию национального духа той или иной литературы, в том числе и немецкой, которая хотя и вошла, как считала Сталь, позже всех в круг европейских литератур, даровала миру подлинных «романтиков», выразителей немецкого духа – Клопштока, Виланда, Шиллера и Гёте. Этот «романтический канон» Ж. де Сталь, не соотносящийся с современным «романтическим каноном», лишь опосредованно повлиял на восприятие в России этих писателей, у каждого из которых сложилась своя «русская биография», но ее главный тезис, при всей его размытости и неопределенности, оказался весьма значимым для русской литературы. Начиная с первой половины 1820-х гг. она обратилась к осмыслению «романтической поэзии» и связанной с ней проблемой «народности», что нашло свое отражение в многочисленных статьях – О. А. Сомова, А. А. Бестужева, В. К. Кюхельбекера, П. А. Вяземского, М. А. Дмитриева, В. Бриммера и А. С. Пушкина, в том числе и в его неоконченных статьях «О поэзии классической и романтической» (1825), название которой повторяет название одной из глав книги «О Германии», и «О поэтическом слоге» (1828).

Независимо от того, как интерпретировалось в литературной критике 1820-х — начала 1830-х гг. творчество четырех немецких «романтиков» в терминологии Ж. де Сталь, – как относящихся к «подлинному» романтизму или «ложному»²¹, – все вместе они воспринимались как «лицо» немецкой словесности, как поэты, о которых должен иметь представление всякий образованный человек. «Не надобно любителю изящного отставать от словесности. Те, которые не читали Виланда, Гёте, Шиллера <...>, похожи на деревенских старух, которые не знают, что мы взяли Париж, и что Москва сожжена до сих пор сомневаются», – писал Батюшков в записных книжках 1817 г.²² Упоминание недавних исторических событий здесь неслучайно: по ощущениям современников, русские «узнали цену литературы немецкой, когда “успехи оружия привели их на берега Одера и Эльбы”», – отмечал В. К. Бриммер в статье 1830 г. и замечал по этому поводу: «Не желая исследовать, действительно ли русские с этого времени стали отдавать справедливость творениям Клопштока, Виланда, Гесснера, Шиллера и других, напомним только Русского

²¹ См.: *Бриммер В. К.* О истинном и ложном романтизме // Сын отечества. 1830. Ч. 132. № 9. С. 168—184. В этой статье «ложному романтизму», представленному братьями Шлегелями, Тиком, Вернером, Мюльнером, Грильпарцером с их «мистицизмом и неологизмом», свидетельствующими об упадке литературы, противопоставляется «истинный романтизм», представленный, по мысли автора, в том числе и Клопштоком, Виландом, Шиллером и Гёте.

²² *Батюшков К. Н.* Опыты в стихах и прозе / Изд. подгот. И. М. Семенко. Л., 1977. С. 423 (сер. «Литературные памятники»).

путешественника, который в 1791-м году перевозил авторов германских»²³. Вспомнив в этом контексте Н. М. Карамзина, Бриммер невольно возвращал читателя к вопросу о «германском влиянии» на отечественную литературу, ставшему предметом острого обсуждения в 1824 г. в связи с предисловием П. А. Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану» Пушкина, в котором Вяземский напрямую возводил это «германское влияние» к Карамзину²⁴.

Германский «квартет» был действительно значим для Карамзина, и первое место в нем занимал Клопшток, которого он в стихотворении «Поэзия» (1787) включил в круг величайших поэтов наряду с Гомером, Шекспиром, Мильтоном, Юнгом и Томсоном. Стихотворение это, в котором Клопшток назван «несравненным», заслуживающим уже при жизни места на небесах, открывалось эпиграфом из его написанной гекзаметром эпической поэмы «Мессиада» («Messias», 1749—1781) – две ее части вышли на русском языке в прозаическом переводе связанного с Карамзиным «мартиниста» А. М. Кутузова (1748—1797), причем вторая часть увидела свет в год написания «Поэзии»²⁵. Этот же перевод будет переиздан в 1820—1821 гг., в несколько отредактированном виде, и, как предполагается, при участии Карамзина²⁶.

Но не только за «Мессиаду» ценил Клопштока Карамзин. В ранние годы его не в меньшей степени привлекал и «германизм» поэта, его «великие идеи о священной любви к отечеству, которые с диким величием излились в его Германе»²⁷, и другие «поэтические потоки» (библейский, античный), которые в глазах Карамзина идеальным образом слились

²³ Бриммер В. К. О истинном и ложном романтизме. С. 168—169.

²⁴ См. подробнее: *Томашевский Б. В.* Пушкин: [В 2 кн.] / Отв. ред. В. Г. Базанов. М.; Л., 1956. Кн. 1. С. 514—521.

²⁵ О первых переводах Клопштока в России см.: История русской переводной художественной литературы: Древняя Русь. XVIII век / Отв. ред. Ю. Д. Левин. Л., 1996. Т. 2. С. 159, 160, 164. См. также: *Ботникова А. Б.* Восприятие творчества Клопштока в русской литературе его времени // Типология и взаимосвязи в русской и зарубежной литературе. Красноярск, 1978. Вып. 3. С. 16—32.

²⁶ *Коровин В. Л.* О жанре «религиозной поэмы» в русской литературе 1820—40-х гг. и поэмах С. А. Ширинского-Шихматова, А. Н. Муравьева и Ф. Н. Глинки // Филаретовский альманах. М., 2014. Вып. 10. С. 175.

²⁷ *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника / Изд. подгот. Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 1984, С. 106 (Сер. «Литературные памятники»). Герман — введенное в оборот Мартином Лютером «немецкое» имя Арминия (Arminius; 16 до н. э. – 21 н. э.) – вождя древнегерманского племени херусков, в 9 г. н. э. нанесшего поражение римлянам в битве в Тевтобургском лесу; герой драматической трилогии Клопштока «Битва Германа» («Hermanns Schlacht», 1769), «Герман и князья» («Hermann und die Fürsten», 1784) и «Смерть Германа» («Hermanns Tod», 1787).

воедино в творчестве Клопштока²⁸. По тем же «потокам» шло освоение поэзии Клопштока и в русских переводах первой трети XIX в., которые публиковались на страницах отечественных журналов²⁹. Каждый из этих переводов представляет собой попытку справиться с «клопштоковской одой» – особым, самостоятельным видом, выделявшимся немецкими эстетиками и доставлявшим русским переводчикам немало трудностей при передаче поэтических экспериментов немецкого поэта (белый стих без рифмы, enjambement, отказ от строфического построения и проч.), с которыми они – за редким исключением³⁰ – не справлялись, приспособивая текст либо к ломоносовской, либо к державинской оде.

Помимо од и единственной переведенной на русский язык трагедии Клопштока «Смерть Адама» («Adams Tod», 1757)³¹, русский читатель первой трети XIX в. мог познакомиться и с отдельными немногочисленными отрывками из главной поэмы Клопштока – «Мессиады». Среди переводчиков, обратившихся в данный период к этому тексту – А. Х. Востоков³², только что окончивший Московский университет А. И. Урываев (1789—1819)³³ и Н. М. Савостьянов (1795/96 — между 1852 и 1862), выпускник Харьковского университета³⁴. Самым значимым по своим литературным «последствиям» в этом ряду стал перевод Жуковского из второй песни поэмы («Аббадона»), опубликованный в 1815 г. – первый опыт поэта в освоении дактилического гекзаметра³⁵.

²⁸ О Карамзине и Клопштоке см. подробнее: *Михайлов А. В.* Обратный перевод: Русская и западно-европейская культуры: Проблемы взаимосвязей. М., 2000. С. 249—290.

²⁹ См. библиографию П. Дреуса: *Dreus P.* Die Rezeption deutscher Belletristik in Russland, 1750–1850. S. 258—259.

³⁰ Таким исключением стал перевод оды «Сиона» («Siona», 1764) А. Х. Востокова (1781—1864), который сохранил стилистические особенности «угловатого» оригинала (Сиона. Клопштокова ода // Свиток муз. 1802. Кн. 1. С. 32—35).

³¹ Смерть Адама / Пер. В. С. Филимонова. М., 1807. В. С. Филимонов (1787—1858) перевел эту трагедию в годы своей учебы в Московском университете, когда он «не знал не только размера стихов, но даже русской грамматики», как сказано в его собственном комментарии к раннему стихотворению 1809 г. «К Лауре», посвященному Жуковскому (*Филимонов В. С.* Проза и стихи. М., 1822. Ч. 2. С. 125).

³² Свиток муз. 1802. Кн. 2. С. 106—119. Для А. Х. Востокова обращение к Клопштоку не было случайным. Для него Клопшток входил в пантеон великих поэтов, как об этом можно судить по его оде «Парнас» (1801), в которой Клопшток, вместе с Мильтоном, помещен в свиту «отца поэзии» Гомера (*Востоков А. Х.* Стихотворения / Вступ. ст. Вл. Орлова. Л., 1935. С. 42 (Б-ка поэта)).

³³ Друг юношества. 1812. Май. С. 70—75; Авг. С. 52—62.

³⁴ Сочинения и переводы студентов Императорского Харьковского Университета. Харьков, 1821. С. 115—121. В том же году Савостьянов опубликовал «Разбор LXV псалма Давидова», к которому присовокупил и свой перевод отрывка из «Мессиады».

³⁵ Сын отечества. 1815. Ч. 22. № 22. С. 95—100.

Как и для Карамзина, для Жуковского Клопшток, к которому он сохранил интерес на протяжении всей жизни, стоял в одном ряду с Мильтоном и привлекал в первую очередь как автор эпической поэмы – к этому жанру Жуковский стал присматриваться уже в начале 1800-х гг., о чем свидетельствуют его конспекты и выписки. Размышляя о характере героя, подобающего эпической поэме, Жуковский в 1807 г. приходит к выводу: «Клопшток выбрал своим предметом Мессию; но самый сей предмет сделал его поэму неинтересною и утомительною; беспрестанно воображение натянуто; <...> спокойное совершенство не может так трогать, как страсти и слабости, смешанные с великостью в характере. <...> Клопшток выше Гомера во многих местах, но поэма его, как поэма эпическая, скучна и однообразна; мир, в который он нас переносит, слишком от нас далек; мы ничего не можем представить и теряемся в своем воображении»³⁶. В этом контексте понятен выбор для перевода фрагмента, в центре которого драматическая судьба ангела, утратившего любовь Господа – те самые «страсти и слабости, смешанные с великостью в характере». Позднее в письме к П. А. Вяземскому от 3/15 марта 1846 г. Жуковский назовет Аббадону, которого он сопоставляет с Сатаной Мильтона, «самым привлекательным характером в поэзии», воплощением «действительных страданий души, томимой чувством собственного ничтожества и неверности всего, что мило ей на свете», выражением христианской скорби, которая «истекает из самой природы падшего и чувствующего свое падение человека» и которая «не парализует, не расслабляет и не мрачит жизни, а животворит ее, дает ей сильную деятельность и стремится к свету»³⁷. Эти идеи, которые, как отмечает И. Айзикова, найдут свое развитие в последней поэме Жуковского «Странствующий жид»³⁸. «Аббадона» будет не только с энтузиазмом воспринят ближайшим кругом Жуковского, как можно судить по письму П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от 24 августа 1818 г. (главным достоинством текста здесь названо то, что он «выкапывает сокровеннейшие пружины сердца и двигает их»³⁹), но и отзовется в дальнейшем в русской литературе, к примеру, в фантастической мистерии В. Ф. Одоевского «Сегелиель, или Дон-Кихот XIX столетия» (1838), определив во многом историю русского демонизма⁴⁰.

³⁶ Жуковский В. А. Эстетика и критика / Вступ. ст. Ф. З. Кануновой, А. С. Янушкевича; Подгот. текста, сост., примеч. Ф. З. Кануновой, О. Б. Лебедевой, А. С. Янушкевича. М., 1985. 85—86.

³⁷ Там же. С. 347, 348.

³⁸ См.: Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 4. С. 398.

³⁹ В. А. Жуковский в воспоминаниях современников / Сост., подгот. текста, вступ. ст. О. Б. Лебедевой, А. С. Янушкевича. М., 1999. С. 215.

⁴⁰ См.: Удодов Б. Т. М. Ю. Лермонтов: Художественная индивидуальность и творческие процессы. Воронеж, 1973. С. 264—266.

«Идеальные красоты» Клопштока, о которых говорится, в частности, в переводной статье «О поэзии древних и новых», опубликованной Жуковским в 1811 г.⁴¹, воодушевили позднее и младшего современника Жуковского – А. Н. Муравьева (1806–1874), задумавшего в 1825 г. написать поэму в продолжение «Мессиады» Клопштока (и «Потерянного рая» Мильтона): «Мильтон и Клопшток днем и ночью, как призраки, меня обтекали, – вспоминал он впоследствии, – я хотел окончить их бессмертные поэмы и поэмой Последнего суда смертных довершить песнь о падении и искуплении человеческого рода, но меня удерживал мистицизм подобного творения... <...> Но я <...> решился на великий труд – окончить поэмы Мильтона и Клопштока – минувшею картиною грядущего суда – потопом!»⁴². Написанная гекзаметром поэма «Потоп», над которой Муравьев работал в 1826—1827 гг., была задумана как классический эпос, рассчитанный при этом, как заметил В. Л. Коровин, на вкусы романтической эпохи⁴³. Работа эта, однако, не была доведена до конца и при жизни поэта не публиковалась⁴⁴.

Среди энтузиастических почитателей Клопштока был и молодой В. К. Кюхельбекер, «клопштокские стихи» которого вызывали насмешки лицеистов⁴⁵. Для Пушкина же «красоты» Клопштока так и остались закрытыми: неслучайно «Бова» (1814), один из первых эпических опытов Пушкина, открывается вступлением, направленным против «старых» эпиков, среди которых находит свое место и Клопшток:

Разбирал я немца Клопштока
И не мог понять премудрого!
Не хотел я воспевать, как он;
Я хочу, чтоб меня поняли
Все, от мала до великого.⁴⁶

⁴¹ Вестник Европы. 1811. Ч. 55. № 3, февраль. С. 187—212. Об источнике этой статьи см.: Жуковский В. А. Эстетика и критика. С. 403—404.

⁴² Муравьев А. Н. Мои воспоминания // Русское обозрение. 1895. № 5. С. 62—63.

⁴³ См.: Коровин В. Л. О жанре «религиозной поэмы» в русской литературе 1820—40-х гг. и поэмах С. А. Ширинского-Шихматова, А. Н. Муравьева и Ф. Н. Глинки. С. 185.

⁴⁴ См.: Хохлова Н. А. Эпическая поэма А. Н. Муравьева «Потоп» // Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник. 2000. М., 2001. С. 19—45; см. также: Хохлова Н. А. Андрей Николаевич Муравьев – литератор. СПб., 2001. С. 109—121. Помимо этого в 1834 г. А. Н. Муравьев перевел пятую песнь «Мессиады», текст перевода, который читал и правил митрополит Филарет (Дроздов) (1782—1867), однако, не сохранился (см.: Коровин В. Л. О жанре «религиозной поэмы» в русской литературе 1820—40-х гг. и поэмах С. А. Ширинского-Шихматова, А. Н. Муравьева и Ф. Н. Глинки. С. 176).

⁴⁵ Об отношении лицеистов к «клопштокским стихам» В. К. Кюхельбекера и его интересе к немецкому эпическому см. подробнее: Тынянов Ю. Н. 1) Архаисты и Пушкин // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968. С. 87; 2) Пушкин и Кюхельбекер // Там же. С. 246; о Пушкине и Клопштоке: Там же. С. 282—283.

⁴⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 1999. Т. 1. С. 56.

Намного более «современным» казался рядом с Клопштоком Кристоф Мартин Виланд (Christoph Martin Wieland, 1733—1813), с творчеством которого русский читатель к началу XIX в. был уже хорошо знаком по многочисленным переводам как его поэзии, так и прозы⁴⁷ и яркий портрет которого был дан в «Письмах русского путешественника» Карамзина⁴⁸, немало писавшего о Виланде и после своего возвращения из заграничного путешествия⁴⁹. Самыми важными сочинениями Виланда для русской культуры этого периода были воспитательный роман «Агатон» и «фантастическая» поэма «Оберон», хотя ни то, ни другое на русский язык в эти годы так и не было переведено.

«Агатон» Виланда открыл русскому читателю начала XIX в. «внутреннего человека» («*der innere Mensch*») и «прекрасную душу» («*schöne Seele*»). Эти две «формулы», незамеченные русскими переводчиками XVIII в.⁵⁰, но воспринятые некоторыми участниками литературного процесса как признаки «чувствительности» Виланда⁵¹, стали своеобразным не только литературным, но и жизненным камертоном, по которому настраивал себя дружеский союз Ан. И. Тургенева, А. Ф. Мерзлякова и В. А. Жуковского, повторявший по своей «тональности» сходный союз И. В. Глейма (Johann Wilhelm Gleim, 1719—1803), Ф. Х. Якоби (Johann Georg Jacobi, 1740—1814) и Виланда⁵², чьи сочинения усердно изучались молодыми русскими «германофилами». «Всего Виланда надобно штудировать. <...>. “Оберон” и все поэмы Виландовы делают душу как-то благороднее, чище, изящнее, способнее к чувству поэзии не в одних стихах, но и во всем поэтическом», – записал в дневнике 1799 г. Ан. И. Тургенев⁵³. Несколько позже, в 1804 г.,

⁴⁷ См.: История русской переводной художественной литературы: Древняя Русь. XVIII век / Отв. ред. Ю. Д. Левин. Л., 1995. Т. 1. С. 197—200; Т. 2. С. 159, 164, 165; Данилевский Р. Ю. Виланд в русской литературе // От классицизма к романтизму: Из истории международных связей русской литературы / Отв. ред. М. П. Алексеев. Л., 1970. С. 304—350. См. также библиографию П. Дрекса: *Drews P. Die Rezeption deutscher Belletristik in Russland, 1750–1850. S. 316—319.*

⁴⁸ Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. С. 74—77.

⁴⁹ Данилевский Р. Ю. Виланд в русской литературе. С. 340—346. О виландовских мотивах в «Острове Борнгольм» Карамзина см.: Там же. С. 345—346.

⁵⁰ В русских переводах конца XVIII в. «*schöne Seele*» Виланда передавалась как «пленяющая душа», «изящная душа» (см.: Там же. С. 309, 330). Об этой «формуле» в немецкой литературе см. подробнее: *Curran J. Die schöne Seele: Wieland, Schiller, Goethe // Lumen: Selected Proceedings from the Canadian Society Century Studies / Lumen: Travaux choisis de la Société canadienne d'étude du dix-huitième siècle. 2008. Vol. 27. P. 75—84; см. также: Norton R. E. The Beautiful Soul: Aesthetic Morality in the Eighteenth Century. Ithaca, 1995.*

⁵¹ См., например, Бриммер В. К. Разговор о чувствительности между чувствительным и хладнокровным // Соревнователь просвещения и благотворения. 1818. Ч. 1, кн. 3. С. 323.

⁵² См.: Зорин А. Л. Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII—начала XIX века. М., 2016. С. 220—221.

⁵³ Цит. по: Данилевский Р. Ю. Виланд в русской литературе. С. 351.

Виланда примется «штудировать» Жуковский, начавший с «Агатона», о котором он по свежим впечатлениям писал Ф. Г. Вендриху 19 декабря 1805 г.: «Я бы желал, чтобы всякий молодой человек с пылкою, платоновскою душою пред своим выступлением в свет брал в руки “Агатона”, прочитывал его несколько раз и приготавливал себя сим чтением к тем многочисленным, иногда трудным опытам, которые для всех нас, бедных грешников, приготовлены»⁵⁴. В этом же письме Жуковский особо отмечает и то, за что он ценит Виланда – за умение «согласить <...> две противоположности: *мечтательность*, которая разлучает человека с людьми и переселяет его в жилище духов, и грубую *телесность*, *чувственность*, которая слишком унижает человека и лишает его морального и первейшего достоинства, единственно отличающего его от скотов»⁵⁵.

С этого времени Виланд на долгие годы займет прочное место в круге чтения Жуковского⁵⁶, а поэма «Оберон» то и дело возникает в составлявшихся им перечнях среди намеченных для перевода сочинений. Однако этот замысел так и не был реализован: в 1811 г. Жуковский перевел 11 строф из «Оберона» и больше к этой работе, оставшейся неопубликованной, не возвращался, как не вернулся он и к замыслу собственной поэмы «Владимир», задуманной в 1809—1810 гг. в том же жанре, что и «Оберон», имевший подзаголовок «романтическая героическая поэма» («romantisches Heldengedicht»). «Владимир» обещал быть чем-то совершенно новым и мог бы принести Жуковскому славу «русского Виланда», как это виделось, к примеру А. Ф. Воейкову, который в шутовском послании «К Жуковскому» (1813), перечисляя подвиги, которые должно совершить поэту, призывает его: «Напиши поэму славную, / В русском вкусе повесть древнюю, – / Будь наш Виланд, Ариост, Баян!»⁵⁷.

Впоследствии, однако, отношение к Виланду у Жуковского радикально изменится: «У меня теперь отлегло сердце от Виланда, – напишет он А. Ф. фон дер Бриггену в 1847 г.,

⁵⁴ Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 2019. Т. 15. С. 36.

⁵⁵ Там же. С. 35—36. – Намеченная здесь нравственная коллизия, требовавшая соответствующих форм выражения на уровне поэтики, стала одной из ключевых неразрешенных эстетических «коллизий» для русских переводчиков, особенно переводчиков немецкой прозы, которые последовательно, независимо от масштаба литературного дарования, нередко трансформировали «мечтательность» в «ложную чувствительность», а «телесность» либо элиминировали вовсе, либо существенно приглушали.

⁵⁶ О Жуковском – читателе Виланда см. подробнее: Реморова Н. Б. В. А. Жуковский и немецкие просветители. Томск, 1989. С. 19—124.

⁵⁷ Поэты 1790—1810-х годов / Вступ. ст., сост. Ю. М. Лотмана; Подг. текста М. Г. Альтшулера. Л., 1971. С. 278. О переводе «Оберона» и его автобиографическом контексте, а также о соотносении с поэмой «Владимир» см. подробнее: Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 2011. Т. 4. С. 566—570, примеч. Н. Реморовой.

– он чисто язычник в своей философии и едва ли не эпикуреец. А его стихотворения (не исключая и самого «Оберона») много яду пролили в молодые сердца, пробудив в них чувственность, которая приобретает ужасную силу будучи пропущена сквозь кубок поэзии. Теперь Виланд довольно забыт, но многие из вредных, ядовитых растений, разросшихся на почве настоящего поколения, родились из семян, брошенных его сладострастною музою»⁵⁸.

Это суждение созвучно той оценке, которую дал Виланду в пересказе В. К. Кюхельбекера Людвиг Тик, назвавший в разговоре с русским путешественником Виланда «сластолюбивым и скрытным», склонным «с наслаждением останавливаться на неблагопристойных предметах» и уступающим древним писателям, которые «распутнее Виланда, но выше его в глазах истинного философа, потому что в самых своих заблуждениях смелы и величественны и никогда не унижаются до шалости»⁵⁹. Это мнение главного оппонента Виланда Кюхельбекер, еще недавно сам переводивший немецкого «классика»⁶⁰, с полным сочувствием воспроизвел на страницах «Мнемозины», словно возвращаясь к теме «нравственности» в литературе, активно обсуждавшейся в ходе полемики 1820—1821 гг., разгоревшейся вокруг «Руслана и Людмилы» (1820) Пушкина. Тогда некоторые критики вспоминали «Оберона» Виланда, одни – обвиняя Пушкина в виландовском пристрастии к сладострастным и соблазнительным сценам, другие – в поисках аналогий, легитимирующих «эстетику шалостей»⁶¹. Сам Пушкин вспомнит о Виланде в связи с очередным витком этой дискуссии о «нравственности», вспыхнувшей с новой силой после выхода в свет «Графа Нулина» (1828)⁶², и в черновике «Опровержения на критики» упомянет автора «Оберона» в одном ряду с Ариосто, Бокаччо, Касты и др. как одного из тех, кто дал образцы шуточных, легких повестей⁶³.

При достаточно скромном количестве новых переводов из Виланда в первой трети XIX в. он тем не менее окажется так или иначе включенным в русскую литературу этой эпохи и узнаваемым автором, с которым будут сравнивать «новинки» отечественной словесности, как это произошло, к примеру, с комедией «Горе от ума» А. С. Грибоедова, в

⁵⁸ Жуковский В. А. Сочинения: В 6 т. / Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1878. Т. 6. С. 624.

⁵⁹ Отрывок из путешествия // Мнемозина. 1824. Ч. 2. С. 61.

⁶⁰ Письмо к молодому поэту (Из Виланда) // Сын отечества. 1819. Ч. 57. № 45. С. 193—216; № 46. С. 262—269. Оригинал: «Sendschreiben an einen jungen Dichter» (1782).

⁶¹ См.: Пушкин в прижизненной критике: 1820—1827 / Под общ. ред. В. Э. Вацуро, С. А. Фомичева. СПб., 2001, по указ.

⁶² См.: Пушкин в прижизненной критике: 1828—1830 / Под общ. ред. Е. О. Ларионовой. СПб., 2001. С. 109—120, 379—388.

⁶³ Там же. С. 287.

сюжете которой современники усмотрели сходство с «Историей абдеритов» Виланда («Geschichte der Abderitten», 1774)⁶⁴.

Почти одновременно с Виландом и Клопштоком, еще в конце XVIII в., русский читатель познакомился с Шиллером и Гёте⁶⁵. В русский XIX в. Шиллер вошел прежде всего как автор «Разбойников» («Die Räuber», 1782), Гёте – как автор «Страданий юного Вертера» («Die Leiden des jungen Werthers», 1774), не только вызвавших в России, как и в Европе, волну литературных подражаний, но и воспринятых как «модель смерти» и повод для «жизненного подражания». Эти две «эмблемы» оказываются неразрывно связанными с их создателями на протяжении всей первой трети XIX в. и продолжают обсуждаться в отечественных журналах по разным поводам и с разным «градусом» эмоционального накала. Поэзия же обоих «классиков» лишь постепенно осваивалась русскими переводчиками и теми читателями, которые могли познакомиться с ней по оригиналам, при этом судя по количеству переводов, предпочтение явно отдавалось Шиллеру, пик славы Гёте-поэта в России придется уже на 1830—1840-е гг.⁶⁶ Шиллер, быстро вошедший в моду, станет в этот период символом высокой дружбы, платонической любви, утвердителем идеи красоты и добра.

Если у Шиллера через переводы и отклики в печати так или иначе сложился некий целостный русский образ, пусть и не совпадающий в полной мере с «поэтической реальностью», данной в его оригинальных стихах, то образ Гёте в эти годы так и не сформировался – слишком мало о нем писали, слишком разнородны были стихи, за которые брались русские поэты разных направлений, и эти подчас случайные, внешние «поэтические встречи», как пишет В. М. Жирмунский, привели к тому, что «появляясь в рядах почти всех литературных направлений, Гёте не создает в русской литературе своего

⁶⁴ См.: *Дмитриев М.* Замечания на суждения «Телеграфа» // Вестник Европы. 1825. Ч. 130. № 6, март. С. 112—114; *Сомов О.* Мои мысли о замечаниях г. Мих. Дмитриева на комедию «Горе от ума» и о характере Чацкого // Сын отечества. 1825. Ч. 101. № 10. С. 189—191.

⁶⁵ О восприятии Шиллера в России см. подробнее: *Данилевский Р. Ю.* 1) Фридрих Шиллер и Россия. СПб., 2013; 2) Шиллер и становление русского романтизма // Ранние романтические веяния. С. 3—95; о восприятии Гёте в России см. подробнее: *Жирмунский В. М.* 1) Гёте в русской поэзии // Литературное наследство. М., 1932. Т. 4/6. С. 505—650; 2) Гёте в русской литературе. Л., 1981.

⁶⁶ По подсчетам П. Дрекса за первую четверть XIX в. всего было переведено 750 стихотворений немецких поэтов, из них 30 % приходятся на стихотворные переводы Шиллера, и 15 % на стихотворные переводы Гёте (*Drews P.* Die Rezeption deutscher Belletristik in Russland, 1750–1850. S. 47, 51). В. М. Жирмунский на основании количественных показателей приходит к выводу: «В 20-х годах Гёте по числу переводов уступает первое место не только Байрону, но даже Томасу Муру» (*Жирмунский В. М.* Гёте в русской поэзии. С. 532).

направления, для которого он был бы в собственном смысле учителем, как Байрон или даже Парни и А. Шенье»⁶⁷. Гёте предстает то в поэтическом облике «псалмопевца» (в переводе И. И. Дмитриева), то в виде «анакреонтика» (в переводах Г. Р. Державина), то в виде «идиллика» (в переводах К. Ф. Сибирского и некоторых переводах В. А. Жуковского), то в виде представителя «антологической поэзии» (в переводах И. Покровского, М. Дмитриева, В. Тило), то как «элегик» (в переводах А. Дельвига, А. Мещевского, А. Глебова, того же Жуковского и др.). Эта «многоликость» Гёте в русских переводах особенно ярко проявлялась в тех случаях, когда одно и то же стихотворение переводилось несколько раз. При ожидаемой разности прочтения и поэтической организации текста диапазон стилистических «разногласий» переводчиков не может не поражать, как это видно на примере написанной вольным размером без рифм оды «Моя богиня» («Meine Göttin», 1781). Ее перевод был в 1809 г. выполнен Жуковским, который использовал короткий размер без рифмы (двухстопный амфибрахий с дактилическими окончаниями) и «перевел» весь текст в оссианическую элегическую тональность, а следом за ним в 1811 г. А. Х. Востоковым, который использовал вольные рифмованные ямбы и подчинил все торжественному, приподнятому тону в духе Клопштока.

При этом стихи Гёте нередко служили лишь поводом, материалом для решения собственных художественных задач либо в области стихосложения, либо в области поэтических жанров, в частности баллады, оказавшейся в центре внимания в связи со знаменитым «поединком» между Жуковским и Катениным, представившими два разных типа балладной формы в своих переводах «Леноры» («Lenore», 1773) Г. А. Бюргера (Gottfried August Bürger, 1747—1794)⁶⁸. Примечательно, что Катенин, прежде чем опубликовать в 1816 г. свое переложение бюргеровой «Леноры», в 1815 г. публикует «перевод» баллады Гёте «Певец» («Der Sänger», 1783) из одиннадцатой главы романа «Годы учений Вильгельма Мейстера»⁶⁹, демонстрируя те же приемы, которыми он будет

⁶⁷ Там же. С. 530.

⁶⁸ Бюргер был открыт для русской культуры Жуковским, воспользовавшимся в 1808 г. «Ленорой» для создания собственной баллады «Людмила», а затем дважды вернувшись к тому же тексту («Светлана», 1813; «Ленора», 1831). См. подробнее: Козин А. А. «Ленора» Г. А. Бюргера: Истоки и рецепция. М., 2016. См. также: Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 2008. Т. 3. С. 266—270, примеч. Ф. З. Кануновой; о литературной борьбе вокруг «Людмилы» см.: Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. С. 148—152.

⁶⁹ Сын отечества. 1815. Ч. 21. № 16. С. 138—139. – В примечании к этой публикации Шиллер представлен как «журналист и драматург». Год спустя то же стихотворение было опубликовано в переводе П. Н. Арапова (1796—1861) (Дух журналов. 1816. № 15. С. 947—948), а затем многократно перепечатывалось в разных изданиях (см.: Drews P. Die Rezeption deutscher Belletristik in Russland, 1750—1850. S. 234).

пользоваться и в своем переложении «Леноры» – в балладе «Ольга»: перенос балладного действия на русскую почву, общая национально-архаическая окраска и некоторый языковой «натурализм» трактовки под знаком «народности». При этом Бюргер так и остался для русской культуры этого времени автором одной единственной баллады, других переводов или переложений за первую четверть XIX в. не появилось. Единственный факт прямого обращения к Бюргеру выявлен в связи с балладой Кюхельбекера «Рогдаевы псы» (1824), в основе которой баллада Бюргера «Песнь о верности» («Das Lied von Treue», 1788—1789)⁷⁰.

Главными центрами отечественного «германофильства» в данную эпоху были последовательно «Дружеское литературное общество» (1801) и «Вольное общество любителей словесности наук и художеств» (1801—1826), особенно на первом этапе его существования в 1801—1807 гг. Для многих участников этих литературных объединений оба немецких поэта составляли неразрывную пару, а иногда и два полюса, между которыми приходилось выбирать, как об этом свидетельствуют, к примеру дневники Ан. И. Тургенева. Читая с воодушевлением Шиллера и Гёте, он отдавал пальму первенства то одному, то другому⁷¹. Члены «Вольного общества», переводившие стихи обоих поэтов, склонялись скорее к Шиллеру. Именно из этого круга вышел первый опубликованный перевод знаменитой «Оды к радости» («An die Freude», 1785), созданный И. А. Кованько (1773/74—после 1824)⁷², именно из этого круга вышли и прочувствованные поэтические отклики на смерть Шиллера – «Кончина Шиллера» (1805) А. П. Беницкого (1780—1809)⁷³ и «При известии о смерти Шиллера» (1805) А. Х. Востокова.

Но главным русским «покровителем» Шиллера был Жуковский, зачинатель «немецкой школы» в русской литературе и ее единственный «певец», который развернул журнал «Вестник Европы» в годы своего редакторства в 1807—1811 гг. в немецкую сторону⁷⁴ и который вобрал в себя, как считалось, самый дух германской поэзии, став ее

⁷⁰ См. подробнее: *Потанова Г. Е.* В. К. Кюхельбекер и Г. А. Бюргер: (Об источнике баллады «Рогдаевы псы» // *Musen Almanach: В честь 80-летия Ростислава Юрьевича Данилевского.* СПб., 2013. С. 256—179.

⁷¹ См. подробнее: *Данилевский Р. Ю.* Шиллер и становление русского романтизма. С. 62—64.

⁷² *Новости русской литературы.* 1802. Ч. 1. С. 44—48.

⁷³ *Журнал российской словесности.* 1805. Ч. 2. С. 201.

⁷⁴ См. подробнее: *Айзикова И. А.* Немецкий текст в «Вестнике Европы» 1807—1811 гг. периода редакторства В. А. Жуковского (на материале прозы) // *Русское в немецких дискурсах, немецкое в русских дискурсах.* Томск, 2009. С. 197—206; *Данилевский Р. Ю.* Немецкая литература в «Вестнике Европы» (1802—1830) // *Из истории русской переводной художественной литературы первой четверти XIX века: Сб. статей и материалов.* СПб., 2017. С. 43—112.

«заместителем» в русской культуре. Его любовь к немецкой поэзии разделяли отнюдь не все: когда в 1817 г. он задумал издать поэтический альманах, первая часть которого должна была включать сочинения членов общества «Арзамас», а вторая – переводы немецких писателей, то реализовать этот план ему не удалось. «К чему переводы немецкие? Добро философов. Но их-то у нас читать и не будут. Что касается до литературы их, собственно литературы, то я начинаю презирать ее. (Не сказывай этого!) У них все карячение и судороги. Право, хорошего немного», – писал по этому поводу 4 марта 1817 г. Вяземскому Батюшков⁷⁵, делавший, впрочем, исключение для Шиллера, которого он, по некоторым сведениям, переводил и которого ценил за его «идеализм»⁷⁶.

По количеству переведенных текстов Шиллер занимает в творческом наследии Жуковского гораздо более значимое место, чем Гёте: в 1809—1833 гг. он перевел всего лишь пятнадцать стихотворений Гёте, в том числе и стихи из «Вильгельма Мейстера» (знаменитую песню Миньоны – «Мина» (1818) и песню старика-арфиста – «Кто слез на хлеб свой не ронял...» (1816)), а также его балладу «Лесной царь» (1818; «Erlkönig», 1782) и посвящение к «Фаусту» (1817; «Zueignung», 1797); большая часть этих переводов была опубликована в авторском альманахе «Für Wenige. Для немногих», первые четыре части которого увидели свет в 1818 г. В те же годы им было переведено около тридцати произведений Шиллера, в том числе его баллады и трагедия «Орлеанская дева» (1821), ставшая важным событием в литературной жизни этих лет и воспринятая современниками как первая романтическая трагедия в стихах на русском языке⁷⁷. Именно по этим переводам русский читатель первой трети XIX в. в основном и судил о Шиллере, который в интерпретации Жуковского приобретал облик поэта «чувствительного», «мечтательного», «романтического» и преимущественно «элегического». Эти черты усваивались другими переводчиками Шиллера и его (или Жуковского) подражателями, множа «литературное уныние», охватившее по ощущениям современников отечественную словесность к середине 1820-х гг., как об этом можно судить хотя бы по стихотворению Е. А. Баратынского (1800—1844) «Богдановичу» (1824), в котором «вина» за это возлагается на Жуковского:

В печаль влюбились мы. Новейшие поэты
Не улыбаются в творениях своих,
И на лице Земли все как-то не по ним.
<.....>

⁷⁵ Батюшков К. Н. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 424.

⁷⁶ См.: Батюшков К. Н. Соч.: В 3 т. / Вступ. ст. Л. Н. Майкова, примеч. Л. Н. Майкова, В. И. Сайтова. СПб., 1885. Т. 1. С. 295, 131, 173.

⁷⁷ Об этом переводе см. подробнее: Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 2011. Т. 7. С. 590—608, примеч. О. Б. Лебедевой.

Пристала к музам их немецких муз хандра.
Жуковский виноват: он первый между нами
Вошел в содружество с германскими певцами
И стал передавать, забывши божий страх,
Жизнехуленья их в пленительных стихах.⁷⁸

Эта «влюбленность в печаль» вызвала резкую отповедь Кюхельбекера, ополчившегося и на Шиллера, который для него и в 1824 г. все еще был «новейшим немцем», и на Жуковского, и на всю «современную» немецкую литературу. В статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» Кюхельбекер, еще недавно восхищавшийся Шиллером⁷⁹, писал: «Жуковский первый у нас стал подражать *новейшим* немцам, преимущественно Шиллеру. <...> Жуковский и Батюшков *на время* стали корифеями наших стихотворцев и особенно той школы, которую ныне выдают нам за романтическую»⁸⁰.

Возмущаясь тем, что отечественные критики уравнивают в поэтических правах «великого Гёте и незрелого Шиллера», автор выражал надежду, что «наши писатели <...> сбросят с себя поносные цепи немецкие и захотят быть русскими»⁸¹. Единственное, что Кюхельбекер ставит в заслугу Жуковскому, это освобождение «от ига французской словесности», а также освоение новых стихотворных размеров, признавая, что благодаря влиянию немецкой литературы «теперь пишем не одними александринами и четырехстопными ямбическими и хорейскими стихами»⁸².

Печать «романтизма» в его русском понимании ложилась и на переводы некоторых других современных немецких поэтов, к которым обращался Жуковский. Среди них – Фридрих Маттисон, Готлиб Конрад Пфэффель (Gottlieb Konrad Pfaffel, 1736—1809), Теодор Кёрнер (Theodor Körner, 1791—1813), Максимилиан фон Шенкендорф (Maximilian von Schenkendorf, 1783—1817), Иоганн Петер Гебель (Johann Peter Hebel, 1760—1826), Людвиг Уланд (Ludwig Uland, 1787—1862). Большинство из них были личным открытием Жуковского, который при этом не ставил перед собой задачи познакомить русского читателя с тем или иным важным для него поэтом, но поглощал собою обрабатываемую им немецкую поэтическую «материю». Ни один из современников Жуковского за переводы

⁷⁸ Боратынский Е. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 2002. Т. 2, ч. 1. С. 69.

⁷⁹ Подробнее об отношении Кюхельбекера к творчеству Шиллера см.: Мкалаева Т. Шиллер в оценке Кюхельбекера // Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та. 1964. Т. 157. Вып. 9—10. С. 27—43; Либинзон З. Е. Писатели-декабристы и Шиллер // Проблема традиций и новаторства в художественной литературе. Горький, 1978. С. 78—92.

⁸⁰ Мнемозина. 1824. Ч. 2. С. 34.

⁸¹ Там же. С. 41, 60.

⁸² Там же. С. 35, 36, 40.

этих поэтов не брался. Основные усилия переводчиков первой трети XIX в. были направлены на переводы «старых» поэтов, уже освоенных в конце XVIII в. – А. Галлера, И. П. Уца, К. Ф. Геллерта, Ф. Гагедорна, И. Л. Глейма и особенно Э. Х. фон Клейста и С. Геснера⁸³, которые становятся живыми «участниками» бурной полемики вокруг жанра русской идиллии, развернувшейся в конце 1810-х – начале 1820-х гг.⁸⁴

Если немецкая поэзия доходила до русского читателя в основном через журналы с их избирательной и не слишком большой аудиторией, то немецкая проза, «беллетристика», в русских переводах представленная по большей части книжными изданиями, охватывала гораздо более широкий круг, получавший возможность, пусть и с некоторым опозданием, познакомиться с «новинками» немецкой литературы. Среди этих «новинок» не было ни Людвиг Тика⁸⁵, ни Жан Поля⁸⁶, авторов, хорошо известных в отечественной литературной среде, но были тексты «модных» немецких авторов. Немецкая проза вливалась в общий поток романной стихии, захлестнувшей русского читателя первой трети XIX в. Сетования по поводу того, что переводной роман заполнил книжные лавки и завладел умами читающей публики, стали общим местом и рассуждения на эту тему, сопровождавшиеся, как правило, ламентациями о бедности литературы отечественной по части достойных

⁸³ См. библиографию П. Древа: *Drews P. Die Rezeption deutscher Belletristik in Russland, 1750–1850. S. 242, 243, 312, 223—225, 242, 229, 230, 257, 258, 226—229, 313.*

⁸⁴ См. подробнее: *Вацуро В. Э. Русская идиллия в эпоху романтизма // Вацуро В. Э. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 517—539.*

⁸⁵ Единственный роман Л. Тика, появившийся в эти годы на русском языке – «Нейтлейское аббатство: История средних времен» («Kloster Netley», 1796), изданный в 1809—1810 гг. в переводе с французского О. С. Ширяева. Известна была и изданная Тиком значимая для эстетики романтизма книга Вильгельма Генриха Ваккенродера (Wilhelm Heinrich Wackenroder, 1773—1798) «Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного», («Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders», 1797), вышедшая свет в 1826 г. в переводе С. П. Шевырева, В. П. Титова и Н. А. Мельгунова, сотрудников «Московского вестника» и членов «Общества любомудрия», имевшего «германофильскую» ориентацию. О более позднем восприятии Л. Тика в России см.: *Данилевский Р. Ю. Людвиг Тик и русский романтизм // Эпоха романтизма: Из истории международных связей русской литературы. Л., 1975. С. 68—112.*

⁸⁶ В 1808 г. Н. И. Греч (1787—1867) поместил в журнале «Лицей» отрывок из первого, неоконченного романа Жан Поля «Невидимая ложа» («Die unsichtbare Loge», 1793) (Лицей. 1808. Ч. 3. Кн. 3. С. 91); с большим перерывом, в 1824 г., в альманахе В. К. Кюхельберкера (1797—1846) были опубликованы две странички из собрания избранных афоризмов писателя («Ausgewählte Aphorismen», 1801—1816) (Многомеры из Жан Поля Рихтера // Мнемозина. 1824. Ч. 1. С. 182—184). Подробнее о русской рецепции Жан Поля см.: *Тронская М. Л. Жан Поль Рихтер в России // Западный сборник. М.; Л., 1937. Вып. 1. С. 257—290.*

внимания романов и повестей, кочевали из одного журнала в другой вместе с расхожим образом «девиц, испорченных романами»⁸⁷.

Из немецких прозаиков к началу XIX в. русский читатель помимо Виланда и Гёте – автора «Вертера»⁸⁸ – уже неплохо знал Августа Готтлиба Мейснера (August Gottlieb Meißner, 1753—1807), который считался «одним из лучших прозаистов» своего времени, как писала о нем «Allgemeine Literatur-Zeitung» в 1785 г., особо отмечая его «умение сочетать мастерство внешней отделки <... > с теплой фантазией, незаурядным знанием света и человеческого сердца»⁸⁹. Имя Мейснера возникает в контексте языковой полемики и оказывается равно значимым как для А. С. Шишкова, с книги которого «Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка» (1803) эта полемика началась, так и для его оппонентов⁹⁰. Запомнился он прежде всего как автор исторических романов, самыми

⁸⁷ См., например, стихотворную сатирическую повесть Д. Ярославского «Лиза-романист», в которой рассказывается о сельской моднице, испорченной чтением «развратных» романов, к числу которых автор относит и «Вертера» Гёте (Харьковский Демокрит. 1816. № 95. С. 26—42).

⁸⁸ Другие прозаические тексты Гёте (романы «Годы учений Вильгельма Мейстера» («Wilhelm Meisters Lehrjahre», 1795–1796), «Избирательное сродство» («Die Wahlverwandschaften», 1809), «Годы странствий Вильгельма Мейстера» («Wilhelm Meisters Wanderjahre», 1821)) так и не нашли в эти годы своего переводчика. Только в 1827 г. был опубликован небольшой фрагмент из романа «Годы учения Вильгельма Мейстера» в переводе Н. М. Рожалина (Вот где был предатель // Московский вестник. 1827. Ч. 2. № 5. С. 17—47; № 6. С. 125—145).

⁸⁹ Allgemeine Literatur-Zeitung. 1785. März, № 50. S. 211. В списке самых успешных немецких авторов, составленном на основании анализа печатных каталогов общественных платных библиотек за период 1756—1814 гг., Мейснер занимает шестое место (*Sangmeister D. Die Linckesche Leihbibliothek in Leipzig: Zur Geschichte und Beständen eines früheren Leseinstituts und einer heutigen Sondersammlung. Berlin; München; Boston, 2017. S. 62. (Archiv für Geschichte des Buchwesens)*).

⁹⁰ Так, например, П. И. Макаров, возражая А. С. Шишкову, писал о том, что современный писатель не может черпать языковые средства из старинных российских книг для создания «картин» в духе Виланда или Мейснера (Критика на книгу под названием «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» // Макаров П. И. Сочинения и переводы. М., 1805. Т. 1. Ч. 2. С. 35). Отвечая на это, А. С. Шишков, в свою очередь, писал: «Если Виландовы, Мейснеровы <...> картины хороши, так это оттого, что они учились писать их». Далее Шишков цитирует в своем переводе фрагмент предисловия Мейснера к собранию анекдотов из жизни придворного шута Клауса («Anecdoten aus dem Leben des weiland hochberühmten Klaus Narren zum Behuf seines künftigen Biographen», 1799), взятых из издания 1572 г. («Sechshundert sieben und zwanzig Historien von Claus Narren») и «переведенных» Мейснером на «современный» немецкий язык с сохранением отдельных старинных выражений при общем стилистическом выравнивании этих изначально грубоватых, отчасти неприличных, простонародных «шванков». «Мы хотим быть Виландами, Мейснерами <...>! Я от истинного сердца желаю вам сего, но не вижу к тому никакой надежды, – завершает Шишков этот пассаж. – Мейснеры даже и в Клаузах ищут, нет ли чего такого, что из них почерпнуть можно; а вы даже и в сокровищах Славенского языка ничего доброго не находите!» (Шишков А. С. Прибавление к сочинению,

известными из которых были «Алкивиад» («Alcibiades», 1781), переведенный Н. П. Осиповым (1751—1799)⁹¹, автором бурлескной поэмы «Виргилиева Енейда, вывороченная наизнанку» (1791), и «Бьянка Капелло» («Bianca Capello», 1785), переведенный В. С. Подшиваловым (1765—1813)⁹². Оба романа имели форму «полудиалога, полурассказа» («Halb-Dialog, Halb-Erzählung»), как указал автор в подзаголовке и объяснил свой выбор в предисловии к «Бьянке Капелло» «любовью к новизне»⁹³. При всей новизне «роман-диалог» в том виде, как он был дан у Мейснера, воспринимался в России не как особая повествовательная форма, а как собрание «театральных сцен», речевая достоверность которых при обращении к историческому материалу вызывала некоторое сомнение. Эта тема возникнет позднее в связи обсуждением исторического романа как такового и «ложного историзма», представленного европейскими и отечественными образцами, авторы которых «брали исторические имена, одевали их по-своему, заставляли их говорить по-своему», как писал Н. А. Полевой в «Клятве при Гробе господнем» (1832), приводя в числе примеров и романы Мейснера⁹⁴.

«Бьянка Капелло» Мейснера пользовалась, судя по всему, особым успехом у русского читателя, войдя в круг семейного чтения⁹⁵, а затем и в разряд «ярмарочной» литературы⁹⁶, но в писательской среде необычная форма этого романа особого интереса не вызвала – предпочтение было отдано малым формам «разговоров», представленным в творчестве теоретика жанра романа-диалога И. Я. Энгеля (Johann Jacob Engel, 1741—1802),

называемому «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», или Собрание критик, изданных на сию книгу с примечаниями на оныя. СПб., 1804. С. 108—109).

⁹¹ Алкивиад. Творение г. Мейснера. Перевел с немецкого Николай Осипов. СПб., 1794—1802. Ч. 1—4.

⁹² Бианка Капелло, повествуемая Мейснером. Перевел с немецкого 2-80 <В. С. Подшивалов>. М., 1793.

⁹³ Предуведомление от сочинителя / Бианка Капелло. Мейснерова повесть, переведенная Василием Подшиваловым. СПб., 1803. Ч. 1. (б. паг).

⁹⁴ Полевой Н. А. Избранная историческая проза / Сост., вступ. ст. и комм. А. С. Курилова. М., 1990. С. 293. Это, впрочем, не помешало самому Полевому воспользоваться текстом Мейснера «На что не отважится мать? Испанская история времен Филиппа IV» («Was wagt eine Mutter nicht? Eine spanische Geschichte aus den Zeiten Philipps IV», 1788) для своей драмы «Мать-испанка» (1843).

⁹⁵ Так, например, Н. И. Греч вспоминает о том, с каким удовольствием он в детстве слушал, как этот роман читался вслух его матери (*Греч Н. И. Записки о моей жизни*. М.; Л., 1930. С. 111).

⁹⁶ См., например, в романе М. Н. Загоскина «Искуситель» сцену в книжной лавке на ярмарке (*Загоскин М. Н. Искуситель*. М., 1838. Ч. 1. С. 92).

переводы из которого В. А. Жуковский помещал в «Вестнике Европы» как образец «практической философии»⁹⁷.

Выпало из поля зрения русских писателей и другое новшество Мейснера, считающегося открывателем жанра «криминальной истории» («Kriminalgeschichte») в немецкой литературе и составившего собрание реальных «судебных казусов»⁹⁸, которые он преподнес как «повод к рассмотрению удивительного сплетения добра и зла, тонкой грани, отделяющей добродетель от слабости и порока»⁹⁹. Его открытие жанра «документальной» прозы, претендовавшей на «объективное» описание характера и душевного строя человека, престающего законы, потерялось в тени русского Шиллера, небольшая повесть которого «Преступник из-за потерянной чести. Подлинная история» («Verbrecher aus verlorener Ehre. Eine wahre Geschichte», 1792; первый вариант: «Преступник от презрения. Подлинная история» («Verbrecher aus Infamie. Eine wahre Geschichte», 1787)), написанная под прямым влиянием Мейснера¹⁰⁰, только за первое десятилетие XIX в. была трижды переведена на русский язык (В. А. Жуковским, А. П. Беницким и неизвестным переводчиком), при том

⁹⁷ Основные положения теории романа-диалога изложены в работе Энгеля «О действии, разговоре и повествовании» («Über Handlung, Gespräch und Erzählung», 1774). См. подробнее: *Dehrmann M.-G. Die Vorschule des Dialogischen. Theorie und Praxis des philosophischen Dialogs bei Johann Jacob Engel // А. Кошенина (Hrsg.). Johann Jacob Engel. Philosoph für die Welt, Ästhetiker und Dichter. Hannover, 2005. S. 27—46.* Жуковский опубликовал в «Вестнике Европы» несколько «разговоров» Энгеля: *Смерть // Вестник Европы. 1807. Ч. 31. № 3, февр. С. 161—187; Вольдемар // Вестник Европы. 1808. Ч. 41. № 19, окт. С. 185—192; Улей (Разговор о бытии Бога) // Вестник Европы. 1810. Ч. 54. № 22, нояб. С. 85—100.* Один из этих переводов Жуковского («Вольдемар») был включен Н. И. Гречем в его пособие по русской словесности в качестве образца «сократического рода» философского разговора вместе с «Разговором о счастии» Н. М. Карамзина и «Вечером у Кантемира» К. Н. Батюшкова (*Греч Н. И. Учебная книга русской словесности, или избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе. СПб., 1819. Ч. 1. С. 230—236; характеристика «сократического рода» разговоров: С. 195*). Об интересе Жуковского к Энгелю см.: *Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 2014. Т. 10. Кн. 1.: Проза 1807—1811 годов. С. 409—411, примеч. А. С. Янушкевича.* Из крупных произведений Энгеля на русский язык был переведен только его роман-диалог «Herr Lorenz Stark. Ein Charaktergemälde» (1801): *Лорензо Старк, семейственная картина. Сочинение Энгеля. Перевод с немецкого, в 2-х частях. М., 1808 Ч. 1—2.* Эта книга, переведенная неизвестным (и не слишком искусным) переводчиком, упоминается среди расхожего товара, предлагаемого офеней в комедии Б. М. Федорова «Ротмистр Громилов, или человек прежнего времени» (1824) (*Литературные листки, журнал нравов и словесности. 1824. Ч. 1. № 2, янв. С. 94—99*).

⁹⁸ *Meißner A. G. Skizzen. Bd. 13, 14. Carlsruhe, 1797.*

⁹⁹ *Meißner A. G. Sämtliche Werke. Wien, 1813. Bd. 15. S. 9.*

¹⁰⁰ См.: *Košenina A. 1) Nachwort // A. G. Meißner. Ausgewählte Kriminalgeschichten. St. Inggberg, 2004. S. 98—99; 2) «Tiefere Blicke in das Menschenherz»: Schiller und Pitaval // Germanisch-Romanische Monatsschrift. 2005. № 55. S. 383—395; *Düwell S., Bartl A., Hamann Ch., Ruf O. (Hrsg.). Handbuch Kriminalliteratur: Theorien – Geschichte – Medien. Stuttgart, 2018. S. 169, 185, 208, 249, 270.**

что только Беницкий сумел приблизиться к бесстрастному тону рассказчика-«человекоиспытателя» («Menschenforscher»), производящего «хирургическое вскрытие порока», («Leichenöffnung des Lasters»), как сказано в авторском предисловии, насыщенном медицинскими и научными терминами, явно мешавшими Жуковскому, который придал тексту некоторую «чувствительность»¹⁰¹.

Эта найденная Мейснером форма условно документальной прозы, достоверность которой в Германии подвергалась сомнению и которая вызывала порой эстетическое отторжение¹⁰², разрабатывалась и другими немецкими писателями, в частности Кристианом Генрихом Шписом (Christian Heinrich Spieß, 1755—1799), который прославился среди прочего своими сборниками биографий «реальных» людей – самоубийц, безумных и преступников («Biographien der Selbstmörder», 1786—1789; «Biographien der Wahnsinnigen», 1796; «Meine Reisen durch die Höhlen des Unglücks und Gemächer des Jammers», 1796). В отличие от Мейснера Шпис помещал свои «биографии» в назидательную рамку, полагая, что и за свое безумие, и за самоубийства, и за всякое преступление всякий человек несет ответственность сам. Рациональная дидактика немецкого автора снималась в русских переводах, первый из которых появился в 1801 г.¹⁰³, за счет разнообразных трансформаций текстов, разворачивавших «документальные» рассказы Шписа в сторону «трогательных», «чувствительных» любовных повестей с заведомо несчастливым концом, окрашенных «унынием» и «меланхолией».

Русская литературная репутация Шписа, однако, сформировалась не на основе этих «биографий», а на основе его многочисленных рыцарских романов и романов о «духах», многие из которых вплоть до 1822 г. переводились на русский язык и воспринимались как «волшебные», «богатырские» повести с назидательным посылом, неизменно формулировавшимся Шписом в предисловиях и авторских «ремарках», что позднее дало

¹⁰¹ Об этих трех переводах см.: Данилевский Р. Ю. Шиллер и становление русского романтизма. С. 83—85.

¹⁰² Так, например, Гёте, прочитав первые криминальные истории Мейснера записал: «Выдается за истинный <... > случай. Интересно, но невыносимо. Она (история. – М. К.) включает в себе всю мерзость правды и, несмотря на некоторое количество поэзии, проглядывающей кое-где, не складывается в целое» (*Goethe J. W. Schriften zu Literatur und Theater / Hrsg. von W. Rehm. Stuttgart, [s. a.]. S. 90*).

¹⁰³ Первый перевод из «Биографий» Шписа выполнил Г. П. Каменев, (1773—1803), поэт и переводчик, выпускник немецкого пансиона в Казани, который выбирал для перевода в основном «меланхолическую» поэзию; его интерес к этой прозе Шписа возник под впечатлением от разговоров с Н. М. Карамзиным и Ан. И. Тургеневым в 1800 г. (см.: Вацуро В. Э. Готический роман в России. М., 2002. С. 217). Перечень переводов «биографий» Шписа см.: Drews P. Die Rezeption deutscher Belletristik in Russland, 1750–1850. S. 306—307.

основание Белинскому назвать его автором «фантастогорических аллегорий»¹⁰⁴. Эти романы служили, по выражению В. Э. Вацура, «резервуаром» мотивов, тем и отдельных сюжетов для отечественной исторической повести 1820–1830-х гг. с элементами «готики» (Н. А. Бестужев, А. А. Бестужев, О. М. Сомов)¹⁰⁵ и отечественной баллады, опиравшейся в некоторых случаях непосредственно на тексты Шписа, как это было в случае с Г. П. Каменевым (баллада «Громвал», 1804)¹⁰⁶ или В. А. Жуковским, переработавшим роман Шписа «Двенадцать спящих дев» («Die Zwölf schlafenden Jungfrauen. Eine Geistergeschichte», 1794—1796) в поэтический цикл из двух баллад («Громобой» и «Вадим»), опубликованный отдельным изданием в 1817 г.¹⁰⁷ Несмотря на огромный читательский успех романов Шписа¹⁰⁸, тогдашняя литературная критика не воспринимала их как эстетическое явление, заслуживающее внимания, и потому в основном обходила молчанием, как обходились чаще всего молчанием и немногочисленные переведенные на русский язык немецкие разбойничьи романы, самым известным из которых был «Ринальдо Ринальдини, атаман разбойников. Романтическая история нашего столетия» («Rinaldo Rinaldini, der Räuberhauptmann. Romantische Geschichte unseres Jahrhunderts», 1798) Кристиана Августа Вульпиуса (Christian August Vulpius, 1762—1827). Сомнительное качество перевода, вышедшего в свет в 1802–1804 гг., нисколько не помешало успеху этого романа в России: Ринальдо Ринальдини затмил не только шиллеровского Карла Моора, но и других разбойников самого Вульпиуса, издавшего несколько вариаций на ту же тему, и на долгие годы заместил собою всех благородных разбойников, став образом-символом, именем нарицательным, сохранившимся в памяти и тогда, когда мода на разбойничьи романы уже как будто прошла, как об этом свидетельствуют, к примеру, переключки с романом Вульпиуса в «Дубровском» (1833) и «Капитанской дочке» (1836) А. С. Пушкина¹⁰⁹

¹⁰⁴ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. В: 13 т. М., 1955. Т. 6. С. 692.

¹⁰⁵ См.: Вацура В. Э. Готический роман в России. С. 372—392.

¹⁰⁶ См.: Там же. С. 232.

¹⁰⁷ О текстуальных совпадениях «Громобоя» и первой части романа Шписа см.: Загарин П. Жуковский и его произведения: 1783—1883. М., 1883. С. 73—103. См. также: Козмин Н. К. О переводной и оригинальной литературе конца XVIII и начала XIX века в связи с поэзией В. А. Жуковского. СПб., 1904. С. 8—19.

¹⁰⁸ «Как ни плохи и ни длинны изделия Шписса <...> и других рыцарских романистов того времени, но струи, бегущие по ним, действовали сильно и на воображение и на чувство читавшей массы», — констатировал Аполлон Григорьев (1822—1864), отдавший в юности дань этим романам вместе со множеством своих современников и возводивший «мутные струи» немецкого романа в лице Шписа к эпохе «Бури и натиска» (Григорьев А. Воспоминания / Изд. подгот. Б. Ф. Егоров. Л., 1980. С. 71. (Сер. «Литературные памятники»).

¹⁰⁹ См.: Ларионова Е. О. Реликты разбойничьего романа в творчестве Пушкина (Пушкин и Х. А. Вульпиус) // Пушкин и другие: Сборник статей к 60-летию профессора

или сравнение Чичикова с Ринальдо Ринальдини в девятой главе «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.

Среди прозаических жанров, ассоциировавшихся в России первой четверти XIX в. с немецкой литературой, помимо рыцарских и разбойничьих романов, а также романов о духах, особое место занимал «семейственный роман», который имел узнаваемое «лицо» – лицо Августа Лафонтена. Этот плодовитый автор, безраздельно господствовавший на немецкой литературной сцене первой четверти XIX в.¹¹⁰, на несколько десятилетий захватил и русскую литературную сцену. Начиная с 1799 г., когда был издан перевод романа «Природа и любовь» («Natur und Liebe, oder Naturmensch. Ein Gemälde des menschlichen Herzens», 1798), в России ежегодно публиковалось по два-три многотомных романа Лафонтена, иногда в один год выходило сразу два перевода одного и того же произведения, некоторые из переводов выдержали по два-три переиздания, так что к началу 1830-х гг. было переведено около 70 из 160 сочинений писателя¹¹¹.

Сам Лафонтен считал свои сочинения «приуготовительной» школой жизни и неизменно в обязательных предисловиях к своим текстам отмежевывался от современного «развлекательного» романа, формулируя назначение «правильного» романа. «Никогда еще так громко не звучал голос общественности, выступающий против романов и чтения романов, и никогда еще так громко как теперь он не требовал их, – писал он в предисловии ко второму изданию четырехтомного собрания своих повестей под общим названием «Сила любви» («Die Gewalt der Liebe», 1799). – Есть романы, которые заставят покраснеть любую

Сергея Александровича Фомичева. Новгород, 1997. С. 73—79. О читательском восприятии этого романа Вульпиуса в России и его влиянии на русскую литературу первой половины XIX в. см. подробнее: Вацуро В. Э. Готический роман в России. С. 319—329.

¹¹⁰ По тиражам, по читательскому успеху он намного опередил всех своих собратьев по перу и, как писал Г. Гейне в «Романтической школе», «прославился больше, чем Вольфганг Гёте» (Гейне Г. Собр. соч.: В 10 т. Л., 1958. Т. 6. С. 157). В списках общедоступных библиотек Германии Лафонтен, писавший в среднем по два многотомных романа в год, на протяжении полувека неизменно занимал первую строчку, численность его читателей только в немецких землях составляла около 1 000 000 (при средних тиражах книг других авторов 500—700 экз.), он был переведен на все основные европейские языки, книготорговцы покупали его романы еще до того, как они были написаны, при этом читательская аудитория Лафонтена в Европе состояла из представителей самых разных социальных групп – от монархов до кухарок, – явление для своего времени уникальное (см.: August Lafontaine (1758–1831): Ein Bestsellerautor zwischen Spätaufklärung und Romantik / Hrsg. von C.-F. Berghahn, D. Sangmeister. Bielefeld, 2010. S. 8—12; о тиражах и переводах романов Лафонтена можно судить по следующей библиографии: Bibliographie August Lafontaine / Hrsg. von D. Sangmeister. Bielefeld, 1996).

¹¹¹ См. библиографию русских переводов Лафонтена (с некоторыми лакунами), составленную П. Дреусом: Drews P. Die Rezeption deutscher Belletristik in Russland, 1750–1850. S. 271—273.

девицу, если какой мужчина застанет их за подобным чтением. <...> Есть романы, в которых нет ничего кроме в высшей степени странных и невероятных сказок и которые наполняют фантазию читателей и читательниц гигантскими образами, а сердце – неисполнимыми надеждами и желаниями, уводящими прочь от земли в царство лихорадочной фантазии <...>: обязанность критики указать матерям и воспитателям на вредность подобного рода чтения. Роман – зеркало настоящей жизни, <...> это школа самопознания, мораль в примерах, причем, судя по нынешнему положению вещей, чуть ли не единственная школа, по крайней мере для женского пола»¹¹².

При этом Лафонтен, в отличие от прочих авторов семейных романов, не просто предлагал своему читателю наставительные тексты с примерами из «жизни», умело сплетенными в повествовательную интригу. Он настойчиво, от романа к роману, повторял и свои основные «философские тезисы», главными из которых была идея верховенства человека частного над человеком общественным и проистекающий отсюда тезис о приоритете любви к семье, противопоставляемой любви к отечеству¹¹³. Такие семейные истории с их сериальностью и неизменно счастливым концом довольно скоро стали восприниматься как старомодные. Неслучайно имя Лафонтена появляется у Пушкина в «Евгении Онегине» как символ скучной домашней жизни в строках, посвященных Ленскому (гл. 4, строфа L). Эти «антилафонтеновские» стихи вызвали критику Б. М. Федорова (1798—1875), отозвавшегося на публикацию четвертой и пятой глав «Евгения Онегина» в 1828 г. статьей в «Санктпетербургском зрителе»: «Забавно, но зачем певец

¹¹² *Lafontaine A. Die Gewalt der Liebe. Berlin, 1799. Th. 1. S. 10—11.*

¹¹³ См., например, в романе «Федор и Мария, или Верность до смерти» («Fedor und Marie oder Treue bis zum Tode», 1802): «Не земля, не небо той страны, где мы родились, наше отечество; но дружественные, любви исполненные лица, на которые привыкли смотреть с самого детства, знакомые, столь приятные голоса наших родственников – вот что отечество!» (Князь Федоръ Д-кий и княжна Марья М-ва, или Верность по смерти: Русское происшествие. Соч. Августа Лафонтена / Пер. с немецкого. М., 1808. Ч. 2. С. 5); см. также реплику одного из персонажей этого романа, который, глядя на простого крестьянина говорит: «Этот человек может быть супругом, отцом, братом; но сильные на земле – никогда!», и наставляет далее своего племянника, которому он дает «рецепт» счастья: «не быть невольником честолюбия!» (Там же. С. 10, 11). Этот роман, увидевший впервые свет на русском языке в 1804 г. под названием «Князь Дxxx и княжна Мxxx или Верная любовь по смерти», был затем переиздан в 1807 г.; второй перевод, выполненный М. Н. Верещагиным (1789—1812), был опубликован под названием «Александр и Мария» и переиздан в 1816 г.; третий перевод, из которого выше приведены цитаты, был переиздан в 1830 и в 1831 гг. По случаю выхода очередного переиздания этого романа «Московские ведомости» писали: «Благосклонное принятие сего романа в Германии и Франции побудило русского переводчика перевести оный. Российская публика ободрила переводившего распродажею в скором времени оной книги, которая сделалась редкою» (Московские ведомости. 1831. № 2, 7 января. С. 77).

Онегина жертвует цветами поэзии для украшения легкомыслия? — Без Гимена нельзя обойтись и романтикам, или романтическая поэзия сама собою уничтожится»¹¹⁴.

При публикации «Евгения Онегина» отдельным изданием в 1833 г. поэт добавил к имени Лафонтена примечание (№ 26): «Август Лафонтен, автор множества семейственных романов»¹¹⁵, – завуалированный ироничный ответ Федорову. Объяснять читателю начала 1830-х гг., кто такой Лафонтен, явно было ненужно, но выбрав такую формулировку, которая преподносила Лафонтена как неизвестного, забытого писателя, Пушкин тем самым давал понять, что лафонтеновский роман как тип повествования с его обязательным счастливым финалом и психологическими «моногогероями» принадлежит прошлому как эстетическая архаика¹¹⁶.

Пушкинское ощущение архаичности романа лафонтеновского типа было созвучно в полной мере мнению отечественных критиков начала 1830-х гг., которые, в отличие от критиков 1800–1820 гг., находивших романы Лафонтена «приятными» и «очаровательными», отмечали их стереотипность, неправдоподобность, пошлость и относили к совершенно устаревшему чтению. Особенно резко такая оценка творчества Лафонтена прозвучала в отклике на смерть писателя, опубликованном Н. И. Надеждиным (1804—1856), который начал некролог с не слишком комплементарной характеристики: «Лафонтену суждено было пережить себя: и те, которые за несколько лет плакали навзрыд над его страницами, ныне едва ли капнут одну единственную слезку на его свежую могилу!». Затем следует выдержка из немецкой статьи о романах Лафонтена, признанных ее автором совершенно «безнравственными», «поелику точка зрения, с коей представляется в них жизнь, такова, что сила и дух незрелых юношей и неопытных девушек, коих Лафонтен составляет почти единственное чтение, изнуруется и обессиливается ее впечатлениями или совращается на ложную и опасную дорогу»¹¹⁷.

В одном ряду с Лафонтеном обычно упоминается и Август Коцебу (August Kotzebue, 1761—1819), хотя с творчеством последнего русский читатель познакомился значительно

¹¹⁴ Пушкин в прижизненной критике: 1828—1830. С. 66.

¹¹⁵ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1937. Т. 6. С. 193.

¹¹⁶ О примечаниях Пушкина к «Евгению Онегину» см. подробнее: Чумаков Ю. Н. Об авторских примечаниях к «Евгению Онегину» // Чумаков Ю. Н. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб., 1999. С. 40—51; Громбах С. М. Примечания Пушкина к «Евгению Онегину» // Изв. АН СССР. ОЛЯ. Т. 33. 1974. № 3. Оба автора никак не поясняют примечание № 26. См. также: Коренева М. Ю. А. С. Пушкин и А. Лафонтен (примечание к «Евгению Онегину» // Русская литература. 2022. № 3. С. 239—242.

¹¹⁷ [Надеждин Н. И.]. Память Августа Лафонтена // Телескоп. 1831. № 10. Раздел VIII: Современная летопись. С. 249. (Авторство установила Н. И. Наволоцкая: Библиографическое описание журнала «Телескоп» (1831–1836). М., 1985. С. 34).

раньше: к 1802 г. было уже переведено 29 его романов и повестей. Издательская и переводческая «активность» делали присутствие Коцебу в русском культурном пространстве рубежа XVIII—XIX вв. весьма ощутимым, что послужило основанием для известного суждения Н. М. Карамзина, который писал в 1802 г.: «Теперь в страшной моде Коцебу – и как некогда Парижские книгопродавцы требовали *Персидских писем* от всякого сочинителя, так наши книгопродавцы требуют от переводчиков и самых авторов Коцебу, одного Коцебу!!! Роман, сказка, хорошее или дурное – все одно, естли на титуле имя славного Коцебу!»¹¹⁸. Пройдет всего лишь несколько лет, и уже войдет в оборот знаменитое понятие «коцебятина» из «Послания С. Н. Долгорукову» (1807/1811) Д. П. Горчакова, относящееся, впрочем, к драматургии Коцебу. Чуть позже с легкой руки В. Л. Пушкина книги Коцебу окажутся уже в русском «борделе» («Опасный сосед», 1811), а затем, как говорилось в анонимной сатире «Разговор книгопродавца, переводчика и помещика» (1827), разойдись по «деревням уездным», обретут «в степях чтецов»¹¹⁹. Но все эти годы русские переводчики (среди которых были, в частности, Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, М. Т. Каченовский, В. П. Поляков, П. С. Кайсаров), не взирая ни на что, будут усердно переводить тексты этого «корифея» тогдашней немецкой словесности, и к началу 1830-х гг. на русском языке выйдет около сотни его романов и повестей.

Коцебу не был представителем какого-то конкретного жанра. Он был Автором и таковым оставался им на протяжении нескольких десятков лет и в Германии, и в России. Он черпал свои сюжеты из узнаваемых европейских источников, поражал широтой «литературной географии» (от арабского Востока, Африки, Перу, Америки до Англии, Италии, Франции, Норвегии, Германии и России) и многообразием повествовательных форм. Среди них были и «экспериментальные», как например, романы «История моего отца, или Как случилось, что я родился» (1798; «Die Geschichte meines Vaters oder Wie es zueging, dass ich geboren bin», 1788) и «Опасный спор» (1799; 1800; «Die gefährliche Wette», 1790), построенные по принципу «шарады» – рассказа на заданные слова¹²⁰. Коцебу не стеснялся переходить границы приличия и не боялся обвинений в легковесности, отстаивая право читателя на «безделки»¹²¹. Умение выстроить повествовательную интригу с ясно

¹¹⁸ Карамзин Н. М. О книжной торговле и любви ко чтению в России // Вестник Европы. 1802. Ч. 3. № 9, май. С. 60—61.

¹¹⁹ Московский вестник. 1827. Ч. 5. С. 483.

¹²⁰ Под впечатлением от «Истории моего отца» А. Н. Радищев воспользовался тем же приемом при создании «Памятника к дактилохореическому витязю» (1800/1801), написанного на заданные слова.

¹²¹ Именно так назвал сочинения Коцебу переводчик Стерна Я. А. Галинковский (1777—1815), говоря о романе «История моего отца» (Корифей, или Ключ литературы. 1803. Ч. 1. Кн. 2. Мельпомена или Трагедия. С. 171).

очерченными характерами и разнообразием житейских ситуаций искупало в глазах критиков (и, вероятно, читателей) очевидные недостатки его многочисленных произведений. «Излишняя плодовитость и поспешность препятствовали рачительному обработанию его сочинений, – писал «Сын отечества» в пространном сочувственном очерке о жизни и творчестве Коцебу, опубликованном в связи с кончиной писателя, – но и самые жестокие враги отдают им ту справедливость, что в них видно познание сердца человеческого, что они писаны легким и приятным слогом и с остротою, часто доходившею до колкости»¹²². Эта характеристика лишь с большими оговорками была приложима к «русскому» Коцебу-прозаику: «легкость» и «приятность» слога присутствовала отнюдь не во всех русских переводах, «острота» и «колкость» в большинстве случаев сглаживались, прямые «остроты» по поводу конкретных лиц или событий зачастую опускались, и даже «знатоком сердца» Коцебу было трудно по этим переводам. И тем не менее он продолжал оставаться в русском литературном пространстве до середины XIX в.

В конце 1810-х – начале 1820-х гг. на страницах отечественных журналов начинают печататься повести трех авторов, пик интереса к которым, однако, приходится уже на 1830-е гг. Речь идет о Генрихе Клаурене (наст. имя Карл Хойн) (Heinrich Clauren (Carl Heun), 1771—1854), Э. Т. А. Гофмане (Ernst Theodor Amadeus Hofmann, 1776—1822) и швейцарском писателе Генрихе Цшокке (Heintich Zschokke, 1771—1848). Разные по своему дарованию, по читательской аудитории, по своей литературной репутации, они вошли в русскую литературу почти одновременно и попали в круг чтения той публики, которая была ориентирована в первую очередь на журналы, знакомившие среди прочего и с новинками текущей европейской словесности¹²³. Уже в середине 1820-х гг. при обсуждении немецкой повести в ее сопоставлении с русской повестью нередко выстраивался единый ряд: Цшокке, Гофман, Клаурен, которые стали считаться, по словам «Московского телеграфа», «лучшими романтиками немецкими»¹²⁴, вытеснившими еще недавно таких популярных Лафонтена и Шписа. Эти три имени, через запятую, символизировали собой, как считалось, новый период немецкой словесности, ознаменованный «истощением» великого «германского гения» и господством «поставщиков повестей», как писал «Московский телеграф» в 1829 г., характеризуя главных сочинителей немецкой повести: «Цшокке, Клаурен, Гофман: вот три родоначальника новейших Германских повестей. При всем уважении нашем к сим литераторам, признаемся, что они должны далеко стать за

¹²² Сын отечества. 1819. Ч. 53. № 14. С. 86—87.

¹²³ См. библиографию П. Дрекса: *Dreux P. Die Rezeption deutscher Belletristik in Russland, 1750–1850. S. 250—253, 321—323.*

¹²⁴ Московский телеграф. 1825. № 3, февраль. С. 250.

первоклассными беллетристами Германии. Шутка, милая простота, умение рассказать пустяки, картинность иных мест – вот достоинства Цшокке; умение все вдруг запутать и вдруг поразить нечаянностью: вот достоинства Клаурена. Гофман, странный, неровный, мрачный, имеет также неоспоримые достоинства. Они пленили немецкую публику; мелкий народ литературы пустился за ними писать»¹²⁵. «Пустились» за ними писать и русские авторы (А. Погорельский, Н. Полевой, В. Олин и др.), сочинения которых отечественные критики нередко «меряли» то Клауреном, то Цшокке, то Гофманом, то сразу всеми тремя вместе взятыми.

В целом же вся эта немецкая прозаическая «продукция», хотя и давала возможность русскому читателю первой трети XIX в. приобщиться к общеевропейскому кругу чтения и утвердиться в своем праве на развлечение, оставила по себе не слишком добрую память: от нее сохранилось ощущение тотальной «сентиментальности», которая не в последнюю очередь определялось языковым обликом этих текстов, создававшимся усилиями переводчиков, множивших и «консервировавших» чувствительный язык уже давно устаревшей сентиментальной прозы вопреки языковой данности оригиналов и явно пасовавших перед свойственной им «телесностью», равно как и перед иронией. О том, какое впечатление осталось от немецкой прозы первой четверти XIX в., можно судить хотя бы по характеристике, данной ей А. О. Смирновой-Россет, которая назвала немецкие романы этой поры «бурдой на розовой воде» и «немецкой кухней»¹²⁶.

И все же они, вместе с французскими и английскими романами, заполняли субъективно ощущавшуюся участниками литературного процесса пустоту на пространствах прозы отечественной, которая, как считалось, не породила в этот период ни одного значимого самостоятельного романа. Так, во всяком случае, это ощущал «зрелый» Жуковский, видевший движение современного ему романа в линейной перспективе, как переход от романа немецкого и английского типа к «Евгению Онегину» и «Герою нашего времени», которые, впрочем, его тоже перестали устраивать. В 1845 г. он писал В. А. Сологубу: «Только избавьте нас от противных Героев нашего времени, от Онегиных и прочих многих, им подобных, которые теперь в литературе заменили Шписовых рыцарей, Лафонтеновых сентиментальных пасторов, студентов и гезелей, привидений покойницы Радклиф, которые все суть не иное что, как бесы, вылетевшие из грязной лужи нашего

¹²⁵ Московский телеграф. 1829. Ч. 25. № 3, февраль. С. 396.

¹²⁶ Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 237 (Сер. «Литературные памятники»).

времени, начавшиеся в утробе Вертера и расплодившиеся от Дон Жуана и прочих героев Байрона»¹²⁷.

¹²⁷ Русский архив. 1896. № 3. С. 462.

АВТОРСКОЕ ПРАВО В 1800—1830-х гг.

Институт авторского права в начале XIX века в России фактически отсутствовал, поскольку еще не сформировались такие ключевые для него понятия как «автор» и «произведение». Однако стремительная коммерциализация книжного рынка в сфере массовой, «низовой» литературы неизбежно вела к тому, что издатели и авторы (в самом широком понимании этих слов) стали вступать в товарно-денежные отношения, фиксируя их на бумаге. Таким образом, появились первые издательские договоры, которые еще не были кодифицированы юридически, однако оформлялись как торговые сделки, записываясь в маклерских книгах.¹ До законодательной фиксации понятия литературной собственности тексты приравнивались к обыкновенному имуществу и с ними вынуждены были поступать согласно соответствующим законам. «Нет сомнения, что литературные произведения составляют имущество столько же неприкосновенное, как и всякое иное движимое и недвижимое имение, – писал в 1826 году «Московский телеграф». – Охранение оно, по крайней мере до истечения определенного времени, есть дело правительства, и хищник литературный, не менее как и всякий другой грабитель, преследуем будет полициею. Утверждают, что у нас по сему предмету нет еще точных постановлений. Если так, то похищение литературное подлежит суду на основании общих узаконений».² Как заметил А. И. Рейтблат, в юридических документах того времени, связанных с книгоизданием, «писатели и издатели всегда связывали авторское право с рукописью. Право собственности рассматривалось прежде всего как

¹ См.: *Рейтблат А. И.* Как Пушкин вышел в гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М., 2001. С. 115. Там же (с. 110) опубликован пример подобного договора: «Я, нижеподписавшийся, дал сие условие московскому купцу Степану Федотову сыну Романчикову в том, что продал Я ему оригинал собственного Моего перевода [книги К. Г. Крамера], под названием "Жизнь, мысли и странные приключения Павла Изопа, отставного придворного шута", во всегдашнее его, Романчикова, владение, с тем однакож, что ежели по распродаже первого издания он вознамерится [выпустить] оную книгу вторым или более изданием, то должен отдавать мне ее для поправок, и следующие за труды деньги по обоюдному согласию платить. Я же не имею права никому предоставлять моей книги, кроме его, Романчикова, для напечатания, дабы чрез то не причинить ему какого-либо убытка. При заключении сего условия деньги получены мною за оную книгу все сполна. К сему условию магистр 9го класса Петр Озеров руку приложил. 1813-го года 9 июня 23-го дня».

² *Кеннен П. И.* О выгодах и правах российских писателей // *Московский телеграф*. 1826. Ч. 8. № 8. С. 210–211; подпись: П. К.

право на материальный носитель текста – рукопись, а не на текст как таковой».³ Самый известный пример такого подхода – реплики пушкинского Книгопродавца в «Разговоре Книгопродавца с Поэтом» (1824):

Стишки любимца муз и граций
Мы вмиг рублями заменим
И в пук наличных ассигнаций
Листочки ваши обратим...
<.....>
Не продается вдохновенье,
Но можно *рукопись* продать.

Поэт прозаически отвечает: «Вы совершенно правы. Вот вам моя *рукопись*. Условимся»⁴. Обратим внимание, что речь здесь идет о новой поэме, но перейдя к деловым переговорам и Книгопродавец, и Поэт употребляют именно слово «рукопись».

Первые юридические отношения в литературно-издательской среде начали возникать уже в конце XVIII века, а уже в первых десятилетиях XIX века среди «лубочных» писателей и книгопродавцев стали появляться зачаточные понятия об авторском праве и деловые документы (пусть юридически ничтожные с точки зрения тогдашнего законодательства), которые это право закрепляли.

Особым статусом обладали сочинения ученого характера. В уставы ряда научных обществ и учебных заведений были включены пункты, указывающие, что сочинения членов обществ или профессоров учебных заведений публикуются за счет этих учреждений, причем авторам выплачивается единовременная денежная сумма. Так, к примеру, согласно уставу Медико-хирургической академии (1808), академик, профессор или адъюнкт, «представивший какое-либо трудов своих классическое сочинение, одобренное к напечатанию, получает единовременное награждение годового жалования».⁵ Сходный пункт был и в уставе духовных академий (1814): получившая одобрение книга «печатается на казенный счет в потребном количестве, а сочинителю назначается почетное или денежное вознаграждение, смотря по роду и достоинству сочинения».⁶ Подобная практика касалась не только книг, но и статей, публиковавшихся в периодических изданиях научных обществ. Так, к примеру, основанное в 1804 г. в

³ Рейтблат А. И. Как Пушкин вышел в гении. С. 115.

⁴ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 2019. Т. 3, кн. 1. С. 9, 13; курсив мой – А. Б.

⁵ Калмыков П. Д. О литературной собственности вообще и в особенности об истории прав сочинителей в России. СПб., 1851. С. 66.

⁶ Там же.

Москве Физико-медицинское общество издавало два неперiodических сборника (на латинском и русском языках), причем указывалось, что их авторы «вознаграждались деньгами».⁷

Совсем иначе происходило становление понятий об авторском праве среди литераторов, либо принадлежавших к аристократическому сословию, либо ориентировавшихся на читателя из высшего общества. В 1836 г. Пушкин писал, что еще лет за двадцать до этого на литературу «смотрели только как на изящное аристократическое занятие. <...> Никто не думал извлекать из своих произведений других выгод, кроме успехов в обществе...»⁸ Воспринимая свою деятельность как факт служения государству, обществу или высокому покровителю, писатели зачастую рассматривали свое творчество, по словам Пушкина, как «приятное, благородное упражнение, но еще отнюдь не отрасль промышленности...».⁹ Если они ждали вознаграждения за свои труды, то не в виде гонорара от книготорговца или издателя, а как награду от императора или другого патрона, за счет которого нередко и издавались посвященные им книги. Имеются сведения, что только за 1802 год по личному повелению Александра I на различного рода субсидии для издателей и авторов было выдано около 160000 рублей ассигнациями.¹⁰ Наградами также считались перстень или табакерка, то есть предмет, который не только свидетельствовал о благоволении вышестоящего лица, но и имел денежную стоимость. О таких награждениях нередко сообщалось в газетах. Так, в январе 1824 года журнал «Литературные листки» сообщал, что «издатели “Полярной Звезды” имели счастье поднести по экземпляру сей книжки их величествам государыням императрицам и удостоились высочайшего внимания. К. Ф. Рылеев получил два бриллиантовые перстня, а А. А. Бестужев золотую прекрасной работы табакерку и бриллиантовый перстень».¹¹ Идея гонорара, особенно гонорара за стихи, многими литераторами-аристократами воспринималась как оскорбительная, поскольку, по их мнению, писательство – это прежде всего способ добыть себе славу и признательность современников (и потомков). Еще в 1810 году С. А. Ширинский-Шихматов гордо восклицал: «За плату не пишу стихов, / Восторг наемника бездушен».¹²

⁷ Клейменова Р. Н. Книжная Москва первой половины XIX века. М., 1991. С. 133.

⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1949. Т. 16. С. 401, 199—200; оригинал по-фр. (письмо к А. Г. Баранту от 16 декабря 1836 г.).

⁹ Там же. Т. 15. С. 205 (письмо к А. Х. Бенкендорфу около 27 мая 1832 г.).

¹⁰ См.: Куфаев М. Н. История русской книги в XIX веке. Л., 1927. С. 84.

¹¹ Литературные листки. 1824. Ч. 1. № 2. С. 64.

¹² Шихматов С. А. Возвращение в отечество любезного моего брата князя Павла Александровича... // Поэты 1790–1810-х годов. Л., 1971. С. 417 (Библиотека поэта. Большая сер.)

Кроме того, подавляющее большинство книг «высокой» литературы не только не приносили прибыль, а были убыточны, поэтому ни о каком гонораре не могло идти речи.

Неудивительно, что при таких обстоятельствах юридическая кодификация авторского права не казалась обязательной. Первым законом, регулирующим авторское право в России, стало распоряжение Министерства народного просвещения 1816 г. о том, что издатель, который приносит рукопись в цензуру, должен приложить к ней документ, предоставляющий право на ее издание. Однако это касалось только отдельных книг, в сфере журналистики авторское право еще почти десять лет оставалось без регулирования. Как журналисты, так и издатели различных хрестоматий или сборников «образцовых сочинений» считали не зазорным перепечатывать сочинения, не только не договариваясь с авторами, но даже не оповещая их об этом. Лишь со временем подобная практика перестала считаться нормой и стала восприниматься как бесстыдный разбой. В первых же десятилетиях 19 века недовольные таким положением дел авторы и издатели вынуждены были просить государственные структуры защитить их права, подавая каждый раз специальное прошение. Так, в конце 1814 года появились объявления о новом издании «Дух журналов», которой должен был заполняться перепечатками из отечественных и зарубежных изданий. Узнав об этом, редактор журнала «Вестник Европы» М. Т. Каченовский 28 декабря обратился к попечителю Санкт-Петербургского учебного округа С. С. Уварову со следующим прошением: «По газетным часто повторяемым объявлениям видно, что с начала 1815 года выходить будет новое ежемесячное издание “Дух Журналов”. Неизвестные господа редакторы удостоверяют публику, что они постараются наполнять книжки своего издания статьями, которые находить будут в других журналах. Я не знаю, простираются ли намерения господ редакторов и на “Вестник Европы”, который с 1815 года Типографией Московского университета будет издаваться под моим распоряжением; однако ж не почитаю излишним предварительно Вашему превосходительству донести, что я отнюдь не желаю, чтобы *целые* статьи из “Вестника Европы” были перепечатываемы в “Духе журналов”. Хотя на подобные случаи нет особенных постановлений; но существуют узаконения общие, коими запрещается присвоивать себе чужую собственность. Я всепокорнейше прошу Ваше превосходительство сие мое нежелание довести до сведения С.-Петербургского Цензурного комитета при начальническом Вашем предписании о недозволении господам редакторам “Духа журналов” располагать статьями “Вестника Европы”»¹³. Аналогичное прошение, очевидно, послал Уварову и редактор «Сына

¹³ ОПИ ГИМ, ф. 83, ед. хр. 196, л. 34–34 об.

отечества» Н. И. Греч. Спустя несколько дней Уваров доложил об этом министру народного просвещения А. К. Разумовскому, на что 12 января 1815 года получил следующий ответ: «...находя справедливым, чтобы в периодическом сочинении: “Дух журналов” не были помещаемы статьи из “Вестника Европы” и “Сына отечества”, согласно требованию издателей сих журналов, предоставляю вам объявить о том издателям помянутого сочинения чрез Цензурный комитет, который впрочем, по Уставу о цензуре, не обязан наблюдать, чтобы не перепечатывались статьи, коих сочинители, в случае нарушения сего правила, должны искать удовлетворения в гражданских судах».¹⁴

Известны многочисленные случаи контрафактных перепечаток произведений Пушкина и других популярных литераторов той эпохи в дешевых песенниках и альманахах. Особенно славился перепечатками журналист А. Ф. Воейков, от фамилии которого даже был образован глагол «воейковствовать». «Лишь только занялась заря / И солнце стало над горой, / Воейков едет на разбой...»¹⁵ – писали о нем современники. Именно одна из публикаций Воейкова вызвала первый скандал по поводу практик подобного рода. В 1824 году он в своей статье «Путешествие из Сарепты на развалины Шери-Сарая, бывшей столицы ханов Золотой орды»¹⁶ напечатал 35 строк из пушкинской поэмы «Братья разбойники», которая еще не была опубликована и распространялась в рукописях. Однако поскольку к тому моменту поэма была продана Пушкиным А. А. Бестужеву и К. Ф. Рылееву для их альманаха «Полярная звезда», этот факт вызвал их гневную отповедь. Не имея юридической возможности апеллировать к законам, они указывали не на благородство поступка Воейкова, намекая даже на возможность дуэли: «Мы не раз терпели ваши выкрадки из “П<олярной> З<везды>”, но теперешний ваш поступок, следствие какой-то бездельнической интриги и к коему никогда ни словом, ни делом мы не давали повода, превосходит всякую меру чести и терпения. Вследствие этого просим покорно вычеркнуть нас обоих из списка знакомцев ваших. Конечно, потеря знакомства с благородными людьми для вас не важна, не нова; зато разнокомленье с вами будет для нас очень выгодно. Не бесполезным считаем примолвить, что в случае повторения с вашей стороны подобного поступка мы не удовольствуемся, как теперь, одним презрением».¹⁷

«Полярная звезда» начала издаваться с 1822 года, и именно ее издатели ввели обыкновение платить гонорар за принятые в альманах материалы по твердой ставке. В

¹⁴ Там же, л. 35.

¹⁵ Эпиграмма и сатира: Из истории литературной борьбы XIX-го века. М.; Л., 1931. Т. 1. С. 403.

¹⁶ Новости литературы. 1824. Кн. 9. С. 12–13.

¹⁷ Рылеев К. Ф. Соч. Л., 1987. С. 309.

этом был как коммерческий расчет, так и изрядная доля альтруизма. По воспоминаниям Е. Оболенского, цель Бестужева и Рылеева «состояла в том, чтобы дать вознаграждение труду литературному, более существенное, нежели то, которое получали до того времени люди, посвятившие себя занятиям умственным. Часто их единственная награда состояла в том, что они видели свое имя, напечатанное в издаваемом журнале; сами же они, приобретая славу и известность, терпели голод и холод и существовали или от получаемого жалования, или от собственных доходов с имений и капиталов. <...> Все литераторы того времени согласились получить вознаграждение за статьи, отданные в альманахах. В том числе находился и Александр Сергеевич Пушкин».¹⁸ Если до «Полярной звезды» альманахи составлялись из добровольных подношений близких к издателю лиц или сочинений тех авторов, у которых напористый издатель смог их выпросить, то теперь к практике покупки сочинений стали прибегать и другие альманахи.

1824-й год стал переломным по отношению к литературной собственности. Как писал «Дамский журнал», «нынешний год был <...> началом нового переворота дел по книжной торговле».¹⁹ Видеть это можно на примере издательских доходов Пушкина.

Первые две его книги издал Н. И. Гнедич (в 1820 г. «Руслана и Людмилу», в 1822-м – «Кавказского пленника»), по обычаю того времени большую часть выручки от этих изданий оставив себе. У нас нет сведений, во сколько обошлось печатание «Руслана и Людмилы», сколько выручил от продажи издатель и сколько он отдал автору, но относительно «Кавказского пленника» исследователи сделали следующий расчет: если книга была издана обычным для того времени тиражом 1200 экземпляров, то ее печатание обошлось Гнедичу примерно в 500 рублей, напечатанные на различной по качеству бумаге экземпляры продавались по цене от 5 до 7 рублей. Если даже учесть скидку, с какой издатель уступал книгопродавцу тираж (10–15%), то Гнедич заработал примерно 5500 рублей²⁰. Пушкину же он отправил 500 рублей и один экземпляр книги. Но уже в 1824 году право на следующее издание «Кавказского пленника» Пушкин продал за 2000 рублей, за «Бахчисарайский фонтан» получил 3000 рублей,²¹ а уже через два года его доход от книги «Стихотворений» составил 8000 рублей.²²

¹⁸ Цит. по: Полярная звезда, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. М.; Л., 1960. С. 811. («Лит. памятники»).

¹⁹ Пушкин в прижизненной критике. 1820–1827. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 2001. С. 192; курсив подлинника.

²⁰ См.: Гессен С. Я. Книгоиздатель Александр Пушкин. Л., 1930. С. 41.

²¹ См.: Там же. С. 53.

²² См.: Там же. С. 65.

Однако в том же 1824 году случилось событие, которое, очевидно, подтолкнуло правительство к принятию через несколько лет первого закона об авторском праве. Петербургский журналист и переводчик Е. Ольдекоп выпустил выполненный А. Вульффертом перевод «Кавказского пленника» на немецкий язык, приложив русский оригинал. Современники и сам Пушкин были уверены в том, что эта «плутня», призванная замаскировать очевидный контрафакт. Но Санкт-Петербургский цензурный комитет, куда отправил прошение С. Л. Пушкин, не нашел никаких причин для преследования Ольдекопа, поскольку «в высочайше утвержденном Уставе о цензуре нет постановления, которое обязывало бы Цензурный комитет входить в рассмотрение прав издателей и переводчиков книг...».²³ Неудачей закончилась и попытка самого Пушкина остановить продажу издания Ольдекопа в Москве.²⁴ И хотя спустя пару лет контрафакт полностью разошелся, и стало возможно выпустит новое издание поэмы, Пушкин никак не мог забыть про эту историю. Уже после возвращения из михайловской ссылки, 20 июля 1827 г. он подает А. Х. Бенкендорфу прошение, где излагает суть дела с Ольдекопом и просит «прибегнуть к высшему покровительству, дабы и впредь оградить себя от подобных покушений на свою собственность»²⁵, на что адресат спустя несколько дней отвечает, что никаких утвержденных законов издатель очевидного контрафакта не нарушал. Пушкин проиграл эту битву, но выиграл сражение: в новом Цензурном уставе, принятом спустя менее, чем через год, 22 апреля 1828 года, содержались несколько статей, являющихся прообразом авторского законодательства. Они были дополнены «Положением о правах сочинителей, переводчиков и издателей», принятым 8 января 1830 г. Основные положения этих документов были 16 декабря 1836 года конспективно пересказаны Пушкиным в письме к французскому послу А. Г. Баранту, который обратился к поэту с вопросом, какие существуют в России «правила, касающиеся литературной собственности».²⁶ В своем ответе Пушкин пересказывает параграфы 135—137 Устава о цензуре и параграфы 2, 5, 9 и 12 «Положения о правах сочинителей...»:

Всякий автор или переводчик книги имеет право ее издать и продать как собственность приобретенную (не наследственную).

Его законные наследники имеют право издавать и продавать его произведения (в случае, если право собственности не было отчуждено) в течение 25 лет.

²³ Цит. по: *Оксман Ю. Г.* Нарушение авторских прав ссыльного Пушкина в 1824 г. (по неизданным материалам) // Пушкин: Статьи и материалы. Одесса, 1925. Вып. 1. С. 8.

²⁴ См. об этом: *Гессен С. Я.* Книгоиздатель Александр Пушкин. С. 44–48.

²⁵ *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 13. С. 333.

²⁶ Там же. Т. 16. С. 196, 399; оригинал по-фр.

По истечении 25 лет, считая со дня его смерти, его произведения становятся общественным достоянием. *Закон от 22 апреля 1828 г.*

Приложение от 28 апреля того же года объясняет и дополняет эти правила. Вот его главные статьи:

Литературное произведение, напечатанное или находящееся в рукописи, не может быть продано ни при жизни автора, ни после его смерти, для удовлетворения его кредиторов, если только он сам того не потребует.

Автор имеет право, невзирая на все прежние обязательства, выпустить новое издание своего произведения, если две трети в нем заменены или же совершенно переделаны.

Будет считаться виновным в контрафакции: 1) тот, кто, перепечатывая книгу, не соблюдает [правил] формальностей, требуемых законом; 2) тот, кто продаст рукопись или право ее напечатания двум или нескольким лицам одновременно, не имея на то согласия; 3) *тот, кто издаст перевод произведения, напечатанного в России (или же с одобрения русской цензуры), присоединив к нему текст подлинника;* 4) *кто перепечатывает за границей произведение, изданное в России или же с одобрения русской цензуры, и будет продавать экземпляры в России.*

Эти правила далеко не разрешают всех вопросов, которые могут возникнуть в будущем.

В законе нет никаких условий относительно посмертных произведений. Законные наследники должны были бы обладать полным правом собственности на них, со всеми преимуществами самого автора. Автор произведения, изданного под псевдонимом или же приписываемого известному писателю, теряет ли свое право собственности, и какому правилу следовать в таком случае?

Закон ничего не говорит об этом.

Перепечатывание иностранных книг не запрещается и не может быть запрещено. Русские книгопродавцы всегда сумеют получать большие барыши, перепечатывая иностранные книги, сбыт которых всегда будет им обеспечен даже без вывоза, тогда как иностранец не сможет перепечатывать русские произведения из-за отсутствия читателей.

Срок давности по делам о перепечатывании определен в два года.

Вопрос о литературной собственности очень упрощен в России, где никто не может представить свою рукопись в цензуру, не назвав автора и не поставив его тем самым под непосредственную охрану со стороны правительства.²⁷

²⁷ Там же. С. 199–201, 401–402; оригинал по-фр.

Эти положения просуществовали в России до нового закона об авторском праве, принятого в 1857 году, когда они подверглись существенным корректировкам.

1830-е годы стали временем интенсивного развития русского книжного рынка, который окончательно коммерциализировался. Появились новые читатели, которые быстро раскупали тиражи любимых книг, появились книготорговцы и издатели, которые имели возможность платить авторам большие гонорары, были основаны новые журналы, где сотрудникам предлагалась полистная оплата. При этом распределение гонораров не было равномерным. Пушкин был и оставался одним из самых высокооплачиваемых русских писателей. Упомянутые выше Бестужев и Рылеев платили ему по пять рублей за строчку и готовы были платить по червонцу «только с условием: пропечатать нашу сделку в “Полярной звезде” для того, чтобы знали все, с какою готовностью мы платим золотом за золотые стихи».²⁸ Впрочем, по червонцу за строчку Пушкину спустя десять лет будет платить другой журнал – «Библиотека для чтения», а ее издатель А. Ф. Смирдин будет предлагать поэту 15 000 рублей, чтоб тот не издавал свой «Современник» и снова стал сотрудником его журнала.

²⁸ Цит. по: Полярная звезда... С. 811–812.

КНИГОИЗДАНИЕ И КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ 1800—1830-х гг.

В русском книгоиздании начала XIX века существовало два течения, которые почти не пересекались. У них были разные авторы, разные издатели, разные типографии; разные продавцы доносили их до той публики, которой они предназначались. Этим объясняется столь несхожие отзывы о состоянии книжного дела и книжной торговли, которые можно встретить у литераторов и журналистов того времени.

Одни издатели выпускали литературу для образованного читателя, жившего в основном в столицах, другие работали для невзыскательной публики, печатая книги, которые продавались на годичных ярмарках и расходились по Руси в котомках бродячих книготорговцев-офеней. Первые базировались в основном в Петербурге, вторые по большей части в Москве, что впоследствии позволило критикам делить литературу на «петербургскую» и «московскую». При этом надо помнить, что в то время нередко в одном лице соединялись владелец типографии, издатель и книгопродавец, в лавке которого можно было не только ознакомиться с книжными новинками, но и за определенную плату взять книгу читать домой.

К началу XIX века не было единого закона, который бы регулировал порядок основания типографий, учреждения новых периодических изданий, а также юридические отношения между издателями и авторами. Не существовало и единого цензурного устава. Конец XVIII века не был благосклонен к издательскому делу: хотя 15 января 1783 года Екатерина II и выпустила указ «О позволении во всех городах и столицах заводить типографии и печатать книги на российском и иностранных языках с освидетельствованием оных от Управы благочиния», согласно которому, каждый может «по своей собственной воле заводить оные типографии, не требуя ни от кого дозволения»,¹ но уже спустя немногим более десяти лет указом «Об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг; об учреждении на сей конец ценсур в городах Санкт-Петербурге, Москве, Риге и при Радзивилловской таможне, и об упразднении частных типографий» (16 сентября 1796 г.), они были закрыты «в прекращение разных неудобств, которые встречаются от свободного и неограниченного печатания книг <...> тем более, что для печатания полезных и нужных книг имеется достаточное количество

¹ Полное собрание законов Российской Империи. СПб, 1830. Т. 21. С. 792. № 15634.

таковых типографий, при разных училища устроенных».² Разгром издательской и книготорговой фирмы Н. И. Новикова также не способствовал расцвету книжного бизнеса.

С началом Александровского царствования законы были значительно смягчены. 31 марта 1801 г. и 9 февраля 1802 г. были изданы указы, которые регламентировали порядок учреждения частных типографий, фактически заданных во время царствования Павла I. В последнем указе говорилось: «Типографий не различать от прочих фабрик и рукоделий, а потому и дозволяется каждому по воле заводить оные во всех городах Российской Империи, давая только знать о таковом заведении Управе Благочиния того города, где кто типографию иметь хочет. В оных печатать книги на всех языках, наблюдая только, чтоб не было ничего в них противного законам Божиим и гражданским, или к явным соблазнам клонящегося».³ Это не могло не сказаться на росте количества типографий. Если в 1802 году в Петербурге было 4 вольных типографии,⁴ то спустя всего пять лет – уже в два раза больше.⁵ Примерно такие же цифры мы видим и в Москве. Разумеется, не все они были открыты заново. После указа 1796 года владельцы «вольных» типографий стали передавать их государственным учреждениям, а впоследствии возвращать себе обратно. Так, основанная в 1791 г. И. А. Крыловым и его компаньонами И. А. Дмитревским, А. И. Клушиным и П. А. Плавильщиковым типография была в 1794 г. передана брату последнего В. А. Плавильщикову; после выхода указа о запрете «вольных» типографий она работала сначала как типография при Санкт-Петербургском губернском правлении (1797–1804), потом как Театральная типография (1804–1807), и лишь с 1807 г. снова полностью перешла в руки Плавильщикова,⁶ а после его смерти в 1817 г. – к А. Ф. Смирдину. В Москве аналогичный путь прошел С. И. Селивановский.⁷

В первое десятилетие XIX века были открыты и другие частные типографии, игравшие заметную роль в книжном деле пушкинского времени: в 1803 г. – И. П. Глазунова, перешедшая потом к его сыну И. И. Глазунову, в 1806 г. – Александра Плюшара, дело которого продолжил его сын Адольф. Всего же к 1828 году в столице

² Там же. Т. 23. С. 933. № 17508.

³ Там же. Т. 27. С. 39. № 20139.

⁴ См.: *Студенкин Г. И. (?) Печатное дело в Петербурге в 1802–1811 гг. // Русская старина. 1884. № 2. С. 458; подпись: Г. С.*

⁵ См.: *Куфаев М. Н. История русской книги в XIX веке. Л., 1927. С. 50.*

⁶ См.: *Баренбаум И. Е., Костылева Н. А. Книжный Петербург – Ленинград. Л., 1986. С. 82–85.*

⁷ См.: *Кононович С. С. Типографщик Селивановский // Книга: Исследования и материалы. М., 1972. Сб. 23. С. 100–123.*

работало уже 24 типографии.⁸ Однако, большинство из них не были продуктивны. Сравним статистические данные о деятельности крупнейших частных типографий, где в основном печаталась беллетристика, за вторую половину 1810-х гг., где в основном печаталась беллетристика:

	Решетникова (М) ⁹	Плавильщикова (СПб.) ¹⁰	Глазунова (СПб.) ¹¹
1813	14	11	15
1814	17	12	4
1815	22	17	2
1816	9	19	10
1817	14	26	14

Согласно сведениям П. И. Кеппена, в 1825 г. лишь 6 петербургских типографий и 4 московских напечатали по 10 и более книг на русском языке. При этом среди государственных типографий лидерами были типографии Московского университета (52 книги), Департамента Народного просвещения (СПб., 31 книга), Медицинского департамента Министерства внутренних дел (СПб., 26 книг) и Правительствующего сената (СПб., 10 книг); среди частных – типографии С. Селивановского (М., 28 книг), А. Семена (М., 17 книг), А. Смирдина (СПб., 16 книг), Н. Греча (СПб., 13 книг) и А. Похорского (М., 10 книг).¹²

Суровый закон 1796 года почти не повлиял ни на издание лубочных книг, ни на их распространение. В 1802 г. Н. М. Карамзин в очерке «О книжной торговле и любви ко чтению в России» свидетельствовал: «За 25 лет перед сим были в Москве две книжные лавки, которые не продавали в год ни на 10 тысяч рублей. Теперь их 20, и все вместе выручают они ежегодно около 200 000 рублей».¹³ Яркое описание этих лавок оставил К. Н. Батюшков, прогуливавшийся по Москве в 1811 г.: «Вот и целый ряд русских книжных лавок; иные весьма бедны. Кто не бывал в Москве, тот не знает, что можно торговать

⁸ См.: Гриц Т., Тренин В., Никитин М. Словесность и коммерция: (Книжная лавка А. Ф. Смирдина). М., 1929. С. 50. О колебании в оценке количества типографий см.: Лисовский Н. М. Краткий очерк деятельности типографии Глазуновых в связи с развитием их книгоиздательства. 1803–1903. СПб, 1903. С. 116.

⁹ См.: Гриц Т., Тренин В., Никитин М. Словесность и коммерция. С. 51.

¹⁰ См.: Там же.

¹¹ См.: Лисовский Н. М. Краткий очерк деятельности типографии Глазуновых. С. 137–139.

¹² См.: Библиографические листы. 1825. № 43. Дополнительный. 26 мая 1826 г. С. 639–640.

¹³ Карамзин Н. М. Соч.: В 2 т. М., 1964. Т. 2. С. 176.

книгами точно так, как рыбой, мехами, овощами и проч., без всяких сведений в словесности; тот не знает, что здесь есть фабрика переводов, фабрика журналов и фабрика романов и что книжные торгаши покупают ученый товар, то есть переводы и сочинения, на вес, приговаривая бедным авторам: не качество, а количество! не слог, а число листов! Я боюсь заглянуть в лавку, ибо, к стыду нашему, думаю, что ни у одного народа нет и никогда не бывало столь безобразной словесности. К счастью, многие книги здесь в Москве рождаются и здесь умирают или, по крайней мере, на ближайших ярмонках».¹⁴ Сходным образом описывались современниками и петербургские книжники:

...Завален книгами гостиный двор торжок.
Выходишь, например, на рынок за свечами,
Тут просвещение в корзинах за плечами,
Шаг дале — лавок ряд, в них полки в семь аршин,
Там выставлены все по росту книги в чин:
В кафтанах разных мод, или в тюках огромных
Иные век лежат в углах себе укромных.
Иду — глушит меня книгопродавцев шум;
Все в такт кричат: сюда! здесь подешевле — ум
Всяк Митридат из них, на память все читают.
Книг роспись предо мной — уступку обещают,
Лишь только б как-нибудь меня к себе привлечь.¹⁵

В этих стихах ярко отразился обычай заманивать покупателей в книжные лавки. Один из современников вспоминал: «До 40-х годов даже по книжной торговле существовало еще зазывание покупателей <...>. Обязанностью свободного мальчика или приказчика было – стоять на пороге и всякому порядочно одетому прохожему говорить: “Пожалуйста, здесь такого-то лавка”, а сосед его с тою же фразою: “здесь такого-то лавка”».¹⁶ На посетителей подобного рода лавок были ориентированы издатели массовой литературы, печатавшие в основном романы: по произведенным в 1810 г. подсчетам А. Шторха и А. Аделунга, с 1801 по 1806 годы в России было напечатано 1304 книги на русском языке, из них к словесности они отнесли 415 книг, 210 из которых – романы (35 оригинальных и 175 переводных).¹⁷ К «словесности», вероятно, были отнесены также пользовавшиеся активным спросом песенники, сонники, гадательные книги, сборники

¹⁴ Батюшков К. Н. Прогулка по Москве // Батюшков К. Н. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 291.

¹⁵ Вметнев. Книжная лавка // Улей. 1811. №7. Ч. 2. С. 214–215 (цит по: Гриц Т., Тренин В., Никитин М. Словесность и коммерция. С. 236–237).

¹⁶ Овсянников Н. Г. Воспоминания старого книгопродавца о петербургской книжной торговле за пятидесятилетие до 1870 года // Материалы для истории русской книжной торговли. СПб., 1879. С. 9.

¹⁷ См.: Муратов М. В. Книжное дело в России в XIX и XX вв. М.; Л., 1931. С. 35.

анекдотов и сказок. На втором месте стоят книги по богословию – их было издано 213. Охотно покупались и читались также книги по истории и биографии знаменитых людей: по разряду «история» в списке Шторха и Аделунга значится 94 книги. На прибыль мог рассчитывать также книгопродавец, издававший различного рода справочники – экономические, сельскохозяйственные, юридические и медицинские. Спустя двадцать лет репертуар изданий и их количество изменились: согласно данным П. И. Кеппена, в 1825 г. в России было издано 133 книги, отнесенные им к «словесности», 59 по истории, и 54 по богословию, вместе с тем в процентном и количественном отношении увеличилось число книг по медицине и математике.¹⁸ Если смотреть дальнейшую статистику, то по разделу «беллетристика» в 1835 г. выходит 185 изданий, а в 1840 г. – 301.¹⁹

Издатели массовой книжной продукции не были слишком образованны, зато очень хорошо понимали, какие книги будут пользоваться спросом. Ярким примером тому служит эпизод из романа Н. А. Некрасова и А. Я. Панаевой «Три страны света», действие которого происходит в 1840-е годы, где пожилой приказчик книжного магазина учит своего тщеславного, но неопытного хозяина, какие книги сейчас самые ходовые на рынке: «По правде сказать, не умеете вы выбирать, Василий Матвееч. Вот Окатов издал “Средство выращивать черные усы и густые черные брови” ..оно, конечно, вздор, и купивший ее не только не вырастит черных усов, так и рыжие потеряет, а посмотрите, как книга идет! Всякий думает: верно, вздор, однако ж попробую! черных усов всякому хочется! А вот опять книга; тоже о волосах: “Средство сохранить навсегда густые волосы и предохранить лицо от морщин до глубокой старости». Шутка! кому помолодеть не хочется?.. вот она и идет. А видели книгу “Нет более паралича”? А “Лечение всех болезней физических и нравственных портером и мадерою”? третье издание печатается!.. А “Тайна быть здоровым, богатым, долговечным и счастливым в отношении к прекрасному полу”? Небось, сочинитель не умрет теперь с голоду, издатель тоже жаловаться не будет...»²⁰

На таких издателях работала целая армия сочинителей, большая часть которых осталась безвестной, но некоторые (А. А. Орлов, Н. И. Зряхов, И. Г. Гурьянов) стали своего рода звездами «фризурной» словесности. В 1815 году П. И. Шаликов жаловался на некоего книгоиздателя, который отказывался печатать достойную с его точки зрения книгу, но если «является дурной переводчик дурного романа, или отважный собиратель формулярных списков и газетных реляций, сточенных на живую нитку и пространно

¹⁸ Там же. С. 37.

¹⁹ Там же. С. 67.

²⁰ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1984. Т. 9. Кн. 1. С. 162–163.

надписанных: *Жизнь* и проч. и проч. такого-то, *Поход* и проч. и проч. такого-то – и наш литературный оценщик выдает охотно награду за *труды* и *таланты!*.. Вот какими *творениями* наполнены наши книжные лавки!»²¹ Яркий портрет издателя «лубочных» книг оставил А. Е. Измайлов в басне «Гордюшка-книгопродавец» (1826(?), опубл. 1839), прототипом которой стал петербургский издатель и книготорговец М. И. Заикин:

Немножко грамоте учился,
Мог двоеточие от точки отличить,
Мог объявление о книге сочинить,
Любил для барышень с душой литературу,
В «Оракулах» держал всегда сам корректуру;
Ученых пьяниц он погодно нанимал
И компиляции в свет с ними издавал.²²

Книги подобного рода продавались не только в столицах, но расходились по всей стране. Снова обратимся к Карамзину: «Уже почти во всех губернских городах есть книжные лавки; на всякую ярманку, вместе с другими товарами, привозят и богатства нашей литературы. Так, например, сельские дворянки на Макарьевской ярманке запасаются не только чепцами, но и книгами. Прежде торгаши езжали по деревням с лентами и перстнями: ныне ездят они с ученым товаром, и хотя по большей части сами не умеют читать, но, желая прельстить охотников, рассказывают содержание романов и комедий, правда, по-своему и весьма забавно».²³ Сведения о том, что «почти во всех губернских городах есть книжные лавки» нельзя не признать преувеличением: по свидетельству современника, специальные книжные лавки были лишь нескольких крупных городах (Киев, Казань, Харьков, Тула, Саратов, Варшава), в других же «книги держались при торговле всякими товарами, от чая до дегтя, и притом исключительно для простого народа; особенно торговали азбуками, церковными книгами, оракулами, сказками и романами, бьющими на заманчивость названия в роде “Битвы русских с кабардинцами”».²⁴ К слову, упомянутый роман (точнее, повесть в двух частях «с военными маршами и хорами певчих») Н. И. Зряхова «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга» стал едва ли не самым

²¹ Шаликов П. И. Дополнение к истории нашей книжной торговли // Вестник Европы. 1815. Ч. 74. № 4. С. 306; подпись: К. Ш-в.

²² Измайлов А. Е. Избранные сочинения. М., 2009. С. 148.

²³ Карамзин Н. М. О книжной торговле... // Карамзин Н. М. Соч. Т. 2. С. 178.

²⁴ Овсянников Н. Г. Воспоминания старого книгопродавца. С. 9.

популярным русским романом XIX века, с момента выхода в 1840 году до Октябрьской революции выдержав 40 переизданий.²⁵

У образованного провинциального читателя был еще один способ приобрести заинтересовавшую его книгу. В каждом номере «Московских ведомостей», расходившихся по всей России,²⁶ публиковались рекламные объявления о вновь вышедших книгах, которые можно было выписать, обратившись к тому или иному книгопродавцу. Зная популярность газеты, они отнюдь не пренебрегали рекламой, публикуя зачастую развернутые и цветистые описания книг – не только новинок, но и залежалого товара. Так, к примеру, в одном из номеров «Московских ведомостей» за 1815 год (№ 60, 28 июля) помещены объявления не только о книгах, вышедших в текущем или прошлом году, но также и в 1805-м, 1807-м и даже 1799 и 1795-м годах.

Вплоть до 1830-х годов основными потребителями произведений отечественной словесности были средней руки чиновники, провинциальные помещики и образованные мещане. «У нас можно насчитать множество просвещенных и даже ученых людей, но в сравнении с ними мало хороших авторов, а еще менее хороших сочинений, – жаловался в 1823 г. Ф. В. Булгарин. – Сие происходит от того, что в России просвещенный класс думает, говорит и читает на иностранных языках; прелестный пол пренебрегает отечественным словом; русская книга или журнал не смеют показаться в позлащенных шкафах светского человека...»²⁷ Стоили книги достаточно дорого, выбор их был невелик, особенно в провинции, и поэтому они ценились очень высоко. «Я знаю дворян, которые имеют ежегодного дохода не более 500 рублей, но собирают, по их словам, *библиотеки*, радуются ими...»,²⁸ – свидетельствовал в 1802 году Карамзин, но такие люди скорее составляли исключение. В первой половине XIX века еще было мало настоящих собирателей русских книг, которые имели финансовые возможности регулярного пополнения своих коллекций. Здесь прежде всего можно назвать таких библиофилов как знакомые Пушкина С. А. Соболевский и С. Д. Полторацкий,²⁹ но и сам поэт, несмотря на

²⁵ См.: *Рейтблат А. И.* Как Пушкин вышел в гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М., 2001. С. 178.

²⁶ Именно из «Московских ведомостей» в провинции узнавали все новости вплоть до 1838 года, когда в большинстве губерний были организованы свои «Ведомости».

²⁷ *Булгарин Ф. В.* Краткое обозрение русской литературы 1822 года // Северный архив. 1823. Ч. 5. № 5. С. 377–378.

²⁸ *Карамзин Н. М.* О книжной торговле... С. 178.

²⁹ См. о них: *Кунин В. В.* Библиофилы пушкинской поры. М., 1979.

частые переезды и долгую бытовую неустроенность, смог собрать внушительную и представительную библиотеку русских книг.³⁰

Чтобы показать, насколько обременительными были цены на книги для бюджета чиновника низшего бюрократического звена, приведем пример. В 1817 году при выпуске из лицея Пушкин получил чин коллежского секретаря в Коллегии иностранных дел с жалованием 700 рублей в год (т. е. немногим менее 60 рублей в месяц), которое выплачивалось ему, как тогда было принято, три раза в год. Сравним это жалование с ценами на некоторые книги, изданные в то же время: две части «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова (1817) стоили 20 рублей, две части «Сочинений» И. И. Дмитриева (1818) – 15 рублей, три части «Стихотворений» В. А. Жуковского (1818) – 30 рублей; переводные романы и сборники стихов ценились значительно дешевле, но даже их далеко не каждый человек мог позволить себе покупать регулярно.

Характерное свидетельство об отношении к книгам в то время находим в воспоминаниях филолога Ф. И. Буслаева. Он пишет о пензенской гимназии, где учился в конце 1820-х – начале 1830-х годов: «Книги были тогда редкостью; они были наперечет; книжной лавки в Пензе не находилось, а когда достанешь какую-нибудь желаемую книгу, дорожишь ею как диковинкою и перед тем, как воротить ее назад, непременно для себя сделаешь из нее несколько выписок, а иногда и целую повесть и поэму в стихах, не говоря уже о мелких стихотворениях, из которых мы составляли в своих тетрадках, в восьмую долю листа, целые сборники. Таким образом у каждого из нас была своя рукописная библиотека».³¹ Некоторые книги (например, издания Пушкина) стоили настолько дорого, что дешевле было отдать их переписчику. Кроме того, активно распространялись сочинения, не прошедшие цензуру и не увидевшие печать или запрещенные к распространению: «Опасный сосед» В. Л. Пушкина, «Дом сумасшедших» А. Ф. Войекова, думы и поэмы К. Ф. Рылеева и др. Но, пожалуй, абсолютный рекорд принадлежит «Горю от ума»: по мнению С. А. Фомичева, в различных архивохранилищах насчитывается не менее тысячи списков грибоедовской комедии.³²

Высокие цены на книги и слабая покупательская способность большинства читателей заставили ориентировавшихся на образованную публику издателей и книготорговцев искать альтернативные способы извлечения прибыли из книжной продукции. Выход был найден в виде так называемых «библиотек для чтения», образец

³⁰ Описание см.: *Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина: (Библиографическое описание)*. СПб., 1910 (репринт: М., 1988).

³¹ *Буслаев Ф. И. Мои воспоминания*. СПб., 1897. С. 61.

³² См.: *Фомичев С. А. К истории текста «Горя от ума» // Литературное наследие декабристов*. Л., 1975. С. 303.

устройства которых (в том числе и само название) был заимствован из Франции. О социокультурной функции таких библиотек и их функционировании писал А. И. Рейтблат: «В рамках привычной дихотомии “книжный магазин – библиотека” библиотеку для чтения приходится считать третьим, промежуточным каналом распространения книги, сочетающим черты и магазина, и библиотеки. Ведь подписчик библиотеки для чтения вносил стоимость взятых книг (т. е. фактически покупал их), а потом при возвращении получал свои деньги назад с удержкой части за амортизацию книги. Таким образом, это была как бы коллективная покупка книги подписчиками, когда общая ее стоимость делилась между всеми пользователями (каждый из них не был в состоянии приобрести для прочтения все интересующие его книги). Содержатель библиотеки получал деньги за свою посредническую деятельность между книжной торговлей, библиотекой и самими подписчиками. Хотя он в дальнейшем оставался владельцем книг, но, во-первых, они подвергались физическому износу, а во-вторых, морально устаревали (при ориентации значительной части подписчиков на книжные новинки) и значительно теряли в цене».³³

Такого рода библиотеки существовали еще в XVIII веке: так, в 1790 г. публичную библиотеку при своей московской лавке открыл Н. И. Новиков,³⁴ а на следующий год в Петербурге – книготорговец, издатель и библиограф В. С. Сопиков.³⁵ Существовали платные библиотеки и при других книжных лавках и типографиях. Однако, пожалуй, самым известным заведением подобного рода стала библиотека Плавильщикова, о которой Ф. В. Булгарин писал, прибегая к характерным для него преувеличениям: «Видя недостаток средств к распространению охоты к чтению и удовлетворению оной между небогатыми людьми, Плавильщиков решился устроить Библиотеку для чтения русских книг, по примеру иностранных сего рода заведений. Между частными людьми ему принадлежит слава *первого основателя* сего полезного учреждения в России. До открытия его Библиотеки, воспоследовавшего 10 сентября 1816 года, книги для чтения можно было получать по неопределенному условию из книжных лавок, не по выбору читателей, но по воле книгопродавцев, обыкновенно из числа книг испорченных или устаревших. В. А. Плавильщиков про своей Библиотеке имел и типографию и занимался изданием полезных и учебных книг <...>. Все почти литераторы безденежно пользовались его библиотекою, и почтенный Плавильщиков, имея всегда в виду полезную цель оной, на смертном одре

³³ Рейтблат А. И. Как Пушкин вышел в гении. С. 43.

³⁴ См.: Клейменова Р. Н. Книжная Москва первой половины XIX века. М., 1991. С. 197.

³⁵ См.: Баренбаум И. Е., Костылева Н. А. Книжный Петербург – Ленинград. С. 373.

изъявил волю свою, чтобы она по его кончине оставалась на прежнем положении».³⁶ Наследник Плавильщикова А. Ф. Смирдин не только не «оставил на прежнем положении» библиотеку, но значительно приумножил и расширил ее, сделав, без сомнения, крупнейшей частной публичной библиотекой России. В 1828 г. был издан ее каталог, содержащий почти 10 000 наименований книг и периодических изданий, за ним последовало четыре «прибавления». До сих пор этот каталог остается одним из главных справочников по русской книге первой трети XIX века.³⁷ Это его значение осознавали уже современники. «Я замечаю, что ты не вполне ценишь важность каталога Смирдина для профессора литературы, – писал П. А. Плетнев в 1842 г. своему младшему другу Я. К. Гроту. – Между тем он дня книг и История словесности Греча <...> для ученых заведений в России <...> почти единственные верные и не тщетные пособия. Их ты со стола не спускай, а Смирдина учи наизусть, как ты любил учить французский словарь».³⁸ В одном из следующих писем Плетнев прямо говорит, что «нельзя писать историю русской литературы, не изучив этого каталога».³⁹

Впрочем, правила пользования библиотекой Смирдина были довольно жесткие, а финансовые условия довольно обременительными. Подписка на год стоила 30 (на полгода – 20, на три месяца – 12, на месяц – 5) рублей, но для того, «кто пожелает вместе с книгами получить новые журналы», годовая подписка увеличивалась на 20 рублей. Годовым подписчикам за один раз отпускалось по 10 книг, полугодовым по 8, трехмесячным по 6 и месячным по 4 книги. Кроме того, было правило, что «читатели за взятые ими книги оставляют в залог деньги, чего они стоят по Росписи, или для избежания мелочных расчетов, вносят одновременно *двадцать пять рублей*, которые по окончании срока сделанной подписки и по возвращении взятых книг, получают обратно. Но желающие получать многотомные или дорогие книги, кои превышают двадцатипятирублевый залог, прибавляют еще к оному соразмерно с ценою требуемых книг, без чего таковые книги не могут быть отпускаемы».⁴⁰ Далее в правилах пользования библиотекой следует грозное предостережение: «Нет сомнения, что всякий

³⁶ Булгарин Ф. В. Воспоминание о добром книгопродавце, московском купце Василье Алексеевиче Плавильщикове // Булгарин Ф. В. Соч. СПб., 1830. Т. 1. С. 133–134, 136.

³⁷ См. об этом: Кобленц И. Н. «Роспись» библиотеки А. Ф. Смирдина: (Ее значение в истории и статистике печати пушкинской поры) // Книга: Исследования и материалы. М., 1973. Вып. 26. С. 80–93.

³⁸ Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 341.

³⁹ Там же. С. 602–603.

⁴⁰ Роспись российским книгам для чтения из библиотеки Александра Смирдина, систематическим порядком расположенная. СПб., 1828. С. I–II.

подписавшийся будет возвращать прочитанные книги в целости в таком виде, в каком получены из библиотеки; в противном случае благоволит их оставить за собою, во скольких бы частях оные ни состояли, и заплатить за них означенную в Росписи цену».⁴¹ И сейчас не может не поразить воображение график работы библиотеки: она была открыта все дни, кроме праздничных, от 9 часов утра до 10 часов вечера, то есть принимала посетителей 13 часов в день.

Подобные библиотеки для чтения открывались не только в столицах. Так, в конце 1820-х гг. в Одессе открылась библиотека при книжном магазине Н. А. Ключкова, фонды которой составляли около тысячи книг, преимущественно – русской беллетристики 1810-1820-х годов.⁴²

В начале 1830-х годов правительство сделало попытку открыть публичные библиотеки в губернских и уездных городах. 5 июня 1830 г. министр внутренних дел А. А. Закревский разослал гражданским губернаторам циркуляр, в котором ходатайствовал «об изыскании средств к заведению по губерниям публичных библиотек для чтения», просил отыскать здания для них, определить порядок работы и взять на службу библиотекарей. К этому времени уже была открыта Императорская Публичная библиотека в Петербурге (1814) и Одесская публичная библиотека (1829). В скором времени после министерского циркуляра библиотеки также открылись в Нижнем Новгороде, Смоленске и Пензе (1831), Кишиневе и Самаре (1832) и Архангельске (1833); в остальных губерниях они возникли значительно позднее.⁴³

Все же главную роль в распространении любви к чтению и подъема престижа книги как таковой сыграли просвещенные книготорговцы. «Лет около пятидесяти перед сим для русских книг даже не было лавок! – свидетельствовала в 1832 году «Северная пчела». – Книги хранились в подвалах и продавались на столах, как товар из ветошного ряда».⁴⁴ Если еще в первые годы XIX века торговля книгами в глазах большинства купцов ничем не отличалась от торговли маслом или пенькой, то книготорговцы уже следующего десятилетия постепенно начали осознавать свою роль в деле просвещения русской публики. Они стали перемещать свои лавки из окраинных мест Петербурга на Невский проспект, из Апраксина двора – в Гостиный. Из холодных, темных, захламленных мест, где растрепанные книги зачастую валялись на полу, книжные лавки постепенно

⁴¹ Там же. С. II–III.

⁴² См.: *Боровой С. Я.* Книга в Одессе в первой половине XIX в. // Книга: Исследования и материалы. М., 1967. Вып. 14. С. 148–149.

⁴³ См.: *Рейтблат А. И.* Как Пушкин вышел в гении. С. 40–42.

⁴⁴ [*Булгарин Ф. В. (?)*] Новый книжный магазин г. Смирдина // Северная пчела. 1831. № 286. 16 дек.

превращались в настоящие литературные салоны, приобретая застекленные книжные шкафы и резные кресла, на которых сидели известные литераторы, споря между собой и читая друг другу новые сочинения.

Пионером этого процесса стал В. А. Плавильщиков, чья лавка в Гостином дворе первой в Петербурге стала отапливаться. Это обстоятельство, а также основание библиотеки для чтения послужило причиной тому, что в сознании современников его лавка приобрела совершенно новый статус, порвав со старыми стереотипами книжной торговли. «Его магазин представлял тихий кабинет Муз, – писал в некрологе Плавильщикову Булгарин, – где собирались ученые и литераторы делать выправки, выписки и взаимно совещаться, а не рассказывать оскорбительные анекдоты и читать на отсутствующих эпиграммы и сатиры. С поведением хозяина сообразовались посетители, и в его магазине не произошло никогда ни одного неприятного случая».⁴⁵ Обратим внимание на то, что заведение Плавильщикова уже не названо лавкой, ему дано гораздо более престижное название «магазин». В библиотеке при магазине насчитывалось около 7 000 томов; в 1820 г. вышел составленный библиографом В. Г. Анастасевичем ее каталог под названием «Роспись книгам для чтения из библиотеки В. Плавильщикова, систематическим порядком расположенная», к которому впоследствии было издано несколько «Прибавлений».

В 1823 г. Плавильщиков умер, и его дело перешло к служившему у него с 1817 г. приказчиком А. Ф. Смирдину.

С именем Смирдина связан целый период в истории русской литературы, который остроумный Белинский назвал «смирдинским».⁴⁶ Революция, произведенная Смирдиным, состояла в том, что он первым из русских книготорговцев и издателей как на товар стал смотреть не только на книгу, но и на само произведение, «объявил таксу на все роды литературного производства»,⁴⁷ «за статьи установилась плата, литературный труд сделался капиталом»,⁴⁸ что привело к резкой профессионализации литературы и фактическому возникновению авторского права. Кроме того, он рискнул увеличить тиражи издаваемых им книг и за счет этого удешевить их. Позднее, уже фактически подводя итоги деятельности Смирдина, Белинский писал, что он «произвел решительный

⁴⁵ *Булгарин Ф. В.* Воспоминание о добром книгопродавце, московском купце Василье Алексеевиче Плавильщикове. С. 136.

⁴⁶ *Белинский В. Г.* Литературные мечтания // Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 1. С. 98.

⁴⁷ Там же.

⁴⁸ *Белинский В. Г.* Сто русских литераторов // Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 246.

переворот в русской книжной торговле и вследствие этого в русской литературе. Он издал сочинения Державина, Батюшкова, Жуковского, Карамзина, Крылова — так, как они в типографском отношении никогда прежде того не были изданы, т. е. опрятно, даже красиво, и — что всего важнее — пустил их в продажу по цене, доступной и для небогатых людей. В последнем отношении заслуга г. Смирдина особенно велика: до него книги продавались страшно дорого и поэтому были доступны большею частью только тем людям, которые всего менее читают и покупают книги. Благодаря г. Смирдину приобретение книг более или менее сделалось доступным и тому классу людей, которые наиболее читают и, следовательно, наиболее нуждаются в книгах. Повторяем, это главная заслуга г. Смирдина перед русскою литературою и русскою образованностью. Чем дешевле книги, тем больше их читают, а чем больше в обществе читателей, тем общество образованнее». ⁴⁹

Еще одним важным следствием деятельности Смирдина было то, что он поднял престиж книгоиздания и книготорговли, по словам Булгарина, «утвердил торжество русского ума и, как говорится, посадил его в первый угол». ⁵⁰ В конце 1831 г. книжная лавка Смирдина переехала в новое просторное здание на Невском проспекте, почти напротив Казанского собора (ныне дом № 22, на здании размещена мемориальная доска). Булгарин так описывал его: «А. Ф. Смирдин захотел дать приличный приют русскому уму и основал книжный магазин, какого еще не бывало в России. <...> ...в прекрасном новом здании, принадлежащем лютеранской церкви Св. Петра, в нижнем жилье находится книжная торговля г. Смирдина. Русские книги, в богатых переплетах, стоят горделиво за стеклом в шкафах красного дерева, и вежливые приказчики, руководствуя покупающих своими библиографическими сведениями, удовлетворяют потребность каждого с необыкновенною скоростью. Сердце утешается при мысли, что наконец и русская наша литература вошла в честь и из подвалов переселилась в чертоги. Это как-то одушевляет писателя. В верхнем жилье, над магазином в обширных залах устраивается библиотека для чтения, первая в России по богатству и полноте. Все напечатанное по-русски находится у г. Смирдина, — все, что вперед будет напечатано достойного внимания, без всякого сомнения, будет у г. Смирдина прежде, нежели у других, или вместе с другими. Там же принимается подписка на все журналы». ⁵¹ 19 февраля 1832 г. по случаю переезда состоялся грандиозный обед, на котором присутствовало больше 50 литераторов – весь

⁴⁹ Там же. С. 242.

⁵⁰ [Булгарин Ф. В. (?)] Новый книжный магазин г. Смирдина.

⁵¹ Там же.

цвет тогдашней литературы.⁵² Следствием этого события стало издание двух выпусков альманаха «Новоселье», замысел которого впоследствии перерос в идею журнала. С 1834 г. Смирдин стал выпускать журнал «Библиотека для чтения» под редакцией О. И. Сенковского, отличавшийся неслыханными до того времени гонорарами и ставший самым популярным журналом пушкинского времени; его тираж в отдельные годы достигал 7000 экземпляров.

Достойное место среди издателей занимал И. В. Слёнин. Образованный человек, он пользовался репутацией культурного и честного книгопродавца. Его книжная лавка так же, как и лавка Плавильщикова, была своеобразным литературным клубом; как вспоминал коллега Слёнина И. Т. Лисенков, «поэты Воейков, Розен, Пушкин и прежние литераторы и журналисты тянулись побеседовать вкупе с Слёниным о прежнем и новом житье-бытье русской литературы».⁵³ Моментальную зарисовку жизни в слёнинской лавке оставил А. Е. Измайлов:

У Сленина в лавке на креслах сижу;
На книги, портреты смотрю и гляжу.

Вот бард наш Державин, вот Дмитрев, Крылов!
А вот Каталани — под нею Хвостов.

Тимковского-цензора тут же портрет.
Есть даже Гераков — Измайлова ж нет!

Авось, доживу я до светлого дня!
Авось, в книжной лавке повесят меня!
<...>

Приходит Рылеев, Бестужев и Греч,
Язык ему надо немножко присечь.

Вот Сомов вбегает, вот входит Козлов!
А вот из Сената заехал Хвостов.⁵⁴

Подробно о магазине Сленина писал Ф. В. Булгарин: «Г. Сленин есть также книгопродавец по страсти к Литературе. Отец его торговал винами, но видя в сыне своем непреодолимое желание учиться иностранным языкам и заниматься чтением, позволил ему следовать душевному влечению. И. В. Сленин хотя поздно начал учиться, но знает

⁵² См.: *Греч Н. И.* Письмо к В. А. Ушакову // *Северная пчела.* 1832. № 45. 26 февр. (здесь перечислены присутствовавшие); ср.: *Назарова Г. И.* «Новоселье» Александра Брюллова // *Временник Пушкинской комиссии.* 1969. Л., 1971. С. 76.

⁵³ *Лисенков И. Т.* Воспоминания в прошедшем времени о книгопродавцах и авторах // *Материалы для истории русской книжной торговли.* СПб., 1879. С. 62.

⁵⁴ *Измайлов А. Е.* Слёнина лавка // *Измайлов А. Е. Избранные сочинения.* С. 243–244.

очень хорошо французский язык, понимает немецкий и пламенно любит российскую словесность. Сперва он торговал в Гостином дворе вместе с братом своим, а с 1817 года основал свой собственный магазин и занялся изданием полезных книг. <...> ...Деятельность Сленина <...> нашла себе пищу на поприще отечественной литературы, и он между тем занимался изданием полезных исторических и географических книг на русском языке <...>. Должно заметить, что поныне Сленин не издал ни одного романа, песенника и подобных им сочинений, которые, как известно, у нас гораздо скорее и охотнее раскупаются, нежели ученые книги. Это ясно доказывает его добрые намерения и любовь к общему благу. <...> В магазин Сленина заходят отдыхать после трудов многие русские литераторы. Я был свидетелем нескольких весьма забавных сцен между сочинителями книг и покупателями оных, которые, не зная первых в лице, и не имея понятия об авторском самолюбии, с чистосердечием излагали свои суждения о произведениях словесности, гораздо строже и справедливее, нежели во многих наших журнальных критиках».⁵⁵

С начала 1820-х гг. Сленин выступал комиссионером изданий Пушкина. В 1822 г. он выкупил тираж «Руслана и Людмилы» у Н. И. Гнедича, видимо, с обещанием выплачивать процент с проданных экземпляров;⁵⁶ возможно, также принимал какое-то участие в издании «Кавказского пленника».⁵⁷ Спустя же два года Сленин пытался выкупить право на издание первой главы «Евгения Онегина»; в начале апреля 1824 г. Пушкин писал П. А. Вяземскому: «Сленин предлагает мне за “Онегина”, сколько я хочу. Какова Русь, да она в самом деле в Европе — а я думал, что это ошибка географов»⁵⁸, но издание выпустил П. А. Плетнев, а Сленин выступил его комиссионером. Из других известных издательских проектов Сленина можно отметить второе издание «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина, альманахи «Полярная звезда» и «Северные цветы».⁵⁹ Известно, что сам Сленин не был чужд поэтического творчества; однако, до нас дошло всего лишь одно его стихотворение: обращенный к Д. И. Хвостову четырехстрочный «Экспромт к реке Кубре».⁶⁰ Об отношении Пушкину к Сленину говорит тот многозначительный факт, что в

⁵⁵ Булгарин Ф. В. Прогулка по тротуару Невского проспекта // Литературные листки. 1824. № 6. С. 219–221; подпись: Ф. Б.

⁵⁶ См. письма Пушкина к Н. И. Гнедичу от 27 июня 1822 г. и к брату от 21 июля 1822 г. – Пушкин А. С. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1937. Т. 13. С. 40, 42.

⁵⁷ См. письмо Пушкина к Н. И. Гнедичу от 27 сентября 1822 г. – Там же. С. 49.

⁵⁸ Там же. С. 92.

⁵⁹ Подробнее о Сленине и его отношениях с Пушкиным см.: Люблинский С. Б. Книжная лавка И. В. Сленина // Книга: Исследования и материалы. М., 1975. Сб. 30. С. 177–184.

⁶⁰ Дамский журнал. 1823. Ч. 4. № 24. С. 229.

1828 г. поэт обратился к нему с стихотворным посланием – это единственное в пушкинском творчестве поэтическое обращение к издателю и единственное стихотворение, предназначенное для мужского альбома:

Я не люблю альбомов модных:
Их ослепительная смесь
Аспазий наших благородных
Провозглашает только спесь. <...>
Ни здесь, ни там, скажу я смело,
Являться, впрочем, не хочу;
Но твой альбом другое дело,
Охотно дань ему плачу.
Тобой питомцам Аполлона
Не из тщеславья он открыт:
Цариц ты любишь Геликона
И ими сам не позабыт;
Вхожу в него прямым поэтом,
Как в дружеский, приятный дом,
Почтив хозяина приветом
И лар молитвенным стихом.⁶¹

Затронув тему «книготорговля и Пушкин», следует назвать также И. Т. Лисенкова, который оставил краткие воспоминания о встречах с поэтом. По его словам, Пушкин заходил к нему «довольно часто, когда издавал журнал “Современник”; ему нужно было знать о новых книгах для помещения беглого разбора о них в его журнале...».⁶² Книг Лисенков издал совсем немного, среди них можно выделить «Илиаду Гомера» в переводе Н. И. Гнедича. Пушкин знаком был и с И. И. Глазуновым, в лавке которого в Гостином дворе, «заходя почти каждый день, просиживал иногда по несколько часов».⁶³ Глазунов выпустил последнюю книгу Пушкина – миниатюрное издание «Евгения Онегина», вышедшее перед самой гибелью его на дуэли. «Напечатанное в количестве 3000 экземпляров, оно после смерти поэта разошлось в течение недели».⁶⁴

⁶¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. С. 103.

⁶² Лисенков И. Т. Воспоминания в прошедшем времени о книгопродавцах и авторах. С. 67. См. также: Теплинский М. В. И. Т. Лисенков и его литературные воспоминания // Русская литература. 1971. № 2. С. 111–112.

⁶³ Краткий обзор книжной торговли и издательской деятельности Глазуновых за сто лет. 1782–1882. СПб., 1883. С. 68.

⁶⁴ Лисовский Н. М. Краткий очерк деятельности типографии Глазуновых. С. 60. В 1841 г. Глазунов вместе с И. И. Заикиным выступил издателем трех дополнительных томов посмертного издания пушкинских сочинений.

ЦЕНЗУРА В ЭПОХУ ЗОЛОТОГО ВЕКА

Три цензурных устава первой трети XIX века стали важнейшими этапами становления цензурных механизмов не только для эпохи Золотого века. Несмотря на то, что формирование русских государственных цензурных учреждений началось в 1780—1790 гг.¹, названные уставы стали по сути первыми в истории России документами, в которых была предпринята попытка не только определить главные цели цензуры, но и создать единые правила, регулирующие отношения между цензорами, литераторами, издателями, книготорговцами, владельцами типографий.

В первые же годы своего правления Александр I, мыслящий себя как преемник традиций екатерининского просвещения, вновь разрешает ввоз иностранных сочинений, открытие частных типографий и даже частично отменяет предварительную цензуру² (правда, уже через два года она была снова введена повсеместно). Контроль за печатным производством становился делом не полиции, а гражданских губернаторов, которые чаще всего поручали чтение рукописей директорам уездных училищ. После выхода Манифеста 9 февраля 1802 г. «О создании министерств» было сформировано Министерство народного просвещения, в ведомство которого вскоре полностью перешла цензура. В январе 1803 г. при Министерстве, главой которого был в 1802 г. назначен П. В. Завадовский (1739—1812), было организовано Главное правление училищ — высшая инстанция по делам цензуры, членам которого (М. Н. Муравьеву, Н. Н. Новосильцеву, А. А. Чарторыйскому, П. А. Строганову, С. О. Потоцкому, Ф. И. Клингеру, С. Я. Румовскому, Н. Я. Озерецкому и Н. И. Фуссу; в 1809 г. членом правления станет М. М. Сперанский) было поручено, в частности, представить проект устава о цензуре.

В ходе работы Новосильцев, первый попечитель Санкт-Петербургского учебного округа, предложил взять за основу устава Манифест короля Дании Кристиана VII от 27 сентября 1799. Главной отличительной чертой этого документа, которая и привлекла

¹ См.: *Гринченко Н. А.* Организация цензуры в России в первой трети XIX века // Век просвещения. М., 2008. Вып 2, кн. 1. С. 205; *Рейфман С. П.* Цензура в дореволюционной, советской и постсоветской России: В 2 т. М., 2015. Т. 1, вып. 1. С. 53—57.

² Это не коснулась книг духовного содержания, подлежавших просмотру духовной цензурой, и книг, издаваемых учеными обществами (они подлежали одобрению самих обществ) (см.: *Щебальский П. К.* Исторические сведения о цензуре. СПб., 1862. С. 7). В отдельных случаях и другие сочинения подвергались предварительной цензуре сразу после ее отмены (см.: Там же. С. 9).

Новосильцева, было отсутствие предварительной цензуры, но инициативу ее отмены не поддержали; в итоге было решено остановиться на сохранении предварительной цензуры как более привычной для российского общества. В отличие от датского Манифеста, согласно русскому цензурному уставу, литераторы и издатели получали право на анонимную публикацию сочинений. 9 июня 1804 г. за подписью всех членов Главного правления училищ проект устава был представлен Александру I — и им одобрен. Устав вступил в силу с 19 июля того же года³. К 5 ноября 1804 г. были разработаны единые для шести учебных округов — Петербургского, Московского, Казанского, Харьковского, Дерптского, Виленского⁴ — уставы, каждый из которых включал статью о цензуре (правда, без подробной регламентации цензурного порядка).

Во главе университетских цензурных комитетов стояли деканы, роль цензоров выполняли экстраординарные и ординарные профессора, которые в первой четверти XIX в. отдельного жалования за эту дополнительную работу не получали⁵. Совет университета выступал в качестве арбитра при цензурных конфликтах; следующей инстанцией, в которой можно было обжаловать принятое решение, было Главное правление училищ. Иным образом обстояли дела в Петербурге. В «Докладе г. министра о цензуре» от 9 июня 1804 года сообщалось, что в связи с отсутствием в столице университета и загруженностью губернатора⁶, членами Главного правления училищ был подготовлен проект по созданию отдельного Цензурного Комитета, штат которого состоял бы из трех цензоров, «ученых особ, пребывающих в сей столице» с годовым жалованьем в 1200 рублей, и секретаря, «знающего иностранные языки, коему поручается и хранение книг» с годовым окладом в 750 рублей⁷. Этот цензурный комитет подчинялся попечителю Санкт-Петербургского учебного округа, а с 1819 г., после основания в столице университета, — ректору (но никаких кадровых изменений внутри самого комитета не произошло)⁸.

³ См.: Устав о цензуре 1804 года // Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб., 1862. С. 85—96.

⁴ Учебные округа были образованы ранее, в соответствии с Указом «Об утверждении учебных округов...», вступившем в силу 24 января 1803.

⁵ См.: *Гринченко Н. А.* Профессор в цензурном ведомстве в первой четверти XIX века // Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусства. СПб., 2013. Т. 201, ч. 1. С. 11.

⁶ «...поелику в здешней столице университет еще не существует, цензура осталась на прежнем положении в ведении гражданского губернатора, который в рассуждении множества по должности своей дел, не мог надлежащим образом иметь смотрение за изданием книг» (Доклад г. министра народного просвещения о цензуре // Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. С. 83).

⁷ Там же. С. 96.

⁸ См.: Цензоры Российской империи : конец XVIII — начало XX века : Библиографический справочник / Сост. О. Ю. Абакумов и др. СПб., 2013. С. 21.

Первый русский цензурный устав состоял из 47 пунктов и трех отделений: «О цензуре вообще», «О цензурных комитетах», «О сочинителях, переводчиках, издателях книг и содержателях типографий». Цензурные комитеты, рассматривающие «всякого рода сочинения и книги» светского содержания, находились под надзором Главного правления училищ Министерства просвещения и формировались на базе университетов (в отдельных случаях рассмотрение книг позволялось директорам гимназий (§ 36)); эти же комитеты занимались цензурой иностранных книг, выписанных для университетских нужд. Иностранные книги, выписанные для продажи, предварительной цензуре не подвергались (их досмотр находился в ведении таможенных и почтовых чиновников, у которых имелись списки запрещенных книг⁹); книготорговцы раз в год должны были предоставлять в цензурный комитет своего округа каталог имеющихся у них в продаже как иностранных изданий и эстампов (§ 27), так и отечественных сочинений (§ 28)¹⁰. Цензура произведений духовного содержания находилась в ведении Святейшего синода и епархиальных архиереев, печататься эти произведения могли лишь в типографиях, «под ведением Синода состоящих» (§ 27).

Согласно уставу, печать любого сочинения была невозможна без предварительной цензуры; имя цензора и дата разрешения в обязательном порядке должны были быть выставлены на обороте титульного листа (§ 32). Секретарь каждого комитета вел журнал, где указывалась дата поступления рукописи в цензуру, количество страниц, название сочинения, имя автора или издателя (если они были известны), имя хозяина типографии, в которой предполагалось печатать рукопись, — после чего она попадала в руки цензора; дальнейшая ее судьба (имя цензора и его решение, дата возвращения рукописи автору или издателю – в случае, если она возвращалась) также фиксировалась в журнале (§ 31). В первую очередь рассматривались периодические издания, которые должны были выйти к определенному сроку (§§ 23—24) — по этой причине номера газет и журналов просматривались менее тщательно, чем книги, и этим часто пользовались издатели и литераторы.

Согласно уставу, цензору следовало «руководствоваться разумной снисходительностью» и толковать неоднозначные места «выгоднейшим для сочинителя образом» (§ 21).

⁹ См.: Ларионова Е. О. Цензура // Быт пушкинского Петербурга: Опыт энциклопедического словаря. Л—Я. СПб., 2005. С. 384.

¹⁰ См.: Комитет цензуры иностранной в Петербурге, 1828—1917 : Документы и материалы / Сост. Н. А. Гринченко, Н. Г. Патрушева. СПб., 2006. С. 7. Как показала практика, такая форма взаимодействия книгопродавцев и цензоров была неудобной для обеих сторон (Щебальский. П. К. Исторические сведения о цензуре. С. 15—16).

Если рукопись не содержала ничего «противного закону, правлению, нравственности и личной чести какого-либо гражданина» (§ 15), она одобрялась для публикации и возвращалась автору или издателю; отпечатанный экземпляр следовало представить в цензуру для сличения с одобренной рукописью¹¹. Если же какие-то отдельные места не отвечали этим требованиям, цензор должен был обозначить соответствующие фрагменты в рукописи и выслать ее обратно издателю для исправления или исключения неодобренных мест. Также в уставе были прописаны все те случаи, когда рукопись не только не одобрялась, но и не возвращалась автору или издателю. Такую судьбу, например, ожидало сочинение, исполненное «мыслей и выражений, оскорбляющих честь гражданина, благопристойность и нравственность» (§ 18); в этом случае цензор высылал автору сочинения отказ с объявлением причин запрещения к изданию. Если же рукопись содержала «мысли и выражения, отвергающие бытие Божие, вооружающие против законов веры и отечества, оскорбляющие верховную власть или совершенно противные духу общественного устройства и тишины», то Комитет был обязан не только удержать рукопись, но и объявить о ней правительству «для отыскания сочинителя и поступления с ним по законам» (§ 19).

Санкции за печать книг, не прошедших цензуру или вовсе ею запрещенных, налагались и на типографии. В первом случае весь тираж следовало отдать в Приказ общественного призрения, а «сверх того в пользу одного же Приказа взыскиваются с содержателя типографии, если он печатал книгу не на свой счет, все издержки, во что обошлось напечатание всего завода» (§ 43). В случае издания запрещенной книги владелец типографии и издатель подлежали суду, а тираж сожжению (§ 44).

Первые же практические решения показали, что либеральность указа была весьма относительной — особенно на фоне более ранних александровских реформ¹².

¹¹ В уставе 1828 г. в § 42 было прописано, что цензор после сверки обязательного печатного экземпляра с рукописью в срок не более трех дней подписывал два билета (один для типографии, второй оставался в цензуре) на выход издания в свет. Но такой порядок был введен уже вскоре после выхода первого цензурного устава: самая ранняя из найденных нами «Книг для регистрации билетов, выданных на выпуск изданий из типографии» (РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 32), относится к 1807 г.

¹² Хрестоматийным примером выступает история переиздания трактата И. Н. Пнина (1773—1805) «Опыт о просвещении относительно России». В 1804 г. — до появления устава — Пнин без особых препон и с одобрения гражданского губернатора издал это сочинение, в котором довольно свободно высказывал свои мысли о самодержавии, крепостном праве и проч. В 1805 г., готовя второе издание, он отправил в цензуру рукопись с дополнениями, сделанными, по его словам, по «воле монарха». В результате не только эта рукопись была запрещена цензором Г. М. Яценковым (см. о нем: Цензоры Российской империи. С. 402) — были конфискованы и остатки первого издания. Пнин пытался оспорить решение цензора, написав жалобу в Главное правление училищ, —

Хотя первый устав формально сохранял юридическую силу вплоть до 1826 г., значительные изменения в функционировании комитетов стали происходить значительно раньше — и не в пользу свободы печати. Одним из таких изменений явилось возрастающее участие в работе цензурных комитетов Министерства полиции, созданного в 1810 г., во главе с А. Д. Балашевым. 25 июля 1810 года вышел Манифест «О разделении государственных дел на особые управления, с означением предметов, каждому управлению принадлежащих», где в § 12 среди прочего сообщается, что к «делам полиции предохранительной» относятся в том числе и «дела по цензурным установлениям»¹³. Меньше, чем через месяц, 17 августа, выходит «Высочайше утвержденное разделение государственных дел по министерствам» — и в ведении министерств полиции и внутренних дел оказываются такие предметы, как «заведение по губерниям типографий» и надзор над «книгами, противными нравственности и общественным постановлениям»¹⁴.

28 декабря 1811 г. при Министерстве полиции был сформирован собственный цензурный комитет, в обязанности которого, кроме контролирования предписаний цензурных комитетов, подчиненных Главному правлению училищ¹⁵, вошел и надзор над решениями, принятыми цензорами¹⁶. Вопреки §10 устава 1804 года, с 1811 г. цензура театральные сочинения целиком переходила в ведение комитета при министерстве полиции. Разделение литературной и театральной цензуры не случайно: театральная

но жалоба успеха не возымела. По мотивам этой тяжбы с Цензурным комитетом Пнин сочинил драматическую сценку «Сочинитель и цензор», которая увидела свет через четыре месяца после смерти автора в декабрьском номере «Журнала российской словесности» (1805. Ч. 3. № 12. С. 161—168). Двумя месяцами ранее, в № 10 того же журнала появился редакторский некролог «О Пнине и его сочинениях» (С. 57—66), в котором упомянут и «Опыт о просвещении» (С. 60). Фигурой иронии выглядела публикация вслед за некрологом «Оды на правосудие» Пнина. См.: *Сухомлинов М. И.* Материалы для истории образования в России в царствование императора Александра I // *Сухомлинов М. И.* Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. СПб., 1889. Т. 1. С. 430—434; *Пнин И. Н.* Соч. М., 1934. С. 269—270 (коммент. В. Н. Орлова); *Блюм А.* От неолита до Главлита : Достопамятные и занимательные эпизоды, события и анекдоты из истории российской цензуры от Петра Великого до наших дней : Собраны по архивным источникам. СПб., 2009. С. 31—36. О других случаях запрета прежде разрешенных книг см.: *Щебальский П. К.* Исторические сведения о цензуре. С. 12—13.

¹³ Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. С. 104.

¹⁴ Высочайше утвержденное разделение государственных дел по министерствам // Там же. С. 104—105.

¹⁵ Соответственно, Министерство просвещения должно было докладывать полиции о всех разрешенных цензурой сочинениях.

¹⁶ Это прямо следует из п. 2 § 84: «Если министр полиции усмотрит, что в книгах и сочинениях, и с одобрением цензуры изданных, допущены места и выражения, подающие повод к превратным толкованиям, общему порядку и спокойствию противным, таковые министр полиции обязан немедленно, с замечаниями своими, вносить на Высочайшее усмотрение и ожидать повеления» (Там же. С. 107).

постановка была доступна гораздо более широкой, в том числе и неграмотной публике — и, соответственно, с точки зрения власти, требовала гораздо более жесткого контроля. Впрочем, Министерство полиции принимало самое активное участие и в делах литературной цензуры — например, в 1814 г. оно запретило к продаже одобренный (с исключением нескольких мест) петербургским цензурным комитетом роман В. Т. Нарезного «Российский Жилбраз, или Похождения Гаврилы Симоновича Чистякова», хотя в том же году благополучно вышли первые три части романа¹⁷. В 1811—1826 гг. под надзор полиции попала и иностранная цензура¹⁸.

Цензурные строгости, усилившиеся во второй половине царствования Александра I, особенно ужесточились после 1815 г. — в соответствии с общей политикой Священного Союза. Цензурный устав оставался неизменным, но его формулировки допускали весьма свободное толкование.

В августе 1816 г. на должность министра народного просвещения был назначен А. Н. Голицын (1773—1844), в 1803—1817 гг. обер-прокурор Святейшего Синода, основатель и первый президент российского Библейского общества (1813—1824), известный экуменическими симпатиями и мистическими настроениями¹⁹. Если в начале 1810-х гг. основной удар по цензурным комитетам наносился со стороны Министерства полиции, то при Голицыне начались сложности другого рода.

14 октября 1817 г. Министерство народного просвещения было слито с ведомством духовных дел, превратившись в Министерство духовных дел и народного просвещения²⁰ — что отразилось и на цензуре, ставшей еще более осторожной. Перемены произошли и в Главном правлении училищ: на смену либерально настроенным членам прежнего состава пришли новые, в том числе М. Л. Магницкий и Д. П. Рунич, печально известные гонениями на профессоров и разгромами университетов²¹. При них был создан Ученый

¹⁷ См. : Описание дел Архива министерства народного просвещения / Под ред. А. С. Николаева и С. А. Переселенкова. Пг., 1921. Т. 2. С. 224—227.

¹⁸ В 1811—1819 гг. иностранная цензура находилась в ведении Особенной канцелярии Министерства полиции, в 1819—1826 — канцелярии при Министерстве внутренних дел. О запрещенных в первой половине 1820-х гг. иностранных сочинениях см.: *Ларионова Е. О.* Цензура. С. 384—385.

¹⁹ См. о нем: *Стеллецкий Н.* Князь Голицын и его церковно-государственная деятельность. Киев, 1901.

²⁰ «Двойное» или «сугубое» Министерство было расформировано в 1824 г.

²¹ См.: *Сухомлинов М. И.* Материалы для истории образования в России в царствование императора Александра I. С. 216—233, 254—397; *Вишленкова Е. А.* Казанский университет александровской эпохи: Альбом из нескольких портретов. Казань, 2003. С. 94—125; С.-Петербургский университет в первое столетие его деятельности: 1819—1919 / Под. ред. С. В. Рождественского. Пг., 1919. Т. 1. С. 224—236. О М. Л. Магницком см.: *Феоктистов Е. М.* Магницкий. СПб., 1865 (Материалы для истории

комитет (1817—1831), который брал под свой контроль учебные книги и пособия; этот контроль был куда строже, чем то предполагал формально продолжавший действовать либеральный устав о цензуре 1804 г. В 1820 г. директор Царскосельского лицея Е. А. Энгельгардт через Голицына пытался преподнести в дар императору сочинение профессора А. П. Куницына «Право естественное» – но министр передал ее на рассмотрение членам Ученого комитета, усилиями которых (прежде всего Рунича) уже изданная книга была запрещена к печати и продаже, изъята из библиотек и у частных лиц, а в 1821 г. Куницын и вовсе был уволен из Санкт-Петербургского университета с запрещением преподавать по Министерству просвещения²².

Впрочем, было бы несправедливо считать, что свободе печати препятствовала лишь полиция или одиозные члены Ученого комитета; с этой же задачей прекрасно справлялись и некоторые цензоры, едва ли помнившие о «благоразумном снисхождении» и требовании истолковать места, имеющие «двоякий смысл», в пользу сочинителя. Особенно отличались в этом отношении А. С. Бируков и А. И. Красовский²³, имена которых стали притчей во языцех. Широко обсуждался наложенный Красовским запрет на применение слов из сакральной сферы к не относящимся к ней предметам (например, эпитетов «ангельский», «небесный» при описании женской красоты). Самыми, пожалуй, известными примерами абсурдности их придинок стали цензурные истории «Стансов к Элизе» (1823) В. Н. Олина²⁴ и «совершенно чуждой всякой нравственной цели», по

просвещения в России); *Акульшин П. В.* Политические искания Магницкого: От правительственного реформизма к охранительному консерватизму // *Россия в Новое время : Образ России в духовной жизни и интеллектуальных исканиях конца XIX – начала XX в. : Материалы Российской межвузовской науч. конф. 17–18 апр. 1998 г. М., 1998. С. 126–129; Минаков А. Ю. М. Л. Магницкий // Вопросы истории. 2010. № 11. С. 36–49; Кочеткова Н. Д.* Магницкий, Михаил Леонтьевич // *Словарь русских писателей XVIII века. СПб., 1999. Вып. 2. С. 254–257. О Д. П. Руниче см.: Кондаков Ю. Е.* Либеральное и консервативное направление в религиозных движениях в России первой четверти XIX века. СПб, 2005. С. 45–81; *Азизова Е. Н.* Общественно-политическая жизнь Д. П. Рунича. Воронеж, 2014; *Лямина Е. Э., Щемелева Л. М.* Рунич, Дмитрий Павлович // *Русские писатели (1800—1917) : Биографический словарь. М., 2007. Т. 5. С. 389–392.*

²² См. об этом: *Гессен С. Я.* К истории разгрома пушкинского Лицея // *Литературный современник. 1937. № 1. С. 252–253; Мейлах Б. С.* Пушкин и его эпоха. М., 1958. С. 66–80; *Куприц Н. Я.* Из истории государственно-правовой мысли дореволюционной России (XIX в.). М., 1980. С. 16–28; *Berest J.* The emergence of Russian Liberalism : Alexander Kunitsyn in Context, 1783—1840. New York, 2011. P. 165—171.

²³ См. о них: *Мезьер А. В.* Словарь русских цензоров. Материалы к библиографии по истории русской цензуры. М., 2000. С. 25–27; 63–65; *Цензоры Российской империи. С. 99; 212.*

²⁴ Такие замечания Красовского как «женщина недостойна того, чтобы улыбку ее называть небесною», а также свои ответы на них Олин распространял в списках (см.: *Материалы для истории русской цензуры (1803—1825) / публ. П. К. Щебальского //*

мнению цензоров, баллады В. А. Жуковского «Замок Смальгольм» (1822), опубликованной лишь через два года после представления в цензуру²⁵.

Уже в начале 1820-х гг. было принято решение о создании нового устава, менее либерального. Его главным вдохновителем стал Магницкий, но его проект, представленный в 1823 г., утвержден не был²⁶, а автором нового, так называемого «чугунного» устава, стал сменивший Голицына на посту министра в 1824 г. член Государственного Совета, президент Академии Российской, возглавлявший распавшееся в 1816 г. общество «Беседа любителей российской словесности» адмирал А. С. Шишков (1754—1841)²⁷. Он оставался во главе Министерства до 1828 г.

Еще задолго до разработки им устава Шишков был озабочен делами цензуры и даже предпринимал некоторые попытки к ее усовершенствованию. В 1815 г. при обсуждении в Государственном совете вопроса о разграничении цензурных полномочий министерств просвещения и полиции, он выступил с мнением, в котором высказался о недостатках действующего устава о цензуре (в частности, Шишков считал нужным увеличить штат цензоров и создать более четкую и подробную систему правил) и предложил проект по реорганизации цензурного аппарата²⁸. По мысли Шихкова, управлением цензуры должны были заниматься два комитета: верхний, в чьем ведении находились бы определение цензурной политики, разработка инструкций и т. д., и нижний, занимающийся непосредственно цензурой. Этот проект не был принят, что не

Беседы в обществе любителей российской словесности при Императорском Московском университете. М., 1871. Вып. 3. С. 43; *Пешио Дж.* Жалоба Валериана Олина : Материалы из архива Санкт-Петербургского цензурного комитета // *Matica srpska*. Beograd; Novi Sad, 2017. Vol. 92. С. 355—374.

²⁵ См.: *Сухомлинов М. И.* Материалы для истории образования в России в царствование императора Александра I. С. 436—447; *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч. и писем. М., 2008. Т. 3. С. 386—387 (примеч. Э. М. Жиликовой).

²⁶ См.: *Сухомлинов М. И.* Материалы для истории образования в России в царствование императора Александра I. С. 474; *Скабичевский А. М.* Очерки истории русской цензуры (1700—1863 г.). СПб., 1892. С. 184—187; *Гиллельсон М. И.* Литературная политика царизма после 14 декабря 1825 г. // *Пушкин : Исследования и материалы*. Л., 1978. Т. 8. С. 196.

²⁷ О деятельности Шихкова на посту министра народного просвещения см.: *Стоюнин В. Я.* Александр Семенович Шишков // *Стоюнин В. Я.* Исторические сочинения. СПб., 1880. Ч. 1. С. 292—359.

²⁸ Мнения адмирала и президента Российской академии (впоследствии министра народного просвещения) А. С. Шихкова о рассмотрении книги, или о цензуре // *Русский архив*. 1865. № 10—11. Стб. 1339—1352.

помешало его автору 14 февраля 1822 г. подать в Комитет министров новую записку, посвященную цензуре²⁹.

Став министром народного просвещения, Шишков вместе со специально созданной комиссией во главе с директором канцелярии министерства П. А. Ширинским-Шихматовым³⁰ начал работу над новым уставом³¹. В его основу лег предложенный в 1823 г. Магницким проект, который по замечанию министра народного просвещения, «оказался <...> далеко не достигающим до желательного в сем случае совершенства»³².

В цензурном уставе 1826 г.³³ отразился крайний педантизм его создателя. В своей последней редакции проект Шишкова разросся до 19 глав и 230 параграфов, где были детально прописаны цели цензуры, состав цензурного аппарата, статус цензоров и те правила, которыми они должны были руководствоваться при рассмотрении сочинений (включая музыкальные ноты), а так же права и обязанности сочинителей, книгопродавцев, владельцев типографий и проч. Согласно проекту устава 1826 г., во главе реформированного аппарата должно было стоять Главное управление цензурой, входящее в состав Министерства народного просвещения (§ 4). Кроме того, «для пособия в решении

²⁹ Там же. Стб. 1353—1358. Поводом для написания записки стало увольнение в 1821 г. профессоров Санкт-Петербургского университета Э. Раупаха, А. И. Галича, К. Ф. Германа, К. И. Арсеньева.

³⁰ В обсуждении также приняли участие цензоры А. И. Красовский, А. С. Бируков, К. К. фон Поль.

³¹ В разработке нового цензурного устава стремился принять участие Ф. В. Булгарин, который составил записку «О цензуре в России и книгопечатании вообще» (см.: Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III Отделение / Публ., сост., пред. и коммент. А. И. Рейтблата. М., 1998. С. 45—53) и в мае 1826 г. передал ее через начальника Главного штаба И. И. Дибича императору. Говоря о недостатках современной цензуры, Булгарин предлагал собственный проект преобразования цензурного аппарата. По его мнению, цензурный комитет, состоящий из университетских профессоров, должен иметь два отделения: первое по части математических и физических наук, второе — по части истории, статистики и славистики. Что же касается цензуры театральных пьес, периодических изданий и альманахов (Булгарин называет это третьим отделением), а также цензуры иностранных книг, то она должна быть в ведении министерства внутренних дел «по части высшей полиции», поскольку «театральные пьесы и журналы, имея обширный круг зрителей или читателей, скорее и сильнее действуют на умы и общее мнение». «3-е отделение может быть в сношениях, но не должно быть в зависимости от двух первых и должно действовать особо, по воле самого Государя императора» (Там же. С. 52). Судя по всему, высказанные Булгариным идеи понравились Николаю I, — и он передал записку министру народного просвещения, который, однако, изложенные в ней обвинения и предложения отверг (Мнение А. С. Шишкова о цензуре и книгопечатании в России 1826 г. // Русская старина. 1904. № 7. С. 202—211. Об этой полемике см.: Алтунян А. Власть и общество: спор литератора и министра // Вопросы литературы. 1993. № 1. С. 173—214; Видок Фиглярин. С. 53.

³² Доклад министра просвещения // Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. С. 128.

³³ Устав о цензуре 1826 г. // Там же. С. 130—190.

<...> важнейших дел и руководстве цензорами» утверждался Верховный цензурный комитет, состоящий из трех членов, каждый из которых работал с собственным направлением «попечения»: вопросы, связанные с «науками и воспитанием юношества», решались министром народного просвещения; проблемами «нравов и безопасности» занимался министр внутренних дел, а «направлением общественного мнения, согласно политическими обстоятельствами и видами правительства» – министр иностранных дел (§ 6). Должность правителя комитета закреплялась за директором канцелярии министра народного просвещения (§ 7). Уровнем ниже должны были находиться отдельные цензурные комитеты (в том числе при университетах, Академии и др.) во главе с Главным цензурным комитетом в Санкт-Петербурге.

Суть тщательно прописанного свода правил, которыми следовало руководствоваться цензорам, можно свести к следующему. Во-первых, в отличие от цензурного устава 1804, двусмысленные места не только не истолковывались в пользу сочинителя, но и в принципе не допускались (§ 151); с этим был связан, например, запрет на авторские пропуски, обозначаемые точками (§ 152). Во-вторых, практически запрещалось выражение едва ли не любого частного мнения. На этом фоне запрет на пропуск сочинений с грамматическими ошибками (§ 154)³⁴ кажется вполне невинным.

Проект нового устава вызвал недоумение уже у первого его читателя, Николая I, который счел ряд пунктов бессмысленными или неоправданно жесткими по отношению к сочинителям и вернул его со своими замечаниями на доработку. Впрочем, многое из не понравившегося императору Шишкову все-таки удалось отстоять — за исключением части, касающейся цензуры иностранной, которая по представлениям Николая I должна была находиться в ведении министерства иностранных дел или полиции, в связи с чем министр народного просвещения был вынужден убрать из своего проекта соответствующие пункты³⁵.

10 июня 1826 г. новый, «чугунный» устав о цензуре был утвержден — и практически сразу же вызвал возмущение даже людей, власти сочувствовавших³⁶; стало понятно, что устав нуждается в существенном пересмотре и смягчении. В ноябре 1826 Николай I собрал временный комитет, в состав которого вошли министр иностранных дел

³⁴ В качестве примера можно привести «Дело о возвращении Д. Быкову-Позднякову его стихотворений: “Ода в простых стихах” и “Ода в простых стихах на новый 1827 год” для исправления грамматических ошибок и недостатков в стихосложении» (21 января—4 февраля 1827 г.) (РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 622).

³⁵ См.: *Гиллельсон М. И.* Литературная политика царизма после 14 декабря 1825 г. С. 197—198.

³⁶ См.: Там же. 199—203.

В. С. Ланской, генерал-адъютант И. В. Васильчиков, управляющий Министерством внутренних дел граф К. В. Нессельроде, генерал-адъютант Бенкендорф, сенатор С. С. Уваров и действительный статский советник Д. В. Дашков; они должны были подготовить переработанный вариант устава. По результатам первого собрания, состоявшегося 15 ноября 1826 г., Дашков представил императору докладную записку «О цензурном уставе», в которой, в частности, предложил план нового устава³⁷.

Сокращенный до 117 параграфов, 40 из которых были посвящены цензуре иностранной, новый устав был не без трудностей³⁸ утвержден 22 апреля 1828 г.³⁹. Он был существенно смягчен по сравнению с предыдущим. Так, например, в отличие от устава 1826 г., цензор теперь должен был «принимать всегда за основание явный смысл речи, не позволяя себе произвольного толкования оной в дурную сторону» (§ 6); в § 15 было сказано, что цензура «не имеет права входить в разбор справедливости или неосновательности частных мнений и суждений писателя <...> не должна поправлять слога или замечать ошибки автора в литературном отношении». Однако еще семь месяцев негласно продолжал действовать старый устав – в большой мере из-за попустительства министра народного просвещения К. А. Ливена (1767—1844), не принявшего нового устава. Только после вмешательства А. Х. Бенкендорфа, отреагировавшего на многочисленные жалобы растерянных цензоров, время цензурного двоевластия закончилось: для этого потребовалось закрыть в ноябре 1828 г. Главный цензурный комитет и открыть вместо него Петербургский⁴⁰.

В результате происшедшей в середине 1820-х гг. реорганизации цензурного аппарата, значительно увеличившего свой штат, цензурная деятельность стала

³⁷ Оpubл.: Там же, 204—206.

³⁸ Ввиду разгоревшейся полемики между защитниками и противниками нового устава, Временный комитет по разработке его проекта был 19 октября 1827 г. закрыт Николаем I, в связи с чем в точности неизвестно, кто стал автором окончательной редакции устава 1828 г.; Гиллельсон называет в качестве возможных авторов Н. И. Греча, Д. В. Дашкова, В. Ф. Одоевского (см.: Там же. С. 207—215).

³⁹ См.: Устав о цензуре : Утв. 22 апр. 1828 г. : С прил. Штатов и Положения о правах сочинителей. СПб., 1829. В тот же день был принят устав о духовной цензуре: фактически существовавшая с XVII в., она впервые подверглась регламентации (см.: *Гринченко Н. А., Патрушева Н. Г., Раскин Д. И.* Цензура в России XIX—начале XX вв. // *Русские писатели (1800—1917) : Биографический словарь.* М., 2007. Т. 5. С. 781—782).

⁴⁰ См.: Дело о закрытии Главного цензурного комитета (РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 750); Дело об открытии Петербургского цензурного комитета и о распределении периодических изданий между цензорами (Там же. Д. 752).

профессией, как правило, не совмещаемой с какой-либо другой службой и потому гораздо выше, чем раньше, оплачиваемой⁴¹.

Относительная либеральность нового устава расходилась с реальной практикой едва ли не больше, чем после принятия устава 1804 г. Причин тому несколько.

Одна из них связана с определением ответственности цензора: за пропуск предосудительных мест ему грозило увольнение, а в особо тяжких случаях (попавшие в печать высказывания против Церкви или верховной власти) — лишение всех прав и даже каторжные работы. В то же время допущенная цензором излишняя строгость не предполагала никаких карательных мер⁴².

Другая причина заключалась в том, что отличительной особенностью устройства цензурного аппарата стала множественность его подразделений. В соответствии с уставом, общая внутренняя и иностранная цензуры находились в ведении входящего в состав Министерства народного просвещения Главного управления цензуры (§§ 4—5), но вместе с тем свои собственные комитеты были сформированы при III Отделении, Министерстве Двора, Почтовом ведомстве, Главном штабе, Сенате, Синоде, Министерстве внутренних дел и т. д.; в дальнейшем такая дробность лишь увеличивалась⁴³. Эта ситуация закономерно привела к тому, что та часть устава, в которой были прописаны цели и правила цензурирования, становилась формальной: каждое ведомство при просмотре сочинений решало свои собственные задачи.

Наглядным примером подобной политики может служить театральная цензура. Согласно § 23 (п. 11) — и в соответствии с наметившейся еще в 1810-е гг. тенденцией, — цензура драматических произведений, предназначенных для постановки на сцене, переходила под надзор III Отделения⁴⁴; во время театральных представлений в зале в

⁴¹ Например, с 1826 г. годовое жалование цензоров Главного комитета стало составлять 3000 против прежних 1300 (см.: Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. С. 188). С 1828 г. дополнительное жалование за исправление обязанностей внутренних цензоров стали получать и университетские профессора и адъюнкты (см.: *Гринченко Н. А.* Цензорное ведомство и его чиновники (1804–1863) // *Цензура в России: история и современность.* СПб., 2013. Вып. 6. С. 197).

⁴² См.: *Гринченко Н. А., Патрушева Н. Г., Раскин Д. И.* Цензура в России XIX—начале XX вв. С. 779.

⁴³ См.: *Скабичевский А. М.* Очерки истории русской цензуры. С. 220–223; *Соловьев П. К.* Ведомственная цензура в России при Николае I // *Вопросы истории.* 2004. № 7. С. 139–145.

⁴⁴ В дальнейшем роль III Отделения в делах цензуры будет усиливаться: так, с 1832 г. в состав членов Главного управления цензуры будет входить — кроме президентов академий, товарища министерства народного просвещения, министров внешних и внутренних дел — должностное лицо, представляющее Отделение.

обязательном порядке дежурили полицейские чины⁴⁵. Обязанности театрального цензора долгое время (в 1828—1841 гг.) ревностно исполнял Е. И. Ольдекоп⁴⁶, по иронии судьбы уволенный за пропуск пьесы И. Е. Великопольского «Янетерский»⁴⁷. Драматическая цензура руководствовалась собственными, неписанными (если не считать отдельных рапортов) правилами, умело обходящими букву закона. Так, например, согласно § 14 устава 1828 г., цензура позволяет печатать сочинения, «в коих под общими чертами осмеиваются пороки и слабости, свойственные людям в разных возрастах, званиях и обстоятельствах жизни»⁴⁸ — но на театральной сцене «порокам» и «слабостям» (как и многому другому) места не было⁴⁹. В то же время истории известны счастливые (и вместе с тем неожиданные) исключения: так, отдельные сцены комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»⁵⁰ уже с 1829 г. успешно ставились на сцене — и до 1832 г. комедия оставалась наиболее часто представляемой в Петербурге пьесой⁵¹, между тем как печатное издание на русском языке появилось — не без трудностей и сопротивления цензуры — лишь в 1833 г.⁵² Позднее, в 1836 г., без препон была поставлена в Александровском театре комедия Н. В. Гоголя «Ревизор», из ее текста цензурой были изъяты лишь те места, которые могли смутить религиозное чувство⁵³. Своим появлением на театральной сцене эти комедии обязаны заступничеству Николая I⁵⁴ (к слову, благодаря ему же «Горе от ума» было

⁴⁵ См.: *Денисенко С. В.* Театр // Быт пушкинского Петербурга. С. 303. От цензуры были избавлены лишь придворные спектакли, дававшиеся в Эрмитажном театре (Там же).

⁴⁶ См. о нем: *Мезьер А. В.* Словарь русских цензоров. С. 85—86; *Цензоры Российской империи.* С. 277.

⁴⁷ См.: *Добровольский Л. М.* Запрещенная книга в России, 1825—1904: Архивно-библиографические разыскания. М. 1962. С. 37—38; *Гринченко Н. А.* Цензурное ведомство и его чиновники: (1804—1863). С. 209.

⁴⁸ Устав о цензуре. СПб., 1829. С. 10. Курсив мой. — *А. П.*

⁴⁹ «Лейтмотив пожеланий драматической цензуры николаевского царствования по преимуществу оптимистический. Жизнь может поражать ужасом, окружающее общество — произволом, но драматурги должны давать публике одни лишь образчики благоустройства и нравственной чистоты» (*Дризен Н. В.* Драматическая цензура двух эпох: 1825—1881. СПб., 2017. Ч. 1. С. 23).

⁵⁰ Полностью (все четыре действия, но со значительными цензурными изъятиями) комедия была поставлена 26 января 1831 г. в Петербургском большом театре (см.: *Фомичев С. А.* Грибоедов: Энциклопедия. СПб., 2007. С. 126).

⁵¹ См.: *Kośny W. A. S. Griebedov — Poet und Minister. Die zeitgenössische Rezeption Komödie «Gore ot uma» (1824—1832).* Berlin, 1985. S. 369—370; *Фомичев С. А.* Грибоедов: Энциклопедия. С. 127.

⁵² См.: Там же. С. 123—127. Первое русское издание без цензурных купюр увидело свет лишь в 1862 г.

⁵³ См.: *Дризен Н. В.* Драматическая цензура двух эпох. С. 54.

⁵⁴ О других случаях прямого влияния Николая I на театральную жизнь см., например: *Дризен Н. В.* Драматическая цензура двух эпох. Ч. 1; *Высочков Л. В.* Император Николай I: Человек и государь. СПб., 2001. С. 509—530.

наконец издано⁵⁵) — и в этом проявилась еще одна важная особенность цензурной политики того времени: в целом ряде случаев (часто вопреки прописанным в уставе правилам) решение о запрете или разрешении того или иного сочинения оставалось за Николаем I. Примеры личного вмешательства императора многочисленны и общеизвестны: можно вспомнить и трагическую судьбу молодого поэта и студента Московского университета А. Полежаева, который за сатирическую поэму «Сашка» был унтер-офицером отправлен на военную службу, а после попытки побега разжалован в солдаты⁵⁶, и особые отношения, которые связывали императора с Пушкиным, цензором которого он был⁵⁷, с Лермонтовым⁵⁸, Гоголем⁵⁹ и др. В этом Николай I уподоблялся

⁵⁵ См.: *Грибоедов А. С.* Полн. собр. соч.: В 3 т. СПб., 1995. Т. 1. С. 283 (коммент. А. Л. Гришунина).

⁵⁶ См.: *Воронин И. Д.* А. И. Полежаев: Жизнь и творчество. Саранск, 1979. С. 102–134; *Васильев Н. Л.* 1) Летопись жизни и творчества А. И. Полежаева // Материалы Международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения А. И. Полежаева (22–24 сент. 2004 г., Саранск); Материалы к научной биографии поэта. Саранск, 2005. С. 245–368; 2) Кто предал Полежаева? // Там же. С. 437–440.

⁵⁷ См., например: *Сухомлинов М. И.* Император Николай Павлович — критик и цензор сочинений Пушкина // Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Т. 2. С. 207–246; Дела III Отделения Собственной его императорского величества канцелярии об Александре Сергеевиче Пушкине. СПб., 1906. С. 19–261; *Лемке М. К.* Николаевские жандармы и литература. 1826–1855 гг. СПб., 1908. С. 468–526; *Щеголев П. Е.* Пушкин и Николай I // Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. М.—Л., 1931. С. 85–92, 95–99, 111–115, 122–126; *Зенгер Т. Г.* Николай I — редактор Пушкина // Литературное наследство. М., 1934. Т. 16–18. С. 513–536; *Данилов В. В.* Документальные материалы об А. С. Пушкине: Краткое описание // Бюллетень Рукописного отдела Пушкинского Дома. М.; Л., 1956. Т. 6. С. 82–90; *Левкович Я. Л.* К цензурной истории «Путешествия в Арзрум» // Временник Пушкинской комиссии. 1964. Л., 1967. С. 34–37; *Петрунина Н. Н.* Вокруг «Истории Пугачева» // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1969. Т. 6. С. 229–251. В апреле 1834 г. Пушкин добился разрешения общей цензуры для своих произведений, но после появления в печати поэмы «Анджело», которая в результате просмотра ее Уваровым лишилась восьми стихов, он перестал питать какие бы то ни было иллюзии — и уже 26 мая того же года отправил «Повести, изданные Александром Пушкиным» управляющему III Отделением А. Н. Мордвинову, хотя первоначально планировал послать книгу цензору А. В. Никитенко (см.: А. С. Пушкин: Документы к биографии: 1830–1837 / Сост. С. В. Березкина, В. П. Старк; подгот. текстов С. В. Березкиной, И. В. Васильевой, А. В. Дубровского и др.; примеч. С. В. Березкиной. СПб., 2010. С. 400–401, 420–421).

⁵⁸ См.: *Лемке М. К.* Николаевские жандармы и литература. 1826–1855 гг. С. 110–112; *Герштейн Э. Г.* Судьба Лермонтова. М., 1986. С. 3, 6–8, 26–35, 51–52, 61–71, 255–321; *Андреев-Кривич С.* Два распоряжения Николая I // Литературное наследство. М., 1952. Т. 58. С. 411–430; *Именитова М. А.* Николай I о М. Ю. Лермонтове // Вопросы архивоведения. 1964. № 4. С. 91–92; *Эйхенбаум Б. М.* Николай I о Лермонтове // Эйхенбаум Б. М. О прозе. Л., 1969. С. 423–426.

⁵⁹ *Лемке М. К.* Николаевские жандармы и литература. 1826–1855 гг. С. 134–136, 169–171, 221–227; *Дризен Н. В.* Драматическая цензура двух эпох. С. 55–57; *Зайцева И. А.* К цензурной и сценической истории первых постановок «Ревизора» Н. В. Гоголя в

монарху XVIII века, который по большому счету выступал в роли «высочайшего читателя» — главного цензора Российской империи.

С восшествием на престол Николая I трудные времена настали для периодических изданий. Уже в конце 1820-х гг. становилось все более сложным получить позволение на издание новых газет и журналов⁶⁰; с 1830-х гг., после революционных событий в Европе, ситуация особенно ужесточилась (например, стало запрещено публиковать статьи без подписи автора⁶¹); были закрыты «Литературная газета» (1831)⁶² и журнал «Европеец» (1832)⁶³. С 1832 г. для издания нового журнала требовалось личное одобрение Николая I.

Нападки на журналы усилились при новом и весьма деятельном министре народного просвещения С. С. Уварове (1786—1855), занявшем этот пост в 1833 г.⁶⁴ После посещения в 1832 г. Московского университета он, тогда еще товарищ министра, 4 декабря того же года предоставил отчет⁶⁵, в котором обосновывал необходимость введения более строгих правил цензуры тем, что студентов следует оградить от вредных европейских идей, подрывающих «хранительные начала православия, самодержавия и народности». Особую опасность представляли, по мнению Уварова, периодические издания; большое неудовольствие вызвали журналы «Московский телеграф» Н. А. Полевого, а также «Молва» и «Телескоп» Н. И. Надеждина. Вступив на должность министра народного просвещения, Уваров перешел от слов к делу: в 1834 г. и 1836 г. соответственно эти издания были закрыты⁶⁶. Много хлопот цензура доставила редактору

Москве и Петербурге (по архивным источникам) // Гоголь: Материалы и исследования. М., 1995. С. 118—135.

⁶⁰ См.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины»: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. М., 1986. С. 175—193.

⁶¹ Предложения министра народного просвещения Московскому цензурному комитету (29 декабря 1830 г., 29 марта 1831 г., 8, 22 и 23 марта 1848 г.) // Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. С. 219.

⁶² См.: Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. С. 54—55; Галин Г. А. К истории запрещения «Литературной газеты» А. А. Дельвига // Из истории русской и зарубежной литературы : Сб. ст. и исслед. Саранск, 1964. С. 72—84.

⁶³ См.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». С. 87—103.

⁶⁴ О деятельности Уварова на посту министра народного просвещения см.: Виттекер Ц. Х. Граф Сергей Семенович Уваров и его время. СПб., 1999. С. 106—139, 148—217; Пайнс Р. Сергей Семенович Уваров : Жизнеописание. М., 2003. С. 30—43.

⁶⁵ См.: Уваров С. С. Отчет по обозрению Московского университета // Сб. постановлений Министерства народного просвещения. СПб., 1875. Т. 2. Отд. 1. Стб. 503—529.

⁶⁶ См.: Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826—1855. 411—448; Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». С. 104—134; Манн Ю. В. Русская философская эстетика. М., 1998. С. 98—102; Березина В. Г. Из цензурной истории журнала «Московский телеграф» // Русская литература. 1982. № 4. С. 164—173; Бадалян

«Библиотеки для чтения» О. И. Сенковскому: общее направление этого издания не соответствовало представлениям Уварова о высоких роли и назначении периодических изданий⁶⁷. Выступал министр народного просвещения и против переводных романов, особенно французских, а также дешевых изданий, доступных (как в финансовом, так и в содержательном отношении) самой широкой, порой полуграмотной публике. Например, в 1834 г. князю В. В. Львову Главным правлением училищ было запрещено издание книг для простонародья, в которых бы в доступной форме давались сведения о религии и российском правительстве⁶⁸. В 1836 г. член Главного управления цензурой Ф. И. Бруннов⁶⁹ предложил ставить двух цензоров на каждый журнал — и эта инициатива была Уваровым одобрена⁷⁰; кроме того, было запрещено одному лицу издавать больше одного журнала.

Справедливости ради стоит сказать, что министр народного просвещения не только закрывал вредные с его точки зрения издания (или значительно усложнял их существование), но и ходатайствовал перед Николаем I об открытии новых — например, научного журнала Харьковского университета или «Русского сборника», который был задуман А. А. Краевским и В. Ф. Одоевским⁷¹.

Формально устав о цензуре 1828 г. потеряет юридическую силу лишь 27 апреля 1917 г., вместе с упразднением цензуры и наступившим недолгим периодом полной свободы печати⁷². Но на практике и структура цензурного аппарата, и принципы цензурирования претерпят до этого момента еще множество изменений.

Д. А. С. С. Уваров и журнальная борьба 1830–1840-х гг. // Тетради по консерватизму. 2018. № 1 (март). С. 51–66.

⁶⁷ См.: *Каверин В. А.* Барон Брамбеус : История Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения». М., 1966. С. 56—61, 63—64, 184—186.

⁶⁸ См.: *Виттекер Ц. Х.* Граф Сергей Семенович Уваров и его время. С. 136.

⁶⁹ См. о нем: *Цензоры Российской империи.* С. 108.

⁷⁰ См.: *Щебальский П. К.* Исторические сведения о цензуре. С. 46.

⁷¹ Ю. Г. Оксманом было выдвинуто предположение, что «Русский сборник» был задуман в пику «Современнику», с издателем которого, Пушкиным, у его сотрудников Одоевского и Краевского назрел конфликт; соответственно, Уваров мог ходатайствовать за издание журнала прежде всего из желания свести счеты с раздражавшим его поэтом (Неизданные письма к Пушкину : Письма П. А. Вяземского, К. Ф. Калайдовича, А. А. Краевского, В. Ф. Одоевского / Публ. В. Ерофеева, Ю. Оксмана, Ф. Приймы // Литературное наследство. М., 1952. Т. 58. С. 290–295). Позднее эта версия была опровергнута (см.: *Турьян М. А.* Из истории взаимоотношений Пушкина и В. Ф. Одоевского. // Пушкин : Исследования и материалы. Л., 1983. Т. 11. С. 174–191; *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Сквозь «умственные плотины». С. 190, 192–193).

⁷² *Гринченко Н. А., Патрушева Н. Г., Раскин Д. И.* Цензура в России XIX—начала XX вв. С. 788.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ЭПОХИ ЗОЛОТОГО ВЕКА

В статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов», открывавшей альманах «Полярная звезда» на 1825 г., А. А. Бестужев отмечал одну из характеристических черт новой русской словесности: «...у нас век разбора предыдет веку творения; у нас есть критика и нет литературы...»¹. Это утверждение вызвало возражение Пушкина. «Где же ты это нашел? – писал он Бестужеву в конце мая – начале апреля 1825 г. из Михайловского, – именно критики у нас и недостает. <...> Мы не имеем ни единого комментария, ни единой критической книги. <...> Что же ты называешь критикою? “Вестник Европы” и “Благонамеренный”? библиографические известия Греча и Булгарина? свои статьи? но признайся, что это все не может установить какого-нибудь мнения в публике, не может почестся уложением вкуса. Каченовский туп и скучен, Греч и ты остры и забавны – вот всё, что можно сказать об вас – но где же критика? Нет, фразу твою скажем наоборот; литература кой-какая у нас есть, а критики нет»². «Кой-какая» литература в России, действительно, уже была, о чем свидетельствовал и сам «Взгляд...» Бестужева, где литературные новинки истекшего года представлены, в числе прочего, X и XI томами «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, новым собранием стихотворений В. А. Жуковского, «Бахчисарайским фонтаном», первой главой «Евгения Онегина» и «Цыганами» (правда, еще не изданными) Пушкина, «Думами» и «Войнаровским» К. Ф. Рыльева, «Чернецом» И. И. Козлова, баснями И. А. Крылова, «Простонародными песнями нынешних греков» Н. И. Гнедича. Однако была также и критика, которая, хотя и не могла пока «установить какого-нибудь мнения в публике», но уже оказывала вполне определенное влияние на литературу. Вопрос в том, что называл критикой Пушкин. Из его слов следует, что Пушкин не имеет в виду ни текущую литературную полемику, ни частные мнения рецензентов по поводу литературных новинок. Он говорит о «комментариях» и «критических книгах», содержащих тот широкий подход к эстетическим проблемам, который способствовал бы «уложению вкуса» читающей публики. Эта критика в 1825 году только зарождалась.

¹ Полярная звезда. Изданная А. Бестужевым и К. Рылевым / Изд. подгот. В. А. Архипов, В. Г. Базанов и Я. Л. Левкович. М.; Л., 1960. С. 488 (серия «Литературные памятники»).

² Пушкин. Полн. собр. соч. М.; Л., 1937. Т. 13. С. 177–178.

По мнению В. Г. Белинского, разговор об истории отечественной критики надо начинать с Н. М. Карамзина (1766–1826), который «в своем “Московском журнале”, а потом в “Вестнике Европы” <...> первый дал русской публике истинно-журнальное чтение, где <...> были не только образцы легкого светского чтения, но и образцы литературной критики...»³. Впрочем, отдавая должное заслугам Карамзина, Белинский невысоко оценивал критическую мысль карамзинского периода, когда «на сочинения смотрели исключительно со стороны языка и слога» и рецензенты ограничивались разбором «частных достоинств», «выписывали лучшие или худшие места, восхищались ими, а на целое сочинение, на его дух и идею не обращали никакого внимания»⁴. Такой «стилистический» подход безусловно доминировал долго, почти до начала 1820-х гг. Значение же первого десятилетия XIX в. надо видеть в расширении сферы рецензионной критики, шедшем параллельно с развитием журнальной словесности.

Выход в январе 1802 г. первого номера карамзинского «Вестника Европы», литературно-политического журнала, ориентированного на европейские образцы, знаменовал начало новой эпохи русской литературной жизни, практически замершей в Павловское царствование. При этом в плане «Вестника Европы» отдел критики как раз отсутствовал, что отражало мнение Карамзина об ее «несвоевременности» для русской литературы. «...Точно ли критика научает писать? Не гораздо ли сильнее действуют образцы и примеры? – задавался он вопросом в открывавшем журнал «Письме к издателю». – <...> Пиши, кто умеет писать хорошо: вот самая лучшая критика на дурные книги»⁵. В обращении к читателям с анонсом издания журнала на следующий, 1803-й, год Карамзин вновь писал: «Что принадлежит до критики новых русских книг, то мы не считаем ее истинною потребностью нашей литературы (не говоря уже о неприятности иметь дело с беспокойным самолюбием людей). В авторстве полезнее быть судимым, нежели судить. Хорошая критика есть роскошь литературы: она рождается от великого богатства, а мы еще не Крезы. Лучше прибавить что-нибудь к общему имени, нежели заняться его оценкою. Впрочем, не закаиваемся говорить иногда о *старых* и *новых* русских книгах; только не входим в решительное обязательство быть критиками»⁶.

³ Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 7. С. 135 (вторая статья о Пушкине, 1843). Разумеется, Белинский не отрицал существование критических опытов в литературе XVIII столетия. Ранее, во второй статье о «Речи о критике» А. В. Никитенко (1842), он подробно разбирал творчество А. П. Сумарокова, который «писал во всех родах; он же был и первым русским критиком, ибо первый, так или сяк, выражал печатно свои понятия об искусстве и литературе» (Там же. Т. 6. С. 298).

⁴ Там же. Т. 7. С. 302 (пятая статья о Пушкине, 1844)

⁵ Карамзин Н. М. Соч.: В 2 т. М.; Л., 1984. Т. 2. С. 116.

⁶ Там же. С. 127–128.

Не появился критический отдел в журнале и при ближайших преемниках Карамзина – П. П. Сумарокове (1765–1814) в 1804 г. и М. Т. Каченовском (1775–1842), издававшем «Вестник» в 1805–1807 гг. В. А. Жуковский (1783–1852), ставший издателем журнала в 1808 г. в «Письме из уезда к издателю» (1808. Ч. 37, № 1) от лица персонажа Стародума близко повторил карамзинские сентенции: «...какую пользу может приносить в России критика? Что прикажете критиковать? Посредственные переводы посредственных романов? Критика и роскошь – дочери богатства, а мы еще не Крезы в литературе! <...> Одним словом, в русском журнале критика не может занимать почетного места...»⁷.

Не так думали издатели других журналов, начавших появляться вслед за «Вестником». П. И. Макаров (1764–1804), убежденный приверженец Карамзина, в своем «Московском Меркурии» (1803) выказал себя неутомимым рецензентом (50 рецензий за год), часто острым и оригинальным. На страницах «Северного вестника» (1804–1805) И. И. Мартынова (1771–1833), также регулярно помещавшего критические отзывы о новых книгах, в пользу рецензирования текущей литературы выступил А. А. Писарев (1780, 1781 или 1782 – 1848): «Многие еще говорят, что как наша словесность едва вышла из колыбели, то не лучше ли дать ей время еще *развить*, так сказать, свои способности. На это можно отвечать, что помощью спасительных советов рецензии словесность наша может скорее и надежнее укрепляться при своем усовершенствовании; рецензия пролагает ей дорогу, по которой она смелыми шагами идет к своей цели»⁸. Издатель «Журнала российской

⁷ Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 2012. Т. 12: Эстетика и критика. С. 178–179. Критический раздел появился в «Вестнике Европы» только при вынужденном изменении в плане журнала, после того как в августе 1809 г. вышло запрещение печатать политические известия во всех повременных изданиях, кроме официальных Санкт-Петербургских и Московских «Ведомостей». С первого сентябрьского номера (№ 17) из журнала был исключен раздел «Политика», с № 21 появился раздел «Науки и искусства», включающий «Эстетику» и «Критику». С этого же номера соредактором Жуковского становится вернувшийся в журнал Каченовский, которому с 1811 г. Жуковский полностью передаст «Вестник». Здесь же, в № 21, Жуковский печатает статью «О критике. (Письмо к издателям “Вестника Европы”», где, вопреки прежним своим мнениям, высказывается в пользу критики, распространяющей «истинные понятия вкуса» и могущей служить «Ариадниною нитью» рассудку и чувству читателей, которые «без того потерялись бы в лабиринте беспорядочных понятий и впечатлений» (Там же. С. 249). Спустя несколько лет В. В. Измайлов (1773–1830), издававший «Вестник» в 1814 г. из-за болезни Каченовского, вновь «изгнал» критику из журнала: «Что касается собственно до критики новых книг <...> признаемся, что польза кажется нам сомнительною, а труд критика неблагодарным» (Измайлов В. В. К читателям «Вестника» от Издателя // Вестник Европы. 1814. Ч. 73, № 1. С. 6).

⁸ Статья «Рассмотрение всех рецензий, помещенных в ежемесячном издании под названием “Московский журнал”, изданный на 1797 и 1799 год Н. М. Карамзиным» (1804. Ч. 3, № 8) цит. по: Литературная критика 1800–1820-х годов / Статья, сост., примеч. и подгот текста Л. Г. Фризмана. М., 1980. С. 49.

словесности» (1805) Н. П. Брусилов (1782–1849), пересказывая слова Карамзина о критике, возражал: «...она более всего очищает и усовершенствует вкус»⁹. Впрочем, критический материал в журналах первых лет Александровского царствования был довольно скуден и печатался нерегулярно. Да и самим изданиям, кроме «долгожителя» русской журналистики – «Вестника Европы», редко удавалось набрать сколько-нибудь значимое число подписчиков и продержаться больше года. При ограниченности аудитории такая категория как «читательское мнение» могла не приниматься во внимание – критика рассматривается в этот период, главным образом, с точки зрения ее пользы для авторов и для развития литературы¹⁰.

Критический нерв первого десятилетия XIX в. проходит через так называемую полемику о «старом» и «новом» слоге или, в номинации, предложенной Ю. Н. Тыняновым и прочно закрепившейся в научной традиции, противостояние «архаистов» и «новаторов». Разные аспекты этого противостояния в настоящее время почти исчерпывающе изучены¹¹. В 1803 г. А. С. Шишков (1754–1841) напечатал свое «Рассуждение о старом и новом слоге русского языка», направленное против языковой реформы, проводившейся Карамзиным в его произведениях 1790-х гг., но к моменту выхода книги Шишкова довольно слабо теоретизированной (Шишков полемически апеллирует собственно лишь к карамзинской статье «Отчего в России мало авторских талантов?» и его краткой биографии Кантемира). С критикой на книгу Шишкова в «Московском Меркурии» выступил П. И.

⁹ Статья «Нечто о критике» (1805. Ч. 1, № 1) цит. по: Литературная критика 1800–1820-х годов. С. 56.

¹⁰ На общем фоне выделяется позиция П. И. Макарова, неоднократно заявлявшего: «...наша критика не для авторов и переводчиков, а единственно *в пользу тех любителей чтения, которые для выбора книг не имеют другого руководства, кроме газетных объявлений*» (Макаров П. И. «Сочинения и переводы Ивана Дмитриева» // Московский Меркурий. 1803. Ч. 4, № 10. С. 70). Характерно и возражение А. А. Писарева: «...всякий журналист, если рассматривает какую-нибудь книгу, то обязан писать рецензию или критику единственно для авторов и переводчиков, дабы некоторых из них усовершенствовать в сочинениях и переводах» (Писарев А. А. Разбор рецензий «Московского Меркурия» // Северный вестник. 1804. Ч. 3, № 9. С. 295).

¹¹ См.: Тынянов Ю. Н. Архаисты и Пушкин // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968. С. 23–121; Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. С. 77–98; Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры. («Происшествие в царстве теней, или Судьбина русского языка» – неизвестное сочинение Семена Боброва) // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 446–600; Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996. С. 419–456; Альтишуллер М. Г. Беседа любителей русского слова: У истоков русского славянофильства. 2-е изд., доп. М., 2007. С. 24–62. В этих работах дана и подробная библиография вопроса.

Макаров, изложив в своем ответе основные тезисы концепции «нового слога»¹². Еще одна полемическая реплика прозвучала в «Письме от неизвестного» со страниц «Северного вестника» (1804. Ч. 1, № 1)¹³. Шишков отвечал своим критикам в «Прибавлении к сочинению, называемому “Рассуждение о старом и новом слоге российского языка”» (СПб., 1804).

Отправным пунктом разногласий был, казалось бы, чисто лингвистический вопрос – отношение к церковнославянскому языку: для карамзинистов это особый книжный язык, смешение которого с русским производит языковую нечистоту. Язык непрерывно развивается вместе с обществом, нравами и науками. «...Разделяя слог наш на эпохи, *первую* должно начать с Кантемира, *вторую* – с Ломоносова, *третью* – с переводов славяно-русских господина Елагина и его многочисленных подражателей, а *четвертую* – с нашего времени, в которое образуется *приятность слога*», – пишет Карамзин в биографии Кантемира, помещенной в изданном П. Н. Бекетовым «Пантеоне российских авторов» (1802), обозначая свой разрыв с предшествующей языковой традицией¹⁴. Языковая модель Карамзина ориентирована на французскую XVII в.: кодификация нового языка должна происходить на основе разговорного языка хорошего общества (который, впрочем, в России еще тоже предстоит создать): «Русский кандидат авторства, недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершеннее узнать язык. Тут новая беда: в лучших домах говорят у нас более по-французски! <...> Что ж остается делать автору? Выдумывать, сочинять выражения; угадывать лучший выбор слов; давать старым некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи, но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения!»¹⁵. Для Шишкова такая позиция неприемлема: книжный язык (русско-церковнославянское языковое единство) противопоставляется разговорному как идеальная языковая практика реальной, испорченной. «...Славенский язык есть корень и основание российского языка, он сообщает ему богатство, разум, силу, красоту. Итак, в нем упражняться и из него почерпать должно искусство красноречия, а не из Боннетов, Волтеров, Юнгов, Томсонов и других иностранных сочинителей, о которых писатели наши на каждой странице твердят и,

¹² См.: Макаров П. И. Критика на книгу под названием «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», напечатанную в Петербурге, 1803 года // Московский Меркурий. 1803. Ч. 4, № 12. С. 155–198. Последний номер «Московского Меркурия» за 1803 г., в котором напечатана критика Макарова, вышел в апреле 1804 г.

¹³ Автором статьи, подписанной: «А.–З.», по-видимому, был Д. И. Языков (см.: Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века. С. 80).

¹⁴ Карамзин Н. М. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 105.

¹⁵ Там же. С. 124 (статья «Отчего в России мало авторских талантов?» – Вестник Европы. 1802. Ч. 4, № 14).

учась у них русскому на бред похожему языку, с гордостью уверяют, что *ныне образуется токмо приятность нашего слога*»¹⁶.

Карамзинисты принципиально космополитичны: «...в отношении к обычаям и понятиям мы теперь совсем не тот народ, который составляли наши предки; следственно, хотим сочинять фразы и производить слова по *своим* понятиям *нынешним*, умствуя как французы, как немцы, как все нынешние просвещенные народы»; «чем народы просвещеннее, тем они сходнее»¹⁷. Шишков – ревнитель национальных начал и яростный противник французской культуры: за чтением французских книг для него неумолимо встает тень революции и социального неурядиства.

Эта охранительная составляющая шишковской литературной позиции усиливалась на протяжении 1800-х гг., в годы военного противостояния с наполеоновской Францией, находя опору в росте франкофобии в русском обществе. В «Переводе двух статей из Лагарпа, с примечаниями переводчика» (СПб., 1808)¹⁸ и в «Рассуждении о красноречии Священного Писания», прочитанном 3 декабря 1810 г. в торжественном собрании Российской Академии, Шишков, повторяя основные положения своей концепции, заостряет ее «политическую» направленность: словесность «всегда и у всех народов была

¹⁶ Шишков А. С. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка // Шишков А. С. Собр. соч. и переводов. СПб., 1824. Ч. 2. С. 81.

¹⁷ Макаров П. И. Критика на книгу под названием «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка». С. 169–170, 161–162. См. в письме Карамзина к И. И. Дмитриеву 20 сентября 1798 г. о желании написать похвальное слово Петру I: «...надлежало бы доказать, что Петр самым лучшим образом просвещал Россию; что изменение народного характера, о котором твердят нам его критики, есть ничто в сравнении с источником многих новых благ, открытых для нас Петровою рукою» (Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву / С примеч. Я. Грота и Н. Пекарского. СПб., 1866. С. 102); ранее в «Письмах русского путешественника»: «Все жалкие *иеремиады* об изменении русского характера, о потере русской нравственной физиогномии или не что иное как шутка, или происходят от недостатка в основательном размышлении. Мы не таковы, как брадатые предки наши: тем лучше! <...> Все *народное* ничто перед *человеческим*. Главное дело быть *людьми*, а не славянами» (Карамзин Н. М. Письма русского путешественника / Изд. подгот. Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 1987. С. 254 (серия «Литературные памятники»)).

¹⁸ Перевод двух отрывков из «Лицея, или Курса древней и новой литературы» («Lycée, ou Cours de littérature ancienne et moderne») Ж.-Ф. Лагарпа (de La Harpe, 1739–1803) – «Сравнение французского языка с древними языками» («De la langue française, comparée aux langues anciennes») и «О красноречии и фигурах» («De l'Elocution et des Figures»). Отмечалось, что выбор для перевода именно Лагарпа не случаен. Шишков видел в нем идейного соратника: близкий в свое время к кругу энциклопедистов, Лагарп под влиянием событий Французской революции стал ярким противником просветителей (см.: Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века. С. 83–84; «Арзамас»: Сб. в 2 кн. / Под общ. ред. В. Э. Вацура, А. Л. Осповата. М., 1994. Кн. 2. С. 454, примеч. Л. Н. Киселевой).

мерилом образа мысли и нравов их», тем опаснее влияние на русских писателей новой французской литературы, возникшей, когда «чудовищная французская революция» попала «все, что основано было на правилах веры, чести и разума»¹⁹; «..желание некоторых новых писателей сравнить книжный язык с разговорным, то есть сделать его одинаким для всякого рода писаний, не похоже ли на желание тех новых мудрецов, которые помышляли все состояния людей сделать равными?»²⁰. Оппонентом Шишкова на этот раз выступил представитель младшей генерации карамзинистов – Д. В. Дашков (1788–1839), который в своем разборе «Перевода двух статей из Лагарпа», напечатанном в петербургском журнале «Цветник» (1810. № 11, 12), опроверг его лингвистические построения, уличил в ошибках против русского языка и еще раз проговорил основные положения карамзинистской программы. На публикацию «Рассуждения о красноречии Священного Писания» с полемическим «присовокуплением»²¹, содержащим резкие выпады Шишкова в адрес своих критиков²², Дашков отвечал брошюрой «О легчайшем способе возражать на критики» (СПб., 1811), где, среди прочего, прямо обвинил противника в искажении чужих мнений и доносительном тоне.

Впрочем, критика в 1800-е и первую половину 1810-х гг. составляет не самую значительную и не самую яркую часть литературного противостояния «карамзинистов» и «шишковистов» (в номинации их противников – «славенофилов» или «варяго-россов»). Основная борьба происходила на поле самой литературы – в эпиграммах, сатирах, стихотворных сказках и памфлетах, печатавшихся в журналах или распространявшихся рукописно, и даже на театральных подмостках. Произошла и институализация борющихся партий – оплотом «архаистов» стала созданная Г. Р. Державиным и Шишковым в 1811 г. «Беседа любителей русского слова», молодое поколение карамзинистов объединилось несколькими годами позднее в литературное общество «Арзамас».

Полемика о «старом» и «новом» слоге определила содержание двух десятилетий русского литературного развития. «...Противостояние “архаистов” и “новаторов”, – по

¹⁹ Шишков А. С. Перевод двух статей из Лагарпа, с примечаниями переводчика // Шишков А. С. Собр. соч. и переводов. Ч. 3. С. 257.

²⁰ Шишков А. С. Рассуждение о красноречии Священного Писания // Там же. Ч. 4. С. 74.

²¹ В 1811 г. в 5-й части «Сочинений и переводов, издаваемых Императорской Российской академией» и отдельным изданием.

²² Например: «...сии судьи и стихотворцы в посланиях своих взывают к Виргилиям, Гомерам, Софоклам, Еврипидам, Горациям, Саллустиям, Фукидидам, затвердя одни только имена их и, что всего удивительнее, научась благочестию в “Кандиде” и благонравию и знаниям в парижских переулках, с поврежденным сердцем и помраченным умом вопиют против невежества и, обращаясь к теням великих людей, толкуют о науках и просвещении» (Шишков А. С. Собр. соч. и переводов. Ч. 4. С. 102–103).

справедливому наблюдению Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского, – <...> представало в этот период как неизбежная альтернатива, по отношению к которой невозможно было оставаться нейтральным. Любая литературная позиция так или иначе вписывалась (в сознании эпохи) в эти рамки»²³. Так, В. Л. Пушкин, прочитав в 1816 г. в петербургском журнале статью незнакомого ему до этого автора, моментально определяет его «принадлежность» и спаршивает Н. И. Гнедича: «Откуда взялся рыцарь Грибоедов? Кто воздоил сего кандидата Беседы пресловутой?»²⁴. Лицейское творчество молодого Пушкина все проникнуто духом «арзамасской партии». Еще несколько лет спустя В. К. Кюхельбекер будет прибегать к тем же категориям, говоря об изменении своих литературных взглядов в неопубликованной статье «Минувшего 1824 года военные, учебные и политические достопримечательные события в области российской словесности»: «Кюхельбекер передается славянофилам»²⁵.

В полемике 1810–1811 гг. оказался ясно очерчен один достаточно важный аспект шишковской языковой позиции. «Среднему стилю» карамзинистов, нивелирующему различие языковых регистров, Шишков противопоставляет стилистическую дифференциацию, в зависимости от рода и «важности» сочинения, основанную на сочетании «священного» и «народного» языков. Красоты последнего, который «часто в простоте своей скрывает сладкое для сердца и чувств просторечие»²⁶, современный автор может почерпнуть в «народных стихотворениях»²⁷. Взгляд на древнюю («младенческую») народную поэзию и язык как на источник понимания народного «духа» и на народность как важнейший компонент, определяющий «субъектность» нации в историческом пространстве сближают позицию русских «архаистов» с эстетической мыслью набравшего силу в Европе романтического движения. В определенном отношении роднит их с европейскими романтиками и неприятие просветительских концепций, и отчасти даже

²³ Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры. С. 463.

²⁴ Батюшков К. Н. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 398 (приписка В. Л. Пушкина к письму Батюшкова Н. И. Гнедичу от 17 августа 1816 г.).

²⁵ Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи / Изд. подгот. [М. Г. Альтшуллер], Н. В. Королева, В. Д. Рак. Л., 1979. С. 499 (серия «Литературные памятники»).

²⁶ Шишков А. С. Речь при открытии Беседы любителей русского слова // Шишков А. С. Собр. соч. и переводов. Ч. 4. С. 140. Достоинством «старинного русского стихотворства» посвящена также значительная часть шишковских «Разговоров о словесности между двумя лицами Аз и Буки» (СПб., 1811).

²⁷ О фольклористических интересах «шишковистов» см.: Альтшуллер М. Г. Беседа любителей русского слова. С. 272–290.

тяготение к церковной религиозности²⁸. В этой перспективе более архаичными выглядят как раз критические высказывания из лагеря «новаторов». «Сколь бы скептическим ни было отношение насмешливых арзамасцев к отдельным шишковистам, арзамасские шутки сохраняли привкус минувшего столетия, а национальные идеи архаистов вводили в круг тех проблем, которые волновали новую эпоху»²⁹.

Для Карамзина в 1794 г. ответ на вопрос: «Что суть искусство?» не вызывает затруднений: «Подражание натуре»³⁰. «Поэзию называют *подражанием природе*; цель ее – *нравиться* воображению, образуя рассудок и сердце...», – пишет в свою очередь Жуковский в 1809 г.³¹. Критические статьи Жуковского, напечатанные в 1809–1810 гг. в «Вестнике Европы» – рецензия на первую книгу басен И. А. Крылова (1809. Ч. 45, № 9) и «Критический разбор Кантемировых сатир, с предварительным рассуждением о сатире вообще» (1810. Ч. 49, № 3, 5, 6)³² – отражают характерное для эстетики карамзинизма «представление о том, что поэтический текст не устанавливает новые, еще неизвестные читателю правила, а реализует уже известные нормы»³³. Этим «нормам» Жуковский уделяет преимущественное внимание и в своих эстетических штудиях 1800-х гг., читая и конспектируя Ш. Баттё (Batteux, 1713–1780), Ж.-Ф. Лагарпа, Ж.-Ф. Мармонтеля (Marmontel, 1723–1799), Х. Блера (Blair, 1718–1800), И. Г. Зольцера (Sulzer, 1720–1779), И. И. Эшенбурга (Eschenburg, 1743–1820) и др.³⁴ «Вы соглашаетесь почитать полезным изучение образцов, – говорит один из собеседников в его «Двух разговорах о критике» (1809. Ч. 48. № 23), – спрашиваю: чего же ищет гений в образцах великих? Конечно, правил!»³⁵. Характерна в этом отношении оценка Жуковским Крылова. Жуковский не способен оценить масштаб басен Крылова как литературного явления, рассматривая его

²⁸ См., например, типологическую параллель, проводимую Лотманом и Успенским, между литературной позицией Шишкова и С. А. Ширинского-Шихматова и католическим романтизмом Ф.-Р. Шатобриана периода «Мучеников» и «Гения христианства» (Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры. С. 456).

²⁹ Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. С. 450.

³⁰ Карамзин Н. М. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 47 (статья «Нечто о науках, искусствах и просвещении»).

³¹ Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 12. С. 204 (рецензия на первую книгу басен И. А. Крылова).

³² В позднейших собраниях, начиная с 1818 г., печатались под заглавиями «О басне и баснях Крылова» и «О сатире и сатирах Кантемира».

³³ Лотман Ю. М. Поэзия 1790–1800-х годов // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 337.

³⁴ Сохранившиеся в бумагах Жуковского выписки и заметки при чтении см.: Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 12. С. 12–175.

³⁵ Там же. С. 258.

лишь как переводчика Лафонтена и явно ставя в этом отношении ниже И. И. Дмитриева. В обращении Крылова к стихии народной речи с ее фразеологизмами и непереводаемыми оборотами он, как верный «карамзинист», видит «погрешности против языка, выражения, противные вкусу»³⁶.

Отправляясь от того же круга авторов и той же, по сути нормализаторской, системы представлений XVIII столетия, формируются эстетические взгляды А. Ф. Мерзлякова (1778–1830), – несомненно, одной из самых значительных фигур в русской критике 1800-х гг. Публичная известность Мерзлякова, с 1804 г. занимавшего кафедру русского красноречия и поэзии в Московском университете, начинается в 1808 г. с выхода отдельным изданием «Слова о духе, отличительных свойствах поэзии первобытной и о влиянии, которая имела она на нравы, на благосостояние народов». В 1811 г. Мерзляков выступает при открытии Московского общества любителей российской словесности с речью «Рассуждение о российской словесности и нынешнем ее состоянии». В 1812 г. читает в доме князя Б. В. Голицына курс лекций по теории изящных наук³⁷. Прерванный войной, курс возобновился в конце 1815–1816 г.; Мерзляков перешел от теории к разбору образцов – сочинений лучших русских авторов. Сама публичность лекций Мерзлякова, слушателями которых были представители светского общества Москвы, означила некоторый рубеж в развитии русской критики – намечавшийся поворот от «автора» к «читателю» и, соответственно, к формированию общего мнения.

В изложении теории поэзии Мерзляков выступал популяризатором мнений своих европейских учителей: поэзия есть «подражание в гармоническом слоге – иногда верное, иногда украшенное – всему тому, что природа может иметь прелестного», цель поэта – «нравиться и занимать через подражание», сочинительство предполагает «многотрудное изучение правил», мерилom прекрасного является вкус, который «существует один и лучший», при всех своих «непостоянстве и уклонениях»³⁸ «рано или поздно возвращается в объятия своей матери – природы, рано или поздно покоряется тем законам, которые она ему предначертала»³⁹. Его разборы (трагедий А. П. Сумарокова и В. А. Озерова, оперы А. О. Аблесимова «Мельник», стихотворений Ломоносова и Державина), напротив,

³⁶ Там же. С. 217.

³⁷ В 1812 г. было прочитано 10 лекций, частично напечатанных в «Вестнике Европы» 1812–1813 гг. и «Амфионе» (1815. № 7). Реконструкцию курса см.: Русские эстетические трактаты первой трети XIX века: В 2 т. / Сост., вступ. статья и примеч. З. А. Каменского. М., 1974. Т. 1. С. 73–124.

³⁸ Это признание «непостоянства и уклонений» вкуса, видимо, было причиной того, что Мерзляков практически не выступал как рецензент текущей литературы.

³⁹ Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. Т. 1. С. 74, 85, 105, 110.

представляют собой новый для русской критики способ разбора литературного сочинения, которое рассматривается как целое, по возможности полно, в единстве его достоинств и погрешностей (хотя и состоящих для Мерзлякова, главным образом, в отступлении от «правил», то есть в искажении вкуса)⁴⁰. Наиболее ярко критический метод Мерзлякова проявился в напечатанном в издававшемся им в 1815 г. журнале «Амфион» цикле статей, посвященных поэме М. М. Хераскова «Россияда»⁴¹. «С Мерзлякова начинается новый период русской критики, – отмечал впоследствии Белинский, – он уже хлопотал не об отдельных стихах и местах, но рассматривал завязку и изложение целого сочинения, говорил о духе писателя, заключающемся в общности его творений»⁴².

Мерзляковский разбор «Россияды», имел еще одно далеко идущее следствие. Он показал, что русской литературой не решена проблема большой эпической формы, важнейшая для национального литературного самосознания, и вообще в ней отсутствует «классический корпус». «Ныне оставлены мнения столь высокопарные, сколь вредные успехам искусства, – писал В. К. Кюхельбекер (1797–1846) в статье «*Coup d'œil sur l'état actuel de la littérature russe*» («Взгляд на нынешнее состояние русской словесности») ⁴³. – Наши Виргилии, наши Цицероны, наши Горации исчезли; имена их идут рядом с почтенной древностью только в дурных школьных книгах. Наши литераторы уже принимают сторону здоровой критики: г. Мерзляков доказал первый, что Херасков, впрочем, весьма почтенный писатель, очень далек от того, чтобы быть вторым Гомером, и что самая лучшая поэма его далека даже от Вольтеровой “Генриады”»⁴⁴.

В отношении к основному литературному «разлому» эпохи Мерзляков никак не определял свою позицию. Определенные черты – признание безусловной ценности церковнославянского языка, дифференциация стилистических регистров, интерес к народной поэзии, и теоретический, и практический, выразившийся в создании собственных «народных песен»⁴⁵, – сближали ее со взглядами «шишковистов». Однако, Мерзляков радикально расходился с ними и сближался с «карамзинистами» в идее прогресса и социальной обусловленности языковых изменений. Язык, по его мнению, сам по себе «мертвый капитал»: «Пусть он древен – согласен; но должно думать, что древность его по

⁴⁰ Эта часть курса Мерзлякова частично была напечатана в виде отдельных статей в «Вестнике Европы» 1817 г.

⁴¹ Амфион. 1815. № 1–3, 5, 6, 8, 9.

⁴² Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 7. С. 302–303 (пятая статья о Пушкине).

⁴³ Le Conservateur impartial. 1817. № 77; в переводе М. Т. Каченовского: Вестник Европы. 1817. Ч. 95, № 17, 18.

⁴⁴ Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. С. 434.

⁴⁵ Составили впоследствии сборник «Песни и романсы» (М., 1830).

многим политическим обстоятельствам до некоторого времени была продолжительным младенчеством...»⁴⁶. «Начало общества, климат, вера, господствующие нужды, образованность, правление, перевороты, нравы, открытия ума человеческого: все имеет на него влияние – вместе с государством он растет, процветает, искажается, стареет и часто гибнет»⁴⁷. Богатство и красота языка в России начали проявляться, соответственно, только со времени Петра и еще развились недостаточно. Но основное достоинство языка Мерзляков, в отличие от «карамзинистов» видит не в «приятности» слога, а пригодности языка «для всех наук», в первую очередь философских, в России отсутствующих: «...мы имеем сочинения, относящиеся только к одним изящным наукам, и то более к стихотворству, нежели к прозе. Мы не можем представить почти никаких подлинных и даже переводных сочинений, принадлежащих к высшим философским наукам»⁴⁸.

Литературная позиция Мерзлякова – позиция литератора-профессионала, университетского профессора, принадлежность которого к «основной массе в нижнем этаже деятелей культуры» делала его чуждым новой литературной ситуации⁴⁹. «Школа, основанная Карамзиным и Жуковским, не входила в область его критического сознания, тем еще менее поэзия Пушкина. Чувство Мерзлякова при чтении произведений Пушкина выражалось только слезами. Читая “Кавказского пленника”, он, говорят, плакал. Он чувствовал, что это прекрасно, но не мог отдать себе отчета в этой красоте – и безмолвствовал»⁵⁰.

Время появления в печати критических разборов Мерзлякова было временем оживления русской литературной критики в послевоенные годы и одновременно временем сдвига в некоторых ключевых понятиях. Борьба с языковой позицией Карамзина как таковой де-факто утратила актуальность. Сам Карамзин, и раньше никогда не участвовавший в полемике, уже давно отошел от текущей литературной действительности, погрузившись в работу над «Историей государства Российского». На литературной арене появляется сформировавшаяся на «карамзинистской» платформе новая поэтическая система, к середине 1810-х гг. вполне себя самоосознающая, – так называемая школа Жуковского–Батюшкова (по имени признанных корифеев), или «элегическая

⁴⁶ Мерзляков А. Ф. Рассуждение о российской словесности в нынешнем ее состоянии // Труды Общества любителей российской словесности при Имп. Московском университете. 1812. Ч. 1. С. 65.

⁴⁷ Там же. С. 55.

⁴⁸ Там же. С. 64–65.

⁴⁹ См.: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры. С. 462.

⁵⁰ Шевырев С. П. Мерзляков // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета... М., 1855. Т. 2. С. 96.

школа» (по главенствующему во внутренней иерархии жанру), или «новая школа» (в номинации эпохи), или (в закрепившемся позднейшем словоупотреблении) – «школа гармонической точности». Младшее поколение «архаистов», никогда не разделявшее собственно лингвистические взгляды Шишкова, перенесло вопрос литературной борьбы из сферы языковой в эстетическую и стилистическую, сделав главным объектом своего внимания жанровый диапазон литературы и проблему народности, уже неразрывно связанную с новой европейской романтической эстетикой.

Середина 1810-х гг. характеризуется критической активностью литераторов карамзинского направления, утверждающих свою ведущую роль в литературном процессе. В июле 1816 г. К. Н. Батюшков (1787–1855) при вступлении в Московское Общество любителей российской словесности произнес «Речь о влиянии легкой поэзии на язык»⁵¹, где декларировал основные ценности карамзинистской эстетики: «движение, сила, ясность» стихотворного слога, «чистота выражения», «гибкость, плавность», «истина в чувствах и сохранение строжайшего приличия во всех отношениях»⁵². Признавая достоинства «больших родов», он тем не менее отдавал предпочтение легкой поэзии как неразрывно связанной с «изменением общества»: «...сей род словесности беспрестанно напоминает об обществе; он образован из его явлений, странностей, предрассудков и должен быть ясным и верным его зеркалом»⁵³. В 1817 г. С. С. Уваров (1786–1855) в рецензии на «Опыты в стихах и прозе» Батюшкова на страницах петербургской французской газеты «Conservateur Impartial» (N 83, 16/ 28 octobre) прямо противопоставил новую школу русской словесности старой, идущей от Кантемира и Ломоносова. При этом литературные противники карамзинистов совершенно неосновательно оказывались по умолчанию причислены к старой школе, целиком принадлежащей прошлому. В рецензии Д. Н. Блудова (1785–1864) на балладу Жуковского «Двенадцать спящих дев» и в статье В. К. Кюхельбекера «Взгляд на нынешнее состояние русской словесности» в той же газете (1817. N 63, 77) Жуковский был объявлен главой «новой школы», поэтом, который «не только переменяет внешнюю форму нашей поэзии, но даже дает ей совершенно другие свойства». Кюхельбекер ставил в заслугу Жуковскому то, что «принявши образцами своими великих гениев, в недавние времена прославивших Германию, он дал <...>

⁵¹ Напечатана в «Трудах Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете» (1816. Ч. 6), в следующем году – в первой части «Опытов в стихах и прозе» Батюшкова.

⁵² *Батюшков К. Н.* Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 33, 34.

⁵³ Там же. С. 35.

германический дух русскому языку, ближайший к нашему национальному духу, как тот свободному и независимому»⁵⁴.

В истории русской литературной критики первой четверти XIX в., намеченной Белинским, за «войной карамзинистов с шишковистами» следовали «прения, возбужденные немецкими и английскими балладами Жуковского», в свою очередь, служившие прологом к «войне романтизма с классицизмом»⁵⁵. На несколько лет произведения Жуковского оказываются в фокусе критики. «Прения» начались с почти одновременной публикации в «Вестнике Европы» (1816. Ч. 87, № 9) и «Сыне отечества» (1816. Ч. 30, № 24) баллады П. А. Катенина (1792–1853) «Ольга» – полемической реплики на опубликованную в том же «Вестнике Европы» еще в 1808 г. «Людмилу, русскую балладу», «подражание Биргеровой “Леоноре”», первую из баллад Жуковского, имевшую огромный успех. На материале перевода баллады Г. А. Бюргера (Bürger, 1747–1794) так называемые младшие «архаисты» выдвинули против «новой школы» свое понимание народности.

В «русской балладе» Жуковского, кроме русского имени героини, не было ничего национально определенного. Катенин же нарочито использовал русские фольклорные мотивы (например, в рефрене: «Конь бежит, земля дрожит, / Искры бьют из-под копыт»⁵⁶, в описаниях терзаний героини: «Так весь день она рыдала, / Божий промысел кляла, / Руки белые ломала, / Черны волосы рвала»⁵⁷). Пейзажам Жуковского («месяц серебрится», «ранний ветерок», «шорох тихих теней») противопоставлялись «вранов крик», «вой не к месту», «пляска сволочи летучей»; «Царю небесному» в жалобах Людмилы – простой «Бог» Ольги («Бог меня обидел сам»).

В защиту Жуковского в журнале «Сын отечества» выступил Н. И. Гнедич (1784–1833) со статьей «О вольном переводе Бюргеровой баллады “Ленора”», где называл Катенина «завистником» и давал уничижительную оценку его стихам, апеллируя к карамзинистским критериям «вкуса»: в заслугу Жуковскому он ставил то, что «народная» баллада Бюргера превратилась под его пером в «прелестное стихотворение», «приятное» для русских читателей. Народность и «простоту» катенинского стиха рецензент считал «не

⁵⁴ Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. С. 435.

⁵⁵ Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 6. С. 321 (вторая статья о «Речи о критике» А. В. Никитенко).

⁵⁶ Эта сказочная присказка приводится, в частности в «Разговорах о словесности между двумя лицами Аз и Буки» Шишкова (*Альтшуллер М. Г. Беседа любителей русского слова. С. 274*).

⁵⁷ Катенин П. А. Избранные произведения / Вступ. ст., подгот. текста, примеч. Г. В. Ермаковой-Битнер. М.; Л., 1965. С. 92–93 (Библиотека поэта. Большая сер.).

поэтическими», общий тон стихотворения – грубым, употребление простонародной лексики – несовместным со вкусом⁵⁸. Участвовавший ранее в заседаниях «Беседы любителей русского слова» Гнедич в вопросе «партий» твердо встал на сторону «новой школы». Он прямо указал на связь творчества Катенина с традициями «шишковистов» или, как их теперь стали называть, «беседистов»⁵⁹. Ответом Гнедичу стала напечатанная в том же журнале «Сын отечества» (1816. Ч. 31, № 30) статья А. С. Грибоедова (1790 или 1795 – 1829) «О разборе вольного перевода бюргеровой баллады “Ленора”». Среди замечаний Грибоедова особенно важна защита той «трудности» языка, которая не нравилась Гнедичу, причем Грибоедов апеллирует и к высокому слогу, ссылаясь на оды Ломоносова, и к народным песням как питательной почве поэтического языка. Опровергнув мнения Гнедича, он переходит к издевательскому разбору самой баллады Жуковского: сглаженный поэтический язык Жуковского, «тощие мечтания любви идеальной» нейдут, как считает Грибоедов, к описываемым страшным событиям с оживающим мертвецом и разверстой могилой⁶⁰.

Полемика вокруг Жуковского велась по разным направлениям. Если Катенин и Грибоедов, в полном соответствии с трактовкой жанра баллады в европейской эстетике как народного и даже простонародного, упрекали Жуковского в отсутствии народности, то для А. Ф. Мерзлякова фантастические баллады Жуковского были неприемлемы своей связью с новой романтической литературой, отсутствием в классической жанровой линейке. 22 февраля 1818 г. на заседании Московского Общества любителей российской словесности Мерзляков (в присутствии самого Жуковского) выступил с чтением «Письма из Сибири», в котором возражал Кюхельбекеру, но порицал «затейливый род», пришедший в русскую словесность из Германии и Англии, не за отсутствие «народности», а именно за романтический дух, выражающийся в отсутствии «правил»: «...что это за дух, который разрушает все правила пиитики, смешивает вместе все роды, комедию с трагедией, песни с

⁵⁸ Гнедич Н. И. О вольном переводе Бюргеровой баллады «Ленора» // Сын отечества. 1816. Ч. 31, № 27. С. 7, 13, 17, 18.

⁵⁹ Гнедич применил к характеристике Катенина строки из самых известных анти-архаистских стихотворных выпадов «карамзинистов» – сатиры «Видения на берегах Леты» (1809) К. Н. Батюшкова и поэмы «Опасный сосед» (1811) В. Л. Пушкина.

⁶⁰ Грибоедов А. С. Полн. собр. соч.: В 3 т. СПб., 1999. Т. 2. С. 256. О полемике Грибоедова с Гнедичем см. также: Струганов М. В. О литературной позиции Грибоедова // Новые безделки: Сб. ст. к 60-летию В. Э. Вацура. М., 1995–1996. С. 118, 142–145; Майофис М. Воззвание к Европе: Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815–1818 годов. М., 2000. С. 574–580; Кибальник С. А. «Дуэль» Грибоедова с Гнедичем // А. С. Грибоедов. Смоленск, 2010. С. 36–45 (Хмелитский сборник. Вып. 10).

сатирой, балладу с одой? и пр. и пр.»⁶¹. Мерзляков также резко высказался о гекзаметрических переводах Жуковского из И. П. Гебеля (Hebel, 1760–1826) – «Овсяном киселе» (1816) и «Красном карбункуле» (1816). Для Мерзлякова с его «нормативистской» позицией неприятие гекзаметра, стилистически маркированного как архаический и «высокий» размер, в применении к простонародному материалу было естественным. Даже для литературных единомышленников и ближайшего окружения Жуковского интерес литературного эксперимента переводов из Гебеля не был очевиден⁶². В связи с Жуковским вообще возникает вопрос: как соотносятся отмечавшиеся уже нами его достаточно традиционалистские эстетические воззрения 1800-х гг. с поэтическим новаторством 1810-х. Но после 1809–1810 гг. Жуковский воздерживается от прямых критических выступлений и эстетических деклараций. Есть все основания считать, что, по выходе из периода эстетического ученичества, его теоретические взгляды сильно эволюционировали. С. П. Шевырев, указывавший на расхождение у Жуковского теории с поэтической практикой («в критиках своих он обнаруживал основания теории французов и являлся учеником Лагарпа»⁶³, кажется, имел в виду только критические статьи Жуковского периода «Вестника Европы».

О. М. Сомов (1793–1833) в «Письме к г-ну Марлинскому», напечатанном в 1821 г. в № 1 журнала «Невский зритель»⁶⁴ отвергал «германизм» Жуковского, с одной стороны, с позиций позднекарамзинистской эстетики с ее критериями вкуса, выверенности и стилистической сглаженности языка, семантической устойчивости образов. С другой стороны, за его обвинениями, что Жуковский ввел «беспонятную выпренность нынешних немецких стихотворцев-мистиков» «в наш язык»⁶⁵, стояло то же, что у Катенина и Грибоедова, требование «народности». Однако взгляды Сомова быстро эволюционировали в русле европейского романтизма. В 1821–1822 гг. он переводит Байрона (стихотворение

⁶¹ Мерзляков А. Ф. Письмо из Сибири // Труды Общества любителей российской словесности при Имп. Московском университете. 1818. Ч. 11. С. 68–69.

⁶² См. коммент. В. Э. Вацура к пушкинскому экспромту «Послушай, дедушка, мне каждый раз...» – Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 2004. Т. 2, кн. 1. С. 516–518.

⁶³ Шевырев С. П. О значении Жуковского в русской жизни и поэзии // Москвитянин. 1853. Т. 1, № 2. Отд. 1. С. 111.

⁶⁴ Статья посвящена разбору баллады Жуковского «Рыбак» (1818), переводу одноименного стихотворения И. В. Гёте (Goethe, 1749–1832).

⁶⁵ Сомовский «Ответ на (так называемый) ответ господина Ф. Б...» (Невский зритель. 1821. № 3), написанный им в разъяснение своей позиции после публикации ряда полемических откликов в защиту Жуковского, цит. по: Литературно-критические работы декабристов. М., 1978. С. 229. Характерно и неприятие Сомовым переводов Жуковского из Гебеля – см. его стихотворение «Соложеное тесто. (Народный рассказ)» (1820), пародирующее «Овсяный кисель».

«Тьма», поэму «Корсар», «Фрагмент»); в 1822 г. выступает в печати со статьей о «Шильонском узнике» в переводе Жуковского⁶⁶, где не только приветствует новое сочинение Байрона, но и дает высокую оценку художественных достоинств перевода. Наконец, в 1823 г. выступает с трактатом «О романтической поэзии»⁶⁷ – наиболее последовательным и полным в русской критике 1820-х гг. изложением европейского взгляда на романтическое направление, усвоенного Сомовым главным образом из книги Ж. де Сталь (Staël, 1766–1817) «О Германии» («De l'Allemagne», 1813). Здесь он уже прямо записывает Жуковского в основатели русского романтизма: «Познакомив нас с поэзией соседних германцев и отдаленных бардов Британии, он открыл нам новые пути в мир воображения»⁶⁸.

В русскую критику отдельные составляющие европейской романтической эстетики начали проникать в середине 1810-х гг. в статьях П. А. Вяземского (1792–1878). Некрологическая статья о Державине в «Сыне отечества» (1816. Ч. 32, № 37) и предисловие к изданию «Сочинений» В. А. Озерова (СПб., 1817) задали на долгое будущее параметры монографической критической статьи о творчестве писателя. В этом жанре у Вяземского практически не было предшественников: посвященная памяти И. Ф. Богдановича статья Карамзина в литературном отношении касалась лишь стилистической характеристики его произведений, статья Жуковского о сатирах Кантемира рассматривала произведения автора с точки зрения их соответствия жанровому образцу. Вяземский в обоих случаях вписывает личность и творчество поэта в исторический контекст эпохи. При этом в оценке Державина он вплотную приближается к романтическому концепту «стихийного гения», а драматургию Озерова рассматривает в ее несоответствиях правилам французской классической трагедии. В статье об Озерове, кажется, впервые в русской критике используется понятие «романтический»: «Трагедии Озерова <...> в самых погрешностях своих представляют нам отступления от правил, исполненные жизни и носящие свой образ. Они уже несколько принадлежат к новейшему драматическому роду, так называемому *романтическому*, который принят немцами от испанцев и англичан»⁶⁹.

Первое свойство романтической поэзии в трактате Сомова – свобода от норм и правил: «Не должно заключать поэта в пределы мест и событий, но предоставить ему полную свободу выбора и изложения; и вот, мне кажется, первейшая цель поэзии, которую

⁶⁶ *Сын отечества*. 1822. Ч. 79, № 29.

⁶⁷ *Соревнователь просвещения и благотворения*. 1823. № 7–9, 11; в том же году вышел отдельным изданием.

⁶⁸ *Литературно-критические работы декабристов*. С. 270.

⁶⁹ *Вяземский П. А. Соч.*: В 2 т. / Сост., подгот. текста и коммент. М. И. Гиллельсона. М., 1982. Т. 2. С. 33–34.

мы называем романтической»⁷⁰. Это – «говорящая картина» нравов, обычаев и жизни народа, а главные ее достоинства – народность и «местность»⁷¹. Будущее русской литературы Сомов связывает с развитием национальной поэзии, «неподражательной и независимой от преданий чуждых» (в этой связи он высказывается против господства чуждой духу народа элегической поэзии). Соответственно, он призывает русских авторов обратиться к национальному материалу: «ни одна страна в свете не была столь богата разнообразными поверьями, преданиями и мифологиями, как Россия»⁷². За это же ратовал и Вяземский в статье 1822 г. «О “Кавказском пленнике”, повести сочинения А. Пушкина»⁷³: «Слишком долго поэзия русская чуждалась природных своих источников и почерпала в посторонних родниках жизнь заемную, в коей оказывалось одно искусство, но не отзывалось чувству биение чего-то родного и близкого»⁷⁴.

Впрочем, в трактовке Вяземским романтизма национальные источники остаются периферийной темой. На первый план он выдвигает «ненормативность» литературного творчества, свободу от установленных пиитиками правил. В своей статье о «Кавказском пленнике» и в «Разговоре между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова», напечатанном с подзаголовком «Вместо предисловия» при издании поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1824) Вяземский совершает знаменательную подмену: он в каком-то смысле «присваивает» романтическое движение «новой школе»⁷⁵. Линия литературного противостояния, как она прочерчена в статьях Вяземского, проходит не между реально оппозиционными друг другу литературными силами – представителями «элегической школы» и младшими архаистами, а между представителями «элегической школы» и некими абстрактными ортодоксальными «классиками», мыслящими в категориях нормативных пиитик. «Но вы, милостивые государи, называете новый род чудовищным потому, что почтеннейший Аристотель с преемниками вам ничего о нем не говорили. Прекрасно!» – обращается автор статьи о

⁷⁰ Литературно-критические работы декабристов. С. 242.

⁷¹ Там же. С. 268, 242.

⁷² Там же. С. 266, 269–270, 272.

⁷³ Сын отечества. 1822. Ч. 82, № 49. Говоря в этой статье о появлении поэмы Байрона «Шильонский узник» в переводе Жуковского и поэмы Пушкина «Кавказский пленник» как о свидетельстве «успехов посреди нас поэзии романтической», Вяземский делает характерную оговорку: «...решились мы употребить название, еще для многих у нас дикое и почитаемое за хищническое и незаконное» (*Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика*. М., 1984. С. 43).

⁷⁴ Там же. С. 48.

⁷⁵ См.: *Мордовченко Н. И.* Русская критика первой четверти XIX века. С. 193; *Лотман Ю. М.* Поэзия 1790–1800-х годов. С. 332.

«Кавказском пленнике» к предполагаемому оппоненту⁷⁶. При этом Вяземский вкладывает в уста своих «классиков» аргументы, реально принадлежащие другому полемическому дискурсу, отождествляя тем самым их и противников «элегической школы» из рядов младших «архаистов»: «Противники поэзии романтической у нас устремляют в особенности удары свои на поражение некоторых слов, будто *модных*, будто *новых*. *Даль*, *таинственная даль*, *туманная даль* более прочих выражений возбуждает их классическое негодование»⁷⁷; «...ныне завелась какая-то школа новая, никем не признанная, кроме себя самой; не следующая никаким правилам, кроме своей прихоти, искажающая язык Ломоносова, пишущая наобум, щеголяющая новыми выражениями, новыми словами...»⁷⁸. Опираясь на А. В. Шлегеля (Schlegel, 1767–1845) и г-жу де Сталь, Вяземский противопоставляет французскому элементу «германский» как национальный и романтический, к тому же усвоенный новой русской словесностью уже в момент ее образования Ломоносовым. Это отводило от Жуковского, главы «новой школы», обвинявшегося его литературными противниками в «германизме», все упреки в отсутствии национального своеобразия и превращало его в продолжателя русской линии Ломоносова.

Тактическая уловка Вяземского была прочитана Кюхельбекером, горячим приверженцем взглядов «архаистов», только недавно присоединившимся к их лагерю. В статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие»⁷⁹ Кюхельбекер продолжил войну против «элегической школы», развивая иронические замечания Грибоедова, высказанные в полемике вокруг «Людмилы» и катенинской «Ольги»: «Картины везде одни и те же: *луна*, которая – разумеется – *уныла и бледна* <...> вечерняя заря; изредка длинные тени и привидения, что-то невидимое, что-то неведомое <...> в особенности же – туман: туманы над водами, туманы над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя»⁸⁰. Говоря о школе Жуковского–Батюшкова, Кюхельбекер прибавляет: «которую ныне выдают нам за романтическую»⁸¹. Романтической, говорит Кюхельбекер, называют «всякую поэзию свободную, народную». Ее в России еще предстоит создать. В заключение же своей статьи Кюхельбекер, самый поздний апологет «архаизма», дает наиболее отточенную его литературную формулу: «Вера праотцев, нравы

⁷⁶ Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. С. 44.

⁷⁷ Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. С. 43. Интересно, что в позднейшей перепечатке статьи в своем собрании сочинений (1878) эти слова, помещенные в примечании, были Вяземским исключены.

⁷⁸ Там же. С. 48.

⁷⁹ Мнемозина. М., 1824. Ч. 2.

⁸⁰ Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. С. 456–457.

⁸¹ Там же. С. 455.

отечественные, летописи, песни и сказания народные – лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности»⁸².

Основной проблемой в спорах о романтизме начала 1820-х гг. было преодоление русской литературой «младенческого» состояния (так или иначе признававшегося каждой стороной). Будущее ее ставилось в зависимость от тех или иных эстетических тенденций, «направлением» ее в то или иное русло. Вопросы литературных «правил» и «нормы» в дальнейшем постепенно теряют свою актуальность, равно как и противостояние «карамзинистов» и «архаистов». В принципе, навязанная Вяземским интерпретация литературной борьбы предшествующего десятилетия как отживающего классицизма и молодого романтизма закрепляется в литературном сознании эпохи. Русское литературное развитие связывается новым поколением русских критиков именно с утверждением романтического направления и рассматривается в непосредственной связи с современным движением европейских литератур.

Сразу оговоримся, что в задачу настоящего очерка не входит полная картина русской журнальной жизни первых трех десятилетий XIX в. Соответственно, мы не будем здесь останавливаться на большей части рецензионной критики. С середины 1810-х гг. практически каждый журнал имел отдел, посвященный текущей русской библиографии. Многие отзывы вызвали дальнейшую полемику, бесконечные ответы и опровержения. Также за границами нашего внимания остаются журнальные «войны» и союзы, вызванные как принципиальными разногласиями издателей, так и их чисто тактическими соображениями в борьбе за монопольное право владеть читательским мнением. В дальнейшем мы сосредоточимся на необходимо кратком очерке магистральных линий в развитии русской критической мысли.

Спор о вышедшей в 1825 г. первой главе «Евгения Онегина» Пушкина вывел на литературную сцену новые имена и обозначил круг проблем и главные направления в их решении на следующее десятилетие. В начале им с 1825 г. журнале «Московский телеграф» Н. А. Полевой (1796–1846) напечатал рецензию на «Онегина» (1825. Ч. 2, № 5), еще полемически заостренную против критики, опирающейся на каноны классической поэтики. При этом рецензент по-новому поставил проблему народности, освободив ее от вопроса о «простонародном» элементе и понимая как «сообразность описания современных нравов»: «“Онегин” не скопирован с французского или английского; мы видим свое, слышим свои родные поговорки, смотрим на свои причуды, которых все мы не чужды были

⁸² Там же. С. 458.

некогда»⁸³. В ответ с «Разбором статьи о “Евгении Онегине”», помещенной в 5-м № “Московского телеграфа”» выступил Д. В. Веневитинов (1805–1827)⁸⁴. Для Веневитинова важно вовсе не отрицание «правил»: «...отсутствие правил в суждении не есть ли также предрассудок? Не забываем ли мы, что в пиитике должно быть основание положительное, что всякая наука положительная заимствует свою силу из философии, что и поэзия неразлучна с философиею?»⁸⁵. С его точки зрения, словесность должна оцениваться «по отношению мыслей каждого писателя к современным понятиям о философии»⁸⁶. Ничего «народного» в новом произведении Пушкина критик тоже не находил: «Я не знаю, что тут народного, кроме имен петербургских улиц и рестораций. <...> Приписывать Пушкину лишнее – значит отнимать у него то, что истинно ему принадлежит»⁸⁷.

Веневитинов принадлежал к генерации московских «любомудров», объединившихся с 1827 г. вокруг журнала «Московский вестник» (1827–1830). Литераторы из этого круга представляли в русской критике, условно говоря, философскую ветвь. В 1828 г. в «Московском вестнике» публикуются две программные статьи – «Обозрение русской словесности за 1827 год» (Ч. 7, № 1) С. П. Шевырева (1806–1864) и «Нечто о характере поэзии Пушкина» (Ч. 8, № 6) И. В. Киреевского (1806–1856), – где сделана попытка применить шеллингианскую диалектику к рассмотрению русской литературы и, в первую очередь, к творчеству ее главного представителя, Пушкина. С точки зрения Шевырева, литература должна оцениваться в соответствии с тем, насколько в ней отражается достигнутая нацией степень самосознания. Критик, связывал развитие словесности с развитием наук и констатировал отставание России от Западной Европы: «Мы в немоющем бездействии смотрим на Европу, но еще не прошли необходимых эпох постепенного совершенствования, не созрели еще для того, чтобы деятельное принять участие в деле европейского просвещения»⁸⁸. В «Обозрении» звучит мысль, получившая более полное развитие в других статьях Шевырева, ранее напечатанных в «Московском вестнике» – «Веверлей, или Шестьдесят лет назад. Сочинение В. Скотта» (1827. Ч. 5, № 20), «Елена, классическо-романтическая фантазмагория» (1827. Ч. 6, № 21), «“Чернец, киевская повесть”. Сочинение Ивана Козлова» (1827. Ч. 6, № 22), – о существовании двух видов

⁸³ Полевой Н. А., Полевой К. А. Литературная критика: Статьи и рецензии. Л., 1990. С. 21.

⁸⁴ Сын отечества. 1825. Ч. 100, № 8.

⁸⁵ Веневитинов Д. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1934. С. 224.

⁸⁶ Там же.

⁸⁷ Там же. С. 226.

⁸⁸ Шевырев С. П. Обозрение русской словесности за 1827 год // Московский вестник. 1828. Ч. 7, № 1. С. 61–62.

поэзии – исторической и идеальной⁸⁹, или исторической и романтической. В связи с этим Шевырев рассматривает поэзию Пушкина как движение от поэзии, отмеченной «глубокими впечатлениями Байрона», к «народности», понимаемой как национальная и историческая идентичность. Уже в «Цыганах» заметна «странная борьба между идеальностью байроновскою и живописною народностью поэта русского»⁹⁰. А в третьей главе «Евгения Онегина», вышедшей в том же 1827 г., «свободный и мужающий поэт совершенно отклоняет от себя постороннее влияние»⁹¹. Наиболее же полно это новое качество Пушкина проявилось в сцене «Ночь. Келья в Чудовом монастыре», единственной из «Бориса Годунова», напечатанной в «Московском вестнике» (1827. Ч. 1, № 1): «Это создание есть неотъемлемая собственность поэта, и что еще отраднее – поэта русского, ибо характер Пимена носит на себе благородные черты народности»⁹².

Та же дилемма исторического, объективного и романтического, идеального применена к творчеству Пушкина и Киреевским. Киреевский стремился определить «место, которое поэт наш успел занять между первоклассными поэтами своего времени»⁹³ и охарактеризовать общее направление эволюции пушкинского творчества. В творчестве Пушкина критик выделял три периода. Первый – период школы итальянско-французской, когда Пушкин в поэме «Руслан и Людмила» предстает в первую очередь поэтом-творцом («Он не ищет передать нам свое особенное воззрение на мир, судьбу, жизнь и человека, но просто созидает нам новую судьбу, новую жизнь, свой новый мир...»⁹⁴). Второй период, начинающийся с появлением «Кавказского пленника», можно назвать «отголоском лиры Байрона». В нем Пушкин является поэтом-философом, «который в самой поэзии хочет выразить сомнения своего разума, который всем предметам дает общие краски своего особенного воззрения и часто отвлекается от предметов, чтобы жить в области мышления»⁹⁵. Третий период, в который вступает поэзия Пушкина, ознаменован синтезом объективного, устремленного к действительности, к поэзии созидания начала, имманентно

⁸⁹ Ср. в рецензии на «Чернеца» Козлова: «Поэзия, бесконечно разнообразная в своих формах, имеет только два различные и совершенно противоположные направления в своей сущности. Источник одной есть богатое разнообразие мира внешнего, все яркие и пестрые картины жизни с их интересными подробностями; другая, напротив, презирая всем внешним, черпает все сокровища мира внутреннего – души...» (*Шевырев С. П.* «Чернец, киевская повесть». Сочинение Ивана Козлова // *Московский вестник*. 1827. Ч. 6, № 22. С. 209–210).

⁹⁰ *Шевырев С. П.* Обзорение русской словесности за 1827 год. С. 67.

⁹¹ Там же. С. 68.

⁹² Там же. С. 68–69.

⁹³ *Киреевский И. В.* Критика и эстетика. М., 1979. С. 43.

⁹⁴ Там же. С. 45.

⁹⁵ Там же. С. 46–47.

присущего пушкинскому таланту, с глубиной размышления, характерной для второго периода. Этот период можно назвать «периодом поэзии русско-пушкинской»: «Отличительные черты его суть: живописность, какая-то беспечность, какая-то особенная задумчивость и, наконец, что-то невыразимое, понятное лишь русскому сердцу...»⁹⁶.

Принцип диалектической триады, где третий этап развития является синтезом двух предыдущих, вскоре был перенесен Киреевским на развитие русской литературы в целом. Речь идет об «Обзрении русской словесности 1829 года», которым открывался альманах «Денница» на 1830 г. Киреевский в этой статье поставил себе целью открыть в литературе прошедшего года «признаки господствующего направления в нашей словесности вообще и ее отношение к целостному просвещению Европы»⁹⁷. Русскую литературу XIX в. Киреевский делил на три эпохи: первая определяется влиянием Карамзина, вторая – Жуковского, представителем третьей может быть признан Пушкин. «Французско-карамзинское» направление искало в поэзии «полного выражения человека», «жизни действительной», философии. «Лучшая сторона нашего бытия, – пишет Киреевский, – сторона идеальная, мечтательная, та, которую не жизнь дает нам, но мы придаем нашей жизни, которую преимущественно развивает поэзия немецкая, оставалась у нас еще невыраженной»⁹⁸. Эта сторона выразилась на следующем этапе развития. Наконец в творчестве Пушкина нашли примирение два борющиеся начала: они совпали в «стремлении к лучшей действительности». В поэзии Пушкина выразилось «стремление воплотить поэзию в действительность», которое выражает его сближение с «господствующим характером века»⁹⁹.

Характер века Киреевский определял как «исторический». «История в наше время есть центр всех познаний, наука наук, единственное условие всякого развития», поэтому и поэзия «должна была также перейти в действительность и сосредоточиться в роде историческом»¹⁰⁰. В «Полтаве», пушкинской поэме, изданной в 1829 г., очевидным образом совершился этот поворот к истории. Здесь еще видно «борение двух начал – мечтательности и существенности», но это борение «необходимо должно предшествовать их примирению»¹⁰¹. При этом, рассматривая текущую русскую литературу, Киреевский приходит к выводу, что синтез, готовый совершиться в поэзии Пушкина, пока является

⁹⁶ Там же. С. 53.

⁹⁷ Там же. С. 56.

⁹⁸ Там же. С. 58.

⁹⁹ Там же. С. 63.

¹⁰⁰ Там же. С. 63–64.

¹⁰¹ Там же. С. 64.

единичным феноменом в русской словесности, которая «еще не доросла до господствующего направления “Полтавы”»¹⁰².

Несколько иной вариант «философского» направления представляет собой критическая деятельность Н. И. Надеждина (1804–1856), выступившего на литературную арену почти одновременно с «любомудрами». Надеждин дебютировал в «Вестнике Европы» под псевдонимом «Никодим Надоумко» рядом статей, отличавшихся беспрецедентной резкостью суждений, – «Литературные опасения за будущий год» (1828. № 21, 22), «Сонмище нигилистов. (Сцена из литературного балагана)» (1829. № 1, 2), «Две повести в стихах: “Бал” и “Граф Нулин”» (1829. № 2, 3), «“Полтава”, поэма Александра Пушкина» (1829. № 8, 9), «“Иван Выжигин”, нравственно-сатирический роман» (1829. № 10, 11), – в которых отрицал эстетические достоинства всех русских литературных «новинок». В современной, так называемой «романтической», литературе Надеждин видел подражательность «под соблазнительным именем *романтического* стиля»: безобразие художественных коллизий, фрагментарность и разорванность стиля, неоправданную аффектацию. Изящное, по его мнению, «неудобомыслимо без отношения к существенным потребностям духа нашего: истинному и доброму»¹⁰³.

Критические мнения Надеждина при этом опирались на выстроенную систему достаточно оригинальных философско-эстетических воззрений, нашедших выражение в его докторской диссертации 1830 г. «De poesi romantica. De origine, natura et fatis poeseos, quae romantica audit» («О романтической поэзии. О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической») (М., 1830)¹⁰⁴. Надеждин разделяет классическую и романтическую поэзию по принципу объективности и субъективности изображения, которые отражают двойственность человеческого духа. Развитие духа начинается стремлением «вне себя» (в терминологии Надеждина «средобежным»). Потом настает очередь углубления в самое себя (стремление «средостремительное»). Первый период «процвел, взрос и погиб вместе с древними греками и римлянами»¹⁰⁵. Второй, который единственно и можно называть романтическим, вызванный христианским духом Средних веков, исчерпал себя еще к XVI в. Восстановление его в современном мире невозможно,

¹⁰² Там же. С. 65.

¹⁰³ Надеждин Н. И. Литературные опасения за будущий год // Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика / Вступ. ст., сост. и коммент. Ю. В. Манна. М., 1972. С. 54.

¹⁰⁴ Два отрывка были опубликованы на русском языке: «О настоящем злоупотреблении и искажении романтической поэзии» (Вестник Европы. 1830. № 1, 2) и «Различие между классическою и романтическою поэзию, объясняемое из их происхождения» (Атеней. 1830. № 1).

¹⁰⁵ Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. С. 134.

потому что этот мир коренным образом отличается от средних веков. Каждый период искусства зависит от исторических условий жизни. «...Односторонний романтизм, исключительно направленный к выражению идей без должного внимания к вещественным условиям форм, есть точно такой же анахронизм для настоящего времени, как и школьное пристрастие к классическим приличиям наружности без уважения к внутренней силе мысли»¹⁰⁶. И романтическое направление как современный комплекс эстетических взглядов и практик, и предшествующая ему европейская классическая теория, таким образом, Надеждиным просто отрицались.

В основе требований Надеждина к современной поэзии также лежала философская триада: «Соединить идеальное одушевление средних времен с изящным благообразием классической древности, уравновесить душу с телом, идею с формами, просветить мрачную глубину Шекспира лучезарным изяществом Гомера!»¹⁰⁷. Белинский впоследствии писал: «Г-н Надеждин первый сказал и развил истину, что поэзия нашего времени не должна быть ни классическою (ибо мы не греки и не римляне), ни романтическою (ибо мы не паладины средних веков), но что в поэзии нашего времени должны примириться обе эти стороны и произвести новую поэзию»¹⁰⁸.

Из идеи этого будущего «слияния» Надеждин выводит важнейшие требования к современным явлениям художественной жизни – требования естественности и народности, которая виделась ему не в «простонародности», не в наружных формах русского быта¹⁰⁹, но в «том патриотическом одушевлении изящных искусств, которое питаясь родными впечатлениями и воспоминаниями, отражает в своих произведениях родное богатое небо, родную святую землю, родные драгоценные предания, родные обычаи и нравы, родную жизнь, родную славу, родное величие»¹¹⁰.

Другое направление русской критики представлено деятельностью братьев Н. А. и К. А. Полевых, развернувшейся на страницах журнала «Московский телеграф» (1825–1834), который, по словам все того же Белинского, «около десяти лет был главным органом

¹⁰⁶ Там же. С. 369 (речь «О современном направлении изящных искусств», прочитанная на торжественном собрании Московского университета 6 июля 1833 г., напечатанная трижды: Ученые записки Имп. Московского университета. 1833. Ч. 1, № 1–3; Речи, произнесенные в торжественном собрании Имп. Московского университета... М., 1833; Молва. 1833. № 115).

¹⁰⁷ *Надеждин Н. И.* Литературная критика. Эстетика. С. 369.

¹⁰⁸ *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 5. С. 213 (рецензия на сборник «Сто русских литераторов», 1841).

¹⁰⁹ См. также статью Надеждина «Европеизм и народность в отношении к русской словесности» (Телескоп. 1836. Ч. 31, № 1, 2).

¹¹⁰ *Надеждин Н. И.* Литературная критика. Эстетика. С. 372.

русской критики»¹¹¹. Первые литературно-критические выступления Н. А. Полевого, – например, статьи «“Евгений Онегин”, роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина», «“Див и Пери”. Повесть в стихах А. Подолинского» (1827. Ч. 18, № 21), «“Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая”. Сочинение Ивана Козлова» (1828. Ч. 19, № 4) – приветствовали достижения «новой», романтической поэзии, хотя еще не содержали сколько-нибудь последовательной литературной программы и носили по преимуществу эмоционально-оценочный характер. Система эстетических взглядов Полевого оформилась к концу 1820-х гг. и получила выражение в ряде его программных выступлений – «Poezye Adama Mickiewicza (Стихотворения Адама Мицкевича)» (1829. Ч. 26, № 6); «“История государства Российского” (сочинение Н. М. Карамзина)» (1829. Ч. 27, № 12); «Песни и романсы А. Мерзлякова» (1831. Ч. 37, № 3); «Стихотворения Михайла Дмитриева» (1831. Ч. 37, № 4); «О романах Виктора Гюго и вообще о новейших романах» (1832. Ч. 43, № 1–3); «“Торквато Тассо”. Большая драматическая фантазия, в стихах. Сочинение Н. К<укольника>» (1834. Ч. 55, № 3, 4) и др.

Отличительная черта суждений Полевого – отсутствие всякой привнесенной «философской» системы. В основе его литературной концепции лежала идея народности как показателя определенной ступени в развитии каждой национальной поэзии. Только самобытность, народность и естественность могут, согласно его мнению, служить мерилем достоинств художника и являются отличительной чертой романтического поэта. На этом основании Полевой объявлял романтическими поэтами Шекспира, Данте и Кальдерона, хотя в целом относил народность к понятиям «нового века, когда взор наш обнимает весь небосклон поэзии человечества»¹¹². Романтизм рассматривался Полевым как общеевропейское художественное направление, порождение французской революции 1789 г., радикально изменившей социальную структуру общества. В отличие от служившего высшим классам общества классицизма (в его трактовке Полевой исходил главным образом из французской литературы XVII–XVIII в.), при котором «словесность была отголоском ложных понятий мнимо *большого* света, не сообразных ни с духом остальной, многочисленной части народа, ни с истиною изящного»¹¹³, романтизм являл собой искусство нового социального качества, выражающее все мнения общества. Он «многообразен, всемирен, всеобъемлющ; сообразуется только с истиною каждой формы;

¹¹¹ *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 9. С. 146 (рецензия на «Опыт истории русской литературы» А. В. Никитенко, 1845).

¹¹² *Полевой Н. А., Полевой К. А.* Литературная критика: Статьи и рецензии. С. 29 (статья «Poezye Adama Mickiewicza...»).

¹¹³ Там же. С. 105 (статья «О романах Виктора Гюго...»).

облекается же в формы по времени, духу, местности народа, в котором явился тот или другой романтик»; он «отвергает все классические условия и формы, смешивает драму с романом, трагедию с комедией, историю с поэзией, делит творения, как ему угодно, и свободно создает по неизменным законам духа человеческого». Основное условие романтизма – «истина изображений», «глубина и полнота в том, что писатель берется изобразить»¹¹⁴. «Драма действительной жизни», утверждал Полевой, «огромнее и величественнее» того «вымысла поэзии», который извлекается из нее воображением поэтов¹¹⁵. Последовательно требуя от художника объективности, исторической конкретности, понимания страстей и сердца человеческого, Полевой, однако, в полной мере отдает дань романтическому дуализму, противопоставлявшему «поэта и человека», мир «умственного бытия» и «бытия общественного». Поэт живет в сфере идеальной и не может, не изменив себе, примириться с «положительной» жизнью общества, причем «чем выше общество, тем более бывает разница между им и миром поэта»¹¹⁶. Требование Полевого рассматривать каждый предмет «не по безотчетному чувству: *нравится, не нравится, хорошо, худо*, но по соображению историческому веку и народа и философическому важнейших истин души человеческой»¹¹⁷ закладывало основы исторического подхода в критике. В этом смысле Полевой может считаться прямым предшественником Белинского.

Однако явления более ранних литературных эпох Полевой судил с позиций собственного интеллектуального превосходства, будучи убежден, что «человечество идет вперед и совершенствуется с каждым поколением»¹¹⁸. Считая литературу предшествующего периода сословно замкнутой, не отражающей национальных интересов, он подверг резкой переоценке многие признанные литературные авторитеты. Так, например, Карамзин был объявлен им «писателем не нашего века», а его «История государства Российского» – «летописью», которая «нигде не представляет вам духа народного» и потому не удовлетворяет современному философскому взгляду на историю¹¹⁹. Борьба с литературными авторитетами была тесным образом связана с «третьесословной» ориентацией Полевого, купца 2-й гильдии, видевшего в демократизации русской литературы одну из своих главных задач.

¹¹⁴ Там же. С. 124–125.

¹¹⁵ Полевой Н. А. «Торквато Тассо». Большая драматическая фантазия, в стихах. Сочинение Н. К<укольника> // Московский телеграф. 1834. Ч. 55, № 3. С. 458.

¹¹⁶ Там же. С. 469–470.

¹¹⁷ Полевой Н. А., Полевой К. А. Литературная критика: Статьи и рецензии. С. 82–83 (статья «Песни и романсы А. Мерзлякова»).

¹¹⁸ Там же. С. 28 (статья «Poezye Adama Mickiewicza...»).

¹¹⁹ Там же. С. 37, 44 (статья «“История государства Российского” (сочинение Н. М. Карамзина)»).

Эта сторона критической деятельности Полевого впоследствии вызывала диаметрально противоположные оценки. «Он был совершенно прав, думая, что всякое уничтожение авторитета есть революционный акт и что человек, сумевший освободиться от гнета великих имен и схоластических авторитетов, уже не может быть полностью ни рабом в религии, ни рабом в обществе», – писал А. И. Герцен¹²⁰. Другого мнения придерживался Вяземский: «Полевой у нас родоначальник литературных наездников, каких-то кондотьери, низвергателей законных литературных властей. Он из первых приучил публику смотреть равнодушно, а иногда и с удовольствием, как кидают грязью в имена, освященные славою и общим уважением, как, например, в имена Карамзина, Жуковского, Дмитриева, Пушкина»¹²¹.

Критерии «самобытности» и «народности» стали основополагающими и в критике К. А. Полевого (1801–1867), тоже выступавшего на страницах «Московского телеграфа». К. Полевой широко оперировал ими в рецензировании текущей литературы – «“Полтава”, поэма Александра Пушкина» (1829. Ч. 27, № 10), «Стихотворения барона Дельвига» (1829. Ч. 27, № 11), «“Черная немочь”, повесть М. Погодина» (1829. Ч. 28, № 15), «“Ермак”, трагедия в пяти действиях, в стихах, соч. Алексея Хомякова» (1832. Ч. 44, № 6), «Стихотворения Н. Языкова» (1833. Ч. 50, № 6), «О новом направлении в русской словесности» (1834. Ч. 56, № 5) и др. «Народность» для Полевого состоит вовсе не в выборе сюжетов из национальной истории или в изображении картин низкого, простонародного быта. Задача современного писателя заключается в том, чтобы, «вникая в дух своего народа, в его прежние и настоящие обычаи, нравы, поверья и в основные элементы его природы», открыть в них «вопросы, важные для разрешения», представить события, «входящие более или менее в состав истории человечества»¹²². Так, Пушкин, первая поэма которого «Руслан и Людмила» следует итальянскому духу Ариосто, последующие сочинения – Байрону, только в «Полтаве», по мнению Полевого, наконец окончательно сбрасывает с себя оковы подражательности. В «Борисе Годунове» (известном Полевому только в отрывках) Пушкин «не стал подражать Шекспиру, но, угадав в английском поэте основные элементы исторической его трагедии, открыл их и в русском мире». В «Полтаве», где «господствует совершенное, шекспировское спокойствие поэта и живая игра страстей действующих лиц», он сделал следующий шаг по этому пути, создав «совершенно новый род поэзии,

¹²⁰ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 7. С. 216.

¹²¹ Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). М., 1963. С. 286–287 (серия «Литературные памятники»).

¹²² Полевой Н. А., Полевой К. А. Литературная критика: Статьи и рецензии. С. 393, 397 (статья «“Черная немочь”, повесть М. Погодина»).

извлекаемый из русского взгляда поэта на предметы»¹²³. «Самобытность» и «народность», по мнению К. Полевого, предполагают в писателе такое качество как «современность». Любой поэт, прежде всего «сын какой-нибудь земли и гражданин какого-нибудь века» и не может проникнуть в чувства и мысли другого народа и человека другой эпохи. «Русский, желающий быть греком, римлянином или итальянцем в лирической поэзии, – не поэт, ибо он идет вслед и подражает поэтам чужеземных народов, а подражатель не знает вдохновения»¹²⁴. Наряду с подражанием «чуждым писателям» Полевой отвергает и подражание «старинным русским произведениям словесности», «ибо в сем последнем случае переменяется только предмет подражания: следствия одинаковы – мы не будем самобытны»¹²⁵.

Возражая на «Обозрение русской словесности 1829 года» Киреевского К. Полевой наметил иную схему русского литературного развития, основной акцент в которой перенесен с влияния ярких творческих индивидуальностей (Карамзина, Жуковского и Пушкина) на «среднее состояние» – «демократические» слои, распространяющие образованность «в том отделе нашего общества, где она производит многозначашие, прочные успехи», создающие публику «не придворную»¹²⁶.

В начале 1830-х гг. в «Московском телеграфе» появляются статьи Н. А. Полевого о крупнейших русских поэтах – «Сочинения Державина» (1832. Ч. 46, № 15, 16; Ч. 47, № 17)¹²⁷, «Баллады и повести В. А. Жуковского» (1832. Ч. 47, № 19, 20)¹²⁸, «“Борис Годунов”. Сочинение Александра Пушкина» (1833. Ч. 49, № 1, 2)¹²⁹ – которые стали первым в истории русской критики опытом целостной картины национального литературного развития. Державин, Жуковский и Пушкин выступают в системе литературных взглядов Полевого представителями трех крупнейших периодов русской поэзии.

Державин – поэт русского XVIII в., слепо следовавшего, по мнению Полевого, литературным канонам французского ложно-классицизма. Дух века определял и положение поэта в обществе и меру и характер его воздействия на умы читателей. «Век Екатерины был для России блестящим веком Людовика XIV-го и Медицисов, – писал Полевой. – По их

¹²³ Там же. С. 377, 378–379 (статья «“Полтава”, поэма Александра Пушкина»).

¹²⁴ Там же. С. 456 (статья «Стихотворения Н. Языкова»).

¹²⁵ Там же. С. 497, 500 (статья «О новом направлении в русской словесности»).

¹²⁶ Там же. С. 402, 413 (статья «Взгляд на два обозрения русской словесности 1829 года, помещенные в “Деннице” и “Северных цветах”») – Московский телеграф. 1830. Ч. 31, № 2).

¹²⁷ Рецензия на четырехтомное издание «Сочинений» Державина (СПб., 1831).

¹²⁸ Рецензия на издание «Баллад и повестей» В. А. Жуковского в двух частях (СПб., 1831).

¹²⁹ Статья осталась незавершенной.

образцу устроилось и русское меценатство литературной иерархии. Литераторы искали покровительства вельмож и не приближались к трону. Им указан был предел, далее которого нельзя было переступить в отношении установленного порядка»¹³⁰. Исторической эпохой, в частности, было определено основное противоречие в жизни и поэтической личности Державина – противоречие между человеком, устремленным к земному, зависящим он непоэтического характера своего века, и поэтом, душа которого рвется к небу. Державин, в глазах Полевого, «исключительно поэтический характер» (в этом смысле с ним может сравниться только Пушкин), он далеко вырвался силою своего дарования из узких литературных пределов своего времени, но «не мог сделать эпохи ни в словесности, ни в языке русском». «...Он пел дивную песнь – ему внимали, не понимая сей песни»¹³¹. Русская литература, продолжая развиваться под преимущественным влиянием французской, полностью подчинила себя ограниченному вкусу светского общества. «Теория казалась совершенно определенной; правила казались неоспоримо верными; слог, составляя все, к чему старались достигнуть, был точен, вылощен, гладок. Одобрение дамы считалось высокою, лучшею наградою, критика не существовала... <...> Крылов показал тогда первый пример истинно-русского языка в своих баснях. Но этого не замечали, судили его по Лафонтену, прощали ему *мужичество* его, сравнивали переводы его с переводами И. И. Дмитриева и решали, что последний выражается лучше и вернее переводит...»¹³².

Из этого усыпления русскую литературу вывел Жуковский, познакомивший ее с современной немецкой и английской поэзией. В чисто литературном отношении Жуковский и Державин представляют собой «противоположность решительную, к какой способен человек, противоположность мыслей, характера, слова, языка, века, направления»¹³³. Поэзия Державина вся обращена к миру, к земному, Жуковский устремлен душой в небо; Державин красочен и разнообразен в своих созданиях, мысль Жуковского монотонна, что искупается удивительным богатством формы его стихов; Державин национален, Жуковский космополитичен и т. д. Тем не менее ни Жуковский, ни Державин не могли создать поэзии полностью самобытной, национальной. Им мешали на этом пути и господствовавшие в обществе ложные, внешние представления о народности, и дух века, равнодушного к национальному прошлому. Жуковский подготовил русскую литературу к усвоению исторической идеи, подчинившей себе все сферы европейской интеллектуальной

¹³⁰ Полевой Н. А., Полевой К. А. Литературная критика: Статьи и рецензии. С. 169 (статья «Сочинения Державина»).

¹³¹ Там же. С. 192.

¹³² Там же. С. 202 (статья «Баллады и повести В. А. Жуковского»).

¹³³ Там же. С. 212.

современности. В литературе выразителем исторического направления века стала романтическая школа, составленная «стремлением духа, решительно противоположным классицизму, стремлением – проявить творящую самобытность души человеческой»¹³⁴.

Представителем нового, романтического периода русской литературы в глазах Полевого является Пушкин. По мнению Полевого, романтизм образовывается «не только отдельно каждым народом, но даже отдельно каждым великим писателем», который отверг классические правила и сумел быть подлинно самобытным и народным. С этих позиций Полевой и оценивал творчество Пушкина как представителя русского романтизма. В глазах широкого и достаточно демократического слоя читателей «Московского телеграфа» начала 1830-х гг. Полевой твердо закрепил за Пушкиным репутацию романтика. И. И. Панаев вспоминал: «Я не задумываясь тотчас же стал под знамена романтизма, представителями которого у нас считал Полевого, Пушкина и его школу, и торжествовал победу романтиков, имея, впрочем, очень слабое понятие о том, что за звери классики»¹³⁵.

1834 г. можно считать неким символическим рубежом в истории русской литературной критики. Это был год запрещения журнала братьев Полевых «Московский телеграф», что на время остановило их критическую деятельность. Впрочем, в статьях начала 1830-х гг. Н. А. Полевой, кажется, полностью выразил круг своих мнений и свою историко-литературную концепцию. В этот год начал выходить журнал О. И. Сенковского (1800–1858) «Библиотека для чтения»¹³⁶, радикально изменивший ситуацию в русской журналистике. «Библиотека для чтения» была журналом, принципиально новым в русской литературе. Адресованный «средне интеллектуальному» читателю, провинциальному дворянству, чиновничеству и среднему мещанству, он носил развлекательный и «просветительский» характер, знакомя свою публику с новинками зарубежной науки, литературы и жизни. Своей явно выраженной критической позиции журнал, пожалуй, не имел, но исторически именно он открыл в России эпоху «толстых журналов».

К этому же 1834 г. относится публикация в еженедельнике «Молва» (1834. Ч. 8, № 38, 39, 41, 42, 45, 46, 49–52), приложении к издававшемуся Н. И. Надеждиным журналу «Телескоп» (1831–1836), первой крупной литературно-критической статьи В. Г. Белинского (1811–1848) «Литературные мечтания. Элегия в прозе». Эта статья открывает новый период

¹³⁴ Там же. С. 124 (статья «О романах Виктора Гюго и вообще о новейших романах»).

¹³⁵ Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1988. С. 57–58.

¹³⁶ Издателем журнала значился книгопродавец А. Ф. Смирдин, уже в январе 1834 г. Сенковский под давлением властей формально отказался от редакторства, и номинальным редактором числился Н. И. Греч, с января по май 1835 г. им был И. А. Крылов, с мая – Е. Ф. Корш. Только с 1836 г. Сенковский формально вернулся на пост редактора «Библиотеки».

в истории русской критики и одновременно дает основания к подведению итогов предыдущего. Белинский в «Литературных мечтаниях» как бы синтезирует предшествующие критические тенденции: и «философскую» линейку московской критики, и «исторический» подход братьев Полевых. В «Литературных мечтаниях» начинает оформляться тип критической статьи, который станет преобладающим в последующий период, – проблемная статья, написанная на широком материале, далеко выходящем за границы рецензируемого объекта и содержащая не впрямую относящиеся к изящной словесности выводы. Оценка творчества того или иного автора производится в соответствии с критериями, выработанными современной европейской критикой: рассматривается весь круг его деятельности, обстоятельства его жизни, степень его влияния на современников и потомство, дух его творений вообще, и «по соображению всего этого решают, какое место он должен занимать в литературе и какую славою пользоваться»¹³⁷. «Пушкинский период», проходивший под знаком романтизма, объявляется завершенным. Белинский говорит о новом, «прозаическо-народном» периоде, отличительными признаками которого являются отсутствие какой-либо центральной фигуры на литературной сцене и явное преобладание прозы. Литература должна органично вытекать из народной и общественной жизни, «непременно должна быть выражением – символом внутренней жизни народа», это «одно из необходимейших ее принадлежностей и условий»¹³⁸. В этой же сентенции содержится ответ на дискуссии о том, что представляет собой «народность» в литературе¹³⁹. И, наконец, декларируется прямая связь литературного развития с развитием общества и с просвещением. «...Надо сперва, чтобы у нас образовалось общество <...> чтобы у нас было просвещение, созданное нашими трудами, возвращенное на родной почве, заявлял Белинский. – У нас нет литературы <...> нам нужна не литература, которая без всяких с нашей стороны усилий явится в свое время, а просвещение!»¹⁴⁰.

¹³⁷ Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 1. С. 42.

¹³⁸ Там же. С. 29. В таком понимании литературы в России, по мнению Белинского, еще не было и нет.

¹³⁹ «...Есть ли у нас народность литературы в этом смысле? – спрашивает Белинский и отвечает: – Нет, да куда, при всех благородных желаниях просвещенных патриотов, и быть не может. Наше общество еще слишком юно, еще не установилось, еще не освободилось от европейской опеки; его физиономия еще не выяснилась и не выформировалась» (Там же. С. 93–94).

¹⁴⁰ Там же. С. 101.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЩЕСТВА И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГРУППИРОВКИ 1810–1820-х гг.

С восшествием на престол Александра I, вспоминал А. Ф. Мерзляков, «все устремились с невероятным рвением к обработанию русского слова. Мужичи, знаменитейшие по влиянию и власти своей, с сладостным удовольствием преклонили слух свой к произведениям словесным. Молодые дворяне составили из трудов *словесности* свои любимейшие занятия, и всякое состояние вообще обратило на нее взор свой как на путь, ведущий к благородным почестям и достоинствам отличным <...>. В сие время блистательно обнаружилась охота и склонность к словесности во всяком звании; образовался, так сказать, дух публики <...>. Сей дух, быстрый и благотворный, произвел весьма многие частные ученые собрания литературные, в которых молодые люди, знакомством или дружеством соединенные, сочиняли, переводили, разбирали свои переводы и сочинения и таким образом совершенствовались на трудном пути словесности и вкуса»¹. Эта, может быть, излишне пафосная цитата тем не менее свидетельствует, что поколение литераторов, к которому принадлежал Мерзляков, связывало начало нового царствования, совпавшее с началом нового столетия, с некими существенными изменениями в коллективном и индивидуальном сознании – изменениями, которые ретроспективно мы можем оценить как проявление тенденции к становлению в России социального института литературы, иначе говоря, к формированию современной модели литературного поля².

¹ Мерзляков А. Ф. Воспоминание о Федоре Федоровиче Иванове // Труды Общества любителей русской словесности при имп. Московском университете. М., 1817. Ч. 7. С. 101–102. В это же время, в статье об «Опытах в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова (1817) С. С. Уваров писал: «С воцарением Александра I в России началась новая эпоха; новая эра открылась и в литературе...» (цит. по: «Арзамас»: Сб. в 2 кн. / Под общей ред. В. Э. Вацура и А. Л. Осповата. М., 1994. Кн. 2. С. 95).

² Настоящий очерк не ставит целью подробной библиографии вопроса. Отсылаем к библиографическому перечню Н. А. Хмелевской «Литературные общества, кружки и салоны в России в XIX веке: список литературы на русском языке за 1828–1993 гг.» (Российская национальная библиотека: [офиц. сайт]. 2000–2011. http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18391.pdf (дата обращения: 15. 11. 2022)). О новейших проблемах изучения литературных обществ см. также в статье А. С. Бодровой (Бодрова А. С. Литературные общества в России первой половины XIX века: Проблема междисциплинарного описания // Русская литература. 2021. № 1. С. 5–18).

Процесс формирования литературных группировок, если не был прямо инициирован, то во всяком случае происходил под влиянием ряда факторов, действовавших на пересечении собственно литературной и нелитературной сфер и достаточно сложно взаимодействовавших друг с другом. Мгновенная либерализация общественной жизни и перспективы грядущих политических преобразований открывали (во всяком случае, создавали такую иллюзию) перед вступающим в жизнь поколением широкий диапазон новых возможностей. Естественная потребность к взаимному общению и к объединению в кругах молодых людей, интересующихся словесностью³, получила дополнительный импульс в том энтузиазме, с которым было встречено начало царствования Александра I. Восторженным энтузиазмом проникнуто обращение Андрея Тургенева к отечеству в его речи 7 апреля 1801 г. на первом торжественном заседании недавно образованного Дружеского литературного общества: «О ты, пред которым в сии минуты благоговейт сердца наши в восторге радости! Цари хотят, чтоб пред ними пресмыкались во прахе рабы; пусть же ползают пред ними льстецы с мертвою душою; здесь пред тобою стоят сыны твои! Благослови все предприятия их!»⁴. По-видимому, на этом же заседании другой участник Общества, А. Ф. Мерзляков, читал свою аллюзионную «Оду на разрушение Вавилона»:

<.....>
Иссякло море наших бед.
Воскресла радость, мир блаженный,
Подвигнулся Ливан священный,
Главу подъемлет к небесам;
В восторге недры встрепетали:
«Ты умер наконец, – вещали, –
Теперь чего страшиться нам?»⁵

Дружеское литературное общество, хронологически открывающее ряд литературных обществ и группировок первой четверти XIX в., образовалось в Москве из группы приятелей – участников так называемого младшего Тургеневского кружка,

³ Уже в одной из первых работ, посвященных вопросам литературной социологии, Л. Шюккинг отмечал существование разного рода группировок и объединений как одну из характерных черт художественного пространства: «...Ни одна категория людей не чувствует такой глубокой потребности в обществе себе подобных, как именно деятели искусства. <...> Эти группировки подтверждают правильность мнения, что и в духовной сфере алмаз шлифуется только алмазом; отсутствие таких группировок затрудняет творчество» (*Шюккинг Л. Социология литературного вкуса / Пер. с нем. Б. Я. Геймана и Н. Я. Берковского, под ред. и с предисл. В. М. Жирмунского. Л., 1928. С. 74*).

⁴ Цит. по: *Лотман Ю. М. Стихотворение Андрея Тургенева «К отечеству» и его речь в «Дружеском литературном обществе» // Литературное наследство. М., 1956. Т. 60, кн. 2. С. 336.*

⁵ *Мерзляков А. Ф. Стихотворения / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Ю. М. Лотмана. Л., 1958. С. 217 (Б-ка поэта; Большая серия).*

лидерами которого, кроме давшего ему имя Ан. И. Тургенева (1782–1803), были А. Ф. Мерзляков (1778–1830) и В. А. Жуковский (1783–1852). Близость участников кружка определялась общностью литературно-эстетических взглядов и этических установок – увлечение театром и «штюрмерской» литературой, в первую очередь Шиллером и «Страданиями юного Вертера» Гёте, неприятие «ложно-чувствительного» сентиментализма, культ «энтузиазма» и шиллеровской «прекрасной души» («Schöne Seele»), экзальтированное переживание дружбы⁶. Кружок существовал уже не менее трех лет к тому моменту, когда 12 января 1801 г. решил учредить Общество, куда, кроме «триумвирата» лидеров, вошли также Ал. И. Тургенев (1784–1845), три брата Кайсаровых – Андрей (1782–1813), Михаил (1780–1825) и Петр (1777–1854), А. Ф. Воейков (1878 или 1879 – 1839) и товарищи Жуковского и Ал. Тургенева по Университетскому благородному пансиону С. Е. Родзянко (1782–1809 ?) и А. П. Офросимов (1782–1846). Молодые люди, по большей части уже пробовавшие себя в авторстве и видевшие свои имена в печати, объединились, чтобы служить «добродетели и истине» посредством развития в себе «таланта» «трогать и убеждать других словесностью»⁷. «Цель наша – образование себя в литературе, особливо в русской, образование нравственного нашего характера», – подчеркивал Ан. И. Тургенев на одном из последующих заседаний⁸. Согласно подписанным участниками «Законам», еженедельные заседания должны были начинаться речью одного из членов Общества, посвященной какому-либо предмету по его выбору, далее следовали разбор и критика собственных произведений участников, чтение и суждение о «полезных» книгах, занятия теорией изящных наук. Утверждались должности президента, секретаря и казначея. Президент избирался большинством голосов на три месяца, также раз в три месяца проводились торжественные собрания. Встречались у А. Ф. Воейкова в его доме на Девичьем поле или у Жуковского. Общество изначально заявило себя как состоящее из «малого числа членов, дружеством соединенных»⁹ и не стремилось к публичности, к которой не располагала и атмосфера последних месяцев Павловского

⁶ См.: *Истрин В. М.* Младший Тургеневский кружок и Александр Иванович Тургенев // Архив братьев Тургеневых. СПб., 1911. Вып. 2. С. 1–134; Письма Андрея Тургенева к Жуковскому / Публ. В. Э. Вацура и М. Н. Виралайнен // Жуковский и русская культура: Сб. науч. тр. Л.: Наука, 1987. С. 350–358; *Вацура В. Э.* Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994. С. 20–47

⁷ Законы Дружеского литературного общества / Публ. Н. С. Тихонравова // Сборник Общества любителей российской словесности на 1891 год. М., 1891. С. 1.

⁸ Цит. по: *Истрин В. М.* Дружеское литературное общество 1801 г.: (По материалам архива братьев Тургеневых) // Журнал Министерства народного просвещения. Нов. серия. 1910. Ч. 28, № 8. С. 288, 2-я паг.

⁹ Законы Дружеского литературного общества. С. 2.

царствования¹⁰. Чисто литературный характер собраний не исключал обращения к острым общественно-политическим темам (о чем свидетельствуют, в частности, некоторые речи произнесенные на заседаниях Общества)¹¹.

До нас дошло небольшое число письменных документов, относящихся собственно к Дружескому литературному обществу, – «Законы», сборник с текстами двадцати трех речей из тургеневского архива¹² и две речи Ан. Тургенева, известные по черновым рукописям, сохранившимся в бумагах Жуковского¹³. Последняя речь датирована 1 июня 1801 г.; возможно, после этого времени регулярные собрания прекратились, а с отъездом Ан. Тургенева в Петербург в ноябре 1801 г. общество де-факто распалось. Нет сведений о собственно литературных занятиях общества (какие произведения участников читались и критически разбирались на собраниях, какие сочинения обсуждались, какие эстетические вопросы становились предметом рассмотрения). Даже исследователи, сосредоточившиеся преимущественно на деятельности Общества¹⁴, сталкивались с необходимостью рассматривать его в более широком контексте литературных интересов младшего Тургеневского кружка на всем временном пространстве его существования. И это требует введения некоторых дефиниций.

¹⁰ Пункт V «Законов» прямо устанавливал: «Для принятия в наше Общество непременно должно, чтоб который-нибудь из членов коротко знал приемлемого» (Там же). Характерна также и оговорка по поводу возможной переписки секретаря с отсутствующими членами Общества: «В письмах должны как все члены, равно и секретарь наблюдать возможную скромность, в осторожность от почты» (Там же. С. 12).

¹¹ Ан. Тургенев даже обратился один раз к друзьям с предостерегающим вопросом: «Отчего говорим мы так часто о вольности, о рабстве, как будто бы собрались здесь для того, чтобы разбирать права человека?» (цит. по: *Лотман Ю. М.* Стихотворение Андрея Тургенева «К отечеству» и его речь в «Дружеском литературном обществе». С. 327).

¹² РО ИРЛИ, ф. 309, № 618. Перечень вошедших в сборник речей см.: *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 2011. Т. 8. С. 459–460; материал в значительной мере остается неопубликованным.

¹³ См.: *Лотман Ю. М.* 1) Стихотворение Андрея Тургенева «К отечеству» и его речь в «Дружеском литературном обществе». С. 334–336; 2) Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. Тарту, 1958. С. 76 (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 63).

¹⁴ См.: *Истрин В. М.* 1) Дружеское литературное общество 1801 г.: (По материалам архива братьев Тургеневых) // Журнал Министерства народного просвещения. Нов. серия. 1910. Ч. 28, № 8. С. 273–307, 2-я паг.; 2) Из архива братьев Тургеневых. I. Дружеское литературное общество 1801 г.: (Дополнение) // Там же. 1913. Ч. 44, № 3. С. 1–15, 2-я паг.; *Фомин А. А.* Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров. Новые данные о них по документам архива П. Н. Тургенева // Русский библиофил. 1912. № 1. С. 7–39; *Лотман Ю. М.* 1) Стихотворение Андрея Тургенева «К отечеству» и его речь в «Дружеском литературном обществе»; 2) Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. С. 18–76.

Примем определение литературных обществ как «постоянно действующих объединений лиц, преследующих определенные цели и связанных друг с другом формально – уставом или положением, регулирующим вопросы состава членов, средств организации, порядка собраний и т. п.»¹⁵. Под «кружками» же будем понимать «группы литераторов, регулярно собирающихся для совместных занятий и объединенных общей тематической, эстетической, поэтологической, мировоззренческой и т. п. установкой»¹⁶. Основное отличие кружка от общества при этом будет даже не в отсутствии формальной структуры, а в их разном положении на шкале приватности–публичности. Тогда как литературное общество является структурой принципиально открытой и рассчитанной на легализацию (официальную регистрацию, утверждение устава) и общественную репрезентацию своей деятельности (публичные заседания, печатные отчеты, издания «трудов»), литературный кружок «создается именно для писательской сегрегации <...> и для хотя бы временной самоизоляции от “представителей других общественных групп”»¹⁷. Дефиниции публичности и принципиальной открытости / закрытости структуры важны для определения характера того или иного литературного объединения независимо от его самоназвания и от наличия элементов формальной организации, к которой зачастую тяготеют дружеские кружки. Кружок, являясь местом выработки и усвоения новых эстетических и мировоззренческих идей и творческих практик, теснее, чем общество, связан с имманентным процессом литературного развития, и его историко-литературная значимость ретроспективно оценивается по влиянию на индивидуальные творческие траектории участников¹⁸. Дружеское литературное общество, с этой точки зрения, не имело

¹⁵ *Шруба М.* Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: Словарь. М., 2004. С. 7.

¹⁶ Там же.

¹⁷ [*Лаппо-Данилевский К. Ю.*] Кружки, салоны... Как и что изучать? // Von Wenigen. От немногих. СПб., 2008. С. 69. Ср. в этой связи замечание Ю. М. Лотмана, что Дружеское литературное общество представляет «попытку эмансипации» от официальных литературных кружков (*Лотман Ю. М.* Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. С. 24). Имеется в виду в первую очередь организованное в 1799 г. А. А. Прокоповичем-Антонским и начавшее действовать под председательством В. А. Жуковского «Собрание воспитанников Университетского Благородного пансиона». При этом и провозглашенные цели и сам устав Дружеского литературного общества обнаруживает характерную близость к уставу «Собрания воспитанников», главным своим предметом объявившего «исправление сердца, очищение ума и вообще обрабатывание вкуса» (*Сушков Н. В.* Московский университетский благородный пансион и воспитанники Московского университета, гимназий его, университетского Благородного пансиона и дружеского общества. М., 1858. С. 37, 2-я паг.).

¹⁸ См. в этой связи замечание в мемуарной заметке С. С. Уварова 1851 г.: «...Частные, так сказать, домашние общества, состоящие из людей, соединенных между собой свободным призванием и личными талантами и наблюдающих за ходом литературы, имели

самостоятельного значения и осталось лишь эпизодом в истории младшего Тургеневского кружка, установки которого во многом определили линию развития поэзии Жуковского и, спустя много лет, еще отзывались в противоречивых эстетических концепциях Мерзлякова.

Почти в одно время с организационными попытками внутри младшего тургеневского кружка несколько молодых людей, выпускники петербургской Академической гимназии учредили Дружеское общество любителей изящного, действовавшее потом на протяжении четверти века под названием **Вольное общество любителей словесности, наук и художеств** (ВОЛСНХ)¹⁹. В основе этого объединения, несомненно, также находился приятельский кружок, включавший И. М. Борна (1778–1851) и В. В. Попугаева (1778 или 1779 – 1816), которым собственно принадлежала идея объединения, а также А. Г. Волкова (1780 – не ранее 1826), В. В. Дмитриева (1777–1820), В. И. Красовского (1782–1824), М. К. Михайлова (1775 (?) – 1856) и Я. Лангена²⁰. Датой основания Общества считается 15 июля 1801 г., день организационного заседания, на котором был объявлен предмет занятий – словесность, науки и художества, и определены главные цели – «взаимно себя усовершенствовать в сих трех отраслях» и «споспешествовать по силам своим к усовершенствованию сих трех отраслей»²¹. Была установлена регулярность еженедельных заседаний, ведение протокола которых поручалось выбиравшемуся на определенный срок секретарю²². Ни на участие в их предприятии, ни даже на покровительство никого из литературных «авторитетов» собравшиеся не рассчитывали. Открытое к приему новых членов, Общество не быстро, но последовательно расширялось. В течение года со дня

и имеют не только у нас, но и повсюду, ощутительное, хотя некоторым образом невидимое влияние на современников. В этом отношении академии и другие официальные учреждения этого рода далеко не имеют подобной силы. Такие официальные учреждения не дают знаменитым писателям, а частью заимствуют от них жизнь и направление» (цит. по: «Арзамас». Кн. 2. С. 40–41).

¹⁹ В дальнейшем изложении деятельности ВОСНХ мы опираемся на его архив, хранящийся в Научной библиотеке им. М. Горького Санкт-Петербургского гос. университета и представленный цифровой коллекцией (Архив Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Электронный ресурс. Авторы проекта А. А. Савельев, Н. И. Николаев, А. В. Соловьев. <http://old.library.spbu.ru/rus/Volsnx/istoria.html> (дата обращения 15.11.2022)). Там же дана и библиография работ, посвященных различным аспектам деятельности ВОЛСНХ.

²⁰ В сохранившихся протоколах Общества за сентябрь 1801 – июль 1802 г. Ланген упоминается в числе присутствующих только раз на заседании 21 сентября, потом он заседаний не посещал и был исключен в июне 1802 г. вместе с отошедшим от Общества Михайловым.

²¹ *Востоков А. Х.* Краткая история Общества любителей словесности наук и художеств // Периодическое издание Вольного общества любителей словесности наук и художеств. 1804. Ч. 1. С. 1.

²² См.: Там же. С. 2.

основания в него вступили С. А. Шубников²³, А. Х. Востоков (1781–1864), П. М. Иванов и А. М. Яковлев²⁴, художник Ф. Ф. Репнин (1788–1855), Г. И. Спасский (1783–1864), художник А. И. Иванов (1775–1848), М. Олешев, А. Е. Измайлов (1779–1831), Н. Ф. Остолопов (1783–1833), Д. И. Языков (1773–1845), Д. Ф. Бринкен, И. А. Кованько (1774 или 1775–1830), Н. И. Судаков (ум. 1809 или 1810), корреспондентом был принят И. Д. Ертов (1777–1842). На третьем году своего существования состав пополнился еще десятком человек. Характер Общества, несмотря на присутствие в нем представителей изящных искусств, был все же по преимуществу литературным. Одним из шагов на пути институализации стало появление печатного издания Общества – стихотворного альманаха «Свиток муз», первая книжка которого вышла в апреле 1802 г., вторая – в марте 1803 г.²⁵ «В заседании 7 сентября <1802> Общество получило приятное известие о представлении его превосходительством камергером двора его императорского высочества Витовтовым первой книжки “Свитка муз” его императорскому величеству. Общество сие известие приняло с тем большим удовольствием, что сей толь известный по патриотическим своим чувствам муж сие сделал без всякого искания со стороны Общества»²⁶. 2 апреля 1803 г. участники подписали устав и приняли важнейшее решение, не имевшее ранее прецедентов, – добиваться официального признания Общества. Через попечителя санкт-петербургского учебного округа Н. Н. Новосильцева соответствующее прошение и устав были переданы императору; 26 ноября 1803 г. последовало высочайшее позволение «открыть свои заседания» с прибавлением в название общества слова «вольное». Произошла, говоря современным языком, государственная регистрация общественной организации²⁷.

²³ Степан Александрович Шубников был избран 21 сентября 1801 г. «за представленный перевод Вольтеровой философии»; исключен из членов 11 марта 1804 г.

²⁴ Петр Михайлович Иванов и Александр Михайлович Яковлев избраны 24 ноября 1801 г. «по представленным ими сочинениям и переводам», выключены из состава членов 19 октября 1807 г.

²⁵ Альманах включал оригинальные стихотворения и переводы Востокова (в кн. 1 – 13, в кн. 2 – 12), Волкова (17 в кн. 1), Попугаева (в кн. 1 – 5, в кн. 2 – 8), Борна (в кн. 1 – 3, в кн. 2 – 7), Красовского (в кн. 1 – 3, в кн. 2 – 1), Олешева (в кн. 2 – 2 и, возможно, еще два за подписью: «О. О.» в кн. 1 (см.: *Максимов А. Г.* Описание русских периодических изданий XIX века // Литературный вестник: Изд. Русского библиологического о-ва. СПб., 1904. Т. 8. С. 174–175), по одному стихотворению Михайлова (кн. 1) и Остолопова, Бринкена и И. А. Кованько (кн. 2).

²⁶ *Попугаев В. В.* История Общества любителей словесности наук и художеств // Периодическое издание Вольного общества любителей словесности наук и художеств. 1804. Ч. 1. С. XI–XII.

²⁷ С момента высочайшего разрешения члены обществ начинали учитываться в месяцесловах и адрес-календарях как состоящие в «общем штате Российской империи». ВОЛСНХ впервые учтено в «Месяцеслове... на 1806 г.» – в разделе «Вольные ученые общества, правительством учрежденные», где оно прибавилось к существовавшим ранее

ВОЛСНХ стало первым опытом независимого профессионального писательского союза и шагом на пути легитимации авторской деятельности в общественном сознании, закреплению за ней определенных форм символического капитала.

В этой связи заслуживает внимание социальный статус учредителей Общества. Борн был сыном портного-немца, по выходе из гимназии служил корректором Академической типографии, с мая 1802 г. – директор канцелярии Медико-филантропического комитета; Попугаев, по происхождению разночинец, сын художника шпалерной мануфактуры, служил чтецом в Санкт-Петербургской цензуре Управы благочиния, потом – учителем русского языка в немецкой школе св. Петра; Волков – беспоместный дворянин из обер-офицерских детей, переводчик при химике академике Т. Е. Ловице; Дмитриев – из купеческой семьи, до 1800 г. – смотритель при Академической гимназии, затем назначенный состоять при члене Синода П. Я. Озерцовском; несколько выше по социальному происхождению стояли Красовский – сын духовника Павла I, протоиерея Придворной церкви и члена Российской академии И. И. Красовского, переводчик Берг-коллегии, и Михайлов – дворянин, племянник астронома академика С. Я. Румовского, в 1801 г. уже служивший в канцелярии Государственного совета под началом М. М. Сперанского. Литературный опыт их также был невелик: для Борна, Волкова и Красовского публикация в «Свитке муз» стала печатным дебютом²⁸. В следующие несколько лет Общество пополнялось преимущественно за счет молодых людей, в основном мелких чиновников, сделавших только первые шаги в словесности. Лица, уже составившие себе имя в литературе, избирались почетными членами. Сразу по утверждению статуса почетного члена, 15 июля 1805 г., он был придан Г. Р. Державину, Н. М. Карамзину, И. И. Дмитриеву, М. Н. Муравьеву, М. М. Хераскову, А. Н. Оленину и др., как, разумеется, и ряду государственных деятелей, например, Н. Н. Новосильцеву, министру народного просвещения графу П. В. Завадовскому, президенту Академии художеств А. С. Строганову, неизменно покровительствовавшему Обществу статс-секретарю А. А. Витовтову.

Новые члены принимались в ВОЛСНХ по рассмотрении и одобрении представленных ими литературных или ученых трудов, и вступление в Общество, таким образом, могло расцениваться своего рода «признанием» начинающего автора как равного в

Вольному экономическому обществу и Обществу словесности и практики в Риге. Копии протоколов Общества должны были ежегодно отсылаться министру просвещения.

²⁸ К моменту основания Общества в печати появлялись только сочинения Попугаева – сентиментальная повесть «Аптекарьский остров, или Бедствия любви» (СПб., 1800) и небольшой сборник стихотворений «Минуты муз» (СПб., 1801), а также Михайлова – несколько переводов, опубликованных в «Новых ежемесячных сочинениях» в 1792 г.

«профессиональной среде» (так например, в 1805 г. не был принят в ВОЛСНХ К. Н. Батюшков (1787–1855), ставший членом общества только в 1812 г.²⁹). С реакцией этой среды, ее поощрением и критикой, он отныне должен был так или иначе соотноситься³⁰. Право на проведение открытых собраний, предполагаемое официальным утверждением, теоретически открывало автору и путь к публичной известности³¹. Неясно, впрочем, насколько могли быть доступны для не членов Общества его собрания, проходившие первые годы в квартирах Борна и Языкова. Только 18 ноября 1810 г. Александр I, по докладу статс-секретаря А. А. Витовтова, разрешил проводить собрания ВОЛСНХ в зале Медико-филантропического комитета в Михайловском замке (вследствие чего Общество получило второе название «Михайловское»).

В литературной деятельности участников прослеживается несколько разнонаправленных тенденций: условно говоря «немецкое» направление со стремлением к филологическому эксперименту, разработке новых тем, жанров и стиховых форм, ориентированных главным образом на античность (Востоков, Борн, Волков, Олешев); «французское» направление (Остолопов, Измайлов, А. А. Писарев (1780 или 1781, или 1782 – 1848)³², Н. П. Брусилов (1782—1849)³³); несколько особняком стоит группа авторов, тяготевших к философской и натурфилософской проблематике и поэзии (Попугаев, И. П. Пнин (1773–1805)³⁴, Ф. И. Ленкевич (нач. 1780-х – 1810)³⁵. Внутри Общества существовали дружеские кружки и литературно-бытовые группировки «по интересам». Через них в орбиту Общества, в частности, вовлекались литераторы, формально к Обществу не принадлежащие. Одним из таких объединений стал кружок, собиравшийся в 1805 г. на

²⁹ См.: *Проскурин О. А.* Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000. С. 47–80.

³⁰ Так, например, прослушав в мае отрывки из эпистолярного романа Г. И. Спасского «Пармен и София» и найдя «план сего романа слишком обширным и весьма много в частные подробности входящим», Общество рекомендовало автору оставить работу над ним. В следующем году, напротив, несколько заседаний были посвящены рассмотрению и «считыванию» перевода трактата Ч. Беккариа (Beccaria Bonesana; 1738–1794) «О преступлениях и наказаниях» («*Dei delitti e della pene*», 1764), выполненному Д. И. Языковым, после чего перевод был поднесен от имени Общества Александру I и издан на «на иждивение его императорского величества» (*Попугаев В. В.* История Общества любителей словесности наук и художеств. С. X).

³¹ Кстати, именно об этом говорил Борн, выступавший против получения Обществом официального статуса: не нужно «выставлять себя наружу и подвергаться требованиям публики» (Там же. С. XXI).

³² Член ВОЛСНХ с 22 октября 1804 г.

³³ Член ВОЛСНХ с 17 декабря 1804 г.

³⁴ Член ВОЛСНХ с 16 ноября 1802 г.

³⁵ Член ВОЛСНХ с 15 июля 1805 г.

литературных вечерах Брусилова, где бывали Остолопов, Измайлов, Пнин. Через кружок Брусилова с ВОЛСНХ сблизился Н. И. Греч (1787–1867), формально вступивший в него только в 1810 г., Батюшков, Н. И. Гнедич (1784–1833), не вступивший в общество и много позже, в 1820 г., избранный почетным членом.

История ВОЛСНХ изучена недостаточно. Историография его раннего периода складывалась под влиянием мифотворческой концепции В. Н. Орлова³⁶, считавшего 1801–1807 гг. наиболее ярким и плодотворным в художественном отношении и наиболее радикальным в политическом этапе развития ВОЛСНХ. Именно В. Н. Орлов, выдвинувший утверждение о популярности личности и произведений А. Н. Радищева среди членов ВОЛСНХ, в частности, ввел в научный оборот определение «поэты-радищевцы» для обозначения собравшихся в Обществе молодых поэтов³⁷. В настоящее время представления о широком масштабе деятельности и о значительной роли ВОЛСНХ в культурной и общественной жизни страны в этот период сильно скорректированы и он рассматривается скорее как «время литературного ученичества <...> период овладения литературным и философским наследием XVIII века»³⁸. По мнению Л. Н. Майкова, деятельность ВОЛСНХ была «ограничена» и «скромна» и «в ней замечалось два оттенка или, лучше сказать, две струи: одна – собственно литературная, другая – социально-политическая. Собственно литературное направление Общества выражалось сочинением и разбором разных литературных произведений <...> интересы же социально-политические проявлялись в том, что члены читали в своих собраниях переводы из Беккарии, Филанжиери, Мабли, Рейналя, Вольнея и других свободомыслящих историков и публицистов XVIII века, а иногда и свои собственные статьи на такие темы...»³⁹. В первые годы деятельности общества его участниками, действительно, был создан целый ряд оригинальных трактатов, в разных формах продолжавших и развивавших идейные традиции русского Просвещения – «Вопль невинности, отвергаемой законами» (1802) (в защиту «незаконных» детей) и «Опыт о просвещении относительно к России» (1804) Пнина, «Речь о просвещении человеческого рода» Востокова, «Рассуждение о нищих...»

³⁶ См.: Орлов В. Н. 1) Вольное общество любителей словесности, наук и художеств // История русской литературы / АН СССР; Институт литературы (Пушкинский Дом). М.; Л., 1941. Т. 5. С. 198–224; 2) Русские просветители 1790–1810-х годов. М., 1950.

³⁷ См.: Поэты-радищевцы. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств / Ред. и коммент. В. Орлова; вступ. ст. В. А. Десницкого и В. Орлова. [М.]: Сов. писатель, 1935 (Б-ка поэта; Большая сер.).

³⁸ Проскурин О. А. Литературные скандалы пушкинской эпохи. С. 56.

³⁹ Майков Л. Н. О жизни и сочинениях К. Н. Батюшкова // Батюшков К. Н. Соч.: В 3 т. СПб., 1887. Т. 1. С. 39.

(1804) и «Вчерашний день, или Некоторые размышления о жаловании и пенсиях» (1807) Измайлова, «О политическом просвещении вообще» и «О рабстве и его начале и следствиях в России» Попугаева, – вполне отвечающих своей интенцией и демократической позицией либеральным веяниям и реформаторским ожиданиям начала Александровского царствования.

Литературная «незрелость» Общества, по-видимому, являлась причиной и его неудач в попытках издания собственного печатного органа. В 1804 г. вышел первый номер «Периодического издания Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», открывавшийся историей существования Общества за первые два года⁴⁰ и, кроме стихотворных мелочей, содержащий и серьезные прозаические статьи (наиболее видная – трактат Попугаева о политическом просвещении). Издание не имело выраженной внутренней структуры, включало сочинения только членов ВОЛСНХ и не далеко ушло по типу от альманаха. Продолжения его не последовало. Следующая инициатива относится к 1807 г., когда Д. И. Языков выступил инициатором ежемесячного журнала с достаточно широкой программой: поэтические и прозаические сочинения, статьи, посвященные наукам, искусствам и театру, ученые известия, биографии и некрологи, русская и иностранная библиография. Вкладчиками первого номера должны были стать члены Общества, со следующего предполагалось пригласить к участию почетных членов и публику. Однако и это издание, несмотря на начавшийся уже сбор денег, не состоялось. Частные журнальные предприятия отдельных членов Общества были более успешны, хотя тоже недолговечны. В 1805 г. фактическим органом ВОЛСНХ стал «Журнал российской словесности», издававшийся Брусиловым, в 1806 г. участники активно печатались в журнале Остолопова «Любитель словесности», в 1809–1810 гг. – в «Цветнике» А. П. Бенитцкого (1782–1809)⁴¹, Измайлова и П. А. Никольского (1790–1816)⁴²; не отказывался брать некоторые сочинения в свои журналы и почетный член ВОЛРС И. И. Мартынов, издатель «Северного вестника» (1804–1805) и «Лицея» (1806). Первый период истории

⁴⁰ Историю Общества написал Попугаев («История Общества любителей словесности наук и художеств»), но поскольку часть членов была статьей Попугаева недовольна, был допечатан (со своей пагинацией) и приплетен к изданию другой вариант, написанный Востоковым («Краткая история Общества любителей словесности наук и художеств»).

⁴¹ Член-корреспондент ВОЛСНХ с ноября 1806 г., действительный член с 15 июня 1807 г.

⁴² Член ВОЛСНХ с 25 июня 1810 г.

ВОЛСНХ завершился очевидным внутренним кризисом⁴³ и практическим затуханием деятельности Общества в 1808–1809 г.

В 1806 г. в Казани Н. М. Ибрагимов (1778–1818), В. М. Перевошиков (1785–1851), П. С. Кондырев (1789 – после 1823), А. И. Васильев и Д. Г. Богданов образовали при Казанской гимназии «Общество вольных упражнений в российской словесности», ставшее впоследствии **Казанским обществом любителей отечественной словесности**. К концу года Общество, проведшее за год 31 собрание, пополнилось семью новыми членами, в том числе Д. М. Княжевичем (1788–1844), Г. Н. Городчаниновым (1772–1852), А. И. Панаевым (1788–1868) и И. И. Панаевым (1787–1813). Ибрагимов, до конца своей жизни оставшийся главным вдохновителем Общества, передал полномочия президента директору гимназии и фактическому ректору Казанского университета И. Ф. Яковкину (1764–1836). В числе членов, принятых в 1807 г., были С. Т. Аксаков (1791–1859) и Д. М. Перевошиков (1788–1880). Общество, образовавшееся из преподавателей, выпускников и студентов Казанских гимназии и университета, ставило целью «усовершенствование самих себя в отечественной словесности чрез взаимное сообщение своих мыслей, догадок, возражений и прочих пособий, которые не имеет новичок-писатель в самом себе одном»⁴⁴. Первые годы участники уделяли на заседаниях преимущественное внимание чтению и разбору своих произведений, впрочем, не отличавшихся особыми литературными достоинствами. Сами заседания «проходили еженедельно по понедельникам и уподоблялись дружеским совещаниям»⁴⁵. С самого начала Общество отчитывалось о своей деятельности попечителю Казанского учебного округа С. Я. Румовскому (1734–1812), а после его смерти – занявшему его место М. А. Салтыкову (1767–1851). С 1808 г. постановили собираться раз в месяц, в 1809 г. начали выработать устав, взяв за основу устав ВОЛСНХ, и в июне 1810 г. послали его Румовскому. После составления устава число участников стало быстро увеличиваться, причем в значительной мере за счет притока

⁴³ В сентябре 1807 г. заявил о своем выходе один из учредителей – Попугаев (исключен 21 сентября), через месяц, 19 октября, о прекращении членства в Обществе письменно уведомил собравшихся Борн. Причиной разногласий, скорее всего, явились какие-то частные взаимные неудовольствия, а возможно, разногласия по вопросу об изменениях в уставе, обсуждавшемся в 1807–1808 гг. В архиве Общества нет протоколов за 1809 и начало 1810 г. В мае 1810 г. и Борн, и Попугаев вновь присутствовали на заседаниях.

⁴⁴ Цит. по: *Аристов В. В.* Первое литературное общество Поволжья. (К истории Казанского общества любителей отечественной словесности в 1806–1818 гг.). Казань, 1992. С. 5.

⁴⁵ *Кондырев П. С.* Историческое обозрение Казанского общества любителей отечественной словесности и о пользе оною // Торжество Казанского общества любителей отечественной словесности декабря 12 дня 1814 года. Казань, 1815 [1817]. С. 26.

иногородних членов, возникали перекрестные связи с ВОЛСНХ. Официальное учреждение, однако, замедлилось и произошло уже по окончании войн с Наполеоном. Устав был внесен в Комитет министров только в 1813 г., а утвержден 8 июля 1814 г. На момент его утверждения Общество насчитывало 20 действительных членов и 23 иногородних.

Собрание по случаю утверждения устава было описано в брошюре «Торжество Казанского общества любителей отечественной словесности декабря 12 дня 1814 года», на титуле которой стоит 1815 г., однако реально издание вышло в 1817 г. как первая из двух появившихся частей «Трудов» общества. «Труды» не получили продолжения, и численность самого Общества прирастала в основном за счет принятия иногородних членов: в 1815 г. туда вошли, в частности, А. И. Тургенев, Мерзляков, В. В. Измайлов (1773–1830), М. Т. Каченовский (1775–1842), в следующие два года – Жуковский, Батюшков и П. А. Вяземский (1792–1878). На торжественном собрании 8 июля 1818 г. Кондырев, неизменный секретарь Общества, объявил, что оно достигло 100 участников (75 действительных членов и 25 почетных). Общество способствовало какому-то оживлению и консолидации провинциальной литературной жизни, и если его деятельность не была яркой, она была достаточно продолжительной. Казанское Общество любителей отечественной словесности просуществовало до 1853 г., вынужденно приостановив свои собрания только в 1819–1826 гг. – в период попечительства М. Л. Магницкого и так называемого реформирования Казанского университета.

Эпитет «вольный» в значении «не регулируемый государством, казной», «частный»⁴⁶ в названии ВОЛСНХ служил противопоставлению его как «общественной организации» единственному в России государственному центру изучения русского языка и словесности – **Российской Академии**, основанной указом Екатерины II от 30 сентября 1783 г. по образцу существовавших в некоторых странах Европы подобных научных учреждений (в первую очередь знаменитой Французской академии)⁴⁷. Российская Академия, согласно уставу, была призвана способствовать «обогащению и очищению языка российского» и «распространению словесных наук в государстве», а тем самым и общему развитию

⁴⁶ Словарь русского языка XVIII века. Л., 1988. Вып. 4. С. 54.

⁴⁷ ВОЛСНХ радикально отличалось и от других объединений, имевших в своем названии эпитет «вольный» – существовавшего с 1765 г. Вольного экономического общества, среди учредителей которого были крупные вельможи и землевладельцы и которое сразу получило покровительство Екатерины II и прибавило к своему названию слово «императорское», и Вольного Российского собрания при Московском университете (1771–1783), де-факто являвшегося прямым предшественником Российской Академии и включавшего многих ее будущих членов.

просвещения⁴⁸. Она уже пережила свой самый яркий период под президентством Е. Р. Дашковой (до 1796 г.), ознаменовавшийся выходом в 1789–1794 гг. «Словаря Академии Российской в 6 частях» – первого нормативного словаря русского языка, главного русского лексикографического труда XVIII – начала XIX в. Придя в упадок при императоре Павле, Академия возобновила активную деятельность с началом нового царствования. Число членов ограничивалось 60, избираемыми пожизненно (в реальности состав, как правило, колебался между 56 и 59 членами), что определяло соответствующий возрастной состав участников – в начале XIX в. Российскую Академию представляли многие деятели еще Екатерининской эпохи, такие как М. М. Херасков (1733–1807) и Г. Р. Державин (1743–1816)⁴⁹. Включение в число академиков было фактом государственного признания литературных и научных заслуг, ряд мест традиционно занимали высшие чиновники, деятельность которых в той или иной мере была связана с литературой, наукой и искусствами. Труд самих академиков не оплачивался, но содержание Российской Академии и ее работы финансировались государством, в 1802–1804 гг., в частности, выстроившим для нее здание на Васильевском острове в Петербурге. Все это, как и введение с сентября 1804 г. мундиров для ее членов, способствовало отношению к Российской Академии как к официальной получиновничьей структуре. Избрание в новые члены⁵⁰ порой вызывало резонные вопросы, что тоже не способствовало престижу Академии. В начале XIX в. в центре внимания Российской Академии оставались лексикография и грамматика (второе издание «Словаря»⁵¹, составление «Российской грамматики»⁵²). Занявший 29 мая 1801 г. пост президента А. А. Нартов (1737–1813) старался оживить собственно литературные работы Академии, в том числе и выпуском повременного издания «Сочинения и переводы, издаваемые императорской Российской Академией», начавшегося в 1805 г.⁵³ Однако основная литературная активность деятелей Академии проходила вне ее стен.

⁴⁸ Сухомлинов М. И. История Российской Академии. СПб., 1887. Вып. 8. С. 425.

⁴⁹ Оба числились в Российской Академии со дня ее открытия 21 октября 1783 г.

⁵⁰ Как, например, П. Ю. Львова, избранного 19 марта 1804 г.

⁵¹ Исправленное и дополненное издание вышло в 1806–1822 гг.

⁵² «Российская грамматика, составленная Российскою Академиею» (1802) П. И. Соколова (1764–1835), неперменного секретаря Академии, и Д. М. Соколова (1766–1819) писалась как общеупотребительное учебное пособие; выдержала четыре издания (1811, 1819 и 1826), хотя в конце 1810-х гг. уже подвергалась справедливой критике как устаревшая и не отражающая происходящих в языке изменений.

⁵³ Выпускалось с перерывами; до 1813 г. издано 6 частей, в 1823 г. 7-я, последняя; в них среди прочего печатались протоколы заседаний Академии с 1783 по 1806 г.

9 января 1807 г. молодой чиновник Иностранной коллегии С. П. Жихарев (1788–1860), незадолго до того перебравшийся в Петербург и покровительствуемый Державиным, был представлен А. С. Шишкову (1754–1841), члену Российской Академии с 1796 г., близкому приятелю ее президента Нартова, автору «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка» (1803), убежденному противнику новых литературных веяний, которые он связывал в первую очередь с влиянием Карамзина и его последователей. «Он очень долго толковал о пользе, – записал Жихарев в дневнике, – какую бы принесли русской словесности собрания, в которые бы допускались и приглашались молодые литераторы для чтения своих произведений, и предлагал Гаврилу Романовичу назначить вместе с ним попеременно, хотя по одному разу в неделю, литературные вечера <...>. Бог весть как обрадовался этой идее добрый Гаврила Романович и просил Шишкова устроить как можно скорее это дело»⁵⁴. Первый такой литературный вечер состоялся у Шишкова 2 февраля 1807 г. На нем присутствовало человек около двадцати. Кроме самого хозяина и Державина, Жихарев называет членов Российской Академии И. С. Захарова (1754–1816), А. С. Хвостова (1753–1820), П. М. Карабанова (1765–1829), П. Ю. Львова (ок. 1768 или 1770 –1825), князя Д. П. Горчакова (1758–1824); также И. А. Крылова (1766, 1768 или 1769 – 1844)⁵⁵, А. Ф. Лабзина (1766–1825), издателя журнала «Сионский вестник» масона и мистика, а из «молодежи» – князя С. А. Ширинского-Шихматова (1783–1837), протеже Шишкова, уже, по словам Жихарева, стоявшего «на пороге в академию»⁵⁶, флигель-адъютанта П. А. Кикина (1775–1834), полковника А. А. Писарева (1780–1848)⁵⁷, М. С. Щуплепникова (1778–1812), В. Ф. Тимковского (1781–1832), будущего чиновника Канцелярии Государственного совета и постоянного сотрудника Шишкова, П. А. Корсакова (1790–1844), Н. И. Язвицкого и Я. А. Галинковского (1777–1815), издателя журнала «Корифей, или Ключ литературы» (1802–1807), женатого на племяннице первой жены Державина⁵⁸. Эти собрания проходили до 1810 г., когда Шишков решил превратить их в регулярно действующее литературное общество. Все перечисленные Жихаревым участники уже первого шишковского «вечера» (кроме Тимковского) вошли в состав «Беседы любителей русского слова», которая 7 февраля 1811 г. получила высочайшее разрешение. 28 февраля состоялось первое общее собрание членов, а 14 марта – первое публичное заседание «Беседы».

⁵⁴ Жихарев С. П. Записки современника: В 2 т. Л., 1989. Т. 2. С. 85.

⁵⁵ Член Российской Академии с 16 декабря 1811 г.

⁵⁶ Избран 13 марта 1809 г. вместо забаллотированного И. А. Крылова.

⁵⁷ Избран в Российскую Академию вместе с Ширинским-Шихматовым.

⁵⁸ См.: Жихарев С. П. Записки современника. Т. 2. С. 117.

В отличие от ВОЛСНХ «Беседа» имела определенную «программу», которая отражала литературные убеждения ее несомненного лидера А. С. Шишкова, выраженные в «Рассуждении о старом и новом слоге...» и закрепленные в последующих «Переводе двух статей из Лагарпа с примечаниями переводчика» (1808) и «Рассуждении о красноречии Священного Писания»⁵⁹ (1811). В литературную и лингвистическую составляющие этой программы (утверждение тождества русского и церковно-славянского языков и признание «духовных книг» образцами для современной словесности; борьба за очищение языка от галлицизмов и иностранных заимствований; приоритет, отдаваемый «высоким» риторическим жанрам – оде, героической поэме, трагедии; «учительный» пафос) прямо проецировались идеологические установки Шишкова – неприятие европейской идеи прогресса и представление об особом пути исторического развития России, обращение к народным началам как альтернатива развращающему западному просвещению.

Общество было четко структурно организовано: четыре «разряда», каждый из которых должен был включать шесть действительных членов и несколько членов-сотрудников, работали под руководством бессменных председателей (Шишков в первом разряде, Державин – во втором, А. С. Хвостов – в третьем, Захаров – в четвертом)⁶⁰. Разряды по очередности занимались устройством публичных чтений, никакой разницы в предмете занятий они не предполагали. Число действительных членов, таким образом, было строго фиксировано и пополнялось при необходимости за счет членов-сотрудников. Были также попечители и почетные члены, список которых включал, наряду с известными авторами, церковных иерархов и видных сановников. Официально-бюрократический характер, приданный обществу, вызывал насмешки. «Наподобие Государственного совета, составленного из четырех департаментов... – иронизировал позднее в своих «Записках» Ф. Ф. Вигель. – Вообще, она имела более вид казенного места, чем ученого сословия, и даже в распределении мест держалась более Табели о рангах, чем о талантах»⁶¹. Отмеченная Вигелем иерархичность «Беседы» вызвала, кстати, уже в момент ее организации резкий конфликт. Приглашенный в качестве члена-сотрудника державинского «разряда» Н. И. Гнедич, найдя себя в списке на последнем месте, в письме к Державину 12 декабря 1810 г. категорически отказался от участия в обществе «Из порядка, каким написаны имена

⁵⁹ Полное заглавие: «Рассуждение о красноречии Священного писания и о том, в чем состоит богатство, обилие, красота и сила российского языка и какими средствами оный еще более распространить, обогатить и усовершенствовать можно».

⁶⁰ Полный состав «Беседы любителей русского слова» см.: *Алтышуллер М. Г. Беседа любителей русского слова: У истоков русского славянофильства. 2-е изд., доп. М., 2007. С. 401–404.*

⁶¹ Цит. по: «Арзамас». Кн. 1. С. 63.

г<оспод> членов 2-го разряда, я заключаю, что они расставляются по чинам. Отдавая всю справедливость и уважение заслугам по службе, я тогда только позволю видеть имя свое ниже некоторых г<оспод>, после каких внесен я в список, когда дело будет идти о чинах»⁶². Поступок Гнедича явился актом борьбы за независимость положения автора в литературном поле от социальной иерархии. Его отказ, спровоцировавший громкий публичный скандал с Державиным⁶³, не помешал ему, впрочем, в дальнейшем участвовать (не вступая в общество) в работе «Беседы», направление которой вызывало у него определенные симпатии.

«Беседа» стремилась к доминированию в литературном пространстве и влиянию на общественное мнение, и публичная составляющая очевидно преобладала в ее деятельности над внутренней, собственно литературной работой. «Беседа имела свои частные и публичные заседания, – вспоминал А. С. Стурдза. – Сии последние бывали по вечерам и отличались присутствием многих посторонних слушателей, допускаемых туда по билетам. Зала средней величины, обставленная желтыми под мрамор красивыми колоннами, казалась еще изящнее при блеске роскошного освещения. Для слушателей вокруг залы возвышались уступами ряды хорошо придуманных седалищ. Посреди храмины муз поставлен был огромный продолговатый стол, покрытый зеленым тонким сукном. Около стола сидели члены Беседы под председательством Державина, по мановению которого начиналось и перемежалось занимательное чтение вслух, и часто образцовое»⁶⁴. Как отмечает другой мемуарист, Ф. Ф. Вигель, «чтобы придать сим собраниям более блеску, прекрасный пол являлся в бальных нарядах, штатс-дамы в портретах, вельможи и генералы были в лентах и звездах, и все вообще в мундирах»⁶⁵. Читавшиеся в собраниях произведения публиковались в повременном издании общества – «Чтениях в Беседе любителей русского слова», выходявших в 1811–1815 гг. регулярно, хотя и без строгой периодичности⁶⁶. Общественному интересу к «Беседе» способствовал рост патриотических настроений в обществе в период между униженным Тильзитским миром и новой войной и сопровождавшее их усиление консервативной оппозиции, к которой принадлежали представители старшего поколения «беседистов». Характерно, что Александр I медлил с

⁶² Цит. по: *Державин Г. Р.* Соч. / С объяснит. примеч. Я. К. Грота. СПб., 1871. Т. 6. С. 202–203.

⁶³ Подробнее об этом эпизоде см.: *Альциуллер М. Г.* Беседа любителей русского слова: У истоков русского славянофильства. С. 97–109.

⁶⁴ Цит. по: «Арзамас». Кн. 1. С. 43.

⁶⁵ Там же. С. 63.

⁶⁶ Выпущено 19 книг (см.: *Альциуллер М. Г.* Беседа любителей русского слова: У истоков русского славянофильства. С. 405–413).

утверждением «Беседы» и после, несмотря на настойчивые приглашения Державина, не удостоил ее своим присутствием⁶⁷. Прочного единства литературных взглядов внутри самого общества при этом не было. Большая часть участников достаточно скептически относилась к лингвистическим теориям Шишкова, многие отдавали должное авторским заслугам главного противника Шишкова – Карамзина, не случайно, вероятно, включенного в почетные члены «Беседы». Друг и литературный союзник Карамзина, И. И. Дмитриев вообще оказался в числе четырех попечителей (впрочем, из-за должностей министра юстиции и члена Государственного совета, занятых им в 1810 г.). Тем не менее, претензии Шишкова на литературную гегемонию не могли не встретить отпора в авторской среде. Отпор этот последовал из кругов, связанных с ВОЛСНХ.

Возобновление активности ВОЛСНХ совпадает со временем организационного периода «Беседы». Оживление в деятельность общества отчасти внесло литературное пополнение – Никольский (25 июня 1810 г.), М. В. Милонов (1792–1821) (16 ноября 1810 г.), Греч (26 ноября 1810 г.), Д. В. Дашков (1788–1839) (17 декабря 1810 г.). В следующем году приток новых членов не прекращался. Прием В. Л. Пушкина (1770–1830) 9 сентября 1811 г. положил начало приходу в Общество «старшего» литературного поколения. С середины 1810 г. Общество управлялось комитетом из шести человек, из которых каждый по очереди по три месяца исполнял должность президента. Еще 28 января 1811 г. Дашков и Измайлов внесли предложение об издании трудов Общества. Окончательно план издания оформился в президентство Дашкова (с 4 ноября 1811 г.). Теперь все сочинения, прочитанные в Обществе и одобренные им, должны были печататься в «Санкт-Петербургском вестнике» – официальном органе ВОЛСНХ, начавшем выходить с января 1812 г. Еще до формального вступления в ВОЛСНХ Дашков отдает в «Цветник» свой критический разбор «Перевода двух статей из Лагарпа», где опровергает основы лингвистических построений Шишкова и уличает автора в ошибках против русского языка.

⁶⁷ См.: *Альтиуллер М. Г.* Беседа любителей русского слова: У истоков русского славянофильства. С. 58–59; Из архива Д. И. Хвостова / Публ. В. А. Западова // Литературный архив: Материалы по истории литературы и общественного движения / Под ред. С. Д. Балухатого, Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера. М.; Л., 1938. С. 371–372. 22 апреля 1811 г. Д. И. Хвостова сделал дневниковую запись о втором публичном чтении «Беседы», куда Державин ожидал императора: «...В заключение на хорах с сопровождением лиры был пет придворными певчими гимн и дифирамб, сочинения господина Державина, музыка г<осподина> Бортнянского. Сие все заготовлено было на случай приезда императора и фамилии и называется сретение солнца Орфеем» (Из архива Д. И. Хвостова. С. 372).

В том же 12-м номере «Цветника»⁶⁸, что и окончание статьи Дашкова, появляется еще один полемический отклик на «Перевод двух статей...» – послание В. Л. Пушкина «К В. А. Жуковскому» («Скажи, любезный друг, какая прибыль в том...»), написанное весной 1810 г. и уже хорошо известное в литературной среде. В «Рассуждении о красноречии Священного Писания», прочитанном Шишковым 3 декабря 1810 г. в торжественном годовом заседании Российской Академии, содержались резкие выпады против его критиков, в частности В. Л. Пушкина. В печати⁶⁹ к «Рассуждению» было добавлено полемическое «Присовокупление», в котором Шишков уже перешел грань литературной дискуссии, обвинив своих противников в «заблуждении ума» и «повреждении сердца», от которых «столько же иногда не щадится нравственность, сколько и рассудок»⁷⁰. Дашков откликнулся новой статьей «О легчайшем способе возражать на критики», изданной отдельной брошюрой в ноябре 1811 г., вскоре также отдельным изданием были напечатаны «Два послания» В. Л. Пушкина (уже известное «К В. А. Жуковскому» и новое «К Д. В. Дашкову» («Что слышу я, Дашков? Какое ослепленье!..»)). В публичных заседаниях «Беседы» в 1811–1812 гг. читалась ироикомиическая поэма князя А. А. Шаховского «Расхищенные шубы», главным полемическим адресатом которой был В. Л. Пушкин, но которая содержала также прямые выпады против Карамзина; на заседаниях ВОЛСНХ – стихотворные сказки А. Е. Измайлова, целившие в Шишкова и других «беседистов». В. Г. Анастасевич сообщал Казанскому обществу любителей российской словесности из Петербурга 17 октября 1811 г.: «Здесьнее общество любителей словесности и художеств под председательством г. Писарева (после сложения с себя звания президента Языкова, занимающегося теперь окончанием перевода Шлецера “Нестора”⁷¹) приготавливает свои

⁶⁸ Последние номера «Цветника», прекратившегося в 1810 г. были отпечатаны с большим опозданием в начале следующего года; № 12 вышел 31 марта (см.: Из архива Д. И. Хвостова. С. 370).

⁶⁹ В 5-й части «Сочинений и переводов, издаваемых императорской Российской Академией» и тогда же отдельным изданием.

⁷⁰ *Шишков А. С.* Рассуждение о красноречии Священного писания и о том, в чем состоит богатство, обилие, красота и сила русского языка и какими средствами оный еще более распространить, обогатить и усовершенствовать можно. СПб.: В Имп. типографии, 1811. С. 92.

⁷¹ Речь идет о переводе труда немецкого историка Августа Людвиг Шлэцера (Schlözer, 1735–1809) «Несторъ. Russische Annalen in ihrer Slavonische Grund-Sprache...» (Göttingen, 1802–1805. Т. 1–5). Первая часть языковского перевода была издана на счет императорского Кабинета в 1809 г. («Нестор. Русские летописи на древне-славянском языке... / Пер. с нем. Д. Языков, член Санкт-Петербургского общества любителей словесности, наук и художеств»). Вторая и третья, соответственно, в 1816 и 1819 гг.

труды к напечатанию. Оно также в коалиции противу г. Шишкова в славянизмомахии, которая ревностно продолжается»⁷².

Полемика 1810–1812 гг. достаточно изучена⁷³, однако утвердившийся взгляд на «Беседу» и ВОЛСНХ как на две противостоящие друг другу консолидированные литературные силы вряд ли полностью справедлив. Непроницаемой границы между обществами не было. Так, уже в первоначальный состав «Беседы» вошли члены ВОЛСНХ – А. А. Писарев (действительный член), А. И. Ермолаев (1780–1828)⁷⁴ и Кованько (члены-сотрудники), в первые два года были приняты в члены-сотрудники Востоков, Волков, Греч и Жихарев, одновременно вступивший и в ВОЛСНХ; в апреле–мае 1812 г. в ВОЛСНХ вступили действительные члены «Беседы» П. М. Карабанов и П. И. Соколов, Шишков числился почетным членом ВОЛСНХ с 1805 г., 7 марта 1812 г. в почетные члены был избран граф Д. И. Хвостов. Полемические выпады в адрес Шишкова встречали сочувственный отклик и в среде «беседистов»⁷⁵. Можно сказать, что к 1812 г. сложился некий баланс конкурирующих литературных институций.

Каждая из этих институций по-своему стремилась утвердиться в литературном поле. ВОЛСНХ не обладало «административным ресурсом» «Беседы», но имело в своем распоряжении «Санкт-Петербургский вестник», с которым «Чтения в Беседе...» (не собственно периодическое издание, а время от времени появляющиеся сборники литературных произведений), не могли соперничать ни по читательскому интересу, ни по возможному влиянию на мнение публики. «Вестник» в литературном отношении был гораздо более разнообразен, чем «Чтения», и главное – включал раздел критики (за время существования журнала в нем были напечатаны обстоятельные разборы тридцати восьми книг беллетристического и научного содержания). Первая книжка «Санкт-Петербургского вестника» открывалась статьей Дашкова «Нечто о журналах». Изложенная в ней литературная программа была по сути глубоко анти-шишковской и анти-«беседистской» (хотя ни одного имени своих противников Дашков не назвал). В том же номере напечатана рецензия Никольского на только что вышедшие «Прибавления к разговорам о словесности» Шишкова, остроумно обличающая «невежество» автора. Дашков был главным

⁷² Цит. по: *Аристов В. В.* Первое литературное общество Поволжья. С. 10–11.

⁷³ См.: *Мордовченко Н. И.* Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. С. 85–94; *Вацуро В. Э.* В преддверии пушкинской эпохи // «Арзамас». Кн. 1. С. 15–17; *Проскурин О. А.* Литературные скандалы пушкинской эпохи. С. 116–151.

⁷⁴ Член-корреспондент ВОЛСНХ с 1802 г.

⁷⁵ См. отзыв Д. И. Хвостова о разборе Дашковым «Перевода двух статей из Лагарпа»: «...много о языке основательного, и все галесизмы и ошибки переводчика справедливо доказаны» (Из архива Д. И. Хвостова. С. 370).

вдохновителем и журнала, и журнальной полемики, с его исключением из Общества в марте месяце позиция «Вестника» стала гораздо более умеренной.

Причиной изгнания Дашкова стал скандал вокруг избрания графа Д. И. Хвостова. В заседании 14 марта, на котором присутствовал новоизбранный почетный член, Дашков (кстати, уже сложивший к этому моменту полномочия президента) обратился к нему с приветственной речью. Его речь, внешне выдержанная в жанре похвального слова, на самом деле была издевательской пародией, создававшей комический образ литературного «архаиста». Своим демаршем Дашков выражал несогласие с избранием в почетные члены автора, литературная репутация которого, по его мнению, явно не соответствовала этому званию. Однако ВОЛСНХ позиционировало себя не как литературную «партию» и не как объединение с единой эстетической платформой, а как широкую профессиональную корпорацию. Речь была сочтена оскорблением всему Обществу, члены которого единогласно проголосовали на следующем заседании за исключение Дашкова. В следующие месяцы Общество под разными предлогами покинули близкие приятели Дашкова – Д. Н. Блудов (1785–1864)⁷⁶, Батюшков⁷⁷, Жихарев⁷⁸, Д. П. Северин (1792–1865)⁷⁹.

«...Мы усердно занимались изданием “Санкт-Петербургского вестника”, – вспоминал Греч. – Мирные труды наши прерваны были грозой, разразившеюся над Россиею. Многие из членов нашего общества выехали из Петербурга, некоторые вступили в военную службу, в армию, в ополчение. И остальным было не до литературы»⁸⁰. С середины 1813 г. ВОЛСНХ прекратило свои ставшие очень малочисленными собрания. «Беседа любителей русского слова» продолжала заседания, но в военное время литературные чтения не вызывали в обществе прежнего интереса. Главный вдохновитель «Беседы» Шишков, назначенный 9 апреля 1812 г. Государственным секретарем, не мог уделять обществу достаточное внимание. Весь 1813-й и половину 1814 г. он находился с императором при армии. После освобождения от должности 30 августа 1814 г. он был назначен в Государственный совет, делами которого преимущественно и занимался. «Он жил уже не в прежнем своем скромном домике на Форштатской улице, а в великолепной казенной квартире против

⁷⁶ Избран 4 ноября 1811 г., исключен по собственной просьбе 9 мая 1812 г.

⁷⁷ Избран 8 февраля 1811 г., исключен по собственной просьбе 16 мая 1812 г.

⁷⁸ Избран 29 февраля 1811 г., исключен 20 июня 1812 г. как пропустивший три очереди своих чтений.

⁷⁹ Избран 14 января 1811 г., исключен 2 мая 1812 г. как пропустивший три очереди своих чтений.

⁸⁰ Греч Н. И. Записки о моей жизни / Под ред. и с коммент. Иванова-Разумника и Д. М. Пинеса. М.; Л., 1930. С. 290.

дворца. Образ жизни его изменился: ученые филологические труды прекратились, другие люди стали посещать его, другие мысли и заботы наполняли его ум и душу...»⁸¹. Тем не менее с «Беседой» как единственной действующей площадкой были связаны публичные литературные события 1813–1814 гг., например, полемика о русском гекзаметре, положившая начало созданию гекзаметрического перевода «Илиады».

Ощущение, что литературное поле полностью монополизировано внутренне единым эстетическим противником⁸², провоцировало литературных оппонентов «Беседы» на обострение полемики. В первой половине 1815 г. московский журнал «Российский музей» напечатал поэтическую переписку 1814 г. между Вяземским, Жуковским и В. Л. Пушкиным. В № 2 появились стихотворение Вяземского «К друзьям» («Гонители моей невинной лени...»), с язвительным определением поэтов-«беседистов» («...сонм лже-Пиндаров надутых / В громадах пресловутых / Их од торжественных, где торжествует вздор!»)⁸³ и В. Л. Пушкина «Послание к кн. Петру Андреевичу Вяземскому» («Как трудно, Вяземский, в плачевном нашем мире...»), содержащее очередные выпады в адрес А. А. Шаховского. В № 3 «Российского музея» было напечатано еще одно послание Вяземского «Ответ на послание Василию Львовичу Пушкину» («Ты прав, любезный Пушкин мой...»), в № 6 – послание Жуковского «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» («Друзья, тот стихотворец – горе...»). Непосредственным поводом к обмену стихотворениями послужили неодобрительные отзывы петербургских «беседистов», главным образом Шаховского, о торжественном стихотворении Карамзина «Освобождение Европы и слава Александра I» и «Надписи к бюсту императора Александра I» Вяземского⁸⁴. Шаховской ответил комедией «Урок кокеткам, или Липецкие воды», где в образе «балладника Фиалкина», читающего сентиментальные стихи, пародировал Жуковского, а также допустил ряд язвительных выпадов против С. С. Уварова. Сразу после премьеры

⁸¹ Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 2. С. 30.

⁸² См., например, в письме Вяземского к А. И. Тургеневу от 29 октября 1813 г.: «Зачем нашей братии скитаться, как жидам? И отчего дуракам можно быть вместе? Посмотри на членов Беседы: как лошади, всегда все в своей конюшне, и если оставят конюшню, так цугом или четвернею заложены вместе. По чести, мне завидно, на них глядя...» (Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 1. С. 19).

⁸³ Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986. С. 72 (Б-ка поэта; Большая серия).

⁸⁴ Опубликованы в брошюре, изданной по случаю празднования взятия Парижа 19 мая 1814 г. в Москве. См. в письме Дашкова к Вяземскому от 25 июня 1814 г.: «Более всего, верно, польстит Вашему самолюбию, что сии две подлинно прекрасные пиесы возжгли дух ревности и зависти в сердцах Беседчиков, а особливо Шаховского. Критические замечания его достойны его таланта. <...> Зато Шаховскому с братией чрезвычайно нравятся псалмопения здешних рифмачей и прозаиков – так и должно» (цит. по: «Арзамас». Кн. 1. С. 225).

комедии 23 сентября 1815 г. на сцене петербургского Большого театра⁸⁵ поклонники Шаховского неофициально венчали его лавровым венком в доме петербургского гражданского губернатора Бакунина. Дашков откликнулся кантатой «Венчание Шутовского. Гимн», распространявшейся в списках, и статьей «Письмо к новейшему Аристофану» в журнале «Сын отечества» (1815. № 42), Вяземский – эпиграмматическим циклом «Поэтический венок Шутовского, поднесенный ему раз навсегда за многие подвиги» и «Письмом с Липецких вод» в декабрьском номере «Российского музеума», Блудов – сатирой «Видение в какой-то ограде», оставшейся в рукописи. Но главным полемическим откликом на «Липецкие воды» стала организация собравшимися 14 октября 1815 г. на квартире Уварова Дашковым, Блудовым, Жуковским, А. И. Тургеневым и Жихаревым литературного общества «Арзамас» (другие названия – «Арзамасское общество безвестных людей»; «Новый Арзамас»). Шестеро устроителей «Арзамаса» с самого начала заочно числили в своих рядах также москвичей Вяземского и В. Л. Пушкина, в течение следующих двух месяцев к обществу примкнули Ф. Ф. Вигель (1786–1856), П. И. Полетика (1778–1849) и Д. П. Северин.

Яркий и во многом уникальный историко-литературный феномен «Арзамаса», вероятно можно считать исчерпывающе изученным. Однако, как и в случае с «Дружеским литературным обществом», все значительные работы об «Арзамасе»⁸⁶ посвящены не столько самому обществу, сколько образовавшему его дружескому кругу, так называемому «арзамасскому братству», и «арзамасским» связям в период между 1810 и 1825 гг. Как форма литературного объединения «Арзамас» являет собой типичный «кружок», замкнувшийся в противостоянии определенным тенденциям окружающего литературного пространства. Он был явлением, рожденным совершенно конкретной и единичной полемической ситуацией и не имел целей внеположных этой полемике. Общество было игрой, принятый участниками пародийный ритуал (собрания, неизменно кончавшиеся поеданием гуся, шуточные протоколы, замена собственных имен прозвищами, взятыми из баллад Жуковского, вступительные речи в честь «живых покойников» «Беседы») – травестией организационных форм и «Беседы», и Российской Академии, и Французской

⁸⁵ Жуковский, Уваров и А. И. Тургенев вместе присутствовали на спектакле.

⁸⁶ См.: Гиллельсон М. И. 1) Вяземский. Жизнь и творчество. Л.: Наука, 1969; 2) Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л.: 1974; Вацуро В. Э. В преддверии пушкинской эпохи; сборник «Арзамас»; Майофис М. Воззвание к Европе: Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815–1818 годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

Академии, и масонской ложи, и в принципе любого структурированного литературного объединения.

Преращение собраний «Арзамаса» осенью 1817 г. имело как внешние – разезд ряда ключевых участников из Петербурга, так и более серьезные внутренние причины. Оно было связано с исчерпанностью полемической повестки, своего рода «размыванием» границ кружка и, как следствием, – попытками придать «Арзамасу» новые организационные формы и определить цели деятельности. По сути это были попытки трансформации «кружка» в «общество». Вспоминая «Арзамас» Вигель замечал: «Я полагаю, что если б это общество могло ограничиться небольшим числом членов, то оно жило бы согласнее и могло более продлить свое веселое существование; но Жуковский беспрестанно вербовал новых»⁸⁷. Без особой радости, по словам Вигеля, приветствовали «арзамасцы» появление в их собраниях Д. А. Кавелина (1778–1851), А. А. Плещеева (1775–1827) и А. Ф. Воейкова⁸⁸. Еще одна группа вновь вступивших – Н. И. Тургенев (1789–1871), М. Ф. Орлов (1788–1842) и Н. М. Муравьев (1796–1843) – состояла из людей более «практического» направления, далеких от литературных проблем и полемик. Они приложили некоторые усилия, чтобы сделать занятия общества, с их точки зрения, более «осмысленными», навязать ему некую «позитивную» программу. Так появились достаточно бесцветные «Законы Арзамасского общества безвестных людей», принятые на заседании 13 августа 1817 г., и проект «арзамасского» журнала, издание которого не состоялось⁸⁹. «...Буффонада явилась причиной рождения Арзамаса, и с этого момента буффонство определило его характер, – объяснял много лет спустя Жуковский в письме к канцлеру И. фон Мюллеру от 12 мая 1846 г. – Мы объединились, чтобы хохотать во все горло, как сумасшедшие; и я, избранный секретарем общества, сделал немалый вклад, чтобы достигнуть этой главной цели, т<о>е<сть> смеха; я заполнял протоколы галиматьей, к которой внезапно обнаружил колоссальное влечение. До тех пор пока мы оставались только *буффонами*, наше общество оставалось деятельным и полным жизни; как только было принято решение стать *серьезными*, оно умерло внезапной смертью. <...> Арзамас не оставил ни малейшего следа в трудах по той простой причине, что никаких трудов не было...»⁹⁰.

Главным «организатором» московской литературной жизни в первой четверти XIX в. был А. Ф. Мерзляков. Уже в 1801 г. сразу после прекращения «Дружеского литературного общества» до Ан. И. Тургенева, уехавшего в Петербург, дошли сведения, что Мерзляков

⁸⁷ Цит. по: «Арзамас». Кн. 1. С. 89–90.

⁸⁸ См.: Там же. С. 90–92.

⁸⁹ См.: Там же. С. 445–464.

⁹⁰ Там же. С. 134.

«заводит другое собрание»⁹¹. Об этом другом «собрании» сведений нет, но несколькими годами позднее Мерзляков оказывается в центре литературного кружка, куда входят Ф. Ф. Иванов (1777–1816), Н. Ф. Грамматин (1786–1827), С. В. Смирнов (1780-е – не ранее 1746), З. А. Буринский (1784–1808) и др., а в 1811 г., в должности профессора красноречия, стихотворства и русского языка, оказывается в числе соучредителей **Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете**. В отличие от петербургской литературной молодежи, десятилетием ранее объединившейся в ВОЛРС, Московское общество не ставило перед собой задач «взаимного усовершенствования» в словесности. Оно учреждалось для того, «чтобы распространить сведения о правилах и образцах здоровой словесности и доставить публике обработанные сочинения в стихах и прозе на русском языке, рассмотренные предварительно и прочитанные в собрании»⁹². Это, как и существовавшее в среде литературной элиты предубеждение против университетской профессуры, дало повод подозревать в московском обществе некую официозную институцию – что-то вроде московского аналога «Беседы любителей русского слова». «...И у нас будет беседа, – писал Батюшков 29 мая 1811 г. из Москвы к Гнедичу, – Кутузов, Мерзляков, Каченовский, Антонский со всем причетом московских профессоров, которые <...> ничего не пишут и писать не в состоянии, но все бранят и, не имея понятия о истории Карамзина, бранят ее без пощады. Ложные пророки! Все эти господа составят общество à l'instar <по образцу – *фр.*> петербургского. План уже готов»⁹³. Устав нового общества, сразу получившего высочайшее покровительство, был утвержден министром просвещения графом А. К. Разумовским 11 июня 1811 г. Ровно через месяц 11 июля состоялось первое заседание. Большая часть членов-учредителей принадлежала к университетской профессуре. Председателем был выбран директор университетского Благородного пансиона, профессор естественной истории А. А. Прокопович-Антонский (1760, 1762 или 1763 – 1848), остававшийся на этом посту до 1826 г., «временным председателем» (вице-председателем) – Мерзляков, секретарем – М. Т. Каченовский, издатель самого известного и долголетнего на тот момент русского журнала «Вестник Европы». Московское общество, вопреки мнению Батюшкова, не было похоже на «Беседу», да и языковые концепции Шишкова не встречали у университетских профессоров особого сочувствия. Университетская среда, по

⁹¹ Письма Андрея Тургенева к Жуковскому. С. 399.

⁹² Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. 1812. Ч. 1. С. V–VI.

⁹³ Батюшков К. Н. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 173–174.

происхождению в основном разночинная и мелкопоместная, не поддерживала иерархических организационных моделей.

С приближением французской армии к Москве деятельность Общества, естественно прекратилась. Оно возобновило работу в ноябре 1815 г. Со следующего года продолжилось издание «Трудов», первые четыре части которых вышли в 1812 г.⁹⁴ В списках присутствовавших на заседаниях встречаются имена почти всех известных литераторов-москвичей – В. Л. Пушкина, Батюшкова, Вяземского, И. И. Дмитриева, И. М. Долгорукого, И. М. Муравьева-Апостола и др. После внесения в 1819 г. поправок в устав членами Общества могли становиться литераторы из других городов. «Собрания становились многочисленны и блистательны, – писал в своих «Литературных и театральные воспоминаниях» С. Т. Аксаков, вступивший в Общество в 1821 г. – образованные женщины лучшего круга оживляли их своим присутствием! Годы с 1821-го по 1829-й включительно можно назвать самым цветущим периодом Московского общества любителей российской словесности»⁹⁵.

В Петербурге 1815 г. стал последним годом деятельности «Беседы». В следующем году общество уже не собиралось, а со смертью Державина 8 июля 1816 г. прекратило свое существование. «Арзамас» оставался глубоко частным объединением, по большому счету мало кому известным за пределами его непосредственных участников. ВОЛСНХ фактически не действовало уже более двух лет. Образовавшимся институциональным вакуумом литературной жизни воспользовались четверо молодых любителей словесности – А. Д. Боровков (1788–1856), сын разорившегося купца, выпускник гимназии Московского университета, чиновник Департамента горных и соляных дел, его брат И. Д. Боровков, чиновник последнего в Табели о рангах, 14-го, класса, А. А. Никитин (1789 или 1790 – 1859), из приказнослужительских детей, друг А. Д. Боровкова по университетской гимназии, экзекутор в канцелярии петербургского военного губернатора в чине 12-го класса, и Е. П. Люценко (1776–1854), сын священника, обучавшийся в Московском университете и петербургской Практической школе земледелия, сменивший уже ряд

⁹⁴ С 1812 по 1821 было издано 20 частей «Трудов Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете» (хроника деятельности Общества и протоколы заседаний выделены в отдельные части – 4-ю (1812), 8-ю (1817), 12-ю (1818), 16-ю (1819) и 20-ю (1820); с 1822 г. издание выходило под заглавием: «Сочинения в прозе и стихах», с подзаголовком «Труды Общества любителей...»). Также Обществом в 1819–1823 гг. были выпущены «Речи, произнесенные в торжественных собраниях Императорского Московского университета профессорами оною, с краткими их жизнеописаниями» (4 ч.).

⁹⁵ Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 53.

должностей и служивший в провиантском депатраменте Военного министерства. Идея объединения принадлежала Никитину. «...Мы ни в чем не успеем, пока не войдем в связи с известными литераторами, пока не огласим себя в их кругу, – заявил Никитин Боровкову. – Без связей и отличные способности глохнут, не имея хода; журналист не напечатает произведения автора, не знакомого ни ему, ни публике; а тисни отдельною книжкою, злые критики с ожесточением нападут на тебя, как собаки бросаются на чужую собаку, появившуюся в их стае». И на недоуменный вопрос Боровкова: «Но каким путем войдем мы в круг известных литераторов, когда мы ни с кем из них не знакомы?», Никитин твердо ответил: «Составим литературное общество. <...> Сначала соберем наших близких знакомых; из них есть даровитые, жаждущие известности, как мы с тобою, но по беспечности или по робости не решаются проявить себя; надобно дать им толчок, и пойдут»⁹⁶. На втором собрании 25 января 1816 г. к четырем устроителям присоединились еще трое – И. И. Ильин, «без классического образования, но начитанный любитель словесности, пописывавший стишки», и сослуживцы Боровкова по Горному департаменту брата Андрей (1783–1846) и Александр (1796 – после 1847) Дуроп⁹⁷. Через неделю прибавилось еще двое участников. По позднему свидетельству П. А. Плетнева, здесь «не было почти и литераторов, а собирались люди, выдавшиеся в одной масонской ложе и желавшие как-нибудь помогать беднякам уч<еного> сословия»⁹⁸. Упомянутая масонская ложа – это ложа «Избранного Михаила», по словам Боровкова, состоявшая «из людей неимущих и малозначущих в порядке гражданском»⁹⁹. Невысоким социальным статусом, и отсутствием литературного опыта¹⁰⁰ создатели нового общества, таким образом, решительно напоминали устроителей ВОЛСНХ.

Поставив целью чтение и исправление своих произведений¹⁰¹, новое Общество любителей словесности, как оно себя тогда называло, испросило позволение

⁹⁶ Александр Дмитриевич Боровков и его автобиографические записки / Сообщ. Н. А. Боровков // Русская старина. 1898. № 10. С. 53.

⁹⁷ См.: Там же. С. 54.

⁹⁸ Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым / Под ред. К. Я. Грота. СПб., 1896. Т. 2. С. 254.

⁹⁹ Александр Дмитриевич Боровков и его автобиографические записки // Русская старина. 1898. № 9. С. 535.

¹⁰⁰ Он был только у старшего из собравшихся, Люценко, который с 1790-х гг. выступал в печати с поэтическими произведениями, впрочем, мало оригинальными, и переводами, бывшими для него в значительной мере средством заработка. Боровков начал писать в гимназии, опубликовал несколько стихотворений и прозаических миниатюр в московских журналах, а в Петербурге безуспешно пробовал свои силы на поприще драматических сочинений и переводов.

¹⁰¹ См.: *Базанов В. Г.* Ученая республика. М.; Л., 1964. С. 89.

петербургского военного губернатора на еженедельные собрания. В 1816 г. было устроено даже два собрания с посторонними слушателями (29 августа и 21 ноября)¹⁰². К концу 1816 г. среди участников уже появились литераторы с именем – 5 сентября к ним присоединился С. П. Салтыков (1775–1826), ставший председателем Общества, а впоследствии его первым президентом, 5 декабря – Ф. Н. Глинка (1786–1880). Еще ранее, 23 мая 1816 г., в собрание был принят бывший «беседист» граф Д. И. Хвостов.

Поскольку публичные чтения, по-видимому, вызвали какие-то вопросы полиции, было решено просить высочайшего утверждения и 31 января 1817 г. Салтыков обратился к министру просвещения князю А. Н. Голицыну. Кроме собственно литературных занятий, Общество включало в свои цели «благотворение ученым людям, удрученным бедностью» и потому приняло название Общество соревнователей просвещения и благотворения. На 31 января 1817 г. оно насчитывало уже 56 участников¹⁰³. Процедура утверждения, обросшая к 1817 г. многими бюрократическими формальностями, тянулась год¹⁰⁴. Министр передал просьбу и устав Общества в Главное правление училищ, высказавшее ряд пожеланий к уставу. Одним из них было вставить фразу, отмечающую, что издания Общества подлежат общему порядку цензурования. При том что требование шло вразрез с действующим цензурным уставом¹⁰⁵, «соревнователи», разумеется, не стали даже пытаться его оспорить. После согласования устава в Главном правлении училищ вопрос об утверждении Общества был вынесен на рассмотрение Комитета министров, где столкнулся с резким противодействием адмирала Шишкова, дважды 26 сентября и 11 декабря подававшим письменные «мнения» по этому поводу. В новом обществе Шишков видел потенциального конкурента возглавлявшейся им Российской Академии. Именно в это время Шишков со своей стороны предпринимал все усилия, чтобы расширить полномочия Академии и обеспечить ее монополию в литературном пространстве. Разработанный им проект устава предусматривал переподчинение Академии напрямую высшей государственной власти,

¹⁰² См.: Там же. С. 94.

¹⁰³ См.: Бодрова А. С. К институциональной истории Вольного общества любителей российской словесности // Acta Slavica Estonica XI: Пушкинские чтения в Тарту. Вып. 1: Пушкин в кругу современников. Pushkin among his contemporaries. Тарту: University of Tartu Press, 2019. С. 267–268, 257.

¹⁰⁴ Подробнее см. в указанной в предыдущем примечании работе А. С. Бодровой.

¹⁰⁵ § 6 Устава о цензуре 1804 г. гласил: «Цензура книг и сочинений, издаваемых от Главного училищ правления, Академий: Наук, Художеств и Российской, также от кадетских корпусов, Государственной Медицинской управы, в Санкт-Петербурге существующих, и других ученых обществ, правительством утвержденных, и казенных мест, возлагается на попечение и отчет самих тех мест и их начальников. Сии книги и сочинения могут быть печатаемы в принадлежащих сим местам или других типографиях» (Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб., 1862. С. 86).

минуя Министерство народного просвещения, и передачу исключительно в ее ведение цензуры и издательского дела. В своем «мнении» 11 декабря 1817 г. адмирал указывал на разницу между полученным от правительства «разрешением» на собрания и чтение между собой своих сочинений и высочайшим «утверждением», которое, по его мнению, есть придание обществу «некоего политического тела». «Когда Общество сие <...> утвердится на тех же правах, как и Российская Академия, и между тем возникнет другое общество, которое, под другим каким-либо названием, сделает себе устав и станет тоже просить об утверждении оно, то уже отказать ему в том, в чем другому не отказано, будет не справедливо. Таким образом могут возникнуть многие общества, все для одной и той же цели, все особо от правительства учрежденные и все, под разными названиями, на правах Российской Академии основанные»¹⁰⁶.

Планы Шишкова относительно Российской Академии не вызывали никакого сочувствия ни у Голицына, ни у Александра I. Утвержденный императором 29 мая 1818 г. новый устав Академии не изменил ее статуса. Ранее, 19 января 1818 г. было высочайше утверждено Общество сореvнователей под названием **Вольного общества любителей российской словесности (ВОЛРС)**¹⁰⁷. Название было предложено министром внутренних дел О. П. Козодавлевым «для избежания всякого недоразумения», «по примеру существующего в С<анкт->Петербурге Вольного экономического общества и бывшего некогда в Москве Вольного русского собрания при Императорском университете»¹⁰⁸. Первоначальное имя Общества осталось закреплено в повседневном обиходе (Общество сореvнователей) и в названии журнала, который начал издаваться с января 1818 г. как «Сореvнователь просвещения и благотворения» и только с четвертого номер добавил подзаголовок «Труды высочайше утвержденного Вольного общества любителей российской словесности». Шишков принял звание почетного члена ВОЛРС и впоследствии даже участвовал в его заседаниях с чтением своих сочинений. 16 июля 1819 г. пост президента занял Ф. Н. Глинка, сохранивший его за собой все последующие годы.

История ВОЛРС, представленная в достаточно авторитетных исследованиях, опирающихся на архив Общества¹⁰⁹, нуждается, однако, как и в случае с ВОЛСНХ, в

¹⁰⁶ Цит. по: *Бодрова А. С.* К институциональной истории Вольного общества любителей российской словесности. С. 279.

¹⁰⁷ Князь Голицын еще 17 марта 1817 г., сразу после первого обращения к нему «сореvнователей», «с удовольствием» принял их предложение стать попечителем Общества (см.: Там же. С. 258).

¹⁰⁸ Цит. по: Там же. С. 281.

¹⁰⁹ См.: *Брайловский С. Н.* К вопросу о Пушкинской плеяде. I: Орест Михайлович Сомов. Варшава, 1909; *Базанов В. Г.* 1) Вольное общество любителей российской

существенной коррекции. В первую очередь это касается раннего и, с точки зрения историков Общества, мало примечательного периода, когда «общество влачило довольно жалкое существование», а его собрания «чаще всего проходили скучно и неинтересно»¹¹⁰. Однако, стремительным расширением своих рядов Общество именно в этот период демонстрирует нам ту степень автономности, которую незаметно обрело к середине 1810-х гг. литературное поле, а также осознание реальной значимости добываемого в нем «символического капитала» и возможности использовать этот капитал в ценностных системах глобальных полей. «Никитин правду сказал, что учреждение общества даст возможность огласить себя, сблизиться с людьми, имеющими вес, значимость, и при случае направить это к своей пользе, – свидетельствовал Боровков. – Прежде я не мог пустить в ход моих литературных произведений, а в 1822 году я напечатал переведенную мною брошюру “Завещание дочерям”. – Она не только разошлась быстро; но один экземпляр был представлен сочленом нашим Н. М. Лонгиновым государыне императрице Елисавете Алексеевне, и за столь ничтожный труд мне пожалована табакерка от имени ее величества». «Важное дело стать известным! – продолжает мемуарист. – Повсюду оказывают внимание, предупредительность; везде свободный доступ; даже всемогущие министры, заставляющие генералитет томиться в ожидании, тотчас отворяют двери кабинета для мелкого чиновника-журналиста. Это я много испытал лично»¹¹¹.

словесности. Петрозаводск, 1949; 2) Ученая республика. Архив ВОЛРС в настоящее время хранится в Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН (ф. 58). Его подробное описание см.: *Срезневская Л. И.* Архив Вольного общества любителей российской словесности // Сведения о рукописях, печатных изданиях и других предметах, поступивших в Рукописное отделение Библиотеки Академии наук в 1904 году. СПб., 1907. С. 225–277; существенная часть документов введена в оборот в В. Г. Базановым (см.: *Базанов В. Г.* Ученая республика).

¹¹⁰ *Базанов В. Г.* Ученая республика. С. 98, 153.

¹¹¹ Александр Дмитриевич Боровков и его автобиографические записки // *Русская старина*. 1898. № 10. С. 55–56. Иную форму конвертации «символического капитала» показывает история женитьбы Боровкова в 1818 г. на девушке, чье внимание он, будучи мелким и, как ему казалось, ничем не примечательным чиновником, ранее никак не рассчитывал привлечь. Заседания Общества (еще не имевшего названия) происходили в доме приятеля Боровкова, предоставившего участникам «довольно просторную залу в два света, с хорами». Дочери хозяина и приходящие к ним подруги имели доступ на хоры и могли наблюдать чтения. В какой-то момент, подготовивший решительное объяснение, возлюбленная Боровкова обратилась к нему со следующими словами: «В публичных чтениях вашего общества я вижу, что люди высоких чинов обращаются с вами, как с равным; в частных заседаниях ваших, при обсуждении произведений, мнение ваше принимается с уважением. А ваши-то сочинения? Когда вы читали вашу балладу “Эльвиру”, то у дам навертывались слезы» (Там же. С. 55, 57).

При утверждении ВОЛРС никто не принял во внимание, что в Петербурге уже существует литературное общество с почти таким же названием. Между тем 7 декабря 1816 г. возобновилась прерванная войной деятельность ВОЛСНХ: собравшиеся в этот день Измайлов, Греч, Востоков, А. С. Бируков (1772–1844) и Н. И. Федоров (1790–1825)¹¹² положили приступить к еженедельным занятиям. Постепенно на заседаниях стали появляться другие участники Общества, а 21 декабря оно впервые с 1813 г. пополнилось новыми членами – были приняты Ф. Н. Глинка (за полмесяца до того вступивший в ВОЛРС), В. И. Панаев (1792–1859) и В. М. Головин (1776–1831), все трое – авторы, уже имевшие литературную репутацию. 28 декабря 1816 г. председателем был избран Измайлов, с тех пор бессменно занимавший этот пост. В истории возобновления ВОЛСНХ особого внимания заслуживает один эпизод.

На втором заседании, 14 декабря, с предложением к Обществу обратился Греч, являвшийся к этому моменту издателем и редактором единственного на этот момент в России общественно-политического журнала «Сын отечества». Журнал был создан осенью 1812 г. по прямой протекции попечителя Санкт-Петербургского учебного округа С. С. Уварова и, принимая во внимание обстоятельства военного времени, вопреки действовавшему запрещению на частные политические журналы и публикацию политических статей где-либо, кроме официальных изданий¹¹³. Первые два года журнал-еженедельник, выходивший тонкими книжками (около 50 стр. в 8-ю долю листа), заполнялся исключительно соответствующими военной повестке дня материалами (патриотические статьи и воззвания, письма офицеров, анекдоты о военных событиях, патриотические стихотворения и т. д.). Новая, более широкая программа, принятая в 1814 г., предполагала освещение современной европейской истории и политики, русской истории, существенное расширение литературного отдела и библиографию выходящих в России книг. Греч предложил только что возродившемуся ВОЛСНХ, оставаясь редактором журнала, перевести его в ведение Общества. Он готов был платить большую цену за согласие Общества сделать «Сын отечества» своим официальным органом и брал на себя обязательства: выпустить недоданные подписчикам в 1812 г. две последние книжки «Санкт-Петербургского вестника», доставлять каждому действительному и почетному члену ВОЛСНХ по экземпляру журнала, оплачивать писца и сторожей Общества и покупку всех необходимых для его деятельности канцелярских принадлежностей и, наконец,

¹¹² Двое последних вступили в ВОЛСНХ летом 1812 г.

¹¹³ Историю создания «Сына отечества» рассказал сам Греч в автобиографических записках (см.: *Греч Н. И. Записки о моей жизни*. С. 290–306).

ежегодно доставлять в Общество по две золотые (ценой 25 червонцев каждая) и две серебряные медали. Греч был рациональным издателем, и значит, в его понимании, статус печатного органа действующего литературного общества и прочная литературная база, которую обеспечивали доставляемые участниками Общества сочинения, сполна выкупали затраты. Это была попытка прямой монетизации «символического капитала», еще раз подтверждающая существование такого капитала. Вряд ли при этом Греч рассчитывал выиграть что-то из передачи своего журнала под цензуру Общества¹¹⁴: политические статьи в любом случае должны были остаться в ведении общей цензуры.

Русская официальная власть достаточно легко утверждала литературные объединения, судя по всему, не придавая им никакой значимости, но стремилась к полному контролю за периодической печатью. В новой редакции устава Общества, поступившей на рассмотрение министра народного просвещения, пункт о «Сыне отечества» вызвал возражение. 20 января 1817 г. в ВОЛСНХ был направлен запрос князя Голицына с требованием объяснить, на каком основании Общество намеревается печатать статьи, относящиеся к словесности, наукам и художествам, под своей цензурой. 1 февраля Греч сообщил, что по желанию министра «Сын отечества» будет и впредь издаваться им на прежних основаниях. ВОЛСНХ отказалось от журнала Греча, но не от права печатать свои издания в обход общей цензуры, о чем и сообщило Голицыну в ответном письме, ссылаясь на § 6 действующего Устава о цензуре. Правда, в последующие годы ВОЛСНХ этим правом ни разу не воспользовалось. Неофициальным печатным органом ВОЛСНХ стал журнал «Благонамеренный», который председатель Общества Измайлов начал издавать от своего имени с 1818 г.

Таким образом, в 1817 г. в русском публичном литературном пространстве сложилась достаточно любопытная ситуация: действовали два общества, ВОЛСНХ и ВОЛРС, с почти одинаковым названием и сходными «целями». Причем если Общество любителей российской словесности при Московском университете хотя бы до 1819 г. не принимало в свои ряды не москвичей, то составы ВОЛСНХ и ВОЛРС очень быстро перемешались. Начало этому процессу было положено уже через месяц после высочайшего утверждения, 19 февраля 1818 г., когда действительными членами ВОЛРС стали главные деятели другого общества – Измайлов и Греч. Взаимоотношения и условия параллельного существования ВОЛСНХ и ВОЛРС изучены недостаточно. Видимо, они могут быть выстроены только из

¹¹⁴ Так в 1812 г. издавался «Санкт-Петербургский вестник».

анализа всей суммы «социальных траекторий» их отдельных участников¹¹⁵. Несомненно, принадлежность к тому или иному (в результате, как правило, к обоим) обществу становилась для начинающего литератора своего рода актом профессионального признания. Обращает внимание, что «новички» (литературная молодежь) сначала вступали в ВОЛСНХ, а в число действительных членов Общества соребнователей попадали чаще всего через период (хотя и краткий) «сотрудничества» или «корреспондентства»¹¹⁶. Можно предположить, что отчасти это было связано с позицией в литературном поле и «сферой влияния» Измайлова. Для публикации в «Благонамеренном», частном журнальном предприятии Измайлова, достаточно было одного согласия его издателя, тогда как на страницах «Соребнователя» печатались только сочинения, одобренные в заседаниях ВОЛРС. Распространенное мнение о «размежевании» и противостоянии двух обществ по принципу литературной «прогрессивности» (ВОЛРС) и «реакционности» (ВОЛСНХ) основано на ничем не оправданной идеологической конструкции Базанова, пытавшегося представить Общество соребнователей как своего рода «легальный филиал» декабристских объединений. С этой точки зрения, например, совершенно необъяснимо вступление в ряды ВОЛСНХ 5 апреля 1823 г. К. Ф. Рылеева, по Базанову – к этому времени уже одного из лидеров ВОЛРС, определявших литературную политику общества¹¹⁷. Приводимый в пример борьбы «левого» и «правого» крыла ВОЛРС конфликт вокруг выступления В. Н.

¹¹⁵ «Не стоит пытаться понять жизнь или карьеру, – замечает П. Бурдьё, – как уникальную и самодостаточную серию последовательных событий, не связанных ничем, кроме единого “субъекта”, постоянство которого – не более чем постоянство признанного социумом личного имени. Это столь же абсурдно как попытка понять смысл некоторого маршрута в метро, не принимая в расчет структуры сети, т<о> е<сть> матрицы объективных отношений между различными станциями» (*Бурдьё П. Поле литературы // Новое литературное обозрение. 2000. № 45. С. 66.*)

¹¹⁶ В. К. Кюхельбекер (1797–1846) принят в ВОЛСНХ 11 октября 1817 г., в ВОЛРС – 10 ноября 1819 г. сотрудником и 3 января 1820 г. действительным членом; А. А. Дельвиг (1798–1831) принят в ВОЛСНХ 31 января 1818 г., в ВОЛРС – 22 сентября 1819 г. сотрудником, 3 октября того же года действительным членом; Е. А. Баратынский (1800–1844) принят в ВОЛСНХ 20 марта 1819 г., в ВОЛРС – 26 января 1820 г. корреспондентом, 28 марта 1821 г. действительным членом; П. А. Плетнев (1791–1865) принят в ВОЛСНХ 25 сентября 1819 г., в ВОЛРС – 20 октября того же года сотрудником и 10 ноября действительным членом; В. И. Туманский (1800–1860) принят в ВОЛСНХ 14 марта 1818 г., в ВОЛРС – 29 августа 1821 г. сотрудником, 18 декабря того же года действительным членом; А. А. Бестужев (1797–1837) принят в ВОЛСНХ 22 апреля 1820 г., в ВОЛРС – 15 ноября 1820 г.; О. М. Сомов (1793–1833) принят в оба общества почти одновременно – в ВОЛСНХ 30 мая 1818 г., в ВОЛРС 13 мая 1818 г. сотрудником (действительным членом стал 24 мая 1820 г.).

¹¹⁷ Сотрудник с 25 апреля 1821 г., действительный член с 19 декабря 1821 г.

Каразина (1773–1842) в марте 1820 г. имел не литературную и не политическую¹¹⁸, а институциональную природу. Вице-президент ВОЛРС Каразин 1 марта 1820 г. выступил с речью «Об ученых обществах и периодических сочинениях в России», в которой, в частности, подверг резкой критике журнал Общества «Соревнователь» и предложил придать ему национально-историческую ориентацию и более ученое направление, считая, что в журнале Общества не место элегической, развлекательной и эротической поэзии. Хотя речь была одобрена к публикации, она вызвала серьезные возражения и было решено вернуться к ее обсуждению на заседании 15 марта. Каразин тем временем напечатал и распространил текст речи, не санкционированный Обществом. Именно это пренебрежение вице-президента установлениями Общества, а не речь как таковая, и вызвало вспышку возмущения среди участников. 15 марта 1820 г. после жарких споров Каразин и его сторонники (Н. А. Цертелев (1790 или 1791 – 1869), Б. М. Федоров (1798–1875) и др., всего восемь человек), покинули собрание и были исключены из рядов Общества. Однако, уже ко 2 июня 1820 г. страсти улеглись, решение об исключении было пересмотрено и инцидент «предан забвению». Начавшаяся в 1821–1822 гг. на страницах «Благонамеренного» журнальная война против «новой» школы в поэзии также не может считаться выражением литературной позиции ВОЛСНХ в целом, уже хотя бы потому, что все подвергавшиеся нападкам авторы (Баратынский, Дельвиг, Кюхельбекер, Плетнев) были членами Общества. В 1821 г. рассматривался вопрос об объединении двух обществ. Решение не было принято. Можно предполагать, что главную роль сыграло нежелание Измайлова: такое объединение ставило под угрозу существование журнала «Благонамеренный», все-таки приносившего издателю какой-то доход.

Со всем тем лидерство очевидно постепенно переходило к «соревнователям». Собрания ВОЛСНХ, которые никогда не были особенно многочисленными (обычно собиралось до десяти человек), становились более редкими. Его председатель Измайлов уделял меньшее внимание официальным заседаниям Общества, чем неофициальным собраниям ряда его участников в салоне С. Д. Пономаревой (1794–1824), где в 1821 даже организовалось полу-шуточное частное литературное общество «Сословие друзей просвещения»¹¹⁹. Деятельность ВОЛРС, напротив, становилась очень масштабной. Так,

¹¹⁸ Преувеличенное политическое значение этому эпизоду (см.: *Базанов В. Г.* Ученая республика. С. 132–139; *Лосиевский И. Я.* Первая ссылка Пушкина и В. Н. Каразин // *Русская литература.* 1992. № 1. С. 95–113) было придано за счет его ретроспективной проекции на политические доносы Каразина марта–апреля 1820 г. (к деятельности собственно ВОЛРС не относящиеся) и его письмо Николаю I 1826 г.

¹¹⁹ О салоне Пономаревой см. исчерпывающее исследование: *Вацуро В. Э.* С. Д. П.: Из истории литературного быта пушкинской поры. М., 1989.

например, в 1822 г., согласно «Журналу ученых упражнений» Общества, было проведено 31 заседание и рассмотрено 170 произведений в стихах и прозе. Важным событием литературной жизни столицы явилось торжественное заседание ВОЛРС в мае 1823 г., на котором присутствовало свыше 50 человек. Сам выбор места собрания – дом Державина – должен был символически обозначать позиции, которые стремилось занять Общество в литературном поле.

Деятельность ВОЛРС и ВОЛСНХ прекратилась одновременно, после событий 14 декабря 1825 г. Ряд членов ВОЛРС оказались принадлежащими к заговору и участвовали в возмущении. В числе других был арестован и президент Общества Ф. Н. Глинка. Общество фактически перестало существовать. Тогда же был прекращен «Соревнователь просвещения и благотворения». Прекратились и собрания ВОЛСНХ. На запрос министра народного просвещения А. С. Шишкова от 18 октября 1826 г. о деятельности ВОЛСНХ Измайлов (председатель) и Востоков (секретарь) отвечали, что Общество «едва ли может когда приступить совокупными силами к какому-либо важному труду и возобновить с желаемым успехом свои заседания, кои и прежде были довольно редки и малочисленны»¹²⁰. Этот ответ по сути был уведомлением о роспуске ВОЛСНХ.

Наряду с «узаконенными» литературными обществами и в столицах, и в провинции существовали объединения, не стремившиеся к окончательной институализации. Таким было, например, регулярное собрание офицеров, не чуждых словесности, в Калуге, под председательством командовавшего в 1817–1823 гг. расквартированной там 2-й гренадерской бригадой А. А. Писарева, члена ВОЛСНХ, Российской Академии, «Беседы любителей русского слова», ВОЛРС¹²¹ и Московского общества любителей российской словесности¹²². Результатом этих собраний стал сборник «Калужские вечера, или Отрывки из сочинений и переводов в стихах и в прозе военных литераторов» (М., 1825. Ч. 1–2). В Москве в среде студентов Московского университета, вероятно, в 1816 г. образовалось «Общество громкого смеха». Председателем его стал М. А. Дмитриев (1796–1866)¹²³, секретарем А. Д. Курбатов (1800–1858). Общество завелось «в подражание

¹²⁰ Цит. по: Орлов П. А. Поэты-радищевцы // Поэты-радищевцы / Вступ. ст., биогр. справки, сост. и подгот. текста П. А. Орлова; примеч. П. А. Орлова и Г. А. Лихоткина. Л., 1979. С. 13.

¹²¹ Избран почетным членом 15 ноября 1820 г.

¹²² Обращался в Общество еще в 1811 г., но ему было отказано как не москвичу; принят в 1819 г. (см.: Клейменова Р. Н. Общество любителей российской словесности. 1811–1930. М., 2002. С. 79).

¹²³ М. А. Дмитриев в том же 1816 г. был принят членом-сотрудником в Общество любителей российской словесности при Московском университете (действительный член с 1820 г.); позднее, 15 декабря 1824 г., был избран действительным членом ВОЛРС.

Арзамасскому»¹²⁴, о котором М. А. Дмитриев, живший в то время в доме дяди И. И. Дмитриева и встречавший там В. Л. Пушкина, Вяземского, Воейкова и других литераторов, должен был быть слышан. «Всякое заседание начиналось забавною речью, потом читали шутливые, часто остроумные стихи и пародии...»¹²⁵. В основном участниками Общества были товарищи Дмитриева по университету и Московскому архиву Коллегии иностранных дел – П. А. Новиков (1797–1876)¹²⁶, М. А. Волков (1799–1882), С. Е. Раич (1789 или 1790, или 1792 – 1855)¹²⁷, А. О. Корнилович (1800–1834)¹²⁸ и др. Прочитанные на заседаниях сочинения сводились, по крайней мере, в первое время, к пересмеиванию университетского быта и профессоров. Позднее, уже после отъезда М. А. Дмитриева из Москвы летом 1818 г., в Общество вступили другие члены, в том числе князь Ф. П. Шаховской (1796–1829), возглавлявший одну из московских управ Союза Благоденствия и избранный вскоре председателем. Участники решили принять «серьезное направление» и заняться политическими науками. Из этого, однако, ничего не получилось, и после двух заседаний под председательством Шаховского они перестали собираться¹²⁹.

Петербургское общество «Зеленая лампа» существовало с апреля 1819 г. по конец 1820 г. (за это время состоялось не менее 22 заседаний). Сведения, касающиеся его, также достаточно ограничены. Собrania «лампистов» обычно происходили у чиновника Коллегии иностранных дел Н. В. Всеволожского (1799–1862); общество получило название от лампы зеленого цвета, висевшей в зале собраний. Всеволожский был известен в Петербурге проходившими в его доме шумными застольями молодежи, и довольно долго собрания «Зеленой лампы» не отделялись от кутежей и шалостей молодых повес. Это

¹²⁴ *Дмитриев М. А.* Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 140.

¹²⁵ Там же.

¹²⁶ Одновременно с М. А. Дмитриевым вступил членом-сотрудником в Общество любителей российской словесности при Московском университете (действительный член с 1821 г.).

¹²⁷ 30 марта 1818 г. избран сотрудником Общества любителей российской словесности при Московском университете (действительный член с 1822 г.); со 2 октября 1821 г. член-корреспондент ВОЛРС.

¹²⁸ Позднее, с 19 декабря 1821 г., действительный член ВОЛРС, с 8 октября 1823 г. член ВОЛСНХ.

¹²⁹ Собrania прекратились после заседания, на которое Шаховской пригласил двух членов Союза Благоденствия, полковника М. А. Фонвизина (1787–1854) и Ал. Н. Муравьева (1792–1863): «...гости во время заседания закурили трубки; потом вышли в другую комнату и о чем-то шептались; потом, возвратясь оттуда, стали говорить, что труды такого рода слишком серьезны и проч. и начали давать советы. Шаховской покраснел; члены обиделись...» (*Дмитриев М. А.* Главы из воспоминаний моей жизни. С. 156).

мнение утвердилось благодаря первым биографам А. С. Пушкина¹³⁰, принадлежавшего к обществу, и поддерживалось свидетельствами некоторых современников. В дальнейшем причастность ряда участников «Зеленой лампы» к тайным обществам и неоднократное упоминание общества в ходе следствия по делу о восстании 14 декабря радикально изменили его оценку: оно стало рассматриваться как одна из побочных управ Союза благоденствия¹³¹. Сохранившаяся часть бумаг «Зеленой лампы» позволяет сделать некоторые предположения о подлинном характере общества. Его собрания не имели прямого отношения к шумным обедам у Всеволожского. Общество было достаточно большим (известно имя двадцати одного участника), открытым к доступу новых членов, несколько ритуализованным в духе масонских лож и тайных обществ (члены имели по кольцу с вырезанным изображением лампы); был девиз «Свет и Надежда» и устав, который «приглашал в заседаниях объясняться и писать свободно, и каждый член давал слово хранить тайну»¹³², велись протоколы¹³³. Несомненно, в закрытых собраниях имели место политические разговоры и высказывались достаточно острые мнения. Однако одно имя Гнедича в числе участников полностью исключает предположение, что общество позиционировало себя как политическое. Преобладание в обществе не собственно литераторов, но страстных театралов – Н. В. Всеволожского, Я. Н. Толстого (1791–1867), П. Б. Мансурова (1796–1880), Ф. Ф. Юрьева (1796–1860), Д. Н. Баркова (1796–1855), А. Д. Улыбышева (1794–1858) и наряду с ними несколько оппозиционного к петербургскому театральному эстеблишменту «мэтра» Гнедича – говорит об обществе как о преимущественно театральном, которое, возможно, возникло как оппозиция задававшему тон в театральном мире «чердаку» князя Шаховского. В публичном мнении «Зеленая лампа» себя никак не проявила. Решение о ее роспуске было принято, как только стало известно о том, что общество попало под наблюдение полиции, осенью 1820 г., когда расследовалось дело о бунте Семеновского полка. «Однажды член отставной полковник Жадовский объявил обществу, что правительство имеет о нем сведения и что мы подвергаемся опасности, не имея дозволения на установленное общество, — вспоминал Я.

¹³⁰ См.: *Бартенев П. И.* Пушкин в Южной России. М., 1914. С. 147; *Анненков П. В.* Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874. С. 63.

¹³¹ См.: *Щеголев П. Е.* «Зеленая лампа» // Щеголев П. Е. Пушкин: Исследования, статьи и материалы. 3-е изд., испр. и доп. Т. 2: Из жизни и творчества Пушкина. М.; Л., 1931. С. 39–68; *Томашевский Б. В.* Пушкин. Кн. 1: 1813–1824. М.; Л., 1956. С. 193–234.

¹³² *Щеголев П. Е.* «Зеленая лампа». С. 61–62.

¹³³ См.: *Модзалевский Б. Л.* К истории «Зеленой лампы» // Модзалевский Б. Л. Пушкин и его современники: Избр. труды (1898–1928). СПб., 1999. С. 10.

Н. Толстой. — С сим известием положено было прекратить заседания и с того времени общество рушилось»¹³⁴.

Достаточно широким по составу участников было московское «Общество друзей» С. Е. Раича, магистра словесного отделения Московского университета, переводчика виргилиевских «Георгик». Оно составилось летом 1822 г. в подмосковном имении Н. Н. Муравьева Осташово, где Раич жил как наставник его сына Андрея (1806–1874). Первоначально, кроме Раича и Ан. Н. Муравьева, туда входило еще четверо молодых офицеров, так или иначе связанных с Московским учебным заведением для колонновожатых, которым руководил Н. Н. Муравьев, — П. И. Колошин (1794–1849), Н. В. Путята (1802–1877), С. Д. Полторацкий (1803–1884) и, вероятно, М. П. Вронченко (1801 или 1802 –1855). Из-за дурной погоды участники решили собираться раз в неделю и читать свои сочинения и переводы. По возвращении в Москву Общество пополнилось университетскими знакомыми Раича (В. И. Оболенский (ок. 1793–1847), А. Ф. Томашевский (1799–1883)) и выпускниками университетского Благородного пансиона (Д. П. Ознобишин (1804–1877), В. П. Титов (1807–1891), С. П. Шевырев (1806–1864)) и уже имело процедуру принятия новых членов (М. П. Погодин (1800–1875) был принят после представления в Общество своего перевода из Тита Ливия; см. записи его дневника за февраль 1823 г.¹³⁵). После перевода школы колонновожатых в Петербург в 1823 г. «университетский» элемент в Обществе решительно возобладал. «Общество друзей», собиравшееся в 1823–1825 гг. на квартире Раича в доме сенатора Г. Н. Рахмонова, наставником которого теперь был Раич, практически объединяло всю молодую литературную Москву. Целью его ставилось «перевести всех греческих и римских классиков и перевести со всех языков лучшие книги о воспитании»¹³⁶, в его интеллектуальной атмосфере преобладали философско-эстетические идеи «йенского романтизма», в начале 1820-х гг. начавшие проникать на русскую почву и воспринимавшиеся новым литературным поколением как основание «подлинной» литературной теории в противоположность критериям «вкуса» и жанровой доктрине старой, условно говоря, еще аристотелевской эстетики. Московские власти были гораздо терпимее к неинституализированным обществам и проводившимся ими литературным собраниям, чем петербургские. Собрание «Общества друзей» однажды даже посетил военный московский генерал-губернатор Д. В. Голицын и отнесся к его деятельности

¹³⁴ Цит. по: *Щеголев П. Е.* «Зеленая лампа». С. 62.

¹³⁵ См.: *Рогов К. Ю.* К истории «московского романтизма»: кружок и общество С. Е. Раича // *Лотмановский сборник*. 2. М., 1997. С. 554.

¹³⁶ Там же. С. 531 (из письма М. П. Погодина к А. Н. Голицыной).

благосклонно. В начале 1824 г. в Общество вступил Н. А. Полевой (1796–1846)¹³⁷, начались обсуждения проекта журнала, ни к чему, однако, не приведшие. Программа, предложенная Полевым, не была принята участниками. Полевой отошел от Общества и с 1825 г. стал самостоятельно издавать «Московский телеграф»¹³⁸, Раич в конце апреля 1825 г. уехал с Рахмоновыми в Малороссию, и Общество вскоре распалось.

В среде «Общества друзей» в 1823 г. в Москве образовалось и тайное «**Общество любомудрия**», куда вошли князь В. Ф. Одоевский (1804–1869), И. В. Киреевский (1806–1856), Д. В. Веневитинов (1805–1827), Н. М. Рожалин (1805–1834), А. И. Кошелев (1806–1883), Ал. С. Норов (1797 или 1798 – не позднее 1864), князь П. Д. Черкасский (1799–1852). Точный состав Общества за неимением документов, впрочем, вызывает вопросы. Собирались сначала у Черкасского, а после его отъезда из Москвы зимой 1825 г. – у Одоевского. Общество было скорее философским, чем литературным. «Тут господствовала немецкая философия, т. е. Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Гёррес и др. – вспоминал Кошелев. – Тут мы иногда читали наши философские сочинения; но всего чаще и по большей части беседовали о прочтенных нами творениях немецких любомудров»¹³⁹. Эти беседы были прерваны событиями 14 декабря 1825 г.: «Живо помню, как после этого несчастного числа кн. Одоевский нас созвал и с особенною торжественностью предал огню в своем камине и устав, и протоколы нашего общества любомудрия»¹⁴⁰.

Исторический рубеж 1825 г. пережили только аффилированные с государством структуры – Российская Академия и Общество любителей российской словесности при Московском университете, да в 1826 г. (после снятия в мае Магницкого с должности попечителя Казанского учебного округа) возобновило свою работу Казанское общество любителей отечественной словесности. Московское общество в 1826 г. не собиралось. Летом в университете началась проверка; 26 октября 1826 г. Прокопович-Антонский сложил с себя обязанности председателя; Мерзляков устранился от дел. Заседания возобновились только весной 1827 г. с избранием 7 мая новым председателем Ф. Ф. Кокошкина (1773–1838). Несмотря на его старания сохранить Общество как эстетически нейтральную, объединяющую литературную платформу¹⁴¹, наладить работу не удалось.

¹³⁷ С 17 декабря 1823 числился членом-корреспондентом ВОЛРС, 15 декабря 1824 г. избран действительным членом.

¹³⁸ См.: *Погодин М. П.* Воспоминание о Степане Петровиче Шевыреве // Журнал Министерства народного просвещения. 1869. Т. 141, № 2. С. 399, 2-я паг.

¹³⁹ *Кошелев А. И.* Записки. М., 1991. С. 51.

¹⁴⁰ Там же.

¹⁴¹ См. программу Общества в его речи при вступлении в должность: «Здесь нет места ни зависти, ни пристрастию, нет места партиям, преграждающим и без того многотрудный

Публичные формы литературной жизни не отвечали духу нового царствования. Седьмая часть «Сочинений в прозе и стихах», вышедшая в 1828 г. стала последним печатным изданием Общества. По свидетельствам московских старожилов, переданным Н. П. Гиляровым-Платоновым, с целью привлечь публику на заседания выписывали отличившихся в декламации чтецов и даже приглашали оркестр. Но и это не помогало. «Общество должно было умереть, и умерло естественною смертью, медленною, постепенною, так что нельзя даже указать грани, когда оно рассталось с жизнью, – было ли то в тридцатых годах или в сороковых. Сначала публичные заседания становились реже за неимением материалов для чтения; о заседаниях 1833 и 1834 гг. даже неизвестно, в чем они состояли, осталась память только, что они были. Потом выбор должностных лиц прекратился за отсутствием даже частных собраний, и лишь в адрес-календарях оставался их след...»¹⁴².

Академия продолжала свою деятельность под неизменным руководством Шишкова и в соответствии с уставом, принятым в 1818 г., который предусматривал широкую издательскую программу – выпуск переводов классиков и лучших иностранных авторов, произведений известных русских писателей, а также собственных периодических изданий¹⁴³. Эти периодические издания заполнялись статьями по проблемам языкознания и истории, собранными в рамках лексикографических работ Академии словарными материалами, произведениями самих академиков, среди которых явно преобладали сочинения Шишкова. Прочное финансовое положение позволяло Академии широко заниматься благотворительностью¹⁴⁴. Действовала и гибкая система поощрений для

путь на поприще словесности; здесь разве только по слухам известны странные прения о том, классический или романтический род превосходнее. – Здесь всякое произведение, носящее печать истинного таланта и глубоко определенного познания в избранном роде, достойно оценится» (цит. по: *Клейменова Р. Н.* Общество любителей российской словесности. 1811–1930. С. 75).

¹⁴² *Гиляров-Платонов Н. П.* Возрождение Общества любителей российской словесности в 1858 году. (Речь, читанная в публичном заседании Общества 7 декабря 1886 года) // Сборник Общества любителей российской словесности на 1891 год. М., 1891. С. 144–145.

¹⁴³ В 1815–1828 гг. издавались «Известия Российской Академии» (выпущено 12 книжек), в 1829–1832 гг. – «Повременное издание Российской Академии» (4 книжки), в 1834–1835 гг. – «Краткие записки, содержащие в себе разные примечания и суждения о языке и словесности» (3 книжки), с 1840 г. – «Труды Российской Академии» (5 выпусков, последний вышел в 1842 г., уже после прекращения деятельности Академии).

¹⁴⁴ Так, в 1833 и 1839 гг. Академия дважды выпускала собрания сочинений рано умершей талантливой поэтессы и переводчицы Е. Б. Кульман (1808–1825), передавая вырученные от их продажи средства семье покойной; в 1834–1835 гг. издала четыре части «Сочинений и переводов» погибшего в 1832 г. поэта А. А. Шишкова в пользу его вдовы и малолетней дочери.

отличившихся ученых и писателей – золотая трех достоинств (большая, средняя и малая) и серебряная медали и денежные премии. «Рассматривательный комитет» ежегодно обсуждал от шести до двенадцати произведений, присланных на отзыв в Академию. Автор, который получал положительное заключение комитета, независимо от того, являлся ли он сам членом Академии, имел право печатать свою работу за счет Академии в собственной ее типографии. Издания Академии по-прежнему не подлежали общей цензуре. Однако ни литературного, ни общественного влияния Российская Академия не имела. Избрание в нее стало неким знаком официального внимания, никак не коррелирующим с реальной позицией, занимаемой тем или иным автором. Шишков умел подниматься над своими личными пристрастиями. В 1818 г. он сам предложил к избранию в Российскую Академию Карамзина. В том же году членом Академии стал Жуковский. 13 января 1833 г. академический диплом был вручен Пушкину, также предложенному к избранию Шишковым. Но если избрание Карамзина, а особенно вручение ему большой золотой медали в торжественном заседании Академии 8 января 1820 г., где Карамзин выступил с чтением отрывков из 9-го тома «Истории государства Российского», посвященным второй половине царствования Ивана Грозного, воспринималось карамзинским окружением, и, вероятно им самим, как подлинный триумф и акт национального признания, то Пушкин к званию академика отнесся уже совершенно равнодушно. Посетив Академию в первый раз 28 января 1833 г., он дал волю своей иронии. «Пушкин был на днях в Академии, – писал Вяземский к Жуковскому в Швейцарию 29 января 1833 г., – и рассказывал уморительные вещи о бесчинстве заседания. <...> Пушкин более всего недоволен завтраком, состоящим из дурного винегрета для закуски и разных водок. Он хочет первым предложением своим подать голос, чтобы наняли хорошего повара и покупали хорошее вино французское»¹⁴⁵. Одновременно с Пушкиным был избран П. А. Катенин, а непосредственно вслед за ними в том же 1833 г. Академия проголосовала за избрание В. И. Панаева, Б. М. Федорова и П. П. Свиньина. Греч, просивший Пушкина поддержать вдову А. А. Шишкова в ее хлопотах об издании сочинений покойного мужа, называл академические деньги «царскими щедротами, ежегодно отпускаемыми или опускаемыми в кладезь мрачный»¹⁴⁶. Необходимость ежегодных отчислений из государственной казны в пользу учреждения со столь неопределенными с государственной точки зрения целью и статусом вызывала недовольство императора. Последние годы Академия держалась в основном благодаря личному авторитету и стараниям Шишкова. Сразу же по смерти Шишкова в 1841 г.

¹⁴⁵ Из писем князя Вяземского к Жуковскому // Русский архив. 1900. Т. 1, № 3. С. 369.

¹⁴⁶ *Пушкин*. Полн. собр. соч. М.; Л., 1948. Т. 15. С. 55.

министром просвещения С. С. Уваровым был подготовлен указ, упраздняющий Российскую Академию: она присоединялась к Академии наук в качестве Второго отделения (русского языка и словесности).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖУРНАЛЫ, АЛЬМАНАХИ И ГАЗЕТЫ 1830-х гг.

На состояние журналистики 1830-х гг. повлияли события, происшедшие после подавления восстания декабристов 1825 г., июльская революция 1830 г. во Франции и польское восстание 1830–1831 гг. Эпоха царствования Николая I началась с ужесточения внутренней политики, усиления реакции и цензурного давления. В 1826 г. было образовано III Отделение Собственной его императорского величества канцелярии, которое было призвано бороться с оппозиционными настроениями в обществе. В его функции входило «наблюдение за деятельностью нелегальных организаций и кружков, распространением нелегальной литературы <...> за положением и состоянием армии, за деятельностью легальных общественных, в том числе и различных конфессиональных, организаций и органов корпоративного и сословного самоуправления, борьба с национальными движениями народов Российской империи и крестьянскими волнениями; <...> слежка за иностранными подданными на территории России, а также сбор сведений о различных происшествиях, стихийных бедствиях, уголовных преступлениях, злоупотреблениях местных властей, неурожаях, эпидемиях, появлении фальшивых монет и ассигнаций и т. д.»¹. Главой III Отделения Николай I назначил пользовавшегося его особым доверием А. Х. Бенкендорфа (1781 или 1782–1844)².

Принятый 10 июня 1826 г. цензурный устав был назван современниками из-за своей строгости «чугунным»; новый устав (от 22 апреля 1828 г.) поначалу казался более либеральным, однако многочисленные правительственные корректировки вскоре привели к истреблению этого либерального духа³.

На этом фоне журнальная жизнь к началу 1830-х гг. затихла. «Сын отечества» (1812–1852), издававшийся в Петербурге Н. И. Гречем (1787–1867) и бывший до

¹ Раскин Д. И. Третье отделение Собственной его императорского величества канцелярии // Быт Пушкинского Петербурга: Опыт энциклопедического словаря: Л–Я. СПб., 2005. С. 319–320.

² Вторым лицом в этом ведомстве был начальник штаба Корпуса жандармов, руководивший политическим сыском: с 1826 г. – М. Я. фон Фок (1777–1831), после его смерти – А. Н. Мордвинов (1792–1869), с 1839 г. – Л. В. Дубельт (1792–1862).

³ Подробнее см. статью А. А. Поляковой «Цензура в эпоху Золотого века» – наст. изд., с. 000–000.

восстания декабристов одним из лучших журналов, после событий 14 декабря 1825 г. изменил свою политическую ориентацию в сторону официозной. Большие надежды возлагались на «Московский телеграф» (1825–1834) Н. А. Полевого (1796–1846), но к концу 1820-х гг. он стал резко выступать против писателей пушкинского круга, которые перестали с ним сотрудничать после публикации в 1829 г. его статьи с резкой критикой «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина⁴. В 1830 г. прекратили существование несколько известных журналов: в Москве – «Вестник Европы» (изд. с 1802 г.) М. Т. Каченовского (1775–1842), в последние годы враждебно относившегося к писателям новой литературной школы, в том числе и к Пушкину, и связанный с обществом «любомудров» «Московский вестник» (изд. с 1827 г.) М. П. Погодина (1800–1875); в Петербурге – «Отечественные записки» (изд. с 1818 г.) П. П. Свиньина (1787–1839).

Самые свежие политические известия печатались не в «Санкт-Петербургских ведомостях» или «Московских ведомостях», а в частной газете «Северная пчела» (1825–1864)⁵, издатели-редакторы которой Ф. В. Булгарин (1789–1859) и Н. И. Греч стремились формировать и литературные взгляды общества. Под покровительством III Отделения газета стала самой распространенной в России. Правящие круги были ею довольны: «С 1825 года Булгарин издает “Северную пчелу”, литературную и политическую газету, коей главнейшая цель состоит в утверждении верноподданнических чувствований и в направлении к истинной цели, то есть преданности к престолу и чистоте нравов», – писал в 1826 г. А. Х. Бенкендорф в записке о деятельности Булгарина⁶.

В конце 1828 г. альманах А. А. Дельвига «Северные цветы» (1825–1831), объединивший литераторов пушкинского круга, начал полемику с «Московским вестником» и «Северной пчелой». В «Обзоре российской словесности за 1828 год» О. М. Сомов выступил против «неумеренной самонадеянности», «ничем не оправдываемой заносчивости» критиков «Московского вестника»⁷ и высказался прохладно о сочинениях Ф. В. Булгарина⁸; с «Северной пчелой» отношения резко

⁴ См.: Московский телеграф. 1829. Ч. 27, № 12. С. 467–500.

⁵ В первые годы газета выходила три раза в неделю, с 1831 г. – ежедневно.

⁶ Цит. по: Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. 2-е изд. СПб., 1909. С. 245.

⁷ Северные цветы на 1829 год. СПб., 1828. Отд. «Проза». С. 10.

⁸ См.: Там же. С. 94–98. Подробнее об «Обзоре» О. М. Сомова см.: Вацуро В. Э. «Северные цветы»: История альманаха Дельвига – Пушкина. М., 1978. С. 151–152.

ухудшились после публикации в 1829 г. болгаринского романа «Иван Выжигин», имевшего успех у массового читателя⁹. Однако вести литературную дискуссию на страницах альманаха, выходившего один раз в год, было невозможно. Пушкин к этому времени окончательно отошел от «Московского телеграфа» и «Московского вестника», так как позиция их издателей по ряду литературно-общественных вопросов его уже не удовлетворяла. Он чувствовал необходимость начать борьбу за «литературную нравственность» и собственного читателя, формируя общественное мнение. Все эти причины заставляют Пушкина и Дельвига думать о создании нового литературно-критического органа, направленного против массовой коммерческой литературы и демократической (третьесословной) журналистики. Так возникает «Литературная газета»¹⁰, издававшаяся полтора года (с 1 января 1830 г. по 30 июня 1831 г.) в Петербурге А. А. Дельвигом (1798–1831) при активном участии Пушкина¹¹. На ее страницах печатались лучшие литераторы того времени: П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский, Д. В. Давыдов, Н. М. Языков, А. И. Одоевский, А. А. Бестужев, П. А. Катенин, Ф. Н. Глинка, А. С. Хомяков, А. А. Шаховской, И. И. Козлов, Н. И. Гнедич, А. В. Кольцов, Н. В. Гоголь, В. Г. Тепляков, Е. Ф. Розен, М. Д. Деларю, В. И. Туманский, А. И. Подолинский и др. Из иностранной литературы публиковались переводы произведений В. Скотта, Ж. Жанена, В. Гюго, К. Ф. Фан дер Фельде, П. Мериме, В. Ирвинга, Стендаля, Э. Т. А. Гофмана, Л. Тика, Ш. Нодье и др.¹²

23 декабря 1829 г., еще до выхода первого номера «Литературной газеты», редактор «Московского вестника» М. П. Погодин сообщал С. П. Шевыреву: «В

⁹ Подробнее см. статью Т. А. Китаниной «Массовая литература» – наст. изд., с. 000–000.

¹⁰ О возникновении «Литературной газеты» вспоминал А. И. Дельвиг: «Весьма трудно было найти редактора для этого органа. Пушкин был постоянно в разъездах, Жуковский занят воспитанием наследника престола, Плетнев – обучением русской словесности наследника и в разных заведениях, князь Вяземский и Баратынский жили в Москве, Катенин в деревне. Хотя Дельвиг, по своей лени, менее всего годился в журналисты, но пришлось остановиться на нем, с придачею ему в сотрудники Сомова. Все означенные литераторы любили Дельвига и уважали его вкус и добросовестность в суждениях о произведениях литературы. Вместе с этим надеялись, что этот новый орган послужит отпором с каждым днем увеличивающейся бессовестности Греча и Булгарина» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 119–120).

¹¹ «Литературная газета» выходила раз в пять дней.

¹² Подробнее см.: *Блинова Е. М.* «Литературная газета» А. А. Дельвига и А. С. Пушкина 1830–1831: Указатель содержания. М., 1966. См. также: *Степанов Н. Л.* «Литературная газета» // Очерки по истории русской журналистики и критики. Л., 1950. Т. 1. С. 384–385.

Петербурге затевается пятидневная газета; сотрудники: Дельвиг, Пушкин, Вяземский, Сомов, Жуковский, с целью действовать против Полевого и Булгарина. Ага! Как стали кусать их, так поднялись; а нам не помогали. Литераторов – горсть; война великая поднимается в журналах. Титов и Одоевский верно передадутся к той аристократической партии, газете»¹³.

О том, какой будет газета и каковы ее задачи, говорилось в заметке издателя, открывавшей первый номер: «Цель сей газеты – знакомить образованную публику с новейшими произведениями литературы европейской, и в особенности российской. <...> Издатель признает за необходимое объявить, что в газете его не будет места критической перебранке. Критики, имеющие в виду не личные привязки, а пользу какой-либо науки или искусства, будут с благодарностью принимаемы в “Литературную газету”. Разнообразие и занимательность будут главнейшим предметом трудов и попечений издателя. <...> Писатели, помещавшие в продолжение шести лет свои произведения в “Северных цветах”, будут постоянно участвовать и в “Литературной газете”. (Разумеется, что гг. издатели журналов, будучи заняты собственными повременными изданиями, не входят в число сотрудников сей газеты.)»¹⁴. Издатели, таким образом, давали понять, что не собираются сотрудничать с редакторами «Северной пчелы», «Сына отечества» и «Московского телеграфа». Еще более ясно их позиция была изложена в заключительной фразе пушкинской статьи «<О журнальной критике>» («...“Литературная газета” была у нас необходима не столько для публики, сколько для некоторого числа писателей, не могших по разным отношениям являться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов»¹⁵). Эти заявления положили начало полемике о «литературной аристократии» и размежеванию изданий, ориентированных на массового (демократического) читателя («Северная пчела», «Московский телеграф», «Библиотека для чтения») и на элитарного («аристократического») («Литературная газета», «Европеец», «Московский наблюдатель», «Современник»).

Первым по этому поводу высказался Булгарин: «Великих прозаиков мы не знаем на святой Руси, которые бы по *отношениям* не могли печатать своих сочинений ни в одном журнале, кроме одной “Литературной газеты”. Истинный талант не знает никаких

¹³ Русский архив. 1882. Кн. 3, № 5. С. 124–125.

¹⁴ Литературная газета. 1830. Т. 1, № 1, 1 янв.

¹⁵ Там же. № 3, 11 янв. С. 24; статья опубликована без подписи.

отношений в литературе, кроме отношения к публике, а не во гневе сказать, в России есть журналы не хуже “Литературной газеты”, которых издатели приобрели право (своими трудами) быть посредниками между публикою и писателями»¹⁶. «Московский телеграф» также замечал: «Если некоторые газеты, по объявлению самих редакторов, издаются для немногих писателей, то мы имеем честь объявить, что наш журнал печатается для многих читателей...»¹⁷.

Позднее пушкинская позиция была несколько скорректирована О. М. Сомовым в «Обзрении российской словесности за вторую половину 1829 и первую 1830 года», вышедшем в альманахе «Северные цветы»: «Но друзья литературы и правды желали видеть другие, более откровенные и беспристрастные суждения о произведениях словесности русской, желали находить мнение о литературе вообще, а не вывески отношений личных; и для сих-то читателей, постигающих истинную цель журнала литературного, издавалась “Литературная газета”»¹⁸. К этой теме впоследствии возвращался и Дельвиг: «Цель нашей газеты не деньги, а литература. Писатели, участвующие в нашем издании, желали, чтобы издавалась газета, в которой бы могли они беспристрастно и нелицеприятно говорить о литературах русской и иностранных, не находя препятствия в коммерческих видах издателя. Как они желали, так и исполнилось»¹⁹.

Тема «литературного аристократизма» неоднократно затрагивалась в статьях, обзорах и рецензиях «Литературной газеты»²⁰. Своего рода программной стала статья «О духе партий; о литературной аристократии» П. А. Вяземского, который подчеркивал, что, хотя дворянство составляет наиболее просвещенный класс в России, «литературная аристократия» формируется вовсе не по сословному признаку. В статье говорилось, что в литературе сражаются «две главные партии» – «литераторы с талантом» и «литераторы бесталанные»: «аристократия дарований» ведет борьбу против «дюжинной пошлости», «вкуса против безвкусыя, изящности против посредственности и ничтожества»²¹.

¹⁶ Северная пчела. 1830. № 6, 14 янв.

¹⁷ Московский телеграф. 1830. Ч. 33, № 9. С. 77.

¹⁸ Северные цветы на 1831 г. СПб., 1830. Отд. «Проза». С. 22.

¹⁹ Литературная газета. 1830. Т. 2, № 56, 3 окт. С. 164.

²⁰ См. также пушкинские заметки в «Опыте отражения некоторых нелитературных обвинений» (1830) – *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: [В 16 т.] [М.; Л.], 1949. Т. 11. С. 172–173.

²¹ Литературная газета. 1830. Т. 1, № 23, 21 апр. С. 182.

Напечатанные в первых номерах газеты пушкинские рецензии на «Юрия Милославского» М. Н. Загоскина, «Историю русского народа» Н. А. Полевого, заметка «<О статьях князя Вяземского>» («Некоторые журналы, обвиненные в неприличности их полемики...») и другие носили завуалированный полемический характер и были направлены против журналистов оппозиционного лагеря. Открытая война с Булгариным на страницах «Литературной газеты» началась после публикации пушкинской статьи, посвященной запискам Видока, написанной в ответ на направленный против Пушкина болгаринский пасквильный «Анекдот» в «Северной пчеле»²².

В Петербурге к литературным противникам писателей пушкинского круга примыкали В. Н. Олин (ок. 1790–1841) и М. А. Бестужев-Рюмин (1798–1832). Олин совместно с В. Я. Никоновым (1802 – не ранее 1834) начал выпускать в 1831 г. малоинтересную газету «Колокольчик»²³, запомнившуюся разве что скандальной рецензией на «Бориса Годунова», в которой новое пушкинское произведение было названо «робячеством» и «школьной шалостью»²⁴. Бестужев-Рюмин издавал в 1829 г. альманах «Северная звезда», с 1830 г. газету «Северный Меркурий», а с 1831 г. – еженедельный воскресный «журнал словесности, мод и театров» «Гирланда», ориентированный на женскую аудиторию²⁵. Все его издания выходили крайне нерегулярно, однако это не мешало Бестужеву-Рюмину вести на их страницах ожесточенную полемику, нередко в развязном и вульгарном тоне, с издателями «Северных цветов» и «Литературной газеты»²⁶. Так, в середине сентября 1830 г. он писал, что «некоторое число писателей, которыми и для которых издается „Литературная газета“, ввело в употребление злейший род журнальной брани, брани аллегорической, и что сии писатели не менее других причастны общему греху, т. е.

²² См.: Северная пчела. 1830. № 30, 11 марта. Подробнее см.: *Гиппиус В. В.* Пушкин в борьбе с Булгариным в 1830–1831 гг. // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1941. [Т.] 6. С. 238–240.

²³ Газета выходила два раза в неделю (по вторникам и пятницам) и за неимением подписчиков прекратила существование на № 69 от 28 августа 1831 г.

²⁴ См.: *Олин В. Н.* «Борис Годунов», сочинение А. Пушкина // Колокольчик. 1831. № 6, 20 янв. С. 23.

²⁵ Газета «Северный Меркурий» и журнал «Гирланда» прекратили существование после смерти М. А. Бестужева-Рюмина в 1832 г.

²⁶ См.: *Вацуро В. Э.* Бестужев-Рюмин М. А. // Русские писатели: 1800—1917: Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 261–262.

говорят хорошее только о самих себе, а дурное вообще о людях, не принадлежащих к их приходу»²⁷.

Пушкин стремился сделать «Литературную газету» общественно-политическим изданием. 2 мая 1830 г. он обращался к Вяземскому: «Дело в том, что чисто литературной газеты у нас быть не может, должно принять в союзницы или моду, или политику. <...> Но неужто Булгарину отдали монополию политических новостей? <...> Неужто нельзя выхлопотать этого дозволения?»²⁸. Однако добиться разрешения помещать в газете политические новости так и не удалось. Одной из причин, несомненно, было то, что «Литературная газета» воспринималась властями как оппозиционное издание. В августе 1830 г. Дельвиг получил строгий выговор за вторичное опубликование фразы «Les aristocrates à la lanterne» («Аристократов на фонарь» – *фр.*)²⁹ в заметке «Новые выходки противу так называемой литературной нашей аристократии...» (№ 45, 9 авг. С. 72), написанной, вероятно, им совместно с Пушкиным. В ответ на эту статью Н. А. Полевой писал в «Московском телеграфе»: «...“Литературная газета” есть последнее усилие жалкого *литературного аристократизма*, и вот вся загадка! <...> Теперь не дают пропуска на Парнас тем, которые лет за десяток называли себя помещиками Парнасскими. <...> Литературный аристократизм довольно шалил у нас. На него нападали и всегда будет нападать “Телеграф”»³⁰.

Выход «Литературной газеты» был приостановлен на № 64 (12 ноября 1830 г.), после того как в № 61 (28 октября) появилось четверостишие из стихотворения, написанного французским поэтом Казимиром Делавином (Delavigne; 1793–1843) для памятника жертвам Июльской революции, который предполагалось воздвигнуть в Париже³¹. Начальник III Отделения Бенкендорф грозился, «что он троих друзей – Дельвига, Пушкина и Вяземского уже упрячет, если не теперь, то вскоре, в Сибирь»³².

²⁷ Северный Меркурий. 1830. № 112, 17 сент. С. 136. См. также упреки «Литературной газете» в других номерах газеты Бестужева-Рюмина за 1830 г. – № 96, 11 авг.; № 98, 15 авг.; № 136, 12 нояб., № 137, 14 нояб. и др.

²⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1941. Т. 14. С. 87.

²⁹ Строка из французской революционной песни «Ah! ça ira...» («Ах! пойдут дела на лад...»), появившейся летом 1790 г. к годовщине взятия Бастилии.

³⁰ Московский телеграф. 1830. Ч. 34, № 14. С. 242–243.

³¹ Подробнее см.: Томашевский Б. В. А. А. Дельвиг // Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1959. С. 37–41 (Б-ка поэта; Большая серия).

³² Дельвиг А. И. Из «Моих воспоминаний» // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 129.

Дельви́г в ноябре 1830 г. писал Пушкину в Болдино: «“Литературная газета” выгоды не принесла и притом запрещена за то, что в ней напечатаны были новые стихи Делавиня. Люди, истинно привязанные к своему государю и чистые совестью, ничего не ищут и никому не кланяются, думая, что чувства верноподданические их и совесть защитят их во всяком случае. Неправда, подлецы в это время хлопочут из корыстолюбия марать честных и выезжают на своих мерзостях. Булгарин верным подданным является, ему выпрашивают награды за пасквили, достойные примерного наказания, а я слышу карбонарием...»³³. После настойчивых просьб В. А. Жуковского и Д. Н. Блудова издание газеты удалось возобновить, но формальным редактором ее стал уже Сомов. Однако «Литературная газета» переживала не лучшие свои времена. Пушкин, Вяземский, Плетнев были обеспокоены этим. В письме от 13 января 1831 г. Пушкин интересовался у Плетнева: «Что Газета наша? надобно нам об ней подумать. Под конец она была очень вяла; иначе и быть нельзя: в ней отражается русская литература. В ней говорили под конец об одном Булгарине; так и быть должно: в России пишет один Булгарин»³⁴. Вяземский, обращаясь к Пушкину 14 января 1831 г., призывал его придумать что-нибудь, «чтобы вырвать литературу нашу из рук Булгарина и Полевого»³⁵. После смерти Дельвига³⁶ «Литературная газета» продолжала испытывать трудности. Когда ее тираж снизился до 100 экземпляров, Сомов прекратил издание: последний номер (№ 37, 30 июня) вышел в свет 5 июля 1831 г.

«В июле, к общему сожалению, кончила земное поприще свое “Литературная газета”, отличавшаяся стихотворениями Пушкина, Хомякова, Деларю, Трилунного и Якубовича; оригинальными русскими повестями и дельными, остроумными статьями полемическими», – сообщалось в «Литературных прибавлениях к “Русскому инвалиду»»³⁷. Эту газету в 1831 г. начал издавать в Петербурге (вместо журнала «Славянин») А. Ф. Воейков (1778 или 1779 – 1839)³⁸. В ней участвовали как сотрудники изданий 1810-х – начала 1820-х гг. (Я. И. Сабуров, П. В. Сушков, В. К. Бриммер и др.),

³³ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 124.

³⁴ Там же. С. 143.

³⁵ Там же. С. 144.

³⁶ А. А. Дельви́г умер 14 (26) января 1831 г.

³⁷ «Литературные прибавления к “Русскому инвалиду”». 1831. № 90, 11 нояб. С. 705.

³⁸ Газета выходила в 1831–1836 гг. два раза в неделю, с 1837 г., когда ее издателем стал А. А. Плюшар, а редактором – А. А. Краевский, – еженедельно. После смерти Воейкова в 1839 г. газета перешла в собственность Краевского, который преобразовал ее в «Литературную газету».

так и молодые, впоследствии получившие некоторую известность, литераторы (В. И. Карлгоф, А. А. Башилов, Л. В. Брант, И. Е. Гогниев, А. И. Емичев, А. М. Зиллов, и др.); сюда перешли участники «Литературной газеты» (В. Н. Щастный, Л. А. Якубович, А. П. Крюков и др.) и «Северного Меркурия» (Я. А. Драгоманов, Ф. Ф. Дьячков). В состав «Литературных прибавлений» входили следующие разделы: «Пересмешник» (в некоторых номерах «Плакса»), предназначенный для сатирических обзоров и полемики, его основным автором, выступавшим под разными псевдонимами (А. Кораблинский, Побрякушкин, Невердинский, Феоктист Нагайкин, Ксенократ Луговой и др.), был сам Воейков; «Словесность» (преимущественно переводная литература); «Критика» (название неоднократно менялось: «Литературные заметки», «Библиография», «Новые книги»); «Стихотворения» (печатались произведения Пушкина, Жуковского, Дельвига, Н. М. Языкова, Ф. Н. Глинки, Е. Ф. Розена и др.); «Моды»; «Всякая всячина» («Смесь»). Воейков поддерживал издания Пушкина и Дельвига («Северные цветы», «Литературную газету», «Современник»)³⁹. По воспоминаниям А. И. Дельвига, «кружок лучших тогдашних литераторов держал его при себе на привязи, чтобы в известных случаях, как цепную собаку, выпустить на противную литературную партию»⁴⁰. Журнальными противниками Воейкова были братья Полевые («Московский телеграф»), Булгарин и Греч («Северная пчела», «Сын отечества»), М. А. Бестужев-Рюмин («Северный Меркурий»), в 1830-е гг. появились новые – Н. И. Надеждин и В. Г. Белинский («Телескоп» и «Молва»), О. И. Сенковский («Библиотека для чтения»).

В Москве в 1831 г. впервые в самостоятельной роли издателя «журнала современного просвещения» «Телескоп»⁴¹ и бесплатного к нему приложения – газеты «мод и новостей» «Молва»⁴² (оба – 1831–1836) – выступил профессор Московского университета, сотрудничавший ранее в «Вестнике Европы», Н. И. Надеждин (1804–1856); в связи с его отъездом за границу с июня до середины декабря 1835 г. издания временно руководил В. Г. Белинский. В первое время в «Телескопе» и «Молве»

³⁹ Подробнее см.: *Станько А. И.* Русские газеты первой половины XIX века. Ростов н/Д., 1969. С. 49–56, 74–79, 148–150.

⁴⁰ *Дельвиг А. И.* Полвека русской жизни: Воспоминания: 1820–1870: В 2 т. М.; Л., 1930. Т. 1. С. 69–70.

⁴¹ «Телескоп» выходил два раза в месяц, в 1834 г. – еженедельно; из-за цензурных вмешательств номера часто появлялись с большой задержкой.

⁴² В 1831 г. «Молва» называлась «журналом мод и новостей»; в 1831 и 1834–1836 гг. выходила еженедельно, в 1832 г. – два раза в неделю, в 1833 г. – три раза в неделю.

участвовали в основном московские авторы, связанные с «Московским вестником», «Атенеум» и «Галатеей»: М. П. Погодин, С. П. Шевырев, В. П. Андросов, Н. А. Мельгунов, М. А. Максимович, Д. П. Ознобишин, Н. Ф. Павлов, А. И. Полежаев, Д. Ю. Струйский, Н. М. Языков, А. С. Хомяков и др. «Телескоп» познакомил читателей со стихами К. С. Аксакова, В. И. Красова и А. В. Кольцова, сочинениями И. И. Лажечникова и Г. С. Сковороды, переводами И. А. Гончарова и Н. П. Огарева, критическими статьями В. Г. Белинского. В первый год выхода «Телескопа» отношения Пушкина и Надеждина благодаря посредничеству Погодина несколько наладились⁴³; поэт отдал для публикации в журнале стихотворение «Герой»⁴⁴ и антибулгаринские памфлеты «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем»⁴⁵. В последние годы существования «Телескопа» и «Молвы» Белинский привлек к сотрудничеству в этих изданиях молодое поколение литераторов – Н. В. Станкевича, К. С. Аксакова, М. А. Бакунина, А. И. Герцена, В. П. Боткина, И. И. Панаева, В. И. Красова, П. Н. Кудрявцева и др.⁴⁶; некоторые из них (Аксаков, Красов, Бакунин, Боткин), включая самого Белинского, входили в возникший в Московском университете в 1831 г. литературно-философский кружок молодежи, группировавшейся вокруг Станкевича⁴⁷.

«Телескоп» довольно быстро стал одним из самых популярных (после «Московского телеграфа») журналов начала 1830-х гг. Он состоял из следующих отделов: «Изящная словесность» с двумя подразделами («Стихотворения» и «Проза»),

⁴³ До этого их отношения были резко негативными: в 1829 г. Надеждин опубликовал в «Вестнике Европы» разгромные отзывы о поэмах «Граф Нулин» (1825) и «Полтава» (1828), на что крайне раздраженный Пушкин ответил серией эпиграмм – «Мальчишка Фебу гимн поднес...», «Как сатирой безымянной...», «Седой Свистов! ты царствовал со славой...» и еще несколькими, оставшимися незавершенными или неопубликованными (все – 1829).

⁴⁴ См.: Телескоп. 1831. Ч. 1, № 1. С. 46–48.

⁴⁵ См.: Там же. Ч. 4, № 13. С. 135–144; № 15. С. 412–418.

⁴⁶ См.: *Наволоцкая Н. И.* Библиографическое описание журнала «Телескоп» (1831–1836). М., 1985. Ч. 1–2.

⁴⁷ Позднее К. С. Аксаков вспоминал: «В этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир – воззрение большею частью отрицательное. Искусственность российского классического патриотизма, претензии, наполнявшие нашу литературу, усилившаяся фабрикация стихов, неискренность печатного лиризма – все это породило справедливое желание простоты и искренности, породило сильное нападение на всякую фразу и эффект; и то и другое высказалось в кружке Станкевича, быть может, впервые как мнение целого общества людей» (*Аксаков К. С.* Воспоминание студентства 1832–1835 годов. СПб., 1911. С. 17–18).

«Науки» («Науки и искусства»), «Критика», «Современные летописи», «Нравы» («Сцены из общественной и частной жизни»), «Смесь»⁴⁸. В главном отделе журнала публиковались естественно-научные и философские статьи или рецензии на научные сочинения; его активными участниками были М. П. Погодин, А. Х. Востоков, М. Г. Павлов, М. А. Максимович и др.⁴⁹ В «Молве» печатались фельетоны, хроника, театральные рецензии, модные картинки; в последние годы газета стала критико-библиографическим отделом журнала.

Позиция «Телескопа» определялась Надеждиным, который был «одухотворен стремлением нащупать под покровом всемирного духа, Промысла, реальные связи и закономерности»⁵⁰ и враждебно относился к революционным идеям. На страницах журнала обсуждались вопросы просвещения и воспитания, государственного устройства, философии, истории, эстетики и др.; много внимания уделялось проблеме народности искусства и критике романтизма за отсутствие «должного внимания к вещественным условиям форм»⁵¹. Издатель стал и самым активным автором, опубликовавшим в своем журнале (преимущественно анонимно или под псевдонимом Никодим Надоумко) более полутора сотен статей. Литературных противников у «Телескопа» было немало – «Северная пчела» Булгарина и «Сын отечества» Греча, которых Надеждин постоянно критиковал как представителей «торгового» направления⁵²; «Московский телеграф» Полевого, выступавшего против Надеждина еще со времен «Вестника Европы»; позднее, в 1835 г., к ним примкнул «Московский наблюдатель», отстаивающий «светскость» и «аристократизм» искусства в противоположность отвлеченной философичности «Телескопа».

В 1832 г. Пушкин прекратил участие в журнале, поскольку его не устраивала

⁴⁸ В разные годы состав отделов варьировался.

⁴⁹ См.: *Мордовченко Н. И.* Н. И. Надеждин. «Телескоп» и «Молва» // Очерки по истории русской журналистики и критики. Т. 1. С. 353–355.

⁵⁰ *Манн Ю. В.* Русская философская эстетика. М., 1969. С. 52.

⁵¹ Подробнее об эстетической позиции Надеждина см.: *Ларионова Е. О.* Литературная критика эпохи Золотого века // Наст. изд. С. 000–000. См. также: *Морозов В. Д.* Н. И. Надеждин и романтизм // Морозов В. Д. Очерки по истории русской критики второй половины 20–30-х годов XIX века. Томск, 1979. С. 184–270; *Каменский З. А.* Н. И. Надеждин: Очерк философских и эстетических взглядов: (1828–1836). М., 1984.

⁵² К нему в 1830-е гг. относили издания Ф. В. Булгарина, Н. И. Греча и О. И. Сенковского, которые ориентировались на непритязательного читателя и коммерческий успех, а также отличались беспринципностью в журнальной борьбе с конкурентами.

«опрометчивость <...> суждений» в критических статьях издателя «Телескопа»; 11 июля он писал М. П. Погодину: «Надеждин волен находить мои стихи дурными, но сравнивать меня с плутом, есть с его стороны свинство. Как после этого порядочному человеку связываться с этим народом?»⁵³ С течением времени изменилось отношение к Надеждину и у В. Г. Белинского. Позднее в письме к К. С. Аксакову он резко высказался о «недобросовестности» Надеждина как критика, заметив, что «только глупое состояние нашей журналистики до 31 года помогло этому человеку составить себе какой-то авторитет»⁵⁴.

В пятнадцатой книжке «Телескопа» за 1836 г. Надеждин напечатал без подписи «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева⁵⁵, намереваясь вступить с ним в полемику и тем самым привлечь к журналу читателей. Оно сопровождалось довольно смелым примечанием издателя: «Письма эти писаны одним из наших соотечественников. Ряд их составляет целое, проникнутое одним духом, развивающее одну главную мысль. Возвышенность предмета, глубина и обширность взглядов, строгая последовательность выводов и энергическая искренность выражения дают им особенное право на внимание мыслящих читателей. <...> Мы с удовольствием извещаем читателей, что имеем дозволение украсить наш журнал и другими из этого рода писем»⁵⁶. Однако дальнейшей публикации писем Чаадаева не произошло, так как «Телескоп» и «Молву» сразу же запретили, цензора А. В. Болдырева отправили в отставку, а Надеждина – в ссылку⁵⁷. Все это было сделано в соответствии с высочайшим решением Николая I, вынесенным 30 ноября 1836 г.: «Чаадаева продолжать считать умалишенным и как за таковым иметь медико-полицейский надзор; Надеждина выслать на жительство в Усть-Сысольск под присмотр полиции, а Болдырева отставить за нерадение от службы; <...>. Г. Строганову велеть на его строгой ответственности избрать надежного цензора»⁵⁸.

⁵³ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1948. Т. 15. С. 27, 28.

⁵⁴ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 11. С. 131 (письмо от 21 июня 1837 г.).

⁵⁵ См.: Телескоп. 1836. Ч. 34, № 15. С. 275–310.

⁵⁶ Там же. С. 275.

⁵⁷ В 1838 г. Надеждин вернулся из ссылки в Петербург и вскоре уехал в Одессу, где стал одним из основных деятелей вновь образованного «Одесского общества любителей истории и древностей». В 1842 г. он переехал в Петербург, а с 1843 г. до конца дней был редактором «Журнала Министерства внутренних дел» (1829–1861).

⁵⁸ Цит. по: Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. С. 447.

Заметный след в истории русской журналистики 1830-х гг., несмотря на свое недолгое существование, оставили издававшиеся в Москве альманах «Денница» М. А. Максимовича и журнал «Европеец» И. В. Киреевского.

М. А. Максимович (1804–1873), выпустивший три книжки «Денницы» (в 1830, 1831 и 1834 гг.⁵⁹), по своим критическим и эстетическим воззрениям был в этот период близок к писателям пушкинского круга: он отделился от «Московского телеграфа», в котором публиковал статьи и рецензии, будучи в приятельских отношениях с братьями Полевыми, начал сотрудничать с «Литературной газетой», принял участие в полемике с «Северной пчелой». В альманахе Максимовича печатались лучшие литераторы Москвы и Петербурга: «любомудры», ранее связанные с «Московским вестником» (М. П. Погодин, С. П. Шевырев, Н. А. Мельгунов, П. В. и И. В. Киреевские, Д. П. Ознобишин, В. Ф. Одоевский и др.), и постоянные авторы «Литературной газеты» (Пушкин, А. А. Дельвиг, П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский, О. М. Сомов и др.).

Важным литературным событием стала вышедшая 9 января 1830 г. первая книжка альманаха «Денница»⁶⁰, которую открывало «Обозрение русской словесности 1829 года» И. В. Киреевского (1806–1856), обозначившего три «эпохи» развития русской литературы XIX века. По мнению критика, на смену господствовавшим «французскому филантропизму» Н. М. Карамзина и «немецкому идеализму» В. А. Жуковского приходит творчество Пушкина, выраженное в «стремлении воплотить поэзию в действительности»⁶¹. Высоко оценив пушкинскую «Полтаву», Киреевский охарактеризовал появившиеся в 1829 г. произведения современных литераторов (В. А. Жуковского, С. П. Шевырева, А. С. Хомякова, Д. В. Веневитинова, А. А. Дельвига, Е. А. Баратынского, А. Г. Ротчева и др.) и резко высказался об «Иване Выжигине» Булгарина: «Пустота, безвкусице, бездушность; нравственные сентенции, выбранные из детских прописей, неверность описаний, приторность шуток, – вот качества сего сочинения, качества, которые составляют его достоинство, ибо они делают его по плечу простому народу...»⁶². Киреевский также отметил, что в 1829 г. ««Телеграф» был богаче других хорошими, дельными статьями и более других передавал

⁵⁹ Альманах прекратил существование после переезда М. А. Максимовича в Киев в 1834 г.

⁶⁰ См.: Пушкин в печати. 1814–1837: Хронологический указатель произведений Пушкина, напечатанных при его жизни / Сост. Н. Синявский и М. Цявловский. 2-е изд., испр. М., 1938. С. 74.

⁶¹ Денница, альманах на 1830 год. М., 1830. С. XXXIV.

⁶² Там же. С. LXXIII–LXXIV.

нам любопытного из журналов иностранных; “Северная пчела” была свежее других политическими новостями; “Атеней” менее других участвовал в неприличных полемиках; “Славянин” неприличность брани усилил до поэзии», а «Северные цветы» назвал «лучшим из всех альманахов»⁶³. Против «Денницы» и прежде всего обзора Киреевского, выступил Булгарин: «Опять альманах, и опять обозрение русской словесности! Снова явился строгий судья с решительными приговорами, с теориями, определениями, с лавровыми венцами для друзей и родственников, с тяжелым орудием для противников друзей его и родственников»⁶⁴. В тот же день он написал А. Х. Бенкендорфу донос, сопроводив его выпиской из отзыва молодого критика об «Иване Выжигине» и жалобами на то, что он «преследуем в литературной и гражданской жизни литературными партиями и сонмом злоупотребителей» и подвергается «в журналах жесточайшей брани»⁶⁵.

Пушкин поддержал Киреевского, опубликовав в восьмом номере «Литературной газеты» рецензию на альманах «Денница»⁶⁶, в которой он уделил основное внимание его «замечательнейшей статье» – «Обозрению»⁶⁷. В ответ на сентенцию молодого критика («у нас еще нет литературы») Пушкин заметил, «что там, где двадцатитрехлетний критик мог написать столь занимательное, столь красноречивое “Обозрение словесности”, там есть словесность – и время зрелости оной <...> недалеко»⁶⁸. Однако уже 11 февраля к нападкам Булгарина присоединился «Московский телеграф»: Кс. А. Полевой раскритиковал все наиболее важные суждения Киреевского. В частности, отрицая влияние Жуковского и Пушкина на развитие русской словесности, он заявил, что «после Карамзина у нас не было уже ни одного писателя, увлекавшего за собою всю литературу и с нею публику»⁶⁹. Не преминул он высказаться и по поводу «литературной аристократии», о которой упомянул Киреевский: «У людей знатных, с весьма немногими исключениями, литература всегда останется делом посторонним: они заняты своим

⁶³ Там же. С. LXXVI, LXXVII.

⁶⁴ Северная пчела. 1830. № 11, 25 янв.

⁶⁵ Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение / Публ., сост., предисл. и коммент. А. И. Рейтблата. М., 1998. С. 381.

⁶⁶ См.: Литературная газета. 1830. Т. 1. № 8, 5 февр. С. 62–66 (отдел «Библиография»; без подписи).

⁶⁷ Там же. С. 62.

⁶⁸ Там же. С. 66.

⁶⁹ Полевой Кс. А. Взгляд на два обозрения русской словесности 1829 года, помещенные в «Деннице» и «Северных цветах» // Московский телеграф. 1830. Ч. 31, № 2. С. 209 (с подписью: Кс. П.).

честолюбием, своею службою, своими отношениями. <...> Напротив, для низших классов литература есть та стихия, которою они сближаются с человечеством. Она просветит их ум, образует их чувства и покажет им обязанности их к Богу, к царю, к отечеству»⁷⁰.

Во второй книжке «Денницы» в «Обзрении русской словесности 1830 года» М. А. Максимович продолжил полемику с «Московским телеграфом» и Булгариным, отдав явное предпочтение выходящей в этом году «Литературной газете». Однако он отметил и «недостаток той быстроты в движении, того разнообразия, которые составляют главный интерес всякой газеты», а также признался, что хотя «в газете приняли главное участие люди не только одаренные талантами, но просвещенные и образованные, мы ждали от нее больше, чем нашли»⁷¹. Откликаясь на этот отзыв, Вяземский писал Максимовичу 23 января 1831 г.: «Обвиняйте “Газету” в бледности, в безжизненности, о том ни слова: я стою не за нее и нахожу, что во многом вы справедливы. Но мне жаль видеть, что и вы тянете туда же и говорите о знаменитостях, об аристократии. Оставьте это “Северной пчеле” и “Телеграфу”, – у них свой argot, что называется, свой воровской язык; но не принадлежащему шайке их неприлично марать свой рот их грязными поговорками»⁷².

В 1832 г. И. В. Киреевский начал издавать в Москве «журнал наук и словесности» «Европеец» с намерением выпускать в год 24 книжки. Однако после первых двух по личному распоряжению Николая I «Европеец» был закрыт⁷³.

О целях журнала Киреевский сообщал в письме к В. А. Жуковскому от 6 октября 1831 г.⁷⁴: «Выписывая все лучшие неполитические журналы на трех языках, вникая в самые замечательные сочинения первых писателей теперешнего времени, я из своего кабинета сделал бы себе аудиторию европейского университета, и мой журнал <...> был бы полезен тем, кто сами не имеют времени или средств брать уроки из первых рук. Русская литература вошла бы в него только как дополнение к европейской, и с каким наслаждением мог бы я говорить об Вас, о Пушкине, о Баратынском, об Вяземском, об Крылове, о Карамзине на страницах, не запачканных именем Булгарина...»⁷⁵. В середине

⁷⁰ Там же. С. 229.

⁷¹ Денница, альманах на 1831 год. М., 1831. С. XL–XLI.

⁷² Записки Императорской Академии наук. 1880. Т. 36. С. 203.

⁷³ К этому моменту успели выпустить также небольшую часть тиража третьей книжки.

⁷⁴ Дата почтового штемпеля.

⁷⁵ Киреевский И. В. Полн. собр. соч.: В 2 т. М., 1911. Т. 2. С. 224.

октября, узнав, вероятно, от Жуковского о новом журнале, Пушкин обращался к Вяземскому: ««Похлопочи о “Сев<ерных> цв<етах>”, пришли нам своих стихов и проз, да у Языкова нет ли чего? я слышу, они с Киреевским затевают журнал; с богом! Да будут ли моды? важный вопрос. По крайней мере можно будет нам где-нибудь показаться – да и Косичкин этому рад. А то куда принужден он был приютиться! в “Телескоп”! легко сказать»⁷⁶. В ответном письме Вяземский сообщал Пушкину 22 октября 1831 г.: «Мы на днях окрестили в шампанском “Европейца”»⁷⁷.

По замыслу Киреевского, журнал должен был продолжить дело «Литературной газеты», издание которой к этому времени прекратилось. Получив 23 октября разрешение на выпуск «Европейца»⁷⁸, Киреевский на следующий день писал Пушкину: «Вчера получил я разрешение издавать с будущего 1832 года журнал и спешу рекомендовать Вам его как рекрута, который горит нетерпением служить и воевать под Вашим предводительством; как девушку, еще невинную, которая <...> хочет принадлежать Вам душой и телом; как духовную особу, которая просит вас утвердить ее в чине пастыря над стадом словесных животных, и, наконец, рекомендую вам журнал мой, как *Европейца*, — потому, что его так зовут. Я назвал его так не от того, разумеется, чтобы надеялся сделать его европейским по достоинству (я не знаю еще, сколько могу надеяться на Ваше участие); но потому, что предполагаю наполнить его статьями, относящимися больше до Европы вообще, чем до России. Однако если когда-нибудь Феофилакт Косичкин захочет сделать честь моему журналу: высечь в нем Булгарина, то, разумеется, в этом случае Булгарин будет Европа в полном смысле [этого] слова.

Журнал мой будет состоять из пяти отделений: 1-е. Науки, где главное место займет философия; 2-е. Изящная словесность; 3. Биографии знаменитых современников; 4. Разборы иност<ранных> и рус<ских> книг, критика и пр.; 5. Смесь. Каждый месяц будут выходить 2 книжки. Первая явится к Вам около <...> 1 января»⁷⁹. 18 ноября 1831 г. Пушкин в письме к Н. М. Языкову поздравлял «всю братию с рождением Европейца» и выражал готовность со своей стороны «служить <...> чем угодно, прозой и стихами, по совести и против совести»⁸⁰. Еще до выхода журнала М. П. Погодин

⁷⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 233.

⁷⁷ Цит. по: Сандомирская В. Б. Неопубликованное письмо П. А. Вяземского к Пушкину // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 430.

⁷⁸ См.: Фризман Л. Г. Иван Киреевский и его журнал «Европеец» // Европеец: Журнал И. В. Киреевского: 1832. М., 1989. С. 422–423 (Сер. «Литературные памятники»).

⁷⁹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 238.

⁸⁰ Там же. С. 240.

сообщал С. П. Шевыреву: «Киреевский издает “Европейца”. Все аристократы у него...»⁸¹. В журнале, кроме самого Киреевского, деятельное участие приняли В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Н. М. Языков, А. С. Хомяков; в следующие номера прислали материалы Пушкин (фрагмент из «Домика в Коломне»), В. Ф. Одоевский, О. М. Сомов, А. И. Полежаев, Е. Ф. Розен.

Первая книжка «Европейца»⁸² открывалась программной статьей Киреевского «Девятнадцатый век»⁸³, в которой одной из основных тем стал подробный анализ европейского просвещения. После выхода этой статьи А. Х. Бенкендорф обращался к министру народного просвещения К. А. Ливену: «Государь император, прочитав в № 1 издаваемого в Москве Иваном Киреевским журнала под названием “Европеец” статью “Девятнадцатый век”, изволил обратить на оную особое свое внимание. Его величество изволил найти, что вся статья сия есть не что иное, как рассуждение о высшей политике, хотя в начале оной сочинитель и утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. Но стоит обратить только некоторое внимание, чтоб видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, понимает совсем иное, что под словом *просвещение* он понимает *свободу*, что *деятельность разума* означает у него *революцию*, а *искусно отысканная середина* не что иное, как *конституцию*»⁸⁴. 22 февраля 1832 г. Московский цензурный комитет принял решение «г. Киреевского известить <...> о воспрещении его журнала»⁸⁵. Заступиться за «Европейца», но безуспешно, попытались В. А. Жуковский⁸⁶ и П. А. Вяземский. Последний в первой половине февраля обратился к шефу корпуса жандармов А. Х. Бенкендорфу: «Я знаю лично редактора журнала: это молодой человек, нравственность, чувства и принципы которого достойны уважения <...>. Он мне часто говорил о своих журнальных планах, и никогда никакие политические виды, никакая скрытая цель не толкали его на это предприятие. <...> Запрещение журнала является покушением на собственность. Издание журнала влечет за собой неизбежные затраты; редактор несет ответственность перед подписчиками, которые заплатили деньги вперед в силу имеющегося, так сказать, контракта между ними и редактором. При запрещении

⁸¹ Русский архив. 1882. Кн. 3, № 6. С. 191 (письмо от 21 декабря 1831 г.).

⁸² Вышла в свет 7 января 1832 г. (см.: Летопись жизни и творчества Е. А. Баратынского / Сост. А. М. Песков. М., 1998. С. 283).

⁸³ Окончание статьи напечатано в третьем номере «Европейца».

⁸⁴ Цит. по: Фризман Л. Г. Иван Киреевский и его журнал «Европеец». С. 428.

⁸⁵ Там же. С. 438.

⁸⁶ Текст писем Жуковского см.: Гиллельсон М. И. Письма Жуковского о запрещении «Европейца» // Русская литература. 1965. № 4. С. 114–124.

журнала редактор теряет капитал, который он пустил в оборот, и не выполняет свои обязательства по отношению к подписчикам, которые внесли ему свои деньги. Публика не всегда может быть осведомлена о запрещении журнала правительством и может обвинять редактора в непорядочности и нечестном ведении дел. <...> Принимая во внимание малое количество наших писателей и недостаток движения нашей литературы, в то время как число читателей увеличивается и потребность в чтении растет все более и более, всякое покушение на право опубликования своих мыслей соответственно с существующим законом является весьма чувствительным покушением, имеющим далеко идущие последствия, и результат его совершенно противоположен результату, к которому стремится правительство, т. е. успокоению умов и предупреждению злоупотреблений. Всякое запрещение газеты, журнала, который читался бы лишь определенным кругом читателей, становится делом, занимающим всех, и предметом общих разговоров. <...> Наши литераторы, как и публика вообще, полагают, что наша цензура очень строга, что цензоры чрезвычайно трусливы и мелочны и, следовательно, всякая мера, принятая правительством и усугубляющая строгость цензуры, носит характер пристрастия. <...> В этом случае, в частности, все те читатели данного журнала, с которыми мне случилось беседовать, отнюдь не разделяют того впечатления, которое этот журнал произвел на правительство, считают этот журнал совершенно безвредным и приписывают досадное истолкование статей, в нем содержащихся, какому-либо злонамеренному обвинению лично автора его врагами, которых он приобрел, опубликовав несколько лет тому назад весьма резкие критические статьи против некоторых наших журналистов»⁸⁷. Пушкин, как и многие другие, не сомневался, что закрытие журнала Киреевского произошло «вследствие доноса»⁸⁸. Уже в советское время Л. Г. Фризман опубликовал этот донос, написанный неизвестным лицом; в нем, в частности, говорилось: «Журнал “Европеец” издается с целью распространения духа свободомыслия. Само по себе разумеется, что свобода проповедуется здесь в виде философии, по примеру германских демагогов Яна, Окена, Шеллинга и других <...>. Цель сей философии есть не та, чтоб доказать, что род человеческий должен стремиться к совершенству и подчиняться одному разуму, а как действие разума есть закон, то и

⁸⁷ Цит. по: *Гиллельсон М. И.* Неизвестные публицистические выступления П. А. Вяземского и И. В. Киреевского // *Русская литература.* 1966. № 4. С. 121–123.

⁸⁸ *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 15. С. 12 (письмо к И. И. Дмитриеву от 14 февраля 1832 г.).

должно стремиться к усовершенствованию *правлений*»⁸⁹. Е. А. Баратынский, один из ближайших друзей Киреевского, писал ему: «Запрещение твоего журнала просто наводит на меня хандру и, судя по письму твоему, и на тебя навело меланхолию. Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным»⁹⁰.

Закрытие «Европейца» повлекло за собой ужесточение политики в отношении даже лояльных государству изданий. Так, 9 февраля 1832 г. Бенкендорф вновь обращался к Ливену: «Рассматривая журналы, издаваемые в Москве, я неоднократно имел случай заметить расположение издателей оных к идеям самого вредного либерализма. <...> Особенно обратили мое внимание журналы “Телескоп” и “Телеграф”, издаваемые Надеждиным и Полевым. В журналах их часто помещаются статьи, писанные в духе весьма недобронамеренном и которые, особенно при нынешних обстоятельствах, могут поселить вредные понятия в умах молодых людей <...>. О таких замечаниях я счел долгом сообщить Вашей светлости и обратить особенное Ваше внимание на непозволительное послабление московских цензоров, которые, судя по пропускаемым ими статьям, или вовсе не пекутся об исполнении своих обязанностей, или не имеют нужных для сего способностей»⁹¹.

Новый этап – середина 1830-х гг. – связан с появлением разных по направлению журналов («Библиотека для чтения», «Московский наблюдатель» и «Современник»), заметно повлиявших на литературную жизнь Петербурга и Москвы.

Своего рода предысторией «Библиотеки для чтения» стало появление в феврале 1833 г. альманаха «Новоселье», выпущенного книгопродавцем и издателем А. Ф. Смирдиным (1795–1857), который сообщал в предисловии: «Заглавие книги само по себе уже обязывает меня сказать несколько слов о сем издании. Простой случай – перемещение книжного магазина моего на Невский проспект (19 февраля 1832 <г.>) – доставил мне счастье видеть у себя на новоселье почти всех известных литераторов. <...> Гости-литераторы из особенной благосклонности ко мне вызвались, по предложению Василия Андреевича Жуковского, подарить меня на новоселье каждый своим произведением, и вот дары, коих часть издаю ныне»⁹². В альманахе были

⁸⁹ Цит. по: *Фризман Л. Г.* Иван Киреевский и его журнал «Европеец». С. 431.

⁹⁰ *Летопись жизни и творчества Е. А. Баратынского* / Сост. А. М. Песков. М., 1998. С. 292 (письмо от 14 марта 1832 г.).

⁹¹ *Лемке М. К.* Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. С. 74.

⁹² *Новоселье*. СПб., 1833. С. V–VII.

напечатаны сочинения Е. А. Баратынского, П. А. Вяземского, Н. И. Гнедича, В. А. Жуковского, И. И. Козлова, И. А. Крылова, М. П. Погодина, Е. Ф. Розена, Д. И. Хвостова, О. М. Сомова, Ф. В. Булгарина, Н. И. Греча, В. И. Даля, К. П. Масальского, А. И. Михайловского-Данилевского, В. И. Панаева, А. С. Шишкова, Б. М. Федорова. Самым активным участником стал ученый-востоковед и прозаик О. И. Сенковский (1800–1858): кроме повести «Незнакомка» (за подписью: Барон Брамбеус), которой открывалось «Новоселье», опубликованы еще два его прозаических материала – восточная повесть «Антар» и фельетон «Большой выход у Сатаны»; Пушкин отдал Смирдину «Домик в Коломне», написанный в 1830 г. в Болдине.

В следующем, 1834 г., вышла вторая часть альманаха «Новоселье», но главным событием года стало новое совместное издание Смирдина и Сенковского – «Библиотека для чтения» (1834–1865)⁹³ Став с самого начала фактически единоличным редактором⁹⁴ этого петербургского ежемесячного «журнала словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод», Сенковский сумел сделать его универсальным и энциклопедичным.

Программа «Библиотеки для чтения» была заявлена в ее первом номере: «Журнал, <...> имеющий предметом одну лишь общую пользу читателей, остается совершенно чуждым всякого духа партий и не принадлежит ни к какой исключительно литературной касте. Все благонамеренные и прилично изложенные мнения находят в нем открытое для себя поприще. <...> “Библиотека для чтения” не входит в споры ни с какими иными журналами, не отвечает ни на какие выходки и критики и не принимает никаких антикритик»⁹⁵. Намерение журнала объединить всех современных русских литераторов подтверждал опубликованный на обложке первого номера список, в который вошло около шестидесяти имен писателей, заявивших о готовности сотрудничать с «Библиотекой для чтения». Участие в журнале стало для авторов коммерческим на регулярной основе: в журнале была введена фиксированная полистная оплата – 200 рублей ассигнациями за лист оригинального материала и 75 рублей за лист перевода;

⁹³ «Библиотека для чтения» выходила один раз в месяц, а в последний год – два раза в месяц.

⁹⁴ В 1834 г. формальным соредактором Сенковского был Н. И. Греч, с января по май 1835 г. – И. А. Крылов, с мая до конца года – Е. Ф. Корш; в 1836 г. Сенковский стал официальным редактором журнала.

⁹⁵ Библиотека для чтения. 1834. Т. 1, № 1.оборот обложки.

писателям с именем платили гораздо больше (по 1000 рублей только за право внести их имена в список сотрудников)⁹⁶.

Пушкин в первые два года (до появления собственного журнала), заключив соглашение со Смирдиным, напечатал в «Библиотеке для чтения» «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказку о рыбаке и рыбке» (обе – 1833), переводы баллад А. Мицкевича «Будрыс и его сыновья» и «Воевода» (оба – 1833), стихотворения «Красавица» («Все в ней гармония, все диво...», 1832) и «Гусар» (1833), вольные переводы «Подражания древним» («Из Ксенофана Колофонского») и «(Из Афенея)», оба – 1832), вступление к поэме «Медный всадник» (1833), «Пиковую даму» (1833) и др.

Вскоре «Библиотека для чтения», ориентировавшаяся на массового читателя, т. е. на средний класс населения (мелкопоместное дворянство, чиновничество, городское мещанство), стала популярной. И. И. Панаев вспоминал, что журнал имел большой успех и стал «хорошим коммерческим предприятием»: «Пять тысяч подписчиков – какая приятная цифра! О роскоши, с которою жил редактор “Библиотеки”, носились тогда преувеличенные, чуть не баснословные слухи...»⁹⁷

Редактор «Библиотеки» умело наполнял семь отделов, традиционных для журналов того времени: «Русская словесность: Стихотворения. Проза», «Иностранная словесность», «Науки и художества», «Промышленность и сельское хозяйство», «Критика», «Литературная летопись», «Смесь». В отделе «Науки и художества» в популярной и занимательной форме печатались технические, экономические, естественнонаучные и другие статьи иностранных авторов, в основном повествующие о новейших достижениях в разных областях науки и техники. Практические рекомендации и советы по использованию новых сельскохозяйственных инструментов, приготовлению продуктов, уходу за скотом и т. п. помещались в отделе «Промышленность и сельское хозяйство». Самым неоднозначным был критический отдел, не отличавшийся глубоким анализом содержания художественных произведений; здесь как правило выступал сам редактор, который в фельетонном стиле осмеивал язык или отдельные эпизоды рецензируемых произведений. В «Литературной летописи» под маской барона Брамбеуса Сенковский развлекал публику анекдотами из жизни литераторов и разного рода пародиями и мистификациями. Отдел «Смесь» включал любопытные исторические,

⁹⁶ См.: Гинзбург Л. Я. «Библиотека для чтения» в 1830-х годах. О. И. Сенковский // Очерки по истории русской журналистики и критики. Т. 1. С. 326.

⁹⁷ Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1988. С. 155.

географические, театральные факты; в нем печатались руководства по разгадыванию снов, рецепты чудодейственных лекарств, курьезные случаи, эпизоды из жизни известных людей и др. Отделы «Критика» и «Литературная летопись» были самыми популярными у читателей, которые «всегда находили в них что-нибудь новое, неожиданное, умное, острое, злое или веселое, сказанное по поводу той или другой книги»⁹⁸. Сенковский печатался во всех отделах журнала, чаще под псевдонимами – Барон Брамбеус, Тютюнджу-Оглу, Осип Морозов, Белкин, Снегин и пр.; в первый год «Библиотеки для чтения» его опубликованные работы составили более 60 печатных листов или около 1000 страниц.

«Библиотеку для чтения» справедливо называли «журналом одного человека»⁹⁹. Через Сенковского проходили все статьи и заметки, предназначенные для публикации; он просматривал иностранные журналы, делал переводы, печатался сам в разных отделах; проводил в типографии день и ночь накануне выхода свежего номера, чтобы быть уверенным, что журнал появится первого числа. Позднее об этом вспоминал А. П. Милюков: «Рассказывают, что кенигсбергские жители поверяли часы по тому времени, когда Кант начинал свою утреннюю прогулку. Точно так же, если бы кто-нибудь в Петербурге забыл о наступлении первого числа, то ему напомнил бы об этом выход книжки журнала Сенковского. Столичные подписчики на “Библиотеку для чтения” получали книжку непременно в первый день месяца, и эта аккуратность была между прочим одною из причин первоначального успеха журнала. Точно также аккуратен был Сенковский в расплате с сотрудниками: гонорар за статьи выдавали в конторе или присылали на дом в самый день выхода новой книжки»¹⁰⁰.

Однако довольно быстро многие писатели стали дистанцироваться от журнала: одних не устраивал «торгашеский дух» «Библиотеки», другие были недовольны тем, что Сенковский имел обыкновение подвергать правке произведения и статьи других авторов, в том числе известных литераторов. По свидетельству П. С. Савельева, «не раз случалось, что он не дочитывал рукописи: повесть нравилась ему по сюжету – в голове его рождалась при ее чтении счастливая идея, как ее заключить – он отдираал конец

⁹⁸ *Савельев П. С.* О жизни и трудах О. И. Сенковского // Сенковский О. И. Собр. соч. СПб., 1858. Т. 1. С. LXXXV.

⁹⁹ *Гинзбург Л. Я.* «Библиотека для чтения» в 1830-х годах. О. И. Сенковский. С. 325.

¹⁰⁰ *Милюков А. П.* Знакомство с Сенковским: Отрывок из воспоминаний // Исторический вестник. 1880. № 1. С. 155.

рукописи и приписывал свой»¹⁰¹. Уже 10 января 1834 г. А. В. Никитенко, назначенный цензором журнала, записал в дневнике: «На Сенковского поднялся страшный шум. <...> Разнесся слух, будто он позволяет себе статьи, поступившие к нему в редакцию, переделывать по-своему. Судя по его опрометчивости и характеру, довольно дерзкому, это весьма вероятно»¹⁰². Спустя несколько дней, 16 января, он снова пишет о Сенковском: «Я получил от министра приказание смотреть, как можно строже за духом и направлением “Библиотеки для чтения”. <...> Министр очень резко говорил о его “полонизме”, о его “площадных островах” и проч. <...> Говоря по совести, я решительно не знаю, чем виноват Сенковский как литератор. Безвкусием? Но это не касается правительства. Он не хвалит никого, а больше бранит; впрочем, его сатира общая. Конечно, я не могу поручиться за патриотические или ультрамонархические чувства его. Но то верно, что он из боязни ли или из благоразумия никогда не выставляет себя либералом»¹⁰³. В действительности же противостояние революционным тенденциям стало одной из главных целей «Библиотеки для чтения», поскольку Сенковский верил, что только «положительное» просвещение сможет изменить общество.

Сенковский отличался парадоксальными взглядами и на литературу, воспринимая ее как «мимолетное услаждение образованного человека»¹⁰⁴, и на критику: «Беспристрастную критикую называю я то, когда по чистой совести говорю тем, которые хотят меня слушать, какое впечатление лично надо мною произвела данная книга. Но степень моего впечатления не есть правило для других»¹⁰⁵. Однако «Библиотеке для чтения», как и многим другим журналам и газетам 1830-х гг., не удалось сдержать обещания «не вступать в споры». Сенковский то «самым серьезным образом и совершенно бескорыстно превозносил похвалами какую-нибудь до очевидности плохую вещь, то без всякого повода унижал и осмеивал произведение высокоталантливое. И

¹⁰¹ Савельев П. С. О жизни и трудах О. И. Сенковского. С. LXXVII.

¹⁰² Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. [М.], 1955. Т. 1: 1826–1857. С. 133 (Сер. «Литературные мемуары»). См. также: Шаронова А. В. К проблеме взаимоотношений редактора и авторов «Библиотеки для чтения» // Русская литература. 2000. № 3. С. 83–95.

¹⁰³ Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 134.

¹⁰⁴ Библиотека для чтения. 1834. Т. 3, № 4. Отд. I. С. 37 (статья «Брамбеус и юная словесность»).

¹⁰⁵ Там же. Т. 1, № 1. Отд. V. С. 38. Подробнее об эстетической позиции Сенковского см.: Каверин В. А. Барон Брамбеус: История Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения». 2-е изд. М., 1966; Морозов В. Д. О. И. Сенковский и его «Библиотека для чтения» // Морозов В. Д. Очерки по истории русской критики второй половины 20–30-х годов XIX века. С. 271–305.

трудно было угадать, зависело ли это от желания казаться оригинальным или просто от расположения духа в известную минуту»¹⁰⁶. Так, например, третьестепенный писатель А. В. Тимофеев был приравнен издателем «Библиотеки» к Пушкину, Н. В. Кукольник провозглашен русским Гёте; в журнале появлялись уничижительные отзывы о произведениях Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, А. В. Кольцова и др. Тем не менее в письме к Пушкину от января – первой половины февраля 1834 г. Сенковский поторопился восторженно отозваться о «Пиковой даме», присланной в журнал для публикации: «Уступая моей просьбе, Смирдин доставил мне две первые главы вашей повести: я перечитал их три раза, столько нашел я в них прелести. Я совсем не знаю продолжения повести, но эти две главы – верх искусства по стилю и хорошему вкусу, не говоря уже о бездне замечаний, тонких и верных, как сама истина. Вот как нужно писать повести по-русски! <...> Вы создаете нечто новое, вы начинаете новую эпоху в литературе, которую вы уже прославили в другой отрасли. <...> Вы положили начало новой прозе, – можете в этом не сомневаться»¹⁰⁷.

В 40-е годы «Библиотека для чтения» не выдержит конкуренции с журналом «Отечественные записки» (П. П. Свиньин (1787–1839) возобновил его в 1838 г., незадолго до смерти, а с января 1839 г. передал в аренду А. А. Краевскому (1810–1889)), постепенно начнет терять занимательность и угасать. Это было связано, с одной стороны, с усталостью и потерей интереса Сенковского к журналу, с другой стороны, с тем, что наступила новая литературная эпоха, которая требовала новых идей и преобразований в журналистике.

Появление «Библиотеки для чтения» в 1834 г. совпало с прекращением издания «Московского телеграфа» Н. А. Полевого. В конце марта министру народного просвещения и председателю Главного управления цензуры С. С. Уварову (1786–1855)¹⁰⁸ удалось добиться закрытия журнала, которым он уже давно был недоволен. Формальным поводом послужила недоброжелательная рецензия Полевого на официальную драму Н. В. Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла»¹⁰⁹, заслужившую личное одобрение Николая I. В разговоре с А. В. Никитенко министр откровенно высказал свое отношение к Полевому: «Это проводник революции, он уже несколько лет систематически распространяет разрушительные правила. Он не любит

¹⁰⁶ Миллюков А. П. Знакомство с Сенковским. С. 155.

¹⁰⁷ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 109–110, 321–322 (оригинал по-фр.).

¹⁰⁸ На этом посту Уваров сменил К. А. Ливена 21 марта 1833 г.

¹⁰⁹ См.: Московский телеграф. 1834. Ч. 55, № 3. С. 498–506.

России. <...> Я лично советовал ему в Москве укротиться и доказывал ему, что наши аристократы не так глупы, как он думает. После был сделан ему официальный выговор: это не помогло. <...> Надо было отнять у него право говорить с публикою <...>. Это привилегия, которую правительство может дать и отнять когда хочет»¹¹⁰.

В том же году в Петербурге начал выходить организованный С. С. Уваровым «Журнал Министерства народного просвещения»¹¹¹, в первом отделении которого печатались официальные документы, приказы и распоряжения, во втором – научные статьи. Его редактором был назначен К. С. Сербинович (1797–1874), занимавший этот пост до 1856 г.; помощником с 1835 г. стал журналист А. А. Краевский. Из воспоминаний А. В. Старчевского известно, что Сербинович «был простым исполнителем приказаний министра по “Журналу”», «на нем <...> лежало только чтение третьей корректуры и наблюдение за тем, чтобы ничего не было напечатано несогласного с цензурным уставом, с духом православной церкви и с взглядами министра»¹¹².

Во второй половине 1830-х гг. противостоять «торговому» направлению в журналистике и, в первую очередь, «Библиотеке для чтения» О. И. Сенковского попытались «Московский наблюдатель», который издавался с 1835 по 1839 г.¹¹³, и вышедший спустя год пушкинский «Современник».

История «Московского наблюдателя» делится на два разных периода. Первый относится к тому времени, когда журнал издавался В. П. Андросовым и С. П. Шевыревым (с 1835 по 1837 г.), второй – к 1838 и 1839 гг., когда он оказался в руках их главного и непримиримого оппонента – В. Г. Белинского.

Идея основания собственного журнала возникла в среде бывших «любомудров», ранее объединенных вокруг «Московского вестника» и «Европейца». Гоголь с оптимизмом воспринял новости о готовящемся журнале, о чем писал Погодину 2 ноября 1834 г.: «Очень рад, что московские литераторы наконец хватились за ум, и охотно готов с своей стороны помогать по силам. Только я бы вот какой совет дал: Журнал наш нужно

¹¹⁰ *Никитенко А. В.* Дневник. Т. 1. С. 141 (запись от 9 апреля 1834 г.).

¹¹¹ Журнал издавался по 1917 г.

¹¹² *Старчевский А. В.* Воспоминания старого литератора // Исторический вестник. 1888. № 10. С. 110.

¹¹³ В 1835–1838 гг. вышло в свет восемнадцать частей, каждая часть состояла из четырех книжек, по две ежемесячно (год начинался с марта). В 1839 г. периодичность журнала изменилась: он начал выходить раз в месяц и прекратил существование после четвертого номера.

пустить как можно по дешевой цене. Лучше за первый год отказаться от всяких вознаграждений за статьи, а пустить его непременно подешевле. Этим одним только можно взять вверх и сколько-нибудь оттянуть привал черни к глупой “Библиотеке”, которая слишком укрепила за собою читателей своею толщиною. Еще: как можно более разнообразия! <...> И главное, никак не колотить в бровь, а прямо в глаз»¹¹⁴.

Издавать «Московский наблюдатель» было решено на коллективные средства, вкладчину, в которой приняли участие А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, А. И. Кошелев, Е. А. Баратынский, С. П. Шевырев, М. П. Погодин, В. П. Андросов, Н. Ф. Павлов, Н. М. Языков, Д. Н. Свербеев, Н. А. Мельгунов. Редактором журнала был избран статистик, литератор, во второй половине 1820-х участник журналов «Атеней» и «Московский вестник» В. П. Андросов. 16 ноября 1834 г. Погодин сообщал М. А. Максимовичу: «В Москве затеялся журнал, по мысли кн<язя> Дмитрия Владимировича <Голицына>, который хочет, чтобы Москва учила вкусу и литературе, и т. п. Собралось денег тысяч 20, чтоб платить авторам (150 р<ублей> асс<игнациями> за лист) и переводчикам (40 р<ублей> асс<игнациями> за л<ист>). <...> Присылайте скорее что-нибудь»¹¹⁵. Более подробно излагал события А. В. Веневитинову Мельгунов, принимавший самое деятельное участие в организации журнала: «Дело вот в чем: <...> с будущего 1835 года в Москве будет издаваться журнал под названием “Московский наблюдатель”. Этот журнал предпринят несколькими литераторами, из числа которых: Баратынский, Киреевский, Павлов, Погодин, Шевырев, Хомяков, Языков и пр. Предложено также Одоевскому и Гоголю. Редактором журнала избран Андросов. Мы все постоянные сотрудники, надсмотрщики и участники. Министр (С. С. Уваров. – *Ред.*), в бытность свою здесь, изъявил на то свое согласие. Князь Д. В. Голицын взялся ходатайствовать за нас. Этот журнал будет вместе и литературным и торговым предприятием. Мы в нем участвуем и деньгами. Расходы должны простираться до сорока тысяч, потому что мы будем платить по ста пятидесяти руб<лей> за печатный лист»¹¹⁶.

Получив 9 декабря 1834 г. разрешение на издание «Московского наблюдателя», Андросов сразу же начал заниматься его подпиской. В объявлении, помещенном в «Московских ведомостях», было заявлено, что цель журнала – «наблюдать за всем, что является в России и вне России достопримечательного по части наук, словесности,

¹¹⁴ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. [М.; Л.], 1940. Т. 10. С. 341.

¹¹⁵ Письма М. П. Погодина к М. А. Максимовичу. СПб., 1882. С. 7.

¹¹⁶ Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1891. Т. 4. С. 230.

искусств изящных, промышленности сельской, технической и торговой, мод и новостей всякого рода, свидетельствующих об успехах и распространении просвещения и образованности»¹¹⁷. Без систематического деления на отделы предполагалось печатать статьи следующего содержания: «Словесность русская и иностранная», «Науки», «Искусства», «Биография», «Критика и библиография», «Промышленность», «Современная летопись» и «Моды». В числе постоянных участников названы: Е. А. Баратынский, Н. В. Гоголь, М. А. Дмитриев, П. В. Киреевский, Н. А. Мельгунов, князь В. Ф. Одоевский, Н. Ф. Павлов, М. П. Погодин, А. С. Хомяков, С. П. Шевырев, Н. М. Языков (имя И. В. Киреевского, редактора запрещенного в 1832 г. «Европейца», по требованию цензуры из программы было исключено). Редакция также уведомляла, что «журнал будет в нынешнем году выходить по причине позднего объявления о подписке, с 1-го марта, ежемесячно, по две книжки»¹¹⁸.

«Библиотека для чтения» упредила появление «Московского наблюдателя» едкой заметкой по поводу его программы, заявив, что предприятие будет явно «*бранное*, а не торговое»¹¹⁹. Объявление «Московского наблюдателя» не оставила без внимания и «Северная пчела»: «...уверяют, что “в составлении этого журнала принимают *постоянное* участие *все* лучшие литераторы *здесь* и московские”!!!... Мы, на нашу долю, знаем уже несколько человек, которые, по мнению публики, литераторы не худшие, но крайне изумились, прочитав в этой безымянной афишке, что они тоже принимают *постоянное* участие в журнале, о существовании которого только теперь узнают в первый раз. Не мешает известить публику, что они, во всяком случае, не принимают участия в шарлатанстве»¹²⁰.

В тот же день, когда в печати появилось первое объявление о «Московском наблюдателе», Андросов в частном письме к Максимовичу более откровенно изложил цели нового журнала: «Из газет ты узнал программу, цель и содержание журнала, но вот тебе домашние подробности. Иметь свой журнал, свое мнение, свою литературную совесть было для всех нас крайне ощутительно. Мы дожили до того наконец, что не находили ни привету, ни суда, ни расправы в наших журналах. Обеднели до того, что

¹¹⁷ Московские ведомости. 1834. № 104, 29 дек.

¹¹⁸ Там же. Объявление о выходе «Московского наблюдателя» было несколько раз повторено в «Московских ведомостях» (1835. № 1, 2 янв.; № 2, 5 янв.; № 18, 2 марта) и в «Северной пчеле» (1835. № 10, 12 янв.).

¹¹⁹ Библиотека для чтения. 1835. Т. 8, № 2. Отд. VI. С. 66.

¹²⁰ Северная пчела. 1835. № 41, 21 февр.

некуда было пристроить мелкотравчатое свое изделие. Не говорю уже о направлении духа и смысла критик “Библиотеки” и суждений “Молвы”, в которой Н. И. (Надеждин. – *Ред.*) позволил хозяйничать студентам и раболепному уничижению <...>. При том всем хотелось иметь издание красивое, роскошное. Потолковали и приняли мою мысль: устроить журнал общественный, который, не принадлежа кому-либо лично, исключительно, был бы выражением мнения неподкупных, а тем менее пошлых, зубоскальных. <...> Теперь наш журнал составляет общий предмет разговоров в московских гостиных: у нас впутано столько разных самолюбий, предприятие наше связано с таким большим количеством различных желаний и ожиданий, что в успехе сомневаться нельзя»¹²¹.

Первая книжка «Московского наблюдателя» открывалась программной статьей С. П. Шевырева «Словесность и торговля», основная идея которой сводилась к тому, что капиталистические отношения, начинающие преобладать в российской экономике, оказывают пагубное воздействие на развитие литературы и ее господствующих жанров – романа и повести: «...торговля теперь управляет нашею словесностью – и все подчинилось ее расчетам; все произведения словесного мира расчислены на оборотах торговых; – на мысли и на формы наложен курс!..»¹²² Руководствуясь целью «идти навстречу поколению мыслящему», «противодействовать преобладающему духу торговли в нашей литературе и всем злоупотреблениям, от него истекающим», Шевырев, возглавивший критический отдел журнала, заявлял о своем намерении доказать, что «может у нас существовать критика произвольная, благонамеренная, честная, и тем содействовать несколько к утверждению национального взгляда на произведения словесности, как нашей, так и иноземной»¹²³. Шевырева не устраивала, прежде всего, критика «Библиотеки для чтения», «которая подчинила своей расправе все произведения нашей словесности, которая зорким глазом своим не пропускает ни одного из них и подписывает каждому приговор решительный. Здесь совершается судьба каждой новой книги в глазах всей русской публики; здесь ареопаг нашей словесности. Вся Россия читает “Библиотеку”; большая часть России руководствуется ее суждениями касательно всех произведений литературных. От “Библиотеки”, можно сказать, зависит все критическое направление нашей читающей публики, все литературные ее мнения,

¹²¹ Голос минувшего. 1917. № 1. С. 275–276 (письмо от 29 декабря 1834 г.).

¹²² Московский наблюдатель. 1835. Ч. 1. Март, кн. 1. С. 19.

¹²³ Там же. С. 29.

все ее пристрастия, весь ее вкус и склонности. Одним словом, “Библиотека для чтения” есть всероссийский критериум»¹²⁴.

Идею противостояния коммерциализации литературы и «торговому» направлению журналистики в лице О. И. Сенковского разделяли и другие участники «Московского наблюдателя» – «Библиотеку для чтения» ругали практически в каждой книжке «Московского наблюдателя» с 1835 по 1837 г.

Новый журнал был встречен с интересом: весь тираж первой, мартовской, книжки в 600 экземпляров разошелся довольно быстро, и пришлось печатать еще столько же.

«Библиотека для чтения», ставшая главной мишенью «Московского наблюдателя», в полемику с ним не вступила. Один из первых развернутых отзывов о журнале появился в начале 1836 г. (19 и 27 января) в «Сыне отечества». В. М. Строев в статье «Русская критика в 1835-м году» утверждал, что уже из объявления о «Московском наблюдателе» всем стало понятно, что он начнет войну с «Библиотекой для чтения», а целью его является «уронить журнал, соединивший в себе, в то время, почти всю петербургскую литературную деятельность»¹²⁵. Статью Шевырева «Словесность и торговля» рецензент назвал «несправедливыми нападками» и «неприличными выходками», а самого автора упрекнул в том, что он печатал свои труды в «Библиотеке для чтения», получая за это деньги. «Мы с радостью встретили новость об издании в Москве журнала, который должен быть оппозициею “Библиотеки”. <...> Мы с радости вообразили, что московский журнал, нападая на пристрастия, неприличности и гордость “Библиотеки”, исправит наш петербургский журнал; что “Библиотека”, подстрекаемая московским соперником, мало по малу отвыкнет от своих дурных привычек, от непохвальных замашек, от недобросовестности, от недоброжелательства к незнакомым литераторам, – писал Строев, – Первая статья “Наблюдателя” разрушила все эти прекрасные надежды, переменяла мнение наше о литераторе, к которому мы имели нелицемерное уважение, зная его только по критикам, помещенным в покойном “Московском вестнике”. <...> В “Московском наблюдателе” не будет ни справедливости мнения, ни умеренности выражения, двух необходимых орудий для убеждения читателя»¹²⁶.

Самым внимательным читателем «Московского наблюдателя» и главным его оппонентом стал В. Г. Белинский. В статье «Ничто о ничем, или отчет г. издателю

¹²⁴ Там же. Ч. 1. Апрель, кн. 1. С. 507–508 (статья «О критике вообще и у нас в России»).

¹²⁵ Сын отечества. 1836. Ч. 175, № 3. С. 185.

¹²⁶ Там же. С. 191, 192.

«Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы», имея в виду рецензию В. М. Строева в «Сыне отечества» и заметку «Северной пчелы», он с иронией замечал: «Петербургские журналы уверяют, что «Наблюдатель» основан с целию уронить «Библиотеку», и видят в этом большую злонамеренность. Мы этому не верим, во-первых, потому, что уронить «Библиотеку» трудно: книга большая, толстая, *жирная*, как уверяла нас сама «Библиотека», а как жир и сало тождественны, то и *сальная*, прибавим мы от себя; во-вторых, мы скорее можем предположить, что «Наблюдатель» основан с целию сделать реакцию дурному и вредному влиянию «Библиотеки» на *нашу* публику, и в этом мы не только не видим ничего худого или предосудительного, но видим много хорошего и благородного. По объявлению «Наблюдателя» было заметно, что это будет журнал деятельный, настойчивый, упорный, журнал с мнением, направлением, характером. Имена участников в издании утверждали нас в этой вере. Мы ждали «Наблюдателя» с нетерпением, как торжества Москвы над Петербургом, как победы честной литературной деятельности над литературною промышленностью»¹²⁷. По мнению Белинского, «Московский наблюдатель» по ряду причин не смог оправдать надежд, которые на него возлагались: «Первая ошибка «Наблюдателя» состоит в том, что он не сознал важности критики, что он как бы изредка и неохотно принимается за нее. Он выключил из себя библиографию, эту низшую, практическую критику, столь необходимую, столь важную, столь полезную и для публики и для журнала. <...> Для журнала библиография есть столько же душа и жизнь, сколько и критика. <...> Притом мы не видим полного энциклопедизма в «Наблюдателе»: его поприще ограничивается очень немногими и определенными предметами: литературою, историею, сельским хозяйством и политическою экономиею. Напротив, нам кажется, что его энциклопедизм состоит в каком-то отсутствии общности, порядка, характера»¹²⁸. В следующих номерах «Телескопа» Белинский напечатал подробный разбор критических статей С. П. Шевырева, определявших позицию «Московского наблюдателя». Журнальная «война» с Шевыревым как выразителем «светскости» и «аристократизма» «Московского наблюдателя» была сочувственно встречена в дружеском кругу Белинского¹²⁹. 30 мая 1836 г. Н. В. Станкевич сообщал ему из Пятигорска: «Брат писал мне, что ты последнею статьею о «Московском наблюдателе» решительно убил Степана Петровича

¹²⁷ Телескоп. 1836. Ч. 31, № 4. С. 654–655.

¹²⁸ Там же. С. 659–661.

¹²⁹ См.: *Мордовченко Н. И.* «Московский наблюдатель»: (1835–1837) // Очерки по истории русской журналистики и критики. Т. 1. С. 380–381.

<Шевырева> и что он сам от себя отрекается... в час добрый! Но вспомни, что Погодин всех нас называет “рецензентами” и ждет, чтоб мы сами что-нибудь сделали – начинай же что-нибудь делать»¹³⁰. Ознакомившись с критикой Белинского, Н. А. Полевой писал Н. С. Селивановскому: «Итак: война? Уж бьются на Аустерлицком мосту? Кому-то пасть, а что Шевырев дурак, воля ваша – теперь сомнения прочь. Надеждин его целиком проглотит. Пожалуйста, подбивайте нашего Орланда <Белинского> не уступать и биться. Я радуюсь, как старый забияка»¹³¹. И лишь А. Ф. Воейков, скептически относившийся к Белинскому, не приветствовал этой борьбы¹³².

Вышедшие книжки «Московского наблюдателя» разочаровали Гоголя и не оправдали его надежд на то, что журнал сможет противостоять монополии «Библиотеки для чтения». Главная причина, по мнению Гоголя, заключалась в том, что в «Московском наблюдателе» «не было видно никакой сильной пружины, которая управляла бы ходом всего журнала. Редактор его виден был только на заглавном листке. Имя его было почти неизвестно. <...> Замечательные статьи, поступавшие в этот журнал, были похожи на оазисы, зеленеющие посреди целого моря песчаных степей. Притом издатели, как кажется, мало имели сведения о том, что нравится и что не нравится публике»¹³³.

Отношения Пушкина и «Московского наблюдателя» были холодными. Имя поэта не упоминалось ни в объявлении о журнале, ни в переписке издателей. Пушкин старался держаться в стороне от полемик, развернувшихся вокруг нового журнала, так как был занят «Современником». Однако в конце мая 1836 г., посылая П. В. Нащокину два экземпляра вышедшего первого тома «Современника», просил один из них «тихонько от Наблюдателей» отдать Белинскому и передать ему, что он очень жалеет, что не успел с ним увидеться¹³⁴. 1 июня 1836 г. Н. М. Языков писал Пушкину: «“Наблюдатель” выходит все плоше и плоше – жаль мне, что я увязал в него стихи мои: его никто не читает»¹³⁵. Сам Пушкин напечатал в «Московском наблюдателе» всего два стихотворения – «Туча»¹³⁶ и «На выздоровление Лукулла. Подражание латинскому»¹³⁷.

¹³⁰ Переписка Николая Владимировича Станкевича: 1830–1840. М., 1914. С. 412.

¹³¹ Цит. по: *Пытин А. Н.* Белинский. Его жизнь и переписка. СПб., 1908. С. 125–126.

¹³² См.: Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1836. № 83, 14 октября. С. 663.

¹³³ *Гоголь Н. В.* О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году // Современник. 1836. Т. 1. С. 213, 214.

¹³⁴ См.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 16. С. 121.

¹³⁵ Там же. С. 122.

¹³⁶ См.: Московский наблюдатель. 1835. Ч. 2. Май, кн. 2. С. 175.

¹³⁷ См.: Там же. Ч. 4. Сентябрь, кн. 2. С. 191–193; вторая сентябрьская книжка

Публикация последнего стихотворения наделала много шума в обеих столицах, так как оно представляло собой сатиру на С. С. Уварова. Одним из первых на это событие откликнулся А. В. Никитенко, сделав запись в дневнике 17 января 1836 г.: «Пушкин написал род пасквиля на министра народного просвещения, на которого он очень сердит за то, что тот подвергнул его сочинения общей цензуре. <...> Все узнают <...> как нельзя лучше, Уварова»¹³⁸.

После публикации пушкинского «На выздоровление Лукулла» «Московский наблюдатель» не был закрыт¹³⁹, однако притеснения цензуры усилились и стали особенно жесткими после запрещения «Телескопа» и «Молвы» в 1836 г.

Для Пушкина 1835 год прошел в постоянных поисках возможности создать собственный печатный орган. Наконец, 31 декабря 1835 г. он направил Бенкендорфу прошение о разрешении нового журнала: «Осмеливаюсь беспокоить Ваше сиятельство покорнейшею просьбою. Я желал бы в следующем 1836 году издать 4 тома статей чисто литературных (как то повестей, стихотворений etc.), исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности наподобие английских трехмесячных Reviews¹⁴⁰. Отказавшись от участия во всех наших журналах, я лишился и своих доходов. Издание таковой Review доставило бы мне вновь независимость, а вместе и способ продолжать труды мною начатые. Это было бы для меня новым благодеянием государя»¹⁴¹.

14 января 1835 г. «Современник» был разрешен Николаем I как журнал чисто литературный с указанием, чтобы «означенное периодическое сочинение проходило по установленному порядку через Цензурный комитет»¹⁴². Через неделю, 21 января, на

вышла в свет в последних числах декабря 1835 г. – см.: Московские ведомости. 1836. № 1, 1 января.

¹³⁸ Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 179.

¹³⁹ Еще на раннем этапе организации «Московского наблюдателя» Н. А. Мельгунов обращался к М. П. Погодину: «Шевырев может говорил тебе о том, что почитает Андросова не весьма надежным. Но без него журналу не быть; стало быть, чтобы огородить, надо над ним установить домашнюю цензуру. Ты более других к нему близок; не возьмешься ли надзирать над ним? Ты или никто; если же откажешься, то не ручаюсь, чтобы не вздумали запретить журнала за первое неосторожное выражение» (Цит. по: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 4. С. 229).

¹⁴⁰ Пушкин имел в виду английские трехмесячные обозрения – «The Edinburgh Review» и «The Quarterly Review»; основанные в 1802 и 1809 г. они были достаточно популярны и в 1830-е гг. (см.: Казанский Б. В. Западные образцы «Современника» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1941. [Т.] 6. С. 375–377).

¹⁴¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 69–70.

¹⁴² Дела III Отделения собственной его Императорского величества канцелярии об

заседании Петербургского цензурного комитета был назначен цензор издания – А. Л. Крылов¹⁴³. По этому поводу А. В. Никитенко сделал запись в дневнике: «Цензором нового журнала попечитель назначил Крылова, самого трусливого, а, следовательно, и самого строгого из нашей братии. Хотели меня назначить, но я убедительно просил уволить меня от этого: с Пушкиным слишком тяжело иметь дело»¹⁴⁴.

Первое печатное известие о журнале появилось 3 февраля в «Северной пчеле», где сообщалось, что «Александр Сергеевич Пушкин, в нынешнем 1836 году, будет издавать литературный журнал, под названием “Современник”»¹⁴⁵. Литературную полемику вокруг его программы, которая на самом деле не была опубликована, спровоцировала «Библиотека для чтения»¹⁴⁶. Опасаясь конкуренции, О. И. Сенковский поспешил выступить с обвинениями в адрес издателя, не дожидаясь выхода первого тома: «Вообще нет ничего нового в политическом свете. Все народы живут в мире и согласии. Прочие известия – самые пустые. <...> Александр Сергеевич Пушкин в исходе весны тоже выступает на поле брани. Мы забыли сообщить нашим читателям об одном событии: Александр Сергеевич хочет умножить средства к наслаждению читающей публики родом бранно-периодического альманаха, под заглавием “Современник”, которого будет выходить четыре книжки в год, или родом журнала, которого каждые три месяца будет являться по одной книжке. И еще – этот журнал, или этот альманах, учреждается нарочно против “Библиотеки для чтения”, с явным и открытым намерением – при помощи Божией уничтожить ее в прах»¹⁴⁷. В защиту пушкинского журнала, сразу же после выхода первого тома, в «Северной пчеле» была опубликована статья «Несколько слов о “Современнике”», написанная, по-видимому, В. Ф. Одоевским¹⁴⁸. В ней, в частности, отмечалось, что «говорить о программе журнала, когда ее нет, стараться заранее произвольными и оскорбительными догадками вредить в общем мнении книге, которой

Александре Сергеевиче Пушкине. СПб., 1906. С. 171.

¹⁴³ См.: *Егоркин А.* Пушкин и цензура // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1910. Вып. 13. С. 179.

¹⁴⁴ *Никитенко А. В.* Дневник. Т. 1. С. 180.

¹⁴⁵ Северная пчела. 1836. № 27, 3 февр.

¹⁴⁶ В начале января 1836 г. поэт писал П. В. Нащокину: «Смирдин уже предлагает мне 15,000, чтоб я от своего предприятия отступился, и стал бы снова сотрудником его “Библиотеки”. Но хотя это было бы и выгодно, но не могу на то согласиться. Сенковский такая бестия, а Смирдин такая дура – что с ними связываться невозможно» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 16. С. 73).

¹⁴⁷ Библиотека для чтения. 1836. Т. 15, № 4. Отд. VI. С. 67.

¹⁴⁸ См.: *Березина В. Г.* Из истории «Современника» Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1956. Т. 1. С. 298—305.

еще нет перед судом публики, <...> – вот что хуже всякой худой полемики, потому что полемика есть война, стычка, схватка мнений, а подобное нападение имеет вид обдуманного и личного»¹⁴⁹. Поддержали пушкинский журнал В. Ф. Воейков в «Литературных прибавлениях» («Пуглив же барон Брамбеус, ей-Богу, право, пуглив. Еще первая книжка «Современника» скрывалась в таинственном мраке будущего, а наш барон уже вздумал уговорить издателя, чтобы он отступился от своего благого намерения, начал честить его *поэтическим гением первого разряда*, стращать его грязными болотами, лежащими у подножия Геликона, и вредными испарениями бездонной их тины»¹⁵⁰) и В. П. Андросов в «Московском наблюдателе»¹⁵¹.

Первый том «Современника»¹⁵² готовился Пушкиным при ближайшем участии Н. В. Гоголя, который не только опубликовал здесь свои произведения, подготовил отдел «Новые книги», но и взял на себя редакционно-издательские и типографские хлопоты. Кроме того, Гоголь был автором критической статьи «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», вышедшей анонимно в первой книжке «Современника»¹⁵³.

Положительно отзывался о пушкинском журнале В. Г. Белинский: «“Современник” есть явление важное и любопытное сколько по знаменитости имени его издателя, столько и от надежд, возлагаемых на него одною частию публики, и страха, ощущаемого от него другою частию публики. Г-н Сенковский, редактор “Библиотеки для чтения”, аристарх и законодатель этой последней части публики, до того испугался предприятия Пушкина, что, забыв обычное свое благоразумие, имел неосторожность сказать, что он “отдал бы

¹⁴⁹ Северная пчела. 1836. № 86, 17 апр.

¹⁵⁰ Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1836. № 47, 10 июня. С. 374.

¹⁵¹ См.: Московский наблюдатель. 1836. Ч. 6. Апрель, кн. 1. С. 492–494.

¹⁵² Пушкин успел издать четыре тома, которые выходили ежеквартально; билет на выпуск первого тома выдан 9 апреля (см.: *Березина В. Г.* Из истории «Современника» Пушкина. С. 301–302), второго — 3 июля (см.: Там же. С. 297), третьего — 30 сентября (см.: Там же. С. 296; *Черейский Л. А.* К стихотворению Пушкина «Полководец» // *Временник Пушкинской комиссии*: 1963. М.; Л., 1966. С. 56), четвертого — 22 декабря (см.: *Фокин Н. И.* К истории создания «Капитанской дочки» А. С. Пушкина // *Уч. зап. Уральского пед. ин-та. Уральск*, 1957. Т. 4, вып. 3. С. 124).

¹⁵³ См.: *Современник*. 1836. Т. 1. С. 192–225. Подробнее о статье Гоголя см.: *Петрунина Н. Н., Фридендер Г. М.* Пушкин и Гоголь в 1831–1836 годах // *Пушкин: Исследования и материалы*. Л., 1969. Т. 6. С. 212–216; *Гиллельсон М. И.* Пушкинский «Современник» // *Современник: Литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным: Приложение к факсимильному изданию*. М., 1987. С. 6–8; *Пушкин в прижизненной критике: 1834–1837*. СПб., 2008. С. 437–462 (примеч. Е. В. Кардаш).

все на свете, лишь бы только Пушкин не сдержал своей программы”»¹⁵⁴. В рецензии на второй том журнала Белинский упрекнул его в «светскости» и назвал «петербургским “Наблюдателем”»¹⁵⁵.

По своим структуре и периодичности «Современник» напоминал альманах. Формально он делился на два отдела – «Стихотворения» и «Проза». Однако Пушкин сумел приблизить разрешенное издание к общественно-литературному журналу: прозаический отдел, помимо художественных произведений, включал научные, научно-популярные, исторические, документальные и критические статьи, а в конце каждой книжки обязательно присутствовал библиографический раздел «Новые книги» (во втором томе – «Новые русские книги»), где давался краткий обзор всей вышедшей литературы. Особенностью пушкинского «Современника» было то, что в нем, как и в английских трехмесячных обзорах, практически отсутствовали переводные материалы.

На протяжении 1836 г. Пушкин занимался «Современником» почти ежедневно. Он вел переговоры и переписку с авторами и цензурой, редактировал произведения, писал для журнала собственные сочинения, задававшие общий тон и тематику. В первой книжке напечатаны «Императрица Мария» П. А. Плетнева, «Коляска» и «Утро делового человека» Н. В. Гоголя, отрывок из «Хроники русского» А. И. Тургенева, «Долина Ажитугай» Казы-Гирея Султана, статья Е. Ф. Розена «О рифме» и «Разбор Парижского математического ежегодника на 1836 год» П. Б. Козловского, в числе стихотворений – «Ночной смотр» В. А. Жуковского и «Роза и кипарис» П. А. Вяземского. В следующих томах было собрано много материалов, посвященных Отечественной войне 1812 года («Записки» Н. А. Дуровой, «О партизанской войне» и «Занятие Дрездена. 1813 года 10 марта» Д. Давыдова) и другим историческим событиям («Битва при Тивериаде» А. Н. Муравьева, «Иоанн III и Аристотель» Е. Ф. Розена, «Наполеон и Юлий Цезарь» П. А. Вяземского), помещены критические статьи В. Ф. Одоевского «О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе» и «Как пишутся у нас романы», рецензия П. А. Вяземского на гоголевского «Ревизора». Из художественных произведений опубликованы двадцать четыре стихотворения Ф. И. Тютчева, присланные им из Германии, «К князю П. А. Вяземскому» Е. А. Баратынского, «Предназначение», «Урал и Кавказ» и «Подражания Саади» Л. А. Якубовича,

¹⁵⁴ Молва. 1836. Ч. 11, № 7. С. 168.

¹⁵⁵ Там же. Ч. 12, № 13. С. 6.

эпиграммы Д. В. Давыдова, «Драматическая сказка об Иване царевиче, Жар птице и о сером волке» Н. М. Языкова, повесть Н. В. Гоголя «Нос» и др.¹⁵⁶

Отношения Пушкина с цензурой складывались непросто. С. С. Уваров и М. А. Дондуков-Корсаков (председатель Петербургского цензурного комитета), «прославленные» Пушкиным в сатирической оде «На выздоровление Лукулла» (1835) и эпиграмме «В Академии наук заседает князь Дундук...» (1836), чинили «Современнику» всяческие препятствия. Цензурным комитетом были запрещены следующие произведения, которые Пушкин предполагал опубликовать: его собственная статья «Александр Радищев», записка Н. М. Карамзина «О древней и новой России, в ее политическом и гражданском отношениях», стихотворение «Два демона ему служили...» Ф. И. Тютчева, переводная статья «Применение системы Галля и Лафатера к изображениям пяти участников покушения на жизнь Луи-Филиппа в 1835 г.»¹⁵⁷

Материальной выгоды, на которую рассчитывал Пушкин, «Современник» не принес.¹⁵⁸ Ему не удалось собрать достаточное количество подписчиков (первые два тома были отпечатаны в количестве 2400 экземпляров, третий – 1200, четвертый – 900 экземпляров¹⁵⁹). Журнал плохо распространялся: его с трудом можно было купить не только в провинции, но даже в Москве. В августе 1836 г. А. А. Краевский и В. Ф. Одоевский, которые вместе с П. А. Плетневым были ближайшими помощниками Пушкина при подготовке второго, третьего и четвертого томов, предложили ему проект реорганизации «Современника»: в 1837 г. издавать журнал в 12 книжках; Пушкину взять на себя литературную часть и помещать в каждом номере хотя бы один собственный прозаический или стихотворный текст; научный отдел передать целиком в ведение Одоевского и Краевского, которые возьмут на себя также все технические хлопоты по журналу (набор, печать, корректура и пр.); прибыль от издания (за вычетом расходов на типографию, бумагу, плату книгопродавцам) делить поровну между Пушкиным,

¹⁵⁶ См.: Рыскин Е. И. Журнал А. С. Пушкина «Современник»: 1836–1837: Указатель содержания. М., 1967.

¹⁵⁷ Подробнее см.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины»: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. 2-е изд., доп. М., 1986. С. 303–306, 327–333.

¹⁵⁸ Чтобы рассчитаться с долговыми обязательствами, в том числе и по «Современнику», Пушкин вынужден был 8 августа и 25 ноября 1836 г. занять 8 310 рублей у ростовщика А. П. Шишкина под залог семейного серебра и черной турецкой шали (см.: Архив Опекы Пушкина. М., 1939. С. 132 (Летописи Гос. литературного музея. Кн. 5)).

¹⁵⁹ См.: Неизданные письма к Пушкину / Публ. В. Ерофеева, Ю. Оксмана и Ф. Приймы // Литературное наследство. М., 1952. Т. 58. С. 294.

Одоевским и Краевским¹⁶⁰. Принятие этих условий означало, что Пушкин перестанет быть полноправным хозяином «Современника», и он отказался.

Однако недовольство в пушкинском окружении не ограничивалось тем, как шли дела в «Современнике». Многих не устраивало нежелание Пушкина ввязываться в мелкие полемические споры с «Библиотекой для чтения» и «Северной пчелой». Настороженно было воспринято отдаление Пушкина, особенно заметное после его московской поездки в мае 1836 г., от объединившихся вокруг «Московского наблюдателя» С. П. Шевырева, М. П. Погодина, В. П. Андросова, Е. А. Баратынского, А. С. Хомякова, Н. М. Языкова, братьев Киреевских, Н. Ф. Павлова, а также его стремление сблизиться с В. Г. Белинским (после закрытия «Телескопа» Пушкин через П. В. Нащокина вел переговоры о том, чтобы пригласить его в «Современник»). 8 октября 1836 г. А. А. Краевский жаловался М. П. Погодину: «Говорил я Пушкину о присылке в Москву “Современника” на комиссию. Он отвечал ни то ни се. Беззаботность его может взбесить и агнца!»¹⁶¹.

Тем не менее в январе 1837 г. Пушкин собирает материалы для следующего, пятого, тома «Современника»: пишет несколько статей и заметок, договаривается с В. Ф. Одоевским и А. И. Тургеневым о публикации их произведений.

После смерти Пушкина журнал был продолжен «в пользу его семейства» друзьями поэта – П. А. Вяземским, В. А. Жуковским, А. А. Краевским, В. Ф. Одоевским и П. А. Плетневым, которые выпустили в 1837 г. четыре тома¹⁶².

28 сентября 1836 г. Одоевский обращался к Шевыреву: «Мне Волконский сказывает, что вы, господа, хотите прекратить издание “Наблюдателя”. Бога ради, не делайте этого; <...> Издавайте только аккуратнее – за успех можно ручаться. “Наблюдатель” входит в моду. Если вы прекратите его, тогда в нашей литературе некуда плюнуть будет. Возьмите меня в пайщики вашего журнала, и я вам обещаю много сотрудников. Или же вы переведите ваш “Наблюдатель” сюда, в Петербург, или будемте издавать пополам – одну книжку вы, другую мы, или же одну часть вы, а другую мы»¹⁶³.

¹⁶⁰ См.: Там же. С. 289–290.

¹⁶¹ Пушкин по документам архива М. П. Погодина / Публ. М. А. Цявловского // Литературное наследство. М., 1934. Т. 16–18. С. 717.

¹⁶² С 1838 по 1846 г. «Современник» издавался П. А. Плетневым; с 1847 по 1862 г. – И. И. Панаевым и Н. А. Некрасовым (в 1847–1848 гг. редактором также был А. В. Никитенко; с 1859 г. журнал назывался «литературным и политическим»); в 1863 г. единоличным редактором «Современника» стал Некрасов.

¹⁶³ Цит. по: *Могиланский А. П.* Пушкин и В. Ф. Одоевский как создатели

В конце 1836 г. дела у «Московского наблюдателя» складывались неважно: книжки журнала по-прежнему не выходили в срок, не имелось достаточного количества подписчиков. Кроме того, среди издателей «Московского наблюдателя» не было единства. Пытаясь спасти журнал, редакция после закрытия «Телескопа» предложила сотрудничество Белинскому, но тот отказался. Идея А. А. Краевского передать «Московский наблюдатель» петербургскому книгопродавцу А. А. Плюшару не была осуществлена. Осенью 1837 г., когда журнал заполнялся почти целиком переводными статьями, его попытался купить Кс. А. Полевой. 21 сентября 1837 г. Белинский писал М. А. Бакунину: «Ксенофонт Полевой думает купить у Андросова право на издание “Наблюдателя” и в таком случае намерен поручить *одному мне* библиографию и критику, для того, говорит он, чтобы в его журнале был один тон и один голос. <...> Это даст мне мою настоящую жизнь, при одной мысли о которой я уже оживаю и чувствую в себе новую силу. Дело это зависит от согласия Уварова и сговорчивости Андросова, и скоро должно решиться, потому что Уваров на днях должен быть в Москве»¹⁶⁴. Однако разрешение министра народного просвещения не было получено. Спустя несколько месяцев «Московский наблюдатель» был приобретен типографом Н. С. Степановым, который пригласил Белинского в качестве неофициального редактора.

В этот период существования «Московского наблюдателя» в нем печатались многие литераторы нового поколения, сотрудничавшие в «Телескопе» незадолго до его закрытия: М. А. Бакунин, В. П. Боткин, М. Н. Катков, А. В. Кольцов, А. И. Полежаев, В. И. Красов, И. П. Ключников, П. Н. Кудрявцев и др. О реорганизации журнала М. А. Бакунин сообщал сестрам А. А. и Н. А. Беер 13 марта 1838 г.: «“Наблюдатель” и мы, странно! Шевырев из него изгнан нашими соединенными силами, и мы вступаем во владение его. Он слишком много врал, пора было замолчать – теперь-то запоют соловьи. Виссарион написал уже длинную и красноречивую песнь, и я также»¹⁶⁵. И. И. Панаев, узнав от А. В. Кольцова о переходе издания в руки Белинского, 29 марта 1838 г. писал ему: «Радуюсь за Москву, в которой будет журнал; еще более радуюсь, что Ваш всегда *правдивый* и *резкий* голос давно замолкший, снова раздастся – а в эту минуту русской литературе он необходимее чем когда-либо»¹⁶⁶. Подготовленная Белинским

обновленных «Отечественных записок» // Изв. АН СССР, сер. истории и философии. М., 1949. № 3. С. 220.

¹⁶⁴ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 182.

¹⁶⁵ Бакунин М. А. Собр. соч. и писем: 1828–1876. М., 1934. Т. 2. С. 154.

¹⁶⁶ В. Г. Белинский и его корреспонденты. М., 1848. С. 195.

(официально редактором продолжал числиться В. П. Андросов) первая мартовская книжка шестнадцатой части вышла в свет 4 мая 1838 г.¹⁶⁷ «Вы пишете, что желали бы видеть меня издателем журнала с 3 000 подписчиков, – писал Белинский И. И. Панаеву 10 августа 1838 г., – а я бы охотно помирился и на половине: “Телеграф” никогда не имел больше, а между тем его влияние было велико. “Библиотека для чтения” издается человеком умным и способным, и издается им для большинства, и потому очень понятен ее успех. Журнал с таким направлением, которое я могу дать, всегда будет для аристократии читающей публики, а не для толпы, и никогда не может иметь подобного успеха. <...> Вы знаете, что владелец “Наблюдателя” – Н. С. Степанов; у него есть все средства, сверх того, – хорошая своя типография. Если бы ему позволили объявить себя издателем, как Смирдину, начать журнал с нового года и в 12 книжках, как “Библиотека для чтения” и “Сын отечества”, – то дело бы пошло на лад. Эти три обстоятельства: объявление имени издателя, который по своим средствам может иметь право на кредит публики, новый план журнала и настоящее время для его начала – могли бы дать содержание для программы и из старого журнала сделать *новый*. Конечно, если бы к этому еще позволили переменить его название – это было бы еще лучше, но на это плоха надежда. Еще лучше, если бы ко всему этому *мне* позволили выставить свое имя, как редактора, потому что В. П. Андросов охотно бы отказался от журнала и всех прав на него»¹⁶⁸. В новой подписке на журнал было заявлено, что «“Московский наблюдатель” будет издаваем и в следующем, 1839 году. Не изменяя сущности программы, редакция предположила сделать с будущего года некоторые улучшения во внешнем плане и необходимые перемены в порядке издания, которые представляют возможность дать журналу большее разнообразие и полноту в статьях и постоянную своевременность и точность в выходе книжек»¹⁶⁹.

Первый номер «Московского наблюдателя» за 1839 г. вышел в свет 21 января¹⁷⁰. Несмотря на активное участие Белинского (он напечатал в журнале свыше 120 рецензий, обзоров, статей и заметок), издание продолжало быть убыточным. После четвертого

¹⁶⁷ См.: *Ланской Л.* Программа «Московского наблюдателя»: Неизвестный текст Белинского // Литературное наследство. М., 1951. Т. 57. С. 260.

¹⁶⁸ *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 11. С. 259–260.

¹⁶⁹ Московские ведомости. 1838. № 97, 3 дек.

¹⁷⁰ См.: *Ланской Л.* Программа «Московского наблюдателя»: Неизвестный текст Белинского. С. 260.

номера, появившегося в печати 17 июня 1839 г.¹⁷¹, «Московский наблюдатель» прекратил существование.

В 1839 г. в Москве возобновился журнал «Галатей»¹⁷² С. Е. Раича (наст. фамилия Амфитеатров; 1792, по др. сведениям 1789 или 1790 – 1855), который он издавал в 1829–1830 гг. В ранний период «Галатей» была известна своей скандальной полемикой с «Московским телеграфом» Н. А. Полевого. «Телеграф с Галатеею грызутся так, что ключья вверх летят», – писал М. П. Погодин Шевыреву 20 октября 1829 г.¹⁷³ После выхода первого номера журнала Раича в 1839 г. В. Г. Белинский искренне поздравил публику «с приятным приобретением», отметив, что «Галатей» «обращает внимание на Москву и хочет быть московским журналом в полном значении этого слова: отчеты о собраниях, спектаклях, словом, обо всем, что занимает Москву, что принадлежит к ее ежедневным событиям, составляет одно из важных отделений этого журнала. <...> ...несмотря на свой миниатюрный формат, она разнообразна и богата содержанием»¹⁷⁴. Однако спустя год он уже с иронией писал: «И вот на тусклом небосклоне московской журналистики снова ожила бледная красавица “Галатей”. Но, Боже мой! – Что это за оживление! Лучше бы ей и не родиться на свет! Ланиты бледные, очи впалые, в одежде бедность и неприятный беспорядок, гризеточный фартук не чист...»¹⁷⁵. Позднее критик прокомментировал закрытие журнала в 1840 г. (после № 17): «Единственный журнал в Москве – “Галатей” вместо того, чтобы воскреснуть весною, рассыпался пустоцветом и скоропостижно скончался...»¹⁷⁶.

Спустя десять лет после закрытия «Журнала изящных искусств» (1823–1825) в Петербурге с августа 1836 г. при поддержке Общества поощрения художников стала издаваться «Художественная газета»¹⁷⁷, специализировавшаяся на вопросах изобразительного искусства; иллюстрировал ее известный график А. А. Агин (1817–1875). Редактор, издатель и основной автор газеты Н. В. Кукольник (1809–1868) намеренно отказался от критических обзоров: «Считая критику, особенно художественную, у нас несвоевременною, я исключил ее из состава газеты»¹⁷⁸. В

¹⁷¹ См.: Там же.

¹⁷² Журнал выходил маленькими книжками еженедельно.

¹⁷³ Русский архив. 1882. № 5. С. 117.

¹⁷⁴ Московский наблюдатель. 1839. Ч. 1, № 1. Отд. VII. С. 9.

¹⁷⁵ Отечественные записки. 1840. Т. 9, № 4. Отд. VI. С. 71.

¹⁷⁶ Литературная газета. 1840. № 43, 29 мая.

¹⁷⁷ Газета выходила два раза в месяц в 1836–1838 и 1840–1841 гг.

¹⁷⁸ Художественная газета. 1836. № 1. С. 8.

«Художественной газете», рассчитанной на широкого читателя, печатались статьи по истории живописи, графики и скульптуры; обзоры о выставках русских и европейских художников; биографические материалы; библиография искусствоведческих работ и др.¹⁷⁹.

По средам у Кукольника собирались художники К. П. Брюллов, Ф. А. Бруни, М. И. Глинка, Я. Ф. Яненко, скульпторы И. П. Витали, Н. А. Рамазанов, писатели В. Ф. Одоевский, И. И. Панаев, Т. Г. Шевченко, Н. И. Надеждин, иногда бывал В. Г. Белинский. Нередко искусствоведческие споры, возникавшие на этих встречах, продолжались на страницах «Художественной газеты», популярность которой стремительно росла. Журналист английского «Foreign Quarterly Review» в январе 1838 г. писал: «Вероятно, многие из читателей нашего “обозрения” будут удивлены, услышав, что в России издается журнал, исключительно посвященный изящным искусствам, и притом с таким успехом, что все экземпляры его за прошедший год разошлись, так что мы не могли, к сожалению, достать первых его номеров и принуждены ограничиться теми, которые вышли с начала настоящего года. <...> Можно надеяться, что издание это составит со временем богатый запас материалов для будущего историка изящных искусств в России. Это одно <...> уже составляет важное достоинство газеты, потому что до сих пор еще так мало и так поверхностно было писано русскими о ходе и состоянии художеств в их отечестве, что сведения, до нас о том доходящие, могут только возбуждать любопытство, а не удовлетворять его»¹⁸⁰.

В «Художественной газете» в тексте обзорной статьи о выставке, открывшейся 27 сентября 1836 г. в Академии художеств, были впервые напечатаны два пушкинских стихотворения – о статуях скульпторов А. В. Логановского («На статую играющего в свайку», 1836) и Н. С. Пименова («На статую играющего в бабки», 1836). Их публикацию Н. В. Кукольник сопроводил следующим примечанием: «Эти изваяния имеют и литературное достоинство! А. С. Пушкин почтил их приветными античными четырестиями, которыми, с обязательного согласия автора, мы имеем удовольствие украсить наше издание. Эти четырестия равно принадлежат как отечественной литературе, так и отечественным искусствам»¹⁸¹.

¹⁷⁹ См.: Художественная газета Нестора Кукольника и Александра Струговщикова: Указатель содержания (1836–1838, 1840–1841 гг.). СПб., 2013.

¹⁸⁰ Художественная газета. 1838. № 3, 15 февр. С. 107, 108.

¹⁸¹ Там же. 1836. № 9–10, декабрь. С. 141.

Материальные проблемы, связанные с выпуском газеты, наряду с занятостью Кукольника, привели к приостановке ее выхода в 1839 г.; с 1840 г. она издавалась А. Н. Струговщиковым (1808–1878). Об этом свидетельствует запись в дневнике Кукольника от 22 декабря 1839 г.: «...издание и редакцию “Художественной газеты” я принужден окончательно передать Струговщикову с условием обязательного моего участия и сотрудничества в ее редакции. Средства мои не позволяют продолжать самому это дело; да и безотрадно убивать и время и деньги на издание, не приносящее очевидной и непосредственной пользы ни искусству, ни обществу и не оправдывающее моих, казалось, справедливых надежд»¹⁸². С материальными трудностями по выпуску газеты Струговщикову также не удалось справиться, поэтому ее издание прекратилось в 1841 г.

В 1830-е гг. выходили и другие издания, не оставившие особенно заметного следа в русской журналистике. Так, например, в Петербурге П. Г. Волков (ок. 1799 или 1800 – 1850) в 1831 г. издавал еженедельный «журнал словесности и мод» «Эхо»¹⁸³, Е. В. Аладьин (1796–1860) в том же году – «Санкт-Петербургский вестник»¹⁸⁴; в Москве, тоже в 1831 г., кн. Д. В. Львов (1810–1875) выпускал газету «Листок»¹⁸⁵, а в 1835–1844 гг. А. И. Семен (1788–1862) – первый иллюстрированный журнал «Живописное обозрение достопамятных предметов из наук, искусств, художеств, промышленности и общежития с присовокуплением путешествия по земному шару и жизнеописаний знаменитых людей» (неофициальный редактор – Н. А. Полевой).

Незадолго до смерти И. В. Киреевский в письме к П. А. Вяземскому дал характеристику русской журналистике в эпоху царствования Николая I: «...Покойный император никогда не любил словесности и никогда не покровительствовал ей. Быть литератором и подозрительным человеком в его глазах было однозначительно. <...> Наши книги и журналы проходили в публику, как вражеские корабли теперь проходят к берегам Финляндии, т. е. между скал и утесов и всегда в виду крепости. Особенно журнальная деятельность – этот необходимый проводник между ученостью немногих и общею образованностью – была совершенно задушена не только тем, что журналы запрещались ни за что, но еще больше тем, что они отданы были в монополию трем-четырем спекулянтам. Мнению русскому, живительному, необходимому для

¹⁸² Цит. по: *Кауфман Р. С.* Очерки истории русской художественной критики XIX века. М., 1985. С. 47.

¹⁸³ Всего вышло 5 номеров.

¹⁸⁴ Издавался два раза в неделю; всего вышло 48 номеров.

¹⁸⁵ Выходила два раза в неделю; всего издано 49 номеров.

правильного здорового развития всего русского просвещения, не только негде было высказаться, но даже негде было образоваться. Один Булгарин с братиею пользовались постоянным покровительством правительства во все продолжение царствования. <...> Для него вся Россия была обращена в одну огромную и молчаливую аудиторию, которую он поучал в продолжение 30-ти лет почти без совместников, поучал вере в бога, преданности царю, доброй нравственности и патриотизму»¹⁸⁶.

¹⁸⁶ Цит. по: *Гиллельсон М. И.* Неизвестные публицистические выступления П. А. Вяземского и И. В. Киреевского. С. 132.

МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ЗОЛОТОГО ВЕКА

Работы, посвященные феномену русской массовой литературы, описывают почти исключительно тексты и тенденции второй половины XIX и XX века — и это неудивительно, поскольку о сложившейся традиции массовой литературы в России можно уверенно говорить именно с этого времени. Однако рассматриваемый в настоящей главе период исключительно интересен с точки зрения зарождения этой традиции. Если в 1820-е годы начинают складываться предпосылки (экономические, социальные и идейные) для появления массовой литературы, то 1830-е дают первые образцы подобных текстов и изданий, а также достаточно развернутую рефлексию различных литературных кругов и группировок по поводу зарождающегося явления. Это, возможно, уникальный случай, когда литературное явление можно наблюдать с момента появления запроса на него, через первые образцы, сознательно отвечающие на этот запрос, и широкое их обсуждение, до становления репутации этого явления.

Массовая литература — это, прежде всего, литература профессиональная, порождаемая авторами, живущими литературным трудом, заинтересованными в больших тиражах и высоком спросе на их произведения. Затем — это литература, обращенная к широкому читателю, а потому не требующая для ее восприятия обширных знаний, литературной искушенности, вовлеченности в литературный процесс и понимания его внутренних течений, подводных камней, тонких намеков, цитат и прочего знания, доступного лишь узкому элитарному кругу «своих» читателей. Адресатом ее становится значительно более демократический читатель, чем у «высокой» поэзии и прозы¹. Тем не менее, в силу борьбы за читательский интерес, она нуждается в рекламе, а потому декларирует высокое качество предлагаемой продукции, ее полезность и, разумеется, увлекательность.

Некоторый прообраз будущей массовой литературы обнаруживается в лубочной традиции, существовавшей в России как минимум с XVIII века и сохранявшейся на

¹ Ср. формулировку Б. Дубина, определившего массовую литературу как «наиболее общее обозначение многочисленных разновидностей словесности, обращенных к предельно широкой, неспециализированной аудитории современников и реально функционирующей в “анонимных” кругах читателей, не обладающих эстетической подготовкой, не занятых искусствоведческой рефлексией и не ориентированных в чтении на критерии художественного совершенства и образа автора-гения» (Дубин Б. Что такое массовая литература? // *Ex libris* НГ. 1997. № 19. С. 8).

протяжении всего века девятнадцатого. Ее, однако, следует отличать от феномена массовой литературы. По всей видимости, бытование лубочных книг занимало некоторое промежуточное положение между собственно литературой и письменным фольклором. Авторы *их* были скорее не творцами, а компиляторами и редакторами, собирающими, переписывающими и пересказывающими существующие тексты. Причем эти тексты могли иметь весьма различную природу — в лубочные издания попадали и элементы фольклора (переработки преданий, сказок и былин²), и анонимные рукописные книги более раннего времени³, и фрагменты-переделки зарубежной литературы — рыцарских и сентиментальных романов, сборников фацеций и др. Некоторые из этих книг потом переписывались вручную и продавались на ярмарках в виде рукописных копий, варианты одного и того же текста могли сильно различаться между собой⁴. Коммерческая составляющая лубочной традиции также, по-видимому, отличается от того, как строились финансовые отношения в массовой литературе. Авторский вклад здесь ценился крайне низко, при переписывании текста заработать на продаже мог только переписчик, при изданиях автор, как правило, не получал гонорара, печатал книги на свой страх и риск и далее сам их пытался продавать где и как мог — либо, позднее, получал копеечный гонорар. Во всяком случае, самому успешному и популярному русскому лубочному автору, Матвею Комарову, издания его книг не могли обеспечить средств к существованию: он продолжал служить *у господ* и после смерти своей хозяйки А. Л. Эйхлер отчаянно искал работу в услужении или «для исправления писарских дел», о чем подавал объявление в «Московских ведомостях» и вписывал от руки аналогичное объявление в свои книги⁵. Из объявления в «Московских ведомостях» явствует, что книги свои он продавал сам у себя дома. Вообще же основным пунктом продажи лубочных книг, как печатных, так и рукописных, был рынок у Спасских ворот в Москве, а также ярмарки и бродячие торговцы-офени⁶. Таким образом, хотя лубочная литература, несомненно, была адресована массовому читателю, она все же не может в полной мере быть отнесена к явлению массовой литературы и требует

² См., например, «Сказку о сильном и славном могучем богатыре Илье Муромце и Соловье разбойнике», не раз перепечатанную лубочными изданиями, а также «Повесть о Бове Королевиче», одну из самых распространенных лубочных книг.

³ См., например: *Матвей Комаров*. Обстоятельная и верная история двух мошенников: первого — российского славного вора Ваньки-Каина, со всеми его сысками, забавными разными его песнями и портретом его; второго — французского мошенника Картуша и его сотоварищей. СПб., 1779. Текст Матвея Комарова основан на более ранних анонимных жизнеописаниях Ваньки Каина.

⁴ См.: *Гриц Т., Никитин М., Тренин В.* Словесность и коммерция. М., 1928. С. 19.

⁵ См.: *Шкловский В. Б.* Матвей Комаров житель города Москвы. Л., 1929. С. 27—28.

⁶ О способах распространения такого рода литературы см. также статью А. Ю. Балакина «Книгоиздание и книготорговля» (наст. изд., с. 000).

отдельного рассмотрения как некий пограничный феномен, лишь отчасти принадлежащий к собственно литературе.

До 1820-х гг. писательский труд в России в целом не был профессиональным. С XVIII в. существовал институт профессиональных переводчиков, они в большинстве своем были чиновниками на казенном жаловании, которое выплачивалось именно за выполнение переводческих трудов⁷. За переводы популярных романов, пользовавшихся спросом, платили порой и книгопродавцы. Однако собственно писательский труд в большинстве случаев не приносил дохода⁸. Пользуясь терминологией П. Бурдьё, в этот период поле литературы было максимально автономно⁹, внутренняя иерархия полностью определяла положение писателя, одобрение узкого круга ценителей и, главным образом, самих же писателей было основным и, по сути, единственным критерием успеха. В этой ситуации в задачу писателя не входило привлечение широкой аудитории — напротив, люди, занимавшие в обществе высокое положение, порой даже стремились ограничить круг своих читателей. Наиболее ярким и крайним примером подобного отношения служит книга В. А. Жуковского «Für Wenige. Для немногих» (М, 1818), изданная ограниченным тиражом и вообще не поступившая в продажу — автор рассылал ее тем, кого считал «немногими» адресатами своих произведений. В некотором смысле и вся деятельность литературного общества «Арзамас», объединившего в 1810-х гг. лучших петербургских писателей, была такой литературой для немногих, способных понять подтексты, намеки, игру узкого круга друзей — хотя, разумеется, многие члены сообщества писали и для широкой публики и печатали свои произведения отдельными изданиями и в журналах. Оттачивание слова, игра подтекстами, стремление к гармонической точности, культивировавшиеся в литературе для узкого круга посвященных, исподволь создавали основы профессионального мастерства, готовили появление профессионального писательства, несмотря на то, что по своей сути деятельность «Арзамаса» как закрытого сообщества была прямо противоположна задачам зарождения не только массовой, но и просто профессиональной литературы.

Первым важным шагом к профессионализации литературной деятельности, без которой не могла появиться массовая литература, стал альманах «Полярная звезда», издатели которого, А. А. Бестужев и К. Ф. Рылеев, в 1825 г. начали платить полистный

⁷ См. Гриц Т., Никитин М., Тренин В. Словесность и коммерция. С. 113—119.

⁸ См. об этом: Балакин А. Ю. Авторское право в первой трети XIX века (наст. изд., с. 000).

⁹ Бурдьё П. Поле литературы // Новое литературное обозрение. 2000. № 5 (45). С. 26.

гонорар всем вкладчикам альманаха¹⁰. Коммерческий успех «Полярной звезды» повлек за собой резкий рост количества издаваемых альманахов в последующие годы. Если в 1823 г., когда вышел первый выпуск «Полярной звезды», в России было издано всего 3 альманаха (и количество их с начала XIX в. постоянно колебалось в пределах от 1 до 4), то к 1830 г. их число возросло до 19 в год¹¹, причем, хотя среди них были не только такие высокие образцы, как «Полярная звезда» или «Северные цветы» А. А. Дельвига, но и откровенно второсортные коммерческие издания В. Н. Олина («Карманная книжка для любителей русской старины и словесности», 1829—1830) или такие полуальманахи-полупесенники, не гнушавшиеся пиратскими перепечатками опубликованных стихов, как «Эвтерпа. Подарок любительницам и любителям пения на 1828 г.»¹², тем не менее, вопросы авторства, новизны печатаемых текстов и авторского права становились актуальными (в отличие от лубочной литературы, в том числе песенников) если не для издателей, то для авторов и для критиков, печатавших в журналах многостраничные обзоры-разборы вышедших за год альманахов, а вопросы авторского права были в 1828 г. внесены в Цензурный устав¹³. Все это вело к профессионализации и коммерциализации литературного труда. Как показал А. И. Рейтблат, период взлета альманахов четко расслоил литературную среду на писателей-дилетантов, публикующихся «из славы» и готовых приплачивать за удовольствие видеть свои труды напечатанными, — и профессионалов, живущих на доходы от публикаций¹⁴.

Вероятно, отдельного упоминания заслуживают московские альманахи, вышедшие из круга студентов-разночинцев и выпускников Московского университета («Зимцерла», «Цинтия», «Метеор», «Северное сияние», «Улыбка весны» и др.¹⁵). Эти альманахи, отличавшиеся достаточно низким уровнем публиковавшихся в них сочинений и получавшие неизменно пренебрежительные оценки критики, тем не менее, ставили перед собой (кроме простого стремления заработать) и определенные эстетические и просветительские задачи. Помимо стихов и фрагментов водевилей, там публиковались отрывки из исторических сочинений, эссе, очерки нравов и пр. Это были попытки нового

¹⁰ Гриц Т., Никитин М., Тренин В. Словесность и коммерция. С. 36—37.

¹¹ Там же. С. 150.

¹² См.: Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962. С. 563—565.

¹³ См. об этом: Балакин А. Ю. Авторское право в первой трети XIX века (наст. изд., с. 000).

¹⁴ Рейтблат А. И. Литературный альманах 1820—1830-х гг. как социокультурная форма // Рейтблат А. И. Как Пушкин вышел в гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М., 2001. С. 80.

¹⁵ См. о них: Рейтблат А. И. Московские «альманашники» // Рейтблат А. И. Как Пушкин вышел в гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М., 2001. С. 82—97.

круга не лишенных образования и любящих литературу представителей низшего сословия пробиться через литературные труды к иному социальному статусу и иному, более высокому кругу общения. Характерна оценка, данная «Зимцерле» критиком «Московского телеграфа»: «В ней заметны знания и ум мальчиков приходского училища и требования семинарской учености. Наружность сего альманаха под парю к содержанию оногo, то есть настолько же неопрятна и неуклюжа»¹⁶. Любопытно в этом отзыве и то, что отношение критика «Московского телеграфа» к издателям и вкладчикам «Зимцерлы» имеет некоторые общие черты с отношением «литературной аристократии» к самому «Московскому телеграфу» и его кругу — отношением, которому вскоре суждено было проявиться в известной полемике о «литературной аристократии», о которой речь пойдет ниже. Эти альманахи не стали явлением массовой литературы, поскольку не имели коммерческого успеха, не получили доступа к широкому читателю и не нашли у него отклика, однако появление в печати и обсуждение в популярных, известных журналах этого типа изданий отчасти создало предпосылки к развитию «разночинной» литературы для разночинного читателя.

Таким образом, альманахи, ставшие первыми коммерческими литературными предприятиями, ориентированными на читательский спрос и приносящими прибыль не только издателям и книгопродавцам, но и (в некоторых случаях) авторам, оказались не только новой моделью отношений автора с издателем и публикой, не только фактом литературы, сильно расширившим читательскую аудиторию отечественных писателей и самый круг этих писателей, но и предметом журналистской рефлексии.

В ходе этой рефлексии постепенно формируется ряд требований, выдвигаемых по отношению к литературе, адресованной широкому читателю. Одним из провозвестников этого нового направления выступал Н. А. Полевой и его журнал «Московский телеграф». Полевой, сам выходец из купеческого сословия, последовательно придерживался идеи о том, что литература должна проникать в средние слои общества и развивать их, формируя образованное и нравственное купечество и мещанство. В силу этого убеждения он выстраивал политику своего журнала, печатая научно-популярные статьи, критические обзоры, цель которых — сориентировать неискушенного читателя в массе литературной продукции и сформировать его вкус, занимательные повести (в том числе — переводные, для тех, кто не владеет иностранными языками), смесь, рассчитанную на наименее притязательных читателей, и, наконец, парижские моды для привлечения дам. Задачей его

¹⁶ Московский телеграф. 1829, № 13. С. 103.

журнала было заинтересовать как можно больше разнородной публики и снабдить ее разнородным же материалом для чтения, привлекая кого-то учеными рассуждениями, кого-то — хлесткой критикой, доходящей порой до памфлетного тона, кого-то — забавными анекдотами, кого-то — модами, и таким образом пристрастить к чтению и просветить. Задача эта выполнялась — на протяжении второй половины 1820-х гг. и вплоть до своего прекращения в 1834 «Московский телеграф» оставался самым читаемым московским журналом. Отчасти в том же направлении в Петербурге действовали газета «Северная пчела», издаваемая Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем и журнал «Сын Отечества», издателями которого также были Булгарин и Греч¹⁷. Причем, если у Полевого были выраженные просветительские устремления, и его попытки освоения европейского литературного и философского опыта сочетались со стремлением приобщить к этому опыту среднего русского читателя, то устремления Булгарина, похоже, главным образом ограничивались личной выгодой и желанием утвердить свое положение в литературе и на социальной лестнице. Для того, чтобы проложить путь к широкому читателю, требовалось соответствовать его вкусам и запросам. Булгарин и не скрывал того, что его задача — угождать публике: «Мы служим публике в качестве докладчика, должны переносить все ее прихоти, терпеливо слушать изъявление неудовольствия и быть весьма осторожными во время ее милостивого расположения»¹⁸. Возможности для привлечения публики у него имелись. «Северная пчела», единственная частная газета, имевшая право печатать политические известия, была особенно популярна, и пользовалась этой популярностью, в частности, для продвижения у читающей публики «Северного архива» и «Сына отечества». Поэтому, когда в 1828 г. Булгарин пошел на союз с Полевым, новое направление журналистики, позже получившее название «торгового», оказалось фактически главенствующим в обеих столицах, а значит — в литературе в целом. Понятно, что предложенная этим направлением модель отношений писателя и публики была резко противопоставлена модели писателя-пророка и свободного боговдохновенного поэта, установившейся в «высокой» литературе, поэтому острая полемика о том, каковы должны быть отношения писателя с публикой и как должна в связи с этим развиваться литература, была неизбежна — и она разразилась.

¹⁷ До 1829 г. издателем «Сына отечества» был Греч, однако в 1829 г. журнал объединился с «Северным архивом» Булгарина и стал издаваться совместно Булгариным и Гречем под общим официальным названием «Сын отечества и Северный архив», однако в читательской и литературной среде объединенное издание продолжало называться «Сыном отечества».

¹⁸ Булгарин Ф. В. Сочинения. СПб., 1836. Ч. 2. С. 390.

Первым всплеском такой полемики стал известный спор о «литературной аристократии», возникший практически сразу после того, как начала выходить «Литературная газета» Пушкина и Дельвига. Буря возникла не случайно: по сути «Литературная газета» сама по себе была вызовом новому демократическому направлению в литературе. Еще до выхода первого номера газеты было объявлено, что в ней примут участие те, кто сотрудничал в «Северных цветах», а в третьем номере газеты Пушкин неосторожно объявил о том, что новое издание необходимо не столько для публики, сколько «для некоторого числа писателей, не могших по разным отношениям явиться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов»¹⁹. Это немедленно вызвало реакцию Булгарина, вопрошавшего, «как можно издавать газету *не для публики*, а для *некоторого числа писателей*»²⁰. Как точно сформулировал В. Э. Вацура, «Булгарин был по-своему прав: Пушкин допустил оплошность. Он вовсе не хотел сказать, что „Литературная газета“ не нуждается в аудитории: без „публики“ она была бы и бессмысленна, и невозможна. Речь шла о другом: должен ли писатель формировать свою аудиторию, способную разделить его сложную философию, его тонкий эстетический вкус, его общественные позиции, — или же он должен принять ее такой, как она есть, говорить на ее языке, внушать ей моральные правила, которые она может понять, и не требовать от нее ничего большего?»²¹. Именно это столкновение позиций резко обозначилось в полемике вокруг «Литературной газеты» и «литературной аристократии», а позднее — в спорах вокруг «Библиотеки для чтения» и «торгового» направления в литературе. Вторая позиция, которую провозглашали и активно пропагандировали Полевой, Булгарин и чуть позднее Сенковский, как раз и стала той идеологической платформой, на которой смогла сформироваться массовая литература. Утверждая свои принципы, Полевой и Булгарин намекали на зависимость «аристократических» писателей, не желающих угождать публике, от меценатов и покровителей — прямым текстом это было высказано Полевым в памфлете «Утро в кабинете знатного барина»²² и Булгариным в «Анекдоте»²³. К моменту написания обоих памфлетов форма поддержки писателей меценатами и двором давно изжила себя и не практиковалась по отношению к писателям пушкинского круга — оба памфлета были клеветой, рассчитанной на то, чтобы низвести элитарную литературу до уровня нарождающейся массовой и даже ниже, показав, что элитарная литература столь же

¹⁹ Литературная газета. 1830. Ч.1, № 3 (11 января). С. 24.

²⁰ [Булгарин Ф. В.?] Вопрос // Северная пчела. 1830. № 6, 14 января. Курсив автора.

²¹ Вацура В. Э. «Северные цветы»: История альманаха Дельвига—Пушкина. М., 1978. С. 197.

²² Московский телеграф. 1830. Ч. 33, № 10. С. 171–172

²³ Северная пчела. 1830. № 30, 11 марта.

зависима, как и массовая, но только зависит не от вкусов читающей публики в целом, но от капризов одного барина-мецената, которому она в сущности глубоко безразлична, но к которому следует подольститься для получения подачи. Так профессиональная литература, ориентированная на успех у публики, завоевывала уважение и претендовала на статус свободной и честной (как любая торговля) и развенчивала идеалы высокой литературы с ее идеей независимости поэта. Спустя 16 лет итоги этого развенчания подвел Полевой в горьком и полемичном очерке «Отрывок из заметок русского книгопродавца его сыну», напечатанном им в альманахе «Новоселье»: «Вот добились мы до настоящего слова: книга — товар; и как же хотите вы, чтобы мы, торгующие книжным товаром, считали его чем-нибудь другим. За что же вы на нас сердитесь, когда мы называем вещь ее настоящим именем? Герой, увенчанный лаврами и изувеченный на поле битв, подписывается под распискою в получении жалованья, не героем, а поручиком, майором, полковником. Литератор говорит в условии: продал я такой-то, Архип Сидоров, рукопись мою и получил за нее деньгами столько-то. Не одно ли и то же? Вот если бы литератор писал: “Предал я рукопись мою бессмертию и получил за нее в задаток славу”, — тогда иное дело <...> Итак, если книга — товар, то выходит, что фабрикант такого товара — литератор, потребитель его — публика, а мы, книгопродавцы, — продаватели его, торгаши литературным товаром. Станем же смотреть на все это попросту. Будучи товаром, книга требует, чтобы литератор, как все фабриканты, старался сделать ее по вкусу публики, так чтобы можно было ее выгоднее продать — по вкусу публики, говорю, то есть делать то, что требуется и как требуется»²⁴.

Между тем как в спорах и взаимных обвинениях вырабатывалась идейная база массовой литературы, в околотитературном быту формировались экономические условия ее развития. Процесс коммерциализации литературного творчества продолжили издательские проекты Смирдина, начавшего выкупать у авторов рукописи и исключительное право на их публикацию за большие деньги и выведшего книготорговое и книгоиздательское дело в России на принципиально новый уровень²⁵. Еще одной важной вехой в этом процессе стал его же журнал «Библиотека для чтения», выходивший с 1834 г. под редакцией О. И. Сенковского и взявший за правило платить авторам гонорары на регулярной основе по определенной таксе за объем текста. По сути именно «Библиотеку для чтения» можно назвать первым по-настоящему массовым периодическим изданием —

²⁴ Полевой Н. А. Отрывок из заметок русского книгопродавца его сыну // Новоселье. СПб., 1846. Ч. 3. С. 498—500.

²⁵ Подробнее об этом см.: Балакин А. Ю. Книгоиздание и книготорговля (наст. изд., с. 000).

она выходила неслыханным по тем временам тиражом, имея в лучшие годы до 7000 подписчиков (в то время, как Пушкинский «Современник» имел 100), четко выдерживала периодичность выхода весьма объемных томов, непривычно назойливо рекламировала себя и следовала в отборе и обработке материала определенным правилам, которые и были в значительной степени начальным этапом формирования массовой литературы как особого явления.

Декларировал Сенковский принципы, близкие к позиции Полевого: «“Библиотека” начата с целью постепенно умножить в публике число способных читателей посредством занимательности и нечувствительного перехода к предметам более и более важным, основательным, ученым. Мы думали, и не без причины, что наша словесность и вообще вся литература тогда только подыметя на ноги и получит быт прочный и самостоятельный, когда читатели сделаются труднейшими к удовлетворению и перестанут рукоплескать наглому невежеству или забавничающей посредственности. Одним словом, мы думали и думаем, что число хороших читателей у нас еще слишком мало и что *hinc mali principium* — в этом корень зла; что самая “Библиотека” принуждена будет влачиться в старой колее поверхностей и ложной журналистики, если большинство ее подписчиков бесконечно будет искать в ней только повестей, сказок и статей приятных, страшась или не понимая ученых предметов. Действие журнала на умножение класса способных, образованных читателей медленно, хотя занимательность — вернейшее средство к тому там, где училища не успели еще приготовить большой массы таких читателей, а на это умножение мы полагаем наши пламеннейшие надежды относительно будущих и скорых успехов литературы и всего просвещения в нашем отечестве» (Библиотека для чтения. 1835. Т. 11, отд. 5. С. 31—33). Однако именно занимательность и угождение вкусам публики (причем, в первую очередь, провинциальной публики, за счет которой особенно быстро можно было увеличить число подписчиков) стали главными отличительными признаками «Библиотеки для чтения». Сенковский сам выправлял в соответствии со своими представлениями о том, чего хочет читатель, все присылаемые ему материалы, переписывал и публицистические и художественные тексты, добавлял счастливые концовки там, где ему казалось, что читателю так больше понравится (так он добавил благополучный финал к «Отцу Горио» Бальзака²⁶). Таким образом, занимательность и упрощенность массовой литературы оправдывалась пользой для просвещения и воспитания читателей, и это требовало появления литературы, в равной степени увлекательной для не слишком прихотливого читателя и в то же время нравоучительной и просвещающей его. В полной мере осознал и

²⁶ Бальзак О.де Старик Горио // Библиотека для чтения. 1835. Т. 9, отд. 2. С. 106.

воплотил эти требования в жизнь первый русский по-настоящему массовый беллетрист Фаддей Булгарин.

Первым произведением, которое можно уверенно назвать провозвестником массовой литературы стал его роман «Иван Выжигин»²⁷. Этот «нравственно-сатирический» по определению автора роман полностью соответствовал всем требованиям еще не появившейся массовой литературы. Публике понравился плутовской сюжет с внезапными крутыми переменами судьбы, описанием разных мест, нравов, народов и слоев общества — описанием поучительным и в меру сатирическим, но не отпугивающим читателя и не обижающим его, поскольку в не живых, гротескных персонажах он не видел себя. Роман, построенный без единого выверенного плана, но представляющий собой смену картин, ситуаций, приключений, «серий», не требовал от читателя усилий для соотнесения событий и планов, но давал пищу для любопытства и желания узнать, что будет дальше. Лобовое описание пороков (чванство, жадность, ветреность, расточительность) с немедленным их наказанием создавало приятное впечатление полезного чтения, служащего к исправлению нравов. Легко узнаваемые и предсказуемые сюжетные клише (тайна рождения, побег влюбленных, которым родители запретили вступление в брак, разорение повесы и т. п.) облегчали восприятие текста²⁸. Роман Булгарина имел ошеломительный успех, выдержал за два года три издания, которые раскупались моментально — и вызвал очень резкую критику со стороны писателей, представляющих «высокую» литературу, и их читателей. Наиболее полно и кратко отношение к «Выжигину» этой части публики сформулировал И. В. Киреевский: «Пустота, безвкусице, бездушность; нравственные сентенции, выбранные из детских прописей, неверность описаний, приторность шуток, вот качества сего сочинения, качества — которые составляют его достоинство, ибо они делают его по плечу простому народу и той части нашей публики, которая от азбуки и катехизиса приступает к повестям и путешествиям. Что есть люди, которые читают “Выжигина” с удовольствием и,

²⁷ Булгарин Ф. В. Иван Выжигин: Нравственно-сатирический роман. В 4 ч. СПб., 1829. Переиздан в том же 1829 и в 1830 гг.

²⁸ Притягательность литературных формул как для массового читателя, так и для массового писателя точно описал Дж. Г. Кавелти: «Читатели в знакомых формах находят удовлетворение и чувство безопасности; кроме того, давнее знакомство читателей с формулой дает им представление о том, чего следует ожидать от нового произведения, тем самым повышается возможность понять и оценить в деталях новое сочинение. Литератору формула позволяет быстро и качественно написать новое произведение. Хорошо усвоив основные черты данной формулы, писатель, посвятивший себя такого рода литературе, не должен так долго и мучительно вынашивать художественные решения, как это делает романист, работающий вне формульных рамок. В результате формульные писатели обычно очень плодовиты» (Кавелти Дж. Г. Изучение литературных формул // НЛО. 1996. № 22. С. 38).

следовательно, с пользой, это доказывается тем, что “Выжигин” расходится. Но где же эти люди? спросят меня. Мы не видим их точно также, как и тех, которые наслаждаются “Сонником” и книгою “О клопах”; но они есть, ибо и “Сонник”, и “Выжигин”, и “О клопах” раскупаются во всех лавках»²⁹. С другой стороны Полевой приветствовал появление болгаринского романа именно как произведения, понятного и нужного широкой публике: Булгарин «в высокой степени гармонирует с русскими читателями; его статьи о нравах, его Выжигин суть именно та умственная пища, какой требует наша публика. Для нее Вальтер Скотт несовершенно понятен и занимателен; описания сего последнего утомляют и наводят ей скуку. Напротив, у Булгарина она понимает все, видит в его картинах своих друзей и врагов и не утомляется продолжительною нитью одной, мастерски выражаемой мысли»³⁰. Тем самым выполнялось условие, которое Ю. М. Лотман назвал среди необходимых для существования самого феномена массовой литературы: «Массовая литература должна обладать двумя взаимно противоречащими признаками. Во-первых, она должна представлять более распространенную в количественном отношении часть литературы. При распределении признаков “распространенная — нераспространенная”, “читаемая — нечитаемая”, “известная — неизвестная” массовая литература получит маркированные характеристики. Следовательно, в определенном коллективе она будет осознаваться как культурно полноценная и обладающая всеми качествами, необходимыми для того, чтобы выполнять эту роль. Однако, во-вторых, в этом же обществе должны действовать и быть активными нормы и представления, с точки зрения которых эта литература не только оценивалась бы чрезвычайно низко, но она как бы и не существовала вовсе. Она будет оцениваться как “плохая”, “грубая”, “устаревшая” или по какому-нибудь другому признаку исключенная, отверженная, апокрифическая»³¹.

Весьма характерна и последующая судьба романа. Как показала дальнейшая история, массовая культура, ориентированная на коммерческий успех, всегда стремится к воспроизведению удачных опытов — созданию «продолжений» или «сиквелов» (как правило, уступающих первоначальному тексту и в качестве, и в популярности) самим автором и возникновению подражаний, перепевов или того, что в современной культуре называется фанфиком (непрофессиональные тексты, так или иначе обыгрывающие оригинальную популярную книгу). Воодушевившись успехом своего первого романа,

²⁹ *Киреевский И. В.* Обзорение русской словесности 1829 года // Денница на 1830 год. М., 1830. С. LXXIII—LXXIV.

³⁰ *N.N. [Полевой Н. А.]* Сочинения Ф. Булгарина. 10 частей 1827 и 1828 годов; Иван Выжигин. 4 части 1829 г. два издания // Московский телеграф. 1929. Ч. 28, № 13. С. 72.

³¹ *Лотман Ю. М.* Массовая литература как историко-культурная проблема // Лотман Ю. М. Избранные статьи. В 3 тт. Таллинн, 1993. Т. 3. С. 382.

Булгарин уже в 1831 г. издал его «сиквел» — роман «Петр Иванович Выжигин»³², посвященный судьбе сына Ивана Выжигина. Хотя Булгарин получил от издателя Заикина за этот роман небывало огромную сумму в 30000 рублей, сиквел не пользовался таким успехом, как «Иван Выжигин» и принес издателю большие убытки³³.

Попытку создать следом за Булгариным нравоописательный роман-бестселлер, ориентированный на широкого, в первую очередь, провинциального читателя, угадав его интересы и запросы, предпринял Д. Н. Бегичев. Свой роман «Семейство Холмских»³⁴ он выпустил анонимно, играя по примеру Вальтера Скотта в «великого неизвестного». Однако, хотя роман действительно довольно хорошо разошелся и выдержал еще два издания (в 1838 и 1841 гг.), славы «Ивана Выжигина» он не достиг. Последнее переиздание оказалось совершенно убыточным, и о романе забыли³⁵.

Другим характерным признаком булгаринского романа как явления массовой литературы стало превращение его в бренд, использованный низовыми писателями для привлечения читателей к своим произведениям³⁶. Речь идет о романах лубочных писателей-эпигонов И. Г. Гурьянова («Ивану Выжигину от Сидора Пафнутьевича Простакова послание, или Отрывки бурной моей жизни» (1829), «Новый Выжигин на Макарьевской ярмарке, или Не любо, не слушай, другим не мешай» (1831)) и А. А. Орлова («Родословная Ивана Выжигина, сына Ваньки Каина, род его, племя с тетками, дядями, тестем и со всеми отродками» (1831), «Хлыновские степняки Игнат и Сидор, или Дети Ивана Выжигина» (1831), «Смерть Ивана Выжигина» (1831)³⁷). Сопоставление Булгарина с Орловым, помещение их в один ряд стало полемическим приемом писателей пушкинского круга. Этот прием сильно задевал Булгарина, прекрасно ощущавшего пропасть между массовой литературой, которую он фактически создавал в России, и лубочной, низовой книжностью,

³² Булгарин Ф. В. Петр Иванович Выжигин: Нравоописательный исторический роман XIX века. СПб., 1831.

³³ Гриц Т., Никитин М., Тренин В. Словесность и коммерция. С. 181—182.

³⁴ [Бегичев Д. Н.] Семейство Холмских. Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских дворян. М., 1832. Ч. 1—6.

³⁵ Об истории романа и возможных причинах его относительной неудачи см.: Федута А. И. Читатель в сознании автора «анонимного» произведения (случай Д. Н. Бегичева) // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Филология». 2014. № 1. С. 103—109.

³⁶ См. об этом: Федута А. И. «Выжигинский текст» русской литературы как результат со-авторства // Федута А. И. Письма прошедшего времени. Материалы к истории литературы и литературного быта Российской империи. Минск, 2009. С. 151—160.

³⁷ См. о них: Рейтблат А. И. Московская низовая книжность // Рейтблат А. И. Как Пушкин вышел в гении. С. 164, 174 и др.

с которой усилиями Орлова и Гурьянова, с одной стороны, а также литературных противников из высшего эшелона, с другой, оказалось смешано имя его героев.

Между тем новые процессы происходили и в этой низовой, лубочной словесности. Она начала реагировать на современность — и более того, на современный литературный процесс (чему пример «выжигинские» романы Орлова и Гурьянова). Низовой читатель стал приобщаться к очеркам современных нравов, в том числе сатирическим, к пародиям и подражаниям современной более высокой литературе. Параллельно издавалось и переиздавалось довольно большое количество переводов. В основном это были либо классические произведения, перепечатававшиеся с XVIII в (Расин, Мильтон, Эзоп и др), либо низовая литература, либо книги таких авторов как Жанлис, Дюкре-Дюмениль, Август Лафонтен, Анна Радклиф³⁸. Переводы последних были в основном низкого качества, часто выполнялись студентами и просто случайными людьми (в большинстве случаев имя переводчика вообще не ставилось на книге) ради заработка — и примыкали по своему уровню к низовой литературе, предназначаясь для той части публики, которая не читает на иностранных языках. Образованный читатель не нуждался в русских переводах и читал европейскую литературу либо в оригинале, либо в профессиональных переводах на французский язык, поэтому долгое время качество переводов современной прозы не становилось предметом обсуждения и оценки. Тем не менее, к 1830-м годам и проблема перевода прозаических произведений современников стала осознаваться как литературная и эстетическая задача³⁹. Это открывало возможности для широкого круга читателей знакомиться с популярной европейской литературой, представленной на более высоком профессиональном уровне.

Одновременно с начала 1830-х гг., началось массированное наступление цензуры на низовую литературу как неблагопристойную, не приносящую пользы народному просвещению и развращающую нравы⁴⁰. Низовая литература развивалась и развивала спрос у своего читателя, но внешние обстоятельства требовали от нее перехода на более высокий профессиональный уровень и доказательства своей пользы для улучшения нравов и

³⁸ Список переводных книг, выдержавших не одно издание см.: *Рейтблат А. И.* Русские «бестселлеры» первой половины XIX века // *Рейтблат А. И.* Как Пушкин вышел в гении. С. 200—201.

³⁹ Объявляя о скором выходе «Адольфа» Б. Констана в переводе Вяземского, Пушкин писал: «Любопытно видеть, каким образом опытное и живое перо кн. Вяземского победило трудность метафизического языка, всегда стройного, светского, часто вдохновенного. В сем отношении перевод будет истинным созданием и важным событием в истории нашей литературы» (*Литературная газета.* 1830, № 1 (1 января). С. 8).

⁴⁰ См. об этом: *Рейтблат А. И.* Цензура народных книг во второй четверти XIX в. // *Рейтблат А. И.* Как Пушкин вышел в гении. С. 185—189.

просвещения народа. Это с другой, так сказать, «низовой» стороны готовило почву для развития профессиональной массовой литературы.

Таким образом, «золотой век» русской литературы, создав профессионального писателя, экономическую возможность жить литературным трудом и читательский запрос на книги для широкого круга читателей, подготовил почву для появления не только высокой, но и массовой литературы и дал ее первые, хотя и единичные, образцы, подведя под них идеологическую базу. По-настоящему массовой эта литература стала только в 1840—1850-х гг., однако основа для ее распространения в середине XIX в. была заложена именно в 1820—1830-е гг.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Выдающийся русский книговед и просветитель Н. А. Рубакин (1862—1946) писал: «История литературы не есть только история писателей и их произведений, несущих в общество те или иные идеи, но и история *читателей* этих произведений. <...> Ничто так не характеризует степень общественного развития, степень общественной культуры, как уровень читающей публики в данный исторический момент. <...> История читающей публики – одна из интереснейших и ярких страниц из истории общественного развития»¹. Однако «исследовать эту публику в количественном и качественном отношениях», как предлагал сделать ученый², оказалось не так просто.

Читающая публика или читательская аудитория – сложное социокультурное явление. Чтение – это глубоко интимный процесс, факт внутренней жизни человека, и потому выделение тех или иных групп читателей на основании неких объективных показателей в принципе не точно и во многом гипотетично. Статистические данные о количестве и характере читаемых населением книг, равно как и классификация читателей по полу, возрасту, образованию, профессии дают лишь самые общие количественные характеристики. Попытки дифференцировать читателей, выясняя, какими целями и мотивами они руководствуются при выборе книг, чего они ожидают и что получают от чтения, опираются, в основном, на чисто субъективные показания и оценки. Изучение читательской аудитории первой половины XIX в. еще более затруднено в виду крайней скудности фактического материала³, частично компенсировать которую может обращение к мемуаристике⁴.

По оценке А. И. Рейтблата, читатели первой половины XIX в. составляли ничтожное меньшинство населения России: на каждого из них приходилось не менее двадцати человек,

¹ Этюды о русской читающей публике. Факты, цифры и наблюдения Н. А. Рубакина // Рубакин Н. А. Избранное: В 2 т. М., 1975. Т. 1. С. 35–104. (1-е изд. СПб., 1895).

² Там же. С. 35.

³ Показательно, что исследование А. И. Рейтблата, посвященное истории чтения в России (*Рейтблат А. И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы*. М., 2009), начинается со второй половины XIX в. – так же, как и исследование Б. В. Банка (*Банк Б. В. Изучение читателей в России (XIX в.)*. М., 1969).

⁴ «Создание коллективного читательского портрета требует наличия точно выверенных читательских характеристик, “портреты” выдающихся читателей отвечают этому предварительному условию» (Предисловие // *История русского читателя*. Сб. статей. М., 1979. Вып. 3).

никогда книг в руках не державших⁵. Это положение вещей объясняется многими причинами. Прежде всего, было мало просто грамотных людей, а в их общем числе доля тех, кого можно назвать читателями – то есть людьми, читающими не для практической надобности, а для удовлетворения своих духовных и интеллектуальных запросов, была, видимо, совсем не велика.

Косвенным свидетельством о количестве читателей являются тиражи издававшихся книг и число подписчиков журналов. Количество последних колебалось от нескольких сотен («Вестник Европы», «Телескоп», «Современник») до нескольких тысяч («Московский телеграф», «Отечественные записки»). Самый популярный журнал – «Библиотека для Чтения» – насчитывал семь тысяч подписчиков. Обычные тиражи художественной литературы составляли несколько сотен экземпляров, тиражи сочинений Пушкина и Крылова не превышали тысячи двухсот экземпляров, тираж романа Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин» – четыре тысячи экземпляров – был просто беспрецедентным. По справедливости нужно отметить, что столь скромное количество людей, приобретающих книги, объясняется не только отсутствием у них интереса к чтению, но и отсутствием средств. При средней цене книги в десять рублей и средней зарплате чиновника в шестьдесят–восемьдесят рублей, покупка книг была для многих потенциальных читателей непозволительной роскошью⁶. Дешевле, чем у других книготорговцев, продавались книги в лавке А. Ф. Смирдина (1795–1857) – благодаря тому, что он был владельцем собственной типографии и переплетной мастерской. Недорого можно было приобрести книги у разносчика («ходебщика»), но в его мешке, в основном, находились случайные и очень потрепанные книги, не пользующиеся спросом у образованной публики⁷.

В Москве и, в особенности, в Петербурге в первой половине XIX в. существовали прекрасные государственные библиотеки: Императорская публичная библиотека, Библиотека Академии наук, книгохранилище Университета, многочисленные специальные библиотеки официальных учреждений и обществ, но пользоваться ими мог лишь тот, кто жил в одной из столиц, причем далеко не каждый желающий⁸. В 1830-х гг. Министерство внутренних дел выступило с инициативой создания губернских публичных библиотек, но финансовой поддержки оказано не было. В итоге библиотеки в ряде губерний открыли,

⁵ *Рейтблат А. И.* От Бовы к Бальмонту... С. 35.

⁶ О ценах на книги см. также в статье А. Ю. Балакина «Книгоиздание и книготоговля» (наст. изд., с. 000).

⁷ См.: *Булгарин Ф. В.* Букинист, или Разносчик книг // Булгарин Ф. В. Лицевая сторона и изнанка рода человеческого. СПб., 2009. С. 245–248.

⁸ См.: *Матвеева И. Г., Кардаш Е. В.* Библиотеки // Быт пушкинского Петербурга. Т. 1. СПб., 2003. С. 69–74.

однако книг там было мало, подбор их случаен, они не пользовались популярностью и вскоре почти везде закрылись.

Показательна история с попыткой создать публичную библиотеку в Оренбургском крае в 1834–1835 гг.⁹ Инициатива исходила от весьма влиятельных лиц: адмирала Н. С. Мордвинова, министра народного просвещения графа С. С. Уварова, военного губернатора Оренбурга графа П. П. Сухтелена и сменившего его на этом посту В. А. Перовского, предводителя Оренбургского дворянского собрания Н. А. Мансурова – каждый из них в той или иной степени старался помочь реализации этого проекта. Однако благие планы не смогли осуществиться: в Оренбурге не нашлось ни одного здания, пригодного для библиотеки, а призывы к пожертвованиям на строительство нового успеха не имели. В Уфе также ничего не получилось; гражданский губернатор Глевич категорически отказался работать в этом направлении: «...на сие имею честь донести, что завести ныне в Уфе публичную библиотеку для чтения невозможно, не столько от недостатка средств, сколько потому, что здесь все еще нет людей, занимающихся чтением; ибо все живущие в Уфе дворяне и чиновники все время свое посвящают исключительно службе, прочим же сословиям потребность чтения вовсе неизвестна»¹⁰.

Наиболее доступны для широкого читателя были коммерческие «библиотеки для чтения», находившиеся обычно при книжных лавках¹¹. За определенную плату и залог стоимости книги ее можно было взять на время для прочтения. В первой половине XIX в. такие библиотеки появляются не только в столицах, но и в крупных губернских городах: Одессе, Воронеже, Киеве, Нижнем Новгороде и др. Среди наиболее известных нужно отметить библиотеки В. С. Сопикова (1765–1818), И. П. Глазунова (1762–1831), В. А. Плавильщикова (1768–1823), после его смерти перешедшую к А. Ф. Смирдину. Однако в масштабах России это была капля в море. По примерным подсчетам А. И. Рейтבלата, в 1820–1830-х гг. одновременно существовало всего семь-десять библиотек для чтения, а число их читателей не превышало две-три тысячи человек. Жители российской провинции находились в особенно трудном положении: в большинстве средних и малых городов книжных магазинов и библиотек практически не существовало.

⁹ См.: *Столянский П.* Об устройстве библиотек в 30-х гг. прошлого столетия в Оренбургском крае // *Русский архив.* 1903. Кн. 2. № 6. С. 292—295.

¹⁰ Там же. С. 295.

¹¹ См.: *Рейтблат А. И.* Библиотеки для чтения и их читатель // *Рейтблат А. И., От Бовы к Бальмонту.* С. 54–72; *Денисенко С. В.* Книжная торговля // *Быт пушкинского Петербурга.* Т. 1. С. 291–295; *Балакин А. Ю.* Книгопечатание и книготорговля (наст. изд., с. 000).

Молодой петербургский морской офицер, поэт Матвей Александров, прибывший в мае 1827 г. по месту службы в Иркутск, в первые же дни на новом месте поинтересовался у хозяина своей квартиры, где здесь продаются книги? Вопрос был встречен с недоумением: «Книги, сударь, каких вам книг надобно?» «Разные книги, отвечал пораженный Александров, как в Москве и Петербурге, и в других больших городах России». — «Нет, сударь, возразил хозяин, здесь этаким товаром не занимаются. Не подходящая статья. Кто будет покупать здесь книги, кому и на что они?»¹²

Таким образом, российские читатели первой половины XIX в. находились в неравных и, в основном, неблагоприятных условиях. При этом во всех социальных и культурных слоях населения существовали свои читатели. Российская читающая публика была хотя и малочисленна, но разнообразна по своему составу. Ф. В. Булгарин выделял в ней четыре основные категории:

1. «Знатные и богатые люди», которые в основном читают иностранную книгу.

2. «Среднее состояние. Оно состоит <...> из: а) достаточных дворян, находящихся в службе, и помещиков, живущих в деревнях; б) из бедных дворян, воспитанных в казенных заведениях; в) из чиновников гражданских <...>; д) из богатых купцов, заводчиков и даже мещан. Это состояние самое многочисленное, по большей части образовавшееся и образующееся само собою, посредством чтения и взаимного сообщения идей, составляет так называемую русскую публику. Она читает много и большею частью по-русски. <...>

3. *Нижнее состояние.* Оно включает в себе мелких подьячих, грамотных крестьян и мещан, деревенских священников и вообще церковников и важный класс *раскольников* <...> Этот класс читает весьма много. Обыкновенное их чтение составляют духовные книги, странствия к Святым местам, весело-нравственные повествования и *все вообще, относящееся к внутреннему управлению России.* <...>

4. *Ученые и литераторы.* Численность «истинных ученых» и «Истинных литераторов» невелика¹³.

Ф. В. Булгарину в данном вопросе можно доверять: трезвый практический ум журналиста и издателя, нацеленного на коммерческий успех, позволял ему хорошо ориентироваться во вкусах и запросах читательской аудитории. Эта аудитория, как и русское общество в целом, характеризовалась огромным, часто непреодолимым разрывом между разными социальными слоями и группами.

¹² См.: Гуревич А. В. Старая Сибирь о Пушкине // А. С. Пушкин и Сибирь. М.; Иркутск, 1937. С. 46–47.

¹³ Булгарин Ф. В. О цензуре в России и книгопечатании вообще // Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение / Изд. подготовил А. И. Рейтблат. М., 1998. С. 45—47.

Лучше всего изучена столичная среда «ученых и литераторов», сведения о ней можно найти во множестве работ, посвященных литературной жизни, журнальной полемике, биографиям писателей и т. д. Именно здесь создавались писательские авторитеты, формировалось общественное мнение вокруг литературных новинок. Однако художественные запросы этих людей намного превышали запросы рядовых читателей. Круг чтения «нижнего состояния», очерченный Булгариным, носил специфический характер, слабо связанный с литературным фоном эпохи¹⁴. Таким образом, его вывод представляется убедительным: не узкий круг просвещенной элиты и не малочисленные грамотные крестьяне и подьячие, а именно «среднее состояние»¹⁵ составляло русскую читающую публику.

Между тем, внутри этой группы читателей существовали очень большие различия.

Даже в дворянском сословии встречались люди совершенно необразованные. М. С. Николева (в замуж. Транковская, 1810–1878) свидетельствовала: «В начале текущего столетия многие и состоятельные помещики не получали достаточного образования, иные по нерадению, другие по невозможности достать хороших преподавателей и учебников. Что же сказать про образование так называемых мелкопоместных дворян? Большая часть их дальше Псалтыря и Часослова не шла, а женщины, что называется, и аза в глаза не видали»¹⁶. Историк и бытописатель Сибири Э. И. Стогов (1797–1880) вспоминал об отце (он был поручик в отставке, глава уездного сословного суда): «Воспитание миновало его, церковную печать он читал свободно, ну, а гражданскую не очень быстро, да и считал греховным читать гражданскую книгу»¹⁷. О матери Стогов писал, что та «была очень образована, даже знала грамоте, что тогда считалось редкостью между женщинами. <...> Дедушка говорил, что в его время грамотная девушка не нашла бы жениха. – На что знать грамоте женщине? – спрашивал он. – Писать любовные письма? более не для чего»¹⁸.

В то же время в среде провинциальных помещиков были культурные семьи, имевшие хорошие домашние библиотеки и старавшиеся следить за книжными новинками¹⁹.

¹⁴ Свидетельства о чтении в крестьянской среде в основном духовной литературы см.: *Рейтблат А. И.* Книга и крестьянин: изменение отношения к чтению // *Рейтблат А. И.* От Бовы к Бальмонту. С. 136—139.

¹⁵ Булгарин называет эту часть общества «среднее состояние», имея в виду людей, находящихся по своему социальному положению и культурному уровню между интеллектуальной элитой и простым народом. «Среднее сословие» или «третье сословие», т. е. буржуазия, в России того времени еще не сформировалось.

¹⁶ Воспоминания Марии Сергеевны Николевой // *Русская старина*. 1893. № 9. С. 118.

¹⁷ Записки Э. И. Стогова // *Русская старина*. 1903. № 1. С. 140.

¹⁸ Там же. С. 142.

¹⁹ В эти годы существовали огромные личные библиотеки А. Д. Черткова (1789–1858); А. С. Норова (1795–1869), С. П. Шевырева (1806–1864), В. А. Соболевского (1803–

Поэт и переводчик М. А. Дмитриев (1796–1866), свидетельствовал, что домашние библиотеки существовали уже во второй половине XVIII в. «По деревням кто любил чтение и кто только мог заводился не большой, но полной библиотекой. Были некоторые книги, которые как будто почитались необходимыми для этих библиотек и находились в каждой. Они перечитывались по нескольку раз, всею семьею. Выбор был недурен и довольно основателен. Например, в каждой деревенской библиотеке непременно уже находились: “Телемак”, “Жилблаз”, “Дон-Кишот”, “Робинзон-Круз”, “Древняя Вивлиофика” Новикова; “Деяния Петра Великого” и с дополнениями, “История о странствиях вообще” Лагарпа, “Всемирный Путешественник” Аббата де ла-Порта и “Маркиз Г.”, перевод Ив. Перф. Елагина, роман умный и нравственный, но ныне осмеянный. Ломоносов, Сумароков, Херасков непременно были у тех, которые любили стихотворство»²⁰.

В XIX в. домашние библиотеки получают все большее распространение. Н. М. Карамзин писал: «Я знаю дворян, которые имеют ежегодного дохода не более 500 рублей, но собирают, по их словам, *библиотечки*, радуются ими и, между тем как мы бросаем куда попало богатые издания Вольтера, Бюффона, они не дадут упасть пылинке на самого “Мирамонда”; читают каждую книгу несколько раз и перечитывают с новым удовольствием»²¹.

Писатель и переводчик, профессор Варшавского университета Н. В. Берг (1823–1884) вспоминал о прекрасной библиотеке своего отца, губернатора Томска: «Я, можно сказать, жил в его кабинете, находясь, большею частию, подле его библиотеки, привезенной из России и состоявшей из редких книг. Там были все наши тогдашние классики, все знаменитое русское. Иностранных книг отец мой не имел, т. к. не знал ни одного иностранного языка. Предметом его восторженного поклонения был Державин, которого лучшие оды он знал наизусть и поминутно читал из них отрывки. Затем любил Крылова, Дмитриева, Ломоносова. Пушкин и Жуковский были, по его мнению, писатели неважные, мода на которых должна была пройти»²².

Генерал В. И. Ден (1823–1888) вспоминал о своем дяде помещике: «Безвыездно прожив в деревне несколько десятков лет, он постоянно следил за умственным движением

1870), Н. П. Румянцева (1754–1826). См.: *Кунин В. В.* Библиофилы пушкинской поры. М., 1979. В данном случае нас интересуют не научные собрания, а домашние библиотеки любителей чтения.

²⁰ *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 47.

²¹ *Карамзин Н. М.* О книжной торговле и любви ко чтению в России // Карамзин Н. М. Избр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 2. С. 177.

²² Посмертные записки Н. В. Берга // Русская старина. 1890. № 1. С. 309.

Европы, читал все, составил себе большую библиотеку, и я помню, как меня поражал его разговор или, правильнее сказать, рассказы...»²³

Мемуарист В. А. Инсарский (181–1882), чиновник, закончивший службу в должности московского почт-директора, был родом из небогатой дворянской семьи, детство свое провел в Пензе. Благодаря личным связям его отец составил неплохую библиотеку: «Покойный отец мой имел какие-то деловые сношения с Селивановским, содержанием известной типографии в Москве. Селивановский, очень хорошо помню, высылал нам множество книг, которые, так сказать, поглощались мною вследствие какого-то неудержимого стремления, одолевавшего меня с ранних лет, читать всевозможные книги»²⁴.

А. Н. Афанасьев (1826–1871), выдающийся российский фольклорист, провел детство в городе Богучар Воронежской губернии, где его отец служил уездным стряпчим. «Отец мой, хотя сам был воспитан на медные деньги, но уважал образование в других. Такое уважение, кажется, наследовал он от деда, который был членом Библейского общества, и от которого осталась довольно порядочная по тому времени библиотека, составленная из русских книг; между ними больше всего было переводных романов, но попадались и книги серьезного, исторического и мистического содержания. Отец тоже любил чтение и постоянно выписывал лучшие журналы». По наблюдениям мальчика, другие чиновники «о чтении не думали, и литература была для них совершенная terra incognita»²⁵.

Н. И. Второв (1818–1865), краевед, историк и этнограф, провел детство и юность в Самаре, а затем в Казани. Его отец, Иван Алексеевич Второв, городничий Самары, был одним из образованнейших людей своего времени, имевшим обширные литературные знакомства. «У отца была хорошая библиотека, богатая французскими классиками, русскими периодическими изданиями, начиная от Петровских “курантов” до “Библиотеки для чтения” Сенковского, занимала все четыре стены особенной комнаты»²⁶.

Историк церкви и специалист по агиографии М. В. Толстой (1812–1896), рассказывая о своем детстве, вспоминал, что в их имении Каменка под Москвой была «библиотека во всю ширину дома <...> наполненная множеством книг в четырех огромных шкафах...»²⁷

²³ Записки В. И. Дена // Русская старина. 1890. № 1. С. 61.

²⁴ Записки В. А. Инсарского // Русская старина. 1894. № 1. С. 10.

²⁵ Из воспоминаний А. Н. Афанасьева // Русский архив. 1872. № 3—4. Стб. 814.

²⁶ Второв Н. И. Автобиография (1818–1834) // Русский архив. 1878. Кн. 2. № 6. С. 154–155.

²⁷ Толстой М. В. Мои воспоминания // Русский архив. 1881. Кн. 1. № 2. С. 260.

Иногда хорошие библиотеки обнаруживались в совсем глухих уголках. Например, в мемуарах помещика и общественного деятеля В. А. Шомпулева (1830–1913) упоминается «обширная библиотека» в помещичьем доме его прабабки в селе Мангушево Сергачевского уезда Нижегородской губернии²⁸.

Подбор книг зависел, разумеется, от владельца библиотеки и порой, видимо, имел специфический характер. Мемуарист, живший в детстве в подмосковной деревне своих родственников, вспоминал: «Тут же была и библиотека тетушки, оставленная ее родителем. Заглавий книг теперь не припомню, но хорошо помню их содержание, потому что мне давали читать их. Дело в том, что сколько раз я ни принимался за них, всегда находил одно и то же – неистовые ругательства на Наполеона...»²⁹

Домашние библиотеки были, чаще всего, в дворянских семьях, но книги собирали и богатые образованные купцы. Например, иркутский купец В. И. Баснин, имел хорошую библиотеку, в которую входили «Бахчисарайский фонтан», «Евгений Онегин», «Руслан и Людмила», «Цыганы» и «Граф Нулин» Пушкина³⁰.

Образованные люди, собиравшие книги, встречались и среди провинциального духовенства. Историк и археолог Н. Н. Мурзакевич (1806–1883), сын смоленского священника, вспоминал: «Большая библиотека отцовская, наполненная всеми полезными книгами, имела отдел историко-географический. Возможно хороший». В 1818–1820 гг. священник состоял в ученой переписке с канцлером графом Н. П. Румянцевым, который часто дарил ему книги, касающиеся отечественной истории; в частности, прислал первые восемь томов «Истории Государства Российского» Карамзина³¹.

Характерно, что владельцами почти всех перечисленных домашних библиотек были мужчины, они имели гораздо больше возможностей получить хорошее образование и распоряжаться своими средствами. Между тем, в первой половине XIX в. все более заметную роль в обществе начинают играть читательницы-женщины.

По наблюдениям Ю. М. Лотмана, русская женщина сделалась читательницей в 70–90-е гг. XVIII в. Решающую роль сыграла здесь просветительская деятельность Н. И. Новикова и Н. М. Карамзина. Новиков создал целую библиотеку для женского чтения, призванную вооружить женщину – мать и хозяйку – полезными знаниями и нравственными правилами. Карамзин, отойдя от прямой дидактики и нравоучительности, в своих

²⁸ Шомпулев В. А. Типы и картинки прошлого: (Из записок старого помещика) // Русская старина. 1897. № 10. С. 340.

²⁹ А. Н. К. Кое-что из прошлого // Русский архив. 1879. Кн. 2. № 6. С. 228.

³⁰ См.: Гуревич А. В. Старая Сибирь о Пушкине. С. 49–50.

³¹ Мурзакевич Н. Н. Автобиография // Русская старина. 1887. № 1. С. 34–35.

произведениях обращался к драматическим любовным сюжетам, рассчитанным в первую очередь на женское сопереживание³².

Героиня пушкинского «Романа в письмах», Лиза, живущая в провинции, пишет подруге: «...вообще здесь более занимаются словесностью, чем в Петербурге. Здесь получают журналы, принимают живое участие в их перебранке, попеременно верят обеим сторонам, сердятся за любимого писателя, если он раскритикован. Теперь я понимаю, почему Вяземский и Пушкин так любят уездных барышень. Они их истинная публика»³³. Представление о литературных вкусах «уездных барышень» дает библиотека Осиповых-Вульф в Тригорском, подробное описание которой было сделано Б. В. Модзалевским. По наблюдениям ученого, в ней «количество романов и вообще произведений изящной литературы XVIII и начала XIX веков значительно превосходит число книг других отделов». При просмотре книг этой библиотеки перед нами проходит «целая галерея романических героев»³⁴. Пушкин был хорошо знаком с библиотекой Тригорского, справедливо отмечалось, что ее состав во многом определил круг чтения героини романа «Евгений Онегин» Татьяны Лариной:

Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли все;
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона и Руссо.³⁵

На иностранных романах были воспитаны и другие героини произведений Пушкина: Мария Гавриловна («Метель»), Лиза («Роман в письмах»), Маша Троекурова («Дубровский»), Полина («Рославлев»), Вольская («Гости съезжались на дачу...»)³⁶. Читательские вкусы пушкинских героинь, очевидно, были типичны для барышень того времени.

Н. М. Колмаков (1816–1896), литератор и чиновник Министерства юстиции, в детстве по семейным обстоятельствам жил одно время у тетушки Марии Ивановны Атрешковой, в селе Березе около города Глухова. Образованием мальчика руководила дочь Марии Ивановны, Елизавета. «Девушка эта, преисполненная романтизма, занялась в

³² См.: Лотман Ю. М. Женский мир // Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 1994. С. 54–55.

³³ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1948. Т. 8. С. 50.

³⁴ Модзалевский Б. Л. Поездка в село Тригорское в 1902 году (Отчет Отделению русского языка и словесности Императорской Академии наук) // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1903. Вып. 1. С. 12.

³⁵ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 44.

³⁶ См.: Сиповский В. В. Онегин, Татьяна и Ленский: (К литературной истории пушкинских «типов») // Сиповский В. В. Пушкин. Жизнь и творчество. СПб., 1901. С. 558–562.

особенности мною, – я в самое короткое время прочел с нею все тогдашние романы, бывшие в доме тетушки...»³⁷.

М. С. Николева в своих воспоминаниях приводит забавный случай: «Римские-Корсаковы хорошо платили гувернантке Филипьевой, кончившей курс в институте, а именно 4000 рублей. Филипьева напишет, бывало, каталог будто бы нужных руководств по языкам, а когда книги выпишут, они окажутся романами, которые гувернантка и читает»³⁸.

Н. П. Бревен (урожд. Глебова-Стрешнева, предположительно, 1790–1840) вспоминала о своей бабушке: Елизавета Петровна «читала весьма мало, в руках у нее видели только романы госпожи Радклиф, но она говорила с восторгом о Шатобриане и, казалось, хорошо знала его творения»³⁹.

Впрочем, романы читали и мужчины, хотя, видимо, меньше об этом говорили. Зачитывались романами пушкинские герои: Сильвио («Выстрел»), Владимир («Роман в письмах»), Алексей («Барышня-крестьянка»). Письмо Германна Лизе было «слово в слово взято из немецкого романа»⁴⁰ («Пиковая дама»), а любовное признание Бурмина напомнило Марии Гавриловне первое письмо героя «Новой Элоизы» Ж.-Ж. Руссо («Метель»)⁴¹.

По свидетельству военного историка, академика Н. Ф. Дубровина (1837–1904), провинциальные помещики «Читали только романы, покупая их почти на пуды у купцов, приезжавших с товаром»⁴². Романы были вообще любимым чтением российской публики. Н. М. Карамзин писал: «Любопытный пожелает, может быть, знать, какого роду книги у нас более всего расходятся? Я спрашивал о том у многих книгопродавцев, и все, не задумавшись, отвечали: “Романы!” Не мудрено: сей род сочинений, без сомнения, пленителен для большей части публики, занимая сердце и воображение, представляя картину света и подобных нам людей в любопытных положениях, изображая сильнейшую и притом самую обыкновенную страсть в ее разнообразных действиях. Не всякий может философствовать или ставить себя на месте героев истории; но всякий любит, любил или хотел любить и находит в романическом герое самого себя. Читателю кажется, что автор говорит ему языком собственного его сердца; в одном романе питает надежду, в другом — приятное воспоминание».⁴³

³⁷ Очерки и воспоминания Н. М. Колмакова // Русская старина. 1891. № 2. С. 38.

³⁸ Воспоминания Марии Сергеевны Николевой. С. 155.

³⁹ Елизавета Петровна Глебова-Стрешнева (1751–1837). По воспоминаниям ее внучки Н. П. Бревен // Русский архив. 1895. Кн. 1. № 1. С. 97.

⁴⁰ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 237.

⁴¹ См.: Сиповский В. В. Онегин, Татьяна и Ленский. С. 558.

⁴² Дубровин Н. Ф. Русская жизнь в начале XIX века // Русская старина. 1899. № 1. С. 31.

⁴³ Карамзин Н. М. О книжной торговле и любви к чтению в России. С. 178.

В пристрастии публики к романам Карамзин не видел ничего предосудительного: «Не знаю, как другие, а я радуюсь, лишь бы только читали! И романы, самые посредственные, — даже без всякого таланта писанные, способствуют, некоторым образом, просвещению. Кто пленяется “Никанором, злосчастливым дворянином”, тот на лестнице умственного образования стоит еще ниже его автора, и хорошо делает, что читает сей роман: ибо, без всякого сомнения, чему-нибудь научается в мыслях или в их выражении. Как скоро между автором и читателем велико расстояние, то первый не может сильно действовать на последнего, как бы он умен ни был»⁴⁴.

Имеющиеся в нашем распоряжении мемуарные свидетельства принадлежат, в основном, образованным и известным людям. Это естественно: люди ничем не знаменитые и не имеющие литературных наклонностей, мемуаров не публиковали, хотя, по всей вероятности, любители чтения были и среди них.

Характерно, что с домашними библиотеками чаще всего связаны детские воспоминания. Ю. М. Лотман писал: «Ворвавшись в жизнь ребенка в 1780-х годах, книга стала к началу следующего столетия обязательным спутником детства. У ребенка были очень интересные книги, — конечно, прежде всего, романы...»⁴⁵. Счастливая возможность читать книги дома давала детям живые и яркие впечатления, остававшиеся на всю жизнь. А. Н. Афанасьев вспоминал: «Пользуясь дедушкиной библиотекой, я рано, с самых нежных детских лет, начал читать, и как теперь помню, бывало тайком от отца (мать моя умерла очень рано) уйдешь на мезонин, где помещались шкапы с книгами, и зимою в нетопленной комнате, дрожа от холода, с жадностью читаешь какого-нибудь “Старика везде и нигде”, “Мальчика у ручья” Коцебу, “Разбойника в неволе”. Такого полного наслаждения не испытывал я после, даже читая действительно художественные произведения. Что нравилось в этих книгах, сказать нелегко <...>. Готов я был долго просиживать за книгою и забывал самый голод, и нередко приходил отец и прогонял меня с мезонина, отнимая книги, читать которые он постоянно запрещал, в чем и прав был: книги были не по возрасту. Но запрещения эти действовали плохо: шкапы не запирались, и страсть неутомимо подталкивала идти на мезонин».⁴⁶

Мемуаристка Т. П. Пассек (урожд. Кучина, 1810–1889) в детстве училась в пансионе в Москве, на воскресенья и праздники ее забирали или к княгине Хованской, или к И. А. Яковлеву, с которым она состояла в родстве. В обоих домах были хорошие библиотеки. «Видя мою страсть к чтению, князь давал мне читать повести и рассказы из своей

⁴⁴ Там же. С. 177–178.

⁴⁵ Лотман Ю. М. Женский мир // Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. С. 62.

⁴⁶ Из воспоминаний А. Н. Афанасьева. С. 814–815.

библиотеки <...> Я целые часы до того зачитывалась, что меня точно в доме не было. <...> Чтобы развлечь меня, дядя отдал в мое распоряжение шкаф, наполненный книгами с самыми заманчивыми названиями»⁴⁷. В доме И. А. Яковлева девочка подружилась с его сыном Сашей Герценом. «Первая прочитанная им книга была “Лолота и Фанжан”. Он был от нее в восторге, пересказывал мне ее содержание, советовал прочитать. За “Лолотой” следовал “Алексис, или Домик в лесу” <...> он пустился читать без устали, понимая, не понимая, старое, новое, трагедии Сумарокова, “Россиаду”, “Российский театр”, etc, etc.»⁴⁸.

Как видим, чтение даже самых примитивных произведений ничуть не препятствовало дальнейшему интеллектуальному и художественному развитию ребенка. Хотя, конечно, здесь речь идет о детях одаренных и неординарных.

Определенный читательский опыт приобретался молодыми людьми, разумеется, в учебных заведениях. В России первой половины XIX в. существовала широкая сеть различных образовательных учреждений: приходские и уездные училища, семинарии, гимназии, частные пансионы, военные училища, институты благородных девиц. Особое место занимали Царскосельский лицей, Университетский благородный пансион, Московский, Петербургский и Казанский университеты, Академия художеств. Единых программ обучения не существовало, объем и характер сведений по литературе, предлагаемых ученикам, зависел от уровня образования и художественных вкусов преподавателей, а также от имеющегося в их распоряжении книжного фонда. Разница между учебными заведениями в этом отношении была огромной.

В привилегированных учебных заведениях чтение книг поощрялось, а воспитанники и сами увлекались литературой. Выделялся в этом отношении Царскосельский лицей, где чтение и собственные занятия литературой были одной из важнейших сторон жизни воспитанников⁴⁹. Литературе придавалось особое значение и в Московском университетском Благородном пансионе. М. А. Дмитриев, учившийся там в 1812 г., вспоминал: «Тогда (и во время Жуковского, и в мое) обращалось преимущественное внимание на образование литературное. Науки шли своим чередом; но начальник пансиона, незабвенный Антон Антонович Прокопович-Антонский⁵⁰ находил, кажется, что

⁴⁷ Воспоминания Т. П. Пассек // Русская старина, 1873. № 2. С. 183, 194.

⁴⁸ Там же. С. 203.

⁴⁹ См., например: *Анненков П. В.* Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 46–47; *Грот Я. К.* Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1899; *Пушкин И. И.* Записки о Пушкине // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1. С. 84, 94.

⁵⁰ А. А. Прокопович-Антонский (1762–1848), видный российский публицист и педагог, ректор Московского университета, с 1791 по 1826 г. – инспектор, затем директор Благородного пансиона.

образование общее полезнее для воспитанников, чем специальные знания: по той причине, что первое многостороннее и удовлетворяет большому числу потребностей, встречающихся в жизни и в службе»⁵¹. Российскую словесность преподавал известный поэт и литературный критик А. Ф. Мерзляков (1778–1830), о котором мемуарист сохранил благодарные и даже восторженные воспоминания. Позже (в 1813–1817-х гг.) Дмитриев слушал его лекции и в университете. «Живое слово Мерзлякова и его неподдельная любовь к литературе были столь действенны, что воспламеняли молодых людей к той же неподдельной и благородной любви ко всему изящному, особенно к изящной словесности! Его одна лекция приносила много и много плодов, которые созревали и без его пособия»⁵².

Одним из самых привилегированных учебных заведений столицы было Императорское училище правоведения, основанное в 1835 г. В. В. Стасов (1824–1906), музыкальный и художественный критик, учившийся в нем в 1837–1842-х гг., рассказывал об увлечении воспитанников чтением. Библиотека в училище была маленькая, и когда запас книг в ней иссяк, ученики решили завести у себя в классе собственную библиотеку, учредив для покупки книг ежемесячный взнос. Был создан своего рода библиотечный совет, занимавшийся выбором и покупкой книг, соблюдением очереди читающих и проч. Особенной популярностью пользовались сочинения Пушкина и Гоголя. Из иностранных писателей в классной библиотеке постепенно собирались произведения Шекспира, Гофмана, В. Гюго, В. Скотта, Ф. Купера.⁵³

В ряде военных училищ кадеты также имели возможность получить хорошее гуманитарное образование.

А. А. Стахович (1830–1913), шталмейстер двора его императорского величества, окончив Николаевское кавалерийское училище, стал не только одним из главных конезаводчиков России, но и страстным театралом и прекрасным чтецом. Не удивительно, ведь согласно воспоминаниям Стаховича, он и его ровесники «учились и развивались» по произведениям «Шекспира, Мольера, Шиллера, Гоголя, Грибоедова, Островского»⁵⁴.

Г. И. Филипсон (1809—1883), генерал от инфантерии, сенатор, обучавшийся в юнкерском училище в Могилеве, рассказывал, что он и его однокашники «...часто проводили вечер у подпоручика Мызникова, одного из учителей младшего класса

⁵¹ Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 181–182.

⁵² Там же. С. 160.

⁵³ См.: Стасов В. В. Училище правоведения сорок лет тому назад // Стасов В. В. Избр. соч.: В 3 т. М., 1952. Т. 2. С. 330–333; 341.

⁵⁴ Стахович А. Ключки воспоминаний // Русская старина. 1896. № 4. С. 61.

юнкерской школы. Эти вечера проходили в чтениях русских авторов, в литературных и других прениях»⁵⁵.

Генерал-майор П. А. Семенов, учившийся в Кадетском корпусе в 1824–1829 гг., вспоминал: «...занятия словесными науками и изучение современной нам литературы, так сказать, царили над прочими. Личность Ломоносова, особенно по сравнению с Тредьяковским, мы чуть не боготворили. Благоговели и пред полетом Державина. За чтением Карамзина и Пушкина, когда удавалось добыть новое в печати, то бывало не до ужина и не до сна. Из Пушкина, Грибоедова, Рылеева, Козлова, Баратынского знали на память по целым пьесам. Марлинским (Бестужевым) увлекались не менее, чем Карамзиным, читали Гнедича, исторические романы Загоскина и Полевого...»⁵⁶.

По воспоминаниям актера и драматурга П. А. Каратыгина (1805–1879), адмирал И. Ф. Крузенштерн (1770–1846), следуя совету Николая I, ввел в Морском кадетском корпусе занятия декламацией и предложил вести их Каратыгину. «Я занимался с гардемаринами по два и по три часа в неделю, заставлял их читать Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Кукольника, Полевого и других, давал им выучивать целые сцены»⁵⁷.

Ученики провинциальных гимназий и семинарий находились в гораздо худшем положении. А. Н. Афанасьев, учившийся в Воронежской губернской гимназии, вспоминал, что преподаватель российской словесности заставлял главным образом молиться и переписывать разные места из Евангелия и других церковных книг. «Книг нам читать он почти не давал из гимназической библиотеки, хотя мы и приставали с просьбами о том, и сам в классе не знакомил с русскими писателями. Исключение делалось только в пользу Муравьева и Жуковского. Пушкина называл он безбожником, романы считал ересью»⁵⁸.

Н. Н. Мурзакевич, благодаря отцовской библиотеке, с детства пристрастившийся к чтению, во время обучения в Смоленской духовной семинарии был лишен такой возможности: «Библиотека семинарская была недоступна даже преподавателям, да в ней кроме латыни ничего другого не было. Русские книги стали выписываться и высылаться из Петербурга только около 1820 г.»⁵⁹.

Н. А. Щеховский, обучавшийся в Смоленской губернской гимназии в 1840-х гг. и живший при ней в пансионе, сетовал, что «книги для чтения давались нам из особой, собственно пансионной библиотеки, но, сколько мне помнится, выбор их зависел от

⁵⁵ Воспоминания Г. И. Филипсона // Русский архив. 1883. Кн. 2. № 5. С. 105.

⁵⁶ Семенов П. А. Воспоминания о Кадетском корпусе: 1824–1829 // Русская старина. 1882. № 11. С. 361–362.

⁵⁷ Каратыгин П. А. Записки. СПб., 1880. С. 49.

⁵⁸ Из воспоминаний А. Н. Афанасьева. С. 836.

⁵⁹ Мурзакевич Н. Н. Автобиография. С. 35.

начальства и был довольно ограничен». Тем не менее, и там можно было найти замечательные произведения: «Я помню, что именно в пансионе прочел в первый раз “Вечера на хуторе близ Диканьки” и до сих пор еще не позабыл, как билось сердце и поднимались от ужаса волосы во время вечернего чтения “Страшной мести”, “Вия” или даже “Сорочинской ярмарки”»⁶⁰. Насколько можно судить по изданию: «Прозаические сочинения учеников Иркутской гимназии, писанные под руководством старшего учителя российской словесности Ивана Полексеньева» (СПб., 1836 г.), в иркутской гимназии, в соответствии с литературными вкусами учителя, внимание учащихся было сосредоточено на Державине, Крылове, Ломоносове. Лишь двое гимназистов упоминали о Пушкине⁶¹.

Девочки могли получить образование в Институтах благородных девиц. В программу входило изучение русской словесности, но качество обучения зависело только от преподавателей, среди которых встречались самые разные люди. В Екатерининском институте, по воспоминаниям А. О. Смирновой-Россет (1809–1882), учителя были грубы и невежественны и привить воспитанницам любовь к чтению, конечно, не могли⁶². В Смольном институте, напротив, такие профессора, как А. В. Никитенко (1804–1877) и П. А. Плетнев (1791–1866) стремились знакомить воспитанниц с лучшими произведениями русских писателей и пробуждать в них любовь к литературе. О том, насколько горячий отклик находили в воспитанницах эти усилия, можно судить по воспоминаниям Никитенко, где он пишет об энтузиазме, благодарности и трогательных знаках внимания со стороны своих учениц⁶³.

Можно не сомневаться, что ученицы Никитенко или Плетнева на всю жизнь сохранили привычку к чтению. К несчастью, не все юные девушки, даже и дворянского сословия, имели в то время возможность получить хорошее образование, тем большего внимания заслуживают беглые упоминания о тех из них, кто самостоятельно пристрастился к чтению.

Г. И. Филипсон вспоминал о своей матери: «...образование ее, как и большей части дворянок того времени состояло в том, что крепостной лакей ее отца, Иванушка-Хороший, научил ее читать и писать. Она была женщина очень неглупая и чтением кое-что добавила к своему образованию»⁶⁴. М. С. Николева рассказывает, что после того, как гувернантку,

⁶⁰ <Щеховский Н. А.> Воспоминания, мысли и признания человека, доживающего свой век смоленского дворянина // Русская старина. 1895. С. 102.

⁶¹ Гуревич А. В. Старая Сибирь о Пушкине. С. 49–50.

⁶² См.: Смирнова А. О. Автобиографические записки // Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1982. С. 127–128 (сер. «Литературные памятники»).

⁶³ См.: Никитенко А. В. Дневник. М., 1955. Т. 1. С. 206–207.

⁶⁴ Воспоминания Г. И. Филипсона. С. 75.

тайком выписывавшую французские романы, уволили, ее воспитанницы, «девицы, от природы неглупые, сами докончили свое образование, много читая»⁶⁵.

В галерее российских читателей рассматриваемой эпохи мы видим людей столь разных, что их трудно объединить какой-то общей характеристикой.

М. С. Николева писала о своем отце: «Он любил хозяйство и был хорошим агрономом-практиком, что не мешало ему много читать; особенно просиживал он ночи над любимыми писателями того времени, Вольтером, Даламбером и Дидро с братией»⁶⁶. Она же вспоминала о необычном дворовом человеке помещиков Хлюстиных, по имени Финоген, который учил хозяйских дочек музыке: «это был ученик Штейбельта, потом Фильда, которые оба его очень любили и развили в нем не только страсть к музыке, но и к серьезному чтению <...> Любитель чтения, он принужден был каждый раз просить у своей барыни, Натальи Васильевны Хлюстиной, ключ от библиотеки, что его стесняло, и он стал таскать ключ потихоньку, после чего книги ему не стали давать»⁶⁷.

Книгочеи среди дворовых людей встречались, наверное, нечасто, но и не были явлением совершенно исключительным. Например, по свидетельству современницы, в усадьбе В. И. Киреевского (1773–1812), в селе Долбине «Из пятнадцати человек мужской комнатной прислуги шесть были грамотны и охотники до чтения (это за 70 слишком лет до теперешнего времени); книг и времени было у них достаточно, слушателей много»⁶⁸.

Удивительная история, связанная с книгами, рассказана М. В. Толстым о своем отце, человеке образованном и любящем литературу. «Отец <...> часто по вечерам рассказывал мне целые повести из русской истории, из мифологии, из истории Троянской войны <...> Он читал мне стихи, и я, прослушавши их два или три раза, знал их наизусть. Так выучил я балладу “Людмила” Жуковского; “Прощание Гектора с Андромахой” Карамзина и много других русских пьес; а на французском несколько сцен из “Гофоли” и “Федры” Расина»⁶⁹. Отец его считался вольтерьянцем и вольнодумцем, но внезапно отказался от прежних идеалов. В воспоминаниях сына это перерождение сопровождалось мистическими событиями. Отец, несколько лет избегавший причастия, на Страстной неделе вздумал говеть и во время богослужения заметно нервничал, то краснел, то бледнел. Позже он рассказал, что во время молитвы ему непрестанно вспоминались нечестивые и богохульные мысли, вычитанные им в произведениях Вольтера и других французских вольнодумцев.

⁶⁵ Воспоминания М. С. Николевой. С. 155.

⁶⁶ Там же. С. 115.

⁶⁷ Там же. С. 149.

⁶⁸ Черты старинного дворянского быта. (К рассказам и анекдотам г-жи Толычевой о В. И. Киреевском) // Русский архив. 1875. Кн. 5. № 8. С. 480.

⁶⁹ Толстой М. В. Мои воспоминания. С. 261.

«На Святой неделе посетил нас христианский философ Федор Александрович Голубинский. Узнав от отца моего, что вытерпел он за чтение безбожных книг, он советовал не только не заглядывать в них, но и не держать их при себе. Большой костер с книгами полыхал во дворе»⁷⁰. Костер с книгами, полыхающий во дворе провинциального русского помещика первой половины XIX в., кажется каким-то фантастическим прологом к трагическим событиям европейской истории середины XX в.

С этой мрачной картиной резко контрастируют мирные домашние сцены, описываемые М. А. Дмитриевым: «Я помню и деревенские чтения романов. Вся семья по вечерам садилась в кружок, кто-нибудь читал, другие слушали; особенно дамы и девицы. Какой ужас распространяла славная г-жа Радклиф. (*Славная* – печаталось иногда при ее имени на заглавии книги.) Какое участие принимали в чувствительных героинях г-жи Жанлис! “Страдания Ортенберговой фамилии” и “Мальчик у ручья” Коцебу решительно извлекали слезы! Дело в том, что при этом чтении, в эти минуты вся семья жила сердцем, или воображением, и переносилась в другой мир, который на эти минуты казался действительным; а главное, чувствовалось живее, чем в своей однообразной жизни»⁷¹.

В то время как простодушные деревенские жители просто получали удовольствие от чтения книг, столичные читатели, соответственно своим литературным вкусам, делились на непримиримые враждующие партии. В воспоминаниях Стасова рассказывается о жарких спорах («до пота на лице и на ладонях, до сверкающих глаз и глухо начинающейся ненависти и презрения») между ним и пожилыми людьми, с которыми он встречался в петербургских домах. Юный Стасов с азартом защищал кумиров молодежи – Гоголя и В. Гюго – от «отсталых педантов», которые, впрочем, никогда не затыкали ему рот и позволяли спорить со старшими на равных⁷².

Литературные дебаты, хотя и куда более спокойные, случались не только в гостинных столицы, но и в домах далеких сибирских городков.

В. Д. Соломирский (1802–1884), путешественник и поэт-дилетант, в своем письме к Пушкину от 17 июля 1835 г. из Тобольска рассказывает, что среди его гостей возник спор о поэте. Высоко отзывался о Пушкине П. А. Словцев, «старец знаменитый», соученик и бывший друг М. М. Сперанского. Хозяин предложил гост за здоровье поэта, и каждый из присутствующих (среди них был учитель русского языка) произнес свое пожелание (всеобщей любви, долгой жизни, благодарного потомства и проч.). «Это письмо как доказательство того, что и в глубине России, на границах Европы с Азией, не токмо есть

⁷⁰ Там же. С. 268.

⁷¹ *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. С. 48.

⁷² См.: *Стасов В. В.* Училище правоведения сорок лет тому назад. С. 339.

просвещение, но и того, что степень сего просвещения довольно значительна, чтобы люди могли и умели ценить таланты...». ⁷³

Конечно, в «глубине России» просвещенных людей было совсем немного, однако приведенные нами мемуарные свидетельства говорят о том, что потребность чтения существовала в разных сословиях, пусть и в лице немногих их представителей, но удовлетворить эту потребность было нелегко. Образованием читающей публики в те годы почти не занимались, российские власти в этом отношении действовали вяло и несогласованно. Как справедливо замечал Вяземский, люди «читают дурное за неимением хорошего». ⁷⁴

Вопрос о вкусах и запросах читателей, конечно, возникал и раньше. Один из первых российских библиографов В. С. Сопиков (1768–1818) в «Предуведомлении» к своему труду с огорчением отмечал: «...нельзя не заметить почти общего крайнего равнодушия наших русских читателей даже к превосходным и единственным в своем роде творениям, каковы, например, из древних сочинения Платоновы, Иродотовы, Исиодовы, Ксенофоновы, Цицероновы, Цезарева, Горациевы, Саллустиевы, Тацитовы и другие подобные, из коих многие, продаваясь по самой дешевой цене, в течение 20, 30, 40 и даже 50-ти лет не были раскуплены и, к удивлению, после проданы были пудами на оберточную бумагу, а некоторые не распроданы и донныне. Напротив того, Сонники, Оракулы, Чародеи, Хиромантики, Ворожеи, Кабалистики и прочие сего рода сочинения имеют удивительный расход» ⁷⁵.

Искреннее огорчение В. С. Сопикова понятно, но немного наивно. Разумеется, число читателей, интересующихся Платоном и Горацием, всегда будет значительно меньше не только любителей «Сонников» и примитивной кабалистики, но и поклонников любовных романов и детективов. Соотношение элитарных и рядовых читателей, скорее всего, остается приблизительно одинаковым на любом историческом отрезке времени. К тому же, между ними нет непреодолимой границы.

Карамзин, как уже было сказано, приветствовал чтение любых произведений, пусть и невысокого художественного уровня. Мудрая и демократичная позиция Карамзина отрицает интеллектуальную нетерпимость: каждый человек имеет право читать то, что ему нравится, а чтение, даже самое незатейливое, всегда приносит пользу. Важно только, чтобы у людей была возможность выбора. В России первой половины XIX в. именно этой

⁷³ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 40.

⁷⁴ Русский архив. 1900. Кн. 2. С. 191 (письмо к В. А. Жуковскому от 27 августа 1823 г.).

⁷⁵ Сопиков В. С. Опыт российской библиографии... СПб., 1814. Ч. 2. С. VI.

возможности у любителей чтения и не было. Как мы видели, в большинстве своем они читали те книги, что случайно попадали им в руки⁷⁶, находились в домашних книжных собраниях или в небогатых библиотеках училищ и гимназий. Сохранившиеся сведения об этой читательской аудитории случайны и отрывочны, их недостаточно для статистического и социологического анализа. Однако было бы неправильно и несправедливо вовсе не принимать тех читателей во внимание.

Мальчик, с книгой в руках забывавший о голоде и холоде, дворовый человек, тайком пробиравшийся в господскую библиотеку, гувернантка, хитростью достававшая французские романы, провинциальный помещик, просиживающий ночи над Дидро и Вольтером, сибирский купец, собирающий сочинения современных авторов – все они были незаметными, но полноправными участниками культурного процесса. Это их жадная любознательность, их требующее пищи воображение, их бескорыстное стремление к знаниям постепенно меняли саму атмосферу в обществе. Не только знаменитые писатели, журналисты и критики, но и безвестные читатели – старые барыни и священники, кадеты и гимназисты, институтки и офицеры, уездные барышни и городские чиновники, разбросанные по разным уголкам огромной, в основном неграмотной страны – готовили тот взрыв интереса к литературе, который произойдет в России во второй половине XIX в.

⁷⁶ Примером может служить уже упоминавшийся молодой офицер Г. И. Филипсон, проходивший службу в провинции: для удовлетворения страсти к чтению ему оставался лишь сундук с книгами, принадлежавший жене батальонного командира. «Большой частью это были старые французской и русской беллетристики. Выбор был скудный, но я до того времени так мало читал, что рад был и этому» (Воспоминания Г. И. Филипсона. С. 113).

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗОЛОТОГО ВЕКА

Возникновение детской литературы как таковой следует признать важным наследием XVIII века¹. Эпоха Просвещения, видевшая в детской книге прежде всего инструмент педагогики, тем не менее создала детскую литературу как новую составляющую литературного процесса. Эта область художественного творчества, обладая особой прагматикой, развивалась в общем русле изящной словесности. Ориентируясь на свои представления о том, что доступно и полезно читателю-ребенку, а также учитывая, едва ли не в первую очередь, горизонт ожидания взрослых читателей детской книги, авторы адаптировали для детского чтения идеи и художественные приемы того или иного литературного направления, что в отдельных случаях приводило к созданию уникальных жанровых форм и приемов поэтики.

Запрос на национальную аутентичность в русской литературе отчетливо прозвучал уже в последней трети XVIII в. В сфере детской литературы он обозначился несколько позже (детская литература XVIII в. преимущественно являлась переводной и заимствованной из европейской литературы, как детской, так и взрослой). Появление категории «национального» в русской детской литературе первой четверти XIX в., поиски художественных форм для её воплощения совпадают с основными траекториями российского литературного процесса этого периода. И литераторы, близкие к «Беседе любителей русского слова», возглавляемые А. С. Шишковым, и полемизирующие с ними карамзинисты, и стоящие на более нейтральных позициях участники кружков А. Н. Оленина, А. А. Палицина требуют в сущности одного – интенсификации развития «национальной», оригинальной русской литературы, хотя и подходят к решению этой задачи с разных позиций. Запрос на «строительство национальной литературы», находит свое отражение и в литературной

¹ Определение «детская литература», ставшее начиная с 1830-х гг. предметом оживленных споров в педагогической и литературной критике, остается дискуссионным и сегодня. Мы опираемся на концепцию, выделяющую детскую литературу из общего книжного массива на основании её адресата – читателя-ребенка, ориентируясь на которого, писатель создает текст, учитывающий специфику читательской рецепции. Поэтому в настоящем разделе не будут рассматриваться басни Крылова, баллады и сказки Жуковского, стихи и сказки Пушкина, «Конек-Горбунок» Ершова, которые во второй половине XIX в. вошли в круг хрестоматийного русского детского чтения, но изначально создавались авторами для взрослого читателя.

критике², которой, впрочем, детская литература в тот период была еще лишена. Авторы детских книг, обращаясь к темам национальной истории и национального ландшафта, пытаясь описать «русское детство», совпадают в своих исканиях с общим литературным процессом.

В одной из первых детских книг, носящей подзаголовок «русское сочинение», – сентименталистской повести Сократа Ремезова (1791/1792–1868) «Счастливый воспитанник или долг благородного сердца» (1808) – появляются приметы реального русского пространства. Девятилетний Модест едет в имение, находящееся от столицы в двух днях пути. Поездка необыкновенно увлекает мальчика: «в глазах Модеста природа каждый шаг принимала вид новый, возбуждающий его внимание»³. Описание усадебной природы схематично, но здесь едва ли не впервые в русской детской литературе упоминается «березовая рощица, манящая каждого под сень свою»⁴, превратившаяся впоследствии не только в литературное, но и в идеологическое клише. В эпизоде прощания героя с полюбившимся ему сельским привольем русская природа изображена еще довольно бесцветными мазками, но всё же не совсем умозрительно: «...Какой горести стоило Модесту разлучиться с любимыми рощицами, где он так часто искал червячков, ловил бабочек и удивлялся пестроте их, с полями, где он рвал цветы и резвился, с той шумящей рекой, где он любил ловить рыбу... Они обежали все места им любезные и делали меточки...»⁵. Более развернуто русское пространство представлено в повести Марии Гладковой «15-тидневное путешествие, 15-тилетнею писанное, в угождение родителю и посвящаемое 15-тилетнему другу» (1810)⁶. Повесть невелика по объему, слог её суховат, сюжет незатейлив, однако в жанрово-композиционном отношении она довольно оригинальна. Перед нами классический образец эпистолярного жанра – героиня, выезжая с семьей из Москвы в Петербург, берет на себя обязательство вести путевой дневник – литературная форма, хорошо знакомая русской читающей публике по карамзинским «Письмам русского путешественника». В композицию травелога встроен и познавательный элемент: героиня решает давать младшим сестрам уроки, рассказывая «нечто полезное» о тех местах, которые они проезжают. Двигаясь по

² См.: *Курилкин А., Майофис М.* Литературная критика Александровского царствования // *Критика первой четверти XIX века.* М., 2002. С. 22.

³ *Ремезов С.* Счастливый воспитанник, или Долг благородного сердца. М., 1808. С. 8.

⁴ Там же.

⁵ Там же. С. 23.

⁶ Об авторстве этой книги см.: *Привалова Е. П.* О первом труде неопытной писательницы // *Детские чтения.* 2021. № 2. С. 238–255.

направлению, обратному радищевскому «Путешествию из Петербурга в Москву», семья проезжает Клин, Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Валдай... Повествовательница не фокусируется на живописности мест, но обращает внимание на ту «пользу», которую приносит стране тот или иной город. В окрестностях Клина героиня отмечает «пильную мельницу», о Тверской губернии сказано: «видно, что почва земли оной довольно хлебородная и производит достаточно лёна и пеньки, чем жители по удобности водного сообщения со многими местами торгуют...»⁷. Национальный ландшафт еще ускользает от автора, зато русская история привлекает его чрезвычайно, хотя за редким исключением она представлена в виде перечня сухих исторических фактов. Глубина ретроспективы – XVI–XV века и Смутное время, но иногда речь заходит и о языческих временах и поверьях⁸. Так в русскую детскую литературу вводится травелог, причем рассказ ведется уже не от лица античного или исторического персонажа (Телемак, Анахарсис, Колумб), а от имени просвещенной юной русской дворянки, чей путь пролегает по топографически размеченному пространству. Примечательно в повести и одно из первых в отечественной детской литературе размышлений о национальной идентичности. Героиня высказывает свою симпатию к старинному укладу русской жизни – с умилением описывает «истинно русский обед» в патриархальном купеческом семействе, осуждает своих сверстниц-дворянок, не говорящих по-русски, и рефлектирует свои впечатления.

Историческое измерение в детскую литературу стремится ввести С. Н. Глинка (1775–1847), названный исследователями «одной из самых значимых фигур консервативно-националистического лагеря начала XIX века»⁹. Его «Русские исторические и нравоучительные повести» (1810) можно оценить как один из наиболее ранних опытов представления национальной темы в русской детской литературе¹⁰. Героями здесь становятся как исторические и легендарные лица (князь Меньшиков, боярин Матвеев, Федор Ртищев, царица Наталья Кирилловна, княгиня

⁷ *Гладкова М.* 15-тидневное путешествие, 15-тилетнею писанное, в угождение родителю и посвящаемое 15-тилетнему другу. 1810-го года августа месяца. СПб., 1810. С. 22.

⁸ «Между тем рассказала я и о реке Волхов, которая, как иные думают, получила свое название от Славянского Князя Волка, разбойничавшего и грабившего в виде Крокодила по сей реке и близь оной всех проезжающих» (Там же. С. 63).

⁹ *Лунарева Н. Н.* «Отечестволюбец»: Общественно-политическая деятельность и взгляды Сергея Николаевича Глинки. Воронеж, 2012. С. 4.

¹⁰ Этот сборник в обновленном составе был переиздан в 1819–1820 гг., в 1817 г. вышло сочинение С. Н. Глинки «Русская история в пользу воспитания», также переиздававшееся впоследствии.

Долгорукова, А. В. Суворов, Иван Сусанин¹¹), так и вымышленные персонажи с характерными для просветительской литературной традиции именами – Здравомысл, Благодвор, Пленира, Развратин, Адов. В тексты Глинки вводится тоpos русского поместья в контексте русской истории (прежде всего, войны 1812 года). Особенность патриотического дискурса Глинки заключается в синтезе сентиментальных мотивов (противопоставление идиллической деревенской жизни городу с его порочными нравами), с условно говоря, «ростопчинскими»: в большинстве его повестей встречаются филиппики о засилье французской моды, французского языка и французских книг, похвалы исконному способу поместного хозяйствования, рассуждения о вреде любых новаций. Отсылка к нравственной норме патриархального прошлого – постоянный элемент практически любого произведения С. Н. Глинки. Его вклад в детскую литературу заключается прежде всего в том, что он ввел в неё жанр исторической повести, написанной на материале русской истории.

Поиски новых тем для произведений, обращенных к детям, осуществлялись, тем не менее, исключительно в рамках нравоучительной литературы. Отличительной её чертой, будь то поэзия, проза или драматургия, было представление о ребенке как о статичном объекте приложения педагогических усилий. Это представление не менялось на протяжении долгого времени, обуславливая ригидность поэтики нравоучительной литературы. Например, в сборнике стихов М. Даргомыжской «Подарок моей дочери. Детский альманах», вышедшем в 1827 г., названия стихов, вынесенные в оглавление, репрезентируют необычную для детской литературы той поры интимность интонации и поэтизацию повседневности детства: «Моей дочери. I. На день ее рождения II. Когда ей минул год III. Когда она поймала бабочку IV. Дарю ей куклу V. Когда она обожгла пальчик VI. Дурно танцевала. VII Дарю ей арфу VIII. En loi donnant un ridicule IX. Дарю ей часы X. Когда она срывает розу XI. Смотрит в лорнет XII. Читает мои советы»¹². Можно ожидать, что перед нами лирический дневник матери, рассказывающий о взрослении ее дочери Людмилы. Жизнь девочки – от появления на свет до первого выезда на бал – проходит на глазах у читателя. Однако все эти ситуации автор использует исключительно для резонерских нравоучений, интонации поэтессы и её отношение к героине-дочери не меняются. «Чтоб не подвергнуться напастям и бедАм / в сей жизни каждый шаг обдумать

¹¹ В ряде исследований отмечается, что миф о Сусанине литературно был оформлен впервые именно С. Н. Глинкой (см., например: *Велижев М., Лавринович М.* «Сусанинский миф»: становление канона // Новое литературное обозрение. 2003. № 63. С. 186–187).

¹² *Даргомыжская М.* Подарок моей дочери. Детский альманах. 1827. С. 2.

дОлжно нам»¹³, – таков лейтмотив стихотворного цикла Даргомыжской, и эти строчки справедливо было бы назвать девизом резонерской литературы.

Одновременно с кристаллизацией принципов резонерской литературы, возникшей в рамках просветительской парадигмы, и почти без изменения воспроизводящейся на протяжении столетия, в детскую литературу приходит новое направление, а с ним и новый тип поэтики. Речь идет о рецепции романтизма в русской детской литературе, которую ознаменовало появление в 1829 г. сказки Антония Погорельского «Черная курица, или Подземные жители». Это событие стало переломным в истории русской детской литературы: впервые автор изобразил не только поступки и педагогическую «формовку» героя-ребенка, но и его внутренний мир. Отмечалось, что немецкие романтики, легитимировали детство как предмет литературного изображения, перестав рассматривать детей «в качестве кандидатов в будущие взрослые» и обратили внимание на то, «что будет утеряно взрослыми»¹⁴. Однако немецкий, и шире, западноевропейский романтизм не ставил своей целью создание новой детской литературы или нового типа героя-ребенка, чей образ был бы поэтизирован и психологизирован в большей степени, чем у предшественников. Романтическое направление и романтический герой в детской литературе появились скорее в качестве «шлейфового эффекта» торжества романтической парадигмы, равно как и жанр волшебной литературной сказки, изначально адресованной взрослому читателю, что нашло свое воплощение и на русской почве.

Антоний Погорельский подошел к созданию «Черной курицы» уже сложившимся писателем-романтиком, автором цикла фантастических повестей «Двойник или Мои вечера в Малороссии» (1828). До сих пор нет определенного ответа на вопрос, что побудило Погорельского взяться за сочинение «миленькой вещицы для детей»¹⁵ – личная ситуация, связанная с воспитанием племянника Алеши (А. К. Толстого), потребность обратиться к автобиографическому эпизоду¹⁶ или привлекательность европейской прозаической литературной сказки как сравнительно нового жанра. Образ Алеши, при всей его индивидуальности, создан по романтическим лекалам – он одинок, оторван от семьи, погружен в мир книжного

¹³ Там же. С. 9.

¹⁴ Берковский Н. Я. Романтизм в Германии, его природа, замыслы и судьбы // Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. СПб., 2001. С. 31.

¹⁵ Запись Г. Н. Геннади от 26 апреля 1845 г. Цит. по.: Геннади Г. Н. Из записной книжки Tutti-Frutti № 1 // Антоний Погорельский. Сочинения. Письма. СПб., 2010. С. 562. (Сер. «Литературные памятники»).

¹⁶ См.: Турьян М. А. О «Черной курице»: К истории создания // Турьян М. А. Русский «фантастический реализм». СПб., 2013. С. 355–356.

вымысла и собственных фантазий, живет в ожидании чудесного, и это ожидание сбывается, размыкая дверь между миром обыденного и фантастического. Герой описан с использованием новаторских для детской литературы полутонов и психологических нюансов, филигранно изображено состояние детского одиночества. Но, возможно, самое существенное, что удалось Погорельскому, это точные наблюдения над природой детских мечтаний и детского мифотворчества. Погорельский ищет пути создания оригинального текста национальной русской детской литературы, подчиняя этой идее переработку источников повести (в числе которых не только «Щелкунчик» Э. Т. А. Гофмана и «Эльфы» Л. Тика, но и литературная сказка немецких романтиков в целом¹⁷). И, в отличие от своих предшественников, достигает этой цели. «Одомашнивание» романтического канона, как ведущее свойство художественного метода Погорельского, отмечают многие исследователи, в том числе, например, М. Вайскопф, который называет Погорельского «характернейшим представителем русского бидермайера»¹⁸. В «Черной курице» изображен русский ребенок, а ландшафт романтического двоемирия, в котором развиваются события повести, отстраивается от детально точного описания Санкт-Петербурга конца XVIII в. Исторические «обмолвки» и аллюзии не подчинены здесь просветительским и морализаторским задачам, художественный эффект доминирует над нравоучительной установкой. Контрастность и последовательность цветовой гаммы (переход от монохромной гаммы реального пространства к цветовой полифонии подземного царства), детальность описаний пансионской жизни и инобытия, создающих эффект «зеркальности» сюжета, создание атмосферы «фантастического страшного» – далеко не полный перечень художественных приемов, используемых Погорельским.

Парадигму «романтического двоемирия» оригинально развивает в своем творчестве, адресованном детям, В. Ф. Одоевский, трактуя «двоемирие» как оппозицию взрослого и детского мироощущений¹⁹. Этот взгляд, намеченный в рассказе «Игоша» (1833), находит развернутое воплощение в сказке «Городок в табакерке» (1834). При очевидных для компетентного читателя аллюзиях к

¹⁷ Ботникова А. Б. Трансформация принципов немецкой романтической сказки в русской литературной сказке первой половины XIX века (А. А. Погорельский, В. Ф. Одоевский) // Из истории русско-немецких литературных взаимосвязей. М., 1987. С. 55.

¹⁸ Вайскопф М. Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русского романтизма. М., 2012. С. 39.

¹⁹ Турьян М. А. Личность А. А. Перовского и литературное наследие Антония Погорельского // Антоний Погорельский. Сочинения. Письма. С. 25.

гофмановской теме автоматов и механизмов, романтический мир, заключенный внутри музыкальной табакерки, создан Одоевским благодаря приданию амбивалентности реалиям материального мира. Пространство ирреального начинается на границе Мишиного сна, с момента входа в царство табакерки – городок Динь-Динь. «Волшебные» законы перспективы («вдали всё кажется маленьким, а подойдешь – большое»), указывают на двойственность, «нереальную реальность» происходящего (Миша одновременно и «маленький», и «большой») – и эта двойственность становится определяющим критерием сказочного бытия. Механическая связь персонажей позволяет создавать звук, но её воплощение носит характер тирании – мальчиков-колокольчиков постоянно бьют, цепляют крючками и в этой ситуации Миша становится заступником маленьких и беззащитных²⁰. Однако проводить прямую параллель между городком Динь-Динь и авторитарным сословным государством категорически нельзя, оптика романтической иронии препятствует линейным трактовкам. Героям-«угнетателям» (дядькам-молоточкам, надзирателю-Валику, Царевне-Пружинке) даны обаятельно-ироничные характеристики, например, Валик говорит о себе: «Я надзиратель добрый, всё на диване лежу и ни за кем не гляжу»²¹). Если убрать элемент «угнетения» (что и случилось из-за Мишиной неосторожности), разрушится прекрасный и гармоничный мир, в котором «деревья-то также золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встаёт солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу»²². Кумулятивный ход сказки не нацелен на выделение какого-либо доминирующего смысла – одинаково значимы здесь и «одушевленная физика», и модель социальной тирании, и назидание, и актуализация жизненного опыта ребенка (например, рассуждения о перспективе, поговорках, скуке бездеятельности и др.). Ход событий сопровождается сменой настроений героев. Миша удивляется, досадует, жалеет, храбрится. «Городок в табакерке» стал успешным опытом «встраивания» в детскую литературу сказки, чье содержание равно далеко как от фольклорных, так и от предшествующих литературных образцов этого жанра.

Европейский романтизм вывел на авансцену беллетристики жанр исторического романа, что нашло отражение в литературном процессе, адресованном

²⁰ Хеллман Б. Страшный мир табакерки: Социальный дискурс рассказа В.Одоевского // Детский сборник: Статьи по детской литературе и антропологии детства. М., 2003. С. 123.

²¹ Одоевский В. Ф. Городок в табакерке. Детская сказка дедушки Ирины. СПб., 1824. С. 15.

²² Там же.

детям, и совпало с поисками конструирования национального в детской литературе. Популярнейшими произведениями для детей, написанными в 1830-е гг., стала повесть В. В. Львова «Серый армяк, или Исполненное обещание» (1836) и «История России в рассказах для детей» (1837–1840) А. О. Ишимовой. Сентиментально-авантюрная повесть Львова и объемный, фактографически насыщенный труд Ишимовой объединены общим намерением дать русским детям «русскую историю» как оптимальное средство нравственного воспитания и образования. «Давно, очень давно обещал написать я повесть совершенно в нашем русском вкусе, чтобы не было и тени подражания иностранцам», – сообщает Львов в предисловии к первому изданию «Серого армяка»²³. Сочинение Ишимовой начинается с уверения маленьких читателей в том, что история родной страны не менее интересна, чем «чудесные рассказы о храбрых героях и прекрасных царевнах <...>, сказки о добрых и злых волшебницах»²⁴.

События, описанные Львовым в «Сером армяке», относятся к Отечественной войне 1812 года. К моменту выхода повести в свет тема войны 1812 года была уже широко представлена в русской исторической беллетристике: упомянем «Письма русского офицера» Ф. Н. Глинки (1815—1816), повесть «Изидор и Анюта» Погорельского (1828), романы «Рославлев, или Русские в 1812 году» М. Н. Загоскина (1830), «Леонид или некоторые черты из жизни Наполеона» (1832) Р. М. Зотова и его же «Рассказы о походах 1812 года» (1834). Львов берется за воплощение этой темы в формате объемного произведения для детей, которое повествует о приключениях ставшего сиротой Петруши Перлова. Повесть начинается с интриги: в современную автору эпоху, в некоем помещичьем доме, расположенном «на крутом, картинном берегу Волги, недалеко от города Кинешмы»²⁵, на самом видном месте висит мужицкий серый армяк. Дети помещика-давно докучают отцу вопросами о том, «что же такое есть этот серый армяк», и отец, наконец, решает, что они уже достойны того, чтобы узнать эту историю. Он приступает к чтению рукописи, где рассказывается, как 13-летний Петруша, живущий в Москве во время наполеоновского нашествия, получает от отца загадочное напутствие – во чтобы то ни стало беречь серый армяк, который тот вручает сыну за минуту до вторжения в их дом французов. В горящей Москве Петруша теряет отца и дядьку Потапыча, попадает в плен, бежит от французов и дает обет «во дни скорби нашей идти в Киев, чтобы поклониться

²³ *Львов В. В.* Серый армяк, или Исполненное обещание. М., 1836. Б/с.

²⁴ *Ишимова А. О.* История России в рассказах для детей. СПб., 1837. С. 3.

²⁵ *Львов В. В.* Серый армяк. С. 1.

угодникам»²⁶. Уже в первой части повести Львова видна синкретичность различных жанрово-стилевых направлений: признавая важной «познавательность» детской книги, автор пускается в обширные отступления, рассказывая о тех местах, по которым пролегает путь Петруши и о различных событиях, связанных с ними (история Серпухова, Коломны, Тулы, крестьянский и мещанский быт, история казачества, Малороссии и Богдана Хмельницкого, Французская революция, сведения по агрономии и о том, «как устроено сердце человеческое»). В то же время перед нами образцовая нравоучительная повесть: Петруша – это, безусловно, «добродетельное дитя», но он обладает и «пороком» (самолюбием, или «гордыней»), который не раз его подводит.

Новаторство Львова заключается не в новом типе героя или сюжета, а в новой автономии, которой до сих пор не имел персонаж-ребенок в русской детской литературе. Какие бы приключения ни переживали герои нравоучительных повестей, литературных сказок, стихов, в какие бы путешествия ни пускались – в отличие от Петруши Перлова они не могли предпринимать самостоятельных действий такого масштаба, не могли без опеки и покровительства старших сами определять свою судьбу: давать обеты, исполнять их, наниматься на работу, свободно перемещаться по российским просторам, сохранять инкогнито и пр. С одной стороны, судьба героя во многом обусловлена реальным историческим контекстом – во время войны привычный уклад был разрушен, многие семьи распались, родные и близкие теряли друг друга, дети становились сиротами. С другой стороны, несмотря на намерение избежать и «тени подражания иностранцам», Львов в своей повести идет по стопам европейского авантюрно-приключенческого романа для юношества. В его тексте угадываются параллели с романами популярного в России французского беллетриста Ф. Г. Дюкре-Дюмениля (1761–1819), и еще более тесная связь с книгами о героическом путешествии Прасковьи Луполовой (1784–1809)²⁷. Поэтика европейского авантюрно-сентиментального романа для юношества, которую Львов заимствовал, наполнив «истинно русским содержанием», позволила воплотить нравоучительно-патриотическое содержание в форме повести, полной тайн, трагических коллизий и счастливых совпадений, приключений, «переодеваний», «узнаваний» и «неузнаваний».

²⁶ Там же. С. 21.

²⁷ Ее история была беллетризована французскими писателями: в 1806 г. Мари Коттен (Cottin) написала роман «*Elisabeth ou les Exilés de Sibérie*», в 1815 г. Ксавье де Местр (Xavier de Maistre) издал повесть «*La jeune Sibérienne*», переведенную на русский язык лишь в 1840 г., уже после того, как вышел в свет «Серый армяк».

Новаторство А. О. Ишимовой иного рода. В качестве автора нравоучительной беллетристики²⁸ Ишимова предстает писательницей довольно заурядной, следующей, хотя и не без определенного мастерства и изящества, традициям дидактической литературы. Своевольные, неразумные или, напротив, послушные и рассудительные герои ее произведений ничем не отличаются от типичных персонажей нравоучительных книг первой трети XIX века. Прорыв, осуществленный Ишимовой в детской литературе, заключается в том, что она первой задалась грандиозной целью – адаптировать русскую историю для детей, изложить события тысячелетнего периода в форме детской книги. Писательнице предстояло решить трудную задачу: как, не искажая факты, представить их таким образом, чтобы книга, прежде всего, была бы обращена к «нравственной пользе» юных читателей. Какую интерпретацию дать происходящему, чтобы не уронить авторитета российских правителей, монарших особ и фигуры «взрослого» в целом? Как закамouflировать или обойти кровавые, бесславные или любовные коллизии? Ишимова берет за основу своих рассказов модель нравоучительной литературы для детей, где герои-дети чаще всего поступают дурно по причине своего неразумия или непослушания, а добродетельные персонажи лишены недостатков и могут лишь заблуждаться, а не совершать дурные поступки осознанно. Под пером Ишимовой русские правители, государственные деятели, бунтовщики и самозванцы превращаются в своего рода «детей» – добродетельных, послушных, порочных или дерзких²⁹. Легче всего это удастся писательнице, когда речь идет о языческом периоде истории Руси или о народах-язычниках: «Надобно сказать, что тогда люди очень любили войну, – пишет Ишимова о временах Киевской Руси. – Это потому, что, будучи язычниками, они почитали не переменным долгом мстить за обиды <...>. К тому же они мало учились и не понимали приятностей мира»³⁰. Раздоры русских князей перед призыванием варягов писательница уподобляет детским ссорам, когда каждый хочет настоять на своем, а история Григория Отрепьева изложена в стиле повести о порочном ребенке: «Мальчик был умен, но зол, непослушен, упрям, так что бедная мать его <...> часто не знала, что делать с негодным шалуном. Она жаловалась дедушке, но Юрий не боялся и дедушки!»³¹. Взяв эту дидактическую ноту, Ишимова выдержала ее на протяжении всего своего

²⁸ «Рассказы старушки» (1839), «Чтение для детей первого возраста» (1845), «Каникулы 1844 года, или Поездка в Москву» (1846), «Русским детям» (1881) и др.

²⁹ Наблюдение впервые высказано в кн.: *Сетин Ф. И.* История русской детской литературы. М., 1972. С. 176.

³⁰ *Ишимова А. О.* История России в рассказах для детей. С. 9.

³¹ Там же. С. 252.

объемного труда, усилив сходство с моделью детской повести тем, что правитель или монарх выполняет функцию любящего родителя, а народ представляет персонажа-ребенка, нуждающегося в опеке и заботе, проявляющего «дерзость и неблагодарность» всякий раз себе в ущерб. Сосредоточившись на педагогическом аспекте своего сочинения, Ишимова не создала нового языка или стиля детской литературы, не ввела в неё нового героя, но более чем успешно справилась с введением исторического материала в рамки безукоризненной нравоучительной прозы.

Подводя итог, можно охарактеризовать первую треть XIX века как время исканий, проб и ошибок, время становления русской национальной детской литературы. В нее были интегрированы жанры европейской фантастической литературной сказки, авантюрной исторической повести, появился оригинальный травелог, новый герой, новые характеры, существенно расширился круг сюжетов и художественных приемов, институционально оформился тип детского писателя. Часть авторов, пишущих для детей, пошла по пути консервации образцов нравоучительной литературы, того «дурмана резонерства», что почти не испытывал каких-либо влияний извне. Но лучшие из детских писателей создавали новое лицо детской литературы, ее новые смыслы и формы, способные превратить утилитарную псевдопедагогическую кустарщину детской книги в произведение литературного искусства, в органичную часть общего литературного процесса.

САЛОНЫ И САЛОННАЯ КУЛЬТУРА ЗОЛОТОГО ВЕКА

Салоны¹ появляются в России в конце XVIII – начале XIX в., когда постепенно формируется дворянская культурная элита, состоящая из европейски образованных, безукоризненно воспитанных, интеллектуально развитых людей, которые испытывают потребность в совместном времяпрепровождении, позволяющем реализовывать их художественные и интеллектуальные запросы, и просто получать удовольствие от общения с равными себе и приятными собеседниками, с дамами, в том числе.

Культурные традиции, со временем ставшие основой для создания русских салонов, закладывались в XVIII в., когда благодаря деятельности русских просветителей неизмеримо расширился круг интересов дворянства, изменились его умственные запросы. Н. И. Новиков развернул обширную издательскую деятельность, призванную, в частности, дать полезное и занимательное чтение самому широкому кругу читателей, включавшему женщин и детей. Е. Р. Дашкова изменила само представление об интеллектуальных возможностях женщины и ее роли в обществе. Карамзинская реформа русского литературного языка оказала влияние на разговорный язык образованного общества. Внедрение в быт этикетных и поведенческих норм, ориентированных на европейские образцы, способствовало интересу к традициям светского салона.

¹ Слово *салон* в современном его значении появилось во Франции в самом конце XVIII в. До этого *салон* был архитектурным термином, обозначающим большую залу со сводчатым плафоном, характерный элемент интерьера королевских замков и аристократических особняков. Но постепенно такого рода залы стали появляться и в городских особняках – как место, где принимают гостей, и, вследствие метонимического переноса, словом *салон* к началу XIX в. стали обозначать дома, в которых собиралось светское и артистическое общество – для беседы, игры, развлечений и т. д. (Слово использовалось еще и в другом смысле – как обозначение выставок картин, которые каждые два года устраивала Французская академия. Их описание породило еще одну метонимию: *салон* как описание картин (своего рода экфрасис), представленных на подобного рода выставке. Наиболее ярким примером таких описаний служат «Салоны» Дени Дидро.) До конца XVIII в. феномен, который ныне принято называть салоном, имел разные обозначения: *кружок* (*cercle*), *общество* (*société*), *высший свет* (*le monde*), *ассамблея* (*assemblée*), *содружество* (*compagnie*), *умственный кабинет* (*bureau d'esprit*). Первое употребление слова *салон* для обозначения дома, где принимают избранных гостей, и в качестве синонима *общества*, *кружка* появляется лишь в «Максимах и мыслях» («Maximes et Pensées») Шамфора в 1794 г. и с тех пор становится общепотребительным.

Еще В. К. Тредиаковский надеялся, что его перевод романа «Езда в остров любви» (1730) Поля Таллемана (1642–1712) поможет созданию в России салонной культуры². Заметную роль в приобщении русского дворянства к европейским формам досуга сыграл салон Екатерины II, организованный в Малом Эрмитаже. Выступая в роли хозяйки салона, императрица приучала подданных к галантной культуре. В Малый Эрмитаж приглашались как русские аристократы, так и иностранные гости – послы и дипломаты, на этих вечерах царила атмосфера непринужденного веселья и свободного обмена мнениями. Екатерина, как известно, сама не чуждая литературе, организовывала в своем салоне творческие забавы, требующие импровизации и находчивости, такие, как игра «в вопросы и ответы», буриме и сочинение пародий. В ее салоне ценились собеседники, умевшие использовать в разговоре остроумные реплики, афоризмы и анекдоты. Так создавался стиль светской беседы и, в то же время, развивались литературные жанры. Собственные произведения Екатерины – сказки, письма и мемуары – являлись своего рода литературными моделями салонного времяпрепровождения³. В свой салон императрица приглашала юных девушек, которые приобретали там опыт светского общения⁴. Так в начале XIX в. стали появляться женщины, гораздо более свободные и самостоятельные, чем их бабушки; они получали хорошее образование, знали иностранные языки, много читали и умели поддержать интересную беседу. Все это создавало предпосылки для возникновения русских светских литературных салонов.

Культурной моделью, по которой создавались салоны Москвы и Петербурга начала XIX в., стали парижские салоны XVII–XVIII вв.⁵.

Французские салоны XVIII в. отнюдь не являли собой нечто однородное. Наиболее ранние из них создавались отчасти по образцу версальского двора, но по сравнению с ним расширили круг завсегдатаев: доступ в них получали не только аристократы и литераторы, но и ученые, артисты, художники, – все, кто был открыт

² См.: Лотман Ю. М. «Езда в остров любви» Тредиаковского и функция переводной литературы в русской культуре первой половины XVIII – начала XIX в. // Проблемы изучения культурного наследия. М., 1985. С. 222–230.

³ См.: Акимова Т. И. Роль литературного творчества Екатерины II в становлении дворянского самосознания конца XVIII – конца XIX века. Саранск, 2013. С. 84–116.

⁴ См.: Головина В. Н. Мемуары // История жизни благородной женщины. М., 1996. С. 93.

⁵ Парижские салоны служили моделью и для многих салонов Европы, в том числе таких известных, как салон Софии-Доротеи, супруги Фридриха Великого (среди завсегдатаев были Вольтер и Д'Аламбр), салон герцогини Анны Амалии в Веймаре (вошел в историю под названием *Tafelrunde*), и там же существовавший «буржуазный» салон матери Шопенгауэра Иоганны Шопенгауэр. По французской модели создает в Англии свою ассамблею Уильям Уолпол.

новым веяниям и идеям. Как писал Норберт Элиас, салоны знаменовали собой децентрализацию светской жизни, которая прежде сосредоточивалась при дворе⁶.

Так возник салон герцогини дю Мэн (1676–1753), внучки великого Конде, который исторически правильнее называть *двор Со (la cour de Sceau)*; в начале XVIII в. он стал островком свободы, противостоящим набожному и печальному двору стареющего Людовика XIV. Интеллектуалы собирались здесь вокруг Фонтенеля, своей харизмой и умом привлекавшего ко двору герцогини равно ученых и поэтов. Здесь устраивались грандиозные праздники, разыгрывались спектакли по пьесам, специально для этих праздников написанным, ставились оперы (в историю все это вошло как «знаменитые ночи Со»).

В самом Париже конкуренция салонов с Версалем была скорее символической. В первой половине XVIII в. самыми знаменитыми стали салоны маркизы де Ламбер (1647–1733) и мадам де Тансен (1682–1749). Собрания первого проходили в особняке на улице Ришелье и носили ярко выраженный великосветский характер (стиль *grand monde*). Салон мадам де Тансен, открывшийся в 1726 г., именовался *бюро д'эспри (bureau d'esprit)* и отличался гораздо большей свободой и социальным разнообразием своих завсегдатаев. Это был к тому же и первый космополитический салон, вход в него был открыт для иностранцев⁷.

С наступлением эпохи энциклопедистов их влияние сказалось и на салонах, определявших себя отныне через отношение к философии Просвещения и открывших свои двери философам, невзирая на их социальный статус. Разделение салонов дореволюционной эпохи на салоны литературные и аристократические или литературные и политические было на самом деле весьма условным. Аристократические гости могли бывать в салонах выходцев из финансовой буржуазии. А литературные вопросы широко обсуждались в аристократических салонах. Исключение, пожалуй, составлял салон герцогини де Граммон (1729–1794), сестры герцога Этьена Франсуа де Шуазёля, пэра Франции, бывшего в 1758–1768 гг. (с некоторым перерывом) одним из

⁶ Элиас Н. Придворное общество. Исследования по социологии короля и придворной аристократии, с введением: Социология и история / Пер. с нем. А. П. Кухтенкова и др. М., 2002. С. 101–102 (Элиас употреблял термин «аристократические кружки»). О французских салонах XVIII в. см.: Lilti A. *Le monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle*. Paris, 2005.

⁷ Личность мадам де Тансен вообще примечательна: монахиня, нарушившая обет и ставшая куртизанкой, принятой, однако, великосветским обществом, она сама начинает держать салон и писать высококонтрастные романы. Ее незаконнорожденным сыном был математик д'Аламбер. Именно ее Дидро сделает главным собеседником и оппонентом философа в своем «Сне д'Аламбера» (1769).

наиболее влиятельных министров и дипломатов Людовика XV. Это был первый собственно политический салон: он представлял собой род тайного комитета, в котором велись обсуждения государственных дел. В 1794 г. во время якобинского террора герцогиня де Граммон была гильотинирована.

Что касается собственно предреволюционной эпохи, то ее определяли салоны Фанни де Богарне (1737–1814), графини де Жанлис (1746–1830; в России она более известна как писательница), мадам де Кондорсе, жены знаменитого математика (1764–1822), чей салон почитался «центром всей мыслящей Европы», и мадам Гельвеций (1722–1800). Последний был известен также как «Общество д'Отёй» (*Société d'Auteuil*), членами которого были Кондильяк, Тюрго и Гольбах. Держала свой салон и танцовщица Жюли Тальма (1756–1805), в прошлом супруга актера; ее салон посещал молодой Бонапарт и, по легенде, руководил оттуда переворотом 18 брюмера.

В последние предреволюционные и первые революционные годы французские салоны стали местом, где решались политические судьбы. Таков был, в частности, салон мадам Неккер (1737–1794), расцвет которого относится ко второй половине 1770-х — началу 1780-х гг. (он стал почвой, на которой выросла ее дочь госпожа де Сталь). Направление политических дискуссий здесь неявно определял муж хозяйки, последний министр Людовика XVI Жак Неккер⁸.

Историки по-разному оценивают перемены, происходившие в салонной культуре во время революции. Одни говорят о радикальной политизации салонов и их преобразовании в политические клубы⁹. Таким был, например, 50-й павильон Аркад Пале-Рояля, в котором финансист Жозеф Окан обустроил игровую академию (а попросту игорный дом), выполнявшую одновременно и функцию политического клуба. Другие полагают, что клубы не вытеснили салоны, а лишь стали еще одной формой социальной жизни. Салоны же стали различаться своей политической ангажированностью¹⁰. Но существует еще одна версия событий, объясняющая активизацию салонной жизни в первые послереволюционные годы: литература и театр, в 1789 г. освободившиеся от давления цензуры Старого режима, становятся теперь предметом особенно оживленных

⁸ См.: *Bredin J.-D.* Une singulière famille: Jacques Necker, Suzanne Necker et Germaine de Staël. [Paris], 1999.

⁹ См.: *Lilti A.* Le monde des salons. P. 357–364.

¹⁰ См.: *Blanc O.* Cercles politiques et salons du début de la Révolution: (1789–1793) // *Annales historiques de la Révolution française.* 2006. № 2. P. 63–92.

салонных дискуссий¹¹. Театральные пьесы А.-В. Арно, М.-Ж. Шенье и др. составляют своего рода «аккомпанемент» движению идей, и в этом смысле салоны ранней революционной эпохи были не принципиально новым этапом, но скорее продолжением великой традиции XVII и XVIII вв.

Иногда салоны этого времени подразделяют на революционные и контрреволюционные. Первую тенденцию демонстрируют еще существующие после 1789 г. салоны мадам Гельвещий, Фанни де Богарне и Манон Ролан (1754–1793), которую называли «эгерией жирондинцев». Другие дамы, несмотря на сгущавшиеся над ними тучи, в это время держат откровенно промонархические салоны: таковы фаворитка Марии-Антуанетты герцогиня де Полиньяк (1749–1793) и герцогиня де Граммон, продолжавшая вплоть до своего ареста активно участвовать в политике. В ее доме вынашивались контрреволюционные планы, в том числе и план вывоза из страны королевской семьи.

Переломным становится лето 1792 г., ознаменованное окончательным падением монархии. Те, кто остаются во Франции, стараются не привлекать к себе особого внимания. В период с 1792 по 1795 г. салоны практически исчезают, что во многом было продиктовано якобинской политикой, противившейся самой идее «регулярного гостеприимства». Процесс мадам Ролан, в итоге попавшей под нож гильотины, положил конец последнему салону революционной эпохи¹².

Жизнь салонов оживает после Термидорианского переворота (1794) и в особенности в эпоху Директории, т. е. с 1795 г. Участники и действующие лица этой воскресшей светской жизни хорошо знали общество Старого режима и прокламировали себя его продолжателями. В это время наблюдается и новый политический раскол: салоны роялистов противостоят салонам бонапартистов, хозяйки которых нередко оказываются женами государственных министров Франции эпохи Консульства, а затем и Наполеоновской империи. Бонапарт после расторжения Амьенского мира арестовал и выслал из Парижа некоторых дам Сен-Жерменского предместья, чьи салоны стали местом особой политической активности (среди них была и госпожа де Сталь). Существует мнение, что при Наполеоне I, когда политическая свобода во Франции была сильно стеснена, основной приманкой в салонах стала женская красота. В таком случае вспоминают о салонах мадам Рекамье (1777–1849), имевшей репутацию «иконки стиля»

¹¹ См.: *Cochin Aug.* La Révolution et la libre-pensée. Paris, 1924; см. также: *Lilti A.* Le monde des salons. P. 42–50.

¹² См.: *Lilti A.* Le monde des salons. P. 403.

во времена Империи¹³, и мадам Ремюзá (1780–1821), оставившей яркие мемуары о наполеоновской эпохе¹⁴.

В целом неверно было бы говорить, что жизнь салонов в послереволюционной Франции заканчивается. Напротив, она с некоторыми перерывами и модификациями продолжается. И в чем-то оказывается даже более интенсивной и разнообразной, о чем свидетельствует, в частности, салон г-жи де Сталь в ее швейцарском имении Коппе, остроумно прозванный современниками «генеральными штатами Европы» (см. ниже).

Та культурная модель, которая во Франции постепенно формировалась на протяжении многих десятилетий, в России была реализована очень быстро и успешно. Русские салоны создавались по образцу знаменитых парижских салонов, хорошо известных русскому столичному дворянству не только по письменным и устным рассказам. Русские аристократы еще в конце XVIII в., бывая во Франции, сами посещали эти знаменитые собрания, а некоторые из них (в основном дипломаты) держали свой собственный салон в Париже. Таков был, например, в 1770-х гг. салон графа и графини Строгановых, связанный с кругом франкмасонов. Строгановы устраивали грандиозные обеды и концерты, на которые стекались как парижане, так и иностранцы (предместье Сен-Жермен). С 1777 г. в Париже вновь обосновывается Андрей Шувалов и ведет ту же рассеянную жизнь, что и за 14 лет до того, когда «весь Париж» шумел от его проказ. Он содержит актрис, в частности мадемуазель Асселен, которая выбрасывала в окно подаренные им бриллианты, а в это время его жена устраивает роскошные ужины русским, оказавшимся в Париже. С 1784 по 1789 гг. русским салоном в Париже был салон князя В. Б. Голицина и его жены Натальи Петровны Голициной, ставшей прототипом старой графини в «Пиковой даме» Пушкина. Судя по всему, в их доме на рю Сен-Флорентен собиралась лишь русская колония. Перед самой революцией (1788—1789) русский салон в Париже держал граф А. К. Разумовский.

Большое внимание уделил парижским салонам в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзин. Подобные связи не прекращались и в XIX в. К числу великих европейских космополитических салонов первого десятилетия XIX в., который посещали и русские путешественники, принадлежал салон мадам де Сталь в швейцарском замке ее отца в Коппе. На целых двенадцать лет (с 1803 г., когда Бонапарт запретил ей жить в радиусе 40 лье от Парижа) она превратила Коппе в центр европейской

¹³ См.: *Ancelet V. Les Salons de Paris : foyers éteints.* Paris, , 1858. 2^e éd. P. 167–205.

¹⁴ *Ремюза К. Е. Ж.* Мемуары / Пер. с фр. О. И. Рудченко. М., 2011.

мысли. Среди тех, кого собственная воля или обстоятельства объединили на берегу Женевского озера в «европейском салоне» госпожи де Сталь были Проспер де Барант, Шарль Виктор де Бонштеттен и Жан Шарль Леонар де Сисмонди, Вильгельм фон Гумбольдт, Франсуа-Рене Шатобриан, Фридрих Шлегель, Юлия Крюденер, немецкий драматург-мистик Захария Вернер, принц Август Прусский, Жюли Рекамье. Вместе с мадам де Сталь в Коппе проживали Август Вильгельм Шлегель (учитель ее детей) и Бенжамен Констан, ее друг и возлюбленный. Одним из самых частых русских гостей госпожи де Сталь был Федор Гаврилович Головкин (1766—1823), литератор и мемуарист, изгнанный Павлом I за страсть говорить остроты и каламбуры, живший во Флоренции, Вене, Берлине и Париже, состоявший в переписке с Жозефом де Местром и писавший за границей свои мемуары. Посещение «Копета» вспоминает на страницах «Хроники русского» Александр Тургенев (запись от 22 марта 1836 г., воспоминание относится, разумеется, к более раннему времени)¹⁵.

Другим излюбленным салоном русских европейцев стал салон мадам Рекамье (1777—1849), который разные годы располагался в разных местах, в зависимости от жизненных обстоятельств его хозяйки: в замке Клиши ла Гаренн, в частном особняке на улице Мон-Блан, а в последние годы в скромной квартире в монастыре Аббе-о-Буа. Об атмосфере в Лесном аббатстве, как называли Аббе-о-Буа русские, свидетельствует запись А. И. Тургенева, который познакомился с мадам Рекамье в декабре 1825 г. и стал постоянным посетителем ее салона (запись предположительно относится к 1844—1845 гг.): «16 марта, воскресенье. Вчера, несмотря на снег и холод и на заседание в двух камерах, собрались в лесное аббатство представители и представительницы всех салонов, всех мнений в политике и в литературе – журналисты, академики, артисты, перы и депутаты, герцогини и писательницы; жаль, что трудно было пробраться из одного салона в другой. Я нашел уже Шатобриана в первом салоне <...> Шатобриан сказал мне слова два о посетившей его накануне милой и умной нашей соотечественнице, графине В<иельгорской>»¹⁶.

Одним из мест, которое на протяжении нескольких десятилетий нельзя было не посетить любопытствующему иностранцу, считался салон французского писателя, члена Французской Академии Ж.-А.-П.-Ф. Ансело (1794—1854), который в России был прежде всего известен как автор книги «Six mois en Russie» («Шесть месяцев в России»

¹⁵ Подробнее см.: *Дмитриева Е. Е.* Французские салоны: От социального ритуала к литературной практике // Шаги/Steps. 2022. Т. 8. № 2. С. 102–123.

¹⁶ *Тургенев А. И.* Хроника русского // Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.). М., 1964. С. 274 (Сер. «Литературные памятники»).

– *фр.*) (1826), написанной после поездки на коронацию Николая I. Жена Ансело (Виржини Ансело; 1792—1875) также была писательницей. А. И. Тургенев посещал их салон в конце 1820-х и в 1830-е гг. и, в частности, красочно описал критику, которой Ансело в 1838 г. подверг новую драму Гюго «Калигула»¹⁷. Что касается мадам Ансело, то в своей книге, ставшей по сути хроникой салонной жизни четырех эпох – Реставрации, эпохи Луи-Филиппа, Республики и Второй Империи (эпохи Наполеона III), – она вспоминала, как принимала русских, которые при Луи Филиппе были в точности «французами XVIII века». Среди своих гостей она вспоминает князя и княгиню Барятинских, Вяземского, которого ей представил А. И. Тургенев, «очаровательного поэта» Э. Мещерского, «по счастью, сочинявшего свои стихи на французском для нас», «Карамзина, сына историографа, Соболевского»¹⁸.

Среди других салонов, которые исправно посещали в Париже русские европейцы, следует также назвать салон Франсуа Гизо (1787—1874), историка, критика, с 1836 г. члена Французской Академии, трижды бывшего министром в период июльской монархии (наиболее близки с Гизо были В. А. Жуковский и А. И. Тургенев)¹⁹, салон А. Ламартина, Н. А. де Сальванди, герцогини де Розан и Софи Ге. Тот же А. И. Тургенев рассказывает, как «от Ламартина вместе со многими другими» явился он «в салон герцогини Розен»: «...уже более двух лет не бывал здесь, но нашел все тех же и то же! Милую хозяйку, литераторов, ученых, депутатов, легитимистов, нынешних роялистов; смесь аристократии старой с новой; и наших петербургских дам». «Но знаете ли, — продолжал Тургенев, — отчего трепетало два вечера сряду мое московское сердце? От цыганских песен! — Вообразите себе весь табор Патриарших прудов в парижском салоне!»²⁰

Помимо французских (парижских) салонов интеллектуальным магнитом для русских европейцев становились также и некоторые литературные салоны Германии. Для русских литераторов, в частности, для А. И. Тургенева и В. А. Жуковского, во время пребывания их в Дрездене в 1826—1827 гг. притягательным становится дрезденский салон графини Шарлотты Элизы фон дер Рекке и ее друга поэта Кристофа-Августа

¹⁷ «Я давно не видал Ансело в таком исступлении негодования против дурной трагедии и ее минутных успехов на сцене» (*Тургенев А. И. Хроника русского*. С. 149).

¹⁸ *Ancelet [V.]. Un salon à Paris: 1824 à 1864*. Paris, 1866. P. 96, 98.

¹⁹ О почти ежедневных встречах и общении Жуковского с Гизо см.: *Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем*. Т. 13. С. 260—267 (дневниковые записи 1827 г.).

²⁰ *Тургенев А. И. Хроника русского*. С. 255 (запись относится к середине 1840-х гг.).

Тидге²¹. «Выехал из Дрездена. Дорогою читал profession de foi <исповедание веры> М-е de Rescke», — записывает Жуковский в дневнике 4/26 апреля 1827 г.²². Еще ранее салон посетил В. К. Кюхельбекер, описав Элизу фон дер Рекке в своих «Отрывках из путешествия». Другим салоном, который Жуковский посещал в 1821 г. в Берлине, был салон Марии фон Клейст, кузины Генриха Клейста, собиравший литераторов и придворных. «Мы породнились душою в то время, когда я жил в Берлине», — писал о ней Жуковский²³.

А. И. Тургенев в «Хронике русского» за 1841 г. упоминает салон Каролины Вольцоген (1763—1847), автора романа «Корнелия» и биографии Шиллера (1830), невесткой которого она была, «необыкновенно умной женщины, не только начитанной, но погруженной в глубины философии Канта». «Она <...> пригласила сегодня к себе, в Иену, чтобы познакомить с <...> иенскими знаменитостями, с перепискою Шиллера, Гете, Гумбольдтов. <...> Я еду в Иену <...> и опишу вам салон Вольцоген уже по возвращении»²⁴.

Наконец, еще одним немецким литературным салоном, ставшим очень важным центром притяжения для русских путешественников, становится с 1804 г. салон великой княгини Марии Павловны, вышедшей замуж за наследного герцога Саксен-Веймар-Эйзенах Карла Фридриха. Особенностью веймарского стиля жизни была, в частности, своеобразная взаимодополняемость домов Гете и Марии Павловны как культурных центров. «Все, кто приезжал в гости к Марии Павловне, оказывались в гостях у Гете и наоборот», отмечали современники²⁵. Это в равной степени относилось как к официальным особам, членам русской императорской семьи, так и к частным лицам, приезжавшим в Веймар. Из литературных путешественников, посетивших Гете и проводивших одновременно свое время в салоне Марии Павловны²⁶, следует упомянуть

²¹ См.: *Веселовский А. Н.* В. А. Жуковский и А. И. Тургенев в литературных кружках Дрездена. 1826—1827: (Заметки к дневнику А. И. Тургенева) // Журнал Министерства народного просвещения. 1905. Ч. 159. № 5. С. 159—183; см. также: *Никонова Н. Е.* Х. А. фон Тидге и В. А. Жуковский // В. А. Жуковский: Исследования и материалы. Томск, 2010. Вып. 1. С. 232—244.

²² *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч. и писем. Т. 13. С. 253.

²³ Цит. по: Там же. С. 498.

²⁴ *Тургенев А. И.* Хроника русского. С. 213.

²⁵ Там же. С. 482.

²⁶ См.: *Дурылин С. Н.* Русские писатели в гостях у Гете в Веймаре // Литературное наследство. М., 1932. Т. 4—6. С. 477—486; *Дмитриева Е. Е.* Между немецкими Афинами и Северной Пальмирой: История домашним образом // Александр I, Мария Павловна, Елизавета Алексеевна: Переписка из трех углов (1804—1826). Извлечения из семейной переписки великой княгини Марии Павловны. Дневник [Марии Павловны] 1805—1808 годов / Пер. с фр. Е. Е. Дмитриевой). М., 2016. С. 50—52.

З. А. Волконскую, В. А. Жуковского, А. И. Тургенева, С. С. Уварова. Разговоры с А. И. Тургеневым, который провел несколько дней в ее загородном дворце Бельведере (см. соответствующее описание в «Хронике русского»²⁷) были зафиксированы также и Марией Павловной в ее дневнике за 1836 г.²⁸

В России 1810—1830-х гг. салон стал центром литературной жизни. Эта его роль поддерживалась не только европейской традицией, но и особенностями развития национальной культуры: с литературой, которая начинает занимать доминирующее положение в духовной жизни русского общества, оказываются так или иначе связаны почти все занятия и интересы посетителей салонов²⁹.

Обширная мемуарная литература сохранила впечатления современников о знаменитых салонах З. Н. Волконской, А. Н. Оленина, А. О. Смирновой-Россет, Е. М. Хитрово и Д. Ф. Фикельмон, Е. А. Карамзиной, Е. Н. Мещерской, А. П. Елагиной, В. Ф. Одоевского, М. Ю. Виельгорского, В. А. Соллогуба, Е. П. Ростопчиной, С. П. Пономаревой.

Среди московских салонов особенно выделялся салон княгини Зинаиды Александровны Волконской, урожд. княжны Белосельской-Белозерской (1789—1862). Он просуществовал только четыре года (с конца 1824 по начало 1829 г.), но сыграл значительную роль в культурной жизни Москвы. Волконская была натурой артистической: она великолепно пела, музицировала, рисовала, писала стихи и сочиняла музыкальные произведения. В доме своего отца А. М. Белосельского-Белозерского – блестящего аристократа, талантливого и просвещенного человека, русского посланника в Дрездене и Турине, Зинаида росла в кругу избранного европейского и российского общества, с детства усваивая тонкий художественный вкус и навыки светского общения. Получив прекрасное домашнее образование (она знала восемь языков, изучала философию, историю, литературу), Волконская занималась и историко-литературными исследованиями, за которые позже была избрана членом Общества истории и древностей российских при Московском университете и Общества любителей российской словесности.

²⁷ Тургенев А.И. Хроника русского. С. 210—215.

²⁸ Хранится в Главном государственном архиве Тюрингии в Веймаре (Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar).

²⁹ См.: Аронсон М. И. Кружки и салоны // Аронсон М. И., Рейсер С. А. Литературные кружки и салоны. СПб., 2001. С. 20—24.

Много лет Волконская провела в Европе. Во время заграничного похода русской армии 1813–1815 гг. она вместе с мужем С. Г. Волконским, находившемся в свите императора, побывала в Дрездене, Праге, Вене, Париже и Лондоне, в 1820–1822 гг. жила в Риме, в 1823—1824 гг. – в Париже, где тоже некоторое время держала салон. Одновременно она изучала русскую литературу и историю и увлекалась идеей объединения европейской и русской культуры. Московский салон Волконской по замыслу должен был выполнить особую миссию – посредничество между Россией и Европой. В Москве, где Зинаида Александровна жила с 1824 г., ее гостиная, украшенная оригиналами и копиями знаменитых произведений живописи и скульптуры, представляла собой своего рода открытый музей. Дарования Волконской, яркая красота, образованность и страстная любовь к искусству привлекали в ее салон знаменитых поэтов, художников и писателей. У нее бывали А. С. Пушкин, Е. А. Баратынский, А. А. Дельвиг, П. А. Вяземский, Д. В. Давыдов, В. Ф. Одоевский, П. Я. Чаадаев, С. А. Соболевский, С. П. Шевырев, М. Н. Загоскин, А. Н. Муравьев, С. Е. Раич, И. И. Козлов, М. П. Погодин. В ее салоне выступал со своими импровизациями Адам Мицкевич. К осени 1825 г. здесь становятся постоянными посетителями «любомудры», среди которых – молодой поэт Дмитрий Веневитинов, чья неразделенная любовь к Волконской вошла в легенду.

Многочисленные почитатели создали образ Зинаиды Волконской как «*femme fatale*» (роковой женщины). Вместе с тем то, что «придворным» журналом салона Волконской стал «Дамский журнал» П. И. Шаликова, автора слащаво-сентиментальных произведений, бросало несколько иронический отсвет и на фигуру хозяйки. Княгиня вообще была личностью неоднозначной: в отзывах современников встречаются не только восторженные хвалы, но и очень резкие оценки. Ее упрекали в излишней экзальтации, высокомерии и даже ханжестве. Впрочем, сложная натура княгини вкупе с ее магнетическим женским обаянием как раз и создавала неповторимую атмосферу ее салона³⁰.

³⁰ См.: Канторович И. В. «Самый нежный звук Москвы...»: Салон Зинаиды Волконской // Новое литературное обозрение. 1996. № 20. С. 178–219; Сайкина Н. В. Московский литературный салон княгини Зинаиды Волконской. М., 2005. Такими же яркими, как и московский салон Волконской 1824—1829 гг., стали ее римские салоны. Первый из них относился к периоду 1820—1822 гг., когда она вместе с мужем и сыном уехала из России, поселившись в унаследованном от отца дворце. В те годы салон носил преимущественно артистический характер; здесь были приняты (а частично и проживали) в основном художники, скульпторы и архитекторы: Карл Брюллов, Сильвестр Щедрин, Федор Бруни, С. И. Гальберг, Орас Берне, Антонио Какова, Бертель Торвальдсен. Второй римский салон Волконской начинает существовать с 1829 г., когда она окончательно

Княгиня Евдокия Ивановна Голицына, урожд. Измайлова (1780–1850), известная под прозваниями «*princesse Nocturne*» («ночная княгиня») и «*princesse Minuit*» («княгиня полуночи»), отличалась необыкновенной красотой и экстравагантностью поведения. В своем салоне она принимала гостей по ночам, так как ей было предсказано, что она умрет ночью, носила необычные одежды в стиле древних римлянок, а после войны 1812 г. стала являться на балы в русском сарафане и кокошнике. Голицына решительно бросила нелюбимого мужа и открыто жила в гражданском браке с М. П. Долгоруковым вплоть до его смерти. Бывшая московская барышня, воспитанная в старинных патриархальных традициях, удивительно легко превратилась в самостоятельную, независимую, эмансипированную, как сказали бы позже, женщину. При этом, по свидетельству Вяземского, «ее независимость держалась в строгих границах чистейшей

переселяется в Рим. Поначалу он продолжал мыслиться как артистический центр, где собирались художники, писатели, музыканты, как русские, так и иностранные (среди завсегдатаев салона Волконской в 1830—1840-е гг. П. А. Вяземский, И. С. Тургенев, Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, Стендаль, В. Скотт, А. Мицкевич). Однако постепенно в салоне возобладал филантропический дух, он стал превращаться в приют, дающий в шумном Риме возможность уединенного созерцания. В конце 1830-х гг. Волконская организует у себя на вилле вечер помощи художнику Шаповалову, лишенному стипендии – на этом вечере Гоголь читал «Ревизора». В 1839 г. у нее находит приют молодой Иосиф Вьельгорский, его последним днем на вилле, проведенным в обществе Гоголя, посвящен великий текст русской литературы – «Ночи на вилле». Гоголь и сам пользовался тишиной этого убежища – состояние, схваченное Жуковским в его знаменитом рисунке, изображающим Гоголя на террасе виллы Волконской. С момента приобретения ею земель на Элевксинском холме салоном мыслилось все пространство виллы, включая и сад, который стал, кроме всего прочего, местом мемориализации. На знаменитых «Аллее Мертвых» и «Аллее Памяти», описанных М. П. Погодиным в 1839 г., рядом с урной в память о Дмитрии Веневитинове располагался бюст Александра I, руина, посвященная Карамзину, другая – Пушкину, артефакты, напоминавшие о Байроне, Гете, В. Скотте (см.: *Погодин М. П.* Отрывок из записок // *Русский архив.* 1865. С. 887—894. С. 887—894). С середины 1830-х гг. салон Волконской стал открыто восприниматься как один из центров русского католичества (ее обращение в римскую веру произошло 2 марта 1833 г. – см.: *Гасперович В.* Зинаида Волконская: Неопубликованные материалы из итальянских архивов // *На память будущему: Альманах.* М., 2014. С. 228—237; *Dmitrieva E.* *Entre Moscou, Paris et Rome : Les salons de la princesse Zinaïda Volkonskaïa // Les Intellectuels russes à la conquête de l'opinion publique française: Une histoire alternative de la littérature russe en France de Cantemir à Gorki / A. Stroevev (éd.).* Paris, 2019. P. 137—172.

Другими знаменитыми русскими католическими салонами были в 1820—1840-е гг. салон С. П. Свечиной (урожд. Соимонова, 1782–1859) в Париже и салон Анастасии Сиркур (урожд. А. С. Хлюстина, 1808—1863) (см.: *Madame Swetchine, sa vie et ses oeuvres publiée par le comte de Falloux.* Paris, 1860; *Huber-Saladin J.* *Le comte de Circourt, son temps, ses écrits. Madame de Circourt, son salon, ses correspondances.* Paris, 1881).

нравственности. Никогда ни малейшая тень подозрения, даже злословия не отменяли чистой и светлой свободы ее»³¹.

Княгиня была прекрасно образована и любила рассуждать на отвлеченные темы, из-за чего получила в свете прозвище «Пифия» по имени жрицы-прорицательницы Дельфийского оракула. В ее петербургском салоне собирались российские и приезжие знаменитости, которых привлекала яркая личность хозяйки. В разное время посетителями ее салона были Карамзин, Пушкин, Жуковский, Батюшков, Вяземский, Баратынский. По словам Вяземского, «Голицыну можно было признать не обыкновенной светской барыней, а жрицей какого-то чистого и высокого служения. Вся постановка ее, вообще туалет ее, более живописный, нежели подчиненный современному образцу, все это придавало ей и ее кружку, у нее собиравшемуся, что-то, не скажу таинственное, но и не обыденное, не навсегдашнее. Можно было бы подумать, что к ней приезжали не просто гости, а <...> посвященные собирались <...> в полночь. Беседы длились обыкновенно до трех или четырех часов утра»³².

В ранний период своего существования голицынский салон был явно ориентирован на французскую салонную культуру, среди гостей перебивало много французов, а также русских аристократов, имевших успех в парижском обществе, таких как княгиня Н. И. Куракина и граф Ф. Г. Головкин. Отечественная война изменила направление общественных и интеллектуальных интересов Голицыной. Княгиня превратилась в пылкую патриотку, погрузилась в изучение исторических, социальных и философских вопросов, связанных в ее представлении с благом России. В 1815–1817 гг., после ее возвращения из Франции, главной темой, занимающей посетителей ее салона, стала политика: здесь обсуждались проблемы свободы и деспотизма, социального прогресса и правопорядка (княгиня была последовательной сторонницей введения в России конституции и законности). Евдокия Ивановна на равных участвовала и в разговорах об искусстве, и в острых политических дискуссиях.

К середине 1820-х гг. взгляды Голицыной приняли форму религиозного фанатизма с мистическим оттенком. Выступая со своими мистико-религиозными рецептами спасения России, Голицына получила в обществе репутацию «чудачки». Едва

³¹ Вяземский П. А. Старая записная книжка // Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб, 1883. Т. 8. С. 379.

³² Там же. С. 380.

ли не к ней относится насмешливое выражение «академик в чепце» в третьей главе «Евгения Онегина»³³.

Еще одним центром притяжения для наиболее культурной и образованной части общества стал в 1820–1840-х гг. салон Екатерины Андреевны Карамзиной, урожд. Кольвановой (1780–1851), вдовы историографа. Это о ней Ф. Ф. Вигель писал, что «если бы в голове язычника Фидиаса могла блеснуть христианская мысль и он захотел бы изваять Мадонну, то, конечно, дал бы ей черты Карамзиной в молодости. <...> А душевный жар, скрытый под этою мраморною оболочкой, мог узнать я только позже»³⁴. Второй хозяйкой салона, по справедливости, можно признать дочь Карамзина от первого брака Софью Николаевну. Здесь бывали Пушкин, Жуковский, А. И. Тургенев, Вяземский, Соллогуб, Одоевский, Плетнев, Хомяков, Блудов, Титов. «В Карамзинской гостиной, – вспоминал А. И. Кошелев, – предметом разговора были не философские предметы, но и не петербургские пустые сплетни и рассказы. Литературы, русская и иностранная, важные события у нас и в Европе, особенно действия тогдашних великих государственных людей Англии – Каннинга и Гускиссона, составляли всего чаще содержание наших оживленных бесед. Эти вечера, продолжавшиеся до поздних часов ночи, освежали и питали наши души и умы, что в тогдашней душной петербургской атмосфере было для нас особенно полезно»³⁵. А. Ф. Тютчева в своих воспоминаниях описывала, как принимала гостей Софья Николаевна Карамзина: «Я как сейчас вижу, как она, подобно усердной пчелке, порхает от одной группы гостей к другой, соединяя одних, разъединяя других, подхватывая остроумное слово, анекдот, отмечая хорошенький туалет, организуя партию в карты для стариков, *jeux d'esprit*³⁶ для молодежи, вступая в разговор с какой-нибудь одинокой мамашей, поощряя застенчивую и скромную дебютантку, одним словом, доводя умение обходиться в обществе до степени искусства и почти добродетели»³⁷.

Софья Дмитриевна Пономарева (урожд. Позняк; 1794–1824), принадлежала к незнатной и небогатой семье. Отец ее был чиновником одного из петербургских департаментов, муж, сын богатого откупщика, вышел в отставку в чине капитана и стал

³³ См.: *Чистова И. С.* 1) Голицыной салон // Быт пушкинского Петербурга: Опыт энциклопедического словаря. СПб., 2003. Т. 1. С. 152–155; 2) Пушкин в салоне Авдотьи Голицыной // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1989. Т. 13. С. 186–202.

³⁴ *Вигель Ф. Ф.* Записки. М., 2000. С. 186.

³⁵ *Кошелев А. И.* Записки // Русский архив. 1879. Кн. 4. № 11. С. 266. См. также: *Ларионова Е. О.* Карамзинных салон // Быт пушкинского Петербурга. Т. 1. С. 273–275.

³⁶ Дословно: игры ума (игры остроумия).

³⁷ *Тютчева А. Ф.* При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. М., 1990. С. 3.

канцелярским служащим. Конечно, Софье Дмитриевне нелегко было равняться с такими львицами высшего света, как, например, княгиня Голицына. Но благодаря личным качествам, остроумию и женской привлекательности, Пономарева стала подлинной царицей в собиравшемся у нее избранном кругу. Она принимала у себя в салоне только мужчин и сводила их с ума своим кокетством и непостоянством. Любовная игра, порой рискованная для самой хозяйки и всегда мучительная для очередной ее жертвы, во многом определяла жизнь этого салона. Вся атмосфера салона Пономаревой носила игровой характер. В нем было создано стилизованное литературное общество – «Вольное общество любителей Премудрости и Словесности». Под «премудростью» имелась в виду сама Софья Дмитриевна (от греческого *Sophia* – премудрость). Затем оно было переименовано в «Сословие Друзей Просвещения» (по инициалам хозяйки – С. Д. П.). «Культ Софии», поддерживаемый многочисленными поклонниками Пономаревой, напоминал средневековую традицию «служения даме». Ее «трубадуры» посвящали ей мадригалы и поэтические признания. Ритуал своеобразной инициации новых членов кружка пародировал масонские ритуалы, а шуточные прозвища придавали собранию карнавальное настроение.

Однако в этой обстановке находилось место для серьезных разговоров об искусстве и литературе, которые хозяйка вела со знаменитыми поэтами и литераторами, собиравшимися в ее салоне. Ее гостями бывали А. Е. Измайлов, Дельвиг, Плетнев, Илличевский, Гнедич, Баратынский, Крылов, Сомов, В. И. Панаев. Единства эстетических предпочтений и взглядов на поэзию в этом кругу, конечно, не было. Но Пономарева, не желая терять никого из своих поклонников, одаривала благосклонным вниманием литературных противников, удерживая их всех вокруг себя. Как писал о салоне Пономаревой Н. В. Дризен, «это было время партий, горячих споров <...> приводивших враждебные партии к борьбе не на живот, а на смерть. Однако антагонизм, дававший о себе знать в другое время огнем язвительных эпиграмм, памфлетов и пародий, переполнявших современные журналы и альманахи, был не ко двору там, где хотя бы для виду собирались во имя одной речи. Здесь солнце хозяйки одинаково светило злым и добрым»³⁸.

³⁸ Дризен Н. В. Литературный салон 20-х годов // Ежемес. лит. прилож. к журналу «Нива». 1894. № 5. С. 17.

К несчастью, салон Пономаревой просуществовал недолго: Софья Дмитриевна неожиданно скончалась в самом расцвете лет, оплаканная своими друзьями и поклонниками³⁹.

Елизавета Михайловна Хитрово (урожд. Кутузова; 1783–1839) и ее дочь Дарья Федоровна (Долли) Фикельмон (урожд. Тизенгаузен; 1804–1863) были хозяйками двух петербургских салонов, о которых обычно пишут как о едином салоне Хитрово-Фикельмон. Он просуществовал десять лет: с 1829 по 1839/1840 г. (до смерти Елизаветы Михайловны и отъезда в 1840 г. супругов Фикельмон в Вену).

Долли Фикельмон, бывшая замужем за послом Австрии графом Шарлем Фикельмоном, принимала посетителей в здании Австрийского посольства по вечерам. Елизавета Михайловна встречала гостей в своих личных апартаментах в первой половине дня. Однако общие взгляды и интересы, высокий интеллектуальный уровень бесед, истинно светский, европейский стиль делали их салоны родственными не только по семейным связям, но и по духу. К тому же, у Елизаветы Михайловны и Долли было так много общих друзей, что в их салонах собирался приблизительно один и тот же круг людей. Здесь можно было встретить Пушкина, Жуковского, Вяземского, Гоголя, В. А. Соллогуба, А. И. Тургенева, И. И. Козлова.

Горячий русский патриотизм у Елизаветы Михайловны легко уживался с европейской широтой взглядов. В ее характере своеобразно сочетались черты добродушной и простодушной русской женщины и безукоризненно воспитанной светской дамы. По словам В. А. Соллогуба, «Елизавета Михайловна даже не отличалась особенным умом, но обладала в высшей степени светскостью, приветливостью самой изысканной и той особенной, всепрощающей добротой, которая только встречается в настоящих больших барынях»⁴⁰. В обществе она была предметом многочисленных острот и анекдотов. Однако, беззлобно подшучивая над ней, друзья ценили ее человеческие качества. «Она была неизменный, твердый, безусловный друг друзей своих. Друзей своих любить не мудрено; но в ней дружба возвышалась до степени доблести. Где и когда нужно было, она за них ратовала, отстаивала их, не жалея себя, не опасаясь за себя неблагоприятных последствий»⁴¹.

³⁹ О С. Д. Пономаревой и ее салоне см.: *Вацуро В. Э. С. Д. П.*: Из истории литературного быта пушкинской поры. М., 1989; *Дмитриева Н. Л.* Пономаревой салон // Быт пушкинского Петербурга. СПб., 2005. Т. 2. С. 189–191.

⁴⁰ *Соллогуб В. А.* Повести. Воспоминания. Л., 1987 С. 438.

⁴¹ *Вяземский П. А.* Старая записная книжка. С. 494.

Долли Фикельмон помимо внешнего очарования выделялась среди других светских дам светлым умом и обширными познаниями. Она вела дневник и писала исключительно интересные письма. Унаследованная от матери способность к искренней и самоотверженной дружбе соединялась в ней с какой-то удивительной чуткостью и проницательностью, едва ли не даром предвиденья. Не случайно еще в юности ее прозвали «Сивиллой флорентийской». Она очаровывала собеседников безукоризненными манерами и утонченным шармом. 25 апреля 1830 г. Пушкин писал ей: «Я всегда останусь самым искренним поклонником вашего очарования, столь простого вашего разговора, столь приветливого и столь увлекательного, хотя вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших светских дам»⁴².

Салоны Хитрово и Фикельмон, где русские поэты и писатели встречались с европейскими дипломатами и знаменитостями, носили особенный, русско-европейский характер. По словам Вяземского, «вся животрепещущая жизнь, европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски в двух этих родственных салонах»⁴³. Пушкин мог познакомиться там едва ли не со всеми представителями дипломатического корпуса. Для поэта, никогда не выезжавшего за границу, эти салоны были «поистине “окном в Европу”, откуда вливались в туманный и холодный Петербург яркий свет и вольный воздух или, по крайней мере, их отражение»⁴⁴.

Александра Осиповна Смирнова-Россет (1809–1882), до замужества фрейлина двора, собирала вокруг себя широкий круг друзей и поклонников. Среди них были Жуковский, Пушкин, Вяземский, Гоголь, Плетнев, А. И. Тургенев, Одоевский, Хомяков, Соболевский. И. С. Аксаков писал: «Ее красота, столько раз воспетая поэтами, – не величавая и блестящая красота форм (она была очень невысокого роста), а южная красота тонких, правильных линий смуглого лица и черных, бодрых, проницательных глаз, вся оживленная блеском острой мысли, ее пытливый, свободный ум и искреннее влечение к интересам высшего строя – искусства, поэзии, знания – скоро создали ей при дворе и в свете исключительное положение»⁴⁵. Ее называли «обворожительницей», «сиреной-очаровательницей», «девой-розой», «колибри Арзамаса», «южной ласточкой». Кто-то прозвал смуглую черноглазую красавицу Donna Sol – по имени главной героини

⁴² Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 16. С. 430 (оригинал по-фр.).

⁴³ Вяземский П. А. Старая записная книжка. С. 493.

⁴⁴ Измайлов Н. В. Пушкин и Е. М. Хитрово. 1827–1832 // Труды Пушкинского Дома. Л., 1927. Вып. 48. С. 193.

⁴⁵ Аксаков И. С. А. О. Смирнова [Некролог] // Русь. 1882. № 37. С. 10–11.

драмы Виктора Гюго «Эрнани». «Придворных витязей гроза» – писал о ней Пушкин⁴⁶, а Жуковский прозвал ее «небесным дьяволенком»⁴⁷. «Все мы, более или менее, были военнопленными красавицы; кто более или менее уязвленный, но все были задеты и тронуты» – вспоминал Вяземский⁴⁸. Поэты ценили ее глубокие и точные суждения о литературе. Так и скромная комната фрейлины, и затем семейный дом Александры Осиповны, благодаря хозяйке, превращались в блестящий салон⁴⁹.

Авдотья Петровна Елагина (1789–1877), урожд. Юшкова, по первому браку Киреевская, была хозяйкой знаменитого салона, существовавшего на протяжении нескольких десятилетий⁵⁰. С середины 1820-х до конца 1840-х гг. дом Елагиных был одним из центров культурной жизни Москвы. У них бывали Пушкин, Жуковский, Соболевский, Баратынский, Вяземский. А. И. Тургенев. В 1840-х гг. в ее салоне появляются Герцен, Огарев, Самарин, Аксаковы, Кавелин. В беседах гостей о прошлом и будущем России развивались идеи, позже ставшие основой славянофильской идеологии. Именно в этом салоне был прочитан один из первых манифестов славянофильства – статья А. С. Хомякова «О старом и новом» (1839)⁵¹.

Разумеется, взгляды сыновей Елагиной, Ивана и Петра Киреевских, привлекали в салон их единомышленников, но гостеприимно встречали там и «западников». Со временем разногласия все чаще стали перерастать в острые дискуссии, и только доброжелательность и светский такт хозяйки позволяли какое-то время примирять идейных противников. Елагина была племянницей В. А. Жуковского (дочерью его сестры, Варвары Афанасьевны), поэт был ее первым учителем и наставником, и на всю жизнь остался ее близким другом. Она прекрасно знала иностранные языки и много переводила, но профессиональные литературные занятия были лишь частью ее культурной деятельности. Ее дом в Москве «долго был известен московскому образованному обществу, всему литературному и ученому люду. <...> Ум, обширная

⁴⁶ Пушкин А. С. Ее глаза // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1948. Т. 3. С. 108.

⁴⁷ Жуковский В. А. А. О. Россет-Смирновой // Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 2000. Т. 2. С. 281.

⁴⁸ Вяземский П. А. Старая записная книжка. С. 233.

⁴⁹ См.: Федотова С. Б. Смирновой-Россет салон // Быт пушкинского Петербурга. Т. 2. С. 254–258.

⁵⁰ См.: Канторович И. В. Салон Авдотьи Петровны Елагиной // Новое литературное обозрение. 1998. № 2. С. 165–209.

⁵¹ См.: Фризман Л. Г. Иван Киреевский и его журнал «Европеец» // Европеец: Журнал И. В. Киреевского: 1832. М., 1989. С. 462–465 (сер. «Литературные памятники»).

начитанность и очаровательная приветливость хозяйки привлекала сюда избранное общество»⁵².

Хозяйкой еще одного московского салона была графиня Евдокия Петровна Ростопчина, урожд. Сушкова (1811–1858). Как и А. П. Елагина, она была поэтессой и переводчицей, писала также прозаические и драматургические сочинения, которые читала гостям. Сочинения были длинные и неинтересные, слушатели изнывали от скуки, но графиня беспощадно заставляла их прослушать все произведение целиком. Гости мирились с этой слабостью хозяйки, о которой ее брат Сергей Сушков писал: «Одаренная щедро от природы поэтическим воображением, веселым остроумием, необыкновенной памятью, при обширной начитанности на пяти языках, замечательным даром блестящего разговора и простосердечною прямою характера при полном отсутствии хитрости и притворства, она естественно нравилась всем людям интеллигентным»⁵³. Евдокия Петровна была несчастлива в браке и постоянно окружена толпой поклонников, ухаживания которых принимала весьма благосклонно. В свете о ней много сплетничали и злословили, но в ее салоне не было недостатка посетителей: знаменитые писатели и актеры, ученые и литераторы собирались на «субботы Ростопчиной». В разные годы среди ее гостей бывали Пушкин, Жуковский, Вяземский, Одоевский, Виельгорский, Соболевский, Соллогуб, Плетнев, Самарин, Лев Толстой, И. С. Тургенев, Дружинин, Григорович.

Существовали и такие салоны, где в роли хозяев выступали мужчина или же супружеская пара. Одним из самых своеобразных центров культурной жизни столицы был салон Владимира Федоровича Одоевского (1804–1869). Круг его интересов был необычайно широк: писатель, журналист, литературный и музыкальный критик, чиновник Министерства внутренних дел, он в то же время увлекался философией, естественными науками, средневековой мистикой. Когда в 1826 г. Одоевский переехал в Петербург, его дом быстро превратился в блестящий литературный и музыкальный салон. Хозяин принимал посетителей в своем кабинете, обстановка которого носила немного театрализованный характер. И. И. Панаев описывает ее так: «...книги на стенах, на столах, на диванах, на полу, на окнах – и притом в старинных пергаментных переплетах с писанными ярлычками на задках; портрет Бетховена с длинными седыми

⁵² Цит. по: [Бартенев П. И]. Авдотья Петровна Елагина // Русский архив. 1877. Кн. 2. №. 8. С. 492. См. также: Кавелин К. Д. А. П. Елагина // Кавелин К. Д. Наш умственный строй. С. 320.

⁵³ Сушков С. П. Биографический очерк Е. П. Ростопчиной // Ростопчина Е. П. Сочинения. СПб., 1890. Т. 1. 34.

волосами и в красном галстуке; различные черепы, какие-то необыкновенной формы склянки и химические реторты». Хозяин выглядел не менее странно: «...черный шелковый вострый колпак на голове и такой же длинный, до пят, сюртук делали его похожим на какого-нибудь средневекового астролога или алхимика»⁵⁴.

В салоне Одоевского собирались как члены кружка «любомудров», перебравшихся в Петербург, так и писатели пушкинского круга – сам Пушкин, Вяземский, Жуковский, позднее в салоне появляются Гоголь и Лермонтов. Кроме писателей у Одоевского можно было встретить композитора М. И. Глинку, знатока Китая отца Иакинфа (Бичурина), археолога и фольклориста И. П. Сахарова, ученого и путешественника барона Шиллинга, французских дипломатов и блестящих светских дам. Салон Одоевского отличался необычным демократизмом: хозяин искренне стремился сблизить представителей разных слоев общества, аристократов и ученых, светских дам и разночинных литераторов⁵⁵. В салоне В. Ф. Одоевского, писал В. А. Соллогуб, «...хозяин дома, то прислушивался к разговору, то поощрял дебютанта, то тихим своим добросердечным голосом делал свои замечания, всегда исполненные знания и незлобия»⁵⁶.

Алексей Николаевич Оленин (1763 или 1764–1843), историк и археолог, директор Публичной библиотеки, президент Академии художеств, член Государственного Совета, принимал гостей не только в своих петербургских квартирах, но и в имении Приютино в 16 верстах от столицы. Их встречали сам Алексей Николаевич, его жена Елизавета Марковна (урожд. Полторацкая, 1768–1838), их взрослые сыновья и дочери. «Нигде нельзя было встретить столько свободы удовольствия и пристойности вместе, в одном семействе — такого доброго согласия, такой взаимной нежности, ни в каких хозяевах — столь образованной приветливости» – вспоминал Ф. Ф. Вигель⁵⁷. Здесь собирались писатели и художники, ученые и артисты – русские и иностранные знаменитости. Сыновья Олениных приглашали своих друзей и сослуживцев – молодых гвардейских офицеров. В салоне Олениных обсуждались все литературные и художественные новости, книги, картины и спектакли – «словом, все, что могло питать любопытство

⁵⁴ Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1988. С. 119–120.

⁵⁵ См.: Турьян М. А. Странная моя судьба: О жизни Владимира Федоровича Одоевского. М. 1991 С. 180–191; Муравьева О. С. Одоевского салон // Быт пушкинского Петербурга. Т. 2. С. 125–129.

⁵⁶ Соллогуб В. А. Воспоминания о кн. В. Ф. Одоевском // В память о кн. В. Ф. Одоевском. М., 1869. С. 90.

⁵⁷ Вигель Ф. Ф. Записки. С. 191.

людей, более или менее подвижных любовью к просвещению»⁵⁸. На протяжении многих лет у Олениных бывали писатели разных поколений и литературных партий: Пушкин, Вяземский, Шаховской, Озеров, Гнедич, Батюшков, А. И. Тургенев, Жуковский, Крылов, Катенин и др. Салон посещали художники Ф. П. Брюллов и К. К. Гампельн, архитекторы В. П. Стасов и К. А. Тон, скульптор С. И. Гальберг, композитор М. И. Глинка. В непринужденной атмосфере этого дома велись серьезные беседы об искусстве и отечественной словесности и организовывались бесконечные веселые забавы: шарады, фанты, горелки, театрализованные представления, в которых охотно участвовали гости всех возрастов и званий. Знаменитые праздники с фейерверками и иллюминациями устраивались по случаю дня рождения и именин хозяйки дома. Елизавета Марковна не оставалась в тени своего знаменитого мужа: «Образец женских добродетелей, нежнейшая из матерей, примерная жена, одаренная умом ясным и кротким нравом, – она оживляла и одушевляла общество в своем доме»⁵⁹. После ее смерти в 1838 г. салон Олениных перестал существовать в своем прежнем виде⁶⁰.

По преимуществу музыкальным салоном был салон Виельгорских. Граф Михаил Юрьевич Виельгорский (1788–1856), имевший высокие чины и занимавший ответственные государственные должности, был в то же время талантливым исполнителем, композитором-дилетантом и меценатом. Его брат Матвей Юрьевич (1794–1866) получил признание как выдающийся виолончелист. Петербургский салон Виельгорских несколько раз менял адреса, но в каждом их доме непременно существовал музыкальный зал, где устраивались концерты как камерной, так и симфонической музыки. В сущности, в доме Виельгорских существовало два салона – музыкально-литературный салон Михаила Юрьевича и великосветский салон его супруги Луизы Карловны (урожд. Бирон, 1791–1853), которая совершенно иначе, чем муж, представляла себе салонное общение. У нее принимали представителей двора и большого света, у него – музыкантов, писателей, живописцев и актеров. Бывали у него и «всякого рода неизвестные людишки, которыми Виельгорский как истый барин никогда не брезговал»⁶¹.

⁵⁸ А. В. [Уваров С. С.] Литературные воспоминания // Современник. 1851. Т. 27. Отд. II. С. 40.

⁵⁹ Там же. С. 39.

⁶⁰ О салоне Олениных см.: Оом О. Н. Предисловие // Дневник «Annette». СПб., 1994. С. 18–30; Чистова И. С., Федотова С. Б. Олениных салон // Быт пушкинского Петербурга. Т. 2. С. 129–133.

⁶¹ Соллогуб В. А. Петербургские страницы воспоминания. СПб., 1993. С. 212; см. также: Ларионова Е. О. Виельгорских салон // Быт пушкинского Петербурга. Т. 1. С. 90–92.

Салонная культура имела свой гласный и негласный этикет, русские особенности которого, как и сам факт появления салонов, во многом восходят к французской традиции.

Одна из таких особенностей – исключительная роль женщины (не случайно мужские салоны и во Франции, и в России появляются позднее, чем те, что собирались вокруг хозяйки дома). Связано это было с несколькими факторами, прежде всего с тем, что женщине отводилась роль ретранслятора и знания, и искусства жизни (так называемого *savoir-vivre*). Фактор этот более характеризует французскую салонную культуру, но он отозвался и в быте русских салонов. Именно женщина остается хранительницей галантных манер, именно она культивирует стиль общения, определяемый как стиль *honnête homme/honnête femme*, – правила благородства, социальной условности, во Франции особенно важные в эпоху Старого режима, но сохранявшие определенную значимость на протяжении всего XIX в. (это хорошо чувствуется в описании салона Анны Павловны Шерер в «Войне и мире»).

Собственно, именно умение хозяйки принимать гостей и вести вечер определяли успех салона. Е. Ф. Юнге (дочь Ф. П. Толстого) вспоминала: «В салоне мать моя была удивительная хозяйка: глаз ее был всюду; она умела возбудить интерес застывающего разговора, соединить разнородные элементы, поднять настроение общества»⁶². Сходным образом А. И. Кошелев в своих воспоминаниях о Е. А. Карамзиной отмечал: «Хозяйка дома умела всегда направлять разговоры на предметы интересные»⁶³.

Еще одним фактором, обусловившим центральное положение женщины в салоне, было наличие у нее большего свободного времени, чем у мужчины. Конечно, чтобы держать салон, требовались финансовые возможности. Именно поэтому негласное согласие мужей, даже если они не принимали участия в салонной жизни, при этом предполагалось. Во Франции самое выгодное положение было у вдов (при Старом режиме это был единственный статус, при котором женщина обладала юридической и финансовой независимостью), а также у тех, кто пребывал в состоянии неформального развода, «*séparation*» (таков пример Фанни де Богарне). Незамужняя хозяйка салона – скорее исключение из правил. Вообще же случаи, когда дамы начинали держать салон в раннем возрасте, довольно редки.

⁶² Юнге Е. Ф. Воспоминания. [М., 1914]. С. 74.

⁶³ Кошелев А. И. Мои воспоминания о Хомякове // Русский архив. 1879. Кн. 3. № 11. С. 266.

Наконец, главенствующей роли, которую женщина играла в салоне, способствовало еще и то (и фактор этот имел определяющее значение в России), что она в силу своей гендерной роли была значительно более свободной в отношении социальной иерархии, чем мужчина. Ее воспринимали прежде всего как хозяйку дома, которая угощает гостей. Не имея возможности, по условиям того времени, проявить свои способности на каком-либо служебном поприще, женщина реализовывала их в формах самой жизни, и салон был для нее уникальным в этом отношении опытом. Знаменитые русские салоны первой половины XIX в. несут отчетливый отпечаток личности своих хозяек.

Салон, это странное гибридное пространство, открытое и вместе с тем закрытое, не интимно-частное, но и не публичное, традиционно выступает как пространство кодифицированного гостеприимства. В связи с этим возникают вопросы: каковы были условия журфикса? кто принимал и за чей счет? каким образом приглашались гости? каковы были материальные основы салона (мебель, цвет обоев и проч. – ведь еще Гете замечал, как изменяется тон беседы в зависимости от цвета гостиной, где происходит общение).

В салонах, как правило, кормили обедом или ужином, иногда тем и другим. Впрочем, бывало и так, что еда служила скорее предлогом. А если хозяйка салона испытывала финансовые сложности, то она попросту ограничивала круг лиц, имевших доступ в салон, и соответственно уменьшала количество подаваемых блюд. Принимали гостей в гостиной, где имелось большое количество стульев или кресел. Зимой посетители салона располагались как правило вокруг камина: женщины сидели, стоящие подле них мужчины образовывали между дамами кружки. Подобные мизансцены можно увидеть на целом ряде картин, изображающих салоны.

Попасть в салон за одни таланты было невозможно – это был медленный процесс социального признания. Получить первый раз доступ в салон можно было тремя способами: 1) быть непосредственно приглашенным хозяйкой салона; 2) быть представленным ей одним из завсегдатаев; 3) иметь рекомендательное письмо. Человек, однажды принятый в салоне, мог уже приезжать без приглашения. В разные дни в салоне могло собираться от восьми–десяти до нескольких десятков человек. Имея возможность всякий день посещать салоны, каждый выбирал для постоянных визитов те из них, где собиралось наиболее интересное и приятное ему общество. Таким образом, салоны ни в коем случае не являлись замкнутыми и закрытыми сообществами приверженцев определенных эстетических или политических течений. В этом – их отличие от

литературных кружков и обществ, хотя и последние не всегда отличались единством эстетических позиций.

От обычаев Старого режима во Франции, унаследованных в России, шла традиция приемов по определенным дням. У Карамзиной, например, принимали каждый вечер, у Елагиной по воскресеньям, у Одоевских по субботам и т. д.

Важнейшей частью времяпровождения в салоне была беседа. В ходе общения гости не стремились о чем-либо «договориться» – они предавались самому искусству беседы⁶⁴. Как писала (остро)умная Сюзанна Неккер (мать госпожи де Сталь), «беседа весьма отлична от мысли, мысль есть реальность, а беседа есть спектакль»⁶⁵. Русская мемуарная литература сохранила самые противоречивые отзывы о таком общении. Одни превозносили его как увлекательное интеллектуальное развлечение, принадлежащее к числу высших достижений цивилизованного общества, другие высмеивали как самое пустое занятие, искусство говорить ни о чем. Разумеется, светская беседа, как и любая другая, в большой степени зависела от конкретных участников – от их ума, образованности, остроумия и обаяния. Но своеобразие светской беседы состояло именно в самой манере разговора, чтобы вести ее, нужно было быть светским человеком.

Первым правилом знаменитого *bon ton* (хорошего тона) было умение сделать свое общество как можно более приятным для окружающих. Истинно светский человек должен быть любезным и снисходительным. Он избегает назидательности и запальчивости, не утомляет собеседников обстоятельными рассказами и умеет найти интересную для них тему. Неизменные светские ироничность и приветливость не позволяли разгораться враждебным чувствам и чаще всего (но, конечно, не всегда) предотвращали возможные конфликты. Легко переходя от одной темы к другой, собеседники любили иронизировать над тем, к чему, на самом деле, относились вполне серьезно; это был не цинизм, а лишь игра ума, от которой все получали о удовольствие. Преимущества светской беседы описаны в XXIII строфе восьмой главы «Евгения Онегина»:

⁶⁴ Изучение салонной беседы представляет немало трудностей, связанных с ее устной природой. Существуют три основных пути ее исследования: 1) анализ ее норм по трактатам, поэтикам, риторикам, которые воссоздают идеальный образ беседы, но не позволяют понять, насколько он воплощался в жизнь; 2) анализ светских диалогов в романах интересующего времени; 3) изучение следов устной беседы в переписке и мемуарах. Проблема последнего способа в том, что переписка и мемуары фиксируют как правило наиболее яркие моменты беседы, воплощенные в остротах, *bon-mots*, афоризмах и проч., и потому эта сторона салонной беседы известна лучше, чем все остальные.

⁶⁵ *Mélanges extraits des manuscrits de Madame Necker / Éd. J. Necker. Paris, 1798. Vol. 1. P. 66–67.*

Перед хозяйкой легкий вздор
Сверкал без глупого жеманства,
И прерывал его меж тем
Разумный толк без пошлых тем,
Без вечных истин, без педантства,
И не пугал ничьих ушей
Свободной живостью своей.⁶⁶

В сущности, салонная беседа была своего рода эзоповым языком: надо было уметь все сказать и ничего не сказать, показать свой ум, но при этом не показаться педантом, угадать подспудные желания своего собеседника, но не дать ему о том понять. Особая роль придавалась молчанию, которое могло выступать как форма выражения и похвалы, и порицания. Все это и входило в кодекс *honnête homme / honnête femme*⁶⁷.

Не в последнюю очередь французская, а затем и русская салонная беседа предстает как искусство шутить, острить и делать комплименты. Веселость, имеющая, в частности, экзистенциальную цель – изгнания скуки, – в разговоре принимает форму бон-мо или удачной шутки, позволяющей резко и вместе с тем вежливо закончить длинную скучную (философскую) беседу. Особой формой остроты и в русском, и во французском светском быту был *persiflage*⁶⁸ — нечто среднее между пересмеиванием, насмешкой, подшучиванием, издевательством и мистификацией, адресованный, как правило, тому, кому не ведомы правила светского общежития. В светском общении *persiflage* состоял в том, чтобы произнести похвальную речь, иронический подтекст которой был бы понятен всем, кроме того, к кому она обращена.

Бон-мо включали в себя каламбуры, в их основе лежал звуковой экивок, и остроты, которые в каком-то смысле даже важнее для изучения (во всяком случае, социолингвистического), поскольку позволяют выявить тот общий контекст, которым они были порождены, и коллективную на него реакцию. Французский язык (а им, не забудем, пользовалось русское светское общество), богатый омонимами и омофонами, открывал для того большие возможности. Своими каламбурами славились в обществе отец и дядя Пушкина, некоторые их остроты сохранили мемуаристы. Так, Василия Львовича спрашивают: «*Quelle ressemblance y-a-t-il entre le soleil et vous, m-r Pouchkine?* –

⁶⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1937. Т. 6. С. 176.

⁶⁷ Подробнее см.: Дмитриева Е. Е. Кодекс поведения «*honnête homme*» или кодекс либертена? (Роман Кребийона-сына «Заблуждения сердца и ума») // Западный сборник: В честь 80-летия Петра Романовича Заборова. СПб., 2011. С. 106–119.

⁶⁸ Слово происходило от имени театрального персонажа Персифль, изъяснявшегося на непонятной тарабарщине. См.: Bourguinat E. *Le siècle du persiflage, 1734–1789*. Paris, 1998.

C'est qu'on ne saurait fixer l'un et l'autre sans faire la grimace» – тотчас ответил он. («В чем сходство между солнцем и вами, г. Пушкин? – В том, что нельзя без гримасы разглядывать нас обоих» – *фр.*)⁶⁹.

Очевидную параллель со светской беседой мы видим в эпистолярном наследии людей этого круга. Их письма пестрят теми же афоризмами, каламбурами и *bons mots*, многие из которых родились наверняка не в момент написания письма. «Гнедич классически обнимает романтическую фигуру твою»⁷⁰, «Я истинно желаю, чтоб *непокойные* стихотворцы оставили бы нас в покое»⁷¹; «Ах, мой милый, вот тебе каламбур на мой аневризм: друзья хлопочут о моей *жиле*, а я о *жилье*. Каково?»⁷²; «Ты говоришь, что ты *бесприютен*: разве тебя уже не пускают в Приютино?»⁷³

Нередко оригинальные словесные формулы, остроты, парадоксы и афоризмы вовсе не были спонтанной реакцией собеседников, а придумывались заранее и использовались при подходящем случае. По свидетельству П. А. Вяземского, князь Ю. В. Долгорукий, известный своими каламбурами, даже выдумывал их за других, и в своих рассказах вкладывал в уста известных личностей⁷⁴. Во многих случаях уже трудно было установить авторство того или иного афоризма, оттачивание словесной формы становилось делом целого круга. Образцы особенно удачных острот сохранили «Старые записные книжки» Вяземского, придававшего большое значение таким «отголоскам живой речи»⁷⁵. Примечательные высказывания и остроты исторических лиц записывались и Пушкиным (см.: «Table-talk»⁷⁶).

Для писателей салонная беседа могла становиться своего рода словесным творчеством. Тезис о беседе как матрице литературы был в свое время пущен в ход Сент-Бевом: не салоны являют собой литературную практику, скорее литература есть практика светской жизни⁷⁷. «Устной литературой» называл салонную беседу Вяземский:

⁶⁹ Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 38.

⁷⁰ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1941. Т. 14. С. 36 (письмо А. А. Дельвига к А. С. Пушкину от 3 декабря 1828 г.).

⁷¹ Там же. М.; Л., 1937. Т. 13. С. 4 (письмо В. Л. Пушкина к А. С. Пушкину от 17 апреля 1816 г.).

⁷² Там же. С. 227 (письмо А. С. Пушкина к П. А. Вяземскому от 13 сентября 1825 г.).

⁷³ Там же. С. 28 (письмо П. А. Вяземского к А. С. Пушкину от 18 и 25 сентября 1828 г.).

⁷⁴ См.: Вяземский П. А. Старая записная книжка. С. 4. См. также: Юнггрен А. Поэзия Тютчева и салонная культура XIX века. М., 2006. С. 23.

⁷⁵ Вяземский П. А. Старая записная книжка. С. 4.

⁷⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 12. С. 156–177.

⁷⁷ См.: Lilti A. Le monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle. P. 284.

«Литература есть выражение современного общества. Какое же тут выражение, когда многие и многие из этого общества чуждаются пера и не умеют им владеть? У нас была и есть устная литература. Жаль, что ее не записывали»⁷⁸.

Одним из порождений салонов, частично дошедшим и до наших дней, была так называемая салонная поэзия (*poésie de société*), род забавы, которой управляли законы светского общества и которую не следует путать со стихами на случай. Малейшее событие в жизни общества могло стать поводом для стихотворения. Салонная поэзия выступала еще и как род «подарка» – похвалы, лишенной грубой лести, стихотворного портрета и проч.

Литературными жанрами, органично существовавшими в атмосфере театрализованного, игрового быта, отличавшего русское светское общество первой половины XIX в.⁷⁹, были также такие словесные забавы, как сочинение буриме (стихотворений на заданные рифмы) и акrostихов (стихотворений, написанных с таким расчетом, чтобы начальные буквы строк образовывали чье-либо имя, слово или целую фразу). Это требовало достаточно хорошей литературной подготовки и подчас демонстрировало настоящее мастерство.

Гости салона с удовольствием занимались светскими играми (*jeux de société*): играли в «портрет» (создание и затем угадывание портрета кого-то из присутствующих), сочиняли шарады, в том числе живые, т. е. театрализованные шарады (*charades en action*). Живые шарады ставились, в частности, в доме Олениных, в салоне Зинаиды Волконской⁸⁰. Другим излюбленным развлечением были живые картины: несколько соответствующим образом одетых и иногда слегка загримированных людей старались либо точно воспроизвести одно из известных живописных полотен, либо представить в лицах какую-либо сцену из истории или мифологии. Говорящие живые картины являлись уже, по существу, маленькими спектаклями и непосредственно примыкали к домашним театральным постановкам⁸¹. В домах А. Н. Оленина, Ф. П. Толстого, А. П.

⁷⁸ Вяземский П. А. Старая записная книжка. С. 29.

⁷⁹ См.: Лотман Ю. М. Искусство жизни // Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства: (XIII – начало XIX века). СПб., 1994. С. 180–209.

⁸⁰ См.: Оленина А. А. Дневник. Воспоминания. СПб., 1999. С. 19, 73–74, 177–178, 294; Оом Ф. А. Воспоминания. 1826–1865. М., 1896. С. 7; Вересаев В. В. Пушкин в жизни. М., 1984. С. 56–57.

⁸¹ Ср. описание постановки «живой картины» в доме Ф. П. Толстого: Каменская М. Ф. Воспоминания. М., 1991. С. 72, 222.

Елагиной, где собирались известные поэты и художники, спектакли и театрализованные игры достигали уровня настоящего искусства⁸².

Салонной традицией, непосредственно связанной с литературным творчеством, являлась мода на дамские альбомы, пришедшая из Западной Европы, существовавшая в России уже в XVIII в. и получившая большое распространение в первой половине XIX-го. Трудно найти знаменитого или просто известного поэта этого времени, который бы никогда не писал стихи в альбом. Альбомы занимали столь заметное место в жизни русского образованного общества XIX в., что сами становились предметом стихов (см. одноименные стихотворения Баратынского: «В альбом» («Вы слишком многими любимы...», 1821), «В альбом» («Альбом походит на кладбище...», 1829), а также «<Альбом>» Жуковского (сер.1820-х гг.) или «Альбом» Вяземского (1826)). Альбом принадлежал в первую очередь культурному быту, хранил память о человеческих отношениях. Собственно литературная ценность альбома отходила на второй план, вернее сказать, поэзия здесь выступала в особом качестве – в качестве непосредственного участника частной, домашней жизни и свидетельства о ней. Русская альбомная лирика – весь свод стихотворений, сохранившихся в домашних альбомах, – специально не изучалась. Огромный объем таких текстов трудно систематизировать; среди них есть и беспомощные вирши, и неплохие стихи неизвестных авторов, и произведения выдающихся поэтов. Все эти несоизмеримые по своей художественной ценности сочинения объединяет общая установка на непритязательность и дружескую интимность.

В рамках темы салонной культуры интересны не домашние альбомы юных девушек, а альбомы светских дам. Первые обычно являли собой весьма пеструю картину: здесь было место и переписанным владелицей альбома стихам известных поэтов, и любительским рифмованным посланиям ее подруг и поклонников, рисункам и глубокомысленным изречениям, засушенным цветам и шарадам. Дамские альбомы носили иной характер: они иногда представляли собой коллекции автографов и рисунков известных поэтов и художников. Эти альбомы, имеющие большой интерес для историков литературы, вызвали стойкую неприязнь у самих поэтов. Пушкин, в четвертой главе «Евгения Онегина» с добродушной иронией и симпатией описав «уездной барышни альбом», с нескрываемым раздражением отозвался об альбомах светских дам.

⁸² См.: *Муравьева О. С.* Развлечения светские // Быт пушкинского Петербурга. Т. 2. С. 227–232.

Но вы, разрозненные томы
Из библиотеки чертей,
Великолепные альбомы,
Мученье модных рифмачей,
Вы, украшенные проворно
Толстого кистью чудотворной
Иль Баратынского пером,
Пушай сожжет вас божий гром!
Когда блистательная дама
Мне свой in-quarto подает,
И дрожь, и злость меня берет,
И шевелится эпиграмма
Во глубине моей души,
А мадригалы им пиши!⁸³

Та же тема звучит в стихотворении «И. В. Слѣнину» (1828):

Я не люблю альбомов модных:
Их ослепительная смесь
Аспазий наших благородных
Провозглашает только спесь.⁸⁴

В самом деле, некоторые альбомы светских дам утрачивали главную ценность альбома: домашность, интимность, тесную связь с частной жизнью. Вместе с тем, эти модные собрания поэтических подношений 1820–1830-х гг. являлись свидетельством новой общественной ситуации: знакомство с литераторами повышает социальный статус светской дамы, становится престижным.

По наблюдениям В. Э. Вацура, в 1820–1830-х гг. альбомная лирика приобретает «устойчивые и даже канонические черты». Она «избегает непосредственной лирической эмоции, и в этом смысле несет в себе нечто от ритуальных форм поведения в светском обществе»⁸⁵. Круг сюжетов этих стихов ограничен: они должны содержать явные или завуалированные комплименты хозяйке альбома. Однообразие компенсировалось искусной поэтической игрой, наследующей традициям «легкой» поэзии с ее каламбурами, галантными формулами и пуантированными концовками⁸⁶. Литературные и поведенческие традиции естественным образом перетекают друг в друга, и в каждом

⁸³ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 86.

⁸⁴ Там же. Т. 3. С. 103.

⁸⁵ Вацура В. Э. Литературные альбомы в собрании Пушкинского Дома (1750–1840-е годы) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома. 1977. Л., 1979. С. 36.

⁸⁶ См.: Там же. С. 36.

конкретном случае трудно установить, повлиял ли стиль светской беседы на стиль альбомного стихотворения, или наоборот.

Широкое распространение дамских альбомов породило своеобразное явление – «альбомный фольклор». Так В. Э. Вацуро назвал «переходящие от альбома к альбому стихотворные мадригалы, утерявшие авторскую принадлежность и видоизменяемые в меру версификаторских способностей пишущего». «Альбомной фольклоризации» подвергались даже стихи известных поэтов, печатавшиеся в журналах и альманахах. Например, материалы и приемы «альбомного фольклора» использованы в эпиграмме Лермонтова «Три грации считались в древнем мире...» и в стихотворении Рылеева «В альбом девице N. N.»⁸⁷. Конечно, для знаменитых поэтов, осаждаемых просьбами тщеславных дам, обычай писать стихи в альбом превращался в тягостную повинность, лишенную вдохновения и живого чувства. Поэты выходили из положения, спокойно переадресовывая свои мадригалы и поэтические признания и записывая в альбом одной дамы строки, посвященные другой. В результате появлялись «блуждающие тексты»⁸⁸, первоначальный адресат которых устанавливается с трудом. И тем не менее альбомные жанры: мадригалы, посвящения, лирические зарисовки, поэтические экспромты и эпиграммы – под пером талантливых поэтов достигали подлинного художественного совершенства. В русле традиции альбомной лирики родились поэтические шедевры Пушкина, Баратынского, Дельвига, Лермонтова, Тютчева.

Литературный светский салон не имел просветительских целей, однако парадоксальным образом он их достигал. В частности, он обеспечивал постоянную связь между писателями и читающей публикой. Если в литературных кружках и обществах общались между собой профессионалы, то в салонах поэты и литераторы встречались с людьми других профессий: военными, профессорами, художниками, музыкантами, дипломатами, чиновниками, помещиками. Это и были их читатели, во всяком случае, значительная их часть. М. И. Аронсон писал: «Кружок больше связан с писателем, салон – с читателем. Участие в салоне лиц, не связанных с литературой непосредственно, облегчает ему работу по распространению идей и вкусов, по внедрению их в общество»⁸⁹.

⁸⁷ Там же. С. 41–42.

⁸⁸ См.: Юнгрен А. Поэзия Тютчева и салонная культура XIX века. С. 50.

⁸⁹ Аронсон М. И. Кружки и салоны. С. 37. См. также: Бунтури В. В. «К приюту тихому беседы просвещенной...»: Литературный салон в культуре Петербурга. СПб., 2013. С. 118.

Самой очевидной формой непосредственного влияния на читающую аудиторию были литературные чтения, регулярно устраивавшиеся в салонах. Мемуаристы оставили множество свидетельств о таких чтениях. Они проходили в салонах Оленина, В. Ф. Одоевского, Волконской, Голицыной, Ростопчиной, Елагиной и др. Часто читались произведения еще не опубликованные, гости, таким образом, получали из первых рук новейшие литературные творения. Писателям же непосредственный контакт со слушателями, их оценки и суждения позволяли яснее представлять себе возможную реакцию публики. Однако необходимость выступать одновременно в двух ипостасях – светского человека и известного автора иногда создавала для писателя определенные трудности. Известно, что Пушкин не желал, чтобы в обществе его принимали как поэта, и очень не любил выступать с чтением своих стихов⁹⁰. Вяземский, отмечая эту его черту, прибавляет: «Понимаю это. Но если уже и он, достигнувший славы сочинительством, как бы чуждался патента на нее, то каково же другим второстепенным сочинителям, но людям рассудительным, навязывать на себя эту цеховую бляху, только что не под номером»⁹¹.

Как уже было сказано выше, возникнув в России в конце XVIII в., салон достигает своего расцвета в 1820—1830-х гг. Но уже в 1850—1860-е гг. он утрачивает значение одного из центров культурной жизни, будучи оттесненным в сферу частного, семейного быта. Обычно это объясняется закономерностями развития литературного процесса, повлекшими за собой изменения положения писателя в обществе. Повышается профессионализм писательского труда, усиливается роль журналистики и критики, увеличивается читательская аудитория. Новые формы литературного быта не укладываются в рамки традиционного салона, и он уступает ведущую роль журналам и писательским объединениям.

Эти, безусловно, справедливые объяснения представляются все же недостаточными. Искусственно разрывая литературные интересы и другие традиционные увлечения и занятия посетителей салонов, мы невольно искажаем реальную картину жизни того общества. Судьба салона определялась не только собственно литературной его деятельностью, но шире, его своеобразием как культурного явления.

⁹⁰ Исключение составляли чтения в кругу литераторов и ценителей, например, знаменитые чтения «Бориса Годунова» в Москве осенью 1826 г.

⁹¹ *Вяземский П. А.* Из статьи «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина // Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1. С. 149.

Воспоминания современников (а среди них – П. А. Вяземский, В. А. Соллогуб, А. П. Керн, Д. М. Веневитинов, К. А. Кавелин, А. Ф. Тютчева, А. И. Кошелев, М. П. Погодин, Ю. К. Арнольд, А. И. Тургенев), даже с поправкой на возможную идеализацию ушедших лет, передают удивительную атмосферу салонов 1820–1830-х гг. с ее интеллектуальным блеском, неизменной благожелательностью, тонкой любезностью и непринужденным весельем. Однако существование таких оазисов вызывало в обществе не только восхищение, но и раздражение. Уже в 1820–1830-х гг. салоны становятся в глазах тех, кто являлся или считался демократом, символом высокомерия светского общества, скрывающего под внешним блеском пустоту и равнодушие к заботам реальной жизни. С восторженными воспоминаниями завсегдаев салонов резко контрастируют другие отзывы.

М. П. Погодин – яркий деятель культуры своего времени (журналист, переводчик, издатель, писатель и историк) был сыном крепостного графа И. П. Салтыкова, отец его получил вольную, когда мальчику было шесть лет. Благодаря своим способностям и кипучей энергии он многого достиг: стал профессором Московского университета, академиком Петербургской академии и получил чин тайного советника. Уже в молодости он попал в избранный круг светского общества, был принят в знаменитых салонах З. А. Волконской, В. Ф. Одоевского, А. П. Елагиной. В его воспоминаниях о салоне Одоевского, о посещениях домов Н. М. Карамзина и И. И. Дмитриева звучат только благодарность и доброжелательность. В то же время герой повести «Адель» (1830) – alter ego автора, красочно живописует «ужасы большого света»: «Это... это гнездо разврата сердечного, невежества, слабоумия, низости! <...> Ни одна высокая мысль не сверкнет в этой удушливой мгле, ни одно теплое чувство не разогреет этой ледяной коры. Люди не благоговеют там перед гением, не радуются успехам просвещения, не принимают участия в судьбе человечества...»⁹². Хотя этот монолог нельзя, конечно, считать выражением позиции самого Погодина, в нем, видимо, звучат затаенные личные чувства.

А. В. Никитенко 24 января 1826 г. записывает в своем дневнике: «У г-жи Штерич собирается так называемое высшее общество столицы, и я имею случай делать полезные наблюдения. До сих пор я успел заметить только то, что существа, населяющие “большой свет”, сущие автоматы. Кажется, будто у них совсем нет души. Они живут, мыслят и чувствуют, не сносясь ни с сердцем, ни с умом, ни с долгом, налагаемых на них званием человека. Вся жизнь их укладывается в рамки светского приличия. Главное

⁹² *Погодин М. П. Повести. Драма. М., 1984. С. 277.*

правило у них: не быть смешным. А не быть смешным, значит рабски следовать моде в словах, в суждениях, действиях так же точно, как в покрое платья. В обществе “хорошего тона” вовсе не понимают, что истинно изящно, ибо общество это в полной зависимости от известных, временно преобладающих условий, часто идущих вразрез с изящным. Принужденность изгоняет грацию, а систематическая погоня за удовольствиями делает то, что они вкушаются без наслаждения и с постоянным стремлением как можно чаще заменять их новыми. И под всем этим таятся самые грубые страсти. Правда, на них набрасывают покров внешнего приличия, но последний так прозрачен, что не может вполне скрыть их. Я нахожу здесь те же пороки, что и в низшем классе, только без добродетелей, прирожденных последнему. Особенно поражают меня женщины. В них самоуверенность, исключая скромность. <...> Я знаю теперь, что “ловкость” и “любезность” светской женщины есть не иное что, как способность с легкостью произносить заученное <...> ...знание французского языка служит как бы пропускным листом для входа в гостиную “хорошего тона”. Он часто решает мнение о вас целого общества и освобождает вас, если не навсегда, то надолго, от обязанностей проявлять другие, важнейшие права на внимание, благосклонность публики»⁹³.

Молодому человеку, который пишет эти строки, всего двадцать два года, он студент Петербургского университета, но совсем недавно был крепостным графа Н. П. Шереметева и лишь два года назад получил вольную. Симпатии к тем, кого он считает баловнями судьбы, от него ожидать трудно. Впрочем, его отношение к светскому обществу остается неизменным, 11 января 1828 г., посетив концерт в доме Нарышкина, он записывает в своем дневнике: «...надо отдать справедливость дамам высшего круга: их внешнее воспитание так утонченно, что весьма успешно скрывает недостаток в них внутреннего содержания. Если они в сущности не больше, чем куклы, то все же прелестные куклы...»⁹⁴.

Необходимо уточнить, кто, собственно, является объектом этой критики. Так называемая светская жизнь состояла из посещений балов, раутов, гуляний и, конечно, салонов. Повсюду присутствовал примерно один и тот же круг людей, условно и называемый «обществом». Резкие отзывы о светском обществе мы встречаем не только у сторонних критиков, но и у самих светских людей. Любое человеческое сообщество несовершенно, и светское общество в России первой половины XIX в. не являлось исключением. Нужно учитывать, однако, что Пушкин или Вяземский критиковали

⁹³ Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. 1. С. 10–11.

⁹⁴ Там же. С. 75.

светское общество не потому, что предпочитали ему какое-нибудь другое, а потому, что с огорчением видели его недостатки и пороки. В салонах собиралась наиболее культурная и образованная его часть, но недоброжелатели часто не видели или не хотели видеть отличия.

Например, 18 июня 1847 г. Никитенко записывает: «Вечер провел у Норова, где, как и во всех салонах, царствовали карты и скука»⁹⁵. В записи от 6 января 1852 г. благожелательно отозвавшись о дамах (В. И. Опочининой и О. Н. Скобелевой), которых посетил вместе с графом Д. А. Толстым, он не преминул заметить: «обе эти дамы читают, и даже по-русски, интересуются мыслию, поэзией, искусством и в разговорах касались предметов, о которых редко толкуют в салонах»⁹⁶.

Разумеется, не трудно заметить предвзятость автора дневника: в салонах «толковали» преимущественно как раз о поэзии и искусстве, такие светские дамы, как Голицына, Волконская, Фикельмон, Ростопчина, Смирнова-Россет, пустыми «куклами» отнюдь не являлись. Никитенко – человек умный и одаренный, он сделал блестящую карьеру: стал цензором, известным и уважаемым профессором, академиком Петербургской академии. Как видим, его приглашают и, очевидно, приветливо встречают в светских салонах. Справедливая обида за перенесенные в ранней юности унижения должна бы уже давно уйти в прошлое, сменившись гордостью за свое теперешнее положение. Однако раздражение и недоброжелательность не слабеют с годами, напротив, эти чувства оправдывают его убеждения и оправдываются ими.

Позиция таких людей, как Никитенко (их наверняка было гораздо больше, чем известных мемуаристов) заслуживает обсуждения. Постоянные гости салонов вспоминают не только об увлекательных разговорах с интересными собеседниками, но и об удивительно теплой, доброжелательной атмосфере. Могло ли умным и дельным людям, в самом деле, быть скучно и неуютно в светских литературных салонах?

Выше уже говорилось о том, что в салонном общении непринужденно соединялись серьезные интеллектуальные разговоры и разного рода забавы. Гости с удовольствием занимались светскими играми, которые требовали и достаточно хорошей литературной подготовки. Людям, не получившим соответствующего воспитания, было очень трудно вписаться в эту среду. Они не умели так шутить, так спорить и так веселиться. Они не находили удовольствия в светских беседах, считая их пустыми и поверхностными. Неизменная любезность и приветливость светских людей казалась им

⁹⁵ Там же. С. 334.

⁹⁶ Там же. С. 340.

неискренней и фальшивой. Безусловно, многие привлекательные черты представителей культурной элиты: разностороннее образование, знание иностранных языков, безупречные манеры – свидетельствовали о привилегированном положении, в котором те находились с детства. Все это не отменяло личных достоинств и дарований, но все равно рождало чувство несправедливости.

Конфликты, вызванные несовпадением культурных и поведенческих традиций, нигде и никогда не разрешались мирно и безболезненно. Однако в принципе они могли иметь совершенно разные последствия. Судьба французского аристократического салона, являвшегося для русского образцом и моделью, оказалось в этом смысле несравненно более удачной, хотя социальные потрясения во Франции были куда более масштабными и глубокими. О том, как смогли аристократические салоны выстоять в раскаленной политическими страстями Франции 1830-х гг., рассказано, в частности, в книге Анны Мартен-Фюжье⁹⁷. Исследовательница приходит к выводу, что главным условием их выживания стало объединение двух элит: старой аристократической и нарождающейся буржуазной. Аристократия нуждалась в поддержке новой общественной силы и шла ей на уступки, раскрывая двери своих салонов для весьма пестрой, по старым понятиям, публики. А буржуазия, допущенная в высшее общество, старалась соответствовать его традициям. Этот процесс отнюдь не был безболезненным, третье сословие входило в светское общество под градом насмешек и издевок. Несчастных хозяек новых салонов, изо всех сил старавшихся походить на светских дам, пресса третировала за «вульгарность» (имелось в виду незнание этикета и дурной вкус). Все же, несмотря на все трудности, претензии, стычки и обиды представители разных сословий учились жить вместе, светское общество не исчезло, но изменилось, отныне в нем находилось место и для маркиза, и для профессора, и для торговца. Светские салоны, жертвуя аристократическим равнодушием к практической стороне жизни, адаптировались к изменившимся условиям и обрели социальную устойчивость. Буржуазия, в свою очередь, не отказываясь от утилитарных жизненных целей, привыкала считаться с культурными ценностями старой элиты. Французские литераторы по-прежнему являлись завсегдатаями салонов, поддерживая и собственно литературные и светские связи.

Россия и Франция существовали в разных, если можно так выразиться, часовых поясах исторического времени. Французское третье сословие являлось сословием

⁹⁷ См.: *Мартен-Фюжье А. Элегантная жизнь, или Как возник «весь Париж». 1815–1848 / Пер. с фр. О. Э. Гринберг и В. А. Мильчиной. М., 1998. С. 95–127, 174–210.*

победившим: у него уже были и власть, и деньги. Ему не хватало только культуры, шарма, шика – всего того, чем пленяло и дразнило Сен-Жерменское предместье, и буржуа, несмотря на все, жадно стремились все это перенять. Российские разночинцы чувствовали себя социальными изгоями, они не желали подражать аристократам, предпочитая их презирать. В свою очередь, культурная элита, даже сочувствующая демократическим тенденциям, не собиралась отказываться от своих принципов и традиций.

Конечно, в русских светских салонах предпринимались попытки преодолеть элитарную замкнутость. Как уже говорилось, разночинцев радушно встречали в салонах В. Ф. Одоевского, А. П. Елагиной и Е. П. Ростопчиной. Но эти усилия не давали желаемого результата. Восхищенные отзывы об удивительной демократичности салона Одоевского перемежаются весьма скептическими замечаниями. И. И. Панаев уверенно заявлял: «Известно, что желание Одоевского сблизить посредством своих вечеров великосветское общество с русской литературой не осуществилось»⁹⁸. По его мнению, светские люди не желали сблизиться с незнатными литераторами, которые пробирались к кабинету хозяина, «скорчившись и съезжившись» под ироническими взглядами гостей⁹⁹. А. И. Герцен утверждал, что у Одоевского собирались люди, «ничего не имевшие общего, кроме некоторого страха и отвращения друг от друга»¹⁰⁰. И. С. Тургенев признавался, что перестал бывать у Одоевского, потому что ему «просто стыдно, до чего не умеют себя держать прилично новые литераторы. И какой чудак Одоевский, сам себе задает каждую субботу порку <...> Я вижу, как его шокируют манеры дурного тона “литературного прыща”, когда он бывает у него...»¹⁰¹ (нужно заметить, что «литературным прыщом» Тургенев и Некрасов называли молодого Достоевского).

Важная роль салона в литературной жизни Золотого века неизбежно приводила к тому, что культурные и социальные конфликты переносились в сферу литературной борьбы. Писателям и литераторам, не вхожим в светское общество, решительно не нравилось, что в салонах создаются и поддерживаются писательские репутации. Например, И. И. Панаев саркастически замечал: «Чтоб получить литературную

⁹⁸ Панаев И. И. Литературные воспоминания. Л., 1928. С. 143.

⁹⁹ Там же.

¹⁰⁰ Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 30.

¹⁰¹ Панаева А. Я. (Головачева). Воспоминания. Л., 1986. С. 191.

известность в великосветском кругу, необходимо было попасть в салон г-жи Карамзиной – вдовы историографа. Там выдавались дипломы на литературные таланты»¹⁰².

В 1829–1830-х гг. в журнале «Московский телеграф» и в газете «Северная пчела» началась кампания против «писателей-аристократов» (под это определение попадали поэты и писатели, объединившиеся вокруг «Литературной газеты», в том числе Пушкин, Дельвиг, Вяземский, Баратынский). Защищая Вяземского от нападок журналистов, Пушкин писал с тонкой издевкой: «Но должно ли на них негодовать? Не думаем. В них более извинительного незнания приличий, чем предосудительного намерения. Чувство приличия зависит от воспитания и других обстоятельств. Люди светские имеют свой образ мыслей, свои предрассудки, непонятные для другой касты. Каким образом растолкуете вы мирному алеуту поединок двух французских офицеров?»¹⁰³.

«Мирные алеуты» тем не менее в своих критических статьях уверенно судили о том, что принято, а что не принято в свете. Пушкин на это отвечал: «Не забавно ли видеть их опекунами высшего общества, куда, вероятно, им и некогда и вовсе не нужно являться?»¹⁰⁴. Эта граничащая с оскорблением реплика осталась в черновой рукописи пушкинской статьи, но показательна, что он объясняет эстетические претензии критиков их общественным положением. Можно сказать, что граница между «писателями-аристократами» и их «демократическими» критиками на уровне бытовой реальности определялась границами светских литературных салонов. Почти прямо это было сформулировано в стихотворении Вяземского «Синонимы: гостиная – салон» (1836):

Недоумением напрасно ты смущен:
Гостиная – одно, другое есть *салон*.
Гостиную найдешь в порядочном трактире,
Гостиную найдешь и на твоей квартире,
Салоны ж созданы для избранных людей.
Гостинные видал и ты, Видок-Фиглярин!
В *гостиной* можешь быть и ты какой-то барин,
Но уж в *салоне* ты решительно лакей.¹⁰⁵

¹⁰² Панаев И. И. Литературные воспоминания. С. 143–144.

¹⁰³ Пушкин А. С. О статьях князя Вяземского // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 11. С. 97.

¹⁰⁴ Пушкин А. С. О новейших блюстителях нравственности // Там же. С. 98.

¹⁰⁵ Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986. С. 256 (Библиотека поэта. Большая сер.).

Конфликты, связанные со светскими салонами, кажутся лишь незначительным и сугубо частным эпизодом сложной истории российской общественной жизни, однако это эпизод показательный.

Русские литераторы оказывались между двух огней, вынужденные выбирать между противоборствующими культурными традициями. (Этот конфликт особенно остро проявлялся в положении таких писателей, как Некрасов и Тургенев, которые по своему происхождению и воспитанию принадлежали к дворянской элите, а по взглядам – к демократам). И все это имело непосредственное отношение к судьбе салона.

В 1810–1830-х гг. литература и поэзия были органичной частью повседневного быта культурной элиты светского общества. Писатели и поэты во многом определяли интеллектуальный уровень салонного общения и, в свою очередь, подвергались влиянию его норм и традиций. Уникальность салона как культурного явления заключалась в том, что он принадлежал одновременно и общественному быту, и литературе, это сложное единство было одной из определяющих особенностей русской культуры первой половины XIX в. Разрушение этого единства закономерно привело к разрушению салона.

В историческом изучении литературы и общественной жизни уделяется мало внимания нормам поведения и бытовым привычкам, которые кажутся незначительными на фоне глобальных исторических процессов и закономерностей. Между тем, эти нормы и привычки имели большое значение для самих участников изучаемых событий. В свое время Пушкин так охарактеризовал Надеждина: «Он показался мне весьма простонародным, vulgar, скучен, заносчив и безо всякого приличия. Например, он поднял платок, мною уроненный»¹⁰⁶. Очень скоро, однако, стало уже не до таких тонкостей. А. Я. Панаева вспоминала: «После вечера в одном светском салончике, где Писемский читал свой новый роман, Тургенев, явившись на другой день к Панаеву, в отчаянии говорил: “Нет, господа, я более ни за какие блага в мире нигде не буду присутствовать при чтении Писемского кроме как в нашем кружке. Это из рук вон, до чего он неприличен! Я готов был сквозь землю провалиться от стыда. Вообразите, явился читать свой роман, страдая расстройством желудка, по обыкновению, рыгал поминутно, выскакивал из комнаты и, возвращаясь, оправлял свой туалет – при дамах!”»¹⁰⁷.

Для того чтобы не оправлять свой туалет, как изящно выразился Тургенев, при дамах, не обязательно получать аристократическое воспитание. Но нежелание следовать даже самым элементарным правилам поведения у многих разночинцев, писателей в том

¹⁰⁶ Пушкин А. С. Table-talk // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 159.

¹⁰⁷ Панаева А. Я. Воспоминания. С. 170.

числе, часто принимало форму сознательного эпатажа. Панаев считал, что издатель «Сказаний русского народа» И. П. Сахаров нарочно являлся к Одоевскому в длиннополом гороховом сюртуке и ничуть не смущался любопытными взглядами и «улыбочками»¹⁰⁸. Презрительное отношение литераторов новой волны к «светским салончикам», разумеется, вызывало ответную враждебную реакцию. Вскоре самого Тургенева перестали приглашать во многие салоны, не потому, конечно, что он не умел себя вести в свете, а потому, что он был писателем... От писателя хороших манер уже не ждали.

К хорошим манерам можно относиться как угодно скептически, но они являются непременным условием сосуществования людей с разными взглядами и интересами. По замечанию Ю. М. Лотмана, утонченная вежливость как бы заменяет равенство. Разумеется, нормы светского общения, придававшие блеск поведению умных и образованных людей, оборачивались просто заученными привычками людей заурядных и неинтересных. Терпимость и снисходительность могли быть как свидетельством широты взглядов, так и результатом глубокого равнодушия. Никакие культурные нормы не гарантируют идеального воплощения, но они могут нести существенный позитивный потенциал. В светской среде, где общение само по себе являлось высшим удовольствием, тяга к нему подчас пересиливала взаимное недоверие и неприязнь людей, исповедующих разные политические взгляды и эстетические доктрины. Благодаря общепризнанным поведенческим правилам салоны на протяжении недолгого времени являли собой ту нейтральную территорию, на которой такие люди могли встречаться, обмениваться мнениями и приятно проводить время. Однако уже к середине 1840-х гг. ситуация стала постепенно, но неотвратимо изменяться.

12 июля 1843 г. дочь А. П. Елагиной Лиля жаловалась отцу: «Крюков с Ушаковым все спорили о Римских древностях, что было весьма скучно. Не знаю, как Крюков решил говорить при дамах о таких непристойных вещах»¹⁰⁹. Забавное негодование юной барышни свидетельствует о том, что даже в мирных дискуссиях уже нарушались традиции салонной беседы. В. А. Соллогуб, собиравший в своем доме разночинных литераторов, которых добродушно-снисходительно именовал «мой зверинец», почти не допускал на такие вечера светских дам, без которых совсем недавно был немыслим литературный салон. Хозяин опасался не за них (они как раз очень хотели посмотреть на эту публику), а за своих гостей. Аврора Демидова однажды приехала в бальном платье с

¹⁰⁸ Панаев И. И. Литературные воспоминания. С. 146.

¹⁰⁹ Цит. по: Канторович И. В. Салон Авдотьи Петровны Елагиной. С. 191.

огромным бриллиантом на шее. Соллогуб, смеясь, воскликнул: «Аврора Карловна, что это вы надели, помилуйте! Да они же все разбегутся при виде вас!» Демидова поспешно отстегнула ожерелье и положила его в карман¹¹⁰.

Невнимание к дамам, однако, было не самым важным проявлением нарушения традиций. Салон А. П. Елагиной обычно приводят как пример мирного общения славянофилов и западников¹¹¹, однако, идиллия продолжалась недолго. Сама Авдотья Петровна и ее дочь Лиля в своих письмах к Елагину 1840-х гг. упоминают о вечных «спорах и криках», о том, что слишком разнородное общество, собирающееся в их гостиной, разбивается на отдельные кружки, а общей беседы не получается. 2 апреля 1845 г. А. П. Елагина пишет мужу: «Западные совсем нас кинули. Бог с ними! А от восточных скука жестокая». Лиля добавляет в приписке: «...западных мы никого не видим – они все нас бросили <...> а только западные-то и знают новости и сплетни <...> Восточные же заняты только корнесловием и статьями Погодина»¹¹².

Общественная и литературная жизнь все более принимала выраженную идеологическую окраску, что было враждебно самой природе светского литературного салона. Славянофилы и западники, демократы и аристократы не уживались под одной крышей. Не справившись с миссией объединения сословий и примирения литературных и идеологических партий, салоны были вытеснены на периферию общественной жизни. Теперь не они, а журналы и газеты стали формировать мнение публики и устанавливать литературные авторитеты.

¹¹⁰ Соллогуб В. А. Воспоминания. С. 499.

¹¹¹ См., например: [Бартенев П.]. Авдотья Петровна Елагина // Русский архив. 1877. Кн. 2, № 8. С. 495.

¹¹² Цит. по: Канторович И. В. Салон Авдотьи Петровны Елагиной. С. 197.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРУЖКИ 1840–1890-Х ГГ.

Деятельность разного рода неформальных литературных объединений — групп, кружков, салонов, и иных сообществ¹ — на протяжении нескольких десятилетий, начиная с 1840-х гг. и до конца столетия, составляет явление настолько многообразное и разноприродное, что установление генетических и типологических связей при исследовании этого явления, как и описание закономерностей его эволюции, представляется едва ли выполнимой задачей. Показательно, что классическое историко-типологическое исследование М. И. Аронсона и С. А. Рейсера хронологически охватывало только первую треть XIX в., как и исследование Н. Л. Бродского — только его первую половину². Очевидно, что на каждом новом этапе развития литературные сообщества меняли «историческое обличье», сохраняя, обновляя или же радикально преобразуя сложившиеся социально-культурные формы и функции и приобретая «историческую *характерность*»³. Так, для 1830—1840-х гг. исторически характерны именно «кружки», ставшие в эти годы массовым явлением, Преобладающими в кружках могли быть интересы философского или социально-политического характера, однако они не переставали при этом быть сообществами

¹ См. работы справочного и обобщающего характера: *Евгеньев А. [Кауфман А. Е.]*. Писательские общества и кружки // Вестник литературы. 1919. № 1/2. С. 2–6; № 3. С. 2–5; *Аронсон М. И., Рейсер С. А.* Литературные кружки и салоны. СПб., 2001; *Литературные салоны и кружки: Первая половина XIX в.* / Ред., вступ. ст. и примеч. Н. Л. Бродского. М., 2020 (сер. «Антология мысли»); *Брудный Д. Л.* Литературные кружки // Краткая литературная энциклопедия. М., 1967. Т. 4. С. 306–309; *Литературные кафе Москвы и Санкт-Петербурга. Фрагменты из книг. Библиография* / Сост. Т. М. Корзинкина. М., 1992; *Егоров Б. Ф.* Русские кружки // Из истории русской культуры. М., 1996. Т. 5. С. 504–518; *Шруба М.* Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: словарь. М., 2004; *Лаппо-Данилевский К. Ю.* Кружки, салоны... Как и что читать? // Von Wenigen (От немногих). СПб., 2008. С. 59–76; *Литературные общества, кружки и салоны в России в XIX веке: список литературы на русском языке за 1828–1993 гг.* / сост. Н. А. Хмелевская // Рос. нац. биб-ка: [офиц. сайт]. http://nlr.ru/nlr_visit/dep/artupload/media/article/RA2020/NA18391.pdf; и др. Ценность имеет и ряд справочных изданий по литературной топографии Москвы, Петербурга и других городов.

² *Аронсон М. И., Рейсер С. А.* Литературные кружки и салоны; *Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX в.* / Ред., вступ. ст. и примеч. Н. Л. Бродского.

³ *Эйхенбаум Б. М.* Предисловие // *Аронсон М. И., Рейсер С. А.* Литературные кружки и салоны. С. 3.

литераторов, их основных участников. Как свидетельствовал А. И. Герцен в «Былом и думах», в эти годы «литературные вопросы, за невозможностью политических, становятся вопросами жизни. Появление замечательной книги составляло событие, критики и антикритики читались и комментировались с тем вниманием, с которым, бывало, в Англии или во Франции следили за парламентскими прениями. Подавленность всех других сфер человеческой деятельности бросала образованную часть общества в книжный мир, и в нем одном действительно совершался, глухо и полусловами, протест против николаевского гнета...»⁴. Кружки В. Г. Белинского, А. И. Герцена и Н. П. Огарева, Т. Н. Грановского, сыгравшие выдающуюся роль в культурной и интеллектуальной истории страны, закономерно выделяются в категорию литературно-философских кружков (или даже «семинаров»)⁵. Особенностью этих «собраний интеллектуалов», помимо традиционных горячих устных дебатов, стало их литературно-эпистолярное наследие, поскольку изложение идей и мнений здесь часто отдавалось переписке: «Адресованное одному из членов кружка, письмо, содержащее философские мнения, немедленно становилось достоянием остальных; оно читалось и перечитывалось»⁶. Высказанные на «семинарах» позиции получали развитие в литературно-критических и публицистических работах их участников. Литературно-политическим был кружок М. В. Буташевича-Петрашевского и отделившиеся от него самостоятельные кружки, состоявшие по преимуществу из литераторов, в которых дискутировались не только идеи утопического социализма, но и новейшие литературные сочинения, в том числе находившиеся под цензурным запретом статьи Герцена и письмо Белинского к Гоголю. Понятие «люди сороковых годов», утвердившееся в общественном сознании, во многом явилось итогом интеллектуально-познавательной и созидательно-творческой деятельности литературно-философских кружков этого десятилетия.

В статье Б. Ф. Егорова «Русские кружки» отражена массовость кружков середины XIX в., с одной стороны, и разноприродность самого этого явления, с другой⁷. Многочисленность кружков в 1830–1840-х гг. автор статьи объясняет

⁴ Герцен А. И. Былое и думы // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 152.

⁵ См.: Сухов А. Д. Литературно-философские кружки в истории русской философии (20—50-е годы XIX века). М., 2009. С. 13.

⁶ Там же. С. 14.

⁷ Егоров Б. Ф. Русские кружки. С. 504–518.

появлением на исторической сцене «великого сословия интеллигентов»⁸ и видит в кружках явление специфически русское. Среди причин, определивших его национальную окраску, он называет присутствие в русском характере «женственности», покладистости, желания быть руководимым, быть «номером вторым», о чем рассуждает Берсенеv в тургеневском «Накануне». (Далее неизбежно следует оговорка о том, что «генетически врожденные лидеры», как Бакунин, Добролюбов и др., в России, несомненно, существовали.) Еще одной характерно национальной чертой «русских кружков» Б. Ф. Егоров считает то, что «у русского интеллигента в среднем было меньше прагматики и корысти, чем у западного специалиста, и больше романтического желания обсуждать все мировые проблемы, явления мировой культуры, способы преобразования родной страны и т. д.». Поэтому большинство русских кружков «были универсальными, в них обсуждалось все и вся», к «практике жизни» они имели отдаленное отношение⁹. Лишь в некоторых из кружков 1830—1840-х гг. можно усмотреть относительную специализацию: в кружке Н. В. Станкевича, например, преобладал интерес к немецкой философии, в герценовском кружке — к социально-политическим учениям.

Говоря о сложности воссоздания полной исторической картины функционирования во второй половине XIX в. не только литературных кружков, но и иного рода неформальных литературных сообществ, стоит отметить еще целый ряд обстоятельств. С известной осторожностью, к примеру, можно судить о генетической связи возникших в 1850—1860-е гг. редакционных кружков с литературно-философскими кружками предшествующих десятилетий, в которых первенствовали просветительно-образовательные цели и задачи. В этом случае более существенны не сходства, но различия, обусловленные профессионализацией литературной деятельности и формированием печатной индустрии. Растущая степень институализации литературных групп и сообществ приобретала в процессе их исторической трансформации принципиальное, определяющее значение. Непросто поддается классификации изначальная «кружковая» природа объединений западников и славянофилов, очень скоро переросших в «партии» и сложившихся в итоге в завершенные ценностные системы, в духовно-интеллектуальные направления.

Став массовым явлением в 1840-х гг., кружки отчасти оттеснили на второй план блестящие литературные салоны предшествующих лет. Впрочем, салоны имели более

⁸ Там же. С. 507.

⁹ Там же. С. 508.

длительную жизнь, чем кружки¹⁰. В 1840–1850-е гг. они еще далеко не утратили своей роли в культурной и интеллектуальной жизни общества, более того, ряд литературных кружков был генетически связан именно с салонно-домашней традицией, вырос из нее, обретая самостоятельность, как это было с ранними славянофильскими объединениями. Для славянофилов, стоит отметить, традиционные семейно-домашние общность и единство, а не разрыв поколений «отцов» и «детей», были мировоззренчески и идеологически принципиально важны. Славянофильские кружки складывались внутри семейно-дружеского «культурного гнезда» как его интеллектуальное ядро. И если западничество зарождается в кружках, то славянофильство возникает в литературных домах и салонах.

Показательно, что К. Д. Кавелин, посещавший в молодости как знаменитые московские салоны Д. Н. и Е. А. Свербеевых и А. П. Елагиной (матери Петра и Ивана Киреевских), так и московские университетские кружки, а позднее ставший организатором собственного кружка, определяя в своих воспоминаниях важнейшую, с его точки зрения, воспитательную и культурно-образовательную роль кружков и салонов, стремился не разделить их, но сблизить и уравнять. Он писал: «В литературных кружках и салонах зарождалась, воспитывалась, созревала и развивалась тогда русская мысль, подготовлялись к литературной и научной деятельности нарождавшиеся русские поколения. <...> Блестящие московские салоны и кружки того времени служили выражением господствовавших в русской интеллигенции литературных направлений, научных и философских взглядов. Это известно всем и каждому. Менее известны, но не менее важны были значение и роль этих кружков и салонов в другом отношении, — именно как школа для начинающих молодых людей; здесь они воспитывались и приготавливались к последующей литературной и научной деятельности»¹¹.

В неофициальной обстановке кружков и салонов участники бесед и дискуссий обретали возможность выражения не только своих литературно-художественных и научно-философских взглядов, но и гражданских позиций, тогда как для публичного

¹⁰ «Салоны более живучи, чем кружки. <...> Салон более, чем кружок, связан с бытовой обстановкой эпохи, потому что в нем нет твердо фиксированного состава посетителей и нет обязательности его посещения. Тут формы значительно более свободны, чем в кружке» (*Аронсон М. И. Кружки и салоны // Аронсон М. И., Рейсер С. А. Литературные кружки и салоны. С. 36–37*).

¹¹ *Кавелин К. Д. Авдотья Петровна Елагина: (Биографический очерк) // Кавелин К. Д. Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 320, 325.*

выражения подобных взглядов политическая реальность того времени условий не предоставляла. Е. М. Феокистов, человек, в отличие от К. Д. Кавелина, далеко не либеральных воззрений, вспоминал: «Известно, что до конца царствования Николая Павловича в нашей печати не появлялось ровно ничего, что имело бы хотя малейшее отношение к политике. Белинский, например, пользовавшийся таким успехом до конца сороковых годов, высказывал свои мысли по поводу сочинений Пушкина, Гоголя, Лермонтова и др., но обратиться прямо к общественной жизни, говорить о том, что в известный момент составляло злобу дня, это было совершенно невысказуемо»¹². Показательно и свидетельство другого мемуариста, Я. П. Полонского: «К сожалению, в то время никто не мог ни печатно, ни даже изустно вслух высказывать ни надежд своих, ни соображений по поводу предстоявших реформ. Брожение умов было глухое, тайное...»¹³. обстоятельный аналитический очерк «брожения умов» в 1840-х гг., находившего выход за грань политических запретов в московских «гостиных и столовых», дан Герценом в «Былом и думах».

Без имен Станкевича, Белинского и Герцена — «идеалистов тридцатых годов», по определению П. В. Анненкова, как и без имен М. П. Погодина, А. С. Хомякова, С. П. Шевырева и целого ряда других, не обойтись при рассмотрении деятельности литературных кружков «замечательного десятилетия», по формуле того же Анненкова¹⁴, т. е. десятилетия 1838–1848 гг. Год европейских революций, 1848-й, поселивший «ужас» в правительственных кругах, является той известной исторической вехой, «с которой начинается царство мрака в России»¹⁵. Анненков-мемуарист, отличавшийся не только точностью и объективностью, но и обладавший, по словам И. С. Тургенева, «энциклопедически-панорамическим пером»¹⁶, так вспоминал о дальнейшей эволюции возникшего в 1830-х гг. в Московском университете «молодого

¹² *Феокистов Е. М.* За кулисами политики и литературы: 1848–1896: Воспоминания. М., 1991. С. 109.

¹³ *Полонский Я. П.* Мои студенческие воспоминания // Полонский Я. П. Проза. М., 1988. С. 368.

¹⁴ *Анненков П. В.* Замечательное десятилетие: 1838–1848 // Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 111–352.

¹⁵ *Анненков П. В.* Две зимы в провинции и деревне. С января 1849 по август 1851 года // Там же. С. 500.

¹⁶ Имея в виду Манифест 19 февраля (обнародованный 5 марта), Тургенев писал Анненкову 15 (27) февраля 1861 г.: «...я твердо надеюсь, что Вы найдете время описать мне Вашим энциклопедически-панорамическим пером состояние города Питера накануне этого великого дня и в самый день» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. 2-е изд., испр. и доп. Письма: В 18 т. М., 1987. Т. 4. С. 293).

кружка» (кружка Н. В. Станкевича): «Зародыши различных и противоборствующих мнений уже находились в нем, как легко убедиться из имен, составлявших его персонал (К. Аксаков, Станкевич и др.), но зародыши эти еще не приходили в брожение и таились до поры до времени за дружеским обменом мыслей, за общностью научных стремлений. Достаточно вспомнить, что К. С. Аксаков был тогда германизирующим философом, не менее Станкевича; П. Киреевский — завзятым европейцем и западником, не уступавшим Т. Н. Грановскому; а последний, скоро присоединившийся к этому кругу, <...> делил вместе со всеми ими поэтическое созерцание на прошлое и настоящее России. Белинский, который так много способствовал впоследствии к разложению круга на его составные части, к разграничению и определению партий, из него выделившихся, является на первых порах еще простым эхом всех мнений, суждений, приговоров, существовавших в недрах кружка и существовавших без всякого подозрения о своей разнородности и несовместимости»¹⁷. У Анненкова критически выверены и вместе «панорамны» найденные им (и позднее не раз повторенные) определения двух «партий», выросших из московского кружка и ставших позднее ведущими — западников и славянофилов, с «германизирующей философией»¹⁸ у одних и «поэтическим созерцанием» прошлого и настоящего России у других.

Деятельность кружка Станкевича, сложившегося в начале 1830-х гг. в Московском университете, широко изучена¹⁹. Участников кружка объединял интерес к классической немецкой философии (Шеллинг, Кант, Фихте, Гегель), к литературе и истории и, по словам Герцена, «глубокое чувство отчуждения от официальной России, от среды, их окружавшей»²⁰. Как вспоминал К. С. Аксаков, участник кружка с 1832 г., «кружок Станкевича был замечательное явление в истории нашего общества <...>. В

¹⁷ Анненков П. В. Замечательное десятилетие: 1838–1848. С. 113.

¹⁸ Как вспоминал Герцен, не только важнейшие философские произведения, но и сочинения популяризаторские и эпигонские, если только они были изданы в Германии, в кружках «зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней» (Герцен А. И. Былое и думы. С. 18).

¹⁹ См., например: Анненков П. В. Н. В. Станкевич: Переписка его и биография. М., 1857; Машинский С. 1) Кружок Н. В. Станкевича и его поэты // Поэты кружка Н. В. Станкевича. М.; Л., 1964. С. 5–70 (Б-ка поэта. Большая сер.); 2) Станкевич и его кружок // Вопросы литературы. 1964. № 5. С. 125–136; Журавлева А. И. О поэтах кружка Станкевича // Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология. 1967. № 4. С. 3–14; Bourmeyster A. Stankevič et l'idéalisme humanitaire des années 1830. Lille, 1974; Манн Ю. В. В кружке Станкевича: Историко-литературный очерк. М., 1983; Сухов А. Д. Кружки Станкевича–Белинского и Герцена–Огарева // Сухов А. Д. Литературно-философские кружки в истории русской философии: (20–50-е годы XIX века). С. 44–75.

²⁰ Герцен А. И. Былое и думы. С. 36.

этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир <...>. Искусственность российского классического патриотизма, претензии, наполнявшие нашу литературу, усилившаяся фабрикация стихов, неискренность печатного лиризма, все это породило справедливое желание простоты и искренности». Отличавшийся, по свидетельству Аксакова, «свободою от всякого авторитета», «кружок желал правды, серьезного дела, искренности и истины»²¹. С отъездом Станкевича за границу в 1837 г. кружок распался и к 1839 г. перестал существовать, но его непосредственным преемником стал петербургский кружок Белинского, над которым, по свидетельству И. И. Панаева, его участника, «невидимо парила тень Станкевича. Каждый благоговейно вспоминал об нем»²². С кружком Станкевича с 1835 г. был близок и М. А. Бакунин, впоследствии организовавший собственный кружок, в котором он был, по воспоминаниям того же Панаева, «пропагандистом немецкой философии вообще и Гегеля в особенности. Ум в высшей степени спекулятивный, способный проникать во все философские тонкости и отвлечения, Бакунин владел при этом удивительною памятью и диалектическим даром. Перед силой его диалектики все склонялись невольно. Вооруженный ею, он самовластно действовал на свой кружок и безусловно царил над ним. Его атлетическая фигура, большая львиная голова с густыми и вьющимися волосами, взгляд смелый, пытливый и в то же время беспокойный — все это поражало в нем с первого раза. Бакунин с каким-то ожесточением бросался на каждое новое лицо и сейчас же посвящал его в философские тайны. В этом было много комического, потому что он не разбирал, приготовлено или нет это лицо к восприятию проповедуемых им отвлеченностей»²³.

Самым значительным историком и аналитиком деятельности московских университетских кружков, несомненно, стал Герцен в «Былом и думах». «Круг Станкевича, — писал он, — должен был неминуемо распуститься. Он свое сделал — и сделал самым блестящим образом; влияние его на всю литературу и на академическое

²¹ Аксаков К. С. Воспоминание студентства: 1832—1835 гг. // Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 187, 188.

²² Панаев И. И. Литературные воспоминания. [М.], 1950. С. 147.

²³ Там же. С. 146–147. Герцен в статье «Михаил Бакунин» (1851) вспоминал: «Бакунин мог говорить целыми часами, спорить без усталости с вечера до утра, не теряя ни диалектической нити разговора, ни страстной силы убеждения. <...> Этот человек рожден был миссионером, пропагандистом, священнослужителем. Независимость, автономия разума — вот что было тогда его знаменем, и для освобождения мысли он вел войну с религией, войну со всеми авторитетами» (Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 7. С. 353–354).

преподавание был огромно — стоит назвать Белинского и Грановского; в нем сложился Кольцов, к нему принадлежали Боткин, Катков и пр. Но замкнутым кругом он оставаться не мог, не перейдя в немецкий доктринаризм, — живые люди из русских к нему не способны. Возле Станкевича круга, сверх нас, бы еще другой круг, <...> его-то впоследствии называли славянофилами. *Славяне* приближались с противоположной стороны к тем же жизненным вопросам, которые занимали нас <...>. Между ними и нами естественно должно было разделиться общество Станкевича. Аксаковы, Самарин примкнули к славянам, т. е. к Хомякову и Киреевским, Белинский, Бакунин — к нам. Ближайший друг Станкевича, наиболее родной ему всем существом своим, Грановский, был нашим с самого приезда из Германии. Если б Станкевич остался жив, кружок его все же бы не устоял. Он сам перешел бы к Хомякову или к нам. В 1842 сортировка по сродству давно была сделана, и наш стан стал в боевой порядок лицом к лицу с славянами»²⁴. Названный Герценом год стал рубежным в процессе «сортировки по сродству» русских западников и славянофилов²⁵.

История кружка, созданного Герценом и Н. П. Огаревым в пору учебы обоих в Московском университете, также хорошо изучена. В кружок входили Н. П. Огарев, Н. М. Сатин, Н. И. Сазонов, В. В. Пассек, Н. Х. Кетчер, М. П. Носков и другие. «Между нашим кругом и кругом Станкевича, — вспоминал Герцен, — не было большой симпатии. Им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их — почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондерами

²⁴ Герцен А. И. Былое и думы. С. 40. Значение кружка Станкевича Н. Г. Чернышевский определял так: «Предмет этот имеет высокую важность для истории нашей литературы, потому что из тесного дружеского кружка, о котором мы говорим и душою которого был Н. В. Станкевич, скончавшийся в первой поре молодости, вышли или впоследствии примкнули к нему почти все те замечательные люди, которых имена составляют честь нашей новой словесности, от Кольцова до г. Тургенева» (*Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: в 15 т. М., 1947. Т. 3. С. 179*).

²⁵ См., например: *Щукин В. Г.* 1) Русское западничество сороковых годов XIX века как общественно-литературное явление. Kraków, 1987; 2) Русское западничество: генезис — сущность — историческая роль. Łódź, 2001; 3) Культурный мир русского западника // Вопросы философии. 1992. № 5. С. 74–86; 4) «Семейная разладица» или непримиримая распря? Западничество и славянофильство в культурологической перспективе // Вопросы философии. 2003. № 5. С. 103–123; 5) Славянофильство и западничество: социокультурные модели // Очерки русской культуры XIX века. М., 2005. Т. 5. С. 14–58; *Анненкова Е. И.* Русское смирение и западная цивилизация: (Спор славянофилов и западников в контексте 40—50-х годов XIX века) // Русская литература. 1995. № 1. С. 123–136.

и французами, мы их — сентименталистами и немцами»²⁶. Прерванная в 1834 г. арестом и ссылкой его участников, деятельность кружка возобновилась в 1839 г., когда Огарев, а затем и Герцен вернулись в Москву из ссылки и кружок вновь начал собираться в обновленном составе; в начале 1840-х произошло сближение герценовского кружка с кружком Белинского.

Интеллектуальное движение «замечательного десятилетия» особенно интенсивно и ярко проявило себя в Московском университете и вокруг него, явившись второй общественно-культурной волной после «идеалистов тридцатых годов», давшей отечественной культуре многих замечательных деятелей²⁷. Начало 1840-х было «золотым веком» Московского университета, превратившегося в центр умственной жизни не только Москвы, но и всей России. Огромный успех имели тогда лекции молодых профессоров, вернувшихся в конце 1830-х из-за границы, — Т. Н. Грановского, Д. Л. Крюкова, П. Г. Редкина, вокруг которых сложились кружки молодых ученых и идейных последователей. Университетские лекции служили интеллектуальной пищей и для самостоятельных студенческих кружков, возникших в те годы в Москве. Я. П. Полонский, поступивший на юридический факультет университета в 1838 г., вспоминал: «В мое время в университете не было ни сходок, ни землячеств, ни каких бы то ни было тайных обществ или союзов <...>. И все это нисколько не доказывает, что в то время Московский университет был чужд всякого умственного брожения, всякого идеала. Напротив, мы все были идеалистами <...>. Некоторые из лекций, в особенности лекции Петра Григорьевича Редкина, который читал нам энциклопедию права, до такой степени возбуждали нас, что, несмотря на запрещение, молодежь рукоплескала профессору, когда он заканчивал свою лекцию»²⁸.

Огромный успех имел в 1843–1844 гг. курс публичных лекций по истории средних веков Т. Н. Грановского (первый из прочитанных им курсов), на которые съезжалась вся Москва. В числе слушателей была и семья Аксаковых (кроме отсутствовавшего тогда Ивана Аксакова), и после последней лекции С. Т. Аксаков писал сыну (25 апреля 1844 г.): «...я в жизнь мою не видал полнее торжества. Все слушатели были проникнуты восторгом <...> множество людей плакало... Не смейся:

²⁶ Герцен А. И. Былое и думы. С. 17.

²⁷ См.: Насонкина Л. И. Московский университет после восстания декабристов. М., 1972; Эймонтова Р. Г. Русские университеты на грани двух эпох: От России крепостной к России капиталистической. М., 1985; Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989.

²⁸ Полонский Я. П. Мои студенческие воспоминания. С. 368.

это были слезы восхищения, и я сам готов был заплакать»²⁹. Герцен, автор двух статей «О публичных чтениях г-на Грановского» (1843, 1844), признавал влияние его лекций на оформление собственной исторической концепции, ставшей теоретической основой его полемики со славянофилами. Показательно его заключение в «Былом и думах»: «В лице Грановского московское общество приветствовало рвущуюся к свободе мысль Запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее»³⁰. «Никто не умел говорить таким благородным языком, как Грановский, — вспоминал Б. Н. Чичерин. — <...> Речь была тихая и сдержанная, но свободная, а с тем вместе удивительно изящная, всегда проникнутая чувством, способная пленять своею формою и своим содержанием, затрагивать самые глубокие струны человеческой души. Когда Грановский обращался к слушателям с сердечным словом, не было возможности оставаться равнодушным; вся аудитория увлекалась неудержимым восторгом»³¹.

Кружок Грановского, возникший в начале 1840-х гг. и тесно связанный с либерально настроенной университетской профессурой, стал одним из центров общественной жизни Москвы в 1840-х и 1850-х гг. В кружок входили А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. П. Боткин, Е. Ф. Корш, М. С. Щепкин, Н. Х. Кетчер, Н. Г. Фролов, Ф. И. Буслаев и др. Собрания кружка с литературно-художественными, научными, религиозно-философскими и общественно-политическими дискуссиями проходили на квартирах Грановского (ул. Драчевка, 32), Н. Г. Фролова (Мал. Харитоньевский пер., 10) и в доме Боткиных (Петроверигский пер., 4). Е. М. Феоктистов, один из посетителей собраний в середине 1840-х, вспоминал: «Беседа с Грановским доставляла

²⁹ Аксаков Иван Сергеевич: Материалы для летописи жизни и творчества. Уфа, 2010. Вып. 1, ч. 2. С. 33. О Т. Н. Грановском см., например: Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897; *Ветринский Ч.* Грановский и его время: Исторический очерк. М., 1897; *Минаева Н. В.* Грановский в Москве. М., 1963; Грановский Тимофей Николаевич: Библиография (1828—1967) / Под ред. С. С. Дмитриева. Вступ. очерки С. С. Дмитриева и Е. В. Гутновой. М., 1969; *Дмитриев С. С.* Грановский и русская общественность // Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. М., 1987. С. 317–335; *Каменский З. А.* Тимофей Николаевич Грановский. М., 1988; *Левандовский А. А.* Время Грановского: У истоков формирования русской интеллигенции. М., 1990.

³⁰ *Герцен А. И.* Былое и думы. С. 152. И там же читаем: «К концу тяжелой эпохи, <...> когда все было прибито к земле, одна официальная низость громко говорила, литература была приостановлена и вместо науки преподавали теорию рабства, цензура качала головой, читая притчи Христа, и вымарывала басни Крылова, — в то время, встречая Грановского на кафедре, становилось легче на душе. “Не все еще погибло, если он продолжает свою речь”, — думал каждый и свободнее дышал» (Там же. С. 122).

³¹ *Чичерин Б. Н.* Москва сороковых годов // Русское общество 40–50-х годов XIX в. М., 1991. Ч. 2. С. 37.

великое наслаждение; она будила ум, направляла его ко всему высокому и прекрасному, облагораживала сердце; всякий, приближавшийся к этому необычайно привлекательному человеку, чувствовал себя, если можно так выразиться, несколькими нотами выше. Помню, в каком возбужденном настроении возвращался я домой после нескольких часов, проведенных в скромном домике у Харитонья в Огородниках; нередко почти целые ночи проводил я в раздумье под влиянием всего мною слышанного»³². «Присутствие Грановского, — вспоминал И. И. Панаев, — все сливало в какую-то гармонию, на все накладывало тонкий, поэтический колорит, смягчало резкости, примиряло диссонансы и даже смиряло Кетчера, которого перекричать и смирить было трудно...»³³. В конце 1840-х — начале 1850-х к кружку присоединились Н. М. Щепкин, К. Т. Солдатенков, Б. Н. Чичерин, А. Н. Афанасьев. Собрания кружка продолжались и после смерти Грановского (1855), однако в конце 50-х из-за внутренних разногласий прекратились.

Круг Грановского, его названные выше единомышленники, сторонники европейских политико-философских идей и ценностей, и примыкавшие к этому кругу молодые московские профессора (П. Г. Редкин, Д. Л. Крюков, П. Н. Кудрявцев, К. Д. Кавелин и др.) стали центром формировавшегося в 1840-х годах западничества. Близки им по взглядам были как П. Я. Чаадаев, так и И. С. Тургенев. Тесную связь с московским кружком западников имел живший в Петербурге В. Г. Белинский.

Петербургский кружок Белинского сложился в самом начале 1840-х гг., после его переезда из Москвы в столицу в 1839 г. и начала сотрудничества в «Отечественных записках» А. А. Краевского³⁴. В кружок входили И. И. Панаев, П. В. Анненков, К. Д. Кавелин (в 1842–1843 гг.), А. Я. Кульчицкий, А. А. Комаров, Н. Н. Мальцев, М. А. Языков (последние трое были не литераторами, но «любителями литературы») и приезжавшие в Петербург москвичи В. П. Боткин, Герцен и Огарев; недолгое время кружок посещали М. А. Бакунин и М. Н. Катков (последний был принят «не на приятельской ноге»³⁵). Вскоре к кружку присоединились Н. А. Некрасов, Д. В. Григорович и И. С. Тургенев, в 1845 и 1846 гг. — Ф. М. Достоевский и

³² *Феоктистов Е. М.* За кулисами политики и литературы. С. 31–32.

³³ *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. С. 201.

³⁴ См., например: *Пытин А. Н.* Белинский, его жизнь и переписка. 2-е изд., с доп. и примеч. М., 1908. С. 448–471; *Нечаева В. С.* В. Г. Белинский: Жизнь и творчество: 1842—1848. М., 1967. С. 5–34; Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977. С. 161–163, 171–178, 206–219 и др.

³⁵ *Кавелин К. Д.* Воспоминания о В. Г. Белинском // Белинский в воспоминаниях современников. С. 173.

И. А. Гончаров. Панаев вспоминал: «Все принадлежавшие к кружку Белинского были в то время свежи, молоды, полны энергии, любознательности, все с жаждою наслаждения погружались или пробовали погружаться в философские отвлеченности: один разбирал не без труда Гегелеву логику, другой читал не без усилия его эстетику, третий изучал его феноменологию духа, — все сходились почти ежедневно и сообщали друг другу свои открытия, толковали, спорили до усталости и расходились далеко за полночь»³⁶. И он же отмечал: «Кружок, в котором жил Белинский, был тесно сплочен и сохранился во всей чистоте до самой его смерти. Он поддерживался силою его духа и убеждений. <...> Белинский редко выходил из этого кружка и показывался в литературный свет»³⁷. Тургенев, познакомившийся с Белинским в 1843 г., о собраниях кружка вспоминал: «...предметы разговоров были большей частью нецензурного (в тогдашнем смысле) свойства, но собственно политических прений не происходило: бесполезность их слишком явно была в глаза всякому. Общий колорит наших бесед был философско-литературный, критическо-эстетический и, пожалуй, социальный, редко исторический»³⁸. О воздействии на слушателей устного слова Белинского Герцен писал: «В этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура; да, это бы сильный боец! Он не умел проповедовать, поучать, ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он не хорошо говорил, но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, необычайной поэзией развивал свою мысль»³⁹.

Особенность не только кружка Белинского, но и других кружков тех лет, по свидетельству К. Д. Кавелина, составляла их закрытость, обособленность. «Каждый

³⁶ Панаев И. И. Литературные воспоминания. С. 147.

³⁷ Там же. С. 296.

³⁸ Тургенев И. С. Воспоминания о Белинском // Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. 2-е изд., испр. и доп. Соч.: В 12 т. М., 1983. Т. 11. С. 45.

³⁹ Герцен А. И. Былое и думы. С. 31. О том же много позднее вспоминал П. В. Анненков в письме к М. М. Стасюлевичу от 12 (24) сентября 1874 г.: «Вы пишете, что Белинский в письмах неизмеримо выше Белинского в печати, но Белинский в разговорах — оратор и трибун — еще выше был и писем своих. Боже! Вспоминаю его молниеносные порывы, освещавшие далекие горизонты, его чувство всех болезней своего времени и всех его нелепых проявлений, его энергическое, меткое, лапидарное слово. Ничего подобного я уже не встречал потом, а жил много и видел многих» (М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1912. Т. 3. С. 307).

литературный кружок, в том числе и наш, — вспоминал Кавелин, — был тогда похож на секту, в которую новые члены принимались трудно, по испытанию и рекомендации»⁴⁰. Своего рода сектантство видел в деятельности кружков и Белинский, признававшийся: «Всякий кружок ведет к исключительности и какой-то странной оригинальности: рождаются свои манеры, свои привычки, свои слова, любезные для кружка, странные, непонятные и неприятные для других. Но это бы еще ничего: хуже всего то, что люди кружка делаются чужды для всего, что вне их кружка, а всё это — им. Я сужу по собственному опыту. <...> Грустно вспомнить об этой ограниченной исключительности, с какою мы смотрели на весь мир. <...> Я и теперь еще не вполне вылечился от этой болезни “кружка”...»⁴¹.

В середине 1840-х гг. среди западников произошел принципиальный раскол — они разделилось на либеральное (Анненков, Грановский, Кавелин, Е. Ф. Корш и др.) и революционно-демократическое (Герцен, Огарев, Белинский) крыло. Разногласия касались отношения к религии и вопроса о методах реформ и пореформенного развития России. Грановский и его сторонники признавали догмат о бессмертии души, демократы выступали с позиций атеизма и материализма. Совпадая в признании для России европейской модели социально-экономического развития, приверженцы Грановского считали достижимым изменение политического строя посредством просвещения, Герцен и его единомышленники отстаивали идею революционных реформ. Разногласия не могли не затронуть сферы философии и эстетики⁴². Исторические и социально-философские идеи западников получили развитие в русской либеральной мысли. Известны литературные кружки деятелей либерального толка — В. А. Дементьева, писателя и этнографа Ф. Д. Нефедова, Н. Х. Кетчера, П. Л. Пикулина, П. В. Шумахера⁴³.

Резкая граница к середине 1840-х гг. разделила, как уже отмечалось, кружки западников и славянофилов. «Во время моей молодости, — свидетельствовал

⁴⁰ Кавелин К. Д. Воспоминания о В. Г. Белинском. С. 174. О кружке самого Кавелина см.: Розенталь В. Н. Петербургский кружок К. Д. Кавелина в конце 40-х и начале 50-х годов XIX века // Учен. зап. Рязан. пед. ин-та. 1957. Т. 16. С. 188–224.

⁴¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 12. С. 77; письмо от 9 декабря 1841 г. к Н. А. Бакунину (брату Михаила).

⁴² Острые споры между Герценом и Грановским и сторонниками идей того и другого в подробностях воспроизвел в гл. 25–27 своих воспоминаний свидетель дискуссий П. В. Анненков (см.: Анненков П. В. Замечательное десятилетие: 1838–1848. С. 237–251).

⁴³ См.: Бельчиков Н. Ф. Из быта литературных кружков 60–70 годов // Бельчиков Н. Ф. Народничество в литературе и критике. М., 1934. С. 198–237.

Е. М. Феокистов, — общество людей образованных, живших умственными интересами, было немногочисленно в Москве и распалось, как известно, на два кружка: один из них сформировался около Т. Н. Грановского, во главе другого стояло семейство Аксаковых и Хомяков»⁴⁴. «В театре также были славянофилы и западники, — признавался И. Ф. Горбунов. — Щепкин, Шумский, Самарин были западники, Садовский был славянофил»⁴⁵.

Как вспоминал А. И. Кошелев (выделивший в мемуарном тексте слова «*наш кружок*»), кружок славянофилов «составился не искусственно — не с предварительно определенной какою-либо целью, а естественно, сам собою, без всяких предвзятых мыслей и видов. Люди, одушевленные одинакими чувствами к науке и к своей стране, движимые потребностью не попугаями повторять, что говорится там — где-то на Западе, а мыслить и жить самобытно, и связанные взаимною дружбою и пребыванием в одном и том же городе — в древней столице — в сердце России, — эти люди видались ежедневно, обсуживали сообща возникавшие вопросы, делили друг с другом и общественные радости (которых было очень мало), и общественное горе (которого было в избытке), и таким образом незаметно даже для самих участников составилась кружок единоклубный и единомысленный. Он составилась так незаметно, что нельзя даже приблизительно определить года его зарождения. Он имел влияние сперва слабое, а потом все более и более действенное не только в литературе, но и в общественной, даже политической жизни России...»⁴⁶. Герцен считал, что славянофилы «начали официально существовать с войны против Белинского; он их додразнил до мурмолок и зипунов»⁴⁷. В московский кружок славянофилов, вполне сложившийся к середине 1840-х⁴⁸, входили А. С. Хомяков, братья И. В. и П. В. Киреевские, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, А. И. Кошелев и др. Философско-исторические идеи славянофилов

⁴⁴ Феокистов Е. М. За кулисами политики и литературы. С. 95.

⁴⁵ Горбунов И. Ф. Очерки о старой Москве // Горбунов И. Ф. Юмористические рассказы и очерки. М., 1962. С. 179.

⁴⁶ Кошелев А. И. Записки (1812–1883 годы). М., 2002. С. 49–50 (сер. «Литературные памятники»).

⁴⁷ Герцен А. И. Былое и думы. С. 29.

⁴⁸ С. П. Шевырев в заметке «О новом происхождении имени славян и славянофилов» (1848) писал: «В 1844 и 1845 годах имя славян и славянофилов начало часто показываться в петербургских журналах и подвергалось с тех пор неумолимым преследованиям как имя какой-то особенной партии, неприятной по духу и направлению. Первая, кажется, во зло употребила это “Библиотека для чтения”. За нею последовали “Отечественные записки”. А там уже все журналы хором стали грешить против выдуманных ими славян и до сих пор не умолкают» (цит. по: Славянофильство: Pro et contra. СПб., 2006. С. 258).

разрабатывались главным образом А. С. Хомяковым и И. В. Киреевским,⁴⁹ позднее Ю. Ф. Самариним. Замечательную особенность кружка (или «партии») ранних славянофилов составило ношение бород и простонародной русской одежды. «Во всей России, — вспоминал Герцен, — кроме славянофилов, никто не носит мурмолок. А К. Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персианина, как рассказывал, шутя, Чаадаев»⁵⁰. Любопытное свидетельство оставил и И. И. Панаев, по его словам, привязанность К. Аксакова к Москве «доходила до фанатизма; впоследствии его любовь к великорусскому народу дошла до ограниченности, впадающей в узкий эгоизм. Он любил не человека, а исключительно русского человека, да и то такого только, который родился на Москве-реке или на Клязьме. Русских, имевших несчастье родиться на берегу Финского залива, он уже не признавал русскими»⁵¹. Курьезным представлялось современникам и появление в светских гостиных А. С. Хомякова в «русском» костюме, тогда как он мог блестяще вести беседу по-французски. Деятельность славянофилов вызывала серьезное недовольство правительства, многие из них в разные годы состояли под тайным надзором полиции. Сохранились также многочисленные данные об их преследовании за ношение бороды, а после цензурного запрета «Московского сборника» (1852) московский генерал-губернатор гр. А. А. Закревский приказал им бороды сбрить⁵². История московского кружка славянофилов подробно освещена в обширной как мемуарной (М. П. Погодин, А. И. Кошелев, П. А. Вяземский, А. И. Герцен, П. В. Анненков, И. И. Панаев и др.), так и научной литературе⁵³.

⁴⁹ См.: *Благова Т. И.* 1) Алексей Степанович Хомяков и Иван Васильевич Киреевский: Жизнь и философское мировоззрение. М., 1994; 2) Родоначальники славянофильства: Алексей Хомяков и Иван Киреевский. М., 1995.

⁵⁰ *Герцен А. И.* Былое и думы. С. 148. Сохранился рассказ о визите К. Аксакова в ноябре 1845 г. в знаменитый салон А. О. Смирновой-Россет, куда он явился «в зипуне на красную кумачовую рубашку, подпоясанный пестрым кушаком, с ермолкой в руке» (*Пирожкова Т. Ф.* Примечания // И. С. Аксаков. Письма к родным: 1844–1849. М., 1988. С. 601).

⁵¹ *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. С. 150.

⁵² См.: *Мазур Н. Н.* Дело о бороде: Из архива Хомякова: письмо о запрещении носить бороду и русское платье // Новое литературное обозрение. 1993. № 6. С. 127–138.

⁵³ См., например: *Бродский Н. Л.* Ранние славянофилы: А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. и И. С. Аксаковы. М., 1910; *Кошелев В. А.* 1) Общественно-литературная борьба в России 40-х годов XIX века. Вологда, 1982; 2) Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов (1840–1850-е годы). СПб., 1984; 3) А. С. Хомяков, жизнеописание в документах, в рассуждениях и разысканиях. М., 2000; 4) Сто лет семьи Аксаковых. Бирск, 2005; Литературные взгляды и творчество

Среди петербургских кружков 1840-х гг. особая историческая роль принадлежала кружку М. В. Буташевича-Петрашевского, сторонника утопического социализма Ш. Фурье, замечательного оратора, ученого-пропагандиста⁵⁴. Посетителями «пятниц» Петрашевского в 1844–1849 гг. в 1844–1849 гг. и собраний обособившихся в 1846–1848 гг. кружков петрашевцев были были несколько сотен человек — офицеры, чиновники, студенты, учителя и начинающие, впоследствии известные литераторы: Ф. М. Достоевский (с 1847), А. Н. Плещеев, А. Н. и Вал. Н. Майковы, А. И. Пальм, С. Ф. Дуров, Д. Д. Ахшарумов, Н. Я. Данилевский, М. Е. Салтыков и др. Многочисленность вовлеченных в деятельность кружка лиц объясняется агитационно-пропагандистской активностью его главных идеологов, в число которых, помимо Петрашевского, входили Н. А. Спешнев, «номер второй» в кружке (считается прототипом Николая Ставрогина в «Бесах»), Н. А. Момбелли, Ф. Н. Львов, К. И. Тимковский, Р. А. Черносвитов и др.

Кружок Петрашевского через некоторых своих членов, главным образом, через поэта С. Ф. Дурова (возглавившего на недолгое время собственный кружок), был связан с другими объединениями, где также предметом дискуссий, помимо литературы, были европейские социально-политические и философские теории. В отделившийся от петрашевцев кружок С. Ф. Дурова и А. И. Пальма входили, кроме организаторов, братья Ф. М. и М. М. Достоевские, А. П. Милюков, А. Н. Плещеев, братья Е. И. и П. И. Ламанские. Кружок имел вначале музыкально-художественно-литературный характер, позднее в нем преобладание получили социально-политические вопросы. На собраниях кружка читались труды социалистов-утопистов (особенно Ш. Фурье), статьи Герцена, обсуждались идеи политического переустройства страны. Самостоятельные кружки сложились в это же время вокруг А. Н. Плещеева и Н. А. Кашкина. Существовало и несколько музыкально-литературных кружков, например, у

славянофилов. 1830–1850 годы. М., 1978; *Дудзинская Е. А.* Славянофилы в пореформенной России. М., 1994; *Пирожкова Т. Ф.* Славянофильская журналистика. М., 1997; *Славянофилы: Историческая энциклопедия / Сост. и отв. ред. О. А. Платонов.* М., 2009; *Славянофильство: Pro et contra.*

⁵⁴ См., например: *Семевский В. И.* М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. М., 1922; *Петрашевцы в воспоминаниях современников: Сб. материалов.* М.; Л., 1926; *Философские и общественно-политические произведения петрашевцев.* М., 1953; *Лейкина-Свирская В. Р.* Петрашевцы. М., 1965; *Усакина Т. И.* Петрашевцы и литературно-общественное движение 40-х годов XIX века. Саратов, 1965; *Егоров Б. Ф.* Петрашевцы. Л., 1988.

петрашевца Н. А. Момбелли, устраивавшего в 1846 г. еженедельные вечера с научными докладами и чтением новейших литературных сочинений⁵⁵.

Вокруг кружка Петрашевского возникли и еще несколько петербургских кружков, объединенных интересом к европейской общественной мысли, участниками которых стали петрашевцы. Так, философско-литературный кружок братьев Алексея, Андрея и Николая Бекетовых с осени 1846 г. посещали Ф. М. Достоевский, А. Н. Плещеев, А. Н. и Вал. Н. Майковы, Д. В. Григорович, врач С. Д. Яновский. Под влиянием идей тогдашних социалистов братья Бекетовы организовали род своеобразной бытовой «ассоциации», или коммуны (участники кружка жили на одной квартире в складчину), которая распалась в начале 1847 г. после отъезда Бекетовых в Казань⁵⁶.

Недолгое время просуществовал и кружок Валериана Майкова (в 1847 г. он утонул, купаясь в пруду). Майков посещал «пятницы» Петрашевского в 1845 г., однако радикализм основателя кружка вскоре стал причиной его устранения от участия в нем, позднее он бывал и в кружке братьев Бекетовых. Энергичная и продуктивная литературно-критическая деятельность Майкова в «Финском вестнике», «Отечественных записках», «Современнике» способствовала возникновению вокруг него философско-литературного кружка, который посещали будущий экономист и публицист В. А. Милютин, М. Е. Салтыков, Ф. М. Достоевский (братья Майковы познакомились с ним в начале 1846 г.), В. В. Стасов, А. Н. Плещеев. В кружке преобладал интерес к идеям европейских социалистов (особенно Ш. Фурье), к философии О. Конта и Л. Фейербаха; популярное в те годы гегельянство участников кружка обошло стороной⁵⁷.

В конце 1840-х — начале 1850-х литературный кружок собирался у педагога и переводчика И. И. Введенского. На «средах» в его квартире (в дворовом флигеле дома № 7 на Ждановской наб.) бывали студенты и молодые литераторы, педагоги

⁵⁵ См.: *Хитрово М. П.* Воспоминания об одном из петрашевцев // *Русская мысль*. 1909. № 7. С. 90–100.

⁵⁶ См.: *Поддубная Р. Н.* Бекетовско-Майковский круг в идейных исканиях Достоевского 1840-х гг. // *Освободительное движение в России*. Саратов, 1978. Вып. 8. С. 23–41.

⁵⁷ См.: *Жмакин А. Ф.* К идейной биографии В. Н. Майкова: По новым материалам для характеристики личности и теоретических истоков его мировоззрения // *Учен. зап. Омского гос. пед. ин-та*. 1970. Вып. 56. С. 48–77; *Сорокин Ю. С.* В. Н. Майков и его литературно-критическая деятельность // *Майков В. Н. Литературная критика*. Л., 1985. С. 3–32.

А. П. Милюков и А. А. Чумиков, П. С. Билярский, А. Н. Пыпин, будущие радикальные деятели Г. Е. Благодетель, Н. Г. Чернышевский и др.

Среди кружков московского студенчества очевидным своеобразием отличался кружок Ап. Григорьева, впоследствии известного поэта, переводчика, литературного и театрального критика. «Основателями» кружка были сам Аполлон Александрович и Афанасий Фет, его сокурсник по университету (с 1838), квартировавший в мезонине дома Григорьевых на Малой Полянке в Замоскворечье и в своих поздних мемуарах признавший: «...дом Григорьевых был истинною колыбелью моего умственного я»⁵⁸. На Ап. Григорьева серьезное воздействие оказали как философские, так и эстетические идеи Гегеля, учение которого, по свидетельству того же Фета, «распространяемое московскими юридическими профессорами с Редкиным и Крыловым во главе, составляло главнейший интерес частных бесед студентов между собою»⁵⁹. На антресолях в доме Григорьева по воскресеньям регулярно собирались его сокурсники по юридическому факультету — А. В. Новосильцев, С. М. Соловьев, будущий выдающийся историк, Я. П. Полонский, чьи стихи уже приобретали в те годы популярность, К. Д. Кавелин, кн. В. А. Черкасский, будущий общественный деятель эпохи реформ, А. Е. Студитский, впоследствии журналист и переводчик, и Н. М. Орлов, сын опального декабриста М. Ф. Орлова. «...В небольших комнатах, — вспоминал Фет, — стоял стон от разговоров, споров и взрывов смеха. При этом ни малейшей тени каких-либо социальных вопросов. Возникали одни отвлеченные и общие: как, например, понимать по Гегелю отношение разумности к бытию? <...> С великим оживлением спорил, сверкая очками и темными глазками, кудрявый К. Д. Кавелин, которого кабинет в доме родителей являлся в свою очередь сборным пунктом нашего кружка. <...> Григорьев с 1-го же курса совершенно безнамеренно сделался центром мыслящего студенческого кружка...»⁶⁰. Идейное первенство в кружковой жизни за Ап. Григорьевым сохранялось и позднее, и после его присоединения в 1850 г.

⁵⁸ *Фет А. А.* Ранние годы моей жизни. М., 1893. С. 149. [репринт: *Фет А.* Воспоминания. М., 1992. Т. 3.].

⁵⁹ Там же. С. 153. Среди студентов университета, собиравшихся у Григорьева, имя Гегеля звучало так часто, что однажды слуга Иван, сопровождавший Григорьева и Фета в театр и «выпивший в этот вечер не в меру, крикнул при разезде вместо: “Коляску Григорьева!” — “Коляску Гегеля!”» (Там же. С. 170).

⁶⁰ Там же. С. 154, 155.

к «молодой редакции» «Москвитянина»⁶¹. Студенческий кружок на Малой Полянке закончил свое существование с отъездом Григорьева в Петербург в 1844 г.

Российская реальность уже к концу 1840-х гг. заставила многих участников кружков пройти путь от юношеского идеализма к серьезному переосмыслению как индивидуального кружкового опыта, так и опыта кружковых объединений в целом. Крайне ироничный, саркастический взгляд на деятельность петербургских кружков молодой Достоевский высказал уже в 1847 г. в фельетонной «Петербургской летописи». Имея личный опыт кружкового общения, он здесь рассматривает кружки прежде всего как массовое явление. Столичный обыватель, от лица которого ведется повествование, имеет склонность «участвовать в чем-то общественном и иметь публичные интересы», поэтому в его восприятии «весь Петербург есть не что иное, как собрание огромного числа маленьких кружков, у которых у каждого свой устав, свое приличие, свой закон, своя логика и свой оракул». Авторскую позицию, несомненно, отражает обобщающее суждение о кружках: «Это, некоторым образом, произведение нашего национального характера, который еще немного дичится общественной жизни и смотрит домой»⁶². Фельетонист и аналитик в одном лице, Достоевский исследует «физиологию» явления, фиксируя его национально-историческую специфику — трудно реализуемую потребность рядового человека в публичности, которой он пока «дичится», предпочитая границы «приятного и безмятежного» домашнего мира. «В иных кружках, впрочем, — читаем дальше, — сильно толкуют о деле; с жаром собирается несколько образованных и благонамеренных людей, с ожесточением изгоняются все невинные удовольствия, как-то сплетни и преферанс (разумеется, не в литературных кружках), и с непонятным увлечением толкуется об разных важных материях. Наконец потолковав, поговорив, решив несколько общепользных вопросов и убедив друг друга во всем, весь кружок впадает в какое-то раздражение, <...> все друг на друга сердятся, говорится несколько резких истин, обнаруживается несколько резких и размашистых личностей и — кончается тем, что всё расплзается, успокаивается, набирается крепкого житейского разума...». И еще одна характерная особенность кружков подмечена Достоевским: в них «выделяется один господин, самого несносного свойства. <...> Он так уверен в успехе, что пренебрег всяким

⁶¹ В автобиографических «Листках из рукописи скитающегося софиста» (1844) он откровенно признавался: «Я хорош только тогда, когда могу примирить...» (цит. по: *Егоров Б. Ф.* Аполлон Григорьев. М., 2000. С. 46 (сер. «Жизнь замечательных людей»)).

⁶² *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1978. Т. 18. С. 12.

другим средством, запасаясь в житейскую дорогу. Он, например, ни в чем не знает ни узды, ни удержу. У него всё нараспашку, всё откровенно. <...> Да! только в уединении, в углу, и более всего в кружке, производится это прекрасное произведение природы, этот образец нашего сырого материала, как говорят американцы, на который не пошло ни капли искусства, в котором всё натурально, всё чистый самородок, без узды и без удержу»⁶³. Фельетонный текст в данном случае становится ценным историко-культурным свидетельством⁶⁴.

Историческую и познавательную-свидетельскую ценность имеют и тургеневские произведения, как мемуарно-биографические, так и художественные, в которых писатель обращался к осмыслению интеллектуально-духовного опыта кружков в жизни своего поколения. Глубокое разочарование в итогах их деятельности отразила исповедь тургеневского уездного Гамлета («Гамлет Щигровского уезда», 1848): «...кружок — да это гибель всякого самобытного развития; кружок — это безобразная замена общества, женщины, жизни <...>. Кружок — это ленивое и вялое житье вместе и рядом, которому придают значение и вид разумного дела; кружок заменяет разговор рассуждениями, приучает к бесплодной болтовне, отвлекает вас от уединенной, благодатной работы, прививает вам литературную чесотку; лишает вас, наконец, свежести и девственной крепости души. Кружок — да это пошлость и скука под именем братства и дружбы, сцепление недоразумений и притязаний под предлогом откровенности и участия; <...> в кружке поклоняются пустому краснобаю, самолюбивому умнику, довременному старику, носят на руках стихотворца бездарного, но с “затаенными” мыслями <...>. О кружок! ты не кружок: ты заколдованный круг, в котором погиб не один порядочный человек!»⁶⁵.

⁶³ Там же. С. 12–13.

⁶⁴ Отношение Достоевского к кружкам 1840-х гг. и шире — ко всему поколению «идеалистов», либералов-западников, породивших, по его убеждению, нигилистов-шестидесятников, нашло выражение в «Бесах», где Т. Н. Грановский явился прототипом старшего Верховенского.

⁶⁵ *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. 2-е изд., испр. и доп. Соч.: В 12 т. М., 1979. Т. 3. С. 262–263. Убежденный «западник» Б. Н. Чичерин, свидетель «оживленных споров: Редкина с Шевыревым, Кавелина с Аксаковым, Герцена и Крюкова с Хомяковым», вспоминал: «Однажды я сказал Ивану Сергеевичу Тургеневу, что напрасно он в “Гамлете Щигровского уезда” так вооружился против московских кружков. Спертая атмосфера замкнутого кружка без сомнения имеет свои невыгодные стороны; но что делать, когда людей не пускают на чистый воздух? Это были легкие, которыми в то время могла дышать сдавленная со всех сторон русская мысль. И сколько в этих кружках было свежих сил, какая живость умственных интересов, как они сближали людей, сколько в них было поддерживающего, ободряющего,

Более сложная и неоднозначная, но не менее критичная оценка дана литературно-философским кружкам 1830—1840-х гг. в тургеневском «Рудине» (1856), где одним из прототипов главного героя стал М. А. Бакунин. Лежнев, вспоминая типичный кружок московских студентов, признается, что вступал в него, «точно в храм», однако повзрослевший и «успевший поумнеть» герой смотрит на него более трезво: «...сошлись человек пять-шесть мальчиков, одна сальная свеча горит, чай подается прескверный и сухари к нему старые-престарые; а посмотрели бы вы на все наши лица, послушали бы речи наши! В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о Боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии — говорим мы иногда вздор, восхищаемся пустяками; но что за беда!.. <...> Эх! славное было время тогда, и не хочется верить, чтоб оно пропало даром! До оно и не пропало, — не пропало даже для тех, которых жизнь опошшила потом...»⁶⁶.

Заслуживает внимания тот факт, что много позднее, работая над очерком «<Семейство Аксаковых и славянофилы>» (1869), который так и не был закончен (сохранился только начальный отрывок), Тургенев вернется к образу витийствующего в кружке Рудина. В начале текста автор вспоминает свой приезд в Москву в 1841 г. из Берлина, где он, учась в университете, «был весь пропитан философией Гегеля»: «В Москве существовало тогда несколько домов, в которых чуть не каждый вечер происходили словесные препиранья о предметах важных... и ненужных — о предметах отвлеченных, и философских, и политических. Люди сходились, спорили долго, горячо и нелепо; время летело; кучера у подъезда зябли; лакеи в передней спали <...>. Пospоривши всласть, ратоборцы разъезжались — до следующего вечера. В числе их были, как водится, первые теноры, простые баса и хористы; были также и гости без речей. Покойный А. С. Хомяков играл роль первенствующего, роль Рудина. <...> Я попал в цех словоизвергателей, выражаясь щедр<ински>м языком»⁶⁷.

Ни эстетически, ни мировоззренчески Тургенев и Достоевский не были близки, однако показателен скепсис обоих. Стоит также отметить, что помимо неприятия «ненужной» и достаточно театральной, на взгляд Тургенева, «бесплодной болтовни»,

возбуждающего! Самая замкнутость исчезала, когда на общее ристалище сходились люди противоположных направлений, но ценящие и уважающие друг друга. Тургенев согласился с моим замечанием» (*Чичерин Б. Н.* Москва сороковых годов. С. 11).

⁶⁶ *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. Т. 5. С. 257–258.

⁶⁷ Там же. Т. 11. С. 286. О «словоизвержениях, словопрениях, словоизлияниях» М. Е. Салтыков-Щедрин писал в очерке «Литераторы-обыватели» (1861) (см.: *Битюгова И. А.* Примечания // Там же. С. 518).

подменявшей творческую деятельность, помимо неизбежного внутрикружкового стремления к доминированию, к лидерству⁶⁸, оба писателя скептически воспринимали и преувеличенную, чрезмерную исповедально-доверительную дружескую близость «кружковщины». Много позднее Е. М. Феокистов, вспоминая свое студенческое преклонение перед Т. Н. Грановским и еще более сильное чувство к профессору всеобщей истории П. Н. Кудрявцеву и рассуждая об отношениях между обоими, отметил: «...Кудрявцев отличался натурой сосредоточенною, замкнутой, слишком дорожил святыней своего внутреннего мира, чтобы не ограждать ее от назойливых посягательств и притязаний кружковщины. Истинным наслаждением была для него беседа с Тимофеем Николаевичем; никакого удовольствия не находил он в общении со многими из окружавших его лиц»⁶⁹.

Сложную и во многих отношениях жесткую оценку московские кружки получили в «Былом и думах» Герцена, судившего о них с позиций неразделимости слов и дел. Н. В. Станкевич был здесь назван «одним из *праздных* людей, *ничего* не совершивших», любивших больше «созерцание и отвлеченное мышление, чем вопросы жизненные и чисто практические». «Исключительно умозрительное направление», по Герцену, вообще «противуположно русскому характеру», однако в 1840-х гг. молодежь еще не была готова «бунтовать» «против отвлечений — за жизнь»⁷⁰. Достаточно критичным в оценке роли кружков был и П. В. Анненков, который в очерке «Две зимы в провинции и деревне», задуманном как продолжение «Замечательного десятилетия», то есть с «панорамой» 1848–1858 гг., но не завершеном и при жизни автора не публиковавшемся, вспоминал о «скромных» русских кружках, хотя и «благородных и глубоко симпатичных». В них, по Анненкову, нашло выражение лишь «все лепечущее», «первые склады публичной жизни»⁷¹.

К осознанию необходимости перехода от «словесных препираний» к иным формам социального и творческого взаимодействия приходили не только

⁶⁸ Заслуживает упоминания известный упрек Белинского М. А. Бакунину за его стремление навязать своему кружку «гнетущий авторитет»: Белинский противопоставлял ему Н. В. Станкевича, который «никогда и ни на кого не налагал авторитета, а всегда и для всех был авторитетом, потому что все *добровольно* и *неволью* сознавали превосходство его природы над своею» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 11. С. 339; письмо от 12—24 октября 1838 г.).

⁶⁹ Феокистов Е. М. За кулисами политики и литературы. С. 95–96.

⁷⁰ Герцен А. И. Былое и думы. С. 17–18.

⁷¹ Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 509.

процитированные выше авторы, решения злободневных общественных и литературных задач требовало время.

В 1850-х гг. вокруг журналов как либерально-западнического («Отечественные записки», «Современник», «Библиотека для чтения» и др.), так и славянофильского («Москвитянин», «Русская беседа» и др.) направления складываются редакционные кружки. В область творческих и практических задач этих новых объединений входила прежде всего легализация собственных литературных, теоретико-философских и общественно-политических позиций наряду с организацией литературно-журнальной индустрии как таковой. Развитие печатной индустрии стало одной из причин упадка и затухания кружково-салонной жизни, возникали литературные объединения нового типа, не связанные с определенным местом и временем общения. «Встречи» читателя с автором и литераторов между собой теперь все чаще происходили не в гостиных и не в писательских кабинетах, хотя и эти «площадки» общения сохранялись, а в редакциях журналов. Изменение форм литературных сообществ и характера коммуникативно-творческих контактов внутри этих сообществ напрямую связано с завершившейся на этом этапе профессионализацией литературной деятельности.

Самое значительное влияние на развитие литературного процесса оказали, как хорошо известно, кружки, сложившиеся вокруг некрасовского «Современника» (1847–1866), на разных этапах деятельности имевшего разный состав авторов-единомышленников (определявшийся приходом в редакцию в 1853 г. Н. Г. Чернышевского и в 1856 г. Н. А. Добролюбова)⁷² и позднее его же «Отечественных записок» (1868–1877)⁷³, вокруг погодинского «Москвитянина» (1841–1850), особенно при его «молодой редакции» (1850–1856)⁷⁴, вокруг

⁷² См., например: *Евгеньев-Максимов В. Е.* 1) «Современник» в 40–50 гг.: От Белинского до Чернышевского. Л., 1934; 2) «Современник» при Чернышевском и Добролюбова. Л., 1936; *Евгеньев-Максимов В. Е., Тизенгаузен Г. Ф.* Последние годы «Современника»: 1863–1866. Л., 1939; *Горячим словом убежденья: («Современник» Некрасова и Чернышевского).* М., 1989; *Мельгунов Б. В.* Некрасов-журналист: Малоизученные аспекты проблемы. Л., 1989. С. 83–109, 169–188, 254–271.

⁷³ См.: *Теплинский М. В.* «Отечественные записки» (1868–1884): История журнала. Литературная критика. Южно-Сахалинск, 1966; *Емельянов Н. П.* 1) «Отечественные записки» Н. А. Некрасова: 1868–1877. Л., 1977; 2) «Отечественные записки» Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина: 1868–1884. Л., 1986.

⁷⁴ См., например: *Венгеров С. А.* Молодая редакция «Москвитянина». Из истории русской журналистики // Вестник Европы. 1886. Кн. 2. С. 581–612; *Павленко Н. И.* Михаил Погодин: Жизнь и творчество. М., 2003. С. 246–311; *Пуряева Н. Н.* Погодин-литератор. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2006; *Зубков К. Ю.* «Молодая редакция» журнала «Москвитянин»: Эстетика. Поэтика. Poleмика. М., 2012;

славянофильской «Русской беседы», издававшейся в 1856–1860 гг. А. И. Кошелевым⁷⁵, вокруг «Русского вестника» (1856–1887) М. Н. Каткова⁷⁶, вокруг радикального «Русского слова» (1859–1866) Г. Е. Благосветлова, Д. И. Писарева и В. А. Зайцева⁷⁷, либерального «Вестника Европы» (1866–1908) М. М. Стасюлевича⁷⁸ и многих других изданий. Свои идеологические установки и редакционные программы имели также литературный кружок, возникший в Петербурге в 1860–1865 гг. при журналах Ф. М. и М. М. Достоевских «Время» и «Эпоха»⁷⁹, объединение славянофилов в 1861–1865 гг. при московской газете «День» И. С. Аксакова⁸⁰, редакционный кружок В. В. Кашпирева (кашпиревские «среды»), действовавший 1869–1972 гг. при журнале

«Современник» против «Москвитянина». Литературно-критическая полемика первой половины 1850-х годов / Изд. подгот. А. В. Вдовин, К. Ю. Зубков, А. С. Федотов. СПб., 2015.

⁷⁵ «Русская беседа»: История славянофильского журнала: Исследования. Материалы. Постатейная роспись / Под. ред. Б. Ф. Егорова, А. М. Пентковского и О. Л. Фетисенко. СПб., 2011. (Славянофильский архив; Кн. I).

⁷⁶ См.: *Неведенский С. [Щегловитов С. Г.] Катков и его время.* СПб., 1888. С. 108–161; *Сементковский Р. И.* М. Н. Катков: Его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1892. С. 22–47; М. Н. Катков: Pro et contra. СПб., 2012. С. 13–138, 291–323, 565–584 и по указ.; *Котов А. Э.* Консервативная печать в общественно-политической жизни России 1860-х–1890-х годов: М. Н. Катков и его окружение. Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. СПб., 2016.

⁷⁷ См.: *Фирсов Н. Н.* В редакции журнала «Русское слово»: (Из воспоминаний шестидесятника) // Исторический вестник. 1914. № 5. С. 490–513; № 6. С. 888–903; *Конкин С. С.* «Русское слово» и «Современник»: (К полемике между ними) // Научные доклады высшей школы. Филол. науки. 1963. № 1. С. 19–31; *Варустин Л. Э.* Журнал «Русское слово». 1859—1866. Л., 1966; *Кузнецов Ф. Ф.* 1) Журнал «Русское слово». М., 1965; 2) Публицисты 1860-х годов: Круг «Русского слова»: Григорий Благосветлов, Варфоломей Зайцев, Николай Соколов. М., 1981; 3) Нигилисты? Д. И. Писарев и журнал «Русское слово». М., 1983; *Корнацкий Н. Н.* Журнал «Русское слово» до Д. И. Писарева (1856—1859) // Вестник Московского ун-та. Сер. 8. История. 2016. № 3. С. 19–33; *Воробьева О. А.* Журнал «Русское слово»: История формирования круга сотрудников и литературная позиция (1859–1862). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2019.

⁷⁸ См.: *Кони А. Ф.* «Вестник Европы» // Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. М., 1989. С. 520–559; *Кельнер В. Е.* Человек своего времени: (М. М. Стасюлевич: издательское дело и либеральная оппозиция). СПб., 1993. С. 35–80.

⁷⁹ См.: *Нечаева В. С.* Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время» 1861–1863 гг. М., 1972; *Орнатская Т. И.* Редакционный литературный кружок Ф. М. и М. М. Достоевских: (1860–1865) // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1988. Вып. 8. С. 247–262.

⁸⁰ См.: *Воропонов Ф. Ф.* Сорок лет тому назад: по личным воспоминаниям // Вестник Европы. 1904. Кн. 3. С. 757–772; Кн. 7. С. 5–42; Кн. 8. С. 437–466; «День» И. С. Аксакова: История славянофильской газеты: Исследования. Материалы. Роспись статей и редакционной переписки / Под общ. ред. Н. Н. Вихровой, А. П. Дмитриева и Б. Ф. Егорова. СПб., 2017. Ч. 1.

«Заря»⁸¹. Литературно-артистический кружок позднее сложился при редакции газеты «Новое время» (Суворинский кружок)⁸², литературный салон возник у А. А. Давыдовой, издававшей в 1892–1902 гг. журнал «Мир Божий»⁸³, и т. д. Однако эти явления связаны уже с историей русской журналистики.

Редакционные кружки останутся одной из самых устойчивых, органичных и продуктивных форм литературных, уже сугубо корпоративных, сообществ.

В эпоху общественного подъема с конца 1850-х и до середины 1860-х гг. (сменившейся очень скоро консервативными контрреформами) большое количество литературных и литературно-политических кружков систематически возникает в гимназиях, в духовных семинариях, в институтах, в духовных и медицинских академиях. В этих кружках выпускают рукописные журналы, занимаются самообразованием, устанавливают связи с герценовским «Колоколом» и т. д. Таким был, например, кружок Н. А. Добролюбова в Главном педагогическом институте в Петербурге, существовавший в 1853–1857 гг. В кружке читались сочинения Белинского, Герцена, Некрасова, Чернышевского, выпускалась рукописная газета «Слухи», в которой Добролюбов был активным редактором и автором⁸⁴. Деятельность подобного рода кружков развернулась не только в Петербурге и Москве, но и в крупных университетских городах — в Казани, Харькове, Киеве, Дерпте. Ряд кружков с радикальными социально-политическими программами продолжил свою деятельность в революционном подполье.

Литературные кружки в разные годы существовали в провинции — например, «Литературные беседы» в Нижегородской гимназии (1841–1846), Кирилло-Мефодиевское братство в Киеве и Харькове (1845–1847; в него входили Н. И. Костомаров, Н. И. Гулак, Т. Г. Шевченко), «Литературное общество» в

⁸¹ См.: *Авсеенко В. Г.* Кружок. (Рассказ по личным воспоминаниям) // Исторический вестник. 1909. № 5. С. 438–451.

⁸² См.: *Карпов Е. П.* А. С. Суворин и основание театра литературно-артистического кружка: (Странички из воспоминаний «Минувшее») // Исторический вестник. 1914. № 8. С. 449–470; № 9. С. 873–902; *Кугель А. Р.* Литературные воспоминания: (1882–1896). Пг.; М., 1923. С. 152–171.

⁸³ См.: Д. Н. Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. Свердловск, 1962. С. 77–78, 171, 176; *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. М., 1966. С. 15, 26, 120–121, 161.

⁸⁴ См.: *Добролюбов Н. А.* Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1961. Т. 1: Статьи, рецензии, юношеские работы. Апр. 1853—июль 1857; Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 13–14, 51–139; *Кружков В. С.* Н. А. Добролюбов. Жизнь, деятельность, мировоззрение. М., 1976. С. 45–48; *Егоров Б. Ф.* Н. А. Добролюбов. М., 1986. С. 42–72.

Ярославле, народнический кружок в 1866–1874 гг. в Вятке⁸⁵, «Русский литературный кружок» в Риге (1874)⁸⁶, кружок, группировавшийся в 1880-е гг. вокруг Д. Н. Мамина-Сибиряка, в Екатеринбурге⁸⁷ и др.

В 1860-е гг., когда литературная деятельность окончательно профессионализируется, кружковые объединения, как правило, стремятся к созданию и декларации собственного специализированного профессионального статуса, оформляясь в те или иные профессиональные общества (драматических писателей и др.). По определению М. Шрубы, общества (товарищества, союзы и т. п.) — «постоянно действующие объединения лиц, преследующих определенные цели и связанных друг с другом формально — уставом или положением, регулирующим вопросы состава членов, средств организации, порядка собраний и т. п. Характерная для данного типа объединений формальная структура рассчитана в большинстве случаев на легализацию (официальную регистрацию, утверждение устава властями и т. д.)»⁸⁸.

Таким был, к примеру, созданный в Москве в ноябре 1865 г. по инициативе группы известных литераторов и деятелей искусства (А. Н. Островский, В. Ф. Одоевский, Н. Г. Рубинштейн и др.) «Артистический кружок», целью которого было как творческое взаимодействие, так и помощь начинающим и нуждающимся. Кружок просуществовал до 1883 г., его члены подразделялись на почетных (среди них были Островский, Тургенев, Салтыков-Щедрин и др.), действительных и членов-любителей. В кружке проходили лекции и выставки, литературные чтения (авторские чтения А. Н. Островского, А. Ф. Писемского, И. Ф. Горбунова и др.), исполнялись музыкальные произведения (участвовали Рубинштейн, Чайковский и др.). В связи с существовавшей тогда монополией императорских театров, частные публичные спектакли в Петербурге и Москве были запрещены, и спектакли в «Артистическом кружке» поначалу назывались «семейно-драматическими вечерами». В 1867 г. кружок

⁸⁵ См.: *Пинаев М. Т.* Наследие Н. Г. Чернышевского в деятельности народнических кружков: (На материале Вятского кружка 1866–1874) // *Русская литература и освободительное движение.* Казань, 1970. Сб. 2. С. 3–15. (Учен. зап. Казанского пед. ин-та. Вып. 85).

⁸⁶ См.: *Чешихин В.* Русский литературный кружок в г. Риге в первое 25-летие его существования: (1874–1899). Рига, 1899.

⁸⁷ Д. Н. Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. С. 50–71, 94–109, 147–164.

⁸⁸ *Шруба М.* Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: Словарь. С. 7.

получил разрешение на постановку спектаклей, став первым частным театром Москвы⁸⁹. Кружок был, таким образом, в большей степени профессиональным клубом или обществом, официальным объединением деятелей искусства, нежели литературным кружком, однако свою связь с кружковой традицией он сохранял, дорожили этой традицией и его члены.

К числу переходных форм литературных объединений от собственно кружка к специализированному обществу принадлежал и «Пушкинский кружок», созданный в Петербурге в 1880 г. по инициативе В. П. Острогорского, Д. Н. Садовникова и Д. В. Григоровича при поддержке Я. П. Полонского и И. С. Тургенева. Председателем Пушкинского кружка в 1882 г. стал А. Н. Плещеев. «Вечерние собрания» кружка обычно проходили в Знаменской гостинице и включали чтения произведений писателей-классиков и новейших авторов. Вторая часть вечера посвящалась музыке и пению, третья — танцам. С чтением своих произведений в Пушкинском кружке выступали В. М. Гаршин, С. Я. Надсон, Н. М. Минский, С. Н. Атава-Терпигорев, А. И. Пальм, Н. С. Лесков и др.⁹⁰.

В 1870–1880-е гг. дифференциацию как литературных кружков, так и редакций журналов, по-прежнему определяют их социально-общественные и эстетические позиции, в частности, возникают объединения литераторов народнической ориентации. В Москве популярность приобретает кружок И. З. Сурикова⁹¹, в Петербурге — кружок, сложившийся вокруг Н. А. Соловьева-Несмелова, об участниках которого подробные воспоминания оставил С. Д. Дрожжин⁹².

В эти годы популярность приобрели «вторники» педагога, переводчика, детского писателя В. И. Водовозова и его жены, также писательницы Е. Н. Водовозовой, на которых бывали В. А. Слепцов, П. И. Якушкин, В. С. и Н. С. Курочкины, П. А. Гайдебуров и традицию которых с конца 1880-х продолжил В. И. Семевский. Популярны были также кружки С. Н. Южакова, Н. К. Михайловского,

⁸⁹ См.: *Россиев П. А.* Артистический кружок в Москве // Исторический вестник. 1912. № 6. С. 878–901; № 7. С. 112–136.

⁹⁰ См., например: *Надсон С. Я.* Отдельные заметки из черновых тетрадей // Надсон С. Я. Полн. собр. соч. Пг., 1917. Т. 2. С. 181–189; *Назарова Л. Н.* Тургенев и Пушкинский кружок в Петербурге // Русская литература. 1982. № 3. С. 175–179.

⁹¹ См.: *Яцимирский А. И.* Первый кружок писателей из народа // Исторический вестник. 1910. № 4. С. 169–191.

⁹² См.: Поэт-крестьянин Спиридон Дрожжин в его воспоминаниях 1848–1884 гг. // Русская старина. 1884. Т. 44, кн. 11. С. 307–334.

студенческое научно-литературное общество при Петербургском университете, созданное в 1882 г.⁹³, «Зеленый кружок» М. И. Свешникова⁹⁴ и др.

Признанием пользовался петербургский литературно-художественный кружок Я. П. Полонского, сложившийся в конце 1860-х гг. и просуществовавший до смерти поэта в 1898 г. Собрания кружка, ставшие регулярными («пятницы Полонского»), проходили на его квартирах: на Звенигородской ул., 18, наб. р. Фонтанки, 24, Знаменской ул., 26. Здесь бывали Достоевский, Тургенев, Гончаров, Григорович, Ап. Майков, Плещеев, Лесков, Страхов, позднее К. Случевский, Вл. Соловьев, И. Ясинский, а также многие музыканты и художники (А. Г. Рубинштейн, И. К. Айвазовский и др.). Помимо традиционных бесед и литературных чтений (часто с благотворительной целью), обязательной на «пятницах» была музыкальная часть. После смерти поэта участники его «пятниц» организовали «Литературно-художественный кружок имени Полонского», существовавший до 1916 г. Продолжением «пятниц» Полонского стал созданный К. К. Случевским «кружок поэтов», собиравшийся в 1898—1904 гг. «для товарищеских беседований еженедельно по пятницам» в его квартирах на Николаевской ул., 7, на М. Итальянской ул., 28. Кружок Случевского был исключительно литературным, здесь бывали наряду с некоторыми прежними участниками кружка Полонского — В. Я. Брюсов, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, И. А. Бунин, К. Д. Бальмонт и многие другие⁹⁵.

Литературно-художественный кружок петербургской молодежи сложился в 1877–1878 гг. вокруг В. М. Гаршина, организовавшего литературные «среды»⁹⁶. Также в Петербурге в 1884 г. вел. кн. Константином Константиновичем (К. Р.) был создан литературно-художественный кружок офицеров Лейб-гвардии Измайловского полка —

⁹³ См.: *Бороздин А. К.* Студенческое научно-литературное общество при С.-Петербургском университете. СПб., 1900; *Ольденбург Е. Г.* Студенческое научно-литературное общество при С.-Петербургском университете // Вестник Ленинградского университета. 1947. № 2. С. 145–154.

⁹⁴ См.: [*Бартенева В.*]. Воспоминания петербуржца о второй половине 80-х годов // Минувшие годы. 1908. № 11. С. 168–188; подпись: Б-ъ В.

⁹⁵ См.: *Смиренский В. К.* К истории пятниц К. К. Случевского // Русская литература. 1965. № 3. С. 216–226; *Барятинский В. В.* «Пятницы Полонского» и «Пятницы Случевского»: Из серии воспоминаний «Догоревшие огни» // Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993. С. 295–299; *Сапожков С. В.* «Пятницы» К. К. Случевского: (По новым материалам) // Новое литературное обозрение. 1996. № 18. С. 232–235; *Тахо-Годи Е. А.* Константин Случевский: Портрет на пушкинском фоне. СПб., 2000. С. 308–389.

⁹⁶ См.: *Леман А. И.* Статья о Гаршине // Леман А. И. Рассказы. СПб., 1888. С. 25–133.

«Измайловский досуг». До конца жизни великий князь возглавлял особый комитет «Досуга», ведавший организацией его собраний и приглашением литераторов. За годы существования кружка состоялось около 300 собраний, разделявшихся на обычные (где читались стихи и проза), драматические и музыкальные. Проходили также «досуги», посвященные Пушкину, Лермонтову, А. Толстому, Апухтину, Майкову и др.⁹⁷

В 1880–1890-е гг. активно возрождаются традиции литературных обедов, вечеров, журфиксов, возникают литературные дома и салоны, как и литературные кружки, где профессиональные встречи писателей и поэтов носят регулярный характер и имеют, как правило, вполне определенную «программу». Воспоминания о характерных явлениях этих десятилетий оставили Ф. Сологуб, П. Перцов⁹⁸ и др. Несколько позднее символисты, акмеисты, футуристы, имажинисты составят литературные группы со своими программными документами и печатными органами. Традиции литературных кружков, салонов, вечеров в обновленных формах получают продолжение в «средах» Н. Д. Телешова (с конца 1890-х гг.), в деятельности московского «Литературно-художественного кружка», в литературных собраниях З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского, в «средах» Вяч. Иванова, «Цехе поэтов» Н. С. Гумилева, «Никитинских субботниках» и др.

Литературные кружки, салоны, неформальные группы, семейные «культурные гнезда» явились способом оформления общественно-политических и интеллектуальных движений, став предшественниками научных, культурных и общественных учреждений.

⁹⁷ См.: Краткий обзор деятельности «Измайловского досуга» 1884–1909. СПб., 1913; *Панченко А. М.* «Измайловский досуг» как средство сплочения офицеров полка // Образование. Досуг. Творчество: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. Омск, 2011. С. 179–184.

⁹⁸ *Сологуб Ф. К.* Нечто о петербургских собраниях и кружках // Северный вестник. 1895. № 1. Отд. 2. С. С. 49–53; *Перцов П. П.* Литературные воспоминания, 1890–1902. М.; Л., 1933. С. 45–97 (Гл. 2. Литературный Петербург в 1892–1898 гг.).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ САЛОНЫ 1840–1890-х гг.

Принято считать, и не без оснований, что салонная культура в России, пережив расцвет в первой трети XIX века, к 1840-м гг. не просто угасает, но разрушается¹, утрачивает влияние в общественно-политической и литературной сферах, объективной причиной чему явилось завершение «дворянского» периода русской культуры, начало процесса ее демократизации. Между тем литературные и литературно-художественные салоны при общей тенденции к значительной культурной трансформации, к утрате части специфических признаков салонности имели долгую жизнь на протяжении не только XIX, но и XX столетия. Нельзя сказать, что особенности эволюции салонной культуры на ее поздних этапах в достаточной степени изучены. Среди работ последнего времени заслуживает внимания монография Е. Н. Палий «Салон как феномен культуры XIX века. Традиции и современность», где собран обширный материал (включая архивные источники) о деятельности во второй половине XIX века десятков популярных литературных салонов, как столичных, так и провинциальных, и рассматривается проблема объектов и механизмов культурного наследования².

Известно немало примеров продолжения деятельности салонов, возникших в 1820–1830-е гг., в эпоху расцвета салонной культуры. Таким был знаменитый салон князя В. Ф. Одоевского, с 1820-х до конца 1840-х гг. находившийся в Петербурге и возобновивший свою деятельность в Москве после перевода туда в 1861 г. Румянцевского музея, директором которого был В. Ф. Одоевский. Таков и петербургский салон Ф. П. Толстого, не терявший значения до 1870-х гг. Его деятельность поддерживали и продолжали жена Толстого А. И. Толстая и позднее, уже в 1870-е гг., его дочь Е. Ф. Юнге (см. ниже). Достаточно долго существовал меценатский салон М. Ю. Виельгорского и целый ряд других. Показательна также история литературного салона Е. П. Ростопчиной, стремившейся на рубеже 1840–1850-

¹ См., например: *Муравьева О. С.* Расцвет и разрушение светских литературных салонов «золотого века» // *Литературный факт.* 2022. № 4 (26). С. 140–182.

² *Палий Е. Н.* 1) *Салон как феномен культуры XIX века. Традиции и современность.* М., 2008; 2) *Салон как феномен культуры XIX века: Традиции и современность.* Автореф. дис. ... д-ра культуролога. М., 2008; см. также: *Канторович И. В.* *Московские литературные салоны 2-й четверти XIX века в общественно-культурной жизни России.* Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1997.

х гг. воссоздать в Москве светские традиции своего петербургского салона, близкого салонам А. О. Смирновой-Россет и Е. А. Карамзиной, с хозяйками которых Ростопчина состояла в дружбе.

В наследовании и поддержании салонной традиции в 1840-е и последующие годы особую роль играла Москва. Колоритную картину жизни «многочисленного и разнообразного» московского общества, когда «светская жизнь была блестящею, ибо принимающих домов было много, и дворянство не успело еще поразориться», развернул в своих мемуарах Б. Н. Чичерин, в 1845–1849 гг. студент юридического факультета Московского университета, позднее правовед, историк, публицист, один из идеологов либерализма. «Тогдашняя Москва была преимущественно дворянским городом, — писал он. — Тут жили зажиточные, независимые семьи, которые не искали служебной карьеры и не примыкали ко двору. Это налагало своеобразную печать на всю московскую жизнь. В ней не было того, что составляло и поныне составляет язву петербургского большого света, стремления всех и каждого ко двору, близость к которому определяет положение человека в свете»³. Чичерин-мемуарист в подробнейшем очерке о десятках блестящих московских салонов, как светских, так и литературных (Долгорукие, Пашковы, Нарышкины, Базилевские, Васильчиковы, Бахметевы, Сушковы и многие другие)⁴, себя представил не без иронии: «Я был непременно участником всех собраний, постоянным гостем и литературных салонов, и светских. <...> Я разъезжал, танцевал, играл с дамами в карты и точил язык с утра до ночи и с ночи до утра»⁵.

К 1830-м гг. салонная культура имела устойчивые, отчетливо оформленные социальные, коммуникативные, эстетические строго этикетные нормы бытования. Сложившиеся нормы в силу их кодифицированности и устойчивости на протяжении долгого времени воспринимались современниками именно как салонные, позволяя именовать салонами определенные литературные и литературно-художественные объединения. В деятельности большинства литературных салонов середины и второй половины XIX века сохраняются регулярность собраний, сложившийся круг посетителей салона, общность их интересов, преимущественно литературно-художественных, и значительно большая в сравнении с кружками открытость

³ Чичерин Б. Н. Москва сороковых годов // Русское общество 40–50-х годов XIX в. М., 1991. Ч. 2. С. 68–69.

⁴ См.: Там же. С. 69–82.

⁵ Там же. С. 82.

салонного пространства для общения допущенных к нему участников — в салонах могла присутствовать не только деятельная творческая, но и пассивная слушательская аудитория. Важнейшей чертой поздних салонов остается наличие в них *хозяев*, более того, одним из основных кодифицирующих признаков становится присутствие в салоне *хозяйки*, что и позволяет, как правило, современникам почти безвариантно именовать *салонами* те дома, где регулярно проходят собрания сложившегося круга гостей. Таковы в определенные дни принимающие относительно постоянный контингент посетителей дома А. П. Елагиной, Е. А. Свербеевой, М. Д. Ховриной, К. К. Павловой, Е. П. Ростопчиной, Е. В. Салиас, Е. А. Штакеншнейдер, и в конце века — С. А. Толстой, А. П. Философовой, А. А. Давыдовой, Л. Я. Гуревич и ряд других. В классической салонной традиции, как французской, так и русской, хозяйка салона определяла его статус, его успех, состав посетителей, характер времяпровождения и стиль общения⁶. «Вести салон», как признавал в своих поздних записках П. А. Вяземский, ностальгически вспоминая «золотой век» салонов, могла только просвещенная женщина, обладавшая особым складом ума, который, по его словам, «тем и обольщает и господствует, что он отменно чуток на чужой ум. Женский ум часто гостеприимен; он охотно зазывает и приветствует умных гостей, заботливо и ловко устраивая их у себя...»⁷. Эту характерную особенность запечатлел и Толстой в «Войне и мире» — за работой «разговорной машины» в салоне следит его хозяйка Анна Павловна Шерер. Существовали, как широко известно, и мужские салоны, однако преобладали, вне всякого сомнения, салоны женские. Отличием поздних литературных салонов от салонов классической эпохи стало участие в них в организующей роли *хозяйки* популярных, признанных женщин-писательниц (К. К. Павлова, Е. П. Ростопчина, Е. А. Салиас), а к концу века и женщин-издателей и редакторов журналов (А. А. Давыдова, Л. Я. Гуревич).

Воссоздавая процесс эволюции литературных салонов на его поздних этапах, стоит отметить, что мемуаристы, как правило, подчеркивают сохраняющиеся элементы

⁶ См.: *Муравьева О. С.* Расцвет и разрушение светских литературных салонов «золотого века». С. 144–150; *Дмитриева Е. Е.* Французские салоны: от социального ритуала к литературной практике // Шаги/Steps. Т. 8. № 2. 2022. С. 112–113; *Чижова И. Б.* Хозяйки литературных салонов Петербурга первой половины XIX в. СПб., 1993; *Bernstein L.* Women on the Verge of a New Language: Russian Salon Hostesses in the First Half of the Nineteenth Century // Russia — Women — Culture / Ed. by H. Goscilo and B. Holmgren. Indiana University, 1996. P. 209–224; и др.

⁷ *Вяземский П. А.* Старая записная книжка // Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 8. С. 381.

светскости, салонного этикета в поведении, одежде, умении вести беседу того или иного гостя салона. Эталоном в этом отношении служил посетитель нескольких московских салонов в 1830—1840-х гг. П. Я. Чаадаев, с его «неукоризненно светскими манерами», отмеченными Б. Н. Чичериным⁸, и не только им. И тот же мемуарист вспоминал о другом посетителе московских салонов, выпускнике Московского университета, позднее известном философе-славянофиле Ю. Ф. Самарине: «Разговор у него был живой и блестящий, всегда в утонченной светской форме, нередко приправленный холодной и едкой иронией или острою шуткою»⁹. Традиции светской галантности поддерживал и «умный, живой, даровитый» профессор римской словесности и древностей в Московском университете Д. Л. Крюков, появлявшийся в гостиную «всегда изящно одетый, *elegantissimus*, как называли его студенты»¹⁰. Мемуаристы отмечали как соблюдение этикетных поведенческих норм, так и их резкое, вызывающее нарушение, примером последнего, судя по воспоминаниям Я. П. Полонского, К. Д. Кавелина, Е. М. Феокистова и др., служил главным образом Н. Х. Кетчер, участник кружков Станкевича и Герцена–Огарева, врач, поэт-переводчик. Панаев вспоминал о «простоте его манер, доходящей до грубости, бесцеремонности обращения со всеми», о «крикливом голосе»¹¹. Близкую характеристику Кетчера находим и у Феокистова: «...он поражал грубостью, резкостью своих манер, своим зычным голосом, бесцеремонностью в спорах, доходившею до неприличия <...> он кричал, шумел, говорил грубости всякому, кто не соглашался с его мнением»¹². Нормы салонного этикета, таким образом, оставались живой реальностью и имели несомненную ценность.

Помимо гостеприимного женского присутствия, неотъемлемой частью салонной культуры, важнейшей формой ее организации была светская беседа, своеобразное элитарное речевое искусство, в котором языковая игра, острословие (*bon mot*) и соблюдение в общении этикета, хорошего тона (*bon ton*) придавали интеллектуальной

⁸ Чичерин Б. Н. Москва сороковых годов. С. 10–11. «Чаадаев, — вспоминал Вяземский, — был всегда погружен в себя, погружен в созерцание личности своей, пребывал во внимательном прислушивании к тому, что сам скажет. Он был доктринер, преподаватель с подвижной кафедры, которую переносил из салона в салон» (Вяземский П. А. Старая записная книжка. С. 277–278).

⁹ Чичерин Б. Н. Москва сороковых годов. С. 170–171.

¹⁰ Там же. С. 11.

¹¹ Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950. С. 165.

¹² Феокистов Е. М. За кулисами политики и литературы: 1848–1896: Воспоминания. М., 1991. С. 32.

дискуссии непринужденно-игровой характер¹³. Об этой утраченной традиции прежних салонов не без горечи вспоминал уже цитированный выше П. А. Вяземский: «А какая была непринужденность, терпимость, вежливая и себя и других уважающая свобода в этих разнообразных и разноречивых разговорах! Даже при выражении спорных мнений не было и слишком кипучих прений...»¹⁴.

Эта сентенция Вяземского во многом объясняет, почему именно салоны стали в 1840-х гг. свободным пространством для «кипучих прений» славянофилов и западников, о которых речь ниже. Их словесные баталии, со всей очевидностью, не соответствовали нормам светской беседы. Однако поддерживаемые светской традицией такт и терпимость в полемике не сразу, как увидим ниже, были утрачены и разрушены, именно они, скорее всего, обеспечивали мирное полемическое пространство для острых салонных дискуссий 1840-х гг.

Процесс демократизации состава участников кружков и посетителей салонов, журфиксов, литературных вечеров и стирание существовавших ранее социальных и культурных границ между ними приводит к сближению всех этих традиционных форм культурной коммуникации. Не случайно К. Д. Кавелин в очерке об А. П. Елагиной, хозяйке знаменитого московского салона, развернув широкую картину жизни литературных кружков и салонов той эпохи, не разделял, но сближал их, подчеркивая: «В литературных кружках и салонах зарождалась, воспитывалась, созревала и развивалась тогда русская мысль, подготовлялись к литературной и научной деятельности нарождавшиеся русские поколения»¹⁵.

В конце века литературные салоны сближаются, приобретая общие задачи и функции, не только с литературными кружками, но и с кружками редакционно-издательскими, ярким примером чему служит салон издательницы журнала «Мир Божий» А. А. Давыдовой. Ее приемная дочь М. К. Куприна-Иорданская о салоне матери вспоминала: «Литературный салон А. А. Давыдовой, как и все салоны середины и конца 90-х годов, напоминал Ноев ковчег. Здесь встречались толстовцы, либеральные

¹³ См.: *Муравьева О. С.* Расцвет и разрушение светских литературных салонов «золотого века». С. 156–157, 159–161; *Дементьев В. В.* Беседа светская // Антология речевых жанров: Повседневная коммуникация. М., 2007. С. 149–161; *Горлова Г. Н.* Светская беседа как речевой жанр русской культуры первой половины XIX века. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Астрахань, 2011.

¹⁴ *Вяземский П. А.* Старая записная книжка. С. 494.

¹⁵ *Кавелин К. Д.* Авдотья Петровна Елагина: (Биографический очерк) // Кавелин К. Д. Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 320.

профессора, представители первых легальных “марксистов”, народники из кружка Н. К. Михайловского <...>, литературная и студенческая молодежь...»¹⁶.

И еще одну особенность развития салонной культуры в 1830-х — 1840-х гг. нельзя не отметить. Современники, ощущая и фиксируя процесс ее трансформации, достаточно часто используют для характеристики домашних «культурных гнезд» нейтральные определения — *интеллигентный дом*, *литературный дом* и проч. Как правило, они относятся к семейным литературным домам, объединяющим два поколения причастных к литературе творческих деятелей и в силу этого имеющих длительную историю¹⁷. Определению *литературный дом* соответствует лишенный черт салонности дом семьи Аксаковых — Сергея Тимофеевича, его супруги Ольги Семеновны (урожд. Заплатиной) и их детей Константина, Веры, Григория и Ивана¹⁸. Дом Аксаковых на Сивцевом Вражке, а с 1843 г. и приобретенное ими имение Абрамцево в течение десятилетий были центром притяжения для писателей, журналистов, ученых и театральных деятелей.

В не меньшей степени определению *литературный дом* соответствует и домашнее родственно-дружеское, творческое сообщество Майковых (именовавшееся и салоном, и кружком), то есть семья художника Н. А. Майкова, его жены Е. П. Майковой (урожд. Гусятниковой), писавшей стихи и прозу, и их сыновей-литераторов Аполлона, Валериана, Владимира и Леонида. В 1835 г. в семью на правах домашнего учителя старших сыновей вошел И. А. Гончаров и остался с ней на десятилетия дружески и творчески связан¹⁹. Литературный быт Майковых, издававших рукописный журнал «Подснежник» и альманах «Лунные ночи», широко представлен в

¹⁶ *Куприна-Иорданская М. К.* Из воспоминаний о Д. Н. Мамине-Сибиряке // Д. Н. Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. Свердловск, 1962. С. 171.

¹⁷ См.: *Касаткина В. Н.* Литературные дома и их влияние на формирование творческой индивидуальности писателя // Взаимодействие творческих индивидуальностей писателей XIX — начала XX века: Межвуз. сб. М., 1994. С. 8–17.

¹⁸ См.: *Соловьев Е. А.* Аксаковы, их жизнь и литературная деятельность. СПб., 1895; *Бороздин А. К.* Семья Аксаковых // Литературные характеристики. XIX век. Т. 1. Вып. 1. СПб., 1905. С. 143–290; *Манн Ю. В.* Семья Аксаковых. М., 1992; *Кошелев В. А.* Век семьи Аксаковых // Север. 1996. № 1. С. 61–122; № 2. С. 95–132; № 3. С. 60–114; № 4. С. 79–118; *Анненкова Е. И.* Аксаковы. СПб., 1998; *Файзуллина Э. Ш.* Семья Аксаковых как явление русской дворянской культуры // Аксаковский сборник. Уфа, 1998. Вып. 2. С. 96–111; и др.

¹⁹ См.: *Гродецкая А. Г.* Гончаров в литературном доме Майковых. 1830–1840-е годы. СПб., 2021. См. также: *Володина Н. В.* Майковы. СПб., 2003; *Деркач С. С.* И. А. Гончаров и кружок Майковых // Учен. зап. ЛГУ. 1971. № 355. Сер. филол. наук. Вып. 76. С. 18–38; *Седельникова О. В.* Ф. М. Достоевский и кружок Майковых. Томск, 2006; и др.

переписке и мемуарах частых посетителей дома — С. С. Дудышкина, А. В. Старчевского, И. И. Панаева, Д. В. Григоровича, А. Н. Плещеева, Ф. М. Достоевского, С. Д. Яновского и других. Семья, переехавшая в Петербург из Москвы в 1834 г., привлекала посетителей несалонной, неэтикетной, московской атмосферой родственной и дружеской близости.

В историю русской культуры и, много шире, в историю русской философско-политической мысли вписаны несколько знаменитых московских литературных салонов, сыгравших в ней наряду с литературными кружками исключительно важную роль. «Дебаты по философским, историческим и литературным вопросам, — писал Д. П. Святополк-Мирский, — главная и прославленная достопримечательность мыслящей Москвы конца тридцатых—сороковых годов — происходили в салонах Елагиных, Свербеевых, Хомяковых, у Чаадаева, у Каролины Павловой. В этих салонах выковывалась новая русская культура...»²⁰. Здесь названы славянофильские салоны (исключая П. Я. Чаадаева), где зарождались и «выковывались» в жарких дебатах с западниками идеи ранних славянофилов. Особого внимания заслуживает тот общепризнанный факт, что русское западничество формировалось преимущественно в литературно-философских кружках (Станкевича, Герцена и Огарева, Грановского, Белинского, Кавелина), славянофильство зарождалось и оформлялось в целостную историко-философскую систему именно в московских салонах. Известен ироничный афоризм В. О. Ключевского: «Славянофильство — история двух-трех гостиных в Москве и двух [трех] дел в московской полиции»²¹.

1830–1840-е гг. были временем возникновения многочисленных литературно-философских кружков, прежде всего в Московском университете и вокруг него. В условиях жесткой цензуры, когда публичное обсуждение любых социально-политических вопросов было под запретом, кружки создавали пространство для теоретических, философско-исторических, политико-правовых, эстетических

²⁰ *Святополк-Мирский Д.* История русской литературы с древнейших времен по 1925 год / Пер. с англ. Р. Зерновой. 5-е изд., испр. и доп. Новосибирск, 2014. С. 257. Ряд работ специально посвящен роли салонов в развитии русской философской мысли, см.: *Канторович И. В.* Общественно-идейная жизнь в московских литературных салонах 30–40-х годов XIX в. // Вестник МГУ. Сер. 8. История. 1991. № 5. С. 37–48; *Семенова Е. В.* У истоков становления русской философской культуры: Литературные салоны России XIX века // Изв. Саратовск. ун-та. Сер.: Философия. Психология. Педагогика. 2009. Вып. 1. С. 44–48.

²¹ *Ключевский В. О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 397.

дискуссий. Поразительным явлением в жизни «философствующей» Москвы (в отличие от чиновного Петербурга) стало перемещение острых интеллектуальных диспутов из кружков в салоны. Или, говоря иначе, московские салоны стали выполнять не свойственную им функцию дискуссионных клубов, семинаров — функцию, близкую роли кружков, студенческих аудиторий, критических отделов толстых журналов. Студенчество, профессура, ученые, публицисты и литературные критики стали их постоянными посетителями.²²

Обстоятельный рассказ о литературных салонах этого времени находим в очерке «Московские славянофилы сороковых годов» (1878) К. Д. Кавелина, их активного посетителя как в пору учебы в 1835–1839 гг. на юридическом факультете Московского университета, так и во время преподавания в нем (с 1844 г.). «Разные внешние и случайные обстоятельства, — размышлял он о зарождении славянофильства, — способствовали тому, что это первое в России самостоятельное умственное движение возникло в Москве. С самого начала тридцатых годов <...> она стала мало-помалу сборным местом русских мыслящих людей всех возможных направлений, не находивших или не искавших служебной деятельности. Образовались литературные салоны, появились журналы, около которых группировались литературные кружки. Университет играл в этом движении немалую роль <...>. Университетское преподавание, литературная деятельность, литературные кружки и салоны находились между собою в теснейшем общении и оказывали друг на друга большое и благотворное влияние. Почему-либо замечательная журнальная или газетная статья отзывалась в университетском преподавании; выдающаяся университетская лекция составляла событие дня, горячо обсуждалась в салонах и многочисленных кружках; вчерашний спор в литературном салоне завтра переносился в журнал, в газету, становился предметом обсуждения с кафедры. Живое общение умственных, научных и литературных сил в университете и вне университета придавало и преподаванию, и салонным спорам, и журналистике значение, влияние и силу, о которых мы, в наше

²² Вполне справедливо суждение современного исследователя: в условиях контроля властей «уход в салонную устную публичность» заметно расширил «границы дозволенности политико-философских высказываний» (*Велижнев М. Б.* Публичная сфера и политическая мысль: Институты полемики в ранней истории западничества и славянофильства // *Институты литературы в Российской империи: Коллект. моногр.* М., 2023. С. 131). В этой содержательной статье речь идет о салоне Киреевских — Ивана и его жены (с 1834 г.) Натальи; А. П. Елагина, мать Киреевского и хозяйка знаменитого салона, упоминается только среди посетителей салона сына.

время, забыли, которых теперь не осталось и следа»²³. Показательно отмеченное мемуаристом сближение литературных кружков, салонов, университетских кафедр, журнальной полемики, их тесное взаимовлияние. Ситуация, сложившаяся в это время, в последующие годы не повторялась.

Ценное свидетельство о раннем этапе салонного противоборства славянофилов и западников оставил П. А. Вяземский, непосредственно наблюдавший в начале 1840-х за событиями в московских салонах. «Эти два вооруженные стана, — вспоминал он, — сходились часто, едва ли не ежедневно на поле диалектической битвы. Они маневрировали оружием своими, живо нападали друг на друга и потом мирно расходились, не оставляя увечных и пленных на поле сражения <...> как западники, так и славянофилы, а в особенности последние <...> увлекались силою, прелестью и соблазнами слова». Упомянув «диалектика» А. С. Хомякова, «мыслителя заносчивого, но прямодушного» К. С. Аксакова, И. В. Киреевского, явившего «девственную чистоту и целомудрие новых своих убеждений», Н. Ф. Павлова, обладателя «острого и легкопостигающего ума», салонную активность Вяземский иронически назвал «словесным факультетом, который из любви к искусству для искусства и к слову для слова расточительно преподавал свое учение»²⁴.

Вспоминая полемику славянофилов и западников, Герцен отмечал: «Война наша сильно занимала литературные салоны в Москве», и уточнял: «Говоря о московских гостиных и столовых, я говорю о тех, <...> где А. С. Хомяков спорил до четырех часов утра, начавши в девять; где К. Аксаков с мурмошкой в руках свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал; <...> где Грановский являлся с своей тихой, но твердой речью; где все помнили Бакунина и Станкевича; где Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воску, лицом, сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными; где молодой старик А. И. Тургенев мило сплетничал обо всех знаменитостях Европы, от Шатобриана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгаген; где Боткин и Крюков *пантеистически* наслаждались рассказами М. С. Щепкина и куда,

²³ Кавелин К. Д. Московские славянофилы сороковых годов // Кавелин К. Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. С. 359–360.

²⁴ Вяземский П. А. Старая записная книжка. С. 285. Любопытно, что и И. С. Тургенев в очерке «Семейство Аксаковых и славянофилы» (1869) с иронией вспоминал «словесные препиранья» в московских салонах (в 1841 г.), назвав их участников «цехом словоизвергателей» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. Т. 11. С. 286).

наконец, иногда падал, как Конгривова ракета, Белинский, выжигая кругом все, что попадало»²⁵. И он же счел необходимым добавить, что Москва сороковых годов «принимала деятельное участие за мурмолки и против них; барыни и барышни читали статьи очень скучные, слушали прения очень длинные, спорили сами за К. Аксакова или за Грановского, жалея *только*, что Аксаков слишком славянин, а Грановский недостаточно патриот. Споры возобновлялись на всех литературных и нелитературных вечерах, на которых мы встречались, — а это было раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу у Свербеева, в воскресенье у А. П. Елагиной. Сверх участников в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти вечера приезжали охотники, даже охотницы, и сидели до двух часов ночи, чтоб посмотреть, кто из матадоров кого отделает и как отделают его самого...»²⁶.

Вспоминал московские литературные салоны и Я. П. Полонский, учившийся на юридическом факультете Московского университета в 1838–1844 гг. «В то время московское общество, — писал он, — имело немало салонов, где собиралась вся тогдашняя интеллигенция, где никогда не играли в карты, а вместо музыки и пения дамы не без интереса слушали толки и споры. Такие салоны помню я и у княгини Ан. М. Голицыной, урожденной Толстой, у Ховриной, у Орловых, у Елагиных и даже у баронессы Шеппинг, мужа которой обессмертил Пушкин в своем послании к Чаадаеву: “Ради бога // Гони ты Шейпинга от нашего порога”. И у каждого салона были свои особенности. <...> Знаменитого актера Щепкина, превосходно читавшего комедии Гоголя, чаще всего можно было встретить у баронессы Шеппинг; Хомякова и Самарина — у княгини Голицыной; Жуковского, когда он приезжал в Москву, — у Елагиных. Там часто бывал и Гоголь <...>. Это был маленький божок, перед которым благоговели. <...> У Елагиных поклонялись и поэту Языкову, как сама хозяйка Евдокия Петровна, так и сыновья ее, у которых с утра до поздней ночи толпились студенты, пили в стаканах разносимый чай и курили»²⁷.

Одним из центров культурной жизни Москвы на протяжении нескольких десятилетий, с середины 1820-х и до конца 1840-х годов, был уже не раз упомянутый салон Авдотьи Петровны Елагиной, урожд. Юшковой, в перв. браке Киреевской (1789–

²⁵ Герцен А. И. Былое и думы // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 152–153.

²⁶ Там же. С. 156.

²⁷ Полонский Я. П. Мои студенческие воспоминания // Полонский Я. П. Проза. М., 1988. С. 383–384. Цитируются последние строки послания «Ч<аадае>ву» (1821); у Пушкина: «...гони ты Шеппинга...».

1877), матери И. В. и П. В. Киреевских²⁸. Племянница и воспитанница В. А. Жуковского (дочь его сестры Варвары), многие годы она поддерживала дружбу с поэтом, состояла с ним в переписке²⁹, владея иностранными языками, занималась переводами. Ее дом у Красных ворот, как вспоминал П. И. Бартенев, «долго был известен московскому образованному обществу, всему литературному и ученому люду. <...> Ум, обширная начитанность и очаровательная приветливость хозяйки привлекала сюда избранное общество. <...> А. П. Елагина необыкновенно как умела оживлять общество своим неподдельным участием ко всему живому и даровитому, ко всякому благородному начинанию и сердечному высокому порыву»³⁰. Здесь бывали Пушкин, П. А. Вяземский, И. И. Дмитриев, В. Ф. Одоевский, А. И. Тургенев, П. Я. Чаадаев, М. П. Погодин, С. П. Шевырев, А. С. Хомяков, А. И. Кошелев, С. Т. и К. С. Аксаковы, в 1838 г. с хозяйкой дома познакомился Н. В. Гоголь. С конца 1830-х салон Елагиной стал «ареной знаменитых споров» славянофилов и западников³¹. Если внутри западных кружков общение со славянофилами было невозможно, то елагинский салон, где главными идеологами славянофильства выступали братья Киреевские, напротив, привлекает западников. Здесь с конца 1830-х регулярно бывают вернувшиеся из Германии молодые профессора Московского университета Т. Н. Грановский³², Д. Л. Крюков, Н. И. Крылов, П. Г. Редкин, с 1842 г. — А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. М. Сатин, Н. Х. Кетчер, братья Бакунины, В. П. Боткин. Герцен записал в дневнике 14 ноября 1842 г.: «Был на днях у Елагиной — матери если не Гракхов, то Киреевских.

²⁸ См. о салоне: *Рабкина Н. И. С. Тургенев в салоне Елагиной // Вопросы литературы. 1979. № 1. С. 314–316; Канторович И. В. Салон Авдотьи Петровны Елагиной // Новое литературное обозрение. 1998. № 2. С. 165–209; Романов Д. А. Свидетельница золотого века русской литературы А. П. Елагина // Тульский краеведческий альманах. 2021. № 18. С. 160–177.*

²⁹ См.: *Переписка В. А. Жуковского и А. П. Елагиной: 1813–1852 / Сост., подгот. текста и коммент. Э. М. Жиликовой. М., 2009.*

³⁰ [*Бартенев П. И.*]. Авдотья Петровна Елагина // *Русский архив. 1877. Кн. 2. № 8. С. 492* (в тексте приведен обширный перечень посетителей салона — С. 492–495).

³¹ См. подробнее: *Канторович И. В. Салон Авдотьи Петровны Елагиной. С. 177* и след.

³² Первыми впечатлениями от посещения салона Грановский делился с Н. В. Станкевичем в письме от 27 ноября 1839 г.: «Ты не можешь себе вообразить, какая у этих людей философия. Главные их положения: запад сгнил и от него уже не может быть ничего; русская история испорчена Петром, — мы оторваны насильственно от родного исторического основания и живем на удачу <...>. Киреевский говорит эти вещи в прозе, Хомяков в стихах» (Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. 2. С. 369–370).

<...> Мать чрезвычайно умная женщина, *без цитат*, просто и свободно. Она грустит о славянобесии сыновей»³³. Автором большого некрологического очерка об А. П. Елагиной (1877) стал убежденный западник К. Д. Кавелин, писавший: «...салон Авдотьи Петровны Елагиной в Москве был средоточием и сборным местом всей русской интеллигенции, всего, что было у нас самого просвещенного, литературно и научно-образованного <...> под ее глазами составлялись в Москве литературные кружки, сменялись московские литературные направления, задумывались литературные и научные предприятия, совершались различные переходы русской мысли. Невозможно писать историю русского литературного и научного движения за это время, не встречаясь на каждом шагу с именем Авдотьи Петровны»³⁴. В начале 1840-х в салоне собираются сотрудники редакции и авторы «Москвитянина», обсуждаются поступившие в журнал статьи, здесь также происходит чтение и обсуждение диссертаций Самарина, Кавелина, Редкина³⁵. Вечера Елагиных регулярно посещают хозяева других московских салонов — Свербеевы, Ховрины, Павловы. По словам А. И. Кошелева, Авдотья Петровна была женщиной «не только высокообразованной, но и одаренной чрезвычайно любящим сердцем»³⁶. В ноябре 1843 г. сразу после своей первой публичной лекции о европейском средневековье, на которую съехалась «вся Москва», Грановский приехал к Елагиной — «как будто добрый сын принести матери свой радостный успех. Я была глубоко тронута...» — так она писала мужу³⁷. Стоит упомянуть также, что среди западников Авдотья Петровна с ее «любящим сердцем» с особой симпатией выделяла Н. Х. Кетчера³⁸, о котором даже единомышленники отзывались крайне критично. Долгая жизнь литературного салона поддерживалась присутствием в нем двух поколений, двух культурных эпох. «С тридцатых годов и до нового царствования, — писал Кавелин, — дом и салон Авдотьи

³³ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 2. С. 242.

³⁴ Кавелин К. Д. Авдотья Петровна Елагина: (Биографический очерк). С. 320. Автор выразил здесь и личную признательность: «Осыпанный покойной вниманием и ласками с молодых лет, безгранично обязанный на первой поре жизни многим ей лично, почтенному ее семейству и ее салону, связывая с дорогим мне семейством Елагиных лучшие воспоминания молодости, я считаю обязанностью сохранить для будущего времени то, что знаю сам и из рассказов родных об этой замечательной русской женщине» (Там же).

³⁵ См.: Канторович И. В. Салон Авдотьи Петровны Елагиной. С. 189, 190, 194.

³⁶ Кошелев А. И. Записки (1812–1883 годы). М., 2002. С. 13.

³⁷ Цит. по: Канторович И. В. Салон Авдотьи Петровны Елагиной. С. 193.

³⁸ В одном из писем сыну Василию она писала: «Я познакомилась с Кетчером, он мне *очень* нравится... Катков был у меня <...> очень не прост, и сжат, и чванен. То ли дело Кетчер!..» (цит. по: Там же. С. 190).

Петровны были одним из наиболее любимых и посещаемых средоточий русских литературных и научных деятелей. <...> В нем преобладало славянофильское направление, но это не мешало постоянно посещать вечера Елагиных людям самых различных воззрений до тех пор, пока литературные партии не разделились на два неприязненных лагеря — славянофилов и западников, что случилось в половине сороковых годов»³⁹.

Помимо салона Елагиной, славянофильскими в 1840-х гг. считались московские салоны М. Д. Ховриной, Е. А. Свербеевой и К. К. Павловой, также превратившиеся в аудитории для острых дискуссий славянофилов и западников.

Салон М. Д. Ховриной, урожд. Лужиной (1811–1877), ставший с начала 1840-х гг., по возвращении его хозяйки из Италии⁴⁰, одним из самых посещаемых, имел необычную репутацию. Супруга пензенского дворянина Н. В. Ховрина (1793–1857) и сестра московского обер-полицмейстера в 1843–1854 гг. И. Д. Лужина (1802–1868), свои литературные вечера она устраивала в доме брата на Тверском бульваре, и посетителей не смущало участие в собраниях самого обер-полицмейстера, не чуждого интереса к литературе и живописи, одного из немногих николаевских чиновников, заслуживших признание москвичей. В разные годы в салоне бывали П. А. Вяземский и Д. В. Давыдов, гостившие также в имении Ховриных Саловке Пензенской губ., Е. А. Баратынский, Гоголь, читавший здесь свои сочинения, и кроме них — А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский, Н. Х. Кетчер наряду со славянофилами С. Т. и К. С. Аксаковыми, А. С. Хомяковым, С. П. Шевыревым, Ю. Ф. Самариным и другими. Об особой открытости этого дома П. В. Анненков вспоминал: «М. Д. Ховрина имела славу женщины большого света, охотно отворявшей двери своей гостиной для замечательных людей времени, какой бы репутацией они ни пользовались в других кругах общества <...>. Вообще Москва того времени сохраняла еще много женских личностей, думавших о началах разумной жизни в обществе и влиявших не только на

³⁹ Там же. С. 325.

⁴⁰ В семье Ховриных, живших в конце 1830-х — начале 1840-х гг. в Италии, бывали Н. В. Станкевич, его приятель географ А. П. Ефремов, исторический живописец А. Т. Марков и почти ежедневно (в Риме, в 1840 г.) И. С. Тургенев, переживший недолгое увлечение их дочерью Александрой («Шушу»; в замуж. Бахметьева), впоследствии ставшей писательницей. Судя по отзывам Станкевича в письмах этого времени, Н. В. Ховрин был человеком малоинтересным и недалеким (см.: Переписка Н. В. Станкевича: 1830–1840. М., 1914. С. 692, 703, 704).

окружающих, но по своим связям и на круги в провинции»⁴¹. Интересную деталь находим в воспоминаниях Я. П. Полонского: «...Кетчер, который никогда не надевал фрака и не расставался с своей коротенькой трубочкой, который, по словам Тургенева, не перевел, а перепер Шекспира на язык родных осин, <...> появлялся только у Ховриных»⁴². Частым гостем гостеприимного салона после своего переезда в Москву в 1842 г., всегда помнившим о близком соседстве со съезжей «небольшой гостиной, где все дышало женщиной и красотой», был Герцен. Он вспоминал в «Былом и думах», что именно в доме обер-полицмейстера Лужина его допрашивали после ареста в 1834 г., признаваясь: «...мне было не по себе там <...>. Наши речи и речи небольшого круга друзей, собиравшихся у них, так иронически звучали, так удивляли ухо в этих стенах, привыкших слушать допросы, донос и рапорт о повальных обысках...»⁴³.

Достаточно долго, с первой половины 1830-х и до 1850-х гг., посещаем и популярен был литературный салон Свербеевых, где, «блистая красотой, соединяла вокруг себя славянофильский кружок»⁴⁴ Екатерина Александровна Свербеева, урожд. кн. Щербатова (1808–1892), тогда как ее муж — историк, дипломат и писатель Дмитрий Николаевич Свербеев (1799–1874) славянофильских убеждений жены не разделял. Хозяин салона, «человек весьма недюжинного, тонкого ума, образованный, с живыми интересами, с положительным и несколько скептическим взглядом на вещи»⁴⁵, был дружен с П. Я. Чаадаевым, А. И. Герценом, В. Ф. Одоевским, хозяйка салона была известна как приятельница Н. В. Гоголя, в разные годы супруги принимали у себя В. А. Жуковского, И. А. Крылова, А. И. Тургенева, Н. М. Языкова. А. И. Кошелев вспоминал, как в середине 1830-х гг. он «проводил время с добрыми приятелями Киреевскими, Елагиными, Хомяковыми, Свербеевыми, Шевыревыми, Погодиным, Баратынским и пр. По вечерам постоянно три раза в неделю мы собирались у

⁴¹ *Анненков П. В.* Идеалисты тридцатых годов // П. В. Анненков и его друзья: Литературные воспоминания и переписка 1835–1885 годов. СПб., 1892. С. 69.

⁴² *Полонский Я. П.* Мои студенческие воспоминания. С. 384. Имеется в виду эпиграмма (1851) Тургенева: «Вот еще светило мира! / Кетчер, друг шипучих вин; / Перепер он нам Шекспира / На язык родных осин» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. М., 1986. С. 308). Кетчер считал перевод пьес Шекспира делом своей жизни. Полонский в своей мемуарной записи не точен, Кетчер бывал также в салоне Павловых (см. ниже).

⁴³ *Герцен А. И.* Былое и думы // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 8. С. 189–190.

⁴⁴ *Чичерин Б. Н.* Москва сороковых годов. С. 81.

⁴⁵ *Чичерин Б. Н.* Москва сороковых годов. С. 81. См. также: *Свербеев Д. Н.* Мои записки. М., 2014 (сер. «Лит. памятники»).

Елагиных, Свербеевых и у нас <...>. Беседы наши были самые оживленные; тут выказались первые начатки борьбы между нарождавшимся русским направлением и господствовавшим тогда западничеством. <...> Споры наши продолжались далеко за полночь...»⁴⁶. Герцен в «Былом и думах» упомянул, что ему «случалось бывать» на вечерах у Свербеевых, «спорить там о панславизме и сердиться на Хомякова, который никогда ни на что не сердился»⁴⁷. Московские славянофилы и западники в 1840-х гг. в салоне Свербеевых собирались регулярно, но к концу десятилетия «литературные собрания сделались менее часты и менее оживленны»⁴⁸.

Одним из самых посещаемых славянофильских салонов в Москве, где также регулярно проходили диспуты славянофилов и западников, был дом на Рождественском бульваре писателя и переводчика Николая Филипповича Павлова (1803–1864) и его жены, поэтессы и переводчицы Каролины Карловны (урожд. Яниш; 1807–1893)⁴⁹. Салон существовал до рубежа 1850-х гг., в 1852-м между супругами произошел разрыв, в 1853-м Каролина Павлова уехала за границу. По единодушным свидетельствам современников, в салоне «царствовала» его хозяйка, имевшая в эти годы блестящий литературный успех и поражавшая современников знанием языков (с юности она владела немецким, французским, английским, итальянским, позднее выучила испанский и польский) и замечательной памятью. Как вспоминал Я. П. Полонский, «голова ее была чем-то вроде поэтической хрестоматии, не одних русских стихов, но и французских, и немецких, и английских»⁵⁰. У Павловых сначала по вторникам, затем по четвергам («павловские четверги») бывали все московские славянофилы — М. П. Погодин, А. С. Хомяков, С. П. Шевырев, С. Т. и К. С. Аксаковы, также М. Н. Загоскин, состоявший с С. Т. Аксаковым в близкой дружбе, братья Киреевские, Ю. Ф. Самарин. Из западников частыми гостями были П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. Х. Кетчер, Н. А. Мельгунов, московские профессора

⁴⁶ Кошелев А. И. Записки (1812–1883 годы). С. 41–42.

⁴⁷ Герцен А. И. Былое и думы // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 8. С. 112.

⁴⁸ Чичерин Б. Н. Москва сороковых годов. С. 81.

⁴⁹ См. о салоне: Рангоф Б. К. Павлова. Материалы для изучения жизни и творчества. Пг., 1916. С. 16–20; Гроссман Л. П. Вторник у Каролины Павловой. Сцены из жизни московских литературных салонов 40-х годов. М., 1922; Канторович И. В. Салон Павловых // Москва: Люди, проблемы, события: Краевед. сб. М., 1998. С. 60–90.

⁵⁰ Полонский Я. П. Мои студенческие воспоминания. С. 373. Та же особенность поразила А. Я. Панаеву, вспоминавшую: «В разговоре она вставляла постоянно строфы стихов на немецком языке — из Гете, из Байрона — на английском, из Данте — на итальянском, а по-испански привела какую-то пословицу» (Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М., 1986. С. 141).

Т. Н. Грановский, П. Г. Редкин, Д. Л. Крюков, К. Д. Кавелин. И этот перечень далеко не полон. Много раз бывал в этом доме М. Ю. Лермонтов, знакомый с Н. Ф. Павловым до его женитьбы, бывали также И. С. Тургенев, Н. В. Берг, оставивший о Павловых воспоминания (и салон называвший только *кружком*)⁵¹, петербуржцы Д. В. Григорович и И. И. Панаев. Регулярно посещали салон европейские общественные деятели, литераторы, артисты, ученые, в числе которых были А. Гумбольдт и Ф. Лист.

Колоритную картину вечеров в салоне Павловых, «одном из главных литературных центров в Москве», воссоздал в своих мемуарах Б. Н. Чичерин. «Николай Филиппович, — вспоминал он, — находился в коротких сношениях с обеими партиями, на которые разделялся тогдашний московский литературный мир, с славянофилами и западниками. <...> Над Каролиной Карловной хотя несколько подсмеивались, однако поэтический ее талант и ее живой и образованный разговор могли делать салон ее приятным и даже привлекательным для литераторов. По четвергам у них собиралось все многочисленное литературное общество столицы. Здесь до глубокой ночи происходили оживленные споры: Редкин с Шевыревым, Кавелин с Аксаковым, Герцен и Крюков с Хомяковым. <...> Постоянным гостем был Чаадаев, с его голою, как рука, головою, с его неукоризненно светскими манерами, с его образованным и оригинальным умом и вечною позою. Это было самое блестящее литературное время Москвы. Все вопросы, и философские, и исторические, и политические, все, что занимало высшие современные умы, обсуждалось на этих собраниях, где соперники являлись во всеоружии, с противоположными взглядами, но с запасом знания и обаянием красноречия»⁵². Салонная полемика, по словам того же мемуариста, представляла собой «постоянный турнир, на котором выказывались и знание, и ум, и находчивость, и который имел тем более привлекательности, что по условиям времени заменял собою литературную полемику, ибо при тогдашней цензуре только малая часть обсуждавшихся в этих беседах идей, и то обыкновенно лишь обиняками, с недомолвками, могла проникнуть в печать»⁵³.

⁵¹ *Берг Н. В.* Посмертные записки // Русская старина. 1891. № 2. С. 264–265.

⁵² *Чичерин Б. Н.* Москва сороковых годов. С. 10–11.

⁵³ Там же. О проблемах, составлявших предмет салонных дискуссий, Ю. Ф. Самарин рассказывал К. С. Аксакову в 1841 г. в одном из писем: «Вчера я просидел битых три часа вдвоем с Каролиной Карловной. Мы перебрали все вопросы, которые занимали и занимают Вас и меня. Говорили о Фаусте, о французах, о Занде, о бессмертии души, о Гегеле, о любви и проч. Она прочла мне несколько отрывков из недавно вышедшей Философии Ламене <...>. Говорили мы также и очень долго о бессмертии души, о сотворении мира, потом перешли к Шевыреву. Читала мне

Частыми гостями Павловых были молодые поэты, университетские сокурсники Ап. А. Григорьев, А. А. Фет и Я. П. Полонский, для которых салон был образцом и школой как блестящего красноречия, так и поэтического творчества. Полонский вспоминал о нем с большим теплом: «У Павловых впервые встретился я с Юрием Самариним. Он был очень молод и смешил хозяйку <...>. Самарин среди дам и светского общества был далеко не таков, каким я встречал его в обществе Хомякова, Погодина, Грановского, Чаадаева и др. Тогда как Конст. Аксаков, наоборот, где бы он ни был, был постоянно один и тот же: горячо стоял за свои убеждения и был беспощаден. <...> У Павловых же впервые познакомился я с Ал. Ив. Тургеневым, редким гостем, которому дозволено было побывать в Москве, <...> он остался пить чай и был очень интересен...»⁵⁴.

Хозяйка салона не могла не располагать современников к портретированию, далеко не всегда сочувственному. Немало саркастических замечаний вызывала, в частности, ее навязчивость в чтении собственных стихов. Чичерин вспоминал: «Она была умна, замечательно образованна, владела многими языками и сама обладала недюжинным литературным талантом. <...> Но тщеславия она была непомерного, а такта у нее не было вовсе. Она любила кстати и некстати щеголять своим литературным талантом и рассказывать о впечатлении, которое она производила. Она постоянно читала вслух стихи, и свои, и чужие, всегда нараспев и с каким-то диким завыванием...»⁵⁵. И. И. Панаев, при первой встрече с Каролиной Карловной, «дамой вида строгого и величественного», отметил: «В ее позе, в ее взгляде было что-то эффектное, риторическое». Итогом более близкого знакомства стало заключение: «...манеры ее, несмотря на их театральное величие, отзывались иногда не совсем приятно грубоватостию»⁵⁶. О единственном визите к Павловым Д. В. Григорович рассказал следующее: «Меня представили хозяйке дома, даме высокого роста, костлявой, с лицом, напоминавшим скорее лицо энергического мужчины, чем женщины. Не прошло получаса после обычных любезностей, она уже читала мне и двум-трем сидевшим тут лицам свои стихотворения <...>. Она искренно была уверена,

несколько новых стихов, очень хороших» (*Самарин Ю. Ф.* Собрание сочинений. М., 1911. Т. 12. С. 24).

⁵⁴ *Полонский Я. П.* Мои студенческие воспоминания. С. 372. В мемуарах Фета сохранился лишь небольшой эпизод; см.: *Фет А. А.* Ранние годы моей жизни. М., 1893. С. 213–214.

⁵⁵ *Чичерин Б. Н.* Москва сороковых годов. С. 9–10.

⁵⁶ *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. [М.], 1950. С. 177.

что возвышенные, исключительно даровитые натуры, к каким себя причисляла, не долговечны, и часто напоминала о скором своем конце»⁵⁷. Еще более резкой была оценка в «Дневнике» А. В. Никитенко: «Вообще госпожа эта — особа крайне напыщенная. Она не без дарования, но страшно всем надоедает своей болтовней и навязчивостью. К тому же единственный предмет ее разговора — это она сама, ее авторство, стихи. Она всякому встречному декламирует их, или, вернее, выкрикивает и поет»⁵⁸.

Судя по немногочисленным упоминаниям в мемуарах, славянофильским был и салон на Малой Никитской баронессы Марии Дмитриевны Шеппинг, урожд. Чертковой (1800–1874), жены барона Дмитрия Андреевича (Отто Густава) Шеппинга (1790–1874), отставного генерал-майора. Однако Я. П. Полонский (см. выше) назвал этот редко упоминаемый салон в одном ряду с самыми известными литературными салонами Москвы. Сведения о салоне Шеппингов находим в мемуарах Б. Н. Чичерина, ставшего «приятелем дома» у баронессы, в прошлом светской львицы. По признанию мемуариста, «наружность ее была прелестная <...>. Ум был бойкий, живой, несколько насмешливый; разговор блестящий, полный игривости и бойкой иронии. <...> Меня пленяло это соединение очаровательной красоты, изящества форм, игривости ума и затаенных порывов сердца. Муж ее был человек добрый, обходительный, весьма некрасивый собой, кривой, небольшого ума, но образованный, с несколько славянофильским оттенком. Он был автор исследований по славянской мифологии»⁵⁹.

Салонные «факультеты словесности», объединившие в московских гостиных на недолгое время славянофилов и западников необходимостью диалога о судьбах России, ее прошлом и будущем, к середине 1840-х гг. завершили размежеванием «двух станов». Как писал К. Д. Кавелин, «сначала лица различных направлений, приютившиеся в Москве, жили мирно, даже дружески между собою и действовали вместе. Различие взглядов выражалось только в оживленных спорах, в научной и литературной полемике. Но к половине сороковых годов разномыслие, заостряясь все более и более, привело наконец к разрыву между славянофилами и западниками. Неловкости, неосторожности и резкости, в которых были виноваты обе стороны,

⁵⁷ Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1987. С. 130.

⁵⁸ Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. 1. С. 390.

⁵⁹ Чичерин Б. Н. Москва сороковых годов. С. 77–78. Следует добавить, что хозяйка салона была родной сестрой А. Д. Черткова, известного историка, археолога, библиофила, создателя знаменитой Чертковской библиотеки.

придали разрыву острый, раздражительный характер...»⁶⁰. И еще одно свидетельство того же неравнодушного автора заслуживает цитирования. Кавелин писал: «Кто жил в среде, где зародились воззрения славянофилов и западников, кто лично знал и слышал разговоры и споры людей, стоявших во главе тех и других, тот никогда не забудет глубоко-просвещенного, в высшей степени сочувственного строя мыслей и стремлений этих благороднейших идеалистов. <...> Это были люди замечательного ума и таланта, обширного знания и начитанности и европейски образованные»⁶¹. Сохранились многочисленные свидетельства о высочайшем ораторском искусстве участников словесной полемики, о выдающихся образцах «устной литературы», отличавшейся, несомненно, от той, которую так ценил ее собиратель П. А. Вяземский, но составившей замечательное, уникальное явление в истории русской культуры. Так, выдающимся полемическим даром, по всеобщему признанию, обладал А. С. Хомяков. Герцен, сам блестящий полемист, вспоминал о нем: «Ум сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый на них, богатый памятью и быстрый соображением, он горячо и неутомимо проспори́л всю свою жизнь. Боец без усталости и отдыха, он бил и колол, напада́л и преследовал, осыпал остротами и цитатами <...>. Необыкновенно даровитый человек, обладавший страшной эрудицией, он, как средневековые рыцари, караулившие богородицу, спал вооруженный. Во всякое время дня и ночи он был готов на запутаннейший спор и употреблял для торжества своего славянского воззрения все на свете — от казуистики византийских богословов до тонкостей изворотливого легиста. Возражения его, часто мнимые, всегда ослепляли и сбивали с толку»⁶². «А. С. Хомяков был поэт, полигистор и замечательный диалектик», — вспоминал К. Д. Кавелин⁶³. И он же признавал: «Самым разносторонним деятелем из вождей славянофильства был Ю. Ф. Самарин. С глубоким знанием философии, богословской литературы и истории он соединял основательное и близкое знакомство с вопросами финансовыми, экономическими и народного хозяйства. Никто, не исключая Хомякова, не обладал таким даром полемики, никто не владел лучше Самарина пером»⁶⁴.

⁶⁰ Кавелин К. Д. Московские славянофилы сороковых годов. С. 360–361.

⁶¹ Там же. С. 361.

⁶² Герцен А. И. Былое и думы // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 9. С. 156–157.

⁶³ Кавелин К. Д. Московские славянофилы сороковых годов. С. 362

⁶⁴ Там же. Исключительно высокую оценку дал Самарину убежденный западник Б. Н. Чичерин: «Это был, бесспорно, человек совершенно из ряда вон выходящий. Необыкновенная сила ума, железная воля, неутомимая способность к работе, соединенная с даром слова и с блестящим талантом писателя, наконец, самый чистый и возвышенный характер — все в нем соединялось, чтобы сделать из него одного из

Публичная полемика на ее начальном этапе была необходимым условием для уяснения принципиальных разногласий между «двумя станами». «Партии должны были бороться так, как они боролись, — вспоминал П. В. Анненков, — на глазах публики, для того именно, чтобы выяснить всю важность содержания, заключающегося в идеях, ими представляемых»⁶⁵.

«К 1848 году московские кружки и салоны стали падать», — к такому выводу пришел К. Д. Кавелин⁶⁶. Действительно, эту историческую дату, рубеж «замечательного десятилетия» и «мрачного семилетия», можно считать финальной в жизни московских «факультетов словесности». К этому времени не только себя исчерпала полемика между западниками и славянофилами и оба учения сложились в целостные историко-философские доктрины, но закончился и мирный салонный период, разногласия стали более резкими, непримиримыми⁶⁷. Серьезные утраты, кроме того, понесли бойцы обоих «станов». В 1844 г. в Петербург уехал Ю. Ф. Самарин, в 1845-м скончался Д. Л. Крюков, в начале 1847 г. навсегда уехал из России Герцен, в 1848-м покинули Московский университет и переехали в Петербург К. Д. Кавелин и П. Г. Редкин.

Именно тогда, когда салоны «стали падать», в Москве появляется новый литературный салон, хозяйкой которого стала графиня Евдокия Петровна Ростопчина, урожд. Сушкова (1811–1858), поэтесса, прозаик, драматург. История ее салона демонстрирует всю сложность продолжения салонной традиции в изменившихся социально-культурных условиях. В своем московском салоне, после возвращения в

самых крупных деятелей как на литературном, так и на общественном поприще. Разговор у него был живой и блестящий, всегда в утонченной светской форме, нередко приправленный холодной и едкой иронией или острою шуткою. У него был удивительный талант подражания; он мог и забавлять и увлекать, мог равно блеснуть в салоне, развивать самую отвлеченную философскую мысль и разрабатывать фолианты практического дела» (*Чичерин Б. Н.* Москва сороковых годов. С. 170–171).

⁶⁵ *Анненков П. В.* Замечательное десятилетие: 1838–1848 // Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 111–352.

⁶⁶ *Кавелин К. Д.* Московские славянофилы сороковых годов. С. 363.

⁶⁷ В 1848 г. К. С. Аксаков пишет письмо Николаю I, призывая покончить с западничеством, что было воспринято многими как «непозволительный поступок» и «донос». См.: *Цимбаев Н. И.* Славянофильство: Из истории русской общественно-политической мысли. М., 1986. С. 154–155; Россия перед угрозой революции: неопубликованное письмо К. С. Аксакова к Николаю I от 28 марта 1848 г. (краткая и пространная редакции) / Публ., вступ. ст. и комм. А. П. Дмитриева // Литературоведческий журнал. 2022. № 55. С. 211–239.

1847 г. семьи из-за границы и переезда в Москву (вследствие «немилости государя»)⁶⁸, Ростопчина предполагала воссоздать обстановку аристократического салона прежних лет, каким и являлись в 1836–1845 гг. ее петербургские «субботы», где частыми гостями были Пушкин, Лермонтов, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, П. А. Плетнев, В. Ф. Одоевский, В. А. Соллогуб, М. Ю. Виельгорский и многие другие. В Москве Ростопчины жили, по словам мемуаристов, «на широкую ногу», в доме на Садовой ул. с роскошной внутренней отделкой, огромной библиотекой и коллекцией европейской живописи и гравюр, что в немалой степени контрастировало с демократической обстановкой большинства московских литературных домов. Евдокия Петровна не разделяла славянофильских воззрений, принадлежа, как вспоминала ее дочь Лидия, «к партии “западников”, отдававших предпочтение европейской цивилизации перед национальным варварством»⁶⁹. Д. М. Погодин, сын издателя «Москвитянина», посещавший вечера графини, считал, что по своим взглядам она была космополитка, что открывало двери ее дома «людям всевозможных лагерей и профессий». И он же вспоминал: «Ее талант, красота, приветливость и хлебосольство влекли к ней и подкупали в ее пользу всех <...>. На ее вечерах было чрезвычайно оживленно и весело; вечера всегда кончались отличным ужином с тонкими винами»⁷⁰. Однако завоевание для салона положения и репутации в Москве, в «прелестной степи, называемой первопрестольным градом», по словам Ростопчиной, оказалось далеко не простой задачей. Графиня писала В. Ф. Одоевскому 15 января 1848 г.: «...я, если и не совсем покойница, но решительно похоронена в грязи, ссоре и запустении того, что смеют звать московской жизнью. Хороша жизнь!.. стоит смерти, но не имеет ее выгод — уединения и молчания! Недавно я было отдохнула умственно и расправила крылья мысли в беседе Чихачева; он прожил здесь неделю, ежедневно бывал у меня, и мы с ним толковали об Европе, о которой здесь хотя и имеют некоторые понятия, но вообще очень сбивчивые и неопределенные <...> для Хомякова и его шумливых, нечесаных,

⁶⁸ В связи с публикацией стихотворения «Насильный брак» (1846), содержащего намек на отношения России и Польши. Дочь Е. П. Ростопчиной Лидия вспоминала: «Мы возвратились в Россию в 1847 году и не останавливались в Петербурге. Моя мать подвергалась немилости государя. Ее вычеркнули из списка лиц, допущенных ко двору, между тем как она всегда получала приглашения на придворные балы в Аничковом дворце и бывала принята в дружеском кружке императрицы» (*Ростопчина Л. Семейная хроника (фрагменты)* // Ростопчина Е. П. Счастливая женщина. Литературные сочинения. М., 1991. С. 407).

⁶⁹ *Ростопчина Л. Семейная хроника (фрагменты)*. С. 405.

⁷⁰ Из воспоминаний Дмитрия Михайловича Погодина. Графиня Е. П. Ростопчина и ее вечера // Ростопчина Е. П. Счастливая женщина. Литературные сочинения. С. 401.

немытых приверженцев — бедный заграничный мир только сцена, на которую они поглядывают спокойно с своего тепленького местечка, зеваючи и припеваючи...»⁷¹. По свидетельству Н. В. Берга, оставившего о салоне Ростопчиной обстоятельные воспоминания, по вечерам здесь «пили чай, играли на фортепьянах, беседовали. Гостями были светские дамы и мужчины высшего круга...»⁷². Салон посещали выдающиеся европейские музыканты и артисты — Ф. Лист, Ю. Шульгоф, Э. Рашель, П. Виардо-Гарсиа, Ф. Эльслер. Тот же Н. В. Берг не без иронии рассказывал о стремлении графини привлечь в свой светский салон литераторов: «Графиня долго не знала, что ей делать: из каких литераторов составить кружок для своих “литературных вечеров по субботам”, — кружок удобный, приличный, нескучный. К славянофилам сердце ее не лежало вовсе. <...> Да и то сказать: для литературных вечеров светской дамы они, как люди серьезные, дорожившие своим временем, не годились: соскучились бы в неделю, и баста ездить»⁷³. Чуждость «партии» славянофилов не мешала Ростопчиной поддерживать дружеские отношения с М. П. Погодиным, на ее «субботах» бывали также М. Н. Загоскин, Н. Ф. Павлов, Ф. И. Тютчев, И. С. Тургенев, Я. П. Полонский, С. А. Соболевский, А. Н. Майков, скульптор Н. А. Рамазанов, артисты М. С. Щепкин и И. В. Самарин. После успеха первых пьес А. Н. Островского регулярными посетителями салона стали как сам драматург, так и вся «молодая редакция» «Москвитянина» — А. А. Григорьев, Л. А. Мей, Б. Н. Алмазов, Т. И. Филиппов, Е. Н. Эдельсон, о которых, как сообщал Н. В. Берг, «ходили не очень благовидные слухи, что это “беспросыпные кутилы, пребывающие большую часть дня в нагольных тулупах, не то в рубашках, ненавидящие фраков и перчаток, пьющие простое вино из штофов и полуштофов и закусывающие соленым огурцом»»⁷⁴. Сотрудники «молодой редакции» в итоге стали основными посетителями салона. О литературных «субботах» Ростопчиной находим рассказ у того же Н. В. Берга: «На

⁷¹ *Ростопчина Е. П.* Стихотворения. Проза. Письма. М., 1986. С. 338–339. П. А. Чихачев — географ и путешественник.

⁷² *Берг Н. В.* Графиня Ростопчина в Москве (Отрывок из воспоминаний) // Ростопчина Е. П. Счастливая женщина. Литературные сочинения. С. 395.

⁷³ Там же. С. 396.

⁷⁴ Там же. С. 398. Также: Памятники литературного и общественного быта: Неизданные письма к А. Н. Островскому. М.; Л., 1932 (по ук.). Оригинальным поведением и внешностью отличался частый гость салона известный орнитолог Н. А. Северцов, «всегда косматый, нечесанный, в одежде, доходившей до неряшества, угрюмый <...> молча, ни слова не говоря развертывал он альбом и принимался рисовать преимущественно птиц» (Из воспоминаний Дмитрия Михайловича Погодина. Графиня Е. П. Ростопчина и ее вечера. С. 401).

самом деле эти вечера <...> заключали в себе очень немного литературных элементов: пили чай, изредка ужинали и болтали о разных разностях: о замечательных спектаклях, о жизни выдающихся чем-нибудь русских и иностранцев <...>; о светских интригах и романах прежнего и настоящего времени. <...> Литературные чтения устраивались очень редко. Они состояли обыкновенно из новых произведений самой хозяйки, большею частью длинных-предлинных романов и драм, наводивших на слушателей непомерную скуку. Графиня была в этом случае беспощадна: прослушай непременно все, а не отрывок! Авторское самолюбие, предположение, что все, что она напишет, — занимательно, мешали ей видеть, как иные во время ее чтений зевают...»⁷⁵. Б. Н. Чичерин считал, что Ростопчина «составила себе кружок второстепенных литераторов, среди которых царила»⁷⁶. Ее «довольно пышный салон», как его определил В. Ф. Ходасевич, находился «в стороне от современных ему течений»⁷⁷, как и терявшее признание литературное творчество его хозяйки.

Бурную смену общественных настроений отразил московский салон графини Елизаветы Васильевны Салиас-де-Турнемир, урожд. Сухово-Кобылиной (1815–1892)⁷⁸ — беллетристки, переводчицы, публицистки, русской Жорж Санд, по признанию современников, писавшей под псевдонимом «Евгения Тур». Популярность салон приобрел в конце 1840-х и сохранял ее более десятилетия — до конца 1861 г., когда Е. В. Салиас уехала во Францию. Здесь собирался весь «блестящий мир» тогдашней литературы, науки, искусства, главным образом, московская либерально настроенная интеллигенция. Постоянными посетителями салона были московские профессора Т. Н. Грановский и П. Н. Кудрявцев, И. С. Тургенев (во время приездов в Москву), В. П. Боткин, Н. П. Огарев, Н. Х. Кетчер, М. Н. Катков и П. М. Леонтьев, в 1856 г. приступившие к изданию «Русского вестника», Е. П. Ростопчина, Н. Ф. Щербина, С. Т., К. С. и И. С. Аксаковы, Е. М. Феокистов, А. Д. Галахов, А. Н. Афанасьев, М. С. Щепкин, А. В. Сухово-Кобылин, драматург, родной брат хозяйки, и многие другие. По свидетельству Е. М. Феокистова, в ту пору домашнего учителя сына Е. В. Салиас Евгения, в «маленькую ее квартиру» (на 1-й Мещанской улице) гостей

⁷⁵ Берг Н. В. Графиня Ростопчина в Москве (Отрывок из воспоминаний). С. 398–399.

⁷⁶ Чичерин Б. Н. Москва сороковых годов. С. 71.

⁷⁷ Ходасевич В. Графиня Е. П. Ростопчина. Ее жизнь и лирика // Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1996. Т. 2. С. 34.

⁷⁸ Мать Е. В. Салиас — М. И. Сухово-Кобылина (урожд. Шепелева) также была хозяйкой известного в Москве салона.

привлекали не только таланты хозяйки и ее первые литературные опыты, горячо поддержанные критикой, но и то, что «ее уже знали в литературных кружках благодаря ее прежним отношениям к Н. И. Надеждину и тесной ее дружбе с Н. П. Огаревым»⁷⁹. Вспоминая первую публикацию Евгении Тур — повесть «Ошибка» (1849), ее сын Евгений Салиас, сам ставший популярным романистом, «королем» исторического романа, писал: «Первое произведение, замеченное публикой и расхваленное критикой, конечно, ввело мою мать сразу в тогдашний литературный круг, и в доме нашем стали бывать такие личности, как Грановский, Шевырев, Станкевич... Но вместе с ними снова появились и старые друзья, Раич (переводчик «Энеиды») и М. А. Максимович, прежние наставники матери по языку и литературе. Они ликовали, что их ученица стала писательницей»⁸⁰. На вопрос, что могло соединять в салоне Салиас литераторов не только разных поколений, но и разных, порой непримиримых взглядов и убеждений, ответ находим также в воспоминаниях ее сына: «Моя мать не была партийной женщиной, и к нам жаловали люди довольно разнообразных настроений. Каждую любопытную новинку она старалась показать гостям у себя».⁸¹ Не без иронии Е. М. Феокистов вспоминал эмоциональность хозяйки салона: «Она вся была пыл, экстаз, восторженность <...>. И Боже мой, как любила она говорить! Это была для нее жизненная потребность, необходимое условие ее существования...»⁸². В 1850-е гг. Евгения Тур публикует многочисленные повести, пьесы, критические и публицистические статьи, с 1856 г. заведует отделом беллетристики в «Русском вестнике» М. Н. Каткова, отношения с которым в 1860 г. кончаются конфликтом. В 1861 г. она начинает выпускать либеральную газету «Русская речь», подвергшуюся

⁷⁹ Феокистов Е. М. За кулисами политики и литературы. 1848–1896. Воспоминания. М., 1991. С. 339. Н. И. Надеждин был одним из домашних учителей Елизаветы Васильевны и с 1834 г. по приглашению ее родителей жил в их доме; между учителем и ученицей возник серьезный роман. Н. П. Огарева, влюбленного в Евдокию Сухово-Кобылину, сестру Елизаветы, считали в семье «вторым сыном». Увлечение Огаревым пережила в конце 1840-х и Елизавета, поддерживавшая с ним и позднее «тесную дружбу» и переписку. См.: Пенская Е. «Потерянный рай» Евгении Тур (Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир и ее «Воспоминания») // Toronto Slavic Quarterly. 2012. № 39. Р. 194–227; Строганова Е. Н. «Что-то странное со мною. Зачем родилась? Зачем любила? Зачем живу?»: К биографии Е. Салиас де Турнемир // Вопросы литературы. 2015. № 2. С. 217–244.

⁸⁰ Салиас Е. А. Письма к матери // Лица: Биограф. альманах. СПб., 2001. Вып. 8. С. 198.

⁸¹ Там же. С. 199.

⁸² Феокистов Е. М. За кулисами политики и литературы. 1848–1896. Воспоминания. С. 340.

цензурным гонениям и спустя год закрытую. В начале 1860-х, когда в разных слоях общества возникло «сумбурное движение», по словам Е. М. Феокистова, у графини Салиас «пробудились» «безграничные симпатии к революционной партии»⁸³. Состав посетителей ее дома изменился, присутствие радикально настроенной молодежи все более лишало его последних черт салонности. «Вообще жаль было тогда смотреть на эту женщину, — вспоминал Е. М. Феокистов, — хорошую и умную, которую успели совсем сбить с толку»⁸⁴. После анонимного доноса на «сборища» в их доме за матерью и сыном был установлен негласный полицейский надзор, вынудивший их в ноябре 1861 г. уехать из России (надзор был снят только в 1882). Посетителями квартир Салиас в Париже и Версале были деятели как русской (Бакунин, Герцен и др.), так и польской эмиграции. Политические воззрения графини коренным образом меняются ко времени ее возвращения в 1870 г. в Россию, становясь все более охранительными. «От прежнего увлечения ее демократическими идеями не осталось и следа, она вспомнила, что в течение долгого времени принадлежала к высшему московскому обществу и снова сблизилась с ним; вместо того, чтобы проклинать деспотизм, она только и говорила теперь о необходимости непоколебимо твердой правительственной власти...»⁸⁵. Не только служивший вызовом общепризнанным нормам поведения «жоржзандизм» Евгении Тур и не только ее экзальтированность наряду с конфликтностью, а отчасти и скандальностью в ряде жизненных ситуаций, но и резкие перемены во взглядах способствовали ироническому и сатирическому восприятию ее «салонной» деятельности. В романе Н. С. Лескова «Некуда», в памфлетных главах, посвященных салону маркизы К. Г. де Бараль, дана едкая характеристика салона Салиас и его посетителей. У Тургенева также в резко памфлетных тонах поданы госпожа Суханчикова в «Дыме», с ее манерой увлеченного говорения обо всем сразу, и Хавронья Прыщова в «Нови», которая «с бухта-барахты сделалась легитимисткой»; прототипом обеих героинь считается Е. В. Салиас. Ее же рассматривают как один из возможных прототипов Варвары Петровны Ставрогиной в «Бесах» Достоевского.

Традиция литературных и музыкально-художественных салонов в 1850-х — 1860-х гг. в известной степени продолжалась и поддерживалась в московских купеческих домах. Писатель, актер, мастер устного рассказа И. Ф. Горбунов вспоминал о частых посещениях литературно-музыкальных вечеров у А. А. Корзинкина,

⁸³ Там же.

⁸⁴ Там же. С. 341.

⁸⁵ Там же. С. 343–344.

С. В. Перлова, К. Т. Солдатенкова, А. И. Хлудова, где бывали артисты, художники, профессора Московского университета⁸⁶. Выделялся в этом ряду дом Боткиных (Петроверигский пер., 4), принадлежавший, по словам мемуариста, «к самым образованным и интеллигентным купеческим домам в Москве. В нем сосредоточивались представители всех родов художеств, искусства и литературы...»⁸⁷.

В Петербурге с его более «чопорным», регламентированным светским бытом, в отличие от быта московского, где «все жили семейными кружками, радушно и беспечно»⁸⁸, с влиянием придворной жизни и великосветских салонов, как знаменитый салон вел. кн. Елены Павловны, и сама салонная традиция сохранялась и соблюдалась, можно сказать, в более строго выдержанной форме.

В 1850-е гг. хозяйки петербургских светских салонов были склонны рассуждать о «ничтожестве и пустоте светской жизни», как это следует из дневниковой записи А. В. Никитенко от 6 января 1852 г., посетившего вечер близкой ко Двору Веры Ивановны Опочининой, урожд. Скобелевой (1824–1897) и отметившего: «Был вечером вместе с графом Д. И. Толстым у прелестной женщины <В. И.> Опочининой, урожденной Скобелевой. Была там и жена ее умершего брата, бывшая Полтавцева, не столь прелестная, как первая, но, по-видимому, большая умница. Вообще, обе эти дамы читают, интересуются мыслию, поэзией, искусством и в разговорах касались предметов, о которых редко толкуют в салонах. Они говорили о ничтожестве и пустоте светской жизни и стереотипности нынешнего аристократического поколения, о жалкой необходимости, однако ж быть с ней заодно...»⁸⁹.

В середине 1850-х и в 1860-е гг. не утратил популярности салон Ф. П. Толстого, хотя мемуаристы в эти годы часто воспринимают его как салон его хозяйки — Анастасии Ивановны Толстой, урожд. Ивановой (1817–1889), второй жены Ф. П. Толстого, матери Екатерины Федоровны Юнге, урожд. Толстой (1843–1913), позднее также ставшей хозяйкой салона и оставившей мемуары с рассказом о салоне

⁸⁶ Горбунов И. Ф. Очерки о старой Москве // Горбунов И. Ф. Юмористические рассказы и очерки. М., 1962. С. 196.

⁸⁷ Там же. С. 195.

⁸⁸ Чичерин Б. Н. Москва сороковых годов. С. 69.

⁸⁹ Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. 1. С. 340–341. Упоминается, вероятно, Ольга Николаевна Скобелева, урожд. Полтавцева (1823–1880). На этом вечере «оживленными прениями и нередко метким замечаниям обеих слушательниц» сопровождалось чтение статьи Никитенко о Е. В. Ростопчиной и поэмы А. Н. Майкова «Выбор смерти» («Выбор смерти» — первоначальное название лирической драмы Майкова «Три смерти»).

матери⁹⁰. Хозяйкой еще одного популярного салона была Мария Федоровна Штакеншнейдер, урожд. Халчинская (1811–1892), жена архитектора А. И. Штакеншнейдера. Л. П. Шелгунова вспоминала о посещении салонов Толстой и Штакеншнейдер: «Эти обе дамы собирали в своих салонах не только выдающихся литераторов, но и вообще всех людей, чем-нибудь прославившихся»⁹¹. Салонная традиция М. Ф. Штакеншнейдер была продолжена ее старшей дочерью — Еленой Андреевной Штакеншнейдер (1836–1897), чей литературно-художественный салон, по единодушному признанию современников, был самым популярным в Петербурге с середины 1850-х и до середины 1880-х гг. Широко известные «Дневник и записки»⁹² Е. А. Штакеншнейдер с редкой полнотой отразили события культурной жизни столицы, одним из средоточий которых был особняк семьи на Миллионной ул., 10. Здесь на литературных вечерах в разные годы часто бывали В. Г. Бенедиктов, И. А. Гончаров, А. Н. Майков, Я. П. Полонский, Л. А. Мей, Н. Ф. Щербина, И. С. Тургенев, Д. В. Григорович, Г. П. Данилевский, Ф. М. Достоевский, Н. Г. Помяловский и многие другие; дом посещали известные архитекторы, художники, актеры, здесь также устраивались любительские спектакли. Л. Ф. Пантелеев вспоминал, что «душой вечеров являлась старшая дочь, Елена — личность в высшей степени симпатичная, с широким литературным образованием, с тонким художественным чутьем»⁹³. По словам Л. И. Веселитской (В. Микулич) Елена Андреевна была «милая, ласковая без слащавости, добрая без шума, умная без претензий»⁹⁴.

К салонной традиции в известной степени тяготел петербургский литературно-художественный кружок Я. П. Полонского, сложившийся в конце 1860-х гг.⁹⁵ В роли хозяйки гостиной на «пятницах Полонского» выступала его жена, скульптор-любитель Жозефина Антоновна, урожд. Рюльман (1844–1920).

Традиция литературных салонов в 1870-х–1890-х гг. сохранялась в нескольких открытых для встреч и бесед литераторов и художников петербургских домах: у графини Софьи Андреевны Толстой, урожд. Бахметевой (1827–1895), жившей в

⁹⁰ Юнге Е. Ф. Воспоминания. Переписка. Сочинения. 1843–1911. М., 2017.

⁹¹ Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания: В 2 т. М., 1967. Т. 2. С. 61.

⁹² См.: Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки (1854–1886). М.; Л., 1934.

⁹³ Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958. С. 248.

⁹⁴ Микулич В. Встречи с писателями. Л., 1929. С. 150.

⁹⁵ См. о нем: Гродецкая А. Г. Литературные кружки 1840—1890-х гг. // Наст. изд. С. 000.

столице с 1875 г. после смерти мужа, А. К. Толстого⁹⁶; у Анны Павловны Философовой, урожд. Дягилевой (1837–1912)⁹⁷, у О. Н. Чюминой⁹⁸ и в ряде других.

С конца 1870-х гг. в Петербурге приобрел известность литературно-музыкальный салон Александры Аркадьевны Давыдовой, урожд. Горожанской (1849–1902) и ее мужа, виолончелиста и композитора Карла Юльевича Давыдова (1838–1889). С 1885 г. хозяйка салона состояла секретарем редакции журнала «Северный вестник», и салон посещали сотрудники журнала; в 1892 г. ею был основан и до 1902 г. издавался журнал «Мир Божий» — салон стал местом встреч авторов этого журнала и «Русского вестника». Широкая известность в музыкальном мире К. Ю. Давыдова, профессора и с 1876 г. директора Консерватории, солиста Императорского двора, привлекала в салон выдающихся русских и европейских музыкантов. Как вспоминал С. Я. Елпатьевский, вечера у Давыдовых «были очень шумные и очень пестрые по своему составу»⁹⁹. По воспоминаниям А. В. Тырковой-Вильямс, Давыдовы «принимали до 200 человек, русских и иностранных артистов, писателей, знатных особ, включая родственников царя»¹⁰⁰. На вечерах бывали И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Е. Н. Водовозова, Н. Г. Гарин-Михайловский, В. М. Гаршин, В. Г. Короленко, А. И. Куприн, Д. Н. Мамин-Сибиряк, А. Ф. Кони, Н. К. Михайловский, П. В. Засодимский, А. М. Скабичевский и многие другие.

Известен также салон Любви Яковлевны Гуревич (1866–1940), издательницы журнала «Северный вестник» в 1891–1898 гг., на петербургской квартире которой по субботам проходили «журнальные журфиксы», где бывали сотрудники журнала, артисты, писатели — А. Л. Волынский, З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Н. М. Минский, Т. Л. Щепкина-Куперник и другие¹⁰¹.

⁹⁶ См.: *Достоевская Л. Ф.* Салон графини Толстой // Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении своей дочери. СПб., 1992. С. 176–181.

⁹⁷ См.: *Трубецкая З. А.* Достоевский и А. П. Философова // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. СПб., 1993. С. 23–29.

⁹⁸ *Венгерова З. А.* О. Н. Чюмина // Вестник Европы. 1909. № 10. С. 859–860.

⁹⁹ *Елпатьевский С. Я.* Воспоминания за 50 лет. Уфа, 1984. С. 236.

¹⁰⁰ *Тыркова-Вильямс А. В.* То, чего больше не будет. М., 1998. С. 229. См. также: *Нелидова Л. Ф.* Воспоминания о Гончарове и Тургеневе // Литературное наследство. М., 1977. Т. 87. С. 30–32; *Удинцев Д. А.* О Мамине-Сибиряке // Д. Н. Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. С. 77–78; см. также воспоминания М. К. Куприной-Иорданской (Там же. С. 171, 176); *Шруба М.* Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: Словарь. С. 48–49.

¹⁰¹ См.: *Перцов П. П.* Литературные воспоминания. М.; Л., 1933. С. 211–212, 240; *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: характеры и суждения. М., 2008. С. 88–89, 100, 106,

Большой популярностью пользовался салон Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945), или «воскресенья» Мережковских. Встречи литераторов с 1890 до 1917 г. проходили на квартире Гиппиус и Д. С. Мережковского в Петербурге (в доме Мурузи на Литейном пр., 24). Салон посещали видные представители литературных кругов Петербурга и Москвы, в основном модернистской ориентации, художники, религиозные философы. Большинство мемуарных и документальных источников о салоне Мережковских относится к началу 1900-х гг.

В последние десятилетия века *салонами* по традиции именуются те посещаемые деятелями литературы и искусства дома, где они не только получают возможность свободного общения и обмена мнениями, но где центром общения остается хозяйка салона. Количество литературно-художественных салонов на рубеже веков, в эпоху предмодернизма и модернизма множится. Элитарность салонной культуры приобретает в это время новую ценность в противостоянии как традиционной, так и массовой культуре. Значительна роль салонов в культуре «серебряного века», в этот период возникают музыкальные, литературно-философские и философско-религиозные салоны.

Исчерпывающую информацию о литературных салонах, литературных кружках, вечерах и иных объединениях рубежа XIX и XX веков содержит словарь Манфреда Шрубы «Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов»¹⁰².

117; *Энгельгардт Н. А.* Эпизоды моей жизни // *Минувшее*. СПб., 1998. Вып. 24. С. 12–13.

¹⁰² *Шруба М.* Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: Словарь. М., 2004 (по указ.).

СЛАВЯНОФИЛЬСКИЕ ЖУРНАЛЫ, СБОРНИКИ И ГАЗЕТЫ

Периодические издания, выпускавшиеся славянофилами в 1840—1880-х гг., — значимая часть отечественного культурного наследия, однако их значение в общем историко-литературном процессе до сих пор не оценено по достоинству. Связано это как с недостаточной изученностью славянофильской журналистики, так и с внешненаучными факторами: идеология представителей этого направления общественной мысли воспринималась официальными властями как опасная, политически оппозиционная в дореволюционный период и как реакционная, клерикально-монархическая — в советский. Тем не менее влияние на умы славянофильских идей, происходившее прежде всего через журналистику, представляется довольно значительным; достаточно сказать, что оно нашло заметное отражение в творческих исканиях таких писателей-классиков, как Тютчев, Тургенев, Л. Толстой, Достоевский, Гончаров, А. Островский, Лесков, Ремизов. Журнальный опыт славянофилов оказался важным для их идейных оппонентов — представителей радикальных (прежде всего революционно-демократических), либеральных и консервативных изданий.

На сегодняшний день существуют только два труда, где представлен научный обзор славянофильской журналистики — книги А. Г. Дементьева и Т. Ф. Пирожковой¹. Вместе с тем начиная с конца 1960-х гг. публиковалось все больше работ, посвященных отдельным аспектам этой теме². И особенно углубленно, с привлечением большого массива новых материалов и тщательной проработкой, изучается эта тема в самое последнее время³.

¹ Дементьев А. Г. Очерки по истории русской журналистики 1840—1850-х гг. М.; Л., 1951. С. 337—404 (Гл. V: Славянофильская журналистика); Пирожкова Т. Ф. Славянофильская журналистика. М., 1997.

² См., например: Цимбаев Н. И. Славянофильство: Из истории русской общественно-политической мысли XIX века. М., 1986; Рейфман П. С. К истории славянофильской журналистики 1840—1850-х годов // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Тарту, 1977. Вып. 414. С. 37—56; 1979. Вып. 491. С. 35—58; 1981. Вып. 513. С. 73—85; 1983. Вып. 620. С. 73—84; 1985. Вып. 645. С. 133—144.

³ См., например: «Русская беседа»: История славянофильского журнала: Исследования, материалы, постатейная роспись / Под ред. Б. Ф. Егорова, А. М. Пентковского и О. Л. Фетисенко. СПб., 2010; «День» И. С. Аксакова: История славянофильской газеты: Исследования, материалы, постатейная роспись / Под общ. ред. Н. Н. Вихровой, А. П. Дмитриева и Б. Ф. Егорова. СПб., 2017. Ч. 1.

Следует также заметить, что, ввиду упомянутых выше гонений властей на славянофильскую периодику, ее изучение тесно связано с исследованием цензурных перипетий, сопровождавших издательский процесс. Такие штудии позволяют изучать механизмы самой цензуры в разнообразных ее проявлениях: известно ведь, что именно к повременным изданиям А. И. Кошелева, К. С. Аксакова, И. С. Аксакова, Н. П. Гилярова-Платонова цензоры проявляли явное пристрастие, многие номера обсуждались министрами народного просвещения и иностранных дел, нередко и шефом жандармов, а то и императором. Наказывали авторов жестко — вплоть до отлучения их от литературно-редакционной деятельности, как было решено поступить в 1852 г., после выхода «Московского сборника», с братьями К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. Киреевским, А. С. Хомяковым и кн. В. А. Черкасским, причем невзирая на то что названные писатели происходили из старинных аристократических родов и имели в правительстве высокопоставленных родственников, бывших сослуживцев или друзей юности.

Московский детский и педагогический журнал «Библиотека для воспитания» (1843—1846), издававшийся Августом Семеном под редакцией Д. А. Валуева и П. Г. Редкина, следует считать первым опытом славянофильского периодического издания, или, точнее, предшественником собственно славянофильской журналистики, поскольку в нем участвовали ученые и литераторы с разными идейными установками, в том числе и те, кто уже в тот период позиционировали себя как западники (прежде всего Т. Н. Грановский). Журнал издавался отдельными книжками для детей и воспитателей, без определенной регулярности в их выходе. В первый период (1843—1844) в «Библиотеке для воспитания» главным образом популяризировались естественно-научные знания, а по литературной части публиковались почти исключительно произведения поэтов и писателей первого ряда: Пушкина, Лермонтова, Дельвига, Языкова, Баратынского, Веневитинова, из зарубежных — Гофмана, Гауфа, Диккенса, А. Шамиссо, Ф. де ла Мотт Фуке, а также сказки, предания и мифы разных народов, переложение «Илиады» Гомера и пр. Возглавлял редакцию Д. А. Валуев, племянник А. С. Хомякова и Н. М. Языкова, деятельный, энергичный организатор, умевший объединить в общем деле людей разных партийных направлений. Он полагал, что приобщение детей с малолетства к достижениям мировой науки, к знанию и воспитание их эстетического вкуса способствуют формированию самодостаточной, всесторонне развитой личности, которая не будет раболепно преклоняться перед плодами западной цивилизации.

Зато второй период существования журнала (1845—1846) можно назвать в полном смысле слова «славянофильским»⁴. Тогда, после смерти основателя журнала Валуева, редакцию возглавили А. С. Хомяков и С. П. Шевырев. Почти сразу естественно-научные материалы уступили место публикациям с преобладающим религиозным элементом, поскольку, по убеждению Хомякова, источником истинного просвещения является православное учение, наука же оказывалась при этом желательным, но вовсе не обязательным дополнением. На это изменение редакционной политики сразу же с неодобрением откликнулся В. Г. Белинский (в письме к Т. А. Бакуниной от 5 декабря 1844 г.): «“Библиотека” сначала пошла было не дурно: но теперь ею заправляет Шевырев с братиею, и из нее вышло пономарское издание»⁵.

Теперь заметное место в журнале занимали очерки из древнерусской истории, такие как «Тринадцать лет царствования Ивана Васильевича» и «Царь Феодор Иоаннович» А. С. Хомякова, «Мстислав Ростиславович Храбрый» С. М. Соловьева, «Московские Кремлевские соборы», «Спасские ворота в Москве», «История города Москвы» И. М. Снегирева (точнее, адаптированные для детей фрагменты из его труда «Памятники московских древностей с присовокуплением очерка монументальной истории Москвы...» (М., 1842—1845)). Кроме того публиковались материалы из истории славянских народов, принадлежащие перу молодого историка-славянофила В. А. Панова («Очерк Черногорской истории», «О настоящих жилищах южных и западных славян и их расселении в Европе», «История хорватов», «История Болгарского государства»), концептуально значимые для издания и выходившие за рамки культурно-просветительского обозрения в область злободневно-политическую, поскольку привлекали сочувственное внимание к православным славянам, угнетаемым турками-мусульманами. Примыкали к этим очеркам Панаева и статьи, оценивавшие ислам с христианско-апологетических позиций: «Черты из жизни калифов» Хомякова и «Мусульманские богомольцы» А. П. Ефремова.

На страницах журнала печатались и специально педагогические статьи — тоже в славянофильском духе: «Опыт о преподавании азбуки и других предметов, входящих в состав первоначального обучения» кн. В. Ф. Одоевского, «О воспитании в начальном

⁴ См.: *Махова К. А.* К истории журналов для детей: «Библиотека для воспитания» и «Новая библиотека для воспитания» // Вестник РГГУ. Сер.: Филологические науки. Журналистика. Литературная критика. 2014. № 13 (134). С. 30–41; *Серягин С. Н.* «Библиотека для воспитания» Д. А. Валуева и становление педагогической периодики в России XIX в. // Педагогика. 2019. № 9. С. 96–106. Следует отметить, что в общих очерках по истории журналистики «Библиотека для воспитания», как правило, не включается в перечень славянофильских журналов.

⁵ *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 12. С. 246.

обучении родному языку» Ф. И. Буслаева, «На чем должна основываться наука воспитания» и «Что такое воспитание» П. Г. Редкина и др.

В 1847 г. педагог П. Г. Редкин возобновил издание журнала под названием «Новая библиотека для воспитания», в котором уже не публиковались сами славянофилы, однако материалы по-прежнему (по преемственности) нередко были проникнуты их идеями.

Первым в полном смысле слова славянофильским органом печати на небольшое время стал «Москвитянин»⁶, в рассматриваемый период единственный литературный журнал в Москве. Его начиная с 1841 г. издавал видный историк и писатель М. П. Погодин, приверженец идеологии «официальной народности», и за 5 лет существования журнал оказался на грани закрытия: известные литераторы избегали в нем печататься, число подписчиков падало. В мае 1844 г. Белинский сообщал Герцену: «Грановский хочет знать, читал ли я его статью в “Москвитянин”? Нет, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видеться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидания»⁷.

Славянофилы еще весной 1844 г. приступили к переговорам с Погодиным, предложившим им взять на себя редактирование «Москвитянина»: в период начавшегося острого противостояния западникам им нужен был собственный орган для разъяснения своих идейных позиций; печататься же в изданиях «нерусского города» Петербурга для них было неприемлемо по принципиальным соображениям. Наилучшим редактором в глазах славянофильского кружка был бы А. С. Хомяков, но он не имел ни опыта редакционно-издательской работы, ни призвания к ней. Остановились на кандидатуре И. В. Киреевского, который в 1832 г. издавал свой личный орган «Европеец» и в 1827—1839 гг. сотрудничал в таких изданиях, как «Московский вестник», «Денница» и «Московский наблюдатель».

Изначально проблемой стало неофициальное положение Киреевского как редактора: власти медлили с выдачей такого разрешения, поскольку «Европеец» из-за цензурного скандала был запрещен на третьем номере. Тем не менее после колебаний Киреевский с январской книжки за 1845 г. решился возглавить редакцию «Москвитянина», в выходных данных которого оставалось имя Погодина как издателя и редактора.

Славянофилы выпустили только три своих номера, после чего Киреевский отказался от редактирования. Однако этот кратковременный период в истории славянофильской периодики оказался значим — обновленный журнал быстро получил признание в обществе

⁶ См. о нем, например: Греков В. Н. Журнал как диалог («Москвитянин» 1845 г.) // Вестник МГУ. Сер. 10: Журналистика. 2014. № 4. С. 135—147; № 5. С. 87—98; Можарова М. И. В. Киреевский — редактор журнала «Москвитянин» // Острова любви БорФеда: Сборник в честь 90-летия Бориса Федоровича Егорова. СПб., 2016. С. 608—611.

⁷ Цит. по: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 164.

(число подписчиков возросло с 300 до 700), в том числе среди идейных оппонентов-западников. 29 марта 1845 г. Н. М. Языков писал Гоголю: «...хлопочем о “Москвитянине”, и есть успех: отовсюду получают похвалы ему...»⁸.

В славянофильском «Москвитянине» публиковались: лирика В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, К. С. и И. С. Аксаковых, Л. А. Мея, К. К. Павловой, Н. М. Языкова, С. П. Шевырева, М. А. Дмитриева, поэтические переводы Н. В. Берга; сказки В. И. Даля, «Хроника русского в Париже» А. И. Тургенева, перевод романа А. Дюма «Корсиканское семейство» и др.

Важное значение придавалось исследованиям и материалам по русской истории и словесности, прежде всего русской. В «Москвитянине» Киреевского дебютировал будущий славист и фольклорист Ф. И. Буслаев, подготовивший дельные и при этом довольно нелицеприятные рецензии на известный труд «Русские достопамятности, издаваемые Императорским Обществом истории и древностей российских» и на исследование И. И. Давыдова «О местоимениях вообще и о русских в особенности». Брат редактора, П. В. Киреевский, вступил в полемику с Погодиным по поводу статьи последнего «Параллель русской истории с историей западных европейских государств». Славянской тематике был посвящен особый отдел «Словенские известия», где печатались фрагменты из книги славянофила А. Н. Попова «Путешествие в Черногорию» (полностью: СПб., 1847).

Ключевыми материалами январской книжки стали начало обширной статьи Киреевского «Обозрение современного состояния литературы» и его же заметки в отделах «Московская летопись» и «Библиография». Кроме того, А. П. Елагина перевела с немецкого биографию религиозного философа-антирационалиста Дж. Л. Стефенса, взгляды которого были близки Киреевскому. Западник Т. Н. Грановский, приглашенный Киреевским в журнал, наотрез отказался от сотрудничества из-за идейных разногласий со славянофилами. Однако и он по достоинству оценил первую книжку. Хомяков сообщал А. В. Веневитинову 29 января: «Грановский, известный противник нашего мнения, признает, что такого номера он не только из русских, но из иностранных журналов не знает; а еще цензура пропасть хорошего вычеркнула и такого невинного, что понять нельзя, как можно было не пропустить»⁹. Среди запрещенных материалов выделяется статья Хомякова «Письмо в Петербург» — о строительстве железной дороги Петербург–Москва, где особо подчеркивалась благотворность многих западных культурных нововведений и технических усовершенствований. Впрочем, ее удалось поместить в февральской книжке.

⁸ Русская старина. 1896. № 12. С. 634.

⁹ Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1900. Т. 8. С. 76.

Программное значение имела статья Киреевского «Обозрение современного состояния литературы», публиковавшаяся с продолжением в трех номерах журнала. В ней выдвигалась идея об обновлении западной цивилизации на основе русской религиозности. Герцен предсказуемо остался ею недоволен — он возмущался в фельетоне с язвительным названием «Москвитянин и вселенная»: «...но с чего же Европа, оживившая нас своею богатой, полной жизнью, пойдет к нам искать для себя потрясающую идею, и какая это идея, принадлежащая нам национально и с тем вместе всеобще-человеческая?»¹⁰.

Радикальное обновление «Москвитянина», несмотря на его успех, раздражало Погодина, который оставался хозяином журнала на правах его издателя и постоянно вмешивался в редакционные решения. По его требованию Киреевский вынужден был публиковать произведения прежних сотрудников издания: А. С. Стурдзы, архиепископа Иннокентия (Борисова), Н. Д. Иванчина-Писарева, С. П. Шевырева и др., которые по разным причинам публиковать не хотел. В пылу спора, в письме к Погодину рубежа 1844—1845 гг., обычно деликатный Киреевский позволяет себе резкость (по поводу Стурдзы): «Это просто убить журнал, если печатать и еще перепечатывать такую пошлую лесть, восторженным гласом произнесенную. <...> мне кажется, лучше поссориться, чем замараться»¹¹. Киреевский оказался прав: публикация подобных материалов вооружила против журнала его недоброжелателей.

Самое же главное упущение нового «Москвитянина» состояло в том, что в нем, если не брать в расчет упомянутую статью Киреевского, не оказалась наиболее существенного — принципиальных статей с детальным разъяснением разных аспектов славянофильской идеологии. Их ждали и единомышленники, и оппоненты, и широкая читающая публика. Наиболее рельефно это разочарование выразил Белинский в «Литературных и журнальных заметках», помещенных в майском номере «Отечественных записок» за 1845 г., когда Погодин снова стал редактировать «Москвитянин». Критик писал: «...мы надеялись узнать, наконец, в чем состоит эта доктрина славянофильства, которая до сих пор все только обещала высказаться, а между тем пряталась за какими-то намеками и бранчливыми фразами, и которой сущность, казалось, состояла только в том, чтоб не признавать ни ума, ни сердца, ни знания, ни таланта у людей, не обольщающихся честью быть славянофилами»¹².

¹⁰ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 2. С. 137.

¹¹ Киреевский И. В. Полн. собр. соч.: В 3 т. СПб., 2018. Т. 2. С. 283.

¹² Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 9. С. 68—69.

Отчасти этот пробел был восполнен концептуальной статьей Хомякова «Мнение иностранцев о России», переданной для публикации Киреевскому, но увидевшей свет уже в апрельской, погодинской, книжке.

В мемуарной и исследовательской литературе приводятся разные причины, побудившие Киреевского после третьей книжки отказаться от редактирования журнала: постоянные трения с Погодиным (не только из-за разных взглядов на редакционную политику, но и по финансовым вопросам), неурядицы в типографии, недостаток материалов, цензурные придирки, отсутствие у Киреевского официального редакторского статуса, его непригодность к регулярной срочной журналистской работе, рассчитанной на продолжительное время, его непрактичность и болезненность и др. Думается, что вся совокупность этих причин имела место, однако основную роль в уходе Киреевского сыграло идейное размежевание между представителями «охранительного направления» (Погодин, Шевырев) и славянофилами (Хомяков, Киреевский), оппозиционно настроенными по отношению к властям, стремившимися к общественным и хозяйственным преобразованиям в стране.

Следующий этап в развитии славянофильской журналистики связан с изданием сборников научно-исследовательских статей с приглушенным публицистическим элементом и исторических материалов. Первый из них — коллективный «Сборник исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных и единоплеменных»¹³, готовившийся с 1843 по 1845 г., — вышел уже после кончины издателя и вдохновителя этого труда Д. А. Валуева, который при жизни успел выпустить 1-й том «Синбирского сборника» (М., 1845). И то, и другое издание предполагалось продолжать (для будущих томов были заготовлены материалы) но этого не случилось. Если «Синбирский сборник» объединял в своем составе серьезные исторические исследования и материалы без установочных идеологических выкладок, то «Сборник исторических и статистических сведений о России...» замечателен прежде всего тем, что в нем впервые (еще до «Москвитянина» Киреевского, если учитывать длительный процесс печатания) были изложены основные постулаты славянофильского учения — прежде всего в двух предисловиях к Сборнику — Валуева и Хомякова.

Последний в статье «Вместо введения»¹⁴ представил краткий очерк истории Европы от падения Рима до событий XV столетия с акцентом на оборонительную борьбу славянства

¹³ Точные выходные данные: Сборник исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных и единоплеменных / Издал Д. В<алуев>. М., 1845. Т. 1. [Ч. 1–2].

¹⁴ Сборник исторических и статистических сведений о России... Т. 1, ч. 1. С. 1—7.

с германским миром, причем как противостояния не племенного, а цивилизационного. Здесь прозвучал призыв к славянскому объединению на основе единой православной веры и сходных общественных и семейных нравственных устоев.

Рецензент сборника, западник К. Д. Кавелин, дал статье Хомякова ироничную оценку: «Что за забавная — игра в историю!»¹⁵, имея в виду ощутительную философическую составляющую. Далее критик обратил внимание на выдержанную в славянофильском духе анонимную статью «Славянское и православное население Австрии»¹⁶, отметил в ней «удивительно художественно выраженные» мысли и, поскольку она не была подписана, уверенно приписал ее авторство «издателю», т. е. Валугеву¹⁷. Между тем в Хомяковском фонде Отдела письменных источников Государственного Исторического музея среди рукописей Хомякова хранится ранняя редакция этой статьи, представляющая собой список, выполненный неустановленным лицом, с первоначальной правкой рукой Хомякова и последующей дополнительной правкой рукой Валугева (ОПИ ГИМ. Ф. 178. Ед. хр. 14. Л. 9—24 об.). Авторство Хомякова, предположенное архивистами, подтверждается не только его авторизацией, но и специфическими чертами словоупотребления и стилистическими особенностями текста, близкими к статье «Вместо введения». Вторая публикация одного автора в сборнике нередко не подписывалась (либо шла под псевдонимом), да и Хомяков, как известно, был довольно равнодушен к указанию своего авторства, печатая, например, в журнале «Русская беседа» (1856—1860) многие свои статьи без подписи, от лица редакции. Не исключено, что и правка рукой Валугева, приходившегося Хомякову племянником, была сделана под диктовку последнего¹⁸.

В Сборнике 1845 г. текст об австрийских славянах имеет порядковый номер с особым названием, отсутствующим в рукописи: «Статья I. Статистическое обозрение движения двух народонаселений, немецкого и славянского, в Германии и преимущественно в Австрии». Поскольку в этой статье излагаются историко-политические и религиозно-культурные основания всеславянского единства, ее вполне можно назвать квинтэссенцией историософии славянофильства как такового, то есть направления, опирающегося на идею славянского братства.

¹⁵ Кавелин К. Д. Собр. соч.. СПб., 1897. Т. 1: Монографии по русской истории. Стб. 727.

¹⁶ Сборник исторических и статистических сведений о России... Т. 1, ч. 1. С. 247—257.

¹⁷ Кавелин К. Д. Собр. соч. Т. 1. Стб. 738.

¹⁸ См. подробнее: *Dmitriyev A. P. Aleksey Khomyakov's unknown essay on the Austrian Slavs (1845) and his poetry: The interplay of historiosophical ideas and poetic prophetism // Studies in East European Thought. 2020. Vol. 72, № 3/4. P. 205—215.*

В то же время, несмотря на сухое название статьи, предполагавшее, казалось бы, строго научный стиль в изложении материала, Кавелин точно подметил непривычные для историко-статистических исследований особенности текста, и прежде всего «художественность» формулировок. В этой статье в ярких красках воссоздается картина методичного «онемеченья» славянских народов властями Австрии и Германии в XVI—XIX вв., возведенного в принцип внутренней политики этих государств. При этом структурно текст подчеркнуто философичен: в самой его композиции заложена, по сути, классическая гегелевская триада «бытие — ничто — становление». По мысли Хомякова, в исторической судьбе европейского славянства это выглядит как череда последовательных состояний: 1) «сказочный мир его дедовской забытой старины», «беззаботное приволье жизни»; 2) «нравственный сон», «страдания, унижения и рабство»; 3) пробуждение, когда «воскресает всё былое, казалось, навеки отжившее»¹⁹ и начинается воссоздание бытия на новом витке истории.

Поскольку Валуев начал собирать это издание в 1843 г., когда противостояние славянофилов и западников еще не достигло острой фазы, в нем согласились участвовать представители обеих партий. Ряд статей отличается объективистским подходом, фактографическим описанием исторических событий, нейтральностью оценок. Среди них — «Юридический быт Силезии и Лужиц и введение в эти земли немецких колонистов» К. Д. Кавелина, «Волин, Иомсбург и Винета» Т. Н. Грановского, «Христианство в Абиссинии» Д. А. Валуева, «Об опеке и наследстве, по “Русской правде”» А. Н. Попова и др. Остальные статьи объединяет явная славянофильская «подсветка» излагаемого материала. В их числе, помимо статьи «Славянское и православное население Австрии», выделяются следующие: «Города немецкие и славянские» Д. А. Валуева и некоторые неподписанные материалы, например: «Историческая наука славянского мира в последнее пятилетие» и «Разыскания Клёдена о славянах в нынешней (Браниорской) Бранденбургской области».

«Сборник исторических и статистических сведений...» только условно можно назвать периодическим изданием, поскольку после выхода первого тома продолжения не было. Однако он во многом послужил образцом для последующей славянофильской журналистики с ее тяготением к серьезным научным исследованиям, историческим работам, библиографическим обзорам, причем во всех этих жанрах обязательно акцентировались религиозно-нравственные проблемы.

¹⁹ Сборник исторических и статистических сведений о России... Т. 1, ч. 1. С. 250, 254.

Следующая ступень в истории славянофильской журналистики связана с изданием двух неперIODических «Московских литературных и ученых сборников» (на 1846 и 1847 гг.), издателем которых выступил В. А. Панов, ближайший соратник Д. А. Валюева, его родственник (брат Панова Николай Алексеевич был женат на единокровной сестре Валюева Елизавете Александровне) и продолжатель его дела. Идея выпуска «московских сборников» принадлежала К. С. Аксакову, предложившему в будущих изданиях славянофилов особое внимание уделять критике и библиографии, но выпускать не труды академического типа (к которым были близки издания Валюева) и не журналы вроде «Москвитянина», а сборники с неопределенной периодичностью, выходящие по мере накопления важного и интересного материала. Эта идея К. С. Аксакова оказалась наиболее продуктивной, и все последующие журналы славянофилов вплоть до «Русской беседы» представляли собой именно учено-литературные сборники. Кроме того, эти издания изначально были противопоставлены альманахам западников — «Физиологии Петербурга» (1844—1845) и «Петербургскому сборнику» (1846), вышедшим под редакцией Н. А. Некрасова.

«Московский литературный и ученый сборник на 1846 год» готовился с лета 1845 г., был отдан в печать в октябре и увидел свет 18 мая 1846 г. Н. М. Языков писал Гоголю в Рим в июне или первой половине июля 1845 г.: «Панов — юноша тебе знакомый, и дельный, и благонадежный, собирает альманах: не знаю, удастся ли эта попытка дать сборное место жаждающим движения...»²⁰

Состав сборника оказался удачным, что сразу было отмечено критикой, в том числе и представителями западнического лагеря. Особенно важными для манифестации славянофильских идей стали рецензия Ю. Ф. Самарина на повесть В. А. Соллогуба «Тарантас», задиристые статьи К. С. Аксакова «Несколько слов о нашем правописании» (в ней объявлялись противными русскому духу слова на «-бург») и А. С. Хомякова «Мнение русских об иностранцах», отрывок из «Семейной хроники» С. Т. Аксакова, стихотворения И. С. Аксакова, статья А. Н. Попова «О современном направлении искусств пластических», работа Я. А. Линовского «Об окончательном отменении хлебных законов в Англии», очерки Ф. В. Чижова «О работах русских художников в Риме» и С. М. Соловьева «О родовых отношениях между князьями древней Руси».

²⁰ Русская старина. 1896. № 12. С. 646—647.

Литературно-критической статьей Самарина восхищался Герцен²¹, она понравилась Белинскому («умна и зла, даже дельна»²²) и М. Н. Каткову («написана умно, ловко и дельно»²³). Самарин сообщал Шевыреву 6 июля 1846 г., что не только в Москве, но и в Петербурге сборник «расходится хорошо, его читают везде, во всех кругах, и везде он производит толки, споры и т. п. Кто хвалит, кто бранит, но никто не остался к нему равнодушным»²⁴. Наибольшие возражения вызвала у критиков статья Хомякова, которая была сочтена слишком резкой и несправедливой. В ней обличалось западное просвещение образованных классов, оторванных от самобытной народной жизни; подчеркивалось, что западный духовный мир возник на основе завоевания соседних народов и их насильственной ассимиляции. В письме к Н. М. Языкову от 20 июня 1846 г. Хомяков так отреагировал на неодобрительные отзывы в свой адрес: «...моя статья возбуждает в обществе великое негодование: ее все называют *дерзкою*. На здоровье: пусть глядятся в зеркало на свою фигуру»²⁵.

«Московский ученый и литературный сборник на 1847 год» испытал серьезные цензурные затруднения, даже невинная поэма И. С. Аксакова «Зимняя дорога» вышла с изъятиями текста. Том увидел свет во второй декаде марта 1847 г.²⁶ и поразил читающую публику своим объемом — 855 страниц, не считая двух приложений. В нем был расширен литературный отдел: помимо поэмы и лирики И. Аксакова, были опубликованы стихотворения В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, Н. М. Языкова, Я. П. Полонского, К. К. Павловой, Ю. В. Жадовской, сербские народные песни в переводе Н. В. Берга, санскритская аллегорическая драма «Прабодхачандродая», переведенная К. А. Коссовичем под названием «Торжество светлой мысли». К. С. Аксаков опубликовал «Три критических статьи г-на Имрек», где откликнулся, в частности на ранние произведения Достоевского («Бедные люди», «Двойник») и резко раскритиковал повесть В. Ф. Одоевского «Сиротинка», «Письма из Вены» Н. А. Ригельмана, сочинение С. М. Соловьева «О местничестве», очерки Ф. В. Чижова «Прощание с Францией и Женева» и «Римские письма». Как и прежде, наибольшее недовольство критиков вызвала новая статья Хомякова — «О возможности русской художественной школы». Так, Белинский обвинял его в

²¹ С. Т. Аксаков писал И. С. Аксакову 12 июня 1844 г.: «Московский Запад прикидывается, что мало читал Сборник. Герцен, однако, в восхищении от статьи Самарина» (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 3. Ед. хр. 10. Л. 29 об.).

²² Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 296.

²³ Русский архив. 1888. № 2. С. 484.

²⁴ Самарин Ю. Ф. Собр. соч. М., 1911. Т. 12: Письма. С. 441.

²⁵ Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 117.

²⁶ См.: Дневник Елисаветы Ивановны Поповой, 1847—1852. СПб., 1911. С. 44.

«кафедральном тоне», «надутой величавости», а суждения Хомякова о глобальном «разрыве» дворянства с народом считал чрезмерным преувеличением, полагая, что с распространением грамотности это разобщение и вовсе исчезнет. Т. Н. Грановского и В. П. Боткина возмутили рассуждения Хомякова о народности науки, да и сама мысль о возможности существования особой русской науки в отличие от западной.

Значение сборников Панова, несмотря на пестроту составивших их материалов, состояло в том, что благодаря им впервые к учению славянофилов было привлечено большое общественное внимание, однако, как и прежде, программных статей, внятно разъясняющих суть славянофильских воззрений, читателям предложено не было. Издание сборников было прервано неожиданной смертью 30-летнего издателя в октябре 1849 г.

Следующее обращение славянофилов к журнальной деятельности произошло только в 1852 г., после трехлетнего молчания: в 1849 г. были в административном порядке на краткий срок арестованы И. Аксаков и Самарин, к славянофилам применялись репрессии в связи с демонстративным предпочтением, которое они оказывали русскому платью, ношению бороды и др., — всё это были сигналы от властей, указывавшие, что распространению их идей будут чиниться препятствия вплоть до полного запрета всех их изданий. В эти годы начала «мрачного семилетия» в периодике почти сошли на нет упоминания о славянофилах, которые и правда практически перестали печататься.

Но в феврале 1851 г. И. С. Аксаков, до того служивший чиновником в провинции, подал в отставку — из-за того, что министр внутренних дел Л. А. Перовский, получивший донос на него как сочинителя поэмы «Бродяга», поставил перед ним вопрос ребром: служба или литература. В октябре того же года А. И. Кошелев предложил ему редактировать очередной, третий, «Московский ученый и литературный сборник», обещав профинансировать его издание. По планам Кошелева, этот сборник должен был выйти четырьмя томами в течение только одного 1852 г.

Энергично взявшись за дело, И. Аксаков в октябре—ноябре уже заказал статьи авторам, пригласив даже западников Грановского и Тургенева, чтобы избежать односторонности публикуемых материалов. В начале декабря в редакционном портфеле была всего одна статья — «Псков и Ливония» С. М. Соловьева²⁷, а уже 14 января И. Аксаков подал просьбу о разрешении сборника и 22 января отдал его сразу в две типографии, чтоб напечатать без задержек. Концептуально важная статья И. Киреевского «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России (Письмо

²⁷ См.: *Аксаков И. С. Письма к родным, 1849—1856*. М., 1994. С. 225 (серия «Литературные памятники»).

к г. Е. Е. Комаровскому)» не могла быть завершена в срок из-за недомогания автора. Поэтому книга вышла только 21 апреля 1852 г., ее тираж составил 1500 экземпляров.

И. Аксаков снял в названии слова «ученый и литературный», получилось: «Московский сборник». При этом он оставался именно ученым и литературным. Но в отличие от сборников Панова все его материалы были ориентированы на современность — последние события (кончина Гоголя, Всемирная выставка в Лондоне и др.), научные споры, волновавшие тогда ученых (о родовом быте, о Петровских реформах), возросший интерес к фольклору, народной жизни и т. д. Открывался первый том статьей редактора «Несколько слов о Гоголе», далее шли большие статьи И. Киреевского «О характере просвещения Европы...» (она сбила нумерацию сборника, поскольку ее печатали последней и автор превысил предустановленный объем на целый печатный лист) и К. Аксакова «О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности (по поводу мнений о родовом быте)», стихотворения Хомякова и И. Аксакова, очерк Кошелева «Поездка русского земледельца в Англию и на Всемирную выставку» (иллюстрированная политипажами), статья С. М. Соловьева «Псков и Ливония», «Русские народные песни», собранные П. Киреевским, сопровождаемые предисловием Хомякова, статья И. Д. Беляева «Служилые люди в Московском государстве» и отрывки из поэмы И. Аксакова «Бродяга»²⁸.

Успех сборника был оглушительным: в течение первого месяца раскуплена половина тиража (несмотря на довольно высокую цену: 2 руб. 50 коп., с пересылкой — 3 руб.). Однако власти сочли весь сборник предосудительным начиная с открывающей его поминальной статьи о Гоголе: И. Аксаков напечатал ее в то время, когда Тургенев был арестован за отклик на смерть писателя, опубликованный в «Московских ведомостях» (13 марта). Министр просвещения кн. П. А. Ширинский-Шихматов тут же (17 мая) написал докладную записку царю о «безмерных и вредных похвалах Гоголю»²⁹.

Большие споры вызвала программная статья И. Киреевского. Ее не полностью принял и сам редактор, посчитав степень религиозности автора и выдвинутое им требование, чтобы просвещение опиралось на православный фундамент, чрезмерными. Не согласились с Киреевским и другие славянофилы: Чижов увидел в превознесении общинного устройства пренебрежение государственным принципом; Хомякова огорчила идеализация Древней Руси и процесса ее христианизации (он написал для 2-го тома свое возражение); Кошелев оспорил отрицание Киреевским значимости политической экономии и его тезис о преимущественной устремленности русского человека к духовной жизни.

²⁸ См. научное переиздание: *Московский сборник* / Изд. подгот. В. Н. Греков. СПб., 2014 (серия «Литературные памятники»).

²⁹ Цит. по: *Пирожкова Т. Ф.* Славянофильская журналистика. С. 112.

Немало критики вызвала и статья К. Аксакова, который, оспаривая взгляды К. Д. Кавелина, Н. В. Калачева, С. М. Соловьева и др., стремился доказать, что быт славян был не родовым, а семейно-общинным, опирающимся на нравственные начала. Русских изначально отличало добровольное призвание власти и мирное управление, утверждал автор, а европейские государства образовались в результате завоеваний. Этой статьей были раздражены сановные историки — статс-секретарь М. А. Корф и министр А. С. Норов, однако она понравилась Т. Н. Грановскому и И. Д. Беляеву. Вызвали серьезные нарекания и поэтические публикации И. Аксакова (особенно поэма «Бродяга») за их отчетливые социальные мотивы.

В мае книготорговцам было велено приостановить продажу сборника, 27 мая министр народного просвещения предписал, чтобы тома выходили не чаще, чем раз в год. Одобрительная рецензия А. Д. Галахова на сборник была отклонена цензурой, а в ряде изданий появились отрицательные отзывы.

Материалы второго тома были готовы уже летом, И. Аксаков планировал его издать в октябре. В июле готовые статьи поступили в цензуру вместе с перечнем тех, что планировалось включить в третий и четвертый тома. Однако 3 марта 1853 г. издание «Московского сборника» было запрещено цензурой на основании усмотренного в его материалах «открытого противодействия правительству». И. Аксакову было запрещено редактировать какие-либо издания; к тому же с него, его брата Константина, Хомякова, И. Киреевского и Черкасского была взята подписка о том, что они обязаны цензуроваться только в Главном управлении цензуры в Петербурге, что было почти равносильно запрету на литературно-издательскую деятельность вообще.

Тем не менее «Московский сборник» вывел славянофильскую журналистику на новый, более высокий уровень. Благодаря таланту И. Аксакова изданию была придана неведомая дотоле цельность, все материалы соотносились друг с другом, идейно перекликались и были актуальны, откликнулись на живую современность.

Возобновление журнальной деятельности славянофилов стало возможно только с восшествием на престол Александра II. Издание журнала осознавалось московским кружком как деяние общественно необходимое в критический период в жизни России, когда она оказалась на переломе двух исторических эпох. Хомяков писал К. Аксакову в 1855 г.: «Если мы теперь не выступим с силою, наш нравственный авторитет (хоть и небольшой, но все-таки уже приобретенный) пропадет вмиг. <...> дело идет — ввести

нравственное начало, определенное и строгое, в шаткость общественной и частной жизни»³⁰.

В течение целого года славянофилы добивались возможности вернуться к журнальному делу. С большим трудом, задействуя связи в правительственных кругах, 14 декабря 1855 г. им удалось получить разрешение (прошение было подписано безобидными в глазах правительства именами издателя А. И. Кошелева и редактора Т. И. Филиппова). Затем начались хлопоты о снятии опалы с пяти славянофилов, подвергшихся ей в связи с гонениями на «Московский сборник». Благодаря П. А. Вяземскому это произошло 27 января 1856 г. — царь повелел печатать сочинения всех пятерых обычным цензурным порядком.

Имея точные сведения, что за новым журналом славянофилов, получившим название «Русская беседа», будет особо придирчивый и тщательный цензурный надзор, Кошелев убедил всех авторов хотя бы в первый год отказаться от «воинственных» выступлений, от резкой критики в чей бы то ни было адрес. Благоприятствовало делу то, что основным цензором журнала стал единомышленник славянофилов Н. П. Гиляров-Платонов, опубликовавший в нем 9 статей (под псевдонимами).

Первая книга вышла 28 апреля 1856 г. В нее вошли: стихотворения Хомякова и И. Аксакова, русские народные песни из собрания П. Киреевского, программные для кружка статьи Самарина «Два слова о народности в науке» и К. Аксакова «О русском воззрении», рецензия Гилярова-Платонова на «Семейную хронику и Воспоминания» С. Т. Аксакова, обзор политический событий Черкасского и две статьи Кошелева о железных дорогах. Наиболее значимыми публикациями второй книжки, увидевшей свет 31 июля 1856 г., стали отрывок из «Семейной хроники» С. Аксакова, начало статьи И. Киреевского «О необходимости и возможности новых начал для философии» и полемическая заметка К. Аксакова «Еще о русском воззрении».

На публикации «Русской беседы» откликалась вся русская пресса, возникали споры, каждый номер ожидался с нетерпением, хотя, безусловно, куда более влиятельными в глазах общества (особенно демократической интеллигенции) оставались журналы западнического направления. Органу славянофилов не удалось собрать достаточного числа подписчиков, и этот журнал стал первым из их изданий, прекратившим существование не по произволу властей, а из-за экономических причин.

«Русская беседа» печаталась вплоть до 1860 г. — поначалу ежеквартально, в 1859 г. вышло 6 книг, в 1860-м — 2 книги. За это время сменилось несколько соредкторов

³⁰ Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 351.

Кошелева: после Т. И. Филиппова, с января по ноябрь 1857 г., эти обязанности исполнял П. И. Бартенев, затем, до мая 1858 г., — М. А. Максимович и, наконец, с августа того же года — И. Аксаков (сначала негласно — из-за неотмененного запрета на редакторскую деятельность, а с января 1859 года — официально).

Вышло ровным счетом 20 книжек, и это была не периодика в привычном смысле слова, а, как и прежде у славянофилов, — учено-литературные сборники. Только небольшое время (чуть больше года) в качестве приложения к «Русской беседе» издавался ежемесячный журнал «Сельское благоустройство» (1858—1859), материалы которого сыграли важную роль в подготовке Крестьянской реформы 1861 г.

Вместе с тем славянофилам удалось привлечь к своему изданию цвет русской литературы своего времени. На страницах «Русской беседы», помимо лирики И. и К. Аксаковых и Хомякова, мемуарной прозы С. Аксакова, статей Ап. Григорьева, Погодина, С. Соловьева, увидели свет многие поэтические произведения Вяземского, И. Никитина, К. Павловой, Я. Полонского, А. К. Толстого, Тютчева, Шевченко; комедия Островского «Доходное место», повести и рассказы Марко Вовчок, Даля, Мордовцева, Салтыкова-Щедрина; фольклорные материалы, собранные П. Киреевским и Н. С. Соханской (псевд. Кохановская); архивные публикации лирики Баратынского, Жуковского, А. Одоевского и Языкова, а также «Записок» Державина.

Еще не завершилось издание «Русской беседы», как в славянофильской журналистике мало-помалу наступил «газетный период». Первоначально предполагалось, что газета, как более динамичный жанр периодики, способный фиксировать интерес минуты и оперативно откликаться на возникающие проблемы, должна дополнять тяжеловесные славянофильские журналы-сборники. В 1857 г. К. Аксаков издавал еженедельник «Молва» (вышло 57 номеров), в 1859 г. И. Аксаков — «Парус» (увидели свет только два номера, и газета подверглась запрещению). Другие проекты — «Пароход», «Дума», «Зерна» — были отвергнуты цензурным ведомством еще на стадии подачи заявки.

По прекращении «Русской беседы» славянофилы больше не приступали к изданию журналов, а целиком сосредоточились на выпуске газет, которые, по их убеждениям, больше отвечали духу пореформенной эпохи. В 1861—1865 гг. И. Аксаков был редактором-издателем газеты «День» — пожалуй, самого знаменитого русского периодического издания эпохи Великих реформ, позднее — «Москвы» (1867—1868) и «Руси» (1880—1886). Параллельно в 1867—1887 гг. выходила ежедневная газета славянофила Н. П. Гилярова-Платонова «Современные известия». Во всех этих газетах не только излагались теоретические положения славянофильства, но и активно формировался славянофильский взгляд на проблемы текущей современной жизни.

Своеобразной заменой учено-литературным сборникам стали выходившие начиная с 1861 г. «полные собрания сочинений» к тому времени скончавшихся славянофилов: И. Киреевского, Хомякова и К. Аксакова, позднее, с 1877 г., — Самарина, а с 1886-го — и И. Аксакова. Их идеи были подхвачены журналистикой второй половины XIX столетия. Так, о журнале «Время» братьев Достоевских И. Аксаков заметил в частном письме Н. С. Соханской от 20 октября 1861 г.: «...этот журнал славянофильствует отчаяннейшим образом...»³¹. Явственно звучали отголоски славянофильских идей в народнической публицистике, в историософских трудах «Россия и Европа» Н. Я. Данилевского (1871) и «Восток, Россия и славянство» К. Н. Леонтьева (1885—1886). А неприятие этих идей и полемическое противостояние им нередко составляло содержание публицистических материалов в изданиях либерально-западнического толка.

³¹ Семья Аксаковых и Н. С. Соханская (Кохановская). Переписка (1858—1884). СПб., 2018. С. 125.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА В ЦЕРКОВНЫХ ИЗДАНИЯХ (1860—1890-е гг.)

Начиная с 1860-х гг., с эпохи либеральных реформ Александра II, в церковных изданиях появляется все больше откликов на произведения светских литераторов. Духовные писатели обращаются к изучению художественной литературы с позиций православного сознания, и эта критика начинает играть хотя и скромную, но все более заметную роль в историко-литературном процессе. Авторы церковных изданий сосредоточивались на религиозно-нравственных проблемах русской литературы, которые постигали, как правило, глубже, чем светские критики. Нынешний интерес к их суждениям и оценкам свидетельствует о том, что они способны и сегодня стимулировать исследовательскую мысль.

Историческая ситуация, сложившаяся в русском обществе к началу XIX века, характеризовалась все углублявшейся обособленностью сословий и усилением лаических тенденций в культуре, раскалывавших ее на две составляющих: церковную и секулярно-светскую. Однако благодаря этому, пожалуй, и усиливался взаимный интерес: духовная словесность, видя в светской литературе нечто отличное от себя, начинает обращать на нее особое внимание.

Церковные деятели первой половины XIX века: митрополиты Евгений (Болховитинов) и Филарет (Дроздов), архиепископы Иннокентий (Борисов) и Григорий (Постников), святитель Игнатий (Брянчанинов) и другие — хотя и интересовались художественной литературой, но их редкие отзывы — обычно в форме метких, сжатых характеристик — это чаще всего краткие ответы в письмах или беседах на недоумения своих почитателей-мирян, не рассчитанные на сколько-нибудь широкое обнародование. Имея вид частного пастырского увещания автору или читателям его произведения, отклики эти были, как правило, если не резко отрицательными, то весьма сдержанными (например, отзывы многих церковных деятелей на книгу Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», претендовавшую на статус душеполезного чтения).

В шестидесятые же годы XIX в. вырвались на поверхность подспудные процессы, подготавливавшиеся уже давно. В церковной печати этого времени получило впечатляющее отражение стремление духовенства покончить с обособленностью православного учительства от движения мирской жизни. В лучшем духовном журнале, возникшем в эти годы, «Православном обозрении» (М., 1861—1891), прямо ставилась задача оценки современности с позиций христианского вероучения: «Необходима живая *судящая* сила, которая освещала бы текущее движение жизни,

обсуждала бы открывающиеся практические вопросы...»¹. Разумеется, духовные писатели не могли обойти вниманием художественную литературу, в которой, как известно, поднимались наиболее существенные мировоззренческие, социальные, этические и собственно эстетические вопросы.

Ярким свидетельством поворота в отношении образованного общества к вере и в то же время готовности церковных кругов удовлетворять новые нравственные потребности жизни явилось бурное развитие духовной журналистики после Крымской войны. Вплоть до 1855 г. в России было только три церковных журнала, в сущности, не выходящих из академических стен, да и по содержанию малодоступных широкому читателю: в них печатались в основном переводы святоотеческого наследия и богословские диссертации. В 1860-х же годах выходило 14 «толстых» духовных журналов и 33 газеты (епархиальные ведомости).

Обновляются официальные академические издания, в столицах и даже провинции появляется целый ряд новых духовных журналов, которые быстро находят своего постоянного читателя. Среди них наиболее значимы, кроме упомянутого уже «Православного обозрения», «Православный собеседник» (Казань, 1855—1918), «Духовная беседа» (СПб., 1858—1876), «Душеполезное чтение» (М.; Сергиев Посад, 1860—1917), «Руководство для сельских пастырей» (Киев, 1860—1917), «Странник» (СПб., 1860—1917), «Труды Киевской духовной академии» (1860—1917), «Дух христианина» (СПб., 1861—1865), «Духовный вестник» (Харьков, 1863—1867).

Кроме разработки догматических тем, в этих изданиях появляются так называемые «современные обозрения» — духовная журналистика присоединяет свой голос к обсуждениям текущих злободневных вопросов. Однако, хотя духовные авторы и откликались на самые острые общественные дискуссии, они ограничивались лишь оценкой нравственной сущности тех или иных проблем, и потому их участие в идейных баталиях носило характер своеобразного невмешательства. Каноническую точку зрения на сей счет отчетливо выразил архиепископ Анатолий (в миру Августин Васильевич Мартыновский; 1793—1872), церковный писатель и иконописец, отметив, что «духовные лица, не вмешиваясь в дела мирские, но взвешивая мирские толки и желания, обязаны сообщать им направление, сообразное с духом Евангелия, ревностным проповеданием животворных его истин»².

Язвительной критике светских публицистов обычно подвергалось то обстоятельство, что церковные журналы выступали как бы единым фронтом. Однако это, с точки зрения духовных авторов, было достоинством церковных изданий: предполагалось единомыслие в общих истинах веры и схожий подход к решению жизненных проблем, что избавляло от тенденциозности, к

¹ [Иванцов-Платонов А. М.] Духовная литература и журналистика // Православное обозрение. 1861. Т. 6. Декабрь. С. 577.

² Анатолий, архиеп. Гласность // Странник. 1862. Т. 1. Февраль. Отд. V. С. 12.

которой могли привести субъективные убеждения отдельной личности или представителя той или иной общественной группы. Все же требование направления, видимо не без влияния светской журналистики, выдвигалось и в церковной печати, хотя вкладывался в это требование особый смысл. Либеральный церковный историк и проповедник протоиерей Александр Михайлович Иванцов-Платонов (1835—1894)³, автор программной статьи «Православного обозрения», так рассуждал по этому поводу: «Искреннему развитию религиозных убеждений часто препятствует у нас склонность принимать в догматическом смысле всякое обнаружение мысли о духовных предметах и тотчас же становиться в оппозицию к нему <...>, а между тем личное убеждение может быть проникнуто полною верою, полною преданностью Церкви»⁴.

Новые духовные журналы все-таки явно отличались не только от прежних, но и один от другого своей окраской, характерными особенностями. Это объяснялось как выбором предметов обсуждения, так и творческим потенциалом авторов публикаций, и, в свою очередь, непосредственно сказывалось на содержании литературно-критических материалов. Но, в отличие от светской журналистики тех лет, в церковной печати не допускалось бесцеремонной запальчивости в полемике, наоборот — обычно раздавались призывы «обнаруживать мягкую терпимость к чужим суждениям...»⁵.

Раздражал светских литераторов и критический по преимуществу подход духовных писателей к мирской культуре. Но, например, А. М. Иванцов-Платонов справедливо подчеркивал, что именно критическое начало «по отношению к явлениям современной духовной жизни и литературы несомненно составляет главнейшую стихию духовной журналистики»⁶. На повестку дня выдвигался вопрос о необходимости разбора на страницах духовной печати различных сочинений: «Каждый литературный труд предполагает определенные воззрения и направлен к известным целям: критика отвлекает эти воззрения, выясняет эти цели и ускоряет ту оценку данного труда, какую он должен получить в общем сознании. Без критики литературная деятельность <...> заглохла бы без жизни и движения»⁷.

Знамение времени видел киевский профессор гомилетики Василий Федорович Певницкий (1832—1911) в том, что «журналы более и более берут на себя обязанность быть руководителями общественной мысли и проводниками свежего литературного вкуса. Не только чувство читателей, но и сознание писателей нуждается в прояснении начал и способов и в указании лучших

³ См. о нем: *Егоров Б. Ф.* А. М. Иванцов-Платонов — ученый, публицист, литературный критик // *Егоров Б. Ф.* От Хомякова до Лотмана. М., 2003. С. 161—170.

⁴ [Иванцов-Платонов А. М.] Духовная литература и журналистика. С. 582.

⁵ *Певницкий В.* «Православному обозрению» // Труды Киевской духовной академии. 1870. Т. 1. Март. С. 721, 3-я паг.

⁶ [Иванцов-Платонов А. М.] Духовная литература и журналистика. С. 576.

⁷ Там же. С. 577.

современных направлений в области литературных работ»⁸. Автор харьковского журнала «Духовный вестник», Н. А. Амосов, говоря о недостатках церковной периодики, указывал: «Сведения о более или менее замечательных явлениях светской литературы должны входить, по крайней мере, в состав „внутренних обозрений“, если уже не для каждой редакции удобно посвящать им особый отдел»⁹.

Задача регулярной литературной критики, особенно тех произведений, которые оказывают «пагубное» влияние на общество, позже открыто ставилась в «Православном обозрении». Необходимо не только выяснять смысл «обольстительных образов» таких героев, как Базаров, Рахметов, Вера Павловна, но и с христианской точки зрения серьезно проанализировать сочинения Белинского, Добролюбова, Писарева, — убежден автор журнала. Споря с воображаемым оппонентом, он подчеркивает: «Не скорее ли это составляет *прежде всего* прямую обязанность духовной журналистики? Разве знаменитый архипастырь наш, преосвященный Филарет, отвечая Пушкину на одно из его известных стихотворений („Дар напрасный, дар случайный...“ — *А. Д.*), вдавался в чужую область и не делал, лишь в другой форме, того же самого для религиозно-нравственного развития нашего общества, чего он желал достигнуть своими вдохновенными проповедями?»¹⁰.

Духовным авторитетом московского митрополита Филарета как бы благословлялось рассмотрение светской литературы с апологетической, обличительной целью. Не менее важен был другой, положительный аспект литературной критики, о котором говорит в одной из своих статей 1862 г. либеральный церковный историк Филипп Алексеевич Терновский (1838—1884): «...практическая задача, лежащая в настоящее время на деятеле духовной литературы по отношению к литературе светской, состоит не столько в том, чтобы отрицать — достойные отрицания, — сколько в том, чтобы сочувственно относиться к достойным сочувствия явлениям в светской литературе и разьяснять для самой светской литературы бессознательно заключающиеся в ней христианские элементы»¹¹.

Такой взгляд на мирскую культуру основывался на представлении, что «благотворное нравственное потрясение при чтении лучших литературных произведений» можно объяснить лишь «влиянием духа христианства, веющего в произведениях писателей, хотя светских, но проникнутых христианскими убеждениями»¹². К таким сочинениям относит Ф. А. Терновский не

⁸ Певницкий В. Требования по отношению к духовной журналистике в нашем читающем обществе // Труды Киевской духовной академии. 1861. Т. 3. Сентябрь. С. 85, 2-я паг.

⁹ Амосов Н. А. Заметки // Духовный вестник. 1863. Т. 5. Август. С. 630—631.

¹⁰ Г. Неустойчивость нашей общественной мысли и необходимость борьбы с современными последствиями ее // Православное обозрение. 1875. Т. 1. Январь. С. 147.

¹¹ Терновский Ф. Об отношении между духовною и светскою литературою // Труды Киевской духовной академии. 1862. Т. 3. Сентябрь. С. 142, 2-я паг.

¹² Там же. С. 137, 138.

только книги Диккенса и Бичер-Стоу, но и романы Достоевского начала 1860-х гг. Принципиально важно и то, что эта аргументация позволяет киевскому ученому объяснить сильное влияние на общество произведений, подобных роману Чернышевского «Что делать?». Он пишет: «Нисколько не удивительно, если сочинения писателей, даже враждебных христианству, своими лучшими сторонами и своим величием обязаны христианству»¹³. Как известно, сходная концепция легла в основу литературной деятельности ведущего духовного критика XIX в. Александра Матвеевича Бухарева (в монашестве архимандрит Феодор; 1822—1871)¹⁴.

Эпоха реформ, обновляющих жизнь России, рождала у некоторых православных публицистов ощущение, что подходит к концу начавшийся с Петровского времени долгий период разобщенности церковной и светской культуры. Действительно, на рубеже 1850—1860-х гг. становилось явным их сближение и взаимовлияние. Тот же Ф. А. Терновский считал, что «духовная литература как представительница христианства может стать в мирные и дружные отношения с светскою литературою как представительницею идей современного общества, с одной стороны, отыскивая и разъясняя уже заключающиеся в сей последней христианские элементы, с другой стороны — способствуя умножению и раскрытию этих элементов»¹⁵.

Но, независимо от того, считали ли духовные писатели, что необходимо воцерковление секулярной культуры или, опасаясь некоторого обмирщения православного учительства, ратовали за сохранение и в будущем определенной дистанции между духовной и светской культурой, — у них не было сомнений в необходимости литературной критики с христианских позиций как некоего корректива к ненормальной, на их взгляд, ситуации, сложившейся в духовно-нравственной жизни страны.

В период интенсивного развития церковной журналистики это важное начинание получило общественную трибуну. Потребность в регулярной оценке светской литературы была осознана и заявлена сначала в теоретическом плане — в редакционных манифестах ряда новых журналов. Тогда уже декларировалось, что эта критика должна допускать противоборство мнений (не затрагивающее, однако, догматическую область) и иметь откровенно публицистический, учительный характер.

Открытый морализм критических материалов, стремление дать нравственную оценку не только самому литературному произведению, но и жизненным процессам и социальным типам, отображенным в нем, свидетельствовали о том, что в этих материалах проявлялись существенные тенденции церковно-общественного бытия: казалось бы, аскетическое по духу Православие

¹³ Там же. С. 140.

¹⁴ См.: *Дмитриев А. П.* Дух Христов в мирском делании: Религиозное оправдание культуры в деятельности архимандрита Феодора (А. М. Бухарева) // Сфинкс: Петербургский философский журнал. 1995. № 1 (3). С. 50—61.

¹⁵ *Терновский Ф.* Об отношении между духовною и светскою литературою. С. 126.

начинало все больше поворачиваться лицом к миру и активнее влиять на его жизнедеятельность. Несомненно поэтому генетическая зависимость литературной критики духовных авторов от зародившегося в те же годы нового типа публицистической проповеди (основоположник — епископ Иоанн Соколов), отменившей монополию традиционной нравственно-догматической и созерцательно-богословской проповеди (главными представителями были соответственно архиепископ Иннокентий Борисов и митрополит Филарет Дроздов).

Намечаются два основных направления критики духовными авторами светской литературы. Первое условно назовем *полемическим*. Очевидна практическая направленность этой критики на пагубные, вредные, с точки зрения христианства, явления современной литературы. Методологические основания такой критики содержались как в новейшей ориентации церковного учительства на более решительное влияние на общественную нравственность, так и в святоотеческом проповедничестве, богатом публицистическими элементами.

Другое направление — *созерцательное* — опирается прежде всего на традиции библейской экзегетики, выявляет в художественном произведении нравственные и богословские проблемы с целью уловить их духовный смысл, а также выделить положительные моменты светской культуры. Понятно, что для толкования такого рода духовный критик обращался преимущественно к литературе, в которой, по словам сторонника этого направления Ф. А. Терновского, «содержится много истинного и доброго и слышно тихое веяние животворного духа христианства»¹⁶.

Было бы ошибкой резко противопоставлять указанные направления литературной критики. Это, скорее, разные установки, грань между которыми в практике конкретного анализа подчас оказывалась зыбкой. Все духовные писатели исходили из апостольской заповеди о различении духов: «Возлюбленнии, не всякому духу веруйте, но искушайте духи, аще от Бога суть» (1 Ин. 4: 1), но одни критики считали более важным сосредоточиться на осмыслении темных сторон изображенных в светской литературе явлений, а другие в чем-то корректировали односторонность их взгляда, обращаясь главным образом к выявлению положительного смысла художественных образов. И все же перед каждым духовным критиком стояла двойная задача: с одной стороны, разоблачить антицерковные тенденции, существующие в светской литературе, а с другой — обнаружить в ней полезные для духовного совершенствования человека начала.

Несмотря на провозглашаемую церковными публицистами задачу сосредоточенного разбора отдельных произведений с христианских позиций, регулярных критических отделов ни в одном из религиозных изданий поначалу не было. К тому же в 1860-е гг. в церковной периодике

¹⁶ Там же. С. 137.

преобладали обобщенные характеристики основных тенденций литературного развития, что осознавалось как принципиальная установка. Содержащий резкую критику отзыв о каком-либо художественном явлении может произвольно привлечь к нему повышенное внимание. Учитывая психологию массового читателя, один из авторов «Православного обозрения» замечает, что «духовная литература должна опровергать *общие начала* атеизма, нигилизма, материализма, социализма, коммунизма и т. п. Обличение частных случаев скорее даст силу противникам, нежели ослабит их...»¹⁷. Именно поэтому многие духовные критики разбору конкретных произведений предпочитали тематические обозрения сочинений разных писателей, как-то: изображение монашества, семейной жизни, войны и т. д. в современной беллетристике.

Мало-помалу привычными и даже традиционными для церковной печати становятся обзоры художественных произведений о духовенстве, появлявшиеся в ряде изданий, что придает духовной критике все более систематический характер. Интересно, что в 1860-е гг., когда бытописатели русской жизни выводили в своих книгах главным образом отрицательные типы духовенства, религиозные критики (священник А. К. Громаковский, С. Ф. Грушевский и др.) стремились указать на редкие отрядные явления светской литературы и положительные черты пастырей, отобразенные в ней. Позже, с 1870-х гг., принцип отбора материала, выигрышного для апологетической критики, оказывается несущественным. Чаще всего духовными писателями (А. В. Вадковским, А. Д. Вороновым, Н. К. Калининковым, протоиереем В. И. Протопоповым, священником С. В. Протопоповым и др.) выдвигалась на первый план в таких разборах практическая задача — указать, насколько воплощение художественного типа пастыря способствует разрешению общественно-церковных проблем.

Помимо работ архимандрита Феодора (Бухарева), а также А. М. Иванцова-Платонова и Н. П. Гилярова-Платонова, особенно выделяются в 1860—1870-е гг. статьи киевского профессора В. Ф. Певницкого о романе Тургенева «Отцы и дети»¹⁸ и двух петербургских духовных писателей: специалиста по истории раскола Александра Григорьевича Вишнякова (1836—1912) о «Что делать?» Чернышевского и «Соборях» Лескова и профессора гомилетики Николая Ивановича Барсова (1839—1903), литературно-критическая деятельность которого была необыкновенно разносторонней. Если В. Ф. Певницкий и А. Г. Вишняков представляли полемическое направление духовной критики и обстоятельно выявляли антихристианский смысл базаровского типа или теории «разумного эгоизма», то Н. И. Барсов, сторонник созерцательного направления,

¹⁷ Д. М. Об отношении русской духовной литературы к современным вопросам // Православное обозрение. 1864. Т. 14. Май. С. 26.

¹⁸ См.: Певницкий В. Ф. Нигилисты: Характеристика одного из современных направлений: («Отцы и дети». Повесть г. Ив. Тургенева во 2 № «Русского вестника» за 1862 г.) // Труды Киевской духовной академии. 1862. Т. 1. Апрель. С. 433—502.

подчас был склонен несколько преувеличивать духовные прозрения светской словесности (в частности, творчества Гоголя, Лескова, Достоевского, Л. Толстого).

В статьях А. Г. Вишнякова, кроме того, содержится одна из первых попыток осмысления качественного своеобразия духовной критики. Он пишет об ее отличии от «реальной» критики: «...мы желаем от поэта не только живой и органической связи его произведений с окружающей действительностью, но трезвого, глубоко обдуманного и жизненного мировоззрения»¹⁹. Неприемлемы для духовного критика как поверхностное, тенденциозное освещение жизни художником слова, так и утилитаризм в подходе к эстетическим достоинствам сочинений. Имея в виду статьи Писарева и его единомышленников, Вишняков утверждает: «...самой по себе художественной форме произведений и художественным дарованиям писателя стали придавать самое ничтожное значение; ради либеральной идеи забывались и бездарность, и крайнее безвкусие писателя...»²⁰.

С другой стороны, отдавая должное эстетической критике, Вишняков оговаривается, что разбор светской литературы «с специально-художественной точки зрения» не входит в планы духовного критика, который сознательно отстраняется от такого рода анализа.²¹ В противном случае этот анализ будет подменять, дублировать эстетическую критику. Духовного автора интересует прежде всего художественный мир писателя в свете христианского мировоззрения. Такая критика, конечно, не мыслится как всеобъемлющая, однако она выявляет главное — духовно-нравственный потенциал литературы.

В 1870-е гг. религиозная журналистика после бурного предшествующего периода с его живыми общественно-церковными проблемами словно бы вернулась к состоянию дореформенному, когда ее содержание исчерпывалось специально-богословскими вопросами. Лишь в начале 1880-х гг. это затишье сменяется качественно новым этапом, наиболее существенной особенностью которого становится все усиливающееся влияние духовной словесности на светскую: и опосредованное, связанное с обращением самих писателей (Достоевского, Лескова, Л. Толстого, Вл. Соловьева и др.) к углубленной разработке религиозно-нравственных тем, и прямое — в виде вполне оформившейся к тому времени литературной критики духовных авторов. Некоторые журналы («Странник», позже — «Вера и разум» (Харьков, 1884—1917), «Душеполезное чтение», «Вера и Церковь» (М., 1899—1907) и др.) одной из своих целей определяли регулярную оценку

¹⁹ *N. N.* [Вишняков А. Г.] Наше духовенство по беллетристическим произведениям // Православное обозрение. 1876. Т. 1. Январь. С. 75.

²⁰ Там же. С. 76.

²¹ См.: *N. N.* [Вишняков А. Г.] Наше духовенство по беллетристическим произведениям // Там же. 1877. Т. 1. Январь. С. 152—153.

светской литературы и становились, таким образом, посредниками между церковной и мирской культурой.

Преподаватель Киевской семинарии священник Х. М. Орда (впоследствии епископ Ириней) отмечал: «По всем признакам кризис общественно-религиозного развития в России прошел благополучно... Нужен только внимательный уход и хорошее питание»²². Добротное «питание» и должна была дать церковная печать, в частности ясно показывая свое отношение к более привычной для образованного общества «духовной пище» — художественной и социально-философской литературе.

Все чаще живые, злободневные проблемы, в том числе вопросы культуры, затрагиваются пастырской проповедью, которая только теперь становится обычным элементом богослужения в Православной Церкви. Усиление общественно-литературной деятельности духовенства начиная с 1860-х гг. было названо историком богословской мысли, протоиереем Георгием Флоровским, «пастырским пробуждением»²³.

Среди наиболее прославленных церковных ораторов, чаще других обращавшихся к темам мирской культуры, в первую очередь следует назвать имена архиепископов Амвросия (Ключарева) и Никанора (Бровковича), протопресвитера И. Л. Янышева, протоиереев В. П. Нечаева, А. М. Иванцова-Платонова и А. А. Лебедева. Все эти проповедники в своих богослужебных словах, главным образом приуроченных к поминовению усопших писателей, своими оценками духовного существа различных литературных явлений подготавливали будущие достижения религиозно-философской мысли XX в.

В 1880-е гг. литературная критика духовных авторов становится, наконец, довольно привычным явлением для церковной периодики и намечаются черты следующего этапа ее развития, когда (с середины 1890-х гг.) без рецензии на светскую книгу или разговора о Церкви и культуре редко обходился номер духовного журнала. Переломным моментом был 1881 г., отмеченный национальной трагедией Первого марта (цареубийство) и кончиной Достоевского. Становление духовной критики происходило в попытках ее деятелей осмыслить наследие писателя, открыто поставившего свой талант на служение Православию, а также в стремлении разъяснить обществу религиозное учение Л. Толстого. Причем это противоположение двух писателей оказывало существенное влияние на конкретные критические оценки, порождая заметное эмоционально-субъективное напряжение: чем суровее обличался Л. Толстой как некий новый ересиарх, тем более возрастал соблазн представлять автора «Братьев Карамазовых» в ореоле праведничества.

²² С. Х. О. [Орда Х. М., *свящ.*] Вести из книжной области // Благовест. 1883. № 2, 15 янв. С. 14.

²³ Флоровский Г., *прот.* Пути русского богословия. 2-е изд. Paris, 1981. С. 426.

Большое значение, кроме того, имели публикации, посвященные Пушкину, особенно многочисленные после открытия ему памятника в Москве в 1880 г. Обращение к его творчеству благоприятствовало осмыслению духовными критиками важных религиозно-эстетических проблем. Так, к примеру, видный богослов Александр Павлович Лопухин (1852—1904) в своей статье о Пушкине (1899) говорит о призвании поэтов «быть теми светочами, которые освещают путь духовного движения народов»: «Это отблески того высшего Божественного Света истины, который явился на земле для всего человечества — в лице Богочеловека...»²⁴. Впрочем, подобная формулировка, едва ли возможная в церковной периодике 1850—1870-х гг., могла явиться, на наш взгляд, только после двух десятилетий (1880—1890-е) осмысления творчества Достоевского в религиозном ключе.

Откликов на сочинения этого писателя, появившихся в церковных изданиях при его жизни, немного. Первый по времени краткий отзыв на его романы принадлежит историку Ф. А. Терновскому. В своей уже упоминавшейся статье 1862 г. он, отмечая, что «в нашей отечественной литературе нет произведений, особенно богатых религиозным элементом», все же указывает на «Униженных и оскорбленных» и «Записки из Мертвого дома» как на романы, «проникнутые духом теплого и кроткого сочувствия к страждущим», а значит, «способные произвести на читателя очень благотворное впечатление и, следовательно, близкие к духу христианства»²⁵.

В 1870 г. выдающийся богослов А. М. Бухарев написал статью «О романе Достоевского „Преступление и наказание“ по отношению к делу мысли и науки в России»²⁶, явившуюся своего рода образцом приложения идей и инструментария христианской антропологии к исследованию художественного строя знаменитого романа²⁷.

Однако затем наступает десятилетний перерыв: духовные писатели, лишь время от времени высказываясь о религиозных мотивах текущей светской литературы, осуждают нарочитую карикатурность при создании образов духовенства у писателей-шестидесятников (Ф. М. Решетникова, Н. В. Успенского и др.), превозносят лесковских «Соборян» и «На краю света» и даже

²⁴ А. Л. [Лопухин А. П.] Памяти великого поэта // Церковный вестник. 1899. № 21, 27 мая. Стб. 779. Подробнее см.: Дмитриев А. П. «Продолжатель дела Христова на земле»: (А. С. Пушкин в оценке профессора А. П. Лопухина) // Христианская культура. Пушкинская эпоха: По материалам традиционных Христианских пушкинских чтений. СПб., 2000. Вып. 12. С. 114—124.

²⁵ Терновский Ф. Об отношении между духовною и светскою литературою. С. 132.

²⁶ Впервые опубликована уже после кончины как автора, так и самого Достоевского: Православное обозрение. 1884. Т. 1. Январь. С. 12—60.

²⁷ Подробнее см.: Дмитриев А. П. А. М. Бухарев (архимандрит Феодор) как литературный критик // Христианство и русская литература. СПб., 1996. Сб. 2. С. 189—197; Ашимбаева Н. Т. Архимандрит Федор (Бухарев) и Достоевский // Достоевский: Философское мышление, взгляд писателя. СПб., 2012. С. 267—276 (Dostoevsky monographs / A series of the International Dostoevsky society. Вып. 3).

произведения рядовых беллетристов вроде Н. Д. Хвоцинской («Баритон», 1857) или А. А. Лачиновой («Семейство Снежиных», 1872), но будто бы не замечают Достоевского периода его поздних романов и «Дневника писателя».

Показательный пример — Н. И. Барсов, только незадолго до кончины Достоевского отметивший по случайному поводу, что его сочинения «отличаются всегда нравственной тенденцией и производят глубоко нравственное впечатление...»²⁸. Однако, неоднократно на протяжении 1860—1870-х гг. выступая с обзорами литературы, затрагивающей религиозно-нравственные проблемы²⁹, он ни разу не упоминает Достоевского. Писатель выпал из поля зрения Барсова, даже когда тот составлял список авторов, произведения которых, по его убеждению, необходимо включить в семинарский курс словесности (в их числе Карамзин, Жуковский, Кольцов, Григорович, Даль, В. Одоевский, Хомяков, С. Аксаков, Мей и др.)³⁰.

Самыми значительными критическими откликами на творчество Достоевского в духовной периодике, увидевшими свет еще до завершения публикации «Братьев Карамазовых», стали две большие рецензии на этот роман. Первая — «Церковно-религиозные вопросы, затрогиваемые в романе Ф. М. Достоевского „Братья Карамазовы“»³¹ — принадлежала перу инспектора Донской духовной семинарии Андрея Александровича Кириллова (1856—1922), который, полемизируя с критиком газеты «Русская правда» А. Горшковым (Н. А. Протопоповым) (скептически воспринявшим «проповедь аскетизма» у Достоевского, от которой якобы веет «затхлым воздухом келий и подземных тюрем»³²), разъяснял, как образ старца Зосимы соотносится с христианской традицией, и утверждал его полную достоверность, сопоставляя его, в частности, с преподобным Серафимом Саровским. Кроме того, Кириллов подробно останавливается на анализе статьи Ивана Карамазова о церковно-общественном суде и его поэмы «Великий инквизитор» (как обличении католичества). Критик убежден, что религиозно-церковные вопросы, о которых умалчивает светская печать, составляют «главный нерв романа»³³.

²⁸ Барсов Н. Наша светская печать — по вопросу о религиозности русского народа // Церковный вестник. 1881. № 2, 10 янв. С. 6.

²⁹ Ср. характерную оценку его трудов анонимным рецензентом: «Профессор Барсов отзывался — за последнее десятилетие — почти на всякое слово нашей периодической и непериодической печати о духовенстве и духовной науке...» (Церковно-общественный вестник. 1879. № 1, 1 янв. С. 4; подпись: М—ий).

³⁰ См.: Барсов Н. И. Несколько слов о преподавании словесности в семинариях, применительно к новому Уставу // Христианское чтение. 1868. Ч. 1. Март. С. 442—443.

³¹ Донские епархиальные ведомости. 1880. Отд. неоф. № 8, 15 апр. С. 291—295; № 16, 15 авг. С. 603—614; № 17, 1 сент. С. 651—660; 1881. № 4, 15 февр. С. 128—139; № 13, 1 июля. С. 476—490; № 18, 15 сент. С. 684—699.

³² Горшков А. Русская журналистика: Новый роман г. Достоевского «Братья Карамазовы». — Нравственные идеалы г. Достоевского. — Алеша Карамазов как исцелитель («Русский вестник», 1879 г.) // Русская правда. 1879. № 51, 22 июня. С. 1—2.

³³ Донские епархиальные ведомости. 1881. Отд. неоф. № 18, 15 сент. С. 698.

Если статья Кириллова, напечатанная в провинциальной епархиальной газете, осталась практически незамеченной, то другая рецензия — «Идеалы будущего, набросанные в романе „Братья Карамазовы“» — была опубликована в ведущем церковно-общественном журнале XIX в. — «Православном обозрении»³⁴ — и потому ее, конечно, не обошли вниманием современники³⁵, да и позже она находилась в поле зрения исследователей³⁶. Автор, молодой религиозный публицист Сергей Дмитриевич Левитский (1853—1917?), скрыл свое имя под инициалами «С. Д. Л.», но через 9 лет включил эту статью в книгу «Православие и народность: Критические очерки по вопросам философско-богословским и нравственно-педагогическим» (М., 1889), вышедшую с указанием имени и места службы (Перервинское духовное училище).

Левитский характеризует Достоевского как мастера психологического анализа, под пером которого вполне «обнаруживается и облик внутреннего человека»: «Вы видите пред собой как бы искусного, опытного анатома, который без жалости, но с величайшим интересом и наслаждением разлагает пред вами внутреннейшую и наиболее сокровенную часть человеческого существа — его душу»³⁷. Развивая эту метафору, Левитский представляет большинство героев писателя «нравственными калеками» в лазарете с «удушливою, спертою атмосферой»³⁸. Однако эти наблюдения не приводят критика к осуждению, к которому чуть позже пришел Н. К. Михайловский в известной статье «Жестокий талант». Левитский считает, что Достоевского нельзя назвать пессимистом уже потому, что «его нравственные стремления находят себе полное удовлетворение только в христианском идеале», который «есть живая деятельная сила, имеющая обновить человечество»³⁹. Критик сосредоточивается на раскрытии церковно-общественного идеала писателя, анализируя наставления старца Зосимы и взгляды Ивана Карамазова.

Безоговорочно принимая саму идею постепенного воцерковления государства, критик воодушевляется и родственной хилиазму утопической верой Достоевского в неизбежное уже в земных условиях перерождение государства в Церковь⁴⁰. О том, что надежды эти вполне реальны, свидетельствует, по мнению Левитского, монашеский мир братской любви, уже теперь

³⁴ Православное обозрение. 1880. Т. 3. Сентябрь. С. 29—67; Октябрь. С. 215—244.

³⁵ См., например: Обзор журналов // Странник. 1880. Т. 3. Декабрь. С. 577—578, без подписи; Новости духовной литературы // Московские церковные ведомости. 1889. № 1, 1 янв. С. 12, без подписи.

³⁶ Впервые ее проанализировал Д. Д. Григорьев (впоследствии протоиерей) в своем очерке «Достоевский в русской церковной и религиозно-философской критике» (Вольное слово. Мюнхен, 1968. № 4. Февраль. С. 88—92). См. также: Григорьев Д., прот. Достоевский и Церковь: У истоков религиозных убеждений писателя. М., 2002. С. 102—106.

³⁷ Православное обозрение. 1880. Т. 3. Сентябрь. С. 29.

³⁸ Там же. С. 30.

³⁹ Там же. С. 33.

⁴⁰ Удивительно, но в этом вопросе с Достоевским и Левитским солидаризуется и рецензент, подписавшийся криптонимом *Н. Д.* (см.: Православное обозрение. 1889. Т. 1. Февраль. С. 400—403).

противостоящий мирскому разъединению и эгоизму (впрочем, критик считает, что писатель идеализирует монашескую жизнь). Вторая половина статьи посвящена анализу поэмы «Великий инквизитор», в которой, по убеждению Левитского, наилучшим образом выявлен «трагизм» католичества как идеи «ложного человеколюбия», попытки исправить дело Христа⁴¹.

Рассуждая о христианских основах мировоззрения Достоевского, Левитский лишь изредка обращается к характеристике героев романа — например, говоря об Иване как о «типе современного светски образованного молодого человека с неустановившимися воззрениями и мучимого разного рода сомнениями»⁴². В статье вполне проявился темперамент Левитского — скорее публициста-теоретика, чем литературного критика в привычном понимании. Публикации этого разбора посодействовал протоиерей А. М. Иванцов-Платонов, о чем можно судить по его письму к Достоевскому от 20 декабря 1880 г., в котором он, в частности, дает высокую оценку психологическому мастерству писателя, усматривая в нем дарование богослова: «Никогда еще ни одному из поэтов и романистов русских (кажется — и иностранных) не приходилось так глубоко касаться высших сторон духовной жизни и так сердечно освещать нас нравственно-христианской идеей, как Вы это делаете в своих произведениях. В Вашем лице художественная литература входит в ту область, которая обыкновенно считается специальным достоянием религиозно-нравственной литературы»⁴³.

Именно с таких позиций в церковной критике и начинается освоение наследия Достоевского: в нем подчас видели выдающегося духовного писателя, чуть ли не религиозного учителя-проповедника, а потому иногда довольно поверхностно оценивая явленные в его творчестве особенности христианского мировидения, нередко идеализировали его художественные решения. Не случайно ни одному из русских писателей не было посвящено столько церковных надгробных слов, сколько их прозвучало по смерти Достоевского.

Яркая в литературном отношении поминальная речь духовного писателя священника Иоанна Дмитриевича Петропавловского (1844—1907) представляет прямо-таки иконописный образ Достоевского: «...это муж Креста Христова, человек, ходивший пред Богом, искавший грядущего града с вечно устремленным взором туда, куда ведут узкие врата...»⁴⁴. Как духовный пастырь отец Иоанн воздаст должное писателю-психологу, освещавшему «тончайшие

⁴¹ Там же. 1880. Т. 3. Октябрь. С. 216, 238, 243—244.

⁴² Там же. С. 219—220.

⁴³ Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 1992. Т. 10. С. 226 (публ. и коммент. Б. Н. Тихомирова).

⁴⁴ *Петропавловский И. Д., свящ.* Земной жребий ревнителя правды: (Слово пред панихидою по Ф. М. Достоевском) // Православное обозрение. 1881. Т. 1. Февраль. С. 342 (то же, со стилистическими отличиями: *Петропавловский И.* Речь, сказанная на заупокойной литургии пред панихидой по Ф. М. Достоевском // Московские церковные ведомости. 1881. № 7, 15 февр. С. 105).

переплетения удивительнейших контрастов и противоречий в душе человеческой», и выделяет в качестве основной черты его творчества укорененный в Боге гуманизм: Достоевский выявляет в своих персонажах «ту блестящую искорку, по которой мы все сродны своему Творцу, Отцу светов»⁴⁵. При этом писатель представлен и как духовный вождь нации: «Он выразитель нашего народного духа, толкователь нашей жизни <...>. Он обратил нас к самим себе, к самопознанию и самоусовершенствованию»⁴⁶, — и как страдалец-исповедник: «Богатое содержание его духа не легко приобретено им: оно выстрадано им, вышло из горнила мучительных ощущений его сердца. <...> Он подобие праведника»⁴⁷.

Вторил отцу Иоанну Иван Петрович Яхонтов (ок. 1857—1886), автор «адреса» А. Г. Достоевской от студентов-богословов. Он писал, что писателю дорога была «самая даже маленькая черточка образа Божия в человеке» как залог будущего братства людей⁴⁸.

Редактор «Московских церковных ведомостей» протоиерей Виктор Петрович Рождественский (1826—1892) считал, что Достоевский «поистине может быть образцом» для самих священнослужителей, и объяснял «высокую человечность» его творчества тоже ее укорененностью во Христе: «...поразительная по своей высоте и широте гуманность покойного происходила именно из религиозного источника — была плодом искреннего и глубокого проникновения его души духом того Великого Учителя, Который звал к Себе всех труждающихся и обремененных...»⁴⁹.

Член Комитета духовной цензуры архимандрит Иосиф (в миру Иван Гаврилович Баженов; 1829—1886) в своей проповеди говорил о Достоевском: «Взойдут некогда и заволнуются зрелыми колосьями благие семена его народно-русских мыслей и православно-христианских чаяний»⁵⁰. Архимандрит Евсей (в миру Евгений Васильевич Лещинский; ок. 1835—1889), в то время преподаватель Саратовской духовной семинарии, называя Достоевского «пламенным исповедником Православия», указывает на христоцентризм его творчества: «Покойный все желал

⁴⁵ *Петропавловский И. Д., свящ.* Земной жребий ревнителя правды. С. 342.

⁴⁶ Там же. С. 342—343.

⁴⁷ Там же. С. 343.

⁴⁸ См.: *Яхонтов И.* Адрес студентов Московской духовной академии супруге покойного Ф. М. Достоевского // *Московские церковные ведомости*. 1881. № 7, 15 февр. С. 105.

⁴⁹ [*Рождественский В. П., прот.*] По поводу смерти Ф. М. Достоевского // Там же. 1881. № 6, 8 февр. С. 83.

⁵⁰ *Иосиф, архим.* Речь, сказанная в Казанском соборе 5 февраля в присутствии членов Славянского благотворительного общества, пред панихидою в девятый день смерти Ф. М. Достоевского // *Церковный вестник*. 1881. № 7, 14 февр. С. 12 (перепеч.: Ф. М. Достоевский и Православие / сост. А. Н. Стрижев. М., 1997. С. 37—39).

сложить к стопам Спасителя, подчинить все Христу как единому Пастырю единого христианского стада и Упокоителю всех страждущих и обремененных...»⁵¹.

Выдающийся проповедник и философ архиепископ Никанор (в миру Александр Иванович Бровкович; 1826—1890) в судьбе Достоевского видел явственное отображение евангельской притчи о блудном сыне (то есть покаянного возвращения интеллигента к народно-религиозной традиции). Поэтому, по мнению владыки, писатель и употребил свой высокий дар «на создание многих трогательнейших образов блудных сынов и дочерей из среды нашего русского современного общества»⁵². Этот «обновленный сын Отца Небесного», убежден Никанор, в своем «служении идеалу добра» стоит неизмеримо выше всех остальных художников слова, которые «раскрашивают только беспросветный моральный мрак»⁵³, не исключая и великих его предшественников — Пушкина и Гоголя, лишь изредка, считает владыка, углублявшихся во внутреннюю природу человека⁵⁴.

Священник Александр Николаевич Кудрявцев (1840—1888), профессор богословия Новороссийского университета в Одессе, также видел явное мистическое указание в том, что проходы Достоевского (точнее, панихиды в 9-й день по кончине) состоялись в отмечаемую Церковью Неделю блудного сына. Печальное событие высветляло стержневую художественную мысль писателя: «...он хотел показать, что, как бы глубоко человек ни пал, следы образа Божия в нем не изглаживаются, что, если только он верит в Бога и Его Провидение, он всегда может возвратиться на путь истины и добра...». Существенно, что и отец Александр не усматривает никаких отклонений Достоевского от евангельского учения: «...слово его не было словом обыкновенным. Оно постоянно было воспроизведением того Божественного Слова жизни, которое возвестил Господь и Спаситель наш»⁵⁵.

Протоиерей Иоанн Константинович Яхонтов (1819—1888), помощник главного наблюдателя за преподаванием Закона Божия в учебных заведениях Министерства народного просвещения, главной заслугой Достоевского считал его религиозно-общественную позицию и его

⁵¹ Слово при поминовении Ф. М. Достоевского, сказанное Саратовской духовной семинарии преподавателем, архимандритом Евсеем // Санкт-Петербургские ведомости. 1881. № 176, 29 июля. С. 2 (отд. отт.: СПб., 1881. 4 нум. с.).

⁵² *Никанор, архиеп.* Поучение в неделю блудного сына, в день поминовения раба Божия Феодора Достоевского: Мировое значение притчи о блудном сыне // Никанор, архиеп. Поучения, беседы, речи, воззвания и послания. 3-е изд. Одесса, 1890. Т. 1. С. 221 (написано в 1881 г.).

⁵³ Там же.

⁵⁴ Подробнее см.: *Дмитриев А. П.* Портрет в церковной проповеди как литературно-критический жанр: (О «поучениях» архиепископа Никанора (Бровковича)) // Русский литературный портрет и рецензия: Поэтика и концепции: Сб. статей. СПб., 1999. С. 3—11.

⁵⁵ Новороссийский телеграф. 1881. № 1817, 10 февр. С. 1 (также см. под назв. «Речь, сказанная в Новороссийском университете пред панихидою о рабе Божиим Феодоре Михайловиче Достоевском»: Прибавления к Херсонским епархиальным ведомостям». 1881. № 5, 1 марта. С. 123—127).

убежденность в том, «что Православие сроднилось, срослось с русским народом и что великая будущность предстоит русскому государству, русской Церкви, русскому народу — деятельность просветительная и примирительная»⁵⁶.

Особенно проникновенным было надгробное слово о писателе, произнесенное ректором столичной Духовной академии, протоиереем Иоанном Леонтьевичем Янышевым (1826—1910), впоследствии придворным духовником. Отец Иоанн указывает на глубину религиозного мироощущения Достоевского, идеалом жизни которого была «жизнь истинно-христианской любви, невозможной без самоотречения, и православной правды, в свою очередь немислимой без любви...»⁵⁷. Произведения писателя он называет «искренней литературной исповедью»: их чтение, считает отец Иоанн, позволяет угадать в «многострадальной душе» Достоевского «отголосок Божественной любви». Впрочем, хотя Янышев признавал, таким образом, Достоевского большим христианским писателем, он не все в мировоззрении его принимал и даже полагал, что при разборе некоторых его суждений «с богословской точки зрения» требуются «не только значительные разъяснения и ограничения, но и решительное опровержение»⁵⁸.

Последнее суждение отца Иоанна (кстати, встречавшегося с Федором Михайловичем за границей, в Висбадене) можно считать редким исключением. Однако, подытоживая посмертные оценки Достоевского в церковных проповедях о нем, надо признать, что священнослужители, имея высокое представление о личности писателя и о его жизненном подвижничестве, говорили только о верности его творчества духу евангельского учения, но не возводили его на пьедестал религиозного учителя или специалиста-богослова.

Сразу после кончины Достоевского в ряде церковных изданий появились материалы, которые, с одной стороны, подтверждали справедливость тех возвышенных характеристик, какие даны были ему духовными пастырями в поминальных речах, и давали к ним развернутый комментарий, впрочем, лишь подготавливая серьезное освоение творчества писателя религиозно-философской мыслью. С другой стороны, авторы таких материалов, вольно или невольно культивируя свойственный некрологам тон преувеличенных восхвалений, вторгались в область, внеположную эстетике, — прежде всего в сферу нравственного, пастырского и сравнительного

⁵⁶ *Яхонтов И. К., прот.* При поминовении Ф. М. Достоевского // Ф. М. Достоевский и Православие. С. 43. В этом сборнике при перепечатке проповеди отца Иоанна, произнесенной 8 февраля 1881 г., ее ошибочно приписали несуществующему «приват-доценту Московской духовной академии по кафедре основного богословия» Ивану Андреевичу Яхонтову (отчество приват-доцента было Петрович). Иван же Андреевич Яхонтов — магистр богословия Казанской духовной академии.

⁵⁷ Памяти Федора Михайловича Достоевского // Православное обозрение. 1881. Т. 1. Февраль. С. 439—440.

⁵⁸ *Янышев И. Л., прот.* Сочинение студента Касторского Михаила «Сочинения Ф. М. Достоевского с богословской точки зрения» // Протоколы заседаний Совета С.-Петербургской духовной академии за 1881—82 учебный год. СПб., 1882. С. 152.

богословия и православной аскетики; Достоевского стали провозглашать не только специалистом в этой области, но подчас и ее реформатором.

Словно бы стремясь дать импульс такому направлению мысли, автор журнала «Странник» — вероятнее всего, один из его соредакторов Александр Иванович Пономарев (1849—1911), преподаватель теории словесности и истории иностранных литератур в Санкт-Петербургской духовной академии, — писал, что Достоевский отметил в Православии «такие стороны, каких никто раньше его не коснулся, и поставил в художественных образах такие философские и религиозные проблемы, над которыми долго-долго будут думать философ, художник, ученый, мыслитель...»⁵⁹.

Профессор всеобщей истории той же Духовной академии Андрей Иванович Предтеченский (1832—1893) в редактируемом им «Христианском чтении» поместил статью, где особые заслуги «самого видного, искреннего и наиболее бесстрашного „исповедника“ бытия и верховных прав *духа*» усматривал в противостоянии «заморским» атеистическим идеям, изначальную порочность которых и выявлял в своих романах Достоевский — проповедник «всемирного братства»⁶⁰. Предтеченский признавал: «В наш век много нужно писателю иметь мужества, чтобы выступать открыто с исповеданием убеждений подобного рода»⁶¹.

Популяризации религиозно-нравственной проблематики творчества Достоевского способствовали и статьи московского духовного писателя Сергея Афанасьевича Пономарева (ок. 1858 — не ранее 1908). В первой из них — «Об иноке русском и возможном значении его: по поводу мыслей об русском иночестве в романе Ф. М. Достоевского» — освещаются взгляды писателя на монашество, причем в центре внимания оказывается «нравственное величие» старца Зосимы, образ которого, «при замечательной художественной отделке», представляется критику «светлым образцом» для современного иночества. Наставления старца разбираются особенно подробно, что в жанровом отношении сближает эту статью о романе с традиционным для духовной литературы «поучением инокам»⁶². В том же ключе написана обширная работа «Православная идея», в которой ставится задача раскрыть «миросозерцание Достоевского как русского

⁵⁹ [Пономарев А. И. (?)]. Федор Михайлович Достоевский: (Некролог) // Странник. 1881. Т. 1. Февраль. С. 346.

⁶⁰ См.: Предтеченский А. И. Атеизм и народное развитие: (Памяти Ф. М. Достоевского) // Христианское чтение. 1881. Ч. 1. Март — апрель. С. 396, 397, 418.

⁶¹ Там же. С. 401.

⁶² Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1881. Кн. 3, ч. 1. Отд. I. С. 344—363. Статья подписана криптонимом «—в»; авторство С. А. Пономарева устанавливается по несомненному содержательно-стилистическому сходству трех статей о Достоевском, помещенных в короткое время в одном и том же журнале; в двух из них он указан как автор. Отметим, что с легкой руки С. А. Пономарева в духовной журналистике впоследствии не раз появлялись сходные обзоры соответствующих страниц романа. См., например: Богословский И. Русский иннок и его возможное значение, по роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» // Воскресный день. 1888. № 22. С. 252—255; № 23. С. 266—268; № 29. С. 335—337; № 31. С. 362—364; № 32. С. 374—376.

народного православного мыслителя»⁶³. Две трети статьи посвящены изложению его взглядов на инославие и взаимоотношения Церкви и государства. В отличие от других церковных публицистов своего времени, Пономарев не ограничивается «Братьями Карамазовыми», а широко использует идеи и образы «Дневника писателя», романов «Идиот», «Бесы» и «Подросток»; в частности, он пронизательно выявляет духовный смысл карамазовщины как бунта против Создателя и культа человекобожного своеволия, а также указывает на существенную идейную связь Ивана Карамазова, Ставрогина, Кириллова, Верховенского и других героев⁶⁴.

Не удивительно, что в этот период возмущение церковных публицистов вызвала та часть брошюры К. Н. Леонтьева «Наши новые христиане» (М., 1882), в которой язвительной критике с точки зрения православной аскетики подверглась Пушкинская речь Достоевского. Предвзятость леонтьевских аргументов, по мнению московского законоучителя и духовного писателя священника Иоанна Ильича Соловьева (1854—1917), становится явной, стоит лишь вспомнить Катехизис: Достоевский прав, считая залогом спасения и счастья любовь, а не проповедуемый и абсолютизируемый Леонтьевым «страх Божий», который признается в сотериологии плодом любви⁶⁵. С. А. Пономарев более обстоятельно выясняет смысл «всепрощающей любви», ключевого понятия в воззрениях Достоевского, показывая (главным образом на материале «Братьев Карамазовых»), что она никак не сводится к гуманности, лежащей в основе утилитарного прогресса. Мировоззрение писателя, убежден Пономарев, «вполне и строго православно»: «Называть его сентиментальным или розовым православием неуместно и несправедливо»⁶⁶.

Думается, стимулирующее значение для перехода от такой подготовительной работы к более глубокому изучению религиозных проблем творчества Достоевского имела публикация в 1885 г. в харьковском журнале «Вера и разум» большого исследования преподавателя местной семинарии Александра Алексеевича Снегирева (1847—1917?). Через три года печатает свою первую статью о писателе иеромонах Антоний (в миру Алексей Павлович Храповицкий; 1863—1936), впоследствии митрополит, глава Русской Зарубежной Церкви.

Работа А. А. Снегирева примечательна тем, что представляет мирозерцание писателя как цельное и стройное единство его воззрений, «основной пункт» которых — мир людей,

⁶³ Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1883. Кн. 1, ч. 1. Отд. I. С. 58—59, без подписи. Источник атрибуции — третья статья С. А. Пономарева «Любовь как начало единения»: Там же. 1884. Кн. 1, ч. 1. Отд. I. С. 94.

⁶⁴ См.: Там же. 1883. Кн. 1, ч. 1. Отд. I. С. 66—79.

⁶⁵ Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1883. Кн. 3/4, ч. 2. Отд. II. С. 163—177. Рецензия подписана криптонимом «У—в» и потому приписывалась Н. А. Уманову; авторство *свящ. И. И. Соловьева* указано К. Н. Леонтьевым (см.: В. В. Розанов и К. Н. Леонтьев: Материалы неизданной книги «Литературные изгнанники», переписка, неопубликованные тексты, статьи о К. Н. Леонтьеве, комментарии / сост. Е. В. Ивановой. СПб., 2014. С. 478).

⁶⁶ Пономарев С. Любовь как начало единения: (По поводу брошюры о Ф. М. Достоевском) // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1884. Кн. 1, ч. 1. Отд. I. С. 101.

проблема жизни, решаемая с христианских позиций. Отметив «взаимопроникновение в мышлении Достоевского начал поэтического и философского»⁶⁷, Снегирев главным образом на материале романов формулирует «основные положения» мировоззрения писателя. Особое внимание критик уделяет такому важному мотиву, как «гордое посягательство на религиозно-нравственные основы жизни», связанному с образами Раскольникова, Ипполита, Кириллова, Ивана Карамазова, Великого инквизитора⁶⁸.

В своей первой работе о писателе — заметке «В день памяти Достоевского» — отец Антоний (Храповицкий), стремясь осмыслить духовный подъем, объединивший людей на его похоронах («нечто подобное Голгофе»), видит значение его творчества в призыве слиться с христианскими устремлениями народной жизни, «внутренним образом» принять евангельское учение. Своеобразие Достоевского-художника, по его определению, состоит не только в «прозрении» им идеального, Божьего образа в человеке: «...он начертывает путь, по которому это доброе начало может развиваться»⁶⁹. В этой заметке отца Антония уже содержатся те основные идеи, которые он будет развивать в будущем — вплоть до написанной им в 1917 г. книги «Словарь к творениям Достоевского: не должно отчаиваться» (София, 1921) и тринадцати небольших статей о писателе, опубликованных в 1929—1934 гг.

Гносеологическая ценность художественного творчества Достоевского столь значительна, что духовный писатель смело использует его произведения не только в качестве пособия по нравственному, но и — главным образом — по пастырскому богословию. Его исследование 1893 г., или, по его собственному жанровому определению, «внеклассная лекция студентам», так и называется: «Пастырское изучение людей и жизни по сочинениям Ф. М. Достоевского». Не удовлетворенный попытками предшествующей критики определить «основные идеи» творчества писателя, отец Антоний предлагает свое решение проблемы. Он исходит из того, что «эта идея была из жизни внутренней, душевной, личной»; она была «не посылкой, не тенденцией»⁷⁰, вроде идеи патриотической, славянофильской или отвлеченно-религиозной. «*Возрождение*, — подчеркивает отец Антоний, — вот о чем писал Достоевский во всех своих повестях: покаяние и возрождение, грехопадение и исправление, а если нет, то ожесточенное самоубийство...»⁷¹. Заслугу писателя он видит как в психологически достоверном изображении внутренней жизни

⁶⁷ Снегирев А. Философское мирозерцание Ф. М. Достоевского // *Вера и разум*. 1885. Т. 2, ч. 2. Ноябрь, кн. 1. Отд. философский. С. 411—412.

⁶⁸ См.: Там же. С. 413—432.

⁶⁹ И. А. <Антоний (Храповицкий), иером.>. В день памяти Достоевского: (Письмо из Петербурга) // *Русское дело*. 1888. № 5, 30 янв. С. 13.

⁷⁰ Антоний (Храповицкий), архиеп. Полн. собр. соч.: В 3 т. СПб., 1911. Т. 2. С. 469.

⁷¹ Там же.

«возрождаемых», так и в том, что «с особенною силою и художественною красотою» описывает Достоевский «служителей возрождения и любви».

В этом исследовании, приспособляющем содержание произведений писателя к изучению специальных богословских вопросов, отец Антоний демонстрирует хорошее знание творчества Достоевского: он легко ориентируется в сюжетных переплетениях его романов, проницательно определяя авторский замысел и проводя идейно-образные параллели между героями. Пять типов «миссионеров» — сознательных, а чаще невольных — выявляет отец архимандрит в творчестве Достоевского: служители Церкви (старец Зосима, епископ Тихон), дети (Нелли, Поленька), люди из народа (мужик Марей, Макар Иванович, Лукерья), кроткие женщины (Соня, Неточка Незванова, сестра Илюши) и, наконец, сами возрожденные «в своих страданиях». Подробно характеризуя этих героев и описывая сам процесс «уподобления одной воли другой», отец Антоний находит у Достоевского подтверждение центральной своей философской идее об онтологическом единстве человеческой природы как основе пастырского воздействия. Он уверенно выводит «формулу» писателя: «...смирясь, любя и познавая людей, человек восходит или возвращается к первоначальному таинственному единству со всеми и, как бы переливая святое (через общение с Богом усвоенное) содержание своей души в душу ближнего, преображает внутреннюю природу последнего...»⁷².

Статья отца Антония вообще богата ценными наблюдениями и глубокими умозаключениями. Укажем на лишь намеченное им сопоставление с толстовским творчеством: «...герои, вроде Левина, Безухова и Болконского, — пишет отец Антоний, — под весьма неопределенными влияниями приходят к неопределенным же результатам, установившись твердо только в осуждении прежнего самолюбия и в решимости следовать сострадательному чувству». Да и то эти типы Толстого «в его толстых романах как две-три фиалки в огромном букете красивых, но лишенных запаха цветов; у Достоевского же, как сказано, все, и первостепенные и второстепенные, герои вращаются около своей совести и призыва к покаянию и обновлению, как множество планет по разным орбитам кружатся вокруг одного солнца»⁷³.

Публикации Снегирева и отца Антония своим появлением опередили более известные сегодня работы Мережковского, Розанова, Бердяева. Как видим, церковные критики, исходя из художественной данности, не менее глубоко постигали духовно-нравственный смысл образов Достоевского.

⁷² Там же. С. 492.

⁷³ Там же. С. 479. См. глубокую разработку темы «Митрополит Антоний и Достоевский» в статье протоиерея Павла Хондзинского «Догмат любви»: *Антоний (Храповицкий), митр. Избранные труды. Письма. Материалы.* М., 2007. С. LII—CVII.

Следует упомянуть наиболее интересные работы о Достоевском «популяризаторского» характера, написанные в 1890-х гг. авторами церковных изданий: П. И. Линицким, Д. Г. Наумовым, Е. В. Ливотовым, священником Н. Г. Побединским⁷⁴. Авторитет Достоевского — православного мыслителя в 1880—1890-х гг. оказывается столь велик, что ссылки на его мнения или художественные решения встречаются даже в серьезных богословских трудах (Н. Н. Глубоковский, А. С. Рождествен⁷⁵), не говоря уже о духовной публицистике (Н. И. Черняев, И. Т. Костырь, А. К. Яхонтов, Д. М. Березкин, И. П. Николин, священник Н. Тихомиров⁷⁶ и др.).

Заметная же идеализация писателя в первые десятилетия после его кончины, как выше упоминалось, совершалась в ходе невиданной по размаху критической войны, разгоревшейся в печати по поводу религиозно-философских сочинений Л. Толстого, когда два крупнейших писателя стали восприниматься как антиподы⁷⁷.

Труднообозримые материалы о Л. Толстом, публиковавшиеся в духовной журналистике, относятся скорее к области богословской апологетики, чем к традиционной литературной критике.

Существенно, что первые отклики появились еще на рукописные списки толстовских трактатов, но поначалу авторам церковных изданий казалось: можно только отмахнуться от

⁷⁴ *Линицкий П.* Изящная литература и философия. Харьков, 1893; *Н—в* [Наумов Н. Г.] Теократические и иерократические воззрения Владимира Соловьева и Федора Достоевского пред судом канонического права Православной Церкви // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1891. Кн. 7, ч. 3. Отд. II. С. 291—338; *Ливотов Е.* Русский инок в романе Достоевского «Братья Карамазовы» // Странник. 1893. Т. 2. Август. С. 426—449; *Побединский Н. Г., свящ.* Религиозно-нравственные идеи и типы в произведениях Ф. М. Достоевского // Вера и Церковь. 1899. Т. 1, кн. 1. Отд. II. С. 112—128; кн. 2. С. 278—301.

⁷⁵ *Глубоковский Н.* Свобода и необходимость: (Против детерминистов) // Вера и разум. 1888. № 14. Июль, кн. 2. Отд. философский. С. 93—94; № 15. Август, кн. 1. Отд. философский. С. 115; *Рождествен А.* Очерки русской церковной и общественной жизни // Там же. 1889. № 15. Август, кн. 1. Отд. церковный. С. 191—193.

⁷⁶ *Н. Ч.* [Черняев Н. И.] От<ец> Иоанн // Южный край. 1890. № 3282, 21 июля. С. 1—2; *Костырь Ив. О.* Иоанн Кронштадтский и старец Зосима...: (письмо в редакцию) // Странник. 1890. Т. 3. Октябрь. С. 347—350; *Яхонтов А.* Жития святых в их значении для домашнего чтения // Там же. 1892. Т. 3. Декабрь. С. 697; *Березкин Д.* Истина бессмертия души и будущей жизни, ее значение и достоинство в христианском нравовании // Там же. 1895. Т. 2. Май. С. 39, 41; *Николин И.* О смирении: (Против Ницше) // Там же. 1900. Т. 3. Октябрь. С. 223—224; *Тихомиров Н., свящ.* Ф. М. Достоевский о графе Л. Н. Толстом // Пастырский собеседник. 1900. № 28, 8 июля. С. 430—432.

⁷⁷ О рецепции Достоевского в церковной периодике см. подробнее: *Дмитриев А. П.* «Муж Креста Христова» или «плоть от плоти общества»? (Духовные писатели и религиозные мыслители 1880-х — начала 1890-х гг. о Достоевском) // Достоевский и мировая культура: Альманах. М., 2009. № 25. С. 445—470.

«духовно незрелых» опусов знаменитого художника⁷⁸ или же, воспринимая их как «исторический документ» при изучении мировоззрения Толстого, рассматривать «без всякого изобличительно-полемического задора»⁷⁹. Общественная «опасность» религиозных сочинений писателя становится вполне явной для духовных критиков к середине 1880-х гг., когда благодаря впечатляющему этическому пафосу они приобретают все большее влияние и популярность.

Первым среди духовных писателей с обстоятельным разбором толстовской «Исповеди» выступил профессор церковного права Харьковского университета Михаил Андреевич Остроумов (1847—1920), который представил произведение Толстого как «тяжелое, толкущееся на одном месте болезненное описание этого пути к обоготворению собственного разума»⁸⁰. Поклонник художественного таланта писателя, Остроумов тем не менее видит то же «самообоготворение» уже в пантеистически окрашенной рефлексии Пьера Безухова, что позволяет ему подвергнуть сомнению признание Толстого о резком переломе в его религиозных убеждениях. Учение же графа, доказывает профессор, лишь воспроизводит фейербаховский антропотезм.

Несамостоятельность толстовских построений, особенно воздействие на них модных западных доктрин в пылу полемики несколько преувеличивались. Так, пожалуй, самый известный из духовных критиков Толстого — казанский профессор по кафедре апологетики Александр Федорович Гусев (1845—1904) — издал восемь книг о писателе-моралисте, построенных как пособия по противосектантской пропаганде. В первой и самой основательной из них — «Граф Л. Н. Толстой, его исповедь и мнимо-новая вера» (М., 1890) — Гусев в основном опровергает спенсеровский позитивизм, который, по его убеждению, бессознательно исповедует Толстой в своем «пантеистически-социалистическом учении». В других работах Гусев подробно сопоставляет это учение и воззрения О. Конта, Шопенгауэра, Гартмана, Ренана и других, по его определению, «руководителей» Толстого. В центре внимания Гусева обычно не догматический нигилизм писателя, а его этические воззрения. Ученый показывает, что толстовская мораль искажает истинную нравственность, основанную на церковном вероучении, ибо в его построениях этика предшествует метафизике. Любопытно, что благодаря трудам Гусева некоторые не пропущенные цензурой сочинения Толстого приходили к читателю — так получилось, к примеру, с практически целиком процитированной «Исповедью».

Конечно, подобное обличение толстовского учения, особенно на первых порах, не могло не быть довольно односторонним: духовная критика, рассматривая «веру» графа, видела свою

⁷⁸ См.: Мнения печати по церковным вопросам // Церковный вестник. 1883. № 51, 17 дек. С. 2—3, без подписи.

⁷⁹ См.: [Пономарев А. И.?] «Исповедь» гр. Толстого и разбор ее в богословском журнале // Странник. 1885. Т. 3. Декабрь. С. 751—761.

⁸⁰ Остроумов М. Наши новые «философы и богословы»: Граф Лев Николаевич Толстой // Вера и разум. 1885. Т. 1, ч. 2. Октябрь, кн. 2. Отд. церковный. С. 539.

задачу в миссионерском противодействии вредной ереси и прежде всего обращала внимание на те стороны его проповеди, которые больше привлекали симпатии общества⁸¹. Серьезная, а по охвату материала практически исчерпывающая критика экзегетических опытов Толстого была предложена в работах таких церковных оппонентов его учения, как протоиерей Т. И. Буткевич⁸², священник Н. А. Елеонский⁸³, А. Г. Орфано⁸⁴, А. С. Рождествин⁸⁵, С. А. Соллертинский⁸⁶. Среди откликов на трактаты Толстого выделяются суждения авторитетнейших подвижников благочестия, к числу которых относятся протоиерей Иоанн Кронштадтский (И. И. Сергиев)⁸⁷ и святитель Феофан Затворник (Говоров)⁸⁸, а также будущие патриархи архимандрит Тихон (Беллавин)⁸⁹ и епископ Сергей (Страгородский)⁹⁰.

Всероссийскую известность получили восемь бесед «против Льва Толстого» архиепископа Никанора (Бровковича)⁹¹, посвященные не только опровержению отдельных положений толстовского учения, но и разбору художественной прозы писателя: повести «Крейцера соната» и рассказа «Три старца». Популярность этих гневных обличительных поучений обеспечивалась как глубиной богословского анализа, так и их необыкновенно эмоциональным стилем,

⁸¹ См.: Пичурина О. А. Толстой и официальное православное богословие // Вече: Альманах русской философии и культуры. СПб., 1994. Вып. 1. С. 145—179.

⁸² Буткевич Т. И., прот.: 1) Нагорная проповедь: Опыт изъяснения учения Господа нашего Иисуса Христа с опровержением возражений, указываемых отрицательною критикою новейшего времени: По поводу лжеучения гр. Л. Н. Толстого. Харьков, 1895; 2) Последнее сочинение графа Л. Н. Толстого «Царствие Божие внутри вас». Харьков, 1894; 2-е изд.: Харьков, 1895.

⁸³ Елеонский Н. А., свящ. О «новом евангелии!» гр. Толстого // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1887. Кн. 1, ч. 1. Отд. I. С. 26—70.

⁸⁴ Орфано А. Г. В чем должна заключаться истинная вера каждого человека: По поводу книги гр. Л. Н. Толстого «В чем моя вера». М., 1887; 2-е изд., доп.: М., 1900.

⁸⁵ Рождествин А. С.: 1) Современный русский рационалист // Православное обозрение. 1889. Т. 1. Февраль. С. 374—397; 2) Справедливы ли обвинения, возводимые гр. Львом Толстым на Православную Церковь в его сочинении «Церковь и государство»? Харьков, 1889; 2-е изд.: Харьков, 1902; 3) «Христианство» графа Льва Толстого: По поводу статьи Н. Страхова «Толки об Л. Н. Толстом» // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1892. Кн. 2, ч. 3. Отд. II. С. 81—141.

⁸⁶ Соллертинский С. А. Объяснение Мф. V, 22; V, 38—42; Лук. VI, 37 у гр. Толстого // Христианское чтение. 1887. Ч. 1. Март/апрель, прил. С. 440—468; отд. изд.: СПб., 1887.

⁸⁷ Иоанн Кронштадтский: 1) Несколько слов в обличение лжеучения графа Льва Толстого. М., 1898; 2) Современная толстовская ересь // Кормчий. 1901. № 38, 15 сент. С. 502—505.

⁸⁸ Отзыв святителя Феофана Затворника о графе Льве Толстом <1895> // Голос истины // 1912. № 3. С. 57—58.

⁸⁹ Тихон, архим. Вегетарианство и его отличие от христианского поста // Странник. 1895. Т. 1. Март. С. 487—499.

⁹⁰ Сергей, еп. Мысли православного епископа по прочтении новой исповеди гр. Л. Толстого // Миссионерское обозрение // 1901. Т. 1. Июнь. С. 797—835.

⁹¹ Никанор, архиеп. Против графа Льва Толстого: Восемь бесед. Одесса, 1891; 4-е изд. под назв. «Беседы против графа Льва Толстого»: Одесса, 1903.

важнейшая черта которого — мужественная авторская интонация, голос пастыря, наделенного духовной властью⁹².

Не менее важное значение имеют работы, авторы которых стараются избежать одномерно-обличительного подхода к духовной драме Толстого; к примеру, воздают должное самому ценному в его проповеди — ее нравственно-деятельному аспекту, знаменующему некоторый подъем общественного сознания, неудовлетворенность утилитарно-позитивистскими увлечениями эпохи. В то же время идеализация этического учения Толстого в статьях его апологетов: А. Л. Волинского, Н. Я. Грота, Л. Е. Оболенского⁹³ и других — вызывала отпор со стороны церковных критиков (священников Ф. П. Преображенского⁹⁴, С. Г. Розанова⁹⁵ и И. И. Филевского⁹⁶; М. И. Ремезова⁹⁷, В. И. Троицкого⁹⁸, З. Цветкова⁹⁹ и др.). Они стремились показать ущербность «морали любви», которая, по их убеждению, лишена высших метафизических основ, поскольку внеположна христианскому теизму.

Существенное значение имели десять работ о Толстом Антония (Храповицкого), который принципиально отказывается от препирательства, выявления логических неувязок и

⁹² Подробнее см.: *Соловьев А. П.* «Согласить философию с православной религией»: Идеи наследие архиепископа Никанора (Бровковича) в истории русской мысли XIX—XX веков. Уфа, 2015. С. 327—345.

⁹³ См., например: *Волинский А. Л.* Нравственная философия гр. Л. Н. Толстого // Вопросы философии и психологии. 1890. Кн. 5. Отд. II. С. 26—45; *Грот Н. Я.* Нравственные идеалы нашего времени: Фридрих Ницше и Лев Толстой // Там же. 1893. Кн. 1 (16). Отд. I. С. 129—154; *Оболенский Л. Е.* Л. Н. Толстой: Его философские и нравственные идеи: Крит. этюд. СПб., 1886; 2-е изд., испр. и доп.: СПб., 1887.

⁹⁴ *Преображенский Ф. П., свящ.* 1) Граф Л. Н. Толстой как мыслитель-романист: (Крит. этюд) // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1892. Кн. 7, ч. 2. Отд. I. С. 1—43; 2) Учение Л. Н. Толстого о смысле жизни по суду христианства: Толки о Л. Толстом в литературе и обществе // Пастырский собеседник. 1898. № 7, 14 февр. С. 97—105; № 8, 21 февр. С. 113—121; № 9, 28 февр. С. 134—137.

⁹⁵ *Розанов С. Г., свящ.* Граф Л. Н. Толстой как проповедник христианских добродетелей воздержания и поста // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1892. Кн. 6, ч. 3. Отд. II. С. 219—242.

⁹⁶ *Филевский И. И., свящ.* 1) По поводу литературных толков о графе Л. Н. Толстом // Вера и разум. 1892. № 7. Апрель, кн. 1. Отд. церковный. С. 425—452; 2) Сущность христианской нравственности в отличии ее от моральной философии графа Л. Н. Толстого // Там же. 1893. № 11. Июнь, кн. 1. Отд. церковный. С. 711—750; 3) Новое «звание» гр. Л. Толстого // Душеполезное чтение. 1899. Ч. 3. Октябрь. С. 352—358 (по поводу суждений В. В. Розанова о Л. Толстом-«богovidце»).

⁹⁷ *Ремезов М. И.* 1) Ключ Л. Н. Толстого к пониманию Св. Писания: (Критический опыт) // Пензенские епархиальные ведомости. 1887. № 20, 15 окт., ч. неоф. С. 1—20; 2) В чем состоит счастье?: (Критический очерк учения об этом предмете Л. Н. Толстого) // Церковный вестник. 1889. № 11, 16 марта. С. 199—200.

⁹⁸ *Троицкий В. И.* Учение графа Л. Н. Толстого о «смысле жизни» // Православное обозрение. 1891. Т. 1. Февраль. С. 337—368.

⁹⁹ *Цветков З.* «Мысли о жизни» графа Л. Н. Толстого: Крит. разбор // Благовест. 1892. Вып. 36, 15 апр. С. 1163—1171; Вып. 37, 1 мая. С. 1183—1228.

противоречий и вместо полемики сравнивает воззрения Толстого с идеалами православной веры и с пастырским участием упрекает мыслителя в узком и одностороннем понимании им евангельских истин.

Благой замысел «народных рассказов» писателя («призыв к нравственному возрождению») портит, считает отец Антоний, то, что путь к этому возрождению, вопреки аскетическому учению Церкви, оказывается необыкновенно легким: «По гр. Л. Толстому выходит, будто нравственное совершенство достигается не через постепенное тяжкое воспитание и упорную душевную борьбу, а является плодом единичного, чуть ли не мгновенного уразумения истины»¹⁰⁰. Поэтому столь неубедительны созданные писателем «типы бесхарактерных идеалистов» (Пьер, Левин, «молодой помещик»). В одной из своих работ отец Антоний соотносит душевное состояние Толстого с внутренним миром известных литературных героев: Онегина, Печорина, Раскольникова и др. Не зная Христа, все «они ненавидят зло, но не приходят к добру», обречены «мучиться злом и не иметь возможности пребороть его, ибо оно-то и представляется для них основой мира»¹⁰¹.

Отец Антоний рассматривает главным образом этические воззрения писателя. Обычно он удачно сочетает общедоступное изложение с глубоким анализом философских основ толстовской морали, доказывая их сокровенное родство с атеистическими доктринами. Любопытно, что сам Толстой пожелал познакомиться со своим оппонентом и после «мягкой, доброжелательной беседы» с ним говорил, что его «понимает только о. Антоний»¹⁰².

Но, конечно, хотя необходимость борьбы с «еретическими измышлениями» подчас заслоняла от духовных критиков художественное творчество писателя, оно также получало оценку в церковных изданиях. Главным образом освещались произведения позднего периода, обыкновенно представляемые как «популярные иллюстрации» к религиозным взглядам Толстого. Обычно эстетические достоинства его прозы были в глазах духовных критиков «отягчающим обстоятельством»: «ядовитая начинка» вредных, с религиозной точки зрения, идей получала сладкую оболочку внешне безукоризненной художественности.

Например, в ряде духовных изданий перепечатывались статьи протоиерея Александра Никаноровича Иванова (1823—1916), редактора «Тульских епархиальных ведомостей», в которых осуждался «напускной мистицизм» «народных рассказов» Толстого, «Власть тьмы» была

¹⁰⁰ Русское дело. 1886. № 18, 23 авг. С. 2.

¹⁰¹ *Антоний, иером.*. Беседы о нравственном превосходстве православного понимания Евангелия сравнительно с учением Л. Толстого // Церковный вестник. 1888. № 34, 18 авг. С. 618.

¹⁰² *Рклицкий Н. П.* Краткое жизнеописание блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галицкого. Белград, 1935. С. XXII.

названа «порнографической драмой», а роман «Воскресение» — «клеветой злохудожной души»¹⁰³.

Особенно много откликов богословов и религиозных публицистов вызвала «Крейцера соната». Соглашаясь (иногда без оговорок) с суждениями Толстого о состоянии современной семьи и брака в образованном обществе, духовные писатели (священник П. Д. Городцев¹⁰⁴, А. Ф. Гусев¹⁰⁵, А. А. Завьялов¹⁰⁶, архиепископ Никанор (Бровкович)¹⁰⁷, священник Ф. П. Преображенский¹⁰⁸, архимандрит Тихон (Беллавин)¹⁰⁹) решительно опровергали «философию» писателя, преподнося им как истинно христианские воззрения. Так, богословы доказывали, что проповедуемый им брак целомудренный, без плотской любви, является насилием и даже отрицанием человеческой природы, а вовсе не евангельским по духу подчинением физической стороны брака его нравственной стороне.

На этом фоне задиристо-полюемическим выглядит «внецерковное собеседование» священника Михаила Ивановича Спасского (1876 — не ранее 1898) «Лев Толстой и христианский брак», отвергнутое редакциями духовных журналов и опубликованное в славянофильском «Русском труде». Упомянув, что «учительные выводы» Толстого возмутительны, Спасский исключительно высоко оценивает «пророчески вдохновенное» художественное творчество писателя последних лет. «Крейцера соната», по его словам, — «это великое, бессмертное, явно божественное произведение», написанное в духе Достоевского, который тоже обличал общественный разврат, создавая типы вроде Свидригайлова¹¹⁰. Не во всем бесспорная, работа Спасского замечательна новым, отнюдь не одномерно-обличительным подходом к Толстому. От прежних установок при анализе его произведений помогало отходить такой, например, вывод духовного критика о провиденциальном значении толстовского «богословствования»: «Толстому была

¹⁰³ *Иванов А., прот.* Нечто о графе Л. Н. Толстом // Пастырский собеседник. 1899. № 19, 8 мая. С. 286—288.

¹⁰⁴ *Городцев П. Д., свящ.* О браке и современном упадке семейной жизни: По поводу «Крейцеровой сонаты». СПб., 1891.

¹⁰⁵ *Гусев А. Ф.* О браке и безбрачии: Против «Крейцеровой сонаты» и «Послесловия» к ней графа Л. Толстого // Православный собеседник. 1890. Ч. 3. Декабрь. С. 1—88.

¹⁰⁶ *Завьялов А. А.* Брак и безбрачие: (По поводу «Крейцеровой сонаты» гр. Л. Толстого) // Странник. 1891. Т. 1. Январь. С. 90—102.

¹⁰⁷ *Никанор, архиеп.* Беседа о христианском супружестве, против графа Льва Толстого // Православное обозрение. 1890. Т. 3. Сентябрь. С. 3—46.

¹⁰⁸ *Преображенский Ф. П., свящ.* Христианский брак: Несколько слов о сущности и условиях христианского брака по поводу воззрений графа Л. Н. Толстого в его сочинениях «Крейцера соната» и «Послесловие» к ней. М., 1891.

¹⁰⁹ *Беллавин В. И.* Взгляд св. Церкви на брак: (По поводу ложных воззрений гр. Л. Толстого) // Странник. 1893. Т. 3. Декабрь. С. 640—652.

¹¹⁰ См.: *Спасский М. И., свящ.* Лев Толстой и христианский брак // Русский труд. 1898. Особое приложение к № 1, 3 янв. С. 25.

предназначена упорная борьба с Церковью к ее вящей силе и славе. И кто знает, не больше ли всех иных послужит граф Толстой к возвеличению православной Церкви...»¹¹¹.

Понятно, что художественное творчество Толстого чаще всего оценивалось духовными критиками только со стороны его религиозной проблематики, причем в контексте его «обновленного христианства», и подчас создавалось впечатление, что анализируется не проза мастера слова, а некие публицистические трактаты. Все же и такая критика имела свои достижения: лучшими ее образцами были, на наш взгляд, проповеди о Толстом талантливого киевского профессора *Акима Алексеевича Олесницкого* (1842—1907), своими трудами внесшего значительный вклад в развитие библейской археологии. Самое ценное в его по необходимости кратких характеристиках, отличающихся блестящей литературной формой, — внимание к идейному содержанию конкретных художественных образов.

Олесницкий, кроме того, был чуть ли не единственным духовным писателем, кто обращался к раннему периоду творчества Толстого. Ретроспективный взгляд позволял увидеть (в свете последующей творческой эволюции) то, что почти не замечалось ранее. К примеру, в «беседе», адресованной читателям «Войны и мира», Олесницкий рассуждает о толстовской философии истории. Фатализм писателя, проповедуемая им «спекулятивная мысль» о господстве «темной стихийной силы случаев», полагает он, родственны «течению языческого неверия»¹¹². Антихристианский смысл этой философии видит Олесницкий и в отрицании «всякой разумно-нравственной деятельности», свободного выбора христиан, «героев долга и закона»¹¹³.

Интересно сравнить с этими суждениями Олесницкого, представителя полемического направления духовной критики, мнение сторонника созерцательного направления Н. И. Барсова. По его словам, Толстой в «Войне и мире» «развивает (несколько мистически представляемую им) идею высшего божественного Промысла в судьбах человечества»¹¹⁴. Барсов считает, что героям «величавой эпопеи» свойственна «полнота духовной жизни». Олесницкий же так характеризует нравственные метания князя Андрея: отвергнув «всё без остатка, всё учение о Боге», «он не дышит свободно на этом просторе безверия»¹¹⁵.

¹¹¹ Там же. С. 29.

¹¹² *Олесницкий А.* Беседа о так называемых случайных событиях и обстоятельствах: (Читателям исторического романа графа Л. Н. Толстого «Война и мир») // Прибавления к Церковным ведомостям. 1890. № 35, 25 авг. С. 1162.

¹¹³ Там же. С. 1157.

¹¹⁴ *Н. Б. [Барсов Н. И.]* По поводу одного романа «Монах»: роман Вас. Немировича-Данченко // Церковный вестник. 1890. № 12, 22 марта. С. 212.

¹¹⁵ *Олесницкий А.* Беседа о бытии Божиим и богопознании // Прибавления к Церковным ведомостям. 1890. № 43, 20 окт. С. 1439.

Взаимодействие различных подходов духовной критики к литературе углубляло понимание творчества Достоевского и Л. Толстого, служа необходимым дополнением к традиционной светской критике.

Кроме того, критические интерпретации литературы, предложенные наиболее проницательными духовными писателями, содержали, по сути, богословское оправдание русской словесности в ее высших проявлениях и, следовательно, значительно сглаживали остроту противостояния секулярной культуры и веры. Сопоставление авторами церковных изданий Достоевского и Л. Толстого как антиподов со временем отошло на второй план, позволяя сосредоточиться на изучении индивидуальности каждого из этих писателей. При этом ставилась задача борьбы с феноменом, названным академиком А. М. Панченко «мирской святостью»¹¹⁶. А. И. Пономарев писал, что церковной критике надлежит «понизить в обществе преклонение пред поэтом», иначе литературные произведения «нередко делаются чуть ли не Евангелием жизни, из которого черпаются и мировоззрения, и правила нравственности»¹¹⁷.

Этот призыв был услышан в следующий период развития духовной критики: в начале XX в. деятельность ее представителей, сотрудников не только уже известных изданий, но и множества новых общественно-церковных органов печати, была необыкновенно напряженной. В этот период заметная тенденция к усилению роли созерцательного направления (богословского приятия светской культуры в принципе) входит во взаимодействие с новыми потребностями, прежде всего — необходимостью апологетического противодействия православно-модернистским интерпретациям литературы, подтачивающим позиции духовной критики изнутри. При этом Достоевский и Л. Толстой остаются в центре ее внимания.

¹¹⁶ *Панченко А. М.* Русский поэт, или Мирская святость как религиозно-культурная проблема // *Новый журнал*. СПб., 1991. № 1. С. 11—25.

¹¹⁷ [*Пономарев А. И.*] Поход против роскоши в беллетристике // *Странник*. 1900. Т. 2. Июль. С. 497.

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ, АЛЬМАНАХИ,
СБОРНИКИ 1890-1900-Х ГОДОВ:
ОТ «ТОЛСТОГО» ЖУРНАЛА К ЖУРНАЛУ-МАНИФЕСТУ**

Разговор об открытиях русского литературного модерна невозможен вне описания процессов, происходивших в развитии отечественной периодики, поскольку динамично развивающийся журнальный мир в начале XX в. многом определял организационный и сущностный облик литературного процесса.

Журнальная жизнь начала XX в. настолько яркое явление в отечественной культуре, что уже неоднократно становилась предметом отдельного самостоятельного исследования, как в истории журналистики, так и в истории литературы¹. Целенаправленное коллективное выступление писателей, поэтов, критиков в формате литературно-художественного журнала, альманаха и коллективного сборника стало отличительной чертой эпохи русского модернизма. При этом коллективные литературно-художественные издания были не только площадкой реализации отдельных творческих амбиций или устремлений, но и совершенно самостоятельным творческим высказыванием. Возможно, поэтому, при всем обилии научной и популярной литературы, посвященной разным коллективным изданиям начала XX в., феномен литературно-художественного журнала, альманаха, сборника продолжает привлекать к себе внимание².

Специфика исторического развития журнального мира начала XX в. в России определяется целым рядом параллельно развивающихся и взаимодействующих процессов: это капитализация прессы и приход в периодику частного капитала; это увеличение количества изданий и рост тиражей газетной и журнальной продукции (достаточно отметить, что согласно статистике, если в 1900 г. в России насчитывалось порядка 1000 периодических изданий, то в 1905–1907 гг. их количество превысило 3000³); это

¹ См.: Литературный процесс и русская журналистика конца XIX – начала XX века: 1890–1904. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1982; Русская литература и журналистика 1905–1917: Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984; Из истории русской журналистики начала XX века. М., 1984; *Колеров Модест*. Индустрия идей: Русские общественно-политические и религиозно-философские сборники 1847–1947. М., 2000; *Бережной А. Ф.* История отечественной журналистики (конец XIX – начало XX в.): Материалы и документы. СПб., 2003.

² См.: *Каверина Е. А.* Художественный журнал Серебряного века как эстетический феномен // Медиалингвистика. М., 2017. С. 103–105.

³ См.: *Бережной А. Ф.* История отечественной журналистики (конец XIX – начало

усовершенствование материально-технической базы (внедрение плоской печати и ротационных машин) и профессионализация журналистики (выделение ее профессиональных союзов и объединений); это появление и распространение массовых информационных изданий и «малой» бульварной прессы, которая начинает играть все большую роль в жизни общества; это особенно важный для данной темы процесс специализации периодических изданий. В это время происходит дифференциация изданий по тематическому принципу: выделяются общеполитические и партийные, научные и научно-популярные, педагогические, технические, военные, медицинские, спортивные, финансовые (биржевая пресса), церковные, морские, сатирические и развлекательно-досуговые издания. В начале XX в., в силу количественного роста и своеобразного «взросления» читательской аудитории периодика начинает различаться по целевой направленности. Появляются журналы для народного чтения и для интеллигенции, женские и детские, для специалистов, для массового читателя, для семейного чтения и т. д. Таким образом, журнальный мир начала XX в. оказывается весьма сложно структурированным и трудно поддающимся четкому и однозначному типологическому описанию феноменом.

Известно, что одной из отличительных черт эпохи модернизма в русской культуре стало утверждение групповых художественных идеологий, что неизбежно сказывалось на статусе литературно-художественных журналов, альманахов и коллективных сборников и требовало обновления их формы. Одной из особенностей культурно-исторического процесса начала XX в. является возникновение периодического издания нового типа – журнала-манифеста, главной задачей которого являлась декларация эстетических принципов того или иного литературного направления. Именно этот новый тип издания, собственно, и является одним из самых уникальных явлений модернистской культуры, определяющей взаимодействие литературы и журналистики в начале XX в. Однако его появление определено теми процессами, которые обозначились в отечественной культуре еще в конце XIX в.

Вторая половина XIX в. была отмечена бесспорным преобладанием среди печатных периодических изданий «толстого» журнала: это «Русский вестник» (1856–1906) и «Русское богатство» (1876–1918), «Вестник Европы» (1866–1918) и «Русская мысль» (1880–1918), «Русское обозрение» (1890–1898) и др. «Толстый» журнал имел универсальную структуру, состоящую из разделов: художественного (где осуществлялась публикация литературных произведений), критического (содержанием которого являлась публицистика и литературная критика), научного (с публикациями, освещающими основные направления и

достижения в развитии научной мысли), внешней политики (здесь речь шла о событиях за рубежом и об участии в них государства) и внутренней жизни (с анализом общественных явлений, столичных и провинциальных). К основным разделам добавлялись разделы «рамочные» – библиография, объявления и др. В различных изданиях эти рубрики могли называться по-разному, но в целом подобная структура была свойственна большому числу русских журналов «классического» типа. Этот синкретический тип журнала задавал тон общественной жизни и, одновременно, был генератором литературного процесса в России. «Толстый» журнал оформлял стремления русской интеллигенции к обретению своей социально-исторической значимости и существовал как единый организм и лаборатория, в которой через освоение разных сфер жизни вырабатывались и реализовывались «идейные течения». При разнообразии тематики в «толстом» журнале существовало единство подхода к оценке действительности, и эстетическое начало оказывалось подчиненным тому или иному *направлению*. Коммуникативная составляющая деятельности «толстых» журналов по преимуществу сводилась к задачам просветительским и воспитательным. В свое время Л. Д. Троцкий назвал русский «толстый» журнал «периодической энциклопедией», носящей универсально-образовательный характер⁴, и это замечание будет позже повторено в основных и наиболее авторитетных исследованиях этого феномена русской жизни⁵. Кроме того, журнал «классического» типа не только образовывал и просвещал своего читателя, но и *воспитывал* его, давал «духовный фокус» восприятия действительности, форму общественной ориентировки, и в перспективе целостную систему мировоззрения⁶. По этому поводу А. И. Рейтблат замечает: «В пореформенный период русский толстый журнал обычно представлял не культуру или литературу в целом, а какую-либо политическую и мировоззренческую группу. На своих страницах он выстраивал читателю свой образ общества, науки и литературы», и «поскольку журналы различались по своим идеологическим платформам, то факт подписки на то или иное издание (рядовые читатели подписывались обычно лишь на одно) означал принятие того, а не иного “образа мира”»⁷. В основе коммуникации, осуществляемой «толстыми» журналами со своим читателем, лежал «монолог», характер которого отличался известной утилитарностью и

⁴ Троцкий Л. Судьба толстого журнала // Троцкий Л. Литература и революция. М., 1991. С. 303.

⁵ См. например: *Евгеньев-Максимов В. Е., Максимов Д. Е.* Из прошлого русской журналистики. Л., 1930; *Махонина С. Я.* История русской журналистики начала XX века. М., 2004.

⁶ См.: Троцкий Л. Судьба толстого журнала. С. 301.

⁷ Рейтблат А. И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по социологии русской литературы. С., 2009. С. 37–38.

авторитарностью. «Толстый» журнал был своеобразной кафедрой и идеологической трибуной, а литературное движение мыслилось как органическое, но все же подчиненное развитию общественной мысли, явление. К литературному материалу редакции «толстых» журналов относились как к инструменту проведения в жизнь своих *направлений*, а литературные произведения, появлявшиеся на их страницах, утилитарно осмыслились как средство *воспитания* общественного сознания.

Однако уже в середине 1880-х гг. в журналистском сообществе все отчетливее звучит «отходная» «толстому» журналу⁸, требование освобождения журналов от «нравственных пут» и шаблонов, разграничения политики и культуры. Мысль о потере журналами своего руководящего значения, о неприспособленности тяжеловесного *журнала с направлением* к новым условиям российской действительности и социальным запросам становится злободневной дискуссионной темой. «Толстые» журналы теряют «сколько-нибудь определенную физиономию», «старое все переговорили, а нового ничего не знают» – отмечали «Книжки недели» в 1892 г.⁹

В 1890-е гг., когда, по известному определению Д. С. Мережковского, в истории русской литературы стали «слабо и непобедимо пробиваться на свет Божий» «тайные побеги новой жизни, новой поэзии»¹⁰, возникает ситуация острого противостояния русской традиционной «толстой» журналистики и нового литературного поколения. В 1899 г. Н. М. Минский отмечал, что «новая школа» в литературе, представленная именами К. Д. Бальмонта, З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского, Ф. Сологуба, находится на «осадном положении», «ей закрыты все журналы», но «ей принадлежит будущее»¹¹.

Однако следует сказать, что замечание это не совсем точно. На протяжении 1890-х гг. на страницах «толстых» журналов разных направлений, как старейших, так и вновь образованных, печатаются и стихи, и проза, и критические статьи, и переводы представителей молодой литературы. И если в начале 1890-х гг. эти публикации носят единичный и случайный характер, то к концу десятилетия они становятся вполне регулярными. Так, на страницах «Русской мысли», «Вестника Европы», «Наблюдателя», «Русского богатства», «Русского обозрения», «Нового Слова», «Начала» и других изданий

⁸ См.: Из общественной хроники // Вестник Европы. 1884. № 12. С. 942–948 (без подписи).

⁹ Нечто о журнальном однообразии // Книжки недели. 1892. № 1. С. 220 (без подписи).

¹⁰ Мережковский Д. С. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы // Мережковский Д. С. Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы. СПб., 2007. С. 501. (Сер. «Литературные памятники»).

¹¹ Минский Н. Русская литература за 1898 год // Новости и биржевая газета. 1899. № 28, 28 янв. С. 2.

печатаются стихи и переводы Мережковского, этюды и рассказы Гиппиус, стихи и переводы Бальмонта, рассказы Федора Сологуба, очерки и рассказы И. А. Бунина, М. Горького, Л. Н. Андреева. «Новых» писателей и поэтов печатают и появившиеся в конце XIX специализированные издания, отдающие приоритет вопросам культуры, литературы и искусства: «Труд», «Север», «Всемирная иллюстрация», «Мир божий», «Книжки недели», «Артист», «Журнал для всех», «Звезда»¹². Однако рецензенты и критики оценивали творческие начинания этих авторов либо весьма сдержанно, либо резко негативно, порой не уступая в выражениях откровенной брани, обильно представленной в этот период на страницах газет. Так, М. О. Меньшиков в «Книжках недели» называл молодую литературу «литературной хворью» и «новым пороком», сравнивая его с курением опиума¹³. Чуть более сдержанно, но не менее негативно выступает критик «Русского богатства», который не находит в новых произведениях «ясных и твердых идеалов» и призывает начинающих авторов «не удаляясь в область чистого пантеизма», взирать на «земные тревоги», учиться у «стариков»-литераторов, а не подписывать в ожидании «нового века» и «Неведомого Бога» «всем смертный приговор»¹⁴.

Фактически каждое выступление литературной молодежи вызывало негативный отклик, но что характерно, ни одно не проходило незамеченным.

Надо сказать, что и в среде литераторов новой формации зрел протест против большой журналистики, а «осада», которую приходилось им выдерживать, не была бездейственна. Достаточно вспомнить лекцию Д. С. Мережковского, прочитанную 26 октября 1892 г. в Русском литературном обществе в Петербурге «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы», в которой широко и поименно была развернута критика отечественной журналистики, обвиненной в уничтожении свободного духа русской литературы¹⁵. Можно вспомнить и боевой пафос рассуждений В. Я. Брюсова в заметке «О судьбах русской поэзии», написанной летом 1894 г.: «Вы, критики! Неужели вы вздумали остановить течение истории? Неужели вы не поняли факта, уже совершившегося много раз — старое сменяется новым, мы сменяем вас?.. О, близорукие! Еще посмеется над вами время, если только вас не забудут»¹⁶.

¹² См.: *Летопись литературных событий в России конца XIX – начала XX века: (1891 – октябрь 1917)*. М., 2002. Вып. 1: 1891–1900.

¹³ *Меньшиков М. О.* Литературная хворь // *Книжки недели*. 1893. № 6. С. 195.

¹⁴ [*Перцов П. П.* ?] Д. Мережковский. Символы. (Песни и поэмы). СПб. 1892 г. Ц. 1 р. 50 к. [Рец.] // *Русское Богатство*. 1892. № 11. С. 68, 70; подпись: П. П.

¹⁵ См.: *Мережковский Д. С.* О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. С. 458–502.

¹⁶ Цит. по: *Гудзий Н. К.* Из истории раннего русского символизма: Московские сборники «Русские символисты» // *Искусство*. 1927. Т. 3, кн. 4. С. 196.

Но если журнальная и газетная критика нападала на молодых литераторов весьма стройным хором и почти единым фронтом, то последние такой возможности были лишены. Перед ними остро стояла проблема обретения собственной кафедры для выступления и защиты своей творческой позиции. Не имея широкого, а главное, самостоятельного доступа к страницам журналов, в 1890-е гг. они попытались использовать форму альманаха и коллективного сборника.

В 1894–1895 гг. увидели свет три выпуска знаменитого сборника «Русские символисты», инициатором которых, как известно, был В. Я. Брюсов¹⁷. Количество представленных в этих сборниках стихотворений не было значительным, а первый выпуск и вообще трудно было назвать *коллективным выступлением*, т. к. из 22-х представленных в нем поэтических текстов, большая часть, как и заметка «От издателя», подписанная вымышленным именем А. В. Маслова, принадлежали самому Брюсову, а меньшая – его гимназическому товарищу А. Л. Миропольскому (псевдоним А. А. Ланга). Позже к авторскому коллективу сборника примкнули Э. Мартов (А. Э. Бугон), В. Е. Хрисонопуло, Н. Нович (Н. Н. Бахтин), Г. Заронин (А. В. Гиппиус)¹⁸.

О значении выхода в свет сборников «Русские символисты», скромно оформленных «трех тоненьких книжечек», неоднократно писали исследователи. В свое время еще Н. К. Гудзий отметил: «Своим шумным выступлением он (сборник – Г. П.) во всеуслышание заявил о том, что пришло новое поэтическое направление. Обильные нападки критиков лишь усилили позицию смелых новаторов, создав им известность и своеобразную популярность. Когда это было достигнуто, и голос был услышан, наступила пора вдумчивой работы и серьезного труда. Символисты победили и преодолели инертность читательских вкусов. Символизм был широко признан, и три тощих московских сборника в этом признании сыграли бесспорную историческую роль»¹⁹. Это замечание Н. К. Гудзия – исчерпывающая характеристика роли, сыгранной брюсовскими сборниками в историко-литературном процессе. Однако она не проясняет, в силу чего «Русские символисты» вызвали повышенное внимание критики, что в этих «тощеньких книжечках», как окрестил их критик «Всемирной иллюстрации»²⁰, неброских и непритязательных с точки зрения

¹⁷ Русские символисты. М., 1894. Вып. 1: Валерий Брюсов и А. Л. Миропольский (тираж – 200 экз.); Русские символисты. М., 1894. Вып. 2: Стихотворения Дарова, Бронина, Мартова, Миропольского, Новича и др. Вступ. заметка Валерия Брюсова (тираж – 400 экз.); Русские символисты. М., 1895. [Вып. 3]. Лето 1895 (тираж – 200 экз.).

¹⁸ См.: Иванова Е. В., Щербаков Р. Альманах В. Брюсова «Русские символисты»: судьбы участников // Блоковский сборник XV. Тарту, 2000. С. 33–76.

¹⁹ Гудзий Н. К. Из истории раннего русского символизма: Московские сборники «Русские символисты». С. 218.

²⁰ [Краснов Пл. Н.] Русские символисты. Выпуск I. Валерий Брюсов и А. Л.

оформления брошюрках, так взбудоражило литературный мир.

На фоне развитой в культуре XIX в. традиции коллективного сборника и альманаха «Русские символисты» смотрелись весьма и весьма странно, воспринимались как «литературный курьез»²¹, «плод остроумной фантазии»²², а в журнальных откликах на их появление в печати содержалась не только ирония, но и максимальное удивление, которое переросло в журналистский скандал. Вопросы вызывал состав участников сборников, сомнения – природа стихов, включенных в них. «И по форме, и по содержанию — это не то подражания, не то пародии на наделавшие в последнее время шуму стихи Метерлинка и Малларме», – писал Пл. Краснов²³. Причина удивления в большой мере была связана с откровенно эпатирующим характером ряда текстов, вошедших в состав «Русских символистов»²⁴, но не только. Сборники демонстрировали какой-то особый непонятный способ подачи литературного текста. Сама их структура вызывала массу вопросов. С одной стороны, «Русские символисты» принципиально позиционировались как *коллективное* выступление молодых авторов, с другой – их построение ориентировало на принципы *авторского сборника* середины XIX в., например, А. А. Фета. Особенно это касалось второго выпуска, поэтический материал которого был распределен по тематическим разделам: «Ноты», «Аккорды», «Гаммы» и «Сюиты», но с демонстративно нарушенной порядковой последовательностью: III, II, IV, I.

Нетрадиционно и в определенном смысле провокационно звучали и издательские заметки, которыми открывались сборники. Так, выступление издателя во втором выпуске имитировало форму частной переписки, и было представлено как «ответ» очаровательной незнакомке, которой издатель разъясняет свой взгляд на сущность символизма, декадентства, переводя эстетическую дискуссию в пространство частной беседы, личного разговора и опосредованно призывая к своего рода соучастию, сопереживанию, сотворчеству. В. Я. Брюсов, последовательно апеллируя к впечатлению, настроению, мнению читателя, ориентировал его на новый способ восприятия текста. В свою очередь,

Миропольский. Москва. 1894 // Всемирная иллюстрация. 1894. № 1319, 7 мая. С. 318; подпись: П. Кр.

²¹ [Никольский В. В.] Московские символисты // Новое время. 1894. № 6476, 10 марта. С. 2; подпись: Иванушка Дурачок.

²² [Коринфский А.] Русские символисты. Выпуск I: Валерий Брюсов и А. Миропольский. Москва. 1894 г. // Север. 1894. № 21, 22 мая. С. 1057–1058; подпись: Кор. А-н.

²³ [Краснов Пл. Н.] Новости печати: Русские символисты. Выпуск I: Валерий Брюсов и А. Л. Миропольский. Москва. 1894 // Всемирная иллюстрация. 1894. № 1319, 7 мая. С. 318; подпись: Пл. К.

²⁴ Достаточно указать на скандальную известность однострочного стихотворения Брюсова «О, закрой свои бледные ноги».

игра, мистификация, которую почти сразу почувствовала искушенная критика, была связана с желанием Брюсова представить сборник как акт *коллективного творчества*.

Резкая критика в адрес «Русских символистов» не могла не задеть Брюсова. «Ругательства в газетах меня ужасно мучат», – записывает он 8 сентября 1895 года в дневнике²⁵. Однако в том же году признается: «“Русские символисты” достигли, чего хотели — исполнили свое дело. Наши выпуски служили новому в поэзии, в каких бы формах это новое ни выражалось. In tyrannos <Против тиранов – лат.> — вот каков был наш девиз. <...> Не останавливаться ни перед чем! Дерзать на все! — вот завет»²⁶.

Коллективные выступления литераторов в 1890-е гг. были представлены не только «наделавшими шуму» «Русскими символистами», но и целым рядом классических по формату сборников и альманахов. В 1895 г. появилась антология «Молодая поэзия. Сборник избранных произведений молодых русских поэтов», составленный П. и В. Перцовыми, в котором приняли участие уже 42 поэта. Однако состав участников сборника был слабо дифференцирован. В нем были опубликованы стихи как собственно поэтов, исповедующих «новые идеи» и «новое искусство»: Н. М. Минского, Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсова, К. Д. Бальмонта, так и их предшественников, поэтов «эпохи безвременья», наследников классического стиля и традиций русской поэзии XIX века: К. М. Фофанова, В. А. Шуфа, Н. А. Энгельгарда, Н. А. Цертелева, И. О. Ляleckина, В. Л. Величко, К. Н. Льдова, В. Юрьева (В. Ю. Дрентельна) и др.²⁷

К этому же периоду относится и ряд коллективных литературных предприятий писателей и литераторов, уже получивших известность и заслуживших авторитет у читательской аудитории: сборник Общества любителей российской словесности «Почин» (1895, тираж 2150 экз.), в котором приняли участие А. П. Чехов («Супруга»), Л. Н. Толстой («Три притчи»), а также были опубликованы статьи П. Д. Боборыкина, А. Н. Веселовского, Н. И. Стороженко и др.; «Сборник журнала “Русское богатство”» (1899, тираж 11000 экз.), вышедший под редакцией Н. К. Михайловского и В. Г. Короленко и представивший на суд публики роман самого Михайловского «Карьера Оладушкина (В провинции)», рассказы В. Г. Короленко («Маруся»), Д. Мамина-Сибиряка («У святых могилок»), Л. Мельшина (П. Ф. Якубовича) «На службе общества» и др., а также статьи П. Ф. Гриневича (П. Ф. Якубовича)

²⁵ Брюсов В. Дневники. Автобиографическая проза. Письма. М., 2002. С. 38.

²⁶ Цит. по: Гудзий Н. Из истории раннего русского символизма: Московские сборники «Русские символисты». С. 218.

²⁷ Об этом см.: Перцов П. П. Литературные воспоминания: 1890–1902 гг. М.; Л., 1933. С. 160; Молодяков В. Э. «Молодая поэзия» – через сто лет // Библиография. 1995. № 5. С. 76–84.

«А. С. Пушкин», А. Г. Горнфельда «Муки слова», В. А. Мякотина «Из Пушкинской эпохи»²⁸. И все же это были, как точно определил П. П. Перцов, «литературные окаменелости», представляющие «археологический» интерес²⁹.

На этом фоне несколько выделился альманах «Денница», вышедший под редакцией П. П. Гнедича, К. К. Случевского и И. И. Ясинского (на титуле – 1900, тираж 2400 экз.), который стал результатом издательской деятельности кружка поэтов, собирающихся по пятницам у К. К. Случевского. Среди участников альманаха – Allegro (П. С. Соловьева), С. А. Андреевский, К. Д. Бальмонт, В. В. Барятинский, В. П. Буренин, П. И. Вейнберг, В. Л. Величко, В. П. Гайдебуров, З. Н. Гиппиус, П. П. Гнедич, А. А. Голенищев-Кутузов, В. М. Грибовский, А. А. Коринфский, М. А. Лохвицкая, К. Н. Льдов, Д. С. Мережковский, Н. М. Минский, К. К. Случевский, Федор Сологуб, К. М. Фофанов, О. Н. Чюмина, Т. Л. Щепкина-Куперник, И. И. Ясинский и др. Как было заявлено организаторами, программа альманаха не преследовала «никаких партийных целей», кроме стремления к «идеалам Добра и Красоты» через воскрешение «полузабытых издательских предприятий незабвенной пушкинской плеяды»³⁰. Но и это коллективное начинание было воспринято как изжившая себя архаика. Критик журнала «Наблюдатель» зло иронизировал по выходе альманаха в свет, замечая, что 44 «разношерстных участника» хотят воспроизвести «идеальное ветхозаветное общество», где «будут возлежать вместе “овцы, козлища, львы, тигры и шакалы”...»³¹.

На самом рубеже веков была осуществлена еще одна попытка коллективного выступления представителей «новой» литературы: в 1899 г. вышел в свет сборник под названием «Книга раздумий», участниками которого стали К. Д. Бальмонт (он же был и организатором этого литературного предприятия), В. Я. Брюсов, М. Дурнов и Ив. Коневской. История этого сборника прослежена в специальной работе Н. А. Богомолова, который отметил, что «“Книга раздумий” вольно или невольно стала одним из манифестов нового этапа в развитии русского символизма, и не только того извода, который представляли его авторы, а общей тенденции»³².

Действительно, в отличие от названных выше литературных альманахов и

²⁸ Вторым изданием сборник вышел в 1900 г. тиражом 11000 экз.

²⁹ Перцов П. Литературные окаменелости // Мир Искусства. 1899. № 24. С. 91, 92.

³⁰ От редакции // Денница. Альманах 1900 года, изданный под редакцией П. П. Гнедича, К. К. Случевского и И. И. Ясинского. СПб., 1900. С. III, IV.

³¹ Денница. Альманах 1900 года, изданный под редакцией П. П. Гнедича, К. К. Случевского и И. И. Ясинского. СПб. [Рец.] // Наблюдатель. 1900. № 3. С. 18; 2-я паг. (без подписи).

³² Богомолов Н. А. Вокруг «Серебряного века». М., 2010. С. 207.

сборников, «Книга Раздумий» представляла собой явно концептуализированное творческое пространство: стихи всех четырех авторов, принявших участие в издании, были связаны взаимными посвящениями и общей философской направленностью. Это хорошо почувствовал, казалось бы, далекий от устремлений новой поэзии А. В. Амфитеатров, хотя и оценил негативно. «...все четверо поэтов, – язвил Old Gentleman (А. В. Амфитеатров), – раздумывают так похоже друг на друга, что весьма трудно различать, где кончает раздумывать г. Бальмонт и начинается Валерий Брюсов, где свершился мысленный путь г. М. Дурнова и началась поэтическая тропа г. Ив. Коневской»³³. Общее восприятие «Книги Раздумий» было весьма и весьма вялым. Даже Вл. Гиппиус, представитель того же символистского круга, писал: «Какой общий смысл *Раздумий*, какое направление соединило четырех авторов, и отсюда – в чем значение такой брошюры? – остается неясным»³⁴. Неудача сборника, констатированная в одной из дневниковых записей В. Я. Брюсова («Вышла, наконец, “Книга Раздумий”, которую ждали долго и томительно. Вышла, но что дальше, не знаю»³⁵), во многом определялась не содержанием, а традиционностью формы подачи материала, которая уже изжила себя.

Классическая форма литературного альманаха и коллективного сборника как слабо дифференцированного собрания художественных произведений, представляющих срез литературных устремлений той или иной литературной институции или связанных какой-либо тематической направленностью³⁶, более не удовлетворяла читательскому спросу. Не устраивала она и самих литераторов. 18 февраля 1895 г. В. Я. Брюсов пишет П. П. Перцову в связи с планами издания вышеупомянутого сборника «Молодая поэзия»: «Я давно мечтал о таком сборнике, и, думаю, не я один. Пора, пора оглянуться, оценить Молодую Поэзию, хотя... хотя наводит она на грустные думы... <...> ...Кажется, Вы лучшего мнения о молодой поэзии? Нет!! ее может оживить только сноп ослепительно ярких лучей; тогда у нее найдутся и силы, и чувства; теперь же она – труп с открытыми глазами»³⁷. В этом брюсовском признании в метафорической форме представлено чаяние такого органа, который мог бы «ослепить», преобразить окружающую литературную реальность, влить в нее энергию жизни. Подобный замысел мог быть осуществлен только в формате

³³ [Амфитеатров А. В.] Литературный альбом. XII // Россия. 1900. № 328, 24 марта. С. 2; подпись: Old Gentleman.

³⁴ [Гиппиус В.] Книга Раздумий: К. Бальмонт, В. Брюсов, М. Дурнов, Ив. Коневской. Москва. 1900 г. [Рец.] // Мир искусства. 1900. № 5–6. С. 107; подпись: В.

³⁵ Брюсов В. Дневник. Автобиографическая проза. Письма. С. 94.

³⁶ Как, например, «Пушкинский сборник: (В память столетия дня рождения поэта): 1799–1899 г.» (СПб., 1899).

³⁷ Письма В. Я. Брюсова к П. П. Перцову: (К истории раннего символизма). М., 1927. С. 7–8.

регулярного периодического издания – журнала. Это очень хорошо чувствовали молодые писатели и поэты. Не случайно «гвоздем мечтаний» Д. С. Мережковского в этот период становится мысль о литературном журнале³⁸. «Нам нужно по-новому, по-своему “идти в народ”, – писал Д. С. Мережковский в мае 1900 г. П. П. Перцову, – Я чувствую, как это трудно, почти невозможно, труднее, чем нигилистам. Но... современный культурный слой в России не может нам ответить – он весь или наивно-либерален, или наивно-декадентен, т. е. гнил до конца... что-то везде, во всех (даже в марксистах) совершается, зреет, и мы пойдем навстречу»³⁹.

Условия для появления такого литературного органа возникнут чуть позже, а в середине 1890-х гг. свои страницы молодым литераторам предоставил журнал «Северный вестник», который издавался с 1885 г. как журнал народнического толка, а в 1891 г. резко сменил свою направленность, чему способствовали сначала выход из состава участников журнала Н. К. Михайловского, а позже – Б. Б. Глинского и фактический переход журнала в руки писательницы и переводчицы Л. Я. Гуревич. С 1891 г. (по 1895 год) формально редактором журнале являлся М. Н. Альбов, а фактически его возглавлял А. Л. Волынский (А. Л. Флексер).

А. Л. Волынский – яркий и самобытный литератор, оставившая заметный след в истории русской литературы начала XX в. В журнале печатались признанные к тому времени писатели и поэты: Я. П. Полонский, А. П. Чехов, Н. С. Лесков, Л. Н. Толстой, но редакционную стратегию «Северного вестника» Волынский основывал на идее борьбы за новую эстетику, «борьбы за идеализм». С этой целью к участию в журнале и были привлечены авторы, за которыми уже закрепилось определение символистов, – Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Федор Сологуб. Наиболее значимым периодом сотрудничества их с журналом стала первая половина 1890-х гг. За это время на страницах журнала были опубликованы многие знаковые для становления символизма произведения: рассказы, повести, стихотворения, статьи. Как замечает Н. А. Богомолов, «роль “Северного Вестника” <...> трудно переоценить: впервые настоящий, традиционный “толстый” журнал открыл свои страницы группе символистов, позволив им опубликовать принципиальные, отчасти даже декларативные произведения, составившие в дальнейшем основу творческого багажа всего русского символизма»⁴⁰.

³⁸ Ср.: «Литературный журнал составляет теперь гвоздь его (Мережковского. — Г. П.) мечтаний...» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1976. Т. 5. С. 131; письмо А. П. Чехова к А. С. Суворину от 22 ноября 1892 г.).

³⁹ Письма Д. С. Мережковского к П. П. Перцову / Публикация и примечания М. Ю. Кореневой // Русская литература. 1991. № 3. С. 147.

⁴⁰ Богомолов Н. А. Журналистика русского символизма. М., 2002. С. 27–28. См. также:

Между тем сотрудничество авторов с редактором «Северного Вестника» не было простым, отношения осложнялись характером А. Л. Волынского, мыслителя-индивидуалиста, своевольного и деспотичного, которого Н. М. Минский назовет «литературным погромщиком по темпераменту» и «бесноватым во храме»⁴¹.

Фактически, если символисты стремились использовать «Северный вестник» для широкого распространения своих творческих опытов и художественных стратегий, то А. Л. Волынский действовал очень избирательно, исходя из своих целей проповеди и распространения своеобразно понятого эстетически-философского идеализма. Далеко не все представители молодой литературы печатались на страницах «Северного вестника». Не было доступа к публикации своих произведений у обозначившейся к середине 1890-х гг. группы московских поэтов, в частности у В. Я. Брюсова, да и многие петербургские литераторы, в том числе и «воинственные молодые монахи раннего символизма»⁴² А. Добролюбов, Вл. Гиппиус, Ив. Коневской не появлялись в журнале. Таким образом, консолидирующей функции журнал выполнить не смог.

В этой связи весьма показательна история отношений с «Северным вестником» К. Д. Бальмонта, прослеженная П. В. Куприяновским⁴³. Многие инициативы и материалы, которые Бальмонт предлагал журналу, остались без внимания со стороны Волынского. Известно обращение раздосадованного поэта к последнему от 19 февраля 1897 (?) г.: «Многоуважаемый Аким Львович, посылаю Вам два стихотворения, не испытывая, впрочем, надежды, что Вы напечатаете их. Я совершенно теряюсь в догадках относительно того, какие требования предъявляете Вы к стихам. Но что делать, буду посылать то, что у меня есть. Я уже начинаю привыкать к отсутствию возможности печататься и к полному литературному одиночеству»⁴⁴.

Внутренние редакционные конфликты, которыми отмечена жизнь «Северного вестника» во второй половине 1890-х гг., вплоть до его закрытия в 1898-м, не способствовали ни объединению молодых литературных сил, которые лишь «ютились» в

Гуревич Л. Я. История «Северного вестника» // Русская литература XX в.: 1890—1910 / Под ред. проф. С. А. Венгерова. М., 2004. С. 141–159; *Максимов Д. Е.* «Северный вестник» и символисты // Евгеньев-Максимов В. Е., Максимов Д. Е. Из прошлого русской журналистики. Л., 1930; *Cieslik K.* «Siewernyj wiestnik»: Zarys monograficzny. Szczecin, 1977; *Barda A.* La place du «Severnyj Vestnik» et de A. Volynskij dans les débuts du mouvement symboliste // Cahiers du monde russe et soviétique. 1981. Vol. 22, № 1. P. 119–125 и др.

⁴¹ *Минский Н. М.* Русская литература за 1898 год. С. 2.

⁴² *Мандельштам О. Э.* Шум времени // Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 4 т. М., 1991. Т. 2. С. 105.

⁴³ См.: *Куприяновский П. В.* «Оглядываюсь на прошлое...»: Журнал «Северный вестник» 1890-х годов и его литературная позиция. Воронеж, 2009. С. 192–194, 198.

⁴⁴ Цит. по: Там же.

редакции журнала⁴⁵, ни продуктивной проповеди нового искусства.

Между тем стоит обратить внимание на тот факт, что в 1898 г. закрылся не только «Северный вестник», но и другой «толстый» журнал – «Русское обозрение». В хронике «Московских ведомостей» от 2 января 1899 г. в связи с «исчезновением» двух крупных журналов, имеющих «громадные отличия друг от друга», отмечалось, что оба издания «боролись против современного узко-практического реализма и материализма мысли и жизни, – первый («Русское обозрение». – Г. П.) во имя положительных религиозно-государственных идеалов, второй («Северный вестник». – Г. П.) во имя философского идеализма, хотя и довольно туманного, критически недостаточно просветленного»⁴⁶.

Недолговечными оказались и новые журнальные проекты, только возникшие в 1890-х гг.: это журналы «Начало» (1899), «Новое слово» (1893–1897), «Жизнь» (1899), которые также предоставляли свои страницы молодым литературным силам. Так, 29 января 1899 г. Л. Я. Гуревич писала Э. И. Мешингу: «...moderne немножко прививаются в России: два новых журнала “Жизнь” и “Начало” (орган марксистов, которые только что свили себе гнездо) намерены допускать их на свои страницы...»⁴⁷, а в 20-х числах апреля того же года М. Горький обращался к И. А. Бунину: «В “Жизни” марксисты не столь жестокие, как в “Начале”, – доказательство апрельская книга. Давайте работать в одном органе!? Давайте соберемся – вся молодежь – около этого журнала, тоже молодого, живого, смелого»⁴⁸. Но сотрудничество новых политических и литературных сил в конечном итоге также оказалось малоубедительным.

Думается, что среди причин закрытия многих журналов в конце 1890-х гг. были не только цензурные ограничения, материальные сложности, неподготовленность и инертность читательской аудитории, но и сам формат изданий, восходящий к образцу журнала синкретического типа, который не выдерживал конкуренции на журнальном рынке с «малой» прессой, дешевыми специализированными изданиями. Не приспособлен был этот формат и к требованиям новой эстетики и литературы.

Л. Е. Оболенский отмечал, что беллетристические произведения, помещенные в «Начале», существуют «сами по себе» и «модной экономической доктрине» журнала не соответствуют⁴⁹. «Толстый» журнал мог существовать только при условии соблюдения

⁴⁵ Из русских изданий // Книжки недели. 1895. № 1. С. 198 (без подписи).

⁴⁶ [Введенский А. И.] Критические заметки. 1898 год // Московские Ведомости. 1899. № 2, 2 янв. С. 2; подпись: А. Басаргин.

⁴⁷ Цит. по: Летопись литературных событий в России конца XIX – начала XX века. Вып. 1. С. 370–371.

⁴⁸ Горький М. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М., 1997. Т. 1. С. 327.

⁴⁹ Оболенский Л. Е. Орган наших марксистов («Начало», журнал литературы, науки

баланса материалов, относящихся к литературе (культуре) и политике (общественной жизни), этот баланс был гарантией его *направления*. Любое нарушение такого баланса могло обернуться катастрофой, что, собственно, и произошло. «Северный вестник», отдав приоритет литературе, оказался без социального-политического материала, а марксистские журналы, отдавая приоритет «модному марксизму», задвигали литературу на задний план. Таким образом, перед писателями и поэтами модернистской формации остро стоял вопрос определения путей обновления журнальной формы, и здесь важную роль сыграла европейская традиция, в рамках которой процессы признания нового искусства и соответствующей дифференциации прессы произошли гораздо раньше. В 1880-е гг. в Европе возник феномен «малого» символистского журнала, а 1890-е гг. были отмечены появлением своеобразной гибридной журнальной формы, как целостного «художественного дискурса, существующего в единстве визуального и вербального»⁵⁰. Европейская литературно-художественная журналистика ориентировалась на синтез искусств как на основной принцип своей коммуникативной стратегии. В определенном смысле именно на этот путь развития встала русская литературно-художественная журналистика начала XX в.

Первым явлением в становлении нового типа литературно-художественного издания следует считать журнал «Мир искусства» (1899–1904)⁵¹, главным редактором которого стал С. П. Дягилев. 8/20 октября 1897 г. он писал Ал. Н. Бенуа: «Теперь проектирую <...> журнал, в котором думаю объединить всю нашу художественную жизнь, т. е. в иллюстрациях помещать истинную живопись, в статьях говорить откровенно, что думаю,

и политик. Январь – февраль) // Одесский листок. 1899. № 86, 1 апр.

⁵⁰ *Ариас-Вихиль М. А.* Французские символистские журналы рубежа веков: От литературы к синтезу искусств // Эпоха символизма: Встреча литературы и искусства: Коллективный труд. М., 2016. С. 258–283.

⁵¹ См.: *Асташкин А. Г.* 1) Журналы «Мир искусства» и «Новый путь»: Трансформация типа журнала-манифеста // Вестник Башкирского университета. 2013. Т. 18. № 3. С. 845–848; 2) Типологическая характеристика журнала «Мир искусства» // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2013. Т. 13. № 1. С. 78–84; 3) Журналы «Мир искусства» и «Аполлон»: Эволюция оформительской модели журнала-манифеста // Современные проблемы литературоведения, лингвистики и коммуникативистики глазами молодых ученых: Традиции и новаторство. Уфа, 2015. С. 147–150; *Мельник Н. Д.* 1) История создания журнала «Мир искусства» // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9: Филология. Востоковедение. Журналистика. 2015. № 3. С. 203–215; 2) Журнал «Мир искусства» и его создатели // Журналистский ежегодник. 2015. № 4. С. 89–94; *Шестаков В. П.* Эстетизм против дидактизма: (Об эстетической программе журнала «Мир искусства») // Теория художественной культуры. М., 2008. С. 233–263; *Галинская И.* «Мир искусства» и формирование художественной культуры начала XX в. // Культурология. 2003. № 3 (26). С. 123–126 и др.

затем от имени журнала устраивать серию ежегодных выставок, наконец, примкнуть к журналу новую развивающуюся <...> отрасль художественной промышленности»⁵². Издателями журнала были М. К. Тенишева и С. И. Мамонтов, участниками назывались сначала только художники: И. Репин, В. Васнецов, А. Васнецов, В. Поленов, Е. Поленова, В. Серов, М. Нестеров, И. Левитан, И. Остроухов, К. Коровин, М. Якунчикова, Ал. Бенуа, С. Малютин, Л. Бакст, М. Врубель, К. Сомов, А. Головин и др. Журнал состоял из трех отделов: 1) художественного, посвященного русским и иностранным мастерам, представляющим «интерес <...> для современного художественного сознания»; 2) художественно-промышленного, обращавшего «особое внимание на великие образцы старого русского искусства» «с целью поднятия художественно-прикладного искусства в самобытном русском духе»⁵³; 3) художественной хроники, включавшей, в частности, рецензии на новые книги. Первоначально журнал был ориентирован исключительно на художественное творчество, однако, программная статья «Сложные вопросы. Наш мнимый упадок. Поиски красоты» настолько широко обозначала задачи и цели журнала, что сотрудничество с литераторами и появление в журнале «Литературной части» было почти неизбежно. В этой статье С. П. Дягилев призывал к борьбе за передовое искусство современности, отвергающее «мещанские формулы» утилитаризма, отказывающееся от «религиозного и общественного служения», за искусство «самоценное, самополезное и главное — свободное», находящее красоту «и в добре, и в зле»⁵⁴. В свою очередь Ал. Бенуа высказывал надежду: «Авось нам удастся соединенными силами насадить хоть какие-то путные взгляды»; «Действовать нужно смело и решительно...»⁵⁵. Здесь устремления мирискусников — и того круга художников, который он представлял, и частично, молодых литераторов — совпадали.

Сотрудничали с литературным отделом «Мира искусства» Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. В. Розанов, Л. Шестов, Н. М. Минский, Федор Сологуб, К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, Андрей Белый и др. За время существования журнала в нем был опубликован значимый для формирующийся модернистской литературной традиции корпус текстов как оригинальных, так и переводных: З. Н. Гиппиус «На берегу Ионического моря», «Критика любви», Вл. Гиппиус «О новой точке зрения в русской критике», Д. С. Мережковский «Лев Толстой и Достоевский», М. Метерлинк «Современная драма», Н. Минский «Фридрих

⁵² Сергей Дягилев и русское искусство. М., 1982. Т. 2. С. 28.

⁵³ Мир искусства. 1899. № 1–2. [Объявление].

⁵⁴ Дягилев С. 1) Сложные вопросы. II. Вечная борьба // Мир искусства. 1899. № 1–2. С. 14, 15; 2) Сложные вопросы. IV. Основы художественной оценки // Мир искусства. 1899. № 3–4. С. 60.

⁵⁵ Бенуа Ал. Мои воспоминания. М., 1993. Т. 2. С. 222.

Нитше», «Философские разговоры», Ф. Ницше «Рихард Вагнер в Байрейте», Кальдерон «Чистилище Св. Патрика» (перевод К. Бальмонта), К. Д. Бальмонт «Поклонение кресту», Б. Бугаев (Андрей Белый) «Формы искусства», «Певица», Л. Шестов «Философия трагедии» и др.

Между тем стремление писателей, декларирующих новое искусство, превратить литературный отдел журнала в площадку для историко-литературных дискуссий, подчас выходящих за пределы эстетики как таковой в область философско-религиозных поисков, вызвало известное сопротивление со стороны основных организаторов журнала, которые стремились, в первую очередь, к продвижению изобразительного искусства и художественно-прикладного дела. Это противостояние привело к концептуальной аморфности журнала⁵⁶; к 1904 г. оно завершилось отходом от журнала литераторов, а позже и его прекращением.

«Синтеза искусств» по европейскому образцу не получилось. Продолжение философско-литературных дискуссий было перенесено на новую журнальную площадку, с весьма характерным и символичным названием «Новый путь» (1903–1904). Первый номер журнала вышел в самом конце 1902 г., а на его обложке значилось: «Новый путь. Ежемесячный журнал. Январь. 1903». Редакция журнала, по меткому определению его официального редактора-издателя П. П. Перцова, была «триипостасна» и включала помимо него еще «двоих Мережковских». Секретарем издания некоторое время состоял В. Я. Брюсов, обращаясь к которому П. П. Перцов писал: «...я уповаю еще на Вас, что Вы соблазните Леонида Андреева дать нам в первый выпуск хоть к<акой>-л<ибо> клочок (беллетристика – наше больное место!). Максима Горького мы решили единогласно отвергнуть, ради чистоты души <...> О Чехове мечтаем»⁵⁷.

История журнала «Новый путь» прослежена в многочисленных статьях и публикациях⁵⁸, нам важно отметить, что, пожалуй, именно в программе этого журнала

⁵⁶ Ср. оценку журнала «Мир искусства» в письме П. М. Третьякова к С. С. Боткину от 15 апреля 1898 г.: «Внешность хороша, но ужасно сумбурно и глупо составлено...» (цит. по: Сергей Дягилев и русское искусство. Т. 2. С. 160). Ср. также в письме Д. С. Мережковского к П. П. Перцову от 2 сентября 1899 г.: «Вы напрасно злорадствуете. Серьезно, я вашего крайнего презрения к Адонисам не разделяю. Что из того, что журнал смешон и глуповат. Не надо этого слишком бояться. Все-таки что-нибудь. Всего хуже — “ничего”... А если и “Мир искусства” погибнет, то ведь будет совершенное ничего» (Письма Д. С. Мережковского к П. П. Перцову. / Публ. и примеч. М. Ю. Кореневой // Русская литература. 1991. № 2. С. 135–136).

⁵⁷ Цит. по: *Лавров А. В.* Архив П. П. Перцова // Ежегодник Рукописного отдела на 1973 год. Л., 1976. С. 39.

⁵⁸ См.: Письма З. Н. Гиппиус к П. П. Перцову / Публ. М. М. Павловой // Русская литература. 1991. № 4. С. 124–159; *Колеров М. А.* 1) «Вопросы жизни»: История и

впервые была заявлена идея трансформации журнальной формы, хотя по существу она и осталась нереализованной, поскольку структура журнала фактически совпадала со структурой «толстого» журнала, а призывы, обозначенные в программной статье «Новый путь» П. Перцовым: «перейти от ненужной тяжеловесности русских ежемесячников к более эластичной и литературно-выдержанной форме западных» изданий⁵⁹, – не получили системного выражения.

Редакция попробовала по-своему осуществить и принцип «синтеза искусств», но следовала этому лишь в отдельных случаях. Так, публикацию подборки стихотворений А. А. Блока под общим заглавием «Стихи о Прекрасной Даме» П. П. Перцов сопроводил репродукциями «Благовещения» Леонардо да Винчи из галереи Уффици, фрески Беато Анджелико из флорентийского монастыря св. Марка и алтарным образом Нестерова из Киевского Владимирского собора. Таким образом, выстраивалось единое креолизованное текстовое пространство. Однако в другом случае Перцов отказался от предложения Л. Бакста оформить первую книжку журнала своими рисунками.

Среди авторов «Нового пути» Андрей Белый, Николай Бердяев, Валерий Брюсов, о. Сергей Булгаков, В. В. Водовозов, Антон Карташев, Дмитрий Мережковский, К. Бальмонт, Николай Лосский, Николай Минский, Василий Розанов, В. В. Успенский, Дмитрий Философов, о. Павел Флоренский, Семен Франк, Георгий Чулков, Г. Н. Штильман, А. Еропкин, Л. Н. Яснопольский, Зинаида Гиппиус, Федор Сологуб. За время своего существования журнал опубликовал большие подборки стихотворений Бальмонта, Минского, Балтрушайтиса, Блока, Брюсова, Сологуба, Гиппиус, давая возможность читателю целостно представить себе особенности индивидуальной творческой манеры каждого поэта; напечатал роман Мережковского «Антихрист. Петр и Алексей» и важную для понимания траектории развития русского символизма статью Вяч. Иванова «Эллинская религия страдающего бога».

Однако нельзя не сказать, что литературная часть журнала существовала на автономном положении, а главная цель писателей по преимуществу заключалась в распространении обновленной религиозно-философской мысли, проповедь которой звучала в ходе встреч на Религиозно-философских собраниях, организованных в Петербурге в 1901 г. Позже З. Н. Гиппиус вспоминала: «... идея возникла, конечно, из

содержание // Логос. 1991. № 2. С. 264–283; 2) Не мир, но меч: Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех» 1902–1909. СПб., 1996. С. 69–104; Переписка В. Я. Брюсова с Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус и Д. В. Философовым / Публ. М. В. Толмачева, комм. Т. В. Воронцовой // Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5/6. С. 276–322; 1996 № 7. С. 124–347.

⁵⁹ Перцов П. П. «Новый путь» // Новый путь. 1903. № 1. С. 7.

Собраний и для Собраний. Ведь все заседания были стенографированы, начиная с первого. А где они могли быть напечатаны? Конечно, нигде... Да и с других сторон – журнал наш нам был нужен. “Мир искусства” уже перестал совпадать с нашими устремлениями...”⁶⁰.

Значение журналов «Мир искусства» и «Новый путь» в истории модернистской литературы и модернистской журналистики, в первую очередь, связано с воздействием на читательскую аудиторию с целью «обновления ее сознания»⁶¹.

Параллельно с петербургскими модернистами, группирующимися вокруг четы Мережковских, на журналистской арене активно выступают и московские писатели, лидером которых является В. Я. Брюсов. В 1899 г. начинает свою деятельность символистское книгоиздательство «Скорпион» и, наконец, создаются условия для реализации коллективных устремлений. Московская группа в первые годы XX в. осваивает в первую очередь форму альманаха. Опыт коллаборации литераторов с художниками («Мир искусства») и мыслителями религиозно-философского направления («Новый путь») показывал, что в обоих случаях литература оказывалась в подчиненном положении. А формат альманаха позволял реализовать исключительно литературно-эстетические устремления⁶². Так Брюсов и близкие к нему писатели и поэты сделались «альманашниками»⁶³. Речь прежде всего идет о символистском альманахе «Северные цветы», идея которого, как это ни парадоксально, была подсказана А. В. Амфитеатровым, резко раскритиковавшим в 1900 г. выход в свет альманаха «Денница» на страницах газеты «Россия» и проведшем параллель между ним и альманахом А. Дельвига «Северные цветы»⁶⁴.

Создание альманаха с ориентацией на классический дельвиговский образец не только представляло новую литературу как наследницу великих традиций русской классики, но и консолидировало молодые литературные силы. В определенном смысле альманах «Северные цветы» должен был прорвать плотное кольцо «партийной» и «массовой» журналистики, которое преграждало модернистам путь к читателю. Причем

⁶⁰ Гиппиус Зинаида. Живые лица: В 2 кн. Тбилиси, 1991. Кн. 2. С. 227.

⁶¹ Гиппиус З. Торжество в честь смерти // Мир искусства. 1900. № 17–18. С. 85–94.

⁶² См.: Поярков Ник. Поэты альманахов // Поярков Ник. Поэты наших дней. М., 1907; Голубева О. Д. Из истории издания русских альманахов начала века // Книга: Исследования и материалы. М., 1960. Вып. 3. С. 300–359; Горбачевская О. Б. Из истории поэтических альманахов начала XX в. // Там же. М., 1983. Вып. 46. С. 126–134.

⁶³ Брюсов В. Дневники. Автобиографическая проза. Письма. С. 91.

⁶⁴ Ср.: «“Денница” – сборник не во вкусе “Северных цветов” Дельвига, но во вкусе “Ста русских литераторов” Смирдина, так зло и беспощадно осмеянных Белинским, – издания, где рядом с Пушкиным печатался Булгарин и рядом с Одоевским – Сенковский и Греч» ([Амфитеатров А. В.] Литературный альбом. II // Россия. 1900. № 263, 18 янв. С. 2; подпись: *Old Gentleman*).

обрести следовало в читателе, не истеричного и экзальтированного «либерала», «обывателя» и «безнадежного мещанина», пассивного потребителя литературной продукции, как о нем позже скажет А. Н. Толстой⁶⁵; речь шла о читателе, по определению К. Д. Бальмонта, «разумеющем»⁶⁶, на которого тот же А. К. Толстой будет указывать как на «составную часть искусства»⁶⁷.

Первый выпуск альманаха «Северные цветы на 1901 год» вышел в свет в 1902 г. (тираж – 3025 экз.), во введении к нему говорилось: «Возобновляя после семидесятилетнего перерыва альманах “Северные цветы” <...> мы надеемся сохранить и его предания. Мы желали бы стать вне существующих литературных партий, принимая в свой сборник все, где есть поэзия, к какой бы школе ни принадлежал их автор»⁶⁸. Насколько такой широкий подход оказался востребованным, видно из сохранившихся записей Брюсова, отметившего, что альманах «прельстил почему-то Бунина, и у него началась погоня за литераторами <...>. Бунин писал Максиму Горькому, тот отвечал: “Альманах? - могу”. В субботу, кажется, мы виделись с Горьким в Большой Московской. Как всегда, он в рубахе. Усы мужицкие. Полунамеренная грубость речи <...> Мне очень руку пожимал, просил прислать книгу. — “О вас давно слышан. Интересуюсь очень...”»⁶⁹; «Все “видные” литераторы давали вещи отвергнутые или запрещенные»⁷⁰.

Альманах был поделен на три отдела: «Драмы и рассказы» (драма «Святая кровь» З. Гиппиус, рассказы «Ночью» А. П. Чехова, «Поздней ночью» И. А. Бунина, «Умный и глупый» Марка Креницкого (М. В. Самыгина), «Капли» Ю. Балтрушайтиса); «Стихи» (А. Фета, К. Павловой, А. Добролюбова, К. Фофанова, К. Случевского, К. Бальмонта, Ф. Сологуба, М. Лохвицкой, Вл. Гиппиуса, П. Перцова, А. Курсинского, А. Федорова, И. Коневского, Ю. Балтрушайтиса, В. Брюсова и др.); «Письма, мемуары, статьи» (письма и записки А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, Вл. Соловьева, мемуары и письмо кн. А. И. Урусова, заметки «На полях непрочитанной книги» В. Розанова – о религиозном значении пола, статьи И. Коневского и В. Брюсова).

⁶⁵ Толстой А. Н. О читателе. В виде предисловия // Толстой А. Н. Собр. соч.: В 10 т. М., 1961. Т. 10. С. 63.

⁶⁶ [Бальмонт К. Д.] Лонгфелло. Песнь о Гайавате. С английского перевод И. А. Бунина. В стихах. Дешевое иллюстрированное издание. «Знание» СПб. 1903. Ц. 80 к. – Байрон. Манфред. Драматическая поэма. С английского перевод И. А. Бунина. «Знание». СПб. 1904. Ц. 40 к. // Весы. 1904. № 2. С. 62; подпись: Дон.

⁶⁷ Толстой А. К. О читателе. В виде предисловия. С. 64.

⁶⁸ Северные цветы на 1901 год, собранные книгоиздательством «Скорпион». М., 1902. [Предисловие. С. 1].

⁶⁹ Брюсов В. Дневники. Письма. Автобиографическая проза. С. 108.

⁷⁰ Там же. С. 119.

В качестве главного достижения «Северных цветов» Брюсов отмечал его организационно-объединительную стратегию. В обзоре русской литературы, помещенном в английском журнале «Athenaeum», он, продвигая свое детище, отметил, что «выход <...> альманаха <...> вызвал большую сенсацию. В нем впервые объединились в группе все те, кто деятельно выступал с позиций новой школы в русской поэзии; наиболее трезвые представители старшего поколения подают руку младшим, которые являются величайшими новаторами»⁷¹. В неопубликованном обзоре «Русская литература в 1901 году» Брюсов писал, что «все молодые русские поэты» «впервые, как сознательное целое, <...> противопоставили себя и свои заветы отживающим течениям»⁷².

Но проведение в жизнь столько широко заявленной программы и далеко идущих целей было сложно осуществимо в формате альманаха. Кроме того, дифференцирующая литературные силы инерция также не способствовала реализации брюсовских установок и его устремлений «в будущее». Уже второй выпуск альманаха «Северные цветы на 1902 год», вышедший в 1904 г. (тираж 1800 экз.), по преимуществу составил из оригинальных текстов, принадлежащих русским символистам, хотя в предисловии В. Я. Брюсов продолжал настаивать на «внепартийности» и «вседоступности» альманаха: «Издатели “Северных цветов на 1902 год” настаивают на отсутствии всякой партийности в выборе материала <...> Искренно высказанное мнение, новое и сознательное, имеет право быть выслушанным»⁷³.

Среди участников второго выпуска не было уже ни Бунина, ни Чехова. В альманах вошли стихи и проза Брюсова, Бальмонта, Сологуба, Коневского, Розанова, Минского, Мережковского, Гиппиус, Балтрушайтиса, Фофанова, Лохвицкой и др.; историко-документальный раздел издания («Статьи, письма») представлял «Записку А. С. Пушкина к В. И. Григоровичу», отрывки из писем Тургенева к Фету, статью Фета «Источник нашего нигилизма» и др. Та же картина наблюдается и в третьем выпуске: «Северные цветы. Третий альманах книгоиздательства “Скорпион”» (тираж – 1200 экз.). Его авторы – А. Блок, К. Бальмонт, Андрей Белый, В. Брюсов, З. Гиппиус, М. Волошин, А. Ремизов, Н. Минский и др.

Кроме альманаха «Северные цветы» первые годы XX в. были ознаменованы еще целым рядом коллективных выступлений. Выходит в свет «Литературно-художественный сборник», составившийся из стихотворений студентов Императорского Санкт-

⁷¹ Цит. по: Брюсовские чтения 1980 года. Ереван, 1983. С. 291–292.

⁷² Там же. С. 285.

⁷³ Северные Цветы на 1902 г., собранные книгоиздательством «Скорпион». М., 1902. [Предисловие. С. 1].

Петербургского Университета под руководством Б. В. Никольского с иллюстрациями студентов Императорской Академии художеств под редакцией И. Е. Репина (СПб., 1903, тираж – 1500 экз.). В сборнике приняло участие 34 поэта и 25 художников⁷⁴. Еще более значимым выступлением стали три выпуска «Альманаха “Гриф”», выпущенные одноименным издательством, организованным С. А. Соколовым⁷⁵.

Заметными были коллективные выступления и группы писателей, по преимуществу прозаиков, союз которых с символистами так и не состоялся и которые также стремились к обретению своей кафедры, хотя их заметная популярность в широкой читательской среде и лояльность к ним журнальной критики, не заостряли для них этой проблемы. В 1902 г. вышла «Книга рассказов и стихотворений» (тираж – 5000 экз.) – первое коллективное выступление участников литературного объединения «Среда». В «Книгу» вошли произведения А. М. Горького, Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. И. Куприна, И. А. Бунина, Л. Н. Андреева, Е. Н. Чирикова, Н. Д. Телешова, Б. К. Зайцева, И. В. Гославского, И. А. Белоусова и др. В письме к Н. Д. Телешову от 14 сентября 1902 г. А. П. Чехов отзывался о сборнике: «...многое мне понравилось, многое очаровало», особо выделяя при этом напечатанные здесь рассказы самого Н. Д. Телешова «В сочельник» и «Песня о слепых»⁷⁶. А в 1904 г. начинают выходить «Сборники товарищества “Знание”», которыми фактически руководит А. М. Горький, объединив вокруг себя и А. П. Чехова, и А. И. Куприна, и И. А. Бунина, и Л. Н. Андреева, и В. В. Вересаева, и Н. Г. Гарина-Михайловского, и К. П. Пятницкого, и С. Я. Елпатьевского, и Скитальца (С. Г. Петрова), и Е. Н. Чирикова, и др. 16 марта 1904 г. вышел первый «Сборник товарищества “Знание” за 1903 год» (тираж – 33000 экз.). В него вошли повесть Л. Андреева «Жизнь Василия Фивейского» (с посвящением Ф. И. Шаляпину), стихотворения и рассказ «Чернозем» И. Бунина, рассказ «Перед завесой» В. Вересаева, «Деревенская драма» Н. Гарина, поэма М. Горького «Человек», рассказы С. Гусева «В приходе», А. Серафимовича «В пути», Н. Телешова «Между двух берегов». Как видно из этого неполного списка, сборник также был ориентирован на представление публике произведений, имеющих не только эстетическое значение, но и содержащих в той или иной степени начало, соответствующее определенной социально-философской направленности. Всего с 1904 по 1913 г. вышло 40 выпусков «Сборников товарищества “Знание”», а критика по их поводу писала: «Каждый вновь выходящий сборник фирмы “Знание” вызывает живой

⁷⁴ См.: *Иванова Е. В.* Блок в кружке изящной словесности Б. В. Никольского // Александр Блок: Исследования и материалы. Л., 1991. С.199–212.

⁷⁵ См.: [Метнер Э. К.] Литература «новых» // Приднепровский край. 1903. № 1864, 3 июля; подпись: Э.; Чулков Г. Альманах кн-ва «Гриф» // Вопросы жизни. 1905. № 2. С. 315–319.

⁷⁶ *Чехов А. П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 11. С. 39.

интерес, сочувственное любопытство в *большой* публике, где, разумеется, преобладает молодежь. Это издание (помимо тех свежих сил, какие в нем сгруппировались) по своей идее и характеру было некоторым событием для всего нашего пишущего мира, в особенности для беллетристов»⁷⁷. Сборники товарищества «Знание» были ярким литературным явлением и весьма влиятельным вне какого бы то ни было направления. Так, символист А. А. Блок писал своему соратнику С. М. Соловьеву: «Начинаю чувствовать преданность и благодарность товариществу “Знание”»⁷⁸.

Следует отметить, что инициатива выхода в свет «Сборников товарищества “Знание”», преследовала и особые социальные и коммуникативные цели, что не прошло мимо внимания общественности. «В книге было 325 страниц, и стоила она один рубль. – вспоминал Н. Д. Телешов, – Авторам был выплачен гонорар, весьма повышенный по тогдашнему времени – чуть не втрое обычных журнальных норм. И, несмотря на это, на первой странице сборника было объявлено, что из прибыли с настоящей книги отчисляется: тысяча рублей в распоряжение Литературного фонда, тысяча – Высшим женским курсам, тысяча – Женскому медицинскому институту, тысяча – Обществу учителей и учительниц на общежитие для детей, тысяча – Обществу охранения народного здоровья на постройку детского дома и 500 рублей – на Народную читальню в Кеми. Объявление этих пожертвований произвело тогда потрясающее впечатление»⁷⁹. В отличие от символистских изданий «Сборники товарищества “Знание”» были благосклонно встречены критикой, высоко оценившей их и с художественной точки зрения, и как платформу для объединения писателей, находящихся в поиске новых принципов реалистического изображения действительности. По мнению критика «Мира Божьего» М. Неведомского, сборники концентрировали самые характерные черты современной литературы, заключающиеся, с одной стороны, в «тенденции к символизму», и, с другой стороны – в «сознании мучительном, хмуром <...> главным образом, отрицательном», окрашенном мыслью, что «жизни пора, наконец, сдвинуться с того постылого места, на котором она застаивается»⁸⁰. Об успехе вспоминали впоследствии и участники сборников, отмечая, что книги «расхватывались как магазинами, так и непосредственно публикой моментально <...> Книжные магазины не только подписывались на них заблаговременно, но и упрашивали

⁷⁷ [Боборыкин П. Д.] Литературное движение // Русское Слово. 1905. № 57, 1 марта; подпись: Рутений.

⁷⁸ Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960–1963. Т. 8. С. 117.

⁷⁹ Телешов Н. Записки писателя. М., 1950. С. 106.

⁸⁰ Неведомский М. О современном искусстве: (По поводу сборников «Знания») // Мир Божий. 1904. № 8. С. 18, 37–38; 2-я паг.

знакомых писателей помочь им подписаться, чтоб не пропустить очередь»⁸¹.

И все же коллективные выступления поэтов и писателей в начале XX в. в формате альманаха и коллективного сборника не снимали проблемы создания нового литературного журнала. Журнал для русского читателя оставался важным средством удовлетворения потребности литературного образования и духовного развития. Не случайно в первые годы XX в. так успешен был еженедельник для массового чтения «Журнал для всех» (1895–1906).

Задачи, которые брали на себя альманахи и сборники, были важными, но они не решали одной главной проблемы – проблемы читателя. Особенно острой она была для символистов, понимавших, что между ними и читателем стоит не только социально-политически ориентированная журналистика и массовая периодика, но, что и сам читатель не подготовлен к восприятию новой эстетики. Для решения этой проблемы нужен был регулярно выходящий журнал, и не простой, а нового типа – журнал-манифест, не только представляющий позицию новой литературной генерации и определяющий ее развитие, но и реализующий эстетическую экспансию. Таким журналом стал символистский журнал «Весы» («La Balance») (1904–1909), непосредственно отразивший основные этапы становления модернистского искусства в 1900-е годы, поэтому стоит обозначить более детально его эволюцию.

К заслугам журнала «Весы» следует отнести объединение сторонников «нового искусства», интегрирование отечественного и мирового культурного опыта. Без знания материала, который за шесть лет был представлен на страницах журнала невозможно сформировать полноценное представление о развитии русского искусства (литературы, живописи, архитектуры, музыки и т. д.) в XX в. В журнале участвовали поэты, писатели, философы, искусствоведы, художники (как русские, так и европейские), поэтому круг имен авторов достаточно широк. Среди русских участников журнала: Ю. К. Балтрушайтис, К. Д. Бальмонт, А. А. Блок, В. Я. Брюсов, Андрей Белый, М. А. Волошин, З. Н. Гиппиус, С. М. Городецкий, Н. С. Гумилев, В. В. Гофман, Вяч. Иванов, М. А. Кузмин, Д. С. Мережковский, Н. М. Минский, А. М. Ремизов, В. В. Розанов, С. М. Соловьев, Федор Сологуб, Д. В. Философов, Корней Чуковский, Эллис (Л. Л. Кобылинский) и др. Свои корреспонденции «Весам» представляли и иностранные авторы: Джованни Амендола, Адольф ван Беве, Эмиль Верхарн, Эсмер-Вальдор (Александр Мерсеро), Рене Гиль, Жан и Реми де Гурмоны, Дагни Кристенсен, проф. Уильям Ричард Морфилл, Павлос Нирванас, Эдвард Остерман, Джованни Папини, Станислав Пшибышевский, Максимилиан Шик, Франц Эверс и др. В отделе искусств выступали: Лоран Биньон, Игорь Грабарь, Мишель Кальвакоресси, Сергей

⁸¹ *Телешов Н.* Записки писателя. С. 108.

Рафалович, Альдо де Ринальдис, Александр Ростиславов, Иван Щукин и др. К изданию были привлечены художники: Л. С. Бакст, П. В. Кузнецов, Л. Г. Мейстер, В. Д. Милиоти, Л. О. Пастернак, Н. К. Рерих, Н. Н. Сапунов, К. А. Сомов, С. Ю. Судейкин, М. И. Шестеркин, Н. П. Феофилактов, Карл Вальзер, Адольфо де Каролис, Шарль Лакост, Эли. Надельман, Тео ван Риссельберг, Одилон Рэдон, Фидус (Хуго Хеппенер) и др.

На протяжении шести лет своего существования редакция «Весов» уделяла большое внимание не только публикации художественных и литературных произведений, но и информационно насыщенным аналитическим жанрам и формам. На страницах журнала размещались рецензии, библиографические и критические заметки, обзоры, статьи теоретического, эстетического и философского характера, биографические очерки, статьи по вопросам искусства, науки и литературы, хроники литературной и художественной жизни, куда входили отчеты о театральных и музыкальных представлениях, художественных выставках и др. Каждый номер журнала был наполнен информацией огромного объема и весьма различного характера, что тоже определяло неповторимую ценность издания.

Подготовка к изданию журнала «Весы» проходила в книгоиздательстве «Скорпион» (Москва, Театральная пл., д. Метрополь, кв. 23), основанном С. А. Поляковым при участии В. Я. Брюсова, К. Д. Бальмонта, Ю. К. Балтрушайтиса и др. Финансировал издание «Весов» и формально руководил журналом редактор-издатель С. А. Поляков. Фактическим редактором «Весов» с 1904 по февраль 1909 г. был Брюсов, которому удалось превратить «Весы» в идейный и организационный центр символизма.

На протяжении всего своего существования «Весы» печатались на лучшей бумаге верже, специально изготовленной для этого издания. Тиражирование «Весов» осуществлялось в типографии Общества распродажи полезных книг, арендуемой В. И. Вороновым (Москва, Моховая, д. кн. Гагарина).

«Весы» выходили ежемесячно по 12 номеров в год с 1904 по 1909 г. тетрадями от 80 до 100 и более страниц (некоторые из номеров по разным причинам были сдвоенными). Каждый номер журнала открывался фронтисписом, воспроизводящим миниатюру XIV в., и «Содержанием», которое было представлено на двух языках – русском и французском.

В 1904 году журнал имел подзаголовок: «Научно-литературный и критико-библиографический ежемесячник». Первый номер за 1904 г. открывался обращением к читателям, в котором редакция журнала, излагая свою издательскую программу, подчеркивала, что «Весы» – первый *критический* журнал в России. При этом в качестве образцов избирались такие издания, как английский «The Athenaeum», французский «Mercure de France», немецкое «Das Litterarische Echo», итальянский «Il Marzocco».

Особенностью критического журнала являлось отсутствие в нем художественных произведений: «Стихи, рассказы, все создания творческой литературы сознательно исключены из программы “Весов”. Таким произведениям – место в отдельной книге или в сборнике», – сообщалось в № 1 за 1904 г.

Каждый номер «Весов» за 1904 г. включал два отдела. В первом помещались статьи по вопросам искусства, науки и литературы. Сюда входили, кроме теоретических статей о задачах и средствах искусства, характеристики творчества выдающихся художников, их биографии, статьи по истории литературы и т. п. В области науки «Весы» по преимуществу касались тех вопросов, которые имели отношение к литературе и искусству. Второй отдел «Весов» был отведен для хроники литературной и художественной жизни. Сюда же входили отчеты о театральные и музыкальные представлениях, о выставках и пр.

Журнал «Весы» развивался очень динамично. Второй год его издания совпал с важными событиями в социально-политической жизни России, повлекшими за собой изменения условий существования отечественной периодики. № 1–10 за 1905 г. (как и все номера за 1904 г.) еще сопровождалась пометой о цензурном разрешении, а начиная с № 11 за 1905 г. после обнародования царского манифеста от 17 октября 1905 г. и формальной ликвидации цензуры, эта помета больше не появляется. В связи с революционными событиями 1905 г. был нарушен регулярный выход номеров «Весов». В октябре 1905 г. вышел сдвоенный номер: № 9–10 (сентябрь–октябрь), № 11 за 1905 г. рассылался подписчикам со значительным опозданием, а № 12 за 1905 г. рассылался уже в январе 1906 г. Начиная с № 1 за 1905 г. (и вплоть до последнего номера, вышедшего в свет в 1909 г.) журнал «Весы» выходил с новым подзаголовком «Ежемесячник искусств и литературы», указывающим на изменения в издательской программе журнала. В объявлении, размещенном в октябрьском номере журнала «Весы» за 1904 г. отмечалось: «В 1905 году „Весы“ будут выходить по прежней программе и при прежнем составе ближайших сотрудников, но все отделы журнала будут значительно увеличены»⁸². Действительно, по сравнению с 1904 г. общая структура журнала не изменилась, каждый номер «Весов» за 1905 г. состоял из тех же двух разделов. Однако внутренняя структура второго раздела журнала стала более разнообразной и усложнилась: выделились подразделы «Критика» и «Библиография».

Эти изменения во многом были определены развитием творческой позиции журнала, которая уже в объявлении в № 11 за 1904 г. была сформулирована так: «“Весы” – по

⁸² Весы. 1904. № 10. [Объявление].

преимуществу, журнал идей»⁸³.

На протяжении 1905 г. журнал продолжал оставаться критическим, но постепенно характер первого раздела начал меняться, и отражение «идей» стало происходить не только через критическую рефлексию, но и через представление художественных произведений: оригинальных (№ 12 журнала открывался публикацией подборки оригинальных стихотворений К. Д. Бальмонта) и переводных (О. Уайльда – № 3, Шиллера – № 5, О. Бердслея – № 11, Ж. Мореаса – № 12). Таким образом, в истории журнала «Весы» второй год издания стал во многом переходным.

В № 1 журнала за 1906 г. в разделе «От редакции» сообщалось о расширении программы «Весов»: «С 1906 г. в “Весях” печатаются, кроме критических и философских статей, – стихотворения, романы, повести, рассказы, драмы и все другие произведения творческой литературы. Но, по-прежнему, “Весы” будут знакомить читателей с литературной и художественной жизнью всего мира, в письмах из-за границы от собственных корреспондентов, в подробной библиографии русских и иностранных книг, в самостоятельных отчетах о выдающихся выставках, спектаклях, концертах и в ежемесячной летописи, литературной, художественной, театральной и музыкальной»⁸⁴. В 1906 г. наряду со статьями по вопросам искусства, науки и литературы систематически начинают публиковаться художественные произведения, в первую очередь, писателей, группирующихся вокруг издательства «Скорпион». А в конце года редакция журнала в обращении «К читателям» подчеркивала: «В 1907 году “Весы” вступят в четвертый год издания. За прошедшие три года их программа и направление выяснились с достаточной определенностью. “Весы” идут своим путем между реакционными группами писателей и художников, которые до сих пор остаются чужды новым течениям в искусстве (получившим известность под именем «символизма», «модернизма» и т. под.) и революционными группами, полагающими, что задачей искусства может быть вечное разрушение без строительства»⁸⁵. В этот период у сотрудников «Весов» появляется мысль о завершенности «первого круга» развития «нового» искусства, для которого требовалось теоретическое осмысление его эстетики и философии. В связи с завершением этого этапа перед журналом ставилась задача подвести итоги развития «культурной жизни всего мира»⁸⁶, а также вписать достижения новейшего русского искусства в контекст широких западноевропейских и русских культурных традиций, наметить пути и перспективы его

⁸³ Там же. № 11. [Объявление].

⁸⁴ От редакции // Весы. 1906. № 1. С. 94.

⁸⁵ Поляков С. А. К читателям // Весы. 1906. № 12. С. V.

⁸⁶ Там же.

дальнейшего развития. По мнению редакции, начать следовало с подведения итогов литературного творчества Европы за тридцать лет, с отделения «существенного и вечного от случайного и уродливого»⁸⁷.

Другая задача, которую решал в этот период «самый боевой журнал в России» (так охарактеризовал его А. А. Блок⁸⁸, подчеркивая не только пафос его публикаций, но и новизну его формата), была связана со стремлением отмежеваться от «реакции и беспочвенных построений»⁸⁹, как именовала редакция «Весов» конкурирующие издания. Дух полемики пронизывает большую часть критических выступлений на страницах «Весов».

В 1907 г. каждая книжка «Весов» содержала уже три больших раздела. В первом, заглавие которого было вариативно, печатались как оригинальные, так и переводные произведения современных русских и иностранных писателей, а также аналитические статьи. Отметим, что в этот период к сотрудничеству в «Весах» привлекаются не только писатели, близкие символизму и «Скорпиону», но и представители других литературных объединений и групп. Второй раздел – «Литература» – состоял из двух частей: «Русская литература», куда входили критические статьи, библиография, обзор журналов и книг, и «Иностранная литература» – аналогичной структуры. Новым в журнале стал раздел «Искусства», который состоял из обзоров и аналитических статей, посвященных событиям русской и западноевропейской художественной жизни в целом: театру и балету, живописи и музыке и др.

В № 11 за 1907 г. было помещено объявление об открытии подписки на 1908 г. по прежней программе и с прежним составом сотрудников. При этом в каталоге № 7, опубликованном в № 1 за 1908 г. уточнялось, что журнал посвящен искусству в широком смысле слова (литературе, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, театру), а также что «Весы» хотят соединить «искание нового с любовью и уважением к прошлому»⁹⁰. Таким образом, теперь «Весы» видят свою задачу в том, чтобы представить на страницах журнала исторический путь символизма как результата развития человеческой культуры в целом.

В соответствии с этим вновь меняется структура журнала, возрождаются некоторые прежде существовавшие разделы. В проекте издания было объявлено, что в 1909 г. отдел «Библиография» будет реформирован, отделы «Хроника» и «Обзор иностранных журналов» – возобновлены, отделы «театральный» и «художественный» – расширены.

⁸⁷ Там же.

⁸⁸ Блок А. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965. С. 97.

⁸⁹ Поляков С. А. К читателям. С. V.

⁹⁰ Весы. 1908. № 1. [Каталог № 7. С. 3].

Однако, несмотря на предпринятые меры, объективно жизнь журнала клонилась к закату. В феврале 1909 г. Брюсов сложил с себя полномочия фактического редактора журнала, подписчики были поставлены в известность, что редактирование журнала принимает на себя комитет в составе редактора-издателя Полякова и ближайших московских сотрудников журнала. А уже в № 10–11 было объявлено о приостановке выхода журнала. В № 12 за 1909 г. редакция «Весов» обратилась к читателям с объяснениями причин «прекращения издания на неопределенное время». Здесь, в частности, сообщалось, что приостановка издания происходит не «в силу внешних, враждебных условий, а совершенно сознательно и согласно желанию лиц, стоявших и стоящих во главе издания»⁹¹. По мнению редакции «Весов», журнал выполнил свою историческую миссию, символизм достиг на своем пути вершины. Здесь же было намечено будущее журнала. Редакция сообщала, что «Весы» будут выходить в виде библиографических известий с литературным и художественным отделами, уменьшенным объемом и сокращенной периодичностью (2–6 раз в год) без приуроченности к определенным срокам. Была даже объявлена подписка на это издание по цене 2 руб. в год. Но в этом обновленном виде изданию так и не дано было осуществиться.

Представленная хроника исторического пути журнала-манифеста «Весы»⁹² важна для понимания его культурно-исторической миссии, которая выходила далеко за пределы истории символизма и влияния на отдельные творческие судьбы и биографии⁹³. В течение

⁹¹ К читателям // *Весы*. 1909. № 12. С. 185; без подписи.

⁹² Более подробно с историей журнала «Весы», главного рупора русского символизма и в целом «нового» искусства начала XX в., можно ознакомиться по критическим работам и исследованиям: *Чулков Георгий*. «Весы» // *Аполлон*. 1910. № 7. С. 15–20; *Кузмин М.* Художественная проза «Весов» // *Аполлон*. 1910. № 9. С. 35–41; *Гумилев Н.* Поэзия в «Весях» // Там же. С. 42–44; *Врангель Н.* Искусство в «Весях» // *Аполлон*. 1910. № 10. С. 17–18; *Погорелова Б.* «Скорпион» и «Весы» // *Воспоминания о серебряном веке*. М., 1993. С. 312–321; *Лобанов В. М.* Кануны: Из художественной жизни Москвы в предреволюционные годы. М., 1968. С. 173–186; *Азадовский К. М., Максимов Д. Е.* Брюсов и «Весы»: (К истории издания) // *Литературное наследство*. М., 1976. Т. 85. С. 257–324; *Котрелев Н. В.* Итальянские литераторы – сотрудники «Весов» // *Проблемы ретроспективной библиографии и некоторые аспекты научно-исследовательской работы ВГБИЛ*. М., 1978. С. 68–133; *Клинг О. А.* Брюсов в «Весях»: К вопросу о роли Брюсова в организации и издании журнала // *Из истории русской журналистики начала XX века*. М., 1984. С. 160–186; *Лавров А. В., Максимов Д. Е.* «Весы» // *Русская литература и журналистика начала XX века: 1905–1917*. С. 65–136; *Из истории символистской журналистики: «Весы»* / Отв. ред. Д. А. Завельская, И. С. Приходько. М., 2007; *Голубков В. П.* Эстетическая концепция журнала «Весы» в контексте модернистской журналистики рубежа XIX—XX веков // *Stefanos: Сборник научных работ памяти А. Г. Соколова*. М., 2008. С. 37–45 и др.

⁹³ См.: *Шапкина О. М.* Рецепция творчества М. Горького критиками журнала «Весы» // XX Свято-Троицкие ежегодные международные академические чтения в Санкт-Петербурге: Сб. науч. статей и материалов. СПб., 2020. С. 217–221; *Геворкян А. В.* Письма из Байрейта // *Сложная целостность литературы: Исследования и публикации: К юбилею*

всех шести лет существования, что для журнала-манифеста период немалый (даже по сравнению со многими европейскими образцами) – он был двигателем литературного процесса.

При этом важной составляющей глобальных замыслов редакции «Весов» была организация особых отношений с аудиторией, что проявилось в принципиальной смене риторики обращений к читателям, которая рельефно была обозначена уже во вступительной редакционной статье: «“Весы” убеждены, что “новое искусство” — крайняя точка, которой пока достигло на своем пути человечество, что именно в “новом искусстве” сосредоточены все лучшие силы духовной жизни земли, что, минуя его, людям нет иного пути вперед, к новым, еще высшим идеалам»⁹⁴. В этом утверждении обращает на себя внимание отсутствие демаркационной границы между авторами, сотрудниками, редакцией журнала и его читателями: они объединены единым понятием «человечества», идущего по пути к высшим идеалам. В журнале «Весы» повсеместно — в аналитических статьях, в обзорах, в рецензиях — звучит апелляция к читателю, «внимателю и сопереживателю»⁹⁵, к его восприятию и впечатлению как важной составляющей эстетической коммуникации. Фронтальное обследование материалов журнала «Весы» только за 1904–1905 гг. выявило более 300 обращений к читателям на страницах журнала, что фактически охватывает почти половину общего числа публикаций этого периода. А в материалах журнала за 1905 г. произошло и становление особой категории – «читатели “Весов”», закрепляющей статус адресата журнальной коммуникации, уже не безликой «публики», что было свойственно русскому «толстому» журналу⁹⁶, а важнейшей составляющей эстетического

В. А. Келдыша. М., 2019. С. 347–368; Шапкина О. И. Критическая деятельность С. А. Полякова // Филологические науки. 2016. № 3. С. 102–110; Оганесян К. А. В. Брюсов о поэзии французского поэта-символиста П. Верлена на страницах журнала «Весы» // *Ceteris Paribus*. 2016. № 4. С. 58–61; Ерофеев И. Ю. Литературное наследие О. Уайльда в журнале «Весы» и роль М. Ф. Ликиардопуло в его освоении // Наука о человеке: Гуманитарные исследования. 2012. № 2 (10). С. 200–203; Иванова Е. В. Журнал «Весы» в биографии Чуковского // От Кибирова до Пушкина: Сборник в честь 60-летия Н. А. Богомолова. М., 2011. С. 143–148 и др.

⁹⁴ К читателям // Весы. 1904. № 1. С. III.

⁹⁵ Толстой А. Н. О читателе. В виде предисловия. С. 64.

⁹⁶ Ср. вышеприведенные обращения к читателям со страниц журнала «Весы» с фрагментом редакционной статьи «Вестника Европы»: «...цель “Вестника Европы”, с настоящего времени, в новой его форме социального журнала <...>, будет состоять прежде всего в том, чтобы служить постоянным органом для ознакомления тех, которые пожелали бы следить за успехами историко-политических наук, с каждым новым и важным явлением в их современной литературе. Вместе с тем наш журнал имеет в виду сделаться <...> местом <...> для сообщения публике своих отдельных трудов по частным вопросам, интересным <...> и полезным <...>. Мы являемся перед публикою, оставляя позади себя маловыгодное время вообще для гуманитарных наук...» (Вестник Европы. 1866. Т. 1. Март. С. VI–VII). Курсив

взаимодействия, соучастника литературно-художественного процесса. Действительно, журнал «Весы», фактически призывал своего читателя не к пассивному восприятию нового искусства, а к активному «диалогу», сотворчеству.

Подобное отношение к читательской аудитории очень быстро дало свой результат. Редакционный портфель «Весов», значительной частью сосредоточенный в личном архиве С. А. Полякова, содержит более 300 ед. хр., представляющих обращения читателей «Весов» в редакцию. В свое время С. С. Гречишкин дал весьма подробное описание писем «читателей “Весов”», дав резкую и по преимуществу негативную оценку их «литературной продукции». «Архив “Весов” включает большое количество рукописей преимущественно провинциальных авторов, посланных в надежде на публикацию в журнале и отвергнутых редакцией. Как правило, они отличаются крайне низким художественным уровнем и зачастую представляют собой набор расхожих “декадентских” клише. <...> В целом обилие непринятых рукописей ярко свидетельствует о появлении значительного числа эпигонов, столь досаждавших символистам»⁹⁷, – отмечал исследователь.

Между тем стоит, обратить внимание на эту корреспонденцию как к результат оказавшейся весьма состоятельной эстетической коммуникации. Усилия «Весов» по вовлечению читателя в творческий процесс не оказались напрасными и бесплодными. Письма в редакцию «Весов» – это письма читателей, которые откликнулись на призыв к сотворчеству. Так возник целый пласт «рецептивных текстов» (поэтических «ответов», символических поэм, прозаических эскизов-откровений, «сумеречных мотивов», дневниковых «эволюций» «читателей “Весов”») – значимой частью большого гипертекста русского модерна⁹⁸.

Журналу «Весы» удалось осуществить и своего рода синтез искусств на своих страницах. Вплетенные в вербальную ткань журнала изображения уже воспринимались не как сопровождающие иллюстрации, а как часть единого журнального пространства, единого текста.

Весьма любопытен здесь опыт публикации набросков Эжена Каррье́ра. В 1907 г. (№ 1) журнал «Весы» представил целый ряд рисунков Каррье́ра, которые были размещены в качестве заставок и концовок на страницах литературного отдела. Фрагмент неизданного

мой. – Г. П.

⁹⁷ Гречишкин С. С. Архив С. А. Полякова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1978 год. Л., 1980. С. 19, 21.

⁹⁸ Более подробно об этом см.: Петрова Г. В. Модернистский журнал-манифест и его читатели: (К истории эстетической коммуникации в России) // Русская литература. 2021. № 2. С. 14–25.

стихотворения А. С. Пушкина сопровождался наброском Каррьера с изображением женских рук и головы ребенка. В другом случае один из этюдов Каррьера к картине «La Jeunesse» (1897) стал финальным аккордом стихотворения К. Д. Бальмонта «Три коня» (из книги «Птицы в воздухе»), как бы сюжетно дополнив мотив видения, взгляда на небосклон, где творится игра божественно-природных сил.

Тонкие эмоциональные связи объединяют заставки из Каррьера, с изображением припавшего к груди матери младенца и материнского поцелуя, со стихотворениями Волошина из цикла «Картины Парижа». Причем в стихах Волошина и рисунках Каррьера нет пересечения образных рядов, сюжетных ходов, их объединяет, если можно так сказать, «музыка», стихия звучащих эмоций – грусти, воспоминания, погружения в состояние созерцательного покоя, «час наитий».

Последняя заставка из Каррьера, воспроизведенная на страницах журнала «Весы», – это изображение двух детских головок. Детские образы размещены в завершении цикла стихотворений В. Я. Брюсова «Обряд ночи» и, на первый взгляд, диссонируют с содержанием стихов, в которых предметом описания становится всепоглощающая и даже разрушительная любовная страсть.

Детские, наивные и чистые, каррьеровские образы явно контрастируют с сюжетом властной любовной стихии, захватившей героев стихотворений Брюсова. Но именно этот контраст как нельзя лучше подчеркивает глубину различия между идеалом и действительностью, между мечтой и реальностью, трагическую обреченность человеческого существования.

Синтез искусств, повышенное внимание к художественному оформлению не были самоцелью «Весов», гораздо важнее, что этот синтез становился одним из приемов представления творческого процесса, совершающегося общими творческими усилиями и устремлениями. Таким образом, каждый номер журнала воспринимался не просто как сумма текстов, а как коллективный творческий акт.

Еще одним приемом осуществления в пределах отдельного журнального номера творческих усилий коллективного сознания стало внутреннее сцепление текстов системой сквозных мотивов, образов, событий, персонажей.

Эти приемы будут активно и весьма успешно использоваться и другим литературно-художественными изданиями. Здесь можно выделить журнал художественный, литературный и критический «Золотое руно» (1906–1909), издававшийся Н. П. Рябушинским.

Журнал «Золотое Руно» был во многом амбициозным проектом, направленным на соединение в одно целое разных тенденций в области литературно-художественной

журналистики⁹⁹. Отчасти он ориентировался на опыт журнала «Мир искусства», отчасти – вбирал в себя опыт «Нового пути» и «Весов». Важно, что в определенном контексте он выступил в качестве конкурента журнала «Весы», и дал возможность публиковаться поколению, пришедшему в литературу уже в 1900-е гг., а также тем представителям нового искусства, для которых по разным причинам доступ на страницы «Весов» был ограничен. Участниками «Золотого Руна» были художники, критики, писатели и поэты: А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, М. А. Врубель, С. А. Виноградов, А. Я. Головин, И. Э. Грабарь, М. А. Дурнов, М. В. Добужинский, П. В. Кузнецов, К. А. Коровин, Е. С. Кругликова, Е. Е. Лансере, Н. К. Рерих, М. В. Сабашникова, Н. Н. Сапунов, В. А. Серов, К. А. Сомов, Н. П. Феофилактов, Л. Н. Андреев, К. Д. Бальмонт, А. А. Блок, Андрей Белый, А. Г. Бачинский, М. А. Волошин, Л. Н. Вилькина, А. П. Воротников, З. Н. Гиппиус, Осип Дымов (И. И. Перельман), Б. К. Зайцев, Вяч. И. Иванов, Сергей Кречетов (С. А. Соколов), А. А. Кондратьев, А. А. Курсинский, С. К. Маковский, Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, А. Л. Мировольский, Н. И. Петровская, А. М. Ремизов, Федор Сологуб, К. А. Сюннерберг, Н. Я. Тароватый, А. К. Шервашидзе и др. Свою программу редакция «Золотого руна» формулировала следующим образом: «Журнал будет выходить ежемесячно <...> с беллетристическим отделом, в одном издании параллельно на двух языках (русском и французском), в формате больших художественных изданий <...>. Редакция намерена <...> давать место наиболее интересным представителям молодых литературных сил, обзор студии современных русских художников, обзор живописи и скульптуры современных иностранных художников.

Независимо от задач чистого Искусства, Редакция намеревается уделить особое внимание художественной индустрии и декоративному искусству»¹⁰⁰.

Один из примеров целостной организации журнального пространства находим в № 7/9 «Золотого руна» за 1908 г. Этот номер журнала был посвящен главным образом особому проекту – «Салону “Золотого руна”», первой выставке, организованной редакцией журнала и открывшейся в Москве в апреле того же года. В журнале были представлены 94 снимка с картин и скульптур французских художников, в том числе Поля Сезанна, Поля Гогена и Винсента Ван Гога, а также фототипия Сезанна «Nature morte» и трехцветная автотипия Ван Гога «Ночное кафе». При этом секретарь редакции «Золотого руна», Г. Э. Тастевен заказал

⁹⁹ См.: *Ростиславов А.* «Золотое руно» // Аполлон, 1910, № 9. С. 42–44; *Виноградов С. А.* О странном журнале, его талантливых сотрудниках и московских пирах // Воспоминания о серебряном веке. С. 430–439; *Лавров А. В.* «Золотое руно» // Русская литература и журналистика начала XX века: 1905–1917. С. 137–173; *Richardson William.* «Zolotoe Runo» and Russian Modernism: 1905–1910. Ann Arbor, 1986.

¹⁰⁰ Золотое руно. 1906. № 1. Январь. С. 4–5.

М. А. Волошину статью «о новой французской живописи с характеристикой их теорий»¹⁰¹. Волошин откликнулся на заказ и в указанном номере появилась его статья «Устремления новой французской живописи (Сезанн, Ван-Гог и Гоген)», опубликованная вместе с перепиской с друзьями Ван Гога, а также статьями Г. Э. Тастевена «Импрессионизм и новые искания» и Шарля Мориса «Новые тенденции современного искусства», в которых Сезанну, Гогену и Ван Гогу также уделялось особое место.

Позже практика целостного структурирования журнальных номеров, альманахов и коллективных сборников будет активно использоваться инициаторами литературно-художественных изданий¹⁰².

Все открытия в области журнальной формы, реализовавшиеся в деятельности литературно-художественных изданий 1900-х г., и в первую очередь журнала «Весы», будут активно, хоть и с разной степенью успешности использоваться в журналистике, литературных сборниках и альманахах второй половины 1900-х гг. и в 1910-х гг. – и тех, которые идеологически в той или иной степени были ориентированы на символизм или пытались бороться за его реставрацию после 1909 г., когда символизм объявил о собственном кризисе¹⁰³, и тех, которые представляли новые литературные направления, движения, группировки: «Искусство» (1905); «Зеленый сборник стихов и прозы» (1905); «Сборник “Северная речь”» (1906); альманах «Факелы» Г. И. Чулкова (1906–1908); сборник «Свободная Совесть» (1906); «Литературно-художественная неделя» (1907); «Труды и дни» (1907); «Перевал» (1906–1907); «Белые ночи: Петербургский сборник» (1907); «Цветник Ор: Кошница первая» (1907); «Проталина» (1907); «Корабли» (1907); «Шиповник» (1907–1916); «Белый Камень» (1908); «Корона» (1908); «Альманах 17» (1909); «Аполлон» (1909–1917); «Сирин» (1913–1914); «Жатва» (1912–1914); «Дневники писателей», Федора Сологуба и А. Чеботаревской (1914); «Любовь к трем апельсинам» (1914–1916); «Альциона» (1914); «Записки мечтателей» (1919–1922); «Стрелец» (1915–1916).

Формат символистского литературного сборника продолжил развиваться и в творческой практике русских футуристов, возродивших и развивших принципы творческой провокации и мистификации, обозначенные еще в брюсовских «Русских символистах» в середине 1890-х гг.

¹⁰¹ Волошин М. Собр. соч. М., 2007. Т. 5. С. 667–669.

¹⁰² См. например: *Сегал Д. Л., Сегал Н. М.* К типологии русских литературных альманахов и сборников первой четверти XX века // От Кибирова до Пушкина: Сборник в честь 60-летия Н. А. Богомолова. С. 476–539.

¹⁰³ См.: *Кузнецова О. А.* Дискуссия о состоянии русского символизма в «Обществе ревнителей художественного слова» (обсуждение доклада Вяч. Иванова) // Русская литература. 1990. № 1. С. 200–208.

Для понимания эпохи русского модернизма важно отметить, что и разнообразие, и успешность литературно-художественных журналов, альманахов, коллективных сборников во многом определялись институализирующей их издательской практикой.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ В ГАЗЕТАХ НАЧАЛА XX ВЕКА

Начиная с 1880-х гг. (а в ряде случаев еще раньше), в период бурного развития информационного пространства Российской империи и появления многотиражных массовых изданий, в большинстве ведущих газет оформляются литературно-критические отделы, осведомляющие читателя о новинках литературного рынка; здесь печатаются критические и библиографические обзоры литературных журналов, помещаются сообщения о повседневных новостях насыщенной жизни представителей изящной словесности (юбилейные вечера, публичные лекции и пр.). В начале XX в. мы наблюдаем расцвет этих газетных отделов, их ведут наиболее заметные критики и публицисты эпохи. В. П. Буренин в «Новом времени» ведет «Критические очерки» и «Литературные очерки»; Ю. Н. Говоруха-Отрок в «Московских ведомостях» — «Литературные заметки», А. А. Измайлов в «Биржевых ведомостях» — «Литературное обозрение», В. Ф. Боцяновский в «Руси» — «Критические наброски», В. А. Поссе в «Слове» — «Очерки современной литературы», П. М. Пильский в «Новой Руси» — «Портреты тушью», С. В. Потресов в «Русском слове» — «Мои записки», А. Г. Горнфельд в «Нашей жизни» — «Литературные беседы», К. И. Чуковский в «Одесских новостях» (и других изданиях) — «Заметки читателя» и т. д.

К началу XX в. практически завершился процесс усложнения и стратификации профессии журналиста. В штатном расписании крупных газет и еженедельников становится постоянной должностью критика-фельетониста, призванного вести еженедельную рубрику; критический фельетон превращается в неотъемлемый раздел массового издания. И он, и другие литературно-критические отделы газет становятся своеобразными летописями интеллектуальной жизни начала XX в., освещая все наиболее значимые события литературной жизни эпохи.

Выдвижение литературно-критического фельетона на лидирующие позиции в информационной системе рубежа веков становится возможным по целому ряду глобальных причин, происходивших не столько в системе прессы, сколько в публичной сфере как таковой. Ускорение темпа жизни, мощнейшее развитие городов и городской инфраструктуры, рост промышленного производства, увеличившаяся грамотность городского и сельского населения — эти процессы модернизации страны, отразившиеся во всех областях жизни, проявились и в информационном поле.

В ходе развития рынка периодической печати менялась структура читательской

аудитории: в условиях ускорившегося темпа жизни появился читатель, требовавший краткой, оперативной, сжатой информации. Современники, рассуждавшие о «рождении» нового читателя начала XX в. и о путях развития русской журналистики, в афористичных формулировках констатировали одни и те же процессы. А. А. Измайлов усматривал в «лихорадочно живущем веке» рождение «нового» «почитывающего читателя», насыщаемого летучими газетными фельетонами¹; Чуковский считал начало XX в. временем, когда «вместо книги — газеты, вместо журналов — случайные альманахи, вместо науки — брошюры»²; В. М. Дорошевич в фельетоне «Профессор Маркевич» со всей категоричностью заявил: «Голубушка, длинного не читают»³. В своих определениях критики отмечают увеличение спроса на ежедневную информацию, поставляемую газетами и еженедельниками, — и ослабление интереса к многостраничной и обстоятельной информации.

И. В. Лукьянова в биографии К. И. Чуковского, анализируя статьи критика о городской и массовой культуре начала XX в., резюмирует: «...горожанин ни к чему не прилепляется душой. У него нет философии, нет системы, нет направления; все одинаково интересно, одинаково привлекательно — и случайно. Здесь Чуковский пока говорит о приспособляемости души горожанина, равной готовности принимать все, “что ни бросит ему жизнь”, о равнодушии городского человека. Но уже в ближайших его статьях из этой мысли вырастет другая, и критик заговорит о случайности всех верований и убеждений, об отсутствии принципов и позиций, о готовности верить во все сразу, — о том, что он называл мозаичностью убеждений, короткомыслием, отсутствием фанатизма. Важно было не только отметить факт, но и обратить внимание на его следствия: неизбежную поверхностность, массовость, механистичность литературы, стереотипность приемов. Чуковский фактически первым в России и одним из первых в мире обратил внимание на те изменения, которые происходят в сознании жителя мегаполиса, — то, что мы сейчас называем “информационной перегруженностью”, “клиповым сознанием” и т. п.»⁴.

Именно «новый» читатель формирует спрос на информационную продукцию.

¹ Измайлов А. А. Литературные заметки // Биржевые ведомости. 1901. № 309, 12 нояб. С. 1–3.

² Чуковский К. И. О короткомыслии // Чуковский К. И. Собр. соч.: В 15 т. Т. 6: Литературная критика (1901—1907) / Предисл. и коммент. Е. Ивановой. 2-е изд., электронное, испр. М., 2012. С. 538. [https://www.chukfamily.ru/wp-content/uploads/2017/12/Chukovskiy_K._Sobraniye_sochineniy_Tom_6.pdf].

³ Дорошевич В. М. Профессор Маркевич // Дорошевич В. М. Собр. соч.: В 9 т. М., 1905. Т. 4: Литераторы и общественные деятели. С. 96.

⁴ Лукьянова И. В. Корней Чуковский. М., 2006. С. 146 (Сер. «Жизнь замечательных людей»).

Статистические сведения, уже широко применявшиеся на рубеже XIX и XX вв., четко фиксируют изменение читательского спроса, эволюционирующего в область массовой периодики⁵. Изменившиеся тиражи изданий указывают на бурное развитие ежедневных органов печати и еженедельников и на стагнацию или весьма скромный рост ежемесячных журналов.

Доминирование газеты в системе прессы на рубеже веков заключается в ее преимуществах: большая аудитория (тиражи ведущих изданий варьировались от 20000 до 70000 экз.), оперативность (десять газет начала XX в. имели утренний и вечерний выпуски), лаконичность и компактность материалов. При этом содержание газеты и толстого журнала было сопоставимым, как отмечает Е. В. Иванова, «газета в сжатом виде копировала все составляющие “толстого журнала”»⁶.

Привлекательность газеты стимулирует приток произведений ведущих прозаиков и поэтов в массовые периодические издания, а также разрастание их литературно-критических отделов. Сотрудничество известных авторов с газетами и еженедельниками стало нормой; в них печатались в разное время стихи ведущих поэтов-символистов; рассказы, повести и пьесы А. М. Ремизова, Л. Н. Андреева, А. И. Куприна, И. С. Шмелева, П. Д. Боборыкина; публицистика Д. С. Мережковского, Д. В. Filosofova, В. В. Розанова, А. В. Амфитеатрова, В. М. Дорошевича. Наряду с малыми жанровыми формами в газетах публиковались даже такие произведения, которые с сегодняшней точки зрения являются мало подходящими для этого типа изданий — драматические произведения и романы. Оригинальная беллетристика, начиная с конца XIX в., постепенно становилась неотъемлемой частью массовой периодики. В 1880-х — 1890-х гг. повести и романы были чаще всего представлены в газетах перепечатками из отдельных изданий и толстых журналов или переводными произведениями западноевропейских авторов. Но постепенно, с ростом общественного интереса к газете и увеличением финансовых возможностей издателей (и как следствие роста тиражей) положение дел резко меняется. Начиная с конца 1890-х гг. все чаще лучшие газетные полосы — «подвалы» 1-й – 3-й полос — отводятся беллетристам самых разных мастей и направлений. И. И. Ясинский, редактировавший в 1896–1902 гг. «Биржевые ведомости», вспоминал: «Тираж “Биржевых ведомостей” (господина Проппера) с 500 экземпляров дошел до 8 тысяч <...> газета сделалась доходной

⁵ См.: *Рейтблат А. И.* Русская литература как социальный институт // Рейтблат А. И. Писать поперёк: Статьи по биографике, социологии и истории литературы. М., 2014. С. 27.

⁶ *Иванова Е. В.* Литературная критика в газетах и журналах начала XX века // Критика начала XX века. М., 2002. С. 5–6.

до такой степени, что редакция могла наконец от времени до времени покупать у авторов большие романы»⁷. Ясинский, в частности, публиковавший свои произведения преимущественно в ведущих ежемесячниках («Исторический вестник», «Русский вестник», «Наблюдатель», «Северный вестник»), незадолго до своего вступления в должность редактора «Биржевых ведомостей» продал для публикации этой газете роман «Нежеланные дети»⁸.

В конце XIX — начале XX в. разворачивается конкуренция между различными печатными органами; ведущие издания, используя финансовые возможности и другие рычаги давления, стараются привлечь ярких публицистов и беллетристов не только в качестве временных авторов, но и как постоянных сотрудников литературных отделов. Ясинский в книге мемуаров описал один из таких эпизодов: «Еще за год перед тем Сытин накануне новогодней подписки приезжал ко мне и предлагал единовременно 12 тысяч и затем какое угодно жалованье, если я переведу свои статьи за подписью Независимый к нему в Москву в “Русское слово”, редактором которого и стану. — Я вот стою у вас у дверей, — сказал мне Сытин, — и до тех пор не сяду, пока вы не согласитесь. Проппер не в состоянии вам платить столько, сколько я вам заплачу. Я ваши сочинения за огромные деньги куплю и издам, и подписку из “Биржевых ведомостей” мы перельем в “Русское слово”, как вот вино переливают из стакана в стакан!»⁹. Вакантное место, от которого Ясинскому по этическим соображениям пришлось отказаться, было занято блистательным фельетонистом XX в. — В. М. Дорошевичем, редактировавшим «Русское слово» с 1902 по 1917 гг.

Борьба за авторов была следствием развернувшегося соперничества за внимание читателя, который стал «разборчивым» и отдавал предпочтение известным именам. Массовые периодические издания принимают на вооружение всевозможные коммерческие приемы. Так, крупные столичные газеты стали сопровождать свои издания еженедельными бесплатными иллюстрированными приложениями, которые привлекали читателя не только богатым изобразительным рядом, но и новинками беллетристики, а также новостями научной и общественной жизни¹⁰. Одним из первых такое приложение появилось при газете

⁷ Ясинский И. И. Роман моей жизни: Книга воспоминаний: В 2 т. М., 2010. Т. 1. С. 493. (Серия «Россия в мемуарах»).

⁸ См.: Ясинский И. Нежеланные дети: Роман в 3х частях // Биржевые ведомости. 1896. 5 окт. — 31 дек.

⁹ Ясинский И. И. Роман моей жизни: Книга воспоминаний. Т. 1. С. 531–532.

¹⁰ См.: Воронкевич А. С. 1) Русские иллюстрированные еженедельники в XIX веке // Вестник Московского ун-та. Сер. 10: Журналистика. 1984. № 2. С. 32–40; 2) Русский иллюстрированный еженедельник в 1895–1904 гг. // Дисс... канд. филол. наук. М., 1986. 219 с.

«Новое время» (1891–1916); два приложения выходили при газете «Биржевые ведомости» — «Новая иллюстрация» (1900–1907; 1909–1916) и «Огонек» (1900–1918). Иллюстрированное приложение большого формата «Искры» (1900–1916) было составной частью газеты «Русское слово». Подобные приложения имели такие крупные столичные и провинциальные издания, как «Речь», «Петербургская газета», «Петербургский листок», «Голос Москвы», «Киевская мысль», «Одесский листок» и др. Новые технологии в полиграфическом ремесле, а также развитие фототехники приводит к неограниченным возможностям репродуцирования на страницах массовых изданий изобразительных материалов. Другой способ привлечения читателя был найден в редакции популярнейшего еженедельника «Нива», предоставлявшего своим читателям, оформившим годовую подписку, в качестве приложения к журналу собрания сочинений русских и зарубежных современных авторов и классиков.

Газета становится не только пристанищем талантливых литераторов, отдавших предпочтение массовой периодике, но стартовой площадкой для начинающих авторов эпохи Серебряного века. В тесном сотрудничестве с газетой вырос талант Л. Н. Андреева, первые публикации которого появились на страницах «Московского вестника» и «Курьера». С 1902 г. Андреев уже редактор «Курьера», он участвует в «Русском слове» и «Биржевых ведомостях», а с августа 1916 г. заведует отделом беллетристики, критики и театра газеты «Русская воля»¹¹. Именно в массовой периодике расцвел публицистический талант В. В. Розанова, а также Д. В. Filosofova, А. В. Амфитеатрова, В. М. Дорошевича, К. И. Чуковского и многих других.

В начале XX в. с газетой тесно сотрудничают писатели разных школ; это не только представители реалистического направления, но и писатели-модернисты. С 1904 г. в газете «Русь» на протяжении нескольких лет сотрудничает М. Волошин, в массовой периодике активно публикует стихотворения и переводы В. Я. Брюсов, в газетах были помещены стихотворения А. Блока 1911–1916 гг., З. Н. Гиппиус, Вяч. Иванова, К. Д. Бальмонта, М. Волошина, целый ряд рассказов А. М. Ремизова, Ф. Сологуба и др. История русского символизма знает и более тесное сотрудничество писателей с массовыми изданиями. В 1914–1915 гг. В. Я. Брюсов становится военным корреспондентом газеты «Русские ведомости», Андрей Белый для газеты «Биржевые ведомости» в 1916 г. пишет цикл специальных корреспонденций на актуальную военную тему, Мережковские в 1910-х гг. —

¹¹ С 13 апреля 1917 г. Андреев согласился стать главным редактором этой газеты. См. переиздание статей Андреева, опубликованных в ней: *Андреев Л. Н. Перед задачами времени: Политические статьи 1917–1919 гг.* / Сост. и подгот. текста Р. Дэвиса. Benson (USA), 1985.

активные публицисты газеты «Речь».

Благодаря массовой периодике и «фельетонной критике» новое направление в литературе получает широкое звучание, а писатели этой школы приобретают настоящую известность. В. Я. Брюсов в своей обстоятельной автобиографии так оценивал вклад газетных публикаций в создание его репутации: «Имя “Валерий Брюсов” вдруг сделалось <...> чуть ли не нарицательным. Если однажды утром я и не проснулся “знаменитым”, как некогда Байрон, то во всяком случае, быстро сделался печальным героем мелких газет и бойких, неразборчивых на темы фельетонистов»¹².

Фокус внимания читателей с литературно-критических разделов ежемесячников был решительно сдвинут в сторону газеты. Редактор сборника 1909 г. «О критике и критиках» О. Картожинский констатировал: «...так как за небольшими исключениями журнальная критика в последнее время значительно обесцветилась, внимание читающей публики и пишущих невольно обращено на газетную критику»¹³. Со значительным увеличением аудитории массовой прессы, существенно превышающей численность читателей элитарных изданий, газетный отклик о том или ином произведении приобретал все большее значение, поскольку он способствовал или препятствовал коммерческому успеху книги. Сдвинулся в сторону массовой периодики и интерес самих авторов: ведущие писатели предпочитали прочесть о себе и своем творчестве в газете. И. С. Шмелев писал А. А. Измайлову 24 октября 1915 г.: «Приятно прочитать благоприятное мнение и в журнальной статье. Но еще более приятно в большой газете. Ведь тут масса, читатель оптовый, — мож<но> ск<а>з<а>ть, самый дорогой читатель. Из сотни тысяч, — а их больше, конечно, — тут столько ценнейших душ, к<ото>рые толстый-то журнал и в руках не держали. Дорого сознавать, что, б<ыть> м<ожжет>, многие и не знали тебя, а теперь прикоснутся. А ведь пишешь-то как-никак для людей»¹⁴.

Критики-фельетонисты больших массовых изданий в начале XX века не маргиналы информационного пространства. К. И. Чуковский, А. А. Измайлов, Н. Я. Абрамович, П. М. Пильский, В. Ф. Боцяновский и др. – это заметные и влиятельные агенты литературного поля, формирующие мнение широких читательских слоев своими откликами и суждениями о книжных новинках. Газетные критики вхожи в ведущие крупные салоны, они завсегда таи

¹² Брюсов В. Из моей жизни: Автобиографическая и мемуарная проза / Сост., погот. текста, послесл. и комм. В. Э. Молодякова. М., 1994. С. 74.

¹³ Норвежский О. [Картожинский О. М.]. Было бы бойко: (Развязный критик) // О критике и критиках. М., 1909. С. 55.

¹⁴ А. А. Измайлов: Переписка с современниками / Сост., вступ. ст. А. С. Александрова; предисловия, подгот. текстов и примеч. А. С. Александрова, Э. К. Александровой, Н. Ю. Грякаловой. СПб., 2017. С. 661.

воскресных вечеров и журфиксов, адресаты переписок с авторами разных школ и направлений, желанные гости на первых прочтениях в интимном кругу новых произведений ведущих литераторов-современников.

Как сами участники литературного процесса второй половины XIX — начала XX вв., заставшие расцвет «фельетонной критики», так и многие современные исследователи, определяя родовые черты критического фельетона, обращали внимание на характерные особенности этого жанра. Рассчитанный на широкий круг читателей репертуар художественных средств и медийных приемов критиков-фельетонистов был весьма широк: в ткань критических текстов нередко вплетались пародии, стилизации и парафразы; авторы статей прибегали к мистификациям, псевдонимам и использованию литературной маски; литературный скандал мог содействовать успеху и фельетониста, и автора, попавшего в его поле зрения. Например, эпатажность и скандальность статей Буренина парадоксальным образом только привлекала читателей к художественным произведениям, против которых были направлены суждения зоила. А. В. Амфитеатров вспоминал: «В девяностых годах прошлого века критик Буренин пользовался столь нежным расположением общества, что, бывало, молодые авторы Бога молят: пусть бы меня Буренин выругал, — тогда мою книгу всякий прочтет и похвалит»¹⁵. К. И. Чуковский в предисловии к книге «О Леониде Андрееве», со свойственным ему полемическим задором рассуждая о нарождающейся новой «уличной, площадной эстетике», так определял основные черты газетного фельетона: «Фельетон, как и афиша, не смеет быть вялым, не смеет шептать и интимничать, в нем напряжен каждый нерв, он весь — электричество, потому что и он пред толпой — мимолетный трибун миллионов, рожденный на уличном сквозняке»¹⁶.

Фельетон носил характер сиюминутного отклика, но критики-фельетонисты стремились объединять свои газетные публикации в сборники¹⁷, и это нередко

¹⁵ *Амфитеатров А. В.* Глупое делание // Петроградский голос. 1917. № 10, 10 дек. С. 1.

¹⁶ *Чуковский К. И.* Собр. соч.: В 15 т. Т. 7: Литературная критика. 1908–1915 / Предисл. и коммент. Е. Ивановой. 2-е изд., электронное, испр. С. 66. [https://www.chukfamily.ru/wp-content/uploads/2019/04/Chukovskiy_K_Sobraniye_sochineniy_Tom_7.pdf].

¹⁷ Назовем лишь некоторые: *В. Ф. Боцяновский* 1) Л. Н. Андреев: Критический очерк. СПб., 1903; 2) В. В. Вересаев: Критический очерк. СПб., 1904; *Чуковский К. И.* 1) Нат Пинкертон и современная литература. М., 1910; 2) О Леониде Андрееве. СПб., 1910; 3) Книга о современных писателях. СПб., 1914; *Измайлов А. А.* 1) Помрачение божков и новые кумиры. СПб., 1910; 2) Литературный Олимп. СПб., 1911; 3) Литературные портреты: Пестрые знамена безвременья. СПб., 1913; *Амфитеатров А. В.* 1) Литературный альбом. СПб., 1904; 2) Современники. М., 1908; 3) Маски Мельпомены СПб., 1910 (в первом сборнике Амфитеатров поместил статьи о писателях XIX и XX вв., во втором – о Толстом, Горьком, Андрееве, Айзмানে, Бальмонте, в третьем перепечатал статьи о театральных

сопровождалось выдвижением оригинальных взглядов на современный литературный процесс.

Например, А. А. Измайлов в сложнейшем потоке модернистской литературы начала XX в. выделяет три направления, которые определяет в следующих терминах: импрессионистическая лирика; неоархаизм; произведения, наполненные натуралистическими сценами¹⁸. Выступая со статьями о поэтах-символистах, критик отмечает характерные особенности их творчества: психологичность и тяготение к символу; центр тяжести в не сюжете, а в «закругленности психологического настроения»; со стороны формы — «легкость, воздушность»¹⁹, каких не знала старина. Эти особенности критик относит в первую очередь к таким писателям, как В. Брюсов, А. Блок, К. Бальмонт и др., определяя их поэзию как импрессионистическую лирику. Попытку установления диалога различных литературных эпох находим в другом направлении модернистской литературы, выделенном Измайловым, — это творчество писателей-стилизаторов. Такое направление критик называл «неоархаизмом» и относил к нему Вяч. Иванова («Эрос»), А. Ремизова («Лимонарь»), Ауслендера («Золотые яблоки»), В. Брюсова («Огненный Ангел»). Третья линия, которую выделяет Измайлов в модернистской литературе, — это произведения, в которых обилие натуралистических подробностей сочетается с самыми необузданными крайностями эротики. В них любимой героиней становится проститутка, ведутся рассказы о «больничных койках, со всеми утонченностями беллетристических приемов, изображающих весь ход болезни», вводятся гомоэротические мотивы. В этом ряду писателей критик выделяет произведения Арцыбашева («Счастье»), Кузмина («Крылья»), Зиновьевой-Аннибал («Тридцать три уroda»), Муйжеля («Грех»), Сергеева-Ценского («Лесная топь»). Этому роду текстов критик посвятил немало резких статей, полных сарказма.

Петр Пильский, яркий представитель «фельетонной критики», оставивший громадное и практически неизученное наследие, выстроил несколько оригинальных парадигм современной ему литературы. В ряде работ он выделил главное, по его мнению, направление новой поэзии — «мистический анархизм», различая в нем три ветви:

премьерах из рубрики «Записная книжка»).

¹⁸ Подробнее см.: Александров А. С., Александрова Э. К., Грякалова Н. Ю. Литературно-критическая деятельность А. А. Измайлова и литературные репутации писателей-символистов (В. Я. Брюсов — А. А. Блок — К. Д. Бальмонт — Вяч. Иванов) // Писатель — критика — читатель: (Механизмы формирования литературной репутации в России во второй половине XIX — первой трети XX вв.): Коллективная монография. СПб., 2022. С. 170–238.

¹⁹ Измайлов А. А. Помрачение божков и новые кумиры: Книга о новых веяниях в литературе. СПб., 1910. С. 8.

декадентов (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт), романтиков-неоархаистов (Д. С. Мережковский) и собственно мистических анархистов (Вяч. Иванов, А. Блок)²⁰. В своих работах Пильский оставил яркие характеристики современников²¹ и дал меткие определения целому ряду явлений словесности («Будуарная литература» (о творчестве А. А. Вербицкой, Н. И. Петровской); «половые авторы» (о М. Кузmine)). Подобного рода построения находим также в работах К. И. Чуковского, Н. Я. Абрамовича, В. Ф. Боцяновского и др.

При всей ориентации на легкость жанр критического фельетона не отменял серьезного разговора о литературе, о новостях книжного рынка и современных процессах художественной жизни. Критики-фельетонисты были первыми читателями литературных новинок и становились пионерами в интерпретации новоизданных произведений. Здесь бывали промахи и ошибки, но встречались и проницательные интерпретации, до сих пор не утратившие своей актуальности. Таковые находим в работах К. И. Чуковского о Блоке и Л. Андрееве, А. А. Измайлова — о В. В. Розанове, В. Я. Брюсове, Л. Н. Андрееве, А. М. Ремизове, в парадоксальных фельетонах В. В. Розанова о современной ему литературе; несомненно интересны в историко-литературном отношении фельетоны А. В. Амфитеатрова, В. Ф. Боцяновского и др.

Литературная жизнь эпохи была представлена в газете не только критическим фельетоном. Статьи, не вписывающиеся в этот формат, публиковались в рубрике «маленький фельетон» или в специальных разделах издания, призванных освещать литературные новости. Это были такие постоянные рубрики как «Литературная хроника», «Литературные мелочи», «Литературные мелочишки», «Хроника литературной жизни», «В литературном мире», «В литературном мирке», «Искусство, наука, литература» и пр. А. А. Измайлов, один из ведущих критиков газеты «Русское слово», в 1912 г. в связи с изменением редакционной политики издания был вынужден перейти на новый формат своих материалов — от него потребовали более сжатых текстов. 9 мая 1912 г. отсылая обновленный материал, Измайлов писал редактору газеты Ф. И. Благову: «Повидавшись с В. М. Дорошевичем и выяснив необходимость сокращения размеров статей, я буду отныне доставлять вещи не фельетонного былого тона, а малые — по поводу наиболее значит<ельных> явлений и совсем мелочи — о явлениях менее заметных. Мелочи В<ласий> М<ихайлович> предполагает ставить и в отделе “Иск<усство>, наука, лит<ература>”»²².

Каждое крупное периодическое издание имело целую группу рубрик, призванных с

²⁰ См. подробнее: *Абызов Ю. И., Исмагулова Т. Д.* Пильский Петр Моисеевич // *Русские писатели: 1800–1917: Биографический словарь.* М., 1999. Т. 4. С. 601.

²¹ См.: *Пильский П.* Критические статьи. СПб., 1910. Т. 1—2.

²² РГБ. Ф. РС. Карт 14. Ед. хр. 68. Л. 23–24 об.

разной степенью обстоятельности освещать события литературного мира. В «Биржевых ведомостях», например, помимо регулярного фельетона, составлявшего литературно-критический отдел «Литературное обозрение» (в разные годы — «Литературные заметки», «Темы и парадоксы»), существовали небольшие отделы на разные литературные темы: «Литература», «В литературном мире», «Литературный календарь» и др. Рубрика «В литературном мире» содержала небольшие заметки не только о собственно литературных новостях, но о литературной жизни в широком смысле: информация о книжных новинках и новых постановках соседствовала со скандальными темами, сплетнями, непроверенными фактами. Специфика этой рубрики требовала особой манеры письма — афористичного языка, броских сравнений, тонкой, или, напротив, нескрываемой иронии.

Появление в «Биржевых ведомостях» рубрики «Литературный календарь» было связано с расширением литературного рынка, со стремлением осветить максимальное количество литературных событий. С целью привлечения подписчиков газетчики стремились дать широкому читателю самую разную информацию о культурной жизни, в том числе о периферийных и маргинальных ее явлениях (в частности, о жизни художественной богемы). Заполнялась эта рубрика оперативно, броско, интересно, но порой и с явным перехлестом. Название «Литературный календарь» фиксировало установку на всеохватность и регулярность предлагаемой читателю информации. Материалы подобных разделов подчас получали скорее новостной и публицистический характер, а содержащиеся в них сведения, имея несомненный историко-литературный интерес, не всегда представляли собой критику в собственном смысле слова.

На фоне подобной редуцированной продукции периодических изданий и в условиях избытия информации фельетон уже на рубеже веков переставал быть легковесным маргинальным жанром. Как правило, он становится наиболее развернутым, передовым материалом газетной полосы, а подвал второй и третьей полосы газетного листа — самым желанным местом публикации для журналистов и самой читаемой частью многотиражного издания. Этот раздел газеты содержал наиболее развернутые известия о вышедших книгах, о новых произведениях, помещенных в периодических изданиях; здесь давались обзоры альманахов и сборников поэзии, сообщалось о новостях западноевропейской литературы; анализ наиболее ярких событий года приводился в фельетонах новогодних выпусков.

Таким образом, в начале XX в. газета становится важнейшим субъектом информационного пространства, а ведущим жанром массовой периодики, освещающим все события литературной жизни, становится критический фельетон. Впервые именно в «фельетонной критике» мы встречаем столь актуальные сегодня аналитические построения, рассматривающие литературу как социальный институт: это реплики о

нарождении нового читателя, выстраивание литературных иерархий, рассуждения о литературных репутациях, о причинах успеха писателя и пр. Теоретические построения критиков-фельетонистов и их интерпретации художественных произведений до сих пор сохраняют историко-литературное значение, а статьи, широко востребованные массовой периодической печатью (интервью, портреты, рецензии, беллетристические репортажи и пр.), доносят до нас «живые» голоса авторов эпохи.

**ЛИТЕРАТУРА МОДЕРНИЗМА
И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ СТРАТЕГИИ 1900-1910-Х ГОДОВ:
МЕЖДУ ГРУППОВОЙ ИДЕОЛОГИЕЙ И ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВОЙ**

Издательская жизнь начала XX в. во многом зависела от общего течения социальной, исторической, культурной, научно-технической, экономической жизни России и представляла собой лавинообразный поток печатной продукции качественно очень разного содержания и оформления. Еще во второй половине XIX в. с усилением частного капитала и появлением массового читателя¹ деятельность издателей меняет свой статус и содержание: из инструмента культурного строительства она превращается в своеобразный бизнес-процесс, иронически описанный в мемуарах В. А. Гиляровского².

К концу XIX в. возникла ситуация своеобразного противостояния писателей и издателей – оба лагеря не удовлетворяли друг друга. Не случайно в уставе созданного в 1897 г. при Русском литературном обществе «Союза взаимопомощи русских писателей» в качестве одной из целей этой организации было обозначено посредничество между авторами, сотрудниками периодических изданий и переводчиками, с одной стороны,

¹ См.: *Рейтблат А. И.* От Бовы к Бальмонту и другие работы по социологии русской литературы. М., 2009. С. 277–293.

² «... «фабрикаторы народных книг», книжники и издатели с Никольской, собирались в трактире Колгушкина на Лубянской площади, и отсюда шло “просвещение” сермяжной Руси. Здесь сходились издатели: И. Морозов, Шарапов, Земский, Губанов, Манухин, оба Абрамовы, Преснов, Ступин, Наумов, Фадеев, Желтов, Живарев. Каждая из этих фирм ежегодно издавала по десяти и более “званий”, то есть наименований книг, — от листовки до книжки в шесть и более листов, в раскрашенной обложке, со страшным заглавием и ценою от полутора рублей за сотню штук. Печаталось каждой не менее шести тысяч экземпляров. <...> ...за чайком, издатели и давали заказы “писателям”.

“Писатели с Никольской!” — их так и звали.

<...> Большею частью сочинители были из выгнанных со службы чиновников, офицеров, не окончивших студентов, семинаристов, сынов литературной богемы, отвергнутых корифеями и дельцами тогдашнего литературного мира.

Сидит за столиком с парой чая у окна издатель с одним из таких сочинителей.

— Мне бы надо новую “Битву с кабардинцами”.

— Можно, Денис Иванович.

— Поскорей надо. В неделю напишешь?

— Можно-с... На сколько листов?

— Листов на шесть. В двух частях издам.

— Ладно-с. По шести рубликов за лист.

— Жирно, облопаешься. По два!

— Ну хорошо, по пяти возьму.

Сторгуются, и сочинитель через две недели приносит книгу» (*Гиляровский В. А.* Москва и москвичи: Очерки старомосковского быта. М., 1935. С. 361–362).

издателями и редакторами — с другой³. Насколько востребован оказался «Союз» свидетельствует статистика: только за два года его состав со 143 человек увеличился почти до 500 членов. Однако представительство писателей и поэтов новой генерации — символистов и так называемых неореалистов — в Союзе было весьма ограничено, и не в последнюю очередь в силу их идеологического противостояния признанным «отцам», занявшим ключевые позиции в его руководстве.

Публикации первых книг Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсова и К. Д. Бальмонта, Федора Сологуба и И. А. Бунина, Л. Н. Андреева и Максима Горького, которые стали появляться в конце XIX в. еще не носили какого-то организованного характера и нередко осуществлялись за счет собственных средств писателей или в силу счастливого стечения обстоятельств: благодаря личным связям, протекциям и другим случайностям.

Показательна история выхода в свет сборников Бальмонта «Под северным небом» и «Тишина», которые были напечатаны весьма авторитетными издателями: соответственно М. М. Стасюлевичем⁴ и А. С. Сувориным⁵. В 1893 г. в типографии М. М. Стасюлевича выходит первый выпуск сочинений П.-Б. Шелли в переводе Бальмонта, а в 1894 г. под маркой издательства печатается его поэтическая книга «Под северным небом». В том же 1893 г. в серии «Дешевая библиотека», основанной издательским концерном А. С. Суворина, выходит первый перевод на русский язык «Житейских воззрений кота Мура» Э.-Т. Гофмана, а в 1896 г. в том же издательстве появляется сборник Бальмонта «Тишина». Сложно не поставить этих событий в определенную зависимость друг от друга.

³ См. справку о нем: Энциклопедический словарь. СПб.: Типография Акционерного Общества «Издательское дело», Брокгауз-Ефрон, 1900. Т. 31: София — Статика. С. 95–96.

⁴ Об издательской деятельности М. М. Стасюлевича см.: *Семенов Д. Д.* Очерк общественно-просветительской деятельности Михаила Матвеевича Стасюлевича. М., 1897; *Разманова Н. А.* М. М. Стасюлевич и начало издания «Вестника Европы»: (1866–1873 гг.). Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к. и. н. М., 1988; *Кельнер В. Е.* Человек своего времени: (М. М. Стасюлевич: издательское дело и либеральная оппозиция). СПб., 1993; *Кельнер В. Е.* Общественно-политическая жизнь в России и издательское дело в 70–80 гг. XIX в.: (на материалах деятельности М. М. Стасюлевича). Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. д. и. н. СПб., 1995.

⁵ См. о нем: *Глинский Б. Б.* Алексей Сергеевич Суворин. Биографический очерк. СПб.: тип. А. С. Суворина, 1912; *Динерштейн Е. А.* «Контрагентство А. С. Суворина» // Книжное дело в России во 2-й половине XIX — начале XX вв. СПб., 1994. Вып. 7. С. 50–66; *Динерштейн Е. А.* А. С. Суворин: человек, сделавший карьеру. М., 1998; *Кемуллария Л. А.* А. С. Суворин: страницы биографии // Проблемы социально-политического развития российского общества. Воронеж, 2000. Вып. 7. С. 53–59; Телохранитель России: А. С. Суворин в воспоминаниях современников. Воронеж, 2001; *Азарина Л. Е.* Литературная позиция А. С. Суворина. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. к. филол. н. М., 2008; *Вишина Г. В.* Алексей Сергеевич Суворин (1834–1912) — первый медиамагнат России // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2014. № 13. С. 229–230.

Ранние книги старших символистов публикуются в самых разных издательских конторах. Выходом своей первой книги «Стихотворения. 1883–1887» (СПб., 1888) Мережковский обязан «Типографии Тренке и Фюсно». Его знаковая книга «Символы» вышла в 1892 г. в издательстве А. С. Суворина, безусловно, благодаря состоявшейся в 1891 г. в Венеции личной встрече издателя и литератора⁶. В 1890-е гг. книги Мережковского печатались также в издательствах П. П. Перцова («Вечные спутники», 1899) и М. М. Ледерле (перевод романа Лонга «Дафнис и Хлоя» и «Новые стихи» – 1896), в типографии М. Л. Меркушева («Вечные спутники» – 1897), в акционерном обществе «Издатель» (рассказы «Ангел» – 1899, «Любовь» – 1899). С «Издателем» была связана также публикация романа Гиппиус «Победители» (1898), у М. Л. Меркушева появился сборник ее рассказов «Новые люди» (1896), а также «Рассказы и стихи» Федора Сологуба (1896).

Свою роль в публикации книг старшего поколения символистов сыграли и другие как крупные, так и менее заметные издательства. У Н. М. Геренштейна выходит по-своему знаменитый сборник Гиппиус «Зеркала» (1895). Издательство И. Д. Сытина и типография Вильде связаны с многократным изданием ее рассказа «Злосчастная» в 1892, 1894, 1895, 1896, 1898 и 1904 гг. Предприятию «типографщика и арендатора афиш и изданий казенных театров» А. А. Левенсона Бальмонт обязан появлением в 1895 г. поэтической книги «В безбрежности». Типография Э. Э. Лиснера и Ю. Романа в 1894 г. издает «Романсы без слов» П. Верлена в переводе Брюсова, а в 1895 г. – оригинальную книгу его стихов «Chefs d'oeuvre» («Шедевры» – *фр.*). Роман «Тяжелые сны» Федора Сологуба впервые был опубликован в 1896 г. в типолитографии А. Е. Ландау. Товарищество А. И. Мамонтова издало книгу Брюсова «Me eum esse» (1897) и сборник его статей «О искусстве» (1899).

Подобным образом появлялись и первые отдельные издания произведений писателей неореалистов. Издание Бунина «На край света и другие рассказы» появилось в 1897 г. в известном издательстве О. Н. Поповой⁷. Случаю был обязан Горький публикации своих первых трех книг «Очерков и рассказов» в 1898 г. в издательстве С. П. Доротовского и А. П. Чарушников⁸.

Важную роль в этом процессе сыграли и провинциальные издательские конторы, которые начали активно развиваться на рубеже XIX–XX вв. и осознанно или нет,

⁶ См.: *Зобнин Ю. В.* Дмитрий Мережковский: Жизнь и деяния. М., 2008. С. 93–98 (сер. «Жизнь замечательных людей»).

⁷ См.: *Люблинский С. Б.* Книгоиздательство О. Н. Поповой // Книга: Исследования и материалы. М., 1966. Вып. 13. С. 120–132.

⁸ См.: *Чарушников А. И.* Издатель А. П. Чарушников: К истории издательства «С. Доротовский и А. Чарушников» // Книга: Исследования и материалы. М., 1985. Сб. 51. С. 85–108; *Поссе В. А.* Идейное издательство // Журнал для всех. 1910. № 7. С. 112 – 120.

становились проводниками нового искусства. В качестве примера достаточно сослаться на публикацию в Орле сборника Бунина «Стихотворения 1887–1891 гг.» (1891), в Киеве – очерков и рассказов А. И. Куприна под заглавиями «Киевские типы» (1896, Вып. 1) и «Миниатюры» (1897), а также упомянуть сборник 1893 г., изданный Харьковским обществом распространения в народе грамотности – «Голодный год» с произведениями Бунина и Андреева. Известны и другие провинциальные издательские центры, связанные с Ростовом-на-Дону («Донская речь» Н. Е. Парамонова); Одессой (книгоиздательства М. С. Козмана и С. С. Полятуса); Киевом (Ф. А. Иогансона); Харьковом (В. И. Раппа и В. И. Потапова) и др.

Однако все эти книжные публикации не носили системного характера, а между тем уже к концу 1890-х гг. в массовом читательском сознании «пробиваются побег», пользуясь выражением Мережковского⁹, новой литературы, и как следствие начинает формироваться запрос на модернистскую книгу. Возникает потребность и в новых форматах издательской деятельности. Еще в 1897 г. в «Новом Слове» прозвучал призыв Н. О. Пружанского к объединению издателей и авторов, к созданию издательских товариществ с целью противостояния Никольскому рынку, сбывающему в «50–100 т<ысячах> экз<емплярах>, а иногда и еще больше...» «“Прекрасных магометанок”, “Атаманов-мстителей”, “Каторжников” и всех тех бесчисленных феноменальных страшилищ, которыми <...> рынок наводит ужас на всю Россию»¹⁰. К этому периоду накапливается и определенная критическая масса нового литературного материала, творческих замыслов, требующих своего издателя, а молодые литературные силы чувствуют себя окрепшими, готовыми к консолидации.

Момент появления первых объединений писателей новаторских направлений совпадает с возникновением особого явления – литературного издательства, деятельность которого подчинена определенной творческой идее, реализует установленную художественно-эстетическую стратегию. Издатель здесь предстает не столько как предприниматель, сколько как «сотоварищ по литературе».

Круг таких издательств не был велик, и век их жизни не был долгим, а между тем значение их для литературного процесса и для развития книжного дела в России трудно переоценить. Именно они определили специфические очертания литературного облика эпохи.

⁹ Мережковский Д. С. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы // Мережковский Д. С. Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы. СПб., 2007. С. 501. (Сер. «Литературные памятники»).

¹⁰ Пружанский Н. Наша книга на базаре житейском // Новое слово. 1897. № 4. Янв. С. 19, 30–31.

Речь идет об издательствах к настоящему времени неоднократно становившихся предметом специальных научных исследований: «Знание» (1898–1913), «Скорпион» (1899–1916/1918), «Гриф» (1903–1914), «Шиповник» (1906–1922), «Пантеон» (1907–1910), «Факелы» (1906–1908), «Оры» (1907–1914), «Мусaget» (1909–1917), «Альциона» (1910–1923), «Сирин» (1912–1915), «Книгоиздательство писателей в Москве» (1912–1922), «Гиперборей» (1914–1918), «Парус» (1915–1918), «Алконост» (1918–1923), а также издательств русских футуристов: «Журавль» (1909–1918), «Издательство Г. Кузмина и С. Долинского» (1912–1913), «ЕУЫ» (1913–1914), «Петербургский глашатай» (1912–1914), «Мезонин поэзии» (1913–1914), «Лирика» (1913), «Центрифуга» (1913–1914), «Лирень» (1914–1920), «Пета» (1915–1916), «Очарованный странник» (1915–1916), «Стрелец» (1915–1916), «Китоврас» (1918). Объем выпущенной ими продукции кажется скромным на фоне масштабной деятельности издательских империй А. В. Суворина, И. Д. Сытина, П. П. Сойкина, А. Ф. Маркса, В. В. Думнова, А. Ф. Девриена, но и значение новых издательств определялось отнюдь не только стремлением наполнить книжный рынок модернистской литературой и занять на нем ведущее место. Прежде всего, они выступали в качестве организаторов литературной жизни посредством выпуска периодических изданий и объединения писателей-единомышленников вокруг программы, основанной на четко определенных художественно-мировоззренческих принципах.

Так, издательства «Знание», «Книгоиздательство писателей в Москве» объединяли вокруг себя представителей нового реализма, издательства «Скорпион», «Гриф», «Оры», «Сирин», «Мусaget», «Алконост», «Альциона» традиционно считаются «символистскими»¹¹, «Факелы» связаны с именем Г. Чулкова и его учением о «мистическом анархизме», «Гиперборей» – с появлением на литературной арене в 1910-х гг. акмеизма. Издательства футуристов создавались уже непосредственно с учетом интересов разных литературных группировок, а иногда и одного творца.

Особое место занимают «Шиповник» и «Пантеон», которые принято рассматривать как издательства «коммерческие». Действительно, они печатали представителей разных литературных направлений. Однако, как следует из опубликованных в настоящее время материалов, и у их организаторов была определенная идейная программа¹².

¹¹ См.: *Богомолов Н. А.* Журналистика русского символизма. М., 2002; *Шапкина О. И.* Символистские издательства России начала XX века // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2013. № 6. С. 131–136.

¹² См.: *Ромайкина Ю. С.* Литературно-художественный альманах издательства «Шиповник» (1907–1917): тип издания, интегрирующий контекст. Саратов, 2018; *Голлербах Е. А.* Германский след в русском пантеоне. Петербургское издательство «Пантеон» (1907–1912) как агент немецкой культуры // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2010. Т. 11. Вып. 3. С. 177–187.

Одним из первых новых явлений в области издательского дела стало паевое товарищество «Знание». Организовано оно было еще в 1898 г. К. П. Пятницким, который являлся главой издательской комиссии Петербургского комитета грамотности. В состав товарищества первоначально входили публицисты, общественные деятели, издатели, педагоги: В. А. Поссе, Д. Д. Протопопов, О. Н. Попова, В. И. Чарнолуцкий, Г. А. Фальборк – ориентированные на образование и просвещение массового читателя через распространение научно-популярной литературы. Однако с момента привлечения в 1900 г. к работе издательства Горького характер деятельности «Знания» существенно изменяется и расширяется. Горький фактически становится главой товарищества и формирует его издательскую стратегию, ориентируя ее на публикацию современных произведений остро социальной проблематики. Благодаря его предприимчивости ему удалось превратить издательство в весьма успешное профессиональное коммерческое дело с доходом в пользу писателей¹³.

Вокруг «Знания» группировались авторы по преимуществу реалистического направления, входившие, в частности, в литературный кружок «Среда»: Андреев, Бунин, Скиталец (С. Г. Петров), Куприн, Серафимович (А. С. Попов), Н. Д. Телешов и др.

Под маркой «Знания» за 15 лет существования вышло более 500 изданий художественной литературы, публицистики, книг по искусству, переводов. Только в серии «Дешевая библиотека», которая составила известную конкуренцию и одноименной серии, выпускаемой А. С. Сувориным, и деятельности «Товарищества Издательского Дела “Копейка”» было выпущено порядка полусотни художественных произведений писателей-неореалистов. Огромными тиражами выходили знаменитые «Сборники товарищества “Знание”», одно за другим – сочинения представителей уже нового литературного поколения: вышло 10 томов сочинений Горького, 5 томов – Бунина, 5 томов – С. С. Юшкевича, 8 томов – Е. А. Чирикова, 3 тома полного собрания сочинений Скитальца, 2 тома «Рассказов» С. Я. Елпатьевского и 2 тома «Пьес» С. А. Найденова (Алексеева); по

¹³ Так, Н. Д. Телешов свидетельствовал: «Издательство вело свои дела под флагом ярко выраженной защиты авторов от издательского гнета и кабалы по четко выраженному принципу: “весь доход от издания книги принадлежит автору, а не издателю”. Этого принципа, проведенного в жизнь Горьким <...> не должно забывать, особенно братьям-писателям, к которым Горький всегда относился с особым вниманием, с особой оценкой, с особой строгостью. Он первый начал создавать условия для освобождения писательского труда от эксплуатации издателей» (*Телешов Н. Записки писателя. Воспоминания и записки о прошлом.* М., 1958. С. 105). См. также: *Волков А. А. Максим Горький и литературное движение конца XIX и начала XX веков.* М., 1954; *Голубева А. Д. Горький – издатель.* М., 1968.

несколько изданий выдерживают сборники рассказов Куприна, Телешова, С. И. Гусева-Ориенбургского.

В новых переводах издается «Знанием» и зарубежная классика, причем характерно, что издатели в этом случае весьма активно обращались к переводческому опыту писателей и поэтов символистского направления, признавая в этом отношении их приоритет. Так, под маркой «Знания» выходит не только драматическая поэма Д.-Г. Байрона «Манфред» в переводе Бунина в 1904 г., но еще раньше в 1902 г. издаются античные переводы Мережковского («Скованный Прометей» Эсхила, «Антигона», «Эдип в Колоне», «Эдип царь» Софокла, «Ипполит» Еврипида), а в 1903–1907 годах выходит новое трехтомное переработанное издание произведений П. Б. Шелли в переводе Бальмонта.

Однако с момента дистанцирования от издательства «Знание» Горького, по политическим соображениям покинувшего Россию в 1906 г., и с возникшим стремлением ведущих писателей-«знаньевцев» преодолеть социальную-политическую тенденцию издательской программы товарищества, его масштабно развернутая деятельность постепенно стала сворачиваться. Эту ситуацию П. В. Басинский описывает следующим образом: «Соратники Горького по “Знанию” потребовали от него “ревизию” сборников <речь идет о “Сборниках товарищества «Знание»> в “духе времени”. Горький же возмущался тем, что в произведениях “знаньевцев” зазвучали нотки декадентства. <...> В годы реакции из “Знания” ушли Чириков, Куприн, Вересаев, Серафимович. Остались только верные Горькому Телешов и Гусев-Оренбургский. Но в это время и сам Горький, находясь далеко от России, на Капри, пользуясь невольной передышкой в общественной работе, углубился в собственное творчество и утратил к “Знанию” прежний интерес. Это был уже не просто кризис, но фактический крах издательства.

В 1912 году Горький вышел из товарищества. В 1913 году, когда он вернулся в Россию, “Знание” прекратило свое существование»¹⁴.

Показательно, что инициированные «Знанием» собрания сочинений писателей фактически завершались уже другими издательствами, имеющими не столько литературную, сколько общественно-политическую специализацию: собрание сочинений Горького – издательством «Жизнь и знание», основанном в 1909 г. В. Д. Бонч-Бруевичем; Бунина – издательством «Общественная польза»; Скитальца – также «Общественной пользой» и издательством «Освобождение», Юшкевича – издательством «Просвещение».

¹⁴ Басинский П. В. Горький. М., 2005. С. 232. (Сер. «Жизнь замечательных людей»).

Закрытию «Знания» отчасти способствовало и появление в 1906 г. в Санкт-Петербурге издательства «Шиповник»¹⁵, составившего конкуренцию товариществу Пятницкого и Горького. Руководителями его стали З. И. Гржебин и С. Ю. Копельман,

Программа «Шиповника» была обозначена очень широко, а в сжатом виде сформулирована З. И. Гржебиным так: «Шиповник» – издательство, которое «должно отражать две стороны жизни – социализм и красоту»¹⁶. Таким образом, в одном ряду оказывались трагедии и повести Андреева «Жизнь человека» (1907), «Царь Голод» (1908), «Анатэма» (1909.), «Прекрасные сабинянки» (1911), комедия Найденова «Хорошенькая» (1908), «Лирические драмы» Блока (1908), рассказы В. В. Муйжеля (в 1908–1910 изданы 4 тома), книги и романы Федора Сологуба «Политические сказочки» (1906); «Мелкий бес», выдержавший 5 изданий в 1907–1910, «Книга разлук» (1908), «Книга очарований» (1909), «заново просмотренное и исправленное автором» 3-е издание романа «Тяжелые сны» (1909), книги стихов Бальмонта «Птицы воздухе. Строки напевные» (1908), «Зеленый вертоград. Слова поцелуйные» (1909) и Андрея Белого «Пепел» (1909), стихи и рассказы С. М. Городецкого («Ива. 5-я книга стихов», 1913 и «Кладбище страстей. Рассказы», 1909) и др.

Кроме отдельных изданий и весьма востребованного «Альманаха издательства “Шиповник”» были выпущены собрания сочинений русских писателей-модернистов: Федора Сологуба (Т. 1–12, 1909–1912), Б. К. Зайцева (Кн. 1–3, 1906–1911), С. Н. Сергеева-Ценского (Т. 1–5, 1910), Г. И. Чулкова (Т. 1–6, 1911–1913), А. М. Ремизова (Т. 1–8, 1910–1912). В 1909 г. вышли 5, 6, и 7 тома собрания сочинений Андреева.

«Шиповник», а также созданный в 1907 г. З. И. Гржебиным «Пантеон», продвигали писателей-модернистов не только посредством публикации их оригинальных произведений, но и переводов. Так, известную конкуренцию полному собранию сочинений в 14-ти томах К. Гамсуна, которое издавалось в 1905–1911 годах в Москве В. М. Саблиным в серии «Классики современной мысли», составило 12-ти томное собрание сочинений этого писателя, вышедшее в 1908–1910 годах под маркой издательства «Шиповник». Преимущество последнего было обозначено непосредственно в объявлении о выходе этого собрания, где особенным образом подчеркивалось, что выходит оно при ближайшем

¹⁵ См. о нем: *Голубева О. Д.* Из истории издания русских альманахов начала XX века // Книга: Исследования и материалы. М., 1960. Вып. 3. С. 300–334; *Ромайкина Ю. С.* З. И. Гржебин и литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник» // Известия Саратовского университета. Нов. Сер. Филология. Журналистика. 2013. Т. 13, вып. 4. С. 50–55 и др.

¹⁶ Цит. по: *Ромайкина Ю. С.* Литературно-художественный альманах издательства «Шиповник». С. 53.

участии К. Д. Бальмонта, Ю. К. Балтрушайтиса и С. А. Полякова. В переводе Полякова в этом собрании Гамсуна вышли роман «Пан» и рассказы «Сьеста» (Т. 5), пьеса «Драма жизни» (Т. 6, в котором также принял участие С. Городецкий переводом пьесы «Закат»); в переводе Балтрушайтиса – роман «Виктория» и путевые очерки «В сказочной стране» (Т. 7); в переводе Бальмонта – рассказы «Поросль» (Т. 9), «Царица Тамара», «Под полумесяцем» (Т. 10), «Мечтатель», «Воинствующая жизнь» (Т. 11).

Особую роль «Шиповник» сыграл в публикации переводов произведений Г. Уэллса. Первая попытка издать собрание сочинений Уэллса была предпринята издателем Г. Ф. Пантелеевым в 1896–1898 годах, но фактически издано было только 4 тома избранных произведений в переводах М. А. Энгельгардт, Е. Г. Бекетовой, А. Г. Горнфельда, И. И. Ясинского. 13-томное собрание сочинений Уэллса, изданное «Шиповником» в 1909–1917 годах, отличалось не только полнотой, но и новым составом переводчиков. В нем приняли участие Э. К. Пименов, В. И. Засулич, Людвиг Экснер, Д. Л. Вайс, Н. В. Каменский, З. Н. Журавская, Н. А. Морозов, К. А. Морозова, Я. Гринцбер, В. Г. Тан (Богораз), К. Чуковский, Т. А. Богданович, А. Н. Анненская.

«Шиповник» представил читателю и «новые переводы с последнего (юбилейного) издания» Г. Флобера. В 1913–1915 вышли 1–4 и 8 тома, а коллектив переводчиков был представлен А. Н. Чеботаревской, Вяч. И. Ивановым, Н. М. Минским, Б. К. Зайцевым, В. Н. Муромцевой, А. А. Кублицкой-Пиоттух, А. А. Блоком.

В таком же формате – «новые переводы с последнего (юбилейного) издания» – в «Шиповнике» в 1910–1916 годах были изданы 30 томов сочинений Ги де Мопассана, в значительной части переведенных А. Н. Чеботаревской. В качестве переводчиков в нем также приняли участие Федор Сологуб, В. В. Гофман, С. М. Городецкий, Е. И. Дмитриева, Е. В. Святловский, А. С. Элиасберг, А. Мирэ (А. М. Моисеева), Б. К. Зайцев, И. Г. Смидович, О. Н. Черносвитова, Теффи (Н. А. Лохвицкая), Е. А. Лохвицкая, Е. С. Хохлова, Т. Л. Щепкина-Куперник, Эдуард Мениаль, Поль Нева.

Для новых литературных издательств переводы зарубежной литературы становились весьма эффективным средством конкурентной борьбы за читателя с издательскими концернами И. Д. Сытина, В. М. Саблина, М. В. Пирожкова, В. М. Антика и др. Не случайно и начало деятельности образцового с точки зрения реализации литературно-эстетической стратегии издательства «Скорпион» было положено именно переводом.

В 1899 г. у группы литераторов, в число которых входили К. Д. Бальмонт, Ю. К. Балтрушайтис, А. С. Поляков, М. Н. Семенов, возник замысел нового издательского

предприятия, которое стало известно под именем «Скорпион». Фактическими руководителями его стали Поляков и Брюсов.

О программе «Скорпиона» в первом выпущенном им Каталоге говорилось: «Книгоиздательство “Скорпион” имеет в виду преимущественно художественные произведения, а также область истории литературы и эстетической критики. Желая стать вне существующих литературных партий, оно охотно принимает в число своих изданий все, где есть поэзия, к какой бы школе ни принадлежал автор. Но оно избегает всякой пошлости <...>. Широкое место отводит “Скорпион” изданию переводов тех авторов, которые служат так называемому “новому искусству” <...> Пора дать читателям возможность составить самостоятельное мнение о новых течениях в литературе»¹⁷. Как видим, стратегия «Скорпиона» изначально строилась на продвижении «нового искусства» в широком смысле слова как феномена европейской культурной жизни в целом, поэтому включение иностранной литературы в общий репертуар было обязательным.

Дебютным изданием «Скорпиона» стал выпущенный в марте 1900 г. драматический эпилог в 3-х действиях Г. Ибсена «Когда мы мертвые проснемся» в переводе Полякова и Балтрушайтиса. Далее последовали: перевод Балтрушайтиса «Мертвого города» Г. Д’Аннунцио (1900), собрание сочинений Э. По в 5 томах в переводе Бальмонта (1901–1912) и в его же переводе «Баллада Рэдигской тюрьмы» О. Уайльда (1904) и «Побеги травы» У. Уитмана (1911), в переводе М. Н. Семенова роман С. Пшибышевского «Homo sapiens» (1904) и его романы «Дети сатаны» (1906), «Вечная сказка» (1907), «Сыны земли» (1905) в переводе Е. Троповского, в переводе Брюсова рассказ «Избиение младенцев», пьеса «Пеллеас и Мелизанда» и стихи М. Метерлинка соответственно в 1904 и в 1907 г., а также «Стихи о современности» (1906) и трагедия «Елена Спартанская» (1909) Э. Верхарна, собрание стихов П. Верлена (1911).

И все-таки значение «Скорпиона» связано в первую очередь с изданием новой русской литературы. Среди осуществленных им проектов книги Брюсова: «Tertia vigilia. Книга новых стихов. 1897–1900» (1900), «Urbi et Orbi. Стихи 1900–1903» (1903), «Stephanos. Венок. Стихи 1903–1905» (1906), сборники рассказов и драматических сцен «Земная ось» (1907, 1910, 1911), роман «Огненный Ангел. Повесть XVI века в двух частях» (1908, 2-е изд. – 1909), «Пути и перепутья. Собрание стихов» в 3 томах (1908–1909), «Путник. Психодрама в 1 действии» (1911), «Зеркало теней. Стихи 1909–1912» (1912), «Ночи и дни. Вторая книга рассказов и драматических сцен. 1908–1912» (1913), «Стихи Нелли. С посвящением» (1913); сборник Бунина «Листопад. Стихотворения» (1901); книги

¹⁷ Каталог книгоиздательства «Скорпион» к началу 1902 г. М., 1902. С. 5–6.

Бальмонта: «Будем как Солнце. Книга символов» (1903), «Жар птица. Свирель славянина» (1907), «Змеиные цветы» (1910), «Звенья. Избранные стихи. 1890–1912» (1913), «Поэзия как волшебство» (1915), а также его собрание стихов, вышедшее в 1904–1909; «Лествица. Поэма в VII главах» А. Л. Миропольского (А. А. Ланга) (1903); драма Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Кольца» (1904); собрания стихов Гиппиус и Мережковского (обе книги в 1904); две книги собрания стихов Федора Сологуба (1904), его же сборник «Жало смерти. Земле земное. Обруч. Баранчик. Красота. Утешение. Рассказы» (1904); «Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений» И. И. Ореуса (И. Коневского) (1904); книги Вяч. Иванов «Прозрачность. Вторая книга лирики» (1904), «Cor Ardens» (1911); книги Андрея Белого «Золото в лазури» (1904), «Симфония. 2-я, драматическая» (1902), «Северная симфония. Первая героическая» (1904), «Кубок метелей. Четвертая симфония» (1908) и его повесть «Серебряный голубь» (1907); второй сборник стихов Блока «Нечаянная радость» (1907).

На новый уровень издатели-«скорпионовцы» стремились вывести историко-литературный и критический дискурс. Это были и переводные, и оригинальные отечественные работы: перевод Семенова работы Г. Ландсберга «Долой Гауптмана» (1902); вступительные статьи, предисловия, критико-биографические очерки А. Ван-Бевера при издании произведений М. Метерлинка; подготовленное Брюсовым издание «Пушкин. Труды и дни. Хронологические данные жизни Пушкина, собранные Н. Лернером» (1903) и другие работы Брюсова, в которых с новой точки зрения рассматривался классический период русской литературы и критически осмысливались факты современной культуры в целом: «Лицейские стихи Пушкина. По рукописям Московского Румянцевского музея и др. источников. К критике текста» (1907), «Испепеленный. К характеристике Гоголя» (1909), «Далекие и близкие. Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней» (1912), «За моим окном. На похоронах Толстого. – Последняя работа Врубеля. – На “Святом Лазаре”. – Петр Иванович Бартенев» (1913). В этот же контекст следует поставить и исследование Мережковского «Гоголь и черт» (1906).

Как видим, в изданиях «Скорпиона» фактически отразились все этапы развития русского символизма как базового модернистского направления. Не случайно именно за «Скорпионом» закрепилось определение главной «цитадели» русского символизма. Стоит вспомнить высказывание Н. В. Котрелева, который при публикации юбилейного письма Андрея Белого Полякову «в день 25-летия со дня возникновения К-ва “Скорпион”» отметил: «Значение “Скорпиона” было не столько в том, что он обеспечивал литераторов материально: постоянного и достаточного гонорара издательство обеспечить не смогло, оно было бесприбыльно. “Скорпион” обеспечил присутствие символистов на книжном рынке, устойчивый контакт с читателями. “Скорпион” позволил символистам утвердиться и занять

независимую позицию в профессиональной среде, дал им субъективное чувство полноценности в социальной роли, объективно – заставил профессиональную среду всерьез считаться с новой писательской группой»¹⁸.

Думается, что это замечание вполне может быть распространено и на другие «идейные» литературные издательства начала XX в., благодаря которым принципиально меняются интонации в суждениях критики сначала о символизме, а позже в целом о модернизме и его представителях.

Так, параллельно «Скорпиону» в 1903 г. начинает действовать связанное с идеями и эстетикой русского «аргонавтизма» издательство «Гриф»¹⁹, основанное С. А. Соколовым (известным под творческим псевдонимом С. Кречетов). «Гриф» фактически начал свою деятельность с публикации книг Бальмонта, у которого в 1903–1904 г. осложнились отношения со «Скорпионом». Здесь были изданы его поэтические книги «Только любовь. Семицветник» (1903–1904), «Литургия красоты. Стихийные гимны» (1905), «Фейные сказки. Детские песенки» (1905) и книга статей «Горные вершины» (1904). Двумя изданиями в «Гриф» вышел поэтический сборник Бальмонта «Зарево зорь» (1912 и 1914). Сотрудничал с «Грифом» и Федор Сологуб, опубликовавший под маркой этого издательства «Книгу сказок» (1905) и «Истлевающие личины» (1907). Но по преимуществу значение «Грифа» связано с изданием первых книг младшего поколения русских символистов, пришедшего в литературу во второй половине 1900-х гг. и совсем не просто пробивающегося на издательскую арену. «Гриф» выпустил первую поэтическую книгу Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (1905), ряд книг Андрея Белого («Возврат. III симфония» – 1905, «Урна» – 1909), С. А. Ауслендера («Золотые яблоки», 1908), М. А. Волошина («Стихотворения. 1900–1910», 1910), А. Н. Толстого («За синими реками», 1911) и, конечно, книги самого Соколова («Алая книга» – 1907; «Летучий голландец» – 1910).

¹⁸ Андрей Белый: Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. Публикации М., 1988. С. 654–655. Ср. письмо Андрея Белого к Э. К. Метнеру от 9 апреля 1903 г., где говорится о неуклонном возрастании интереса к «новому искусству», которое «разливается вширь, стучится в двери; “скорпионовская кучка” интересуется всех: ее ругают, хвалят, но все интересуются. Словом, начался процесс ассимиляции. Образовалась целая порода молодых людей и девиц, которых газетные репортеры уже окрестили позорным, по их мнению, прозвищем “подбрюсков”, “брюссенят”, “брюссиков”... Характерно, что бывали случаи, когда Брюсовым увлекались и почтенные люди (даже старики) <...> Если Москва будет прогрессировать в том же направлении, то, по словам Бальмонта, она превратится в декадентский городок менее чем через два года» (цит. по: *Азадовский К. М., Максимов Д. Е.* Брюсов и «Весь»: (К истории издания) // Литературное наследство. М., 1976. Т. 85. С. 317).

¹⁹ См.: Каталог издательства «Гриф». М., 1913; Альманах Гриф. 1903–1913. М., 1914. См.: также: *Белый Андрей.* Воспоминания об Александре Александровиче Блоке // Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 225–227.

«Грифу» читатель был обязан знакомством и с поэтической книгой И. Ф. Анненского «Кипарисовый ларец» (1910), подготовленной к посмертному изданию сыном поэта, известным под псевдонимом В. Кривич.

Определенный резонанс в литературном мире 1900-х получила деятельность издательства «Факелы», инициированного Г. И. Чулковым, основателем и проповедником «мистического анархизма»²⁰. Практика издательства не имела широкого развития и из наиболее значимых публикаций следует указать на выход трех выпусков сборника «Факелы» (1906, 1907 и 1908 гг.), а также поэтической книги самого Чулкова «Весной на Север. Лирика» (1908) и книги Городецкого «Дикая воля. Стихи и сказки» (1908). Особые отношения с «Факелами» сложились у Федора Сологуба, в переводе которого под маркой этого издательства вышли стихи П. Верлена в 1908 г. и трагедия «Победа смерти» (1908).

Однако судьба предприятия Чулкова весьма показательна: стратегия, построенная только на идеологической догме, лишенная развернутой корпоративной поддержки и стабильного финансирования, оказалась малоэффективной и не долгосрочной.

Отчасти то же можно отнести и к «камерному» издательству Вяч. Иванова «Оры», возникшему в 1907 г. Единоличный выбор, парадоксальным образом подчиненный идее соборного начала в искусстве и культуре, также не смог обеспечить издательскому делу экстенсивного развития. И все же деятельность «Ор» оставила заметный след в истории литературы: здесь вышли «Эрос. 4-я книга лирики» (1907), «По звездам. Статьи и афоризмы» (1909) и «Нежная тайна. Лепта» (1912) самого Вяч. Иванова, а также «Тридцать три уroda» и «Трагический зверинец» Зиновьевой-Аннибал, «Снежная маска» Блока, «Тайга. Драма» Чулкова, «Лимонарь» и «Луг духовный» А. М. Ремизова, «Перун» Городецкого, альманах «Цветник Ор: Кошница первая» (все — в 1907), «Комедии» М. А. Кузмина (1908), «Идиллии и элегии» Ю. Н. Верховского (1910), «Стихотворения» А. Д. Скалдина (1912). В деятельность «Ор» Иванов пытался привнести идею духовного братства, члены которого связаны одной целью — охранять истинно-символическое искусство, подобно мифологическим Орам — девам-привратницам неба, стоящим на страже Олимпа. Но на практике этим амбициозным планам реализоваться не удалось, что и определило судьбу издательства, которое уже к 1909 г. фактически прекратило свое существование.

В 1910-е гг. появляется издательство, масштаб деятельности которого отчасти сопоставим с заслугами «Скорпиона» — это «Мусагет» Э. К. Метнера, поддержанного В. В. Пашуканисом, Андреем Белым, Эллисом (Л. Л. Кобылинским), А. С. Петровским, М. И.

²⁰ См.: Чулков Г. О мистическом анархизме. Со вступ. ст. Вяч. Иванова о неприятии мира. СПб: Факелы, 1906.

Сизовым и др.²¹ Об издательской стратегии этого предприятия вспоминал Андрей Белый: «В платформу издательства влили различные линии, их собирая в триаду: Орфей – Мусагет – Логос; в центре стоял “Мусагет” (символизм и культура), направо <...> – “Логос” (ведь ионийская философия – есть аполлоново дело), налево – “Орфей”: дионисийское развоплощение...»²². Таким образом издательство ориентировалось главным образом на идею синтетически понятой культуры. «Пафосом “синтеза” определялся и профиль печатной продукции “Мусагета”, – пишет М. В. Безродный, – она распадалась на научно-философскую (журнал “Логос”), религиозно-мистическую (книжная серия “Орфей”: переводы сочинений Экхарта, Беме, Сведенборга и др.) и, так сказать, общекультурно-символистскую (оригинальные и переводные книги поэзии и критики; журнал “Труды и дни”))»²³.

Как и в «Скорпионе», в «Мусагете» высоко ценили европейский контекст, но в отличие от «франкофонной» ориентации «Скорпиона», по определению М. В. Безродного, «Мусагет» стал главным органом русского германофильства эпохи модерна²⁴.

В книжной серии «Орфей»²⁵ при «Мусагете» вышли книги: Я. Ван Рейсбрук «Одеяние духовного брака» с предисловием М. Метерлинка в переводе М. И. Сизова (1910), «Фрагменты» Гераклита Эфесского в переводе В. О. Нилендера (1911), «Проповеди и рассуждения» И. Экхарта в перевод М. В. Сабашниковой (1912) и его же «Цветочки святого Франциска Ассизского» в перевод А. П. Печковского (1913), «Увеселения премудрости о любви супружественной» Э. Сведенборга, подготовленное В. В. Пашуканисом (1914), «Аугога или Утренняя заря в восхождении!» Я. Беме в переводе А. С. Петровского (1914).

К числу наиболее значимых для отечественной культурной традиции изданий «Мусагета» относятся книги критических статей «Символизм» (1910) и «Арабески» (1911) Андрея Белого и его работа «Трагедия творчества Достоевского и Толстого» (1911), «Русские символисты» Эллиса (1910) и его трактат «Vigilemus!» (1914), «Русская Камена»

²¹ См.: Толстых Г. А. Издательство «Мусагет» // Книга: Исследования и материалы. 1988. Сб. 56. С. 112–133; Безродный М. Из истории русского германофильства: Издательство «Мусагет» // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1999 год / Под ред. Н. А. Котрелева. М., 1999. С. 157–198; Серков А. И. Н. П. Киселев и его незавершенные планы в издательстве «Мусагет» // Румянцевские чтения – 2021: Материалы Международной научно-практической конференции: В 2 ч. М., 2021. Ч 2. С. 335–340; Дневник Н. П. Киселева на посту секретаря издательства «Мусагет» / Публ. А. И. Серкова // Литературный факт. 2021. № 2 (20). С. 82–114.

²² ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 13. Л. 91.

²³ Безродный М. В. Издательство «Мусагет»: Групповой портрет на фоне модернизма // Русская литература. 1999. № 2. С. 126.

²⁴ См.: Там же. С. 127.

²⁵ См.: Светликова И. Орфизм в «Мусагете» // Revue des études slaves. 2018. Т. 59, fasc. 4. С. 599–606.

Б. А. Садовского (1910), «Борозды и межи: Опыты эстетические и критические» Вяч. Иванова (1916), «Модернизм и музыка. Статьи критические и полемические» (1912) и «Размышления о Гете. Книга I: Разбор взглядов Рудольфа Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма» Метнера (1914), «Рихард Вагнер и Россия: О Вагнере и будущих путях искусства» С. Н. Дурылина (1913) и др.

Особую роль сыграл «Мусажет» в публикации «Стихотворений» Блока в 3-х книгах (1916), составивших своеобразную трилогию, отразившую основные этапы развития младосимволизма, а также вторую книгу стихов Гиппиус (1910), «Апрель. Вторая книга стихов (1906–1909)» (1910) и «Цветник Царевны. Третья книга стихов (1909–1912)» (1914) С. М. Соловьева, «Stigmata. Книга стихов» (1911) и «Арго. Две книги стихов и поэма» (1914) Эллиса, «Уединенный дол. Вторая книга стихов» В. В. Бородаевского (1914), первый том «Стихотворений» Верховского (1917).

В 1912 г. выделилось и издательское предприятие, получившее имя «Сирин»²⁶. Его основателем стал финансист М. И. Терещенко, а идейными вдохновителями – Ремизов и публицист Иванов-Разумник (Р. В. Иванов), которые привлекли к деятельности издательства Андрея Белого, Блока, Брюсова. Стратегия «Сирина» была задумана как реанимация и отчасти реконструкция «строгой символистской линии». Известно, что планировалось издать порядка 50 томов поэзии и прозы, в том числе ряд собраний сочинений уже признанных символистов. Под маркой «Сирина» вышли отдельными изданиями поэтический сборник Бальмонта «Белый зодчий. Таинство четырех светильников» (1914), несколько книг Ремизова («Подорожье. Рассказы» – 1913; «Докука и балагурье. Русские сказки» – 1914; «Весеннее порошье. Рассказы» – 1915), а также отдельные тома собраний сочинений Сологуба (Т. 3–7, 9, 11–20), Брюсова (Т. 1–4, 12–13, 15, 21). При этом единственным завершенным собранием стало издание сочинений самого Ремизова в 8 томах (1910–1912). А вот проанонсированные собрания Андрея Белого и Блока так и не были осуществлены. Расширению деятельности «Сирина» критическим образом воспрепятствовало начало в июле 1914 г. Первой мировой войны. А его стратегия отчасти была подхвачена С. М. Алянским и его издательством «Алконост»²⁷ фактически на излете литературной эпохи начала XX в.

²⁶ См.: Голлербах Е. Д., Мухаркин Д. М. Издательство «Сирин» // Книжное дело в России в XIX – начале XX века. СПб., 2004. Вып. 12. С. 57–74; Спивак М. Л. Издательство «Алконост»: К вопросу о семантике названия // Известия РАН. Сер. Литературы и языка. 2008. Т. 67. № 5. С. 16–28.

²⁷ См.: Алянский С. М. Встречи с Александром Блоком. М., 1972. С. 39–49; Белов С. В. Мастер книги: Очерк жизни и деятельности С. М. Алянского. Л., 1979; Глейзер М. М. Издательство «Алконост»: 1918–1923: Издательско-библиографический каталог, Л., 1990;

«Алконост» дебютировал в 1918 г. изданием «Соловьиного сада» А. Блока. (1918) – представляет нам и главного вдохновителя издательских проектов С. М. Алянского. В 1918–1921 годах в этом издательстве вышли и другие произведения Блока «Двенадцать» (три изд. – 1918, 4-е – 1921), «Россия и интеллигенция» (1918, 1919), «Ямбы. Современные стихи. 1907–1914» (1919), «Катилина» (1919), «Песня судьбы. Драматическая поэма» (1919), «Седое утро» (1920), «Рамзес. Сцены из жизни Древнего Египта» (1921), «Последние дни императорской власти» (1921).

«Алконост» активно издавал произведения и других писателей-модернистов: Андрея Белого («Христос Воскрес» – 1918; «На перевале. I–III» – 1918; «Королева и рыцари. Сказки» – 1919; «Первое свидание. Поэма» – 1921), Ремизова («Сибирский пряник. Большим и для малых ребят сказки» – 1919; «Электрон. Стихи» – 1919), Зиновьевой-Аннибал («Нет! Рассказы. Посмертное издание» – 1918), Вяч. Иванова («Младенчество» – 1918; «Прометей. Трагедия» – 1919). Но особенностью деятельности «Алконоста» была установка не только на издание новых книг, но и на републикацию наиболее значительных произведений писателей-модернистов. Так, увидели свет отдельные сборники ранних произведений Блока и Ахматовой. Подобного рода переиздания частью и обеспечивали вполне успешное существование «Алконоста». В начале 1920-х годов в связи с эмиграцией Алянский перенес свою деятельность за границу, но к 1923 г. она фактически прекратилась.

Конечно, нельзя не отметить, что издательства, о которых мы говорим, не просто оказывались предприятиями, организующими подготовку того или иного произведения к публикации, тиражированию и распространению, они становились литературными центрами, пропагандирующими ту или иную групповую идеологию или отдельную художественную программу. Таким образом их деятельность неизбежно оказывалась ограничена существованием литературного направления или группировки, а часто и зависима от личной воли и выбора одного организатора. Для издательских стратегий начала XX в., с учетом ограниченности финансовых возможностей (значительной частью они существовали на средства меценатов), такая, по сути, служебная функция часто становилась барьером на пути к устойчивому экстенсивному развитию.

Сама атмосфера издательской жизни начала XX в. не была идиллической, скорее она предстает в виде борьбы и в первую очередь борьбы за ресурсы. Не случайно символистские литературные издательства во многом способствовали выходу первых книг русских акмеистов и футуристов, концептуально вовсе не вписывающихся в заданную художественную программу. Так, «Скорпион» издал книги М. А. Кузмина «Крылья.

Чернов И. А. Блок и издательство Алконост // Блоковский сборник. Вып. 1. Тарту, 1964. С. 530–538.

Повесть в 3-х частях» (1907, 2-е изд. – 1908), «Сети. Первая книга стихов» (1908), «Первая книга рассказов» (1910), «Вторая книга рассказов» (1910), «Куранты любви» (1910), «Осенние озера. Вторая книга стихов» (1912), «Третья книга рассказов» (1913) и Н. С. Гумилева «Жемчуга. Стихи» (1910). В издательстве «Гриф» вышли две первые книги поэт Игоря-Северянина (И. В. Лотарева) «Громокипящий кубок» и «Златолира» соответственно в 1913 и 1914 г.

В этом контексте стоит вспомнить и несколько особняком стоящее в 1910-е г. издательство «Альциона», созданное секретарем издательства «Мусагет» А. М. Кожебаткиным²⁸. Традиционно издательство «Альциона» считается также символистским²⁹, однако основной его репертуар составили книги уже скорее постсимволистского поколения авторов. Здесь вышли: «Orientalia. Февраль–октябрь 1912 г.» (2 издания – 1913, 3 издание, исправленное и дополненное, без подзаголовка – 1915) и «Старая сказка» (издание 2-е, дополненное посмертными стихотворениями – 1914) Н. Г. Львовой; критический очерк «О блаженстве имущего. Поэзия З. Н. Гиппиус» (1912) и книга эссе «Две морали» (1914) М. С. Шагинян; две книги С. Клычкова (С. А. Лещенкова) – «Песни. Печаль-Радость. Лада. Бова» (1911) и «Потаенный сад» (1913); «Самовар. Стихи» (1914) и книга рассказов «Узор чугунный» (1914) Б. А. Садовского; «Счастливый домик. Вторая книга стихов» В. Ф. Ходасевича (1914); «Колчан. Стихи» Гумилева (1916); поэтические книги Г. В. Иванова «Облака. Стихи» (1916) и «Вереск. Вторая книга стихов» (1916); «Весна после смерти» Т. В. Чурилина (1915); две книги В. Ю. Эльснера «Выбор Парниса. Первая книга стихов» (1913) и «Пурпур Киферы. Эротика» (1913).

Однако общая обстановка литературной борьбы, идейного противостояния заставляла молодых литературных лидеров задумываться о собственных издательских предприятиях. Примером может служить возникшее в 1914 г. издательство акмеистской направленности «Гиперборей», унаследовавшее название выходившего в 1912–1913 г. ежемесячного сборника акмеистов, издателем и редактором которого был М. Л. Лозинский. В общем виде антисимволистскую программу гиперборейцев сформулировал В. М. Жирмунский в 1916 г. в критическом анализе выпущенных издательством книг, где

²⁸ См.: *Лидин В. Г.* Друзья мои – книги: Заметки книголюбца. М., 1976. С. 91–94.

²⁹ Под маркой издательства «Альциона» вышла знаменитая книга статей «Луг зеленый» Андрея Белого (1910), 6-я книга рассказов Гиппиус «Лунные муравьи» (1912), книга Ж. Лафорга «Феерический собор» (в переводе Брюсова, Н. Г. Львовой, В. Г. Шершеневича, 1914), небольшая антология переводов Брюсова из французских писателей (Стендаля, Вилье де Лиль Адана, Мореаса, де Ренье, Бордо, Ласкариса, Мортена, д’Ога) «Разноцветные камни. Книга маленьких рассказов. Сб. 1» (1914), сборник его же переводов «Еротораегния» (стихи Овидия, Петрония, Сенеки и др.) (1917) и «Краткий курс науки о стихе. (Лекции читанные в студии стиховедения в Москве 1918 г.)» (Ч. 1, 1918).

отметил, что книги «гиперборейцев» несут явные черты нового чувства жизни, суть которого «в отказе от мистического восприятия и в выходе из лирически погруженной в себя личности поэта-индивидуалиста в разнообразный и богатый чувственными впечатлениями внешний мир»³⁰. Результатом деятельности издательства за четыре года стали 12 книг, в том числе 3 издания «Четок» Ахматовой (1914, 1915, 1916), книга стихов Г. В. Иванова «Горница» (1914), 2-е издание «Камня» О. Э. Мандельштама (1916), «Четырнадцать стихотворений» М. А. Зенкевича (1918), книги стихов «Колчан» (1916), «Фарфоровый павильон. Китайские стихи» (1918), «Костер» (1918) и африканская поэма «Мик» Гумилёва (1918).

Градус напряженности в издательской жизни начала XX в. повысился, когда на признание и лидерство стали претендовать русские футуристы с их эпатажем и борьбой против нормативности в искусстве.

При всем стремлении футуристов выступить единым фронтом, их издательские «демарши» скорее были инструментом «внутривидовой» литературной борьбы и средством пропаганды отдельных теорий и представлений. Пестрая картина издательской деятельности русских футуристов непосредственно отразила развитие этого концептуально очень неоднородного литературного направления.

Как известно, первое выступление в печати футуристов началось с публикации коллективного сборника группы «будетлян» «Садок Судей. I», изданного (как позже и «Садок судей. II» уже как коллективный труд «гилейцев») издательством «Журавль», основанным в 1909 г. Е. Г. Гуро и М. В. Матюшиным на собственные средства. Издательство выпустило несколько книг самой Елены Гуро («Шарманка» – 1909, еще без обозначения издательской марки; «Осенний сон» – 1912, посмертно «Небесные верблюжата» – 1914), коллективный сборник «Трое» (1913) со стихами Велимира Хлебникова, Алексея Крученых, Елены Гуро, книгу Хлебникова «Битвы 1915–1917 гг. Новое учение о войне» (1915, с предисловием Крученых), две поэмы П. Н. Филонова под общим заглавием «Пропевень о проросли мировой» (1915). В 1917 г. издательство сменило название, и книги «Несчастный ангел» Рюрика Ивнева (М. А. Ковалева) (1917), «Зажженная свеча» Иннокентия Оксенова (1917), «Невыпитое сердце» Ады Владимировой (1918) вышли под маркой «Дом на Песочной». При этом стоит заметить, что деятельность «Журавля» держалась не столько на заранее выработанной программе, сколько на личных и творческих связях и пристрастиях.

³⁰ *Жирмунский В.* Преодолевшие символизм // Русская мысль. 1916. № 12. С. 53.

Появление в 1912 г. знаменитого футуристического сборника-манифеста «Пощечина общественному вкусу» связано с деятельностью издательства Г. Л. Кузьмина и С. Д. Долинского, поддержавших футуристические эксперименты молодых поэтов. За два года под маркой этого издательства были опубликованы: коллективный сборник «Мирсконца» (1912), антология «Требник троих» (1913), поэма «Игра в аду» (1912, 2-е дополненное издание – 1914), написанная совместно Крученых и Хлебниковым, первый сборник стихов В. В. Маяковского «Я» (1913). Но главным автором, которого публиковало издательство стал Крученых, издавший здесь сборники «Старинная любовь» (1912) «Помада» (1913), «Полуживой» (1913).

Кузьмин и Долинский финансово поддержали и специальную издательскую инициативу Крученых, направленную на создание небольших тиражей литографированных книжек под издательской маркой «ЕУЫ». Так были изданы прежде всего книги самого Крученых: «Взорваль» (1913), «Бух лесиный» (1913), «Взропщем» (1913), «Утиное гнездышко... дурных слов...» (1913), «Черт и речетворцы» (1913), поэтический манифест «Слово как таковое» (1913), исследование «Стихи Вл. Маяковского» (1914), его совместный с Зиной В. (Зинаидой Волковой, дочерью Л. Д. Троцкого), одиннадцатилетней девочкой, сборник «Поросята» (1913, 2-е дополненное издание – 1914) и совместный с Хлебниковым сборник «Тэ Ли Лэ» (1914). «ЕУЫ» издало и ряд самостоятельных книг Хлебникова: «Изборник стихов с послесловием речяря. 1907–1914 гг.» (1914), «Ряв! Перчатки: 1908–1914 гг.» (1914).

Книги кубофутуристов («гилейцев» и «будетлян») издавались также под другими издательскими марками: книга Б. К. Лившица «Волчье солнце: Книга стихов вторая» – Издательство литературной К^о футуристов «Гилея», 1914; коллективные сборники «Дохлая луна», «Затычка», «Молоко кобылиц» – Футуристы «Гилея», 1913–1914; «железобетонные поэмы» В. Каменского под заглавиями «Нагой среди одетых» (1914) и «Танго с коровами» (1914) – Издание Д. Д. Бурлюка – издателя 1-го журнала русских футуристов; первый том «Творений. 1906–1908 гг.» Хлебникова – Издание «Первого журнала русских футуристов», 1914. В традиционном смысле слова издательств с такими названиями не существовало, а издательские марки по-своему институализировали и пропагандировали само футуристическое литературное объединение.

В свою очередь для реализации интересов другого авангардистского крыла, получившего название эгофутуризма, также создавались специальные издательства. Поэты Игоря-Северянина («Пролог «Эго-футуризма»: Поэза-грандиоз. Апофеозная тетрадь третьего тома. Брошюра тридцать вторая» – 1911, «Качалка грёзерки. Поэзы. Том IV. – Сады футуриста. Книга 1. Брошюра 33-я» – 1912), К. К. Олимпова «Аэропланские поэзы.

Нервник. 1. Кровь первая» – 1912), Г. В. Иванова («Отплытие на о. Цитеру: Поэзы. Книга первая» – 1912) были изданы под маркой издательства «ЕГО».

С 1912 по 1914 гг. действовало и эгофутуристическое издательство «Петербургский глашатай» (1912–1914), созданное И. В. Игнатьевым. Под данной издательской маркой вышли знаменитые альманахи эгофутуристов: «Оранжевая урна. Альманах памяти Фофанова» (1912), «Стеклянные цепи. Альманах эго-футуристов» (1912), «Орлы над пропастью» (1912), «Дары Адониса: Эдиции Ассоциации Эго-футуристов» (1913), «Засахаре кры. Эго-футуристы. V» (1913), «Бей! но выслушай: VI альманах эгофутуристов» (1913), «Всегда. Эгофутуристы. VII» (1913), «Небокопы. VIII» (1913), «Развороченные черепа. Эгофутуристы: IX» (1913). Издавал «Петербургский глашатай» также авторские книги: самого Игнатьева («Гостинец сентиментам» – 1913, «Эшафот. Эгофутуры» – 1914), Олимпова («Жонглеры-нервы» – 1912), В. Г. Шершеневича («Романтическая пудра: Поэзы. Opus 8-й» – 1913), В. И. Гнедова («Смерть искусству: пятнадцать (15) поэм» – 1913).

В 1913 г. возникает еще один футуристический центр – группа «Мезонин поэзии», лидером которой становится Шершеневич, а участники ее печатаются под одноименной издательской маркой и выпускают коллективные сборники: «Вернисаж. Вып. 1» (1913), «Пир во время чумы. Вып. 2» (1913), «Крематорий здравомыслия. Вып. 3-4» (1913) и книги Рюрика Ивнева («Пламя пышет» – 1913), П. Д. Широкова («Розы в вине. I» – 1912), К. А. Большакова («Сердце в перчатке» – 1913), Шершеневича («Экстравагантные флаконы» – 1913). Между тем уже в 1914 г. группа распалась и деятельность издательства была прекращена.

В связи с футуристическими объединениями нельзя не отметить и издательства «Лирика», основанного С. П. Бобровым, лидером одноименной литературной группы, в которую вошли Н. Н. Асеев, Б. Л. Пастернак, Ю. П. Анисимов, В. О. Станевич, С. Н. Дурьлин, С. Я. Рубанович. Издательство «Лирика» опубликовало сборник самого Боброва «Вертоградари над лозами» (1913), а также книги Асеева («Ночная фиалка» – 1914) и Пастернака («Близнец в тучах» – 1914).

Однако уже в начале 1914 г. группа «Лирика» распалась, издательство прекратило существование, а Бобров при поддержке Асеева и Пастернака основали новую группу «Центрифуга». Под одноименной издательской маркой вышли сборники «Руконог» (1914), «Второй сборник Центрифуги» (1916), а также книги Ф. Ф. Платова «Блаженны нищие духом» (1915) и «Третья книга» (1916), Большакова «Солнце на излете: Вторая книга стихов: 1913–1916» (1916), Рюрика Ивнева «Золото смерти» (1916), И. А. Аксенова «Неуважительные основания» (1916), Асеева «Оксана» (1916), Боброва «Алмазные леса»

(1917) и «Ли́ра Лир: Третья книга стихов» (1917), Пастернака «Поверх барьеров. Вторая книга стихов» (1917).

В 1910-е г. свою роль в становлении русского футуризма сыграло и издательское предприятие «Лирень», основанное Г. Н. Петниковым и Асеевым в Харькове. «Лирень» выпустил два «Временника» соответственно в 1916 и 1917 г., сборник Петникова и Асеева «Леторей» (1915), книги Божидара (Б. П. Гордеева) «Вубен» (1914, 2-е издание – 1916), Асеева «Зор» (1914) и «Ой конин дан окейн. Четвертая книга стихов» (1916), Хлебникова «Труба марсиан» (1916), «Ошибка смерти» (1917), Петникова «Поросль солнца: 3-я книга стихов» (1918, 2-е издание – 1922), Чурилина «Вторая книга стихов» (1918). В 1920 г. вышел коллективный сборник «Лирень».

Книги и сборники русских футуристов выходили небольшими тиражами и, как правило, представляли собой экспериментальное вербально-визуальное единство. Как отмечает В. Н. Альфонсов, «именно с футуризма начинается принципиально новый этап во взаимоотношениях поэзии и живописи. Привычная связь по идее, повествовательному мотиву решительно вытесняется связью по методу, “мастерству”»³¹. Особенно это касалось изданий кубофутуристов, на страницах которых параллельно с поэтами свой «текст» в рамках книги создавали художники М. Ф. Ларионов, Н. С. Гончарова, К. С. Малевич, П. Н. Филонов, О. В. Розанова, В. Е. Татлин, А. В. Лентулов, В. Д. Бурлюк, Н. И. Кульбин, Н. И. Альтман, В. Н. Чекрыгин, Л. Ф. Шехтель, К. М. Зданевич, Н. Е. Роговин, И. А. Пуни, А. А. Экстер, не считая самих поэтов-художников: Д. Д. Бурлюка, Е. Г. Гуро, А. Е. Крученых, В. В. Маяковского, В. В. Каменского. Таким образом сам издательский процесс оказывался не столько процессом технологическим, сколько превращался в творчество, подчас коллективное.³²

В целом логика развития футуристических издательств приводит к появлению предприятий, в некоторых случаях представляющих интересы одного автора. Таковым оказалось издательство «Пета», созданное Ф. Ф. Платовым, деятельность которого началась с публикации манифеста самого организатора «Назад, чтобы моя истина не раздавила вас» и трех графических работ художника А. Е. Лопухина под общим заглавием «Пророк, который говорит» (1915). В издательстве «Пета» вышел и одноименный коллективный сборник, в котором были опубликованы стихи и рисунки Айгустова и Асеева, Боброва и

³¹ Альфонсов В. Н. Поэзия русского футуризма // Поэзия русского футуризма. СПб., 1999. С. 9. (Сер. «Новая библиотека поэта»).

³² См.: Ковтун Е. Русская футуристическая книга. М., 1989; Крусанов А. Русский авангард: 1907–1932. СПб., 1996. Т. 1: Боевое десятилетие; Поляков В. Книги русского кубофутуризма: с приложением каталога футуристических изданий. М., 2007; Марков В. История русского футуризма. СПб., 2017.

Большакова, Платова и Третьякова, Хлебникова и Чартова, Шиллинга и Юрлова (1916). В этом контексте следует упомянуть и издательство «Китоврас» (1918), связанное с именем Каменского, который опубликовал под этой маркой произведения «Его-моя биография Великого Футуриста» (1918), «Звучаль Веснеянки. Стихи» (1918).

Значение футуристических издательских проектов сложно переоценить. Они не только обеспечили становление русского авангарда, но и сформировали новое отношение к книге как самостоятельному акту творчества. Однако сугубая зависимость издательского процесса от художественной идеологии того или иного толка, а в ряде случаев и от лидерских качеств того или иного организатора, обуславливала его неустойчивость, издательские программы быстро исчерпывались, а предприятия прекращали свое существование.

Уже к середине 1910-х годов стала проявляться тенденция к укрупнению издательских программ, к преодолению тенденциозности в издательской деятельности и зависимости издательских стратегий в равной степени как от групповых художественных идеологий, так и личных амбиций, произвольных правил и инициатив. Появляются издательские проекты, направленные на сотрудничество, на объединение разных литературных поколений. Речь идет об издательстве «Очарованный странник» В. Ховина и Д. Крючкова и издательстве «Стрелец», обеспечивших ряд общих коллективных выступлений поэтов и писателей. Так издательство «Очарованный странник» в 1914–1915 годах выпускает одноименный альманах, в котором под одной обложкой печатаются Игорь-Северянин и Федор Сологуб, Рюрик Ивнев и Зинаида Гиппиус. А издательство «Стрелец» в 1915–1916 годах выпускает одноименные сборники, включавшие стихотворения А. А. Блока и Д. Д. Бурлюка, З. А. Венгеровой и Л. Н. Вилькиной, Н. Н. Евреинова и В. В. Каменского, А. Е. Крученых и М. А. Кузмина, Н. И. Кульбина и Б. К. Лившица, А. С. Лурье и В. В. Маяковского, А. М. Ремизова и Велимира Хлебникова, Федора Сологуба и А. А. Шемшурина и др.

Стоит указать и на издательское предприятие, созданное еще в 1912 году «Книгоиздательство писателей в Москве»³³. Это было паевое товарищество, число участников которого постоянно увеличивалось. Формально издательство должно было

³³ *Телешов Н. Д.* Записки писателя: Воспоминания и рассказы о прошлом. С. 54–56; *Вересаев В. В.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1961. Т. 5. С. 443–456; *Голубева А. Д.* Книгоиздательство писателей в Москве (1912–1923) // Книга. Исследования и материалы. М., 1965. Вып. 10. С. 192–220; *Воронин С. Д.* К истории «Книгоиздательства писателей в Москве» // Археографический ежегодник за 1997 год. М., 1997. С. 144–153; *Свиченская М. К.* Книгоиздательство писателей в Москве // Книга в России. 1895–1917. СПб., 2008. С. 292–298; *Фролов М. А.* И. А. Бунин и «Книгоиздательство писателей в Москве». Материалы к теме и комментарии // Литературный факт. 2020. № 4 (18). С. 194–232.

продолжить «знаньевские» традиции, но фактически какой-либо групповой дисциплины и идеологии выработано не было. Право издаваться имел каждый автор, внесший определенный денежный взнос. Таким образом за 12 лет существования издательство выпустило несколько сотен книг писателей и поэтов разных направлений. В первую очередь, конечно, здесь печатались представители «нового реализма» А. К. Толстой, Бунин, Вересаев, Шмелёв, Зайцев, Тренёв, Телешов, Горький, но под маркой издательства выходят и книги Бальмонта, Блока, Ходасевича, Андрея Белого, С. А. Есенина.

В свою очередь в 1915 г. Горький при поддержке Торгового дома А. Н. Тихонова основывает издательство «Парус», программа которого также отличалась универсальностью. «Парус» кроме оригинальных произведений писателей и поэтов и художественных переводов, предполагал издавать книги философские, научные, политические. С литературной точки зрения следует отметить издательскую инициативу по презентации национальных традиций, речь идет о сборниках армянских, финских, латышских авторов, в подготовке которых участвовали и реалист Горький, и символист Брюсов. Издал «Парус» и несколько книг молодого поэта-футуриста Маяковского («Простое как мычание» – 1916, «Война и мир» – 1917)³⁴.

Между тем естественный процесс развития литературно-издательской жизни был нарушен такими историческими событиями, как Первая мировая и Гражданская войны, февральская революция и октябрьский переворот 1917 г., эмиграции, финансовый кризис, установление советской власти со стремление к тотальному контролю над издательской жизнью и литературным процессом. И все же в заключение необходимо отметить, что деятельность литературных издательств начала XX в. форсировала процесс вхождения модернистских писателей и поэтов, а позже и представителей авангарда, в читательское сознание, утвердило новые ценностные подходы к книге, и все это, так или иначе, оказало существенное влияние на советскую издательскую практику.

³⁴ Голубева О. Д. Книгоиздательство «Парус» (1915–1918) // Книга: Исследования и материалы. М., 1966. Сб. 12. С. 160–193.

ДВИЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ СТРАТ: БЕЛЛЕТРИСТИКА НАЧАЛА XX В.

Одним из постулатов советского литературоведения, воспринятым из дореволюционной критики, было утверждение о бездонной пропасти между «высокой» и «низкой» литературой; отсюда следовало фактическое приравнивание беллетристики к бульварной литературе. В 10-м томе академической Истории русской литературы говорилось, что «с начала 1907 года появляются сборники и альманахи, на страницах которых пропагандируется общественный индифферентизм, утверждается культ личного наслаждения, эротика, пессимизм. <...> Мутным потоком хлынула бульварно-порнографическая и детективная литература. <...> Большое распространение получают бульварно-развлекательные романы (А. Вербицкая, Е. Нагродская) <...> Выразителями основных тенденций этой литературы в годы реакции, кроме писателей и поэтов символистского лагеря, были буржуазные беллетристы Л. Андреев, М. Арцыбашев, А. Каменский, А. Вербицкая, А. Амфитеатров, Б. Зайцев и др.»¹.

При всей идеологической выдержанности данная концепция восходила еще к началу XX века, в частности, к шумевшей статье К. Чуковского «Нат Пинкертон» (1908). Пристально и пристрастно анализируя тенденцию захвата бульварной литературой книжного рынка «интеллигентного читателя», проникновение ее приемов и тем в произведения «высокого» искусства, Чуковский расценил это «явление времени» как порчу, деградацию и решительно отождествил беллетристику и бульварную литературу. Лишь с середины семидесятых годов прошлого века в советском литературоведении начались попытки идейного «оправдания» русских беллетристов², а с конца 1980-х гг. обращение к их творчеству становится в глазах российских и зарубежных исследователей все более и более значимым для изучения эпохи³. Но если культурологическое осмысление

¹ История русской литературы. М., 1954. Т. 10: Литература 1890—1917 годов. С. 607–608.

² См., например, стремление отойти от «традиций» Чуковского в монографии В. А. Келдыша: Произведения Вербицкой – «образчик бульварной, “ванькиной” литературы (мнение К. И. Чуковского) и явление демократического творчества <...> — таков диапазон суждений о писательнице <...> Ее творчество, хотя и не укладывалось целиком в рамки “массовой” буржуазной литературы, все же явственно сближалось с нею рядом своих сторон» (Келдыш В. А. Русский реализм начала XX века. М., 1975. С. 9).

³ Например, см.: Зоркая Н. М. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России 1900—1910 годов. М.: 1976. 303 с.; Edit W. Clowes. The Revolution of Moral Consciousness. Nietzsche in Russian Literature. 1890-1914. De Kalb, Illinois: 1988. 276 p.; Laura Engelstein. The Keys to Happiness. Sex and the Search for Modernity in fin-desiècle Russia. Itaka

беллетристики начала века развивается вполне успешно, то постижение ее эстетической природы все еще запаздывает.

До сих пор четко не установлены значения терминов «бульварная литература» и «беллетристика». Их точное разграничение будет возможно только после целостного изучения и дифференцирования значительного числа обозначаемых ими художественных явлений. Поскольку в современном литературоведении понятие «бульварная литература» более разработано, остановимся на выявлении и определении некоторых параметров понятия «беллетристика», сразу же оговорившись, что результаты следующего далее исследования имеют предварительный характер и предполагают дальнейшее рассмотрение заявленной литературоведческой темы.

Как известно, в России термин «беллетристика» (*belles-lettres*) имел длительную историю. Постоянные колебания оценочного характера его семантики были связаны с восходящей еще к Древней Руси тенденции квалифицировать тексты фикциональных жанров как нечто менее значимое, прежде всего со стороны содержания, чем произведения «документальных» жанров, относимых к «высокой» литературе. В этом плане примечателен капитальный труд русских медиевистов «Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе» (Л., 1970), в котором ярко выражено стремление как-то скорректировать существовавшую в Древней Руси и отчасти унаследованную Россией Нового времени поляризацию значимости литературных явлений. Как указано во введении, этот труд «посвящен складыванию и возникновению в древнерусской литературе жанров художественной прозы – повести, рассказа, новеллы, романа. Явления, получившие полное развитие в *русской беллетристике (художественной прозе)* Нового времени, зарождались в самых разнообразных памятниках письменности XI—XVII вв., в том числе и таких, которые в целом не могут быть отнесены к произведениям художественных жанров»⁴. Примечательны формулировки некоторых глав этого труда, объективно фиксирующие сложные взаимодействия между «высокими» жанрами и проникающими в их структуру составляющими жанров «низких», например: «Беллетристические элементы в переводном историческом повествовании XI—XIII вв.», «Беллетристические элементы в историческом повествовании XIV—XV вв.». Отметим, что в России термин «беллетристика» всегда в той или иной степени нес печать чего-то легковесного, обозначал чем-то «сомнительный

and London. 1992. 620 p. (Перевод: *Лора Энгельштейн*. Ключи счастья. Секс и поиски путей обновления России на рубеже XIX—XX веков. М., 1996. 572 с.).

⁴ Истоки русской беллетристики: Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., 1970. С. 3. Курсив мой. – А. Г.

элемент» словесной культуры. В настоящей работе под понятием «беллетристика» понимается художественная проза, ориентированная на достаточно обширную, так называемую «демократическую» аудиторию, что обуславливает специфику ее идеологических и эстетических функций.

Литературу начала XX века мы будем рассматривать как многоуровневую художественную систему, различные страты которой находятся в состоянии диффузии, взаимного влияния и проникновения друг в друга. Одним из наиболее пластичных слоев этой структуры является беллетристика, занимающая промежуточное место между «высокой» и «бульварной» (массовой) литературами.

Начало XX в. было ознаменовано появлением в русской литературе такого явления, как бестселлеры. За ними тянулся широкий шлейф негативных критических отзывов, а также пародий, но их герои становились объектом поклонения и подражания. Характерно, что эти произведения не были образцами стиля и эстетических новаций. Во многом они были эстетически консервативны и даже архаичны. Тем не менее, многие зачитывались ими. «Оказывается, — писал К. Чуковский, — что сочинения г-жи Вербицкой разошлись за десять лет в 500000 экземпляров, что <...> эти милые “Ключи счастья” за четыре, кажется, месяца достигли тиража в 30000 экземпляров и что, судя по отчетам публичных библиотек в Двинске, в Пскове, в Смоленске, в Одессе, в Кишиневе, в Полтаве, в Николаеве, больше всего читали не Толстого, не Чехова, а именно ее, г-жу Вербицкую <...> раскрываю наудачу первый попавшийся библиотечный отчет и вижу, что там, где Чехова “требовали” 288 раз, а Короленко 169, — там г-жа Вербицкая представлена цифрой: 1512. <...> О, <...> откуда эти страшные цифры?»⁵.

Появление книг-бестселлеров было связано с новым этапом развития русской культуры. Для начала XX в. было характерно значительное увеличение интереса к чтению в средних и «низовых» слоях общества. Читательская аудитория развивалась постепенно, но существенные изменения произошли после революции 1905 г., прямо или опосредованно повлиявшей на мировоззрение масс. Этому способствовало и снятие прежних жестких цензурных ограничений. Именно в эти годы появляются такие романы-бестселлеры, как «Санин» М. Арцыбашева, «Дух времени» и «Ключи счастья» А. Вербицкой, «Люди» А. Каменского, «Гнев Диониса» Е. Нагродской и др.

Вначале XX в. читательская аудитория не представляла собой единого целого. Это был сложный конгломерат разных социокультурных групп, имеющих определенные

⁵ Чуковский К. Вербицкая // Чуковский К. Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 16—17.

читательские пристрастия. Для анализа интересующей нас проблемы важно то, что каждый пласт литературы имел своего читателя. К «идейной», «серьезной» литературе преимущественно обращались широкие слои интеллигенции (учителя, врачи, инженеры и др.), учащаяся молодежь (студенты, курсистки, гимназисты). «Легкое» же чтение было, как правило, интересно «низовой» публике: служащим невысокого ранга, приказчикам, грамотным рабочим и т. п. Однако подобное разделение достаточно условно. К тому же надо учитывать, что значительную массу читателей составляли женщины, принадлежавшие к разным социальным слоям, но во многом объединяемые специфическими «женскими» запросами.

Большинство бестселлеров начала XX в. генетически восходило к популярному в русской литературе XIX в. жанру романа о «новых людях». Этот жанр был представлен на разных литературных уровнях. Значительной читательской популярностью пользовались как романы И. Тургенева «Отцы и дети» (1862), Н. Чернышевского «Что делать?» (1863), Д. Мордовцева «Знамения времени» (1869), так и антинигилистические романы А. Писемского «Взбаламученное море» (1863), Н. Лескова «Некуда» (1864) и «На ножах» (1870—1871), В. Клюшникова «Марево» (1864) и т. п., щедро черпавшие художественные средства из эстетического арсенала бульварной литературы. Устойчивый успех подобного повествования был обусловлен мифологической основой образа главного героя. «Разумный эгоист» Чернышевского, трагический нигилист Тургенева или всеразрушающий «бес» Достоевского, Лескова или Гончарова — во всех них узнаваем переосмысленный современным сознанием архаический тип культурного героя-демиурга, творящего «новую землю» и «новые небеса» по воле пославшего его Творца (или того, кто кощунственно подменял его и терпел сокрушительное поражение). Разновидностью того же мифологического культурного героя, популярной у низовых читательских групп, был персонаж переводной беллетристики — всемогущий защитник добродетели (граф Монте-Кристо, принц Рудольф из «Парижских тайн» Эжена Сю, раскаявшийся злодей Рокамболь из серии посвященных ему романов Пьера Алексиса Понсон дю Террайля и т. д.).

Именно к этому мифологическому по своей основе типу принадлежал главный герой романа М. Арцыбашева «Санин» (1907).

Действие романа разворачивалось в провинциальном городке среди привычных среднеинтеллигентскому читателю лиц: ссыльных студентов, ловеласов-офицеров, добродетельных земских врачей и мечтающих о небывалой любви барышень. По типу сюжета произведение укладывалось в привычную схему так называемого «тургеневского романа», в котором любовная история была средством для выявления какой-либо «прогрессивной» идеи, и ее «передовому носителю» доставалась как приз любовь героини.

Критики сразу определили «генеалогию» нового произведения, постоянно сравнивая его с хрестоматийно известным романом Тургенева «Отцы и дети». Но если бы все ограничивалось только следованием тургеньевским традициям, то «Санин» вошел бы в длинный ряд «общественных» романов, перепевавших произведения великих романистов XIX в., и вскоре канул бы в небытие. Но так не случилось, и причиной тому был главный герой романа – молодой человек без определенных занятий Владимир Санин.

Он был единственным из персонажей произведения, не зараженным всеобщей «бациллой пессимизма». Почему? Потому что всегда следовал только велениям своей природы. В образе Санина Арцыбашев создал свой вариант «естественного человека» начала XX в., не зависящего от социума, не скованного никакими догмами. Герой утверждал: «Человек не может быть выше жизни <...> он сам – только частица жизни <...> Неудовлетворенным он может быть, но причины этой неудовлетворенности в нем самом. Он просто или не может, или не смеет брать от богатства жизни столько, сколько это действительно нужно ему. Одни люди сидят в тюрьме всю жизнь, другие сами боятся вылететь из клетки, как птица, долго в ней просидевшая <...> Человек – это гармоническое сочетание тела и духа, пока оно не нарушено. Естественно нарушает его только приближение смерти, но мы и сами разрушаем его уродливым мирозерцанием <...> Мы заклеямили желания тела животностью, стали стыдиться их, облекли в унижительную форму и создали однобокое существование <...> Человечество жило не даром: оно вырабатывает новые условия жизни, в которых не будет места ни зверству, ни аскетизму...»⁶.

Постоянным образом-спутником главного героя был цветущий Сад (символ Природы), в единстве и слиянии с которым жил Санин. В то же время его оппоненты (защитник «ветхих» моральных и социальных доктрин студент Сварожич, апологет и жертва догм «офицерской чести» Зарудин и др.) почти всегда оказывались антагонистами Природы. Для понимания авторской концепции важен эпиграф к роману из библейской книги «Экклезиаст», ставшей для Арцыбашева высшим выражением философии бытия: «Только это нашел я, что Бог создал человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Смысл эпиграфа наглядно раскрывался в сюжете романа: «помыслы» – то есть человеческий Разум – вели героев к следованию ложным истинам и самоуничтожению (судьбы Сварожича, Зарудина, Соловейчика кончились самоубийством), оказывался «прав» и жив только тот, кто строил свое существование, следуя законам Природы – Санин.

⁶ Арцыбашев М. П. Санин. М., 1990. С. 275—276.

Критики неоднократно сопоставляли идеи Санина с «философией жизни» Ф. Ницше. Действительно, индивидуализм героя с резким отталкиванием от морали, основанной на заветах христианства, и апологетикой личности, в своих желаниях как бы стоящей «по ту сторону добра и зла», мог вызывать ассоциации с учением Ницше, учением, в котором проблема нигилизма занимала одно из центральных мест. Однако помимо сходства современники отмечали и коренное отличие Санина от ницшеанского «сверхчеловека». Так, например, критик Н. Россов [Н. П. Пашутин] писал: «Санин в “сверхчеловеки” не лезет и ни о каких “сверхчеловеках” не думает. Он требует, чтобы любили себя такими, каковы мы есть, и наслаждались жизнью так, как это возможно сегодня, сейчас, и во имя этого он ломает мешающие ему перегородки принципов, оставшиеся в наследство от полосы интеллигентского подвижничества. Он в жизни любит силу, и только силу, как и Ницше. Но Ницше с этой “силой” идет к “власти”. Здесь для него главное <...> Санин – равнодушен к власти, а по отношению к “господам” заражен всеми грехами крайней демократии»⁷. Нигилизм арцыбашевского героя был глубже связан с развитием русской общественной мысли. На это указывал и сам автор, нарочито заставив Санина заснуть при чтении книги Ницше «Так говорил Заратустра», хотя в романе имеется несколько скрытых цитат из нее. Более существенным было соотнесение нигилизма Санина с «революционным нигилизмом» русской разночинной интеллигенции XIX в., наиболее полно воплощенным в образе тургеневского Базарова. Парадоксальность художественного мышления Арцыбашева заключалась в том, что он использовал тургеневский литературный сверхтип – образ позитивиста Базарова – для сознания адогматического героя.

Санин как бы заявлял всем своим бытием: что бы ни происходило вокруг, жизнь человеческая отнюдь не безысходна, так как все, идущее от часто лгущего Разума, является лишь одной и при том отнюдь не главной стороной человеческой природы. Основное в ней – стремление к наслаждению. Его высшим проявлением является любовь.

«Санин» сразу же стал романом-бестселлером. Он пользовался громадным успехом у читателей, главным образом, у молодежи. Заговорили о создании обществ «санинцев» и «санинисток», о возникновении в учащейся и студенческой среде «лиг любви», появление которых якобы было инспирировано модным романом.

Роман Арцыбашева повлек за собой появление множества посвященных ему критических статей, брошюр и книг. Основные споры вызывали не эстетические достоинства произведения, а этическая программа, пропагандируемая Арцыбашевым и его любимым героем. Хранители «устоев» и «заветов» негодовали. Для выражения негативной

⁷ Россов Н. [Пашутин Н. П.] О старых богах и новых настроениях: (Из последних страниц истории русской интеллигенции) // Познание России. 1909. № 1. С. 147.

оценки романа характерно название критической статьи А. Г. Горнфельда – «Эротическая беллетристика»⁸. В Германии, где сразу же вышел перевод «Санина», власти запретили произведение как вредное для чтения. В «Постановлении» о конфискации тиража утверждалось: «Роману “Санин” свойственно грубо оскорблять нравственность и чувство стыдливости в половом отношении у читателя с нормальными инстинктами; он содержит в себе ярко выраженные эротические тенденции, причем научное обоснование обсуждаемых вопросов не поставлено на такую высоту, чтобы отвести на второй план описание половых явлений. Герой романа защищает точку зрения, что только половое наслаждение имеет еще ценность, он хочет свободной любви. Серьезных доводов за и против этой точки зрения герой романа не приводит»⁹. Позицию противников «Санина» наиболее четко сформулировал В. Г. Короленко: «Это уже прямо порнография, и притом нездоровая. Что тут нового, кроме того, что до сих пор авторы не решались еще описывать *en toutes têtes* <прямым текстом — *фр.*>, как “она лежала под ним и как вздрагивали ее голые ноги”. Следующий “новатор”, если захочет пойти еще дальше, опишет уже весь физиологический акт от начала до конца. Но ведь это будет глава из гинекологии в лицах, а не психология и не искусство»¹⁰.

Но у романа были и защитники, утверждавшие преемственность «Санина» линии романов о «новых людях», прежде всего, роману Тургенева «Отцы и дети». Неоднократно констатировалось, что Арцыбашев использовал сюжетную схему «тургеневского романа». Критики, немало рассуждавшие о семантике фамилии главного героя, так и не вспомнили, что Санин — это фамилия главного персонажа повести Тургенева «Вешние воды» (1872), в отличие от арцыбашевского персонажа человека слабого, увлекаемого злой женской волей. В «Санине» также имеется много скрытых текстуальных и мотивных цитат из «Отцов и детей». Сторонники произведения Арцыбашева утверждали, что нигилист Базаров в свое время не меньше эпатировал общество, чем новый «естественный человек» Владимир Санин. Е. Колтоновская писала: «Моралисты порицают <...> роман как раз за то, чего в нем нет — за порнографию <...> Санин — такой же герой своего времени, каким был Печорин, Базаров <...> Основной параграф новой программы — право человека на жизнь и наслаждение, требование, чтобы человек всегда был самим собой, не ограничивая своих желаний ничем»¹¹. Александр Блок одновременно и приветствовал нового героя, и вопрошал: «В “Санине”, первом “герое” Арцыбашева, ощутился настоящий человек, с

⁸ Книги и люди: Литературные беседы. Пб., 1908. Т. 1. С. 22–31.

⁹ Судьба «Санина» в Германии. СПб., 1909. С. 12.

¹⁰ Короленко В. Г. Письма: 1888—1921. Пб., 1922. С. 293.

¹¹ Колтоновская Е. Проблема пола и ее освещение у неореалистов // Образование. 1908. № 1. Отд. II. С. 107.

непреклонной волей, сдержанно улыбающийся, к чему-то готовый, молодой, крепкий, свободный. И думаешь — “то ли еще будет?” А может быть, пропадет и такой человек, потеряется в поле, куда он соскочил с мчащегося поезда, и ничего не будет?»¹².

Роман «Санин» имел открытый финал. Сам автор как бы провоцировал читателя, задавал ему загадку: что случится с героем в дальнейшем? Сразу же после публикации произведения Арцыбашева и читатели, и критики принялись строить предположения о судьбе героя. «Кто же, наконец, Санин?»¹³ — называлась брошюра критика, скрывшегося под псевдонимом «Кол-Оман». Появился опус Е. Хижнякова «“Санин”, роман Арцыбашева в критико-юмористическом очерке» (Харьков, 1908), где герои (Санин, Лида, Карсавина) встречались с автором и обсуждали проблемы романа и свои дальнейшие судьбы. Некто, подписавший свой текст литерами «О. Ш.», опубликовал якобы подлинный «Дневник поклонницы Санина», которая следовала теории «свободной любви» и в итоге умерла от венерической болезни¹⁴. Читатели так жаждали дальнейших известий о популярном герое, что сами брались за перо. Так, на одном обсуждении романа, по свидетельству Я. Данилина, «было прочитано “продолжение Санина”. Его дальнейшие похождения, согласно этому изложению, оказались не совсем удачными. В городе, куда он прибыл после прыжка с поезда, его жестоко избил чиновник, дочь которого он начал было выводить на новую дорогу. В спорах с молодежью он запутался и был, в конце концов, ошикан. Санин счел за лучшее удалиться из этого города и по дороге опять спрыгнул с поезда. Но на этот раз разбил себе голову, после чего у него обнаружались несомненные признаки умственного расстройства»¹⁵.

Читатели ждали продолжения «Санина» и требовали этого от автора. В 1910 г. появился следующий роман Арцыбашева – «У последней черты». В одной из первых рецензий на это произведение, под характерным названием «Санин вернулся», утверждалось: «Читаете роман и, страница за страницей, начинаете совершенно определенно уяснять себе, что Санин солнца не встретил, и что он как бы вернулся обратно»¹⁶. Автор, сначала радовавшийся оглушительному успеху «Санина», в конце концов, осознал, что тоже стал одной из жертв своего героя. В неопубликованном «вопле души» – статье «Вместо послесловия к “Санину”» Арцыбашев писал: «Как ни старалась критика похоронить “Санина”, как ни способствовала этому цензура, приговорившая книгу

¹² Блок А. Литературные итоги 1907 г. // Золотое Руно. 1907. № 11—12. С. 97.

¹³ Кол-Оман. Кто же, наконец, Санин? Одесса, 1908. 16 с.

¹⁴ О. Ш. «Санин», г. Арцыбашев и женщина. Пб., 1908. 32 с.

¹⁵ Данилин Я. «Санин» в свете русской критики. М., 1908. 76 с.

¹⁶ Боцяновский В. Санин вернулся. (Литературные наброски) // Утро России. 1910. № 269, 9 окт. С. 2.

к изъятию и уничтожению, как ни далеко сам я отошел от того, что было написано мною в этой книге, все-таки она еще живет и все еще я на каждом шагу – в газетах, журналах, личных беседах людей и их письмах ко мне – встречаюсь с героем моего романа. <...> Русское общество за “Саниным” перестало видеть все другое, что я писал и пишу. <...> Санин задавил всё остальное и теперь, что бы я ни писал, критика и читатель ищут прежде всего Санина и, если находят хоть что-нибудь похожее, начинают ругать Санина, а если не найдут, отходят равнодушно, точно им во мне ничего, кроме Санина, и не было нужно»¹⁷.

Роман Арцыбашева заканчивался так: «Санин дышал легко и веселыми глазами смотрел в бесконечную даль земли, широкими, сильными шагами уходя все дальше и дальше, к светлому и радостному сиянию зари. И когда степь, пробудившись, вспыхнула зелеными и голубыми далями, оделась необъятным куполом неба и прямо против Санина, искрясь и сверкая, взошло солнце, казалось, что Санин идет ему навстречу»¹⁸. Куда же дорога привела героя? Что дальше случилось с ним и другими полюбившимися читателям персонажами «Санина»? На эти вопросы попытался ответить в романе 1914 г. «Возвращение Санина»¹⁹ петербургский писатель и журналист, специалист по созданию «продолжений» нашумевших бестселлеров начала XX в.²⁰, Ипполит Павлович Рапгоф²¹, печатавший свои произведения под громким, заимствованным из романа Александра Дюма псевдонимом «Граф Амори».

В продолжении романа Санин спрыгивал с поезда и шел куда глаза глядят. Дорога приводила его в имение князя Утятина, где он – лишенный предрассудков силач – нанимался на поденную работу. Дворянин-рабочий, барышня-крестьянка – подобный мотив травестийно перевернутого социального положения героя неоднократно обыгрывался в литературе. Но в данном случае Ип. Рапгоф использовал его, чтобы довести до логического конца все, что было только намечено в романе Арцыбашева. Перед княжной Марьей рабочий-дворянин представал в обличье романтического героя и извлекал отнюдь не идеальные дивиденды из сложившейся ситуации. Для автора Санин продолжал оставаться циником и эгоистом, без колебания соблазненным и простую крестьянку Стешу,

¹⁷ Арцыбашев М. П. Вместо послесловия к «Санину» // РО ИРЛИ. Р. III. Оп. 1. Ед. хр. 205.

¹⁸ Арцыбашев М. П. Санин. С. 309.

¹⁹ Граф Амори [Рапгоф И. А.]. Возвращение Санина. СПб., 1914. 190 с.

²⁰ См.: Невская Д. Проблема диалогичности «создающего» и «созданного» текстов (Граф Амори. «Финал. Окончание произведения «Яма» А. И. Куприна) // Literature, folklore, arts. Scientific papers University of Latvia. Riga. 2006. Vol. 705. P. 76–85; Кленова Ю. В. Креативная рецепция И. П. Рапгофом романа А. А. Вербицкой «Ключи счастья» // Новый филологический вестник. 2016. № 1 (36). С. 78–89.

²¹ См. о нем: Ябарова Е. Т. Граф Амори [Ипполит Павлович Рапгоф] // Русские писатели: Биографический словарь: 1800–1917. М. 1992. Т. 2. Г–К. С. 13.

и рафинированную княжну Марью. Власть пола, свобода в сексуальных отношениях, торжество чувственности – вот программа Санина, по которой он «развивал» встреченных им девушек – своих жертв. Княжна Марья чувствовала себя мотыльком, безудержно увлекаемым пламенем: «Эрос с высоты Олимпа, с лирою в руках, напевал ей свою вечную очаровательную песню. Засыпая, она видела сладострастные сны, ощущала на своих устах жгучие, демонические поцелуи и все ее существо <...> дышало желанием»²². Соблазнив княжну, очаровав ее мечтами о какой-то «новой трудовой» жизни, Санин скрывался из имени и оказывался в революционной Москве эпохи 1905 г. В романе Графа Амори многие из давних приятелей и подруг главного героя из провинциального городка, знакомые читателю еще по роману Арцыбашева, пошли до конца в своем служении идеям свободы и стали активными участниками революционных событий. Но Санин и здесь оказался чужим, не способным на какой бы то ни было альтруистический поступок, не готовым пожертвовать своей жизнью «на благо народа», как это сделали Карсавина, Шафров и другие его старые знакомые. После случайного попадания в полицейскую облаву герой по недоразумению оказывался осужденным и сосланным в Сибирь. По мнению автора, подобная «случайность» была проявлением закономерности. Санинские декларации абсолютной свободы человеческой личности во всем, начиная с сексуальных отношений, оказывались лишь словами. Единственной, кто следовал эгоистической и гедонистической теории Санина до конца, была его сестра Лиза. Брак с доктором Новиковым, «простившим» свою согрешившую невесту, претил ей. Лиза уезжала в Германию, где, казалось бы, все можно было начать с чистого листа. Однако и эту последовательницу Санина ждало горькое разочарование. Встретив, наконец, сильного, благородного и достойного себя человека – немецкого барона (этот титул – классический штамп русской бульварной литературы начала XX в.), она, зараженная бациллой скепсиса и цинизма, упускала возможность начать новую жизнь с достойным избранником. По мнению автора «Возвращения Санина», эгоцентричная и циничная философия, исповедуемая главным героем, вела только к саморазрушению личности. В итоге, брат и сестра Санины приходили к единственно возможному для них виду «идеального» союза – инцесту. Их патологическая страсть – тот исключительный тип любви, к которому, согласно концепции Ип. Рапгофа, приводила проповедуемая Саниним апология чувственности и самодостаточности. Однако автор все же давал своим героям возможность нравственного воскрешения. Это был путь покаяния, обращения к Богу. Такой дорогой сначала шла Лида, за ней начинал двигаться и Владимир. В произведении Ип. Рапгофа все чувственные «романы» героя завершались смертью его

²² Граф Амори [Рапгоф И. А.]. Возвращение Санина. С. 84.

партнерш: кончила жизнь самоубийством княжна Марья, умирала Лида. Философия гедонизма и эпикурейства показывала Санину свою страшную изнанку – загубленные им жизни. В конце романа Владимир оказывался наедине со своей проснувшейся совестью. Автор оставлял своего персонажа на пороге душевного воскресения. Проснется ли в нем «новый» Санин, или герой вновь вернется к прежним безумствам? – этот вопрос как будто бы оставался открытым. И решать его как будто бы предстояло главному «судье» героя – читателю. Однако в действительности главным моральным арбитром оставался автор романа.

Сравнение двух «открытых» финалов – окончания романа М. Арцыбашева «Санин» и завершения его продолжения («Возвращение Санина»), написанного Графом Амори, наглядно демонстрирует разницу между беллетристикой и бульварной литературой.

Беллетристика адаптировала для читателя модные идеи времени и новаторские художественные приемы «высокой» литературы, упрощая их до уровня восприятия «среднего» читателя, и, соответственно, добиваясь эффекта широкой популярности произведений, созданных в ее границах.

Бульварная литература, являясь как бы «тенью тени», паразитировала на достижениях своей старшей «сестры». Она активно применяла идейно-эстетическое «наследие» беллетристики, а главное, в полной мере пользовалась в своих целях плодами заработанного той читательского (и прежде всего, коммерческого) успеха. Указанные параметры бульварной литературы способствовали ее четкой ориентации на дальнейшее понижение планки образовательного и прочих уровней аудитории, на которую были рассчитаны произведения этой категории. Еще более усиливалась направленность на удовлетворение запросов потребителя подобной книжной продукции, требований, консервативных по идейно-нравственным и эстетическим критериям. Отсюда и ориентация «бульварной» (массовой) литературы на поздне-романтические сюжетные, образные, стилистические штампы, и ее следование «добрым старым» моральным ценностям. В романе Арцыбашева еще сохранялась зыбкая грань между новизной и традиционализмом; присутствовала прозрачная апелляция к традициям известного в рамках гимназической программы русского романа о «новых людях» («Отцы и дети» И. С. Тургенева, «Что делать?» Н. Г. Чернышевского). В опусе Графа Амори вся структура сюжета, представляющая собой цепь нравственных преступлений и предательств героя, не оставляла сомнений в однозначности его конца. По замыслу автора, в итоге жизненной дороги Владимир Санин должен был полностью отказаться от своих идей, перейти к покаянию и следованию «традиционной» морали. Таким образом, «Возвращение Санина» Графа Амори было последовательно проведенным «возвращением»: художественной

системы текста – к клише и штампам спустившейся на литературный бульвар романтической литературы, а его идейной концепции – к «доброму старому» завету наказания порока и торжества добродетели.

В тех же кругах читателей, которые с упоением следили за приключениями Владимира Санина, имел успех, хотя и более скромный, роман А. Каменского «Люди» (1910). Еще до массового увлечения «проблемой пола» (1907–1910 гг.) его автор обратился к художественному исследованию психологии и психопатологии страсти. Для Каменского и «тургеневские девушки», и героини-мечтатели – это ушедшие в прошлое социокультурные мифы, отраженные в общественной психологии, искусстве, но никогда не существовавшие в действительности. Так, в рассказе «Жасмины» (1903) идеальная девушка отказывалась выйти замуж за любящего ее молодого человека, потому что хотела, чтобы их союз остался духовным союзом «дальних» – т. е., по терминологии Ницше, людей будущего. Герой исполнял желание возлюбленной, но в финале осознавал, что ее боязнь настоящего – не отражение идей грядущего, а проявление мещанской любви к покою.

Дальнейшим закономерным развитием писательского пути Каменского стал скандально прогремевший рассказ «Леда» (1906). В нем наиболее ярко и сбалансированно проявилось соединение беспримесно-популярных тем бульвара с использованием неомифологизма «высокой» литературы начала века. Сюжет рассказа «Леда» был откровенно сконструированным. Бытовая оболочка места действия играла роль сценических декораций, на фоне которых выступали героини-маски.

Место действия рассказа – Петербург. Для Каменского северная Пальмира воспринималась в традиции русской литературы XIX в. – «Петербургских повестей» Гоголя, «Маскарада» Лермонтова. Именно маскарад, как значимый элемент петербургской культуры, стал в произведениях Каменского конца 1900–1910-х гг. единственным парадоксальным способом приближения к чаемой гармонической утопии. Отметим, что сама тема маскарада в подобной трактовке была заимствована Каменским у модернистов. В рассказе «Леда» залы петербургского ресторана и буржуазной квартиры превращались в неведомые пространства, скрывающие необычайные тайны.

Читательскому признанию «Леды» способствовала и откровенная пикантность сюжета (знакомство петербургского «непризнанного» философа Данчича с приезжим инженером Кедровым, который навещает его дома и с изумлением узнает, что жена нового приятеля – красавица Леда – имеет обыкновение ходить по своей квартире в обнаженном виде), и соединение в одном тексте ряда нарочито узнаваемых древних и новых мифов.

Само название рассказа – «Леда» – отсылало к античному мифу, к началу XX века ставшему одним из общих мест обывательского сознания. И, в то же время, писатель как

бы сводил воедино обывательские и эстетские толкования этого мифа. Кедров размышлял об имени героини: «Звали ее почему-то, вместо Елены, Ледой, и эта выдумка сегодня казалась Кедрову особенно оригинальной и тонкой. „Леда, – мысленно повторял он, – как это красиво – Леда»²³. Согласно гимназически-популярному варианту греческого мифа, Леда – супруга спартанского царя Тиндарея и возлюбленная Зевса, от союза с которым родилась Елена Прекрасная. Со времен античности легенда о любви Леды и Зевса, явившегося ей в образе лебедя, стала одним из излюбленных мировых сюжетов. В Новое время этот сюжет воспринимался как символическое воплощение Эроса. В рассказе Каменского собравшиеся в петербургском ресторане интеллигенты рассуждают о будущем мира, о жизни через тысячу лет, о Богочеловеке и Человекобоге. В их кратком разговоре писатель объединил многие идеи, составлявшие основу различных произведений нового русского искусства, и, в особенности, символистских текстов. В частности, он обратился к уже растиражированной в это время концепции Вл. Соловьева, интерпретировавшего идею Достоевского о том, что красота спасет мир. Имя великого писателя было лишь упомянуто в рассказе, но для «проницательного читателя» этого было достаточно, чтобы открыть архетип произведения – «Сон смешного человека» Достоевского.

Основа этого произведения – миф о «золотом веке», увиденном героем во сне. «Смешному человеку» представилась некая идиллическая страна, напоминавшая древнюю Грецию, где он оказался среди прекрасных людей, живущих по законам высшей гармонии: «Ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки, – вспоминал герой Достоевского, – и я чувствую, что их любовь изливается на меня и теперь оттуда. <...> О, эти люди и не добивались, чтоб я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут меня <...> Никогда я не замечал в них порывов того *жесток*ого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле <...> Казалось, и всю жизнь они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая»²⁴. К Достоевскому восходило и само сюжетное построение «Леды» (прекрасное видение, явившееся герою), и тип визионера – инженера Кедрова, случайно оказавшегося в фантастическом Петербурге. Оказавшись в квартире Данчича, «Кедров <...> увидел Леду совершенно голую, увидел тело поразительной чистоты линий и белизны, в одних золоченых туфлях на высоких каблуках, увидел гордо поднятую прекрасную голову с тяжелой, падающей на спину прической. Блеснул тонкий браслет на одной руке у плеча, блеснули большие, ясные и

²³ Каменский А. Рассказы. 2-е изд. СПб., 1908. Т. 1. С. 232.

²⁴ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1983. Т. 25. С. 112–114.

гордые глаза»²⁵. Как видно из описания героини, ориентация на античный колорит причудливо соединена с пикантными деталями поэтики эротической бульварной литературы. По замыслу Каменского, эпатажное поведение прекрасной Елены=Леды, являющейся в таком виде перед своими потенциальными возлюбленными, но позволяющей им лишь целовать следы своих ног, – это знак, маркирующий ее принадлежность к миру утопии, в которой будут установлены новые отношения между людьми. Перед потрясенным инженером Леда развивает целую теорию о том, что красота спасет мир, придя в облике прекрасных людей будущего: «Жизнь должна быть красивой, Кедров, и в том, что я делаю, нет положительно ничего оригинального и смелого. <...> Я презираю вашу отвратительную комнатную любовь с ее приспущенными фитилями ламп, презираю ваш узаконенный прозаический разврат с его так называемыми медовыми месяцами и первыми ночами <...> Ну, <...> давайте чокнемся за великий культ и за моего будущего ... сообщника, за нового мудрого и свободного человека»²⁶. Как видим, и здесь в общий конгломерат популярных идей была подключена вульгаризированная идея Ницше о «дальнем» – «будущем» возлюбленном Леды.

Как и в случае с Арцыбашевым, рассказ имел скандально громкий успех у читателей, в основном в молодежной среде. Большинство критиков расценило его как обыкновенную порнографию, далекую от искусства. В этом плане характерен отзыв А. Горнфельда: «Леда г. Каменского – подлинная распутница, и в этом он виноват, в каждой строчке его изображения чувствуется, как он лижет взглядом ее нечистую обнаженность. Охотно верю, что это не входило в его намерения, но, кажется, ему не под силу сочиненная им ситуация»²⁷. Лишь немногие критики увидели в рассказе попытку воплощения популярной философской идеи при помощи литературной «игры» мотивами «высокой» и бульварной литератур, а в Леде – набросок «дальней». «Еще солнечной поэмы существования нет, – писал Н. Я. Абрамович, – Но Леда уже ходит нагая»²⁸. Примечательно, что рассказ «Леда» имел и непосредственный современный литературный прототип – рассказ Ф. Сологуба «Красота» (1899), в котором повествовалось о прекрасной девушке Елене, ходящей обнаженной в своей квартире и любующейся собой в зеркале. Сравнение литературных судеб двух этих произведений является ярким примером популяризаторской функции беллетристики, отличающей ее от высокой литературы. Каменский, вульгаризировав идеи символистов и соединив их с бульварной «клубничкой», добился небывалого успеха у

²⁵ Каменский А. Рассказы. Т. 1. С. 245.

²⁶ Там же. С. 246–247.

²⁷ Горнфельд А. Книги и люди. СПб., 1908. Т. 1. С. 25.

²⁸ Абрамович Н. Я. В осенних садах. СПб., 1909. С. 104.

массового читателя, к середине 900-х годов уже «подготовленного» к упрощенному восприятию «нового искусства».

Не оригинален, а скорее традиционен был Каменский и в определении своей главной художественной задачи – разоблачения лицемерия мещанского (буржуазного) общества. При этом на первом плане стояло разрушение нравственных догм, «сковывающих» свободу личности. Единственной попыткой как-то теоретически выразить свои взгляды была его публичная лекция «О свободном человеке», опубликованная в виде брошюры в 1910 г. В ней писатель делил людей на мещан и тех, кто находится на пути к человеку будущего или хоть чем-то «выламывается» из привычных догм. Областью, наиболее жестко регламентированной мещанами, писатель считал сферу любви.

Взгляды Каменского нашли наиболее четкое концептуальное выражение в ставшем бестселлером романе «Люди» (1910).

Впервые основной сюжетный мотив романа был использован Каменским в рассказе «Белая ночь» (1906), персонажи которого пытались проникнуть в чужую квартиру для установления новых отношений между людьми. Они говорили о чаемом провозвестнике нового: «Все ждут пророка. Ждут, что придет кто-то новый и смелый, и разрушит преграды, и скажет, что нет чужих людей, чужих квартир, нет знакомых и незнакомых, а есть только ничем не преграждаемая свобода влечения одного к другому. И вспыхнет великая бескровная революция отношений между чужими...»²⁹.

В романе «Люди» главный герой – бывший студент Виноградов – вселяется в чужие квартиры и проводит своеобразные «психологические эксперименты» над их обитателями, пробуждая подсознательные желания, инстинкты и добиваясь полной естественности, искренности человеческих отношений.

Каменский, как и Арцыбашев в «Санине», использовал привычную сюжетную схему «тургеневского романа». Однако оба писателя не только применяли, но и пародировали клише, восходящие к этому романному типу, наиболее популярному в русской беллетристике второй половины XIX – начала XX в.

В романе «Люди» Виноградов дважды «уступает» любимую девушку соперникам, чтобы проверить истинность своих убеждений. Само же название романа отсылает к образам идеальных людей из утопии «Сон смешного человека» Достоевского и к типу сверхчеловека Ницше. «Люди» Каменского – это новые люди, каких еще мало в настоящем (вспомним подзаголовок романа Чернышевского — «Из рассказов о новых людях»). В финале произведения условная сконструированность этого вроде бы «реалистического»

²⁹ Каменский А. Петербургский человек. М., 1936. С. 66.

романа была нарочито обнажена. Виноградов и его наконец-то обретенная возлюбленная обсуждают все, что с ними случилось. Героиня отмечает: «Опыты, которые проделывали мы оба, наше неодинаковое бесстрашие, неодинаковая любовь к людям, наше с Вами идейное несходство и наша дружба представляются мне теперь страницами какого-то эксцентрического романа, с сочиненной фабулой, искусственным построением, но – не скрою от Вас – страницами, которые перелистываешь в памяти с острым, почти рискованным любопытством»³⁰.

Романы-бестселлеры Арцыбашева и Каменского были рассчитаны на аудиторию, привыкшую к традиционному «идейному» роману, прежде всего — на учащуюся молодежь. Использование атрибутики литературы, нацеленной на создание «героя времени», образца для подражания, «нового человека», обрекало произведение на успех. Притом автор намекал, что созданный роман – результат одновременно и следования традиции, и разрыва с ней. В рецензии на роман «Люди» подобную игру с читателем подметил, хотя и истолковал по-своему, М. Волошин, указавший, что «тип нового „естественного человека“, нового апостола борьбы с „условностями“ в области пола привился и размножился. Арцыбашев еще грешит кое-где объективной художественностью. А. Каменский стоит уже вне этих слабостей. <...> Ввиду того, что этот роман совершенно лишен каких бы то ни было художественных достоинств, которые могли бы подкупить эстетические вкусы наших читателей, можно пожелать ему наиболее широкого распространения. Он с редкой наглядностью выявляет известные слабые стороны русского идейного романа»³¹. Осмеянный мэтром нового искусства расчет на узнавание привычных форм и художественных приемов был верным средством увеличения читательской аудитории.

В начале XX в. процесс крушения прежней ценностной системы происходил и в русском женском самосознании. Говоря о появлении нового типа женщины — «нищанки», публицисты и критики тех лет неоднократно цитировали следующий эпизод из популярного тогда романа В. Винниченко «Честность с собой» (1911): «В двух шагах был подъезд какой-то гостиницы. Над дверьми горел большой фонарь <...> а у порога на стуле дремал швейцар в ливрее и картузе с галунами. Дара решительно подошла к нему и громко спросила: “Свободные комнаты есть?”. Швейцар <...> торопливо заговорил: “Пожалуйста, пожалуйста! ... Есть, есть”. <...> Лакей <...> отворив один из номеров, <...>

³⁰ Каменский А. Люди. СПб., 1910. С. 175.

³¹ Аполлон. 1909. № 3. С. 43–45.

зажег свечу. <...> Комната была большая, чистая и даже уютная. “Хорошо. Я беру ее”, — сказала Дара. <...> “Не угодно ли самоварчик?” — “Нет. Ничего не нужно. <...> И подождите”. Дара, <...> повернувшись к лакею, <...> спокойно и строго сказала: “Приведите мне сюда мужчину”. Лакей сделал большие глаза. “Как изволили сказать?” — осторожно переспросил, боясь, очевидно, что не так понял. “Я говорю, приведите мне мужчину. Водите же вы мужчинам женщин. Ну, вот так же приведите мне мужчину. Я заплачу ему и вам”»³².

Эта сценка представляла в оценке критиков то как образец морального «падения», то, наоборот, как пример «взлета» женщины, порвавшей путы устаревших моральных ценностей. Многие из них отмечали рождение нового типа женской личности, ориентирующейся на новые поведенческие модели. Это было реально существующее общественное явление, почти сразу же отраженное искусством. Именно о такой прямой взаимосвязи между жизнью и ее художественным преломлением писала поборница феминизма Александра Коллонтай в программной статье «Новая женщина» (1913): «Только литература последних десяти, пятнадцати лет, только новейшие писатели и писательницы уже не могли обойти нарождающийся, выявляющийся тип, не могли не запечатлеть их на страницах своих творений. <...> Кто же такие эти новые женщины? Это не “чистые”, милые девушки, роман которых обрывался с благополучным замужеством, это и не жены, страдающие от измены мужа или сами повинные в адюльтере, это и не старые девы, оплакивающие неудачную любовь своей юности, это и не “жрицы любви”, жертвы печальных условий жизни или собственной “порочной” природы. Нет, это какой-то “новый”, “пятый” тип героинь, неизвестный ранее, героинь с самостоятельными запросами на жизнь, героинь, утверждающих свою личность, героинь, протестующих против всестороннего порабощения женщины в государстве, в семье, в обществе, героинь, борющихся за свои права, как представительницы пола. Жизнь творит новых женщин — литература их отражает»³³.

Романы А. Вербицкой «Ключи счастья» (1908—1913) и «Гнев Диониса» Е. Нагродской (1910) были созданы почти одновременно с романом «Санин». Их главных героинь критики называли «Санин в юбке» и видели в них типы русских ницшеанок.

Книги Вербицкой и Нагродской тоже были произведениями о женском варианте «нового человека» — героине, освободившейся от «старых» норм в любви. Примечательно, что в «Ключах счастья» типологическая преемственность образа главной героини была

³² Винниченко В. Честность с собой // Винниченко В. Честность с собой. Записки курносого Мефистофеля. М., 1991. С. 152–153.

³³ Коллонтай А. Новая женщина // Современный мир. 1913. № 9. С. 152–154.

декларативно подчеркнута. Один из эпизодов романа представлял собой обсуждение романа «Санин» Маней Ельцовой и ее первым «учителем жизни» — Яном Сицким: «А вы читаете «Санина»?» — спрашивает она раз, прерывая чтение. «О, да. С огромным интересом. А вы?» — «Тоже читаем потихоньку <...> Какое он животное!..» — «В этой книге, Маня, я вижу яркий протест против закаменевших моральных ценностей <...> Здесь больше сказано в защиту личности, чем во всей западноевропейской литературе»³⁴. Подобным художественным «жестом» Вербицкая отметила не только идейную, но и эстетическую взаимосвязь своего романа с книгой Арцыбашева. Герой или героиня бестселлера, вольно меняющие свою судьбу, освобождающиеся из-под власти социальных и моральных законов, были привлекательны для тех читателей, которые могли уйти от бремени своих проблем лишь в сконструированный фантастический мир.

«Ключи счастья» Вербицкой и «Гнев Диониса» Нагродской отличались друг от друга по манере письма и широте художественного материала. «Ключи счастья» — шеститомный многосюжетный роман. В нем была представлена пестрая жизненная панорама: картины украинского усадебного захолустья чередовались с изображением быта парижской богемы, будни русского революционного подполья и эмиграции сменялись яркими зарисовками артистического мира Москвы и Петербурга. И на этом фоне разворачивался центральный сюжет — история балерины-«босоножки», последовательницы Айседоры Дункан Мани Ельцовой. «Гнев Диониса» — камерное повествование о жизни талантливой художницы Тани.

При всех различиях оба романа объединял новый подход к решению таких коренных вопросов женской судьбы, как отношение к любви, семье, общественной жизни, творчеству. Их единство заключалось также в общем неприятии традиционных для русского общества идеальных моделей женского поведения (в частности, той, что была воплощена в типе «тургеневской девушки») и в опоре на одни и те же философские и научные авторитеты. Наконец, обоим романам было присуще некое сходное направление в разрешении проблем, поставленных русской действительностью перед женщиной, осмелившейся строить свою судьбу, ориентируясь на новые ценности.

Идейные концепции обоих романов сформировались под влиянием популярных в России работ Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» и «Так говорил Заратустра». Сюжеты бестселлеров «Ключи счастья» и «Гнев Диониса» были основаны на соединении экзотики и иллюзорного правдоподобия. Они также смонтированы из сюжетных мотивов, характерных для разных видов романного жанра (бытового, авантюрного, сенсационного и

³⁴ Вербицкая А. Ключи счастья. М., 1908. Кн. 1. С. 110.

др.).

Роман «Ключи счастья» начинался как история бедной воспитанницы женского института Мани Ельцовой, обреченной на незавидную судьбу гувернантки. Но бытовое правдоподобие почти сразу же нарушалось, так как основой книги Вербицкой стал популярный в массовой литературе «миф о Золушке». «Обыкновенная» девушка встречала не одного, а сразу нескольких красавцев-«принцев» (сначала Яна Сицкого — князя, проповедника новой морали и революционера; затем Нелидова — аристократа-помещика, потомка Рюриковичей, ретрограда-консерватора, и, наконец, Марка Штейнбаха — барона и миллионера, финансирующего борцов с самодержавием). Каждый из них влюблялся (и не безответно) в Маню, каждый способствовал превращению «Золушки» (скромной институтки) в «принцессу» — всемирно известную балерину-«босоножку». Если Арцыбашев и Каменский камуфлировали свои книги под романый тип старой «высокой» литературы, то «Ключи счастья» А. Вербицкой, так же, как и ее более ранний «Дух времени», были откровенно ориентированы на жанр сенсационного романа. В то же время ее произведения были результатом соединения средств бульварной литературы со «злободневной» тематикой.

Это было подмечено и осуждено критиками, которые в своем большинстве хранили «заветы» идейной литературы. Так, В. Тан-Богораз с возмущением писал: «Г-жа Вербицкая описывает самую толщу минувшей революции: эс-эры, эс-деки, анархисты, аграрные поджоги, экспроприации, дважды распущенная Дума и вся черно-красная гамма российской политики, и на этом уныло-двуцветном фоне выделяется повесть о том, как Маша Ельцова любила двух мужчин в одно и то же время <...> И выходит, как будто вся великая российская разруха свершилась для того, чтобы послужить пьедесталом Маше Ельцовой и ее сложному сердечному хозяйству»³⁵.

По сути то, что высмеивал критик, было художественным приемом, делавшим события минувшей революции более понятными читателям, и прежде всего читательницам, привыкшим к постижению исторических катаклизмов «при помощи» романов Дюма или Понсон дю Террайля. После наложения на современную российскую историю жанровой сетки, привычной для этой читательской категории, происходившее в России 1905–1907 гг. становилось не менее интересным и «понятным», чем события времен Людовика XIV или Наполеона Малого, а секреты богатейших московских купеческих семейств оказывались такими же интригующими, как тайны мадридского или французского дворов. Столь же беспрюграмным был и эффект «близкого далека». Вербицкая вводила в свои

³⁵ Аполлон. 1909. № 3. С. 43–45.

произведения традиционную для реалистической прозы экспозицию и своеобразный «стаффаж» — множество привычных для российской действительности персонажей, бытовых подробностей, возникающих на периферии повествования и как бы аранжирующих центральный «неправдоподобный» сюжет.

Намек на ответ, касающийся вопроса, центрального для основной части читательской аудитории Вербицкой, — где ключи к женскому счастью? — был заложен уже в самом заглавии романа, которое также являлось цитатой из хрестоматийно известной поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?»³⁶. В письме от 1910 г. писательница сообщала критику А. А. Измайлову о замысле своего нового романа: «Я задумала “Ключи счастья” так: моя героиня начинает как всякая женщина, с культа любви. В след<ующей> книге “На высоте” (кот<орую> я пишу сейчас) она ищет себя и счастья. Разочаровавшись в любви, становится артисткой. Но утомившись искусством, этой привилегией богатых, познакомившись через анархистов, товарищей Яна (главного героя книги) с миром, где не ценят жизнь, где идею и борьбу ставят выше счастья, она с головой кидается туда. Удовлетворит ее этот путь? Кто скажет? Но она счастлива, потому что она ищет. Вот вам моя схема»³⁷.

Описанный сюжет во многом соответствовал жанровому типу романа воспитания, который был традиционен в женской беллетристике XIX в. Но художественная структура и содержание реально созданного произведения разошлись с авторской версией, изложенной в письме критику, консервативному в своих этических и эстетических убеждениях.

В романе Вербицкой миф о Золушке был соединен с неомифологическими мотивами, заимствованными из модных в то время работ Ф. Ницше.

Жизненная дорога Мани Ельцовой — это, действительно, ее путь к «высоте» в том символическом плане, который был скрыт в аллегориях книги «Так говорил Заратустра»: восхождение вверх — рост души — является, одновременно, и спуском вниз — познанием бездн той же души. В главе «О дереве на горе» Заратустра говорил встреченному юноше: «“Чего же ты пугаешься? С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к свету, тем глубже впиваются корни его в землю, вниз, в мрак и глубину, — ко злу!” <...> “Да, ко злу! — воскликнул юноша еще раз. — Ты сказал истину, Заратустра. Я не верю больше в себя самого, с тех пор как стремлюсь вверх, и никто уже не

³⁶ Ср.: «Ключи от счастья женского, / От нашей вольной волюшки / Зброшены, потеряны / У Бога самого!» (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1982. Т. 5. С. 186).

³⁷ РО ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 62. Л. 12.

верит в меня, — но как же случилось это? Я меняюсь слишком быстро: мое сегодня опровергает мое вчера. Я часто перепрыгиваю ступени, когда поднимаюсь, — этого не прощает мне ни одна ступень. Когда я наверху, я нахожу себя одиноким. <...> Чего же хочу я на высоте?...»³⁸.

В романе Вербицкой образы «восхождения», «ступеней» являются лейтмотивными. Первая книга романа так и называется — «Дрожащие ступени». Каждый жизненный шаг Мани Ельцовой оказывался новой ступенью в процессе изменения души героини на пути подъема к «новой женщине». Стать ею — такой завет оставил Мане ее первый идейный учитель, последователь философии Ницше Ян Сицкий. Знаменательно, что после смерти этого героя на его могильном камне выбили цитату из книги «Так говорил Заратустра».

Первой ступенью духовного восхождения Мани была ее любовь к Нелидову. Изображая их взаимоотношения Вербицкая прощалась с ушедшим в прошлое сверттипом русской литературы XIX в. — «тургеневской девушкой». Именно о таком идеале мечтал «дворянин до мозга костей» Нелидов, отвергший Маню за несоответствие этому умозрительно сконструированному образу. Ее чувство к нему было страстью, полным растворением своего «я» в любимом. Это был этап доминирования в личности героини Женственного, оно предстало как воплощение стихийного дионисийского начала, которое проявлялось и в одновременной любви Мани к Нелидову и Штейнбаху, и в экстатических танцах героини.

Попытка самоубийства Мани после разрыва с аристократом-помещиком была проявлением еще сохранявшейся несвободы ее личности, не способной пережить крах традиционных женских сверхценностей.

Следующий этап в развитии героини — трансформация ее души под влиянием аполлонического начала, внесенного в ее жизнь соприкосновением с мировой культурой. Знаменательно, что после краха любовных отношений Мани и Нелидова ее новый поклонник (Штейнбах) увез героиню в Италию. В русской беллетристике начала века образ этой страны был уже растиражированным до банальности символом гармонии. Итогом постепенного соединения в натуре героини аполлонического и изначально присущего ей дионисийского начал было превращение ее в творческую личность — актрису. Постепенность этого процесса подчеркнута в описании обучения Мани у знаменитой балерины Изы Хименес: «Она и Маня — это были два мира, два начала: Дионис и Аполлон... И если творчество Изы бенгальским огнем ослепительного фейерверка зажигало все образы, все чувства, все события <...> то творчество Мани было тем лунным блеском,

³⁸ Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Пер. с нем. Ю. М. Антоновского // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 30.

который из повседневного создает сказочный мир»³⁹.

О такой характерной черте беллетристики как умение ловить читательский успех за счет художественного отражения новейших тенденций времени свидетельствует и совпадение основных феминистских акцентов романа «Ключи счастья» с идеями, развиваемыми участницами Первого Всероссийского женского съезда при Русском женском обществе в Санкт-Петербурге, который состоялся 10–16 декабря 1908 г. Отчеты о нем и его материалы были немедленно опубликованы в прессе и вышли отдельным изданием⁴⁰. В оргкомитет съезда входили такие известные деятельницы женского движения, как А. Н. Шабанова (председатель), А. П. Философова (вице-председатель), О. А. Шапир, А. С. Милюкова, Е. А. Чебышева-Дмитриева, Е. Н. Щепкина, М. А. Чехова и др. В ходе работы одной из секций, проходившей под общим названием «Экономическое положение женщины и вопросы этики в семье и обществе» были заслушаны доклады, посвященные отражению психологии и общественного положения женщины в произведениях искусства и, в первую очередь, в литературе. Так, 11 декабря популярный критик К. И. Арабажин сделал доклад на тему «Вопросы любви и брака в современной литературе». В нем, как и в большинстве сообщений на ту же тему, обсуждались две литературные новинки сезона 1907–1908 гг.: роман М. П. Арцыбашева «Санин» и публицистическая книга Отто Вейнингера «Пол и характер». Русское общество восприняло эти два произведения как наиболее современные и жесткие книги о различных аспектах «проблемы пола». Значительная часть читателей и большинство читательниц увидели в их появлении признаки нездорового социального и морального состояния общества. Такая трактовка была дана и в докладе Арабажина. В тот же день было заслушано сообщение доктора Радина «Психология женщин и сенсуализм в современной литературе». В нем была также подчеркнута общность позиций Арцыбашева и Вейнингера по вопросу о психологической противоположности мужского и женского начал, противоположности, предопределяющей многие антагонизмы общественной и частной жизни. Среди участниц съезда было много писательниц. Примечательно, что одним из основных лейтмотивов их выступлений была попытка сформулировать суть общественного и нравственного идеала женской личности и найти отражение этого мыслимого образца и в реальности, и в искусстве прошлого и настоящего. В этом плане характерно название доклада О. А. Шапир — «Идеалы будущего». В числе других был объявлен доклад Анастасии Николаевны Чеботаревской «Женщина настоящего и будущего». Она была автором ряда пьес,

³⁹ Там же. М., 1912. Кн. 4. С. 44.

⁴⁰ См.: Труды I Всероссийского женского съезда при Русском женском обществе в С.-Петербурге. 10–16 декабря 1908 г. СПб., 1909.

рассказов, составителем книг «Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX в.» (1913), «Россия в родных песнях» (1915) и др., переводила произведения Стендаля, О. Мирбо, Г. де Мопассана, Г. Клейста, М. Метерлинка и многих других авторов. Наконец, в своем «жизнетворчестве» Чеботаревская, жена писателя Федора Сологуба, стремилась сделать реальностью идеи свободного союза двоих любящих, брака нового типа, который оставался мечтой многих женщин той эпохи. Ее доклад, прозвучавший, как явствует из «Бюллетеней съезда» под заглавием «Так называемое женское движение», сконцентрировал в себе многие темы и идеи, характерные для общего настроения форума. Изменение названия было, очевидно, связано с уточнением его темы. Как отмечалось в опубликованной аннотации доклада, его основная идея заключалась в том, что «главная цель женского движения — освобождение женщины от экономического и полового рабства, каковым является современный буржуазный брак»⁴¹. Несмотря на использование марксистской терминологии и цитат из книги Августа Бебеля «Женщина и социализм», этот доклад все-таки в большей степени примыкал к западноевропейской направленности феминистского движения, чем к его русскому политизированному варианту. Рассматривая современный этап женского движения, Чеботаревская утверждала: «В основном пункте идеалы женщины изменились сравнительно незначительно. Конечно, женщина завоевывает политическую равноправность, конечно, она стремится и достигает образовательных целей. <...> Центральным пунктом женской “неравноправности”, женского рабства, я считаю положение, занимаемое женщиной в современном буржуазном браке. Пока положение это не изменится, и женщина из легализованной содержанки не обратится в свободное существо, являющееся, подобно Гильде Ибсена⁴², к любимому мужчине “без чемодана и вещей, налегке”, до тех пор женский вопрос не выйдет из стадии элементарно феминистического движения... <...> Какую форму примут интересующие нас отношения полов в будущем строе? Будет ли это моногамия, как склонен думать Бебель, — на основании устранения многих факторов, препятствующих в современном строе настоящему браку, очищенному от материальных соображений и освященному свободным выбором — истинной любовью? Или — фантастическая форма идеальной полигамии, намеки на которую мы встречаем в “Красной Утопии” с<оциал>-д<емократа> Богданова?⁴³ — Мне лично кажется, что большинство факторов склоняется в сторону последней гипотезы, и я думаю, что Богданов прав, говоря, что “многообразие, неосуществимое

⁴¹ Бюллетени Первого Всероссийского женского съезда. 1908. № 6, 15 дек. С. 8.

⁴² Речь идет о героине драмы Г. Ибсена «Строитель Сольнес» (1892).

⁴³ Имеется в виду роман-утопия А. А. Богданова (наст. фам. Малиновский) «Красная звезда» (1908).

теперь, в рамках буржуазного строя, способно вообще дать людям и большее богатство личной жизни, и большее разнообразие сочетаний в сфере наследственности”. В заключение мне бы хотелось сказать несколько слов об отражении затронутых нами вопросов в современной литературе. К сожалению, придется констатировать в новейшей русской литературе или замалчивание этих вопросов, или трактование их уже в слишком примитивно-неудовлетворительной постановке, какой является пресловутый роман Арцыбашева “Санин”. Скорее уже в западноевропейской литературе мы находим проблему брака и семьи с интересующей нас точки зрения. <...> Больше же всего свету проливают на столь близкие нам темы писатели Севера и между ними — Генрик Ибсен. <...> В <...> златокудрой Гильде, стремящейся ввысь, этой радостно-ликующей Юности, стучащейся в дверь к обессилевшему Строителю, хотим мы видеть прообраз Новой Жизни, в которой займет свое настоящее место освобожденная Женщина Будущего».⁴⁴

Выступление Ан. Н. Чеботаревской было во многом не самостоятельным, носило реферативный характер. Писательница обращалась к знакомым и уже становившимся банальностью именам «модных» Ф. Ницше, О. Вейнингера, А. Бебеля. Но главное достоинство доклада заключалось в том, что в нем была четко выражена направленность агитации, характерная для ряда активисток женского движения того времени – указать современницам на то, что претворять в жизнь идеал «женщины будущего» надо стремиться не только в теории, но и в личной практике.

Прозвучавшие на Первом женском съезде и тогда же опубликованные доклады, очевидно, были известны Вербицкой, немедленно отразившей ряд прозвучавших в них положений в своем произведении.

Главная героиня Вербицкой – Маня Ельцова, состоявшая в творчестве – став знаменитой балериной-«босоножкой», и в личной жизни приближалась к чаемому русским феминистским движением типу «освобожденной Женщины Будущего», в неясном образе «дальнего» предсказанной и в книге «Так говорил Заратустра». Вторая часть романа имела название — «На высоте». Кругозор героини максимально расширился. Теперь ей было интересно и искусство, и революционное деяние, и феминистское движение. В романе Вербицкой можно найти одно из первых в русской литературе подробное описание заседания феминистской лиги «Права женщин». Балетное творчество героини достигло вершины своего расцвета, и персонажи романа говорили о нем как о гармоническом единстве: «Бакланов заметил: “<...> Она еще лучше теперь. В ее игре странно слились <...>

⁴⁴ Чеботаревская Ан. Н. Женщина настоящего и женщина будущего // РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 4. Ед. хр. 62. 27 лл.

два элемента... Дионисийское начало...” — “Полноте! Здесь? — капризно перебивает Валицкий, — Это именно аполлоническая красота, о которой говорил Ницше...”⁴⁵.

На этом этапе своего развития Маня соединяла жизнь с поэтом-декадентом, избравшим себе характерный псевдоним – «Гаральд». Возможно, скандинавский флер имени нового избранника героини был скрытой авторской отсылкой к феминистским темам драм Генрика Ибсена. Связь Мани и Гаральда осмыслялась Вербицкой как олицетворение идеи свободного союза двух художников, для которых любовь — творческий импульс, одно из слагаемых их полноценной жизни. Неслучайно они оба соединились в реализации синтетической художественной фантазии Гаральда. На какое-то мгновение главная героиня представала как реальное воплощение так ожидаемой многими читательницами «освобожденной Женщины Будущего».

Однако финалом романа было возвращение Мани к своей первой любви — к когда-то бросившему ее Нелидову — и их двойное самоубийство. Зачем писательнице понадобилось подобное завершение истории героини? Казалось бы, Маня Ельцова полностью освободилась от «ига любви», стала свободной личностью. Но, по мысли Вербицкой, женский тип, изображенный в образе героини был не воплощением, а лишь ступенью к чаемой новой «Женщине Будущего». Примечательно, что для психологического обоснования трагической концовки своего романа Вербицкая обратилась к теории Отто Вейнингера, изложенной в его популярной в России тех лет антифеминистской книге «Пол и характер». Это произведение не раз поминалось и цитировалось в выступлениях на Всероссийском первом женском съезде 1908 г. Также надо отметить, что использование переосмысленной концепции этой работы было парадоксальным, но характерным явлением в русской женской беллетристике начала XX века.

Основной идеей Вейнингера было доказательство психофизической противоположности двух абсолютизированных половых форм. Одну из них он обозначил буквой «М» (мужчина), другую — буквой «Ж» (женщина). По Вейнингеру, женщина во всех смыслах неполноценна по самой сути своей биологической природы. Все значимое в мире связано с половой формой «М» — то есть с мужчиной. Поэтому, считал Вейнингер, «мрачная судьба постигнет женскую эмансипацию, если женщины будут создавать себе иллюзии и видеть свои цели только в социальной жизни, в историческом будущем рода, а своих врагов только в мужчинах и в созданных последними правовых институтах. Тогда придется сформировать армию амазонок, которая, впрочем, просуществует недолго, т. к.

⁴⁵ *Вербицкая А.* Ключи счастья. М., 1913. Кн. 5. С. 64.

через известные промежутки времени эта армия должна будет непременно рассыпаться. <...> Истинное освобождение духа не может быть произведено даже самой большой и дикой армией; каждый индивидуум пусть борется за него сам. Против кого? Против того, кто препятствует этому освобождению в его собственной душе. *Самый огромный и единственный враг женской эмансипации — сама женщина*⁴⁶.

По теории Вейнингера, абсолютных форм «М» и «Ж», то есть абсолютных мужчин и женщин в природе не существует. Большинство живущих индивидов представляют собой различные «промежуточные» варианты. Для мироздания, считал Вейнингер, наиболее ценна та женщина, в которой в наибольшей мере присутствует часть мужской субстанции. Но сам он скептически относился к наличию таких качеств в натуре даже самых выдающихся женщин.

В финале романа Вербицкой Женское начало вновь побеждало в душе героини, что и приводило ее к трагическому концу. Маня предпочитала смерть вместе со своим первым возлюбленным – Нелидовым – жизни без него. Избирая фабульную основу романной концовки писательница обращалась к актуализации в сознании своих читателей популярной в начале XX в. истории о трагедии в Майерлинге (1889) – совместном самоубийстве кронпринца Австрии Рудольфа и его любовницы баронессы Марии Вечеры. Но семантически финал произведения Вербицкой, типологически сходный со своим историческим прототипом, был иным, он имел явную феминистскую окраску. Самоубийство Мани Ельцовой было результатом ее свободного выбора, а не последствием послушного следования «женщины-жертвы» за «мужчиной-господином» – за охваченным жадой самоуничтожения Нелидовым. Конец книги Вербицкой как бы подтверждал идеи, которые были заложены в двух эпитафиях ко всему роману, взятых из книги «Так говорил Заратустра». Первый из них: «В теле твоём больше разумного, чем в твоей лучшей премудрости. И кто знает, для чего именно нужна твоему телу лучшая премудрость?» Второй эпитафия: «В любви — доля безумия. Но в безумии — доля разума...». Таким образом, развязка многотомного повествования о жизни Мани Ельцовой знаменовала торжество жизни над любыми построениями разума.

Те же художественные приемы создания популярного произведения и те же расхожие теории модных философов были использованы в более скромном по масштабам романе Е. Нагродской «Гнев Диониса», в котором история любви художницы Тани к двум мужчинам — мужественному Илье и женственному Старку — разворачивалась то на фоне привычных российских пейзажей, то в экзотической Италии.

⁴⁶ Вейнингер О. Пол и характер. М., 1992. С. 77–78.

Само название романа Нагродской вызывало в памяти читателя представление о данной Ницше трактовке дионисийского начала, как одного из истоков художественного творчества. «Гнев Диониса» — это название картины, задуманной главной героиней романа, которая так рассказывала о ее сюжете: «Дионис разгневался! И от этого гнева все кругом сразу опьянело, все потеряло голову — все перемешалось в хаос! Все скачут, прыгают, кричат, хохочут. Он отнял разум! Вся толпа людей опьянела сразу! ... В этой толпе самые спокойные, сохранившие разум — это пантеры, они смотрят с презрением на людей <...> А над всем этим — Дионис — женственный, но величественный и гневный, полуприподнявшийся со своего золоченого ложа!»⁴⁷. В течение долгого времени художница не могла реализовать свой замысел. Разум подсказал героине сюжет, но его творческое воплощение могло быть найдено только при помощи чувственного переживания.

В неомифологическом романе Нагродской миф о гневе Диониса и его преобразующих мир последствиях является метатекстом. В свете этого мифа рождается второй, символистский смысл простенького, на первый взгляд, сюжета романа. Таня любила ученого Илью — олицетворение мира разума и гармонии. Она была его любовницей, так как законная жена не давала ему развода. Наконец, их брак становится возможен. Но накануне свадьбы Таня встречает красавца Старка, в котором она неожиданно находит модель для фигуры Диониса в своей картине. В их взаимной страсти проявляется стихийное дионисийское начало, о котором писал Ницше. Оно несет страдание и гибель, но оно же является необходимым дополнением начала аполлонического, которое проявлялось в любви Тани к уравновешенному Илье.

Роман написан в форме исповеди Тани. Запутавшись в противоречиях, героиня не в силах самостоятельно разрешить сложившуюся жизненную коллизию. И здесь Нагродская применяет архаичный художественный прием — введение в сюжет фигуры резонера — мецената Лачинова. Он-то и помогает Тани понять себя и найти выход из сложившейся ситуации.

В романе «Гнев Диониса» Нагродская, не называя имени Отто Вейнингера, использовала все ту же его теорию для истолкования психологической драмы героини. Лачинов раскрывал Тани суть ее натуры: «Вы *мужчина*. Что же в том, что вы имеете тело женщины. Женщины к тому же женственной, нежной и грациозной. Все же вы мужчина. Ваш характер кажется очень оригинальным и сложным, если смотреть на вас, как на женщину, а как мужчина, вы просты и обыкновенны. <...> Судьба столкнула вас со

⁴⁷ Нагродская Е. Гнев Диониса. 3-е изд. [СПб., 1911]. С. 138.

Старком... Здесь я вижу действительно странный случай, какую-то „шутку сатаны”, потому что Старк был именно тем между мужчинами, чем вы между женщинами. <...> Странно, что судьба столкнула вас, но это вы бросились один к другому через все препятствия — ничего нет удивительного. Было бы страннее, если бы этого не случилось. Ни он с другой женщиной, ни вы с другим мужчиной этой страсти не испытали бы никогда. Вы счастливая женщина, друг мой»⁴⁸.

В «Гневе Диониса» Нагородская эклектично соединила идеи Вейнингера и Ницше, идеи, воспринятые и изложенные на уровне их освоения массовым сознанием начала века. Согласно Вейнингеру, промежуточные половые формы стремятся друг к другу (ученый развивал концепцию платоновского диалога «Пир»), и подобная взаимо-компенсация рождает счастливые союзы. По Ницше, реализация художника-творца возможна лишь при единоборстве и, одновременно, единении аполлонического и дионисийского начал. Лачинов советовал Тане сохранить обе связи, чтобы быть счастливой и творить. Эмансипированная героиня Нагородской должна была переступить последнюю грань — осознать, что любовь к двоим — Илье и Старку — и есть залог полноценной реализации ее как «Женщины Будущего». В конце романа Илья умирает, Таня остается со Старком, и творческий дух покидает ее. Таким образом, в финале «Гнева Диониса» восстановление старой моральной нормы — моногамного союза — оказалось увязанным с угасанием женщины как творческой личности.

Повторить читательский успех романов-бестселлеров А. Вербицкой и Е. Нагородской, героини которых сбрасывали «узы» старых ценностей и двигались вверх по дороге к «дальнему» человеку Ницше, удалось Анне Мар (Анне Яковлевне Бровар, в замужестве Леншиной) в романе «Женщина на кресте» (1916). Духовными и эстетическими ориентирами писательницы стали произведения европейского, и, прежде всего, французского декаданса и символизма. Бодлер, Малларме, Верлен, Гюисманс — вот круг писателей, под влиянием которых сформировалась эстетика Анны Мар. От французской литературы берут истоки панэстетизм ее мировоззрения, символистская многоплановость прозы, дуализм этического и эстетического начал при господстве последнего, субъективизация картины мира, подвластного творческой воле художника, тяга к атипическому и к постоянным колебаниям на грани между сферами Бога и Дьявола, стремление к «жизнетворчеству». Значительное влияние на Анну Мар оказали также О. Уайльд и Ф. Ницше. Именно к этим «учителям» восходит сформировавшаяся в произведениях Анны Мар модель мужского сверхтипа — эстетически утонченного и

⁴⁸ Там же. С. 259, 261.

пренебрегающего этическими нормами человека, одновременно и любимого, и ненавидимого женщиной.

Если в поисках основного героя Анна Мар следовала уже сложившейся европейской традиции, то более необычным было обретение ею женского сверхтипа своего творчества. Здесь писательница, подобно Вербицкой и Нагродской, должна была переступить как через классические идеальные женские типы, выработанные в русской литературе XIX в. (и в первую очередь преодолеть сверхтип «тургеневской девушки»), так и через устойчивые традиции изображения женской природы как начала пассивного, тяготеющего к статичным формам бытия и мышления, — традиции, сложившиеся в европейской маскулинной литературе. Отыскивая первоначала своего понимания «женской природы», Анна Мар обратилась к культуре Древнего Востока, в частности Индии — к единственному типу культуры, где в сексуальной сфере признавалось равно активное участие обоих полов. С этим же был непосредственно связан и выбор ею писательского псевдонима из древнего сборника канонической буддийской поэзии «Сутта-Нипата», в котором чаще всего повествовалось о каком-либо эпизоде из жизни Будды. При этом его главным антагонистом представало принимающее разные ипостаси божество Мара (буквальный перевод с санскрита — «убивающий», «уничтожающий») — персонификация зла и всего, что ведет живое к смерти. В буддийской мифологии Мара правил желаниями живущих и имел множество дочерей, воплощающих сексуальные страсти. Превратившись из Анны Яковлевны Леншиной в Анну Мар, писательница не только заявляла свое эстетическое кредо, но и как бы вводила самое себя в мифологический контекст постоянной борьбы желания и бесстрастия, сиюминутности и вечности.

Мировым женским архетипом для Анны Мар стал образ библейской грешницы и, одновременно, любимой ученицы Христа — Марии Магдалины. Писательница считала, что сексуальность составляет основу женского мировосприятия и маркирует любые сверхчувственные устремления женщины, и прежде всего творчество. В статье «Грустная профессия» Анна Мар отмечала: «Быть писательницей — грустная профессия. С первых же дней между вами и читателем возникает дуэль. <...> Читатель всегда чертовски целомудрен. Нагота искусства бросает его в жар. Он видит смеющегося дьявола за вашей спиной. Жадно прочитывая все ваши безнравственные книги и высасывая из них больше, чем они дают самому автору, находя неожиданные чувственные намеки там, где есть только грустная реальность, — он особенно строг к вашей бедной персоне <...> Читатель ходит за вами неотступно и кричит вам под ухом гнусно-возвышенные слова: “нравственность”, “польза”».

Мне возразят: “Зачем обращать внимание?” Я отвечу словами Верлена: “Я ненавижу людей, которые не зябнут”»⁴⁹.

К середине 1910-х г. молодая беллетристка имела уже устоявшуюся в «приличных» литературных кругах репутацию одной из лучших писательниц тех лет. Но в 1916 г. ею было создано произведение, многое перевернувшее и в личной, и в творческой биографии Анны Мар. Это был роман «Женщина на кресте».

В классической русской литературе ряд понятий и проявлений сексуальной жизни был традиционно строго табуирован. Когда границы «пристойного» стала переступать беллетристка, рассчитанная не на узкий круг читателей-эстетов, а на широкую читательскую аудиторию, это начало вызывать бурю негодования, как среди критиков-«пуристан», так и среди «возмущенной общественности». Достаточно вспомнить реакцию критики на роман Арцыбашева «Санин». И вот появляется роман «Женщина на кресте», рассказывающий о любовной связи девушки с пожилым мужчиной, причем любовники отличаются мазохистскими, а партнер — еще и садистскими наклонностями. Была в романе и подруга героини — лесбиянка, и сын героя — вуаерист, подсматривающий за любовными экзекуциями. Произведение было опубликовано со значительными купюрами, но даже такой текст был раскуплен в течение недели. Дополнительный тираж разошелся столь же быстро. Впечатление от романа можно было назвать и шоковым, и шокирующим. Поражал не только сам факт его появления, но и то, что он был написан женщиной, и тем более «подававшей надежды» Анной Мар.

Чтобы понять, каким образом столь необычный для русской литературы даже начала XX в. роман мог появиться из-под пера писательницы, надо еще раз вспомнить последовательность ее творческой эволюции.

У литературных учителей Анны Мар — писателей французского декаданса — панэстетизм и имморализм причудливо сочетались с мистикой и религиозной экзальтацией. Поэтому внутренней логике развития писательского сознания Анны Мар, как литератора-модерниста, не противоречило ее увлечение католичеством. Ее произведения свидетельствуют об обширном знакомстве сочинительницы с религиозно-мистической литературой, в частности с писаниями визионерок и пророчиц, монахинь, вкладывавших в любовь к Христу всю силу своего нерастраченного чувства к мужчине. Одним из проявлений этой религиозной страсти было наказание — бичевание и самобичевание, когда кающийся находил в страдании особую сладость, приближаясь, таким образом, к Христу, мистически воссоединяясь с его страстями.

⁴⁹ Женская жизнь. 1915. № 4. С. 17.

Если рассматривать произведения Анны Мар как органичную часть ее «жизнетворчества», то очевидно, что ей всегда было свойственно обожествлять своего возлюбленного или друга, бывшего для нее духовным авторитетом. В стихах Вал. Брюсова, которые он посвятил уже умершей Анне Мар, были строки: «И подарила томик свой / Она мне с надписью такой: / “Я вам молилась вместо Бога...”»⁵⁰. Факт личной биографии писательницы – ее связь с католическим священником – была для нее одновременно и ступенью личностного приближения к Божеству, и шагом к переходу какой-то моральной грани, стремлением к кощунству.

Неомифологической основой романа «Женщина на кресте» стала история знаменитых средневековых любовников: философа Абеляра и его ученицы Элоизы. Как известно, ее родные оскопили оскорбителя, возлюбленные были вынуждены принять монашество, но продолжали обмениваться письмами, в которых чувственная страсть соединялась с религиозным экстазом.

Роман «Женщина на кресте» по своему типу — это «роман воспитания». Новый Абеляр — Генрих Шемиот учил новую Элоизу — юную Алину понять природу своего чувства. Несомненно, мазохистские наклонности свойственны героям Анны Мар, но это только поверхностный пласт семантики произведения. Шемиот давал Алине читать труды мистиков и визионерок. В этих текстах любовь к Христу сочеталась с постоянным раскаянием в своей греховности и с жадной жаждой наказания. В процессе чтения героиня открывала для себя глобальное значение в христианстве образа Марии Магдалины, раскаявшейся грешницы. Для Алины и стоящей за ней Анны Мар этот евангельский персонаж выражал психосексуальную суть женщины и в то же время единственную возможность мистически соединиться с Христом через грех и покаяние за него.

Значительную смысловую нагрузку несет название романа, отсылающее к сюжету гравюры бельгийского художника-декадента Фелисьена Ропса «Женщина на кресте». На ней изображена распятая, фактически кощунственно метафорически подменившая собой Распятого.

Писательница осмысляла чувственную любовь как жертвоприношение, в котором женщина играет роль сознательной жертвы на алтаре Бога. В религиозных воззрениях Анны Мар присутствует, и тоже совершенно осознанно, элемент кощунства. Такое колебание у черты между Богом и Дьяволом было присуще многим западным декадентам. В последний период своего творчества Анна Мар подошла к этой грани. Своеобразным «приложением к роману» может служить ее миниатюра «Ропс» (1914), представляющая

⁵⁰ Литературное наследство. М., 1976. Т. 85: Валерий Брюсов. С. 28.

собой диалог двух героев — Алины и Стаха о творчестве художника. Алина говорит: «Как только я взяла альбом с его гравюрами, сердце мое сжалось, я уже перестала быть сама собою». Далее она описывает особо понравившуюся ей гравюру: «Вы нашли ее?.. Молодая дама, снимающая рубашку через голову, сильная и стройная, в шелковых черных длинных чулках, крошечных туфлях, с волосами, причесанными как для концерта!.. И в дверях фигура аббата, приотворившего дверь... Не в этом суть, конечно... Глубокий смех в виньетках кругом — в ангелах, которые секут друг друга ради благочестивого усердия, в фигуре Терезы, пораженной стрелами, во всех этих мелочах, повторяю <...> Ропс приближает меня к дьяволу. <...> Приблизиться к дьяволу — это отнестись к нему сочувственно... даже больше... увлечься им, восхититься, понять его красоту...»⁵¹.

К эстетике европейского декадентства, в частности, к Гюисмансу и Уайльду, восходит и нарочитая эстетизация быта героев романа. Произведение Анны Мар наполнено описаниями стильной мебели, старинных безделушек, разнообразных произведений искусства. Описания эти играют особую художественную роль и не случайны, так как Анна Мар обычно не грешила свойственной писательницам слабостью к детализации. Многие как бы возвращало читателя в эпоху французской Первой империи, воскрешая образы Наполеона и его окружения. Наполеоновская тема и связанный с ней контекст являются еще одним планом неомифологического романа. Миф о Наполеоне соединяется с представлением об Антихристе, что осмысливается автором как вариант дерзкой попытки сравниться с Создателем.

По мере развития сюжета Алина проникалась сознанием необходимости полного уподобления себя Марии Магдалине, принесения жертвы Богу на алтаре любви и страдания. Ипостасью Создателя, и одновременно его антагониста — дьявола, представал Шемиот. В конце романа Алина окончательно возвращается к нему, чтобы заменить предыдущую жертву («женщину на кресте») — своего сюжетного двойника Клару.

Роман «Женщина на кресте» стал по своей тематике и стилистике одним из самых «декадентских» произведений в женской литературе начала века. В нем грех и кощунство представляли как высшая ступень сакрализации чувства.

Анна Мар связывала с появлением своего романа много надежд, и сначала они как будто оправдались. Об этом свидетельствует ее радостное письмо А. Г. Горнфельду от 25 июня 1916 г.: «Сегодня я хочу немного похвастаться. — “Женщина на кресте” — была распродана вся в десять дней (2500 экз.). Теперь издатель печатает второе издание уже в количестве 5000 экз. <...> Я удостоилась чести получить длинное письмо от Власия

⁵¹ Женская жизнь. 1914. № 5. С. 17.

Михайловича Дорошевича. <...> Он пишет: „Ваша книга полна огромного интереса. В ней столько тонких и острых наблюдений, физиологических или психологических, — где кончается одно и начинается другое? Я думаю, что Вашу смелую книгу с большим интересом прочел бы Мопассан. И местами великий техник Вам бы позавидовал. Так тонко и изящно говорить о таких рискованных вещах. Для этого надо очень тонко мыслить. Прошу Вас принять мое поздравление с таким умным, интересным, тонким, сильным, дерзким и изящным по форме произведением. <...> В. Дорошевич”. Боже мой, как я была счастлива! <...> Мне написали также Сологуб и др. Все так хорошо сложилось, может быть, потому что эта книга принесла мне столько горя и слез в частной жизни»⁵².

Несмотря на явный успех романа у читателей, он не принес материального достатка постоянно нуждавшейся писательнице. В разговоре со знакомыми она жаловалась: «“Вы ведь знаете... комната, стол. За квартиру отдай, а ботики на зиму не куплены. <...> Ведь платят исправно и хорошо кинематографы, да некоторые журналы... А издатели? Да известно ли вам, какую сумму принесла мне «Женщина на кресте»? <...> Двести пятьдесят рублей, да”. “Женщина на кресте”, которая разошлась в первом издании в самый короткий срок и, должно быть, принесла издателю тысячные барыши, дала автору за двухлетний творческий труд *двести пятьдесят* рублей. И я могу подтвердить это, ибо собственными глазами видела контракт»⁵³. Но не менее важным было для Анны Мар признание критики и литературной общественности. Передавая экземпляр романа В. С. Миролубову, она писала: «Я с большим душевным волнением посылаю Вам мой последний роман “Женщина на кресте”. Издан он грубо, отвратительно. Цензура сделала вырезки. В эту вещь я вложила столько муки, великий Боже! Теперь я не могу уже перечитывать его. Вы были всегда так снисходительны ко мне. Просмотрите, умоляю, умоляю Вас. Вы одним словом можете воскресить меня — “я прочел”»⁵⁴.

Появившиеся вскоре критические отзывы омрачили первоначально радостный настрой писательницы. Большинство критиков дало роману однозначно негативную оценку, отвергнув его идеи, как кощунство и ересь. Так, Л. Форфунатов в статье с характерным названием «Сидорова коза» писал: «Среди множества женщин-писательниц, которые во множестве так настойчиво в наши дни рассказывают о своем, интимно-женском <...> Анна Мар сумела завоевать совершенно отдельное положение. Эта писательница не из феминисток, кто ставит задачей беллетристики — иллюстрировать главные положения

⁵² РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 391. Л. 3—3 об.

⁵³ *Писаржевская Л.* Трагический конец Анны Мар // Журнал для женщин. 1917. № 7. С. 14.

⁵⁴ РО ИРЛИ. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 762. Л. 1.

“Лиги женского равноправия”. <...> Но Анна Мар не принадлежит и к тому, очень скучному разряду женщин-писательниц, кто и теперь еще старается по старинке писать “не хуже, чем мужчина” <...> Человечество молчаливо хранит тайны своей интимной жизни <...> Напрасно погналась за лаврами Захер-Мазоха и Крафт-Эбинга даровитая Анна Мар. <...> “Женщина на кресте” имеет гораздо больше прав на звание *психопатологического романа*⁵⁵. Другой критик, А. Ожигов, заметил, что «по содержанию “Женщина на кресте” — это медицинская диссертация, написанная на тему о половых извращениях»⁵⁶. Рецензент журнала «Пегас» возвел недостатки романа к женской природе его создательницы: «Писательница подходит к своей теме только как женщина. <...> Самые язвительные вещи о женщине можно услышать только от представительницы слабого пола. <...> Анна Мар вечно-женственное видит в мазохизме, и садизм для нее скрытый смысл мужественной силы»⁵⁷. На общем фоне выделялась лишь доброжелательная рецензия А. Туниной, отметившей новый роман как закономерный итог творческого развития Анны Мар. У писательницы во всех произведениях был «один неизменный лейтмотив хождения женской души по мукам любви. <...> В “Женщине на кресте” <...> нет былой неопределенности. Порывы религиозности, мучительная жажда веры, исповедь и костел остались позади. Правда, сохранились муки любви, но они уже не страшат героиню, они необходимы ей, они — сама любовь»⁵⁸.

Сразу после своего появления романы А. Вербицкой, Е. Нагродской, Анны Мар стали бестселлерами. Так, например, за один 1911-й год роман «Гнев Диониса» выдержал три издания. Как свидетельствовали отчеты библиотек, романы пользовались постоянным читательским спросом, главным образом, у женской аудитории.

Критики откликнулись на появление «Ключей счастья», «Гнева Диониса», «Женщины на кресте» многочисленными статьями, но большинство отзывов носило печать пренебрежительного или в лучшем случае снисходительного отношения рецензентов к женской литературе в целом и к этим произведениям в частности. Особую неприязнь вызывало то, что в них затрагивались проблемы, лежащие, по мнению критиков, за пределами этических и эстетических границ. Объединяя книги Вербицкой и Нагродской, критик Б. Б. Глинский писал, что «очевидно, мы присутствуем при любопытной переоценке женских былых ценностей, где мужчинам приходится вынести над собою строгий суд и выслушать карательный приговор и при том без всякой надежды на снисхождение»⁵⁹.

⁵⁵ Журнал журналов. 1916. № 24. С. 3—4.

⁵⁶ Современный мир. 1916. № 7/8. С. 205—206.

⁵⁷ Пегас. 1916. № 6/7. С. 76.

⁵⁸ Женское дело. 1916. № 13. С. 13—14.

⁵⁹ Б. Г. [Глинский Б. Б.]. Е. А. Нагродская. Гнев Диониса. // Исторический вестник.

То, что с трудом было «прощено» Арцыбашеву, нарушившему традиции изображения любви в русском романе, не могло быть разрешено писательницам. Одна из критических статей В. Тана-Богораза, направленная против произведений Вербицкой, так и называлась: «М. и Ж.»⁶⁰. То есть в самой заглавии лежала «вейнингеровская» точка отсчета по отношению к женскому творчеству как таковому. В сохранившемся в архиве черновике ответа Тану Вербицкая отмечала: «Я хорошо знаю себе цену, не страдаю манией величия и не считаю себя талантливой. О, нет. Но я понимаю, почему меня читают в данную минуту. Я вижу, что влечет ко мне читателя. Я затрагиваю все те же вопросы, старые вопросы о любви, о браке, о борьбе личности с обществом. Но очевидно я — вопреки мнению г-на Тана — вкладываю в решение этих вопросов тот темперамент, ту искренность, то несомненное свое, что отличает меня от других. Может быть именно то, что я пишу по-женски? И чувствую, и думаю тоже по-женски?»⁶¹.

Среди негативных рецензий на роман Анны Мар самым жестким и безапелляционным по тону был отзыв А. Гизетти, который писал: «“Женщина на кресте” — вот книга, вызывающая непреодолимое чувство отвращения и горького негодования. Она настолько беспомощно ходульна и беспредельно патологически цинична, что не заслуживала бы даже упоминания, если бы автор этой книги не была уже несколько выдвинувшаяся в *подлинной* литературе писательница»⁶². Подобная реакция критики произвела тяжелое впечатление на Анну Мар. Она сообщала об этом Е. А. Колтоновской в письме от 20 июля 1916 г.: «Я сейчас только вернулась из деревни. Моя тетка заявила мне, что после „Женщины на кресте“ она не может меня принимать. С тех пор, как роман вышел, я растеряла буквально всех родных и друзей. Конечно, это вздор и меня не это огорчило. Сегодня я получила „Ежемесячный журнал“ Миролюбова. Там напечатана позорящая меня рецензия Гизетти. <...> Но я хочу, чтобы Вы, которая так тепло поддержали меня, знали бы некоторые подробности о моей книге. Пятно на обложке сделано цензурой. Цензура залила гравюру Фелисьена Ропса — *La femme en croix*. Пропуски сделаны цензурой, и их гораздо больше, чем это показано точками. Издатель обещал мне выпустить полностью, а потом испугался и выпустил с искажениями. Никакого влияния Пшибышевский не имел на мой роман уже потому, что на польском и русском языках я прочла и не дочла только его “*Homo sapiens*”. Я органически не выношу Пшибышевского и вообще польской литературы. Мой псевдоним — Мар не из Гауптмана (эта курсистка очень мне

1911. № 9. С. 1163.

⁶⁰ Утро России. 1910. № 105, 13 февр. С. 2.

⁶¹ РГАЛИ. Ф. 1042. Оп. I. Ед. хр. 44. Л. 9.

⁶² Ежемесячный журнал. 1916. № 5. С. 310.

антипатична), а из “Сутты-Нипаты” (Мар — злой дух). Я не могу допустить, чтобы мой стиль был “лубочным”, и я бездарна, ибо тот же Федор Сологуб, Гиппиус, В. Иванов и др<угие>, др<угие> не стали бы меня вводить в заблуждение. О, Боже, до чего мы, авторы, беззащитны. Нас могут облить серной кислотой и даже потом хвастаться этим. Еще недавно Миролубов (редактор этого журнала) говорил мне лично — „Вы очень талантливы, Вы очень выдвинулись”. И он же печатает площадную брань Гизетти. Измайлов, Ясинский в лицо говорили мне: „Вы — настоящая писательница”. Или все это только фразы? Разумеется, я пишу не для Гизетти и не для тех, кто сейчас интересуется войною больше, чем искусством. Разумеется, нужно иметь большой вкус, чтобы видеть, как безнадежно бездарен и патетичен Пшибышевский. Повторяю, я волнуюсь не потому, что „Женщину на кресте” дурно или совсем не понимают, а потому, что наша критика чудовишно, до смешного глупа. О, если бы Вы знали, какое количество женских писем я получаю! Если бы Вы знали, какое количество исповедей от женщин умных, тонких, интеллигентных, которые клялись мне, что все они — Алины и что их возлюбленные говорят — „словами Шемиота”. Я пугаюсь того количества Генрихов, которые приходят ко мне и говорят: „Ваш Шемиот *мало* жесток”. — Море гнусных предложений, тысяча оскорбительных телефонов, безмерное любопытство окружающих, грубые рецензии — это все, что я получила после выхода романа. Роман был продан в 10 дней. 25-го июля выходит второе издание. Это меня мало утешает — „Публика читает, чтобы снимать фасончики”, — сказал мне Дорошевич. О, если бы Вы знали, как мне трудно!»⁶³.

Итак, как показал анализ трех наиболее известных произведений русских беллетристок начала XX в., популярные философские теории в упрощенном виде активно распространялись женской литературой. Среди философов наиболее расхожим было имя Ф. Ницше. Но далеко не все составляющие ницшеанского «сверхчеловека» оказались созвучными идейным поискам писательниц. Так, например, «воля к власти» осталась за пределами их интересов. Основное внимание было уделено критике Ницше христианской морали и вытекающих отсюда нравственных законов и обязанностей человека по отношению к другим людям, обществу.

В женской литературе начала века, основной проблемой которой оставался «женский вопрос», последний сопрягался с переосмыслением отдельных положений философии Ницше при исследовании психологии взаимоотношений между полами. В романах, одновременно, констатировалось разрушение значимости сексуального чувства в жизни женщины наряду с разрушением прочих устаревших сверхценностей и утверждалась

⁶³ РО ИРЛИ. Ф. 629. Ед. хр. 25. Л. 7—8.

свобода женщины в этой сфере. У писательниц разрешение подобных проблем было болезненно-сложным процессом в связи с особым целомудренным, основанным на христианских догмах, характером классической русской литературы XIX в. Однако они внесли свой вклад в тот значительный перелом трактовки женской темы, который стал уже массовым явлением в литературе 1920-х гг.

Русская беллетристика начала XX века необычайно оперативно откликнулась на актуальные общественные, политические, научные и эстетические явления времени. Если ее художественные формы представляли собой не всегда органичный сплав традиций и новаций, то содержание наряду с использованием беспрюирышных мифологических схем всегда было исполнено не столько «духом времени», сколько репортажным «духом минуты».

Среди общественных тем наибольшее внимание привлекала политическая тематика. Большинство писателей так или иначе откликнулось на события революции 1905 г., и в 1910-е гг. политическая тема занимала определенное место во всех стратах русской литературы. Но кроме политики были и более экзотические общественные темы. Примечателен факт, что в русской прозе именно беллетристика взяла на себя роль популяризатора масонских идей.

Как известно, после 1905 г. в России началось возрождение вновь легализованного масонства². Среди беллетристов, увлекающихся тайными учениями, надо назвать имя Е. А. Нагродской. Ее интересы разделял муж – инженер В. А. Нагродский. Впоследствии супруги вошли в число масонских лидеров. Согласно данным А. И. Серкова, В. А. Нагродский в 1919 г. был привлечен в ложу «Космос»⁶⁴, а в дальнейшем, в годы парижской эмиграции он стал одним из руководителей русского масонства. В 1920 г. была предпринята первая попытка образования женской масонской организации. Как отметил тот же исследователь, «в ложе № 1 международного масонского Ордена «Друа юмен» посвящают жену <...> Нагродского – Евдокию Аполлоновну»⁶⁵. В 1927 г. в союзе «Друа юмен» была открыта русская женская ложа «Аврора», фактической руководительницей – венераблем которой стала Нагродская, оставившая свой пост лишь в 1929 г., незадолго до своей смерти (она скончалась в 1930 г.). О деятельности Нагродской в ложе сохранились воспоминания Н. Берберовой. Мемуаристка писала: «Женщины играли в “Авроре” первенствующую роль. Строгостей там было меньше, чем в ложах других “послушаний”. Я знала двух “сестер”

² См.: *Серков А. И.* История русского масонства. 1845—1945. СПб., 1997. С. 67—126.

⁶⁴ Там же. С. 144.

⁶⁵ Там же. С. 296.

<...> А. В. Тыркову <...> и Евдокию Нагродскую, автора популярного и “рискованного” (как тогда говорили) романа “Гнев Диониса” <...> Нагродская приняла меня очень тепло. Она после приглашала меня, но скоро увидела, что в ложу войти я не собираюсь. Ни она, ни Тыркова не изменили ко мне своего доброго отношения»³. Как видно из анализа имеющейся научной литературы, на современном уровне исследований наиболее изучена масонская деятельность Нагродской периода эмиграции. Исследование общественных занятий писателей-беллетристов – это особая тема, но в случае Нагродской знаменательно то, что она использовала свое мастерство беллетристки для пропаганды масонских идей.

В 1914 г. появился ее роман «Белая колоннада», который до 1915 г. выдержал три переиздания.

На первый взгляд, это великосветский любовный роман, основанный на тривиальном сюжете неудавшейся женитьбы разорившегося красавца Николая Лопатова на богатой красавице-вдове Екатерине Накатовой.

Начало повествования – происходящая в холодном, сумрачном Петербурге сцена похорон родственника Накатовой. Деревья над могилами кажутся героине «грешными душами одного из кругов Дантова Ада»⁴. Возвращаясь с кладбища, Накатова сожалеет, что не попала на премьеру вагнеровского «Лоэнгрина», рассеянно смотрит в окно автомобиля; вдруг «в глубине двора какого-то низенького деревянного дома она увидела высокую, великолепную белую колоннаду с широкой лестницей, ведущей к ней <...> “Это какая улица?” – спросила она шофера. “Ямская”, – ответил он. <...> она подумала: “Белая колоннада на холме, где-то вблизи Ямской... Как это странно”. Но это только промелькнуло в ее голове, и она сейчас же забыла об этом»⁶⁶.

Действие «внешнего» сюжета произведения развивается по законам банальных клише «великосветского романа»: изящные ухаживания Лопатова; его «овладение» Накатовой; ее беременность, делающая брак неотвратимым; приготовления к свадьбе. Однако этот сюжет, его перипетии и герои представляют собой лишь поверхностную «конструкцию», рассчитанную на «профанов», под которой скрыт истинный – «внутренний» – аллегорический сюжет романа. Именно его идейно-художественная концепция в символическом виде отражена в заглавии произведения. Развитие этого сюжета основано не на правдоподобном фабульном развитии, а на динамике

³ Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. Харьков; М., 1997. С. 7—8.

⁴ Нагродская Е. А. Белая колоннада // Нагродская Е. А. Гнев Диониса. Белая колоннада. СПб., 1994. С. 211—312.

⁶⁶ Там же. С. 213—214.

метафизических поисков Накатовой высшего мира, к которому ведет лестница «белой колоннады».

Символическое движение героини по ступеням к храму сопровождается чудесами и испытаниями, преодолеваемыми вместе с «помощниками», владеющими тайными силами. Художественное пространство романа основано на антитезе земного и горнего, ложного и истинного. Мир реального Петербурга маркирован как «мир Инферно», лжи и обмана, которому противостоит чаемый «мир Монт Сальвата».

Роман Нагродской основан на системе лейтмотивов. Применение подобной архитектоники свидетельствует об использовании писательницей художественной техники модернистов. Лейтмотив темы Монт Сальвата, дорога к которому открывается лишь избранным, «посвященным», первоначально возникает через упоминание оперы Вагнера «Лоэнгрин». Герои романа неоднократно высказывают сожаление, что так и не услышали этого произведения немецкого композитора. Однако тему Монт Сальвата ведет еще ряд символических лейтмотивных образов. Многие из таких образов восходят также к вагнеровской опере «Парсифаль».

Начиная с первых страниц романа, видение «белой колоннады» «преследует» героиню, постепенно обретая все более глубокий символический подтекст. Впервые «колоннада» предстает как случайный образ, как знамение, смысл которого ускользает от сознания Накатовой. Сначала она испытывает эгоистическое желание удовлетворить свою прихоть – вновь увидеть красивое здание. Но постепенно поиск исчезнувшей «белой колоннады» превращается во все более осознаваемую тягу к обретению не материального объекта, а духовного символа.

Дальнейшее развитие аллегорического сюжета – это ступени испытаний, которые проходят Накатова и окружающие ее люди в поисках «белой колоннады». Первым, кто их не выдерживает, оказывается ее жених. Именно ему Накатова подробно описывает свое странное видение: «“Ах, кстати, вы не знаете, что это за здание где-то там, <...> где Ямская... Великолепная колоннада, с мраморной широкой лестницей.” – “На какой улице?” – “Не знаю. <...> Право, не знаю... Это было так красиво: освещенный солнцем белый мрамор...” — она вдруг замолчала и растерянно взглянула на него. Освещенный солнцем? Но день был туманный... шел мелкий дождь. Но она ясно видела, что колоннада была освещена солнцем, она видела голубое небо над красивым портиком. Что за чушь? Неужели ей это показалось? Конечно, показалось. Но что показалось? Само здание или это освещение? <...> “Скажите, вы тогда были на «Лоэнгрине?» Какова была публика?” – “Не знаю, я не был”»⁶⁷. Лопатов

⁶⁷ Там же. С. 217–218.

лжет невесте, что он искал и не нашел «белую колоннаду», безапелляционно утверждая, что ее не существует. В художественной системе романа нигилистическое отрицание присутствия незримого, но чаемого храма символически маркирует отрицательную оценку героя, любовь которого оказывается ложью.

Накатова пешком отправляется по Петербургу на поиски «белой колоннады». Это характерный для аллегорической дидактической литературы мотив путешествия как символа духовного странствия. На улице она встречает девушку Талию (Наталью), знакомство и последующая дружба с которой возникают на основе веры в существование таинственной «колоннады». Девушка сразу же говорит Накатовой: «Вот что, пойдемте искать вместе! Будем спрашивать и найдем, <...> все улицы обойдем, так и увидим»⁶⁸.

Образ Тали – приехавшей из Сибири курсистки – это не только образ «чудесного помощника» героини, но и одного из избранных, находящихся на низших ступенях посвящения в тайные доктрины. Об обряде ее посвящения иносказательно сообщается в рассказе девушки о своей попытке самоубийства, когда ее вынул из петли («воскресил» из мертвых) некий старец-ссылный. «Я <...> побежала вешаться в саду за оврагом <...> как сквозь сон вижу: стоит старик, высокий-высокий, седой, весь в белом. <...> Отчего он мне показался таким огромным? <...> Почему он мне каким-то королем из древней саги показался? Даже как будто из груди его какие-то лучи шли»⁶⁹.

Знакомство с Талей – это начальный этап метафизического странствования героини романа. Изменяясь сама, Накатова становится как бы катализатором раскрытия духовных сущностей окружающих, которые либо оказываются духовно мертвы, как Лопатов, либо, в свою очередь, начинают свой путь к воскрешению.

Такой предстает судьба родственника Накатовой – петербургского прожигателя жизни Жоржа. При посещении неаполитанского аквариума он задумывается о том, что жизнь человека должна иметь высший смысл, тогда как его бессмысленное существование можно уподобить жизни моллюсков. И тогда он слышит голос, призывающий его не забыть эту мысль и на мгновение видит седую даму со светлым взором. Второй раз он встречается ее на похоронах матери по ту сторону гроба, и, наконец, в третий раз, на премьеры модной оперетки он взывает к Всевышнему о жажде какой-то иной жизни, и в этот момент вновь встречается ту же даму. Это – некая Ксения Нестеровна Райнер, приехавшая в Россию из Парижа, куда она должна скоро вновь вернуться к своим «друзьям».

⁶⁸ Там же. С. 223.

⁶⁹ Там же. С. 294.

В аллегорической системе тайнописи романа российская подданная Ксения Райнер – одна из «великих посвященных», парижский эмиссар, приехавший в Россию пробудить тех, кто готов стать на путь движения к храму. Именно она способствует разрыву Жоржа с бездуховным петербургским окружением и его отъезду в Париж к «брату», к «друзьям». В письме к оставшейся в Петербурге родственнице Жорж приглашает ее к себе такими словами: «Приезжайте и вы, тетя. Я чувствую, я знаю, что и вы “наша”. Вы не удивляйтесь этому слову, потому что я уверен, вы поймете, что оно значит. <...> Целую <...> Ваш Жорж. Нет, не Жорж, а Юра! Не хочу быть больше Жоржем»⁷⁰.

В системе художественной символики романа Нагродской слова «братья», «друзья», «храм» обретают отчетливую связь с масонской символикой. Отъезд героя в Париж воспринимается как метафора смерти и воскрешения, что подтверждается и сменой имени.

Разрыв Накатовой с обманувшим женихом, незаконная беременность ставят героиню на грань смерти. И здесь ее воскрешают Таля и Райнер. Курсистка знакомит Накатову с таинственной пожилой дамой, которая, как пишет автор, «была очень оживлена и рассказывала о своих друзьях и своей жизни за границей <...> “Ксения Несторовна, – дрожащим голосом произнесла Екатерина Антоновна, – я вас прошу, возьмите меня с собой”. – “C’est décidé”, – ласково ответила Райнер»⁷¹.

Финал романа – сцена отъезда Накатовой и Райнер в Париж. Это, одновременно, и момент воскрешения героини, и ее перехода на новую ступень эзотерического познания. Когда поезд отъезжает, Накатова оглядывается и видит следующую картину: «Яркое солнце хлынуло потоком на тающий снег <...> Вот и фигурка Тали, махающая платком. Она вся залита этим весенним солнцем, и яркий луч ударяет во что-то, должно в пуговицу на ее жакете, и кажется Накатовой, будто светлый луч горит на груди девушки... И не на платформе стоит она, а на широких ступенях, а за ней, уходя в голубое небо, сверкая мраморным портиком, высится стройная белая колоннада»⁷².

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что роман Нагродской был написан в атмосфере интенсивного развития и распространения в России масонских учений и, в частности, экспансии тех их направлений, которые шли из Франции. Изучение конкретных контактов Нагродской с масонскими организациями в период ее жизни в России – это задача историка. Но историко-литературный анализ романа «Белая колоннада» показал, что контакты эти были настолько сильны, что активно влияли и на художественное творчество писательницы. Ее роман можно рассматривать как своего рода агитационную масонскую

⁷⁰ Там же. С. 308.

⁷¹ Там же. С. 309.

⁷² Там же. С. 312.

литературу, где нарочито банальный, рассчитанный на «профанов» сюжет был своего рода камуфляжем для жесткой аллегорической структуры текста для «посвященных». В этом плане Нагородская не только продолжала, но и развивала дальше линию оккультного романа, представленного в русской беллетристике произведениями В. Крыжановской [Рочестер].

1910-е годы стали для русского общества временем освоения идей психоанализа З. Фрейда. И, как ни парадоксально, именно в беллетристике эти идеи послужили основой для создания новых принципов художественного психологизма. Популяризаторская функция беллетристики обуславливала то, что, пользуясь выражением Достоевского, идея оказывалась выброшенной на улицу — т. е. упрощенной и даже доведенной до абсурда, но тем не менее входящей в массовое сознание. Остановимся на примерах из творчества А. Каменского и Е. Нагородской.

В рассказе Е. Нагородской «Клуб настоящих» повествование построено на переплетении речи автора-рассказчика и главного героя — благополучного петербургского чиновника, светского молодого человека Маркела Ильича, прозванного домашними Марселем. В свою очередь речь героя представляет собой как бы диалог его сознания и подсознания. В начале рассказа глухие жалобы героя на жену, мать, службу являются лишь слабыми всплесками некоего «ущемленного аффекта», который мучительно ищет выхода из области бессознательного. Случайно Марсель находит тетрадку с приглашением на некое собрание. Последнее выражено в нескольких, с логической точки зрения, бессмысленных фразах, которые герой разгадывает только интуитивно: «Эта бессмыслица, конечно, не имела никакого значения, тетрабочка очевидно принадлежала ребенку <...>. Почему же Маркел Ильич всю эту неделю все думает об этом, и все его мысли сосредоточены на этих, очевидно, бессмысленных фразах. Не то, чтобы он искал в них смысла, связи, — нет, наоборот, — он принял все в буквальном смысле и старался приурочить окружающее к этим фразам — и тогда получались неожиданные результаты»⁷³.

Подсознание указывает герою путь к разгадке тайны тетради. В условленном месте он встречает неведомую ему даму, которая приводит его в некое полное странных людей общество, которое имеет название «Клуб настоящих». Узнав, что Марсель попал к ним случайно, члены клуба расспрашивают молодого человека, как он разгадал тайнопись тетрадки и попал к ним. На этот вопрос Марсель отвечает: «Я не знаю... я право не могу вам объяснить, просто — «придал значение» и пошел.» — «А не припомните ли вы мысли,

⁷³ Нагородская Е. Сны. Пб., [1916]. С. 153.

с которыми вы шли?» — «Я ... я думал об неустройстве мостовых в Петрограде <...>» — «А — а. Хорошо, а потом?» — «Да, право, больше ничего: что-то о мосте Александра III в Париже»»⁷⁴.

Диалог фиксирует закрепление в сознании героя псевдослучайных образов, по сути являющихся эмблематическими знаками психологического дискомфорта личности. Участвующая в разговоре дама советует Марселю ровно через неделю или шесть в сумасшедший дом, или прийти к ним снова. Таким образом фиксируется невротическое состояние героя. Ему предлагается или подчиниться естественному ходу вещей (сесть в сумасшедший дом), или прибегнуть к какому-то необычному способу преодоления душевной болезни.

До следующего посещения клуба Марсель пытается прибегнуть к помощи классической медицины, воспринимая все, что с ним случилось, как болезненный бред. Собирается консилиум врачей, его спрашивают, что же с ним случилось: ««Видите ли, господа, <...> у меня во время потери памяти был бред или может быть и не бред...» — «А, это очень важно!» — вскричал один из докторов. «Когда я взошел на Пантелеймоновский мост...» — «Название моста совершенно не играет никакой роли», — оборвал его профессор Книпанский. «Да, да, когда я вошел на мост... я совершенно ничего не думал...» — «Зачем же вам сообщать нам, что вы ничего не думали <...> Содержание вашего бреда не играет никакой роли — довольно того, что у вас был бред»»⁷⁵.

Таким образом, беседа Марселя с дамой из «Клуба настоящих» противопоставлена его беседе с врачами. Это как бы два подхода к исследованию состояния невротика: традиционный, когда значение придается тому, что имеет смысл с точки зрения нормального человека, и, фактически, подход психоаналитика, расшифровывающего потаенную значимость обмолвок, фантазий, бреда и снов больного. Главный консультант — профессор Книпанский — в присутствии коллег советует Марселю вести здоровый образ жизни, но, оставшись наедине, совершенно меняет тон, переходя на просторечие и лакейски лебезя, советует ему идти на Пантелеймоновский мост — т. е. двигаться к «Клубу настоящих».

Оказавшись в клубе, Марсель снова рассказывает окружающим о том, что его волнует. Незаметно в речи героя сознание вытесняется подсознанием. Расщепление личности Марселя на две ипостаси, одна из которых отодвинута в область бессознательного, оборачивается неожиданным реваншем этой второй, подавленной личности: ««Я, я очень несчастен... Мама строгая, мама велела мне жениться... и... и

⁷⁴ Там же. С. 166—167.

⁷⁵ Там же. С. 178—179.

служить. Она велит мне сделаться действительным статским, а я люблю играть в теннис. Я бы хотел играть в казаки и разбойники, но... но... это нельзя <...> Боже мой, отчего в теннис можно играть, а просто в мячик нельзя! <...> Мама уже сердится за теннис. Боже мой, как мне хотелось купить у Дойникова железную дорогу! Там и семафорчик, и станция, и заводной паровоз и... и... нельзя! <...>” — “Полно, полно, дитя мое, — ласково заговорила женщина, глядя его по голове, — не надо плакать. Купи себе железную дорогу и какие хочешь игрушки, принеси сюда и играй. <...> Ты получишь матросский костюмчик”. — “Нет, я хочу гимназическую блузу!” — сказал Маркел Ильич, вытирая слезы»⁷⁶.

«Клуб настоящих» оказывается своеобразным коллективным психоаналитическим центром, где у каждого «товарищи по несчастью» выясняют то, что таится в глубинах его психики и дают возможность материализации «ущемленного аффекта». Так кафешантанная певичка начинает играть роль добродетельной и занудной классной дамы; богач-банкир жалуется на свою бедность; уважаемый и обеспеченный профессор Книпанский, который был сыном швейцара, как бы возвращается в свое мизерабельное детство; продавщица из магазина предстает в облике миллионерши.

В финале оказывается, что весь этот клуб — и прихоть, и доброе дело разочаровавшейся красавицы-богачки, дающей его членам иллюзорное ощущение полноты жизни их подлинного внутреннего «Я». Рассказ заканчивается вопросом: если «Клуб настоящих» — это просто иллюзия, то каков же реальный выход из той жизни, которая для человека является «ненастоящей», т. е. основана на тотальном психологическом подавлении его личности.

На аналогичной игре сознательного и бессознательного начал психики построен и уже рассматривавшийся роман А. Каменского «Люди». Его главный герой — бывший студент Виноградов — проводит что-то вроде психологических экспериментов над людьми, заставляя их бессознательные желания вырваться на поверхность. Влюбившись в девушку, он раскрывает ей саму себя, заставив испытать таящиеся в ее натуре чувственные страсти (он толкает ее к любовной связи с ценителем наслаждений Нарановичем), но и увидеть границы запретов, которые ставит перед героиней разум (он не препятствует ее рациональному браку с «идейным» писателем Березой).

На званном вечере Виноградов показывает Надежде едва заметные проявления подавленных инстинктов окружающих их людей: «Приват-доцент, красавец-мужчина с поэтически бледным лицом, вьющимися волосами и золотистой бородкой, спрятал в задний карман сюртука большую грушу, чтобы съесть ее <...> по возвращении домой. Студент в

⁷⁶ Там же. С. 184.

безукоризненном мундире <...> незаметно вытер руки о дорогую шелковую портьеру. “Зачем вы мне показываете все это? — идя с Виноградовым под руку, говорила Надежда, — зачем вы тратите наблюдательность на такие маловажные вещи? Разве этим исчерпывается человеческая душа?” — “Представьте себе, что очень часто, и притом до самого дна”»⁷⁷.

Если в рассказе Нагородской гармонизация сознания и подсознания была невозможной без привлечения утопического «Клуба настоящих», то в романе Каменского «Люди» стихийный психоаналитик Виноградов достигал успеха, излечив от дисгармонии душу любимой девушки.

Фрейдистская теория природы сновидений обусловила художественную структуру рассказов «Сны» Нагородской и «Жизнь во сне» Каменского.

В рассказе «Сны» повествуется о двух главных героях — тридцатилетней вдове Серафиме и семнадцатилетнем юноше Ване. Оба они живут в большой купеческой семье, и неожиданно их объединяет страсть рассказывать друг другу свои сны. Рассказ ведется от лица Серафимы, которая бессознательно фиксирует внешнее течение событий и буквально передает зачастую бессмысленное содержание снов. Однако само это изложение отражает не только явное содержание, но и то, что Фрейд называл «скрытыми мыслями сновидения»⁷⁸. Для Вани и Серафимы сновидения выполняют компенсаторную роль исполнения тайного желания: «“Я, тетушка, — говорит он Серафиме, — не простые сны вижу <...> и будто не сны, а вправду. Так вправду, что то, что я вот в конторе сижу, и Тимофеич бранится, и вы, и дяденька — это все сон, а во сне правда... Вы смеетесь, тетенька?” — “Нет, не смеюсь — это и со мной бывает...”»⁷⁹.

Постепенно Серафима и Ваня начинают обдумывать и обговаривать продолжения своих снов и постепенно на их основе выстраивается внутренний сюжет рассказа о взаимной любви героев, неприемлемой окружающими и не осознаваемой ими самими. Роман, разворачивающийся между персонажами сновидений, предстает как выражение либидо героев рассказа. То скрытое влечение, которое они испытывают друг к другу, отвергается сознанием Серафимы как повествовательницы, но фиксируется неуклонным развитием рассказываемых ею событий сновидений.

В «Снах» дано совмещение двух реальностей: яви и сновидения. При этом события первой в преображенном виде регистрируются второй. Сознание Серафимы все глубже уходит в мир реальности сновидения, она совершает ошибки в повседневной жизни,

⁷⁷ Каменский А. Люди. С. 42.

⁷⁸ Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ. М.; Пб., 1923. Вып. 1. С. 124.

⁷⁹ Нагородская Е. Сны. С. 12.

например, теряет ключи от кладовых, и сон фиксирует возникающее состояние дискомфорта: «Ученый-то был прежде революционер, и остались у него бумаги, которые могли много его друзей погубить <...> Ученый ночью пошел эти бумаги обратно украсть. Сыщик проснулся, и ученый его убил»⁸⁰.

Кульминация сюжета рассказа — объяснение героев, являющееся подтекстом их сна о вдове, встретившей на кладбище красавца-художника. Однако явь не допускает существования параллельной ей реальности: в невинных встречах героев окружающие видят банальный адюльтер. Чтобы полностью остаться во второй, истинной для него реальности сна, Ваня принимает наркотик и умирает. В финале героиня решает последовать его примеру: «Все на меня косятся... шепчутся... Вот глупые-то, причем тут я? Да смотрите, смотрите: мне все равно... Вот отстою панихиду и прощайте... Снитесь себе сами»⁸¹.

Рассказ А. Каменского «Жизнь во сне», повествующий о чиновнике Романовском, бессюжетен, если подразумевать под сюжетом последовательность событий жизни героя. Начало рассказа — небольшая прерамбула от автора, характеризующая Романовского, который «жил, по общему мнению, скучно: нанимал небольшую комнату, не ходил по театрам, не пил, не курил, не играл в карты, не приглашал к себе женщин»⁸². После этой экспозиции следует неожиданный монолог героя, составляющий содержание рассказа. Это повествование от первого лица является изложением жизни Романовского в его подсознании. Фактически это комплекс рассказываемых им снов, являющихся конгломератом остросюжетных историй. Все они несут компенсаторный характер, восполняя реальную жизненную несостоятельность героя, и в первую очередь, отмеченное в экспозиции рассказа отсутствие половой жизни.

В алогичных, на первый взгляд, сновидениях Романовского прослеживается одна закономерность — в различных вариантах появляется образ прекрасной женщины, которая достается герою сновидения. Это называется сновидениями, подвергнутыми цензуре, они скрывают то главное, что раскрывается в повторяющемся сне Романовского о давно потерянной жене: «Недели через две после того, как мы расстались с нею, ну, скажем, здесь, в Петербурге, я вижу, что я проснулся где-то на юге, в доме моих родителей, проснулся в странной тоске <...>. Открываю глаза и вижу Маню в ее любимом открытом голубеньком платье, в котором она ходила еще невестой. <...> она <...> выводит меня за руку через все комнаты в сад. <...> Потом я вижу, что мы уже не в саду, а на берегу какой-то реки, и Маня быстро идет впереди меня к крутому дугообразному мосту, странному скользкому мосту

⁸⁰ Там же. С. 28.

⁸¹ Там же. С. 41.

⁸² *Каменский А.* Зверинец: Новые рассказы. СПб., [1913]. С. 135.

без перил. Я догоняю ее, чтобы помочь ей перейти, но Маня уже на середине моста <...> и кричит: “Да помоги же”. В безумном ужасе я чувствую, что я никак и ни за что не успею помочь. И в ту же минуту она соскальзывает в самую середину реки и на моих глазах погружается в прозрачную воду, так странно, совсем стоя, в голубеньком платице, с голубеньким зонтиком над головой, и медленно тонет, опускается ниже и кивает мне из-под зонтика головой <...> И вот пятнадцать лет мы встречаемся и расстаемся с моей Маней, и все крепнет и светлеет наша любовь»⁸³.

По мере движения внутреннего — сновидческого — сюжета идет нарастание эротической символизации образов снов. Финал рассказа — сон о комнате, идентичной реальному жилищу героя-повествователя, но с незнакомой закрытой дверью: «В комнате никого, кровать постлана аккуратно, на столике около нее колода карт и большие стариковские никелированные очки <...> Что же дальше, спросите вы? В том-то и ужас, что ничего. <...> Выхода из комнаты другого нет <...> Как же это, думаю я, раньше никто этой двери не видал? <...> я <...> ждал, кто же, наконец, появится в ней. У меня предчувствие, что когда-нибудь я увижу...»⁸⁴.

В этом сновидении даны классические символы женского начала, приводимые в качестве примера в работах Фрейда, — комната, запертая дверь, задержанное и никогда не реализуемое желание увидеть ее открытой.

Финал рассказа «Жизнь во сне» по своему внутреннему смыслу аналогичен концовке рассказа «Сны». Герой завершает разговор так: «...извиняюсь, я великолепно сегодня выпался и на службе и здесь с вами, пора ехать домой... жить»⁸⁵.

Таким образом, в обоих рассказах психоаналитическое истолкование сновидений, воспроизводимое в виде фиксации автором их определенной последовательности, не только позволяло по-новому подойти к изображению психологии персонажа, но, фактически, являлось основой для новых, не фабульных принципов сюжетообразования.

Проанализированные произведения Е. Нагродской и А. Каменского, в которых использование данных входившей в моду теории психоанализа оказало влияние на изменения поэтики, являются лишь отдельными частными проявлениями нововведений, осуществленных беллетристикой 1910-х годов. Осуждаемые критикой тех лет остросюжетность, использование образа-маски нельзя всецело сводить к «скатыванию» от «благородного» идейного реализма в низины бульварщины.

⁸³ Там же. С. 142—143.

⁸⁴ Там же. С. 145—146.

⁸⁵ Там же. С. 146.

Расцвет русской беллетристики пришелся на 1900—1910-е гг. Именно в это время она стала предметом не только чтения, но и широкого общественного обсуждения. Споры по поводу нашумевших произведений происходили как в читательской среде, так и на страницах разнообразных, даже сугубо элитарных критических изданий.

Эстетика беллетристических произведений была основана на декларируемом и реализуемом принципе, утверждающем Красоту как всемогущую силу, которая тотально торжествует и царствует в вымышленном художественном пространстве. При этом из идейно-эстетического наследия массовой (бульварной) литературы беллетристикой было унаследовано представление о тождестве Красоты и Добра, имевшее мифологические корни. При этом Зло могло на время выступить под личиной Красоты, но его маска должна была быть обязательно сорвана. Добро же было красиво всегда.

Этот внутренний закон эстетической маркированности персонажей достаточно жестко проведен в романе «Санин». Так, взаимосвязь «этики и эстетики» напрямую подчеркнута в словесных портретах арцыбашевских героев: «Лида была меньше ростом и гораздо *красивее* брата. В ней поражали тонкое и обаятельное сплетение изящной нежности и ловкой силы, страстно горделивое выражение затемненных глаз и мягкий звучный голос, которым она гордилась и играла. Она медленно, слегка волнуясь на ходу всем телом, как молодая *красивая* кобыла, спустилась с крыльца, ловко и уверенно подбирая свое длинное серое платье. Пугаясь шпорами и преувеличенно ими позванивая, за нею шли два молодых, *красивых* офицера»⁸⁶.

Роман «Ключи счастья» не только населен красавцами и красавицами, но и наполнен описаниями прекрасных произведений искусства, чудесных заморских земель. Аналогичная *апология Красоты* присутствует и в произведениях Каменского, Нагродской и Анны Мар. Характерный пример — частотность употребления одного и того же эпитета в рассуждениях героини «Гнева Диониса»: «Я люблю цветы, как *красивых* женщин. Я очень люблю *красивых* женщин, даже более, чем цветы. Как много у нас *красивых* женщин, гораздо больше, чем где-либо, а *красивых* мужчин я почти у нас не видала <...> Я посматриваю кругом на суетящихся людей; ищу в толпе *красивых* и типичных лиц, люблюсь на лучи заходящего солнца, *красиво* падающего на массу стаканов на буфетной стойке. Какой *красивый* блик на лиловой блузке этой дамы у окна...»⁸⁷.

Эстетизация действительности способствовала «возвышению» потребителей подобной литературы, как правило, не принадлежащих к элитарным слоям, реально соприкасавшимся с произведениями искусства. Выполняя запросы «своего» читателя,

⁸⁶ Арцыбашев М. П. Санин. С. 13. Курсив мой. — А. Г.

⁸⁷ Нагродская Е. Гнев Диониса. С. 23—24. Курсив мой — А. Г.

беллетристика отчасти сознательно мимикрировала под литературу одного из модных направлений «высокого» искусства, отчасти совпадала с ним. В отношении к современникам – собратьям по перу – беллетристы были подражателями не реалистов, а символистов. На рубеже 1900–1910-х гг. читатели уже были «подготовлены» к широкомасштабному восприятию символистских идей и эстетических приемов, адаптированных популярной прозой.

Беллетристика начала XX в. была одной из составляющих популярного стиля эпохи — модерна, одним из постулатов которого был панэстетизм. Как отмечал Г. Ю. Стернин, модерн с самого начала «осознавал себя неким средоточием важных историко-культурных, социологических и духовных проблем эпохи, <...> пытался показать себя монопольным представителем художественного прогресса. В этих притязаниях “нового стиля” было немало спекулятивного, содержащего в себе заметную долю творческой беспринципности. Ориентация на массового потребителя искусства порой вела на деле к оживлению консервативных, отживающих живописных концепций, например, позднего академизма, безотказно “работавшего” в течение нескольких десятилетий до этого на вкусы мещанского обывателя»⁸⁸.

Если спроецировать эстетику модерна на область литературы, становится понятной закономерность обращения беллетристов к художественным средствам позднего романтизма. На рубеже веков они активно использовались бульварной литературой. Беллетристы учитывали психологию «своего» читателя, увлекавшегося чтением романтической и поздне-романтической литературы (произведениями Дюма, Сю, Понсон дю Террайля и т. п. авторов) и в то же время чаявшего соприкоснуться с модными художественными идеями.

Эстетическая задача беллетристики декларативно изложена в «Ключах счастья», где был точно определен адресат произведения и перечислены его литературные запросы: «Тот, кто думает, будто рабочему и мастерице не нужна красота, тот совершенно не знает этого читателя. Дайте ему очерки из фабричной жизни, которая ему осточертела <...> быт деревень, который он знает лучше того, кто пишет <...> дайте ему погром или очерк каторги, — ничего этого он читать не станет. Ему скучно... И он прекрасно знает правило, что все роды искусства имеют право на существование, кроме скучного. Он романтик, этот читатель <...> И от литературы они ждут не фотографии, не правды... нашей маленькой, грязенькой, будничной правды... а как бы это сказать — прорыва в вечность... Литература

⁸⁸ Стернин Г. Ю. Русская художественная культура второй половины XIX — начала XX века. М., 1984. С. 170.

должна быть не отражением жизни, а ее дополнением»⁸⁹.

Таким образом, беллетристы создавали произведения, выполняющие компенсаторную роль. Они вводили читателя в те сферы действительности, которые в реальности были ему недоступны, а также увлекали в миры, созданные щедрым воображением романиста.

С эстетизирующей функцией была тесно связана и функция популяризаторская. Еще с XIX в. беллетристика являлась своеобразным «проводником» всевозможных идей, передаваемых читателю в образной оболочке. Обязательными элементами произведений были многочисленные «идейные» разговоры, в которых сообщались сведения из разных областей политики, науки и искусства.

К. Чуковский точно определил роман «Ключи счастья» как «сочетание Рокамболя и Дарвина, Пинкертон и Маркса <...> А чтобы Пинкертон вышел еще интеллигентнее, в самом современном стиле (как в лучших домах: декаданс! пожалуйста!)»⁹⁰.

Обращение беллетристов к известным именам и теориям из различных областей человеческой культуры можно более точно определить как «популяризация популярного». Авторы ставших бестселлерами произведений не ставили перед собой чисто культуртрегерской задачи. Они обращались к философским теориям, политическим учениям, эстетическим идеям, которые уже были знакомы и «узнаваемы» читателями. К примеру, имя Ф. Ницше и книга «Так говорил Заратустра» были довольно широко известны, но берущему в руки новый роман хотелось узнать побольше о теориях немецкого философа, материализованных в увлекательном сюжете художественного произведения.

Типичным в произведениях беллетристики было известное по педагогическим методикам сочетание «повторения пройденного» (сведений, уже знакомых читателю хотя бы со школьной скамьи) и «нового материала» (популярного изложения злободневных проблем, модных теорий — всего того, что «сию минуту» обсуждалось в кругах политической, духовной или художественной элиты). Эту черту беллетристики подметила современная критика. Так, например, Я. Фридман писал о романе «Санин»: «В этом, столь бедном событиями романе, мы то и дело встречаем собравшимися всех действующих лиц, точнее: говорящих лиц, горячо, с пеной у рта, спорящих о Боге, вере, христианстве, совести, идеализме, литературе, любви, рабочих, революции и т. п.»⁹¹. Аналогичную картину критики видели и в произведениях популярных писательниц. Характеризуя творчество

⁸⁹ *Вербицкая А.* Ключи счастья. М., 1913. Кн. 6. С. 198.

⁹⁰ *Чуковский К.* Вербицкая // Чуковский К. Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 17.

⁹¹ *Фридман Я.* Характеристика «героя» нашего времени Санина. Брест-Литовск, 1908. С. 10—11.

Вербицкой, И. Хейф отмечал, что «на всех ее произведениях <...> как будто застыла пестрая печать всего, что угодно. И, впрямь, чего тут нет? И о купечестве, и о третьем сословии, и о мещанстве, и о модернизме, и о минувшей войне, и о революции, и о животной любви, и о чистой любви. Господи! Сколько тем, сколько вопросов, а между тем ни одного художественно-живого воплощения, ни одного яркого волнующего образа»⁹². Критики ругали модные произведения за всеядность и поверхностность, однако присущая им «ознакомительно-обучающая» функция способствовала их широкой популярности.

Беллетристику начала XX в. читали все — и те, кто безоговорочно восхищался ее героями, и те, кто решительно отказывал ей в праве именоваться литературой, включая в это понятие только произведения высокого художественного достоинства. Ряд критиков того времени, осознавая сложность, а подчас и полную неприменимость к подобным творениям привычных критериев эстетического и идейного анализа, пытались найти другие критерии оценки беллетристики. Среди них основным был социологический, исходящий из исследования потребителя такой литературы. Рецензенты искали ответы на вопросы: кто он, этот читатель; почему в данный момент он увлекся произведениями беллетристики; какое место занимают они в литературном процессе?

Большинство критиков связывали популярность творений Арцыбашева, Вербицкой, Каменского, Наградской, Анны Мар и других авторов с психологическим состоянием низовых социокультурных групп и слоев русского общества в период общественных потрясений, переживаемых Россией в начале XX в. Причина успеха произведений такого рода заключалась в точном угадывании авторами «больных вопросов», волновавших их читателей.

Произведения Арцыбашева и Каменского были адресованы, в первую очередь, молодому поколению — студентам, курсисткам, гимназистам. И неслучайно, что в их произведениях значительное место было отведено, как говорили тогда, «половому вопросу», или «проблеме пола». Последняя, естественно, существовала всегда, но приобрела особую остроту в момент разочарования молодежи в социальных способах переустройства окружающей действительности. «Этот вопрос («половой вопрос» — *А.Г.*), — отмечал критик А. П. Омельченко, — и есть зазвеневшая в читательской душе струна. Породил его не Арцыбашев своим романом, но этот роман появился в тот момент русской жизни, когда демократическая молодежь, вынужденная ходом вещей отказаться от широких политических выступлений и вместе с тем не имеющая возможности коллективным путем дебатировать политические вопросы, вплотную подошла к вопросу о

⁹² Хейф И. Вербицкая // Литературный сборник. Двинск, 1913. Кн. 2. С. 21.

личном счастье»⁹³. Несмотря на голословные обвинения в порнографии, произведения Арцыбашева и Каменского были написаны с учетом возрастных этических запросов молодого читателя. Это было также подмечено наиболее «проницательными» критиками. Так, А. Ачкасов писал, что «в сравнении со многими-многими творениями современной анакреонтической музы “Санин” кажется невиннейшей и благоднейшей повестью для детей старшего возраста»⁹⁴.

Произведения беллетристов приносили молодежному читателю желанное забвение, давали ему возможность путем самоотжествления с всемогущим героем погрузиться в иллюзию — ощутить в себе силу и возможность решить волнующие его «больные проблемы» времени.

Свою специфику имела читательская аудитория женских бестселлеров и, в первую очередь, прогремевших романов А. Вербицкой. Писательница хорошо знавала, на какого читателя она работает. В статье «Писатель, критик и читатель» Вербицкая писала: «Я открыла отчеты библиотек и узнала следующее: меня читает учащаяся молодежь больше всего <...> Затем идут рабочие <...> Затем читают меня ремесленники, швеи, мастерицы, приказчики. Это — в бесплатных читальнях. Публика пестрая, всех возрастов и классов, но, в общем, демократический элемент преобладает»⁹⁵.

Почти единственными критиками, положительно отзывавшимися о произведениях Вербицкой, были марксисты М. Ольминский и А. Луначарский, которые применили к оценке ее книг социологический критерий. Критики констатировали их популярность в молодежной и в рабочей среде и определили «безвредность» и даже «некоторую полезность» чтения этой аудиторией такого рода литературы. «С какой чуткостью ко всеми захаянной Вербицкой с ее романом “Ключи счастья”, — писал Луначарский в статье «Ольминский как литературный критик», — Ольминский сумел, нисколько не обольщаясь слащавыми и фальшивыми формами этого романа, прозреть некоторый подъем, некоторое стремление к чему-то более светлому и высокому, чем окружающая действительность, и в повальном увлечении молодежи этим слабым, сейчас уже забытым романом, Ольминский увидел симптом роста новых плодотворных течений в этой среде. Могу сказать не без гордости, что я был, пожалуй, единственным человеком, который, ничего не зная об этой статье Ольминского, в большом докладе „«Ключи счастья» как знамение времени” — в Женеве уже указывал на то, какая именно сторона в творчестве Вербицкой оказалась пленительной для нашей полуобразованной демократии больших городов, а вместе с тем

⁹³ *Омельченко А.П.* Свободная любовь и семья. СПб., 1908. С. 13.

⁹⁴ *Ачкасов А.* Арцыбашевский Санин и около полового вопроса. М., [1908]. С. 17.

⁹⁵ Утро России. 1910. № 66, 6 февр.

для студенческой молодежи, для провинциальных читателей и особенно читательниц <...> жажда красивой, более прямой, более героической жизни заставила потянуться к ней читателя»⁹⁶.

Обобщая причины популярности женской беллетристики начала XX в., можно заключить, что в ней читатель и в первую очередь читательница находили массу полезных сведений, популярное изложение разного рода модных теорий и концепций, текущих исторических событий. Но главным было то, что все это составляло яркий фон для развертывания мелодраматического сюжета, основанного на «мифе о Золушке», который вызывал у читательниц эффект сопереживания и отождествления себя с героиней. Причина популярности беллетристок начала века заключалась также в притягательности для читательской аудитории их творческой личности, тип которой, говоря об Анне Мар, так охарактеризовал А. Г. Горнфельд: «Всегда на грани порнографии, она никогда не переступала этой грани, потому, что в ее эротике не было литературщины, не было тенденции, не было дурных намерений: это была правда и поэзия ее жизни, и она давала ее так, как пережила ее»⁹⁷.

Таким образом, громкий успех беллетристических произведений в России начала XX в. был обусловлен точным ответом их авторов на духовные и эстетические запросы определенных социокультурных слоев читательской аудитории.

В XIX в. в русской литературе одной из популярных жанровых форм был тенденциозный роман, бывший достоянием как «высокой» литературы, так и беллетристики. В начале XX в. авторы продолжали широко использовать наследие Тургенева и Достоевского, насыщая свои произведения прямыми текстовыми цитатами и варьируя образ героя, мотив и целый сюжет. Традиционный для «высокой» русской литературы романский тип в беллетристике начала XX в. был обогащен активным введением в него элементов жанровых форм авантюрного романа в его разных подвидах (криминального, сенсационного и т. д.). Другой излюбленной формой беллетристики был рассказ, анализ которого свидетельствует об одновременном развитии остросюжетного типа этого жанра с введением условного героя-маски и типа, основанного на внефабульных принципах сюжетообразования.

Вместе с писателями «высокой» литературы беллетристы участвовали в «прощании» со сверхтипами русской словесности XIX в., при этом они актуализировали архаические типы героев, восходящих к старым и новым мифам.

В итоге можно сделать вывод о том, что беллетристика 1900–1910-х гг.

⁹⁶ Луначарский А. В. Собр. соч.: В 8 т. М., 1967. Т. 7. С. 470.

⁹⁷ Русское богатство. 1917. № 8/10. С. 320.

использовала, с одной стороны, мифы и штампы литературного бульвара, с другой стороны – отдельные идеи, сюжеты и художественные приемы «высокой» литературы для создания произведений, одновременно, и новых, и привычных читателю. При этом применение принципов построения сюжета, образности, символики, восходящих как к хрестоматийно известной классике, так и к бульварной литературе чаще всего носило характер литературной «игры», в которой автор и читатель подчас иронически дистанцировались от изображаемого. Одновременно, беллетристика активно аккумулировала новейшие политические, философские, научные и эстетические теории, включая их в адаптированном виде в идейную основу произведений, а иногда используя их выводы для обновления художественной структуры произведения.

В начале XX в. русская литература представляла собой сложную и многоуровневую художественную систему. Характерная для критики того времени, и частично продолжившаяся далее в литературоведческих исследованиях⁹⁸ тяга к биполярности – к признанию наличия лишь «высокой» (классической) и бульварной литератур – приводила и приводит ныне к деформации (как к преувеличению, так и к преуменьшению) эстетической оценки значительного ряда явлений⁹⁹. При сравнении и соотнесении произведений беллетристов «на равных» с классическими текстами русской литературы автор представал лишь эпигоном классиков, «перепевающим», повторяющим в ухудшенном виде созданные ими сюжеты, рисуя старым героям в новом антураже начала XX в. Наиболее легким, но по сути неверным, вариантом оценки творчества таких писателей было жесткое отнесение их наследия к бульварной литературе. Хотя надо отметить и то, что в критике начала XX в., а затем и в литературоведческих трудах 1920–1980-х гг. под давлением идеологических причин происходило сознательное «завышение» ценности творчества отдельных литераторов-беллетристов и включение их произведений в состав классического наследия. Разрешением подобной коллизии, искажающей реальное состояние вопроса, является утверждение и дальнейшее углубление *представления о*

⁹⁸ См., например: *Тяпков С. Н.* Русская «бульварная» литература начала XX века в критических отзывах и пародиях современников // *Творчество писателя и литературный процесс: Сб. трудов.* Иваново, 1993. С. 48–61; *Павлова О. А.* Роман М. П. Арцыбашева «Санин» как произведение массовой литературы // *Изменяющаяся Россия – изменяющаяся литература: Художественный опыт XX – начала XXI веков. Сб. науч. трудов.* Саратов, 2006. С. 76–81.

⁹⁹ В 4-м томе академической «Истории русской литературы» фактическое замалчивание проблемы многополярности литературы как художественной системы привело к методологической какофонии при анализе относящихся к разным стратам прозаических произведений 1880–1910-х гг. (см.: *История русской литературы: В 4 т. Л., 1983. Т. 4: Литература конца XIX – XX века (1881–1917) / Ред. К. Д. Муратова. С. 27–73; 233–232, 575–634).*

многосоставности литературы как художественной системы, в которой происходят сложные и не однонаправленные диффузные процессы. В начале XX в. между «высокой» (классической) и бульварной литературами существовал промежуточный страт – многоликая беллетристика, которая щедро черпала художественные средства и идейные концепции из обоих пластов.

Как справедливо отметила исследовательница Лора Энгельштейн, «в годы перед первой мировой войной высокое искусство и искусство бульвара находились не столько в оппозиции, сколько в диалогических отношениях»¹⁰⁰. Надо признать тот факт, что именно беллетристика была промежуточным звеном между «высокой» классикой и бульварным чтивом. Во многом благодаря ее «посредничеству» они могли взаимодействовать друг с другом. В дальнейшем отдельные художественные новации беллетристики начала XX в. оказали значительное влияние как на советскую, так и на эмигрантскую литературу 1920-х гг.

¹⁰⁰ *Engelstein Laura. The Keys to Happiness. Sex and the Search for Modernity in fin-de-si'ecle Russia. P. 418.*

**КАК ИЗОБРАЖАТЬ ЖИЗНЬ?
К ИСТОРИИ КОНЦЕПЦИЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ**

На рубеже XIX–XX вв. не замечать наличие литературы, обращенной к детям, казалось бы, было невозможно¹. Тем не менее, в литературно-критических журналах редко можно обнаружить статьи и обзоры, посвященные этой разновидности литературной продукции. Писатель и критик А. Круглов сетовал в 1892 г.: «...во мнении многих детские писатели какие-то изгои, как бы и не настоящие писатели. Всю детскую литературу и детских писателей большая пресса третирует свысока. Эта пресса чаще всего совсем не хочет и говорить о детских книгах и детских писателях. Она считает слишком мизерной эту область литературы и, посвящая целые статьи в несколько печатных листов о том, как питается ирландец в XVI веке, или отдавая эти листы под иностранный роман сомнительного качества, игнорирует всю ту литературу, на которой воспитывается юное поколение и которая служит умственной пищей “маленькому народу“»². Такой тип читательской публики, как дети, был интересен только издателям и педагогам, равно как и новый тип литератора был важен не столько для взрослого сообщества писателей, сколько для педагогов, живо интересовавшихся новыми агентами влияния на детей³. И те же педагоги стремились понять природу и (главным образом) назначение литературы для детей, они же писали ее историю, рассматривая детские книги «с педагогической, а не с литературной точки зрения»⁴.

В 1860–1880-е гг. в журналах, выходивших под эгидой различных ведомств системы образования⁵, освещались самые разные вопросы детского чтения и выработывались

¹ Историк русской детской литературы Н. В. Чехов в 1909 г. сообщает в своей обобщающей монографии: «В самом полном указателе русской детской литературы имеется 4337 номеров» (*Чехов Н. В. Детская литература*. М., 1909. С. 1).

² *Круглов А.* Литература маленького народа. (Критические беседы). IV. Судьи детского писателя // *Вестник воспитания*. 1892. № 7. С. 134.

³ Подробнее о становлении понятия «детский писатель» см.: *Маслинская С. Г.* Почему Д. Н. Мамин-Сибиряк стал главным детским писателем: (К проблеме становления канона русской детской литературы) // *Детские чтения*. 2019. № 1 (15). С. 9–25.

⁴ *Чехов Н. В.* *Детская литература*. С. 15–16.

⁵ «Журнал Министерства Народного Просвещения» (1834–1917) – орган Священного Синода (Учебного комитета) и Министерства народного просвещения (Ученого комитета); «Педагогический сборник» (1864–1918) – орган Военного министерства (Главного управления военно-учебных заведений); «Женское образование» (1876–1891) – орган

критерии понятия «детская литература»⁶. В 1890–1910-е гг. педагоги старались обобщить идеи, оформившиеся в предыдущие десятилетия⁷, а с другой стороны, стали появляться работы, авторы которых пробовали взглянуть на детскую литературу с эстетических, а не педагогических позиций, были сделаны первые попытки охарактеризовать развитие отечественной детской литературы исторически и применить к ней категории, выработанные по отношению к общей литературе (так называли педагоги литературу, адресованную взрослым). Труды первых теоретиков детской литературы интересны, в частности, как одно из направлений литературно-критических дискуссий модернизма о литературе как виде искусства. История осмысления русской детской литературы очевидным образом переплетается с историей осмысления русской литературы, адресованной взрослым, конструирования ее иерархии («изящная словесность», «беллетристика», «литература для народа» и пр.), национальных особенностей на фоне европейских литератур, стилевых этапов и т. п.

Основными площадками для обсуждения детской литературы и детского чтения были педагогические журналы. Некоторые из них начали выходить в разные годы XIX в.⁸, другие появились в 1890-е гг.⁹, и уже в 1907 г. вышел в свет последний из авторитетных дореволюционных педагогических журналов, изредка печатавший материалы о детском чтении – «Свободное воспитание». За исключением последнего журнала, придерживавшегося педоцентрических позиций¹⁰, основная масса педагогических периодических изданий базировалась на консервативном идейном фундаменте, для

Ведомства учреждений императрицы Марии (или IV отделения собственной Его императорского величества канцелярии).

⁶ О становлении понятия «детская литература» в педагогической критике этого периода см. работы О. А. Лучкиной: *Лучкина О. А.* 1) «О том, как вредно читать в детстве всякие книги без разбору...»: Отбор книг для детского чтения (1830–1850) // *Конструируя детское: Филология, история, антропология.* М.; СПб., 2011. С. 112–132; 2) *Силуэты руководителей детского чтения: священник, министр, генерал и другие* // *Детские чтения.* 2012. № 2. С. 115–136; 3) *Институты рекомендательной библиографии для детского чтения в дореволюционной России* // *Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина.* 2013. Т. 1. № 3. С. 22–34; 4) «Жгучие» вопросы воспитательной литературы: вклад Н. И. Познякова // *Историко-педагогический журнал.* 2016. № 4. С. 144–156 и др.

⁷ Подробнее см.: *Сергиенко И. А.* Концепции педагогической критики XIX века в истории изучения детской литературы // *Детские чтения.* 2015. № 2 (8). С. 76–94.

⁸ К ним можно отнести журналы «Учитель» (с 1861 г.), «Педагогический сборник» (с 1864 г.), «Детский сад» (с 1866 г., с 1877 г. имел название «Воспитание и обучение»), «Народная школа» (с 1869 г.), «Семья и школа» (с 1871 г.), «Педагогический листок» (с 1871 г.), «Педагогический музей» (с 1875 г.), «Женское образование» (с 1876 г.) и др.

⁹ «Вестник воспитания» (с 1890 г.), «Русская школа» (с 1890 г.), «Образование» (с 1892 г.), «На помощь матерям» (с 1894 г.) и др.

¹⁰ Среди авторов этого журнала – С. Т. Шацкий. И. И. Горбунов-Посадов, А. У. Зеленко, Н. В. Чехов, К. Н. Вентцель.

которого основным приоритетом было воспитательное назначение детской литературы и детского чтения¹¹. Осенью 1911 г. практически одновременно стали выходить два специализированных журнала, посвященных детской литературе – «Что и как читать детям» и «Новости детской литературы». Первый журнал издавался в Петербурге при участии Отдела детского чтения Комиссии по организации домашнего чтения Учебного отдела Московского общества распространения технических знаний, его главным редактором был Е. А. Елачич. Второй журнал выходил в Москве и возглавлял его А. И. Колмогоров. Журналы содержали статьи обзорного и проблемного характера и рецензии на новинки книгоиздания для детей. Никаких принципиальных отличий от уже выходивших материалов о детской литературе новые журналы не содержали, несмотря на то что в большинстве своем (за исключением Н. А. Саввина) авторы этих журналов были новичками в критике детской книги. В области рефлексии детского чтения педагогическая система ценностей и категориальный аппарат критики находились в жесткой сцепке: новые эстетические идеи практически не проникали за занавес воспитательной доктрины детской литературы. Остановимся на некоторых наиболее показательных дискуссиях, развивавшихся на рубеже XIX–XX вв.

В течение XIX в. в попытках систематизировать имеющийся литературный массив педагоги, с одной стороны, отделили образовательную книгу от детской литературы (впрочем, эта процедура не была прозрачной: беллетристические произведения естественно-научной, географической, исторической тематики сочетали и образовательные, и эстетические функции). С другой стороны, были даны жесткие оценки большинству произведений переводной беллетристики и выдвинуто требование создавать свою детскую литературу на титульном языке государства. И наконец регулярно дискутировался основной вопрос педагогической критики XIX в. – нужна ли специально детская литература (то есть произведения, создаваемые для детей намеренно) или достаточно хорошего качества взрослой литературы. Относительно последней была отдельная ветка рассуждений о допустимости адаптаций и переделок:

Являются переделки — возмутительное явление. Какой-нибудь Икс вдруг переделывает гр. Толстого! Плотник, каменщик исправляет работу скульптора. Произведение сокращенное — уже все-таки не то, что полное, сокращение не может

¹¹ Назовем лишь несколько статей, содержащих консервативные взгляды: *Тихеева Е.* Как читают дети и какой от этого происходит вред // Воспитание и обучение. 1897. № 10. С. 383–410; *Балталон В.* Литературные чтения детям // Русская школа. 1904. № 7/8. С. 240–259; *Бахтин Н.* Чтение с воспитательными целями // Педагогический сборник. 1906. № 3. С. 282–296, № 4. С. 307–332.

совсем не отзываться на качестве произведения¹².

Среди отечественных критиков наиболее популярной на рубеже XIX–XX вв. была концепция немецкого педагога Г. Вольгаста, восходящая к идеям Карла Кюнера (Kühner), директора «Musterschule» во Франкфурте-на-Майне, который в 1862 г. предложил разделять «детское чтение» (Jugendlektüre) и «детскую литературу» (Jugendliteratur)¹³. Суть концепции заключалась в следующем: литература, адресованная детям, должна быть высокого эстетического качества и по форме, и по содержанию, в то время как современная, специально для детей написанная литература не соответствует высоким стандартам, выдвигаемым Г. Вольгастом:

...число детских книг, из которых молодежь могла бы извлечь пользу для своего знания и характера, ничтожно мало по сравнению с несметным множеством изданий, в несообразной форме осуществляющих цели научения и облагораживания. Для всякого ясно, какой нелепостью было бы развитие майского жука излагать в форме драмы или химический процесс в форме лирического стихотворения. <...> Поэтическое искусство не может и не должно служить вспомогательным для науки и нравственности орудием. Мы унижим его, если заставим его служить чуждым ему самому целям¹⁴.

За год до немецкого издания книги педагог и архивариус Конференции при Императорской Академии наук Н. И. Позняков категорично утверждал: «Детских, специально детских авторов не нужно: нужны таланты – таланты и дадут детскую книгу наравне со взрослою»¹⁵. Спустя два года А. Круглов продолжал: «...дело не в “специальности” книги, а в таланте... Разумеется, влияние большого таланта сильнее, чем маленького. Но ведь Толстых немного и в литературе для взрослых»¹⁶. На неразрешимость и одновременно значимость этого вопроса еще через 10 лет указывал эксперт, укрывшийся под псевдонимом Н. Тичер: «Вопрос о том, требуется ли для детей литература, особо для них назначенная, имеет большое значение для педагогов-воспитателей и для родителей,

¹² Позняков Н. И. Детская книга, ее прошлое, настоящее и желательное будущее // Исторический вестник. 1895. № 10. С. 194.

¹³ Kümmerling-Meibauer B. Kinder- und Jugendliteratur: Eine Einführung. Darmstadt, 2012. S. 11.

¹⁴ Вольгаст Г. Проблемы детского чтения / Пер. с нем. К. Н. Д. и др. СПб., 1912. С. 19.

¹⁵ Позняков Н. И. Детская книга, ее прошлое, настоящее и желательное будущее // Исторический вестник. 1895. Октябрь. С. 183–197.

¹⁶ Круглов А. В. Литература маленького народа (Критические беседы). II. Нужна ли детская литература? // Вестник воспитания. 1892. № 5. С. 171. Спустя 12 лет Н. В. Чехов сочувственно перескажет позицию А. Круглова близко к исходному тексту (См.: Чехов Н. В. Детская литература. С. 8.)

наконец, для издателей»¹⁷. Так или иначе, эти позиции восходят к кругу проблем, обозначенных когда-то (в конце 1844 г.) Белинским, который ввел «жесткое разграничение между беллетристикой (“легкой литературой”) и “художественными творениями”»¹⁸. На основе этого разделения он резко критиковал нравоучительную беллетристику для детей, наблюдая в ней черты «рыночного ширпотреба, крайне низкопробного, конъюнктурно-утилитарного и рутинного, чьи недостатки становятся определяющими для всей детской литературы в целом, сообщая ей онтологическую дефектность»¹⁹. Отрицательное отношение Белинского к беллетристике как таковой сказалось и на отрицательном отношении к беллетристике для детей, эта генерализация, произведенная ведущим критиком эпохи, в отсутствие других авторитетов, надолго закрепила в педагогических оценках нравоучительной детской литературы середины XIX в., да и на рубеже XIX–XX вв. оставалась актуальной. Так, например, авторитетный издатель и критик Е. Елачич писал:

При современном оживлении педагогической мысли и усилении интереса и внимания к вопросам детского чтения вполне естественно возникает переоценка критериев, самих методов оценки детской книги, требований, к ней предъявляемых. Вспоминают воззрения старых авторов, сопоставляют с ними мнения авторов современных. И нередко оказывается, что многое «новое» на самом деле совсем не ново. Стоит сопоставить некоторые из основных воззрений немецкого новатора, «революционера», Вольгаста с мыслями Белинского, чтобы убедиться, что многие из «новых» идей Вольгаста были лет за 50 до него высказаны и полнее и лучше Белинским.²⁰

Е. Елачич с раздражением говорит о том, что следует различать рыночную (часто переводную) детскую литературу и хорошую собственно детскую литературу. В этом вопросе в 1910-е гг. у него найдется много сочувствующих сторонников. К тому моменту такое рассуждение было уже общим местом, переходящим на страницах педагогической периодики из статьи в статью. Конечно, встречались и те, кто ориентировался на высокохудожественную классику (Н. А. Саввин), но в большинстве своем эксперты сошлись на том, что «уже народилась новая книга, требующая к себе такого же уважения, как и всякое художественное произведение, потому что она – чистое искусство», как написал автор предисловия к русскому переводу Вольгаста, авторитетный педагог и

¹⁷ *Тичер Н.* Нужна ли специальная литература для детей: Из иностранной педагогической литературы // Народное образование. 1909. № 3. С. 293.

¹⁸ *Вдовин А. В.* Концепт «глава литературы» в русской критике 1830–1860-х годов. (Dissertationes philologiae slavicae Universitatis Tartuenssis. Vol. 26) Tartu, 2011. С. 77.

¹⁹ *Сергиенко И. А.* Концепции педагогической критики XIX века в истории изучения детской литературы // Детские чтения. 2015. № 2 (8). С. 79.

²⁰ *Елачич Е.* В защиту детской литературы // Что и как читать детям. 1912–1913. № 1. С. 4.

психиатр Л. Оршанский²¹. Таким образом, постепенно на место классических шедевров стали прочить творения собственно детских писателей. Белинский полагал, что «строгие произведения искусства» выходят из-под пера гениев, развитием которых невозможно руководить»²². Но педагоги собирались руководить писателями, безапелляционно оценивая писательский труд и произведения этого труда. Такой статус критики для рубежа XIX–XX вв. уже не был актуален в общем литературном процессе. Однако для педагогов эта позиция была органичной, писателей они воспринимали как тех, кого надо направлять в выборе тем и стилей. Вслед за столь уважаемым ими Белинским, который 60 лет назад «ранжируя и классифицируя авторские таланты, утверждал исключительную власть критики над литературой»²³, педагоги во второй половине XIX в. узурпировали эту власть и не планировали ею делиться.

Теоретические представления о детской литературе во второй половине XIX в., когда они, собственно, появились, развивались на утилитарной шкале «полезно/не полезно детям». Утилитарная просветительская эстетика Н. Г. Чернышевского была воспринята педагогами как доктрина, отлично применимая к детской литературе. Позитивизм Чернышевского и Д. И. Писарева, которые в своих рассуждениях о детской литературе абсолютизировали категорию «пользы», нашел сторонников среди педагогов именно потому, что эта категория имманентно присуща педагогике как общественной дисциплине, основной задачей которой является воспитание детей. Из статьи в статью кочевали рассуждения о воспитательном значении детской книги и соответственно о пользе, которую книга может принести воспитанию, или, напротив, о том, как она может ему помешать. В 1897 г. основоположница отечественной системы дошкольного воспитания детей Е. Тихеева, известная «своей непримиримой позицией по отношению ко всему “неполезному” в чтении ребенка»²⁴, заявляла:

...чтение должно служить развитию ума, чувства и эстетического понимания ребенка, должно способствовать расширению умственного и научного кругозора его, должно знакомить его с жизнью, должно соответствовать его развитию и индивидуальности; в нем должна быть система, оно требует руководства, проверки воспитателя; оно не должно быть праздной забавой, а должно служить

²¹ *Вольгаст Г.* Проблемы детского чтения. С. 5. Ср. аналогичные высказывания Н. В. Чехова: *Чехов Н. В.* Детская литература. С. 131.

²² *Сергиенко И. А.* Концепции педагогической критики XIX века в истории изучения детской литературы. С. 79.

²³ *Вдовин А. В.* Концепт «глава литературы» в русской критике 1830–1860-х годов. С. 52.

²⁴ *Сергиенко И. А.* Детские книги — «плохие» и «хорошие»: Дискуссии критиков 1890–1920-х гг. // *Детские чтения.* 2020. № 1 (17). С. 13–14.

единовременному и равномерному развитию всех сторон духа детей.²⁵

Обилие лексики долженствования показательно и характерно в целом для педагогического дискурса. Образовательные (умственный и научный кругозор) и воспитательные (развитие всех сторон духа) функции детского чтения всеми педагогами в этот период признаются основными. Развлекательная функция детской литературы получает негативную оценку в трудах авторитетных педагогов А. Круглова, Н. Чехова, В. Родникова и Н. Саввина. Все они, признавая пристрастие детей к «легкой беллетристике» Купера, Майн-Рида и Буссенара, отказывают такого рода литературе в праве быть включенной в круг детского чтения. Модернистские установки «позабавить» читателя подвергаются резкой критике.

Представители критикуемого лагеря пытаются донести до общественности свое понимание назначения детской литературы. А. Бенуа в 1908 г., характеризуя отечественную книжную продукцию для детей, ставит ее гораздо ниже западной беллетристики во главе с Купером и Ферри. Тенденциозность русской детской литературы оценивается им крайне негативно:

... по существу вся гражданственная, добродетельная, благородно гуманная тенденция русской детской книжки – не заслуживает того уважения, на которое она претендует. Я бы сказал даже, что эта тенденция – главный бич русской детской книжки. Именно эта ее благородная плаксивость, ее назойливое внимание к обездоленным, ее воспитание человечности и есть тот кошмар, который держит русскую детскую книжку в безысходном и тоскливом плену²⁶.

Впрочем, А. Бенуа не упоминает столь же тенденциозной западной детской литературы, в переводах наводнившей отечественный книжный рынок во второй половине XIX в., но, пожалуй, его голос был первой попыткой перечить слаженному хору педагогов, перепевавшему одни и те же песни о недопустимости приключенческой беллетристики в детское чтение.

И постепенно позиция педагогов смягчается. В 1909 г., рассуждая о необходимости специально детской литературы, Н. В. Чехов пишет: «...если бы мы вздумали, как рекомендуют некоторые педагоги, отбросить совершенно всю специально детскую литературу <...> без ответа остался бы целый ряд запросов детского ума»²⁷. Чехов

²⁵ Тихеева Е. Как читают дети и какой от этого происходит вред // Воспитание и обучение. 1897. № 10. С. 383.

²⁶ Бенуа А. Художественные письма. Кое-что о елке // Речь. 1908. № 318, 25 декабря. С. 3.

²⁷ Чехов Н. В. Детская литература. С. 131.

опровергает распространенное, восходящее к Белинскому, заблуждение: «Говорить, что только та детская книга может быть признана хорошею, которую с интересом прочтет взрослый, значит игнорировать разницу, существующую между духовным миром взрослого и ребенка»²⁸. Приводя примеры из автобиографической (и не только) беллетристики Л. Толстого и Н. Гарина-Михайловского, Чехов констатирует «один несомненный факт»: он указывает на «глубокую разницу в воззрениях и интересах детей и взрослых. Раз эта разница существует в отношении детей и взрослых к окружающей их жизни, она должна существовать и в отношении их к книге, которая есть не более как отражение этой жизни»²⁹.

А. И. Колмогоров продолжает развивать соображения Н. Чехова о запросах «детского ума»:

Как часто книги, забракованные взрослыми, нравятся детям. Пусть же дети тогда защищают своих любимцев. Пусть пишут нам. И ни одна строчка не останется без внимательного и заботливого изучения. Общими усилиями нам, может быть, удастся столкнуть детское чтение с той мертвой точки, на которой оно сейчас стоит. <...> давая детям книги, необходимо присматриваться раньше к индивидуальным различиям их, ко всем особенностям их душ, принимая во внимание всю совокупность окружающей среды и всех особенностей переживаемого момента³⁰.

Наметившийся интерес к социологии детского чтения будет востребован в среде библиотекарей, которые организуют в 1910-е гг. его экспериментальное изучение³¹. Начавшаяся в 1913 г. деятельность грибоедовского кружка рассказывания³² привела к тому, что были накоплены значительные эмпирические данные по изучению читателя-ребенка (впоследствии они легли в основу научно-исследовательской базы Комиссии по детскому чтению и Института детского чтения, открытого в ноябре 1920 г.). За пять лет, предшествующих революции, отечественные библиотекари и педагоги, сотрудники библиотеки им. А. С. Грибоедова и народного университета А. Л. Шанявского смогли развернуть социологические и психологические исследования читателей-детей. Специалисты, которые вели эту работу, в подавляющем большинстве были библиотекарями-практиками, а не школьными учителями и чиновниками системы

²⁸ Там же. С. 10. К слову, это заблуждение спустя 20 лет будет использовано С. Маршак в его требованиях к качеству советской детской литературы, да и в дальнейшем не утратит своей популярности в педагогической критике.

²⁹ Чехов Н. В. Детская литература. С. 10–11.

³⁰ От редакции // Новости детской литературы. 1911. № 1. С. 2.

³¹ См.: Калужская Ю. А. Становление и развитие отечественной педагогики детского чтения в 1-й трети XX в. (на примере деятельности научно-исследовательского института детского чтения). Дисс. на соискание степени канд. пед. наук. М., 2004.

³² Кружок был создан А. К. Покровской при детском отделении Городской бесплатной общедоступной библиотеки им. А. С. Грибоедова в Москве. О деятельности А. К. Покровской и ее соратников см. подробнее в статье: Арзамасцева И. Н. Подвижники детского чтения // Детские чтения. 2012. № 1. С. 12–42.

образования, что принципиально важно для понимания конфигурации деятельности в этой сфере.

Но сами педагоги мало интересовались экспериментальными исследованиями чтения, а некоторые относились к ним с враждебностью. Так, представители педагогики свободного воспитания занимали настороженную позицию, что было связано, как это ни парадоксально, с педоцентричностью их концепции. Вслед за Эллен Кей К. Н. Вентцель – один из основоположников свободного воспитания в России – рассуждал о новом ребенке, «новой душе», новом педагоге, который «будет стремиться влиять на ребенка таким образом, чтобы ни воля, ни ум его, ни чувство при этом не поработались бы ни в малейшей степени, а, наоборот, делались еще свободнее, независимее, самобытнее»³³. Обращает на себя внимание то, что при разработке предметного обучения уроки словесности им не упоминались. Набрасывая требования к урокам родного языка, Вентцель писал о необходимости силами учеников выпускать в школе журнал, стимулировать переписку между детьми – то есть предлагал развивать письменную речь учеников, однако в своих установочных статьях он практически не обращается к проблеме отбора книг для чтения и школьной библиотеки. Это умолчание заслуживает комментария.

Вентцель неоднократно формулировал свое понимание культа ребенка как культа человека *per se*: «Только культ ребенка будет культом человека в истинном смысле этого слова, культом свободно развивающегося человека, будет признанием и уважением этого человека во всех возрастах его жизни, начиная с рождения»³⁴. Для педагогической концепции, основывающейся на культе свободы ребенка, руководство чтением являлось одной из форм взрослого насилия:

Мы должны смотреть на ребенка прежде всего как на ребенка и будущего человека, и только потом уже как на наследника культуры. Разве так мало у нас книг и книгохранилищ, что мы хотим самого человека обратить в книгу и в книгохранилище, напичкивая его без меры и без конца всякого рода знаниями и стремясь как бы вложить в него весь опыт человечества, накопленный последним в течение всего его процесса исторического развития?!³⁵

Тем не менее речь не идет о полном пренебрежении чтением как формой досуга – И. Горбунов-Посадов, издававший «Свободное воспитание» – журнал для педагогов, выпускал и детский журнал «Маяк», задача которого виделась в том, чтобы «дать детям здоровое, полезное и интересное чтение и способствовать развитию в детях

³³ Вентцель К. Н. Педагог будущего // Свободное воспитание. 1907–1908. № 2. Стб. 1–6. С. 5.

³⁴ Вентцель К. Н. Новые пути воспитания и образования детей. М., 1910. С. 109.

³⁵ Там же. С. 105.

самодеятельности, творчества, равной любви к умственному и физическому труду и деятельной симпатии ко всему живому»³⁶. Однако по вопросам того, какую литературу следует признавать «здоровой и полезной», сторонники свободного воспитания не выступали. Изучать читательские предпочтения они не стремились: при том, что К. Н. Вентцель предлагал составлять хрестоматии для чтения – «собрание тех отрывков из поэтических и художественных произведений, которые им [детям – С. М.] особенно почему-либо понравились»³⁷, его, как и его сторонников, не интересовало, по каким причинам ребенок выбирает то или иное произведение³⁸. Сосредоточенность на ребенке как объекте педагогического «невмешательства» тем не менее сыграла очень существенную роль в развитии концепций чтения в первой половине XX в. Интерес к ребенку как субъекту спровоцировал осмысление такого феномена, как ребенок-читатель (так же, как чуть раньше «открытие» народниками народа поставило вопрос о читателе из народа). И хотя Вентцелю и его сподвижникам ребенок-читатель не был по-настоящему интересен, тем, кто стоял на марксистских позициях в педагогике, и тем, кто оставался приверженцем литературоцентричной картины мира, предстояло определиться в отношении этого нарождающегося культа ребенка. Педагоги марксистской ориентации атаковали теорию свободного воспитания прежде всего за отрыв педагогики от «развития общественных отношений» и, как следствие, пренебрежение классовым подходом в образовании³⁹. Примаат культа ребенка над культурой никак не укладывался в голове у сторонников воспитательного назначения детской литературы, ведь чтение высоко художественных произведений, с их точки зрения, было важнейшим способом приобщения к мировой культуре и эстетике как ее составной части.

Применительно к детской литературе наиболее востребованными оказались несколько эстетических категорий, что объясняется прежде всего спецификой

³⁶ Из рекламного текста на форзаце серии «Библиотека свободного воспитания и образования и защиты детей», выходившей под редакцией И. Горбунова-Посадова.

³⁷ *Вентцель К. Н.* Новые пути воспитания и образования детей. М., 1910. С. 31.

³⁸ Единомышленник К. Н. Вентцеля С. Н. Дурьлин выступал с резкой критикой экспериментальных методов изучения ребенка, в том числе и изучения его круга чтения: «Если прав Дюринг, когда говорит, что „ребенок есть нечто большее, чем простой объект воспитания“, и если мы по справедливости негодуем, что эта истина еще так далека от сознания наших педагогов, – что сказать про ту систему воспитания, которая ребенка делает безответным объектом всяких экспериментов, которая настолько забывает об его счастье и свободе, что совершенно не желает даже знать, готов он или нет выносить все эти эксперименты на себе» (*Дурьлин С. Н.* Эксперимент или попытка? (К вопросу об экспериментальной школе) // *Свободное воспитание.* 1907–1908. № 3. Стб. 80.)

³⁹ См., например, изложение этих взглядов в обстоятельной статье Э. В. Яновской: *Яновская Э. В.* Дом свободного ребенка // *Вестник воспитания.* 1913. № 8. Ноябрь. С. 4–96.

педагогической мысли, но в то же время демонстрирует продуктивность этих категорий по отношению к новому объекту осмысления – литературе для детей. Категория правдивости оказалась одной из ключевых в характеристике детской литературы. Правда изображения самым непосредственным образом в устах критиков коррелировала с художественностью. В этом они наследуют позиции Н. А. Добролюбова и его последователя Н. Г. Чернышевского, для которых «если произведение правдиво, то оно и художественно»⁴⁰. Еще в начале 1870-х гг. К. Н. Модзалевский, авторитетный педагог, издатель журнала «Семья и школа», писал:

Дайте ребенку интересный рассказ, богатый событиями, столкновениями, характерами, исполненный *строгой психологической правды*, не указывайте ему, что здесь добро и что зло, – присущий ребенку такт сам подскажет ему, как относиться к тому или другому явлению; он сам отвернется от дурного и неправого и сам станет на сторону добра и справедливости; дайте ребенку хорошую книгу, и вы увидите, как его детская внимательность сама постарается рассмотреть представленное в ней самым всесторонним образом и отличить ложь от правды. Перед требованием истинности, *правды*, должны исчезнуть из сочинений, предназначенных для чтения детям, всякие особенные, специфические тенденции. Но под истинностью нельзя понимать ограничение одной только голой действительностью, но ту *внутреннюю* правду, которая и идеальной, поэтически изображенной жизни дает отпечаток действительности, реальности⁴¹.

В 1870-х гг. призыв к «строгой психологической правде» был связан с попытками изжить из детской литературы нравоучительный схематизм в изображении окружающей жизни. К 1890-м гг. акцент несколько сместится – неправдивым было объявлено народническое направление детской литературы. Педагоги сдержанно относились к народническому модусу письма, полагая, что изображенные в литературе язвы российской социальной жизни могут излишне травмировать ребенка. Так М. Лемке предостерегала:

... в книге должен быть ясен нравственный идеал правды и добра – в смысле любви к людям, исключаящий само собою не только излишний реализм, но и сантиментализм. Насколько нежелателен тип маменькиных сынков и дочерей, ничего дальше своего носа не видящих и не понимающих, настолько пагубен другой – с десятилетнего возраста окунувшийся в гущу жизни и ее неправду⁴²

Более осторожно высказывался А. Круглов, который, задаваясь вопросом «Как изображать жизнь?», сам себе отвечал: «Разумеется, согласно с правдою, изображать жизнь такую, какая

⁴⁰ Вдовин А. В. Концепт «глава литературы» в русской критике 1830–1860-х годов. С. 175.

⁴¹ М<одзалевский> К. Детская литература и детское чтение // Педагогический сборник. 1872. Кн. 1. Янв. С. 135–316.

⁴² Лемке М. О детском чтении // Русская школа. 1899. № 12. С. 74.

она есть»⁴³, однако в продолжение развития этой мысли Круглов резко критиковал документирование «неправды жизни», приводя в качестве аргумента размышления М. Меншикова: «оставаться обществу среди уродов нельзя безнаказанно: вид уродов только уродует; совершенствует же общество, как и отдельного человека, лишь созерцание совершенства»⁴⁴. М. Меншиков, находящийся в полемическом диалоге с критиками-декадентами, невысоко оценивал плоды современной ему народнической оптики в изображении социальной жизни и отстаивал деятельностный подход к нравственному совершенствованию человека⁴⁵. Такой подход очевидным образом импонировал педагогам, озабоченным воспитанием совестливости и нравственного долга у детей. Полагая вслед за Максом Нордау, что ребенок (как и взрослый) находится под прямым и решительным влиянием прочитанной литературы («влияние воспитателей и детских книг не сравнится ни с каким другим влиянием»⁴⁶), педагоги муссировали два подхода к изображению действительности: 1) «усиленно подчеркивать в жизни худшее» и 2) «выдвигать идеал»⁴⁷. Тот же Круглов предлагает компромисс:

Надо идти именно средним, самым верным путем: знакомить с жизнью, показывать ее темные стороны, но надо делать это умело, чтобы не разбить веры в добро, не бросить в душу ребенка зерна бесплодного пессимизма. Рисуйте отрицательные типы – это не мешает, но не бросайте ребенка во мрак, без просвета, дайте типы людей и другого порядка. Можно и отрицательными типами говорить о добре, вести к идеалу, заставляя сторониться зла. Вопрос, как рисовать и что сказать отрицательным типом⁴⁸.

Аналогичную оценку «излишнего реализма» высказывал и Н. В. Чехов:

...исключительный интерес к народной, по преимуществу деревенской жизни, исключительное внимательное отношение к её устоям и идеалам, с некоторою их идеализацией, и глубокое сочувствие народу: всё это передалось и в детскую литературу. Перешёл в неё и тот грустный тон, то взятое из жизни преобладание тёмных сторон над светлыми, которое было в народнической литературе естественным отражением действительной жизни деревни. И этот тон, способный при постоянном влиянии на ещё неокрепшую душу ребёнка развить в нём пессимистическое настроение, составляет слабую сторону этого направления нашей детской литературы. Детям гораздо более свойственно веселье и радость, чем печаль и отчаяние. <...> Это направление, более чем какое-нибудь другое, знакомит читателя с деревенской,

⁴³ Круглов А. Литература «маленького народа». М., 1897. С. 127.

⁴⁴ Там же. С. 128.

⁴⁵ Подробнее о М. О. Меншикове как литературном критике см.: Трофимова В. Б. Литературно-критические взгляды М. О. Меншикова // Литературоведческий журнал. 2014. № 35. С. 198–224.

⁴⁶ Круглов А. Литература «маленького народа». С. 129.

⁴⁷ Там же.

⁴⁸ Там же. С. 130.

трудовой жизнью в её главнейших явлениях, но она не даёт того, что вселяет бодрость, желание борьбы и работы, не даёт руководящих начал в стремлении вперёд⁴⁹.

Созвучно модернистским идеям о красоте звучат рассуждения Круглова: «Следует не только сберечь, но и увеличивать святое откровение, создавать самим побольше света, красоты, правды, и населять ими нашу мрачную жизнь. Бог не создал тьмы, она была дана от века, верховный принцип творчества: “да будет свет!” Свет несут идеалы»⁵⁰. Такое кантианско-шиллеровское триединство правды, добра и красоты разделялось практически всеми педагогами. Соотношение идеализма и реализма в детской литературе – краеугольное соотношение, обсуждаемое на страницах педагогической периодики⁵¹. В пользу первого выступали сторонники охранительной парадигмы (к ним принадлежал и А. Круглов), в пользу второго – критики демократического (и марксистского) толка⁵². И те и другие сходились в одном: детская литература воспитывает нравственно чувствительного человека, поэтому изображение зла должно содержать внятную авторскую оценку. В силу этой установки собственно модернистские художественные поиски в области изображения моральных категорий добра и зла (прежде всего размывание их в эстетике декаданса) получали невысокие оценки педагогов. Такой же критике подвергалось изображение слабых и безвольных людей, которое трактовалось как влияние эстетики декаданса.

Литература «чисто художественного характера», как аттестовал Н. В. Чехов произведения круга авторов, публиковавшихся в журнале «Тропинка» (издавался Н. Манасеиной и Аллегро (П. Соловьевой)), «трудна по форме и языку» и касается чуждых ребенку вопросов. Однако мифопоэтика получала в терминах педагогической критики и положительные отзывы – за «искренность» и «простоту» изложения. В рецензии на сборник стихов М. Моравской «Апельсиновые корки» критик пишет:

...эти особенности, «неправильность» стиха и рифмы, вряд ли можно рассматривать как ошибки или как небрежность поэта к отделке своих

⁴⁹ Чехов Н. В. Введение в изучение детской литературы: Изложение лекций народным учителям на летних курсах по вопросам детской литературы и детского чтения. М., 1915. С. 41.

⁵⁰ Круглов А. Литература «маленького народа». С. 146–147.

⁵¹ Дискуссии об идеализме в детской литературе начались в 1890-е гг.: В-лин. Идеичность и художественность в детской литературе // Русская школа. 1893. № 7–8. С. 82–98; № 9–10. С. 92–102; Скабичевский А. Важность идеалистической литературы для юношества // Педагогический листок. 1895. № 3–4. С. 3–10; Острогорский В. Еще об идеализме в детской литературе // Педагогический листок. 1895. № 2. С. 20–29.

⁵² См., например, суждение преподавателя Демидовского юридического лицея Е. Д. Синицкого (псевд.: Е. Лович): «Правдивость – один из краеугольных камней нравственности» (Лович Е. Друзья-враги: (К вопросу о детском чтении) // Вестник воспитания. 1898. № 4. С. 97–134). Сходные тезисы находим у Марии Лемке (см.: Лемке М. О детском чтении // Русская школа. 1899. № 12. С. 71–97).

произведений. Таков его стиль, такова его манера. Очень часто этой деланною неровностью стиха автор достигает особой выразительности и соответствия между формой и содержанием. <...> Стих, конечно, неровен, плавное чтение затрудняется, невольно прерывается, но зато этим достигается такая естественность, простота, искренность в передаче девочкой героической эпопеи ее брата⁵³.

Приведенный фрагмент рецензии – редкий случай обсуждения формы в детской литературе. Сколь насыщены были дискуссии модернистов о литературной форме, столь скупы были педагоги на анализ формальных особенностей литературы для детей. Вопрос о соотношении формы и содержания ставился в основном очень широко:

Пора понять, что вопрос детского чтения в большей степени есть вопрос формы, чем это обыкновенно думают. Что касается содержания, то его дает та же жизнь, которая одинаково стоит и перед взрослыми, и перед малолетними; что же касается формы, то она обусловлена, прежде всего, психологией детского возраста, которая сама и ставит границы тому, что юный читатель может и чего не может вынести из чтения данной книги. Жизнь ежедневно ставит и перед юными читателями то же самое, что и перед нами, – имеющий очи да видит⁵⁴.

В ситуации же, когда требовалось высказать критическое суждение о поэтике произведений для детей, педагоги терялись. Любые эксперименты в области формы решительно отвергались. Например, «свой язык» сатириконовцев был дискредитирован таким даже таким либеральным педагогом как Н. В. Чехов:

Городецкий, Блок, Саша Черный и целый ряд других представителей современной поэзии написали и издали ряд сборников и отдельных произведений для детей. Не только чуждые, но даже подчас враждебно относящиеся ко всяким педагогическим требованиям, видящие в них только рутину, эти писатели смело говорят с детьми своим языком обо всем, что, по их мнению, может позабавить детей. Вот этот признак — стремление позабавить и часто только позабавить детей является отличительною чертою того, что пишут для детей представители этого направления.

Но книга и для детей давно уже перестала быть забавою. Эту роль гораздо лучше исполняют игрушки, подвижные игры и зрелища вроде цирка и синематографа, и литературные упражнения этих писателей, не выдерживают конкуренции с этими «забавами», а чего-нибудь более ценного для души ребенка они не дают⁵⁵.

Ему вторит и прогрессивный сторонник исследований детского чтения В. Зеленко,

⁵³ Павлова-Сильванская З. М. Моравская. Апельсиновые корки. Пг., 1914 // Что и как читать детям. 1915. № 3. С. 98–99.

⁵⁴ Рубакин Н. Предисловие // Владиславлев И. В. Что читать? Указатель систематического домашнего чтения для учащихся. Вып. 2. М., 1911. С. II.

⁵⁵ Чехов Н. В. Введение в изучение детской литературы. С. 46.

когда критически характеризует журнал, издаваемый сатириконовцами для детей: «Галчонок» уже свил место среди учащейся молодежи и сумел настроить их на свой лад» и продолжает: «вообще осатириконивание детей должно встречать самый решительный отпор, потому что с чистым служением родному народу, искусству, литературе оно ничего общего не имеет...»⁵⁶. В целом, модернистские эксперименты с формой (и содержанием) не нашли сочувствия у тех, кто требовал «света, красоты, правды» и «здоровой детской книги».

На рубеже XIX–XX вв. отечественная теория и критика детской литературы переживали, пожалуй, один из важных и интересных этапов своего развития. Интересен он увеличением удельной массы критических высказываний о литературе для детей при сохранении однородности их ценностной ориентации. Если во второй половине XIX в. поляризация позиций по отношению к детской литературе была выражена гораздо более ярко (спор Д. И. Писарева и А. Н. Острогорского), то на рубеже веков, в момент интенсивных дискуссий о путях развития русской литературы, педагогическая критика представляла собой достаточно цельное и парадоксальное единство идеалистических и утилитаристских взглядов на литературу, адресованную детям, восходящее к модели литературы эпохи Просвещения. Эксперименты в области литературной формы педагогами решительно отвергались, сущность детской литературы им виделась в воспроизведении действительности в ракурсе идеалистических представлений об этике, прагматика же литературной продукции для детей состояла в формировании оптимистичного взгляда на мир.

⁵⁶ *Зеленко В.* Тоже детский журнал «Галчонок» // *Новости детской литературы.* 1912. № 7. С. 10. Подробнее о критике журнала «Галчонок» см: *Головин В. В.* Журнал «Галчонок» (1911–1913) как литературный эксперимент // *Детские чтения.* 2014. № 2. С. 23–37.

ФОЛЬКЛОРИСТИКА 1920–1930-Х ГОДОВ: НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ЭПОСУ

Фольклористы 1920–1930-х гг. охотно пишут об отмирании и перерождении привычных жанров фольклора. Былина, сказка, духовный стих, обрядовые и колыбельные песни плохо согласуются в своем традиционном виде с прокламируемым радикализмом социальных и культурных перемен в жизни страны. Отношение к традиционному народному творчеству предопределяется степенью культуртрегерских и педагогических усилий, направленных на перевоспитание «классово несознательного» крестьянства. «Защита» фольклора ведется, по преимуществу, вчитыванием революционного содержания в тексты былин и сказок. Но идеологическое согласие на этот счет достигается не без труда. Либерально настроенный к старорежимной классике Анатолий Луначарский, возглавлявший в 1920-е гг. наркомат Просвещения, усматривал в былинных героях предтеч революции (статья 1919 г. «Илья-Муромец – революционер») и считал русский эпос достойной темой революционного кинематографа (указано в списке конкурсных тем, объявленных в 1923 г. жюри кинокомпании «Руссфильм», председателем которого он был)¹. Иначе, вероятно, думали цензоры Главного управления по делам литературы и издательств, в 1922 г. запретив к публикации написанную по мотивам былин пьесу Александра Амфитеатрова «Василий Буслаев», уже принятую тремя годами ранее к постановке на сцене Большого драматического театра². Другим объектом революционной бдительности стала сказка, почин к осуждению которой был положен книгой С. Полтавского «Новому ребенку новая сказка» (1919). Доводы ее автора, усмотревшего в традиционной сказке «символ грубых языческих суеверий, культа физической силы, хищности и пассивного устремления от живой жизни с ее насущными требованиями в область мечтаний», пригодный лишь для «примитивного славянина»³, не были безрезультатными. К середине 1920-х гг. из ряда библиотек изымаются сказочные собрания А. Н. Афанасьева, литературные обработки народных сказок С. Т. Аксакова, К. В.

¹ Объявление о конкурсе: Зрелища. 1923. № 53. С. 13. См. также: *Chistie I. Down to Earth: Aelita relocated // Inside the Film Factory: New Approaches to Russian and Soviet Cinema.* London; New York, 1991. P. 84–86.

² См.: *Блюм А. В.* За кулисами «министерства правды»: Тайная история советской цензуры: 1917–1929. СПб., 1994. С. 213.

³ *Полтавский С.* Новому ребенку новая сказка. Этюд для родителей и воспитателей. Саратов, 1919. С. 9, 19.

Лукашевич, В. П. Авенариуса, А. Ф. Онегина и др.⁴. Угроза нависшая над собраниями сказок мотивируется борьбой с национализмом и «антропоморфизмом» – чудесным «очеловечиванием» животных, отвлекающим ребенка от политической реальности. В 1925 г. Э. Яновская, варьируя рассуждения Полтавского, предостерегающе наставляла педагогов в том, что русская народная сказка воспитывает «вместо чувства интернационального – чувство „национальное“», а «мифологические образы первобытных героев мутят сознание ребенка»⁵. В том же году схожие наставления адресовала библиотечным работникам сподвижница Надежды Крупской (которая возглавляла в это время Главполитпросвет Наркомпроса, заведовавший фондами массовых библиотек) Н. Херсонская, объяснявшая вред сказок тем, что они противоречат насущной задаче «красного библиотекаря» – «воспитывать отважных борцов, бодро и смело глядящих на природу»; сказки препятствуют достижению этой цели уже потому, что «в них недостает классового материала <...> они затуманивают его, порождают смуту в сознании ребенка»⁶.

Во второй половине 1920-х гг. ситуация отчасти меняется. Литературная сказка находит своих критиков и позже, но в ранее осуждавшихся фольклорных сказках отыскиваются «элементы действительности», приводятся доводы в защиту «очеловечивания» животных. Заступничеством за сказку советские дети обязаны В. И. Ленину, упомянувшему о ней в политическом отчете о мероприятиях ЦК на седьмом экстренном съезде РКП(б) в 1918 г. Стенограмма ленинского выступления была опубликована в 1923 г.; в 1928 г. она вошла в изданный массовым тиражом сборник «Протоколы съездов и конференций Всесоюзной коммунистической партии» и затем во все последующие собрания сочинений Ленина, став одной из ключевых «теоретических» цитат советских сказковедов, или точнее – двумя, вырванными из контекста ленинской речи цитатами: «Во всякой сказке есть элементы действительности»; «Если бы вы детям преподнесли сказку, где петух и кошка не разговаривают на человеческом языке, они не стали бы ею интересоваться».

⁴ См.: *Добренко Е.* Формовка советского читателя: Социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. СПб., 1997. С. 175.

⁵ *Яновская Э.* Нужна ли сказка пролетарскому ребенку. Харьков, 1925. С.43–44. См. также: *Яновская Э.* Сказка как фактор классового воспитания. Харьков, 1923. Теми же соображениями руководствовался цензор Наркомпроса Л. Жмудский, подчеркивавший в том же 1923 г. контрреволюционное содержание сказки П. П. Ершова «Конек-Горбунок» (см.: *История советской цензуры: документы и комментарии.* М., 1997. С. 419).

⁶ *Херсонская Н.* О сказках // *Красный библиотекарь.* 1925. № 2. С. 145–146. См. также: *Щекотов Ю. Д.* Революционная сказка в детской литературе 20-х годов // *По законам жанра.* Тамбов, 1978. С. 38–45.

Многokrатно растиражированные в советской фольклористике ленинские упоминания о сказке, впрочем, никоим образом не были мотивированы желанием вождя революции прояснить фольклористические проблемы. Хорошей и красивой сказкой Ленин называл надежды на скорую мировую революцию: такую сказку можно любить – так же, как детям нравятся сказки, в которых петух и кошка «разговаривают на человеческом языке», но верить в такую сказку «серьезному революционеру» не пристало, хотя международная революция «придет неизбежно» и «мы» эту революцию «увидим»⁷.

Об осуществлении сказочных мечтаний отныне, впрочем, не только рассуждают, но и радостно поют – стихами «Авиамарша» (слова Павла Германа, музыка Юлия Хайта), ставшего на десятилетия одной из популярнейших песен советского репертуара и давшего вполне фольклорную жизнь своему «фольклористическому» зачину:

*Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор.
Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца – пламенный мотор!*⁸

Слова Герберта Уэллса о «кремлевском мечтателе», сказанные им о Ленине в книге «Россия во мгле» («Russia in the Shadows», 1921) и сразу же получившие широкое хождение в мировой прессе, стали еще одной индальгенцией для советского сказковедения, не забывшего о ленинском мандате на политически грамотное фантазирование вплоть до эпохи Перестройки⁹.

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. сказка попадает в контекст общественно-литературных споров о месте детской литературы в советской культуре. Важную роль в этих спорах сыграла полемика Максима Горького с Надеждой Крупской, опубликовавшей в начале 1928 г. в «Правде» статью с резкой критикой сказки Корнея Чуковского «Крокодил». Вместо надлежащего, по ее мнению, «рассказа о жизни крокодила» Чуковский

⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. М., 1969. Т. 36. С. 19.

⁸ Считается, что «Авиамарш» был написан осенью 1920 г. по заданию Политуправления Киевского военного округа как песня о красной авиации. Премьера состоялась в Киеве на вокзале перед уезжавшими на фронт красноармейцами, после этого авторы исполняли там «Авиамарш» ежедневно. Текст был размножен Политуправлением, а в 1922 г. издан в Киеве. Всеобщую популярность песня получила к середине 1920-х (в газете «Правда» от 18 июня 1925 г. говорится о ее исполнении во время перелета Москва-Пекин). В 1933 году песня стала гимном Военно-воздушных сил СССР (Приказ Революционного Военного Совета СССР № 132 от 7 августа 1933 г. // Известия. 1933. 11 авг.). Подробно об истории песни см.: Глушаков Я. В. Отечественная массовая песня: загадка Авиамарша // Музыкаведение. 2015. № 10. С. 8–12.

⁹ Особенно в учебных пособиях, см.: например: Прозаические жанры русского фольклора: Хрестоматия / Сост. В. Н. Митрохин. М., 1977. С. 5; Лазутин С. Г. Поэтика русского фольклора. М., 1981. С. 15 (очередное издание: 1989).

подсунул детям «галиматью» и, сверх того, злостную пародию на любимого ею Некрасова¹⁰. Вставший на сторону Чуковского Горький обвинил вдову Ильича в несправедливости к писателю и, попутно, в невежестве, так как стихи, в которых Крупская увидела пародию на Некрасова, правильнее было бы счесть пародией на стихи Лермонтова¹¹. Страсти развивались по нарастающей: вслед за Крупской (состоявшей в это время членом коллегии Наркомпроса РСФСР и возглавлявшей Главполитпросвет) к хору осуждения Чуковского присоединились педагоги и бдительные родители¹². Проявления «чуковщины» (призванной отныне обозначить грехи безыдейности, буржуазности и бытовщины) не замедлили обнаружиться и у других детских писателей, в частности у Маршака, но ситуация с поиском виновных неожиданным для критиков образом осложнилась после проведения в декабре 1929 г. в Московском доме печати дискуссии по детской литературе. Дискуссией руководил Анатолий Луначарский, переведенный к этому времени с поста председателя Наркомпроса в председатели Комитета по заведованию учеными и учебными заведениями ЦИК СССР, а сама дискуссия воспринималась на фоне кадровых реформ в ранее возглавляемом им ведомстве. В своем выступлении Луначарский призвал учиться у классической сказки и оградить советских писателей, пишущих для детей, от нападок со стороны «суровых педантов реализма», «которые считают, что мы обманываем ребенка, если в нашей книжке рукомыльник заговорит»¹³. Мнение Луначарского, очевидно оппонировавшее сторонникам Крупской (хотя и назначенной в том же году заместителем нового главы Наркомпроса Андрея Бубнова, но фактически сохранившей лишь номинальную роль в новом руководстве комиссариата) приобретало в складывающихся обстоятельствах установочную роль.

Вслед за Луначарским «защиту» сказки от «суровых педантов реализма» продолжил вернувшийся в 1931 г. в СССР из Италии Горький, увлеченный идеей специального издательства, рассчитанного на юных читателей. В 1933 г. инициативы Горького увенчались сентябрьским Постановлением ЦК ВКП (б) «Об издательстве детской

¹⁰ См.: *Крупская Н.* О «Крокодиле» Чуковского // Правда. 1928. 1 февр. В том же году статья была перепечатана в журнале «Книга детям» (1928. № 2. С. 13–16).

¹¹ *Горький М.* Письмо в редакцию // Правда. 1928. 14 марта. Занятно, что в том же письме Горький сослался на одобрительную оценку Лениным книги Чуковского о Некрасове, как бы демонстрируя тем самым, что у вдовы Ленина нет права единолично выступать от его имени.

¹² *Столица З.* Элементы сказки в сочинении К. Чуковского «Приключение Крокодила Крокодилевича» и реакции дошкольников // Сказка и ребенок. Педологический сборник. М., 1928. С. 90–106; Мы призываем к борьбе с «чуковщиной»: (Резолюция общего собрания родителей Кремлевского детсада) // Дошкольное воспитание. 1929. № 4. С. 74.

¹³ *Кальмеер Д.* Пути детской литературы (На докладе тов. А. В. Луначарского в Доме печати) // Литературная газета. 1929. № 34, 9 дек.

литературы» (от 9 сентября 1933 г.), указывавшим, в частности, на педагогическую пользу сказок для детей. В опубликованном в том же году перечне тем, подлежащих первоочередной разработке «в деле создания художественной и просветительской литературы для детей» Горький объявил сказку «прототипом» научной гипотезы и потребовал «призвать науку в помощь фантазии детей», чтобы научить детей «думать о будущем»: «Мы должны помнить, что уже нет фантастических сказок, не оправданных трудом и наукой, и что детям должны быть даны сказки, основанные на запросах и гипотезах современной научной мысли»¹⁴.

О том как сказка становится былью сам Горький поведаёт в том же 1933 г. в речи на слете ударников Беломорско-Балтийского канала: «Я чувствую себя счастливым человеком. Большое счастье – дожить до таких дней, когда фантастика становится реальной, физически ощутимой правдой»¹⁵.

Через год в докладе на Первом всесоюзном съезде советских писателей живой классик соцреализма назовет фольклор источником «наиболее глубоких и ярких, художественно совершенных типов героев», а в их перечне объединит Геркулеса, Прометея, Микулу Селяновича, Святогора, доктора Фауста, Василису Премудрую, Ивана-дурака и Петрушку, дав индульгенцию интернациональному союзу героев античного эпоса, средневековой легенды, русской былины и сказки¹⁶. Заявления Горького были при этом тем значительнее, что они звучали на фоне широко известных слов Сталина, сказанных им в 1931 г. о сказке «Девушка и смерть», некогда написанной самим Горьким: «Эта штука сильнее, чем “Фауст” Гете (любовь побеждает смерть)»¹⁷. В следующем за выступлением

¹⁴ Горький М. О темах (1933) // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 27. С. 104, 108. 17 октября 1933 г. статья Горького была одновременно напечатана в газетах «Правда», «Известия ЦИК» и «Литературная газета».

¹⁵ Горький М. Речь на слете ударников Беломорстроя (1933) // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 27. С. 75–76.

¹⁶ Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 27. С. 395.

¹⁷ Горький прочитал свою сказку посетившим его Сталину и К. Е. Ворошилову 11 октября 1931 г. Свое суждение Сталин начертал и датировал письменно на последней странице прочитанного Горьким текста. В 1930-е гг. высказывание Сталина широко цитируется. См. например: Никитин – Сталину с просьбой о публикации отзыва Сталина на стихотворение Горького «Девушка и смерть» (1 октября 1937) // Большая цензура: Писатели и журналисты в стране Советов. 1917–1956 / Сост. Л. В. Максименков. М., 2005. С. 480–481; *Вострышев И.* Горький и фольклор // Литературная учеба. 1938. № 3. С. 59. Сталинский автограф сохранился, см. его воспроизведение: http://home.sinn.ru/~gorky/TEXTS/SSP/PRIM/man+mort_pr.htm). В 1941 г. историческое событие было живописно запечатлено художником А. Ян-Кравченко на картине «А. М. Горький читает тт. Сталину, Молотову, и Ворошилову свою “Девушка и смерть”». Репродукции картины Кравченко широко печатались в прессе и выходили отдельными изданиями (в частности, в 1950 г. в

Горького содокладе Самуила Маршака о детской литературе в числе ее задач были названы использование фольклора и создание «настоящей сказки», в которой будет «и действие, и борьба, и настоящая идея». Такой сказки, по мнению Маршака, «у нас еще нет», но она «может возникнуть <...> потому», что советские люди «вступили в состязание с временем, прокладывая пути в тех местах, где еще никогда не ступала нога человека»¹⁸.

Осуждение сказочного «мистицизма» и «монархизма» (в частности – пушкинских «Сказки о попе и работнике его Балде» и «Сказки о царе Салтане») сменяется во второй половине 1930-х гг. рассуждениями о диалектических, историко-материалистических и (resp.) педагогических достоинствах сказочных повествований. Такова, например, по наставлению Антонины Бабушкиной (будущего редактора журнала «Детская литература» (1935–1941 гг.) и первой заведующей кафедрой детской литературы и библиотечной работы с детьми Московского библиотечного института) «Сказка о дедке и репке», содержание которой «не только глубоко социальное – сила коллектива, но и философское – переход количества в качество, скачок в природе, в обществе, мышлении»¹⁹. К середине 1930-х гг. тезис о реализованной «фантастичности» и «сказочности» советской действительности воспринимался, впрочем, уже не только как публицистически убедительный, но и методологически принципиальный для единственно допустимого изображения самой действительности методами социалистического реализма. Рассуждения о том, что реалистическое изображение оправдывает «право на мечту» энергично тиражируются в преддверии Первого съезда Советских писателей, закрепляя в общественном сознании значимые впоследствии тавтологии: быть «настоящим мечтателем» это и значит быть «настоящим реалистом», правильно изображать «советскую реальность» значит изображать «героическую реальность» («героику масс»), «писать о современности» одновременно значит писать и о будущем²⁰. Под «здоровой и живой „сказочностью“» предлагается понимать отныне оправданное «умение превращать настоящую действительность в увлекательную сказку», поскольку именно такая превращенная в сказку

московском Издательстве Академии художеств СССР они были отпечатаны тиражом 50 тыс.).

¹⁸ Содоклад С. Я. Маршака о детской литературе // Первый всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. М., 1934. С. 28, 38.

¹⁹ Бабушкина А. П. Народная сказка как средство воспитания детей // Детская литература. 1934. № 4. С. 4.

²⁰ Например: Селивановский И. Право на мечту // Литературный критик. 1935. № 10. С. 84; Серебрянский М. О. О социалистическом реализме // Молодая гвардия. 1933. № 6. С. 124.

действительность, собственно, и есть «наидействительнейшая» советская действительность²¹.

Возвращение сказок на полки библиотек, как и «реабилитация» самого фольклора кажутся неслучайными на фоне сочувственных высказываний Ленина о фольклоре²². Но главную причину в данном случае надлежит все же видеть не в них, а в набирающих силу к концу 1920-х гг. стабилизационных процессах в идеологии, в «огосударствливании» революционной утопии и национальной политики, сделавшем ленинские высказывания (а также усугубившие их цитаты из Сталина, Маркса и Энгельса²³) программной основой советской фольклористики последующих десятилетий.

Начиная с 1926 г. предписания о практической актуальности фольклористики и надлежащем «осовременивании» фольклора энтузиастически тиражируются на страницах альманаха «Художественный фольклор» (5 выпусков с 1926 по 1929 г.), ежемесячного журнала «Советское краеведение» (1930–1936 гг.: 82 номера, часть которых была посвящена фольклору и деятельности центральных фольклористических организаций, главным образом – Комиссии художественной литературы и фольклора при ЦБК и ЦНИИМКР), журнала «Советская этнография» (сменившего в 1931 г. журнал «Этнография»: 4 номера в 1931 г., в 1932–1936 гг. – по шесть номеров в год, в 1937 г. – 4 номера), одноименных фольклорно-этнографических сборников 1933–1947 г. (вышло 7 номеров), а также учебных пособий и монографических работ активно пишущих Ю. М. Соколова, А. Н. Лозановой, Н. П. Андреева, М. К. Азадовского, Е. Г. Кагарова, В. И. Чичерова, П. С. Богословского²⁴. С середины 1920-х гг. оживляется экспедиционная

²¹ Кузнецов А. Хочу мечтать // Штурм [Самара], 1932. № 8–9. С. 99. – Цит. по: Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М., 2007. С. 100 (здесь и далее другие схожие примеры).

²² Бонч-Бруевич В. Ленин о поэзии // На литературном посту. 1931. № 4. С. 4 (высказывания Ленина о русской сказке). Позже эти высказывания займут свое место в хрестоматии по русскому фольклору Н. П. Андреева (М.; Л., 1938. С. 29). См. также: Азадовский М. К. Ленин в фольклоре // Памяти В. И. Ленина: Сб. статей к десятилетию со дня смерти: 1924–1934. М.; Л., 1934. С. 881–897; Бонч-Бруевич В. Д. В. И. Ленин об устном народном творчестве // Советская этнография. 1954. № 4. С. 118; Ленинское наследие и изучение фольклора / Сост. В. Е. Гусев. Л., 1970.

²³ См., например: Чичеров В. И. К. Маркс и Ф. Энгельс о фольклоре: (Библиографические материалы) // Советский фольклор: Сб. статей и материалов. М.; Л., 1936. № 4–5 С. 369–379; Соколов Ю. Фольклор // Литературная энциклопедия. М., 1939. Т. 11. Стб. 775–790.

²⁴ См.: Соколов Ю. М. Очередные задачи изучения русского фольклора // Художественный фольклор. М., 1926. Кн. 1. С. 5–21; Кагаров Е. Г. Что такое фольклор // Художественный фольклор. М., 1929. Кн. 4–5. С. 1–8; Соколов Ю. М. Фольклористика и литературоведение // Памяти П. Н. Сакулина: Сб. статей. М., 1931. С. 280–289; Лозанова А. Н. К следующим задачам советской фольклористики // Советская этнография. 1932. № 2. С.

деятельность фольклористов. Особую роль на этом поприще сыграли Государственная Академия истории материальной культуры и Государственный институт истории искусств (до своей реорганизации в 1931 г. в Государственную академию искусствознания), силами которых были проведены важные и богатые по своим материалам комплексные экспедиции в Воронежскую губернию (ГАИМК) и на русский Север – Заонежье, Мезень, Терский, Карельский и Поморский берега Белого моря (ГИИИ)²⁵. Культура социалистического общества призвана выражать жизнь масс, а фольклор демонстрировать соответствующую массовость как в плане рецепции, так и по самому происхождению. Отныне фольклор это не столько опыт традиции, сколько «расцвет советского фольклора» в текстах политически грамотных «новин», плачей, сказок и частушек²⁶. Так, в частности, игравшая заметную роль в крестьянском досуге частушка привлекает к себе внимание советских фольклористов тем, что она в наибольшей степени выражает протестные настроения сельского населения до- и послереволюционной России²⁷. В начале 1930-х гг. фольклористическая работа в деревне подразумевает не только запись частушек, но и пропагандистскую работу с их исполнителями. Среди примеров такой работы – учебный план 1935 г. для занятий со словесниками на конференции-семинаре частушечников, специально посвященный «принципам художественного и идеологического отбора словесных текстов частушек». Главная цель такого отбора заключается в умении отсеять из частушечного репертуара «кулацкую частушку» со свойственной для нее «злой критикой социалистического строительства вообще и в частности процесса коллективизации». Распознавание в частушке

3–23; *Соколов Ю. М.* Природа фольклора и проблемы фольклористики // Литературный критик. 1934. № 12. С. 41–42; *Жирмунский В. М.* Проблема фольклора // С. Ф. Ольденбургу: К пятидесятилетию научно-общественной деятельности (1882—1932). Л., 1934. С. 195–213; *Азадовский М. К.* Предисловие // Советский фольклор: Статьи и материалы. Л., 1934. Вып. 1. С. 3–8; *Чичеров В.* Фольклор как средство агитации и пропаганды // Советское краеведение. 1934. № 8. С. 13–23.

²⁵ См.: *Иванова Т. Г.* Фольклористика в государственном Институте истории искусств в 1920-е гг. // Русский фольклор. СПб., 2004. Т. 32. С. 48–66.

²⁶ См.: *Oinas F. J.* The Political Uses and Themes of Folklore in the Soviet Union // Journal of the Folklore Institute. 1975. Vol. 12. P. 157–175; *Miller F. J.* Folklore for Stalin. Russian Folklore and Pseudofolklore of the Soviet Era. Armonk; London, 1990; *Howell D. P.* Development of Soviet Folkloristics. New York, 1992; Фольклор России в документах советского периода 1933–1941 гг.: Сборник документов. М., 1994; *Юсманов У.* Вторая смерть Ленина: Функция плача в период перехода от культа Ленина к культу Сталина // Соцреалистический канон. СПб., 2000. С. 926–952; Советский эпос 1930–1940-х годов // Рукописи, которых не было: Подделки в области славянского фольклора / Изд. подгот. А. Л. Топорков, Т. Г. Иванова, Л. П. Лаптева, Е. Е. Левкиевская. М., 2002. С. 403–968.

²⁷ См.: *Семеновский Д.* Современная частушка // Красная новь. 1921. № 1. С. 53–61; *Иеропольский И.* Революция в частушке. Новая жизнь [Псков]. 1922. № 4. С. 28–31; *Князев В.* 1) Современные частушки: 1917–1922. М.; Л., 1924; 2) Частушки красноармейские и Красной Армии. М., 1925.

признаков «открытой и замаскированной антисоветской агитации» предполагает при этом бдительное внимание к тому обстоятельству, что «в кулацких частушках могут быть использованы самокритические советские частушки в клеветнических целях, где отдельные неполадки истолковываются как явления типичные для социалистического строительства в целом». Помимо «кулацкой частушки» проявления «антисоветских и несознательных» настроений содержат «мещанская», «блатная» и «хулиганская» частушка, исполнение которых должно отслеживаться, как и любые формы «кулацкой агитации» («здесь, – поясняется в скобках, – следует использовать наблюдения местных партийных органов»)²⁸. Во второй половине 1930-х гг. настороженное внимание к надлежащему «классово-идеологическому составу частушечного репертуара деревни» теряет свою очевидную злободневность – за резким поредением тех, кто отважился бы сочувствовать «кулацкой агитации» публично. Частушки, свидетельствующие о протестном умонастроении их исполнителей и предполагаемой ими аудитории, выпадают из сферы идеологически подконтрольного досуга и, в свою очередь, исследовательского внимания вплоть до эпохи Перестройки, а образцами частушечного творчества объявляются произведения, посылно контаминирующие тематику текущей пропаганды с мотивами интимных переживаний и коллективных радостей²⁹.

Практические задачи фольклористики, как они формулируются в 1930–1940-е гг., состоят, однако, не только и не столько в описании, собирании и изучении фольклорных текстов, сколько в пропаганде и воспитании «фольклоротворческих» масс. Дискуссии о фольклоре начала 1930-х гг. муссируют, по преимуществу, проблему преодоления стихийности в фольклоре и «борьбу с классово чуждыми тенденциями» в народной культуре, «стимулирование развития идеологически ценных элементов путем активного воздействия на музыкально-поэтический быт» крестьян и рабочих³⁰. В 1935 г. развернутые наставления по поводу того, как следует «стимулировать» и редактировать фольклорные записи, адресует коллегам Юрий Соколов, начавший собирательскую деятельность еще до революции, но к тридцатым годам успешно отмежевавшийся от предосудительного наследия: «Фольклорист-собиратель не может и не должен быть бесстрастным регистратором фольклорных фактов, „объективным наблюдателем“ как любили в прежнее время называть себя фольклористы. Советский фольклорист тем и отличается от

²⁸ Фольклор России в документах советского периода 1933–1941 гг. С. 41–49.

²⁹ См., например: *Артем Веселый*. Частушки колхозных деревень. М., 1936; *Шентаев Л.* Советская частушка // Советский фольклор. Л., 1939. С. 264–297; Частушка в записях советского времени / Изд. подгот. З. И. Власова, А. А. Горелов. М., 1965.

³⁰ *Астахова А., Эвальд З.* Работа бригады ИПИН по собиранию и изучению фольклора рабочей среды // Советская этнография. 1932. № 2. С. 145.

дореволюционного, что он не мыслит себя и свою работу стоящими где-то в стороне от общественной жизни и от актуальных политических задач. Советский фольклорист должен свою работу собирателя фольклора сочетать с общими задачами культурной революции. Поэтому, он должен всегда тщательно продумать какую, от кого и при чьей помощи он производит запись <...> Вот почему работа собирателя должна быть прочно увязана с местными педагогическими, политпросветными организациями, и обязательно проводиться в полном согласовании с местными партийными и комсомольскими организациями»³¹.

Необходимость активного вмешательства в фольклорное творчество диктуется, помимо прочего, общераспространенным вплоть до начала 1930-х гг. положением об аристократическом происхождении русского эпоса и классовой вторичности самого народного искусства, обязанного своим происхождением также некрестьянской среде³². К середине 1930-х гг. рассуждения об аристократическом происхождении фольклорных жанров и, прежде всего, былины сменяются декларациями о классовой аутентичности народного творчества, его самобытности и независимости от «художественной культуры верхних общественных слоев». Неприятие противоположной точки зрения подкрепляется решительным осуждением ее некогда авторитетных адептов – представителей «исторической школы» дореволюционной фольклористики (Миллер, Келтуяла), нашедшей свое продолжение и развитие на буржуазном Западе. Искусствоведы и фольклористы спешат откеститься от былых заблуждений и проявляют бдительную нетерпимость к оппонентам. «Советский революционный эпос» обязывает отныне думать, что и в старину эпические шедевры творились народными массами³³.

О неравнодушии власти к надлежащему истолкованию русского эпоса проницательные современники могли судить по кампании, развернувшейся в 1936 г. в

³¹ Соколов Ю. О собирании фольклора // Советское краеведение. 1935. № 2. С. 15–16. Примером такого фольклориста, стремившегося сочетать работу собирателя «с общими задачами культурной революции», автору мог служить его брат-близнец и соавтор по изданию «Сказок и песен Белозерского края» (СПб., 1915) Борис Соколов, скончавшийся в 1930 г. после поездки в числе стотысячников в Калужскую область для участия в проведении коллективизации (см.: Иванова Т. Г. Русская фольклористика в биографических очерках. СПб., 1993. С. 81). См. также: Самарин Ю. Организация фольклорной работы в национальных районах // Советское краеведение. 1935. № 7. С. 25–30.

³² См.: Некрасов А. И. Русское народное искусство. М., 1924; Овсяннико-Куликовский Д. Н. Сочинения. СПб., 1911. Т. 8. С. 143. К истории вопроса: Oinas F. J. The Problem of the Aristocratic Origin of Russian Byliny // Slavic Review. 1971. Vol. 30. P. 513–522.

³³ См.: Богословский П. С. О советском революционном эпосе и методике его собирания и изучения: (Спорные вопросы доклада Мирера и Боровика «Рабочие сказы о Ленине») // Советское краеведение. 1934. № 7. С. 39–46; Соколов Ю. Н. Русский былинный эпос: (Проблема социального генезиса) // Литературный критик. 1937. № 9. С. 186–188.

партийной печати вокруг постановки в Камерном театре Александра Таирова комической оперы «Богатыри» (попурри на музыку А. П. Бородина). Новое либретто к опере (замышлявшейся Бородиным как пародия на «вагнерианскую» оперу Александра Серова «Рогнеда») было написано Демьяном Бедным по мотивам русских былин и пародировало хрестоматийные сюжеты и образы легендарной русской истории – крещение Руси, фигуру князя Владимира³⁴. Пиетета к «богатырской» тематике поэт не питал и ранее: в 1930 г. в стихотворении «Закалка» образ спящего богатыря использовался как сатира на культурное наследие старорежимной России:

Храп «богатырский» постоянный,
На неоглядный весь пустырь!
Спал беспробудно-деревянный
Российский горе-богатырь.
<.....>
Глядь, богатырь насквозь гнилой!
Гнилая жизнь, гнилые нравы,
Грунт – помесь плесени с золой.³⁵

Тематически и стилистически либретто Демьяна Бедного также не было особенно новаторским. Четырьмя годами ранее на сцене ленинградского Театра Сатиры и Комедии состоялась премьера «разоблачительной» пьесы-буфонады «Крещение Руси». В 1934 г. журнал «Рабочий и театр» с одобрением усматривал в ней «ряд смелых проекций в современность, что повышает политическую действенность пьесы. Былинные богатыри выступают в роли жандармской охраны. Сам князь Владимир <...> к концу спектакля принимает образ предпоследнего царя-держиморды»³⁶. В постановке Таирова Бедный довел пародию до фарса: богатыри представляли пьяницами, князь Владимир – свирепым самодуром, а подлинными героями русской истории изображались разбойники. Комизм усиливался декорациями Павла Баженова, оформившего спектакль с иконописно-маньеристическим нажимом, изобразительно профанировавшим хрестоматийную «серьезность» былинных персонажей. 24 октября 1936 г., накануне премьеры, о достоинствах либретто новой оперы на страницах «Правды» хвастливо отрапортовал сам автор. Премьера (29 октября) прошла с успехом, но уже 14 ноября Политбюро с подачи Вячеслава Молотова (посетившего спектакль 13 ноября) приняло решение о запрещении

³⁴ См.: Максименков Л. Сумбур вместо музыки: Сталинская культурная революция 1936–1938. М., 1997. С. 212–222. См. также: Гозенпуд А. Оперное наследие Серова // Гозенпуд А. Избранные статьи. М.; Л., 1971. С. 87–112.

³⁵ Бедный Д. Полн. собр. соч. М.; Л., 1933. Т. 17. С. 59.

³⁶ Рабочий и театр. 1934. № 1. С. 14.

пьесы Бедного и утвердило проект постановления Комитета по делам искусств Совнаркома СССР «О пьесе “Богатыри” Демьяна Бедного».

В решении Политбюро указывалось, что «спектакль <...> а) является попыткой возвеличивания разбойников Киевской Руси как положительный революционный элемент, что противоречит истории <...> б) огульно чернит богатырей русского былинного эпоса, в то время как главнейшие из богатырей являются <...> носителями героических черт русского народа; в) дает антиисторическое и издевательское изображение крещения Руси, являвшегося в действительности положительным этапом в истории русского народа»³⁷. На следующий день в «Правде» появилась статья председателя КДИ Платона Керженцева «Фальсификация народного прошлого», в которой постановка была осуждена как злостная хула на русскую историю³⁸, а на другой – в той же «Правде» – отчет о собрании в Камерном театре, на котором Таиров признал серьезность допущенных театром ошибок³⁹. Для самого Демьяна Бедного, к 1936 г. уже определенно раздражавшего Сталина, проработка в партийной печати закончилась сравнительно легко – исключением из партии и отлучением от печати. Работники «культурного фронта» из той же проработки вольны были извлечь свои уроки⁴⁰, ученые гуманитарии – свои⁴¹. Решение Политбюро стало неожиданностью для Бедного, оправдывавшего свалившиеся на него невзгоды своей политической недалекостью, а также бездействием «контролирующих органов», которые должны

³⁷ О пьесе «Богатыри» Демьяна Бедного. Постановление Комитета // Правда. 1936. 14 нояб.

³⁸ «Героика русского народа, этот богатырский эпос, который дорог и нам, большевикам, все лучшие героические черты народов нашей страны и других стран, превращаются у Демьяна Бедного в материал поголовного охаивания богатырей», «клевету на русский народ», и «оплевывание народного прошлого» (*Керженцев П. М. Фальсификация народного творчества // Правда. 1936. 15 нояб.*).

³⁹ Отклики на постановление о пьесе Демьяна Бедного «Богатыри» // Правда. 1936. 16 нояб. В последующие дни негодующие публикации множатся: *Ефимов Г. Исказители былин // Правда. 1936. 20 нояб.*; *Керженцев П. М. Извлечь необходимые уроки // Литературная газета. 1936. 20 нояб.*; *Лежнев И., Тимофеев Л. Бедные люди // Правда. 1936. 21 нояб.*

⁴⁰ О непосредственной реакции ведущих деятелей культуры на партийную оценку спектакля можно судить по справке Секретно-политического Отдела ГУГБ НКВД СССР «Об откликах литераторов и работников искусств на снятие с репертуара пьесы Д. Бедного „Богатыри“» (ЦА ФСБ. Ф. 3. Оп. 3. Д. 121. Л. 98–107. Копия. Машинопись); электронная версия: <http://www.idf.ru/3/12.shtml>

⁴¹ См.: Против фальсификации народного прошлого (О пьесе «Богатыри» Демьяна Бедного). М.; Л., 1937. *Дубровский А. М. Как Демьян Бедный идеологическую ошибку совершил // Отечественная культура и историческая наука XVIII–XX веков. Брянск, 1996. С. 143–151.*

были бы ему помочь своевременно разобраться в исторической прогрессивности христианства и, кроме того, «овладеть былинной экспозицией»⁴².

В литературе и искусстве середины 1930-х гг. футурологические утопии уравниваются, а постепенно и вытесняются исторической ретроспекцией, призванной представить настоящее закономерным итогом предшествующей истории, всем своим ходом «диалектически» подготовившей благоденствие сталинского правления. К концу 1930-х гг. представление о необратимой поступательности исторического процесса (узаконенное партийными решениями 1934–1936 гг. о преподавании истории в школе и осуждением школы скончавшегося к тому времени академика М. Н. Покровского⁴³) опирается на историографический канон, объединивший предтеч революции (Степана Разина, Ивана Болотникова, «разбудивших Герцена» декабристов, Н. Г. Чернышевского) с творцами политических реформ – князем Владимиром, Александром Невским, Иваном Грозным и Петром Первым. В трагическом изображении Крещения Руси Демьян Бедный совершал, с этой точки зрения, уже ту ошибку, что доверился жанру, диссонировавшему с самой стилистикой официальной историографии. Идеологические перемены, сопутствовавшие появлению «Богатырей», не подразумевали легкомыслия. К 1936 г. литературным образцом в надлежащем освящении исторического прошлого мог считаться выдержавший к тому времени несколько изданий «Петр Первый» Алексея Толстого (экранизированный в 1937–1938 гг. в двухсерийном фильме Владимира Петрова). В 1938 г. появится кинематографическая индальгенция Сергея Эйзенштейна Александру Невскому (соседствующему в фильме с былинным Василием (Буслаем))⁴⁴. В оценке «Александра Невского» критики охотно прибегали к «эпосоведческой» терминологии, находя «эпические» аналогии между русским прошлым и советским настоящим: «“Александр Невский” построен как былина. Эпические образы Эйзенштейн видит крупными, целостными, высеченными из одного куска, из одной глыбы, свободными от мелких, мелких черт, от психологических деталей <...> Не древность, не прошлое, не старина только

⁴² Стенографическая запись беседы Демьяна Бедного со Ставским (17 ноября 1936) // Большая цензура: Писатели и журналисты в Стране Советов: 1917–1956 / Сост. Л. В. Максименков. М., 2005. С. 431–439.

⁴³ Против исторической концепции М. Н. Покровского. М.; Л., 1939. Т. 1.; 1940. Т. 2. См. документальную публикацию: Как Сталин критиковал и редактировал конспекты школьных учебников по истории: (1934–1936 годы) / Подгот. М. В. Зеленов // Вопросы истории. 2004. № 6. С. 3–30.

⁴⁴ См.: *Schenk F. B.* Rehabilitation und Verehrung Aleksandr Nevskijs in der UdSSR in den Jahren 1937/38 // *Personality Cults in Stalinism – Personenkulte im Stalinismus*. Göttingen, 2004. S. 391–413; *Уленбрух Б.* Инсценировка мифа: О фильме С. Эйзенштейна «Александр Невский» // *Советское богатство: Статьи о культуре, литературе и кино: К 60-летию Ганса Гюнтера*. СПб., 2002. С. 322–325.

являются достоянием эпоса. <...> В наши дни складываются былины о сегодняшней жизни народа, о сегодняшних его героях, и голос сказителей, творящих новый эпос, не звучит чуждым в советской поэзии. Более, чем когда-либо в истории, наше время – время эпоса»⁴⁵.

Исторические герои уподобляются героям русского эпоса⁴⁶, а сам эпос – историографии, идеологически призванной, по удачной формулировке Кевина Платта и Дэвида Бранденбергера, «мифологизировать настоящее как сцену триумфальной победы над внутренними и внешними врагами, стихиями, самим временем под предводительством здравствующего вождя»⁴⁷. В 1938 г. в учебнике по фольклору Ю. М. Соколова (возглавившего в том же году первую в СССР кафедру фольклора Московского института философии, литературы и истории) тезис об аристократическом происхождении эпоса расценивался уже как однозначно «фашистский» (со ссылкой на Ганса Наумана и теорию «спущенных сверху культурных ценностей» – «gesunkenes Kulturgut»), а сам учебник заканчивался статьями о певцах-орденоносцах Джамбуле Джабаеве и Сулеймане Стальском, в которых казахский аэд и лезгинский ашуг чествовались, как герои культуры победившего социализма, и вместе с тем – как продолжатели традиции, восходящей к аэдам и рапсодам Древней Греции⁴⁸.

Обилие (квази)фольклорных текстов восточных авторов в публицистическом обиходе сталинской поры позволяет исследователям говорить о стилистической «ориентализации» советской культуры конца 1930-х гг., как бы расширяющей и трансформирующей свое виртуальное пространство равноправным соотношением в нем близкого и далекого, центрального и периферийного⁴⁹. Но расширение границ советской культуры реализуется не только в пространственно-географическом, но и ретроспективно-временном измерении. Предыстория советской культуры призвана объединить отныне

⁴⁵ *Бачелис И.* Сергей Эйзенштейн // Известия. 1940. 11 февр. Ср.: *Пудовкин В.* Александр Невский // Рабочая Москва. 1938. 8 дек.; *Херсонский Х.* Историческая тема в кино // Искусство кино. 1938. № 3. С. 42–44; *Юрнев Р.* Народная эпопея // Искусство кино. 1941. № 4. С. 14 (о фильме «Богдан Хмельницкий»); *Сурков А.* Страницы героической эпопеи // Правда. 1942. 28 марта. О традиции советского «киноэпоса»: *Вайсфельд И.* Эпические жанры в кино. М., 1949.

⁴⁶ См.: *Владимирский Г. В.* Героика былин // Звезда. 1937. № 2. С. 285–290; *Никифоров А. И.* Герои и героическое в русском эпосе // Народное творчество. 1938. № 9. С. 44–48.

⁴⁷ *Platt K. M. F., Brandenberger D.* Terribly Romantic, Terribly Progressive, or Terribly Tragic: Rehabilitating Ivan IV under I. V. Stalin // Russian Review. 1999. Vol. 58. P. 653.

⁴⁸ Цит. по второму изданию: *Соколов Б. М.* Русский фольклор. М., 1941. С. 539, 540.

⁴⁹ См., например: *Юстус У.* Возвращение в рай: Соцреализм и фольклор // Соцреалистический канон. СПб., 2000. С. 78.

историю культуры всех народов и народностей, потомкам которых суждено было стать советскими гражданами.

Партийные рекомендации по политически грамотному истолкованию русского эпоса и русской истории надолго определили историю отечественной фольклористики⁵⁰, их идеологический контекст был, по-видимому, только косвенным образом подготовлен спорами об эпосе среди фольклористов. Ситуация выглядит, скорее, обратной: *возобновлению научного и собирательского интереса к русскому эпосу в советской фольклористике предшествует риторическая экспансия «эпической» терминологии в литературной критике и политпропаганде.*

Публицистические призывы к неопределенно «эпическому» изображению революционных событий тиражируются уже в 1920-е гг.

О востребованности «большого эпоса» в пролетарской литературе Луначарский рассуждал в 1924 г., приветствуя на страницах журнала «Октябрь» (объединившего инициаторов Ассоциации пролетарских писателей и РАПП) появление больших поэм Александра Жарова и Ивана Доронина⁵¹. С тем же, но уже стихотворно выраженным призывом к коллегам по пролетарской поэзии обращался поэт Александр Безыменский:

Поэты! До каких же пор
В своих стихах не развернете
Рабочим нужное давно
Эпическое полотно!?⁵²

Годом позже «эпос» становится ключевым словом в литературно-теоретических и идеологических спорах между сторонниками РАППа и «Левого фронта искусств». Единомышленники Луначарского и Безыменского, группировавшиеся вокруг журнала «Октябрь», настаивают на *жанровых* и поэтических достоинствах эпоса, не имеющего себе равных в литературе по объективности, широте замысла и величественности. В 1925 г. так, в частности, рассуждал один из видных руководителей будущего ВАППа, редактор журнала «На литературном посту» Г. Лелевич (псевдоним Л. Г. Калмансона), вещавший об эпических достоинствах пролетарской лирики⁵³. В 1927 г., отчитываясь о своей поэтической работе на страницах редактируемого Лелевичем журнала, Борис Пастернак писал: «Я считаю, что эпос внушен временем, и поэтому в книге „1905 год“ я перехожу от

⁵⁰ См., например: *Бабушкин Н. Ф.* О марксистско-ленинских основах теории народного творчества. Томск, 1963; *Аникин В. П.* Теория фольклорной традиции и ее значение для исторического исследования былин. М., 1980.

⁵¹ *Луначарский А.* Два предисловия // Октябрь. 1924. № 3. С. 178.

⁵² *Безыменский А.* Пролог к поэме «Гута» // Октябрь. 1924. № 1. С. 9.

⁵³ *Лелевич Г.* О пролетарской лирике // Октябрь. 1925. № 3–4. С. 191.

лирического мышления к эпическому, хотя это очень трудно»⁵⁴. Синонимом понятия «эпос» в эти же годы становится понятие «эпопея», как и «эпос» призванное отныне обозначать такие жанры и образцы литературного творчества, по которым рекомендуется судить о масштабах послереволюционных преобразований⁵⁵. Жанровые критерии искомого соответствия варьируют, но в целом поэтические предпочтения середины 1920-х гг. уступают место рассуждениям об «эпической» прозе – романах Льва Толстого и его вольных и невольных последователей – Федора Гладкова, Константина Федина, Александра Фадеева Александра Серафимовича⁵⁶. Литературные и организационные неурядицы, приведшие в конечном счете к развалу ЛЕФа в 1930 г. вытеснили на время «эпосоведческую» полемику со страниц литературно-критических журналов. Но уже спустя четыре года эпическая терминология окажется снова востребованной, на этот раз – в дискуссии о теории романа в Институте философии Коммунистической Академии (1934–1935 гг.).

Целью дискуссии было выяснение особенностей ведущего литературного жанра буржуазной культуры в новых социальных условиях, но реальным итогом высказанных мнений стало закрепление идеологем, уже прозвучавших к тому времени в партийных решениях о преподавании истории в школе (1934 г.). Использование понятия «эпос» применительно к новому социалистическому роману стало основой концепции, изложенной во время дискуссии философами Георгом Лукачем и Михаилом Лифшицем⁵⁷.

«Диалектическую» софистику Лукача еще более усугубил Лифшиц, апеллировавший в поисках советского эпоса к *античному эпосу*. Истолкование последнего, по Лифшицу, «имеет свою политическую подкладку во взглядах Маркса и Энгельса» и «означает осуждение капитализма как общества, не способного предоставить базу для возникновения величайших эпических произведений. Больше того, оно указывает на необходимость радикальной переделки общественных отношений для того, чтобы подобные художественные произведения могли снова возникнуть». Так, если у Лукача советская культура возрождает – «на новом этапе» – родовой строй, то у Лифшица она возрождает античность, об актуальности которой свидетельствует все тот же советский

⁵⁴ На литературном посту. 1927. № 4. С. 74.

⁵⁵ См.: *Лурье А. Н.* Поэтический эпос революции. Л., 1975; *Карнов А. С.* Русская советская поэма: (1917–1941). М., 1989. С. 60.

⁵⁶ См.: *Палей А. Р.* Возрождение эпопеи // Читатель и писатель. 1928. № 10, 10 марта. С. 2; Эпопея или фельетон // Читатель и писатель. 1928. № 12, 24 марта. С. 5 (подборка писем читателей по поводу статьи А. Палея).

⁵⁷ См.: *Лукач Г.* Роман // Литературная энциклопедия. М., 1935. Т. 9. Стб. 831–832; см. также: *Лукач Г.* Проблемы теории романа. Часть 1. // Литературный критик. 1935. № 2. С. 214–219.

роман, который «уже сейчас приобретает массу эпических элементов», причем «эпические элементы в нашем романе бросаются в глаза»⁵⁸. Рассуждения Лукача–Лившица могли бы найти в эти годы, вероятно, альтернативу в научном эпосоведении, но наука не поспевала за идеологией. Обобщающих работ по теории эпоса к середине 1930-х гг. не существовало. В конце 1920-х гг., судя по архивным материалам Института истории литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ), П. Н. Медведев, О. М. Фрейденберг и И. Г. Франк-Каменецкий планировали написание совместной работы по истории мирового эпоса, но их замысел остался нереализованным⁵⁹. Новации в определении эпического, обозначенные на дискуссии в Комакадемии, выразились в конечном счете и на страницах школьных учебников, где оно в еще большей степени утратило какую-либо жанровую и содержательную специфику. Так, во втором (переработанном и дополненном как раз в части, касающейся «видов художественных произведений») издании учебника И. А. Виноградова по теории литературы для средней школы (1935) понятие «эпос» уже попросту объяснялось как «повествование о развивающихся событиях», а «виды эпических произведений» объединили «героическую песнь» (примером которой предлагалось считать «наши былины, в которых отражена борьба русских племен с кочевниками»), «поэму» (представленную перечнем, в котором за «Илиадой» и «Одиссеей» следуют «Песнь о Нибелунгах», «Песнь о Роланде», «Калевала», «Неистовый Роланд» Ариосто, «Освобожденный Иерусалим» Тассо, «Россиада» Хераскова, поэмы Пушкина, Некрасова и, наконец, произведения советских поэтов – «Уляляевщина» Сельвинского, «Дума про Опанаса» Багрицкого, «Трагедийная ночь» Безыменского, «Хорошо» и «Ленин» Маяковского), басню (от Сумарокова и Хемницера до Демьяна Бедного), роман, рассказ, новеллу, повесть и (почему-то) сатирическую сказку. Но и этого мало: как пояснение того, что «в советской литературе наших дней новое содержание обуславливает собою изменение старых форм эпических произведений и появление новых», «своеобразными видами» эпоса, сочетающего «художественное изображение с научным изложением», предлагается считать также инициированные Горьким издания «Истории гражданской войны» и «Истории фабрик и заводов»⁶⁰.

⁵⁸ Лившиц М. Проблемы теории романа // Литературный критик. 1935. № 3. С. 246.

⁵⁹ См.: Брандист К. Необходимость интеллектуальной истории // Новое литературное обозрение. 2006. № 79. С. 65–66. В 1930 г. ИЛЯЗВ, организованный в 1923 г. при Петроградском университете, был преобразован в Институт речевой культуры (ИРК), просуществовавший до 1932 г. (см.: Васильев Н. Л. В. Н. Волошинов: Биографический очерк // Волошинов В. Н. Философия и социология гуманитарных наук. СПб., 1995. С. 11, 14–15).

⁶⁰ Виноградов И. А. Теория литературы: Учебник для 8 и 9 классов средней школы. М.; Л., 1935. С. 83, 88–95. Указанный тираж учебника – 200 тыс. экз.

Авторы фольклористических и литературоведческих работ о народной культуре в стране торжествующего социализма апеллируют к «диалектическому» соотнесению коллективного и индивидуального, устного и письменного, эпического и повседневного⁶¹. Сама советская действительность, как указывалось в предисловии к вышедшему в 1937 г. тому «Творчество народов СССР» является эпохой «эпического времени»⁶². Расхожей метафорой такой действительности *и, вместе с тем, понятием, не теряющим своего специализированного значения*, и стало понятие «эпос».

Сопутствуя победоносной идеологии, «эпос народов СССР» преодолевает границы фольклористики обнаруженным сотовариществом вымышленных и реальных героев⁶³. В 1939 г. слова «эпос», «эпическая основа» – ключевые в установочной статье А. Дымшица «Ленин и Сталин в фольклоре народов СССР» из уже упоминавшегося издания «Советский фольклор»: «Ленинско-сталинский цикл советского фольклора знаменует новый, наивысший этап в развитии героической темы народного творчества. Он отмечен исключительной идейной содержательностью, большим богатством реалистических, социально- и историко-познавательных моментов. Его характеризует четко выраженная эпическая доминанта»; в основе фольклорных произведений о Ленине и Сталине «лежит большой эпический диапазон, без которого немисливо произведение советского фольклора, посвященное вождю-герою, стремящееся передать во всем величии и блеске его идейный облик»⁶⁴. В том же сборнике А. Астахова рапортовала о том, что «на наших глазах создается новый русский эпос, который, восходя к старому народному эпосу и на него

⁶¹ См., например: «Мы, значит, приближаемся к тому времени, когда можно будет понятие “народное творчество” не ограничивать так называемым “фольклором”, “устным творчеством”, а применить его ко всему нашему художественному творчеству» (*Гуриштейн А. К проблеме народности в литературе // Новый мир. 1940. № 7. С. 232*).

⁶² Творчество народов СССР. М., 1937. С. 7. См. также: *Юстус У. Возвращение в рай: Соцреализм и фольклор. С. 77–79; Lehnert H.-J. 1) Vom Literaten zum Barden. Wandlungen im literarischen Leben der UdSSR Mitte der 30er Jahre // Zeitschrift für Slavistik. 1991. Bd 36. № 2. S. 187–195; 2) Rückkehr zur Folklore in der sowjetischen Literaturwissenschaft nach 1936 – Utopie im neuen Gewand? // Znakolog. 1992. Bd 4. S. 232–234.*

⁶³ В 1935 г. Горький утверждал: «А ведь нам необходимо знать не только две действительности – прошлую и настоящую, ту, в творчестве которой мы принимаем известное участие. Нам нужно знать ещё третью действительность – действительность будущего. <... > Мы должны эту третью действительность как-то сейчас включать в наш обиход, должны изображать ее. Без нее мы не поймем, что такое метод социалистического реализма» (*Горький М. Наша литература – влиятельнейшая литература в мире // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 27. С. 419*).

⁶⁴ *Дымшиц А. Ленин и Сталин в фольклоре народов СССР // Советский фольклор. Л., 1939. С. 89.*

опираясь, является качественно новым этапом народного эпического творчества»⁶⁵. Но дело не ограничивается русским эпосом: «Возложенную народом гражданскую обязанность воспеть Сталинскую эпоху радостно принимают на себя домраши, гафизы, кобзари, гекуако, иравы, сказители, олонгши, бакши, шаиры, акыны и жирши»⁶⁶. На следующий год на собрании московского партийного актива «любимый учитель и советчик народных масс» М. И. Калинин, вслед рассуждениям фольклористов, в докладе «О коммунистическом воспитании» возвестит о свершившемся зарождении «советского эпоса», выражающего эмоции и помыслы советских людей, «почувствовавших себя богатырями, способными победить весь мир, враждебный трудовым массам»: «Советский эпос <...> воссоединил линию народного творчества далекого прошлого и нашей эпохи, оборванную капитализмом, который враждебен этой отрасли духовного творчества. Развернувшийся процесс социалистических преобразований выдвинул множество богатых и увлекательных тем, достойных кисти великих художников. Народ уже отбирает из этих тем лучшие зерна и постепенно создает отдельные зарисовки для эпико-героических поэм о великой эпохе и ее великих героях, как Ленин и Сталин»⁶⁷.

Начиная с конца 1930-х гг. эпос народностей СССР посылно русифицируется в множасьихся «переводах» песнопений Сулеймана Стальского (в 1938 году А. Хачатурян пишет симфоническую ораторию на слова ашуга «Поэма о Сталине»), Джамбула Джабаева (в 1952-м г. удостоившегося кинематографического жития в фильме «Джамбул»⁶⁸), Абулкасыма Джукатеева, Хади Тахташа, Мамеда Саида Ордубады, Сакена Сейфулина, Даута Юлтыя и др.⁶⁹. Зато и былины, как это могли узнать слушатели «Карельской песни о Сталине» (слова Б. Лихарева, музыка Н. Леви), пели уже не только русские, но и политически сознательные карелы:

Там, где сосны шумят исполины,
Где могучие реки текут,

⁶⁵ Астахова А. Русский героический эпос и современные былины // Советский фольклор. С. 147 См. также доклад Астаховой «Пути развития русского советского эпоса» на совещании, посвященном советской былине, во Всесоюзном Доме народного творчества (26 апреля 1941 г.): Фольклор России в документах советского периода 1933–1941 гг. С. 222.

⁶⁶ Владимирский Г. Певцы сталинской эпохи // Советский фольклор. С. 159.

⁶⁷ Калинин М. О коммунистическом воспитании: Избранные речи и статьи. Л., 1947. С. 87.

⁶⁸ См.: Погодин Н., Тажобаев А. Джамбул. Киносценарий. М., 1952.

⁶⁹ См., например: Творчество народов СССР. М., 1938; Ленин и Сталин в поэзии народов СССР. М., 1938; Самое дорогое: Сталин в народном эпосе / Под ред. Ю. М. Соколова. М., 1939; Башарин Г. Идея патриотизма – основное в олонхо // Социалистическая Якутия. 1942. 13 янв.

Там о Сталине мудром былины
У костров лесорубы поют.⁷⁰

Источники поэтического вдохновения творцов советского фольклора нельзя объяснять вне контекста газетных передовиц. Но важно подчеркнуть, что сам по себе такой контекст не является свидетельством некоей заведомой антихудожественности тематически зависящих от него произведений. Идеологическая тенденциозность былинообразных новин или плачей-сказов по советским вождям не исключала ни творческой самоотдачи, ни поэтических находок. Знаменитые авторы-исполнители русскоязычного «советского эпоса» – Федор Конашков, Матвей Самылин, Петр Рябинин-Андреев, Марфа Крюкова, Маремьяна Голубкова, Настасья Богданова, Анна Пашкова – демонстрируют это, пожалуй, наиболее явным образом, обнаруживая незаурядный дар к обновлению традиционных форм фольклор(изован)ной речи даже и в тех случаях, когда героями их произведений становились Ленин и Сталин, Калинин и Киров, Горький и Ворошилов, папанинцы и метростроители⁷¹. Советы литературных консультантов и литературное «планирование» в среде носителей фольклорной традиции сослужило в этих случаях не только негативную роль. Социальные ожидания, связываемые с идеологическим заказом на новый советский фольклор, с одной стороны, несомненно затрудняли (или даже блокировали) преемственное воспроизведение фольклорной традиции (особенно заметное применительно к былинному жанру, устойчиво игнорировавшему до того текущую повседневность), а с другой – стимулировали творческую инициативу в сфере языковой выразительности и, в конечном счете, подпитывали интерес к фольклору и фольклористике.

⁷⁰ *Леви Н.* Карельская песня о Сталине. Таллин: Союз советских композиторов, 1951. С. 3.

⁷¹ См.: Былины. Русский героический эпос / Вступ. статья, ред. и примеч. Н. П. Андреева. Л., 1938. С. 527—546; Сказания о героях Арктики / Сост. А. Карельский. Петрозаводск, 1938; Былины П. И. Рябинина-Андреева / Под ред. А. М. Астаховой. Петрозаводск, 1940. С. 109–115; *Крюкова М.* Былины / Вступ. ст. Р. Липец. М., 1939. Т. 1; 1941. Т. 2; Русские плачи Карелии / Под ред. М. К. Азадовского. Петрозаводск, 1940; Сказитель Ф. А. Конашков / Подгот. текстов, вступ. ст. и коммент. А. М. Линецкого, Петрозаводск, 1948.

«СОВЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР» 1920-Х – 1940-Х ГОДОВ: ИСТОРИЯ И ИДЕОЛОГИЯ

История понятия «фольклор» и фольклористики как академической дисциплины неразрывно связана с идеологией европейского романтизма и национализма в XIX и XX вв. Само представление о «народе» не только как о субъекте исторического процесса, но и о носителе особых ценностных систем, древних знаний, поэтических традиций и т. п. задавало особую «оптику» общественных дискуссий о природе и содержании фольклора. В Западной Европе увлечение «народной культурой» соответствовало идеологии национального государства, но вместе с тем было и своеобразной реакцией на модернизацию, воображаемым лекарством от травм и ран индустриального и урбанистического общества. В Российской Империи и Советском Союзе «фольклоризм», кроме того, обладал очевидными колониальными и ориенталистскими коннотациями.

Проект так называемого «советского фольклора» в целом следует считать детищем «зрелого» сталинизма второй половины 1930-х гг. и первых послевоенных лет. Однако его генеалогию можно проследить не только в 1920-е гг., но и ранее. К числу претекстов «советских сказок», например, можно отнести нелегальную литературу народников 1870-х гг., адресованную крестьянам: «Сказку о четырех братьях» (1873) Л. А. Тихомирова, «Сказку о копейке» (1874) и «Сказку о Мудрице Наумовне» (1875) С. М. Степняка-Кравчинского и др.¹ Можно вспомнить, кроме того, сборники «солдатских частушек», издававшиеся в Первую мировую войну, или псевдоэтнографическую книгу С. З. Федорченко «Народ на войне: Фронтовые записи» (1917).

Попытки создания идеологически приемлемого просоветского фольклора в СССР 1920-х гг. не были связаны с какими-либо масштабными официальными проектами, однако идеи такого рода могли приходить в голову и государственным функционерам, и писателям, так или иначе имевшим дело с деревенской тематикой. При этом в первое десятилетие советского режима интерес правительственных чиновников и деятелей культуры к фольклору как средству политической пропаганды сочетался с филологическими либо этнографическими исследованиями «нового фольклора», то есть

¹ См.: *Захарина В. Ф.* Голос революционной России: (Литература революционного подполья 70-х годов XIX в. «Издания для народа»). М., 1971; *Сафронова Ю. А.* Нелегальная литература для народа: Читатель воображаемый и реальный // Новое литературное обозрение. 2019. № 2 (156). С. 94–106.

содержательных и формальных изменений повседневной устной культуры². В этом контексте, например, публикации и исследования частушек политического характера могли иметь и агитационное, и академическое значение. Впрочем, первые эксперименты, связанные с созданием советских фольклорных текстов, относятся к уже к середине 1920-х гг.

В 1924 г. в журнале Главного политико-просветительного комитета Республики (им руководила Н. К. Крупская) была опубликована заметка известного деятеля народного просвещения Е. И. Хлебцевича «Собирание произведений устного творчества рабочих, крестьян и красноармейцев о Ленине». В этой статье, содержащей призыв к записи «рассказов, легенд, слухов, сказок, песен, частушек» и т. п. о почившем советском лидере, а также подробные методические указания для фольклористической работы такого рода, в частности, говорится: «Если каждая эпоха отражается в произведениях отдельных писателей и в произведениях коллективного устного творчества, то тем более ярко должна отразиться Октябрьская революция, олицетворение которой массы находили в Ленине. <...> ...следует поспешно приступить к собиранию произведений коллективного устного творчества масс о Ленине, и особо теперь, когда смерть вождя так остро ощущается рабоче-крестьянскими массами – его современниками»³. Тогда же появляются и первые публикации псевдофольклорных текстов, принадлежавшие советским авторам, которые писали на «деревенские» темы, – Р. М. Акульшину и Л. Н. Сейфуллиной.

Творчество Р. М. Акульшина (Березова) – популярного в 1920–1930-х гг. писателя и будущего деятеля русского баптистского движения в США в этом контексте представляется особенно интересным. Если Сейфуллина ограничилась сочинением одного прозаического текста – «Мужицкого сказа о Ленине» (см. ниже), то Акульшин, родившийся в семье бедного самарского крестьянина и зарабатывавший в детстве пляской и песнями на деревенских свадьбах, экспериментировал с разными жанрами. Судя по всему, первым принадлежавшим ему псевдофольклорным текстом был «советский заговор», опубликованный в очерке «Заклятие Лениным и Троцким»⁴. Речь здесь шла о том, что в родном селе писателя Виловатом людям перестали помогать заклинания местного знахаря,

² См.: *Архипова А. С., Неклюдов С. Ю.* Фольклор и власть в закрытом обществе // *Русский политический фольклор: Исследования и публикации.* М., 2013. С. 42–46.

³ *Хлебцевич Е.* Собирание произведений устного творчества рабочих, крестьян и красноармейцев о Ленине // *Коммунистическое просвещение.* 1924. № 1. С. 117.

⁴ *Акульшин Р.* Заклятие Лениным и Троцким: (История появления одного заговора.) // *Перевал: Сборник / Под редакцией А. Веселого, В. Казина, А. Макарова, В. Наседкина.* М., [1924]. Сб. 2. С. 281–287.

– «то ли потому, что Иисус да Богородица силы лишились, то ли власть другая». «Солдатка Марья» решает придумать новый «советский» заговор, и вот что у нее получается:

ЗАГОВОР ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ.

С северу море,
С югу море.
С западу горы,
С востоку доли,
А в середине город Москва.
В этом городе
Ленин и Троцкий
Как у Троцкого виски длинные и жесткие,
А у Ленина голова
Ясная, как солнышко.
Стоять они на высокой башне,
Держуть в руках пистолеты стальные,
Смотрюют во все стороны,
Приглядывают,
Нет ли где неприятелей.
Как в морях вода взбаламутилась,
Как враги-неприятели зубами скрипеть. –
Хранцузы-тонкопузы,
Агличане-колчане
И белые и желтые,
И бурые и синие, –
Вся пакость,
Вся нечисть
Вся подлечесть.
Охота им Расею сглонуть,
Охота им царя поставить,
Охота им кровь крестьянскую пить,
Лезуть они, напирают.
А Ленин как мигнеть,
А Троцкий как пальнеть,
А войска красная
Расейская,
Как крикнуть,
Как зыкнуть.
И никто из неприятелей не пикнуть.
Вы не лезьте ко мне, боли и хвори.
Головные и ножные,
Животные и спинные,
Глазные и зубные.
Отриньте и отзыньте,
Как неприятели заграничные.
Ты голова моя – Ленин,
Ты сердце мое – Троцкий,
Ты кровь моя – Армия красная,
Спасите,
Сохраните меня

От всякой боли и хвори,
От всякой болезни и недуга».

В «послесловии» к «заговору от всех болезней» Акульшин разъяснял свою, скажем так, фольклористическую программу, где советская «народная поэзия» представляла своего рода «красным двоеверием»: «В приведенном нами выше заговоре – молодость содержания, втиснутая в застарелую, художественную форму. Характерно для деревни, характерно необычайно, что магические свойства, приходящиеся в прежних заговорах на долю «господа бога и иже с ним», ничтоже сумняшеся перенесены на Ленина и на Троцкого. Это только в деревне Маркс висит с Миколой милосливым, жетон с фигурой Ленина на земном шаре – рядом со спасом нерукотворным. Нас это не должно коробить - важно, что и Ленин, и Троцкий, и Маркс, и Красная армия вошли в крестьянский обиход и засели там навсегда. <...> Мы не смеемся, когда именем Ленина в селе Виловатове Самарской губернии заклинают все болезни. В будущем все будет иначе, а пока и эти цветы нам дороги».

В 1925 г. в «Новом мире» Акульшин опубликовал три «советские сказки» («Хитрый Ленин», «Грех» и «Небесная кара»)⁵, где высказывался о «новом фольклоре» похожим образом: «У народа всегда есть любимые герои, которые жизнью своей и делом потрясли его воображение. В прошлом про Петра-царя, про Стеньку, про Пугачева сказки рассказывались – в них больше страху и удивления перед жестокостью царской, да перед смелостью разбойничьей было. В наше время народное творчество (есть тому много примеров) выбрало самого своего любимого человека – Ленина – “с головой ясной, как солнышко”, и сделало его героем своих сказаний»⁶. В 1930 г. эту идею Акульшина повторит А. В. Пясковский в своем сборнике «Ленин в русской народной сказке и восточной легенде»: «Историческая песня, сказка, легенда, как мы знаем, воспевали либо мрачные исторические фигуры (Ивана Грозного, Тамерлана, Александра Македонского и др.), либо яркие, светлые, как, например, Стеньку Разина и Пугачева. Ленин, без сомнения, был именно такой фигурой: светлой, ясной, быстро покорившей сердца миллионов людей, угнетенных и обездоленных... Недаром все восточные легенды и песни обоготворяют Ленина, и даже сказка (сибирская) находит в нем “особую благодать”»⁷. В действительности, однако, «советские сказки» Сейфуллиной и Акульшина в

⁵ Акульшин Р. Три сказки. Гражданская война и Ленин в народном творчестве // Новый мир. 1925. № 11. С. 120–128.

⁶ Там же. С. 124.

⁷ Пясковский А. В. Ленин в русской народной сказке и восточной легенде. Л., 1930. С. 13.

содержательном отношении довольно существенно отличались от реально бытовавших в 1920-е гг. крестьянских слухов и легенд о Ленине и по-своему продолжали традиции народнической пропаганды: если Степняк-Кравчинский в «Сказке о Мудрице Наумовне» пытался кратко и доступно изложить основные идеи «Капитала», то в «Мужицком сказе о Ленине» Сейфуллиной прямо пересказывается содержание ленинского «Доклада о земле», а «Хитрый Ленин» Акульшина, по-видимому, представляет своего рода рефлексии касательно марксистских представлений о роли личности в истории и призван убедить потенциального читателя, что кончина Ленина не приведет к гибели СССР⁸.

Можно думать, что эти первые литературные опыты «советского фольклора» воспринимались их создателями как форма политического или дискурсивного диалога между советским режимом и «закостенелой» деревенской культурой: они были одновременно и формой пропаганды, адресованной крестьянам, и демонстрацией того, как «новый быт» якобы адаптируется «культурно отсталым» религиозно-мифологическим сознанием. Известны и другие попытки середины 1920-х гг. создать квазифольклорные тексты в духе «красного двоеверия». К ним, например, относится присланный неким А. Юрцевым в «Крестьянскую газету», но не опубликованный «Сказ о том, как Ленин вылечил бабу Аграфену» (1925): болезнь «бабки Агафьи» «отправляет ее сначала в паломничество по монастырям, а потом приводит в мавзолей к Ленину, после чего происходит чудесное исцеление»⁹.

Однако после коллективизации и социально-экономическое положение, и идеологические репрезентации советской деревни существенно меняются. В 1930-е гг. проект «советского фольклора» становится важной частью государственной пропаганды и политической ритуалистики. Одним из ведущих принципов создания псевдофольклорных текстов здесь вскоре становится не прямая фальсификация или стилизация, а своеобразное сотворчество «народных исполнителей» и их официальных кураторов, основанное на идее политического руководства «устным творчеством».

Призывы к «пролетарскому руководству» «народным творчеством» звучали уже на рубеже десятилетий. Так, в 1931 г. один из лидеров тогдашней академической фольклористики Ю. М. Соколов писал по этому поводу: «Осуществляя классовое планомерное руководство литературой, было бы непоследовательно оставлять устное

⁸ Подробнее см.: *Панченко А. А.* Культ Ленина и советский фольклор // *Одиссей. Человек в истории: Время и пространство праздника*. М., 2005. С. 334–366.

⁹ *Грамотчикова Н. Б.* и др. «Сказ о том, как Ленин вылечил бабу Аграфену»: Историко-литературная мистификация и ее смыслы // *Диалог со временем*. 2019. № 68. С. 392.

творчество на произвол стихии, – необходимо, чтобы и в устном творчестве пролетарское сознание подчинило себе стихийный процесс. Естественно, что буржуазные фольклористы будут возражать против “искусственного вмешательства” в “народное творчество”. Но можно напомнить этим буржуазным ученым, что фактически “самобытное” устное творчество всегда испытывало в той или другой степени давление господствовавших классов <...> Странно звучат речи о неприкосновенности фольклора в настоящее время, когда сознательное руководство приходит не извне, не от чуждых классов, а из недр самих трудящихся масс. Перед нами встает задача критического пересмотра всего культурного наследия в устном творчестве города и деревни. Надо обработать и развить то, что помогает социалистическому строительству и росту пролетарской культуры»¹⁰. Однако решающая роль в общественной популяризации проекта «советского фольклора», судя по всему, принадлежала А. М. Горькому. В 1933–1934 гг. по инициативе Горького в Москве и Ленинграде была проведена серия «совещаний по фольклору», в которых участвовали деятели культуры, писатели и академические специалисты и где речь опять-таки шла о «политическом руководстве фольклорным творчеством», «постановке изучения и собирания фольклора на марксистско-ленинский путь» и т. п.¹¹. В своей программной речи на первом съезде советских писателей (1934) Горький противопоставлял фольклор «буржуазной» литературе Нового времени как поэтическую и экзистенциальную саморепрезентацию «здорового» человеческого общества, основанного на свободе и социальном равенстве, трудовой этике и историческом оптимизме, гармонически сочетающего «рацио и интуицию, мысль и чувство» («наиболее глубокие и яркие, художественно совершенные типы героев созданы фольклором, устным творчеством трудового народа»; «фольклору совершенно чужд пессимизм, невзирая на тот факт, что творцы фольклора жили очень тяжело»; «в древности устное художественное творчество трудящихся служило единственным организатором их опыта, воплощением идей в образах и возбудителем трудовой энергии коллектива»¹²). Эта смесь романтических штампов и марксистских идей и легла в основу нового фольклористического проекта, где «устное поэтическое творчество» и литература «социалистического реализма» довольно скоро стали значимой частью политической ритуалистики. Речь при этом шла не только о русском или восточнославянском фольклоре: имперское воображение сталинской эпохи

¹⁰ Дискуссия о значении фольклора и фольклористики в реконструктивный период // Литература и марксизм 1931. № 5. С. 92–93.

¹¹ На фольклорном совещании в оргкомитете // Литературная газета. 1933. № 58. 17 дек.

¹² Первый всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. М., 1934. С. 5–18.

подразумевало участие всех народов (или хотя бы республик) СССР в общем «устно-поэтическом» хоре, утверждавшем и прославлявшем социальные, политические и идеологические составляющие «советской действительности». Центральным литературным проектом¹³ в этой области, инициированным лично Горьким (и изданным уже после его смерти под редакцией главного редактора «Правды» Л. З. Мехлиса и главы Агитпропа ЦК ВКП(б) А. И. Стецкого) стал том «Творчество народов СССР» (1937), в подготовке которого участвовали советские писатели, профессиональные фольклористы и этнографы, региональные партийные организации, краеведы и «селькоры».

Преобладающими жанрами «советского фольклора» второй половины 1930-х гг. были эпические и лироэпические тексты («новины», «сказы» и т. п.), ориентированные на прославление «советской действительности» и ее героев, а также «плачи» – причитания на смерть государственных и партийных деятелей, бывшие в течение определенного времени непременной частью соответствующих траурных публикаций в прессе. При этом в создании и популяризации текстов такого рода играли разные (и зачастую конкурирующие) институции: «народные хоры» и «дома народного творчества», редакции центральных и местных газет, отделения Союза советских писателей, региональные партийные и государственные органы и, наконец, собственно исследовательские центры в научных институтах и высших учебных заведениях¹⁴. Основным методом фальсификации фольклорных текстов в это время становится своеобразное «сотворчество»: к сказителю, признанному талантливим исполнителем и импровизатором, приставлялся «литературный куратор», снабжавший своего подопечного необходимой для «творчества» социально-политической информацией, а затем записывавший и редактировавший соответствующие «произведения». При этом степень реального участия «народного певца» в подобной литературной деятельности могла, по-видимому, существенно варьироваться, а иногда и сводиться к нулю. Особенно «гибкой» была соответствующая «работа» с теми сказителями из национальных республик, которые не знали русского языка и, следовательно, нуждались не только в кураторе, но и в переводчике. В подобных ситуациях кураторы, которых могло

¹³ Об истории, идеологическом контексте и практических деталях этого проекта см.: *Корниенко Н. В.* Государственный литературный проект «Творчество народов СССР»: (По материалам фонда редакции) // *Текстологический временник: Русская литература XX века: Вопросы текстологии и источниковедения.* М., 2012. Кн. 2. С. 855–918; *Zemskova E.* Soviet Folklore as Translation Project: The Case of «Tvorchestvo Narodov SSSR», 1937 // *Translation in Russian Contexts: Culture, Politics, Identity.* New York, 2018. P. 174–187.

¹⁴ *Иванова Т. Г.* История русской фольклористики XX века. 1900 – первая половина 1941 г. СПб., 2009. С. 645–669.

быть и несколько, зачастую просто сочиняли тексты за своих подопечных, сдабривая их необходимым «этническим» и «фольклорным» колоритом.

А. И. Алдан-Семенов, бывший «первооткрывателем» казахского «акына» или «жирши» Джамбула Джабаева – одного из самых известных и успешных «народных певцов» сталинского времени, – вспоминал о своем «фольклористическом опыте» следующее:

«В тридцать четвертом году я вновь очутился в Казани. Там вышла первая книга стихов, и меня приняли в только что созданный Союз советских писателей. А в тридцать пятом я по поручению Союза организовывал Кировское краевое отделение писателей и стал его секретарем.

В том же году Максим Горький предложил издать антологию “Творчество народов СССР”. Это была интересная идея – к двадцатой годовщине Октября собрать и записать не только русский фольклор, но и песни, сказы, легенды всех народов СССР о революции, Ленине, партии, власти Советов.

Газета “Правда” пригласила на совещание молодых поэтов. Среди них были А. Твардовский, М. Исаковский и другие. Редакция предложила каждому из нас поехать в любую республику записывать и переводить на русский язык народное творчество.

Я избрал Казахстан, который полюбил и люблю сейчас за его многоцветный, яркий, сложный мир, люблю его поэтов и акынов.

В Алма-Ате, поговорив со своим другом – переводчиком Павлом Кузнецовым, я отправился в совхоз “Кара-Кастек”. <...>

В приемной сидел глубокий старик в засаленном бешмете и лисьем малахае. Кожаные опорки сваливались с его худых ног, на коленях лежали пустой мешок и домбра; невольно заметил я древнее, как пергамент, лицо, тусклые, в красных веках, глаза, узкую белую бороду. Я спросил об аксакале с домброй.

– Это наш чабан Джамбул Джабаев, – объяснил секретарь парткома. <...>

Джамбул был неграмотен, не умел писать и читать. <...>

Получив удовлетворительные подстрочники песен Джамбула, я перевел три из них.

“Песня от всей души” была опубликована в “Правде” 1 января 1936 года и как бы ввела в русскую советскую поэзию народного казахского акына. В мае того же года “Песню цветущей старости” напечатали “Известия”, а “Песню на рассвете” – “Литературная газета”. В ней я опубликовал и очерк “Встреча с акыном”.

Больше с Джамбулом я не встречался, и впоследствии его переводил Павел Кузнецов»¹⁵.

Упомянутый очерк в «Литературной газете» в действительности назывался «Встреча с жирши» и изображал эти события несколько иначе:

«В белые, морозные сумерки мы подъезжали к становищу Ер-Назар. <...> Мой спутник предложил заехать к жирши Джимбулу.

– Это народный певец Казахстана. Его хорошо знают в тянь-шаньских предгорьях, – пояснил он. <...>

Имя Джимбула широко известно в предгорьях и степях Алма-Аты. Джимбул – старейший и почетнейший из колхозников в становище Ер-Назар. Сейчас он обучает своему искусству певцу колхозника Утепа. В последнее время они вдвоем поют на торжественных колхозных собраниях и празднествах»¹⁶.

При этом популяризации «творчества» Джамбула, судя по всему, предшествовали по-своему курьезные литературно-бюрократические процессы. Упомянутый П. Н. Кузнецов, работавший в это время в газете «Казахстанская правда», уже успел «открыть» другого «народного певца» – Маймбета – и опубликовал в 1935 г. по-русски две якобы принадлежащих ему эпических поэмы. Однако, когда было принято решение включить Маймбета в число участников «декады казахской литературы и искусства» в мае 1936 г. в Москве, выяснилось, что найти народного певца не удастся, так что пришлось срочно искать ему замену¹⁷. Существовал в действительности Маймбет, или он был попросту выдуман Кузнецовым, неизвестно. Однако Джамбулу в Москве вполне успешно удалось справиться с ролью советского сказителя: он выступал на заключительном концерте декады перед Сталиным и через несколько дней был награжден орденом Трудового красного знамени, на что немедленно откликнулся приличествующей случаю песней¹⁸.

Алдан-Семенов, возглавивший в это время отделение Союза писателей в Кирове, по-видимому, не имел ни времени, ни желания «курировать» Джамбула, так что сочинения

¹⁵ Алдан-Семенов А. И. Бессонница моих странствий // Алдан-Семенов А. И. Избранные произведения: В 2 т. М., 1983. Т. 1. С. 12. См. также: Кашина Л. «Нет, в этом мире я не гость...»: К 100-летию А. Алдан-Семенова // Сибирские огни. 2008. № 12. С. 161–162.

¹⁶ Алдан А. Встреча с жирши // Литературная газета. 1936. № 14, 5 марта.

¹⁷ См.: Богданов К. А. Аватар Джамбула: (Вместо предисловия) // Джамбул Джабаев: Приключения казахского акына в советской стране: Статьи и материалы. М., 2013. С. 6–9; Кибальник С. А. Миф о Джамбуле: (По материалам современной казахстанской печати) // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2015. № 2 (139). С. 89–99.

¹⁸ Джамбул. Песня при получении ордена // Правда. 1936. № 145, 28 мая.

последнего публиковались в «переводах» Кузнецова и К. Н. Королева-Алтайского. Однако в 1938 г. и Алдан-Семенов, и Алтайский были репрессированы, так что главным русскоязычным куратором Джамбула остался Кузнецов. Во время войны казахского акына «переводил» М. А. Тарловский. После смерти Джамбула в 1945 г. Кузнецов напечатал о нем биографическую повесть «Джамбул – внук Истыбая» (1950), переработанную затем в роман «Человек находит счастье».

Сходным образом развивалось сотрудничество другого литературного пропагандиста советского фольклора – Николая Павловича Леонтьева (1910–1984) с печорской песенницей Маремьяной Голубковой. Леонтьев родился в селе Верхние Матигоры Холмогорского района Архангельской области, закончил три курса лесотехнического техникума, около десяти лет работал в различных экспедициях в качестве изыскателя, а во второй половине 1930-х гг. стал профессионально заниматься журналистикой и литературным творчеством¹⁹. Работая в 1937 г. в газете Ненецкого автономного округа «Нарьяна Вындер» («Красный тундровик»), он, в свою очередь, «открыл» Голубкову²⁰. Хотя Леонтьев сотрудничал и с другими «советскими сказителями», именно Голубкова оставалась, так сказать, его «дойной коровой» вплоть до своей смерти в 1959 г. При этом Леонтьев тоже не ограничился «сотворчеством» в области советского фольклора и в 1940-е гг. сочинил в «соавторстве» с Голубковой трилогию автобиографических повестей «Мать Печора» («Два века в полвека»²¹, «Оленьи края», «Мать Печора»). Через год после смерти Голубковой Леонтьев опубликовал еще и их совместный роман «Маришка»²². Впрочем, эти литературные опыты не мешали Леонтьеву издавать (и переиздавать) во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. «сказы» и «новины», якобы сложенные Голубковой.

Очевидно, что «новины», «сказы» и плачи 1930-х гг. отличались от предшествовавших им советских «сказок» и «легенд» не только в сугубо жанровом, но и, так сказать, в дискурсивном отношении. Если сказка по умолчанию представлялась анонимной формой социально-политического диалога между деревней и городом, то «творчество советских сказителей» было видом торжественного красноречия, нуждавшимся в фигуре «певца», публично выступающего от имени конкретной этнической

¹⁹ См.: Михайлов А. От устной поэзии к литературе: Творчество М. Р. Голубковой и Н. П. Леонтьева. Архангельск, 1954. С. 25–26.

²⁰ См.: Козлова И. В. Фольклор в свете идеологического дискурса 1930-х годов: (Писатель Н. П. Леонтьев и народная сказительница М. Р. Голубкова) // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. Аспирантские тетради. СПб., 2008. № 34 (74). С. 236–243.

²¹ Первый вариант повести «Два века в полвека» был опубликован в № 3–5 журнала «Октябрь» за 1941 г.

²² Голубкова М., Леонтьев Н. Маришка. М., 1960.

общности или «советского народа» в целом. Это и вызвало к жизни специфическую технику фальсификации фольклорных текстов, основанную на «сотворчестве» сказителей и их кураторов. Представляется, таким образом, что функции и смысл памятников «советского фольклора» вообще сложно понять вне контекста публичной ритуальности сталинской эпохи.

«Советские сказки» продолжают публиковаться и во второй половине 1930-х гг., однако их сюжеты и тематика существенно меняются. Методы «производства» этих текстов подразумевали и прямые фальсификации, и кураторскую работу со сказочниками и сказочницами. Среди советских сказок середины – второй половины 1930-х гг. можно выделить группу преимущественно аллегорических нарративов, которые Т. Г. Иванова объединила при публикации под общим заглавием «Сказки о поисках правды и счастливой страны»²³. В содержательном отношении они отчасти близки «советскому эпосу». В них преимущественно воспроизводились основные положения официальной сталинистской историографии и демонстрировались социальные достижения советского общества. Так, тот же Акульшин в 1935 г. опубликовал сказку «О серпе, молотке и орле золоченом», где рассказывалось, как серп и молот, то есть рабочие и крестьяне побеждают имперского орла, красующегося на кремлевских башнях: геральдика здесь репрезентирует социальную историю²⁴. К числу немногочисленных «советских сказок» о Пушкине относится, например, история о том, «как дядя Иван правду о Пушкине узнал», якобы «написанная на подлинном материале устного народного творчества» и опубликованная в 1937 г. в костромской газете «Северная правда». Здесь крестьянин Иван просит «мудрых-ученых» прочитать ему книгу Пушкина, однако те отказываются, поскольку боятся, что открытие «пушкинской правды» приведет к свержению помещичьей власти. Так оно и выходит: некий «простой человек рабочий» сообщает Ивану «слово колдовское могучее, как тую правду про описания Пушкина разведать», после чего вдохновленные этим словом мужики забирают «от господ земли <...>, школы, училища» и начинают «учиться, чтобы правду про все науки и про Пушкина узнавать»²⁵. Помимо темы освобождения крестьян и «черного передела» здесь специально подчеркивается метонимическая связь Пушкина и печатного слова вообще; чтение сочинений поэта ассоциируется с грамотностью как таковой, то есть

²³ Рукописи, которых не было: Подделки в области славянского фольклора / Изд. подг. А. Л. Топорков и др. М., 2002. С. 791–817.

²⁴ См.: Там же. С. 816–817.

²⁵ Румянцев Ал. Как дядя Иван правду о Пушкине узнал // Северная правда. Кострома. 1937. № 53, 6 июля.

с реализацией советских декретов о ликвидации безграмотности и введении всеобщего начального обучения.

Отдельного упоминания заслуживают и «малые» жанры «советского фольклора», прежде всего – частушки и паремии. Их история не закончилась вместе с правлением Сталина, что опять-таки указывает на их дискурсивную специфику. Можно согласиться с исследователями, акцентирующими дидактическую и «дисциплинарно-воспитательную» функцию текстов такого рода: «Построенный на противоречиях и комических несовпадениях, малый (псевдо)фольклор позволял не только перерабатывать и аккумулировать в контекст новой действительности несоответствия и напряжения между старым и новым, явным и утверждаемым, пропагандой и реальностью, но и подготовить граждан к правильному восприятию официального сталинского дискурса»²⁶.

В такой перспективе, несмотря на общие пропагандистские задачи и «сквозную» топику, различные формы «советского фольклора», будучи частью политической ритуалистики и публичной выразительной культуры, предстают по-своему разнородными в функциональном и художественном отношении.

Период «развенчания» советского фольклора и «отрезвления» поздней сталинской фольклористики пришелся на конец 1940-х – начало 1950-х гг. Борьба с «фольклорообразными уродцами», столь популярными в предвоенные годы, была инициирована тем же самым Леонтьевым в опубликованной в 1948 г. статье «Затылком к будущему». Утверждая, что в Советском Союзе исчезли не только «противоположность между городом и деревней», а также «границы между умственным и физическим трудом», но и «вековая межа, разделявшая <...> художественное словесное творчество народа и литературу», он предлагал определять советский фольклор как «совокупность многообразных форм литературной самодеятельности народа»²⁷. Академическим фольклористам в этом контексте предлагалось заняться «выявлением народных талантов и помощи их росту», «изучением творческого взаимодействия фольклора наших дней и литературы», а также своего рода устно-исторической этнографией советского быта²⁸. Речь, таким образом, шла, с одной стороны, о превращении профессиональных фольклористов в культуртрегеров и, так сказать, советских социальных антропологов, а с другой – о своеобразном проекте «народной литературы», не ограничивающемся социальными лифтами для «формовки советского писателя», подобными журналу «Литературная учеба»,

²⁶ Добренко Е., Джонсон-Скрадоль Н. Госсмех: Сталинизм и комическое. М., 2022, С. 542.

²⁷ Леонтьев Н. П. Затылком к будущему // Новый мир. 1948. № 9. С. 262.

²⁸ Там же. С. 265.

и подразумевавшим, так сказать, «деинституциализацию» писательского труда. Эта кампания, по всей видимости, первоначально была связана с попыткой разгромить академическую фольклористику как таковую и оказалась подготовлена борьбой против «космополитизма», «низкопоклонства» и «веселовщины» в филологии второй половины 1940-х гг. В конечном счете, полемику о советском фольклоре на рубеже 1940-х и 1950-х гг. можно признать случайным эпизодом большой и по-своему довольно хаотичной конкурентной игры разворачивавшейся на поле советской филологии и литературы. С другой стороны, трансформации официального идеологического курса в послевоенном СССР – от «ждановщины» до «десталинизации» также вряд ли могут однозначно объяснить быстрый упадок советского фольклора: создается впечатление, что он просто неожиданно «вышел» из культурно-политической «моды». Расцвет «советского эпоса» вкупе с «советской ламентацией» был обусловлен если не «социальным заказом», то определенными «дискурсивными ожиданиями» и ритуальными формами, характерными, впрочем, не столько для массовой культуры, сколько для литературных и политических элит предвоенного СССР. В последние годы сталинизма политическая ритуалистика и публичная культура в целом, судя по всему, переживают изменения, не оставляющие места для большинства привычных и популярных в конце 1930-х гг. псевдофольклорных жанров.

Таким образом, в истории «советского фольклора» можно выделить два периода, приходящиеся соответственно на 1920-е – начало 1930-х гг. и середину 1930-х – конец 1940-х. Формы, жанры, топика и преобладающие способы создания текстов «советского фольклора» в эти периоды существенно различаются. В 1920-е гг. происходят литературные эксперименты с разными повествовательными формами, причем речь зачастую идет о сказках («легендах», «сказаниях», «сказах»), в содержательном отношении ориентированных на волшебную или мифологическую топику. В эпоху зрелого сталинизма доминируют героико-эпические тексты и ламентации, а основным способом их создания оказывается «сотворчество» «народных мастеров» и их литературных кураторов. Вместе с тем на протяжении всей истории «советского фольклора» его постоянной формой остаются частушка и другие малые жанры.

Содержание

От редколлегии.....	3
<i>А. Г. Бобров.</i> Монастырские книжные центры Древней Руси (XI – начало XV вв.).....	5
<i>Д. М. Буланин.</i> На службе у идеологов Московского царства (литература «энциклопедий» 1520–1570-х гг.).....	41
<i>Д. М. Буланин.</i> Чудов монастырь как идеологическая и литературная мастерская патриаршего и царского двора (1570–1600-е гг.).....	139
<i>А. В. Пигин.</i> Древнерусская литература после Древней Руси: XVIII век.....	179
<i>П. Р. Заборов.</i> Французская литература в русских переводах XVIII века.....	217
<i>Н. Ю. Алексеева.</i> Становление периодической печати в России (1703—1764 гг.).....	234
<i>А. Ю. Веселова.</i> Типы читателей, роль чтения и круг чтения в XVIII веке.....	252
<i>А. Ю. Веселова.</i> Читательский быт, государственные и частные библиотеки XVIII века.....	271
<i>Н. Д. Кочеткова.</i> Писательницы XVIII века.....	284
<i>Н. Л. Дмитриева</i> Рецепция французской литературы в эпоху Золотого века.....	300
<i>Е. Е. Дмитриева</i> Вхождение английской литературы в русский Золотой век.....	347
<i>М. Ю. Коренева.</i> Восприятие немецкой литературы в эпоху Золотого века.....	390
<i>А. Ю. Балакин.</i> Авторское право в 1800—1830-е гг.....	420
<i>А. Ю. Балакин.</i> Книгоиздание и книжная торговля 1800—1830-х гг.....	429
<i>А. А. Полякова.</i> Цензура 1800—1830-х гг.....	445
<i>Е. О. Ларионова.</i> Литературная критика эпохи Золотого века.....	461
<i>Е. О. Ларионова.</i> Литературные общества, литературные группировки 1810–1820-х гг.....	493
<i>С. Б. Федотова.</i> Литературные журналы, альманахи и газеты 1830-х гг.....	535
<i>Т. А. Китанина.</i> Массовая литература эпохи Золотого века.....	578
<i>О. С. Муравьева.</i> Читательская аудитория первой половины XIX века.....	592
<i>В. В. Головин, И. А. Сергиенко.</i> Детская литература Золотого века.....	611
<i>Е. Е. Дмитриева, О. С. Муравьева.</i> Салоны и салонная культура Золотого века.....	622
<i>А. Г. Гродецкая.</i> Литературные кружки 1840–1890-х гг.....	662
<i>А. Г. Гродецкая.</i> Литературные салоны 1840—1890-х гг.....	691
<i>А. П. Дмитриев.</i> Славянофильские журналы, сборники и газеты.....	720
<i>А. П. Дмитриев.</i> Литературная критика в церковных изданиях (1860—1890-е гг.).....	737
<i>Г. В. Петрова.</i> Литературно-художественные журналы, альманахи, сборники 1890-1900-х годов: от «толстого» журнала к журналу-манифесту.....	765
<i>А. С. Александров.</i> Литературная жизнь в газетах начала XX века.....	799

<i>Г. В. Петрова.</i> Литература модернизма и издательские стратегии 1900-1910-х годов: между групповой идеологией и частной инициативой	810
<i>А. М. Грачева.</i> Движение литературных страт: беллетристика начала XX в.	833
<i>С. Г. Маслинская.</i> Как изображать жизнь? К истории концепций детской литературы на рубеже XIX и XX веков	888
<i>К. А. Богданов.</i> Фольклористика 1920–1930-х годов: навстречу новому эпосу	903
<i>А. А. Панченко.</i> «Советский фольклор» 1920–1940-х годов: история и идеология.....	923